



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

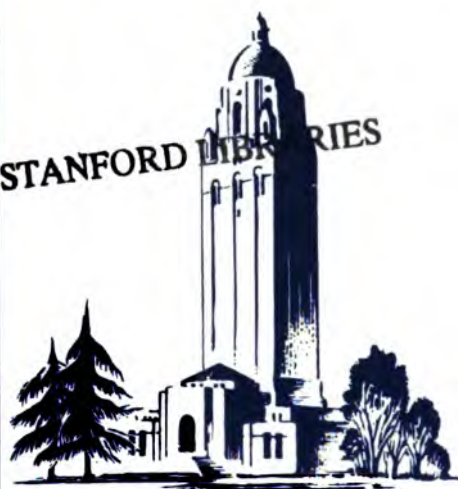
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

STANFORD LIBRARIES



HOOVER INSTITUTION
on War, Revolution, and Peace

FOUNDED BY HERBERT HOOVER, 1919

Peter K. Christoff

STAMPED





Mikhailovskii, N. K. (Nikolai Konstantinovich)

СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ: 1) Жестокий талантъ (1882 г.).—
2) Г. И. Успенскій (1888 г.).—3) Щедринъ
(1889—1890 г.).—4) Герой безвременья. — 5)
Н. В. Шелгуновъ.—6) Записки современника
(1881—1882 г.).—7) Письма посторонняго въ
редакцію «Отечественныхъ Записокъ» (1883—
1884 г.).

Изданіе редакціи журнала «Русское Богатство».

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія Б. М. Вольфа. Разъѣзжая ул., 15.

1897.

О П Е Ч А Т К И.

<i>Стр.</i>	<i>Строчка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Надо читать.</i>
58	22 снизу	ачѣмъ	зачѣмъ
93	13 сверху	тѣхъ	этихъ
96	5 "	возбуждающій	побуждающій
116	7 "	сосредоточивъ	сосредоточивъ
120	27 "	обѣлоручеами	бѣлоручеами
148	2 "	удалилась	удалилась
162	28 "	себя	себѣ
181	11 "	увидитъ-то	увидѣтъ-то
203—204	1 снизу	бланамѣренное	благодѣтельное
275	23 "	стоятъ	стоятъ
320	3 сверху	имѣеть	имѣеть
335	19—20 снизу	Пыпиннымъ	Пыпиннымъ
341	16 сверху	Weil	Weil
"	18 "	Schritte	Schritte
349	22 "	горадо	гораздо
364	26 "	нало	мало
374	24 "	произвести	произнести
392	5 "	были они	были
403	22 сверху	захочетъ	захочетъ
413—414	заголовокъ	(1811—1882 г.).	(1811—1882 г.).
437	3 сверху	вѣсь	вѣсь
"	26 "	горе	горѣ
450	32 "	окудную	скудную
"	34 "	совѣсть	повѣсть
469	26 "	какъ	какъ
476	15—14 снизу	выразителя	выразителя
487	25 снизу	образъ	образъ
488	28 сверху	совать	совать
490	8 снизу	идеалы	идеалы
"	2 "	соблазнясь	соблазнясь
520	2 сверху	Itudien	Studien
523	6 "	Слабостей	слабостей
524	80 снизу	цѣлый	цѣлый
525	12 "	„пустыня“	„пустыня“
526	15 сверху	борьбѣ	борьбѣ
540	10 снизу	„интеллигенція“	„интеллигенція“
547	5 сверху	совершенно	совершенно
570	1 "	confère	confère
"	17 "	топ	топ
575	8 "	идеаломъ	идеаламъ
"	29 "	мысли	Мысли
604	16 "	человѣчеству	человѣчеству
607	22 "	М. К. Катковъ	М. Н. Катковъ

<i>Стр.</i>	<i>Строчка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Надо читать.</i>
"	24 снизу	различность	различать
614	13 "	честными	частными
629	9 "	природа	порода
636	23 "	цѣнности	цѣнности
641	14 "	и слояхъ	слояхъ
647	26 сверху	обсужденію	осужденію
650	3 снизу	которою	которую
658	2 "	какъ	какъ
661	2 "	твовавшихъ	дѣйствовавшихъ
"	1 "	лизикихъ	близкихъ
668	30 сверху	духовными	духовными
673	26 "	и	а
677	11 снизу	запѣла II: faut que je vous	запѣла: II faut que je vous
685	3 сверху	равно	ровно
"	13 "	идеть	ищеть
698	22 "	не	ни
"	26 "	Не	Но
703	11 снизу	по	но
708	30 "	некончался	не кончился
709	16 "	вышей петербургской	вышей петербургской
"	28 "	Прокуроръ	Прокуроръ
715	21 "	„Московскихъ Вѣдомостей“	„Московскихъ Вѣдомостей“
716	15 сверху	введены	введены
717	9 "	Верховный	Верховный
728	10 "	que'elle	qu'elle
734	23 "	Авсѣнко	Авсѣнко
750	23 снизу	и	не
775	30 "	водворенію	водворенію
786	7 сверху	въ общественной	въ общественный
788	14 "	на капиталистическое	разсчитать на капиталистическое
811	20 "	Карамзовыхъ	Карамазовыхъ
818	19 "	Щигировскаго	Щигровскаго
822	6 "	тургенева	Тургенева
830	4 снизу	Дѣло	Дѣло
851	27 сверху	начинается занимать	начинаетъ заниматься
852	17 снизу	а	и
"	28—27 снизу	„Волховской барышни“	„Волховской барышни“
853	11 "	печорина	Печорина
859	4 сверху	въ	съ

ЖЕСТОКІЙ ТАЛАНТЪ *).

(Полное собраніе сочиненій Ф. М. Достоевскаго. Томы II и III. Спб. 1882).

Человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ.
Достоевскій („Игрокъ“).

Тиранія есть привычка, обращающаяся въ потребность.
Достоевскій („Дядюшкинъ сонъ“).

Я до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любви-то и заключается въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать.
Достоевскій („Записки изъ подполья“).

Странная вещь, эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять-десятьхъ сталъ съ нимъ друженъ изъ злобы.

Достоевскій („Крокодилъ“).

I.

Опять Достоевскій **).

Да, опять Достоевскій, и, можетъ быть, это повторится еще не разъ. Не то чтобы Достоевскій представлялъ собою одинъ изъ тѣхъ центровъ русской умственной жизни, къ которымъ критика должна волей-неволей часто возвращаться, въ виду бьющаго въ нихъ общаго пульса. Есть люди, которые желали бы сдѣлать изъ него нѣчто подобное; но, не смотря на старательность этихъ людей, принимающихся за свое дѣло съ терпѣніемъ дятла, ничего какъ-то изъ ихъ усилій не выходитъ. Одинъ г. Орестъ Миллеръ чего стоитъ! Онъ именно подобенъ дятлу, когда въ своихъ статьяхъ и публичныхъ лекціяхъ, имъ же нѣсть мѣры и числа, восхваляетъ Достоевскаго, воздаетъ хвалу Достоевскому, восторгается Достоевскимъ, благовѣстятъ о Достоевскомъ и восклицаетъ: о, Достоевскій! Правда, этими склоненіями и ограничивается роль г. О. Миллера, какъ пропагандиста и коммента-

тора, но, все-таки, подумайте, сколько тутъ вложено труда! А гдѣ результатъ? Болѣе стремительный Владиміръ Соловьевъ дѣйствуетъ наскокомъ. Мнѣ попалась какъ-то литографированная рѣчь или лекція г. Соловьева о знаменитомъ покойникѣ. Она была построена приблизительно такъ: въ мірѣ политическомъ данной страной управляетъ всегда, въ концѣ-концовъ, одинъ человѣкъ; то-же самое и въ мірѣ нравственномъ: здѣсь всегда есть одинъ духовный вождь своего народа; этимъ единымъ вождемъ быть для Россіи Достоевскій; Достоевскій былъ пророкъ божій! Я ручаюсь за слова «пророкъ божій» и за конструкцію этихъ размышлений, если можно назвать размышленіями переправу по жердочкамъ и граціозные прыжки съ одной жердочки на другую безъ всякой мысли о томъ, чтобы какъ-нибудь укрѣпить ихъ и связать. Во всякомъ случаѣ, переправа выполнена, г. Соловьевъ на томъ берегу, и торжественно и побѣдно кричитъ: вотъ пророкъ божій! Гдѣ же результатъ? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашеннаго имъ пророка. Какіе-то совсѣмъ другіе люди занимаютъ сцену, а «пророка божія» не поминаютъ въ

*) 1882 г., сентябрь, октябрь.

**) См. ниже, гл. II „Записокъ Современника“.

своихъ молитвахъ даже тѣ, кто, такъ или иначе, хотѣлъ примазаться къ имени Достоевскаго на его свѣжей могилѣ. Погибе память его съ шумомъ. Шуму было много, это правда, но, въ сущности, шумомъ все и кончилось. Шумъ составилъ изъ двухъ теченій. Во-первыхъ, всегда есть плакальщики, люди особенно умиленно настроенные или настраивающіе себя, которые вмѣсто того, чтобы серьезно и трезво отнестись къ потерѣ, начинаютъ, по простонародному выраженію, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазанный. Это бы еще ничего, конечно, потому что вѣдь, можетъ быть, покойникъ и въ самомъ дѣлѣ такой - сякой. Но надо все-таки же объ этомъ хоть съ приблизительною точностью дать себѣ отчетъ, а не разбрасывать сокровища своего умиленія, что называется, зря. А то придется по прошествіи нѣкотораго времени умиляться по новому поводу и притомъ такъ, что о предыдущемъ не будетъ даже помину. Такъ именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевскаго. Но кромѣ такихъ умиленныхъ, которыхъ собственно мамка въ дѣтствѣ ушибла, почему съ тѣхъ поръ отъ нихъ и отдаетъ умиленіемъ, а чѣмъ и какъ умиляться—это имъ безразлично; кромѣ, говорю, этихъ, есть еще разные болѣе или менѣе тонкіе политиканы. Такіе не зря умиляются, а примазываются къ умиленію и тоже въ грудь себя колотятъ, и тоже ризы свои раздраютъ, но единственно въ тѣхъ видахъ, чтобы «поймать моментъ». А прошелъ моментъ, прошла и нужда. Достоевскій въ послѣднее время передъ смертью изображалъ изъ себя какой-то оплотъ официальной мощи православнаго русскаго государства въ связи (не совсѣмъ ясной и едва-ли самому Достоевскому понятной) съ нѣкоторымъ мистически народнымъ элементомъ. Ну, кто пожелаелъ, тотъ въ этихъ направленіяхъ и примазался къ имени крупнаго художника, въ самый моментъ смерти загорѣвшемуся такимъ, казалось, яркимъ огнемъ. Прошло нѣсколько времени, и гдѣ же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иныхъ слѣды ихъ стenanій и разодранныхъ на могилѣ Достоевскаго ризъ? Гдѣ тѣ поученія, которыя они черпаютъ въ трудныхъ случаяхъ изъ твореній столь прославленнаго учителя? Я, впрочемъ, отнюдь ихъ въ этомъ не виню. Они виноваты только въ томъ, что раздули или старались раздуть значеніе талантливаго художника до размѣровъ духовнаго вождя своей страны («пророка божія»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведетъ ихъ, то это вполнѣ натурально.

Для наглядности, припомните, что про-

исходило какой-нибудь мѣсяцъ тому назадъ. Умеръ генералъ Скобелевъ. Умеръ внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумѣется, явились плакальщики (впереди всѣхъ, какъ водится, г. Гайдебуровъ въ должности церемоніймейстера) и политиканы (впереди всѣхъ г. Аксаковъ, расчищая мѣсто генералу Черняеву и графу Игнатьеву поближе къ траурному катафалку Скобелева). Проидетъ нѣсколько времени, и если нашу родину постигнетъ скорбь войны, всѣ не разъ вспомнятъ «бѣлаго генерала», даже тѣ, кто по справедливости считалъ безтактными и дѣтскими его парижскіе ораторскіе опыты: дескать, вотъ бы тутъ Скобелева нужно! или: былъ бы Скобелевъ живъ, такъ было бы то-то и то-то! Конечно, будь бѣлый генералъ живъ, можетъ быть, ему и счастье измѣнилось бы, и разное другое могло случиться, но вѣрно, что, въ случаѣ войны, его имя будетъ часто поминаться. Укажите же тѣ трудные случаи, въ которыхъ сами плакальщики и политиканы, не говоря о простыхъ смертныхъ, вспомнили какъ бы съ вѣрою и надеждою о Достоевскомъ: онъ бы выручилъ, онъ бы научилъ, показалъ свѣтъ! Ничего подобнаго не было, а со смерти Достоевскаго прошло только полтора года или, пожалуй, уже полтора года. Это время слишкомъ короткое, чтобы забыть духовнаго вождя и божія пророка, и слишкомъ продолжительное, чтобы не было случая со скорбнымъ вздохомъ вспомнить о помощи, которую пророкъ оказалъ бы, еслибы былъ живъ. А припомните-ка, какіе это были полтора года — волосы на головѣ дыбомъ встанутъ!

Но Богъ съ нимъ, съ этимъ вздоромъ о роли Достоевскаго, какъ духовнаго вождя русскаго народа и пророка. Этотъ вздоръ стоило отмѣтить, но не стоитъ заниматься подробнымъ его опроверженіемъ. Достоевскій просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательнаго изученія и представляющій огромный литературный интересъ. Только такъ изучать его мы и будемъ.

Тотчасъ послѣ смерти Достоевскаго, мы представили читателю бѣглую характеристику литературной фizioноміи покойника, предполагая съ теченіемъ времени возвратиться къ болѣе подробному развитію нѣкоторыхъ частныхъ. Между прочимъ, было упомянуто, что къ тому страстному возвеличенію страданія, которымъ кончилъ Достоевскій, его влекли три причины: уваженіе къ существующему общему порядку, жажда личной проповѣди и жестокость таланта. Этой послѣдней чертой мы и предлагаемъ читателю теперь заняться.

Второй и третій томы полного собранія сочиненій Достоевскаго представляютъ для этого прекрасный поводъ. Здѣсь собраны небольшія повѣсти и рассказы, изъ коихъ нѣкоторые большинство читателей едва-ли даже помнятъ, но которые, однако, для характеристики Достоевскаго представляютъ огромный интересъ. Во второй томъ вошли: «Бѣдные люди», «Двойникъ», «Господинъ Прохарчинъ», «Романъ въ девяти письмахъ», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и мужъ подъ кроватью», «Честный воръ», «Елка и свадьба», «Бѣлыя ночи», «Неточка Незванова», «Маленькій герой»; въ третій томъ: «Дядюшкинъ сонъ», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдотъ», «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣнiяхъ», «Записки изъ подполья», «Крокодилъ или необыкновенное событiе въ пассажѣ», «Игрокъ». Все это вещи весьма различной художественной цѣнности и весьма различной извѣстности. Кто не знаетъ «Бѣдныхъ людей»? Ну, а, напримѣръ, рассказъ «Чужая жена и мужъ подъ кроватью» едва-ли многіе читали. И по всей справедливости не читали: рассказъ плохъ. Но для нашей цѣли этотъ ничтожный рассказъ можетъ оказаться очень полезнымъ и важнымъ. Въ этихъ мелочахъ Достоевскій остается всетаки Достоевскимъ со всѣми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышленія. Въ нихъ, въ этихъ старыхъ мелочахъ можно найти задатки всѣхъ послѣдующихъ образовъ, картинъ, идей, художественныхъ и логическихъ приѣмовъ Достоевскаго. И было бы въ высшей степени интересно совершить эту операцію вплоть, отъ начала до конца; то-есть прослѣдить всю, такъ сказать, литературную эмбриологию Достоевскаго. Но этой задачи мы на себя не беремъ и посмотримъ только на тѣ черты повѣстей и рассказовъ, вошедшихъ во второй и третій томы, которые оправдываютъ заглавіе предлагаемой статьи: жестокий талантъ.

Прежде всего надо замѣтить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевскаго и именно со стороны ихъ привлекательности, со стороны какъ бы заключающагося въ мучительствѣ сладострастiя. По этой части въ его мелкихъ повѣстяхъ и рассказахъ разсыпано множество иногда чрезвычайно тонкихъ замѣчаній. Примѣры ихъ приведены у насъ въ эпиграфѣ. Простая выписка ихъ могла бы наполнить цѣлыя страницы; особенно если заимствовать ихъ не изъ старыхъ только мелочей Достоевскаго, а изъ его позднѣйшихъ вещей, когда въ его творческой фантазiи мелькалъ образъ Ставрогина («Бѣсы»), который «увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою шту-

кой и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы жертвою жизнью для челоувѣчества, что онъ напелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія». Впрочемъ, и ниже, вовсе не касаясь послѣднихъ и крупныхъ произведеній Достоевскаго, мы увидимъ великолѣпные образчики того пониманія и того интереса, которые онъ вкладывалъ въ свои изображенія мучительскихъ поступковъ, и жестокихъ чувствъ. Конечно, художникъ на то и художникъ, чтобы интересоваться и понимать: ему «звѣздная книга ясна», съ нимъ «говоритъ морская волна». И хотя въ звѣздной книгѣ едва-ли что-нибудь написано о жестокости, мучительствѣ, злости, да и морская волна о нихъ не говоритъ; но разъ эти вещи существуютъ и играютъ важную роль въ челоувѣческой жизни, художникъ долженъ интересоваться ими и понимать ихъ. *Долженъ*—это, впрочемъ, немножко сильно сказано. Платонъ изгналъ изъ своей идеальной республики поэта, особенно искуснаго въ подражаніи и способнаго принимать множество различныхъ формъ». Платонъ понималъ величіе такого художника и предлагалъ украсить его вѣнками и облить благовоніями, но, вопреки прославленной многосторонности античнаго духа, все-таки выпроваживалъ его изъ республики, на основаніи «несовѣстности нѣсколькихъ занятій въ одномъ лицѣ». Мы, конечно не потребуемъ такой узкости и специализаціи поэтическаго творчества. Напротивъ, чѣмъ шире художникъ, чѣмъ больше струнъ души челоувѣческой онъ затрогиваетъ, тѣмъ онъ намъ дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэтъ съ одинаковою силою и правдою изобразилъ ощущенія волка, пожирающаго овцу, и овцы, пожираемой волкомъ. Которое нибудь изъ этихъ двухъ положеній ему ближе, интереснѣе для него, что и должно отозваться на его работѣ.

Мнѣ попался очень удобный, по наглядности, примѣръ, и я думаю, что никто въ русской литературѣ не анализировалъ ощущеній волка, пожирающаго овцу, съ такою тщательностью, глубиной, съ такою, можно сказать, любовью, какъ Достоевскій, если только можно въ самомъ дѣлѣ говорить о любовномъ отношеніи къ волчьимъ чувствамъ. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорта волчьихъ чувствъ, простой голодъ напримѣръ. Нѣтъ, онъ рылся въ самой глубокой глубинѣ волчьей души, розыскивая тамъ вещи тонкія, сложныя—не простое удовлетвореніе аппетита, а именно сладострастiе злобы и жестокости. Эта специальность Достоевскаго слишкомъ бросается въ глаза, чтобы ея не замѣтить. Не смотря, однако, на то, что Достоевскій далъ въ сферѣ этой своей специальности много крупныхъ

и цѣнныхъ вещей, онъ какъ бы нѣсколько противорѣчить другой, обыкновенно усвоенной дѣятельности Достоевскаго чертѣ. Останавливаясь на нашей метафорѣ, иной скажетъ, пожалуй, что Достоевскій, напротивъ, съ особенною тщательностью занимался изслѣдованіемъ чувствъ овцы, пожираемой волкомъ: онъ вѣдь авторъ «Мертваго дома», онъ пѣвецъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», онъ такъ умѣлъ ровескивать лучшія, высшія чувства тамъ, гдѣ ихъ существованія никто даже не подозрѣвалъ. Все это справедливо и было еще болѣе справедливо много лѣтъ тому назадъ, когда опѣнка Достоевскаго впервые отлилась въ ту форму, которая и донынѣ господствуетъ. Но принимая въ соображеніе всю литературную карьеру Достоевскаго, мы должны будемъ ниже прийти къ заключенію, что онъ просто любилъ травить овцу волкомъ, причемъ въ первую половину дѣятельности его особенно интересовала овца, а во вторую—волкъ. Однако, тутъ не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевскій не сжигалъ того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигалъ. Въ немъ просто постепенно произошло нѣкоторое перемѣщеніе интересовъ и особенностей таланта: то, что было прежде на второмъ планѣ, выступило на первый, и наоборотъ. Добролюбовъ былъ въ свое время правъ, говоря объ относительной слабости таланта Достоевскаго, и о «гуманическомъ» направленіи его художественнаго чутья. Однако, и тогда уже были крупныя задатки того большаго, но жестокаго таланта, который такъ пышно развернулся въ послѣдствіи. Второй и третій томы сочиненій Достоевскаго какъ нельзя лучше свидѣтельствуютъ объ этомъ.

Это цѣлый тщательно содержимый звѣринецъ, цѣлый питомникъ волковъ разнообразныхъ породъ, владѣлецъ котораго даже почти не щеголяетъ своей богатой коллекціей, а тѣмъ паче не думаетъ объ извлеченіи изъ нея прямой выгоды; онъ такъ тонко знаетъ свое дѣло и такъ любитъ его, что изученіе волчьей природы представляетъ для него нѣчто самоцѣльное; онъ нарочно дразнитъ своихъ звѣрей, показываетъ имъ овцу, кусокъ кроваваго мяса, бьетъ ихъ хлыстомъ и каменнымъ желѣзомъ, чтобы посмотреть на ту или другую подробность ихъ злобы и жестокости—самому посмотреть и, разумеется, публикѣ показать.

II.

Начнемъ съ того отдѣленія звѣринца, которое называется «Записки изъ подполья».

Подпольный человѣкъ (будемъ для краткости такъ называть неизвѣстное лицо, отъ

имени котораго ведутся «Записки изъ подполья») начинаетъ свои записки нѣкоторыми философскими размышленіями. При этомъ, среди безразличныхъ для насъ въ настоящую минуту, но не лишенныхъ блеска и оригинальности мыслей, онъ выматываетъ изъ себя передъ читателемъ душу, стараясь дорыться до самаго ея дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблаченіе происходитъ жестокое и именно въ томъ направленіи, чтобы предъявить публикѣ «всѣ изгибы сладострастія» злобы. Это уже само по себѣ производитъ впечатлѣніе чего-то душнаго, смраданаго, затхлаго; истинно, точно въ подпольи сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимаетъ передъ тобой одну за другой грязныя тряпки съ своихъ гноящихся, вонючихъ явищъ. Затѣмъ, разоблаченіе постепенно переходитъ изъ словеснаго въ фактическое, то-есть идетъ рассказъ о нѣкоторыхъ подвигахъ героя.

Разныя мелочныя и вздорныя обстоятельства, среди которыхъ онъ не перестаетъ витать и искать новыхъ и новыхъ поводовъ для злобы, приводятъ подпольнаго человѣка въ веселый домъ и оставляютъ его тамъ ночевать. Здѣсь онъ заводитъ съ своей случайной, минутной подругой длинный и мучительный для нея разговоръ съ спеціальною цѣлью ее поучать. Онъ ее въ первый разъ въ жизни видитъ, ничего, собственно говоря, противъ нея не имѣетъ и имѣть не можетъ. Но въ немъ заговорили волчьи инстинкты. «*Болше всего меня увлекала мѣра*», вспоминаетъ онъ. Дѣло удастся не сразу. Волкъ пробуетъ подойти къ наемной жертвѣ то съ той, то съ другой стороны, чтобы вѣрнѣе вонзить зубы. «Въ тонъ надо попасть, мелькнуло во мнѣ; сантиментальностью-то не много возьмешь»... «*пожалуй, и не понимаетъ, думалъ я, да и смѣшно—мораль*»... «картинками вотъ, этими картинками-то тебя надо!—подумаю я про себя». Такъ поощрялъ себя подпольный спеціалистъ жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Онъ началъ съ разсказа о видѣнныхъ имъ похоронахъ публичной женщины, похоронахъ печальныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ, какія, дескать, и тебѣ предстоятъ; потомъ заговорилъ о судьбѣ публичныхъ женщинъ вообще, алородно тыкая въ больныя мѣста и ища какихъ-нибудь уже готовыхъ ранъ, которыя было бы удобно бередить. Потомъ пошли картинныя противоположнаго свойства, рововыя картинны семейнаго счастья, котораго слушательница лишена. Между прочимъ, система мучительства и жестокости вкладываютъ сюда еще одну лепту, разумеется, въ соотвѣтственной случаю окраскѣ. «Въ первое то время, говоритъ подпольный человѣкъ:—

даже и ссоры съ мужемъ хорошо кончаются. Иная сама, чѣмъ больше любить, тѣмъ больше ссоры съ мужемъ завариваетъ. Право, я зналъ такую: «такъ, вотъ, люблю, дескать, очень и изъ любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь-ли, что изъ любви нарочно человѣка можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее видимо принимаютъ, и подпольный человѣкъ такъ и сыплетъ ими, точно хлыстомъ хлещетъ ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ея мрачную будущность, и болѣзнь, и смерть, и похороны, и все это выходитъ такъ безотрадно, такъ мучительно. Жертва пробуетъ сопротивляться, оттолкнуть отъ себя эти навойливья, непрощенныя видѣнія недоступнаго счастья и неизбежнаго несчастія. Но подпольный человѣкъ увлеченъ «игрой» и умѣетъ вести ее. Однако, такъ какъ онъ только играетъ въ волки и овцы, даже въ помысленіи не имѣя «изъ мрака заблужденія горячимъ словомъ убѣжденія» и т. д., то... Но пусть онъ самъ рассказываетъ.

«Теперь, достигнувъ эффекта, я вдругъ струсилъ. Нѣтъ, никогда, никогда еще я не былъ свидѣтелемъ такого отчаянія! Она лежала ничкомъ, крѣпко уткнувъ лицо въ подушку и обхвативъ ее обѣими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тѣло ея вздрагивало какъ въ судорогахъ. Спершіяся въ груди рыданія тѣснили, рвали ее и вдругъ воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнѣе прижималась она къ подушкѣ; ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь здѣсь, хотя одна живая душа, узнала про ея терзаніе и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою въ кровь (я видѣлъ это потомъ), или, вѣдѣвшися пальцами въ свои распутавшіяся косы, такъ и замирала въ усилии, сдерживая дыханіе и стискивая зубы».

Этого подпольный человѣкъ не ожидалъ и растерялся, а растерявшись, ни съ того ни съ сего далъ Лизѣ (такъ звали публичную женщину) свой адресъ и пригласилъ ее къ себѣ. Понятное дѣло, что на другой же день подпольный человѣкъ сталъ злиться и на себя, и на Лизу. Не за то, что, безъ нужды и цѣли, а собственно ради «игры» измучилъ ее, а за то, что пригласилъ къ себѣ. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что, можетъ быть, она и не придетъ, что ее «мерзавку», не пустать. Иногда ему приходило въ голову самому съѣздить къ ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходять. «Но тутъ, при этой мысли, во мнѣ поднималась такая злоба, что, кажется, я бы такъ и раздавилъ эту «проклятую» Лизу, если-бы она возлѣ меня вдругъ случилась, оскорбилъ бы

ее, ошлевалъ бы, выгналъ бы, ударилъ бы!» Прошелъ день, прошелъ другой, Лиза не шла. Подпольный человѣкъ началъ-было уже успокоиваться, какъ вдругъ, на третій день Лиза является и, вдобавокъ, застаётъ нашего героя въ самой неприглядной обстановкѣ и въ ссорѣ, чуть не въ дракѣ съ лакеемъ. Онъ «стоялъ передъ ней убитый, ошелюмованный, омерзительно-сconfуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами своего лохматого ватнаго халатика». Послѣ нѣкоторыхъ истерическихъ прелюдій, ломаній и вывертовъ, подпольный человѣкъ предложилъ Лизѣ чаю, и вотъ какъ онъ объ этомъ вспоминаетъ:

— Пей чай! проговорилъ я злобно. Я злился на себя, но, разумѣется, достаться должно было ей. Страшная злоба противъ нея закипѣла вдругъ въ моемъ сердцѣ; такъ бы и убилъ ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить съ ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», думалъ я. Молчаніе наше продолжалось уже минутъ пять. Чай стоялъ на столѣ, мы до него не дотрогивались: я до того дошелъ, что нарочно не хотѣлъ начинать пить, чтобы этимъ отаготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Нѣсколько разъ она съ грустнымъ недоумѣніемъ взглянула на меня. Я упорно молчалъ. Главный мученикъ быть, конечно, я самъ; потому что вполнѣ сознавалъ всю омерзительную низость моей злобной глупости и въ то же время никакъ не могъ удержатъ себя.

А затѣмъ пошли въ ходъ уже настоящіе волчьи клыки. Подпольный человѣкъ разразился длиннымъ монологомъ, прямо рассчитаннымъ на то, чтобы въ концѣ закончить званную, но не желанную гостью; въ ту памятную для нея ночь, онъ вралъ, смѣялся надъ ней, издѣвался; онъ прѣхалъ, чтобы отомстить одному человѣку, а такъ какъ этого человѣка на лицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нея никакого дѣла не было и нѣтъ, и т. д., и т. д. Но расчеты подпольнаго человѣка оказались невѣрными или, по крайней мѣрѣ, эффектъ его монолога оказался совершенно для него неожиданнымъ. Изъ всей его злобной рѣчи Лиза поняла только, что онъ несчастливъ, бросилась къ нему, обняла и зарыдала. Подпольный человѣкъ на минуту смутился, но тотчасъ же въ сердцѣ его «вдругъ тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство—чувство господства и обладанія». Подпольный человѣкъ поступилъ съ своей гостьей, какъ съ публичной женщиной, грубо, оскорбительно, такъ что она ощутила оскорбленіе, и сунула ей на прощанье въ руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла—оставила на столѣ). Онъ прибавляетъ въ этомъ мѣстѣ своего разсказа, что сдѣлалъ эту жестокость,

то-есть сунуть бумажку, «со злости». Дёвушка ушла и тѣмъ «Записки изъ подполья», собственно говоря, и кончаются.

Я очень бѣгло изложилъ содержаніе этой повѣсти, минуя множество чрезвычайно тонкихъ подробностей. Вся повѣсть представляетъ какое-то психологическое кружево. Но я думаю, что и изъ тѣхъ грубыхъ очертаній, которыми передана повѣсть у меня, видно, какъ глубоко интересовался Достоевскій явленіями жестокости, тиранства, мучительства, и какъ пристально онъ къ нимъ приглядывался. Можетъ быть, самое интересное въ «Запискахъ изъ подполья» это—безпричинность озлобленія подпольнаго человѣка противъ Лизы. Вы не видите причинъ его озлобленности вообще. Человѣкъ является на сцену сорокалѣтнимъ мужчиной, вполне готовымъ, и что въ его жизни такъ изломало его—остается, говоря слогомъ Кайданова, покрыто мракомъ неизвѣстности. Точно вся его гнусность какимъ-то самозарожденіемъ должна объясняться или даже никакого объясненія не требуетъ. На этотъ счетъ въ повѣсти есть только общія фразы, лишенные опредѣленнаго содержанія,—вродѣ того, напримѣръ, что подпольный человѣкъ отвыкъ отъ «живой жизни» и прильпился къ жизни «книжной». Но положимъ, что авторъ просто такъ и хотѣлъ готоваго злца и мучителя изобразить, и, во всякомъ случаѣ, это—его, автора, дѣло, а не черта характера подпольнаго человѣка. Гораздо любопытнѣе то обстоятельство, что подпольный человѣкъ начинаетъ мучить Лизу въ самомъ дѣлѣ рѣшительно ни съ того, ни съ сего: просто, она подъ руку подвернулась. Ни причинъ для злости противъ нея нѣтъ, ни результатовъ никакихъ подпольный человѣкъ отъ своего мучительства не предвидитъ. Онъ предается своему занятію единственно изъ любви къ искусству, для «игры». Съ этою ненужною жестокостію мы еще встрѣтимся. А теперь замѣтимъ только, что самая постановка картинъ жестокости въ рамки ненужности свидѣтельствуешь о цѣли, которую давалъ Достоевскій этому сюжету. Герой могъ бы мучить Лизу съ благою цѣлью наведенія ея на путь истины; могъ бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмѣшку и т. п. Картина потрясающей души во всѣхъ этихъ случаяхъ была бы на лицо. Но Достоевскій отвергъ всѣ внѣшніе, посторонніе мотивы: герой мучитъ, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цѣли тутъ нѣтъ, да вовсе ихъ, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость *an und für sich*, и она-то интересна.

По этой или по какой другой причинѣ, но довольно трудно сказать, какъ относится До-

стоевскій къ своему герою. Въ двухъ-трехъ заключительныхъ строкахъ онъ называетъ его отъ себя безразличнымъ въ нравственномъ отношеніи именемъ «парадоксалиста». Что касается умственного багажа подпольнаго человѣка, то здѣсь можно найти очень различныя вещи; между прочимъ, и такіа философскія размышленія (напримѣръ, о свободѣ воли), которыя не имѣютъ ровно никакого отношенія къ жестокости, а также такіа, которыя очень родственны самому Достоевскому. Въ «Запискахъ изъ подполья», напримѣръ, впервые, еще въ неясной и вопрошательной формѣ, является одна изъ излюблѣннѣйшихъ мыслей послѣднихъ лѣтъ дѣятельности Достоевскаго. Подпольный человѣкъ шепчетъ: «И почему вы такъ твердо, такъ торжественно увѣрены, что только одно нормальное и положительное, однимъ словомъ, только одно благоденствіе человѣку выгодно? Не ошибается ли разумъ-то въ выгодахъ? Вѣдь, можетъ быть, человѣкъ любить не одно благоденствіе? Можетъ быть, онъ равно настолько же любитъ страданіе? Можетъ быть страданіе ему равно настолько же и выгодно, какъ благоденствіе? А человѣкъ иногда ужасно любить страданіе, до страсти—это фактъ». Если читатель припомнитъ, какъ впоследствии Достоевскій страстно проповѣдывалъ страданіе, какъ онъ видѣлъ въ страданіи интимнѣйшее требованіе духа русскаго народа; какъ онъ возводилъ въ перлъ созданія острогъ и каторгу; если читатель припомнитъ все это, то можетъ быть удивится, встрѣтивъ ту же мысль въ запискахъ жестокаго звѣря. Но въ томъ-то и вопросъ—звѣрь ли еще подпольный человѣкъ съ точки зрѣнія Достоевскаго. Мнѣнія подпольнаго человѣка о самомъ себѣ на первый взглядъ поражаютъ безпощадностью: всякую, повидимому, мерзость человѣкъ готовъ рассказать. Но, всматриваясь въ эту странную иповѣдь нѣсколько ближе, вы видите, что подпольный человѣкъ очень не прочь не только порисоваться своей безпощадностью къ самому себѣ, а и оправдаться до известной степени. Прежде всего, онъ вовсе не считаетъ себя уродомъ, человѣкомъ исключительнымъ по существу. Онъ, правда, полагаетъ себя дѣйствительно исключительнымъ человѣкомъ, но только по смѣлости мысли и ясности сознанія. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Что же собственно до меня касается, то вѣдь я только доводилъ въ моей жизни до крайности то, что вы не осмѣливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразуміе, и тѣмъ утѣшались, обманывая сами себя». Въ другомъ мѣстѣ, странно толкуя о «наслажденіи въ зубной боли», подпольный человѣкъ утверждаетъ, что *всякій* «образованный человѣкъ девятъ-

надпятаго столѣтія» на второй, на третій день зубной боли стонетъ уже собственно не отъ боли, а отъ злости. «Стоны его становятся какіе-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по цѣлымъ днямъ и ночамъ. И вѣдь знаетъ самъ, что никакой себѣ пользы не принесетъ стопами; лучше всѣхъ знаетъ, что онъ только напрасно себя и другихъ надрываетъ и раздражаетъ; знаетъ, что даже и публика, передъ которой онъ старается, и все семейство его уже прислушались къ нему съ омерзѣніемъ, не вѣрятъ ему ни на грошъ и понимаютъ про себя, что онъ могъ бы иначе, проще стонать, безъ рулады и безъ вывертовъ, а что онъ только такъ, со злости, съ ехидства балуется. Дескать, «я васъ беспокою, сердце вамъ надрываю, всѣмъ въ домъ спать не даю. Такъ вотъ не спите же, чувствуйте и вы каждую минуту, что у меня зубы болятъ. Я для васъ ужъ теперь не герой, какимъ прежде хотѣлъ казаться, а просто гаденькій человѣкъ, шенапанъ. Ну, такъ пусть же! Я очень радъ, что вы меня раскусили. Вамъ скверно слушать мои подленькіе стоны? Ну, такъ пусть скверно; вотъ я вамъ сейчасъ еще сквернѣй руладу сдѣлаю»... Не понимаете и теперь, господа? Нѣтъ, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять всѣ язвы этого сладострастія!»

Такимъ образомъ, разница между подпольнымъ человѣкомъ и большинствомъ образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія состоитъ только въ томъ, что онъ яснѣе сознаетъ истекающее изъ злобы наслажденіе, а пользуются-то этимъ наслажденіемъ всѣ. Такое обобщеніе значительно смягчаетъ самобичеваніе подпольнаго человѣка. На людяхъ и смерть красна. Не очень уже, значить, сквернѣе подпольный человѣкъ, если всѣ таковы; онъ даже выше остальныхъ, потому что смѣлѣе и умнѣе ихъ. Пусть же кто-нибудь изъ «образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія» попробуетъ бросить въ него камень.

Кромѣ этого смягчающаго или даже возвышающаго обстоятельства, подпольный человѣкъ рѣшился бы, можетъ быть, выставить еще одно. Читатель видѣлъ, что въ числѣ розовыхъ картинъ, которыми подпольный человѣкъ мучительно ущемляетъ душу Лизы, былъ абрисъ женщины, мучающей своего мужа изъ любви. А затѣмъ слѣдовало обобщеніе «знаешь ли, что изъ любви нарочно человѣка можно мучить?» О себѣ же подпольный человѣкъ прямо говоритъ: «любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не могъ даже себѣ представить иной любви и до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоитъ въ добровольно

дарованномъ отъ любимаго предмета правъ надъ нимъ тиранствовать. Я и въ мечтахъ своихъ подпольныхъ иначе и не представлялъ себѣ любви, какъ борьбою, начинать ее всегда съ ненависти и кончать нравственнымъ покореніемъ, а потомъ ужъ и представить себѣ не могъ: что дѣлать съ покореннымъ предметомъ?». Если разумѣть дѣло такъ, что вотъ, дескать,—уродъ, даже любви никогда не ощущавшій, то, конечно, нужно много смѣлости и искренности, чтобы сдѣлать такое заявленіе. Любовь, кажется,—чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной выскоты, и должно быть въ самомъ дѣлѣ жалкій, скудный уродъ тотъ, на языкъ котораго любовь и тиранство однозначущи или, по крайней мѣрѣ, всегда сопутствуютъ другъ другу. Это такъ. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувствъ—совсѣмъ не уродство, а только глубина «проникновенія» въ душу человѣческую? Что если душа, ну, положимъ, хоть не человѣка вообще, а только образованнаго человѣка девятнадцатаго столѣтія, такъ ужъ устроена, что любовь и тиранство въ ней неизбежно цвѣтутъ рядомъ? Простому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любитъ на красоту красиваго лица, а ученый человѣкъ подойдетъ съ микроскопомъ, да и увидитъ въ этомъ красивомъ лицѣ цѣлую сѣть очень некрасивыхъ морщинъ, рытвинъ и пр. Также и тутъ. Тонкіе психологи, вродѣ подпольнаго человѣка и самого Достоевскаго, могутъ находить въ душѣ такіа вещи и такіа сочетанія вещей, которыя намъ, простымъ смертнымъ, совершенно недоступны. И если въ самомъ дѣлѣ любовь и тиранство растутъ, цвѣтутъ и даютъ плоды рядомъ, даже переходя другъ въ друга; если это нѣкоторымъ образомъ законъ природы, то опять-таки кто изъ образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія посмѣетъ бросить камнемъ въ подпольнаго человѣка? Камень неизбежно отскочитъ отъ него, какъ отъ стѣны горохъ, и поразитъ самого метальщика. И, значить, подпольный человѣкъ опять оправданъ и даже возвеличенъ. Вѣдь ужъ не о себѣ лично, а въ видѣ общаго наблюденія, онъ говоритъ: «знаешь ли, что можно изъ любви нарочно мучить человѣка?»

Такое скептическое отношеніе къ лучшимъ или вообще благожелательнымъ чувствамъ едва-ли ограничивается въ подпольномъ человѣкѣ одною любовью. Эпиграфомъ къ разсказу о встрѣчѣ съ Лизой (онъ имѣетъ отдѣльное заглавіе «По поводу мокраго снѣга») взяты стихи Некрасова: «Когда изъ мрака заблужденія, горячимъ словомъ

убѣжденія, я душу падшую извлечь» и т. д. Въ устахъ подпольнаго человѣка эти слова—чистѣйшая иронія, потому что хотя Лиза, дѣйствительно, «стыдомъ и ужасомъ полна», «разрѣшилася слезами, возмущена, потрясена», но этого результата подпольный человѣкъ вовсе не имѣлъ въ виду и, какъ мы видѣли, занимался просто «игрой» въ волки и овцы. Но не даромъ же поставленъ такой эпиграфъ, и отъ скептическаго ехидства подпольнаго человѣка можно ожидать самыхъ обобщенныхъ киваній на Петра: дескать, если бы такой казусъ съ кѣмъ-нибудь изъ васъ, господа, произошелъ, такъ вы не преминули бы продекламировать стихи Некрасова и имѣть при этомъ чрезвычайно душеспасительный и даже геройскій видъ, ну, а я знаю, какъ эти дѣла дѣлаются, знаю, что если даже, дѣйствительно, вы о спасеніи падшей души думали, то все-таки тутъ примѣшивалось много желанія помучить человѣка, потерзать его; я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокія чувства прачтаетесь...

Справедливо это объясненіе или нѣтъ, но достовѣрно, что въ подпольномъ человѣкѣ каждое проявленіе жизни осложняется жестокостью и стремленіемъ къ мучительству. И не случайное это, конечно, совпаденіе, что самъ Достоевскій всегда и вездѣ тщательно разглядывалъ примѣсы жестокости и злобы къ разнымъ чувствамъ, на первый взглядъ не имѣющимъ съ ними ничего общаго. Въ мелкихъ повѣстяхъ, собранныхъ во второмъ и третьемъ томахъ сочиненій Достоевскаго, разсыпаны зародыши этихъ противоестественныхъ сочетаній, зародыши, получившіе въ послѣдствіи дальнѣйшее развитіе.

Въ «Крокодилѣ» намѣчено сочетаніе дружбы со злобой («странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на довать десятыхъ былъ съ нимъ друженъ изъ злобы»). Ниже мы встрѣтимся съ чрезвычайно своеобразнымъ выраженіемъ этого сочетанія въ «Вѣчномъ мужѣ».

Въ «Игроку» есть нѣкая Полина—странный типъ властной до жестокости, вѣломощной, но обаятельной женщины, повторяющійся въ Настасѣ Филипповѣ, — въ «Идиотѣ» и въ Грушенькѣ — въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Этотъ женскій типъ очень занималъ Достоевскаго, но въ разработку его онъ во всю жизнь ни на шагъ не продвинулся впередъ. Пожалуй, даже первый набросокъ — Полина яснѣе послѣдняго — Грушеньки. Но и Полина напоминаетъ собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться въ вполнѣ определенную форму, вытягивающееся то въ одну, то въ другую сторону. Между этой

Полиной и героиней «Игрокомъ», существуютъ чрезвычайно странныя отношенія. Она его любить, какъ оказывается, впрочемъ уже очень поздно, а между тѣмъ третируетъ какъ лакея, и даже хуже тѣмъ лакея. Въ каждой подробности ея отношеній къ «Игроку» сквозитъ «что-то презрительное и ненавистное». Игрокъ ее тоже любить, и она знаетъ объ этомъ и именно поэтому всячески издѣвается надъ нимъ, приказываетъ дѣлать разныя глупости, мучить намеренною циничностью и пошлостью своихъ разговоровъ. Правда, что въ ней это, кажется, фатально. По крайней мѣрѣ, въ отношеніи ея наружности встрѣчается одна очень курьезная и характерная черта: «слѣдокъ ноги у нея узенькій и длинный—мучительный, именно мучительный». Что же ужъ тутъ подблаетъ, коли слѣдокъ ноги мучительный! Въ свою очередь, и герой хорошенько не знаетъ, дѣйствительно ли онъ любитъ Полину или, напротивъ, ненавидитъ. По одному случаю онъ записываетъ: «И еще разъ теперь я задамъ себѣ вопросъ: люблю ли я ее? И еще разъ не сдумалъ на него отвѣтить, т. е. лучше сказать, я опять, въ сотый разъ, отвѣтилъ себѣ, что я ее ненавижу. Да, она была мнѣ ненавистна. Бывали минуты, что я отдавалъ бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить въ ея грудь острый ножъ, то я, мнѣ кажется, схватился бы за него съ наслажденіемъ. А между тѣмъ, клянусь всѣмъ, что есть святого, если бы на Шлангенбергѣ, на модномъ пуантѣ, она, дѣйствительно, сказала мнѣ: «бросьтесь внизъ», то я бы тотчасъ же бросился, и даже съ наслажденіемъ».

Въ повѣсти «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичокъ Ежевикинъ, играющій роль шута, на видъ очень добродушный и всѣмъ желающій угождать, а въ сущности очень ядовитый—протогипъ цѣлаго ряда старыхъ шутовъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Достоевскаго. Дочь Ежевика, бѣдная гувернантка, находящаяся въ особенно трудномъ положеніи, полагаетъ, что отецъ представляетъ изъ себя шута для нея. По ходу повѣсти, это предположеніе очень вѣроподобно, но самъ Достоевскій рѣшительно его отрицаетъ. Онъ говоритъ, что Ежевикинъ «сгорчилъ изъ себя шута просто изъ внутренней потребности, чтобы дать выходъ накопившейся злобѣ»...

Впрочемъ, въ «Селѣ Степанчиковѣ» есть лица, гораздо болѣе интересныя, чѣмъ злобный старый шутъ Ежевикинъ.

III.

Владѣлецъ села Степанчикова, Егоръ Ильичъ Ростаневъ, отставной гусарскій пол-

ковникъ, есть настоящая овца, смиренная и благодушная до глупости. Всякій охочій человекъ можетъ на немъ ѣздить, сколько душѣ угодно, оскорблять его, тиранить, и онъ же будетъ считать себя виноватымъ передъ своимъ тираномъ и просить у него прощенія. Таковы именно его отношенія къ матери, вдовѣ-генеральшѣ, несноснѣйшей по глупости и наглости женщинѣ, которая, живя на шеѣ у сына и терзая его на всякія манеры, все находитъ, что онъ эгоистъ и недостаточно къ ней внимателенъ. Но тиранство матери совершенно блѣднѣетъ передъ тѣмъ, что терпитъ полковникъ Ростаневъ, да и всѣ обитатели села Степанчикова отъ нѣкоего Оомы Оомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляръ волчьей породы. Объявился онъ сначала въ домѣ покойника-мужа генеральши, «въ качествѣ чтеца и мученика», попросту приживальщика, много терпѣвшаго отъ генеральскаго издѣвательства. Но на дамской половинѣ генеральскаго дома онъ разыгрывалъ совершенно другую роль. Генеральша питала къ нему какое-то мистическое уваженіе, которое онъ поддерживалъ душевными бесѣдами, снотолкованіями, прорицаніями, хожденіемъ къ обѣдѣ и завтраку и проч. А когда генераль умеръ и генеральша переехала къ сыну, Оома Опискинъ сталъ рѣшительно первымъ человекомъ въ домѣ. Изъ прошлаго Оомы съ достовѣрностью извѣстно только, что онъ потерпѣлъ неудачу на литературномъ поприщѣ и потомъ множество обидъ отъ своего генерала. И онъ, значитъ, былъ овцой, по всей вѣроятности, злобной, паршивой и вообще скверной, но во всякомъ случаѣ униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положенію. А теперь вдругъ получилась возможность разыграть его волчьимъ инстинктамъ. «Теперь представьте же себя», говоритъ Достоевскій:—что можетъ сдѣлаться изъ Оомы, во всю жизнь угнетеннаго и забитаго и даже, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ битаго, изъ Оомы, втайнѣ сластолюбиваго и самолюбиваго, изъ Оомы—огорченнаго литератора, изъ Оомы—шута изъ насущнаго хлѣба, изъ Оомы—въ душѣ деспота, не смотря на все предыдущее ничтожество и безсиліе, изъ Оомы—хвастуна, а при удачѣ нахала, изъ этого Оомы, вдругъ попавшаго въ честь и славу, возмелѣннаго и захваленнаго, благодаря идіоткѣ покровительницѣ и обольщенному, на все согласному покровителю, въ домъ котораго онъ попалъ, наконецъ, послѣ долгихъ странствованій?»

Дѣйствительно, можно себя представить, какая оберъ-каналья должна была получиться при такихъ условіяхъ! А, впрочемъ, если читателю покажется, что подобную каналью

представить себѣ очень уже легко, то онъ ошибется: Легко-то, легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно проникательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй волѣ во всѣ извилины мрачныхъ лабиринтовъ пакостной человѣческой души. Легко—знатоку и любителю, каковъ Достоевскій. Достоевскій, однако, пожалалъ почему-то на этотъ разъ предъявить своего звѣря въ нѣсколько комическомъ освѣщеніи—капризъ художника, который можетъ всегда вернуться опять и опять къ своему сюжету и перепробовать на немъ всевозможныя освѣщенія. Тѣмъ болѣе, что комическій колоритъ при этомъ только сдѣлываетъ впечатлѣніе, заставляя васъ время отъ времени улыбнуться; но, спустивъ улыбку съ губъ, вы тотчасъ же понимаете, что передъ вами во всякомъ случаѣ злобный тиранъ и мучитель.

Вотъ образчикъ мучительства Оомы Опискина.

— Прежде кто вы были? говорить, напримѣръ, Оома, разваливъ послѣ сытнаго обѣда въ покойномъ креслѣ, причемъ слуга, стоя за кресломъ, долженъ былъ отмахивать отъ него, свѣжей липовой вѣткой, мухъ.—На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронилъ въ васъ искру того небеснаго огня, который горитъ теперь въ душѣ вашей. Заронилъ ли я въ васъ искру небеснаго огня или нѣтъ? Отвѣчайте: заронилъ я въ васъ искру или нѣтъ?

Оома Оомичъ, по правдѣ, и самъ не зналъ. зачѣмъ сдѣлалъ такой вопросъ. Но молчаніе и смущеніе дяди (полковника Ростанева) тотчасъ же его раззадорили. Онъ, прежде терпѣливый и заботливый, теперь вспыхивалъ, какъ порохъ, при каждомъ малѣйшемъ противорѣчій. Молчаніе дяди показалось ему обиднымъ, и онъ уже теперь настаивалъ на отвѣтѣ.

— Отвѣчайте же: горитъ въ васъ искра или нѣтъ.

Дядя мнется, жметса и не знаетъ, что предпринять.

— Позвольте вамъ замѣтить, что я жду, замѣчаетъ Оома обидчивымъ голосомъ.

— Mais répondez donc, Егорушка, подхватываетъ генеральша, пожмая плечами.

— Я спрашиваю: горитъ въ васъ эта искра или нѣтъ? снисходительно повторяетъ Оома, взявъ конфетку изъ бонбоньерки, которая всегда ставится передъ нимъ на столѣ. Это уже распоряженіе генеральши.

— Ей-богу не знаю, Оома, отвѣчаетъ, наконецъ, дядя, съ отчаяніемъ во взорахъ:—должно быть что-нибудь есть въ этомъ родѣ, и, право, ты ужъ лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! такъ по вашему я такъ ничтоженъ, что даже не стою отвѣта. Вы это хотѣли сказать? Ну, пусть будетъ такъ, пусть я буду ничто.

— Да нѣтъ же, Оома, Богъ съ тобой! Ну, когда я это хотѣлъ сказать?

— Нѣтъ, вы именно это хотѣли сказать.

— Да вѣланусь же, что нѣтъ!

— Хорошо! пусть буду я лгуны! пусть я, по вашему обвиненію, нарочно измысливаю предлога къ ссорѣ; пусть ко всѣмъ оскорбленіямъ присоединится и это—я все перенесу...

— Mais, mon fils! вскрикивает испуганная генеральша.

— Ома Омич! маленька! восклицает дядя въ отчаяніи:—ей-богу же я не виноват! Такъ развѣ, нечаянно, съ языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Ома: я вѣдь глухъ, самъ чувствую, что глухъ.

И т. д. Конечно, Ома смѣшонъ, мелокъ и глухъ съ своими приставами; но чтобы быть жестокимъ тираномъ, вовсе не требуется величавой и трагической фizioноміи. Вообще, мучителямъ дѣлаютъ слишкомъ много чести, представляя ихъ себѣ непременно какими-то гигантами. Напротивъ, при кровопійственномъ комариномъ жалѣ, они обладаютъ болѣею частью и комаринымъ ростомъ. Примѣръ — Ома Опискинъ, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако, можетъ отравить жизнь слишкомъ деликатнымъ, или слабымъ людямъ своимъ мелочнымъ, но назойливымъ и наглымъ жужжаніемъ. Взвѣсьте муки, доставляемыя какимъ-нибудь сильнымъ острымъ страданіемъ, и сравните ихъ съ тѣми мелочами, что хронически терпитъ человѣкъ, осужденный на сожительство съ Омой Опискинымъ, и еще неизвѣстно, которая чашка вѣсовъ перетянетъ. Вы видите, что несчастная овца-полковникъ совершенно забить, запуганъ тою деревянною пилою, которою Ома неустанно пилить его изо дня въ день. Полковникъ готовъ дать своему мучителю какой угодно выкупъ, унижить себя, назвать дуракомъ, провалиться сквозъ землю, вывернуться наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиленіе. Но Омѣ Опискину никакого выкупа не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алканіе ненасытно: пусть полковникъ еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и, когда мучитель, наконецъ, устанетъ, онъ оставитъ свою жертву до слѣдующаго раза. Только усталость и можетъ положить конецъ подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здѣсь сытости и быть не можетъ. На какія бы уступки жертва ни шла, каждый ея шагъ даетъ только новый поводъ для терзаній; все равно какъ каждое движеніе рыбы на удочкѣ неизбѣжно терзаетъ ея внутренности. Ома не добивается никакого опредѣленнаго результата, достиженіе котораго положило бы конецъ его операціи; для него самый процессъ мучительства важенъ, процессъ самодовлѣющій и, слѣдовательно, самъ по себѣ безостановочный.

Разъ полковникъ предложилъ Омѣ пятнадцать тысячъ, чтобы онъ только убрался тихимъ манеромъ изъ дому. Ома разыгралъ трагическую сцену съ этими, какъ онъ выразился, «милліонами», расшвырялъ деньги по комнатамъ, надругался надъ полковникомъ всласть, заставилъ его просить у себя про-

щенія и, въ концѣ-концовъ, не взявъ денегъ, но и изъ дому не ушелъ. Нѣкто Миничиковъ отзывается объ этомъ случаѣ такъ: «Отказался отъ пятнадцати тысячъ, чтобы взять потомъ тридцать. Впрочемъ, знаете что: я сомнѣваюсь, чтобы у Омы былъ какой-нибудь расчетъ. Это человѣкъ непрактическій, это тоже въ своемъ родѣ какой-то поэтъ. Пятнадцать тысячъ... гм! Видите-ли, онъ и взялъ бы деньги, да не устоялъ передъ соблазномъ погримасничать, порисоваться». Впослѣдствіи, когда по одному, совершенно особенному случаю, полковникъ, наконецъ, поступилъ съ своимъ мучителемъ физически и буквально вышвырнулъ его за дверь, Ома смирился. Онъ даже устроилъ счастье полковника, конечно со всякими вывертами и ломаніями. Но, тѣмъ не менѣе, Миничиковъ правъ: Ома человѣкъ непрактическій — ему нужно ненужное.

Трудно, разумеется, положить границу между нужнымъ и ненужнымъ. То, что вовсе не нужно, напримѣръ русскому мужику, можетъ быть необходимо англійскому лорду, а по прошествіи нѣкотораго времени и русскій мужикъ потребуетъ вещей по теперешнему ненужныхъ. Вообще, кромѣ прямого удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей въ воздухѣ, пищѣ, кровѣ, одеждѣ, все теперь нужно было когда-то совсѣмъ ненужно. Бываетъ и наоборотъ, что потребности упраздняются, нужное отходитъ въ область ненужнаго. Иногда это дѣло измѣнчивой моды, иногда — кореннаго измѣненія условій жизни. Но если такимъ образомъ между нужнымъ и ненужнымъ нельзя установить безусловную границу, то въ извѣстномъ обществѣ, стоящемъ на извѣстномъ уровнѣ, уловить границу условную 'вовсе уже не такъ трудно. Запутанность подробностей или пристрастіе изслѣдователя могутъ, конечно, затемнить дѣло и поставить подъ сомнѣніе даже такой, напримѣръ, вопросъ, какъ: нужна-ли свобода русской печати или это ненужная роскошь? Но въ принципѣ тутъ всетаки никакой трудности нѣтъ. Тѣмъ болѣе, что въ крупныхъ, по крайней мѣрѣ, вещахъ, условная, историческая граница между нужнымъ и ненужнымъ отмѣчается, обыкновенно, или большими общественными порядками, или присутствіемъ крупныхъ, выдающихся личностей, новаторовъ, которые ищутъ чего-то по общему мнѣнію ненужнаго, но долженствующаго стать, можетъ быть, завтра же нужнымъ. Не будемъ спорить о самой механикѣ процесса; не будемъ говорить о томъ, отдѣльныя-ли выдающіяся личности создаютъ новую потребность или упраздняютъ старую, или наоборотъ, они своею дѣятельностью только подводятъ итогъ

разрозненнымъ и непродуманнымъ стремлѣніемъ массы. Для насъ этотъ вопросъ безразличенъ, который притомъ же отвлекъ бы насъ далеко въ сторону. Такъ-ли, сякъ-ли, но достоверно, что въ большихъ и малыхъ дѣлахъ, въ области отвлеченной теоріи и житейской практики, отъ времени до времени являются особенно требовательные люди, которые не довольствуются нужнымъ, которымъ нужно даже противно, а дорого и важно ненужное. Для нихъ томительна прѣвшающаяся сфера нужного, того, что всѣмъ требуется и безъ чего никто уже не можетъ жить. Они требуютъ отъ жизни, если не неизвѣданнаго и еще загадочнаго новаго по существу, то, по крайней мѣрѣ, какой-нибудь приправы къ прѣсному нужному...

Вы ждете, конечно, разговора о тѣхъ представителяхъ человѣчества, которые ищутъ новыхъ истинъ, новыхъ формъ справедливости, и дѣломъ страшныхъ усилій, страданий, а иногда самой жизни своей переводятъ ихъ изъ области ненужнаго въ область нужнаго, обращаютъ во всеобщую потребность; о тѣхъ людяхъ, про которыхъ сказано, что никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ; о тѣхъ, кого соотечественники и современники далеко не всегда встречаютъ съ распростертыми объятіями, а напротивъ, слишкомъ часто гонятъ, чтобы потомъ, черезъ много лѣтъ, потомки задали себѣ безуданно повторяющійся въ исторіи вопросъ: какъ это можно было гнать и распинать тѣхъ людей? и какъ можно было считать ненужнымъ то, чего они добивались?

Да, эти люди сюда относятся. Но не о нихъ пойдетъ у насъ разговоръ, потому что насъ ждетъ Ома Опискинъ, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этимъ сопоставленіемъ «пальца отъ ноги», по выражанію Мененія Агриппы, съ красой и гордостью людскаго рода. Оно только на первый взглядъ кажется оскорбительнымъ для человѣческаго достоинства. Дѣло въ томъ, что двери ненужнаго очень широки и черезъ нихъ входятъ въ жизнь добро и зло. Римская чернь, временъ упадка Рима, орала «хлѣба и зрѣлища»! Но не всегда же «зрѣлища» были такъ же нужны, какъ хлѣбъ, а тѣмъ паче тѣ жестокія, кровавыя зрѣлища, которыми наслаждались выродившіеся римляне. Кто-то когда-то сдѣлалъ эти зрѣлища равными насущному хлѣбу. Кто сдѣлалъ—сильныя-ли своимъ нравственнымъ вліяніемъ или официальною мощью личности или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь, это опять-таки для насъ въ настоящую минуту безразлично. Но достоверно, что особенное раздраженіе нервовъ, даваемое кровавыми зрѣлищами, прежде ненужное, стало потребностью, и что первые, кто ощутилъ эту

потребность, вводили въ жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, недовольствующимися нужнымъ, хлѣбомъ. Такимъ образомъ, не совсѣмъ правъ король Лиръ, говоря: «дай человѣку то лишь, безъ чего не можетъ жить онъ—ты его сравниешь съ животнымъ». Это правда, но неполная правда, полуправда. Другая же половина правды состоитъ въ томъ, что и ненужное, безъ чего жить очень и очень можно, обращаясь въ нужное, равняетъ иногда человѣка съ животнымъ. Все дѣло въ свойствахъ того ненужнаго, къ которому стремятся требовательныя натуры, и въ степени ихъ вліянія на своихъ соотечественниковъ и современниковъ. Ненужное можетъ быть возвышенно и даже превышать человѣческія силы и способности; но оно можетъ быть и низменно до скотства. И въ томъ и въ другомъ случаѣ его можетъ усиливаться ввести въ жизнь слабосильное ничтожество и дѣйствительно крупная сила. Понятно, какія различныя комбинаціи могутъ выходить изъ этихъ четырехъ данныхъ.

Возвращаясь къ Оомѣ Опискину, надо будетъ признать, что онъ слишкомъ мелокъ, чтобы положить печать своего образа и подобія на скольконибудь значительный кругъ людей. Но представьте себѣ, что онъ обладаетъ какою-нибудь внутреннею силою; представьте себѣ, наприимѣръ, что онъ не неудачникъ-литераторъ, а обладаетъ, напротивъ того, большимъ и оригинальнымъ дарованіемъ, оставаясь въ то-же время Оомой Опискинымъ по натурѣ.

Впрочемъ, покончимъ сначала съ портретомъ Оомы, тогда дѣло будетъ виднѣе.

По теперешнимъ условіямъ нашей жизни, курицу къ обѣду зарѣзать или быка убить нужно, но мучить при этомъ быка и курицу, растягивать ихъ агонію, отрубать имъ предварительно ноги, колесовать—не нужно. Это зрѣлище ужъ, конечно, не скраситъ вашего обѣда, а развѣ испортитъ его. Оомѣ, напротивъ, важно какъ-разъ именно это ненужное. Онъ нарочно протянеть убійство курицы, чтобы опоздать съ обѣдомъ, все время злиться и съ удвоенною жестокостью слѣдить за судорожными вздрагиваніями жертвы. Это стремленіе къ ненужному доходитъ въ Оомѣ до совершенной глупости, которая была бы сама по себѣ смѣшна, если бы отъ нея не страдали люди. Былъ, наприимѣръ, въ селѣ Степанчиковѣ дворовый мальчикъ Оалалей, очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщій баловень, а этого послѣдняго было совершенно достаточно, чтобы Оалалей сталъ предметомъ завистливой злобы Оомы. Но главнымъ покровителемъ Оалалея была сама генеральша, которая наряжала его, какъ куклу, да и любила,

какъ хорошенькую куклу. Этого препятствія Оома не могъ преодолѣть на проломъ, а потому избралъ окольный, но вѣрный путь. Онъ самъ пожелалъ быть благодѣтелемъ Оалалей и началъ свои благодѣянія съ обученія мальчугана «нравственности, хорошимъ манерамъ и французскому языку». «Какъ! говорилъ Оома:—онъ всегда вверху, при своей госпожѣ, вдругъ она, забывъ, что онъ не понимаетъ по-французски, скажетъ ему, напримѣръ: донне муа монъ мушуаръ—онъ долженъ и тутъ найтись, и тутъ услужить!» Но Оалалей оказался глупъ на всѣхъ діалектахъ, къ книжному же обученію, тѣмъ паче французскому, совсѣмъ неспособенъ. Отсюда источникъ его мученій. Допекалъ его Оома, допекала и дворянъ прозвищемъ «французъ». Вдругъ Оома узнаетъ, что камердинеръ полковника, старикъ Гаврила, осмѣлился выразить сомнѣніе въ пользѣ французской грамоты. А Оома тому и радъ, радъ тою злобною радостью, которая хватается за всякій случай приложить къ дѣлу особенно ненужное, виртуозное надругательство: въ наказаніе онъ засадилъ за французскій языкъ самого Гаврилу. А затѣмъ происходитъ такая, напримѣръ, сцена. Въ присутствіи цѣлаго общества онъ обращается къ старику камердинеру:

— Эй ты, ворона, пошелъ сюда! Да удостойте поблизе, Гаврила Игнатьичъ! Это, вотъ видите ли, Павелъ Семеновъ, Гаврила; за грубость и въ наказаніе изучаетъ французскій діалектъ. Я, какъ Орфей, смягчаю зѣвшіе нравы, только не пѣснями, а французскимъ діалектомъ. Ну, французъ мусью шематонъ—*терпѣть не можешь, когда говорятъ ему: мусье шематонъ, знаешь урокъ?*

— Вытвердилъ, отвѣчалъ, повѣсивъ голову, Гаврила.

— А парлэ-ву-франсе?

— Вуй, мусье, же-ле-парлэ-эн-пе...

Разумѣется, всеобщій хохотъ веселой компаніи; старикъ обижається; поднимается страшный скандалъ, за которымъ мы ужъ слѣдить не будемъ. Насъ еще несчастный Оалалей ждетъ. Обратите только вниманіе на эту злостную черту: Оома, издѣваясь надъ Гаврилой вообще, не упускаетъ случая всадить ему еще специальную шпильку мусью шематона, чего тотъ *терпѣть не можетъ*. Этого-то Оомѣ и нужно. Онъ тщательно изучаетъ, по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, что кому не нравится, именно затѣмъ, чтобы, при случаѣ, отточить изъ собранныхъ матеріаловъ ядовитую шпильку.

Такъ какъ Оома обучаетъ Оалалей, кромѣ французскаго языка, еще нравственности и хорошимъ манерамъ, то однажды предъявляетъ его публикѣ подъ такимъ соусомъ.

— Поди сюда, поди сюда, негѣная душа; поди сюда, идіотъ, румяная ты рожа!

Оалалей подходитъ, плача, утирая обѣими руками глаза.

— Что ты сказалъ, когда сожралъ свой пирогъ? повтори при всѣхъ!

Оалалей не отвѣчаетъ и заливается горькими слезами.

— Такъ я скажу за тебя, коли такъ. Ты сказалъ, треснувъ себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, какъ Мартинъ мыло!» Помилуйте, полковникъ, развѣ говорятъ такими фразами въ образованномъ обществѣ, а тѣмъ болѣе въ высшемъ? Сказалъ ты это или нѣтъ? говори!

— Сказалъ! подтверждаетъ Оалалей, всхлипывая.

— Ну, такъ скажи мнѣ теперь: развѣ Мартинъ ѣстъ мыло? Гдѣ, именно, ты видѣлъ такого Мартина, который ѣстъ мыло? Говори же, дай мнѣ понятіе объ этомъ феноменальномъ Мартинѣ!

Молчаніе.

— Я тебя спрашиваю, пристаешь Оома:—кто именно этотъ Мартинъ? Я хочу его видѣть, хочу съ нимъ познакомиться. Ну, кто же онъ? Регистраторъ, астрономъ, пошехонецъ, поэтъ, капитанъ, дворовый чаловѣкъ—кто-нибудь долженъ же быть. Отвѣчай!

— Дво-ро-вый че-ло-вѣкъ, отвѣчаетъ, наконецъ, Оалалей, продолжая плакать.

— Чей? чьихъ господъ?

Но Оалалей не умѣетъ сказать, чьихъ господъ. Разумѣется, кончается тѣмъ, что Оома, въ сердцахъ, убѣгаетъ изъ комнаты и кричитъ, что его обидѣли: съ генеральшей начинаются припадки, а дядя клянетъ часъ своего рожденія, проситъ у всѣхъ прощенія, и всю остальную часть дня ходитъ на цыпочкахъ въ своихъ собственныхъ комнатахъ.

На другой же день послѣ исторіи съ мартиновымъ мыломъ, Оалалей, какъ ни въ чемъ не бывало, подавая утромъ Оомѣ чай, разсказалъ ему, что видѣлъ сонъ «про бѣлаго быка». Оома пришелъ въ ужасъ, распушилъ полковника, а Оалалей подвергъ, кромѣ того, наказанію—стоянію въ углу на коѣнникахъ. Причину же такого гнѣва можно усмотрѣть изъ слѣдующаго реприманда: «Развѣ ты не можешь, говорилъ Оома Оалалей:—развѣ ты не можешь видѣть во снѣ что-нибудь изящное, нѣжное, облагороженное, какую-нибудь сцену изъ хорошаго общества, напримѣръ, хоть господъ, играющихъ въ карты, или дамъ, прогуливающихся въ прекрасномъ саду?» Оому бѣлый быкъ возмущалъ, какъ доказательство «грубости, невѣжества, мужичества вашего неотесаннаго Оалалей». Оалалей обѣщалъ исправиться, но, увы! и на слѣдующій и на третій день, и подрядъ цѣлую недѣлю видѣлъ во снѣ все того же бѣлаго быка, хотя даже молился на ночь, чтобы его не видать. Сохраняетъ же онъ по глупости и правдивости своей не догадывался. Все въ домѣ трепетало отъ ярости Оомы, Оалалей даже исхудалъ, и сердобольныя бабы уже спрыснули его съ уголька, какъ вдругъ исторія кончилась сама собой, изморомъ, потому что Оома былъ отвлеченъ другими дѣлами.

Довольно, кажется. Мы можем пренебречь другими подвигами Оомы, которыхъ еще много, и всё они въ томъ же родѣ. Оома есть одинъ изъ любопытнѣйшихъ экземпляровъ волчьей породы, въ этомъ не можетъ, конечно, быть никакого сомнѣнія—всё его дѣйствія и даже слова запечатлѣны самою свирѣпою жестокостію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, по вѣрному опредѣленію Мизинчикова, непрактическій человѣкъ и, пожалуй, «въ своемъ родѣ какой-то поэтъ»—всё его вышеизложенные поступки поражаютъ своею ненужностію. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная фizioномія Оомы, и если прибавить сюда безмѣрное самолюбіе при полномъ ничтожествѣ, такъ вотъ и весь Оома Опискинъ. Онъ никакой выгоды изъ своей жестокости не извлекаетъ, онъ предается мучительству по непосредственному требованію своей волчьей природы, что называется, *такъ*. Онъ—чистый художникъ, повѣтъ злости и тиранства, безъ малѣйшей утилитарной подкладки. И чѣмъ вычурнѣе, необыкновеннѣе осынившій его голову проектъ мучительства, тѣмъ для него пріятнѣе. Дайте Оомѣ Опискину внѣшнюю силу Ивана Грознаго или Нерона, и онъ имъ не уступитъ ни на одинъ волосъ, «удивитъ міръ злодѣйствомъ». Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу, произойдутъ вещи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе любопытныя.

Представьте себѣ, какъ уже выше было сказано, что Оома Опискинъ не бездарность, потерпѣвшая фіаско на литературномъ поприщѣ, а напротивъ—большой талантъ. Прежде всего, большой талантъ, конечно, смягчить въ Оомѣ Опискинѣ карикатурно-грубыя черты фizioноміи. «Геній и злодѣйство несовмѣстны», говоритъ Пушкинъ устами своего Моцарта. Это неправда—очень совмѣстны. Но все-таки съ крупнымъ талантомъ несовмѣстны такія дурацкія формы, въ какія облекается тиранство Оомы: талантъ придастъ имъ извѣстное изящество, красоту, привлекательность, такъ что даже далеко не всякій догадается, что имѣетъ дѣло съ мучителемъ по призванію природы. Затѣмъ, такъ какъ передъ нами литературный дѣятель, то мы должны имѣть въ виду главнымъ образомъ именно эту его дѣятельность, а до частной его жизни намъ, пожалуй, и никакого дѣла нѣтъ. О подлинномъ Оомѣ Опискинѣ, то—есть о томъ, который показывается въ звѣриницѣ Достоевскаго, одни полагали, что онъ высокой и святой жизни человѣкъ, другіе были совершенно противнаго мнѣнія. Относительно *нашего* Оомы не можетъ быть даже и разговора на этотъ счетъ. Намъ только интересно знать, какъ отразится въ крупномъ литературномъ талантѣ

ненужная жестокость, освободившись отъ глупости, грязи и ничтожества Оомы Опискина.

IV.

Жестокій талантъ, который при этомъ получается, выберетъ, преимущественно, темою для своихъ произведеній страданіе и будетъ заставлять страдать и своихъ дѣйствующихъ лицъ, и своихъ читателей. Конечно, это можетъ сдѣлать и самый мягкій, даже приторный талантъ. Совершенно естественно, что на темѣ страданія построено многое множество литературныхъ произведеній, потому что литература есть только отраженіе жизни, а въ жизни страданія слишкомъ довольно. А разъ за обработку этой темы берется настоящій талантъ, то опять-таки естественно, что онъ вызоветъ у читателя слезы сочувствія или негодованія, вообще заставить его перестрадать извѣстное страдательное положеніе. Но отличительнымъ свойствомъ нашего жестокаго таланта будетъ ненужность причиняемаго имъ страданія, безпричинность его и безцѣльность. Намъ жестокий талантъ будетъ именно вышеупомянутою требовательною натурою, которой нужное совсѣмъ ненужно, для которой нужное слишкомъ прѣсно. Формальнымъ образомъ, на архитектурѣ романа или повѣсти это отразится непомѣрными и совершенно на художественными длиннотами, вводными сценами, отступленіями, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ соблазнъ мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздѣйствію кого-нибудь изъ персонажей. При этомъ, внутренняя сторона всѣхъ этихъ отступленій и вводныхъ картинъ не будетъ вызываться теченіемъ романа, не будетъ соответствовать жизненной правдѣ, не будетъ имѣть нравственного смысла, не будетъ шевелить въ читателѣ мысль. Все это условія или требованія нужнаго, и все это жестокий талантъ презреть и повергнуть къ подножію ненужнаго страданія. Просто для того, чтобы помучить какого-нибудь, имъ самимъ созданнаго, Сидорова или Петрова (а вмѣстѣ съ нимъ и читателя), онъ навалитъ на него невѣроятную гору несчастій, заставить совершить самыя вычурныя преступленія и терпѣть за нихъ соответственныя угрызенія совѣсти, проволочить сквозь тысячи бѣдъ и оскорбленій, самыхъ фантастическихъ, самыхъ невозможныхъ. Житейское, обыденное, нужное онъ оставитъ безъ вниманія или удѣлитъ ему таковое въ самомъ ничтожномъ размѣрѣ. За то каждый мельчайшій штрихъ, каждую микроскопическую подробность ненужнаго страданія разовьетъ съ тщательностію виртуоза. Понятное дѣло, что если бы такую работу представила жесто-

кая бездарность, то, конечно, ничего, кромѣ насмѣшки, въ вознагражденіе не получила бы, потому что тутъ нарушены всѣ общепризнанныя и основательно общепризнанныя условія литературнаго творчества. Но вѣдь мы имѣемъ дѣло съ талантомъ, а талантъ имѣетъ привилегію влгать душу живу во все, за что онъ принимается. Онъ такъ предъявлять вамъ свое ненужное, невозможное, невѣроподобное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до насмѣшки вамъ будетъ, потому что вы, дѣйствительно, перестрадаете предъявленное вамъ страданіе. Онъ отуманитъ вамъ голову своими образами и картинами, заставитъ усиленно биться сердце, и развѣ въ тѣ *lucida intervalle*, когда во время самаго чтенія найдете на васъ трезвость, вы спросите себя: и за что онъ этого Сидорова или Петрова такъ мучить? за что и меня вмѣстѣ съ нимъ такъ мучительно щекочетъ? за что и зачѣмъ? Совсѣмъ вѣдь это не нужно. Ни въ какомъ смыслѣ не нужно? Это какой-то испанскій бой быковъ происходитъ. Слѣдя съ напряженнымъ вниманіемъ за перипетіями этого отвратительнаго зрѣлища, я вмѣстѣ со всѣми зрителями, ощущаю приливъ и отливъ различныхъ чувствъ, я увлеченъ, я весь превратился въ зрѣніе и слухъ. Но развѣ нужно, чтобы былъ распоротъ брюхо лошади, посадилъ на рога пикадора и получалъ ловкій смертельный ударъ отъ матадора?

Развѣ нужно? Въ томъ-то и дѣло, что нужно, если цѣлая масса людей любитъ на эти мерзости; нужно въ смыслѣ ощущеній, ставшихъ потребностью, хотя никакихъ иныхъ оправданій они, разумѣется, за себя представить не могутъ. Вѣрнѣе будетъ, однако, сказать, что было нужно, потому что испанцы, кажется, начинаютъ отставать отъ этого, какъ говорится на нашемъ политическомъ жаргонѣ, самобытнаго развлеченія. Но, во всякомъ случаѣ, сравнительно еще очень недавно, всѣ путешественники по Испаніи описывали восторгъ и увлеченіе, съ которыми публика, со включеніемъ прекраснаго, нѣжнаго пола, апплодировала быку, сажающему на рога пикадора, и матадору, вонзающему шпагу въ быка. Было, однако, и въ поэтической Испаніи время, когда бой быковъ былъ вещь ненужною, когда онъ просто даже совсѣмъ не значился въ числѣ самобытныхъ испанскихъ удовольствій. Эта потребность привилась не вдругъ, какъ не вдругъ теперь упраздняется. Можно повтѣрять, что разумъ, въ которое впадаютъ по временамъ читатели и почитатели жестокаго таланта, съ теченіемъ времени будетъ постепенно ослабѣвать и ослабѣвать, пока наконецъ возбужденіе, опредѣляемое не-

нужною жестокостью автора, станетъ потребностью, столь же сильною, какъ испанская потребность въ боѣ быковъ и римская потребность въ зрѣлищахъ. Конечно, для такого результата нужно совпаденіе довольно сложныхъ обстоятельствъ. Первымъ дѣломъ жестокаго таланта долженъ быть, дѣйствительно, большимъ и оригинальнымъ талантомъ, способнымъ «глаголомъ жечь сердца людей». Но и за всѣмъ тѣмъ онъ можетъ промелькнуть падучей звѣздой, если въ окружающей и читающей его средѣ не будетъ на лицо подходящихъ условій. Если, напримѣръ, общество будетъ имѣть передъ собою какую-нибудь широкую задачу или цѣльный рядъ задачъ, достаточныхъ для поглощенія его вниманія, то жестокаго таланта просуществуетъ безслѣдно, хотя его, разумѣется, будутъ читать. Можетъ быть, спустя долгое время, при совершенно иныхъ условіяхъ жизни, его вспомнятъ и упьются имъ до опьянѣнія, особливо, если явятся подходящіе продолжатели, подражатели, толкователи. Такъ не разъ случалось въ исторіи мысли и творчества. Какой-нибудь Шопенгауеръ, напримѣръ, умъ гениальный, въ свое время не произвелъ впечатлѣнія, какого заслуживалъ, а черезъ нѣсколько десятилетій въ Гартманѣ, мыслителѣ очень ловкомъ, но развѣ достойномъ только развязать ремень у сапога Шопенгауера. Понятное дѣло, что если читающій людъ окажется на мели, то-есть будетъ сидѣть безъ дѣла, безъ настоящаго, увлекающаго дѣла, и только заниматься дѣлами, да обдѣлывать дѣла, то жестокаго таланта примется съ распростертыми объятіями: отъ бездѣлья и то рубить дѣлье. Тутъ надо, впрочемъ, оговориться. Дѣла у людей, собственно говоря, всегда довольно, слишкомъ довольно, и нѣтъ такого ни времени, ни племени, передъ которыми не стояли бы задачи, достаточно широкія, чтобы заниматься ими, а не упиваться боемъ быковъ. Для признанія такого простого положенія совсѣмъ не требуется быть узкимъ ригористомъ, и считать, что «печной горшокъ всего дороже» на свѣтѣ, ибо «въ немъ нишу мы себѣ варимъ». Нѣтъ, есть вещи, несравненно болѣе дорогія, чѣмъ печной горшокъ, но ужъ навѣрное это не бой быковъ. И однако, не смотря на это постоянное присутствіе задачъ, достойныхъ всецѣлаго вниманія общества, и даже какъ разъ въ пору ихъ особенной настоятельности, жестокаго таланта можетъ стать героемъ своего времени, приближащемъ для общественнаго вниманія, ищущаго куда бы ему приткнуться. Это тогда можетъ случиться, когда общество поставлено къ лежащему передъ нимъ дѣлу въ такое-же отношеніе, въ какомъ лисица стоитъ къ винограду въ баснѣ Крылова.

Если дѣло есть и для всѣхъ это ясно, потому что дѣло выросло изъ самыхъ нѣдръ исторіи, но постороннія обстоятельства не позволяютъ его дѣлать, то взбудораженная энергія, не находя себѣ правильного исхода, обращается къ разнымъ измѣненнымъ ненужностямъ наркотическаго свойства. Въ числѣ ихъ могутъ быть и тѣ ощущенія, которыя даются произведеніями жестокаго таланта. При такихъ условіяхъ читатель покорно, даже съ нѣкоторымъ восторгомъ, пойдетъ на тѣ ненужныя мученія, какимъ подвергаетъ его, вмѣстѣ съ своимъ Сидоровымъ или Петровымъ, жестокій талантъ. Выдуманная, и не только выдуманная, а прямо-таки совсѣмъ ненужная мука станетъ потребностью, для удовлетворенія которой явится цѣлая фаланга подражателей и продолжателей нашего жестокаго таланта. Понятно, что и въ самой жизни, въ «живой жизни», говоря словами подпольнаго чело-вѣка, эта потребность въ ненужныхъ мученіяхъ и эта привычка къ нимъ должна отразиться различными трудно опредѣлимыми, но ужъ, разумѣется, не хорошими послѣдствіями. Надо помнить, что мученія эти имѣютъ отраженный характеръ. Не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ читателя въ три кнута били. Нѣтъ, быть на его глазахъ Сидорова или Петрова, быть ни съ того, съ сего, чело-вѣка ни въ чемъ неповиннаго, но быть вмѣстѣ съ тѣмъ такъ художественно, что читателю становится любо смотрѣть на это отвратительное зрѣлище; просто любо, безъ малѣйшаго участія другихъ чувствъ и мысли.

Все это я говорю въ томъ предположеніи, что жестокій талантъ есть повтъ, беллетристъ. И, кажется, все это само собой естественно вытекаетъ изъ основной характеристической черты нашего очищеннаго и преображеннаго Оомы Опискина — ненужной жестокости. Гораздо труднѣе вывести всѣ послѣдствія ненужной жестокости, если формой литературной дѣятельности ея носителя будетъ публицистика. Оно, пожалуй, на первый взглядъ даже и нетрудно, особенно намъ, русскимъ, имѣющимъ въ букетѣ своей публицистики такую благоуханную розу, какъ Катковъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое классическое дѣтоубійство, столь на-зойливо проповѣдуемое на Страстномъ бульварѣ, въ Москвѣ, какъ не точный сколокъ съ водворенія французскаго языка Оомой Опискинымъ въ селѣ Степанчиковѣ: вуй, мусью, же ле парль эн-пе—и отъ этихъ магическихъ словъ нравы смягчаются. Очень похоже, это правда, но все-таки это только родственная черта, а не черта тождественности. Родственныхъ чертъ можно найти еще довольно много, потому что жестокость Каткова и его склонность къ на-силію совершенно чрезвычайны. Но, въ

качествѣ публициста, онъ преслѣдуетъ все-таки извѣстныя практическія задачи, добивается извѣстныхъ результатовъ. Мотивы его дѣятельности, вѣроятно, очень разнообразны. Тутъ, надо думать, есть и дѣйствительное убѣжденіе, и упрямство, и самодурство, и растерянность публициста, много лѣтъ пользовавшагося небывалымъ у насъ вліяніемъ и видящаго въ концѣ-концовъ, что ничего путнаго онъ изъ своего вліянія не сдѣлалъ. Но, такъ или иначе, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ, а Каткову нужно, напимѣръ, какъ Марату, сто тысячъ головъ—онъ ихъ и требуетъ; нужно, чтобы, кромѣ него, въ печати никто не смѣлъ слова пикнуть—онъ этого и добивается; нужно, чтобы всѣ читали Гомера и Виргилія въ подлинникъ—онъ и пропагандируетъ. Оомѣ Опискину никакихъ такихъ результатовъ не надо. Онъ, вѣроятно, подаль бы руку Каткову и почтилъ бы его дѣятельность своимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, но ему лично нуженъ только самый процессъ мучительства. Онъ, напимѣръ, былъ бы очень счастливъ, если-бы имѣлъ возможность пилить своей словесной пилой сто тысячъ чело-вѣкъ изо-дня въ день, но не до умерщвления, а такъ, чтобы они неустанно корчились отъ душевной боли, а онъ бы ихъ все попиливалъ, да потыкивалъ, да поджаривалъ. Спрашивается: какъ же вмѣстѣ эту безпричинность и безрезультатность мучительства въ публицистику, имѣющую непремѣнно дѣло съ причинами и результатами? Очень трудно вмѣстѣ и придется, пожалуй, рѣшить дѣло такъ, что чистымъ публицистомъ нашъ жестокій талантъ совсѣмъ и быть не можетъ. Онъ можетъ по временамъ дѣлать экскурсіи въ эту область, но центръ тяжести его дѣятельности долженъ непремѣнно лежать въ художественной сферѣ, гдѣ у поэта, какъ говорится, своя рука владыка. Вызвалъ изъ мрака небытія Сидорова и тѣшся надъ нимъ сколько душъ угодно: художникъ вѣдь не обязанъ предъ-являть доводы и аргументы, почему, зачѣмъ, за что пьетъ Сидоровъ такую горькую чашу. Наконецъ, область искусства допускаетъ одинъ пріемъ, представляющій переходъ къ публицистикѣ. Стоитъ только автору вложить одному изъ дѣйствующихъ лицъ свои собственныя мысли. И можно, кажется, предвидѣть, что жестокій талантъ будетъ прибѣгать къ этому пріему довольно часто, растягивая притомъ монологи своего подставнаго я до совершенно нехудожественной длинноты. Оборотъ для жестокаго таланта очень удобный. Темъ для его разсужденій въ публицистической формѣ должно остаться все то же ненужное, безпричинное и безрезультатное страданіе. Но здѣсь она должна получить

видъ уже не безнужно страдающихъ образъ, а видъ практическаго требованія. Ну, а какъ же такъ-таки прямо отъ своего имени требовать мученій для людей? Гораздо удобнѣе вложить это требованіе въ уста какого-нибудь «парадоксалиста», какого-нибудь эксцентрическаго человѣка. А впрочемъ, мы сейчасъ увидимъ, что жестокой талантъ можетъ, въ концѣ-концовъ, придумать форму для прямого требованія страданія отъ своего собственнаго лица, оставляя, разумеется, дѣло разными каріатидами и другими яко-бы поддерживающими зданіе украшеніями.

Но читатель, пожалуй, усомнится въ самой возможности такихъ безнужно жестокихъ людей. Онъ слышалъ, что люди мучатъ людей изъ мести, корысти и т. п. И когда страсть отуманитъ голову, жестокость, если не извинительна, то, по крайней мѣрѣ, понятна въ пылу одури. Но такъ мучить, ради одной игры фантазіи, ради одного художественнаго созерцанія мученій—бываетъ ли это? Къ сожалѣнію, несомнѣнно бываетъ. Объ этомъ свидѣтельствуется исторія, знающая Ивана Грознаго, Нерона и другихъ жрецовъ чистѣйшаго и утонченнѣйшаго искусства мучительства. Объ этомъ свидѣтельствуется историческій же фактъ удовольствія, которое иногда въ теченіи цѣлыхъ длинныхъ періодовъ доставляютъ людямъ звѣрскія зрѣлища. О томъ же свидѣлствуютъ разныя житейскія мелочи, если вы захотите къ нимъ приглядѣться. Объ этомъ же свидѣтельствуется психологическая наблюдательность такого крупнаго художника, какъ Достоевскій, который, не говоря о послѣдующихъ его произведеніяхъ, создалъ, хотя бы только подпольнаго человѣка и Оому Опискина. Достоевскій удостовѣряетъ, что «человѣкъ — деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ»; что есть люди, находящіе въ мучительствѣ сильнѣйшее и напряженнѣйшее наслажденіе — сладострастіе; что можно съ наслажденіемъ мучить не только ненавистнаго, а и любимаго человѣка. И какъ же намъ не повѣрить, наконецъ, этому, ну, хоть не пророку божію—это ужъ г. Соловьевъ въ забвеніи чувствъ хватилъ—но во всякомъ случаѣ чрезвычайно тонкому наблюдателю? Тѣмъ болѣе, что, независимо отъ представленныхъ имъ поэтическихъ образцовъ ненужной жестокости, Достоевскій самъ былъ однимъ изъ любопытнѣйшихъ ея живыхъ образцовъ. Онъ былъ именно тотъ жестокой талантъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь...

Если бы картонные мечи умиленныхъ плакальщицъ, хитроумныхъ политикановъ и такъ-себѣ пустопорожнихъ людей, уже давно полу-извлеченные изъ ноженъ, могли

рубить и колоть, то, конечно, я былъ бы въ эту минуту поверженъ множествомъ ударовъ. Какъ! Достоевскій—звѣзда русской литературы и едва-ли не правило вѣры и образъ кротости, уличается въ жестокости, да еще совершенно ненужной, сравнивается съ такимъ дряннымъ ничтожествомъ, какъ Оому Опискинъ! Только узкое пристрастіе лагеря, партіи можетъ довести до такой дерзости!

Въ такомъ родѣ что-нибудь скажутъ умиленные плакальщики, хитроумные политиканы и такъ-себѣ пустопорожніе люди, а не скажутъ, такъ подумаютъ, съ прибавкой, конечно, еще многихъ и разнообразныхъ нелестныхъ для меня вещей. До этихъ господъ мнѣ рѣшительно никакого дѣла нѣтъ. Но я боюсь, чтобы кто-нибудь и изъ благомыслящихъ читателей, сбитый съ толку слейной репутаціей Достоевскаго, не предъявилъ не то что этихъ возраженій, потому что какія же это возраженія?—а этихъ попрековъ. Это было бы огорчительно. Дѣло въ томъ, что лагерное, партійное отношеніе къ Достоевскому, невозможно. Ни къ какой опредѣленной партіи онъ не принадлежалъ, а тѣмъ паче не оставилъ послѣ себя школы. Можно только сказать, что въ чисто литературномъ отношеніи нѣкоторые наши молодые беллетристы, къ сожалѣнію, соблазнились примѣромъ Достоевскаго и пытаются заниматься безнужнымъ мучительствомъ, предполагая, вѣроятно, что въ этомъ и только въ этомъ состоитъ психологическій анализъ. Затѣмъ, къ различнымъ намѣтившимся у насъ политическимъ партіямъ Достоевскій былъ одними сторонами ближе, другими дальше и просто не обладалъ тѣмъ, что можно назвать политическимъ темпераментомъ. Онъ былъ прежде всего художникъ, радующійся процессу творчества, и потомъ проповѣдникъ, имѣющій дѣло исключительно съ личностью и ея судьбами. Политическую же жизнь и ея формы онъ не то что понималъ правильно или неправильно,—это бы еще подлежало обсужденію, а просто не интересовался ими. Совсѣмъ онъ были чужія ему, всѣми своими вкусами влекомому къ разбирательству интимнѣйшихъ личныхъ дѣлъ и дѣлишекъ. Оттого, когда подъ конецъ разныя случайныя обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случалось проговариваться нелѣпостями, которыя казались бы колоссальными, если бы онъ не были такъ комичны. То вдругъ брякнетъ, что крѣпостное право само по себѣ нисколько не мѣшаетъ идеально-нравственнымъ отношеніямъ между господами и крѣпостными. То изречетъ пророчества, что мы возьмемъ въ самомъ скоромъ времени Константинополь, а турки пойдутъ торговать халатами и мыломъ, какъ будто бы было съ татарами послѣ

взятія Казани. Понятное дѣло, что политики, мечтающіе о возрожденіи крѣпостного права въ обновленной и юридически совершенно правильной формѣ, а также пустопорожніе люди, желающіе прибить свой щитъ къ вратамъ Цареграда, были рады этой косвенной поддержкѣ со стороны крупнаго литературнаго таланта. Понятно также, что люди, имѣющіе нѣчто противъ крѣпостного права, даже чрезвычайно и по новѣйшей модѣ разукрашеннаго, и полагающіе, что мы можемъ пока обойтись и безъ Константинополя, не могли съ радостнымъ чувствомъ слышать эти пустяки изъ устъ писателя, который пользовался обширною и заслуженною извѣстностью, хотя и совсѣмъ по другой части. Изволь еще тамъ, разбирая по какой части: *Достоевскій* говорить, и это уже очень и очень важно для многихъ. Отсюда радость однихъ и огорченіе другихъ. Но никогда ни одни, ни другіе не считали мало-мальски серьезно Достоевскаго политическимъ дѣятелемъ или опорой партіи. А потому, повторяю, партійное пристрастіе не имѣетъ по отношенію къ Достоевскому никакого *raison d'être*, особливо теперь, послѣ его смерти.

Вся политика и публицистика Достоевскаго представляетъ сплошное шатаніе и сумбуръ, въ которомъ есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, безпричинная, безрезультатная жестокость. И если я сопоставляю Достоевскаго съ его же созданиемъ, Ѳомой Опискинымъ, то, конечно, очень хорошо понимаю, что первый умней и талантливѣе, а второй глупѣе и бездарнѣе. О житейскихъ отношеніяхъ Достоевскаго намъ ничего не извѣстно, да, пожалуй, и не надобно знать, ибо мы хотимъ только видѣть, какъ житейская ненужная жестокость Ѳомы Опискина отражается въ *литературной* дѣятельности Достоевскаго.

Начнемъ съ конца, то-есть съ публицистики, потому что тутъ дѣло стоитъ проще и яснѣе всего, хотя довольно и трудно, едва-ли даже возможно говорить о публицистикѣ Достоевскаго, не касаясь его беллетристики.

Катковъ негодуетъ на слабость приговоровъ суда присяжныхъ и требуетъ «строгихъ наказаній, острога и каторги». Достоевскій тоже негодовалъ на слабость приговоровъ суда присяжныхъ и требовалъ строгихъ наказаній, острога и каторги. Но разница вотъ въ чемъ. Негодованіе и требованіе Каткова стоятъ на чисто утилитарной почвѣ: онъ ратуетъ за расшатанную «дисциплину», требуетъ, чтобы вообще обитатели земли русской, недостаточно «подтянутые», были, наконецъ, подтянуты въ удовлетворительной степени. Достоевскій стоялъ въ

своемъ требованіи внѣ всякихъ утилитарныхъ соображеній. Самый вопросъ: зачѣмъ строгія наказанія, острогъ и каторга? — не существовалъ для него, хотя ему поневолѣ приходилось въ публицистической своей дѣятельности вертѣться около этого вопроса. Однако, и тутъ онъ больше сворачивалъ на другую, собственно говоря необыкновенно странный вопросъ: кто хочетъ строгихъ наказаній и проч.? кто хочетъ страданія вообще? Понятно, что такая постановка чрезвычайно удобна для человѣка, не умѣющаго, не желающаго мотивировать свое требованіе, принужденнаго почему-нибудь скрывать свои истинные мотивы или наконецъ просто плохо сознающаго ихъ. (Послѣднее случается гораздо чаще, чѣмъ, можетъ быть, думаетъ читатель: сплошь и рядомъ человѣкъ всю жизнь не отдаетъ себѣ отчета въ истинныхъ мотивахъ своей дѣятельности.) Чрезвычайно удобно, вмѣсто всякой аргументаціи по самому существу дѣла, сослаться на какой-нибудь могущественный въ данномъ случаѣ авторитетъ: дескать, онъ, авторитетъ, хочетъ. Ну, а авторитету этому можно и собственное хотѣніе подsunуть. Достоевскій перепробовалъ, кажется, всѣ подобные авторитеты. Мы видѣли, что уже подпольный человѣкъ говорить о желаніи людей страдать, о томъ, что они «любятъ до страсти» страданіе. Затѣмъ, въ послѣдующихъ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ, Достоевскій съ особенною любовью останавливался на тѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, когда человѣкъ въ самомъ дѣлѣ ищетъ страданія, пожалуй, именно любить его, въ искупленіе когда-то совершеннаго имъ грѣха. Съ этою цѣлью онъ заставляетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ совершать вычурныя, фантастическія преступленія или, по крайней мѣрѣ, питать того же сорта мысли, чтобы потомъ они могли страдать, страдать, страдать. Достойно вниманія, что человѣкъ иногда бываетъ готовъ идти на страданіе по совершенно инымъ мотивамъ, но Достоевскій не признавалъ ихъ законными, и если вводилъ въ свои произведенія, то непременно въ извѣстномъ тонѣ. Сейчас мы увидимъ, въ чемъ тутъ дѣло. Во всякомъ случаѣ, человѣкъ самъ хочетъ и любить страдать, а это авторитетъ въ данномъ случаѣ достаточно высокій; ужъ если самъ хочетъ страдать, такъ не зачѣмъ и разсуждать о причинахъ и дѣлахъ страданія, — пусть себѣ страдаетъ. Но Достоевскій не удовольствовался этимъ авторитетомъ, основательно, можетъ быть, соображая, что не всякій повѣритъ такой любви человѣка къ страданію. Съ теченіемъ времени онъ прибавилъ авторитетъ самого Бога, а затѣмъ авторитетъ русскаго народа, и около этого послѣдняго столба

собственно и вертелась вся его политика и публицистика, излагавшаяся отъ его собственного имени въ «Дневникъ писателя» и отъ имени дѣйствующихъ лицъ романовъ: «Идіотъ», «Бѣсы», «Братья Карамазовы». При ближайшемъ разсмотрѣніи, открылось, видите-ли, что не человѣкъ вообще любить и хотѣть страдать, а именно русскій человѣкъ. Французскій, нѣмецкій, турецкій и всякій другой иностранный человѣкъ остается по этому пункту даже какъ бы въ сильномъ подозрѣніи. Коренная же черта русскаго человѣка, особливо сохранившаяся въ народѣ, состоятъ въ неудержимомъ стремленіи къ страданію. Изъ этого центра идутъ въ разныя стороны радіусы въ видѣ весьма, впрочемъ, немногочисленныхъ теоретическихъ и практическихъ выводовъ. Типическимъ образчикомъ едва-ли не всѣхъ ихъ въ совокупности можетъ служить такое разсужденіе. Адвокаты, прокуроры, судьи и, подъ вліяніемъ ихъ присяжные засѣдатели (а если присяжные принадлежатъ къ такъ называемой интеллигенціи, то и совершенно самостоятельно), въ качествѣ людей, оторвавшихся отъ національной почвы, не понимаютъ потребности русскаго народа въ страданіи; они оправдываютъ преступника-мужика, тогда какъ онъ самъ хотѣлъ бы попасть на каторгу и даже преступленіе-то совершилъ именно, можетъ быть, затѣмъ, чтобы потомъ пострадать отъ угрызений совѣсти или въ острогѣ, или на каторгѣ.

Странныя, дикія, невозможныя размышленія, но Достоевскій ихъ высказалъ цѣлкомъ. И, конечно, одною жестокостію ихъ объяснить нельзя. Къ жестокости таланта, которою мы теперь заняты и которая, натурально, должна прорываться главнымъ образомъ въ беллетристикѣ, въ настоящемъ случаѣ прибавлялись еще другіе элементы, упоминутые въ замѣткѣ по поводу смерти Достоевскаго: уваженіе къ существующему общему порядку и склонность къ личной проповѣди, вообще къ постановкѣ всѣхъ вопросовъ на личную почву. Этихъ элементовъ мы теперь касаться не будемъ и отмѣтимъ только слѣдующее обстоятельство.

«Человѣкъ—деспотъ отъ природы и любить быть мучителемъ», говоритъ Достоевскій устами «Игрока». «Человѣкъ до страсти любить страданіе», говоритъ тотъ же Достоевскій устами подпольнаго человѣка. Мучить или мучиться, или и мучить и мучиться вмѣстѣ—вотъ, значитъ, не только судьба человѣка, а и глубокое требованіе его природы. Какъ въ экономіи природы существуютъ волки и овцы, такъ въ экономіи взаимныхъ людскихъ отношеній существуютъ и должны существовать мучители и мученики. Спрашивается, какъ же съ мучителями-то быть?

Какъ къ нимъ относиться? Вы скажете, можетъ быть, что поступать съ ними надо такъ же, какъ съ волками, то-есть просто гнать и бить ихъ. Отнюдѣ нѣтъ. Волки человѣку неугодны и неудобны, оттого онъ ихъ и бьетъ, а тутъ самъ человѣкъ любить быть мучителемъ и самъ же любить страдать—двойное оправданіе для существованія мучителей. Поэтому общій порядокъ вещей, создающій мучителей и мучениковъ, представляетъ собою нѣчто священное и неприкосновенное, и Достоевскій на разнообразныя манеры преслѣдовалъ всѣхъ, кто словомъ, дѣломъ или помышленіемъ посягалъ на этотъ неприкосновенный общій порядокъ. Только въ своей рѣчи на пушкинскомъ торжествѣ Достоевскій согласился признать ихъ право на имя русскихъ людей.

Но если общій порядокъ вещей неприкосновененъ, то изъ этого отнюдѣ не слѣдуетъ, разумѣется, что столь же неприкосновенны отдѣльныя личности мучителей. Нѣтъ, тутъ надо разбирать. Есть формы мучительства грубыя, аляповатыя, какими, на примѣръ, пробавляется Омаа Опискинъ. Такое мучительство заслуживаетъ всяческаго посмѣянія и всяческой кары. Оно и понятно: мало-мальски тонко развитый художникъ или даже просто человѣкъ, обладающій нѣкоторымъ художественнымъ чутьемъ, будетъ, конечно, непріятно оттолкнуть подобнымъ безобразіемъ. Но есть и другія формы мучительства, болѣе изящныя, болѣе интересныя, которыми при случаѣ можно даже пококетничать, открыто заявляя, что я, дескать, люблю помучить людей, но посмотрите-ка насколько я, въ самооплеваніи и самоуниженіи своемъ, всетаки выше простыхъ смертныхъ. О! такого интереснаго и красиваго мучителя можно взять подъ свое покровительство; можно назвать его не какимъ-нибудь браннымъ словомъ, котораго онъ вполнѣ заслуживаетъ, а мягкимъ и интереснымъ именемъ «парадоксалиста»; можно вложить ему свои собственные мысли и, слѣдовательно, какъ бы даже отождествить его съ собой... По крайней мѣрѣ, такъ любезно поступилъ Достоевскій съ подпольнымъ человекомъ.

V.

Пора, однако, намъ заглянуть въ другіе повѣсти и разсказы, вошедшіе во второй и третій томы сочиненій Достоевскаго. До сихъ поръ мы наглядно убѣдились только въ томъ, что Достоевскій чрезвычайно интересовался различными проявленіями жестокостей и необыкновенно только понималъ то странное, дикое, но несомнѣнно сильное наслажденіе, которое нѣкоторые люди находятъ въ не-

нужномъ мучительствѣ. Собственно же различіе жестокости его таланта еще не выдали.

Вотъ повѣсть или «петербургская поэма», какъ она почему-то называется—«Двойникъ».

Жилъ-былъ титулярный совѣтникъ Яковъ Петровичъ Голядкинъ. Обыкновеннѣйшій былъ человѣкъ неопредѣленной масти, и если чѣмъ отличался отъ многихъ другихъ регистраторовъ, секретарей и совѣтниковъ, такъ развѣ только полнымъ отсутствіемъ какихъ бы то ни было мажорныхъ качествъ и необыкновеннымъ обиліемъ качествъ минорныхъ—трусости, мнительности, уступчивости и т. п. На первыхъ же страницахъ «петербургской поэмы» Голядкинъ, поднимаясь по лѣстницѣ къ доктору за медицинскимъ совѣтомъ, долженъ «переводить духъ и сдерживать біеніе сердца, имѣющаго у него привычку биться на всѣхъ чужихъ лѣстницахъ». Кромѣ этой запуганности, съ первыхъ же опять-таки страницъ повѣсти, обнаруживается значительный неурядокъ въ головѣ Голядкина, такъ что даже необыкновенное обиліе минорныхъ качествъ находится, повидимому, въ прямой зависимости отъ этого неурядка. Повѣсть оканчивается тѣмъ, что Голядкинъ окончательно свихивается и его увозятъ въ сумасшедшій домъ. Слабость воли поупомѣшаннаго человѣка прослѣжена съ замѣчательною тщательностью на множествѣ мелочей, которыя даже утомляютъ читателя своею скученностью. И утомленіе это нисколько не смягчается юмористическимъ тономъ, котораго авторъ держится въ разсказѣ о похожденияхъ своего героя. Напротивъ, онъ подъ конецъ прибавляетъ къ утомленію еще нѣкоторое изумленіе. Въ самомъ дѣлѣ, что же тутъ достойнаго насмѣшки, что какой-то несчастный титулярный совѣтникъ сходитъ съ ума? Положимъ, онъ птица не важная, но, по человѣчеству, все-таки скорѣе пожалѣть можно «господина Голядкина», какъ неизмѣнно называетъ его авторъ. А еще лучше, пожалуй, было бы совсѣмъ оставить господина Голядкина въ покоѣ. Простой фотографъ, и тотъ, работая не по заказу, а по собственному выбору, снимая, наприкрѣтъ, виды, выбираетъ мѣстности почему-нибудь характерныя, или очень красивыя, или въ другихъ отношеніяхъ замѣчательныя. А тутъ талантливый художникъ беретъ какую-то, ни мало не интересную букашку—Голядкина, сводитъ его съ ума, да еще при этомъ издѣвается надъ нимъ.

Но читатель, пожалуй, замѣтитъ, что авторъ совсѣмъ не сводитъ съ ума господина Голядкина, господинъ Голядкинъ самъ сходитъ съ ума подъ влияніемъ разныхъ обстоятельствъ, авторъ же только рассказываетъ,

какимъ образомъ этотъ процессъ дошелъ до своего апогея.

Нѣтъ, это не совсѣмъ такъ и даже совсѣмъ не такъ. Исторія застаетъ господина Голядкина уже въ разстроенномъ видѣ, благодаря которому онъ терпитъ весьма достаточное количество воображаемыхъ оскорбленій и огорченій и дѣйствительныхъ неприятностей. И тѣ, и другія совершенно естественны въ жизни человѣка, страдающаго психическою болѣзнію. Но Достоевскому показалось мало этихъ неприятностей и оскорбленій, вызываемыхъ обыкновеннымъ теченіемъ болѣзни. Онъ устроилъ для «господина Голядкина» слѣдующій, совершенно необыкновенный и невѣроятный сюрпризъ. Послѣ одной неприятности, особенно огорчившей Голядкина, онъ, возвращаясь ночью домой, встрѣтилъ своего двойника, который даже вмѣстѣ съ нимъ къ нему на квартиру вошелъ и на его кровати расположился. Все это пока еще очень просто. Но на другой день, проснувшись, успокоившись, Голядкинъ отправился на службу, и тамъ, къ величайшему ужасу своему, встрѣтилъ уже настоящаго, реальнаго своего двойника, въ видѣ новичка-чиновника. Этого только-что поступившаго чиновника звали, какъ и нашего героя, Яковомъ Петровичемъ Голядкинымъ; какъ и герой, онъ былъ титулярный совѣтникъ, и, по внѣшности своей какъ двѣ капли воды, походилъ на героя; вдобавокъ начальство посадило его за однимъ столомъ съ героемъ, какъ разъ противъ него! Отсюда новый обильный источникъ обидъ, огорченій, неприятностей для господина Голядкина, и безъ того несчастнаго, и безъ того Богомъ убитаго. Эти неприятности совсѣмъ не входятъ въ бюджетъ обыкновеннаго умственнаго разстройства. Онъ введенъ авторомъ искусственно и, спрашивается, зачѣмъ? Правдѣ вещей онъ не соответствуетъ, потому что обуславливаются такимъ страннымъ совпаденіемъ обстоятельствъ, которое хотя и удобно для воеведения съ переодѣваніемъ, но въ дѣйствительной жизни не вѣроятно. Художественными требованіями ихъ оправдать нельзя, потому что эти два титулярныхъ совѣтника, двѣ капли воды, два Якова Петровича Голядкина, сидящіе другъ противъ друга—грубая пошлость. Нравственнаго смысла въ страданіяхъ господина Голядкина тоже нѣтъ никакого. Зачѣмъ же понадобился второй господинъ Голядкинъ? Единственно за тѣмъ, чтобы построить для Голядкина второй этажъ мученій, вычурныхъ, фантастическихъ, невозможныхъ, и мучительно пощекотать ими нервы читателя. Единственно ради игры фантазіи. Единственно по жестокости таланта Достоевскаго. Какъ подпольный человѣкъ

единственно для «игры» и по ненужной жестокости мучить Лизу; какъ Ома Опискинъ совершенно безкорыстно, только въ силу потребности видѣть мученія, терзаетъ все село Степанчиково, такъ и Достоевскій безъ всякой нужды надбавилъ господину Голядкину второго Голядкина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высыпалъ на него цѣлый рогъ избылія безпричинныхъ и безрезультатныхъ страданій. Въ своемъ родѣ этотъ второй Голядкинъ такое же фантастическое и дикое орудіе пытки для «господина» Голядкина перваго, какое французскіе вокабулы составляютъ для стараго Гаврилы и малаго Оалалея. Что будете дѣлать: человекъ—деспотъ отъ природы и любить быть мучителемъ! А съ другой стороны, человекъ «до страсти любить страданіе». Отчего же титулярному совѣтнику Голядкину не получить лишнюю, сверхомѣтную порцію страданій?

Вы скажете, можетъ быть, что это невѣроятное объясненіе, потому что у кого же поднимется рука на такую жалкую козявку, какъ Голядкинъ? Но въ томъ-то и вопросъ, почему выдумываются фантастическія терзанія для козявки, и безъ того истерзанной дѣйствительнымъ теченіемъ жизни. Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, не одинъ Голядкинъ подвергается ненужнымъ терзаніямъ. Подвергаются имъ и читатели или, по крайней мѣрѣ, есть расчетъ на эти отраженные терзанія читателей, долженствующихъ пережить муки господина Голядкина. А читатели — это цѣлый легіонъ. Въ-третьихъ, наконецъ, что-жъ такое, что козявка? Алекоій Петровичъ («Игрокъ») замѣчаетъ: «удовольствіе всегда полезно, а дикая, безпредѣльная власть, *хоть надъ мухой*, вѣдь это тоже своего рода наслажденіе». Вотъ ради этого-то наслажденія Достоевскій своимъ Голядкинымъ № 2 и поправилъ истину, красоту и справедливость, ту знаменитую троицу—*le vrai, le beau et le juste*—съ которою носились тридцатые и сороковые годы — годы, между прочимъ, и Достоевскаго...

Пойдемъ дальше и употребимъ на этотъ разъ приѣмъ сравнительный.

Обидно-ли будетъ для памяти Достоевскаго сравненіе съ Шекспиромъ? Я думаю, нѣтъ. Оно было бы обидною насмѣшкой для какой-нибудь бездарности. Но талантъ таковъ роста, какъ Достоевскій, не допускаетъ возможности подобной насмѣшки. Онъ не Шекспиръ, конечно, и я не думаю мѣрять его съ Шекспиромъ. Я хочу только сравнить нѣкоторые художественные приѣмы того и другого при разработкѣ одной и той же темы.

Вы помните «Отелло». Психологическая

драма, образная разработка личной страсти—ревности—не можетъ идти дальше. И если искать тайну этой необыкновенной глубины, то придется увидѣть ее именно въ отсутствіи ненужнаго мучительства, не смотря на мучительность темы. Разъ данъ характеръ и положеніе Отелло — все остальное, всѣ мельчайшія подробности его страданій вытекаютъ сами собой. На двѣ стороны драмы желалъ бы я обратить особое ваше вниманіе. Во-первыхъ, фабула чрезвычайно проста: подъ вліяніемъ наговоровъ Яго родится и растетъ ревность, «чудовище съ зелеными глазами, съ насмѣшкой ядовитой надъ тѣмъ, что пищею ей служить». Дойдя до извѣстнаго предѣла, ревность завершается убійствомъ, и такъ какъ Дездемона оказывается невинною, то измученный, разбитый Отелло, своими руками разбившій свое счастье, не хочетъ жить и закалывается. Вотъ и все. Затѣмъ Отелло почти глухъ, когда довѣряется Яго; Отелло грубъ, когда ругаетъ и даже бьетъ Дездемону; Отелло, наконецъ, безумный убійца, и никто ему не повѣритъ, что онъ все сдѣлалъ «изъ чести» и ничего «изъ злобы». И, не смотря на все это, вы нигдѣ, на всемъ протяженіи драмы, не замѣтите руки автора, желающей уничтожить, придавить героя, доставить ему какую-нибудь скорбь или униженіе сверхъестественной въ его положеніи смѣты.

Теперь посмотрите, что сдѣлалъ съ этой же темой Достоевскій. На мотивъ «чудовище съ зелеными глазами» у него есть двѣ вещи: одна шуточная и очень плохая — «Чужая жена и мужъ подъ кроватью», другая—серьезно задуманная, въ своемъ родѣ превосходно выполненная и для таланта Достоевскаго въ высшей степени характерная—«Вѣчный мужъ» *).

Шутка рѣшительно не удавалась Достоевскому. Онъ былъ для нея именно слишкомъ жестокъ, или, если кому это выраженіе не нравится, въ его талантѣ преобладала трагическая нота. Шуточные вещи онъ пробовалъ писать не разъ. Но или шутилъ надъ тѣмъ, что ни въ какомъ смыслѣ шутки не заслуживаетъ («Двойникъ»), или же шутка напоминала — да позволено мнѣ будетъ это сравненіе—кошачью игру: кошка совершенно незамѣтно раздражается процессомъ игры и переходитъ съ него на дѣйствительное, злобное царапанье и кусанье. Разница, однако, въ томъ, что Достоевскому не доставало граціи кошки: онъ сплошь и рядомъ вводилъ въ свои шутки грубѣйшіе и отнюдь

*) «Вѣчный мужъ» не вошелъ ни во вторую, ни въ третью томы сочиненій Достоевскаго, но если не ошибаюсь, вышелъ недавно отдѣльно новымъ изданіемъ.

не граціозные эффекты («Дядюшкинъ сонъ», «Крокодилъ» и др.). «Чужая жена и мужъ подъ кроватью» — происшествіе необыкновенное — принадлежитъ именно къ разряду этихъ грубыхъ и вовсе не граціозныхъ шутокъ.

Дѣйствіе открывается тѣмъ, что пожилой «господинъ въ енотахъ» останавливаетъ на улицѣ вечеромъ молодого «господина въ бекешѣ» разспросами о какой-то дамѣ, которая должна быть гдѣ-то по близости; такъ не видать-ли ея молодой господинъ въ бекешѣ? Изъ дальнѣйшаго объясненія оказывается, что господинъ въ енотахъ ищетъ свою жену, подозрѣваемую имъ въ невѣрности. Но онъ конфузится сказать это откровенно и плететъ какую-то чепуху насчетъ «чужой жены». Онъ чрезвычайно взволнованъ и все говоритъ о своемъ «униженіи». Еще дальше, и оказывается, что молодой человекъ есть какъ разъ любовникъ этой самой «чужой жены», которая, однако, и его надуваетъ, что и обнаруживается. Обнаруживается съ такой ясностію, что для мужа не можетъ быть никакихъ сомнѣній. Но онъ все еще хочетъ «ловить». Случай представляется на другой же день. И мужъ и жена были въ оперѣ. Мужъ сидѣлъ въ креслахъ, жена въ ложѣ съ знакомой семьей и какими-то молодыми людьми. Вдругъ на почтенную и обнаженную, то — есть отчасти лишенную волосъ, голову ревниваго, раздраженнаго Ивана Андреича слетѣлъ такой безнравственный предметъ, какъ любовно раздушенная записка». Иванъ Андреичъ тотчасъ сообразилъ, что авторъ этой записочки его жена, а такъ какъ въ цидулкѣ было назначено свиданіе тотчасъ послѣ спектакля, то онъ и помчался по указанному адресу прямо изъ театра. Но уже на мѣстѣ, на самой лѣстницѣ, Ивана Андреича обогналъ какой-то франтъ и, какъ показалось оскорбленному мужу, вбѣжалъ въ ту самую дверь, которая была обозначена въ записочкѣ Иванъ Андреичъ за намъ. «Онъ хотѣлъ» было постоять передъ дверью, благоразумно пообдумать свой шагъ, поробѣть немного и потомъ ужъ рѣшиться на что-нибудь очень рѣшительное». Но въ эту минуту загремѣла подъѣхавшая къ подъѣзду карета, на лѣстницѣ послышались чьи-то тяжелые шаги, Иванъ Андреичъ инстинктивно ворвался въ дверь, пробѣжалъ двѣ темныя комнаты и очутился въ спальнѣ молодой, прекрасной дамы, совершенно ему незнакомой. А тяжелые шаги, поднявшись по лѣстницѣ, все раздавались слѣдомъ за Иваномъ Андреичемъ. «Боже! это мой мужъ! воскликнула дама, всплеснувъ руками и поблѣднѣвъ блѣде своего пенъюара». Испуганный Иванъ Андреичъ полѣзъ подъ кровать. Но тамъ его

ждало новое приключеніе: тамъ ужъ сидѣлъ какой-то человекъ, разумѣется, встрѣтившій его недружелюбно. И вотъ между прекрасной незнакомкой и ея только-что прибывшимъ мужемъ начинается семейная бесѣда, а подъ кроватью идетъ усиленная возня, напряженный шопотъ, взаимныя пререканія. Оказывается, что Иванъ Андреичъ и его подкроватный сосѣдъ оба ошиблись дверью, что имъ обоимъ надлежало быть вѣжамъ выше, вслѣдствіе чего Иванъ Андреичъ догадывается, что подкроватный сосѣдъ есть любовникъ его жены: новыя мученія, новыя толки объ «униженіи», новыя вздохи — «за что я такъ наказанъ»? Долго бы еще возились подъ кроватью мужъ и любовникъ, но у прекрасной незнакомки, кромѣ дряхлаго мужа, была еще задорная собачонка Амишка. Заслышавъ возню подъ кроватью, Амишка бросилась туда съ лаемъ, Иванъ Андреичъ, изъ самосохраненія задушилъ ее, прекрасная незнакомка упала въ обморокъ, подкроватный сосѣдъ воспользовался минутой смятенія и убѣжалъ, а Иванъ Андреичъ бывъ вытащенъ изъ-подъ кровати, очутился одинъ передъ разгнѣванной незнакомкой и ея не менѣе разгнѣваннымъ мужемъ. Цѣною разныхъ унижительныхъ объясненій, просьбъ, обѣщаній Ивану Андреичу удалось кое-какъ успокоить гнѣвныхъ хозяевъ и получить свободу. Онъ бѣжитъ домой, а тамъ жена, давно пріѣхавшая изъ театра, встрѣчаетъ его градомъ упрековъ за отсутствіе и подозрительность. Смущенный Иванъ Андреичъ полѣзъ-было въ карманъ за платкомъ, «затѣмъ, что не доставало ни словъ, ни мысли, ни духа». И вдругъ вытаскиваетъ, вмѣсто платка, трупъ Амишки, который, въ порывѣ отчаянія, затолкалъ себя въ чужой квартирѣ въ карманъ! Супруга накидывается на него по этому поводу съ новыми допросами и упреками...

Я нарочно рассказалъ подробно эту пустяковину, чтобы читатель могъ лучше оцѣнить всю ненужность этого обилія злоключеній Ивана Андреича. Въ два дня столько событій, столкновеній, встрѣчъ, и все унижительныхъ и мучительныхъ! Но Достоевскому все еще было мало. Онъ заканчиваетъ рассказъ слѣдующими словами: «Здѣсь мы оставимъ нашего героя до другого раза, потому что здѣсь начинается совершенно особое и новое приключеніе. Когда-нибудь мы доскажемъ, господа, всѣ эти бѣдствія и гоненія судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже несчастіе!».

Неужели для этого вывода стоило такъ битъ глупаго Ивана Андреича, такъ таскать его за волосы и плевать на него? Неужели это не бой быковъ, предпринятый един-

ственно изъ ненужной жестокости? Допустимъ, что Иванъ Андреичъ — быкъ очень смѣшной, но тѣмъ неумѣстнѣе весь этотъ арсеналъ направленныхъ противъ него бѣдъ, весь этотъ персоналъ раздражающихъ, колющихъ и убивающихъ его бандитеросовъ, пикадоровъ и матадоровъ. (Надо еще замѣтить, что мучительные для Ивана Андреича разговоры на улицѣ и подъ кроватью необыкновенно растянуты.) Вспомните опять-таки «Отелло» съ немногосложностью его фактическаго содержанія и строгою умѣренностью количества унижающихъ и оскорбляющихъ героя обстоятельствъ...

Но что же и сравнивать простую шутку, положим, и грубую, и неудачную, со звязкою первой величины?

Повторяю, что я вовсе не думаю мѣрять Достоевскаго съ Шекспиромъ, а хочу отмѣтить приемы ненужной жестокости Достоевскаго. Весьма любопытно, что эти приемы господствуютъ и въ шуткѣ, которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль бездарнѣйшаго поставщика этого рода произведеній, если бы не эта растянутасть мученій героя и не эта заключительная перспектива дальнѣйшихъ терзаній Ивана Андреевича. Водевиль благодушенъ и кончается всегда всеобщимъ успокоеніемъ...

Обратимся къ «Вѣчному мужу».

Павел Павлович Трусоецкій, разбирая, послѣ смерти горячо любимой жены, ея переписку, открываетъ, что она много лѣтъ надувала его, развратичая съ разными любовниками, и что единственная его дочь Лиза—не его дочь. Жена Трусоецкаго была, по отзыву одного изъ ея любовниковъ, «типъ страстный, жестокій и чувственный». «Она любила мучить любовника», но съ мужемъ обращалась вѣрными образомъ хорошо, заботилась о немъ, только подъ башмакомъ держала. Послѣ ея смерти, Трусоецкій, обогащенный свѣдѣніями насчетъ своего рога-таго положенія, поѣхалъ въ Петербургъ, забравъ съ собою Лизу. Поѣхалъ онъ хлопотать о перемѣщеніи въ другую губернію, но самъ свое дѣло затягивалъ, потому что интимною цѣлью его поѣздки въ Петербургъ было, по всѣмъ видимостямъ, посмотреть на двухъ проживающихъ тамъ любовниковъ жены—Багаутова и Вельчанинова. На нихъ посмотреть и себя имъ показать, ихъ помучить и самому, глядя на нихъ, помучиться. Надо замѣтить, что съ обоими ими Трусоецкій находился въ наилучшихъ пріятельскихъ отношеніяхъ, а къ Вельчанинову питалъ даже не совсѣмъ обыкновенную любовь и уваженіе. Другой на его мѣстѣ, правда, очень трудномъ и скверномъ, подрался бы съ своими оскорбителями, выругался, вызвалъ на дуэль, отомстить какъ-

нибудь, или же, посмотрѣвъ на дѣло болѣе философскимъ взглядомъ, могъ бы оставить свои мученія при себѣ, постараться всю эту исторію забыть и даже, можетъ быть, никогда съ тѣми господами не видаться; вообще, такъ или иначе, кровавымъ (какъ Отелло) или безкровнымъ путемъ, но поскорѣ кончить. Но созданія Достоевскаго такъ просто не поступаютъ, имъ конецъ-то, результатъ-то именно и не нуженъ. имъ нуженъ процессъ. Они должны придумать что-нибудь болѣе утонченное, жестокое, вычурное, чѣмъ простая месть. А какой процессъ имъ нуженъ. — это явствуетъ изъ двухъ основныхъ свойствъ человѣческой природы: 1) человѣкъ — деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ, 2) человѣкъ до страсти любить страданіе. И вотъ на этихъ двухъ клавишахъ Трусоекій и разыгрываетъ свою пьесу: оскорбителей своихъ мучить и самъ мучится. Впрочемъ, онъ ничего въ этомъ смыслѣ не *придумываетъ*, онъ просто слѣдуетъ инстинктивнымъ требованіямъ своей (или вообще человѣческой?) души. Съ Багаутовымъ онъ поступаетъ такъ. Въ теченіи трехъ недѣль онъ каждый день заходитъ къ нему, но его тамъ не принимаютъ, потому что Багаутовъ боленъ. Наконецъ, приняли, но приняли уже къ покойному — Багаутовъ умеръ. Трусоекій страшно озлобленъ. И когда другой любовникъ его жены, Вельчаниновъ, спрашиваетъ его, что съ нимъ случилось, завязывается такой разговоръ:

— Да вотъ-съ, все нашъ Степанъ Михайловичъ чудесить... Багаутовъ, ваящійшій петербургскій молодой человекъ-съ, высшего общества съ.

— Не приняли васъ опять, что-ли?

— Н-н-н, именно в этот-то раз и приняли, во первый раз допустили-сь и черты созерпалъ.. только у покойника!

— Что-о-о! Багаутов умер? ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивляться.

— Онъ-съ. Незнакомный и шестилѣтній другъ. Еще вчера чуть не въ полдень померъ, а я и не зналъ! Я, можетъ, въ самую-то эту минуту и заходилъ тогда навѣдаться о здоровьи. Загравынось и погребеніе, ужъ въ гробикѣ лежить-съ. Гробъ обитъ бархатомъ цвѣту масака, позументъ золотой... отъ нервной горячки померъ-съ... Допустили, допустили, совершалъ черты! Объявилъ при входѣ, что истиннымъ другомъ считался, потому и допустили. Что жъ онъ со мной изволилъ теперь сотворить, истинный-то и шестилѣтній другъ—я васъ спрашиваю? Я, можетъ, единственно для него одного и въ Петербургъ ѣхалъ!

— Да за что же вы на него-то сердитесь?
засмѣялся Вельчаниновъ:—вѣдь онъ не нарочно
же умеръ!

— Да вѣдь и я сожалѣя говорю: другъ-то драгоцѣнный: вѣдь онъ вотъ что для меня значить-съ.

И Павелъ Павловичъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, сдѣлавъ двумя пальцами рога надъ сво-

имъ лиснимъ лбомъ и тихо, продолжительно захихикалъ. Онъ просидѣлъ такъ, съ рогами и хихикая, цѣлыя полминуты, съ какимъ-то упоеніемъ самой ехидной наглости, смотря въ глаза Вельчанинову. Тотъ остолбенѣлъ, какъ бы при видѣ какого-то призрака. Но столбнякъ его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновеніе; насмѣшливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губахъ.

— Это что же такое означало? спросилъ онъ небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-съ, отрѣзалъ Павелъ Павловичъ, отнимая, наконецъ, свои пальцы отъ лба.

— То есть... ваши рога?

— Мои собственные, благопріобрѣтенные! — ужасно скверно скривился опять Павелъ Павловичъ.

(Трусоецкій предлагаетъ выпить шампанскаго).

— На радость веселой встрѣчи-съ, послѣ девятилѣтней разлуки, ненужно и неудачно хихикавалъ Павелъ Павловичъ. Теперь вы, и одинъ уже только вы у меня остались истиннымъ другомъ-съ! Нѣтъ Степана Михайлыча Багаутова...

— Вы мнѣ вотъ что скажите: если вы такъ прямо обвиняете Степана Михайлыча, то вѣдь вамъ же, кажется, радость, что обидчикъ вашъ умеръ: чего-жъ вы злитесь?

— Какая же радость-съ? Почему же радость?

— Я по вашимъ чувствамъ сужу.

— Хе, хе, на этотъ счетъ, вы въ моихъ чувствахъ ошибаетесь-съ, по изреченію одного мудреца, *„хорошъ врагъ мертвый, но еще лучше живой“*, хи-хи.

— Слишкомъ понимаю, для чего вамъ нуженъ былъ живой Багаутовъ и готовъ уважить вашу досаду, но...

— А для чего нуженъ былъ мнѣ Багаутовъ, по вашему мнѣнію?

— Это ваше дѣло.

— Бьюсь объ закладъ, что вы дуэль подразумѣвали-съ...

— На какой же чортъ послѣ этого надо было вамъ живого Багаутова?

— Да хоть бы только поглядѣть на дружка-съ... Вотъ бы взяли съ нимъ бутылочку да и выпили вмѣстѣ.

Въ концѣ-концовъ, для вящаго мучительнаго самоуслажденія, Трусоецкій ѣдетъ на похороны Багаутова и провожаетъ его трупъ до могилы. Какъ видите, человѣкъ до страсти любить страданіе. Но замѣьте, сколько шипящей злобы въ добровольческомъ страданіи Трусоецкаго; сколько тутъ искренняго озлобленія на Багаутова, своею смертию поставившаго точку къ мучительному процессу мучительства! Дѣло въ томъ, что человѣкъ не только любить страданіе, а любить и другихъ заставлять страдать, любить быть мучителемъ. Поэтому, за оставшихся жить Лизу и Вельчанинова Трусоецкій принимается съ удвоенною энергіей. Лизу онъ мучитъ сравнительно просто — «шиплетъ». Но и для нея имѣется гастрономія потоньше: Трусоецкій грозитъ при ней повѣситься и объясняетъ, что повѣсится «отъ нея»: ругаетъ ее повор-

нымъ именемъ: приводить къ себѣ на ночь, при ней, публичную женщину.

Что касается Вельчанинова, то о характерѣ отношеній къ нему Трусоецкаго можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Багаутовѣ. Павелъ Павловичъ все время терзаетъ Вельчанинова разными намеками и прямымъ рассказомъ о томъ, какъ онъ узналъ о своемъ рогатомъ положеніи; то щекочетъ его ревностью воспоминаніями о другихъ любовникахъ жены, то будитъ его совѣсть соображеніями объ ихъ старинной дружбѣ, то держитъ въ напряженномъ состояніи, намекая, что ему извѣстны отношенія Вельчанинова къ женѣ, то отпускаетъ эти возжи, притворяясь ничего не знающимъ. Вельчаниновъ, человѣкъ желчный и раздражительный, поддается на всѣ эти удочки и волнуется, смущается, злится. Съ особенною же стремительностью лѣзетъ онъ на слѣдующую удочку. Трусоецкій, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающимъ, намекаетъ, что Лиза — дочь Вельчанинова. Тотъ, въ страшномъ волненіи, хватается за эту мысль, беретъ на себя заботу о Лизѣ; но когда потомъ бѣдная дѣвочка умерла, Павелъ Павловичъ прямо, и уже безъ всякихъ подвоховъ, объясняетъ, что отецъ Лизы не онъ, Вельчаниновъ, а хорошо имъ обоимъ извѣстный «артиллеріи прапорщикъ»...

Въ извѣстномъ лагерѣ, охотно причисляющемъ Достоевскаго къ «своимъ», часто раздаются сѣтованія на такъ называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисуетъ все только мрачныя картины и тѣмъ обнаруживаетъ свое неуваженіе къ родинѣ, въ которой, вѣдь, и свѣтло-розоваго, и небесно-голубого очень много. Не будемъ останавливаться на этой пѣснѣ, которая еще со временъ Гоголя поется глупцами и лицемерами. Но, спрашивается, что же сказать о писателѣ, берущемъ чисто индивидуальнаго человѣка, безъ вниманія къ какимъ бы то ни было общественнымъ изгнаніямъ, и въ немъ, въ душѣ человѣческой вообще водружающемъ такіа два знамени, какъ: 1) человѣкъ любить быть мучителемъ, 2) человѣкъ до страсти любить страданіе? Не подкопъ ли это подо все, что только есть на свѣтѣ свѣтло-розоваго и небесно-голубаго? Не подкопъ ли это подъ всѣ лучшія воспоминанія и подъ всѣ надежды на лучшее будущее? Пусть объ этомъ хорошенько подумаютъ лицемеры и глупцы, а мы пока посмотримъ на исторію Трусоецкаго, какъ на частный случай, по тѣмъ или другимъ причинамъ заинтересовавшій художника.

Если отрѣшиться отъ мысли объ общихъ законахъ человѣческой природы, съ двухъ противоположныхъ сторонъ, требующихъ для

человѣка мученій; если посмотрѣть на поведеніе Трусюцкаго, напротивъ, какъ на исключительный случай, даже какъ на уродство, то нельзя не признать «Вѣчнаго мужа» произведеніемъ чрезвычайно замѣчательнымъ. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громкимъ крикомъ, ни рѣшительнымъ дѣйствіемъ, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это, безспорно, одна изъ лучшихъ вещей Достоевскаго. Однако, только до того момента, до котораго мы довели свой пересказъ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этомъ моментѣ, то-есть на смерти Лизы и «артиллеріи прапорщикѣ». Типъ Трусюцкаго ясенъ, въ утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имѣли дѣло съ человѣкомъ вроде Отелло, то есть съ человѣкомъ, желающимъ, такъ или иначе, свалить бремя съ своей души и чѣмъ-нибудь кончить, то этотъ искомый имъ конецъ былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ и концомъ драмы. Трусюцкому никакого конца не нужно, онъ хотѣлъ бы цѣлую вѣчность поджаривать на медленномъ огнѣ и Багаутова, и Лизу, и Вельчанинова. Но вѣдь если идти въ этомъ направленіи за Трусюцкимъ, такъ и повѣсти не пришлось бы никогда кончить. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, безъ конца тянуть визиты Трусюцкаго къ Вельчанинову и эти поджаривающіе, ядовитые разговоры. Смерть Лизы, въ связи съ «артиллеріи прапорщикомъ», просто даже въ техническомъ отношеніи выводитъ автора изъ затрудненія.

Но, какъ и всегда, Достоевскому мало тѣхъ мучительныхъ сценъ, которыя опредѣляются естественнымъ ходомъ вещей и условіями техники искусства. А кромѣ того, для него слишкомъ еще просты чувства Павла Павловича Трусюцкаго. До сихъ поръ мы видѣли только, что когда-то Вельчаниновъ былъ предметомъ любви и уваженія для Трусюцкаго. Когда-то вѣдь и Багаутовъ былъ его пріятелемъ, а теперь онъ только потому жалѣетъ о смерти бывшаго пріятеля, что эта смерть вырвала у него изъ рукъ жертву его своеобразной мести. Можно бы было думать, что таковы же его отношенія и къ Вельчанинову. Разсказывая Вельчанинову о смерти Багаутова, Трусюцкій со страстнымъ порывомъ говорить, что вѣдь теперь только онъ, Вельчаниновъ, остался для него одинъ на свѣтѣ. Потомъ въ другомъ подобномъ же разсказѣ, онъ, въ еще болѣе страстномъ порывѣ, дѣлуетъ руки у Вельчанинова. Все это, конечно, варіаціи на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любить предметъ своей ненависти, какъ точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетаніе, этотъ, если позволено

будетъ такъ выразиться, гермафродитизмъ чувства, Достоевскій пожелалъ довести до высшей возможной точки напряженія.

Павелъ Павловичъ задумалъ опять жениться. Случилось это очень скоро послѣ смерти Лизы и всего три мѣсяца послѣ смерти его жены—Достоевскій вообще всегда очень торопилъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и любилъ толкотню событій, загоняя ихъ въ невѣроятномъ количествѣ въ самые короткіе сроки. Задумалъ Павелъ Павловичъ жениться на пятнадцатилѣтней дѣвочкѣ, еще посѣщающей гимназію. Свадьба, впрочемъ, предполагалась черезъ девять мѣсяцевъ, чтобы вышелъ годовой срокъ траура, да и невѣста чтобы подросла. Въ одинъ прекрасный день Трусюцкій неожиданно сообщаетъ объ этомъ своемъ рѣшеніи Вельчанинову и, кромѣ того, проситъ его ѣхать немедленно, сейчасъ же вмѣстѣ съ нимъ въ семейство невѣсты. Вельчаниновъ, разумеется, пораженъ этой просьбой, отказывается съ отвращеніемъ, но Трусюцкій настаиваетъ, умоляетъ, съ величайшимъ жаромъ объясняется въ любви, и Вельчаниновъ, наконецъ, уступаетъ. Не будемъ слѣдить за тѣмъ, что произошло у Захлебинныхъ (фамилія невѣсты). Скажемъ кратко, что невѣста терпѣть не могла Павла Павловича и что Вельчаниновъ совершенно нечаянно поспособствовалъ окончательному разрушенію мечты «вѣчнаго мужа» о новомъ семейномъ очагѣ. Возникаетъ вопросъ: зачѣмъ Трусюцкій возилъ съ собой Вельчанинова къ невѣстѣ? Самъ Павелъ Павловичъ сначала объясняетъ, что возилъ просто какъ друга, но потомъ открываетъ, что хотѣлъ «испытать» невѣсту нѣкоторыми блестящими качествами Вельчанинова. Вельчаниновъ же приходится, въ концѣ-концовъ, къ тому заключенію, что Трусюцкій возилъ его ради хвастовства и вызова: дескать, ты былъ любовникомъ моей жены, такъ вотъ же тебѣ, смотри, я опять буду счастливъ, и ничего тутъ ужъ не испортишь! Вельчаниновъ, однако, испортилъ, хотя и совсѣмъ нечаянно. Понятно, что злобныя чувства къ нему Павла Павловича должны усилиться. Къ удивленію, однако, Павелъ Павловичъ въ ту же ночь, когда они вернулись отъ Захлебинныхъ, обнаруживаетъ необыкновенную нѣжность къ Вельчанинову. Тотъ заболѣлъ, и Павелъ Павловичъ ухаживалъ за нимъ, какъ за роднымъ братомъ, такъ что даже растрогалъ Вельчанинова. Но, успокоивъ боль Вельчанинова разными припарками, за которыми бѣгалъ самъ на кухню, Павелъ Павловичъ въ ту же самую ночь бросился на спящаго Вельчанинова съ бритвой... Вельчаниновъ спасся только случаемъ—во-время проснулся.

Вельчаниновъ на другой день размышля-

еть: «Неужели, неужели правда была все то, что этот... сумасшедшій натолковалъ мнѣ вчера о своей любви ко мнѣ, когда задрожать у него подбородокъ, и онъ стучалъ въ грудь кулаками? Совершенная правда!.. Онъ слишкомъ достаточно былъ глупъ и благороденъ для того, чтобъ влюбиться въ любовника своей жены, въ которой онъ въ двадцать лѣтъ ничею не примѣтилъ! Онъ уважалъ меня девять лѣтъ, чтилъ память мою и мои «изрѣченія» запомнилъ—Господи, а я-то не вѣдалъ ни о чемъ! Не могъ онъ лгать вчера! Не любилъ ли онъ меня вчера, когда изъяснился въ любви и сказалъ: «поживаемся»? Да, *со злобы* любилъ, эта любовь самая сильная...

Въ заключеніе Павелъ Павловичъ доставилъ Вельчанинову письмо, изъ котораго явствовало, что Лиза, дѣйствительно, его, Вельчанинова, дочь, а вовсе не артиллеріи прапорщика...

Кажется, теперь-то ужъ конецъ, самый окончательный конецъ? Отнюдь нѣтъ. Черезъ два года Вельчаниновъ сталкивается на желѣзной дорогѣ съ Павломъ Павловичемъ, который опять женатъ, ужасно боится, чтобы Вельчаниновъ къ нему не зашелъ въ гости и не испортилъ его семейнаго счастья, а между тѣмъ состоитъ подъ башмакомъ у жены и не замѣчаетъ, что уланскій офицерикъ, съ которымъ они разъѣзжаютъ вторымъ, есть любовникъ его жены...

VI.

Если бы мы разрѣшили себѣ пользоваться для предлагаемой статьи *всѣми* сочиненіями Достоевскаго, то задача наша количественно была бы, конечно, труднѣе. Потребовалось бы гораздо больше времени и мѣста, чтобы пересмотрѣть и предъявить читателю хотя бы только крупнѣйшіе изъ образцовъ ненужной жестокости въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Достоевскаго. Эти позднѣйшія произведенія, начиная съ «Преступленія и наказанія», и особенно самыя послѣднія — «Бѣсы», «Братья Карамазовы» — переполнены ненужною жестокостью черезъ край. Но именно по этому критическая задача была бы много легче въ качественномъ отношеніи. Въ тѣхъ старыхъ произведеніяхъ Достоевскаго, съ которыми мы имѣемъ дѣло, по крайней мѣрѣ, во многихъ изъ нихъ, еще сильно пробивается струя «гуманическаго» направленія, какъ называлъ его Добролюбовъ въ извѣстной статьѣ «Забитые люди». Теперь мы должны съ этой струей считаться, тогда какъ въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Достоевскаго она постепенно убываетъ и подъ конецъ совершенно изсякаетъ въ пустынь слащавыхъ

и художочныхъ сентенцій о любви къ ближнему. Понятное дѣло, что подобныя сентенціи стоятъ очень дешево — ихъ и Ома Опискинъ въ большомъ количествѣ произносилъ — и выдѣлать ихъ изъ живой массы художественныхъ образовъ и картинъ не представило бы никакого труда. Теперь же намъ предстоитъ операція нѣсколько болѣе сложная.

Кромѣ того, мы должны еще взглянуть на внѣшнюю сторону литературной карьеры Достоевскаго. Говоря о жестокомъ талантѣ, который могъ бы выработаться изъ Омы Опискина, если бы онъ не былъ такъ глупъ и грубъ, мы видѣли, что степень его успѣха и вліянія зависитъ, во-первыхъ, отъ размѣра дарованія, а во-вторыхъ, — отъ условій среды, а именно, главнымъ образомъ, отъ того, есть у этой среды настоящее насущное дѣло или нѣтъ. Эти два пункта намъ и нужно теперь обсудить по отношенію къ Достоевскому.

Въ концѣ-концовъ, мы должны обратиться къ статьѣ Добролюбова. Въ этой статьѣ съ величайшею тщательностью разработано «гуманическое» направленіе Достоевскаго, а кромѣ того — она надолго опредѣлила тонъ и характеръ ходячихъ сужденій о пѣвцѣ «униженныхъ и оскорбленныхъ» и, слѣдовательно, можетъ служить какъ бы показателемъ степени вліянія Достоевскаго на современниковъ.

«Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, наконецъ, даже не въ правѣ быть человекомъ, настоящимъ, полнымъ, самостоятельнымъ человекомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ долженъ быть человекомъ и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку» — вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и партіальныхъ воззрѣній, повидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то а priori, какъ что-то составляющее часть его собственной природы». Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку онъ занимается собственно Достоевскимъ, а не «забытыми людьми». Надо еще только прибавить оцѣнку художественнаго дарованія Достоевскаго. Въ этомъ отношеніи Добролюбовъ цѣнилъ его чрезвычайно низко: онъ прямо объявилъ его «ниже эстетической критики», находилъ у него «бѣдность и неопредѣленность образовъ», «неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобы хотъ сообщить ему соответственный способъ внѣшняго выраженія» и т. д.,

и т. д. Читатель видит, что эта оцѣнка диаметрально противоположна нашей. Мы, напротивъ, признаемъ за Достоевскимъ огромное художественное дарованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ не только не видимъ въ немъ «боли» за оскорбленнаго и униженнаго человека, а напротивъ—видимъ какое-то инстинктивное стремленіе причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оцѣнки исходили изъ двухъ противоположныхъ литературныхъ лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дѣло на пристрастіе, недобросовѣстность. Вотъ, на примѣръ, я помню въ «Русскомъ Вѣстникѣ» чрезвычайно занимательную статью г. Страхова, въ которой доказывалось съ свойственною этому критику обстоятельностью, что г. Стахѣевъ есть настоящій и большой художникъ, а Некрасовъ и Щедринъ—такъ себѣ, пустопорожнее мѣсто. Ну, а еслибы мнѣ пришлось проводить такую странную параллель, то... то я бы никогда не сталъ ее проводить—до такой степени для меня безапелляционно ясно, гдѣ именно находится пустопорожнее мѣсто. И весьма вѣроятно, что кто-нибудь изъ насъ, то—есть либо г. Страховъ, либо я, руководствуемся недобросовѣстнымъ пристрастіемъ. Но въ настоящемъ случаѣ ничего подобнаго сказать нельзя, и спрашивается: откуда же эта рѣзкая разница въ сужденіяхъ о писателѣ, несомнѣнно яркомъ?

Дѣло объясняется очень просто. На первый взглядъ даже слишкомъ просто. Статья Добролюбова написана въ 1861 году, а у насъ теперь 1882 на исходѣ. Изъ этого на первый взглядъ еще ровно ничего достойнаго вниманія не проистекаетъ, потому что не обязательно же для насъ каждыя двадцать лѣтъ выворачивать на изнанку свои мнѣнія о крупныхъ представителяхъ русской литературы. Напротивъ, оцѣнка, одѣланная рукою такого мастера, какъ Добролюбовъ, должна бы, кажется, пережить не двадцать, а хоть двѣсти лѣтъ. Это такъ, конечно. Но дѣло-то въ томъ, что никакого выворачиванія мнѣній на изнанку тутъ нѣтъ, а есть вотъ что. «Униженные и оскорбленные»—последнее изъ произведеній Достоевскаго, бывшихъ въ рукахъ у Добролюбова. Не только «Бѣсы» или «Братья Карамазовы», а и на примѣръ, «Записки изъ подполья», «Вѣчный мужъ» были ему неизвѣстны. Мы же, хотя и не касаемся теперь самыхъ крупныхъ изъ произведеній Достоевскаго, но все-таки знаемъ ихъ. Знаемъ—слѣдовательно, что со времени «Униженныхъ и оскорбленныхъ» талантъ Достоевскаго выросъ необычайно. Онъ, правда, до конца дней своихъ не отдѣлался вполне отъ указанныхъ Добролюбовымъ

недостатковъ; нѣкоторые изъ нихъ съ теченіемъ времени даже еще болѣе опредѣлились, какъ на примѣръ, архитектурное безсиліе, неспособность обойтись безъ длинныхъ отступленій, нарушающихъ гармонию дѣла. Не смотря на это, талантъ Достоевскаго, если можно такъ выразиться, отточился, получилъ блескъ и остроту, какихъ и въ поминѣ нѣтъ въ «Бѣдныхъ людяхъ» или «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Отточился и—ожесточился. Или, можетъ быть, наоборотъ: ожесточился и отточился. Во всякомъ случаѣ, съ нашей точки зрѣнія процессъ былъ двойственный, развитіе таланта шло рядомъ съ его ожесточеніемъ. Дѣло могло происходить такъ, что, сознавъ свою специальную силу художественнаго мучительства. Достоевскій увлекся «игрой», какъ увлекся ею подпольный человѣкъ въ эпизодѣ съ Лизой, и чѣмъ дальше, тѣмъ искуснѣе сталъ ущемлять сердца своихъ героевъ и читателей. А, можетъ быть, и такъ, что жестокий по натурѣ или по условіямъ своего воспитанія талантъ, перепробовавъ себя на разные манеры, попалъ наконецъ—случайно или руководимый инстинктомъ—въ свою настоящую сферу, гдѣ и развернулся со всѣмъ блескомъ, на какой только былъ способенъ. Предлагаю слѣдующій опытъ. Возьмите первую повѣсть Достоевскаго—«Бѣдные люди», которая такъ восторженно была встрѣчена Вѣлинскимъ и къ которой, впрочемъ, уже Добролюбовъ отнесся несравненно сдержаннѣе, и сравните съ послѣднимъ романомъ—«Братья Карамазовы», далеко не лучшимъ изъ произведеній второго періода. «Бѣдные люди» проникнуты «гуманическимъ» направленіемъ; но, читая ихъ теперь, послѣ всего того, что мы получили отъ Достоевскаго, послѣ всего, что мы вообще за послѣдніе годы пережили,—вы не найдете въ нихъ ни одной высокохудожественной страницы, а мѣстами такъ даже получите такое приблизительно впечатлѣніе, будто васъ насильно манной кашей кормятъ: кушанье, очень любимое дѣтьми, но рѣдко нравящееся взрослымъ. Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», напротивъ, не смотря на инквизиторскій характеръ основной тенденціи, не смотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводныхъ сценъ, картинъ и образовъ, не смотря даже на томительную скуку почти всего, что относится къ старцу Зосимѣ и младенцу Алешѣ,—вы найдете отдѣльныя мѣста необыкновенной яркости и силы. И напрасно я такъ говорю: не смотря на инквизиторскій характеръ, не смотря на ненужную жестокость. Скорѣе, напротивъ, *благодаря* жестокости, потому что именно въ сферѣ мучительства художественное дарованіе Достоевскаго и достигло своей наивысшей силы. Только

онъ портилъ дѣло излишествомъ, пересаливалъ. слишкомъ ужъ терзалъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и своихъ читателей.

Такимъ образомъ, съ памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишкомъ низкой оцѣнки таланта Достоевскаго. Для своего времени эта оцѣнка была очень вѣрна, и если мы теперь видимъ нѣкоторую ея ошибочность или даже, собственно говоря неполноту, такъ только потому, что мы знаемъ «Вѣчнаго мужа», «Преступленіе и наказаніе» и проч., которыхъ Добролюбовъ не зналъ. Знаемъ мы и еще кое-что, чего Добролюбовъ не зналъ и не могъ знать—въ двадцать лѣтъ много воды утекло, и пусть бы въ это время только вода текла!..

Кажется, все это очень просто. Но есть сторона вопроса болѣе сложная и болѣе любопытная. Сказано было, что и въ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго были уже крупныя задатки жестокаго таланта, и мы видѣли ихъ образчики. Мы видѣли также, что «человѣкъ—деспотъ отъ природы и любить быть мучителемъ» и что «человѣкъ до страсти любить страданіе». Какъ же это Добролюбовъ не только не замѣтилъ этого, а еще утверждалъ, будто «человѣкъ долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другому, какъ человѣкъ къ человѣку»? Мы въ прошлый разъ на каждомъ шагѣ встрѣчали у героевъ Достоевскаго волчьи инстинкты: злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную, въ сочетаніи съ любовью, съ дружкой. У Добролюбова же во всей статьѣ есть только два замѣчанія объ этомъ предметѣ. Во-первыхъ, его поразила обработка характера князя Валковскаго (въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ»). «Всматриваясь въ изображеніе этого характера, говорить Добролюбовъ, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица. Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя передъ вами полного человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывныя мерзости,—этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности, ни возненавидѣть ее тою высшею ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа, противъ извѣстнаго разряда явленій. И вѣдь хоть бы неудачно, хоть бы какъ нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ, ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серьезно?

Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣрить? А если ничему не вѣрить, если душа у него совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ обстоятельствахъ произошелъ этотъ процессъ?» Затѣмъ, говоря о томъ, что фигурирующие въ повѣстяхъ Достоевскаго оскорбленные и униженные люди являются въ двухъ типахъ—кроткомъ и ожесточенномъ, Добролюбовъ замѣчаетъ о послѣднемъ: «Видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, —попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ не удастся выдержать характеръ и оттого они вѣчно недовольны собой, проклиная себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.»

Вотъ и все. Какъ будто Достоевскій совсѣмъ не тонкій знатокъ и аналитикъ злобы, мучительства, какимъ мы его знаемъ! О собственныхъ же мучительскихъ опытахъ Достоевскаго надъ своими героями и читателями у Добролюбова нѣтъ буквально ни одного слова. И едва-ли есть возможность объяснить эти пробѣлы незнакомствомъ критика съ позднѣйшими, характернѣйшими образчиками творчества Достоевскаго. Добролюбовъ во всякомъ случаѣ знаетъ «Село Степанчиково» и «Двойника». И вотъ что, между прочимъ, мимоходомъ говорить онъ о герояхъ этихъ двухъ повѣстей: у Достоевскаго «есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, Ѳому Ѳомича». Такимъ образомъ, Ѳома Ѳомичъ, терроризирующий обитателей села Степанчикова, и Голядкинъ, безъ нужды истерзанный самимъ Достоевскимъ, оказываются стоящими подъ одной рубрикой. Спора нѣтъ, что оба они могутъ подѣ эту рубрику уместиться, потому что у обоихъ, дѣйствительно, до болѣзненности развиты самолюбіе и подозрительность. Но не гораздо ли важнѣе этого сходства то различіе, что одинъ—мучитель, а другой—мученикъ? Какъ же это критикъ отмѣтилъ такую ужъ слишкомъ общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрѣлъ такую специальную, рѣзкую, яркую разницу?

Въ высшей степени любопытно объясненіе, придуманное Добролюбовымъ для «идеи» «Двойника». Голядкинъ, видите-ли, мучается и сходитъ съ ума «въслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ официальными требованіями его поло-

женія». Его оскорбляют, и онъ къ этому уже привыкъ, самъ себя готовъ считать за букашку, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ еще копошатся какіе-то обрывки мыслей о «правахъ» и о человѣческомъ достоинствѣ. «И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются: онъ уже не знаетъ, что же онъ—вправѣ или не вправѣ... Онъ чувствуетъ только одно, что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми врагами и недругами, — все не удается, характера не хватаетъ. И приходитъ онъ къ идее fixe, къ пункту своего помѣшательства: что жить въ свѣтѣ можно только интригами, что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ. И вотъ у него является рѣшимость тоже хитрить, тоже подкобы вести, интриговать. Но гдѣ ужъ ему пускаться на такіа штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ меланхоли и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвояется, самого себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходится въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатки гдѣ-то въ далекихъ складахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуютъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаетъ ему «двойника». Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно-ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, въ разъясненія ея не хотѣлъ забираться дагбѣ того, что «герой романа—сумасшедшій». Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ, тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собою сложилось у меня въ головѣ при *перемѣстиваніи* этой повѣсти (*всю ее сплюснулъ, признаюсь, одолѣть не могъ*).

Все это чрезвычайно тонко и умно; но если бы Добролюбовъ имѣлъ терпѣніе не перелистывать, а читать «Двойника», то, конечно, отказался бы отъ своего объясненія. Дѣло въ томъ, что Голядкинъ № 2, «двойникъ», не есть только плодъ разстроеннаго воображенія Голядкина № 1. Если бы это было такъ, то объясненіе Добролюбова было бы не только умно, а и вѣрно или, по крайней мѣрѣ, вѣроятно, мы имѣли бы дѣло просто съ особымъ и чрезвычайно интереснымъ видомъ умопомѣшательства. Но Го-

лядкинъ № 2 есть не только галлюцинація, а и реальное дѣйствующее лицо повѣсти. Правда, галлюцинація и реальное лицо въ теченіи повѣсти сплетаются и расплетаются, такъ что мѣстами даже разобрать нельзя, кто передъ вами: живой человѣкъ съ плотью и кровью или же только созданіе фантазіи больного человѣка. Однако, въ повѣсти есть прямые указанія на дѣйствительное существованіе Голядкина № 2. Такъ напримѣръ, одинъ изъ сослуживцевъ героя, разговаривая съ нимъ, удивляется поразительному сходству двухъ титулярныхъ совѣтниковъ Якововъ Петровичей Голядкиныхъ, сидящихъ другъ противъ друга за однимъ столомъ.

Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игрѣ природы и позволительно даже сомнѣваться, чтобы это природа играла. Положимъ, что она бываетъ иногда очень игрива, и, играючи, выпускаетъ изъ своихъ нѣдръ разныя диковинки, но только въ предѣлахъ своей компетенціи, въ предѣлахъ естества. Табелъ о рангахъ не ея дѣло и титулярныхъ совѣтниковъ не она создаетъ. Исторію тоже нельзя обвинять во всѣхъ злоключеніяхъ «господина Голядкина». Исторія создала табелъ о рангахъ и весь тотъ общій порядокъ, горячій протестъ противъ котораго представляетъ вся статья Добролюбова. Поэтому вините исторію, поскольку злоключенія Голядкина въ самомъ дѣлѣ происходятъ отъ «неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ официальными требованіями его положенія». Пусть изъ этого разлада протекаетъ главная струя психическаго расстройства Голядкина со включеніемъ фантастическаго представленія двойника, какъ это изображено у Добролюбова. Но въ живомъ, реальномъ двойникѣ Голядкина, появленіе котораго безмѣрно увеличило мученія несчастнаго титулярнаго совѣтника, не виноваты ни природа, ни исторія, а виноваты исключительно авторъ. Допустимъ, что все остальное въ повѣсти «Двойникъ» жизненно и правдиво, что такъ именно идутъ дѣла на грѣшной землѣ. Оно, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ такъ, въ общемъ, конечно, а не въ многочисленныхъ подробностяхъ, полныхъ виртуозной игры на нервахъ читателя. Пусть же исторія Голядкина есть исторія типическая, характерная для большого круга явленій русской-ли жизни въ частности, или духовной жизни человѣка вообще. Но согласитесь съ тѣмъ, что въ двухъ титулярныхъ совѣтникахъ, которыхъ обоихъ зовутъ одними и тѣми же именами, отчествами и фамиліями, которые, какъ двѣ капли воды, другъ на друга похожи, которыхъ, наконецъ, канцелярскій фатумъ усадилъ другъ противъ друга за однимъ столомъ,—согласитесь, что

во всемъ этомъ нѣтъ уже ровно ничего типическаго. А между тѣмъ обстоятельство это играетъ чрезвычайно важную роль въ повѣсти. И отвѣтственность за причитающуюся долю мученій «господина» Голядкина нельзя валить на жизнь, едва-ли когда-нибудь создававшую такую комбинацію. Отвѣчать долженъ авторъ, жестокая фантазія котораго сдѣлала изъ до невозможности исключительнаго случая источникъ мученій для человѣка, безъ того несчастнаго. И спрашивается, зачѣмъ же второй Голядкинъ понадобился? Я думаю, что этотъ вопросъ совершенно законенъ, а это уже плохой знакъ для художественнаго произведенія. Самая возможность его показываетъ, что тутъ есть какой-то изъянъ по части жизненной правды. Художникъ можетъ и долженъ имѣть свои цѣли, можетъ и долженъ ихъ преслѣдовать путемъ искусства, но вмѣстѣ съ тѣмъ его отношенія къ читателю должны допускать только одинъ вопросъ относительно той или другой подробности произведенія, именно вопросъ—почему? Напримѣръ: почему господинъ Голядкинъ сошелъ съ ума? Потому-то и потому-то, читайте повѣсть «Двойникъ»—и получите полные отвѣты. Но если въ умѣ читателя возникнетъ вопросъ: зачѣмъ? напримѣръ, зачѣмъ явился Голядкинъ № 2?—такъ это значитъ, что для появленія этого лица нѣтъ никакихъ удовлетворительныхъ резововъ въ томъ уголкѣ жизни, которую повѣсть «Двойникъ» изображаетъ. Оно введено авторомъ насильственно, вопреки жизненной правдѣ. Но это еще не бѣда была бы, а только посылка, потому что нельзя же требовать отъ художественнаго произведенія совершенства. Многое пишется наскоро, второпяхъ, а извѣстно, что Достоевскій именно всегда такъ писалъ, гдѣ жетуть каждое слово въ строку ставить! Наконецъ, область искусства допускаетъ, даже въ величайшихъ своихъ созданіяхъ, множество условностей и, слѣдовательно, искусственности. Если, напримѣръ, имѣть въ виду только требованія жизненной правды во всей ихъ полнотѣ и неумолимости, то видимая зрителями тѣнь отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить всѣ подобныя условности, и во всѣхъ отрасляхъ искусства камня на камнѣ не останется. Очень забавны тѣ новаторы «реалисты» и «натуралисты» разныхъ мастей, которые требуютъ, чтобы художникъ—поэтъ, беллетристъ, музыкантъ, живописецъ—копировалъ природу; чтобы, напримѣръ, беллетристъ съ точностью рассказывать сколько разъ въ день его герой высморкался; чтобы оперный оркестръ гнущими звуками изображалъ гнусный характеръ поющего на сценѣ злодѣя и т. п. Какъ

будто это возможно! У насъ, напримѣръ, одно время музыкальные новаторы, во имя жизненной правды, гнали собственно пѣніе и возводили на пьедесталъ речитативъ. Оно, конечно, въ жизни такъ не бываетъ, чтобы умирающій человѣкъ пѣлъ сладковатымъ голосомъ, или чтобы какіе нибудь три заговорщика въ самую важную для нихъ дѣла минуту занимались пѣніемъ, и притомъ непременно одинъ басомъ, другой баритономъ, третій теноромъ. Этого не бываетъ, но въдѣ и речитативомъ тоже никто не говоритъ въ жизни...

Итакъ, нѣкоторая искусственность или насильственность со стороны автора, въ ущербъ жизненной правдѣ, можетъ быть допущена. Но если уже она есть, если въ умѣ читателя возникъ вопросъ—зачѣмъ? то необходимо прискаты отвѣтъ и зачѣмъ судить произведеніе, а можетъ быть и автора, съ точки зрѣнія этого отвѣта. Зачѣмъ тѣнь отца Гамлета, будучи галлюцинаціей наслѣдника датскаго престола, разгуливаетъ по сценѣ, разговариваетъ, какъ живое, реальное лицо? Зачѣмъ, чтобы эта галлюцинація датскаго принца стала какъ бы коллективной галлюцинаціей зрителей (коллективная галлюцинація — достовѣрный психическій фактъ), проникнутыхъ сочувствіемъ къ несчастному положенію принца. Зачѣмъ двойникъ, галлюцинація господина Голядкина, находитъ себѣ точную копію въ жизни, въ лицѣ настоящаго, живого Якова Петровича Голядкина № 2?—не знаю, и читатель тоже не знаетъ... Однако, благодаря Достоевскому, благодаря его «проникновенію» въ разныя мрачныя глубины человѣческаго духа, мы съ читателемъ можемъ догадываться: Голядкинъ № 2 насильственно введенъ въ повѣсть зачѣмъ же, ачѣмъ Ома Опискинъ вводитъ французскій языкъ въ село Степанчиково, зачѣмъ онъ зоветъ Гаврилу «мусью шематомомъ», зачѣмъ подпольный человѣкъ рисуетъ Лизѣ мучительно раздражающія «картинки», зачѣмъ Трусоцкій сверлитъ Вельчанинова—для «игры», для жестокой игры на нервахъ. Если Достоевскій не разъяснилъ намъ окончательно эту мрачную сторону человѣческой души, вполне достойную и научнаго изслѣдованія, и художественнаго изображенія, то, все-таки, очень много сдѣлалъ для нашего въ этомъ отношеніи просвѣщенія. Онъ далъ намъ такіе живые образчики этого дикаго чувства, такіе яркіе портреты носителей его, что, по крайней мѣрѣ, въ самомъ фактѣ специальной мучительской наклонности не можетъ уже быть никакого сомнѣнія. Достовѣрно, что есть люди, мучающіе другихъ людей не изъ корысти, не ради мести, не потому, чтобы тѣ люди имъ какъ-нибудь поперекъ дороги стояли, а для удовлетво-

нія своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и въ искусствѣ, въ жестовыхъ талантахъ; каковъ самъ Достоевскій.

Возвращаясь къ статьѣ Добролюбова, надо будетъ всетаки сказать, что однимъ недо-
смотромъ нельзя объяснить ея неполноту, или ошибочность. Положимъ, что онъ просмотрѣлъ истинную роль Голядкина № 2 въ повѣсти «Двойникъ». Но такой проницательный критикъ могъ бы и при этомъ условіи, касающемся собственно частности, хотя и очень характерной, уловить тотъ общій духъ мучительства, которымъ дышетъ творчество Достоевскаго. А между тѣмъ онъ ея не только не уловилъ, а еще усвоилъ Достоевскому «гуманическое» направленіе. Мало того, не замѣтилъ или, по крайней мѣрѣ, не отмѣтилъ разницы между мучителемъ Опискинымъ и мученикомъ Голядкинымъ. И того мало, Добролюбовъ такъ скомбинировалъ картины, сцены, характеристики, образы Достоевскаго, что изъ всего этого вышло какое-то не совсѣмъ определенное, но во всякомъ случаѣ отрицательное отношеніе къ тому общему порядку вещей на Руси (тогдашней), который создаетъ униженныхъ и оскорбленныхъ, принижаетъ личность до тупой покорности или какого-то не то жалкаго писка, не то безумнаго бреда, исправляющаго должность протеста. Въ этомъ, собственно, состоитъ весь смыслъ статьи Добролюбова. А между тѣмъ уже въ «Идіотѣ» (1868 г.) Достоевскій, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ, рѣзко и опредѣленно выразилъ одну изъ своихъ заветныхъ мыслей, впоследствии много разъ имъ развитую, а именно: кто у насъ нападаетъ «на существующіе порядки вещей», тотъ нападаетъ «на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію».

Повидимому, одно изъ двухъ: или Добролюбовъ грубо ошибался, или Достоевскій съ теченіемъ времени рѣзко измѣнился. Въ сущности, однако, не было ни того, ни другого: ни *грубой* ошибки съ одной стороны, ни *рѣзкой* перемены съ другой.

VII.

Въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» Достоевскій рассказываетъ:

«Я прочелъ имъ (семейству Ихменевыхъ) мой романъ въ одинъ присѣсть. Мы начали сейчасъ послѣ чаю, а просидѣли до двухъ часовъ по полуночи. Старикъ сначала нахмурился. Онъ ожидалъ чего-то невообразимо высокаго, такого, чего бы онъ пожалуй и самъ не могъ понять, но только непременно высокаго; а вмѣсто того вдругъ такіе будни и все такое извѣстное, вотъ

точь въ точь, какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается. И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой, или изъ историческаго что-нибудь, въ родѣ Росславлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, забитый и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вид-мундирѣ обсыпались, и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать, ни взять какъ мы сами говоримъ... Страшно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергѣича и даже немножко надулась, точно чѣмъ-то обидѣлась. «Ну, стоитъ, право, такой вздоръ печатать и слушать, да еще и деньги за это дають», было написано на ея лицѣ. Наташа была вся вниманіе, съ жадностью слушала, не сводила съ меня глазъ, всматриваясь въ мои губы, какъ я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что-жъ? Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы. Анна Андреевна искренно плакала, отъ всей души сожалѣя моего героя и пренаивно желая хоть чѣмъ-нибудь помочь ему въ его несчастіяхъ, что понималъ и изъ ея восклицаній. Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ: «Съ перваго шага видно, что далеко кулику ко Петрова дня; такъ себѣ, просто расскажешь; за то сердце захватываетъ, говорилъ онъ:—за то становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ; за то познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой!» Наташа слушала, плакала и подъ столомъ, украдкой, крѣпко пожимала мою руку. Кончилось чтеніе. Она встала; щеки ея горѣли, слезинка стояла въ глазахъ; вдругъ она схватила мою руку, поцѣловала ее и выбѣжала вонъ изъ комнаты».

Извѣстно, что въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ», въ той части похождения Ивана Петровича, которая касается его литературныхъ занятій, Достоевскимъ введено нѣсколько автобіографическихъ чертъ: говорится о критикѣ В. (Вѣлинскомъ), восторженно встрѣтившемъ первый романъ Ивана Петровича, рассказывается примѣрно содержаніе «Бѣдныхъ людей», сообщается манера писанія Ивана Петровича, весьма сходная съ манерой самого Достоевскаго, и проч. И можно думать, что Достоевскій и самъ переживалъ нѣчто въ родѣ тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя достались Ивану Петровичу въ только что приведенномъ разсказѣ о чтеніи перваго романа въ кругу близкихъ и чуткихъ людей. Конечно, тутъ дѣло не въ подробностяхъ, созданныхъ авторской фантазіей въ видахъ завязки и развязки романа, не въ своеобразныхъ, напримѣръ, отношеніяхъ Ивана Петровича къ семейству Ихменевыхъ вообще и къ Наташѣ въ особенности. Но мы знаемъ, что Достоевскому была лично знакома та гордая радость, которую долженъ былъ испытывать Иванъ Петровичъ при видѣ слезъ Ихменевыхъ и горячаго поцѣлуя Наташи. Если въ его жизни и не было совершенно аналогичнаго эпизода, что въ сущности и не важно, то эпизодъ этотъ образно и вмѣстѣ съ тѣмъ

какъ бы схематически изображаетъ пріемъ, оказанный читающимъ русскимъ людямъ первому роману Достоевскаго. Въ статьѣ Бѣлинскаго можно найти отраженіе Наташинаго страстнаго поцѣлуя и слезъ сочувствія Ижменевыхъ. Словомъ, Иванъ Петровичъ, Достоевскій тожъ, на первомъ же шагу на поприщѣ литературы получилъ такое трогательное, осязательное и подымающее одобреніе, какое вообще рѣдко достается писателю. Иванъ Петровичъ, Достоевскій тожъ, во-очію убѣдился въ мощи своего слова, позналъ на опытъ, что можетъ «глаголомъ жечь сердца людей». Моментъ, въ высшей степени важный въ исторіи всякой не чисто стихійной, а способной къ самосознанію силы. Въ этотъ моментъ Достоевскій находился въ такомъ же положеніи, въ какомъ находится женщина, впервые убѣдившаяся въ обаятельной силѣ своей красоты; въ какомъ находится школяръ, въ первый разъ успѣшно сразившійся съ товарищемъ и понявшій, что онъ уже не «новичекъ», который долженъ терпѣть всякія издѣвательства, а что у него самого кулаки есть; въ какомъ находится трибунъ послѣ первой рѣчи, которая произвела сильное впечатлѣніе; полководецъ, впервые увидавшій, что стройныя массы солдатъ не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налево, а встрѣчаютъ его съ искреннимъ, неподдѣльнымъ восторгомъ. И т. д., и т. д. Я прибавилъ бы, пожалуй, сравненіе съ тигренкомъ, впервые послѣ материнскаго молока лизнувшимъ крови, но это сравненіе идетъ къ дѣлу только въ отрицательномъ смыслѣ. Изъ тигренка долженъ вырасти кровожадный тигръ по непреложнымъ законамъ естества, и потому можно любоваться его мощной граціей, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя—суда такого нѣтъ; у тигровъ промежъ себя можетъ быть и есть подходящий судъ, но намъ до него дѣла нѣтъ; по нашему, тигръ просто подлежитъ смертной казни, безъ суда и слѣдствія. Иначе стоятъ дѣла относительно другихъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Дѣвушка, сознавшая силу производимаго ею обаянія, можетъ направить ее къ той или другой, непостыдной или постыдной цѣли, сообразно которой и подлежитъ опѣлкѣ. Изъ разныхъ комбинацій, какія тутъ возможны, для насъ особенно интересна та, когда цѣлью становится самое средство, орудіе, самая, такъ сказать, игра мускуловъ красоты. Простите это несообразное выраженіе, но, разъ оно сорвалось съ языка, позвольте ужъ заодно говорить и о мускулахъ мысли, о мускулахъ творчества и т. п. Все это орудія и напряженіе ихъ должно бы представлять только средства для

достиженія извѣстныхъ цѣлей. Но бываетъ такъ, что, по условіямъ чисто личнаго свойства или же по условіямъ обстановки, обладатель силы ставитъ себѣ цѣлью самую игру мускуловъ. Въ такихъ случаяхъ изъ женщины выходятъ кокетка, безпредметно заигрывающая со всякимъ мимоходящимъ и обращающая свою силу въ источникъ мученій; изъ трибуна и полководца—честолюбцы, способные, ради своихъ прекрасныхъ глазъ, натворить множество бѣдъ и уложить въ могилу тысячи людей. Великое дѣло—первые пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человѣка, пока онъ не попробовалъ власти, да до тѣхъ поръ и самъ онъ едва-ли себя знаетъ. Мало-ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо родины или человѣчества, а потомъ упивающихся властью для нея самой: дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нѣтъ никакого резона утверждать, что въ моментъ своихъ горячихъ клятвъ такой человѣкъ былъ непременно канальей, что онъ лгалъ, чтобы расчислить себѣ путь къ тому наслажденію, которое дается властью надъ такъ называемыми ближними. Можетъ быть, и лгалъ, и былъ канальей, но очень можетъ быть, что онъ просто не зналъ самого себя, не предвидѣлъ обаятельности того наслажденія, которое дастся ему «дикомъ, безпредѣльной властью, хоть надъ мухой». Конечно, это ужъ не первый сортъ человѣка, но онъ могъ все-таки быть вполне искрененъ въ началѣ своей карьеры.

И вотъ передъ нами писатель, впервые убѣдившійся въ своей силѣ. Онъ и прежде сознавалъ ее въ себѣ, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавалъ смутно, и не разъ горькія сомнѣнія чередовались въ его душѣ съ гордыми надеждами. Теперь конецъ вошлѣ этимъ колебаніямъ: присутствіе силы засвидѣтельствовано произведеннымъ ею впечатлѣніемъ. Писатель убѣдился, что онъ властный человѣкъ и можетъ двигать сердца своихъ читателей или слушателей. Но какъ и куда двигать? Передъ нимъ, какъ передъ сказочнымъ богатыремъ, разстилаются три дороги, съ той, однако, разницей, что ни на одной изъ нихъ онъ ни коня не потеряетъ, ни самъ не погибнетъ. Какія тутъ потери, какая гибель! Нѣтъ, молодая, сознавшая себя сила, играючи, преодолѣетъ всѣ препятствія, перелетитъ черезъ вошлѣ барьеры, и тамъ, гдѣ-то въ туманной, невѣдомой дали, водрузитъ знамя побѣды! Хорошее время, веселое время...

А дороги-то все-таки предстоятъ разныя, и надо выбирать. Одна изъ нихъ намѣчена простодушными восторгами старика Ижме-

нева: «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а всетаки карьера. Прочтутъ и высокія лица. Вотъ, ты говорилъ, Гоголь вспоможеніе ежегодное получаетъ и за-границу посылать. А что если бы и ты? а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Такъ сочиняй, братъ, сочиняй поскорѣе! Не засыпай на лаврахъ. Чего глядѣть-то! ...Или вотъ, напримѣръ табакерку дадутъ... Что-жъ? На милость вѣдь нѣтъ образца. Поощрить захотятъ. А кто знаетъ, можетъ и ко Двору попадешь; или нѣтъ? или еще рано ко Двору-то?... Камергеромъ, конечно, не сдѣлаютъ за то, что романъ написалъ: объ этомъ и думать нечего; а всетаки можно въ люди пройти, ну, сдѣлаться какимъ-нибудь тамъ аташе. За-границу могутъ послать, въ Италию, для поправленія здоровья, или тамъ для усовершенствованія въ наукахъ что ли; деньгами помогутъ».

Конечно, если бы нашъ богатырь захотѣлъ идти по этой дорогѣ, то разныя табакерки, вспоможенія, камергерскіе ключи посыпались бы на него, какъ изъ рога изобилія. Но онъ по этому пути не пойдетъ. Не тѣ времена ужъ, когда для писателя табакерки были желанны и возможны. За то тѣмъ желаннѣе и возможнѣе иной путь, тотъ самый, за одинъ шагъ по которому Наташа страстно припала къ рукѣ Ивана Петровича и облила ее слезами униженія и сочувствія. Одобреніе, полученное Иваномъ Петровичемъ, кромѣ трогательной осязательности формы, имѣло и вполнѣ определенное содержаніе. Оно давалось за «простоту» разсказа, въ связи съ его «гуманическимъ» направленіемъ: «Познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой». Опять и опять также просто и душевно описывать радости и горести забитаго человѣка; опять и опять будить въ душѣ читателя струны сочувствія къ униженному и оскорбленному; пробить силою своего творчества не только благодушныхъ стариковъ Ихменевыхъ, не только страстную и благородную Наташу, а и тѣхъ, кто забиваетъ забитыхъ; пробить ихъ толстыя кожи и добраться до самаго ихъ сердца—вотъ путь, по которому пойдетъ Иванъ Петровичъ.

Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому только трудный, что есть на свѣтѣ внѣшнія препятствія и воздѣйствія или, такъ называемыя, «независящія обстоятельства», категорически побуждающія молчать, когда хочется говорить, и ѣхать, когда хочется сидѣть дома. Это само собою разумѣется. Но избранный Иваномъ Петровичемъ путь переполненъ иными опасностями, изъ которыхъ главная состоитъ въ близости и соблазнительности третьей до-

роги—дороги кокетства въ обширномъ смыслѣ слова, игры мускуловъ творчества и ненужнаго мучительства. Одна, въ самомъ дѣлѣ, очень близка и соблазнительна, эта третья дорога.

Хорошо плачетъ Наташа! Хорошо видѣть плачущую эту ясную дѣвушку при сознаніи, что вѣдь это я, Иванъ Петровичъ, вызвалъ эти слезы, и вызвалъ не обидой или оскорбленіемъ, а тѣмъ, что тронуть ея сердце болью за болящаго, страданіемъ за страдающаго. А если припомнить, что въ ясной дѣвушкѣ отражаются и критикъ Б., и все, что есть мыслящаго и чуткаго въ читающей Россіи, такъ и подавно хорошо. Очень соблазнительно, для пушлаго эффекта, усилить тонъ, надбавить униженному еще немножко униженія и оскорбленному еще немножко оскорбленія: тогда вѣдь и ясная дѣвушка, и все, что въ ней для Ивана Петровича олицетворяется, будутъ еще больше тронуты. Очень это естественное соображеніе, а между тѣмъ—отсюда идетъ наклонная плоскость въ сторону отсутствія «простоты», за которую получено одобреніе, и присутствія ненужнаго мучительства, одобренія отнюдь незаслуживающаго. Съ теченіемъ времени Иванъ Петровичъ со второй дороги можетъ совсѣмъ перебраться на третью; первоначальная пѣль—возбужденіе сочувствія къ забитому человѣку можетъ постепенно отойти совсѣмъ на задній планъ и уступить свое мѣсто тому, что было сначала только средствомъ—игрѣ мускулами творчества. Можетъ, словомъ, произойти точное воспроизведеніе двухъ первыхъ моментовъ гегелевской формулы диалектическаго развитія: положеніе перейдетъ въ свое отрицаніе, сочувствіе въ мучительство. Разные люди при разныхъ обстоятельствахъ разныя покатаются по этой наклонной плоскости. Какъ это вышло у Ивана Петровича—намъ неизвѣстно, да и не интересно насколько. Что же касается самого Достоевскаго, то онъ покатылся столь быстро, что уже Вѣлискій, при всей своей восторженности отъ «Вѣднхъ людей», долженъ былъ назвать послѣдующія произведенія Достоевскаго «нервической чепухой» («даже сильнѣе», прибавляетъ г. Пыпинъ въ извѣстной книгѣ о Вѣлинскомъ). «Нервическая чепуха», это вѣдь именно и значить отсутствіе простоты и присутствіе ненужнаго мучительства. Конечно, не такъ просто, не такъ вдругъ совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба теченія довольно долго боролись другъ съ другомъ. Одолѣвало то или другое, смотря по обстоятельствамъ...

Спрашивается, какія же это обстоятельства, какія условія сдерживаютъ или усиливаютъ раскатъ по вышеозначенной на-

клонной плоскости? Прежде всего задерживающія или, напротивъ того, усиливающія условія могутъ заключаться въ прирожденныхъ личныхъ свойствахъ писателя: «таланты отъ Бога». Жестокость таланта, какъ и всякая другая жестокость, можетъ быть результатомъ несчастнаго сочетанія стихійныхъ силъ. Если, на примѣръ, у Полины, жестоко терзающей «игрока», «сѣдокъ ноги узенькій и длинный, мучительный, именно мучительный», то, значить, ей такъ на роду написано быть мучительницей. Въ писателѣ, однако, прирожденная жестокость таланта можетъ сдерживаться другими, отчасти прирожденными же, стихійными, а отчасти разумными элементами. Въ художникѣ на первомъ планѣ стоитъ здѣсь чувство мѣры, которое у тонко-развитыхъ въ художественномъ отношеніи натуръ играетъ, примѣрно, такую же всеконтролирующую роль, какъ такъ называемый тактъ у свѣтскихъ людей. Свѣтскій человѣкъ, будучи, на примѣръ, большимъ негодяемъ, въ силу присущаго ему такта, не обнаружитъ своего негодяйства. Тотъ же тактъ не позволитъ свѣтскому человѣку сдѣлать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него въ душѣ цѣлый адъ кипѣлъ. Такъ и въ художникѣ,—чувство мѣры подавляетъ и контролируетъ его личные попятыванія. У Достоевскаго это чувство было чрезвычайно слабо. Талантъ — чрезвычайно неровный: онъ то потухалъ до совершенной безцвѣтности и томительной скуки, то разгорался сильнымъ и яркимъ огнемъ, но никогда не зналъ мѣры. За исключеніемъ «Мертваго дома» и двухъ-трехъ мелкихъ рассказовъ («Бѣлыя ночи», «Маленькій герой», «Кроткая»), вполне законченныхъ въ смыслѣ гармоніи и пропорциональности, все остальное, написанное Достоевскимъ, не поражаетъ насъ своею нескладностью, растянутостью, безмѣрностью (если можно такъ выразиться) только потому, что мы ужъ очень привыкли къ его манерѣ писанія. Мы представили въ прошлый разъ образчики этой безмѣрности въ видѣ рога изобилія несчастій и обидъ, обрушивающихся на героевъ,—въ видѣ толкотни событій, которыхъ у него въ одинъ день совершается столько, сколько другому хватало бы на цѣлый годъ,—въ видѣ ненужныхъ надстроекъ, вставокъ и отступлений. Если въ нѣкоторыхъ изъ этихъ случаевъ чувство мѣры оказывается безсильнымъ для обузданія жестокости таланта, то оно было столь же безсильно и тогда, когда Достоевскій изображалъ благожелательныя чувства. «Бѣдные люди», на примѣръ, трудно читать безъ нѣкоторой тошноты отъ чрезмернаго обилія всякихъ «маточекъ» и «голубчиковъ моихъ». А въ «Униженныхъ и Оскорблен-

ныхъ» Иванъ Петровичъ столь чрезмерно пылаетъ самоотверженіемъ, что не только безропотно уступаетъ свою Наташу первому встрѣчному шалопаю, а еще играетъ роль сводни; словомъ, столь безмѣрно благороденъ, что даже гнусенъ.

Итакъ, чувство мѣры, будучи въ Достоевскомъ крайне слабо, не могло его сдерживать въ движеніи по наклонной плоскости.

Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта, могло бы спасти Достоевскаго отъ ненужнаго мучительства, а его читателей и дѣйствующихъ лицъ отъ ненужныхъ мученій. Не помню, кто изъ героевъ Эжена Сю, будучи отъ природы въ буквальномъ смыслѣ слова кровожаднымъ человѣкомъ, но, попавъ подъ вліяніе нѣкотораго добродѣтельнаго и умнаго руководителя, становится совершенно несчастнымъ человѣкомъ. Стихійныя силы натуры влекутъ его къ кровопролитію, а вліяніе добродѣтельнаго и умнаго руководителя не допускаетъ до кровопролитія. Наконецъ, дѣло разрѣшается очень просто: добродѣтельный и умный руководитель помѣститъ кровожаднаго героя на бойню мясника. Тутъ герой могъ удовлетворять своимъ жестокимъ наклонностямъ, дѣлая вмѣстѣ съ тѣмъ общепольное дѣло. Это, конечно, не болѣе какъ грубоватая иллюстрація къ теоріи Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенныя въ человѣка природою, какъ бы онѣ не были, повидимому, безобразны, нуждаются только въ известномъ приспособленіи, чтобы сослужить обществу полезную службу. Намъ здѣсь нѣтъ дѣла ни до остроумной теоріи Фурье, ни до грубой иллюстраціи Сю. Но она, эта иллюстрація, можетъ быть, именно вслѣдствіе своей грубости, если не разрѣшаетъ нашего вопроса, то наглядно рисуетъ возможность его разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнутъ съ лица земли и пусть на ихъ могилахъ пышнымъ цвѣтомъ расцвѣтаетъ любовь. Чего лучше! Но Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. И докопѣ нѣтъ «на землѣ мира и въ человѣчѣхъ благоволенія», самый любвеобильный человѣкъ допустить, что возможна и даже обязательна «необузданная, дикая съ лютой подлостью вражда». А всякая вражда требуетъ иногда людей жестокихъ (не мучителей, конечно, которые ни для какого дѣла не нужны). Вотъ и пусть бы Достоевскій взялъ на себя въ этой враждѣ роль, соотвѣтственную его наклонностямъ и способностямъ, которыя нашли бы себѣ такимъ образомъ опредѣленную точку приложенія. Все равно какъ нашли себѣ такую кровожадную наклонность героя Сю. Но у героя этого былъ добродѣ-

тольный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что въ действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевскій, самъ человѣкъ властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководству. Руководителемъ для него могло бы стать только что-нибудь безплотное, идеальное, передъ чѣмъ самому гордому и властному человѣку не стыдно склониться и вмѣстѣ съ тѣмъ такое, чтобы оно не въ облакахъ гдѣ-нибудь носилось, а стояло всегда тутъ, близко, постоянно охватывая собою человѣка. Люди смиренные и слабые могутъ довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личнымъ руководствомъ или велѣніями заоблачныхъ началъ. Люди же сильные, властные, сами умѣющие такъ или иначе управлять сердцами людей, не надѣются на себя армія личнаго руководства. Знакома имъ (не въѣмъ, конечно), и «съ небомъ гордая вражда». Но властные люди могутъ—и это не только теоретическое соображеніе, а и многократный историческій фактъ—склоняться передъ идеальнымъ началомъ, въ созданіи котораго они сами принимали участіе, въ которое они вносили частицу самихъ себя, своей мысли, чувства, воли; а такимъ началомъ можетъ быть только опредѣленный общественный идеалъ. Будь такой идеалъ у Достоевскаго, онъ не допустилъ бы его заниматься ненужнымъ мучительствомъ и безпредметною игрою мускуловъ творчества, а направилъ бы его жестокия наклонности въ какую-нибудь опредѣленную сторону. Но у Достоевскаго такого идеала не было...

Говорю не въ качествѣ человѣка партій. Весьма вѣроятно, что общественный идеалъ Достоевскаго, если бы онъ у него былъ, оказался бы чѣмъ-нибудь въ родѣ утопіи г. Каткова—безотрадной, безбрежной пустыней, гдѣ только изрѣдка, среди всеобщаго безмолвія раздаются крики: «караулъ!» «держи!» «ура!» Съ моею скромной личной точки зрѣнія, равно какъ и съ точки зрѣнія того великаго Бога, которому я молюсь, тутъ нѣтъ равно ничего хорошаго и есть очень много сквернаго. Но, не говоря уже о томъ, что Достоевскій могъ быть и счастливей въ выборѣ своемъ, даже въ этомъ случаѣ, онъ былъ бы избавленъ отъ безпредметной «игры» на нервахъ читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь опредѣленнаго общественнаго идеала у Достоевскаго не было. Почему не было?—это вопросъ особый, и для разрѣшенія довольно трудный. Мы и не будемъ имъ заниматься, въ виду отсутствія нужныхъ біографическихъ данныхъ. Намъ важнѣе только самый фактъ.

Если же кто въ этомъ фактѣ усомнится или попробуетъ сложить какой-нибудь общественный идеалъ изъ тѣхъ обломковъ личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевскій въ особенности въ послѣднее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои въ язви гвоздинныя.

Разсуждая о нѣкоторой теоріи общественныхъ отношеній (по всѣмъ видимостямъ социалистической), подпольный человѣкъ, между прочимъ, пишетъ:

«Тогда-то—это все вы говорите—наступить новыя экономическія отношенія, совсѣмъ уже готовыя и тоже вычисленныя съ математическою точностію, такъ что въ одинъ мигъ исчернуть всевозможные вопросы, собственно потому, что на нихъ получаются всевозможные отвѣты. Тогда выстроится хрустальный дворецъ. Тогда... Ну, однимъ словомъ, тогда придетъ птица Коганъ. Конечно, намъ нельзя гарантировать (это уже я теперь говорю), что тогда не будетъ, напримеръ, ужасно скучно (потому что что-жъ и дѣлать-то, когда все будетъ расчислено по табличкѣ), за то все будетъ чрезвычайно благоразумно. Конечно, отъ скуки чего не выдумаешь! Вѣдь и золотыя булавы отъ скуки втыкаются *), но это бы все ничего. Скверно то (это опять таки я говорю), что, чего добраго, пожалуй и золотыя булавы тогда обрадуются. Вѣдь глупъ человѣкъ, глупъ феноменально. То-есть онъ хоть и вовсе не глупъ, но ужъ за то не благодаренъ такъ, что понаскать другаго, такъ не найти. Вѣдь я, напримеръ, нисколько не удивлюсь, если вдругъ ни съ того, ни съ сего среди всеобщаго будущаго благоразумія, возникнетъ какой-нибудь джентльменъ съ небогатородной или, лучше сказать, съ ретроградной и ниспѣшившей фязіономіей, упретъ руки въ боки и скажетъ намъ всѣмъ: «а что, господа, не столкнуться ли намъ все это благоразуміе съ одного раза ногой, прахомъ, единственно съ тою дѣлю, чтобы всѣ эти логарифмы отправились къ чорту и чтобы намъ опять по своей глупой волѣ пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что вѣдь непремѣнно послѣдователей найдеть: такъ человѣкъ устроенъ. И все это отъ самой пустѣйшей причинъ, отъ которой бы, кажется, и упоминать не стоитъ: именно оттого, что человѣкъ всегда и вездѣ, кто бы онъ ни былъ, любилъ дѣйствовать такъ, какъ хотѣлъ, а вовсе не такъ, какъ полагали ему разумъ и выгода; хотѣлъ же можно и противъ собственной выгоды, а иногда *положительно должно* (это ужъ моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотѣніе, свой собственный, хотя бы самый дикій капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествія: вотъ это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходить и отъ которой всѣ системы и теоріи постоянно разлетаются къ чорту. И съ чего это взяли всѣ эти мудрецы, что человѣку надо какого-то нормальнаго, какого-то добродѣтельнаго хотѣнія? Съ чего это непремѣнно воображали они, что человѣку надо непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія? Человѣку надо только *самостоятельнаго* хотѣнія, чего бы эта самостоятельность ни стоила и къ чему бы ни привела».

*) Передъ тѣмъ шла рѣчь о наслажденіи, которое Клеопатра испытывала, втыкая золотыя булавы своимъ невольницамъ въ груди.

И т. д., и еще нѣсколько страницъ такого же затѣйливаго изложенія той же незатѣйливой мысли. Лѣтъ за тридцать передъ тѣмъ, какъ ее изложилъ подпольный человѣкъ (1864 г.), эта мысль, будучи, въ качествѣ критики тогдашнихъ социалистическихъ теорій, столь же незатѣйливою, была, однако, до известной степени умѣстна и даже справедлива. Только одного не приняли въ соображеніе представители либеральной европейской буржуазіи, сдѣлавшіе изъ развиваемой подпольнымъ человѣкомъ мысли своего любимаго конька; а именно того, что эта мысль можетъ быть направлена рѣшительно противъ всякаго общественнаго идеала, въ томъ числѣ и противъ либерально-буржуазнаго. А о другихъ прочихъ и говорить нечего. Намъ здѣсь не приходится, разумеется, рассуждать о томъ, какъ и въ какой мѣрѣ возможно примиреніе личной самостоятельности съ какимъ-либо общественнымъ порядкомъ. Но дѣло въ томъ, что возраженіе подпольнаго человѣка можетъ быть предъявлено, собственно говоря, только такимъ субъектомъ, у котораго у самого нѣтъ никакого общественнаго идеала. Если ссылаться на свойства человѣческой природы, то надо помнить, что коли человѣкъ создалъ себѣ какой-нибудь идеалъ, самый хотя бы мечтательный и нелѣпый, такъ ужъ его такими пустяками изъ сѣдла не выбьешь, ибо тамъ, въ этомъ мечтательномъ идеалѣ, все это уже предусмотрено и разрѣшено. Взять хоть бы ту же утопію безконечной равнины, на которой раздаются только крики: «караулъ!» «держи!» «ура!» Кажется, что можетъ быть мечтательнѣе и нелѣпѣе? А попробуйте-ка запугать г. Каткова «джентльменомъ съ неблагородной или, лучше сказать, съ ретроградной и насмѣшливой фізіономіей», который вдругъ «упреть руки въ боки», предложить все это благополучіе «отправить къ чорту». Ни мало не запугаете, потому что для такого джентльмена въ утопіи есть мѣсто и даже не мѣсто, а мѣста—весьма и же весьма удаленныя. Въ другого рода утопіяхъ джентльменъ съ ретроградной и насмѣшливой фізіономіей тоже предусмотрѣнъ. Предполагается именно, что осуществленіе утопіи внесетъ въ жизнь столько свѣта и счастья, что еслибы джентльменъ и объявился и даже увлекъ за собой кое-кого, то количество этихъ увлеченныхъ будетъ примѣрно три съ половиной человѣка, которые будутъ играть роль такихъ же рѣдкостныхъ уродовъ, какъ теперь двухголовые соловьи, очень маленькіе карлики и очень большіе великаны. Пусть это мечта, но такова ужъ человѣческая природа, что смущаться и другихъ смущать джентльменомъ съ ретроградной и насмѣшливой фізіономіей могутъ

только люди, никакого собственнаго идеала не имѣющіе. Таковъ подпольный человѣкъ, который въ шаблонномъ либерально-буржуазномъ возраженіи сдѣлалъ только ту странную поправку, что дескать, не заботьтесь очень о благополучіи-то—человѣкъ страдать любить. Точно этого добра мало въ жизни! Но подпольный человѣкъ не просто подпольный человѣкъ, а до известной степени самъ Достоевскій. По крайней мѣрѣ, въ ту часть «Записокъ изъ подполья», откуда заимствовано нами рассужденіе насчетъ джентльмена съ ретроградной и насмѣшливой фізіономіей, Достоевскій несомнѣнно вложилъ много своего личнаго, собственнаго...

Это не доказательство! перебьетъ меня читатель. Конечно, не доказательство, а только соображеніе, основанное на сходствѣ нѣкоторыхъ теоретическихъ идей Достоевскаго и подпольнаго человѣка и ихъ практическихъ приемовъ мучительства. Доказательство же могло бы уже просто въ томъ состоять, что Достоевскій никогда своего общественного идеала намъ не показывалъ. Но этого мало. Припомните странную мысль Достоевскаго—странную, но отнюдь не одиноко стоящую въ его описаніяхъ, что Коробочка и ея крѣпостные, оставаясь въ томъ же социальномъ положеніи, могли бы явить міру высокій образецъ взаимныхъ нравственныхъ отношеній, если бы были приняты истинно христіанскимъ духомъ. Никто не сомнѣвается въ возвышенности христіанской морали, но въ этой выходкѣ сквозитъ такое страшное презрѣніе ко всякому общественному идеалу или такая почти непостижимая скудость мысли и чувства въ этомъ направленіи, что поневолѣ вспомнишь джентльмена съ ретроградной и насмѣшливой фізіономіей. На этотъ разъ фантастическій джентльменъ долженъ бы былъ, «упреть руки въ боки», сказать: а давай-те-ка, господа, столкнемъ къ черту все, что выработано и выстрадано человѣчествомъ по части общественныхъ идеаловъ: не все-ли, собственно говоря, равно—крѣпостное право, теперешній, завтрашній порядокъ? все это чепуха, ибо во всякомъ положеніи можно быть высоко нравственнымъ человѣкомъ.

Слабость художественнаго чувства мѣры, которое могло бы контролировать проявленіе жестокаго таланта, отсутствіе общественнаго идеала, который могъ бы ихъ регулировать,—вотъ, значить, условія, способствовавшія или сопутствовавшія движенію Достоевскаго по наклонной плоскости отъ «простоты» къ вычурности, отъ «гуманическаго» направленія къ безпричинному и безцѣльному мучительству. Чѣмъ дальше, тѣмъ ярче объявлялась въ немъ потребность играть на нервахъ читателя разными страшными чудищами и духъ

захватывающими диковинками. И, не смотря на всю его по этой части избирательность, ся все-таки не хватало для удовлетворения его ненасытной потребности: онъ долженъ былъ повторяться. Такъ, напримѣръ, въ «Вѣчномъ мужѣ» Труссопкій изъ ненависти къ Вельчанинову любовно цѣлуетъ у него руки; искренно, съ любовью ухаживаетъ за нимъ, за больнымъ, а два-три часа спустя хочетъ его зарѣзать бритвой. Казалось бы, въ самомъ богатомъ собраніи «монстровъ и раритетовъ» одного такого чудища было бы достаточно. У Достоевскаго же, не говоря о безчисленныхъ варіаціяхъ на тему любви-ненависти вообще, этотъ самый эпизодъ въ частности почти буквально повторяется въ «Идіотѣ»: Рогожинъ братается съ княземъ Мышкинымъ, мѣняется съ нимъ крестами, и въ тотъ же день бросается на него съ ножомъ. Изображеній простой, обыденной типической жизни, которая такъ тронула сердца Ихменевыхъ, нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, все вычурно, необыкновенно, случайно, чудно. Достоевскій и самъ, наконецъ, обратилъ на это вниманіе. По крайней мѣрѣ, въ предисловіи къ «Братьямъ Карамазовымъ» есть, между прочимъ, слѣдующія строки: «Не только чужакъ не всегда частность и обособленіе, а напротивъ—бываетъ такъ, что онъ-то пожалуй и носитъ въ себѣ иной разъ сердцевину цѣлаго, а остальные люди его эпохи, всѣ, какими-нибудь наплывомъ вѣтромъ, на время почему-то отъ него оторвались». Это—попытка оправдаться въ выборѣ чудныхъ, особенныхъ, рѣдкостныхъ людей, положеній, чувствъ. Сказаны эти слова по адресу Алексѣя Карамазова, который, можетъ быть, и оказался бы такимъ «сердцевиннымъ» чужакомъ. Но бѣда въ томъ, что Алексѣй Карамазовъ своей сердцевинности въ романѣ не обнаруживаетъ и самъ тонетъ въ цѣломъ океанѣ разныхъ необыкновенныхъ людей и положеній, которыхъ и самъ авторъ не рѣшается выдавать за сердцевинные. Тутъ старикъ Карамазовъ, развратный до того, что находитъ наслажденіе въ любовномъ сношеніи съ грязной идіоткой Лизаветой Смердящей. Тутъ Дмитрій Карамазовъ съ цѣлымъ рядомъ необыкновенныхъ похощеній. Тутъ мятущаяся, фантастическая Грушенька, эпилептики, отцеубійцы, продивные, святые, словомъ—цѣлая кунсткамера. «Чужакъ» Алеша оказывается самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ въ этой коллекціи чудищъ. А читатель знаетъ, что «Братья Карамазовы» отнюдь не составляютъ въ этомъ смыслѣ исключенія. «Преступленіе и наказаніе», «Идіотъ», «Бѣсы» переполнены всякаго рода рѣдкостями, исключительными явленіями, чудищами. И если сердца читателей все-таки трогаются и

даже въ своемъ родѣ, можетъ быть, сильнѣе трогаются, чѣмъ въ свое время сердца Ихменевыхъ, то во всякомъ случаѣ на совершенно другой манеръ; сочувствіе къ забытымъ, униженнымъ, оскорбленнымъ замѣняется совсѣмъ другимъ отношеніемъ къ нимъ. Взять хоть бы тѣхъ же рогагоносцевъ Ивана Андреевича и Труссопкаго. Это—истинно несчастные люди, которыхъ жестокая судьба унижаетъ и оскорбляетъ жестокими руками Достоевскаго свѣпше всякой мѣры и безо всякой съ ихъ стороны вины: ничѣмъ они не виноваты ни передъ женами своими, ни передъ ихъ любовниками. Напротивъ, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ, Труссопкій, былъ весь внимательность и любовь. И, тѣмъ не менѣе, никакого сочувствія къ этимъ субъектамъ въ читателѣ родиться не можетъ: одинъ смѣшонъ и глупъ, какъ пробка, другой низокъ и отвратительно золъ. Тутъ ужъ никакъ нельзя повторить слова старика Ихменева: познается, что самый забытый человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой. Весь психическій процессъ, происходящій въ душѣ читателя, сводится къ какому-то неопредѣленному трепетанію нервовъ, совершенно безучастному и къ оскорбленной и къ оскорбляющей сторонѣ, но настолько все-таки, благодаря таланту автора, сильному, чтобы читатель втянулся и нѣкоторое время жилъ этимъ безпредметнымъ мучительнымъ трепетаніемъ.

VIII.

Ничего этого Добролюбовъ не засталъ. Если же и въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго задатки мучительныхъ наклонностей были уже на лицо, то во-первыхъ, это были все-таки только задатки, нѣчто, относительно говоря, слабое, невыяснившееся. А во-вторыхъ, духъ времени, когда довелось работать Добролюбову...

Впрочемъ, позвольте сначала маленькое отступленіе.

Въ «Запискахъ изъ подполья» есть одна фраза, которая въ устахъ подпольнаго человѣка играетъ роль просто фразы, общаго мѣста, но въ которую можетъ быть, однако, вложено чрезвычайно важное и обширное содержаніе. Подпольный человѣкъ говоритъ именно, что онъ оторвался отъ «живой жизни» и прильпился къ жизни «книжной». Что это такое значитъ? Возьмемъ не мрачнаго «парадоксалиста», кокетничавшаго своею мерзостью, а настоящаго «книжнаго» и притомъ хорошаго человѣка. Представьте себѣ прекраснаго юношу, одолаиваемаго жаждою научныхъ знаній и мечтающаго приложить эти добытыя усиленнымъ трудомъ знанія къ практической жизни, на благо родины. Пред-

ставьте себя далѣе, что эта святая для него родина предоставляет ему мирно и безмятежно приобретать знанія, а затѣмъ настѣжь открываетъ передъ нимъ двери практической жизни: иди и работай. И родина въ барышахъ—у нея лишній работникъ, имѣющій прекрасную цѣль и владѣющій средствами для приближенія къ ней; и личная судьба юноши устраивается превосходно, «струны натянуты, звени на весь міръ», какъ говорить тургеневскій Шубинъ въ «Наканунѣ». Къ сожалѣнію, это случай очень простой въ теоріи, но довольно рѣдкій на практикѣ. Бываетъ такъ, что родина, ослѣпленная разными тяжелыми обстоятельствами и мутной водой, въ которой ловкіе люди ловятъ рыбу, встрѣчаетъ юношу, самое можетъ быть дорогое свое дѣтище, съ недоувѣріемъ. Допустимъ, что она не мѣшаетъ ему приобретать знанія, какія ему угодно и сколько ему угодно (а бываетъ вѣдь такъ, что и этого не бываетъ). Но предоставляя нашему прекрасному юношѣ учиться, ослѣпленная родина оставляетъ ему только ничтожную щелку для прохода въ «живую жизнь» и приложенія знаній. Юноша объ этомъ уже на школьной скамьѣ слышитъ, а затѣмъ и воочию, самолично убѣждается, что его золотыя мечты, розовыя надежды, голубыя идеалы, всѣ эти яркіе, блистающіе цвѣты жизни должны «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней». Если эта натура кипучая, которой практическая дѣятельность въ «живой жизни» нужна, какъ рыбѣ вода, то его ждуть многіе и разнообразныя приключенія во всякомъ случаѣ невеселаго свойства, до которыхъ однако намъ здѣсь дѣла нѣтъ. Если же это натура, могущая довольствоваться теоретическими сферами, то изъ него легко можетъ выйти виртуозъ въ той отрасли знанія, которою онъ занимается. Для этого нужно только, чтобы взаимѣн отрубленной обстоятельствами цѣли, блага родины, на первый планъ выступило средство—знаніе. Въ самомъ дѣлѣ, онъ занимался, наприкладъ, философійю и съ наивною, свойственною юношамъ, особливо хорошимъ, мечталъ благодѣтельствовать родину тѣми этическими и социологическими выводами, которые онъ добудетъ упорнымъ занятіемъ философійю. Оказывается, что его родинѣ не нужны его этика и социологія; у нея есть свой отвердѣлый кодексъ морали, свои отвердѣлыя понятія объ общественныхъ отношеніяхъ, и она ревниво отстраняетъ все, что можетъ эту отвердѣлость потревожить. Юноша, побившись нѣкоторое время, какъ рыба объ ледъ, прощается съ своими практическими идеалами и удаляется въ область логическихъ, онтологическихъ, діалектическихъ и метафизическихъ тонкостей. Здѣсь онъ мо-

жетъ свободно строить хотя бы вавилонскую башню, никому ненужную, ни для кого не опасную, никого не радующую.—Юноша занимается исторіей. Онъ думаетъ вывести собственные оригинальные или провѣрить чужіе историческіе законы съ тѣмъ, чтобы приложить ихъ къ судьбамъ родины и доказать съ математическою точностью и ясностью, что въ настоящую минуту для родины нужно то-то и то-то. Нѣтъ, ослѣпленная, родина не хочетъ даже и слышать объ этихъ «то-то и то-то», она налагаетъ печать молчанія на уста юнаго историка, и онъ зарывается въ архивы, отечественные, а можетъ быть и иностранные, чтобы добывать тамъ мелкіе факты и фактики, упиваться этимъ познаніемъ историческаго сора и навсегда оторваться отъ «живой жизни»... И т. д. Біологъ утонетъ въ безбрежномъ морѣ видовъ какихъ-нибудь насѣкомыхъ; статистикъ кинется въ омутъ познанія всякаго рода чиселъ. Все это будутъ виртуозы, оторванные отъ «живой жизни», или, лучше сказать, отброшенные ею. Одни пустятся въ эту виртуозность, въ эту игру мускулами мысли послѣ нѣкоторой борьбы и съ болью, съ душевнымъ надрывомъ; другіе втянутся въ нее незамѣтно, постепенно, можетъ быть съ нѣкоторымъ весельемъ и чрезвычайно высокимъ мнѣніемъ о себѣ и своей дѣятельности.

Да не подумаетъ читатель, что я съ насмѣшкою, презрѣніемъ или другимъ какимъ-нибудь видомъ отрицанія отношусь ко всѣмъ упомянутымъ почтеннымъ спеціальностямъ. Напротивъ. Безспорно, что всякій виртуозъ плодитъ много такихъ ненужностей, которыя во вѣки вѣковъ останутся ненужностями. Но если кто-нибудь хочетъ познавать всякаго рода числа или считать «пески морей, лучи планетъ», такъ пусть его. Мнѣ только жалъ тѣхъ прекрасныхъ юношей, которые совсѣмъ не того хотѣли, вступая въ жизнь, и принались за всякаго рода числа и погреблись въ архивахъ только потому, что живая жизнь ихъ отъ себя оттолкнула. Простительное сожалѣніе, я надѣюсь. А вѣдь это еще все лучшіе случаи оторванности отъ жизни. Бываетъ много хуже. Бываетъ такъ, какъ, можетъ быть, было съ подпольнымъ человекомъ. Кто его знаетъ! Можетъ быть, сознавъ свои выдающіяся способности вообще и спеціальную силу «донимать» людей «картинками», онъ думалъ великія дѣла обомать, мечталъ горами ворочать и «донять» дорогу родину такими «картинками», чтобы она содрогнулась и отъ всей своей скверны очистилась. Но ослѣпленная родина не пожелала его услугъ, живая жизнь оттолкнула его; можетъ быть, крайне грубо, больно, оскорбительно и безповоротно оттолкнула.

И вотъ то, что было лишь средствомъ для достиженія высокой цѣли—донимающія картинки—стало самою цѣлью подпольнаго чело-вѣка. Сила-то вѣдь осталась, она только потеряла первоначально предположенную точку приложенія и разбрасывается поэтому зря, безъ смысла. Увидѣлъ подпольный чело-вѣкъ несчастную Лизу и давай ее дони-мать картинками, то-есть мучить безъ при-чины, безъ цѣли, безъ нужды.

Что касается средствъ, которыя «живая жизнь» пускаетъ въ ходъ, чтобы оторвать отъ себя работниковъ, то, я полагаю, рас-пространяться о нихъ нечего. Читатель знаетъ, что средствъ этихъ много и что они разнообразны. Достоевскій испыталъ на себѣ самыя страшныя изъ нихъ. За невиннѣй-шее участіе въ дѣлѣ Петрашевскаго, онъ испыталъ всѣ ужасы и весь позоръ каторги и солдатской лямки. Его били, сѣкли... его, испытывающаго уже наслажденіе высшей власти, какая только можетъ быть на землѣ—власти надъ сердца́ми людей...

Теперь можно, кажется, обратиться и къ «духу времени».

Духъ времени въ значительной степени характеризуется количествомъ отверженныхъ и неотверженныхъ живою жизнью работниковъ. Не одні вершины, не только силь-ные, большіе, властные, а и слабые, ма-лые, смиренные хотѣтъ участвовать въ жи-вой жизни, справедливо разсуждая, что тутъ всѣмъ найдется вдоволь работы; и они, а — значить — все общество можетъ ока-заться отверженнымъ живою жизнью или припущеннымъ къ ней. Понятное дѣло, что духъ времени будетъ въ первомъ случаѣ со-всѣмъ не тотъ, что во второмъ—иные ин-тересы будутъ у людей, иначе будутъ они на вещи смотрѣть. Во времена Добролю-бова, у насъ на этотъ счетъ въ нѣкоторомъ родѣ весна была: ледъ таялъ, цвѣты расцвѣ-тали, весеннія птицы весеннія пѣсни пѣли. Говоря безъ метафоръ, общество, послѣ то-мительно-долгого бездѣйствія, получило, на-конецъ, нѣкоторую возможность принять участіе въ живой жизни. Добролюбовъ былъ слишкомъ уменъ и требователенъ, чтобы приходить въ телачій восторгъ (какъ при-ходили тогда многіе) отъ этого, во всякомъ случаѣ, перваго, неувереннаго, колеблюща-гося шага. Но и на немъ сказался духъ времени. Такъ, напримѣръ, хотъ въ той же статьѣ о забытыхъ людяхъ, не смотря на ея общій грустный и протестующій тонъ, про-бивается оптимистическая струйка, совер-шенно, конечно, оправдываемая тогдашними обстоятельствами. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, могъ тогда предвидѣть, что мракъ и хаосъ наступятъ такъ быстро, послѣ того какъ «солнце встало» и «горячимъ свѣтомъ по

листамъ затрепетало!» Тотъ же оптимизмъ побуждалъ часто Добролюбова, какъ и дру-гихъ, считать побѣжденнымъ то, что въ сущности было вовсе не побѣждено, а только съежилось и пригнуло голову. Между про-чимъ, именно, какъ къ побѣжденнымъ, До-бролюбовъ относился къ формуламъ виртуоз-ности: наука для науки, искусство для искус-ства. Оно и понятно. Живая жизнь, насто-ящее дѣло, настолько стали общедоступными, а въ недалекомъ будущемъ развертывались такія широкія перспективы, что, казалось, кому же придетъ охота промѣнять настоящую жизнь на ея отраженіе, цѣль на средство; наука и искусство, конечно, сами пойдутъ на службу къ живой жизни. Такъ оно и было въ общемъ тонѣ, но вовсе не такъ въ под-робностяхъ. Надѣлая при случаѣ, мимоходомъ, пресловутое искусство для искусства ка-кимъ-нибудь презрительнымъ толчкомъ, До-бролюбовъ относился ко всѣмъ разбираемымъ имъ крупнымъ явлениямъ литературы такъ, какъ будто и сомнѣнія не могло быть въ томъ, что это продукты сознательнаго слу-женія живой жизни. Ему и въ голову не приходило, что то или другое крупное ли-тературное явленіе родилось *такъ*, спроста, какъ рова цвѣтетъ, какъ соловей поетъ. По этой части происходили даже не лишеныя пикантности анекдоты. Такъ напримѣръ, въ статьѣ «Когда же настанетъ настоящій день?»—Добролюбовъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ въ отвѣтъ на вопросъ, почему Инсаровъ болгаринъ, а не русскій, и почему русскій не могъ увлечь Елену. При этомъ предполагалось, что Тургеневъ намѣренно выбралъ такого героя, именно въ такихъ-то и такихъ-то видахъ. А по прошествіи нѣкотораго времени, Тургеневъ откровенно разъяснилъ, что никакихъ та-кихъ видовъ у него не было, а что онъ просто воспроизвелъ дѣйствительное проис-шествіе, героемъ котораго былъ именно болгаринъ. Точно также и относительно До-стоевскаго. Добролюбовъ и представить себѣ не могъ, чтобы можно было мучить, напри-мѣръ, «господина Голядкина» *такъ*, ни съ того, ни съ сего, ради «игры». Не то что-бы у него для этого не хватало проница-тельности или критическаго таланта. Нѣтъ, самая возможность такого дикаго явленія была далека отъ его мысли. И вотъ онъ придумываетъ для злоключеній Голядкина жизненное объясненіе, тонкое и умное, ко-торое, однако, никуда не годится. Само со-бою разумѣется, что это ни мало не отни-маетъ цѣны у статьи Добролюбова, потому что и посвящена-то она, собственно говоря, не столько Достоевскому, сколько забытымъ людямъ, а забытые люди будутъ, конечно, поважа́ть Достоевскаго...

И въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, Добролюбовъ былъ настоящимъ выразителемъ духа времени. Все читающее общество было какъ-то безсознательно увѣрено въ невозможности литературы *такой*. Оно допускало, разумѣется, исключенія для разной мелочи и шелухи, но крупный талантъ представлялся въ ту всеянюю пору непременно работникомъ живой жизни, и читатель именно въ этомъ направленіи искалъ объясненія произведеніямъ Тургенева, Островскаго, Гончарова, Достоевскаго.

Понятное дѣло, что при такихъ условіяхъ Достоевскій съ своими мучительскими наклонностями и неокрѣпшимъ еще талантомъ не могъ играть видной роли. Независимо отъ относительной слабости дарованія, аудитория была просто неподходящая. Тогдашній читатель, все равно умный или глупый, эстетически развитый или неразвитый, былъ подобенъ той пчелѣ, о которой въ нѣмецкой баснѣ рассказывается, будто она высасываетъ изъ цвѣтовъ только сладость, а ядъ оставляетъ. Слишкомъ онъ былъ занятъ живою жизнью, чтобы находить наслажденіе въ безпредметномъ трепетаніи нервовъ, и просто не замѣчалъ мучительской стороны огромнаго дарованія Достоевскаго, пропускалъ ее мимо ушей.

Совсѣмъ другое дѣло въ послѣдній періодъ дѣятельности Достоевскаго, особенно подъ самый конецъ его жизни. Все сложилось для того, чтобы поднять его популярность до необыкновенной высоты. Правда, онъ пустился въ публицистику и, какъ публицистъ, былъ просто путаница, которую всѣ такъ и признали бы путаницей, если бы не политикаство однихъ и не холопское умиленіе другихъ. Но за то беллетристическій талантъ его отточился до блеска и остроты ножа. Да и читатель былъ уже не тотъ. Не то, чтобы самъ читатель измѣнился, а его обстановка — онъ былъ оторванъ отъ живой жизни. Тамъ, въ живой жизни происходили событія огромной важности, небывалыхъ размѣровъ и почти сказочнаго характера. Но читатель былъ тутъ не причемъ. Онъ былъ зритель, и только и могъ, что трепетать нервами...

Ну, вотъ что, читатель. Мы съ вами такъ истрепетались нервами за это тяжелое, страшное время, что о немъ надо либо на чистоту, по душѣ говорить, либо совсѣмъ не говорить. А чтобы по душѣ говорить, надо *весны* подождать, чтобы опять ледъ таялъ, цвѣты расцвѣтали, весеннія птицы весеннія пѣсни пѣли...

Г. И. УСПЕНСКИЙ *).

Литературная характеристика.

I.

Глѣбъ Успенскій — одинъ изъ любимѣйшихъ современныхъ русскихъ писателей. Кромѣ огромнаго и вполне оригинальнаго таланта, который общепризнанъ, онъ милъ и дорогъ своему читателю еще чѣмъ-то другимъ, что труднѣе уловить и указать, чѣмъ талантъ.

Успенскій появился на такъ называемомъ литературномъ поприщѣ въ шестидесятыхъ годахъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими талантливыми молодыми писателями. Явились они какъ-то вдругъ, цѣлымъ гнѣздомъ, и сначала не легко было строго опредѣлить индивидуальныя особенности каждаго изъ нихъ. Ихъ до извѣстной степени объединяли и содержаніе ихъ писаній, и манера изложенія.

Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не привлекали къ себѣ творческаго вниманія беллетристовъ предъидущаго поколѣнія: мужикъ, рабочій, дьячекъ, мѣщанинъ, мелкій чиновникъ — вотъ кто ихъ почти исключительно занималъ. Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желанія прикрасить его и представить выше излюбленныхъ персонажей предъидущаго періода беллетристики, — не было. Напротивъ, въ такую намѣренную идеализацію часто впадали старые беллетристы въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда брали свои сюжеты изъ среды мелкаго сѣраго люда. Молодые же беллетристы, о которыхъ идетъ рѣчь, нерѣдко грѣшили противоположною крайностью. Вообще же они желали писать просто правду, какою она имъ въ данную минуту представлялась, не руководствуясь никакими сторонними сообра-

*) 1888 г.

женіями. Опреѣленная тенденція всей группы состояла только въ томъ, чтобы привлечь вниманіе общества къ такимъ сферамъ, которыя дотолѣ едва смѣли показаться въ литературѣ. Это было какъ-разъ во-время, въ виду результатовъ крымской войны и послѣдовавшихъ за ней реформъ, долженствовавшихъ кореннымъ образомъ обновить весь нашъ общественный строй. Не мудрено, что упомянутая группа беллетристовъ имѣла большой успѣхъ — она вполне соответствовала житейскому моменту, была костью отъ кости и плотью отъ плоти его. Не мудрено также, что общество прощало этой литературѣ разные ея изъяны. А прощать было что! Во-первыхъ, эта молодежь наносила оскорбленіе дѣйствіемъ всѣмъ традиціоннымъ, привычнымъ формамъ беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенныя сценки, начала безъ конца и концы безъ начала, бѣглыя отмітки, еле очерченныя лица, отсутствіе «выдумки», какъ говорилъ Тургеневъ, то-есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. Это было большою дерзостью, объ которой мы по теперешнему времени даже судить не можемъ, ибо тогдашнее старшее поколѣніе беллетристовъ, въ лицѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго, давало высокіе образцы вполне правильнаго въ архитектурномъ смыслѣ и вполне законченнаго творчества. Но дерзость литературной молодежи на этомъ не останавливалась. Уже то могло казаться дерзостью, что центръ тяжести литературныхъ интересовъ передвигался изъ помѣщичьихъ усадебъ съ аллеями густолиственныхъ кленовъ, гдѣ такъ поэтически гуляли влюбленные пары при лунномъ свѣтѣ; изъ гостинныхъ, заваленныхъ кипсеками и альбомами, гдѣ происходили такіе изящные разговоры; изъ балльных залъ, сверкающихъ обаятельными дамскими плечами, брильянтами, мундирами — въ одноглазые мѣщанскіе домишки, въ кабаки, мужицкія избы, постоянные дворы, комнаты «снебилью». Но все это было еще, пожалуй, что называется, въ духѣ времени, ибо періодъ реформъ открывалъ, казалось, двери новой жизни, и естественно, что въ нихъ хлынулъ разный сѣрый мелкій людъ, давая свою окраску и литературѣ. Но дерзость литературной молодежи не останавливалась и передъ оскорбленіями самого этого духа времени. Только что освобожденный, только что признанный созрѣвшимъ для усвоения гражданскихъ правъ мужикъ вдругъ являлся въ какомъ-нибудь очеркѣ Николая Успенскаго или Слѣпцова совершеннымъ дубиной, стоящимъ чуть не на уровнѣ какого-нибудь пауаса. Только что введенная судебная реформа вызывала у Гл. Успенскаго сцену въ оружномъ судѣ (въ «Разореніи»), которая оканчивалась бессмысленнымъ, хотя

и невольнымъ издѣвательствомъ представителей правосудія надъ несчастной старухой. И все это прощалось, потому что подо всѣмъ этимъ былъ духъ жизни и правды. Въ воздѣхѣ носились радужныя надежды и ликования, даже до приторности, и самая эта приторность должна была внушать подозрѣнія и опасенія людямъ, проникательнымъ или просто чуткимъ...

Къ нашему времени изъ всей этой шумной группы молодыхъ беллетристовъ, начавшихъ свою литературную дѣятельность въ шестидесятыхъ годахъ, сохранился одинъ Глѣбъ Успенскій. Кое-кто умеръ на полпути, кое-кто засохъ живой, кое-кто, наконецъ, утратилъ типическія черты той группы. И вотъ что замѣчательно. Четверть вѣка работаетъ Успенскій, работаетъ въ настоящемъ — высокомъ и вмѣстѣ тяжеломъ — смыслѣ этого слова, работаетъ подъ грозой собственной усталости и не менѣе страшной грозой появленія новыхъ читателей, иными условіями воспитанныхъ и потому чужихъ ему по духу. При этомъ самъ онъ не только не поступаетъ ни единомъ изъ тѣхъ типическихъ чертъ, съ которыми пришелъ въ литературу, но еще усугубляетъ ихъ. Прежде онъ занимался разнымъ мелкимъ городскимъ людомъ — теперь спустился еще ниже, въ мужицкую избу, почти не выходя изъ оттуда и подчасъ бранчиво отстаивая свою позицію. Прежде онъ писалъ оборванные, но, по крайней мѣрѣ, цѣльно задуманные очерки, а теперь не только продолжаетъ это оскорбленіе беллетристики дѣйствіемъ, но еще допускаетъ въ свои писанія широкую струю прямо публицистики. Прежде онъ, во имя духа жизни и правды, говорилъ дерзости духу времени, а теперь доходитъ въ этомъ отношеніи до того, что вызываетъ грозные окрики: «до чего договорился Глѣбъ Успенскій!» И не смотря на эти окрики, впрочемъ, не изъ тучи гремящихъ и все затихающихъ, не смотря на очевидные и несомнѣнные изъяны въ его литературной манерѣ, симпатіи къ нему читателей все растутъ. Изъ «подающаго надежды» онъ сталъ яркимъ, характернымъ фактомъ исторіи русской литературы, навсегда занявшимъ въ ней оригинальное и почетное мѣсто.

Бываютъ совершенно неправильныя фізіономіи, которыя однако вамъ больше нравятся, чѣмъ писанные красавицы. Бываетъ и такъ, что какая-нибудь завѣдомая неправильность въ лицѣ любимаго человѣка, какой-нибудь очевидный изъянъ въ немъ, становится особенно дорогимъ вамъ, именно потому, что это — особенность любимаго человѣка, одна изъ чертъ, которыя отличаютъ его, дорогого, отъ всѣхъ прочихъ, безразличныхъ или непріятныхъ. Вы отлично понимаете, что это изъянъ, и на другомъ лицѣ этотъ изъ-

янь произведетъ на васъ, можетъ быть, даже прямо отталкивающее впечатлѣніе, но тутъ онъ какъ-то у мѣста, и объясненіе этой умѣнности лежитъ частью въ васъ самихъ, который любить, частью въ общемъ выраженіи любимого лица, въ которомъ отразилось то, что васъ заставило полюбить.

Тѣмъ не менѣе изъяны остаются изъянами и, говоря объ Успенскомъ, мнѣ съ нихъ именно приходится начинать.

Успенскій началъ свою литературную дѣятельность отрывками и обрывками, и не только не отдѣлался отъ этой юношеской манеры, но съ теченіемъ времени точно укрѣпился въ сознаніи законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти земли» онъ, между прочимъ, съ такими словами обращается къ читателю: «Вы вотъ все жалуетесь, что нѣтъ изящной словесности, все только о мужикѣ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имѣете ежемѣсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикѣ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачѣмъ вы читаете объ этомъ мужикѣ и, главное, зачѣмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнѣе въ оглавленіе, и тамъ сказано: «замѣтки», «отрывки»... Какая-же это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью вѣроятно надобно покуда повременить».

Такимъ образомъ для Успенскаго обрывочность его писаній какъ-то логически связывается съ характеромъ ихъ темы. Но такой логической связи очевидно нѣтъ. При чемъ тутъ собственно «мужикъ», это мы увидимъ впоследствии. А теперь замѣтимъ только, что самъ по себѣ мужикъ можетъ быть, и во всѣхъ литературахъ, въ томъ числѣ и въ нашей, дѣйствительно, бывалъ предметомъ воспроизведенія въ драмѣ, романѣ, повѣсти, вообще «изящной словесности» въ ея законченныхъ формахъ. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на романъ Зола «La tѣte» или на драму Толстого «Власть тьмы», но вѣдь это во всякомъ случаѣ не отрывки и очерки. Да и почему бы, въ самомъ дѣлѣ, драма, романъ, повѣсть изъ мужицкаго быта невозможны? Очевидно, дѣло въ этомъ случаѣ отнюдь не въ мужикѣ, а въ самомъ Успенскомъ. И надо же себѣ объяснить, почему это такъ выходитъ, почему человѣкъ такого большого таланта и такой искренней вдумчивости не овладѣлъ законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсѣмъ ужъ пустое дѣло при наличности художественнаго дарованія. Посмотрите кругомъ—и вы увидите, что люди, въ которыхъ есть только микроскопическія крупинки таланта, а иной разъ и тѣхъ нѣтъ, десятки разъ прекрасно справляются сна-

чала съ первой главой первой части, потомъ пишутъ вторую главу и т. д., и наконецъ твердою рукою подписываютъ: «конецъ такой-то и послѣдней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся человѣкъ, отрицающій талантъ Успенскаго; но возьмемъ самого въ этомъ отношеніи строгаго и придирчиваго судью, какого вы только себѣ представить можете. Все-таки же онъ не уравниваетъ его съ авторами безчисленныхъ, вполнѣ законченныхъ романовъ и повѣстей, сотнями появляющихся въ литературѣ и тѣмъ же числомъ немедленно погружающихся въ море забвенія. И, однако, эти авторы могутъ написать законченное произведеніе, а Успенскій не можетъ. Любопытно вѣдь это.

Далѣе, съ какой стати высоко даровитый беллетристъ занимается публицистикой? Дѣло здѣсь не въ формальныхъ подраздѣленіяхъ литературы, не въ департаментахъ какихъ-нибудь или министерствахъ, съ присвоенными каждому изъ нихъ особыми мундирами, а въ экономіи и естественномъ распредѣленіи литературныхъ силъ. Публицистикой можемъ заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно, было бы очень хорошо, если-бы каждый публицистъ обладалъ и поэтической силой, которая была-бы подспорнымъ средствомъ высокой важности, а каждый художникъ, я думаю, даже долженъ быть публицистомъ въ душѣ. Вообще, тѣмъ богаче и разнообразнѣе внутренняя природа писателя и его средства воздѣйствія на общество, тѣмъ, разумеется, лучше. Пусть писатель будетъ одинаково богатъ и творческою силою, и силою логическаго анализа, пусть онъ даже предъявляетъ плоды той и другой силы на бумагѣ. Мильтонъ написалъ «Потерянный рай», но онъ же написалъ и «Защиту англійскаго народа»; въ нашей литературѣ авторъ романа «Кто виноватъ?» былъ публицистомъ и т. д. Подобныхъ примѣровъ можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смѣшеніе публицистики съ беллетристикой въ тѣхъ пропорціяхъ, какія усвоилъ себѣ въ послѣднее время Успенскій, то читатель, можно навѣрное сказать, находится въ относительномъ проигрышѣ. Назначеніе логическаго анализа—разрѣзать, расчленять живыя явленія; назначеніе поэтическаго творчества, напротивъ—возсоздавать ихъ именно въ ихъ живой цѣльности. Оба эти процесса могутъ имѣть мѣсто въ головѣ одного и того же богато одареннаго писателя, но въ исполненіи на бумагѣ, въ одномъ и томъ же произведеніи, имъ очень трудно ужиться рядомъ, не нанося другъ другу ущерба. Послѣднія произведенія Успенскаго имѣютъ

безспорно большую цѣну, что уже видно изъ того обилія разговоровъ, которые вызываетъ почти каждая его статья. Но нельзя всетаки не пожалѣть, что онъ не даетъ простора своей огромной художественной способности.

Я вовсе не думаю читать наставленія, да наставленіями ничего и не подѣлаешь. Когда писатель намѣренно употребляетъ тотъ или другой невыгодный для него самого и для читателя приѣмъ, то, конечно, можно попытаться убѣдить его. Но въ данномъ случаѣ никакой намѣренности нѣтъ, разумѣется; просто такъ выходитъ такъ пишется, по-лоса такая нашла. Но если бы можно было добраться до подкладки этой полосы, подкладки, можетъ быть, неясной самому писателю, то мы имѣли-бы, по крайней мѣрѣ, разъясненное явленіе, а это вовсе не мало.

Въ предисловіяхъ къ первымъ двумъ томамъ перваго изданія своихъ сочиненій Успенскій рассказываетъ исторію своихъ писаній. Она очень поучительна и многое объясняетъ какъ въ этихъ томахъ, такъ, если я не ошибаюсь, и во всей послѣдующей литературной дѣятельности этого писателя.

«Нравы Растеряевой улицы», занимающіе значительную часть перваго тома, начали печататься въ «Современникѣ» 1866 года. Но «Современникъ» былъ какъ разъ въ этомъ году закрытъ, и продолженіе «Нравовъ», приготовленное для этого журнала, авторъ перенесъ въ «Лучъ», сборникъ, изданный редакціей «Русскаго Слова». Дальше пусть рассказываетъ самъ авторъ: «При этомъ все, что имѣло «связь» съ очерками, напечатанными въ «Современникѣ», надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть, для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» другая обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи рассказовъ печаталось въ журналѣ «Женскій Вѣстникъ», такъ какъ тогда (1866 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть «Растеряева улица» съ своими пьяницами, «сапожниками и мастеровицкой», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу*! При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличію, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-же было дѣлать? Я ихъ умылъ и приодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше. Наконецъ, очень много матеріала, приготовленного для «Ра-

стеряевой улицы», было разбросано въ видѣ очерковъ и сценокъ по всевозможнымъ газетамъ и листкамъ».

Примѣрно то-же самое читаемъ и въ предисловіи ко второму тому, относительно другого, широко задуманнаго, но разбитаго на клочки произведенія—«Разоренія». Но это только видѣнная сторона дѣла: «обстоятельства чисто личнаго характера» и неприглядныя случайности судьбы. Ими не ограничивается исторія писаній Успенскаго. Многіе «черки и сценки» изъ числа тѣхъ дребезговъ, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли въ настоящее изданіе. Авторъ ихъ отвергъ, презрѣлъ, и вотъ на какомъ основаніи: «Все это было продуктомъ тогдашней литературной безпріютности. Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели—ничего тогда на лицо не было. Все удручало васъ и дѣлало одинокимъ. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы—и имѣло на это право—многосложной и внимательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновляющая жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи, дѣлали то, что незначительная способность написать, «разсказецъ» или «черкъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, кой-какъ, появляясь въ видѣ отрывковъ безъ начала и конца».

Повидимому, это объясненіе отрывочности и оборванности не мирится съ приведенными выше изъ «Власти земли» словами, какъ-бы узаконяющими эту отрывочность въ связи съ самой темой писаній Успенскаго. Теперь, избравъ своимъ сюжетомъ мужика, онъ увѣренъ, что худо-ли, хорошо-ли, но онъ дѣлаетъ настоящее дѣло, то именно, которое особенно нужно обществу, и во многихъ мѣстахъ горячо и прочувствованно доказываетъ это; и *именно поэтому*, думаетъ онъ, онъ пишетъ очерки и отрывки, а не «произведенія изящной словесности». Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ напротивъ сомнѣвался въ пользѣ и надобности того, что онъ дѣлаетъ, и *именно поэтому* выходили очерки и отрывки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что писатель теряется въ объясненіяхъ причинъ, по которымъ дѣятельность его приняла тѣ или другія формы. Со стороны дѣло виднѣе.

Успенскій началъ писать очень рано, въ томъ почти юношескомъ возрастѣ, когда видѣнная вліянія особенно сильно дѣйствуютъ

на неокрѣпшую еще манеру писанія и надолго, а иной разъ и навсегда, кладутъ на нее свою печать. Если-бы тѣ печальныя обстоятельства, о которыхъ рассказываетъ нашъ авторъ въ предисловіяхъ, постигли его позже, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ его выхода на литературное поприще, мы, можетъ быть, имѣли-бы не такого Успенскаго, не до такой степени отрывочнаго и незавершеннаго. Я вовсе не думаю все сваливать на внѣшнія условія. Я говорю только, что они сыграли тутъ важную роль и до извѣстной степени просто *принудили* Успенскаго выработать приемъ разбиванія нѣкотораго художественнаго цѣлаго въ дребезги. Сначала ему было вѣроятно очень трудно совершать эти операціи, но затѣмъ онѣ вошли въ привычку, которая укрѣплялась и другими «обстоятельствами чисто личнаго характера». Время появленія Успенскаго въ литературѣ было вообще необыкновенно тяжелое. Съ него начался тотъ скорбный листъ русской литературы, который и до сихъ поръ не завершился ни окончательною смертью, ни окончательнымъ выздоровленіемъ. Правда, и до этого времени литературѣ случалось выносить многія и многія тяжести, не помѣшавшія однако образованію, такъ называемой, «плеяды», группы блестящихъ талантовъ сороковыхъ годовъ, давшихъ длинный рядъ цѣльныхъ художественныхъ произведеній. Но какъ-бы ни были мрачны тѣ времена въ цѣломъ, а позднѣ наступили времена, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе тяжкія. Литературные труженики сороковыхъ годовъ никакъ уже не страдали тѣмъ «одиночествомъ», на которое жалуется Успенскій. Это была цѣлая группа, тѣсно сплоченная общностью интересовъ, одинаковостью возраста, развитія, общественнаго положенія и т. д. Каждый изъ нихъ опирался на всѣхъ остальныхъ и въ живомъ общеніи съ ними находилъ поддержку въ трудныя минуты сомнѣній, колебаній, душевной немощи. Если на людей и смерть красна, такъ жизнь, хотя бы и очень тяжелая, и подавно. Притомъ же тѣ блестящіе беллетристы, за немногими исключеніями, вовсе не были литературными тружениками, работниками въ настоящемъ смыслѣ слова. Тогда могъ серьезно приниматься къ свѣдѣнію и вѣроятно къ исполненію фантастическій по нынѣшнему времени совѣтъ Гоголя переписывать «сочиненіе» семь-восемь разъ съ значительными промежутками. Литературная профессія, строго говоря, почти не существовала; занимавшіеся литературой «господа», за нѣкоторыми исключеніями, имѣли достаточно досуга, чтобы набросавъ свое произведеніе, побѣдить по Европѣ, послушать лекціи

въ германскихъ университетахъ, искупаться въ волнахъ Гвадалквивира, а потомъ, съ новымъ запасомъ силъ и обновленными горизонтами, вернуться къ произведенію для окончательной его отдѣлки или предварительной передѣлки. Литература, какъ профессія, со всѣми розами и шипами профессіи, явилась позже, когда всколыхнувшаяся послѣ крымской войны Россія выдвинула изъ себя новыя, уже чисто литературныя силы. Вторгнулись эти новыя силы съ большимъ шумомъ, съ свѣтлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоувѣренностью. Но не долго тянулся этотъ праздникъ, и къ тому времени, когда юноша Успенскій окончилъ свои «Нравы Растраевой улицы», отъ праздника оставалось уже развѣ только похмѣлье, а тамъ и великій постъ приспѣлъ. Тяжесть, особенная, спеціальная тяжесть положенія состояла въ томъ, что были выдвинуты новыя силы, а точки приложенія для нихъ были убраны прочь; былъ накрытъ столъ, блестящій бѣлизною скатерти и сверканіемъ новой посуды, былъ возбужденъ аппетитъ, а обѣдъ тутъ вдругъ куда-то совсѣмъ въ другое мѣсто унесли. Я знаю, что не о единомъ хлѣбѣ живетъ человѣкъ и не о хлѣбѣ говорю. Однако и хлѣбъ дѣло не послѣднее, если его надо зарабатывать и нѣтъ возможности не то что семь разъ переписать повѣсть, а даже иной разъ просто перечитать написанное, или-же нѣтъ возможности пристроить задуманную вещь и приходится дѣлать тѣ вивисекціи, которыя производилъ надъ своими литературными чадами Успенскій. Притомъ-же хлѣбъ въ самомъ прямомъ и жесткомъ смыслѣ этого страшнаго слова въ этомъ случаѣ тѣснымъ образомъ связывался съ духовнымъ хлѣбомъ, съ идеей. Хлѣбъ, заработанный литературнымъ служеніемъ обществу, былъ именно новой и заманчивой идеей. И не въ томъ только было дѣло, что тотъ или другой даровитый юноша голодалъ на литературномъ поприщѣ. Нѣтъ, въ немъ была разбужена духовная жажда и, казалось, все общало удовлетвореніе этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная къ губамъ и дразнящая своею близостью, вдругъ и прошла мимо. Такое мучительное ощущеніе едва-ли было знакомо писателямъ сороковыхъ годовъ, которые были для этого слишкомъ равномерно и безпросвѣтно отягощены. Напримѣръ, рассказываемый Успенскимъ трагикомическій (я не могу назвать его просто комическимъ, объ этомъ скажу еще подробнѣе) эпизодъ съ «Женскимъ Вѣстникомъ» никакимъ образомъ не могъ имѣть мѣста въ сороковыхъ годахъ, потому что и самый «Женскій Вѣстникъ» былъ тогда немыслимъ. Спеціальныя органы «жен-

скаго движенія» или «женскаго вопроса», какимъ былъ по задачѣ этотъ журналъ, самъ былъ продуктомъ и вмѣстѣ выраженіемъ пробужденія новыхъ силъ и розовыхъ надеждъ. Онъ неудовлетворялъ, правда, своему назначенію и былъ вообще плохъ, но это уже другое дѣло. Можетъ быть, и плохо-то онъ былъ потому, что явился, когда розовымъ мечтаніямъ «женскаго движенія» пришелъ конецъ. Но капризною волею судьбы, этотъ журналъ обращается вмѣстѣ съ тѣмъ въ единственное пристанище для начинающаго талантливаго юноши, который, однако, для входа въ это пристанище долженъ «умыть и приодѣть» своихъ немытыхъ героевъ. Изъ всего этого выходитъ дѣлаясь недоразумѣній, неудобствъ, основной элементъ которой можетъ быть выраженъ въ трехъ-четырехъ словахъ: потребность разбужена, а средства для удовлетворенія ея сокращены или совсѣмъ удалены. На попытки приспособленія къ такому непереносному положенію вещей и ушла значительная часть дѣятельности Успенскаго въ ту молодую пору, когда его талантъ еще складывался, еще не отлился въ прочныя, неподатливыя формы.

Повторяю, я не хочу объяснять всю исторію развитія какого-нибудь писателя одними внѣшними условіями. Думаю, что необходимость разбивать широко задуманную вещь въ дребезги и потомъ искусственно придавать имъ внѣшній видъ законченности—должна была самымъ рѣшительнымъ образомъ повліять на манеру писанія; но отнюдь не думаю, чтобы дѣло вполне объяснялось такъ чисто механически. Тѣмъ болѣе, что сами эти вивисекціи не были простой механической операцией: самъ авторъ указываетъ на сопровождавшіе ее психическіе моменты—гнетущее чувство нравственнаго одиночества и неуверенность въ своихъ силахъ. О, если-бы это была простая механика, такъ мнѣ не затѣмъ было-бы писать настоящую статью, потому что тогда и Успенскій не былъ-бы Успенскимъ. Спросъ на законченныя-формы беллетристики, т. е. на романъ, повѣсть, драму, такъ великъ (и это вполне естественно), что могъ-бы, пожалуй, съ теченіемъ времени, сыграть такую-же принудительную роль. А разъ это не только механика, нельзя и въ объясненіи ея довольствоваться механикой. Нужно не только отмѣтить внѣшнюю манеру письма, но и заглянуть въ душу писателя, насколько это возможно и прилично въ разговорѣ о живомъ человѣкѣ, т. е. насколько матеріалы для такого разговора даются самими произведеніями писателя, а не какими-нибудь интимными біографическими дан-

Читая любую страницу Успенскаго, вы прежде всего замѣтите ея содержательность. Тутъ много недооформленнаго, недоговореннаго, оборваннаго, много можетъ быть съ вашей точки зрѣнія невѣрнаго, но нѣтъ ничего лишняго. Ни длиннѣйшихъ описаній природы или внѣшней обстановки, которыми беллетристы часто разбавляютъ свои произведенія, подобно тому, какъ расчетливыя или бѣдныя хозяйки разбавляютъ и безъ того жидкій чай кипяткомъ; ни непомятаго размазыванія психологическихъ тонкостей, которыми иногда страдаютъ даже высокоталантливые художники, ни множества вводныхъ и для хода разсказа совершенно излишнихъ лицъ, которые толкуются на страницахъ иныхъ беллетристовъ совершенно неизвѣстно для чего. Разсказъ Успенскаго всегда сжатъ, даже черезъ чуръ сжатъ, почти схематиченъ; мысли автора, когда онъ говоритъ отъ себя, опять-таки изложены скорѣй слишкомъ кратко, чѣмъ слишкомъ пространно. Это, если позволено будетъ кулинарное сравненіе,—очень крѣпкій бульонъ, который можетъ приходится по вкусу однимъ и не нравится другимъ, но ужъ навѣрное не разбавленъ водой. Успенскій есть художникъ аскетъ, отвергнувшій всякую роскошь, все, не ведущее прямо къ намѣченной цѣли.

Чтобы оцѣнить эту особенность Успенскаго, представьте себѣ, что на одну изъ темъ его разсказовъ взялись писать, напримеръ, такіе беллетристы разнаго роста, какъ Достоевскій, г. Боборыкинъ и г. Эртель. Возьмите для этого мысленнаго опыта маленькій разсказъ «Про одну старуху», характерный уже самымъ заглавіемъ своимъ. Жила-была старуха, одинокая, изуродованная своимъ прошлымъ—она бывшая дворовая — и настоящимъ, въ которомъ у нея нѣтъ ничего и ничего, кромѣ собаки Дурдилки, такой-же, какъ и она, жалкой и одинокой. Вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ старуха попадаетъ въ часть, потомъ въ больницу, а Дурдилка познаетъ безъ нея прелести любви и семейнаго счастья—у нея щенята, и она знать не хочетъ своей хозяйки. Это приводитъ въ неопи-санную ярость старуху, которая сжилась съ мыслью, что по крайней мѣрѣ ея «легковѣрная слуга» Дурдилка ей безусловно предана и такъ-же несчастна, какъ она; а тутъ вдругъ у Дурдилки щенята и старуха еще болѣе одинока... Это всего нѣсколько страницъ. Но г. Эртель растянуть-бы ихъ, по крайней мѣрѣ, на два печатныхъ листа, потому что разъ пять вышелъ-бы изъ конуры старухи на улицу для изображенія выходящаго и заходящаго солнца, голубого неба и неба, покрытаго свинцовыми тучами, начи-

нающагося, продолжающагося и прекращающагося дождя и т. д. Г. Боборыкину потребовалось-бы еще больше мѣста, потому что онъ съ точностью вымѣрять-бы высоту и длину конуры, сгонять-бы раза три старуху въ лавочку, причемъ читатель былъ бы поставленъ въ извѣстность и относительно размѣровъ лавочки, и относительно сорта купленного старухой фунта хлѣба, обратилъ-бы г. Боборыкинъ вниманіе и на брюнетку или блондинку, которая въ соломенной или какой другой шляпѣ проходить по улицѣ во всѣхъ смыслахъ мимо старухи, и т. д. Наконецъ Достоевскій истерзалъ-бы читателя количествомъ можетъ быть мастерскихъ стралицъ, посвященныхъ изображенію мученій старухи въ части, въ больницѣ, при встрѣчѣ съ измѣнницей Дурдилкой, да и ввелъ бы, кромѣ того, множество побочныхъ эпизодовъ, въ которыхъ не обошлось бы безъ благолѣпнаго старца Зосимы или замышляющаго преступленіе атеиста. А у Успенскаго, по вторая, весь рассказъ занялъ нѣсколько страницъ, въ которыхъ, однако, задуманное драматическое положеніе уложилось полно-стію.

Очень любопытно, что у Успенскаго, можно сказать, совсѣмъ отсутствуетъ пейзажъ. Отсутствуетъ онъ, напримѣръ, и у Достоевскаго; но тамъ ему нѣтъ мѣста не только по нерасположенію автора къ этому рода живописи, а и по чисто техническимъ соображеніямъ: дѣйствіе происходитъ у Достоевскаго обыкновенно въ городѣ, въ комнатѣ и много что на улицѣ. Совсѣмъ иначе у Успенскаго, который имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ деревней и съ дорожными впечатлѣніями. Казалось бы, здѣсь на каждомъ шагѣ неизбѣжны описанія того, какъ «отъ луннаго свѣта зардѣлъ небосклонъ», какъ «волнуется желтѣющая нива», какъ дождь мороситъ, громъ гремитъ, стволы березъ бѣлѣютъ и т. п. И, однако, Успенскій необыкновенно скуденъ по этой части. Это не значитъ, чтобы онъ не чувалъ природы, не понималъ ея красоту. Но онъ аскетически строгъ въ своихъ требованіяхъ отъ пейзажа. Въ «Поэзіи земледѣльческаго труда» вкрапленъ маленький, но очень острый разборъ извѣстнаго стихотворенія Лермонтова «Когда волнуется желтѣющая нива». Успенскому не нравится это стихотвореніе, потому что поэтъ является въ немъ «случайнымъ знакомцемъ природы, съ которымъ у него нѣтъ кровной связи». Нашъ авторъ оскорбленъ тою изысканностью, съ которою въ стихотвореніи собраны и размѣщены разные лучшіе дары природы, и считаетъ себя въ правѣ заподозрить искренность поэта: если-бы поэтъ, приходя въ общеніе съ природой, дѣйствительно, «въ не-

бесахъ видѣлъ Бога» и «постигалъ что такое счастье», то онъ не сталъ бы искать въ природѣ непременно «отборныхъ фруктовъ» вродѣ «малиновыхъ сливъ» и т. п., а довольствовался бы болѣе простымъ, но сочиненнымъ пейзажемъ. Успенскій противопоставляетъ въ этомъ отношеніи Лермонтову Кольцова, у котораго «и природа, и міросозерцаніе человѣка, стоящаго къ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое». Пейзажъ самъ по себѣ, отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣетъ цѣны для Успенскаго: въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное «міросозерцаніе», то, что его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности. Вотъ для образца одно изъ крайне рѣдкихъ у Успенскаго описаній природы въ «Письмахъ съ дороги»: «Кавказскій хребетъ, подходя къ Черному морю, какъ будто смиряется и затихаетъ въ своемъ бунтовствѣ: довольно онъ наумудрилъ и напугалъ человѣка тамъ, въ глубинѣ Кавказа; довольно онъ тамъ намучилъ его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высовывающимися изъ облаковъ, ревущими рѣками и пропастями бездонными. Довольно онъ надивилъ, настрадалъ и навосхищалъ васъ тамъ, «въ своихъ мѣстахъ», теперь—будетъ! Тамъ, въ своихъ то мѣстахъ, онъ широко развернулся, самому небу доказалъ, на какія онъ способенъ чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И приближаясь къ Черному морю, точно къ дому, откуда ушелъ гулять по бѣлу свѣту, онъ какъ будто отдыхаетъ отъ своихъ чудовищныхъ подвиговъ; идетъ онъ ровнымъ шагомъ и тихо улыбается вамъ, встрѣчному прохожему, мягкими живописными очертаніями ничѣмъ не пугающихъ горъ, живописныхъ долинъ» и т. д. И сейчасъ же, непосредственно за этой попыткой нарисовать пейзажъ, является «грѣховодникъ капиталъ» въ видѣ нефтепровода, который всю эту, очень, впрочемъ, слегка намѣченную красоту разными способами испавоститъ.

Успенскій понимаетъ или пожалуй чувствуетъ, что такого единенія съ кавказской природой, какое онъ видитъ и цѣнитъ у Кольцова по отношенію къ нашей сѣверной природѣ, у него, Успенскаго, быть не можетъ. Онъ—«случайный знакомецъ этой природы, съ которой у него нѣтъ кровной связи». Для него вонъ и самое-то слово «ущелье»—«какое скучное!» А вѣдь тамъ, на мѣстѣ то, конечно, есть люди, которые такъ же цѣльно и проникновенно стоятъ лицомъ къ лицу съ этой природой, какъ у насъ Кольцовъ къ своей. Они и опишутъ ее вполне

искренно, безъ фальшиваго набора красотъ, со вложеніемъ души, «міросозерданія». Успенскій этого не можетъ, а между тѣмъ съ его точки зрѣнія это единственный законный пейзажъ: пейзажъ, какъ украшеніе, какъ фонъ или рамка—ненужная роскошь, пустяки, которыми не стоитъ, да и некогда заниматься. И вотъ, если ужъ поразило его въ природѣ что-нибудь до такой степени, что надо, необходимо надо занести это впечатлѣніе на бумагу, такъ записъ выходитъ, во-первыхъ, очень короткая, бѣгая, а вторыхъ, природа въ ней прямо и просто очеловѣчивается: Кавказскій хребетъ оказывается ни больше, ни меньше, какъ огромнымъ и чудовищно-сильнымъ человѣкомъ, который вышелъ погулять, да и навѣсти на гуляющаго чортъ знаетъ что, но, возвращаясь домой, отдыхаетъ, успокаивается и тихо улыбается. Однако — и въ этомъ особенная особенность—дома — то его ждетъ что-то не ладное, «грѣховодникъ» уже строить свои каверзы. И тутъ же пейзажъ не то что обрывается, а прямо переходитъ въ дѣйствіе, сливается съ картинами каверзъ грѣховодника и размышленіями объ нихъ.

Я назвалъ этотъ приемъ или эту черту «особенною особенностью» Успенскаго. Это не ларзис. Собственно очеловѣченіе природы—полное очеловѣченіе, а не только отдѣльными живописными метаморфозы, заимствованныя изъ человѣческой жизни, встрѣчается изрѣдка у разныхъ писателей. Не выходя изъ предѣловъ Кавказа, мы можемъ припомнить великогѣпный Лермонтовскій «Споръ», гдѣ очеловѣчены Эльбрусъ и Казбекъ. Но тамъ вы имѣете рядъ картинъ, поражающихъ блескомъ и роскошью красокъ и связанныхъ чисто художественно — представленіемъ огромности Казбека. Съ высоты своихъ шестнадцати-семнадцати тысячъ футовъ Казбекъ видитъ и соннаго грузина, льющаго въ тѣни чинары пѣну сладкихъ винъ на узорные шальвары, и Богомъ сожженную, базглагольную, недвижную страну у ногъ Іерусалима, и вѣчно чуждый тѣни желтый Нилъ, моющій раскаленные ступени царственныхъ могилъ, и цвѣтныя шатры бедуиновъ и проч., и проч. Могучая фантазія поэта взлетѣла на высоту шестнадцати тысячъ футовъ, осмотрѣла и намъ показала что оттуда видно, и въ этомъ созерцаніи обширнаго кругозора, переполненнаго яркими и пестрыми картинами, нашла себѣ удовлетвореніе. Такой изумительной роскоши пейзажа мало найдется во всѣхъ литературахъ всѣхъ временъ и народовъ, и потому не было бы ничего достойнаго примѣчанія въ томъ, что ея нѣтъ у Успенскаго. Можно наоборотъ спросить: у кого она есть? Два-три

штриха—и передъ вами видъ Палестины; еще два-три—Египетъ... И однако, силать Лермонтовъ дѣлаютъ здѣсь въ сущности то же самое, что обыкновенно дѣлаютъ люди гораздо менѣе сильные и даже совсѣмъ безъ силы. Изъ подъ яркости и пестроты картинъ, открывающихся съ вершины Казбека, вы еле различаете ту мысль, которою въ началѣ стихотворенія Эльбрусъ пугаетъ своего собрата и которая, пожалуй, очень сродни каверзамъ «грѣховодника»: «желѣзная лопата въ каменную грудь, добывая мѣдъ и золото, врѣжетъ страшный путь». У другихъ беллетристовъ и поэтовъ пейзажъ не поглощается, не заслоняетъ до такой степени мысль произведенія, потому что они лишены такой страшной, всеувлекающей фантазіи и не имѣютъ въ своемъ распоряженіи такихъ могучихъ красокъ. Но припомните, напримѣръ, пейзажи Тургенева (надъ которыми, мимоходомъ сказать, такъ злобно и ядовито насмѣялся въ «Вѣсахъ» чуждый пейзажу Достоевскій), и вы увидите, что они стоятъ совсѣмъ отдѣльно, сами по себѣ, производятъ и въ намѣреніи автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатлѣніе. Вы можете оторвать, напримѣръ, длинное «пейзажное» вступленіе къ «Вѣжинѣ Лугу», и увидите, что художникъ такъ долго держалъ васъ на лонѣ природы (буквально съ самаго ранняго утра и до поздней ночи) не потому, что это въ какомъ-нибудь смыслѣ нужно для приготовленія читателя къ ночной встрѣчѣ съ ребятами—что собственно составляетъ содержаніе разсказа—а просто потому, что ему нравится писать пейзажъ независимо отъ всего прочаго. И такъ у всѣхъ беллетристовъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда пейзажъ находится въ гораздо болѣе органической связи съ содержаніемъ разсказа, чѣмъ вступленіе къ «Вѣжинѣ Лугу» съ самымъ «Вѣжиннымъ Лутомъ». Болѣе или менѣе, пейзажъ вездѣ играетъ самостоятельную роль, хотя бы въ качествѣ аксессуара или обстановки. У Успенскаго этого нѣтъ ни болѣе, ни менѣе. Строго говоря, у него нѣтъ пейзажа даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ есть, потому что нельзя же назвать пейзажемъ набросокъ Кавказскаго хребта, которому не предоставляется мѣста ни фона, ни рамки, ни аксессуара и который прямо вводится въ разсказъ въ качествѣ дѣйствующаго лица.

Таково отношеніе Успенскаго не только къ пейзажу, но и ко всему, что можетъ урвать часть его вниманія и вниманія читателей и отклонить его куда-нибудь въ сторону отъ единственнаго пункта, признаваемого въ данную минуту важнымъ и значительнымъ. Возьмите, напримѣръ, разсказъ «Незагнѣчимый», очень невыдержанный въ техническомъ отношеніи, но въ которомъ, осо-

бенно въ началѣ, есть по истинѣ превосходныя страницы. Суть его состоитъ въ непосредственныхъ душевныхъ мукахъ нѣкоего дьякона, къ которымъ прикосновенны двѣ женщины—жена дьякона и учительница. Самое содержаніе разсказа очень характерно для Успенскаго, но намъ пока до него дѣла нѣтъ. Главная задача автора состоитъ въ изображеніи душевнаго состоянія героя и взаимныхъ отношеній его и обѣихъ женщинъ. Эта задача такъ всецѣло овладѣваетъ мыслью Успенскаго, что онъ не утруждаетъ себя описаніемъ наружности тѣхъ женщинъ. Мы узнаемъ только, что когда дьяконъ порѣшилъ жениться, то «не понравились ему у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистыя плечи, шея бѣлая и толстая». Объ учительницѣ узнаемъ изъ разсказа дьякона, что она была «фигурка изъ себя довольно поджарая, хлябковатая»—и только. Этихъ скудныхъ данныхъ совершенно достаточно для характеристики животнаго отношенія жениха къ невестѣ и къ женщинамъ вообще, а больше Успенскому ничего не нужно. Голубые или черные глаза были у невесты, бѣлолицая она была или смуглая, курносая или горбоносая, даже вообще красивая или некрасивая—это безразлично: главное въ томъ, что глаза и лицо дьякону не понравились, а понравились мясистыя плечи и бѣлая и жирная шея. Все безразличное, немѣющее непосредственнаго отношенія къ дѣлу, представляется Успенскому уже лишнимъ, да и не то что представляется лишнимъ, а просто онъ ничего этого не видитъ, потому что никуда по сторонамъ не смотритъ. Намѣтивъ себѣ какую-нибудь цѣль, онъ торопливо идетъ къ ней, пропуская мимо ушей всякіе «звуки сладкіе», которые могъ-бы услышать по дорогѣ, закрывая глаза на всякіе пейзажи и т. п.

Понятно, что это сосредоточеніе вниманія на главномъ и существенномъ должно придавать извѣстную силу образамъ Успенскаго, но понятно также, что художественная воздержность, доведенная до степени аскетизма, должна играть немаловажную роль въ отрывочности и незаконченности его писаній. Въ разсказъ «Неизлечимый» втиснуть богатѣйшій матеріалъ для драмы, романа, повѣсти, вообще произведенія «изящной словесности». Но ничего подобнаго не вышло, потому что всякую архитектурную стройность Успенскій всегда готовъ закладывать на алтарь занимающей его мысли. Ему не дорога никакая художественная подробность, если она не ведетъ прямо къ цѣли; онъ безъ всякой жалости на нее наступитъ, смажетъ ее и сдѣлаетъ это такимъ пріемомъ, какой попадется подъ руку: просто умолчить, или обойдѣть словами «отъ себя», публицистической

экскурсіей. Сколько мастерства потратилъ бы другой художникъ на полное объективированіе хотя бы тѣхъ же двухъ женскихъ фигуръ въ «Неизлѣчимомъ», и какое дѣйствительное мастерство могъ бы онъ при этомъ обнаружить, и сколько эстетическаго наслажденія доставить читателю. Успенскій даже не замахивается на что-нибудь въ этомъ родѣ. Подобно неопиту въ извѣстной бѣгунской пѣснѣ, удаляющемуся въ пустыню, онъ отвергаетъ «цвѣтное платье» и «свѣтлую палату», черная схи́ма ему дороже цвѣтнаго платья. Расходъ красокъ и линій онъ сокращаетъ до послѣдняго minimum'a, довольствуясь если не схимой, такъ схемой (простите невольный каламбуръ), ибо все остальное—лишняя роскошь...

Мы видѣли, что въ предисловіи къ первому изданію своихъ сочиненій Успенскій объясняетъ необработанность и отрывочность своихъ писаній неуверенностью въ серьезной надобности того дѣла, которое онъ дѣлалъ,—дескать «все это не то!» А во «Власти земли» онъ, напротивъ, вполне увѣренъ, что дѣлаетъ настоящее дѣло, и однако, именно изъ этой увѣренности почерпаетъ нѣкоторое презрѣніе къ формѣ и потому остается при той же необработанности и отрывочности. Досу́жий человѣкъ легко можетъ найти не одно такое противорѣчіе въ многочисленныхъ писаніяхъ Успенскаго. Можетъ онъ также выхватить изъ нихъ какую-нибудь страницу и на ней построить собственную вавилонскую башню, за которую, однако, самъ Успенскій никакъ не будетъ отвѣтственъ. Но читатель вдумчивый и отзывчивый не будетъ заниматься подобными кляузными дѣлами. Такой читатель увидитъ и оцѣнитъ въ собраніи сочиненій Успенскаго не собраніе словъ и фразъ и даже не только результатъ двадцатипятилѣтней работы, а и самый процессъ ея. Работа писателя измѣряется не только количествомъ листовъ исписаной имъ бумаги, а и тѣми «кровью сердца и сокомъ нервовъ», по выраженію Бёрне, которые онъ тратитъ, влагая ихъ въ свой трудъ. И едва-ли найдется много писателей, которые, при такой плодовитости, расходовали бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не «сочиняетъ», а живетъ съ перомъ въ рукахъ. Читатель воочью видитъ, какъ писатель ищетъ чего-то—сегодня въ русскомъ мужикѣ, завтра въ Венерѣ Милосской, сегодня въ Сербіи, завтра въ Новгородской, въ Самарской губерніи, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Сибири, сегодня въ только что прочитанной книгѣ, завтра на крестьянской свадьбѣ—ищетъ, надѣется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищетъ, тутъ же дѣлаясь съ вами тѣми житейскими впечатлѣніями, подъ которыми сложились его обра-

зы, картинки, размышления. И эта наглядная, связная жизненность работы не уменьшается съ течениемъ времени, а едва-ли даже не усиливается. Я, къ сожалѣнію, не могу говорить лично объ Успенскомъ, какъ человѣкъ, его давно и, кажется, хорошо знающій. Къ сожалѣнію—потому, что много яснѣе было бы читателю все, что я имѣю сказать объ немъ, какъ о писателѣ, и много легче была бы моя работа, если бы я могъ привести въ связь собственно критику съ чертами живого лица, въ высшей степени оригинальнаго. Но отъ этого приходится отказаться. Я позволю себѣ только одну маленькую подробность. Много разъ приходилось мнѣ слышать отъ Успенскаго рассказы о томъ или другомъ поразившемъ его случаѣ, о полученномъ имъ впечатлѣніи, о навѣянной на него мысли, которая тутъ же, чуть не въ тотъ же самый день записывалась на бумагу, а исписанная бумага отправлялась въ типографію клочками, по мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ. И никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлѣнію улетѣть, отойти отъ него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться въ законченный образъ, картину. Я знаю, что это было бы совершенно бесполезно, потому что не можетъ онъ, органически не можетъ, что называется, «вынашивать» свои произведенія и «обстывать» ихъ. Они льются изъ него, какъ жидкость изъ переполненнаго сосуда. Льются необработанными, но съ явственными слѣдами породившей ихъ жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только, что такъ есть. И въ этомъ заключается послѣдняя и, можетъ быть, самая важная причина своеобразной формы писаній Успенскаго, всѣхъ этихъ отрывковъ и обрывковъ, вдоль и поперекъ надрѣзанныхъ публицистикою. Несчастныя условія литературы, въ которыхъ началась его дѣятельность и въ которыхъ онъ какъ бы воспитался, въ связи съ «обстоятельствами чисто личнаго характера», имѣли, конечно, очень большое значеніе: но сами по себѣ они едва-ли осилили бы изъ ряду вонъ выходящую изобразительную способность Успенскаго и соответственные позывы къ творчеству. Да и наконецъ, если бы неблагоприятныя вѣншія условія осилили его талантъ, такъ онъ просто погибъ бы и во всякомъ случаѣ не могъ бы стать такъ дорогъ и близокъ читателю. Онъ приучилъ насъ къ выработанной имъ формѣ полу-беллетристическихъ, полу-публицистическихъ очерковъ и отрывковъ, конечно, не потому, что эта форма нескладная, убыточная, а потому, что въ ней есть нѣчто, само по себѣ, по крайней мѣрѣ, не дурное. И эта сторона нескладной, убыточной формы его писаній

опредѣляется не вѣншими вліяніями, а нѣкоторыми коренными свойствами его таланта и даже всего его духовнаго склада. Таковъ, во-первыхъ, его художественный аскетизмъ, возбуждающій его расходовать какъ можно меньше красокъ и линий и довольствоваться схимой-схемой вмѣсто приличествующаго художнику «цвѣтнаго платья». Такова, во-вторыхъ, его чрезмѣрная отзывчивость и связанная съ нею лихорадочная торопливость въ передачѣ читателю своихъ впечатлѣній и ихъ комбинацій. «Волнуясь и спѣша», какъ выразился Некрасовъ о Бѣлинскомъ, нельзя, даже при полномъ желаніи, отойти отъ «людей и нравовъ» (одно изъ заглавій Успенскаго) на такое разстояніе, чтобы они отлились въ законченную художественную форму, безъ явственныхъ слѣдовъ крови сердца писателя. Брызги крови разлѣтъ только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могутъ расположиться симметрично или вообще съ тою правильностью, какая нужна для законченности формы...

Спрашивается, изъ-за чего же льется эта кровь сердца? изъ-за чего волнуется этотъ человѣкъ и то мыкается по всему бѣлому свѣту, то забирается чуть не въ пустыню? Какое это такое дѣло, ради котораго онъ надѣлъ вериги аскета, безжалостно давить въ себѣ все цвѣтное, яркое, и не даетъ воли своему огромному художественному дарованію?

Я, можетъ быть, удивлю васъ отвѣтомъ. Общій принципъ, къ которому могутъ быть сведены всѣ волненія Успенскаго, есть принципъ гармоніи, равновѣсія. Я знаю, что это звучитъ парадоксомъ: столько тревоги и волненій изъ-за какого-то отвлеченнаго начала, холоднаго и далекаго, какъ всякое отвлеченіе; столько аскетическихъ подвиговъ и жертвоприношеній на алтарь метафизическаго принципа! Да еще у Успенскаго, во-первыхъ, наименѣе уравновѣшаннаго изъ всѣхъ крупныхъ русскихъ писателей, а во-вторыхъ, человѣка, пустившаго такіе глубокіе корни въ живую жизнь, жизнь впечатлѣній, что его оттуда и выдернуть нѣтъ никакой возможности! Однако это такъ. Но понятно, что отвлеченіе принадлежитъ мнѣ, критику, а не критикуемому писателю.

II.

Не смотря на весь свой аскетизмъ, на самое щепетильное обереганіе себя и читателя отъ всего лишняго, Успенскій все-таки напелъ у себя самого кое-что лишнее. Просматривая его сочиненія, я не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое хорошо помню, а то и цѣлой картинки. Эти

пропуски интересны. Вычеркнуты главным образом «смѣшные» вещи. Признаюсь, нѣкоторыхъ изъ нихъ мнѣ было жалко, потому что онѣ не просто «смѣшны», а въ разныхъ смыслахъ очень удачны. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что самъ авторъ пожелалъ для отдѣльнаго изданія еще болѣе сжаться въ своемъ художественномъ аскетизмѣ. Я не буду пытаться реставрировать эти пропуски, но мы и безъ нихъ можемъ выяснитъ себѣ характеръ «смѣшного» въ Успенскомъ.

Я прошу васъ перевернуть нѣсколько страницъ назадъ и перечитать вышеприведенный рассказъ о томъ, какъ «Нравы Растеряевой улицы» урывались и прикрашивались для «Женскаго Вѣстника». Читая эти строки, вы, вѣроятно, улыбнетесь и, во всякомъ случаѣ, усмотрите улыбку на лицѣ самого автора. Между тѣмъ, въ существѣ вещей вамъ предъявлена серьезнѣйшая, глубокая драма. Въ самомъ дѣлѣ, всякому свое дорого и не трудно себѣ представить, какія скорбныя чувства одолевали молодого писателя, когда онъ, подъ напоромъ разныхъ надвигавшихся на него житейскихъ случайностей, придиравалъ голову и хвостъ къ своему обрывку и умывалъ своихъ неумныхъ героевъ. Онъ и теперь съ понятною горечью вспоминаетъ, что отъ этой операціи герои «стали только хуже, а правды въ нихъ меньше». Нашему брату, писателю, это драматическое положеніе автора, конечно, ближе и понятнѣе, чѣмъ читателю; но и онъ, надо думать, безъ особеннаго напряженія фантазіи можетъ себѣ представить, чего стоитъ отцу калѣчить свое дѣтище въ видахъ жертвоприношенія какому-то нелѣпому идеалу житейскихъ случайностей. И если о себѣ самомъ, о своей собственной скорби писатель рассказываетъ съ улыбкой, такъ улыбка эта получаетъ совсѣмъ особенное значеніе: она должна быть чѣмъ-то опредѣляющимъ, характернымъ вообще для внутреннихъ отношеній писателя.

Дѣйствительно. Возьмемъ для образчика рассказъ «Нужда пѣсенки поетъ» и остановимся на немъ немного подольше.

Къ автору является неизвѣстный чужакъ и предъявляетъ бумагу, въ которой изложено слѣдующее: «Господинъ Ивановъ пиро-и-гидро-техникъ, на короткое время прибывшій въ г. Н., честь имѣетъ доложить высокопочтеннѣйшей публикѣ, что, имѣя искусство въ египетской, арабской, вѣиопской, индѣйской, халдейской и другихъ магіяхъ и состоящей изъ новыхъ фантастическихъ опытовъ и призраковъ тайной и натуральной увеселительной магіи, что, давая оныя представленія въ высокоблагородныхъ домахъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ аппара-

тами и безъ аппаратовъ, попури изъ міра чудесъ, кабалистика и чревоуѣщаніе по весьма сходнымъ цѣнамъ; также индѣйское эскамотированіе, гирлянда розъ, невозможность въ дѣйствіи, обезглавленіе головы, носа и другихъ частей тѣла и проч., и проч., и проч.» Внизу прибавлено: «лѣтя себя надеждою...» и красовалась подпись: «Пиро-и-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ».

Смѣшно, не правда-ли? Смѣшны всѣ эти «чревоуѣщанія по сходнымъ цѣнамъ» и «обезглавленія головы, носа и другихъ частей тѣла?» Но подождите, дальше будетъ еще смѣшнѣе. Господинъ Ивановъ, пиро-и-гидро-техникъ, рассказываетъ автору разные эпизоды изъ своей жизни. Передавать ихъ всѣ было-бы слишкомъ долго, но одинъ изъ нихъ я ообщу. Пришло дѣло такъ, что Капитону Иванову надо идти въ солдаты; нанять за себя «вольника» не на что, — одинъ было попался, да надулъ. Капитону Иванову, столь искусному въ индѣйскомъ эскамотированіи и обезглавленіи носа, ужъ и лобъ забрили. А дальше произошло вотъ что:

«Ревемъ мы съ бабой, какъ ребята малые: чисто на-чисто пропадать приходится... И что-жъ, вы думаете, вышло? На другой день къ вечеру, накануне, значить, быть походу, стало мнѣ легче! Вѣдь вотъ чудо-то какое! Легче, легче и совсѣмъ повеселѣли! „Мама, говорю, семъ я къ господину откупщику схожу, фокусовъ сыграть, и можетъ быть, между прочимъ, Господь мнѣ поможетъ?“ Дѣло было на масляницѣ, надѣваю я, для забавы, турецкое чело и этакой балахонъ: туркой наряжаюсь. Смотреть на меня супруга и говорить: «Семъ, говорить, Иванычъ, я и себѣ чело надѣну? Можетъ быть, говорить, господинъ откупщикъ сжалится надъ нами, когда увидятъ, что мужъ и жена однимъ мастерствомъ живутъ; можетъ, онъ и не захочетъ, говорить, насъ разлучить?» — «Матушка моя, говорю, ты въ такомъ теперича положеніи (она въ то время въ этакомъ положеніи была-сь), ты, говорю, въ такомъ положеніи, для чего тебѣ нагруждать себя?» — «Ну, говорить, за одно! Либо, говорить, жизнь, либо смерть! Надѣваетъ она на себя чело турецкое, шаль (платокъ этакой ковровый-сь), шаль эту черезъ плечо, по цыгански. Пошли!.. Идемъ, идемъ, да какъ заплачемъ оба, въ челмахъ-то этихъ! Идутъ люди, глядятъ на насъ и говорятъ: «Съ чего это два турка плачутъ?» Приходимъ къ откупщику. «Какъ объ васъ доложить?» — Ивановъ, говорю, съ супругою». — «Принять». Входимъ мы въ залу, гости... Страсть гостей! Откупщика, Родивонъ Игнатьича, я зналъ, и онъ меня тоже знавалъ. «А, говорить, ну дѣлай!» Начинаю я дѣлать фокусы, сердце такъ и стучитъ: завтра въ солдаты! Дѣлаю фокусы, господа смѣются, довольны. «А это кто же съ тобой?» Родивонъ-то Игнатьичъ говоритъ. — «А это-сь, говорю, жена моя, супруга». — «Что же, говорить, и она по этой части?» Я молчу. «Можете вы, душенька?» (у жены спрашивается). — «Могу-сь», говорить... (Вижу бѣлая вса!) — «Такъ пройдите, говорить, по улицѣ мостовой». Мама сейчасъ голову къ низу, руки надъ головой согнула и пошла... Да вѣдь какъ-сь? Откуда что взялось!... Барышня по фортопьянамъ ударила, а она-то шмыветъ, извивается...

Ах! замерло у меня сердце! Тутъ зачали господу трепать въ ладоши. «Приотлично, кричатъ, превосходно! еще! еще!» А она и еще того лучше... Не удержался я, такъ у меня слезы-то полились, полились, капъ, капъ... Родионъ Ипатьичъ кричитъ: «Это что? на масляницѣ-то? у меня въ домѣ?» Я—въ ноги... Маша, гдѣ плясала, тутъ на колѣни и повалилась. «Что, что? Какъ, какъ?» Разсказали ему: «одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дѣти». — Не робѣй, говоритъ. Вотъ тебѣ... И выносить 200 серебромъ! «Поминай на молитвѣ». Чуть я въ то время съ ума не сошелъ... Бѣжимъ мы по улицѣ, ровно угорѣлые. Люди идутъ: вотъ, говорятъ, турки набѣжали. Эко у насъ, ребята, тушокъ развелось тьма-тьмущая. Это, говорятъ, пѣвныя (А это мы съ супругой весь городъ обѣгали). Бѣжимъ, земли не слышимъ... Исторія было случилась на дорогѣ, въ другой разъ въ полицію бы потащилъ, а тутъ только шибче побѣгъ».

На вопросъ автора: въ чемъ состояла «исторія», пиро-и-гидро-техникъ разсказалъ:

«Такъ-съ, свинство, необразованность... Бѣжимъ это мы съ женой, какъ я вамъ докладывалъ. Попадаютъ двое пьяныхъ, прямо противъ насъ усталились. Одинъ подходитъ ко мнѣ: «въ какомъ вы, говоритъ, правѣ турецкія чалмы носить?» Я ему шуткой въ отвѣтъ: «А потому, говорю, какъ мы турецкаго нарѣчія». — «А въ какой вы, говоритъ, землѣ находитесь, въ православной или какой!» — «Мы, говорю, здѣсь пѣвныя». — «А когда, говоритъ, вы наши пѣвныя, то...» Да съ этими словами ка-а-ахъ! вотъ въ эту самую кость! (Гость показалъ на собственный високъ). Мы съ женой во всю мочь! Ну, вотъ-съ и все!»

Дальнѣйшій разсказъ пиро-и-гидро-техника не менѣе интересенъ, но пусть читатель обратится за нимъ къ подлиннику, а съ меня достаточно и приведеннаго. Потому достаточно, что и въ этомъ отрывкѣ съ полною ясностью выражается наиболѣе характерный для Успенскаго приѣмъ художественнаго творчества. Мнѣ не хочется употребить избитое, истрепанное, многосмысленное и потому самому мало говорящее выраженіе «смѣхъ сквозь слезы». Но если эта избитая формула означаетъ способность и склонность съ улыбкою разсказать страшную драму и притомъ такъ, что глубина драмы отъ этого не только не утрачивается своей силой, а напротивъ—оттѣняется, то я не знаю во всей русской литературѣ никого, кто-бы умѣлъ такъ смѣяться сквозь слезы, какъ Успенскій. Нечего говорить, что это не безпредметное зубоскальство, довольствующееся смѣшными положеніями или даже смѣшными словами:—ни одного просто смѣшнаго положенія вы у Успенскаго не найдете. Но это и не рѣзкіе удары сатирическаго бича, и не капризные, кокетливо истерическія арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бывають у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне. Это совсѣмъ особенное, оригинальное, лично Успенскому

принадлежащее, сочетаніе комическаго и трагическаго.

Вы видите рядъ комическихъ подробностей: пиро-и-гидро-техника съ «чревоуѣщаніями», «обезглавленіями головы и прочихъ частей тѣла», «индійскими эскамотированіями» и проч.; потомъ еще другія подобныя смѣшныя мелочи, которыя я, краткости ради, въ своемъ пересказѣ пропустилъ; потомъ «турецкое чело» и проч. Но, по мнѣрѣ того какъ эти комическія черты скопляются въ достаточномъ количествѣ, вы чувствуете, что вступаете въ кругъ вещей, совсѣмъ не смѣшныхъ и не мелкихъ. Вамъ становится жутко, вы ощущаете въ себѣ какой-то сложный и все болѣе усложняющійся процессъ, достигающій своей предѣльной точки въ тотъ моментъ, когда Маша пускается въ плясъ. Въ салонѣ господина откупщика, передъ толпой полудикихъ гостей, беременная женщина, наряженная въ «турецкое чело», и въ «шалъ по-цыгански», пляскою «по улицѣ мостовой» принимаетъ участіе въ «индійскомъ эскамотированіи для спасенія мужа отъ солдатчины... Необыкновенная сложность этого маленькаго событія особенно замѣчательна тѣмъ, что въ немъ трагическое положеніе откано изъ комическихъ подробностей. Турецкое чело очень смѣшно, возгласъ «приотлично!»—которымъ ободряли Машу откупщикъ и его гости, тоже смѣшное, но вѣдь вы не смѣялись, когда Маша плясала. Художникъ самъ продѣлалъ надъ вами нѣчто вродѣ «опыта тайной натуральной магіи», смѣшилъ, смѣшилъ и подѣ конецъ изъ самыхъ этихъ смѣшковыхъ выстроилъ нѣчто такое, отчего вы чуть не заплакали.

Скажутъ, можетъ быть, что этотъ эффектъ могъ бы быть достигнутъ и другимъ путемъ; зачѣмъ собственно эти комическіе аксесуары трагическаго положенія? Но дѣло въ томъ, что вопросъ «зачѣмъ?» бываетъ часто относительно художественнаго творчества лишентъ всякаго смысла. Другой большой художникъ, съ инымъ складомъ творчества, сужуиъ бы иначе поставить дѣло, довольствуясь, можетъ быть, однимъ трагическимъ элементомъ. Но у Успенскаго—и въ этомъ состоитъ характернѣйшая его, какъ художника, черта—всѣ эти «чалмы» и «невозможности въ дѣйствіи» не только не излишни, а напротивъ—необходимы именно потому, что оттѣняютъ драматизмъ положенія. Не только изъ нихъ таинственнымъ, «магическимъ» путемъ сложилась драма, но, благодаря имъ, вы съ особенною ясностью видите пошлость и дикость той среды, которую призванъ развлекать пиро-и-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ. Чтобъ пронять ее, Капитонъ Ивановъ неизбежно долженъ былъ

и самъ явиться въ шутовскомъ видѣ, и Маша должна была сдѣлать именно то, что она сдѣлала, и именно такъ, а не иначе. Передъ рѣшеніемъ явиться въ салонъ откупщика, пиро-и-гидро-техникъ исчерпалъ все обыкновенные ресурсы: просьбы самыя трогательныя, хлопоты самыя энергическія. Ничего не вышло. Не вышло бы ничего и тогда, если бы Маша проявила возвышеннѣйшій героизмъ безъ «челмы» и не въ составѣ «индійскаго эскамотирования». Авторъ ни однимъ словомъ не осудилъ откупщика и все его общество, онъ даже предоставилъ откупщику совершить благодѣяніе, но при небольшомъ сосредоточеніи вы можете постигнуть въ ужасъ прийти отъ броненосности и толстокожести жителей города N.

Для полной оцѣнки эпизода въ салонѣ откупщика мнѣ бы хотѣлось припомнить что-нибудь параллельное у другихъ беллетристовъ. Но не могу ничего вспомнить, кромѣ эпизода изъ одной юношеской или даже мальчишеской повѣсти (безъ названія) Лермонтова. Тамъ красавица Ольга, приемышъ нѣкотораго звѣрообразнаго помѣщика, по требованію его пьяныхъ гостей, пляшетъ «русскую». Ольга-красавица пляшетъ съ изумительной граціей; одѣта она не въ челмо какое-нибудь и цыганскую шаль, а въ нарочито сшитый шольвовый сарафанъ; дѣло происходитъ во времена Пугачевщины, отдаленный грохот которой доносится и до Ольги; сама она исполнена неясныхъ, но возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, ни одной комической черты въ разсказѣ не введено, кругомъ все мрачно и страшно или возвышенно и прекрасно. И, въ концѣ-концовъ, никакого участія въ красавицѣ Ольгѣ и никакого раздумья о звѣрообразности тогдашней помѣщичьей среды не получается. Получается только то непріятное ощущеніе, которое всякая фальшь всегда вызываетъ въ мало-мальски чуткомъ человѣкѣ. Вы понимаете, что я не Успенскаго съ Лермонтовымъ сравниваю, да и не великая еще это была бы честь понимать мѣру вещей лучше, чѣмъ ее понималъ 15—16-лѣтній мальчикъ, хотя бы онъ и назывался Лермонтовымъ. Но даже мальчишескія произведенія такихъ колоссальныхъ талантовъ поучительны. Не говорю я также, что комическій элементъ обязательно нуженъ для полноты трагическаго впечатлѣнія (хоть это, можетъ быть, до извѣстной степени спорно). Я только пробую съ разныхъ сторонъ освѣтить художественные приемы Успенскаго и проникнуть, по возможности, въ тайну того необыкновенно пріятнаго чувства, которое ощущаетъ читатель въ общеніи съ этимъ писателемъ. Я совершенно увѣренъ, что если бы Успенскій вздумалъ об-

ставить свой эпизодъ съ Машей на тотъ же манеръ, какъ обставленъ эпизодъ съ Ольгой у Лермонтова, то вышла бы вещь безобразная, фальшивая, «сочиненная» въ вазорномъ смыслѣ этого слова. Но онъ этого никогда не сдѣлаетъ и сдѣлать органически не можетъ. Силошной напыщенный трагизмъ для него такъ же недоступенъ, какъ и противоположный полюсъ—безпредметное зубоскальство.

Доведя скопленіе комическихъ подробностей до того момента, когда изъ нихъ сама собой сложилась высокая драма, авторъ спускаетъ читателя съ этой трагической высоты по той же лѣстницѣ, по которой ввелъ его туда. Супруги Ивановы исполнѣ счастливы тѣмъ, что ломались не даромъ. Оно и понятно. Дѣло не только въ томъ, что бѣда миновала. Пиро-и-гидро-техникъ долженъ питать, кромѣ того, острое, нѣжное чувство къ героической Машѣ, а сама она должна чувствовать нѣкоторую исполнѣ законную гордость. Счастье такъ велико, такъ полно и сложно, что супруги ужъ не гонятся за тычкомъ. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную бесѣду о турецкихъ плѣнныхъ ударомъ «вотъ въ эту самую кость»; супруги—ничего, только прытче домой побѣжали. И читатель, послѣ того напряженія скорбнаго чувства, которое онъ сейчасъ только испыталъ, готовъ раздѣлить это благодушное презрѣніе супруговъ Ивановыхъ, онъ тоже не гонится за тычкомъ и не чувствуетъ ни гнѣва, ни негодованія на пьяную скотину, хотя она занимаетъ свое очень опредѣленное мѣсто среди «жестокыхъ нравовъ нашего города». Не только общепринятый кодексъ приличій, но и непосредственное нравственное чувство подсказываетъ, что лежачаго не бьютъ и плѣнныхъ не обижаютъ. А пьяная скотина говоритъ: «коли вы наши плѣнные, то вотъ вамъ въ эту самую кость!» Мерзость великая, но въ данную минуту она до такой степени тонетъ въ счастливомъ возбужденіи супруговъ Ивановыхъ, что сами они ея почти не замѣчаютъ, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь, однако, не забывая, какъ не забываетъ и Капитонъ Ивановъ, что это — «свинство, необразованность».

Такова еще одна особенность Успенскаго. Онъ рассказываетъ подчасъ возмутительныя, ужасающія вещи, но почти никогда не возбуждаетъ въ читателѣ гнѣва или негодованія. Грустное раздумье—вотъ наиболѣе обыкновенный осадокъ, остающійся на душѣ читателя сочиненій Успенскаго. Достигается этотъ результатъ разными путями, но онъ почти всегда на-лицо. И грусть эта опять-таки не безпредметная, а напротивъ—съ совершенно опредѣленнымъ характеромъ.

лившихся отъ злости зубовъ! И все это, рвущееся съ пути, разбѣшное, немощное, все это рвется съ дороги только потому, что—это новая дорога, новая мысль? и влится только потому, что не можетъ и не хочетъ помириться съ новой мыслью. Словомъ, все это скопище терзается или радуется и смѣло идетъ впередъ потому только, что надо всѣмъ тяготѣть одна и та же болѣзнь сердца, боль вторгнувшейся въ это сердце правды, убивающая и мучающая однихъ и наполняющая душу другихъ несокрушимой силой.

Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенскій считаетъ центральнымъ пунктомъ русской жизни за послѣднія десятилѣтія: «болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти». Но они же хорошо характеризуютъ и самого писателя—направление его мысли и страстность его отношенія къ дѣлу. Болѣзнь сердца, болѣзнь мысли, болѣзнь совѣсти, это—нарушенное равновѣсіе духа. Успенскій не скорбитъ объ этомъ нарушеніи, потому что вѣрить въ величіе и правоту новой мысли, которая его произвела. Но онъ скорбитъ о тѣхъ мятущихся душахъ, которые являются жертвами рокового столкновенія стараго съ новымъ, скорбитъ именно объ томъ, что они такъ много и болѣзненно маются, а маются они такъ потому, что душевное равновѣсіе въ нихъ нарушено. Надо бы имъ подняться на высоту новой мысли всѣмъ существомъ своимъ, и тамъ, на этой высотѣ, достигнуть новаго равновѣсія. Но они этого не могутъ. Что то тянетъ ихъ къ низу, какъ многопудовая гиря. *Le mort saisit le vif* — наслѣдіе стараго времени не уступаетъ своего мѣста новой мысли. Лѣтисидѣтъ или иллюстраторомъ этой мучительной неуравновѣшенности и сталъ Успенскій. Однако не сразу. Въ его раннихъ произведеніяхъ еще отсутствуетъ специальная «болѣзнь сердца», совѣсти. Но уже тамъ намѣчена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назадъ, мы безъ труда увидимъ, что обособляло Глѣба Успенскаго среди той группы молодыхъ талантливыхъ беллетристовъ, которая разомъ объявилась въ шестидесятыхъ годахъ. Первоначально мы видимъ только общую всѣмъ имъ склонность къ изображенію людей и нравовъ низшихъ общественныхъ слоевъ, и Глѣбъ Успенскій выдѣляется лишь своею манерою слагать драму изъ комическихъ подробностей—манерою, только изрѣдка и слабо проявлявшеюся у Николая Успенскаго и совершенно отсутствовавшею у Левитова, Слѣпцова, Рѣшетникова. Но уже въ «Разореніи» Успенскій, сохраняя типическія черты всей группы, специализируетъ и содержаніе сво-

ихъ писаній. Съ этихъ поръ его занимаетъ почти исключительно столкновеніе «новой мысли» съ дореформеннымъ порядкомъ. Для примѣра остановимся на одной фигурѣ изъ этого періода его литературной дѣятельности.

Чиновникъ Павелъ Ивановичъ Печкинъ (въ «Наблюденіяхъ Михаила Ивановича») ходилъ себѣ на службу, строчилъ разные бумаги, бралъ взятки, вытягивался передъ совѣтникомъ и продѣлывалъ все это «съ тѣмъ жеспокойствіемъ, съ какимъ люди убѣждаются, что солнце свѣтитъ, что подъ ногами земля, а надъ головой небо; объ этомъ даже и не думаютъ. Павелъ Ивановичъ дѣлалъ все это исправно и жилъ поэтому весьма счастливо до тѣхъ поръ, пока время не пошатнуло этого міросозерцанія. Съ нѣкоторыхъ поръ стало оказываться, что взятка—вещь гнусная и что Павелъ Ивановичъ—подлецъ, тогда какъ онъ считалъ себя честнымъ человѣкомъ. «Развѣ я что украдъ?» говорилъ онъ въ подтвержденіе этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и драхлостью, стало замѣняться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили въ присутствіи сигары, не брили бородъ, выгоняли вонъ безъ суда и слѣдствія, не желали видѣть доказательство честности въ безпорочной пряжкѣ. Все это и множество другихъ либеральныхъ реформъ, похожихъ на снисхожденіе къ пестрымъ брюкамъ, вломилось въ умственный міръ Павла Ивановича и произвело въ немъ потрясеніе... Какъ человѣкъ набожный, онъ возлагалъ большую надежду на помощь Божию, надѣясь, что всѣ эти брюки, честности и бороды «прейдутъ», ибо, посылаются въ наказаніе народамъ за беззаконія и блудную жизнь, но, въ сущности, это были только самые легкіе удары начинавшагося землетрясенія. За бородами пришли времена, когда вдругъ мужики перестали давать взятки... Затѣмъ пошли новые суды, виновновеніе въ народѣ (а въ томъ числѣ и въ кухаркѣ), и все это вмѣстѣ внесло въ душу Павла Ивановича множество самыхъ непримиримыхъ вещей».

Въ результатѣ получился негнѣйшій брюзга, у котораго неустанно лется съ языка «сердитая чушь». Очень смѣшная фигура, какъ помнить или какъ увидѣть читатель въ подлинникѣ, но только смѣшная. Драма, по обыкновенію, есть и здѣсь, но она располагается около Павла Ивановича, который своей «сердитой чушью» дѣлаетъ жизнь окружающихъ непереносною. Самъ Павелъ Ивановичъ только смѣшнѣе; авторъ не удостоиваетъ вниманіемъ ту всетаки же драму, которая внутри самого этого негнѣпаго брюзги происходитъ. Онъ просто

отмѣчаетъ ее, не удѣляя ей ни малѣйшаго состраданія: туда, дескать, этому чучелу и дорога. Молодой авторъ, очевидно, до извѣстной степени раздѣлялъ еще не остывшія во время писанія «Разоренія» веселія ожиданія и розовыя надежды русскаго общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надеждъ, тому розовому довѣрію къ будущему, которымъ мы были тогда переполнены. Казалось, историческая дорога лежала передъ нами такою ровною, гладкою скатертью, что только пошвыстывая да возжами потрогивай. Въ ненавистномъ прошломъ не было, кажется, уголка, не оплеваннаго съ полнѣйшею и безповоротною искренностью. Все весельемъ, надеждой дышало. И каждый встрѣчный на улицѣ подходилъ къ вамъ и говорилъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листьямъ затрепетало...

Какъ видно изъ всего «Разоренія» и въ особенности изъ главной его фигуры—Михаила Ивановича, Успенскій отнюдь не былъ охваченъ такимъ оптимизмомъ; но все-таки по крайней мѣрѣ путь къ свѣтлому будущему казался настолько яснымъ, что рѣшительно не стоило придавать серьезное значеніе какимъ-нибудь ничтожнымъ мукамъ ничтожнаго Печкина, не сумѣвшаго придти въ равновѣсіе съ «новой мыслью». Чортъ съ нимъ!

Позже, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, Успенскому пришлось иначе отнестись къ жертвамъ нарушеннаго равновѣсія; пришлось написать вышеприведенныя строки о «болѣзни сердца». Оказалось, что душевное равновѣсіе не такъ-то легко достигается въ житейскомъ морѣ, взбаломученномъ новою мыслью, и что безпомощно маются не одни драки вроде Павла Ивановича Печкина. Въ этомъ удостовѣряетъ вся группа очерковъ и разсказовъ, соединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ «Новыя времена, новыя заботы».

Мы все еще въ провинціальномъ городѣ, гдѣ имѣютъ мѣсто и «Нравы Растеряевой улицы», и «Разореніе», и другіе мелкіе разсказы перваго періода, а не въ деревнѣ, куда насъ поведетъ Успенскій потомъ. Но въ этомъ городѣ нашего автора занимаютъ уже не вообще нравы и люди, а специальная черта болѣзни совѣсти. Его поражаетъ прежде всего общая физіономія современнаго губернскаго города—нѣчто неуклюжее, разкошерстное, какая-то куча, свалка явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, не смотря на это, дѣлающихъ безплодныя усилія ужиться вмѣстѣ. Прежде «гармонія была во всемъ полная.

Тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и проч.—все это было пригнано и прилажено все къ тому же невѣчеству, тряпью, хрюканью и дикости и стало-быть не могло не только поражать ваши глаза, но даже ни на волосъ не обижало его. Теперь не то. Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пришествіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ выльзаетъ прямо въ лужу грязи, грязи непроходимою, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть, потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, гдѣ отъ роду не было ни народу, ни дорогъ».

И т. д. Я не стану выписывать дальнѣйшія подробности и обращаю вниманіе читателя только на то, что глазъ художника «обижень» зрѣлищемъ нарушенной гармоніи, ему «досадна» эта «путаница», хотя онъ знаетъ, что гармонія невѣчества, тряпья и дикости слагается все-таки изъ дикости, тряпья и невѣчества, а слѣдовательно вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно сорвавшееся съ пера слово «глазъ обижень» очень замѣчательно. Успенскій оскорбленъ отсутствіемъ гармоніи въ физіономіи губернскаго города. Тѣмъ паче оскорбленъ онъ внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, въ которой онъ главною чертою считаетъ «больную совѣсть», нарушенное новою мыслью равновѣсіе.

Вотъ, наприимѣръ, порожденный этой жизнью мѣщанинъ Б—въ (въ «Хочешь-не-хочешь»). Онъ несетъ «чушь» въ своемъ родѣ не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не «сердитую» и пустопорожнюю, а покаянную и содержательную. Онъ вспоминаетъ о блистательности своего положенія, когда у него было «панталонъ одинъхъ лѣтнихъ шесть паръ отъ Корпуса» и когда ему предлагали мѣсто на Невскомъ у Пеструхина съ жалованьемъ въ семьдесятъ пять рублей. Но ему «тьфу!» на все это. «Мѣста, панталонъ... Господи, очисти живота отъ всего, отъ этого». Его тянетъ куда-то въ высоту, объ которой однако онъ ничего путнаго сказать не можетъ, и рѣшаетъ умереть, и дѣйствительно застрѣливается. Не смотря на смѣшныя подробности монолога Б—ва, вы видите здѣсь настоящую драму, состоящую въ томъ, что какія то неизвѣстныя обстоятельства ввели въ слабую голову Б—ва массу новыхъ мыслей, не уживающихся съ прежнимъ ея содержаниемъ. Онъ радъ бы рѣкой разлиться, весь міръ залить своимъ стономъ, и ничего изъ этихъ неимоверныхъ усилій не выходитъ: онъ все вертится около какихъ-то шести паръ лѣтнихъ панталонъ отъ Корпуса, которыя самъ глубоко презираетъ. Въ его мозгу бопопшется нѣчто без-

конечно высшее, чѣмъ всѣ эти лѣтнія панталоны и «мѣста», но это нѣчто бьется, какъ птица въ клеткѣ, ища и не находя выхода, ища и не находя словъ для своего выраженія. Истинно «тьфу!» всѣ эти панталоны и мѣста. Никто ихъ не презираетъ въ такой степени, какъ этотъ самый мѣщанинъ В—въ. А между тѣмъ они назойливо лѣзутъ въ голову, нѣтъ возможности согнать ихъ съ языка, нѣтъ возможности добраться сквозь нихъ до того святилища души, гдѣ точно въ сказочномъ ларцѣ за семью печатами лежитъ таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей В—ва изъ рая душевнаго равновѣсія.

Вотъ Вѣрочка («На старомъ пепелищѣ»). Она знаетъ «новую мысль» въ ея словесныхъ выраженіяхъ, знаетъ слова «трудъ», «равноправность», «независимость», даже цѣнить ихъ, но соотвѣтственные мысли не могутъ пробить толстую кору, наслоенную на ея сердцѣ наслѣдіемъ прошлаго. А когда наконецъ эти мысли пробились до сердца, Вѣрочка не выдержала и отравилась.

Вотъ дьяконъ («Неизлѣчимый»), спокойно жившій съ своимъ «свиннымъ элементомъ» въ душѣ, пока новая мысль не разрушила этого гармоническаго существованія. Дьяконъ, вкусивъ отъ плода древа познанія добра и зла, сознавъ въ себѣ «свиной элементъ», но ничего съ нимъ подѣлать не можетъ и мучительно раздумываетъ: «возможно-ли какимъ либо манеромъ фундаментально излѣчить и душу и тѣло? тѣло, напримѣръ, возстановлять медицинскими спеціями, а душу одновременно чтеніемъ?»

И проч., и проч. Это ужъ не Павлы Ивановичи Печкины, на которыхъ можно было только плюнуть. Этихъ людей авторъ уже даритъ своимъ участіемъ и состраданіемъ, признаетъ ихъ мучениками, а не мучителями, видитъ драму въ нихъ самихъ, а не около нихъ. Но неужели же такъ-таки нѣтъ просвѣта? Неужели «новая мысль» безсильна создать новую, высшую гармонию на мѣсто той «свиной», которую она разрушила, а ветхій человѣкъ рѣшительно неспособенъ облечься въ новаго и расстаться съ своимъ «свиннымъ элементомъ»? Какъ бы оно тамъ ни было въ дѣйствительности, но Успенскій слишкомъ «обиженъ» зрѣлищемъ дисгармоніи, слишкомъ страдаетъ отъ него, чтобы не искать хоть какого-нибудь успокоенія оскорбленному глазу. При всей своей беспорядочности и неуравновѣшенности онъ слишкомъ богатъ *задатками* гармоніи, чтобы отказываться отъ мечты найти ее, гармонію, хоть гдѣ нибудь. И онъ ищетъ, ищетъ до сегодня, и я не знаю ничего трогательнѣе той лихорадочной страстности, тѣхъ порывистыхъ усилій мысли, съ которыми онъ со-

вершаетъ эти поиски. Онъ съ грустью раздумываетъ о судьбѣ В—ва, Вѣрочки, дьякона и прочихъ, заболѣвшихъ «сердцемъ», «составъ», но какъ-бы ни были мрачны и безотрадные изображаемыя имъ картины, онъ никого не ведетъ къ отчаянію, къ «складыванію ненужныхъ рукъ на пустой груди». Должна гдѣ нибудь быть эта такъ желанная гармонія, или въ настоящей дѣйствительности, или въ будущемъ, которое можно однако теперь же опредѣлить. Но на бѣду нашъ авторъ очень требователенъ. Въ рассказѣ «Прогулка» фигурируетъ очень либеральный и образованный акцизный чиновникъ. Онъ слѣдитъ за литературой, говоритъ, что «Одинъ въ полѣ не воинъ» Шпильгагена — превосходная штука», одушевленно ведетъ благороднѣйшій разговоръ о необходимости народнаго образованія, близко принимаетъ къ сердцу интересы европейской политики, неизмѣнно вѣжливъ съ низшими, строго исполняетъ свои обязанности. Словомъ, это продуктъ ужъ конечно не дореформенной эпохи. Но вотъ этотъ гуманный и вполне современный человѣкъ отправляется производить дознание о безпатентной продажѣ водки. Дорогой онъ прихватываетъ свидѣтеля-солдата и сговаривается съ нимъ, какъ имъ накрыть виновника. Дознаніе произведено, протоколъ составленъ и все это устроилось такъ, что присутствующій при этомъ посторонній молодой человѣкъ размышляетъ: «какъ назвать, какъ опредѣлить эту гуманность, образованность, которая повсюду вноситъ съ собой уныніе и грусть?.. Вотъ съ измученной совѣстью сидитъ на крыльцѣ солдатъ... Вотъ вздыхаетъ цѣлая семья, видя передъ собою голодь... Бабы перестали пѣть, ушли». «Да что-же это такое?» спрашиваетъ онъ чиновника. «Порядокъ!» категорически отвѣтитъ чиновникъ и продолжалъ дорогу молча, срывая вазилки и собирая изъ нихъ букетъ для жены. Не этотъ «порядокъ», конечно, можетъ послужить просвѣтомъ для мечты сердца, жаждущаго гармоніи. Это даже и не «порядокъ», не смотря на то, а отчасти можетъ быть именно потому, что чиновникъ соблюдаетъ при составленіи протокола всѣ формы вѣжливости, а соблазнивъ солдата на предательство, рветъ вазилки. Или вотъ рассказъ подъ названіемъ «Умерла за направленіе», въ которомъ, благодаря огромности и сложности общественнаго механизма, человѣкъ, возмѣтившій очень крупныя надежды и планы, постепенно ихъ суживаетъ и приходитъ наконецъ даже къ совершенно неожиданному результату. Разсказчика спрашиваютъ, къ чему онъ это разсказалъ. Онъ отвѣчаетъ: «Какъ къ чему? Да просто такъ сказать... Потому сказалъ

что поглядишь, поглядишь, и не знаешь — что такое творится на бѣгомъ свѣтѣ? Вотъ почему.—Тоска!»

Нельзя-ли съ тоски-то съ этой кинуться въ міръ фантазіи и тамъ, на свой собственный страхъ и рискъ, создать пріятную фигуру «новаго человѣка», который воспринялъ бы новую мысль во всемъ ея объемѣ и всѣмъ существомъ своимъ, вообще создать образъ высокаго, честнаго, сильнаго, правдиваго и не мирящагося съ наслѣдіемъ прошлаго, но при этомъ и неузавленнаго большою совѣстью? Можно. Это дѣлали многіе беллетристы, въ литературѣ нашей существуетъ цѣлая коллекція романовъ, въ которыхъ фигурируютъ «новые люди» и которые производили въ свое время известную сенсацию, но нынѣ почти забыты. Успенскій посвящаетъ этой литературѣ любопытную страницу въ очеркѣ «На старомъ пепелищѣ». Онъ вполне признаетъ ея историческую законность. Въ томъ обществѣ, которому казалось, что оно вдругъ разорвало всякую связь съ своимъ прошлымъ, необходимо долженъ былъ явиться запросъ на изображеніе совершенно новой жизни и новыхъ людей, и чтобы все въ этихъ людяхъ было добро злѣю, какъ въ первые дни творенія. Взволнованная крымской войной, затѣмъ освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами, общественная совѣсть требовала великаго, сильнаго, честнаго, въ противоположность тому постылому прошлому, отъ котораго оно только что отвернулось. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это такъ. «Но, говоритъ Успенскій, между этими крайностями, то — есть между недавнимъ, безпримѣрнымъ нравственнымъ паденіемъ и безпримѣрнымъ жаждою новаго и возвышеннаго, есть третья черта, черта подлиннаго состоянія общественной души, забытая авторами, и старыми, и новыми: эта черта—страданіе. Новый авторъ, рисуя для пробужденной совѣсти образцы, въ которые должно бы облечься это пробужденіе, но не говоря ни слова о страданіяхъ, о борьбѣ съ самимъ собой, страданіяхъ и борьбѣ, которые неизбежно должны были обрушиться на всякаго обезсиленнаго нравственно человека, поставленнаго въ необходимость быть нравственно сильнымъ—авторъ дѣлалъ большой промахъ: онъ предоставлялъ измученному представителю толпы биться, какъ рыба объ ледъ, и давалъ полную возможность врагамъ своихъ идеаловъ во все горло хохотать надъ ошибками, безсиліемъ, недомыслиемъ человѣка, торопившагося перелѣзть съ одного берега на другой, торопившагося отъ неправды, безсовѣстности уйти къ совѣсти и правдѣ во всемъ».

Труденъ путь общественнаго обновленія.

Трудно прилаживаются къ новой мысли люди, въ теченіи вѣковъ воспитывавшіе въ себѣ, по выраженію нашего автора, «свиной элементъ». Новая мысль «жестокъ искупительныхъ проситъ»: она, какъ женщина, въ болѣзняхъ родитъ чадъ. Даже успѣхи ея, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ или тотчасъ послѣ перваго розоваго и не особенно надежнаго настроенія, должны выражаться мучительнымъ сознаніемъ неуравновѣшенности, большой совѣсти. Чѣмъ ярче свѣтъ новой мысли, тѣмъ, при условіи полной искренности, сильнѣе освѣщаетъ онъ потаенные закоулки души, гдѣ гнѣздятся остатки прошлаго. Надо въ концѣ истребить въ себѣ эти остатки и тогда получится новая, высшая гармонія, взаимнѣ разрушенной. Лучше быть недовольнымъ человекомъ, чѣмъ довольной свиньей, какъ сказалъ древній мудрецъ. Разъ увидѣвъ свѣтъ, никто не захочетъ вернуться къ тьмѣ. Разъ заболѣвъ совѣстью, мудрено вернуться къ прежнему душевному равновѣсію, еще не обезпеченному острыми иглами совѣсти, но эти иглы производятъ боль, и надо искать выхода.

Герой очерка «Хочешь не хочешь», нѣкій Петръ Васильевичъ, нашелъ выходъ. Казнокрадъ, буянъ, развратникъ, онъ уже старикомъ получилъ «просіаніе своего ума», какъ выражается другой герой Успенскаго. Получилъ просіаніе и «покаялся»: отказался отъ семьи, отъ всѣхъ выгодъ и удобствъ своего положенія, ушелъ изъ дому и, проживая въ своей бывшей деревнѣ тайно отъ жены, которой нѣкогда надѣлалъ много неприятностей, и изрѣдка, тайкомъ же, взглядывая на своего сына, сталъ, какъ умѣлъ, лѣчить крестьянъ и, какъ могъ, учить крестьянскихъ ребятишекъ. Этимъ путемъ онъ достигъ душевнаго равновѣсія. Какъ за свое прошлое, онъ не имѣетъ чѣмъ упрекнуть себя въ настоящемъ и спокоенъ и свѣтелъ, какъ дитя. «У меня вотъ шляпа поярковая, говоритъ онъ, коровьимъ составомъ я ее вымазалъ, запекъ въ печи—она у меня на двѣсти лѣтъ, а тамъ, въ вапихъ-то мѣстахъ (т. е. въ «господской» средѣ), отдай пять да десять... да невѣдомо сколько другого причендалу потребуется хоть бы къ одной къ одеждѣ... Не надо этого... Стыдно! Вотъ ребятишки иной разъ листа бумаги ждуть по полутоду, а я буду въ лорнетъ смотрѣть?»

Такъ вотъ какъ достигается душевное равновѣсіе.

III.

«Болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти», это у Успенскаго синонимы.

Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящая душу, принимают для него почти исключительно форму совести, то-есть сознания виновности и жажды соответственного искупления и покаяния. Но совесть — не единственная сила, способная сверлить душу. Человек, охваченный угрызениями совести, стремится наложить на себя эпитет и всячески урзает свой жизненный бюджет. Для себя ему ничего не нужно. Напротив, заморить грызущаго его червяка онъ только и может лишениями, и потому онъ не только готовъ принять всякія оскорбления даже до мученическаго вѣнца, а самъ ищетъ ихъ. Препятствія для этой работы совести могутъ найтись только въ самомъ субъектѣ, въ его «свиномъ элементѣ», если таковой сохраняется, а внѣшняя обстановка съ такимъ человекомъ ничего не можетъ сдѣлать: для него лично, пожалуй, даже — чѣмъ хуже, чѣмъ лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича; чѣмъ больше холода и голода на него обрушивается, чѣмъ униженнѣе его положеніе, тѣмъ онъ свѣтлѣе душой. Но въ такомъ чистомъ видѣ работа совести встрѣчается рѣдко, хотя бываютъ цѣлыя историческія эпохи, ею окрашенныя. Обыкновенно же коррективомъ его является работа чести, которая столь же способна нарушать гармонию «свиного элемента», только съ другого конца, и точно такъ-же можетъ стать мотивомъ глубочайшей драмы. Работа совести и работа чести отнюдь не исключаютъ другъ друга. Между ними возможно практическое соглашеніе, онѣ могутъ уживаться рядомъ, пополняя одна другую. Но онѣ всетаки типически различны. Совесть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни и потому въ крайнемъ своемъ развитіи успокоивается лишениями, оскорблениями, мученіями; честь, напротивъ, требуетъ расширения личной жизни и потому не мирится съ оскорблениями и бичеваніями. Совесть, какъ опредѣляющій моментъ драмы, убиваетъ ея носителя, если онъ не въ силахъ принизить, урзаетъ себя до извѣстнаго предѣла; честь, напротивъ, убиваетъ героя драмы, если униженія и лишения переходятъ за извѣстные предѣлы. Человекъ уязвленной совести говоритъ: я виноватъ, я хуже всѣхъ, я недостойнъ; человекъ возмущенной чести говоритъ: передо мной виноваты, я не хуже другихъ, я достоинъ. Работѣ совести соответствуютъ обязанности, работѣ чести — права. Повторяю, исключительные люди совести, какъ и исключительные люди чести составляютъ большую рѣдкость, обыкновенно мы видимъ смѣшеніе этихъ двухъ началъ въ той или другой пропорціи. Но въ данную минуту герой драмы можетъ находиться подъ исключительнымъ вліяніемъ того

или другого элемента. И ясно, что болѣзнь чести имѣетъ полное право стоять рядомъ съ болѣзью совести. Ясно, что драма оскорбленной чести можетъ быть столь же сложна, глубока и поучительна, какъ и драма уязвленной совести.

Успенскій, сосредоточивъ свое вниманіе на драмѣ совести, почти совсѣмъ въ сторонѣ оставляетъ драму чести. Говорю — почти совсѣмъ, потому что нѣкоторые намеки въ этомъ направленіи у него есть. Самый крупный изъ нихъ — фигура Михаила Ивановича въ «Разоренны». Ѣдетъ Михаилъ Ивановичъ въ Петербургъ, полный самыхъ радужныхъ надеждъ, что, добравшись тамъ до сильныхъ людей, онъ имъ расскажетъ, какъ обижали и притѣсняли простого человека, который однако не хуже другихъ. На желѣзной дорогѣ онъ пріятно пораженъ въ своемъ настороженномъ чувствѣ чести тѣми «вы», «пожалуйте», «сдѣлайте одолженіе», съ которыми къ нему обращаются. вмѣстѣ съ случайнымъ дорожнымъ знакомцемъ, пьяненькимъ мужикомъ, они дѣлаютъ разные опыты для удостовѣренія, что они не хуже другихъ. Все удается: съ ними неизмѣнно вѣжливы, желѣзнодорожныя правила прикидываются къ нимъ совершенно въ той же мѣрѣ, какъ и къ пассажирамъ «изъ господъ». Но вотъ на одной изъ станцій Михаилъ Ивановичъ, обнявшись съ мужикомъ, подходитъ къ буфету съ намѣреніемъ выпить и закусить, подобно прочимъ.

— Бутенброду! — грозо восклицаетъ мужикъ, вляпываясь въ толпу у буфета, но увидавъ господъ, пугается, снимаетъ шапку и бурчитъ:

— Дозвольте бутенброду, васкбродіе!..

Михаилъ Ивановичъ обиженъ такимъ поведеніемъ мужика и тотъ самъ чувствуетъ свою вину. Это пустяки конечно, но солнце отражается и въ малой каплѣ водъ. «Новая мысль» преломилась въ головахъ Михаила Ивановича и его спутника въ формѣ чести, но они не приладили къ ней, не привели въ равновѣсіе свое прежнее содержаніе и новую мысль. Отсюда это нелѣпое «грозное» восклицаніе мужика и быстро слѣдующая за нимъ трусость. Этотъ мотивъ не разработанъ въ сочиненіяхъ Успенскаго, частью, можетъ быть, по внѣшнимъ условіямъ, но частью и по самымъ свойствамъ его таланта и его умонастроенія. Онъ часто рисуетъ разныхъ насильниковъ, обидчиковъ, тирановъ, но комическія черты въ этихъ рисункахъ расположены такъ, что весь этотъ людъ, хотя и много зла дѣлающій, оказывается пустопорожнимъ и ничтожнымъ. Таковъ, напримѣръ, Павелъ Ивановичъ Печкинъ. Такова въ разсказѣ «Захотѣлъ быть умнѣй отца» мрачная фигура злoding-отца.

Повидимому, это не только мрачная, но и очень большая сила; но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. В сущности, какая-же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смѣшного, и завтра-же может быть от него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смѣшного и ничтожного злодѣя Успенскій не считал нужнымъ даже показать намъ, а между тѣмъ драматическое положеніе этого сына коренится, конечно, не въ увлеченной совѣсти, а въ оскорбленной чести, которая такимъ образомъ и остается за кулисами. Сверхъ того къ анализу именно больной совѣсти, даже въ ущербъ всему прочему, Успенскаго влечетъ родственность его художественнаго аскетизма съ аскетизмомъ житейскимъ. Самъ онъ съуживаетъ свои права, какъ художника, до послѣдней возможной степени и отказывается отъ всякой роскоши красокъ, линий, образовъ. Поэтому и въ жизни ему симпатичнѣе или по крайней мѣрѣ интереснѣе то возстановленіе душевнаго равновѣсія, которое достигается со стороны совѣсти, то-есть при помощи лишений и отказа отъ всего яркаго и прѣтнаго. Какъ-бы то ни было, но это большой пробѣлъ въ дѣятельности Успенскаго. Мы еще встрѣтимся съ этимъ обстоятельствомъ ниже, а теперь, возвращаясь къ прерванному разговору о показавшемся Петрѣ Васильевичѣ («Хочешь не хочешь»), я замѣчу слѣдующее. Аскетизмъ Петра Васильевича, на которомъ отдыхаетъ наконецъ глазъ художника, оскорбленный зрѣлищемъ неуравновѣшенности, отнюдь не имѣетъ созерцательнаго характера. Это не тотъ аскетъ, который загибаетъ на столбъ или удаляется въ лѣса и болота и тамъ, никого не видя, только сокрушается о своихъ грѣхахъ. Онъ—аскетъ дѣятельный, постановившій себѣ задачей служить ближнему дѣломъ: онъ лѣчитъ больныхъ и учитъ ребятъ. Это важно замѣтить для дальнѣйшаго.

Какъ бы ни было успокоительно для глаза, ищущаго гармоніи, зрѣлище того душевнаго равновѣсія, котораго достигъ Петръ Васильевичъ, но это во всякомъ случаѣ исключительное явленіе. Это, пожалуй, тоже своего рода «новый человекъ». Правда, указанъ и названъ путь, которымъ онъ добрался до своего пьедестала — путь страданія. А все-таки Петръ Васильевичъ на пьедесталѣ стоитъ, на возвышеніи, недоступномъ большинству. Глазъ, оскорбляемый неуравновѣшенностью, можетъ на немъ только временно отдохнуть и затѣмъ по необходимости долженъ перейти къ явленіямъ болѣе обыденнымъ, и опять оскорбляться, и опять искать гармоніи.

Успенскій отправился съ своими поисками

въ деревню. Это какъ разъ совпало съ усиленными литературными толками о народѣ, въ которыхъ Успенскій занялъ совершенно оригинальную позицію. Онъ ушелъ въ деревню все съ той же преслѣдующей его мечтой найти отдыхъ глазу, оскорбленному неурядицей, безтолковостью и противорѣчивостью явленій жизни. При этомъ была очевидно и надежда, что тамъ, въ деревнѣ, гдѣ жизнь сравнительно не сложна, гдѣ поярковая шляпа, вымазанная коровьимъ составомъ, до которой едва дострадался Петръ Васильевичъ, есть вещь вполнѣ обыкновенная; что тамъ легче найти равновѣсіе между нравственными понятіями и фактическимъ строемъ жизни, между потребностями и способами ихъ удовлетворенія, между словомъ и дѣломъ. Разное, однако, ожидало его тамъ, и онъ съ свойственною ему нервною торопливостью и искренностью предавать тисненію все, что онъ видѣлъ, думалъ, чувствовалъ. Тутъ были и разочарованія, и радости. Не разъ сбѣгалъ онъ изъ деревни то въ Европу, чтобы его тамъ «выпрямила» Венера Милосская, то въ ту-же Европу, чтобы посмотреть какъ живутъ люди, хорошо-ли, худо-ли, но вполнѣ сознательною жизнью, то къ далекимъ кавказскимъ сектантамъ, то къ измученнымъ русскою болѣзнью совѣсти добровольцамъ въ Сербію, но все-таки возвращался все въ ту же деревню, и опять искалъ тамъ, и мучился, и радовался. Такъ какъ одно время литературные толки о народѣ вызвали было въ обществѣ нѣкоторое движеніе въ направленіи къ деревнѣ, то Успенскій и эти попытки сближенія съ народомъ ввелъ въ кругъ своихъ наблюденій и размышленій. Люди искренней мысли всегда высоко цѣнили деревенскія впечатлѣнія Успенскаго, ибо онъ, по своей необыкновенной правдивости, всегда зауживали по крайней мѣрѣ быть принятыми къ свѣдѣнію, при обсужденіи живого дѣла. Но ко всякому живому дѣлу пристраиваются разные узколобые доктринеры и клезники, стремящіеся омертвить его и тѣмъ низвести до своего уровня. Такимъ не могла правиться дѣятельность Успенскаго, слишкомъ для нихъ живая и смѣлая. Они рѣшительно терялись—какой собственно ярлыкъ на него навѣсить, а ярлыковъ собственнаго изобрѣтенія у нихъ было много: не то «народникъ», не то только «народолюбецъ», не то еще какой-то, и даже «презрительно и высокоумно откосятся къ народу». Это не было скромное и естественное «недоумѣніе нулей къ какой пристать имъ единицѣ». Нѣтъ, нули, круглые нули комически негодовали, что къ нимъ не пристаютъ дѣйствительные величины. Успенскій оставался конечно все тѣмъ же Успенскимъ и шелъ своей мучительно трудной

дорогой. Я не буду слѣдить за всѣми перипетіями его поисковъ идеала въ деревнѣ и остановлюсь только на нѣсколькихъ крупныхъ чертахъ.

Между прочимъ, Успенскій пришелъ къ парадоксальному, повидимому, выводу, что въ народной средѣ (а можетъ быть и не въ ней одной) улучшение матеріальнаго положенія не только не ведетъ къ дѣйствительному благосостоянію, а напротивъ, губить людей, опустошая ихъ нравственно, а затѣмъ приводя къ вѣщному разоренію. Мысль эта его очень занимаетъ: онъ развиваетъ ее и въ нѣсколькихъ отдѣльных очеркахъ (напримѣръ, «Перестала», «Взбрело въ банку» и проч.), и въ единственномъ своемъ болѣе или менѣ законченномъ произведеніи «Власть земли», и въ статьяхъ «Безъ своей воли», «Изъ разговоровъ съ пріятелями», составляющихъ какъ бы послѣловія къ «Власти земли». Отсюда, на поверхностный взглядъ, могутъ быть одѣланы нѣкоторыя крайне удивительныя заключенія, отнюдь не миришіяся съ общимъ характеромъ дѣятельности Успенскаго. Но приглядѣвшись ближе, увидимъ прежде всего, что Успенскому не до эффектныхъ парадоксовъ. Онъ пристально вглядывается въ поразившее его явленіе, ищетъ его смысла и производитъ эту операцію не въ кабинетѣ, въ тиши котораго можно расположить свои наблюденія и выводы въ стройную систему, а, такъ сказать, на людяхъ: вы видите не только результаты работы, а и процессъ ея. Объ этомъ, впрочемъ, уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь къ этому обстоятельству, такъ только для того, чтобы имѣть право, для объясненія истиннаго смысла вышеприведеннаго парадоксальнаго вывода, по своему располагать разныя отдѣльныя мѣста сочиненій Успенскаго.

Въ очеркѣ «Безъ своей воли» записаны разговоры трехъ пріятелей. Одинъ изъ нихъ, только что вернувшійся изъ какой-то поѣздки, передаетъ, между прочимъ, слышанный имъ рассказъ о томъ, что родился антихристъ. Народился онъ не у насъ, а въ «какомъ-то особомъ царствѣ». Вотъ какъ будто-бы было дѣло.

Нанялся къ нѣкому князю поваръ и тотчасъ же началъ вслѣдствіе угождать и дѣлать добро остальной прислугѣ. Слухи объ его добротѣ стали распространяться и дошли до самаго князя, который полюбилъ его, а этому любовью поваръ воспользовался опять таки на благо разныхъ обращающихся къ нему за помощью бѣдныхъ, простыхъ людей. Со всѣхъ сторонъ валили къ нему черныя народъ съ своимъ горемъ и нуждой, и всѣ получали помощь, воимъ онъ выхлопатывалъ у князя—кому что нужно. Такъ дѣло

и теперь стоитъ: поваръ все благодѣлательствуетъ и помогаетъ простому бѣдному люду. Но лѣтъ примѣрно черезъ двадцать произойдетъ слѣдующій случай. Надо замѣтить, что благодѣлательный поваръ никогда не снимаетъ съ рукъ бѣлыхъ перчатокъ. И вотъ князь созоветъ къ себѣ въ гости «прочихъ всѣхъ китайскихъ и эфиопскихъ князей» и будетъ имъ служить поваръ въ бѣлыхъ перчаткахъ. Гости—«князья и разные султаны»—заинтересуются этимъ и попросятъ князя-хозяина, чтобы онъ приказалъ повару снять бѣлыя перчатки. Князь прикажетъ, но поваръ дважды откажется исполнить приказаніе и, только когда князь въ третій разъ съ гнѣвомъ прикажетъ, поваръ съ гнѣвомъ же совернетъ бѣлыя перчатки. Тогда всѣ князья и султаны увидятъ, что поваръ есть антихристъ: на одной рукѣ у него окажется копыто, на другой—когти. Всѣ князья и султаны въ ужасѣ разбѣгутся, въ томъ числѣ и хозяинъ. Народъ, помня благодѣянія повара, выберетъ его княземъ, но вмѣсто ожидаемыхъ милостей онъ съ перваго же дня обнаружитъ необузданную жестокость. Въ особенности плохо придется тѣмъ, у кого руки окажутся «чистыми, нѣжными, безъ мозолей, т. е. безъ этихъ копытъ и когтей». Чтобы спастись отъ гибели, всѣ бѣлоручки начнутъ хвататься руками за землю, начнутъ рыть ее, и всѣтаки будутъ гибнуть. А такъ какъ и у мужиковъ мозоли будутъ проходить (отъ хорошей жизни, которую антихристъ устроилъ имъ, будучи поваромъ), то вслѣдъ за бѣлоручками, уничтоженными по повелѣнію антихриста, станутъ уничтожать и бѣлорученныхъ мужиковъ. Потомъ начнется пожаръ земли, воскресеніе мертвыхъ, страшный судъ.

Одинъ изъ собесѣдниковъ, выслушавъ этотъ рассказъ, замѣчаетъ, что «эту легенду объ антихристѣ онъ на своемъ вѣку слышалъ несчетное число разъ, антихристъ всегда является въ ней въ разныхъ видахъ, но всегда рѣшительно, во всякой изъ легендъ, онъ ознаменовываетъ свое прішествіе добрыми дѣлами. Онъ всегда завоевываетъ симпатіи народа, дѣлая ему пріятное, облегчая ему жизнь... Почему же зло, гибель, несчастіе и вообще послѣдніе дни, кончину міра народъ полагаетъ послѣ того, какъ будутъ необыкновенно легко исполняться всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы?»

Признаюсь, я никогда не слышалъ такой русской легенды объ антихристѣ. Полагаю, что она не кореннаго русскаго происхожденія. Она невольно напоминаетъ слѣдующее иранское сказаніе. Послѣ тысячелѣтняго царствованія Іема, въ теченіе котораго люди были такъ счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престолѣ вступилъ не-

честивый Дахакъ. Самъ Ариманъ поступилъ къ нему на службу въ видѣ *повара*. Поваръ этотъ сталъ постепенно приучать Дахака къ мясной пищѣ. До тѣхъ поръ люди питались только растительной пищей, а тутъ стали ѣсть сначала яйца, потомъ птицъ, потомъ говядину. Дахакъ былъ очень доволенъ гастрономическими нововведеніями, но когда однажды поваръ Ариманъ поцѣловалъ царя въ оба плеча, то изъ тѣхъ мѣстъ, куда припились поцѣлуй, выросли двѣ змѣи, а поваръ исчезъ. Змѣи отрѣзали, но онѣ опять выросли, и опять, и опять. Тогда поваръ вновь появился, но уже въ видѣ врача, и посоветовалъ кормить змѣй человеческимъ мозгомъ. И т. д. Исторія кончается благополучно — низверженіемъ Дахака и торжествомъ добра.

Я не знаю, родственно-ли это сказаніе съ легендой объ антихристѣ, приводимой Успенскимъ, фактически. Но они родственны по содержанію; и не только потому, что тамъ и тутъ воинствующее злое начало — антихристъ и Ариманъ — принимаетъ обличье повара, а и потому, что тамъ и тутъ поваръ является источникомъ удовольствія, наслажденія, которое оказывается однако пагубнымъ. Но въ иранскомъ сказаніи двусмысленный характеръ благодѣянія злого начала раскрывается яснѣе. Дѣло не въ благодѣяніяхъ вообще, а специально въ предоставленіи новыхъ наслажденій, дотогѣ народу неизвѣстныхъ, причемъ можетъ быть имѣть значеніе и то, что наслажденія эти низшаго порядка — гастрономическія. Иранское сказаніе видитъ торжество зла не въ томъ, что «будетъ необыкновенно легко исполнятся все желанія, снимутся все тяготы», а въ томъ, что водворится роскошь, люди захотятъ лишняго, того, что прежде было имъ даже неизвѣстно. Это гораздо проще и понятнѣе; но можетъ быть та же мысль лежитъ и въ основаніи легенды объ антихристѣ, только замаскированная. Если бы это послѣднее могло быть доказано, то стало бы вѣстѣ съ тѣмъ понятно, что постоянно звучащей въ Успенскомъ аскетической струнѣ симпатична легенда объ антихристѣ: въ ней вѣдь та же струна звучитъ. Но, какъ уже было замѣчено выше, близкій сердцу Успенскаго аскетизмъ отличается дѣятельнымъ характеромъ. Онъ самъ слишкомъ впечатлителенъ и дѣятеленъ, чтобы другимъ рекомендовать и себѣ позволить спокойное созерцаніе, хотя бы возможность его и была достигнута отрѣшеніемъ отъ всего «лишняго» и отъ всякаго грѣха, съ этимъ «лишнимъ» связаннаго. А это обстоятельство вноситъ въ аскетическую программу такую огромную поправку, что въ извѣстномъ смыслѣ она даже перестаетъ быть аскетическою.

Въ очеркѣ «Перестала!» Михайло говоритъ, что «намъ свою мужицкую силу нельзя по вѣтру распускать, намъ нужна запряжка, *чтобы дохнуть некогда было*. Это Михайло говоритъ умудренный горькимъ опытомъ и получивъ «просіаніе своего ума» отъ калашницы Артамоновны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вотъ какъ допекала Михайлу и его жену: «Глуный ты, безбожный и безразсудный балбесъ! До чего ты довелъ свою жену и до чего самъ себя произвелъ? Не дуракъ-ли ты: хотѣлъ прожить съ женой весь вѣкъ за самоваромъ; думаешь ты, дуракъ, что будетъ она тебѣ *благодарна, ежели ей только чай съ сахаромъ пить, а никакого безпокойства не имѣть?* Куда-жъ она силу-то свою дѣнетъ, подумалъ-ли ты? Вѣдь у ней у жены-то твоей, на четырехъ бабъ силы-то хватить, а ты думаешь чаемъ ее отпоить?.. И такую-то золотую бабу ты, балбесъ, думаешь на всю жизнь оставить безъ затрудненія? *Почему же ты не дѣлаешь ей въ жизни затрудненія? Вѣдь она всего хочетъ, понимаешь-ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваромъ хочешь отбояриться?*» Жена Михайлы тоже получаетъ отъ Артамоновны наставленіе: «А ты-то, бакалайка безострунная, что думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, такъ и то бы тебѣ *потруднѣло было, повеселѣло*. Ахъ, вы глупые, безсовѣстные! Задумали безъ крестьянскаго хомута вѣкъ вѣковать!»

Итакъ, между словами «потруднѣй» и «повеселѣй», выражающими, повидимому, такіа рѣзко отличныя понятія, можетъ быть поставленъ знакъ равенства. Итакъ, на человѣка должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда, и только тогда настанетъ миръ въ его душѣ, но не на почвѣ отреченія отъ радостей жизни; напротивъ, тутъ-то и достигнется настоящая радость, и человѣкъ, который «всего хочетъ», которому «все нужно», «все» и получить. Михайло и его жена въ очеркѣ «Перестала!» не исключительныя какія-нибудь явленія. Совершенно какъ у Михайлы, у Ивана Восыхъ во «Власти земли» разстройство матеріальное, разстройство семейной жизни и всякое другое пошло «отъ легкой жизни». Такъ и народъ понимаетъ дѣло, какъ видно изъ легенды объ антихристѣ. Нуженъ трудъ, ужасно много труда, такъ, чтобы «дохнуть некогда» было, по выраженію Михайлы.

Какъ разъ подъ этимъ заглавіемъ «Дохнуть некогда» у Успенскаго есть превосходный очеркъ, одно изъ лучшихъ его произведеній по яркости фантазіи, по богатству юмора, по ясности мысли, по рѣдкой для него художественной законченности. Мнѣ

въ высшей степени приятно отмѣтить, что этотъ превосходный очеркъ былъ напечатанъ въ журналѣ всего три года тому назадъ (въ 1885) и что, слѣдовательно, не смотря на все усиливающуюся привычку разрѣзывать публицистикою свои образы, Успенскій до днесь сохранилъ свое художественное дарованіе во всей его свѣжести. Въ этомъ очеркѣ усиленный трудъ, трудъ почти каторжный и во всякомъ случаѣ такой, что «дохнуть некогда», представляется уже въ совершенно другомъ освѣщеніи. Онъ является здѣсь источникомъ не мира душевнаго, а напротивъ, вѣчной тревоги. Михайло, Иванъ Босыхъ и другіе подходятъ къ самому краю пропасти или ввергаются въ нее «отъ легкой жизни», и спасеніе ихъ въ трудѣ до предѣла «дохнуть некогда». Судебный приставъ Апельсинскій, исправникъ, Арапкинъ, смотритель маяка и другіе, фигурирующие въ очеркѣ «Дохнуть некогда», становятся героями мучительныхъ драмъ, напротивъ именно потому, что заглавіе очерка приходится имъ по шерсти; ихъ гибель именно въ *не легкой* жизни, они ужъ никакъ не поставятъ знака равенства между словами «потруди́й» и «повеселѣй». Значить, есть трудъ и трудъ; трудъ благотворный для трудящагося и трудъ губительный; трудъ, прекращающій мучительную драму всяческаго разстройства, и трудъ — источникъ этой драмы. Постараемся рассмотреть эти два типа драмы отдѣльно; постараемся, потому что Успенскій самъ часто ихъ сопоставляетъ, не легко обойти эти авторскія сопоставленія.

Въ деревнѣ происходятъ разные порядки. Это ни для кого не тайна. Благонамѣренные люди разныхъ оттѣнковъ знаютъ и причины этихъ неурядицъ, лежащихъ въ экономическихъ условіяхъ. Знаетъ ихъ и Успенскій, знаетъ, конечно, лучше многихъ, разсуждающихъ объ этомъ предметѣ. Но его интересуетъ главнымъ образомъ не эта сторона вопроса. *Magenfrage*, какъ сказалъ бы нѣмецъ, поднимается для него до степени *Seelenfrage*, или, какъ выражается онъ самъ, вопросъ «народнаго брюха» до степени вопроса «народнаго духа». «Земля» есть не только источникъ мужицкаго пропитанія, но и главѣйшій факторъ, опредѣляющій все міросозерцаніе крестьянина и весь его житейскій обиходъ. «Бракъ, семья, народная поэзія, судъ, общественныя работы и т. д., и т. д.» — всѣ стороны народной жизни проникнуты вліяніями земледѣльческаго труда. И эта-то «власть земли», какъ всеопредѣляющій факторъ, устанавливаетъ гармонію въ народной жизни, гармонію, до которой намъ, разрываемымъ на части и собственною совѣстью, и вѣшними условіями своего суще-

ствованія, какъ до звѣзды небесной далеко. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы все было благополучно въ народной средѣ.

Я видѣлъ гдѣ-то такую карикатуру: лежить мужикъ, полурасдавленный подобіемъ земного шара («земли»), а Успенскій изъ всѣхъ силъ толкаетъ этотъ шаръ впередъ, на мужика, съ очевидною цѣлью окончательно его расплюснуть. Карикатура имѣетъ свои условныя права, и въ данномъ случаѣ можетъ быть она и не вышла за предѣлы этихъ правъ. Но надо всетаки понимать, что для Успенскаго «потруди́й» значитъ «повеселѣй», по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ мужику. Не раздавить мужика трудомъ хочетъ онъ, а напротивъ, предоставить ему весь просторъ жизни, который, дескать, наилучше обезпечивается земледѣльческимъ трудомъ. Нѣкоторымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ Успенскій разрѣшаетъ говорить на эту тему вещи, съ извѣстной точки зрѣнія абстрактно справедливыя, но фактически вѣскольно рискованныя. Въ очеркѣ «Овца безъ стада» одинъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ» съ азартомъ утверждаетъ, что мужикъ есть счастливѣйшій изъ людей, потому что онъ, благодаря характеру своего труда, живетъ полною и вполне уравновѣшенною жизнью. «Участь мужика — крестьянина не только не печальна, но рѣшительно отрадна сравнительно съ безчисленными профессіями, на которыя раскололся родъ человѣческій». Мужикъ дѣлаетъ «все самъ» и потому «все самъ знаетъ, рѣшительно все... просто такъ все знаетъ, да и шабашъ!» И т. д. и т. д. Все это говоритъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ». Собесѣдники же находятъ, что это лишь талантливая «иллюстрація къ мужику», что мужикъ тутъ «хорошо разрисованъ», хотя признають, что кое-гдѣ, изрѣдка и отдѣльными чертами, эта «иллюстрація» осуществляется и въ дѣйствительной жизни. Въ «Разговорахъ съ пріятелями» Протасовъ утверждаетъ уже не такъ рѣшительно, какъ упомянутый «мальчикъ»: «Уравновѣшенность духовной и физической дѣятельности, встречающаяся въ нашемъ крестьянствѣ, *въ счастливыхъ случаяхъ*, въ полной чистотѣ и совершенствѣ, дѣлаетъ его поистинѣ образцомъ того, къ чему долженъ стремиться такъ называемый прогрессъ». А когда Успенскому, какъ во «Власти земли», приходится говорить лично отъ себя, то онъ выражается еще скромнѣе и трезвѣе. Онъ, напримѣръ, пишетъ и подчеркиваетъ: «Въ строѣ жизни; повинующейся законамъ природы, несомнѣнно и особенно плѣнительна та *правда* (не *справедливость*), которою освѣщена въ ней самая ничтожнѣйшая жизненная подробность». Успенскій знаетъ и

отъ людей не скрываетъ, что въ народной средѣ совершаются возмутительныя по своей жестокости вещи, но онѣ совершаются съ чистомъ, спокойною совѣстью: «все онѣ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся необходимыми, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби».

Можетъ-ли глазъ, оскорбленный дисгармоническими явленіями и жаждущій видѣть хоть какую нибудь гармонию, успокоиться на этой, какъ говорить самъ Успенскій, «зоологической», «лѣсной», «звѣриной» «правдѣ»? Она вѣдь представляетъ полную уравновѣшенность понятій и поступковъ, въ ней нѣтъ мѣста «больной совѣсти» и другимъ болѣзненнымъ продуктамъ нарушенной гармоніи?—Отдохнуть глазъ можетъ, но успокоиться—нѣтъ. И вотъ почему: «Такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ законовъ природы, то и жизнь его (мужика) гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой *своей* мысли. Вынуть изъ этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнить своей человѣчьей волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!» («Безъ своей воли»). Значитъ, уже тѣмъ нехорошо зоологическое, лѣсное равновѣсіе, что оно неустойчиво. Оно можетъ непоколебимо простоять сотни лѣтъ, но можетъ и рухнуть въ одинъ день, если изъ него будетъ вынута хоть капелька, хоть песчинка. А разныхъ случайностей, способныхъ вынуть эту песчинку, не оберешься. Вотъ, наприкладъ, исторія, рассказанная въ очеркѣ «Не случилось». Просто весна ранняя встала, «никогда старики такой ранней весны не видывали». Вслѣдствіе этого и весеннія работы необычно рано кончились, и пришлось передъ Петровымъ днемъ двѣ недѣли необычнаго досуга, котораго рѣшительно дѣвать некуда. Разыгрались люди, да въ игрѣ-то и убили человѣкъ нечаянно родного отца, а потомъ и острогъ, и обнищаніе, и сестра отъ нищеты «гулять» пошла. Цѣлая огромная драма. Есть и другія случайности, которыя уже ни въ какой связи съ явленіями и законами природы не состоятъ, а между тѣмъ, благодаря имъ, «народная масса поминутно выдѣляетъ изъ себя массу хищниковъ, кулаковъ, мирѣйдовъ» («Изъ деревенскаго дневника»). Благодаря частью этимъ хищникамъ, а частью бѣдамъ стихійнымъ вродѣ сибирской язвы, погибъ и Иванъ Босыхъ во «Власти земли». Сунулся было Иванъ служить на желѣзную дорогу, и отлично, казалось бы, вышло: тридцать пять рублей въ мѣсяцъ жалованья, а работы мало, да и то «легкой». Но эта то «легкая жизнь» и вы-

нула песчинку изъ гармоническаго мужицкаго существованія. Тамъ работа тяжелая, но въ ней душа участвуетъ: человѣкъ дѣлаетъ дѣло ему близкое, надобность котораго ему совершенно понятна; онъ живетъ въ своемъ трудѣ, а не добываетъ только при помощи его средства къ жизни; онъ связанъ съ этимъ трудомъ всемъ существомъ своимъ. Всей этой полноты и гармоніи существованія Иванъ Босыхъ не могъ, конечно, найти на желѣзной дорогѣ, гдѣ онъ былъ лишь однимъ изъ колесъ огромнаго механизма, до цѣлей и смысла котораго ему не было никакого дѣла. Вслѣдствіе этого и его собственная жизнь потеряла всякій смыслъ, онъ сталъ пьянствовать, безобразничать, и и все отъ «легкой жизни»...

Совокупность подобнаго рода драмъ отъ легкой жизни и приводитъ къ легендѣ объ антихристѣ и къ общему тезису, что въ мужицкомъ быту облегченіе существованія ведетъ къ гибели. Тезисъ, повидимому, глубоко пессимистическій. Но, поставленный въ надлежащія рамки, онъ не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего пессимистическаго. Онъ только ставитъ передъ нами новый вопросъ: какъ сохранить гармонию мужицкаго существованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ поднять зоологическую, лѣсную правду до степени правды человѣческой и тѣмъ самымъ создать равновѣсіе устойчивое? Для этого очевидно надо отнюдь не «капельки» и «песчинки» вынимать изъ лѣсной правды, а сразу поднять ее на высшую ступень, сохраняя ея гармоническій строй. Въ старину это дѣлали святые угодники. Не отрывая человѣка отъ земледѣльческаго труда, не нарушая его многостороннихъ связей съ землей, они, проповѣдуя истины христіанской нравственности, старались поднять зоологическую правду на степень божеской справедливости. Нынѣ эта высокая обязанность лежитъ на интеллигенціи, ибо и святые угодники были интеллигенціей своего времени. Мы должны ихъ взять за образецъ для своей дѣятельности. Они, не нарушая коренныхъ основъ земледѣльческаго быта, не боялись внести въ неприготовленную повидимому среду лучшее, высшее, до чего додумалось и страдалось человечество — христіанскую истину. Они не думали, что людямъ, которые «звѣринымъ обычаемъ живяху», надо «пережить весь смрадъ развалившагося міра, прежде чѣмъ вкусить христіанство» — они знали, что «звѣриному обычаю не зачѣмъ переживать всевозможныя благообразныя измѣненія этого обычая, разъ ужъ есть нѣчто лучшее, высшее всего этого звѣринокаго благообразія. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человѣческое сердце, взяли христіанство, и при-

томъ въ самомъ строгомъ, неподслащенномъ видѣ». Такъ и мы должны поступить. Коренныя основы земледѣльческаго быта, гармонія земледѣльческаго труда должна быть для насъ неприкосновенною; но мы должны внести въ нее свѣтъ разума, свѣтъ истины, лучшей, высшей, несомнѣннѣйшей, какову мы знаемъ или можемъ знать. Но бѣда въ томъ, что, независимо отъ недостаточности нашего сходства со святыми угодниками въ смыслѣ самоотверженія и преданности идеѣ, мы еще «роемся въ какомъ-то старомъ національномъ и европейскомъ хламѣ, въ европейскихъ и национальныхъ мусорныхъ ямахъ».

Для поясненія этихъ послѣднихъ словъ читатель найдетъ во многихъ мѣстахъ сочиненій Успенскаго иллюстрированныя размышленія о европейской и русской жизни и параллели между ними. Успенскій одинаково чуждъ и національнаго мистицизма и самохвальства съ одной стороны и преклоненія предъ Европой — съ другой. Это тоже одинъ изъ пунктовъ, передъ которыми съ разными вывертами недоумѣнно останавливаются узколобые доктринеры и кликушники. Успенскій, вѣрнѣе съ многими благомыслящими и любящими свою родину людьми, вѣритъ, что въ нашей жизни есть задатки великаго историческаго будущаго и великаго счастья. Но это только задатки, представляющіе случай неустойчиваго равновѣсія и потому требующіе оплодотворенія сознательной идеей. Предоставленные на волю стихійныхъ историческихъ силъ въ качествѣ «национальныхъ особенностей», они слѣдятъ сами себя и разовьются именно въ тѣ европейскіе порядки, которые такъ презрѣны и ненавистны мистикамъ націонализма. Это уже и дѣлается теперь, и чѣмъ дальше, тѣмъ быстрее. Европейскіе-же порядки, полныя всякаго блеска и красоты, но и глубочайшихъ страданій должны быть для насъ, въ смыслѣ руководящихъ началъ, только готовымъ, даровымъ резервуаромъ историческаго опыта. Мы имѣемъ полную возможность черпать изъ этого резервуара безъ всякаго пристрастія въ какую-бы то ни было сторону, то-есть безъ негѣсныхъ восторговъ передъ всѣмъ европейскимъ и безъ столь-же негѣснаго презрѣнія ко всему европейскому. Намъ не зачѣмъ продѣлывать весь скорбный и трудный опытъ европейской исторіи, разъ ужъ онъ тамъ продѣланъ и разъ сама европейская мысль, признавъ ошибки прошлаго, додумалась до чего-то лучшаго и высшаго, чѣмъ наличные европейскіе порядки. Но эту выстрадавшую Европой мысль мы должны чтить и именно ею оплодотворить тѣ стихійныя задатки величія и счастья, какіе у насъ имѣются.

«Смотри въ оба» — такъ можно-бы было сформулировать эту точку зрѣнія, одинаково свободно относящуюся къ европейскимъ и русскимъ порядкамъ. Смотри въ оба стороны, ибо и тамъ и тутъ есть нѣчто цѣнное, и смотри въ оба, ибо въ огромной сложности общественной жизни легко затерять это цѣнное, что должно быть дорожкой зеницы ока...

IV.

Я стараюсь слѣдить за разбросанною по сочиненіямъ Успенскаго мыслью независимо отъ разныхъ случайныхъ ея уклоновъ. Уклоненія эти опредѣляются свойствами впечатлѣній, получаемыхъ авторомъ. Надо помнить, что онъ своими боками отдувается за каждый свой идейный шагъ. Непосредственныя впечатлѣнія, то радостныя, то мрачныя, носятъ его по волнамъ житейскаго моря. При его склонности торопливо, тутъ-же на мѣстѣ, теоретизировать эти впечатлѣнія, и именно въ направленіи ихъ гармоничности или негармоничности, конечно возможны разные ошибки: онъ иногда радуется тому, что оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи фикціей или иллюзіей, и приходитъ въ отчаяніе отъ того, что вовсе уже не такъ страшно. Но въ общемъ мысль его всегда удивительно вѣрно направлена къ добру и правдѣ. Никогда не впадаетъ онъ, напримѣръ, въ тѣ заблужденія принципіальнаго характера, которыя свойственны многимъ и многимъ, бездарнымъ и даровитымъ, крылатымъ и безкрылымъ писателямъ, удѣляющимъ свое вниманіе народу. Еще недавно у насъ много писалось о народѣ. До такой степени много, что стали даже раздаваться негодующіе голоса, что, дескать, «отъ мужика въ литературѣ проходу нѣтъ». Оцѣнку этого негодованія Успенскій посвятилъ очеркъ «Наконецъ нашимъ виноватаго», очоно злой и раздраженный. Съ его точки зрѣнія, народу удѣлялось не слишкомъ много, а напротивъ, слишкомъ мало вниманія. Если зарожденіе и распространеніе «новой мысли» связано съ освобожденіемъ крестьянъ, то понятно, что эта новая мысль повелительно требуетъ нарочитаго вниманія къ судьбамъ народа. Если многомилліонная масса русскаго народа несетъ въ себѣ великія задатки чистой совѣсти и духовной гармоніи, то понятно, какой огромный интересъ для всякаго мыслящаго человѣка лежитъ въ этомъ пунктѣ. Но исходя изъ этихъ или подобныхъ упованій, иные спѣшили сдѣлать изъ народа — изъ конкретнаго народа, каковъ онъ есть сію минуту во всѣхъ историческихъ осложненіяхъ представляемой имъ идеи — какого

то идола, и стучали лбомъ передъ этимъ идоломъ. Для умовъ лѣнливыхъ и узкихъ это, конечно, легче, чѣмъ критически разбираться въ сложныхъ явленіяхъ жизни. Отъ такого подолжничества Успенскій былъ гарантированъ, помимо всего прочаго, уже самою жизненностью своей работы: слишкомъ тяжелы и болѣзненны были многія вынесенныя имъ изъ деревни впечатлѣнія, и слишкомъ смѣлъ и правдивъ былъ онъ самъ, чтобы сотворить себѣ кумира. Давая злую отвѣдь тѣмъ, кто жаловался, что въ литературѣ отъ мужика проходу не стало, онъ искалъ и находилъ въ народѣ и драгоценное зерно, и негодную шелуху. Этого мало. Само по себѣ идолопоклонство просто глупо, но у насъ оно одно время вступило въ союзъ съ элементами, прямо нравственно безобразными.

Между прочимъ, подъ покровомъ толковъ о народѣ, происходила самая гнусная, самая возмутительная травля на интеллигенцію, а вмѣстѣ съ нею и на просвѣщеніе вообще. Точно стая собакъ накинулась на этого лежачаго, и были тутъ представители, кажется, всѣхъ возможныхъ породъ, такъ что странно даже было ихъ видѣть соединенными въ одну стаю. Дѣло шло не объ наличномъ составѣ нашей интеллигенціи, не объ уличеніи ея въ такихъ-то и такихъ-то недостаткахъ и слабостяхъ, каковое уличеніе естественно предполагало-бы призывъ къ иной, лучшей дѣятельности. Нѣтъ, предполагалось просто упраздненіе интеллигенціи, якобы для того, чтобы очистить мѣсто мужику, земледѣльцу. Это не мѣшало, конечно, господамъ упразднителямъ продолжать издавать газеты, писать статьи и книги, вообще дѣлать то самое дѣло, упраздненіе котораго оказывалось столь необходимымъ, и это придавало нѣсколько комическій характеръ позорной травлѣ. Какъ разъ около этого времени Успенскій, при всемъ своемъ умеченіи идеалами земледѣльческаго труда, отводилъ, какъ мы видѣли, интеллигенцію высокую миссію, такую высокую, что выше, пожалуй, что и не выдумаешь.

Значитъ, не въ одномъ земледѣльческомъ трудѣ спасеніе. Есть и еще какіе-то виды дѣятельности, нужные, полезные, цѣнные и, быть можетъ, столь-же способные установить или возстановить душевное равновѣсіе.

Въ одномъ провинціальномъ изданіи извѣстный путешественникъ Потанинъ сообщилъ, что въ нѣкоторыхъ деревняхъ Вятской губерніи принято за правило въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ не родилось мальчиковъ, а одны дѣвочки, нѣкоторыхъ изъ этихъ дѣвочекъ прямо посвящать съ ранняго дѣтства мужскому труду, причемъ даже имена такимъ женщинамъ-мужчинамъ даются муж-

скія: Елизавета превращается въ Елисейку. Это свѣдѣніе привлекло къ себѣ вниманіе Успенскаго. «Елисейки — это удивительно красивыя существа», говоритъ онъ (въ «Мечтаніяхъ»). «Елисейка—ни мужчина, ни женщина и въ тоже время женщина и мужчина вмѣстѣ, въ одномъ лицѣ—это зерно чего-то вполне совершеннаго». Совершенство, точнѣе зерно совершенства состоитъ въ томъ, что въ Елисейкахъ нѣтъ или предположительно не должно быть утрированнаго развитія «женственности» и «мужественности», какое мы видимъ обыкновенно вокругъ себя, а специально женскія и специально мужскія черты гармонически сливаются въ нихъ въ одно цѣлое, уравновѣшивая другъ друга. Принимая въ соображеніе нѣкоторые общіе взгляды Успенскаго, можно-бы было думать, что эта гармонія мужскихъ и женскихъ качествъ окажется исключительно принадлежностью крестьянскаго, земледѣльческаго быта. Однако это не такъ.

Въ «Разговорахъ съ пріятелями» идетъ, между прочимъ, рѣчь объ одной картинѣ. На ней изображена дѣвушка въ очень простомъ платьѣ, въ пледѣ, въ мужской шапочкѣ, съ подстриженными волосами; она идетъ по улицѣ; только и всего. Но, по словамъ рассказчика, въ ней необыкновенно привлекательны «чисто женскія, дѣвичьи черты лица, проникнутыя на картинѣ, если можно такъ выразиться, присутствіемъ юношеской, свѣтлой мысли... Главное, что особенно свѣтло ложится на душу, это то, что прибавившаяся къ обыкновенному женскому типу—не знаю какъ сказать—мужская черта, черта свѣтлой мысли вообще (результатъ всей этой бѣготни съ книжками и т. д.) не приклеенная, а органическая... Это-то изящнѣйшее, не выдуманное, и притомъ реальнѣйшее слитіе дѣвичьихъ и юношескихъ чертъ въ одномъ лицѣ, въ одной фигурѣ, освѣщенной не женской и не мужской, а «человѣческой» мыслью, сразу освѣщало, осмысливало и шапочку, и пледъ, и книжку, и превращало въ новый, народившійся, необычайный и свѣтлый типъ».

Въ очеркѣ «Выпрямил!» читатель найдеть восторженные страницы, посвященные статуѣ Венеры Милосской. Въ свое время многіе были удивлены этими восторгамъ. И въ самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ, они, казалось-бы, совсѣмъ не идутъ къ Успенскому, такъ аскетически холодно относящемуся къ «искусству», къ художественности, ко всякой красотѣ. Успенскій, столь сердито при случаѣ настаивающій на водвореніи мужика въ литературѣ, обыкновеннѣйшаго сѣраго мужика, и вдругъ—Венера Милосская! Однако Успенскій остается и здѣсь все тѣмъ-же Успенскимъ и ни на

единный волосъ не измѣняетъ своему всегдашнему задумчивому. Прежде всего онъ замѣчаетъ у Венеры Милосской «право, сказать совѣстно, почти мужицкіе завитки волосъ по угламъ лба». Въ отличіе отъ всѣхъ другихъ Венеръ, тутъ-же, въ Луврѣ и въ другихъ мѣстахъ стоящихъ, Венера Милосская совѣмъ не есть олицетвореніе «женской прелести». Напротивъ, художникъ для созданія этой «каменной загадки» «бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской, и въ женской красотѣ, не думая о полѣ, а пожалуй и о возрастѣ». Венера Милосская есть «человѣкъ», идеаль человѣка въ смыслѣ гармоническаго сочетанія отдѣльныхъ человѣческихъ чертъ, разбросанныхъ нынѣ какъ попало и куда попало. Художникъ хотѣлъ познакомить человѣка «съ ощущеніемъ счастья быть *человекомъ*, показать всѣмъ намъ и обрадовать насъ видимой для всѣхъ возможностью быть прекрасными». Достоинство вниманія, что въ памяти Тяпушкина («Выпрямила!» есть «отрывокъ изъ записокъ Тяпушкина») образъ Венеры Милосской видѣнной имъ за двѣнадцать лѣтъ предъ тѣмъ, возникъ не сразу.

Ему предшествовали два какъ-бы подготовительныя воспоминанія. Во-первыхъ, вспомнилась ему деревенская баба, которую онъ когда-то видѣлъ во время сѣнокоса. Баба была самая обыкновенная. Но—

вся она, вся ея фигура съ подобранной юбкой, голыми ногами, краснымъ повойникомъ на маковѣ, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налево, была такъ легка, изящна, такъ жила, *а не работала*, жила въ полной гармоніи съ природой, съ солнцемъ, вѣтромъ, съ этимъ сѣномъ, со всѣмъ ландшафтомъ, съ которыми были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думаю), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думать и чувствовать только одно: «какъ хорошо!»

Затѣмъ вспомнилась Тяпушкину другая фигура—фигура дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа.

«Глубокая печаль, печаль *о не осознанъ юри*, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движеніи, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственною ея печалью, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее *одну*, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, въ ея мысль, даже въ сонъ ея чему-нибудь такому, что могло бы «не подойти», нарушить гармонію самопожертвованія, которую она олицетворяла—что, при одномъ взглядѣ на нее, всякое «страданіе» теряло свои пугающія стороны, дѣлалось простымъ, легкимъ, успокоивающимъ и вмѣсто словъ «какъ страшно!» ставило сказать: «какъ хорошо! какъ славно!»

Мнѣ кажется, что одно это сопоставленіе Елисейки, дѣвушки въ пледѣ, Венеры Милосской, бабы на сѣнокосѣ, дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа, сопоставле-

ніе, на половину самимъ Успенскимъ сдѣланное, свидѣтельствуетъ, что его восторги передъ Венерой Милосской не представляютъ чего-нибудь побочнаго или случайнаго. Художникъ огромнаго дарованія, съ огромными задатками исполнѣ гармоническаго творчества, но разорванный частью внѣшними условіями, частью собственной впечатлительностью страстнымъ внимательствомъ въ дѣла сегодняшняго дня, — онъ жадно ищетъ глазами чего-нибудь неразорваннаго, не истощеннаго болѣзненными противорѣчіями, чего-нибудь гармоническаго. И вотъ послѣ долгой муки исканія—вдохъ облегченія: «ахъ славно! ахъ хорошо!» Страданія, на которыя идетъ дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа; каторжный трудъ, на который осуждена Елисейка или баба на сѣнокосѣ; лишенія и оскорбленія, которыми можетъ подвергаться дѣвушка въ пледѣ—все это ничего, все это даже хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, цѣликомъ. «Ахъ, хорошо! ахъ, славно!...» Но безъ страданій, безъ лишеній и такого труда, чтобъ было «дохнуть некогда», это высокое душевное равновѣсіе возможно только въ далекомъ будущемъ или въ качествѣ слабо мерцающаго идеала, намека на который даетъ «каменная загадка» Венеры Милосской. Измученный художникъ съ благодарностью склоняется къ подножію «каменной загадки» съ «почти мужицкими завитками волосъ въ углахъ лба»... Навѣрное никто, кромѣ Успенскаго, *такъ* не восторгался Венерой Милосской...

Но хотя у Венеры Милосской и мужицкіе завитки волосъ, а ясно всетаки, что душевное равновѣсіе, гармонія жизни достигается не однимъ земледѣльческимъ трудомъ. Мы уже имѣли этому примѣры въ дѣятельности святыхъ угодниковъ, въ роли, отводимой интеллигенціи; видимъ теперь въ дѣвушкѣ съ пледомъ и въ дѣвушкѣ строгаго, почти монашескаго типа. Во всѣхъ этихъ свѣтлыхъ образахъ есть какая-то аскетическая, если не прямо страдальческая черта, соотвѣтствующая тому труду «дохнуть некогда», который сдерживаетъ равновѣсіе въ мужицкой жизни. Успенскій съ особенною любовью останавливается на тѣхъ подвигахъ святыхъ угодниковъ, которые сопряжены съ лишеніями, униженіями, оскорбленіями; свѣтлый образъ дѣвушки монашескаго типа тоже подернутъ «страданіемъ». Венера Милосская, та не страдаетъ, но это потому, что она — не живая, а каменная, она—провозвѣстникъ и символъ будущаго, а въ настоящемъ такой нѣтъ. Въ настоящемъ терніи, такъ или иначе, непремѣнно обвиваютъ гармоническія явленія. Правда, какъ трудъ мужика есть не только трудъ, а

и веселье («потруднѣй—повеселѣй»), такъ и страданія дѣвушки монашескаго типа не заключаютъ въ себѣ ничего «пугающаго» и не «страшно» глядѣть на нее, а «хорошо». Но всетаки это—страданіе...

За послѣднее время Успенскому случается, однако, иногда до такой степени воспринять духомъ, что практическое рѣшеніе «каменной загадки», то-есть достиженіе полной гармоніи жизни безъ единой черты хотя-бы и не пугающаго страданія, представляется ему совсѣмъ не за горами, а гдѣ-то очень близко. Замѣчательно, что эти уже чисто на чисто радостныя мысли вызываются въ немъ не его собственными непосредственными житейскими впечатлѣніями, а книгами. Такъ, съ почти дѣтскою радостью встрѣтилъ онъ брошюру г. Энгельмейера «Экономическое значеніе современной техники», обещающую экономическую гармонію, какъ результатъ дальнѣйшаго развитія техники. Такъ, съ томъ-же радостью привѣтствовалъ онъ книгу г. Тимошенкова «Борьба съ земельнымъ хищничествомъ». На статьѣ его, вызванной книгой г. Тимошенкова, намъ надо остановиться. Въ ней очень много страннаго, объ чемъ я здѣсь говорить не буду, но много и цѣннаго, и во всякомъ случаѣ очень для Успенскаго характернаго. Характерно уже самое заглавіе статьи: «Трудовая жизнь и труженичество». Этими двумя терминами обозначаются тѣ два вида труда, изъ которыхъ одинъ животворитъ, а другой губитъ, одинъ искореняетъ житейскія драмы, другой—нарождаетъ. Въ фантастическомъ повѣствованіи г. Тимошенкова Успенскаго прельстило то, что нѣкоторое крестьянское семейство достигло высшей степени матеріальнаго благосостоянія, буквально миллионныхъ богатствъ, но при этомъ—удержалось на той-же крестьянской трудовой почвѣ и стало сѣять кругомъ себя добро вмѣсто того, чтобы повторить обыкновенную исторію «мужика съ деньгами», то-есть кулака. Какъ удалось крестьянскому семейству невинность соблазна и капиталъ пріобрѣсти, это другой вопросъ, котораго мы касаться не будемъ. Но, во всякомъ случаѣ, на миллионныхъ богатствахъ этого семейства, съ точки зрѣнія Успенскаго, нѣтъ печати антихриста въ смыслѣ вышеприведенной легенды: не зло, а добро произошло изъ полного матеріальнаго благосостоянія. Понятна страстность, съ которою Успенскій ухватился за этотъ случай, разъ онъ въ него повѣрить... Но для насъ въ этой статьѣ особенно важно отграниченіе «трудовой жизни» и «труженичества». Это отграниченіе вполне примыкаетъ къ прежнимъ работамъ Успенскаго. Но на этотъ разъ, когда въ его умѣ мелькнула мысль о воз-

можности матеріальнаго благосостоянія безъ антихристовой печати, онъ рѣшительно вычеркиваетъ изъ своей программы всякую аскетическую струю. Если онъ и прежде нѣсколько подрывалъ эту струю размышленіями объ томъ, что «потруднѣй—повеселѣй», то теперь онъ уже вотъ какъ рѣшительно выражается: «Въ трудовой жизни важнѣе и нужнѣе вовсе не гнѣтъ труда, не тяжесть его, не лишенія, съ нимъ сопряженныя, ни даже «смирненіе», которое у насъ также еще непонятно зачѣмъ пристегиваютъ къ понятію о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная разнообразнѣйшихъ впечатлѣній, жизнь, дающая работу для всей широты требованій духовной и физической природы человѣка. Только поэтому и важна трудовая, народная, земледѣльческая жизнь и основанный на ней строй народной общественной трудовой жизни, а вовсе не сѣрыя щи, не доски вмѣсто постели, не смиреніе и униженіе и вовсе не то только, что выражается словами: самъ своими руками». Швея, фигурирующая въ «Пѣснѣ о рубашкѣ» Томаса Гуда, работаетъ столько же, какъ и пахарь, фигурирующий въ пѣсняхъ Кольцова, имъ обоимъ «дохнуть некогда», но около первой сгустились облака горя, страданія, скорби, а около второго—сколько свѣта, тепла, радости. Онъ живетъ «трудовой жизнью», она—«труженица». И этого не надо, то-есть труженичества-то, не надо страданій, лишеній, скорби, тяготы. Нужна, возможна и уже существуетъ жизнь «во вся», широкая жизнь, полная наслажденій, хотя и полная труда. Это—жизнь земледѣльца, «народный бытъ», которому противопоставляется «культурный бытъ», гдѣ нѣтъ настоящей трудовой жизни, а есть только «труженичество»...

А дѣвушка въ пледѣ? а дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа? Развѣ онѣ земледѣльцамъ занимаются? А между тѣмъ онѣ не «труженицы» въ непріятномъ смыслѣ этого слова, потому что, глядя на нихъ, человѣкъ говоритъ: «ахъ хорошо! ахъ славно!» Съ другой стороны, хотя земледѣльческій бытъ несомнѣнно представляетъ извѣстныя гарантіи для гармоническаго сочетанія «разнообразнѣйшихъ впечатлѣній» и полноты жизни, но развѣ ужъ такъ рѣзко отличается по существу иной батракъ-земледѣлецъ отъ швеи Томаса Гуда? Кольцовская формула «слуга и хозяинъ», какъ всякому хорошо извѣстно, не есть непремѣнная принадлежность земледѣльческаго быта, ибо и тамъ возможенъ «пахарь-слуга», нанятый за деньги, совершенно такъ же, какъ нанята швея, кормилица, ходатай по дѣламъ и т. д.

Все они живутъ своимъ трудомъ, но всѣ дѣлаютъ чужое, лично имъ не нужное дѣло,

въ которое они поэтому не могут вложить душу свою, не могут связать съ нимъ свое духовное существование въ одно гармоническое цѣлое, такъ чтобы ничему «неподходящему» просто мѣста не было. Ясно, что спасеніе не въ земледѣліи, что, впрочемъ, самъ Успенскій очень хорошо знаетъ, какъ видно изъ предыдущаго изложенія. Пусть мужикъ остается на землѣ, и великое преступленіе совершаютъ тѣ, кто такъ или иначе, прямо или косвенно, гонятъ его съ земли. Пусть садятся на землю и тѣ «культурные» люди, которые чувствуютъ себя для этого призванными и способными. Пусть садятся настояще, вполнѣ, или съ тою осторожностью, съ какою присѣлъ на землю графъ Л. Толстой (говоря «съ осторожностью», потому что хотя графъ и пашетъ собственноручно, но неурожай, градобитіе, скотскій падежъ, военная повинность, подати и прочіе источники раззоренія настоящаго земледѣльца — не подорвутъ благосостоянія и счастья его и его семьи и не внесутъ въ ихъ жизнь никакой драмы). Пусть въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ приливъ культурныхъ людей на землю достигнетъ огромныхъ размѣровъ. Но, по крайней мѣрѣ сейчасъ, первая стадія упорядоченія, уравновѣшенія, гармонизаціи жизни культурныхъ людей должна не въ этомъ состоять.

Въ «Запискахъ маленькаго человѣка» авторъ, приведа нѣсколько разговоровъ, случайно услышанныхъ имъ на пароходѣ, тоскливо замѣчаетъ: «Все это надобно мнѣ до такой степени, что я Богъ знаетъ что-бы далъ въ эту минуту, если бы мнѣ пришлось увидѣть что-нибудь настоящее, безъ подкраски и безъ фиглярства какого-нибудь стариннаго становаго, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоръ отъ червей, словомъ какое-нибудь подлинное невѣжество — лишь бы оно считало себя справедливымъ».

Какъ видите, это все тотъ же вздохъ по гармоніи, по равновѣсію: пусть глазу предстанетъ что-нибудь гнусное и возмутительное, но пусть оно, по крайней мѣрѣ, само себя считаетъ справедливымъ, такъ чтобы не было разлада между мыслью и дѣломъ, между понятіями и поступками. Если бы однако такое равновѣсіе гнусности дѣйствительно предстало, то Успенскій, конечно, на немъ не успокоился бы, во-первыхъ потому, что это — гнусность, а во-вторыхъ потому, что это равновѣсіе неустойчивое: рано или поздно, но «болѣзнь мысли», «болѣзнь сердца», «болѣзнь совѣсти» подточить его. По крайней мѣрѣ въ этомъ увѣренъ Успен-

скій. И затѣмъ должна наступить драма. Въ очеркѣ «Дохнуть некогда» собрана цѣлая коллекція драмъ изъ культурнаго быта, по обыкновенію сложныхъ изъ комическихкихъ подробностей, и я не хочу переналожениемъ или даже только перечисленіемъ ихъ ослабить въ читателѣ горькое наслажденіе прямого знакомства съ этими страницами. Подчеркну только конецъ — пьяной рѣчи слѣдователя, который то напыляется себя «подлецомъ», то утверждаетъ, что въ немъ «Богъ есть» и что не затѣмъ онъ учился въ университетѣ, чтобы дѣлать бессмысленное и жестокое дѣло. «Позоръ, стыдъ, орамъ!» восклицаетъ онъ и въ пьяномъ азартѣ требуетъ себѣ «лаптей», вѣроятно какъ искупленія и залогомъ новой жизни. Если подвести итогъ всѣмъ глубочайшимъ драмамъ, собраннымъ въ этомъ очеркѣ, то окажется, что всѣ онѣ коренятся въ одождивающемъ героевъ сознаніи, что они дѣлаютъ ненужное, бессмысленное дѣло. Они неоспоримо живутъ собственнымъ и крайне тяжелымъ трудомъ, имъ дѣйствительно «дохнуть некогда». Но въ то время, какъ для Михайлы и его жены (въ «Перестала!») эта формула является спасительною, здѣсь, напротивъ, около нея-то и густится и кристаллизуется драма. Это естественно: тамъ душа вложена въ трудъ, здѣсь она находится гдѣ-то совсѣмъ въ сторонѣ и оттуда, со стороны-то, праздная плетъ явительные укоры за свою праздность. Если-бы это были люди не трудомъ живущіе, а какими-нибудь доходами съ капитала или рентой, они могли бы можетъ быть просто купить пропитаніе для души, въ видѣ разнаго рода развлеченій. Но наши герои — «труженики», имъ «дохнуть некогда», они всю свою жизнь не живутъ, а только добываютъ средства къ жизни. Это — тѣ же швецъ Томаса Гуда, которымъ сказано: шей, шей, шей! Спрашивается, какъ быть этимъ подлинно несчастнымъ людямъ, въ драматическомъ положеніи которыхъ возможны и комическія, и прямо непривлекательныя черты, но несчастье которыхъ подлинно и несомнѣнно? Предложить имъ всѣмъ сейчасъ-же обуться въ лапти и пахать было бы и празднословіемъ, и издѣвательствомъ. Читатъ имъ наставленія о священныхъ обязанностяхъ, о трудѣ и т. п. — по малой мѣрѣ бесполезно. Справедливо говоритъ Успенскій, что «въ этомъ труженническомъ кругу, въ его мученіяхъ, въ его лишеніяхъ, мукахъ, болѣзняхъ, психическихъ страданіяхъ, преступленіяхъ, и заключается современная драма жизни, которую не разрѣшить правоученіями. Они бьются, какъ рыба объ ледъ, они не виноваты. А изъ этой ихъ невиновности слѣдуютъ два весьма важныя заклю-

ченія. Во-первыхъ, не къ нимъ съ укоромъ или наставленіемъ надо обращаться, а къ строю жизни, который пристегиваетъ людей къ ненавистному, ненужному, чужому имъ дѣлу, и не даетъ пропитанія ихъ душѣ, разбуженной «новой мыслію». А во-вторыхъ, странно, что эти несчастные «труженики» такъ упорно заболѣваютъ всетаки почти исключительно совѣстью и почти никогда — честью, въ смыслѣ той противоположности между работой совѣсти и чести, объ которой говорено выше. Все они передъ кѣмъ-то виноваты, а передъ ними будто-бы и никто не виноватъ. Но передъ кѣмъ-же виновата швея Томаса Гуда?

Иванъ Босыхъ во «Власти земли» рассказываетъ, какъ онъ на желѣзной дорогѣ «отъ легкой жизни» дошелъ до «своевольства» и всякой другой пакости. Наконецъ дошло дѣло до начальства, «да какъ прѣхалъ начальникъ дистанціи, да ка-а-къ далъ мнѣ (лицо рассказчика вдругъ проояло) хо-о-орошаго леща, да какъ начальникъ эксплуатаціи надавалъ мнѣ (дѣтская радость разлилась по лицу его) въ загривокъ, да какъ въ подвижномъ составѣ наколотили мнѣ бока — такъ я, братецъ ты мой, совершилъ крестное знаменіе, да точно какъ изъ могилы выскочилъ, воскресъ, да по морозу, въ чемъ былъ, безъ шапки — домой!» — Иванъ Босыхъ чувствуетъ себя виноватымъ, его грызетъ совѣсть, а больная совѣсть такъ или иначе всегда съ радостью встрѣчаетъ униженія и оскорбленія, и, въ случаѣ отсутствія таковыхъ, сама налагаетъ разные эпитеты.

Мы уже видѣли этому примѣры на нѣкоторыхъ герояхъ Успенскаго. Но видѣ случаются и не прощенные, незаслуженныя оскорбленія, униженія, лишенія. Ихъ слишкомъ много на Руси, и можетъ быть было

бы справедливо взглянуть на драматическое положеніе Апелсинскаго и иныхъ именно съ этой стороны. Успенскій этого не сдѣлалъ. Можетъ быть, онъ когда-нибудь возьмется за эту работу, если ему покажется, что «больная честь» достаточно распространилась, чтобы производить такіе же глубокие и многосложные эффекты, какіе, по его мнѣнію, производитъ «больная совѣсть». Эта новая для него задача вполне подходитъ къ его общимъ стремленіямъ и къ обычнымъ его художественнымъ приемамъ. Возмущенная честь жаждетъ гармоніи, равновѣсія, какъ и заболѣвшая совѣсть, и, какъ и она, допускаетъ свойственные Успенскому блестящіе комбинаціи трагическаго и комическаго. Поэтому, если Успенскій возьмется когда-нибудь за эту работу, то сдѣлаетъ ее, конечно, съ тою же трепетною задушевностію и съ тѣмъ же пристальнымъ упорствомъ, съ какими онъ рассказывалъ намъ про больную совѣсть...

Я очень знаю, что прочитанная вами характеристика Успенскаго далека отъ совершенства и даже просто полноты. Но въ многочисленныхъ и многосложныхъ вопросахъ, затрогиваемыхъ этимъ писателемъ, при необыкновенной разорванности и разбросанности его писаній, ориентироваться не легко. И недоумокъ, и возвращеній къ сказанному уже — избѣжать было трудно. Я надѣюсь, однако, что главные черты писателя указаны и что по крайней мѣрѣ кое-кому изъ читателей я помогъ разобратъ въ той массѣ сложныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, которыя возбуждены въ нихъ Успенскимъ и за которыя онъ имъ милъ и дорогъ. Я только этого и хотѣлъ.

ЩЕДРИНЪ *).

Ъ

Отношеніе къ литературѣ.

Почти ребенкомъ Салтыковъ писалъ стихи; двадцати двухъ лѣтъ онъ напечаталъ свою первую повѣсть «Запутанное дѣло», за которую поплатился нѣсколькими годами невольной службы въ Вяткѣ. Затѣмъ вѣдъ писательской дѣятельности онъ жилъ подобно

большинству образованныхъ русскихъ людей, то-есть опять-таки служилъ, писалъ или подписывалъ отношенія и предписанія, подвигался вверхъ по лѣстницѣ табели о рангахъ, хозяйничалъ въ деревнѣ, бывалъ, конечно, въ обществѣ, бесѣдовалъ съ дамами, игралъ въ карты и т. д. Но во всѣхъ этихъ очень обыкновенныхъ житейскихъ положеніяхъ его какъ-то трудно себя представить. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, знавшему Салтыкова въ послѣднія двадцать лѣтъ его жизни, онъ

* 1889 г.

представляется, въ литературы и литературныхъ отношеній, чѣмъ-то въ родѣ рыбы, вытащенной изъ воды: безпомощно и неутило бьется рыба на берегу, и все ея существо проникнуто одной инстинктивной тоской тяготѣнія къ родной стихіи, безъ которой ей не жить. Такою родною стихіей была для Салтыкова литература. Тяготѣлъ онъ къ ней всѣмъ существомъ своимъ, почти стихійно, какъ бы изъ чувства самосохраненія. Именно, такъ мучительно бьется и тоскуетъ рыба, вытащенная изъ воды: нельзя ей остаться на берегу, — уснуть. Перелетныя птицы тоже такъ тянутъ осенью въ теплые края: нельзя имъ остаться на нашемъ сѣверѣ, — замерзнуть. Лично для Салтыкова самая жизнь, наконецъ, со всѣми ея красками и звуками, получила интересъ только въ качествѣ возможности литературной работы и въ качествѣ матеріала, подлежащаго литературной обработкѣ. Онъ и самъ сознавалъ непреоборимо стихійный характеръ своей любви къ литературѣ. Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» онъ писалъ:

«Этотъ уголокъ (литература) мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и она въ свою очередь дала мнѣ гораздо больше того, что а достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутого, по волѣ судьбы, міра былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность — моей незащищенностью; его замученность — моей замученностью; наконецъ, его кратковременныя и рѣдкія ликования — моими ликованиями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью возлюбленнаго дѣла такъ сильно и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глаза даже широкую, не знающую береговъ жизнь».

Въ «Приключеніи съ Крамольниковымъ», этой «сказкѣ-аллегоріи», изображающей нравственное состояніе самого Салтыкова послѣ закрытія *Отечественныхъ Записокъ*, герой печальнаго приключенія характеризуется такъ:

«Крамольниковъ былъ коренной помехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ... Въ этой привязанности къ отвлеченной личности было что-то исключительное, до болѣзненности страстное. Цѣлые десятки лѣтъ она одна питала его и съ каждымъ годомъ дѣлалась все больше и больше настоятельно. Наконецъ, пришла старость, и всѣ блага жизни, кромѣ одного, вышшаго и существовавшіаго, окончательно сдѣлались для него безразличными и ненужными... Все разнообразіе жизни представляется фиктивнымъ; весь интересъ ея сосредоточивается въ одной свѣтящей точкѣ».

Такая специализація жизни, такое сведеніе всего ея пестраго шума къ одной, хотя бы и, дѣйствительно, свѣтящей точкѣ, грозили бы очень печальными слѣдствіями, еслибы дѣло шло о комъ-нибудь другомъ,

а не о Салтыковѣ. Какъ бы ни было велико значеніе литературы, но она есть только одна изъ функцій жизни, и если она заслоняетъ собою то цѣлое, которому призвана служить, то это противоестественно, — до такой степени противоестественно, что, въ концѣ-концовъ, даже просто невозможно. Знаменитыя формулы «наука для науки» и «искусство для искусства» были порожденіемъ этого стремленія заслониться отъ жизни цѣлѣю самодовлѣющихъ специальныхъ функцій. Формулы эти очень торжественно провозглашались, очень яростно защищались, но практически едва-ли когда-нибудь осуществлялись въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ. Гордо священнодѣйствуя у своихъ алтарей, служители чистаго искусства и чистой науки находятся во власти недоразумѣнія, которое отчасти даже забавно: они возсылаютъ свои фиміамы куда-то ужасно высоко, къ небесамъ, а вѣтромъ эти фиміамы отбиваетъ все-таки на землю, и вдыхаетъ ихъ всякій, кто можетъ оплатить продукты чистой науки и чистаго искусства и воспользоваться ими либо просто для развлеченія, либо для своихъ практическихъ цѣлей. А вѣдь цѣли эти не всегда возвышенны; руки у этихъ развлекающихся и пользующихся не всегда чисты: бываютъ въ грязи, бываютъ и въ крови... Такимъ образомъ, при всемъ величественномъ презрѣніи къ нашей бѣдной землѣ, къ нашимъ маленькимъ земнымъ дѣламъ, служители чистой мысли и чистаго воображенія все-таки не выбиваются изъ круга земныхъ дѣлъ и отношеній. Да иначе и быть не можетъ: «всякъ, земнородный» въ концѣ-концовъ непремѣнно на землѣ останется, къ какому бы ухищренію ни прибѣгалъ и какъ бы ни старался перепрыгнуть черезъ свою земнородную природу, — такой ужъ ему предѣлъ положенъ. Разница только въ томъ, что можно сознательно оставаться на землѣ, стараясь о доведеніи земныхъ дѣлъ до возможнаго для нихъ совершенства, а можно вырвать изъ жизни одинъ маленький клочокъ, одну «свѣтящую точку» и, сотворивъ себѣ изъ нея кумира, отмести остальное, какъ презрѣніи достойное, но въ то же время безсознательно послужить худшему изъ этого остальнаго.

Великое личное счастье Салтыкова и великое счастье русской литературы состояло въ томъ, что рядомъ со стихійнымъ, почти инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ литературѣ, какъ профессіи, въ немъ жило сознаніе огромнаго значенія литературы, а слѣдовательно и лежащей на ней отвѣтственности. Онъ часто говорилъ о счастьи, которое ему давала литературная дѣятельность, не смотря на тернія, попадавшіяся на его пути. Ли-

тература была для него та «она», которую поэты и поэтики неотступно преслѣдуютъ своими признаніями, хотя «она» не всегда дарить своихъ поклонниковъ лаской и улыбкой, а оказывается подчасъ и очень жестокой; но самыя муки, претерпѣваемыя отъ «нея», отъ милой сердцу и желанной, только еще болѣе затягиваютъ узы любви, только сдѣлываютъ и отгнѣняютъ общее чувство счастья. Маленькій писатель Пименъ, такими трогательными чертами изображенный въ рассказѣ «Похороны», говорилъ, что на его памятникъ (если таковой будетъ на его могилѣ поставленъ) надо надписать: «Литература освѣтила ему жизнь, но она же наполнила ядомъ его сердце». Великому писателю Щедрина памятникъ будетъ поставленъ, и на немъ можно бы было тоже слово, да иначе молвить: «Литература наполнила ядомъ его сердце, но она же освѣтила ему жизнь». Какія бы невзгоды ни постигали Салтыкова на жизненномъ и въ частности на литературномъ пути, онъ былъ все-таки счастливъ; счастливъ сознаниемъ того, что его излюбленное дѣло, мало того—дѣло, безъ котораго онъ жить не можетъ, какъ рыба безъ воды, есть вмѣстѣ съ тѣмъ великое, всеобъемлющее и, какъ онъ иногда говоритъ, «вѣчное» дѣло. Его «муза» лишь очень изрѣдка выбивалась изъ-подъ строжайшаго контроля сознания, подъ которымъ онъ ее постоянно держалъ. Онъ не довѣрялъ своему огромному таланту, мало того—даже не вѣрилъ въ него: Никогда не полагаясь на «вдохновеніе», онъ работалъ постоянно и упорно, иногда по нѣскольку разъ переписывая и передѣлывая свои рукописи, и въ разговорѣ я не разъ слышалъ отъ него, что онъ будто бы только упорнымъ трудомъ и беретъ. Въ *неотриц* своемъ онъ былъ, конечно, неправъ, это слишкомъ ясно, но его *недовѣріе* къ стихійной силѣ таланта имѣло для русской литературы чрезвычайно благотворныя слѣдствія. Именно потому, что его несравненный талантъ выходилъ далеко изъ ряда вонъ и имѣетъ мало соперниковъ во всемирной литературѣ, именно поэтому онъ могъ бы надѣлать большихъ бѣдъ, еслибы его не обуздывало сознание. Давно сказано, что быстрой ногѣ, попавъ на ложную дорогу, дальше убіжить по ней, чѣмъ тихоходъ; большая и быстрая рѣка натворить въ разливѣ больше несчастій, чѣмъ ничтожная и вялая рѣченка. Любопытно, что въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», а помнится и еще гдѣ-то, Щедринъ выводитъ на сцену какъ бы самого себя въ видѣ литератора и влагаетъ самымъ глупымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ (принимавшимъ его «дамочкамъ») такія обращенія къ нему: «вѣдь вы по смѣшной части!» или: «я намеренъ

что-то ваше читала! такъ хохотала! такъ хохотала!» Сатирика очевидно окорбляла мысль о томъ, что какая-нибудь глупая Марья Потапьевна или еще болѣе глупая Нонночка найдутъ въ его писаніяхъ веселое развлеченіе для себя. Это и теперь можетъ, конечно, случиться, и тутъ собственно нѣтъ ничего оскорбительнаго, хотя увеселять Марью Потапьевну и Нонночку не особенно лестно и пріятно. Но еслибы Салтыковъ вздумалъ служить искусству для искусства, и распустилъ свой искрометный заразительный юморъ по-вѣтру, не сдерживая его опредѣленной, сознательно выработанной программой, мы имѣли бы не Щедрина, какимъ теперь его знаемъ, не великаго будильника, а именно только блестящаго писателя «по смѣшной части». Его писаніями увеселялись бы тѣ, кому и безъ того живется весело, и увеселялись бы можетъ быть на счетъ и въ ущербъ тѣхъ, кому живется слишкомъ горько. Къ счастью, щедринская единственная «святая точка» не имѣла ничего общаго съ двусмысленнымъ искусствомъ для искусства. Это не былъ кумиръ, ревниво требующій исключительнаго поклоненія, это была дѣйствительно «святая точка», единственная въ томъ смыслѣ, что по обстоятельствамъ жизни сатирика въ ней и только въ ней сосредоточивались всѣ лучи жизни. Въ своей страстной привязанности къ литературѣ Салтыковъ дошелъ постепенно до того, что всѣ явленія жизни—крупныя и мелкія, трагическія и комическія, яркія и блѣдныя, возвышенныя и отвратительныя—оказались ничтожными въ сравненіи съ литературой и получили для него интересъ только въ своемъ литературномъ отраженіи. Это было бы уродство, если бы онъ въ то же время не требовалъ отъ литературы, чтобы она, въ свою очередь, отражала въ себѣ всѣ явленія жизни. При этомъ условіи его восторженные разсужденія о литературѣ являются только оригинальными комментаріями къ евангельскому тезису: «въ началѣ бѣ Слово».

Въ «Кругломъ годѣ» нѣсколько скучающихъ въ Ниццѣ русскихъ людей придумываютъ развлеченіе: составляютъ изъ себя «комиссію объискорененія» сначала «всего», а потомъ специально литературы, ибо при ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что «ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена литература». Когда одинъ изъ членовъ комиссіи предложилъ «одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень»—авторъ не выдержалъ и произнесъ защитительную

рѣчь, въ которой, между прочимъ, читаешь:

„Милостивые государи! Вамъ, конечно, не безвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подлѣчно за сіе отвѣтственность, присовокупляю: semper manent, in saecula saeculorum! Да, господа, литература не умретъ! Не умретъ во вѣки вѣковъ!.. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ,—одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята изъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Не смотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человечества, при которомъ можно бы было съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприскасается съ идеею о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ предположеніе о литературѣ“.

Въ томъ же «Кругломъ годѣ» племянникъ Оединька Неугодовъ сообщаетъ автору о своихъ служебныхъ успѣхахъ и между прочимъ о томъ, что онъ засѣдаетъ въ коммиссіи «о мѣрахъ, которыя надо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія». Авторъ освѣдомляется, не предстоитъ-ли въ томъ числѣ какія-нибудь мѣропріятія по адресу литературы. Оединька отвѣчаетъ: «Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать, на случай свѣтопреставленія, гимнъ». Въ дальнѣйшемъ разговоръ свѣдѣніе это даетъ автору поводъ для слѣдующаго замѣчанія: «Даже коммиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія—и та прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся чересчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть можетъ и самое свѣтопреставленіе будетъ отиѣнено». Но и независимо отъ этого отдаленнаго событія, авторъ всѣми возможными способами старается убѣдить суроваго Оединьку Неугодова, что гнать литературу не годится, что она даже ему, Оединькѣ, необходима. «Даже дамочки отвернутся отъ тебя—говорить онъ,—ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестиковать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не о лишениіи правъ состоянія, а о Дюма-фисѣ, о Бело, о Монтенѣ, т.-е. все-таки о литературѣ... Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь—все, все идетъ отсюда. Если бы не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человеческая можетъ оставить прочный

слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами...» И далѣе: «Я страстно и исклячительно предаю литературу; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, похвальнѣе, дороже образа, представляемаго литературой; я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами».

Не чересчуръ-ли ужъ это? Не безумно-ли слѣпа та любовь къ литературѣ, которая обнимаетъ даже «московскихъ кликушъ» и литературные сюжеты для разговора съ «дамочками» въ свободное отъ жестиковацій время? Есть вѣдь въ литературѣ своего рода волки и овцы, и нельзя же любить одновременно и овцу и волка,—тѣмъ-нибудь да надо пожертвовать. Есть литература, зовущая къ истинѣ, къ подвигу, къ идеалу, и есть литература пасквиля, доноса, лжи, скоромошества, надбавательства надъ честью и совѣстью. Салтыковъ на себѣ испыталъ всю низкую злобу, на которую способенъ эта поклѣпная. И не ему бы, кажется, какъ лично претерпѣвшему и какъ свидѣтелю многихъ чужихъ претерпѣній, простирать любящія объятія къ литературѣ вообще.

Дѣло объясняется очень просто. «Осложненія и уклоненія» въ родѣ «московскихъ кликушъ» и прочаго печальнаго или позорнаго отребья литературы «порой бываютъ мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся неизблѣнными». «Таково мое глубокое убѣжденіе,—прибавляетъ сатирикъ,—не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь, мнѣ было бы больно жить». Салтыковъ желаетъ, чтобы вся жизнь, во всѣхъ ея подробностяхъ, со всѣми ея мучительствами и мученіями, возвышенностями и низменностями, радостями и печалью, отражалась въ «свѣтящей точкѣ» литературы. Чтобы было все равно, какъ въ сказкѣ: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ мѣсяцъ и въ теремѣ мѣсяцъ. Пусть все, что пресмыкается и летаетъ, смѣется и плачетъ, торжествуетъ и терпитъ поражение въ жизни,—пусть все это отражается въ литературномъ зеркалѣ. «Литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ». Но никто, никакая посторонняя сила не должна сюда вмѣшиваться, бросая свой мечъ Бренна на ту или другую чашку вѣсовъ, оказывая покровительство однимъ элементамъ литературы и насильственно подавляя другіе. Безъ этого посторонняго вмѣшательства все само собой перемелется, и животворящая мощь литературы вынесетъ изъ

свободной борьбы мнѣній только чистое, свѣтлое, а вся муть осядетъ на дно житейскаго моря и пропадаетъ тамъ пропадомъ. Туда ей и дорога, а не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ сами по себѣ московскіе кликуши и литературные сюжеты для игривыхъ собесѣдованій съ «дамочками» представляли что-нибудь цѣнное. При полной свободѣ печати вредъ, приносимый ими, былъ бы ничтоженъ, — они растаяли бы въ лучахъ правды, яко таетъ воскъ отъ лица огня, потому что, въ концѣ-концовъ, не могутъ они выдержать открытую, прямую борьбу съ «усиліями честной мысли». Еслибы же они и сохранились частью, то лишь въ качествѣ Сенькиной шапки, въ качествѣ подлиннаго выраженія аппетитовъ извѣстной части общества. Они были бы даже полезны этою подлинностью выраженія совершенно опредѣленныхъ житейскихъ теченій и настроеній. Истина не манна небесная, питающая евреевъ въ пустыни. Она не готовая съ неба людямъ сваливается, а достигается трудными путями всесторонняго изслѣдованія, и на путяхъ этихъ нельзя обойтись безъ заблужденій. Но истина и заблужденіе должны быть поставлены лицомъ къ лицу, безъ постороннихъ покровителей, хотя бы и истины, безъ постороннихъ препятствій, хотя бы и заблужденію.

Такъ объясняются странныя на первый взглядъ указанія Салтыкова на заслуги Бело и признанія въ любви къ московскимъ кликушамъ. Область литературы была для него до такой степени священна, что самымъ ненавистнымъ ему элементомъ онъ представлялъ какъ бы право убійства въ ней. Такое право убійства признавалось въ старыя годы за храмами, куда могъ правомѣрно укрыться самый отвѣщенный и уличенный преступникъ. По мнѣнію Салтыкова, разъ человѣкъ выступилъ на литературное поприще, онъ уже тѣмъ самымъ становится неприкосновеннымъ и подлежитъ лишь литературному же суду и расправѣ. Салтыкову казалось непрерываемо яснымъ, что на опубликованіе, путемъ печати, невѣрныхъ фактовъ можно и должно отвѣчать только опроверженіемъ и опубликованіемъ фактовъ вѣрныхъ; на неправильную аргументацію — аргументаціей правильной; на литературное нападеніе — литературной же защитой. Онъ былъ въ этомъ отношеніи радикальнѣйшимъ изъ радикаловъ. Въ 1880 г. онъ былъ за границей, гдѣчился и писалъ въ *Отечественныя Записки* статьи, озаглавленныя «За рубежомъ». Мимоходомъ сказать, мнѣ, заглядывавшему тогда редакціей *Отечественныхъ записокъ*, приходилось подчасъ туго отъ той нетерпѣливой настойчивости, съ которою Салтыковъ требовалъ свѣдѣній о

той или другой статьѣ, о цензурныхъ опасностяхъ, о томъ, когда выйдетъ наша книжка и т. п. Онъ и за границей былъ полонъ своимъ любимымъ дѣломъ; мыслью и сердцемъ жилъ въ редакціи. Не даромъ онъ писалъ въ «За рубежомъ»: «Легко сказать: позабуди, что въ Петербургѣ существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твоей и гради; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ право не легко». Такъ вотъ въ этомъ самомъ 1880 году шли довольно оживленные толки о предстоящей замѣнѣ административнаго воздѣйствія на литературу воздѣйствіемъ судебнымъ. Салтыковъ отнюдь не радовался этой замѣнѣ. Газетные толки о ней онъ отмѣтилъ въ «За рубежомъ» нѣсколькими ворчливыми страницами на ту тему, что чѣмъ же собственно «судебные скорпіоны» лучше «скорпіоновъ административныхъ?»

Литература неприкосновенна, но за то она честно исполняетъ свои обязанности, зоветъ общество къ добру и правдѣ, караетъ зло и неправду... Таковъ былъ идеалъ Салтыкова, — идеалъ, слишкомъ удаленный отъ дѣйствительности. Этотъ разладъ дѣйствительности съ идеаломъ и былъ тѣмъ ядомъ, которымъ литература напoлняла сердце сатирика, хотя литература же освѣтила его жизнь.

Салтыковъ очень интересовался исторіей новѣйшей русской литературы и часто, въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ, задавалъ себѣ мучительный вопросъ, — отчего все это такъ странно и печально и срамно вышло? Исходнымъ пунктомъ его размышлений были обыкновенно сороковые годы. Литература того времени отнюдь не была его идеаломъ, хотя бы уже потому, что она была связана по рукамъ и по ногамъ. Были въ ней и такіе изъяны, которые стояли внѣ прямыхъ отношеній со связанностью. Тѣмъ не менѣе ей удалось, какъ говоритъ Салтыковъ въ «Кругломъ годѣ», — «отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которая выдѣлила ее изъ общаго строя жизни и дала возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій». Двѣ черты особенно характерны для литературы сороковыхъ годовъ. Во-первыхъ, это была литература серьезно убѣжденная; во-вторыхъ, она не имѣла доступа къ практической жизни. Нынѣ убѣжденность исчезла, влеченіе къ идеаламъ стинуло, традиція литературной брезгливости оборвалась и вмѣстѣ съ тѣмъ литература вступила въ общеніе съ жизнью, съ практическою злобою дня. Есть-ли какая-нибудь причинная связь между серьезною

убѣжденностью литературы сороковых годовъ и ея изолированностью, между нѣпшиимъ оскудѣніемъ идеаловъ и общеніемъ литературы съ практическою жизнью? Салтыковъ рѣшительно отвѣчаетъ: нѣтъ. «Изолированность,—говоритъ онъ,—конечно имѣетъ свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно, еслибы эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочно и составила бы окончательную цѣль существованія литературы». Общеніе съ жизнью «всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы». Оно само по себѣ не могло бы ни умалить идеаловъ литературы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Напротивъ, идеалы могли бы найти здѣсь для себя лишь поправку, опору и развитіе, а никакъ не смерть. Но—

„на дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ „не твое дѣло“ настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабыми руками оказалось совершенно не подѣ-силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ въ концѣ-концовъ оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горше и чувствительнѣе этой?“

И въ разсказѣ «Похороны» Салтыковъ со взходомъ вспоминаетъ то время, когда «была замкнутость, явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно сослаться и нынѣ».

Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» Салтыковъ опять возвращается къ этой терзающей его темѣ. На этотъ разъ онъ сравниваетъ литературу сороковыхъ годовъ со сказочной царевной, которая «была заключена въ неприступномъ чертогѣ и только дремала, окутанная сновидѣніями». «Но въ основѣ этихъ сновидѣній,—продолжаетъ онъ,—лежало «человѣчное», такъ-что ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованияхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и «замаранность» была въ то время явленіемъ исключительнымъ, ибо гдѣ же и какъ могла «замараться» царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ?» Она пыталась временами выглянуть изъ своего очарованнаго замка, выйти изъ сферы возбужденія бла-

городныхъ чувствъ вообще, но тотчасъ же получала щелчокъ и вновь удалялась въ волшебные чертоги. А когда выходъ въ жизнь былъ ей наконецъ предоставленъ, она, замученная и заподозрѣнная, столкнулась съ хлынувшей въ литературу «улицей», и перевѣсъ оказался не на ея сторонѣ. Литература въ наше время повидимому чрезвычайно оживлена, но, въ сущности, это вовсе не литература, «это только шумъ и гвалтъ возбужденной улицы, это нестройный хоръ обострившихся вождѣній, въ которомъ главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежитъ подозрительности, сыску и безшабашному озлобленію». «Дѣло въ томъ, что вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, улица представляетъ собой только матеріалъ для литературы, а у насъ, напротивъ, она господствуетъ надъ литературой. Во всѣхъ видахъ господствуетъ: и въ видѣ частной инициативы, частнаго насилія, и въ видѣ непрекращаемо-возбуждающей силы».

Въ «Пестрыхъ письмахъ» отиѣтчикъ и корреспондентъ, а также трагичный за-всегдатай Подхалимовъ, рассказывая автору о позорныхъ нравахъ, господствующихъ въ его газетѣ, нахально замѣчаетъ: «Печать-то вѣдь сила? Такъ-ли, отче?» Эти слова поражаютъ автора. Онъ вспоминаетъ, что гдѣ-то, когда-то онъ слышалъ эти самые слова, но не въ этой обстановкѣ и не изъ устъ Подхалимова. Да, онъ слышалъ эти слова, вѣрилъ въ нихъ, гордился ихъ смысломъ, но «никогда, никогда, даже въ самые черные дни не могъ себѣ представить, чтобы сила печати могла осуществиться въ тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ узналъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ?» Размышляя о причинахъ этого зловолшебнаго явленія, Салтыковъ приходитъ къ такому заключенію. Въ ту достопамятную пору, когда литературѣ были не то чтобы уже настежь отворены, но всетаки пріотворены двери въ практическую жизнь, разные литературныя направленія оказались слишкомъ несходными, чтобы придти къ какому-нибудь соглашенію. Это и понятно, пока рѣчь идетъ о соглашеніи по существу. «Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и сама-по-себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для воѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго». Соглашенія по этому пункту не состоялось, общаго литературнаго дѣла не оказалось. Мало того: «въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества, въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслий, свидѣтельствовав-

шихъ о полномъ отсутствіи дисциплины». Слова «печать», «литература» утратили всякій объединяющій смыслъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно должно было пасть и общественное значеніе литературы.

Итакъ, та единственная точка, которая освѣщала и грѣла Салтыкова съ измѣтства и до сѣдыхъ волосъ и до могилы, оказалась безсильною, поруганною. Онъ никогда не терялъ увѣренности, что это пройдетъ, какъ сонъ, какъ тяжелый кошмаръ, и свѣтающая точка разгорится и все освѣтитъ и согреетъ. Но дѣйствительность всетаки обдавала его ужасомъ и отвращеніемъ. Чтобы оцѣнить всю глубину этого ужаса и этого отвращения, надо помнить, что мы имѣемъ дѣло съ человекомъ, совершенно исключительно преданнымъ литературѣ, для котораго въ ней вся жизнь сосредоточилась. И въ довершеніе ужаса литература, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ ее понималъ Салтыковъ, гибла, благодаря, въ значительной степени, собственнымъ своимъ порожденіямъ. Это было какъ бы матереубійство. Въ самомъ храмѣ литературы, въ которомъ такъ благоговѣнно молился Салтыковъ и чистоту котораго онъ такъ оберегалъ, раздавались дикіе окрики: «мошенники пера, разбойники печати!» Салтыковъ справедливо говорилъ, что если эти, въ сущности совершенно бессмысленныя, но вполнѣ постыдныя слова, появились въ литературѣ, такъ значитъ и подлинно въ ней завелись мошенники пера и разбойники печати. Дѣйствительно, кто, кромѣ таковыхъ, осмѣлится сказать эти слова клеймя ими не шантажъ, не пасквиль, не клевету, а «образъ мыслей»?

Объ этихъ измѣнникахъ общему литературному дѣлу Салтыковъ говорилъ часто, но говорилъ, какъ публицистъ, и ни разу не воссоздалъ эту позорную фигуру, какъ художникъ, что охотно дѣлалъ съ другими литературными типами. Онъ точно боялся, что у него не хватитъ красокъ для художественнаго воплощенія объекта его особеннаго, преимущественнаго негодованія. Слишкомъ это негодованіе было сильно, и охваченный имъ художникъ не могъ объективировать волновавшее его явленіе во всей его жизненной цѣльности. Но онъ подходилъ къ этой задачѣ. Такова удивительная сказка «Христова ночь», въ которой воскресшій Богъ благословляетъ всю природу, благословляетъ людей, пострадавшихъ отъ неправды, указываетъ путь спасенія всѣмъ творящимъ неправду,—всѣмъ, кромѣ предателя-Иуды...

Если, однако, Салтыковъ скорбѣлъ объ отсутствіи или распаденіи общаго литературнаго дѣла, такъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ исключалъ изъ своихъ симпатій только

измѣнниковъ общему дѣлу печати. Еслибы эти измѣнники не были измѣнниками, т. е. не прибѣгали бы къ пріемамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ литературной полемикой, они были бы въ глазахъ Салтыкова всетаки врагами. И не одни они. Напрасно стараются увѣрить, что Салтыковъ стоялъ внѣ партій. Его великій талантъ поднималъ его надъ всѣми нашими партіями, но умомъ и сердцемъ онъ принадлежалъ вполнѣ, детально определенному направленію. Утверждать противное, значитъ забывать не только такіе частные факты, какъ полемика Салтыкова со «Старѣйшей Всероссийской Пѣвко-снима-тельной», но и тотъ общій фактъ, что онъ былъ редакторомъ журнала съ совершенно определенной фizioноміей. Мнѣ кажется, что съ точки зрѣнія самого покойника нельзя нанести его тѣни большаго оскорбленія, какъ это забвеніе его редакторской дѣятельности. Онъ очень дорожилъ ею. Я помню то глубокое огорченіе, которое причинило ему закрытіе *Отечественныхъ Записокъ*. Огорченъ онъ былъ не только фактомъ закрытія, который обрывалъ его любимую дѣятельность и заставлялъ его идти писать, какъ онъ выражался, «въ чужое мѣсто»; онъ огорчался и формой, въ которую былъ облеченъ прискорбный фактъ,—формой, до известной степени какъ бы выдѣлявшей лично редактора изъ общей бѣды журнала. Говорятъ, будто онъ часто расходился со «своими». Неправда, со своимъ журналомъ онъ никогда не расходился. Но онъ держался того мнѣнія, что «довольно странно представить себѣ Бѣлинскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ» («Похороны»). Многие изъ тѣхъ, кто хотѣлъ бы нынѣ посчитаться съ великимъ покойникомъ хоть «своимъ», если не родствомъ, получали отъ него въ свое время хорошіе щелчки; но онъ ихъ никогда и не считалъ «своими».

Безъ сомнѣнія, условія русской печати не особенно благопріятствуютъ образованію определенныхъ литературныхъ партій и направленій. Салтыковъ понималъ это и скорбѣлъ, что вполнѣ соответствуетъ его требованію, чтобы въ литературѣ отражались всѣ отбѣнки жизни. Въ «Мелочахъ жизни» онъ сопоставляетъ европейское газетное дѣло съ русскимъ. Въ Европѣ дѣло поставлено такъ: «правильна или неправильна идея, полезно или вредно направленіе, которому служить данная газета, это вопросъ особый; но несомнѣнно, что и идея, и направленіе существуютъ, что они высказываются въ каждой строкѣ журнала, не смѣшиваясь ни съ какими другими идеями и направленіями. Издатель знаетъ, что онъ издаетъ; подписчикъ знаетъ, на что онъ подписывается». У насъ,

конечно, должно бы было быть то же самое, потому что это нормальный порядок. Но, во обстоятельствах, наши газеты распределяются только по двум категориям: люксовых и треневальных. «Содержание для первых представляет веселая диффазия и всѣхъ сортовъ балагурство, иногда, впрочемъ, замѣненные благонамеренными вѣдомостями; содержаниемъ для послѣднихъ служить агонизирующая тоска въ виду завтрашняго дня и ежедневная разработка люксового вопроса». Затѣмъ рисуются соответственные типы газетчиковъ: Иванъ Непомнящій и Ахбѣднѣй. Въ концѣ-концовъ, оба они равно погрязаютъ въ «мелочахъ жизни». Но Непомнящій погрязаетъ съ веселіемъ, потому что за душой у него нѣтъ никакой идеи, никакого направленія,—онъ просто кувыркается и самъ не знаетъ, откуда и затѣмъ онъ появился на аренѣ газетной дѣятельности; за-то онъ знаетъ, что прочно принадежся къ даннымъ условіямъ и что ничто не грозитъ ему ни завтра, ни послѣ завтра. Ахбѣднѣй, напротивъ, очень хорошо знаетъ, затѣмъ онъ явился въ литературу, но вынужденъ ежедневно дрожать надъ вопросомъ: «пройдетъ или не пройдетъ?».

«Русскій читатель, защити!»—вырывается у Салтыкова въ разсказѣ «Похороны». А въ «Мелочахъ жизни» онъ дѣлаетъ маленькій смотръ русскимъ читателямъ. Есть «читатель-ненавистникъ», есть «солидный читатель», есть «читатель-простецъ». На всѣхъ на нихъ плоха надежда. Есть, наконецъ, «читатель-другъ». Есть онъ, Салтыковъ въ этомъ не сомнѣвается, но этотъ читатель заробѣлъ, затерялся въ толпѣ, и между нимъ и писателемъ нѣтъ постоянного непосредственнаго общенія. Временами общеніе становится возможнымъ. «Такія минуты,—говоритъ сатирикъ,—самыя счастливыя, которыя испытываетъ убѣжденный писатель на трудномъ пути своемъ». Но «покуда мнѣнія читателя-друга не будутъ приниматься въ расчетъ на вѣсахъ общественнаго сознанія съ тою же обязательностью, какъ и мнѣнія прочихъ читательскихъ категорій, до тѣхъ поръ вопросъ объ удрученномъ положеніи убѣжденнаго писателя останется открытымъ».

У Салтыкова было много читателей-друзей. Пускай же они помнят, как любовно относился к ним суровый сатирик, как размягчалось его сердце при мысли о них. В союз убежденного писателя с читателем-другом он видел залог торжества литературы — конечно, не той литературы, которая в своем злобном предательстве или безпутном скоморошестве уподобляется нечистоплотному и неразумному животному басни, подрывавшему корни дуба, лишь бы

сейчас излечиться желудок. Животное это достигать своей цели, — надеется желудок, но ищетъ съ тѣмъ печальное слово лишается того уваженія и вниманія, которыя ему принадлежатъ.

Да возродится же, хоть въ память Са-
тыкова, союзъ убѣжденныхъ писателей съ
читателями-друзьями...

II

Вѣра въ будущее.

Когда на могилѣ Салтыкова пѣли «вѣчную память», то иногда вѣронтио приходило въ голову, что вотъ въ данномъ случаѣ это слово не лишнее, что это не просто составная часть обряда, для всѣхъ покойниковъ одинаковаго, а точная формула подлиннаго и несомнѣннаго факта. Ничто не вѣчно подъ луною, пройдетъ и сама земля и солнце когда-нибудь погаснѣетъ, а потому говорить о чьей бы то ни было вѣчной памяти ни можемъ только въ условномъ смыслѣ. Но достоверно, что пока не перестанетъ звучать русская рѣчь, Салтыковъ не забудется. А до этого во всякомъ случаѣ такъ далеко, такъ далеко, что мы въ своей человеческой ограниченности смѣло можемъ называть это вѣчною памятью. Не даромъ Салтыковъ, будучи литераторомъ до мозга костей, находилъ, какъ мы видѣли, что ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ. Не даромъ онъ постоянно думалъ о будущемъ и о судѣ потомства.

Мнѣ кажется, что можетъ быть установлено извѣстное соотвѣтствіе, извѣстная пропорціональность между тою долей вниманія, которую человекъ удѣляетъ будущему, и тою долей вниманія, которою его, въ свою очередь, отдариваетъ будущее, между его заботами о потомствѣ и степенью его долговѣчности въ памяти потомства. Въ этой пропорціональности нѣтъ ничего мистическаго. Она объясняется очень просто. Человѣкъ, не заглядывающій въ будущее дальше завтрашняго дня, развѣ только случайно и въ видѣ исключенія, подъ вліяніемъ какого-нибудь аффекта, совершить нѣчто такое, что могло бы увѣковѣчить его имя. Вообще же говоря, ему нѣтъ резона строить вѣковѣчное зданіе, и натурально, что, не оставивъ послѣ себя никакихъ слѣдовъ, онъ на слѣдующій же послѣ смерти день забывается. Такой человекъ фатально обреченъ на пустяки, не имѣющіе никакой цѣны въ глазахъ слѣдующихъ поколѣній. Всегда жертвуя будущимъ для настоящей минуты, онъ можетъ, конечно, провести эту минуту очень пріятно, — хорошо поѣсть и попить, вывернуться, не разбирая средствъ, изъ

труднаго положенія, достигнуть степеней извѣстных и т. д.; но слѣдующая же минута можетъ въ прахъ разнести этотъ пріятный картонный домикъ и посрамить его строителя, а послѣ смерти ничего, кромѣ праха, отъ него не останется. Можетъ быть, конечно, причина и слѣдствіе должны въ этомъ случаѣ помѣняться мѣстами. Можетъ быть человѣкъ минуты именно потому и не заглядываетъ въ сколько нибудь отдаленное будущее, что неспособенъ создать что-нибудь вѣковѣчное, — но извѣстная пропорціональность здѣсь все-таки есть. Есть она и въ противоположномъ случаѣ, когда человѣкъ упорно, пристально вглядывается въ будущее, боится или радуется за него, видитъ въ немъ и наслѣдника, и судью настоящей минуты. Будущее, безконечно большее, чѣмъ та точка настоящаго, въ которой онъ находится, естественно налагаетъ на него высокія и трудныя обязательства и фатально побуждаетъ къ дѣятельности, которой предстоитъ «вѣчная память». Опять-таки можетъ быть и здѣсь надо переставить слѣдствіе на мѣсто причины и обратно: можетъ быть только тѣ и способны заглядывать въ болѣе или менѣе отдаленное будущее, кому отпущены силы совершать великія, вѣковѣчныя дѣла. Такъ-ли, саякъ-ли, но большой человѣкъ не довольствуется настоящимъ, — ему тѣсно въ немъ, его тянетъ къ будущему, и онъ достигаетъ вѣчной памяти. Онъ человѣкъ вѣчности.

Мы скажемъ: а Тамерланы съ Атиллами? А Нероны съ Калигулами и разные другіе изверги человѣчества? Да, этимъ гарантирована вѣчная память, и пройдутъ еще и еще вѣка, а имена ихъ не померкнутъ въ потомствѣ, хотя они, по всей вѣроятности, не особенно беспокоили себя мыслями о будущемъ. Но, во-первыхъ, для такого оборота дѣла нужно огромное, изъ ряда вонъ выходящее злодѣйство, а во-вторыхъ, и эти, а иногда и не столь крупныя злодѣи, хотя и поступаютъ въ вѣдѣніе исторіи, но съ минусомъ, заклеянные знакомъ отрицанія. И если человѣку минуты совершенно напевать на судъ потомства и исторіи, то человѣкъ вѣчности съ трудомъ можетъ представить себѣ что-нибудь ужаснѣе налагаемаго исторіей клейма отверженія. Человѣкъ вѣчности и въ настоящемъ живетъ не только этимъ настоящимъ, а также и грядущими событіями, и послѣ смерти живетъ своимъ наслѣдствомъ въ средѣ оставшихся жить. Само-собою разумѣется, что между человекомъ вѣчности и человекомъ минуты есть множество переходныхъ ступеней, сообразно которымъ длится всѣмъ воспріимая, но не всѣмъ получаемая «вѣчная память». Тамерланы же и Калигулы остаются въ па-

мяти потомства лишь въ качествѣ чудищъ, ничего не внесшихъ въ общее дѣло человечества, никакихъ положительныхъ слѣдовъ на землѣ не оставившихъ.

Однажды, по нѣкоторому особенному случаю, мы разговорились съ Салтыковымъ о картинѣ Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сраженіе съ гуннами», — не помню, какъ она называется. На этой картинѣ, внизу, на землѣ, гунны дерутся съ римлянами и ихъ союзниками, а сверху, на небѣ, души погибшихъ въ сраженіи продолжаютъ яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробномъ продолженіи земной битвы. Въ немъ, въ его личности, эта мысль получила свое осуществленіе: онъ умеръ, но живетъ и продолжаетъ свою битву жизни; мнѣ кажется, именно потому, что онъ при жизни много жилъ будущимъ. Онъ много думалъ о потомствѣ и потомство отдариваетъ его вѣчной памятью.

Въ самомъ дѣлѣ, я не знаю писателя, котораго мысль о будущемъ, какъ о наслѣдникѣ и судѣ настоящаго, посѣщала бы такъ часто, какъ Щедрина. И это удивительно хорошо дополняетъ и поясняетъ его мысль о родственности литературы съ вѣчностью. Хотѣлъ-ли онъ показать ничтожество какого-нибудь беспардоннаго писака въ родѣ Ивана Непомнящаго или Подхалимова, — онъ говорилъ: этотъ человѣкъ не понимаетъ, что *scripta manent* (одно изъ любимыхъ изреченій Салтыкова), да его *scripta* и въ самомъ дѣлѣ сгинутъ («Газетчикъ»). Вспомнили-ли ему наиболѣе прославившіеся гонители свѣта и правды, онъ писалъ: «Пронесли они безплоднымъ вѣтромъ по лицу земли; разорвали, пресѣдовали по пятамъ, душили и, наконецъ, сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости. И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣй пройти мимо, чтобы не вспоминать кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ» («Круглый годъ»). Заходить-ли рѣчь о Балалайкинѣ, Глумовѣ, *alter ego* Щедрина, говорить: «Балалайкины — имя рекъ — не попадетъ въ исторію. Съ него достаточно и того, что онъ гдѣ-нибудь въ концѣ тома, въ ученыхъ примѣчаніяхъ фигурировать будетъ. Но Балалайкины вообще, Балалайкины, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси! — тѣ краеугольный камень составлять. А отъ нихъ пойдетъ мораль и на заманиловцевъ, проплеванцевъ, погорѣловцевъ. Потому что, кто же виноватъ, что о нихъ никакихъ свѣдѣтельств нѣтъ, кромѣ ревизскихъ сказокъ? Вотъ и скажетъ историкъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ я имѣю право заключить, что сія эпоха была эпохой распуцства всеобщаго!» («Въ средѣ умѣренности

и аккуратности», «На досугъ»). Ренегату Салтыковъ общается совсѣмъ особаго рода памятникъ, но всетаки памятникъ, въ загробное воздаяніе ему и въ поученіе потомству. Онъ думаетъ, что, вообще говоря, хотя ренегатовъ слегка и балуютъ, но внутренне всетаки презираютъ. «Ренегаты, прочно утвердившіяся на высотѣ—рѣдкость; но и такому обыкновенно по смерти втыкаютъ въ могилу осиноый колъ» («Письма къ тетенькѣ»). Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ говоритъ «о тѣхъ архи-ебедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію опутали своею подкупною клевою и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготовааетъ осиноый колъ» («Пошехонскіе разказы»). Иудѣ-Искаріоту онъ придумываетъ страшную казнь. Воскресшіи Іисусъ обрекаетъ предателя на вѣчную мучительную жизнь передъ глазами безчисленныхъ поколѣній: «Живи, проклятый, и будь для грядущихъ поколѣній свидѣтельствомъ той безконечной казни, которая ожидаетъ предательство» («Христова ночь»).

Вездѣ—мысль о загробномъ судѣ, о судѣ грядущихъ поколѣній. Полное немедленное забвеніе и безсмертное клеймо позора, — вотъ крайности того уложенія о наказаніяхъ, которымъ руководствуется исторія. Салтыковъ утверждалъ, что нужно быть или совсѣмъ безумнымъ, или совсѣмъ безсовѣстнымъ, чтобы не понимать, что попасть въ исторію съ нехорошимъ прозвищемъ—вещь далеко не лестная». («Въ средѣ умѣренности», «Господа Молчалины»). Но такихъ совсѣмъ безумныхъ или совсѣмъ безсовѣстныхъ во всякомъ случаѣ очень много на бѣломъ свѣтѣ, — хоть прудъ пруди... Мысль о будущемъ есть привилегія избранныхъ, привилегія, конечно, драгоценная, такъ какъ она раздвигаетъ естественные предѣлы личной жизни въ сторону грядущихъ вѣковъ, но и настолько тягостная, что ее могутъ вынести лишь сильные и чистые. Не только не бояться суда потомства, но искать его, тяготѣть къ нему, — это доступно лишь тѣмъ, кому въ самомъ дѣлѣ нечего бояться и чью память потомство благодарно хранить. Многие, слишкомъ многие, согласны совсѣмъ не попасть въ исторію ни съ хорошимъ, ни съ дурнымъ прозвищемъ и пройти свое земное поприще изо дня-въ-день, лишь бы были удовлетворены ихъ маленькія эфемерныя вождѣнія, ихъ маленькія тщеславія, маленькія злости. Ихъ не испугаешь ни клеймомъ исторіи, ни тѣмъ, что они совсѣмъ не будутъ жить въ потомствѣ. А между тѣмъ у Салтыкова можно встрѣтить даже такое опредѣленіе: «жить, то-есть оградить будущее идущихъ за нами поколѣній» («Письма къ тетенькѣ»). Это уже слишкомъ, конечно. Это опредѣленіе

просто сорвалось у сатирика и самъ онъ отлично понимаетъ, что всякій имѣетъ право жить за свой личный счетъ, хотя бы уже по тому элементарному соображенію, что если поколѣніе за поколѣніемъ будетъ все жить только для слѣдующаго поколѣнія, такъ никто и никогда жить не будетъ. Но, даже оставляя въ сторонѣ этотъ случайный lapsus, хотя и находящійся въ тѣсной связи съ мыслью, постоянно занимавшею Щедрина, можетъ показаться наивною его угроза разнымъ проходивцамъ и негодяямъ: смотрите, молъ, коли такъ будете продолжать, такъ не попадете въ исторію, или же потомство отпѣтитъ васъ клеймомъ отверженія! — Эка бѣда, нашенъ тѣмъ пугать! — могли бы отпѣтить негодяи и просто люди минуты, — вѣдь насъ не будетъ! — Дѣйствительно, ихъ не будетъ, а широкіе горизонты общечеловѣческой солидарности на всемъ протяженіи исторіи имъ совершенно чужды, абракадабра какая-то. И поистинѣ гласомъ вопіющаго въ пустынь были бы въ этой средѣ угрозы историческимъ забвеніемъ или исторической карой.

Но Салтыковъ нашелъ, какъ ему по крайней мѣрѣ казалось, Ахиллесову пятую и у людей минуты, даже у негодяевъ и проходивцовъ. Онъ указалъ имъ страшную кару въ потомствѣ, но не за гробомъ, а при жизни—въ дѣлахъ.

«Я увѣренъ,—говоритъ Щедринъ,— что если бы Шешковский могъ предвидѣть, что на страницахъ «Русской Старины» будутъ время отъ времени появляться анекдоты о его подвигахъ, то онъ отъ многого воздержался бы... Иной Шешковский хоть смутное представленіе о силѣ историческихъ обличеній, онъ сказалъ бы себѣ: «Чортъ возьми! у меня есть сынъ, у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ читать въ «Русской Старинѣ» разказы о «малороссійскомъ борщѣ» (делкатная замѣна слова «розги»), или объ особой конструкціи креслѣ, въ которое я для пользы службъ (то-есть для наказанія на тѣлѣ) нѣкогда обыкновенно сажалъ своихъ паціентовъ! Вѣдь я думалъ, что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Нѣтъ, лучше практикѣ эту оставить!» («Господа Молчалины»).

Это всетаки еще пока указаніе на трудно воспринимаемую историческую перспективу, но уже выступаютъ на сцену дѣти, собственные дѣти злодѣйствующаго Шешковского, а не только туманная масса потомства вообще. Въ тѣхъ же «Господахъ Молчалиныхъ» дѣло подвигается впередъ. Рѣчь идетъ объ очень обыкновенномъ въ нашей жизни «двоегласіи»: человѣкъ устраивается такъ, что его личная жизнь и его профессія не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но во многихъ отношеніяхъ совсѣмъ расходятся, а между тѣмъ обѣ эти струи текутъ-себѣ въ душѣ человѣка параллельно, не нарушая

своимъ двоегласіемъ его спокойствія. Иллюстрація къ этому приводится такая. Жила-была танцовщица, извѣстная танцовщица, женщина уже пожилая, вполне добродѣтельная и отличная мать семейства. Совершивъ весь дневной кругъ заботъ о дѣтахъ, она отправлялась вечеромъ въ театръ и тамъ, какъ ей надлежало по ея профессіи, «все-народно показывала свои атуры». Дѣти ничего этого не подозрѣвали,—въ театръ ихъ не пускали. Но вотъ въ одинъ прекрасный вечеръ сынъ танцовщицы, гимназистъ, соблазнился запретнымъ плодомъ и тайкомъ отправился въ театръ и видитъ: «Какая-то роскошная женщина, впереди всѣхъ, на самомъ яру, покрытая вмѣсто платья прозрачною тряпочкой, совсѣмъ, совсѣмъ нагая, стоитъ на одной ногѣ, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно, медленно выдѣлываетъ кругъ». Затѣмъ, глядяваясь въ эту женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать»...—Разсказъ обрывается этимъ многоточіемъ, авторъ не сообщаетъ, что воспослѣдовало за неожиданнымъ открытіемъ гимназиста. Это только цвѣточки драмы, ягодки—впереди.

Профессія господина Молчалина въ точности неизвѣстна; авторъ говоритъ только, что ему, автору (отнюдь не самому Молчалину), она несимпатична. Нѣкоторый намекъ на ея характеръ даетъ слѣдующая, поразительная по силѣ кисти, сцена:

«Я видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обгабренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.

— Алексѣй Степановичъ!—воскликнулъ я въ ужасѣ,—вспомните, вѣдь, у васъ руки...

— Я вымылъ-съ,—отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ».

Окровавленные руки не мѣшаютъ Молчалину не только пирогъ съ капустой разрѣзать; онъ не мѣшаютъ ему также быть истинно добродушнымъ человѣкомъ, прекраснымъ семьяниномъ и въ частности нѣжно любящимъ отцомъ. Такова сила двоегласія и жизни изо-дня-въ-день, безъ заглядыванія въ будущее. Дѣтей у Молчалина много, и онъ счастливъ ими. Но долго-ли это счастье останется нерушимымъ? Уже появляются признаки какой-то таинственной грозы. Старшій сынъ, студентъ-медикъ и старшая дочь выражаютъ подчасъ мысли, рѣзко бьющія Молчалина по уху, и въ свою очередь нетерпимо относятся къ нѣкоторымъ мнѣніемъ отца. Онъ и дѣти уже какъ будто перестаютъ понимать другъ друга, какая-то рознь между ними легла. А что будетъ дальше? Самъ Молчалинъ начинаетъ задумываться: «А ну, какъ Павелъ-то Алексѣичъ мой какъ ни-на-есть не доглядитъ за собой?», то-есть

пойдетъ не по проторенной молчалинской дорожкѣ и, что называется, «попадется»? Авторъ смотритъ дальше отца и провидитъ не только то горе, которое молодой Молчалинъ нанесетъ старику Молчалину, если «не доглядитъ за собой». Онъ спрашиваетъ себя. «Какъ отнесутся Молчалины-дѣти къ дѣятельности Молчалиныхъ-отцовъ? Отвернутся ли отъ нея съ суровою неумолимостью безповоротнаго убѣжденія, или же, болѣе мягко-сердечные, подарятъ ей смягчающія обстоятельства... только смягчающія обстоятельства? Въ томъ и другомъ случаѣ развѣ это не казнь?» Салтыковъ думаетъ, что «тутъ, именно тутъ и таится зерно той заправской русской драмы, которой доднесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь. Итакъ, настоящая, захватывающая духъ драма найдена... Но кто же воспроизведетъ ее и когда?»

Щедринъ самъ попытался воспроизвести эту драму въ превосходномъ разсказѣ «Большое мѣсто». Только попытался, только приподнял одинъ уголокъ занавѣси, за которою сама жизнь уже давно и актеровъ размѣстила, и неоднократно репетиціи имъ дѣлала. Виною такой воздержности Салтыкова былъ, конечно, не недостатокъ желанія съ его стороны, а прежде всего щекотливость самой темы. Щекотливость разносторонняя. И такъ какъ обработка темы, во всей ея обширности, оказывалась неудобною, то съ тѣмъ малымъ, что онъ рѣшился эксплуатировать, Салтыковъ поступилъ съ особенною обдуманностью. Герой «Большаго мѣста» Разумовъ есть, собственно говоря, тотъ же Молчалинъ, такимъ же упорнымъ трудомъ и смиреніемъ пробившійся на нѣкоторую высоту административной лѣстницы, съ такими же окровавленными безсознательнымъ преступленіемъ руками, и въ то же время лично добродушный, прекрасный семьянинъ и въ особенности любящій отецъ. Служилъ Разумовъ всегда «по сущей совѣсти» и можетъ говорить о себѣ: «муки не обидѣли!» Тѣмъ не менѣе ему приходилось совершать дѣла столь жестокія, что однажды одна обездоленная мать крикнула ему на улицѣ: «сатана! сатана! сатана!» Разумовъ былъ оскорбленъ, но не мстилъ матери, потому что понималъ материнскія чувства. Есть у него сынъ Степа, единственный и тѣмъ болѣе дорогой. Старику Разумову пришлось выйти въ отставку и поселиться въ провинціи, а сынъ остался въ Петербургѣ доканчивать свое образованіе. Онъ прѣзжалъ къ родителямъ только на лѣтнія каникулы, сперва гимназистомъ, а потомъ студентомъ. Сынъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ утѣшеніемъ родителей: учился хорошо, сердце имѣлъ нѣжное, отца и мать любилъ не менѣе, чѣмъ они его.

Все превосходно, всё элементы семейнаго счастья на-лицо. Но, какъ и въ исторіи Молчалина, понемногу скапливаются грозовыя тучи, подбирается на сѣдую голову Разумова кара за бессознательно совершенныя злодѣянія. Сначала пробѣгаетъ какое-то отчужденіе. — Степа охотѣе проводить время съ своей молодой родственницей Аннушкой, чѣмъ со стариками-родителями. Замѣчаетъ старикъ, что Степа начинаетъ держаться такого образа мыслей, который не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что имъ, старикомъ, руководило всю жизнь. Дальше — больше. Однажды Разумовъ, въ присутствіи Степы и Аннушки, разговорился на тему служебныхъ воспоминаній: какъ трудно было ладить съ начальствомъ, какъ именно онъ, а не кто другой, провелъ такое-то и такое-то мѣропріятіе. Должно быть эти мѣропріятія были изъ тѣхъ, о которыхъ кровавятся руки Молчалиныхъ и Разумовыхъ, потому что среди разсказовъ старика вдругъ съ шумомъ отодвинулись отъ стола два стула: «Это были стулья, на которыхъ сидѣли Степа и Аннушка. Оба разомъ молча встали и направились въ другую комнату». Старикъ понялъ въ чемъ дѣло и потребовалъ объясненія. Сынъ сначала говоритъ, что онъ, на мѣстѣ отца, не вспоминалъ бы «этого», то-есть того прошлаго, за которое, между прочимъ, обездоленная мать обругала его сатаной. Но затѣмъ молодой человѣкъ, нѣжный и любящій, проситъ только о прекращеніи разговора и общается никогда больше ничѣмъ не выражать своихъ чувствъ и мыслей на этотъ счетъ. Старикъ, однако, все поналя. «Онъ думалъ, что сынъ утѣха, а вышло, что онъ — просіянне»; просіянне и казнь. Загрустилъ старикъ, перебирая все свое прошлое, а будущее готовило ему новый, послѣдній сюрпризъ. Невдольгъ пришло отъ сына изъ Петербурга письмо, въ которомъ сынъ прощался съ отцомъ: онъ рѣшился на самоубійство. Мотивировалъ онъ свой поступокъ такъ: «Есть вещи, которыя заставляютъ меня глубоко страдать и о которыхъ говорить при мнѣ, ни мало не стѣсняясь. Иные съ похвалою, другіе — болѣе нежели съ порицаніемъ. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мнѣ возражаютъ, что это до меня не касается и что стоитъ только «совѣтъ порвать», чтобы относиться къ этого рода вещамъ съ такою же объективностью, съ какою относятся къ нимъ и другіе. Но я не могу, я слишкомъ слабъ, слишкомъ люблю» и т. д. Юноша слишкомъ любитъ отца, чтобы совѣтъ отвернуться отъ него, но вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ оскорбленъ всякимъ напоминаніемъ о позорномъ прошломъ этого отца — и умираетъ...

О талантѣ Салтыкова, объ его размѣрахъ

и свойствахъ у насъ рѣчь еще впереди будетъ, и потому я не останавливаюсь на художественныхъ красотахъ «Большаго мѣста», — одного изъ лучшихъ произведеній Щедрина. Мой сухой пересказъ его фабулы не можетъ, конечно, дать никакого понятія объ этой небольшой вещи, какъ о художественномъ произведеніи. Я хотѣлъ только обратить вниманіе читателя на ту обертонку, въ которую авторъ вдвинулъ одну изъ своихъ излюблѣннѣйшихъ мыслей. Старикъ Разумовъ вовсе не злодѣй самъ по себѣ, онъ только человѣкъ минуты, исполняющій «по сушей совѣсти» то, что считаетъ своимъ долгомъ, и не вглядывающійся въ мрачныя глубины этого долга. Степа опять же не какой-нибудь заносчивый молодой человѣкъ, склонный смотрѣть сверху внизъ на отца; это не Базаровъ, грубо, пренебрежительно третирующій своихъ стариковъ, и не молодой Кирсановъ, покровительственно подсовывающій отцу *Stoff und Kraft* Бюхнера вмѣсто Пушкина, это — нѣжная, окаянная, любящая, преданная душа. И все-таки грозный судъ потомства тяжелой карой обрушился на сѣдую голову Разумова...

Съ «бешабашнымъ совѣтникомъ» Удавомъ случилось нѣчто подобное: «У Удава было три сына. Одинъ сынъ пропалъ, другой — попался, третій остался цѣлъ и выражается о братьяхъ: такъ имъ подлецамъ, и надо! Удавъ предполагалъ, что подъ старость у него будутъ три утѣшенія, а на повѣрку вышло одно. Да и относительно этого послѣдняго утѣшенія онъ начинаетъ задумываться, подлинно-ли оно утѣшеніе, а не египетская казнь» («Письма къ тетенькѣ»). Эту исторію Салтыковъ разсказываетъ вкратцѣ, бѣгло, ничѣмъ не прикрывая и не украшая ея голый фактический остовъ. То-ли ему показалась недостаточно интересной казнь такого совѣтъ уже отпѣтаго человѣка, какъ бешабашный совѣтникъ Удавъ; то-ли онъ усомнился въ самомъ фактѣ казни, — можетъ быть вѣдь съ Удава все это какъ съ гуся вода скатывается? Можетъ быть онъ, подобно своему «послѣднему утѣшенію», готовъ сказать: такъ имъ, подлецамъ, и надо! Хотя авторъ и выражаетъ надежду, что «Удавъ — авторитетъ въ своей сферѣ, а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается, но это еще вилами на водѣ писано. Изъ многихъ семейныхъ исторій, разсказанныхъ Салтыковымъ, припомнимъ хоть «Непочтительнаго Короната» («Благонамѣренныя рѣчи»). Можно-ли ожидать, чтобы кузина Машенька, предназначенная Коронату, какъ она выражается, «юридическую часть» и затѣмъ рѣшительно отказывающаяся отъ него, когда

онъ избираетъ себѣ медицинскую часть, — можно-ли ожидать, чтобы эта милая дама пережила при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ скорби, подобныя скорбямъ старика Разумова? Конечно, нѣтъ. Кузина Машенька прочно устроилась въ своей твердынь благонамѣренныхъ рѣчей: «какъ христианка и мать, я не могу позволить», «у меня есть правила» и проч. И если, въ случаѣ какой-либо бѣды съ Коронатомъ, она не скажетъ: такъ ему, подлецу, и надо! — то только потому, что она вообще такихъ грубыхъ словъ не говоритъ. А когда Коронатъ узнаетъ, что за ея благонамѣренными рѣчами скрывается кулацко-кабацкая дѣйствительность, такъ она и ухомъ не поведетъ. Да Коронатъ по всей вѣроятности очень хорошо знаетъ, но это его вовсе не трогаетъ. Словомъ, здѣсь нѣтъ элементовъ драмы, которую Салтыковъ называетъ заправской русской драмой. Весьма возможно, что этихъ элементовъ не было бы и въ жизни Шешковского, даже въ томъ случаѣ, еслибы сынъ его былъ знакомъ съ содержаніемъ анекдотовъ, печатаемыхъ въ *Русской Старинѣ*. Вообще эта драма возможна, очевидно, только при наличности тѣхъ узъ нѣжной любви, какія связываютъ семью Разумовыхъ, вопреки всему остальному, всей прочей розни. Свою мечту о разбуженной судомъ потомства совѣсти, сатирикъ построилъ на элементарномъ, почти животномъ чувствѣ родительской любви. И, казалось бы, именно по своей элементарности этотъ базисъ долженъ быть и достаточно широкъ и достаточно проченъ. Но, какъ выясняется изъ показаній самого Салтыкова въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», «Господахъ Головлевыхъ», «Господахъ Ташкентцахъ», «Попехонской старинѣ», наша семья не можетъ составить собою такой базисъ. Къ ней, вообще говоря, мудрено привить лозунгъ: «передъ дѣтьми стыдно». «Просіаніе» старика Разумова, при всемъ своемъ, дѣйствительно, духъ захватывающемъ драматизмѣ, должно быть признано явленіемъ болѣе или менѣе исключительнымъ.

Но за-то на этой почвѣ возможна и другая драма, которой Щедринъ не предвидѣлъ, если не считать предвидѣніемъ легкій намекъ, брошенный въ «Письмахъ къ тетенькѣ» отношеніями дяди Григорія Семеновича и Сенечки. Намекъ этотъ слишкомъ слабъ въ сравненіи съ тѣмъ, что могъ бы дать на эту тему Салтыковъ, еслибы остановился на ней пристальнѣе.

Мысль о «заправской русской драмѣ», о судѣ потомства въ лицѣ дѣтей, занимала Щедрина въ 70-хъ годахъ, когда жизнь давала обиліе матеріаловъ для такой постановки вопроса объ отцахъ и дѣтяхъ. Съ

тѣхъ поръ утекло много воды. Недавно было во всеуслышаніе выражено мнѣніе, что для учащейся молодежи гораздо лучше заниматься азартной игрой на тотализаторѣ при скачкахъ, чѣмъ политикой. Заявлено это было не случайно какъ-нибудь, не съ полемического разбѣга, а въ видѣ серьезнаго аргумента въ защиту тотализатора, который, дескать, даетъ заработокъ учащейся молодежи и отвлекаетъ ее отъ политики. Этотъ поразительный аргументъ, которымъ, надо думать, не замедлятъ воспользоваться и игорные дома, въ высшей степени характеренъ. Характерно уже и то, что въ логическомъ прыжкѣ отъ политики къ тотализатору минуется вся область искусства и науки, казалось бы, обязательная для учащейся молодежи. Но это только подробность. Весь аргументъ, во всей своей «цѣлостности», такъ и просится въ рамку щедринскихъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». И если мы дошли до того, что такіа «трезвенныя» слова возмашаются всенародно, путемъ печати, то, значить, мы уже давно къ нимъ подходимъ: вдругъ, ни съ того, ни сего, такое не говорится, оно готовится, долгимъ развращеніемъ мысли и чувства. Представьте же себя молодежь, испытавшую на себѣ это долгое подготовленіе, воспитавшуюся въ немъ. Салтыковъ, устами бывшаго штатнаго смотрителя чухломскихъ училищъ, титулярнаго совѣтника Филонеринова, предложилъ нѣкоторый проектъ въ видахъ «необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувства». По этому проекту надлежитъ «пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ, или же занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную избобрѣлъ Таутъ» («Дневникъ провинціала въ Петербургѣ»). Тотализаторъ, кажется, перещеголялъ эту якобы карриатуру, а онъ дѣйствительность. Что же мудренаго, если наши «оглушенные» дѣти, дышація этимъ зараженнымъ воздухомъ, осудятъ насъ не за какія-нибудь жестокости и подлости, а за наши «бредни», за то, напримеръ, что мы не въ тотализаторѣ искали себѣ заработка и не занимались ежедневнымъ разсматриваніемъ дѣвицы Гандонъ? И тогда можетъ возникнуть драма, даже болѣе потрясающая, чѣмъ та, которая подкосила старика Разумова. Разумовъ во всякомъ случаѣ признавалъ и не могъ не признавать своего сына честнымъ человекомъ; сынъ былъ для него, правда, источникомъ тяжелой драмы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и «просіаніемъ», и «утѣхой». А мы? Подумать страшно...

Будемъ надѣяться, что эта горячшая изъ чашъ минуетъ насъ; будемъ стараться, что-

бы она насъ миновала. Такъ поступалъ бы по крайней мѣрѣ Салтыковъ, то-есть надѣялся бы и старался.

Мелкіе люди не думаютъ о будущемъ всѣмъ, крупные—думаютъ много, причемъ это будущее представляется имъ или мрачнымъ или свѣтлымъ. Натуры созерцательныя склонны къ мрачному взгляду на будущее, натуры дѣятельныя — вѣрятъ въ будущее. Это понятно: всякій крупный человѣкъ сознаетъ или, по крайней мѣрѣ, чувствуетъ въ себѣ силу повліять на ходъ жизни, а слѣдовательно и на будущее. Но созерцательная натура не желаетъ пускать эту силу въ ходъ, не имѣетъ внутри себя никакого стимула для такого воздѣйствія на жизнь; дѣятельная же, напротивъ, стремится къ воздѣйствію, а тапящаяся въ ней сила даетъ ей увѣренность, что ея идеалы достижимы. Созерцательная натура мыслитъ, то-есть звѣршиваетъ причины и слѣдствія и, натываясь мыслью на зло, просто включаетъ его въ цѣпь причинности и признаетъ его историческую законность. Дѣятельная натура этимъ не ограничивается и сама, собственной персоной, вторгается въ историческій ходъ вещей въ качествѣ причины.

Салтыковъ былъ—дѣятельная натура. По его мнѣнію, «здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго... Не успокоиваясь на тѣхъ формахъ, которыя уже выработала исторія, провидѣть инныя, которыя хотя еще не составляютъ наличнаго достоянія челоѣка, но тѣмъ не менѣе не противорѣчатъ его природѣ и, слѣдовательно, рано или поздно могутъ сдѣлаться его достояніемъ,—въ этомъ заключается высшая задача литературы, сознающей свою дѣятельность плодотворною. Литература провидѣтъ законы будущаго, воспроизводитъ образъ будущаго челоѣка» («Итоги»). Въ своихъ неустанныхъ заботахъ о будущемъ, Салтыковъ не держался, конечно, философіи Панглоса, утверждавшаго, что все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ. Напротивъ, онъ безбоязненно констатировалъ всяческое зло нашей жизни, изслѣдовалъ его причины и указывалъ слѣдствія, насколько хватало его глазъ. Въ этомъ даже состояла его специальность, но и за всѣмъ тѣмъ онъ вѣрилъ въ будущее, въ конечное торжество свѣта надъ мракомъ. Когда онъ видѣлъ, что литература не исполняетъ возлагаемыхъ на нее самую ея сущностью обязанностей, онъ объяснялъ себѣ причины этого прискорбнаго положенія вещей; онъ понималъ, что въ современной литературѣ «должна господствовать публицистика подслживанья, сыска и клеветы». Онъ, однако, не мирился съ этимъ и спра-

шивалъ свою тетеньку, отчего же это нельзя примириться съ тѣмъ, что исторически законно? И самъ же отвѣчалъ: «Оттого, милая тетенька, что воѣ мы, яко челоѣки, не только мыслимъ, но и живемъ», то-есть дѣйствуемъ и сами можемъ оказаться причиною извѣстнаго ряда явленій.

Любопытно то, въ высшей степени оригинальное представленіе, которое Щедринъ имѣлъ о духѣ зла, сатанѣ. Это совсѣмъ не что-нибудь могучее и въ этой мощи обаятельное, хотя бы и злое: «Воплощенное безстрастное неразуміе—вотъ настоящій сатана» («Большое мѣсто»). Эта же мысль получаетъ дальнѣйшее развитіе въ поразительномъ фельетонѣ «Властитель думъ», который съ обидною расточительностью вкрапленъ въ «Современную идиллію» и приписанъ перу «корреспондента»:

«Что такое сатана? Это грандіознѣйшій, презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй, который не можетъ различать ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общаго, ни частнаго, и которому ясны только чисто личные и притомъ ближайшіе интересы. Поэтому его называютъ врагомъ рода челоѣческаго, пакостникомъ, клеветникомъ. И по той же причинѣ мѣсто дѣйствія ему отводятъ подъ землей, въ темномъ мѣстѣ, въ аду... Онъ ищетъ утопить въ позорѣ не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее».

Но будущее постоитъ за себя. И хоть много зла можетъ натворить сатана, но справиться съ нимъ всетаки можно,—это вѣдь только презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй!

«Не надо думать, что общество когда-нибудь погибнетъ подъ гнетомъ унынія и что оно вынуждено будетъ воспринять хлѣбные принципы въ свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже въ томъ случаѣ, ежели она выступаетъ впередъ назойливо и доказательно. Надо всѣчасно говорить себѣ: нѣтъ, этому нельзя стать! не можетъ быть, чтобы бунтующій хлѣвъ покормилъ себѣ вселенную! Не слѣдуетъ забывать, что хлѣбные принципы обязаны своимъ торжествомъ лишь совершенно исключительнымъ обстоятельствамъ, которымъ общество ни въ какомъ случаѣ не причастно. Но вѣдь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить въ свои права. И она вступитъ». («Письма къ тетенькѣ»),

Можно бы было составить изъ сочиненій Салтыкова цѣлую хрестоматію вѣры въ будущее, но я ограничусь еще только одной ссылкой на двѣ—три страницы, озаглавленныя «Гіена» (въ «Сказкахъ»). Этотъ маленькій набросокъ любопытенъ какъ свѣдѣтельство того, что даже всякая случайная мелочь наводила Щедрина на его любимую мысль. Повидимому, ему просто попалась подъ руку книга Брема, развернутая на описаніи нравовъ гіены. Онъ немедленно приспособилъ это описаніе, во-первыхъ, къ

литературнымъ дѣламъ, а во-вторыхъ, его поразила возможность прирученія, покоренія человѣкомъ такого дикаго и сквернаго животнаго, какъ гіена. Онъ говоритъ, что затѣмъ только и разсказать про гіену, чтобы нагляднымъ образомъ показать, что «человѣческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать надъ «гіенскимъ». А затѣмъ слѣдуетъ превосходная лирическая страничка на эту тему: «Человѣческое никогда окончательно не погибало, но и подъ пепломъ, которымъ временно засыпало его «гіенское», продолжало горѣть. И впредь оно не погибнетъ, и не перестанетъ горѣть—никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: освѣтить сердца и умы сознаніемъ, что «гіенство» вовсе не обладаетъ тѣми волшебными чарами, которыми приписываютъ ему безумный и злой предрасудокъ».

Сатана-ли, гіена-ли,—зло можетъ натворить много бѣдъ, можетъ временами доводить до унынія и даже отчаянія, но, въ концѣ-концовъ, оно не непреодолимо съ точки зрѣнія человѣка, по себѣ знающаго мѣру человѣческой силы и полного жажды дѣятельности. Пусть самъ онъ просто физически слабъ и хилъ и не такъ воспитанъ жизнью, чтобы въ открытую бороться со зломъ, — онъ вручаетъ свою вѣру въ будущее самому этому будущему въ лицѣ «дѣтей». Вы помните, какъ кончается разсказъ «Про пала совѣсть». Совѣсть, всѣми отталкиваемая и швыряемая, попадаетъ наконецъ въ сердце «маленькаго русскаго дитяти». «И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнуть тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама».

Среди крайне немногочисленныхъ положительныхъ, симпатичныхъ автору образовъ, въ писаніяхъ Щедрина одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ юноша, стремящійся къ добру и правдѣ. Таковъ въ «Вольномъ мѣстѣ» Степа.—Таковъ въ «Благонравныхъ рѣчахъ» Коронавъ. Онъ является мимоходомъ, но вполне ясенъ, благодаря ясности отношенія къ нему автора. Авторъ отечески добродушно подтруниваетъ надъ его рѣзкостью, надъ его презрѣніемъ къ общепринятымъ приличіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не только любитъ, а и уважаетъ его.—Таковъ далѣе въ «Мелочахъ жизни» Чудиновъ. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ учиться, затѣмъ «онъ началъ понимать, что за ученіемъ можетъ стоять цѣлый разнообразный строй отношеній; что существуетъ общество, родная страна, дѣло, подвигъ». Но тутъ его подкосила чахотка, и ему надо

уѣзжать изъ Петербурга. Дверь ученія для него уже закрыта но онъ какъ-нибудь доберется до дома, отдохнетъ, выправится и непременно выполнить ту задачу, которая въ послѣднее время начала волновать его. Смерть не дала ему прикоснуться къ этой задачѣ, и прославленный своей насмѣшливостью и суровостью Щедринъ плачетъ въ послѣдней строкѣ разсказа: «Умеръ человѣкъ, искавшій свѣта и обрѣвшій смерть».— Сюда же относится Юленька, внучка Ивана Михайловича въ «Дворянской хандрѣ». Молодая дѣвушка, которую дѣдъ зоветъ «мудрой», горячо убѣждаетъ двухъ стариковъ: «Заря опять придетъ, и не только заря, но и солнце! Есть добрые, не падающіе духомъ! есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ!»

Это—вѣра самого Салтыкова. Дѣйственная вѣра, ибо Салтыковъ не думалъ, что стихійный историческій процессъ самъ собой одолѣетъ сатану и приведетъ все къ наилучшему концу, безъ усилій съ нашей стороны. Эту-то дѣйственную вѣру онъ и завѣщалъ молодымъ силамъ. Оправдаются-ли онѣ его надежды?

III.

Отношеніе къ народу.

Едва-ли найдется много словъ, которыя подвергались бы такой трепкѣ, какая выпала у насъ недавно на долю слова «народъ». Разумѣю семидесятые и самое начало восьмидесятыхъ годовъ. Потому это измученное слово куда-то кануло и чуть не совсѣмъ изъ обращенія вышло. А, казалось, такое необходимое, неизбежное слово было... И серьезные люди были имъ заняты, и веселонравные. Нѣкоторые увѣрили даже, что оно, равно какъ и самый предметъ, имъ обозначаемый, ужъ слишкомъ много мѣста въ литературѣ занимаютъ: отъ мужика, дескать, проходу нѣтъ, изъ-за него всѣ высшія задачи духа, а также и увеселительная сторона жизни забываются. Тутъ и горячіе теоретическіе споры были, и беллетристика соответственная, а одно время «народъ» забрался было такъ высоко («выше сферы своей, словно пролетарій какой», сказали бы образованный гоголевскій приказчикъ), что даже въ области общей практики поднялось знамя «народной политики». Нельзя сказать, чтобы всѣ сердца были этимъ обрадованы и обнадѣжены, но уличная литература проворно пристроилась къ новому знамени, хотя, впрочемъ, стольже проворно отъ него отхлынула, когда явились другія знамена. А потомъ и пошелъ «народъ», какъ влѣтъ ко дну, и пустилъ ему въ догонку нѣкто-

рый легкомысленный писатель презрительное *«culte du peuple»*.

Дѣло, впрочемъ, не въ судьбѣ слова «народъ», а въ той позиціи, которую занималъ по отношенію къ нему Салтыковъ. Позиція эта была очень сложная, какъ оно и должно было быть въ виду сложности самаго предмета. И еслибы во время трепки, задаваемой слову «народъ», воѣ трепавшіе принимали въ соображеніе эту сложность, еслибы нѣкоторые изъ нихъ не валили въ одну кучу народъ-націю, народъ-толпу, народъ-простонародье, народъ—рабочихъ людей, то получились бы, надо думать, нѣкоторые болѣе осязательные результаты, чѣмъ тѣ, какіе имѣются теперь.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ нѣкто Кунцъ усердно рекламировалъ изобрѣтенныя имъ кушетки, чрезвычайно удобныя для исполненія на нихъ тѣлеснаго наказанія. Выдумалъ-ли Кунцъ, кромѣ того, пороки—неизвѣстно, но спеціальныя кушетки для сѣченія, кажется, не обогатили Кунца: ни начальство, ни частная инициатива не опѣнили этого благодѣтельнаго изобрѣтенія. Салтыковъ по этому случаю писалъ: «Я все-таки радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ, я и самъ объяснить не могу, но мнѣ кажется, что еслибы это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги ему за него было бы мало. А Кунцу какъ разъ въ пору» («Недоконченныя бесѣды»). Что же это такое значить? Почему такая очевидно любовная строгость къ Иванову и такая презрительная снисходительность къ Кунцу? Родители, воспитатели, учителя говорятъ старшему сыну или первому ученику: тебѣ-то ужъ стыдно, ты вѣдь не то, что вотъ этотъ маленький или вотъ этотъ послѣдній ученикъ! И это понятно. Но развѣ Кунцъ маленький или послѣдній, а Ивановъ старшій или первый? Конечно, нѣтъ. Наоборотъ, Кунцъ и старше, и по успѣхамъ выше стоитъ. За Кунцомъ прочная вѣковая культура числится, а Ивановъ чуть что не новорожденный. Совершенно поэтому несправедливо казнить его каторгой за то самое, что Кунцу въ пору. Если такъ разсудить, что Кунцъ, предлагая свои усовершенствованныя кушетки русскому началству и русской частной инициативѣ, все-таки, по крайней мѣрѣ, хотъ на чужія ему, русскія спины покушался, а Ивановъ не имѣлъ бы за себя этого оправданія, то на первый взглядъ это какъ будто и похоже на аргументъ. Но только на первый взглядъ. Прежде всего, Кунцъ ни на что не покушался. Онъ не пропагандировалъ розги, а просто говорилъ: вы употребляете розги, такъ вотъ вамъ усовершенствованіе. Но еслибы и въ самомъ дѣлѣ рѣчь шла о про-

пагандѣ розогъ, такъ неужто же идея братства народовъ такъ мало подвинулась къ своему осуществленію, что, напримѣръ, русскому русскія спины огорчать не годится, а испанскія или нѣмецкія ничего, можно? Нельзя, конечно, сказать, чтобы идея братства народовъ очень подвинулась впередъ въ наши дни всеобщаго приготовленія къ всеобщей дракѣ, но что касается Салтыкова, я увѣренъ, что онъ не похвалилъ бы Иванова за покушеніе и на испанскія спины. И, что всего замѣчательнѣе, сатирикъ и самъ не можетъ объяснить, почему онъ радъ, что кушетку для сѣченія выдумалъ Кунцъ, а не Ивановъ. Нѣкоторое объясненіе можно, пожалуй, почерпнуть изъ знаменитаго діалога «мальчика въ штанахъ» и «мальчика безъ штановъ» («За рубеземъ»). Нѣмецкій мальчикъ въ штанахъ благовоспитанъ, во всякомъ случаѣ благовоспитаннѣе русскаго мальчика безъ штановъ; онъ справедливо хвалится и лучшимъ питаніемъ, чѣмъ какое получаетъ его собесѣдникъ, и добрыми нравами, и наукой, и свободными учрежденіями. Ничего равносильнаго мальчикъ безъ штановъ съ своей стороны предъявить не можетъ. Однако и онъ, наконецъ, уловляетъ мальчика въ штанахъ. Изъ дальнѣйшаго разговора оказывается, что мальчикъ въ штанахъ продать за грошъ свою душу чорту, то есть г. Гехту, а душа мальчика безъ штановъ хотя тоже принадлежитъ чорту, то-есть г. Колупаеву, но отдана ему даромъ, безъ всякаго контракта, а слѣдовательно, пожалуй, можетъ быть и назадъ взята. Авторъ съ своей стороны находитъ, что, какъ ни велики блага цивилизаціи, которыми пользуется нѣмецкій мальчикъ, но не настолько они все-таки цѣнны, чтобы за нихъ можно было продать душу. Въ приложеніи къ спеціальнымъ кушеткамъ для порки, я думаю, это значить вотъ что: нехорошая вещь порка, но еще хуже, если люди сюда душу кладутъ и не о прекращеніи нехорошаго дѣла думаютъ, а ломаютъ себѣ головы надъ разными его тонкостями и усовершенствованными приспособленіями; пусть ужъ порка остается, доколѣ ей жить суждено, въ своемъ первобытномъ, неусовершенствованномъ видѣ! А такъ какъ Кунцъ вообще чорту душу продать, то ему, пожалуй, въ пору этими усовершенствованіями заниматься; Иванову же этого не полагается.

Эта мысль навѣрное входила въ составъ радости Щедрина, что не Ивановъ, а Кунцъ выдумалъ кушетку. Однако, по возвращеніи изъ «за рубеза» онъ встрѣтилъ «мальчика безъ штановъ», облаченнымъ не только въ штаны, а и въ полную красивую форму желѣзнодорожнаго артельщика, причѣмъ оказалось, что онъ теперь ужъ «по

контракту» у г. Разуваева. Это одно уже, если не колеблеть нашего объясненія, то свидѣтельствуешь о его неполнотѣ и односторонности.

Вообще надо сказать, какъ ни обширна, какъ ни сложна писательская дѣятельность Салтыкова, но главныя ея исходныя точки чрезвычайно просты, до такой степени просты, что даже почти не поддаются логическимъ операціямъ. Мы уже видѣли этому примѣры. Его тяготѣніе къ литературѣ въ основаніи своемъ не есть результатъ какихъ-нибудь логическихъ соображеній, это просто инстинктъ, элементарное чувство самосохраненія, и онъ самъ не могъ бы его объяснить: кто жъ его знаетъ? просто тянетъ. Онъ любитъ литературу прежде всего, какъ говорится, нутромъ и притомъ литературу вообще, всю, литературу *an sich und für sich*. Но затѣмъ появляется на сцену контролирующее и направляющее сознание, сознание до такой степени сильное и всегда бодрствующее, что не допускаетъ его ни до малѣйшихъ уклоненій отъ намѣченнаго литературнаго пути и даетъ ему, возможность до тонкости разобраться въ чужихъ путяхъ и уклоненіяхъ. То же самое мы видѣли и въ его вѣрѣ въ будущее. Въ основаніи своемъ это опять-таки нѣчто сырое, непосредственное, почти физиологическое. Онъ вѣритъ въ будущее просто потому, что онъ уродился крупной и дѣятельной натурой, въ которой живутъ и силы и стремленіе повліять на ходъ вещей; въ качествѣ таковой, онъ не можетъ не вѣрить въ будущее, помимо всякихъ логическихъ доводовъ. Но опять-таки выступаетъ контролирующее сознание и не только не допускаетъ его до какихъ-нибудь слащавостей (которыхъ не чуждъ, напри- мѣръ, даже Гоголь), но даетъ возможность пророчески ясно видѣть то зло, которое должно перейти изъ настоящаго въ ближайшіе этапы будущаго. Это необыкновенно счастливое сочетаніе могучей непосредственности, богатаго сырья съ одной стороны, и силы неунынно бодрствующаго сознания, съ другой—составляетъ, мнѣ кажется, основную черту всей литературной фizioноміи Салтыкова. Она-то и придавала особенную твердость, особенную вѣскость и устойчивость всему, что онъ дѣлалъ. Въ Салтыковѣ все непосредственно, все стихійно въ своей исходной точкѣ, все установилось «безъ размышленія, безъ борьбы, безъ думы роковой», но только въ исходной точкѣ, а въ дальнѣйшемъ развитіи подвергалось строжайшему контролю сознания. Это, какъ я уже замѣтилъ въ первомъ очеркѣ, отражалось и на самой technikъ его работы: яркіе образы, оригинальные обороты рѣчи, блестящіе и совершенно неожиданныя сравненія возни-

кали въ его мозгу съ чрезвычайной быстротой, вы могли за этимъ слѣдить въ простомъ разговорѣ съ нимъ, но писаль онъ упорно и много труда вкладывалъ въ свои писанія. Можетъ быть здѣсь же слѣдуетъ искать основанія того довѣрія, которое онъ питалъ къ непосредственному чувству родительской любви, каковое чувство должно было способствовать просіянію совѣсти.

Та же самая черта сказывается въ занимающемъ насъ теперь вопросѣ. Салтыковъ самъ признается, что не можетъ объяснить, почему онъ радъ, что кушетку для порки, выдумалъ Кунцъ, а не Ивановъ. Кто же ее знаетъ?! Просто потому, что онъ любитъ Иванова, и ему было бы обидно, еслибы любимый человекъ занимался сквернымъ и унижительнымъ дѣломъ усовершенствованія порки, а Кунцъ, пожалуй, Богъ съ нимъ, потому чужой онъ ему. Салтыковъ понималъ односторонность такого взгляда, если тутъ можно говорить о взглядѣ, а не просто о безотчетномъ тяготѣніи,—понималъ и самъ подтрунивалъ; но понималъ также, что ничего съ этимъ не подѣлаешь въ виду тѣхъ «внутреннихъ нитей, которыя съ самаго рожденія связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизмѣнно черезъ все наше существованіе». («Письма о провинціи»). Кунцъ, конечно, такой же человекъ, какъ и Ивановъ, можетъ быть даже лучше его, а все-таки Иванова, хоть бы онъ даже съ вполне неумышленнымъ рыломъ ходилъ, не отдерешь отъ сердца. И не только самого Иванова, его чадъ и домочадцевъ, а и всю его, можетъ быть, очень убогую физическую и нравственную обстановку, весь тотъ хотя бы очень унылый пейзажъ, среди котораго онъ проводитъ свою жизнь. Еще въ «Губернскихъ очеркахъ» есть прочувствованныя страницы на эту тему. Напримѣръ:

„Я люблю эту бѣдную природу, можетъ быть потому, что какова она ни есть, она все-таки принадлежитъ мнѣ; она сроднилась со мной точно также, какъ и я сжился съ ней; она легла моею молодостью; она была свидѣтельницей первыхъ тревогъ моего сердца, и съ тѣхъ поръ ей принадлежитъ лучшая часть меня самого. Перенесите меня въ Швейцарію, въ Индію, въ Бразилію, окружите какою хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо—я все-таки вездѣ найду милые сѣренькіе тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу ихъ въ моемъ сердцѣ, потому что душа моя хранитъ ихъ, какъ лучшее свое достояніе“.

Это писано давно, когда Салтыковъ еще не выработалъ того яркаго, блестящаго неожиданнаго искрами языка, какимъ онъ писалъ впослѣдствіи. Но тѣ-же мысли или чувства разсыпаны и въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, между прочимъ и въ «За рубежемъ». Напомню только образъ стараго

чimpanдзе въ берлинскомъ зоологическомъ саду. Сквозь юморъ, которымъ сверкаетъ описаніе старой обезьяны, «оторванной отъ дорогихъ интересовъ родины и посаженной за рѣшетку», слышится настоящая, глубокая тоска по родинѣ. Чимпандзе былъ можетъ быть у себя въ родныхъ лѣсахъ исправникомъ и теперь тамъ за нимъ «числится тридцать тысячъ неисполненныхъ начальственныхъ предписаній и девяносто тысячъ (по числу населяющихъ его округъ чимпандзе) не произведенныхъ обысковъ!» И у исправника, и у тѣхъ чимпандзе, у которыхъ онъ производитъ обыски, и у прочихъ членовъ этого обезьяняго народа есть на родинѣ собственная, привычная имъ атмосфера, насыщенная общими имъ нравами, привычками, говоромъ, даже разумомъ. Все это дорого и близко сердцу. Такъ же дорого и близко сердцу Щедрина все сонмище Ивановыхъ, весь русскій народъ. Это совершенно непосредственная любовь, не поддающаяся логическому анализу, потому что Салтыковъ былъ настоящий, коренной русскій человѣкъ, не происхожденіемъ только, а всѣмъ складомъ, и просто естественномъ тянулся туда, «гдѣ русскій духъ, гдѣ Русью пахнетъ». Какъ и всѣ исходныя точки Салтыкова, это тяготѣніе не подлечь никакому вмѣненію: ни вины его тутъ нѣтъ, ни заслуги. Вина или заслуга начинаются съ того момента, когда наступаетъ работа сознанія.

Любовь къ Россіи, къ русскимъ людямъ, къ русскому народу сплошь и рядомъ представляетъ собою нѣчто въ родѣ крышки отъ Пандорина ящика, которую стоитъ только приподнять, чтобы изъ ящика хлынули пошлость, наглость, ложь, лицемеріе, безпардонное самохвальство. И не всякій, даже искренно охваченный тою стихійною привязанностью къ русскимъ людямъ, которая жила въ Салтыковѣ, благополучно сводить концы съ концами въ томъ на видъ простомъ, а въ сущности очень сложномъ предметѣ, который называется: русскій народъ. Иной совершенно искренно ухватится за какую-нибудь подробность въ родѣ сарафана или сапоговъ на выпускъ и до такой степени ослѣпится ими, что и не замѣтитъ, какъ тѣмъ временемъ расплывутся куда-то подлинно важныя черты народной жизни. А о лжецахъ нечего и говорить. Тѣ очень рады, когда можно замутить воду и потомъ наловить въ ней рыбы. Мутить же воду въ данномъ случаѣ чрезвычайно легко. Стоитъ только, воздымая руки къ небу или бія себя въ грудь, погромче кричать: мы, русскіе!... русскій народъ!... историческая задача русскаго народа... Анъ, смотришь, русскій солдатикъ подъ эти возгласы пошелъ на войну

на картонныхъ подошвахъ, а разница между картонными и кожанными подошвами осталась въ тѣхъ самыхъ рукахъ, которыя воздымались къ небу. Потомъ опять: мы русскіе!... русскій народъ!... Анъ и опять что-нибудь перепадетъ: какихъ-нибудь жидовъ или нѣмцевъ уберутъ и на ихъ мѣсто кричащіе сядутъ и хотя будутъ дѣлать то же самое, что дѣлали убранные жиды и нѣмцы, или даже превзойдутъ ихъ, но за-то будутъ по-русски въ банѣ по субботамъ париться, по воскресеньямъ русскіе пироги съ капустой ѣсть и отборными русскими скверными словами ругаться. И патриотическія сердца возрадуются.

Собственно о патриотизмѣ Салтыкова мы будемъ говорить, когда дойдетъ очередь до «благонамѣренныхъ рѣчей». Здѣсь я замѣчу только, во-первыхъ, что, по мнѣнію Салтыкова, если еврей говорить: «дурака шапу», то это совершенно равнозначительно русскому: «дурака сосу» («Недоконченныя бесѣды»). Во-вторыхъ, Салтыковъ утверждаетъ:

„Идея, согревающая патриотизмъ,—это идея общаго блага. Какими бы тѣсными предѣлами мы ни органичивали дѣйствіе этой идеи (хотя бы даже пространствомъ княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такимъ радостямъ и страдать такими страданіями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ лишь самымъ отдаленнымъ образомъ. Воспитательное значеніе патриотизма громадно: это школа, въ которой человѣкъ развивается къ воспринятію идеи о челоѣчествѣ“ („Сила событій“).

Какъ бы то ни было, «но русскій духъ» родственно милъ Салтыкову. И вотъ почему онъ радъ, что Кунцъ, а не Ивановъ изобрѣлъ кушетку для порки. Но Ивановъ не всегда такъ безупреченъ, и въ такихъ случаяхъ сатирикъ бываетъ огорченъ. Поводовъ для огорченія Ивановъ доставляетъ много, и изъ этого множества возьмемъ на первый разъ такой. Отчего, — спрашиваетъ Салтыковъ, — путешествующій англичанинъ вездѣ носитъ свой родной типъ, со всѣми его слабыми и сильными сторонами, и ничего своего не утаиваетъ, а русскій «гулящій человѣкъ» за границей всачески лезбизитъ, притворяется, отъ своего отрешивается и даже готовъ при случаѣ оклеветать свое отечество? Русскій мужикъ, однако, «является самимъ собой, т. е. простымъ, непринужденнымъ, и точно также (какъ англичанину) не придетъ ему въ голову стыдиться того, что онъ русскій» («Русскіе гулящіе люди за границей»). Такимъ образомъ въ многомилліонной массѣ Ивановыхъ оказывается какая-то цѣль, рѣзко отдѣляющая «гулящихъ» Ивановыхъ отъ Иванова-мужика. Цѣль эта глубокая, потому что не о пустякахъ какихъ-нибудь идетъ рѣчь, не

о сапогахъ въ штаны или штанахъ въ сапоги, а о выдающейся чертѣ душевнаго склада. А «гулящие люди», надо замѣтить, не ничтожная какая-нибудь горсть, которую и во вниманіе не стоитъ брать. Правда, относительно число ихъ не можетъ быть велико, но должно быть они представляютъ собою нѣкоторую значительную силу, потому что, какъ рассказываетъ сатирикъ, «въ Россіи они ѣздятъ на перекладныхъ и колотятъ по зубамъ ямщиковъ» («за границей они пересаживаются въ вагонъ и не знаютъ, какъ и передъ кѣмъ излить свою благодарную душу»). Читатель видитъ, что мы находимся не въ сегодняшнемъ днѣ, потому что кто же теперь ямщиковъ по зубамъ колотить, да и на перекладныхъ-то кто ѣздитъ? Но для нашей цѣли это безразлично, мы только стараемся разобраться въ мысляхъ Салтыкова. Вся масса Ивановыхъ, первоначально какъ будто равно дорогихъ сердцу сатирика, раскалывается на двѣ группы, и въ первой изъ нихъ, меньшей числомъ, но сильной значеніемъ, оказываются такіе нравственные изъязны, что положеніе человѣка, связаннаго съ ними непосредственными, кровными узами, весьма усложняется. Узы остаются, все равно, какъ Авель и Каинъ, не смотря ни на что, остаются братьями, сыновья, надругавшіеся надъ Ноемъ, остаются его дѣтьми. Это—свои, и ничего тутъ не подѣлаешь. Но тѣмъ больше чувствуется безобразіе «гулящихъ людей», тѣмъ сильнѣе возбуждаемое ими негодованіе. За то на другой группѣ, на мужикѣ, глазъ сатирика отдыхаетъ.

Обыкновенно думаютъ, что это дѣленіе всего русскаго народа на собственно народъ и отколовшіеся отъ него высшіе, правящіе классы есть и открытіе, и отличительная черта славянофиловъ, причемъ, дескать, они, именно они и одни они отдавали свои симпатіи народу въ тѣсномъ смыслѣ слова. Это далеко не вѣрно. Тотъ же Салтыковъ, будучи немногимъ моложе основателей славянофильства, принадлежа во всякомъ случаѣ одной съ ними эпохѣ развитія, но никогда не испытывъ на себѣ ихъ вліянія, совершенно самостоятельно отмѣчаетъ фактъ, составляющій будто бы ихъ открытіе, и столь же самостоятельно выражаетъ свои симпатіи народу. И это не случайно брошенная мысль, она всегда жила въ Салтыковѣ, равно какъ и во многихъ другихъ писателяхъ отнюдь не славянофильскаго лагера. Добролюбовъ, считающійся отъявленнымъ западникомъ и во всякомъ случаѣ не имѣющій ничего общаго съ славянофильствомъ (я полагаю, что въ его время умные люди уже вполне эмансипировались какъ отъ западничества, такъ и отъ славя-

нофильства), съ полнымъ сочувствіемъ отмѣтитъ эту тенденцію, явственно проходящую черезъ всѣ «Губернскіе очерки». Дѣйствительно, стоитъ только сравнить очерки, озаглавленные «Общая картина», «Отставной солдатъ Пименовъ», «Пахомовна», съ тѣми, въ которыхъ фигурируютъ крупные и мелкіе чиновники, помѣщики, крутогорскій бомондъ, чтобы убѣдиться въ ярко выраженной симпатіи Салтыкова къ народу. Какъ справедливо указалъ Добролюбовъ, онъ не вноситъ никакой фальшивой идеализаціи въ свои изображенія народныхъ типовъ. Народъ у него является со всѣми своими недостатками, грубостью, невѣжествомъ, но вы чувствуете, что авторъ правъ, говоря, что онъ находится «подъ обаятельнымъ вліяніемъ юной и свѣжей народной силы» («Отставной солдатъ Пименовъ»). Тотъ же мотивъ слышится и въ «Невинныхъ разсказахъ» («Святочный разсказъ», «Развеселое житіе»), гдѣ авторъ «ощущаетъ, что въ сердцѣ его таятся невидимая, но горячая струя, которая безъ вѣдома для него самого приобщаетъ его къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни».

Времена «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ» я назвалъ бы періодомъ безсознательнаго отношенія Салтыкова къ народу. Чиновничество и помѣщики сразу отделились для него въ особую отъ собственно народа группу. И немудрено: онъ видѣлъ крѣпостное право и крымскую войну. Но затѣмъ онъ безхитростно и правдиво разсказывалъ видѣнное и слышанное имъ въ народной средѣ, не теоретизировалъ ни въ какомъ направленіи, не пытался анализировать ни свои чувства, ни предметъ, ихъ возбуждавшій. Онъ просто любовался поэтическою цѣльностью вѣры какого-нибудь отставнаго солдата Пименова и другихъ богомольцевъ и странниковъ, или отчаянною и опять-таки поэтическою удалью героя «Развеселаго житія». Это любованье осложнялось лишь скорбью о томъ гнетѣ, подъ тяжестью котораго изнываетъ народъ («Святочный разсказъ», «Миша и Ваня»). Но скорбь эта, казалось тогда, должна въ скорости потерять всякій *raison d'être*. Весеннее солнце всходило надъ русской землей—вѣковыя кучи снѣга и льда таяли, и «Русскій Вѣстникъ», гдѣ печатались «Губернскіе очерки», шелъ во главѣ того весенне-радостнаго движенія, которому онъ же потомъ доставилъ мрачные осенніе дни. Казалось, вотъ-вотъ наступитъ на землѣ миръ и въ человѣчѣхъ благоволеніе, а потому и скорбь о народныхъ бѣдствіяхъ не могла приковывать къ себѣ слишкомъ пристальное вниманіе и очень отвлекать отъ непосредственнаго любованія картинами народ-

ной жизни. Весна кончилась, да и Салтыковъ выросъ, его могучая сила сознанія вступила въ свои права и обязанности.

Защищая литературу и главнымъ образомъ «*Отечественныя Записки*» отъ упрековъ въ переполненіи мужикомъ, Салтыковъ говорилъ Оедепкъ Неугодову: «Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому литература наша по-временамъ кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... *que diable!*» («Круглый годъ»). И это правда. Конечно, «соловьи и розы» какъ будто не совсѣмъ идутъ къ суровому облику нашего сатирика. Но несомнѣнны всетаки его художественные инстинкты, сказавшіеся и въ томъ любованіи картинами народной жизни, которое мы видимъ и въ «*Богомольцахъ*», «*Странникахъ и пробзжихъ*», и въ «*Святочномъ рассказѣ*», и въ «*Развеселомъ житіи*». Тамъ положительно есть и соловьи и розы. Художнику отказаться отъ нихъ не легко. Но, продолжаетъ Щедринъ объяснять Оедепкъ Неугодову:

„присмотрѣвшись къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ—герой современности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумеется, не былъ очевидцемъ «начала», но я не только помню, но даже лично присутствовать при нихъ. Я помню «Деревню», помню „Антонъ-Горемыку“, помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль объ томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половинны пидесятыхъ годовъ эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ“.

Да, но тогда мужикъ былъ главнымъ образомъ, почти исключительно, человѣкъ, подлежащій освобожденію. Эта, безспорно огромная сторона его существованія заслоняла въ немъ для литературы и общества все остальное. Много благотворныхъ, какъ много, впрочемъ, и злыхъ и дрянныхъ мыслей было пущено въ оборотъ, но какіе бы обширные горизонты онѣ ни обнимали, ихъ источникъ и ихъ устье составлялъ всетаки человѣкъ, подлежащій освобожденію. И вотъ этотъ человѣкъ освобожденъ. Покончилась ли вмѣстѣ съ тѣмъ «проблема о мужикѣ»? Салтыковъ этого не думаетъ. И не только потому, что, какъ спрашиваетъ поэтъ, «народъ освобожденъ, но счастливъ-ли народъ»? Дѣло не въ счастіи или несчастьи народа, то-есть не въ немъ одномъ. Народъ пред-

ставляется Салтыкову огромною загадкою, огромнаго теоретическаго интереса и огромной практической важности. Загадка эта по-истинѣ не даетъ ему покоя. Онъ пробоваеъ воплощать ее въ образы. Такова, на примѣръ, «Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ». Разсказавъ эту повѣсть, Щедринъ точно и самъ съ недоумѣніемъ останавливается передъ ея моралью. Какъ это такъ вышло, что мужикъ, будучи неизвѣстно съ чего и по какому праву разбуженъ и обруганъ генералами, сейчасъ же полѣзъ на дерево, нарвалъ имъ по десятку самыхъ спѣлыхъ яблоковъ, а себѣ взялъ одно, кислое? Какъ такъ вышло, что и дальше онъ ихъ кормилъ, поилъ, наконецъ, доставилъ въ Большую Подъяческую, гдѣ они кучу денегъ загребли, а ему «выслали рюмку водки, да пятакъ серебра: веселись, мужичина!» А вышло именно такъ. Силища, очевидно, страшная, а помыкать ею такъ легко; работа египетская, а за двадцать спѣлыхъ яблоковъ приходится одно кислое. То же самое недоумѣніе и въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь». Подъ впечатлѣніемъ пре-красно удавшагося юбилея въ честь департаментскаго помощника экзекутора, сатирикъ видитъ сонъ. Въ селѣ Безкормицкѣ учитель Крамольниковъ и священникъ Возсіяющій затѣяли, въ видахъ благотворнаго воздѣйствія на крестьянъ, а также и просто въ видахъ справедливости, устроить пятидесятилѣтній юбилей въ честь крестьянина Мосеича: ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Мосеичъ женился и тѣмъ самымъ возложилъ на себя рабочее тягло. По свидѣтельству священника, сельскихъ начальниковъ и прочихъ односельчанъ, Мосеичъ прожилъ эти пятьдесятъ лѣтъ безукоризненно: работалъ въ потъ лица, подати своевременно вносилъ, храмъ Божій посѣщалъ, семьянинъ былъ прекрасный. На юбилей учитель Крамольниковъ произноситъ длинную и горячую рѣчь на тему о великихъ трудахъ русскаго крестьянина. Рѣчь эта очень замѣчательна, даже помимо юбилея. Но Крамольникову не пришлось кончить рѣчь. Онъ только что перешелъ къ «вопросу о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столько опасностей и непосильныхъ трудовъ?» — какъ сонъ автора, вслѣдствіе нѣкотораго посторонняго явленія, «принялъ рѣзко хаотическій характеръ».

«Ташкентство, — говоритъ Салтыковъ, — плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, столько тѣмъ, что за нимъ неизбежно скрывается «человѣкъ, питающійся лебедой». Этотъ человѣкъ—явленіе очень любопытное, въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ,

но повидимому и не желаетъ сытости. Стоить онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравейникѣ, и до того съежился и примирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышется и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единого живаго звука» («Господа ташкентцы»). За границей передъ Щедринимъ «воочию метался тотъ повинный работѣ человекъ, который, выбиваясь изъ силъ, надрываясь и проливая кровавый потъ, во награду за свою вѣчную страду получить кусокъ мякинного хлѣба. Есть что-то мучительно-загадочное въ этомъ сопоставленіи мякинного хлѣба и вѣчной страды» («За рубежомъ»).

Въ одной изъ сказокъ народъ изображенъ въ видѣ «Коняги». Жилъ-былъ Конь и у него было два сына: Коняга и Пустоплясъ. Пустоплясъ былъ сынъ вѣжливый и чувствительный, Коняга — неотесанный и безчувственный. И опредѣлили, наконецъ, Конь каждому изъ сыновей его долю: Конягѣ — солому, Пустоплясу — овесъ. Много времени прошло, вздумалось пресыщенному благополучіемъ Пустоплясу посмотрѣть, какъ его братецъ живетъ. Пришелъ, смотритъ и удивляется: бьютъ Конягу чѣмъ ни попади, кормятъ соломой, съ утра до ночи Коняга въ полѣ работаетъ, а все живъ. Стали Пустоплясы разсуждать, отчего это Коняга живетъ, когда ему по всѣмъ соображеніямъ давно помереть надо. Одинъ говоритъ, что это отъ здраваго смысла, другой, — что это въ Конягѣ «жизнь духа и духъ жизни» дѣйствуютъ, третій приписываетъ чудо душевному равновѣсію, четвертый — привычкѣ. Такъ и остался вопросъ нерѣшеннымъ.

Эта нерѣшенность «проблемы о мужикѣ» или, какъ его также называетъ Салтыковъ, «человѣкъ, питающемся лебедой», «человѣкъ, повинномъ работѣ», «внѣ-культурномъ человѣкъ», чрезвычайно беспокоитъ сатирика, изъ чего видно, что не одни пустоплясы этимъ дѣломъ заняты. Салтыковъ и самъ это очень хорошо знаетъ. Въ «Письмахъ о провинціи» есть слѣдующія, въ высшей степени замѣчательныя строки:

„Есть что-то фаталистическое въ томъ, что мы всѣ завѣтными, свѣтлыя думы наши посвящаемъ именно этой забытой, малосмысленной и подчасъ жестокой толпѣ, что самый великій мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ имѣть ничего общаго съ мыслью толпы, именно ей отдаетъ лучшую часть своей дѣятельности. Да, тутъ есть своего рода фатализмъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеніе, которое не хотятъ или не могутъ объяснить, а фатализмъ, объясняемый тою общечеловѣческой основой, которая именно и составляетъ соединительное звено между неразвитою

толпой и наиболее развитою отдѣльною человѣческой личностью. Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу“.

Въ словахъ этихъ указано дѣйствительно любопытное явленіе, и мы увидимъ въ свое время, что Салтыковъ дѣлаетъ любопытные тоже выводы изъ него. Спора нѣтъ, ходятъ около толпы и пустоплясы, ходятъ иногда съ видомъ людей, горячо и самостоятельно убѣжденныхъ, такъ что могутъ даже кое-кого въ обманъ ввести. Одни изъ нихъ дѣлаютъ это тогда, когда толпа попадаетъ въ моду (это бываетъ), или вообще когда это, по обстоятельствамъ времени и мѣста, въ какомъ-нибудь отношеніи выгодно. Такіе во всякую данную минуту готовы переимѣнить одну пѣсню на другую, даже безъ всякихъ переходныхъ моментовъ. Переимѣны эти они совершаютъ съ легкимъ сердцемъ, не чувствуя никакой отвѣтственности и не принимая въ соображеніе послѣдствій. Такъ, недавно еще они натравливали «народъ» на «интеллигенцію», но имъ ничего не стоитъ и другую пѣсню запѣть. О такихъ Салтыковъ говорилъ: «Сегодня они злобно сѣютъ смуту, а завтра, ежели смута приметъ безпокойные для нихъ размѣры, они будутъ съ тою же холодною злобой кричать: «пали!» («За рубежомъ»).

Но есть и другаго рода пустоплясы, практически не столь отвратительные, но въ своемъ родѣ не менѣе вредные, хотя бы тѣмъ, что они компрометируютъ дѣло и сводятъ его къ пустякамъ и вздору. Мысли ихъ всегда сбиваются на холодную, узкую и тупую доктрину. Слова говорятъ громкія и запальчивыя, но на нихъ нѣтъ слѣда искренней и живой работы мысли. Такіе пустоплясы могутъ цѣлую жизнь вертѣться на какомъ-нибудь кабалистическомъ сочетаніи словъ въ родѣ «духа жизни и жизни духа» и съ полнѣйшимъ торжественнымъ самоудовлетвореніемъ переливать изъ пустаго въ порожнее. Или же, упершись лбомъ въ какое-нибудь рѣшеніе, присасываются къ нему, какъ устрица къ скалѣ, и боятся оглянуться по сторонамъ, какъ бы новыя факты или новыя точки зрѣнія не повредили принятаго рѣшенія и черезъ это не причинили имъ, пустоплясамъ, безпокойства. Это иногда принимается за твердость убѣжденій, тогда какъ это просто безучастность и трусость мысли. Настоящаго, подлиннаго интереса къ толпѣ нѣтъ и въ этихъ пустоплясахъ, да и мысль ихъ, дряблая и вялая, не выдерживаетъ сколько-нибудь необычнаго напряженія и сколько-нибудь сложной работы, а потому труслива и склонна къ самообману. Не та-

ково положеніе тѣхъ лучшихъ людей, о которыхъ говоритъ Салтыковъ. Безпокойство—ихъ естественный удѣлъ. Конечно, и они, какъ всѣ люди, ищутъ спокойствія, но они понимаютъ, что по дешевымъ цѣнамъ его достать нельзя, то-есть имъ-то нельзя. Они безбоязненно слѣдятъ за всѣми развитіями занимающаго ихъ вопроса, какія бы горькія и трудныя перспективы передъ ними ни открывались. Обмануть себя словомъ или изворотомъ мысли они не могутъ, да и не хотятъ. Къ числу этихъ лучшихъ людей принадлежалъ и Салтыковъ. При добромъ желаніи, изъ его сочиненій можно понадегаться, повидимому, самыхъ разнородныхъ и даже противорѣчивыхъ выраженій, отзывовъ, сужденій, образовъ, картинъ на тему «проблемы о мужикѣ»: рядомъ съ любовнымъ словомъ найдется жесткое, рядомъ съ угнетающей картиной—свѣтлая. И это разнообразіе можетъ привести узколобаго доктринара въ ужасъ. На самомъ же дѣлѣ это разнообразіе, свидѣтельствующее лишь о сложности изучаемаго круга явленій и о томъ упорствѣ, съ которымъ мысль Салтыкова возвращалась къ «проблемѣ», о той искренности, съ которою онъ относился къ дѣлу, можетъ быть очень легко сведено къ исполнѣ опредѣленному единству.

IV.

Честъ и совѣсть.

Въ статьѣ о Глѣбѣ Успенскомъ мнѣ пришлось провести маленькую параллель между честью и совѣстью, причемъ я старался по возможности точно опредѣлить, что именно я разумѣю подъ этими словами, употребляющимися обыкновенно въ довольно неопредѣленномъ смыслѣ. Параллель эта не понравилась покойному О. Э. Миллеру. Въ своей книжкѣ объ Успенскомъ онъ выразилъ мнѣніе, что слово «честъ» и самое понятіе о ней тутъ совѣмъ излишни. Дескать, слово честъ слишкомъ пахнетъ феодализмомъ, рыцарствомъ, оно есть только попытка перевести на нашъ языкъ слово *honneur* «со всѣми барскими и свѣтскими принадлежностями этого термина». Не въ обиду будь сказано доброму покойнику, но онъ прибѣгнулъ въ данномъ случаѣ къ никуда не годному критическому или полемическому приему. Если писатель употребляетъ какое-нибудь слово въ извѣстномъ, опредѣленномъ смыслѣ, то нельзя подсовывать подъ него другой смыслъ и затѣмъ обсуждать этотъ подсунутый смыслъ, оставляя, такимъ образомъ, безъ разсмотрѣнія именно то, что хотѣлъ сказать авторъ. Дѣлаю адѣсь это замѣчаніе потому, что безъ различенія честы

и совѣсти мнѣ было бы трудно разобраться въ нѣкоторыхъ взглядахъ Салтыкова, а между тѣмъ можетъ быть многіе склонны разумѣть честъ исключительно въ смыслѣ «барскихъ и свѣтскихъ принадлежностей этого термина». Я иначе понимаю честъ въ ея противоположеніи съ совѣстью.

Прошу читателя припомнить двѣ сказки Щедрина: «Бѣдный волкъ» и «Баранъ непомнящій».

Послѣ многихъ лѣтъ душегубства и разбоя, въ нѣкоторомъ волкѣ произошелъ нравственный переворотъ. Сначала медвѣдь пристыдилъ, что такая, дескать, жизнь, какую волкъ ведетъ, жизнь, вся наполненная убійствомъ и мыслию объ убійствѣ, позорна, и онъ, медвѣдь, на мѣстѣ волка смерть за благо почиталъ бы. Медвѣжьи доводы волкъ, однако, отпарировалъ тѣмъ, что онъ въ своей натурѣ не воленъ: хорошо медвѣдю разсуждать, когда онъ можетъ и овсомъ, и медомъ баловаться, да еще цѣлую зиму спать и только лапу сосеть, а волкъ круглый годъ, каждый день, каждый часъ вынужденъ помышлять о мясѣ. Носреди дальнѣйшаго разбоя попался разъ волку агненокъ, который такъ особенно жалостно рыдалъ—блеялъ и такъ наивно настойчиво просился къ «мамѣ», какъ еще не случалось слышать волку. Вспомнились ему тутъ кстати медвѣдевы слова насчетъ позора жизни убійцы, для котораго смерть должна казаться благомъ, и отпустилъ онъ агненка, да съ тѣхъ поръ и заскучалъ. Волку нельзя безъ убійства прожить, а между тѣмъ весь лѣсъ кругомъ, всѣми звѣринными голосами кричитъ: «проклятый! душегубы! живорѣзы!» И крики эти правдой отзываются въ волчьемъ сердцѣ; чувствуетъ онъ, что, какъ тамъ ни толкуй, а проклинать его многіе имѣютъ право, что онъ въ самомъ дѣлѣ живорѣзъ. Тоска отъ этой непривычной и неразрѣшимой думы довела его наконецъ до того, что онъ сталъ звать смерть. И когда явились охотники, онъ такъ прямо на нихъ и пошелъ: «вотъ она, смерть избавительница!»

Жилъ-былъ баранъ. Хорошій, породистый былъ баранъ и всѣ свои бараньи обязанности какъ слѣдуетъ исправлялъ. Но вдругъ съ нимъ что-то стряслось. Увидалъ онъ сонъ, содержаніе котораго запомнить не могъ, но который оставилъ въ немъ послѣ себя какую-то тревогу, не то горькую, не то сладостную. Сонъ повторялся и всетаки не забывался, а только пуще тревожилъ. Сталъ баранъ съ тоски чахнуть, и кормъ, и овцы потеряли для него всякій интересъ, а между тѣмъ лицо его становилось все осмысленнѣе и осмысленнѣе, такъ что хоть и не барану, такъ и то въ пору. Точно передъ нимъ какія-то новыя перспективы разстилались, точно

ему что-то широкое и заманчивое грезилося. Однажды ночью наступилъ моментъ просіянія. Баранъ опять увидалъ свой сонъ и на этотъ разъ запомнилъ и понялъ. Онъ вскочилъ, изъ груди его вырвалось потрясающее блескѣ, онъ весь ушелъ въ созерцаніе сладостной тайны сна, но не выдержалъ этого зрѣлища и рухнулъ на землю мертвый. Старый овчаръ объяснилъ дѣло такъ: «стало быть вольнаго барана во снѣ увидалъ, увидитъ-то во снѣ увидалъ, а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ. Вотъ онъ сначала затосковалъ, а современнымъ и издохъ. Все равно, какъ изъ нашего брата бываетъ»...

Въ волкѣ проснулась совѣсть и измучила его до готовности покончить съ жизнью. Баранъ сталъ такою же жертвою проснувшейся чести. Ясно, полагаю, что здѣсь о какихъ-нибудь «барскихъ и свѣтскихъ» ингредиентахъ не можетъ быть рѣчи. Совѣсть есть сознаніе виновности, преступности. Принимаясь за свою щемящую работу, она ставитъ передъ человѣкомъ образы замученныхъ, оскорбленныхъ, притѣсненныхъ имъ, картины совершенныхъ имъ насилій, обмановъ, звучитъ у него надъ ухомъ стоны, упреками, жалобами, и, плотно обступивъ всѣмъ этимъ, требуетъ искупительной жертвы. Жертвы эти приносятся разными людьми на разный манеръ, но во всякомъ случаѣ это должна быть жертва, лишеніе и, прежде всего, конечно, отказъ отъ того склада жизни, противъ котораго протестуетъ совѣсть. И если человѣкъ, не смотря на всѣ побужденія совѣсти, не можетъ отъ него отказаться, не можетъ переломить свою натуру или привычку, онъ долженъ принести въ жертву свою жизнь, кончить такъ, какъ кончилъ волкъ. Только смертью утѣляются въ такомъ человѣкѣ угрызения совѣсти. Честь, напротивъ, есть сознаніе напрасно претерпѣнныхъ обидъ и оскорбленій. Человѣку проснувшейся чести не въ чемъ винить себя: онъ ни передъ кѣмъ не виноватъ, а передъ нимъ можетъ быть и есть виноватые. Проснувшаяся честь терзаетъ его картинами вынесеннаго имъ срама и насилія, и для утоленія этихъ терзаній нужны не лишенія какихъ-нибудь, не жертвы, а напротивъ просторъ всѣмъ сдавленнымъ дотогѣ силамъ, удовлетвореніе всѣхъ притиснутыхъ насиліемъ или обманомъ запросовъ души. Если, однако, этотъ просторъ и это удовлетвореніе по обстоятельствамъ недостижимы, человѣкъ проснувшейся чести опять-таки долженъ принести себя въ жертву. Онъ могъ терпѣть и жаться, пока сознаніе не обвѣтило для него униженности этого положенія, но сознательно выносить его онъ не можетъ: подобно «барану непомнящему», повидавшему «вольнаго

барана», но чувствующему, что это только видѣніе, которому не осуществиться, онъ долженъ умереть.

Эти двѣ драмы, съ такимъ именно смертельнымъ исходомъ, не составляютъ зауряднаго явленія, но всетаки бываютъ и въ дѣйствительной жизни. Само собою разумѣется, однако, что въ большинствѣ случаевъ драмы, обусловленные пробужденіемъ чести или совѣсти, отличаются болѣе мягкимъ характеромъ. Во-первыхъ, совѣсть и честь не всегда бываютъ такъ неумолимо строги, какими онѣ оказались для бѣднаго волка и барана непомнящаго; здѣсь возможны разные компромиссы и половинчатые сдѣлки. Во-вторыхъ, и положеніе героевъ драмы не всегда такъ безвыходно, какъ положеніе бѣднаго волка и непомнящаго барана, которые, дѣйствительно, только смертью могутъ быть избавлены отъ мученій; для другихъ возможны другіе исходы или по крайней мѣрѣ попытки исхода. Есть, наконецъ, огромное число людей, въ которыхъ совѣсть и честь совсѣмъ, никогда не пробуждаются.

«Пою похвалу силѣ и презрѣніе къ слабости». Такъ начинается глава «Хищники» въ «Признакахъ времени». Сатирикъ не выдерживаетъ, однако, этой программы: не выходитъ у него ни похвалы силѣ, ни презрѣнія къ слабости. Оказывается, что сила, то-есть тотъ сортъ силы, который составляетъ предметъ его вниманія и наблюденія, имѣетъ склонность ломать настежь отворенныя двери и брать приступомъ крѣпости, никакимъ гарнизономъ не защищаемые; ея представители суть «рыцари безнаказанной оплеухи». Они никогда не рискуютъ вступать въ сколько-нибудь равную борьбу, но за-то горе тѣмъ, кто не сопротивляется, кто самъ подставляетъ шею подъ ихъ удары! Тутъ они остервеняются и, натѣшившись въволю, требуютъ еще, чтобы поруганная, избитая слабость имѣла довольный видъ и «благодарила за науку». Такой двусмысленной силѣ пожалуй что и не за что пѣть похвалу, потому что она даже и не сила. Съ другой стороны мудрено питать презрѣніе къ той слабости, которая сама дѣлаетъ въ петлю. Это до такой степени противоестественно и ни съ чѣмъ несообразно, что можетъ только вызывать вопросъ: «сквозь какое наслоеніе горечи, недоумѣній и нравственныхъ противорѣчій нужно было пройти, чтобы получить въ результатъ чудовищную бессмыслицу, дающую право гражданства козвенному самоубійству»? Такимъ образомъ, вмѣсто похвалы силѣ и презрѣнія къ слабости, получается лишь недоумѣніе по поводу ихъ взаимныхъ отношеній. Недоумѣніе осложняется смутнымъ чувствомъ стыда, но за кого при этомъ стыдно,—авторъ затруд-

няется рѣшить. Онъ находитъ тутъ даже этимологическія затрудненія. «Станешь придумывать, говорить онъ,—какимъ именемъ назвать эти странныя отношенія, вслѣдствіе которыхъ ломать отворенную дверь признается болѣе умѣстнымъ и цѣлесообразнымъ, нежели ломать дверь, замкнутую на запоръ, и не придумаешь... И застыдишься»...

Я думаю, что силѣ, выбирающей для разгрома отворенную дверь, силѣ, не только дающей слабость, а еще издѣвающейся надъ ней и требующей благодарныхъ ликованій «за науку», приличествуетъ названіе безсовѣстной силы. Слабость же не просто погибающая подъ давленіемъ силы, а покорно подставляющая ей шею и даже извлекающая иногда изъ этой покорности нѣкоторыя эфемерныя выгоды мѣрю въ вершокъ, можетъ быть названа безчестною слабостью. Салтыковъ нигдѣ не употребляетъ этихъ выраженій, но самыя отношенія, ими опредѣляемыя, его очень занимали. Кромѣ вышеупомянутыхъ «Вѣднаго волка» и «Варана непомнящаго», на разныхъ варіаціяхъ этого мотива построены и многія другія его экскурсіи въ область животнаго эпоса. Припомнимъ нѣкоторыя, наиболѣе выразительныя. Въ «Самоотверженномъ зайцѣ» волкъ мучительски издѣвается надъ зайцемъ: сажаетъ его подъ кустъ и велитъ тамъ ждать смерти, а самъ съ волчихой и волчатами мимо показывается, посмѣивается, да приговариваетъ: «а можетъ быть... ха-ха... я тебя и помилю!» Слово, это — полное воплощеніе совершенно безсовѣстной силы и, въ качествѣ такового, натурально возбуждаетъ омерзѣніе. Что же касается жертвы волчьего насильничества и издѣвательства, то какой-то толчекъ въ процессъ творчества не допустилъ сатирика воплотить въ ней съ такою же обнаженностью безчестную слабость. Готовность, съ которою самоотверженный заяцъ самъ идетъ навстрѣчу мучительскимъ замысламъ волка, конечно, не свидѣтельствуетъ о присутствіи въ немъ чести, но вѣстѣ съ тѣмъ онъ дѣйствительно самоотверженно, цѣною собственной гибели, спасаетъ другого зайца, и это скрашиваетъ его фигуру. Въ «Карасѣ-идеалистѣ» жертва еще симпатичнѣе, потому что и слабъ-то карась только физически, духъ же его бодръ; за то шука опять-таки воплощенная безсовѣстная сила. (Таковы же отношенія въ діалогѣ Свины съ Правдой, въ «За рубежемъ»). Въ «Здравомысленномъ зайцѣ» сатирикъ уже сурово относится къ жертвѣ безсовѣстной силы. Жертва эта, конечно, возбуждаетъ жалость, но все-таки это уже несомнѣнно безчестная слабость, старающаяся лѣстить своей жестокой мучительницѣ, угождать ей, и охотно соглашающаяся принять участіе въ предло-

женной лисой мучительской игрѣ, лишь бы еще хоть нѣсколько минутъ протянуть свою жалкую жизнь.

Я не буду слѣдить за Салтыковымъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ рисуетъ пробужденіе совѣсти или чести и взаимныя отношенія безсовѣстной силы и безчестной слабости. Ограничимся тою группою этихъ явленій, которая соприкасается съ «проблемой о мужикѣ».

Изъ крутогорскихъ салоновъ и канцелярій «Губернскіе очерки» переносятъ насъ прямо въ среду странниковъ и богомольцевъ. Вотъ отставной солдатъ Пименовъ. Онъ пробирается пѣшекомъ къ Святой горѣ, но ужъ и раньше не мало исходилъ по святымъ мѣстамъ. Бывалъ и въ пустыни. Онъ знаетъ, что въ пустыню разное людей толкаетъ, между прочимъ, и грѣховное, но есть однако «и такіе, которые истинно отъ страстей мірскихъ въ пустыню бѣгутъ, и ни о чемъ больше не думаютъ, какъ бы душу свою спасти». Эти «дотолѣ плоть въ себѣ умерщвляютъ, что она у нихъ прозрачна и суха содѣлывается, такъ что видома только плоть, а существомъ и похорого на нее нѣтъ». Пименычъ рассказываетъ про одного такого великаго постника, что онъ прежде былъ разбойникомъ, а вдругъ съ чего-то заскучалъ и «всѣ душегубства его непрестанно предъ глазами его объявлялись и всюду за нимъ преслѣдовали». Онъ и ушелъ въ пустыню. На вопросъ, не скрывался-ли онъ тамъ отъ наказанія, Пименычъ отвѣчаетъ: «Если человекъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ наврядъ и палачъ его столь наказать можетъ, сколько онъ самъ себя изнуритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ». Какіе грѣхи искупаетъ своимъ странничествомъ самъ Пименычъ, неизвѣстно, но онъ находитъ полное успокоеніе и, между прочимъ, рассказываетъ такъ: «Идешь эта временемъ жаркимъ, по лѣсочкамъ прохладнымъ, пташка Божія тебѣ пѣсенку поетъ, вѣтерочки мягкіе главу остужаютъ, листочки звуками тихими въ ухахъ шелестятъ... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно». Любопытно, что тѣмъ же эпическимъ языкомъ рассказываетъ и герой «Развеселаго житія»: «Хорошо вѣдь у насъ въ лѣсу бываетъ. Лѣтомъ, какъ сой-детъ это снѣгъ, ровно все кругомъ тебя заговоритъ. Зацвѣтутъ это цвѣты-цвѣтики, прилетитъ птичка малиновочка, застучитъ дятель, закукуетъ кукушечка, муравьи въ земляхъ закопошутся—и не вынешь бы! Травка малая подъ сосной заветъ, и та словно родная тебѣ. А начнетъ эта лѣсъ гудѣть, особливо объ ночь — и вѣтру не чутъ, и

верха не больно, чтобы шатались, — а гудеть! Такъ гудеть, что даже земля многіе десятиа верстъ ровно стонетъ. Столь это хорошо, что даже сердце въ тебѣ разыграется!»—Не смотря однако на то, что Пименъ и герой «Развеселаго житія» говорить однимъ и тѣмъ же языкомъ, а мѣстами даже почти одними и тѣми же словами, они люди совершенно различныхъ категорій. Пименъ есть явно человѣкъ проснувшейся совѣсти, которому удастся то, что не удалось «бѣдному волку»: переломить себя, совлечь съ себя ветхаго Адама и заглушить угрызения совѣсти лишеніями, скитальчествомъ, изможденіемъ плоти. Иванъ (такъ зовутъ героя «Развеселаго житія») есть, напротивъ, человѣкъ пробудившейся чести. Положимъ, что онъ просто разбойникъ, но, усвоивъ ему начало чести въ нашемъ, условномъ смыслѣ этого слова, я не ставлюсь въ противорѣчіе съ Салтыковымъ. Та часть «Губернскихъ очерковъ», которая носитъ подзаглавіе «Въ острогѣ», открывается размышленіемъ о томъ, что привело въ острогъ его обитателей: «постепенно-ли, съ юныхъ лѣтъ развращаемая и наконецъ до отупенія развращенная воля, или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое въ разъядающей борьбѣ съ самимъ собой и наконецъ разорвавшее все преграды и, какъ вышедшая изъ береговъ рѣка, унесшее въ своемъ стремленіи все—даже бѣднаго своего обладателя?» Это жгучее чувство личности и есть проснувшаяся честь, и таковъ именно герой «Развеселаго житія». Онъ — дворовый человѣкъ, не стерпѣвшій обидъ и притѣсненій помѣщика и бѣжавшій въ лѣсъ, гдѣ уже ему пожалуй что и нечего больше дѣлать было, какъ отдаться «развеселому житію». Правда, можетъ быть въ тѣхъ же самыхъ лѣсахъ бродить Пименъ, не только не разбойничая, а спасая свою душу. Но Ивану не въ чемъ каяться, а, значитъ, не съ чего и вериги надѣвать, онъ называетъ себя «замученнымъ, безталаннымъ, безчастнымъ, сиротой — сиротскимъ сыномъ». Можетъ быть онъ встрѣтится какъ-нибудь въ лѣсу съ Пименомъ и тотъ съумѣетъ разбудить въ немъ совѣсть, и станетъ онъ постомъ и молитвой искупать свои разбои, но пока-что, онъ еще поманъ своею, частью съ бою взятой, частью украденной вольною волей, и ни въ чемъ иномъ успокоенія найти не можетъ. Есть, правда, еще одинъ выходъ, тотъ, который выбрали его сосѣди по «Невиннымъ разсказамъ», мальтки Миша и Ваня. Но этотъ выходъ не по немъ. Миша и Ваня тоже не стерпѣли насильствъ своей барыни (можетъ, имъ своего рода «вольный баранъ» приснился) и зарѣзались, въ томъ

разчетѣ, что на томъ свѣтѣ разскажутъ Богу все: «какъ насъ Катерина Аеанасьева мучила, какъ намъ жить тошнехонько стало, какъ насъ день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!»

Такъ пробуждаются въ народной средѣ совѣсть и честь. Пробужденіе совершается въ атмосферѣ невѣжества, преступленія и отчаянія, но и за всѣмъ тѣмъ свѣтится своеобразнымъ поэтическимъ свѣтомъ. Имято и любовался Салтыковъ въ періодъ «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ». И Пименъ, и другіе странники и богомольцы разсказываютъ много вадора, но критически относиться къ этому вадору и въ голову Салтыкову не приходитъ; онъ негодуетъ на станціоннаго писаря, который, въ своей писарской образованности, перебиваетъ разсказъ Пименча скептическими замѣчаніями. Пусть все, что разсказываетъ Пименъ, вадоръ, но не вадоръ его навивная вѣра въ этотъ вадоръ, не вадоръ то искреннее чувство, которое неудержимо толкаетъ Пименча къ подвигу искупленія грѣховъ. Художникъ не анализируетъ, а только любитъ красоту даннаго положенія. То же и съ Иваномъ изъ «Развеселаго житія».

Такъ было, повторяю, въ періодъ «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ». Позже Салтыковъ вышелъ изъ сферы безмятежнаго художественнаго созерцанія народной жизни, и передъ нимъ встала во всей своей глубинѣ и обширности «проблема о мужикѣ». Прежде всего его поразило то, какъ отражаются на народной жизни взаимныя отношенія безсовѣстной силы и безчестной слабости. Въ самомъ присутствіи къ «Сатирамъ въ прозѣ» онъ разсказываетъ и подробно анализируетъ слѣдующее происшествіе, котораго самъ онъ былъ очевидцемъ. Дѣло было на рѣкѣ. Начальство распорядилось, чтобы ни одна изъ плывущихъ по рѣкѣ барокъ и лодокъ не смѣла переплывать за паромный ходъ, пока не свалитъ весь народъ. Въ распоряженіи этомъ не было никакой надобности, потому что, покуда машина нагружается, сотни лодокъ успѣли бы переплыть по ту сторону паромнаго хода. Тѣмъ не менѣе, вся рѣка замерла. Но одна лодка, наконецъ, соскучилась и двинулась. Начальство тотчасъ откомандировало «своего дантиста для преслѣдованія и наказанія ослушника».

«Преслѣдуемый, какъ только увидѣлъ дантиста, не пустился на утекъ, какъ можно было ожидать, но показалъ рѣшимость духа изумительную, т. е. пересталъ грести и, сложивъ весла, ожидалъ. Мнѣ показалось даже, что онъ заранее и инстинктивно далъ своему тѣлу наклонное положеніе, какъ бы защищаясь только отъ смертнаго боя. Ну, натурально, дантистъ орломъ налетѣлъ, и черезъ минуту воздухъ огла-

сились воплями раздражающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческія внутренности. А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! Хорошень его!» — неистово гудѣла тысячеустая. Накладывай ему! накладывай! вотъ такъ!» — вторила она мѣрному хлопанию булавовъ. Только одинъ нашелся честный старикъ, который не вытерпѣлъ и прошепталъ: «разбойники!» Но и тотъ, замѣтивъ, что я разсмѣялся невольный его вздохъ, какъ-то измѣнился въ лицѣ и сталъ робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парона».

Таковъ голый фактъ, остановившій на себѣ вниманіе сатирика. Онъ начинаетъ его разбирать. Почему человѣкъ, преслѣдуемый дантистомъ, даже не попытался бѣжать, а сложилъ весла? Потому, что онъ вѣритъ въ вѣчное, нестрашимое торжество силы, и одного появленія силы достаточно, чтобы онъ поступилъ подобно кролику, сваливающемуся въ пасть боа. Почему же онъ, однако, не убоявшись возмездія, поплылъ куда не велѣно было? Потому, что ему изъ практики извѣстно, что сила не всегда дерется, а иногда и улыбается; онъ рассчитывалъ на случайность. Для чего онъ придалъ своему тѣлу наклонное положеніе, охраняя голову отъ ударовъ? Для того, что его хотѣли только прибить, а не убить. Онъ не дорожитъ жизнью въ качествѣ «блага, одному ему принадлежащаго, блага, которымъ никто посторонній не имѣетъ права располагать по своему произволу»; онъ только привыкъ жить. Онъ не пойдетъ открыто навстрѣчу смерти, но встрѣтитъ ее равнодушно, когда она сама придетъ къ нему. Онъ будетъ «охать да вывать къ батюшкамъ и матушкамъ, но защищаться не станетъ ни подѣ какими видомъ». Ну, а толпа? «Отчего ее не прорвало при видѣ этой гнусной расправы съ однимъ изъ своей среды?» Очевидно, она не доспѣла до «сознанія, что немая наказывать не только смертнымъ, но и никакимъ боемъ, и не только такое преступленіе, какъ нарушеніе безсмысленнаго приказанія пароннаго унтеръ-офицера, но и всякое другое преступленіе, хотя бы оно было во сто разъ тяжелѣе и хотя бы отданное приказаніе было не безсмысленно». Во всей разсказанной исторіи утѣшителей только одинъ фактъ, — старикъ, который вздохнулъ: «разбойники!» Но и онъ сейчасъ же струился и ступевался.

Въ «Письмахъ изъ провинціи» нѣсколько подобныхъ же фактовъ подвергаются такому же разбору. Но мы, краткости ради, удовольствуемся приведеннымъ.

Мы, очевидно, очень далеко отошли отъ поэтическихъ образовъ Пименыча и Ивана. Они остаются такими же свѣтлыми, неприкосновенными съ своей пробужденной совѣстью и честью; происшествіе на рѣкѣ не

кладетъ на нихъ ни малѣйшей тѣни. Скорѣе отъ нихъ падаетъ мрачная тѣнь на безчестную слабость жертвы произвола пароннаго унтеръ-офицера и въ особенности толпы, которая не только не возмущилась зрѣлищемъ избиенія, но еще «развратно и подло» приняла пассивное участіе въ немъ сочувственными криками. Къ разнымъ проявленіямъ и развѣтвленіямъ этой стороны народной жизни Салтыковымъ было обращено не мало жесткихъ словъ. И онъ имѣлъ право говорить эти жесткія слова, не только въ качествѣ сатирика, но самой задачѣ своей гнѣвно или съ насмѣшкой подчеркивающаго тѣневые стороны жизни. Не говоря о правѣ всякаго человѣка называть кошку кошкой и нивость нивостью, Салтыковымъ руководила въ настоящемъ случаѣ та «ненавидящая любовь», которая въ самой себѣ почерпаетъ вящее право строгаго сужденія. Не холодная злоба пустопорожняго человѣка и не дешевое презрѣніе карлика, сидящаго на плечахъ великана, слышатся въ его жесткихъ словахъ по адресу народа, а глубокая скорбь и постоянная дума о выходѣ изъ того положенія, которое вызываетъ жесткія слова. Есть люди, у которыхъ на языкѣ медъ, а въ сердцѣ ледъ. Такіе, въ своемъ стремленіи говорить комплименты народу (когда онъ въ модѣ), готовы закрывать глаза передъ фактами въ родѣ вышеприведеннаго. Но не можетъ этого сдѣлать человѣкъ, котораго такой фактъ ударитъ по сердцу и которому поэтому дѣйствительно нужна истина, чтобы по мѣрѣ силъ способствовать устраненію подобныхъ фактовъ. Закрывая передъ ними глаза, мы способствуемъ, напротивъ, ихъ неприкосновенности, да самихъ себя нажмемъ по губамъ, — только и всего. Салтыкову, съ восторгомъ ощущавшему, что «въ его сердцѣ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для него самого, приобщаетъ его къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни» («Святочный разсказъ»); Салтыкову, окружившему смерть Миши и Вани ореоломъ великомученичества, отдыхавшему отъ пустоты и дрянности крутогорскихъ салоновъ и канцелярій на пробужденной совѣсти Пименыча и пробужденной чести Ивана, — Салтыкову обидѣе и больѣе, чѣмъ кому-нибудь, видѣть на этомъ самомъ мѣстѣ безчестную слабость. Обида и боль выражалась жесткими словами.

Существуетъ или, вѣрнѣе, существовало мнѣніе, что кульминаціонный пунктъ этой жесткости составляетъ «Исторія одного города», въ которой, дескать, Щедринъ, не довольствуясь настоящимъ, проникъ въ глубь исторіи и тамъ потщился опозорить самыя корни народной жизни. Мнѣніе это, и прежде

конечно неосновательное, надо теперь считать окончательно сданнымъ въ архивъ за негодностью, въ виду письма Салтыкова къ г. Пыпину, написанному еще въ 1871 г., но опубликованному только теперь («*Вѣстникъ Европы*», 1889 г., № 6). Огорченный отзывомъ «*Вѣстника Европы*» объ «Исторіи одного города», Салтыковъ въ частномъ письмѣ къ г. Пыпину разъяснилъ свои истинныя намѣренія. «Историческая сатира вовсе не была для меня цѣлью, писалъ Щедринъ, — а только формой». Въ числѣ другихъ формъ, онъ воспользовался и этой, тѣмъ болѣе, что, по его мнѣнію, «тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и теперь». Далѣе Салтыковъ дѣлаетъ указаніе, чрезвычайно важное для характеристики его отношенія къ народу: «Въ словѣ «народъ» надо отличать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собою извѣстную идею... Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавковыхъ, Бурчевыхъ и т. п., я дѣйствительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ и всѣ мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ».

Салтыковъ отлично понималъ то, что многимъ дается лишь съ трудомъ или даже вовсе не дается, а именно, что конкретныя явленія жизни сплошь и рядомъ представляютъ собою такой конгломератъ добра и зла, который никакимъ образомъ нельзя цѣликомъ вставить въ рамку одного какого-нибудь принципа. Въ виду такихъ сложныхъ явленій, мыслящій человѣкъ долженъ произвести операцію отвлеченія, выдѣлить изъ нихъ то, что соответствуетъ извѣстному принципу, и поставить совершенно особо отъ того, что ему не соответствуетъ или даже прямо противорѣчитъ. Такъ Салтыковъ и дѣлалъ. Я уже упоминалъ о «Снѣ въ лѣтнюю ночь» и о горячей рѣчи Крамольникова на юбилей Мосенча. Это profession de foi самого Салтыкова. Онъ говоритъ о трудовой «лептѣ русскаго крестьянскаго малютки», которая «святѣе и умилительнѣе» лепты вдовицы; «о скромномъ, безпримѣрномъ героизмѣ русской крестьянки, никогда не прекращающемся, не ослабѣвающимъ»; о «сплошной страдѣ», составляющей жизнь русскаго крестьянина. Трудъ—вотъ тотъ элементъ народной жизни, для возвеличенія котораго Салтыковъ не останавливается передъ превосходною степенью самыхъ яркихъ эпитетовъ. Сатирикъ обращается въ панегириста. Но скорбный это выходить панегирикъ. Свѣтлыхъ нотъ торжества въ немъ не слышится. Рѣчь Крамольникова кончается слезами:

«О, господа! я—человѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы

неудержимо подступаютъ къ глазамъ моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мною стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся,—вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?»

Вопросъ остается безъ отвѣта, потому что какъ разъ на этомъ мѣстѣ юбилей Мосенча обрывается постороннимъ обстоятельствомъ. Но отвѣтъ извѣстенъ изъ другихъ произведеній Салтыкова: никакихъ радостей, никакихъ удобствъ и льготъ. Какъ это вышло? почему? Эти дальнѣйшіе вопросы, какъ мы уже видѣли, постоянно занимали Салтыкова и стояли передъ нимъ въ видѣ какой-то чудовищной загадки. А тутъ еще сцены въ родѣ вышеприведенной, у паромъ. Казалось-бы, человѣкъ труда равно гарантированъ противъ превращенія какъ въ безсовѣстную силу, такъ и въ безчестную слабость. Ему не нужно ни насильничества, ни претерпѣнія насилія, онъ самъ себѣ довѣдетъ и можетъ не имѣть никакого, ни пассивнаго, ни активнаго отношенія къ зависимости. Такъ оно и есть въ принципѣ, въ отвлеченіи. Но тутъ-то и является на сцену «историческій народъ», то-есть тѣ наслоенія, которыя исторія наложила на принципъ труда и его представителей. И можетъ быть тотъ же самый Мосенчъ, на юбилей котораго Крамольниковъ говорилъ свою горячую рѣчь, играть ту или другую роль въ происшествіи у паромъ.

Русскій мужикъ «бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только можно себѣ представить»... Но это еще было бы дѣломъ, сравнительно легко поправимымъ, еслибы онъ сознавалъ свою бѣдность, а этого-то сознания ему и не хватаетъ. Или, въ болѣе обобщенной формѣ: «Человѣкъ массы мало того, что страдаетъ, онъ сверхъ того имѣетъ самое слабое сознание этого страданія; онъ смотритъ на него, какъ на прирожденный грѣхъ, съ которымъ не остается ничего другого дѣлать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ». Не мудрено, что при этомъ условіи «толпа до сихъ поръ сѣмѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы». Какъ ни возмутельны, однако, подчасъ протекающія отсюда проявленія безчестной слабости, Салтыковъ слишкомъ хорошо видитъ ея причины и слишкомъ высоко цѣнитъ другія стороны русскаго мужика, чтобы презрительно, но совершенно бесплодно «обзывать мужика мужикомъ». Въмѣсто этого мало остроумнаго занятія онъ совѣтуетъ «дать себѣ трудъ изобразить наши собственные исторіографскіе наѣзды противъ этого самаго му-

жика». Мы видели ту бережность, съ которою Щедринъ относится къ жертвамъ безсовѣстной силы въ своемъ животномъ эпосѣ; ту неохоту, съ которой онъ рисуетъ безчестную слабость, вездѣ стараясь скрасить ее какой-нибудь комбинаціей добрыхъ чувствъ. Въ сферѣ канцелярій, редакцій, салоновъ, трактировъ онъ такъ не церемонится. Достаточно припомнить фигуру Очищеннаго въ «Современной идилліи». Этотъ «злочастивенный старикъ» былъ прежде помѣщикомъ и судился за злоупотребленіе помѣщичьей властью. Значитъ, въ началѣ своей исторіи онъ былъ рыцаремъ безнаказанной оплеухи, представителемъ безсовѣстной силы, а кончасть онъ тѣмъ, что носить на щекахъ своей таксу безчестія и только и ждетъ, чтобы его кто-нибудь сильный изувѣчилъ или по крайней мѣрѣ обругалъ. Въ отношеніяхъ Салтыкова къ народу нѣтъ и слѣда такого безжалостнаго презрѣнія. Онъ утверждаетъ, что «вся наша умственная дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена не къ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для нихъ, какъ и для насъ». («Письма изъ провинціи»). Самъ чувствуя эту особливую нѣжность и бережность, онъ спрашиваетъ: «почему представленіе о толпѣ, не смотря на явную ея жестокость, дикость и неразвитость, имѣетъ для насъ нѣчто заманчивое и симпатичное»? Резоны для этого оказываются очень вѣскіе. Не говоря о тѣхъ, если можно такъ выразиться, красотахъ народной жизни, которыя обуславливаются трудовымъ началомъ, для разныхъ происходящихъ въ ней возмутительныхъ вещей есть сильно смягчающія обстоятельства. Если «историческій народъ» въ томъ или другомъ отношеніи не хорошъ, то за оправданіемъ его не далеко ходить, оно заключается въ прилагательномъ «историческій». Тяжелый наслѣдственный опытъ воспиталъ ту безучастность къ чужому горю, которую мы часто можемъ наблюдать въ народной жизни, и то рабочаго отношеніе къ силѣ, которое встрѣчается еще чаще. Притомъ же эта жестокость и это преклоненіе передъ силой не представляютъ собою чего-нибудь вполне сознательнаго: мальчикъ безъ штановъ не продастъ душу чорту, а отдастъ ее даромъ. Поэтому здѣсь нѣтъ и не можетъ быть мѣста обвиненіямъ, а есть мѣсто только скорби за печальное настоящее и заботамъ о лучшемъ будущемъ. Затѣмъ, въ качествѣ мотива любовнаго отношенія къ народу, выступаетъ та «фатальная» связь людей мысли съ народомъ, о которой я уже говорилъ въ прошлой главѣ. Фактъ, указанный Салтыковымъ, заслужи-

ваетъ самаго серьезнаго вниманія. Исторія дѣйствительно показываетъ, что «тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу». Комментарій Салтыкова къ этому факту чрезвычайно оригиналенъ.

„Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгонистическій расчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обезпечены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое съ нами равновѣсіе относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобнаго, совсѣмъ не по капризу, а потому, что природа его по преимуществу общительная. Слѣдовательно, стоя на недостижимой высотѣ, онъ тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, тѣмъ забитѣе и безответнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль“.

Притомъ же, «мы не можемъ считать себя водворенными въ міръ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезпеченными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ своихъ добровольныхъ и всегда готовыхъ къ услугамъ орудія».

По всѣмъ этимъ соображеніямъ Салтыковъ настаивалъ на сближеніи съ народомъ, причемъ оговариваясь, что сближеніе это не должно быть ни славянофильскимъ мистицизмомъ, ни ласкательствомъ предразсудкамъ и дикости, потому только, что они родились въ народѣ. На первый разъ онъ рекомендовалъ «просто изученіе народныхъ нуждъ и представленій, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но все-таки принадлежащихъ несомнѣнно взрослому человѣку».

Такъ писалъ Щедринъ въ «Письмахъ изъ провинціи» въ 1868 г. Двѣнадцать лѣтъ спустя, онъ опять заговорилъ о сближеніи или единеніи съ народомъ въ «За рубежомъ», но уже, повидимому, въ совсѣмъ другомъ тонѣ. Онъ считалъ это единеніе невозможнымъ. Однако, здѣсь нѣтъ противорѣчія съ вышеприведеннымъ, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ сатирика:

„Вызываютъ историческія минуты, когда массы преисполняются угрюмостью и недовѣріемъ, когда онѣ сами непостижимо упорствуютъ, оставаясь во тьмѣ и въ недугахъ. Не потому упорствуютъ, чтобы не понимали свѣта и исцѣленій, а потому, что источникъ этихъ благъ заподозрѣли ими. Въ такіе минуты къ этому валуающемуся во тьмѣ и недугахъ міру нельзя подойти

иначе, какъ предварительно погружившись въ ту же самую тьму и болѣя тою же самой проказой, которая грозитъ его истребить».

Такою тягостною, мрачною историческою минутой было то время, когда писалось «За рубежомъ»...

Мнѣ остается сдѣлать еще одно замѣчаніе. Подъ «толпой» Салтыковъ не всегда разумѣлъ народъ. Въ «Литературномъ положеніи» («Признаки времени») говорится о «толпѣ», гуляющей по Невскому проспекту и празднословящей на тему объ упадкѣ нравственности «въ простомъ классѣ». Характерная черта и этой цивилизованной толпы состоитъ въ томъ, что «торжество силы еще отнюдь не утратило въ ея глазахъ рѣшительнаго своего вліянія». Это та же безчестная слабость...

V.

Благонамѣренныя рѣчи.

Задача сатиры состоитъ въ бичеваніи или осмѣиваніи уклоненій дѣйствительности отъ идеала. Понятно, что не только характеръ и, такъ сказать, объемъ сатиры, но и ея объекты, и направленіе должны измѣняться соответственно личному элементу, вносимому писателемъ въ тѣ идеалы, съ высоты которыхъ онъ разцѣпываетъ явленія дѣйствительной жизни. Исторія литературы знаетъ сатириковъ, метавшихъ въ своихъ современниковъ громы съ точки зрѣнія общихъ моральныхъ истинъ, знаетъ и такихъ, которые были людьми вполне опредѣленныхъ политическихъ партій, самыхъ крайнихъ въ обѣ стороны. Аристофанъ и Салтыковъ могли бы жить въ одно и то же время, но ихъ сатирическіе удары обрушивались бы на совершенно разные предметы. Есть, однако, область, въ отношеніяхъ къ которой сходятся сатирики всѣхъ временъ и народовъ, всѣхъ темпераментовъ и оттѣнковъ мыслей. Это—область уклоненій дѣйствительности отъ того, что сама она признаетъ на словахъ идеаломъ, область розни между словомъ и дѣломъ, между благонамѣренными рѣчами и предосудительными поступками. Тутъ уже по-истинѣ *difficile est satiram non scribere*, каковъ бы ни былъ образъ мыслей сатирика. Конечно, повинную голову не сѣчетъ и сатирической мечъ, откровенное покаянное признаніе въ слабости характера, не позволяющей уравнивать дѣло съ словомъ, обезоруживаетъ сатирика. Но едва-ли найдется во всей исторіи литературы хоть одинъ какой-нибудь сатирикъ, который равнодушно прошелъ мимо обычной психологической связи между нравственной теоріей и безнравственной практикой, — мимо лице-

мѣрія. Если моралистъ въ родѣ Ларошфюко можетъ щегольнуть утѣшительнымъ парадоксомъ, по которому лицемѣріе есть свѣдѣтельство уваженія къ добродѣтели, въ тайнѣ питаемаго порокомъ, то для сатирика не можетъ быть ничего ненавистнѣе лицемѣрія. По Салтыкову, «даже отецъ Лжи, который думалъ, что нѣтъ въ мірѣ той подлости, которой бы онъ не произвелъ, и тотъ глаза вытаращилъ», когда увидалъ Лицемѣріе («Добродѣтели и Пороки»). Лицемѣріе есть по преимуществу объектъ сатиры. Ему нѣтъ оправданія въ какой-нибудь ошибкѣ мысли, въ какомъ-нибудь заблужденіи, которое можетъ разсѣяться передъ свѣточемъ истины. Вѣрно или невѣрно понимаетъ лицемѣръ вещи, это вопросъ особый, но онъ во всякомъ случаѣ расходится съ своимъ собственнымъ пониманіемъ вещей и практикуетъ какъ разъ, противное тому, что самъ исповѣдуетъ и чего отъ другихъ требуетъ. Лицемѣръ ненавистенъ или, по крайней мѣрѣ, долженъ быть ненавистенъ не только тѣмъ, кто не согласенъ съ его образомъ мыслей, но и своимъ собственнымъ единомышленникамъ, если, конечно, они сами не лицемѣры: онъ вѣдь компрометируетъ ихъ знамя и приноситъ ему подчасъ больше вреда и позора, чѣмъ самые лютые враги. Открытое такимъ образомъ для сатирическихъ ударовъ со всѣхъ сторонъ, лицемѣріе манитъ къ себѣ сатирика еще сверхъ того чрезвычайнымъ разнообразіемъ своихъ формъ и проявленій. Маску лицемѣрія способны надѣвать и злоба, и развратъ, и предательство, и продажность, и клевета, и насильничество, всяческая нязость и гнусность, облака въ такіе именно формы соответственныхъ добродѣтелей, которыя, на словахъ по крайней мѣрѣ, особенно цѣнятся въ данномъ обществѣ. Поэтому, сосредоточивъ свое вниманіе даже исключительно на лицемѣріи, сатирикъ можетъ предъявить очень полную картину современныхъ ему нравовъ, держась въ то же время почвы тонкаго психологическаго анализа. Такая многосторонняя заманчивость задачи всегда привлекала къ этому пункту крупныя сатирическія силы, и всякій вновь выступающій сатирикъ рискуетъ впасть въ подражаніе, либо создать нѣчто очень слабое по сравненію съ высокими образцами, раньше вложенными въ сокровищницу всемірной литературы. Салтыковъ съ честью вышелъ изъ этой трудности. Его коллекція лицемѣровъ вполне оригинальна и не поблѣднѣетъ отъ сопоставленія съ лучшими произведеніями этого рода европейскихъ писателей.

Но прежде чѣмъ говорить о характерѣ и размѣрахъ щедринаго творчества въ этомъ направленіи, надо сдѣлать небольшое по-

бочное замѣчаніе. Говорятъ, что Салтыковъ повторяется, и справедливо говорятъ. Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» онъ самъ признаетъ фактическую справедливость этого упрека, но объясняетъ при этомъ, что, занятый исключительно злобами дня, онъ по необходимости зависитъ отъ нихъ, а онѣ, вотъ уже тридцать лѣтъ, повторяются съ удручающимъ однообразиемъ. Объясненіе это кажется мнѣ недостаточнымъ. Во-первыхъ, хотя наши злобы дня, дѣйствительно, довольно однообразны, но на протяжении тридцати лѣтъ въ нихъ всетаки неоднократно обнаруживалось движеніе то впередъ, то вспять, что и самими Салтыковыми своевременно отмѣчалось. Во-вторыхъ, хотя объясненіе Салтыкова до известной степени справедливо, но есть и другіе резоны, по которымъ онъ повторялся и не могъ не повторяться. Вообще мудрено ожидать, чтобы не повторялся человѣкъ, безъ малаго помѣха, можно сказать, не выпускавшій пера изъ рукъ и всю эту половину столѣтія не ожидавшій вѣтра, чтобы, подобно флюгеру, повернуться направо или налево, а неуклонно шедшій по одному и тому же пути. Притомъ же Салтыковъ былъ журналистъ, то-есть не просто писатель, болѣе или менѣе спокойно вынашивающій свое произведеніе въ головѣ и сердцѣ, а писатель, повинный спѣшной и срочной работѣ. Это положеніе совѣтъ особенное, спеціальныя шипы и розы котораго трудно даже усвоить человѣку, не побывавшему въ этой шкурѣ. Между прочимъ, бываетъ такъ: известная мысль, известный образъ, цѣлая группа образовъ, только-что возникнувъ, заносится на бумагу, затѣмъ журналистъ, влекомый волной текущихъ событій, переходитъ къ другимъ мыслямъ и образамъ, а тѣ, первоначальные, продолжаютъ тѣмъ временемъ развиваться, зрѣть, иногда даже безъ вѣдома самого автора и, наконецъ, вновь переступаютъ порогъ сознанія и опять настойчиво просятся на бумагу. Въ произведеніяхъ Салтыкова этотъ процессъ можно наблюдать очень часто. Наконецъ, и еще одинъ резонъ для повтореній заключается въ томъ исключительно видномъ положеніи, которое Щедринъ занимаетъ въ журналистикѣ: ему приходилось съ полемическими цѣлями возвращаться къ сказанному, защищать его, вновь мотивировать, подводить итоги и т. д.

Образчикомъ обоого рода повтореній, то-есть и такихъ, которыя вызваны самимъ процессомъ творчества, совершающагося частью въ вѣдрахъ бессознательнаго, и такихъ, которыя обусловлены полемическими цѣлями, можетъ служить исторія «Благонамѣренныхъ рѣчей». Такъ озаглавлена группа очерковъ, печатавшихся въ *Отечественныхъ Запи-*

скахъ въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Но уже гораздо раньше, въ «Признакахъ времени» находимъ зародышъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» въ видѣ наброска или чего-то въ родѣ отмѣтки въ памятной книжкѣ, а затѣмъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ въ изобиліи разсыпаны новыя варіаціи на эту тему, то полемическія, какъ въ «Кругломъ годѣ», то дополнительныя, какъ въ «Убѣжищѣ Монрепо», то достигающія исполнѣ самостоятельнаго значенія, какъ въ «Современной идилліи», и огромной художественной цѣнности, какъ въ выдѣленныхъ изъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» «Господахъ Головлевыхъ».

Въ «Признакахъ времени» («Сеничкинъ ядъ») сатирикъ пытается опредѣлить, что такое «благонамѣренность», но затрудняется дать это опредѣленіе, хотя утверждаетъ, что можетъ безошибочно отличить благонамѣреннаго человѣка отъ неблагонамѣреннаго. Благонамѣренному человѣку не вѣрится воровать платки изъ кармановъ, онъ не затрудняется съѣсть у Доминика три пирожка, а буфетчику сказать, что съѣлъ одинъ, онъ можетъ проводить время «на балахъ у гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга» и вообще совершать всякія дѣйствія, обыкновенно считающіяся предосудительными. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ имѣть «хорошій образъ мыслей». Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. «Нevinность же есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла». Далѣе Щедринъ уклоняется уже въ сторону, именно въ сторону тогдашнихъ литературныхъ пререканій, но въ приведенныхъ словахъ заключается въ зародышѣ основная мысль всѣхъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». Конечно, контуры этого зародыша еще слишкомъ мягки, недостаточно рельефно обрисовываются; оригинальная и плодотворная мысль еще только блеснула, не уяснивъ самому автору всѣхъ своихъ развитій. Въ фактахъ, обнимаемыхъ этою мыслью, не было недостатка и въ ту пору, какъ видно уже изъ того, что впоследствии Салтыковъ вставилъ въ «Благонамѣренныя рѣчи» очеркъ, посвященный еще болѣе раннему времени, — времени крымской войны («Тяжелый годъ»). Но факты эти лежали пока подъ спудомъ, не оплодотворенные творческой силой, въ ожиданіи «Благонамѣренныхъ рѣчей».

«Благонамѣренныя рѣчи», то-есть тотъ сборникъ, который Салтыковъ самъ такъ озаглавилъ, рисуютъ намъ рядъ отдѣльных эпизодовъ изъ обширной картины умственной смуты по поводу потрясенія «основъ».

Кругомъ раздаются громкія рѣчи о неприкосновенности собственности, о священномъ характерѣ семьи, о необходимости государства; рѣчи, можно сказать, ультра-благонамѣренныя и, должно быть, нужныя, потому-что, еслибы все обстояло благополучно, такъ съ чего же и кричать? Вглядываясь въ современные нравы, сатирикъ открываетъ, что принципамъ собственности, семьи и государства дѣйствительно наносятся чувствительные удары. Дѣло, однако, не въ преступленияхъ, предусмотрѣнныхъ закономъ и караемыхъ судомъ. Таковые всегда были, а потому наличие ихъ, вообще говоря, не составляетъ характерной для какого-нибудь опредѣленнаго времени черты. Да если, по обстоятельствамъ, размѣры, характеръ и число преступленій и могутъ войти въ составъ признаковъ даннаго времени, такъ на нихъ есть и другія управы, кромѣ сатиры. Совсѣмъ иное дѣло, когда, напримеръ, «мошенничество является одною изъ формъ общежитія», установившееся, никого не возмущающее; когда оно облекается въ непроницаемую для суда формы, а общественное мнѣніе негодуетъ не на мошенниковъ и грабителей, а на ограбленныхъ: дураки, дескать, такъ имъ и надо,—на то и шука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Бѣлый очеркъ этого страннаго порядка вещей Салтыковъ дѣлаетъ въ главѣ «Въ дорогѣ», которая представляетъ какъ бы прелюдію къ «Благонамѣреннымъ рѣчамъ» и въ которой слово «дуракъ» вездѣ является синонимомъ ограбленнаго или обманутаго, а грабители и мошенники оказываются просто умными, ловкими, а иногда даже «прекраснѣйшими людьми». «Основы» терпятъ при этомъ явный ущербъ, но, удивительнымъ образомъ, этого не замѣчаютъ. А еще удивительнѣе, что именно отсюда главнымъ образомъ и гремятъ благонамѣренныя рѣчи. Можетъ-ли это быть? Можетъ-ли воръ вопіять о неприкосновенности собственности, или прелюбодѣй о священномъ характерѣ семьи, или поставщикъ гнилыхъ подошвъ на отечественную армію о любви къ отечеству и народной гордости? Оказывается, можетъ, такъ что и самъ не подавится своей благонамѣренной рѣчью, и другіе эту рѣчь не оборвутъ. Благонамѣренность его рѣчей свидѣтельствуетъ о хорошемъ образѣ мыслей, а хороший образъ мыслей, какъ открылъ сатирикъ еще въ «Признакахъ времени», отлично уживается съ предосудительными поступками. Но тамъ, въ «Признакахъ времени», эти поступки не шли дальше утайки двухъ съѣденныхъ пирожковъ, времяпровожденія у гостепріимныхъ гамбургскихъ принцессъ, да иносказательнаго воровства платковъ изъ кар-

мановъ. Въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» картина нравовъ раздвигается далеко за эти скромные предѣлы, вмѣстѣ съ тѣмъ мысль сатирика становится несравненно глубже и яснѣе.

Мы начнемъ свой обзоръ съ самаго легкаго, скажемъ прямо, наименѣе серьезнаго изъ очерковъ, вошедшихъ въ составъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», съ того, который озаглавленъ: «Еще переписка». Это—переписка матери, сорокалѣтней женщины съ сыномъ, только-что выпущеннымъ изъ школы офицеромъ. Въ первомъ же письмѣ сынъ рассказываетъ матери о своихъ амурныхъ походахъ, причемъ обнаруживаетъ необыкновенную выработанность принциповъ и необыкновенныя познанія во всемъ, что касается веселой *art de vivre*. Онъ пускается въ подробности о преимуществахъ блондинокъ передъ брюнетками, о должномъ развитіи женскихъ формъ и т. д. Отца онъ называетъ *butor*. Мать отвѣчаетъ ему въ томъ же стилѣ, т. е. мужа тоже называетъ *butor* и жалуется на ужасъ житья съ этимъ *butor'омъ*, а затѣмъ и съ своей стороны излагаетъ ту же науку любви. Она по этой части—человѣкъ опытный: ее «любилъ» самъ седанскій герой—и это составляетъ «славное воспоминаніе ея жизни». Если тонъ писемъ сына отдаетъ казармою или даже конскимъ заводомъ, то письма матери газированы разными тонкостями, о которыхъ, однако, сынъ справедливо пишетъ: «Могу тебя увѣрить, что мои открытія, ничѣмъ не замаскированныя слова и дѣйствія всетаки во сто кратъ нравственнѣе, нежели паскудные *apercus politiques, historiques et littéraires*, которыми вы, женщины, занимаетесь... *entre deux baisers*». Благословляя (въ буквальный смыслъ слова) сына на адюльтеръ и даже на два заразы, эта женщина въ то же время пишетъ: «Религія—это наше сокровище, мой другъ! Безъ религіи мы—путники, колеблемые вѣтромъ сомнѣній, какъ говоритъ *le père Basile*, очень миленькій молодой попикъ, который недавно опредѣленъ въ нашъ приходъ». Она крадетъ у мужа двѣ тысячи рублей и бѣжитъ «будто бы для свиданія съ Базеномъ, а же навѣрное знаю (пишетъ *butor*), что для канкановъ въ *Closerie des lilas*». Однако, за нѣсколько дней до этого бѣгства, она сообщаетъ сыну, среди разныхъ пикантныхъ поученій по амурной части: «Я ни въ чемъ не могу найти утѣшенія, кромѣ религіи! Знаешь-ли, иногда мнѣ кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко надъ этимъ дурнымъ міромъ!» Рассказывая сыну, какими способами можно довести женщину до паденія (*une jolie chute*), она совѣтуетъ ему

страдают длиннотами и отступлениями, от которых «Тартюфъ» до известной степени застрахованъ уже своею драматическою формою. Но собственно психологія Тартюфа крайне элементарна и груба по сравнению съ тою тонкостью, глубиною, выдержанностью, которыми блещетъ Иудушка.

Это произведение не сразу, однако, далось Салтыкову. «Благонамѣренные рѣчи» печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ конца 1872 г. по 1876 включительно, въ перемежку съ «Дневникомъ провинціала», «Помпадурами», «Экскурсіями въ область умѣренности и аккуратности», отдельными очерками въ родѣ «Сна въ лѣтнюю ночь». Это была обыкновенная манера писанія Салтыкова. Его отдыхъ состоялъ въ томъ, что, не кончивши одной серіи статей, онъ принимался за другую, третью, возвращаясь черезъ нѣсколько времени опять къ первой. Въ концѣ 1875 г., между прочими главами «Благонамѣренныхъ рѣчей», появилась глава «Семейный судъ», которая и составила начало «Господъ Головлевыхъ». Но, выпустивъ въ 1876 г. «Благонамѣренные рѣчи» отдельнымъ изданіемъ, Щедринъ не включилъ въ него главъ, посвященныхъ семейству Головлевыхъ, и только въ 1880 г. напечаталъ «послѣдній эпизодъ изъ Головлевской хроники», озаглавленный въ журналѣ «Рѣшеніе», а въ отдельномъ изданіи—«Расчетъ».

Очевидно, Щедринъ первоначально самъ не подозревалъ, во что разрастутся эпизоды изъ семейной хроники Головлевыхъ, но затѣмъ пригнѣнился къ нимъ съ исключительнымъ интересомъ и работалъ надъ ними съ особенною обдуманностью. И не мудрено: «Господами Головлевыми» резюмируется вся психологическая сторона «Благонамѣренныхъ рѣчей» и сродныхъ имъ произведений Салтыкова.

Я не буду говорить о превосходныхъ портретахъ, размѣщенныхъ вокругъ центральной фигуры Иудушки,—объ Аринѣ Петровнѣ, ея мужѣ, братьяхъ Иудушки, его племянникахъ, о Евпраксеюшкѣ. Не буду припоминать и всю исторію самого Иудушки. Съ насъ достаточно одного какого-нибудь яркаго эпизода.

Евпраксеюшка беременна. Въ душѣ Иудушки поднимается нѣчто похожее на угрызения совѣсти: на-лицо фактъ, слишкомъ уже явно изобличающій внутреннюю ложь всей его жизни. Были, правда, и прежде факты, довольно-таки въ этомъ смыслѣ выразительные, какъ, напримѣръ, погибель обоихъ его сыновей,—погибель, которую онъ могъ легко предотвратить, но не предотвратилъ, а даже приготовилъ. Тамъ онъ вышелъ сухъ изъ воды, то-есть не дрогнулъ сердцемъ, благодаря своему умѣнію нализывать одно бла-

намѣренное, но совершенно праздное слово на другое, столь же благонамѣренное и столь же праздное. А теперь какъ быть? Получивъ первое извѣстіе, онъ сторыча не успѣлъ даже солгать, такъ-что въ несправедливомъ фактѣ никто сомнѣваться не можетъ. Онъ, такъ аккуратно зажигающій лампадки передъ образами, такъ преданный посту и молитвѣ, наконецъ, такъ всѣмъ надѣвшаго благочестивыми размышлениями,—прелюбодѣй! Да еще по точному расчету милаго друга-маменьки,—«подъ постный день!». Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы Иудушка въ самомъ дѣлѣ мучился настоящими угрызениями совѣсти. Нѣтъ, застигнутый врасплохъ и въ виду уличающей непрекращаемости факта, онъ только не сразу находитъ тѣ сочетанія словъ, которыя въ предыдущихъ щекотливыхъ случаяхъ его жизни счастливо затуманивали всякую разницу между добромъ и зломъ. Только бы ему эти слова найти, эти благонамѣренные рѣчи, а тамъ уже все пойдетъ какъ по маслу,—онъ и самъ успокоится, и людямъ будетъ прямо въ глаза, не смущаясь, смотрѣть, и Богу на молитвѣ скажетъ, что онъ, Иудушка, «не яко же сей мытарь». Онъ, наконецъ, находитъ искомое, и вся тревога сбѣгаетъ съ него, какъ съ гуся вода. Быстро одна за другой слѣдующія сцены появленія новорожденного на свѣтъ, а потомъ и въ кабинетѣ Иудушки, разговоръ Иудушки съ Улитой, потомъ со священниками, потомъ опять съ Улитой, отправки младенца въ воспитательный домъ—принадлежать къ числу перловъ щедринскаго творчества, и не щедринскаго только: едва ли найдется во всемирной литературѣ много равныхъ имъ по глубинѣ, яркости и страшному, но здоровому реализму.

То явленіе, которое Салтыковъ называетъ безсознательнымъ лицемеріемъ, исчерпано здѣсь вполне. Иудушка Гололевъ—близкій духовный родственникъ той гулящей бабенки, что произноситъ благонамѣренные рѣчи даже не въ антрактѣ между двумя адюльтерами, а прямо во время адюльтера. Временами онъ не менѣе ея забавенъ комическою несуразностью и неумѣстностью своихъ рѣчей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, съ нимъ по-истинѣ страшно, какъ въ упоръ объявляетъ ему Аннинька и повторяетъ за ней Евпраксеюшка, какъ чувствуетъ и читатель, и очевидно самъ авторъ. Страшенъ этотъ человѣкъ не какою-нибудь своею силой, какъ страшенъ, напримѣръ, тотъ же Тартюфъ своею практическою ловкостью, умѣніемъ принаровливаться, краснорѣчіемъ: Иудушка просто пустомеля и бездѣльникъ, всѣмъ надѣвшаго, всѣмъ противный, и никакого Оргона, никакой г-жи Пернель ему никогда обворовать не удастся. Онъ страшенъ именно

своею слабостью,—слабостью сознанія, цѣпляющагося за слова безъ всякаго пониманія ихъ смысла. Сосредоточенный исключительно на своихъ непосредственныхъ ощущеніяхъ, которыя не умѣетъ комбинировать въ идеи и понятія, онъ дѣлитъ всѣ явленія жизни на пріятныя и непріятныя ему и другихъ рубрикъ не знаетъ. Онъ—исправленный и дополненный варьянтъ того бушмена, который отлично знаетъ, что быть обокраденнымъ—зло, потому что отъ этого у него нѣчто убудетъ, но въ то же время думаетъ, что украсть—добро, потому что отъ этого нѣчто прибудетъ. Первую половину этой формулы Іудушка расцѣпчиваетъ всѣми красками благомѣренныхъ рѣчей: призываетъ и Бога, и властей охранять его отъ зла, но самъ воровать онъ можетъ. Онъ совершить любую гнусность, не моргнувъ глазомъ, и всѣ окружающіе инстинктивно чувствуютъ это, но въ то же время, благодаря отсутствію всякой логики въ его умственной чехардѣ, никакъ не могутъ предугадать, какая именно гнусность выскочитъ изъ-подъ его безконечныхъ, слюноточивыхъ благонамѣренныхъ рѣчей. Это еще усиливаетъ распространяемый имъ кругомъ себя страхъ.

Трудно цитировать «Господь Головлевыхъ», потому что не знаешь, что выбрать въ этомъ удивительномъ произведеніи. Но попробую всетаки сдѣлать одну выписку.

Племянница Аннинька, наскучивъ благонамѣренною канителью Іудушки, собирается уѣзжать. Онъ ее удерживаетъ, приглашая если не совсѣмъ остаться, такъ хоть сѣздить къ бабинькѣ на могилку отслужить панихиду...

Порфирій Владиміровичъ остановился и замолчалъ. Нѣкоторое время онъ семенилъ ногами на одномъ мѣстѣ и то взглядывалъ на Анниньку, то опускалъ глаза. Очевидно, онъ рѣшался и не рѣшался что-то высказать.

— Пстой-ка, я тебѣ что-то покажу! наконецъ рѣшился онъ и, вынувъ изъ кармана свернутый листъ бумаги, подаль его Аннинькѣ: натко прочти!

— Аннинька прочла:—«Сегодня я молился и просилъ боженьку, чтобы онъ оставилъ мнѣ мою Анниньку. И боженька мнѣ сказалъ: возьми Анниньку за поленьскую талицу и прижми ее къ своему сердцу».

— Такъ что-ли? спросилъ онъ, слегка поблѣднѣвъ.

— Фу, дядя! Какія гадости! отвѣчала она, растерянно смотря на него.

Порфирій Владиміровичъ поблѣднѣлъ еще больше и, произнесъ сквозь зубы: «Видно, гусаровъ намъ нужно!» прекрестился и, шаркая туфлями, вышелъ изъ комнаты. Черезъ четверть часа онъ однако возвратился какъ ни въ чемъ не бывало и уже шутилъ съ Аннинькой».

Много зла и гибели распустилъ кругомъ себя Іудушка, но это зло и гибель ограничивались преимущественно ближайшимъ, домашнимъ и семейнымъ кругомъ. Обществен-

нымъ дѣятелемъ онъ не былъ и не могъ быть по своему скудоумію, пустословію и прирожденному бездѣлничеству. Правда, въ мечтахъ своихъ онъ съ болѣзненною ясностью представляетъ себѣ, какъ онъ всѣмъ за что-то мститъ и всѣхъ для чего-то грабитъ. Но это были празднаыя фантастическія мечты, которымъ не суждено было воплотиться въ дѣйствительности. Въ концѣ-концовъ Іудушка самъ испугался облегшей его со всѣхъ сторонъ мертвой пустыни и не выдержалъ этого страшнаго одиночества. Никто ему ничего не довѣрялъ, не поручалъ, никто не пробовалъ воспользоваться его услугами или опереться на него. Но что было бы, еслибы при той же неспособности различать добро и зло, при томъ же безсознательномъ лицемеріи, онъ, благодаря обстоятельствамъ, сталъ «столпомъ» и дѣятелемъ?

Отвѣтъ найдемъ въ тѣхъ же «Благонамѣренныхъ рѣчахъ».

VI.

Еще о благонамѣренныхъ рѣчахъ.

Безсознательное лицемеріе и «благонамѣренныя рѣчи», понятія во всей ихъ широтѣ, исчерпываютъ собою добрую половину сатиры Салтыкова. Онъ преслѣдовалъ ихъ и смѣхомъ, и пафосомъ, и художественными и публицистическими средствами. Онъ былъ по-истинѣ неистощимъ въ варіантахъ на эту тему, въ чемъ ему, конечно, помогала сама жизнь, въ изобиліи предоставляя подходящіе сюжеты. Кузина Машенька, капитанъ Терпибѣдовъ, отецъ Арсеній, семья Головлевыхъ, Деруновъ, Разуваевъ, Груздевъ, Николай Батищевъ и мать его, Проказнинъ и мать его, Удодовъ и проч. и проч.,—въ этой длинной галлерей не знаешь чему удивляться: выдержанности—ли той духовной черты, которая ставитъ всѣ эти фигуры за одну скобку, или художественной индивидуализаціи каждой изъ нихъ, искусству-ли, съ которымъ комбинируются факты безсознательнаго лицемерія и благонамѣренныя рѣчи, или пронизательности сатирика, техникѣ или мысли? Вы видите, что безсознательное лицемеріе положительно не даетъ покою сатирику, мучитъ его и какъ психологическая загадка, и какъ художественная задача, и какъ общественный вопросъ. Техническая ловкость, съ которою, напримѣръ, въ небольшомъ очеркѣ «Переписки», собрана цѣлая коллекція разнообразныхъ проявленій безсознательнаго лицемерія, можетъ навести на мысль о виртуозности. Но это не виртуозность, не та увѣренность и почти механичность, съ какими

виртуозъ комбинируетъ звуки, краски, слова для достиженія эффекта. Салтыковъ относится къ своимъ лицемѣрамъ вопросительно и почти съ недоумѣніемъ: можетъ-ли такое быть? Какъ объяснить такое чудовищное явленіе? Каковы его причины и слѣдствія? Эти-то вопросы и заставляли его вновь и вновь приниматься за ту же задачу, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщали его работѣ характеръ необыкновенной жизненности. Нѣтъ возможности, да едва-ли есть и надобность, перебирать здѣсь весь длинный рядъ щедринскихъ лицемѣровъ. Мы ограничимся немногими. Но сперва напомнимъ ту общую черту, которая ихъ объединяетъ. Напомнимъ частію ихъ собственными словами.

Въ «Перепискѣ» Батищевъ сообщаетъ матери рѣчь, съ которою къ нему обратился одинъ, подлежащій его воздѣйствію преступный человѣкъ.

«Вы фарисеи и лицемѣры! Вы, какъ Исаѣ, готовы за горшокъ чечевицы продать всѣ такъ называемыя основы ваши! Вы говорите о святости вашего суда, а сами между тѣмъ на каждомъ шагу дѣлаете изъ него или львинный ровъ, или сиренскую прелесть! Вы указываете на бракъ, какъ на основу вашего гнилаго общества, а сами прелюбодействуете! Вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! Вы со слезами на глазахъ разглаживаете о любви къ отечеству, а сами сапоги съ бумажными подметками ратникамъ ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу».

«Милая маменька!—прибавляетъ отъ себя Батищевъ, какъ хотите, а тутъ есть доля правды». Въ свою очередь и милая маменька готова согласиться съ этимъ; однако, пишетъ она, —«хорошо по воскресеньямъ въ церкви проповѣди на этотъ счетъ слушать (да и то не каждое воскресенье, мой другъ!), но ежели каждый день будутъ тебя кастить, то подъ конецъ оно и многоюлко покажется».

Этою перепискою хорошо подчеркивается та наивность, съ которою истинные потрясатели основъ возстаютъ на защиту этихъ самыхъ основъ. Они готовы при случаѣ даже признать справедливость упрека въ лицемѣрии, но тотчасъ же вновь погружаются въ пучину благонамѣренныхъ рѣчей и плаваютъ тамъ, какъ рыба въ водѣ...

Владиміръ Онуфриевичъ Удодовъ («Тяжелый годъ»), управляющій палатою государственныхъ имуществъ, при счастливой вѣншинности, обладаетъ еще краснорѣчіемъ; краснорѣчіе же свое, равно какъ и овою дѣятельность вообще, направляетъ ко благу народа. Миссію свою онъ видитъ въ посредничествѣ между государствомъ и народомъ: «надобно, чтобы народъ безпрестанно былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его». Народъ—дѣтя, добрее и смиренное, но всетаки дѣтя, неспо-

собное подняться въ своихъ обобщеніяхъ выше волости или уѣзда; идея государства для него слишкомъ отвлеченна и его надо еще приучать къ ней. Съ особеннымъ краснорѣчіемъ говорилъ Удодовъ объ отечествѣ: «отечество, это что-то таинственное, необъяснимое, но въ то же время затрогивающее всѣ фибры человеческого сердца». Трепакъ онъ не можетъ равнодушно видѣть, а слушая «Не бѣлы снѣги»—плачетъ. Дѣло было во время Крымской войны. Явился манифестъ объ ополченіи; съ губернскаго захолустья, гдѣ происходитъ дѣйствіе разсказа, требовалось до 20-ти тысячъ ратниковъ. Передъ губернскими людьми развернулась обширная перспектива дѣятельности по части сукна, холста, кожи, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта и проч. Все заволновалось. Говорились пламенные рѣчи на тему о любви къ отечеству и народной гордости и въ то же время «безсознательно, но тѣмъ не менѣе безпощадно отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ, и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ, и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашнихъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организациі ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣніе». Надъ всѣмъ этимъ гомонъ какъ бы господствуетъ пріятная фигура Удодова. «Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!»—съ грустью восклицаетъ онъ.—«За вѣру! помнить, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ»,—напутствуетъ онъ партію ополченцевъ. «Держитесь голубчикъ-то наши (то-есть Севастополь), не сдайтесь! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Ура!»—кричитъ онъ, съ лихорадочною поспѣшностью распечатывая газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ Удодовъ, послѣ упорной борьбы, добился того, что вся хозяйственная часть по устройству ополченія возложена на него. Сообщая объ этомъ пріятелю, онъ шутиливо прибавляетъ: «ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду». Пріятель, конечно, увѣренъ, что эта шутка, а Удодовъ между тѣмъ, и въ самомъ дѣлѣ, своего кармана не забылъ, безъ всякихъ шутокъ, да такъ не забылъ, что даже испытанные въ дѣлѣ грабежа ахнули. «Да,—разсуждаетъ по этому случаю нѣкій Погудинъ,—какая-нибудь тайна тутъ есть: «Не бѣлы снѣги» заповѣтъ—слушать безъ слезъ не можетъ, а обдирать народъ,—это вольнымъ духомъ, сейчасъ».

«Какая-нибудь тайна тутъ есть»,—это характерно. Мы привыкли думать, что болшимъ людямъ все представляется яснѣе, чѣмъ людямъ дюжиннымъ. И это, разумеется,

справедливо, съ ограниченіями однако. Бываетъ и такъ, что большому человѣку представляются загадочными и таинственными такія явленія, въ которыхъ дюжинные люди не видятъ ровно ничего вопросительнаго. Зависитъ это прежде всего отъ разницы въ степени пытливости ума. Дюжинный человѣкъ, съ молоду свыкаясь съ какимъ-нибудь сложнымъ явленіемъ, не вдумывается въ него, и оттого оно ему кажется просто, а большой человѣкъ заглянетъ въ его глубину и обширность—и призадумается. Но и, кромѣ того, есть вещи, которыя большой человѣкъ трудно постигаетъ именно потому, что онъ большой. Сюда относятся разныя ухищренія низости, которыя мелкой душѣ гораздо ближе, родственнѣе и потому яснѣе и понятнѣе, чѣмъ душѣ возвышенной. Конюкрады-патріоты были для Салтыкова трудно постигаемой загадкой, къ разрѣшенію которой онъ много разъ пытался подойти. Въ очеркѣ «Въ погоню за идеалами» онъ ведетъ, между прочимъ, рѣчь о тѣхъ же трудныхъ для Россіи временахъ Крымской войны:

«И что же, въ это самое время находились люди, которые ставили ополченцамъ сапоги съ картонными подметками, продавали въ свою пользу воловъ, пожертвованныхъ на мясную порцію для нижнихъ чиновъ, снабжали солдатъ кремневыми ружьями, въ которыхъ вмѣсто кремня была вставлена выкрашенная чурочка и т. д. И въ то же время эти люди не только не имѣли злодѣйскаго вида, но и сами себя не считали злодѣями. Они пили, ѣли, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣніи тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозу на картонныхъ подошвахъ. Ужели можно предположить, что, поступая такимъ образомъ, эти люди понимали, что они обездоливаютъ и пролаютъ то самое государство, которое ихъ пріютило, поставило подъ защиту своихъ законовъ и даже дало средства нажить? Нѣтъ, предположить это значило бы допустить въ людяхъ такую нравственную одичалость, которая сдѣлала бы немислимымъ существованіе человѣческаго общества».

Я не знаю ничего трогательнѣе этихъ усилій великаго писателя понять низость, и того упорства, съ которымъ онъ искалъ объясненія ей, всячески въ то же время уклоняясь отъ опасности найти это объясненіе въ ней самой, въ нравственной извращенности человѣческой природы. Да, это была опасность для него. Этотъ сатирикъ, про котораго глупые и безстыжіе люди говорятъ, что онъ не оставилъ кругомъ себя ничего неоплеваннаго, глубоко вѣрилъ въ нравственную красоту человѣческой природы *). Онъ не вѣрилъ и не хотѣлъ вѣ-

рить въ злодѣйство, хотя конкретные факты злодѣйства предъявлялъ во всей ихъ обнаженности. Это можетъ показаться наивнымъ, но это во всякомъ случаѣ наивность возвышенной души, полной вѣры въ человѣка, упрекать которую въ плевательной спеціальности по-истинѣ глупо и безстыдно.

Мы не въ первый разъ видимъ Салтыкова въ положеніи человѣка, осмѣливагося подойти къ Сфинксу. Мы видѣли его въ глубокомъ раздумьи передъ «проблемой о мужикѣ», передъ «мучительно-загадочнымъ сопоставленіемъ мякинаго хлѣба и вѣчной страды». Теперь опять сфинксы, только другаго рода, настоящіе сфинксы, несообразно составленные изъ львиного туловища и человѣческой головы и, какъ то греческое чудовище, порожденіе стоголаваго гиганта и зміи, задаютъ прохожимъ загадки. Пробовали прохожіе—и не отгадывали, и пожиралъ ихъ Сфинксъ. Но вотъ явился Эдипъ и отгадалъ, и бросился Сфинксъ въ море. Былъ ли Щедринъ Эдипомъ сфинкса лицемѣрія?

Если немислима та степень «нравственной одичалости», которая нужна для обкрадыванія казны и народа подъ звуки патріотическихъ рѣчей, то почему же, однако, патріоты временъ Крымской войны могли «искренно молиться въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣніи тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозу на картонныхъ подошвахъ»? Вѣдь это же въ самомъ дѣлѣ Сфинксъ съ львинымъ туловищемъ и человѣческой головой. Салтыковъ рѣшаетъ загадку такъ: «Скорѣе всего упомянутые конюкрады оттого такъ дѣйствовали, что не имѣли никакого понятія ни о ключахъ отъ храма гроба Господня, ни объ устьяхъ Дуная, которыми разрѣшился вопросъ объ ключахъ, ни объ отношеніи этихъ вопросовъ къ русскому государству. Они дѣйствовали совершенно простодушно». Какъ ни странно на первый взглядъ это объясненіе, но оно не изъ тѣхъ, относительно которыхъ можно довольствоваться первымъ взглядомъ, тѣмъ болѣе, что Салтыковъ возвращался къ нему очень часто. Между прочимъ, развитію этой мысли почти дѣлкомъ посвящена статья «Сила событій» (въ «Признакахъ времени»). Статья эта написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ разгрома Франціи Германіей,—разгрома, тяжело отдавагося въ сердцахъ многихъ

*) Это напоминаетъ мнѣ одну очень характерную фразу Салтыкова, которую мнѣ едва-ли придется утилизировать гдѣ-нибудь въ текстѣ.

Рассказывая про добрую старушку Пелагею Ивановну («Христосъ воскресъ!» въ «Губернскихъ очеркахъ»), онъ замѣчаетъ, что съ молоду она вѣрно была красавицею, во-первыхъ, потому, что и теперь слѣды красоты видны, а во-вторыхъ, потому, что «женщина съ истинно добрымъ сердцемъ, по мнѣнію моему, должна, непременно должна быть красавицею».

мыслящих русских людей, въ томъ числѣ и Салтыкова, который съ ранней юности высоко цѣнилъ заслуги Франціи передъ человѣчествомъ. Скорбь и обида за Францію, «раздавленную пятой лихтенштейнца», выдвинули передъ Салтыковымъ все того же сфинкса лицемерія вообще и въ частности лицемернаго патріотизма, насажденнаго во Франціи наполеоновскимъ режимомъ. Къ слову сказать, кличка «бонапартистъ» была въ устахъ Салтыкова одною изъ самыхъ презрительныхъ. Онъ называлъ бонапартистомъ «всякаго, кто смѣшиваетъ выраженіе «отечество» съ выраженіемъ «ваше превосходительство» и даже отдаетъ предпочтеніе послѣднему передъ первымъ». («За рубежомъ»). По мнѣнію Салтыкова, три вопроса огромной практической важности не только поставлены, а и разрѣшены событіями франко-германской войны. Во-первыхъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма казнокрадовъ и другихъ паразитовъ. Во-вторыхъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей необразованныхъ и неразвитыхъ. Въ-третьихъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей, не принимающихъ участія въ дѣлахъ своей страны. Общій выводъ тотъ, что патріотизмъ безсознательный ненадеженъ и отнюдь не ведетъ къ тѣмъ великимъ цѣлямъ, которымъ патріотизмъ долженъ служить. А цѣли эти, по Салтыкову, дѣйствительно велики. Во-первыхъ, какъ мы видѣли уже раньше, патріотизмъ есть единственное звено, которое приобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями и страдать такими страданіями, которыми насъ лично затрогиваютъ очень мало. Патріотизмъ раздвигаетъ наше личное существованіе и приготовляетъ къ воспріятію идеи челоѣчества. Во-вторыхъ, «нѣтъ презрѣнія тяжелѣе того презрѣнія, которымъ пользуется челоѣкъ отъ своихъ соотечественниковъ». А потому идея отечества однимъ внушаетъ мысль о подвигѣ, а другихъ, по крайней мѣрѣ, предостерегаетъ отъ множества глупостей. «Есть еще другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная—это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственнаго дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщеній» («Убѣжище Монрепо»). Если читатель припомнитъ то высокое и страшное значеніе, которое Салтыковъ придавалъ суду потомства, о чемъ у насъ шла рѣчь во второмъ изъ предлагаемыхъ очерковъ, то онъ оценитъ и роль патріотизма, который сатирикъ ставитъ рядомъ съ судомъ потомства. Лично Салтыковъ былъ истинный патриотъ въ томъ высокомъ смыслѣ, который

онъ самъ придавалъ этому слову. Онъ любилъ Россію въ качествѣ просто русскаго челоѣка, съ молокомъ матери всосавшаго стихійную привязанность къ русскому облику и говору, къ русской пѣснѣ и сказкѣ, къ русскому праву и обычаю. Не меньше Удодова чувствовалъ онъ прелесть пѣсни «Не бѣлы снѣги». Но, какъ всегда и во всемъ, эту стихійную силу любви безотчетной онъ подвергалъ контролю сознанія и видѣлъ въ этомъ сознательномъ элементѣ то Эдипово слово, отъ котораго Сфинксъ долженъ броситься въ море. Въ наполеоновской Франціи дѣла ему представлялись такъ, что управленіе страной захватила въ свои руки шайка паразитовъ, ни объ чемъ, кромѣ пріятнаго времяпровожденія, не думавшихъ и, въ видахъ безостановочнаго продолженія этой пріятности, державшихъ населеніе въ сознательной связи съ интересами страны. Это были «не только хищники, но и глупые люди, которыхъ способно было заставить врасплохъ всякое обстоятельство, не имѣющее ближайшаго отношенія къ процессу питанія». Они думали увѣковѣчить свое владычество, вѣдря въ души населенія дисциплину подъ фирмой патріотизма, и дѣло кончилось бѣдой и позоромъ не только для нихъ, — объ этомъ никто не заплачетъ, — а и для всей страны.

Дальнѣйшіе выводы, которые отсюда слѣдуютъ, ясны сами по себѣ и на нихъ излишне останавливаться; я же обращаю вниманіе читателя на щедринскую разгадку загадки Сфинкса. Разгадка эта заключается въ словѣ безсознательность. Щедринъ не могъ допустить мысли, чтобы Удодовъ и прочая сволочь, грабившая казну и народъ подъ громъ патріотическихъ рѣчей и севастопольскихъ пушекъ, понимали, что они дѣлаютъ. Не вѣдаютъ, что творятъ, — думалъ онъ, и въ этомъ невѣдѣніи искалъ объясненія злодѣйству. Щедринъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ узкихъ моралистовъ, которые неустанно твердятъ какой-нибудь глаголъ въ повелительномъ наклоненіи, не соображая условій, при которыхъ исполненіе проповѣдуемой заповѣди можетъ быть просто невозможно. Онъ говорилъ, и горячо, краснорѣчиво говорилъ: любите свое отечество; но вмѣстѣ съ тѣмъ указывалъ и ту обстановку, при которой любовь къ отечеству только и можетъ выбиться изъ лицемерной или ненадежной фразы въ сферу подлинной жизни. Эта обстановка — сознательное участіе въ дѣлахъ, касающихся отечества. Еслибы при этой обстановкѣ все-таки оказалась на лицо горсть закоренѣлыхъ хищниковъ и паразитовъ, пользующихся всякой раной на тѣлѣ отечества, чтобы присосаться къ ней и пить кровь, отводя отъ

раны окровавленный ротъ только для про-
изнесенія благонамѣренныхъ рѣчей, то по
крайней мѣрѣ всякій зналъ бы, чего стоятъ
эти благонамѣренные рѣчи; никого бы онѣ
не вводили въ обманъ.

Дѣло именно въ обманѣ. Сознательно или
безсознательно лицемерить человекъ, но
онъ во всякомъ случаѣ вводитъ или хотъ
пытается ввести присутствующихъ въ за-
блужденіе. Если ты хищникъ или проходи-
мецъ, такъ и называйся хищникомъ и
проходимцемъ, а не патриотомъ или «сто-
помъ»...

Послѣ Іудушки Головлева «столпъ» Де-
руновъ—самая значительная фигура во всей
серіи «Благонамѣренныхъ рѣчей». Кромѣ при-
сущаго обману безсознательнаго лицемерія,
общаго между этими двумя крупными обра-
зами мало. Іудушка — мрачный, одинокій
бездѣльникъ, постепеннѣю покрывающійся плѣ-
сенью въ своей мурѣ; Деруновъ — спокой-
ный, веселый дѣлецъ, все шире и шире раз-
двигающій кругъ своей жизни. Этому раз-
личію соответствуетъ и различіе обществен-
наго положенія: Іудушка представляетъ со-
бою послѣдній отпрыскъ вырождающейся по-
мѣшечьей семьи, а Деруновъ, напротивъ, есть
одинъ изъ родоначальниковъ новаго общест-
веннаго наслоенія, такъ что заплѣсневѣлость
Іудушки и жизнерадостность Дерунова
являются какъ бы эмблемами. Іудушка
только въ праздныхъ мечтаніяхъ на бумагѣ
высчитываетъ, какъ, кого и насколько могъ
бы онъ ограбить при помощи купли и про-
дажи, штрафовъ и процентовъ, а у Деру-
нова все это въявь кипитъ. Любопытно замѣ-
тить, что образъ Дерунова и родствен-
ныхъ ему Антошки Стрѣлова, Разуваева и
прочихъ «чужахъ» намѣченъ опять-таки
еще въ «Признакахъ времени», въ главѣ
«Нашъ *savoir vivre*». Этотъ нашъ *savoir
vivre* есть, собственно говоря, просто мо-
шенничество, болѣе или менѣе закутанное
благонамѣренными рѣчами. Сатирикъ замѣ-
чаетъ, что принципъ *savoir vivre* очень туго
прививается къ меньшей братіи, но за то,
если уже выдастся изъ этой среды подхо-
дящій субъектъ, такъ всякаго за поясъ зат-
кнетъ. Помаленьку, да полегоньку онъ сна-
чала ближайшую округу объегориваетъ, а
потомъ распространяетъ свои сѣти все
дальше и становится, наконецъ, знамени-
тымъ въ качествѣ «мужичка - фанансиста»,
съ исключительною ловкостью и жестокостью
осуществляющаго планы всеобщаго ограбле-
нія. Такова именно исторія Дерунова. Его
первые шаги къ лестному титулу мужичка-
финансиста—неизвѣстны. Разуваевъ — тотъ
въ основу своего благополучія благосклон-
ность корнетши Отлетаевой положилъ. Ан-
тошка, впоследствии Антонъ Валерьяновичъ

Стрѣловъ, сначала стрѣлой по базару но-
сился, а потомъ поднялся при помощи плу-
товства, благосклонности любовницы гене-
рала Утробина старшаго и подложныхъ вексе-
лей генерала Утробина младшаго. Трактир-
щикъ въ «Охранителяхъ» соблазнилъ жену
купца, вмѣстѣ съ ней его дурманомъ опойгъ
и съ того въ гору пошелъ, и т. д. Что же ка-
сается Дерунова, то о его первыхъ шагахъ
къ «засилью» имѣется только одно его соб-
ственное показаніе: почиталъ онъ своего
родителя, а братъ его родителя не почи-
талъ, за что и былъ лишенъ наслѣдства,
цѣликомъ доставшагося почительному сыну.
Въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ автора Деру-
новъ фигурируетъ удачливый и ловкий
прасоломъ и хозяиномъ постоялаго двора.
Но собственно рассказъ застаётъ его уже
на гораздо высшей ступени: у него уже
четверть уѣзда земли въ рукахъ, скотъ онъ
скупаетъ цѣлыми табунами, фабрику митка-
ловую завелъ, винокуренные заводы арен-
дуетъ, палаты каменные себѣ выстроилъ.
Слава его настолько гремитъ, что его уже
въ акціонерныя предпріятія втягиваютъ, но
этого онъ еще опасается. Живетъ Деруновъ
съ большою семьей: жена, два сына, сноха,
четверо внучатъ, да еще дочь есть, — та на
сторонѣ живетъ съ мужемъ, съ полковни-
комъ. Однимъ изъ сыновей, женатымъ, Де-
руновъ очень недоволенъ, даже въ смири-
тельный домъ его за непочтеніе сажалъ; за
то снохой не нахвалится, да и вообще въ
семьѣ счастливъ. «Теперича мнѣ хотъ какую
удбно принцессу предоставь, — развѣ я ее
на мою Анну Ивановну промѣняю? Спаси
Господи! Въ семью-то придешь, — ровно въ
раю очутишься. Право! Благодать, тишина;
всякій при своемъ мѣстѣ, — истинный рай
земной!» Деруновъ — человекъ и по вѣн-
ности благообразный и благодушный, всѣми
почитаемый. Однако, кое-какія подробности
его бесѣды смущаютъ автора. Авторъ хо-
четъ продать свое имѣніе, и Деруновъ, поль-
зуясь обстоятельствами, тѣснить его несо-
образно малой цѣной. Это — во-первыхъ. А
во-вторыхъ, про свои коммерческія опера-
ціи Деруновъ рассказываетъ, между про-
чимъ, такъ: «Хлѣбомъ нынче за первый
сортъ торговать. На счетъ податей строго
стало, выкупныя требуютъ, ну, и везутъ.
Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды
везетъ. Очень эта операція нынче выгод-
ная. И скотъ скупать хорошо, коли ко время.
Вотъ въ мартѣ кормы-то повыберутся, да
и недомки понуждать начнутъ; — тутъ
только не плошай! — За бездѣлюкѣ цѣлые
табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ
заводахъ на барду ставимъ. Хорошій ба-
рышъ бываетъ», и т. д. Во время этихъ
наивно или нагло-откровенныхъ рассказовъ

благотѣпнаго старца является его сынъ, ѣдливѣйшій скупать хлѣбъ у крестьянъ. Онъ рассказываетъ, что давалъ мужикамъ шесть гривенъ за пудъ, а они заупрямились и повезли хлѣбъ въ другое мѣсто, а въ этомъ другомъ мѣстѣ опять же никого, кромѣ Деруновскихъ приказчиковъ, нѣтъ, — ну, и пришлось отдать еще дешевле, по полтиннику. Деруновъ одобряетъ, что мужиковъ проучили за упрямство, но прибавляетъ:

— Однако это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость. Скажи, пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то ничто, знаешь, какъ! Что же ты исправнику не шеннуть?

— Ничего, папенька, покажѣсть еще своими мѣрами справляемся-съ.

— Ну ладно. И то сказать, окромя насъ и покушниковъ-то здѣсь солидныхъ нѣтъ. Испугать вздумали! Нѣтъ, братъ, ростомъ не вышлѣ! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунтъ былъ. Просто, какъ есть стали всѣ за одно и шабашъ. Вы, говорить, изъ всего угада кровь пьете. Даже смѣшно-съ.

— Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотри-ко, бунты начались.

— Да какой же это бунтъ, Осипъ Ивановичъ?—вступился я.

— А по твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? самъ что-ли экую машину съѣмъ? Въ амбаръ что-ли я его гноить буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ синовъ, хлѣба-то не будетъ? Помирать что-ли арміи-то? По твоему это не бунтъ?

Этотъ неожиданный оборотъ разговора, въ связи съ другими подобными же благонамѣренными рѣчами Дерунова, заставляетъ автора призадуматься: есть-ли Деруновъ дѣйствительно «отомль», или онъ, напротивъ, принадлежитъ къ числу «самыхъ злыхъ и отъявленныхъ отрицателей собственности, семейнаго союза и другихъ основъ»? Повидимому, здѣсь нѣтъ мѣста никакимъ такимъ сомнѣніямъ. Деруновъ богатый собственникъ и уже по одному этому чтитъ собственность; онъ держитъ въ порядкѣ семью и, слѣдовательно, чтитъ семейный союзъ; онъ заботится объ арміи, жертвуетъ на «общепользное устройство», его грудь украшена медалями, — значитъ, онъ чтитъ союзъ государственный. *«Но понимаетъ-ли онъ самъ, что онъ «поборникъ»? Не говоритъ-ли въ этомъ случаѣ одно его нутро, безъ всякаго участія въ томъ его сознанія?»* Будь это сознаніе налицо, Дерунову пришлось бы, можетъ быть, одно изъ двухъ: либо прекратить свои благонамѣренныя рѣчи, либо измѣнить характеръ своей дѣятельности. Потому что, какъ же связать уваженіе къ принципу собственности съ желаніемъ даже при помощи исправника получить чужую собственность за несообразную цѣну? По крайней мѣрѣ автору, послѣ его свиданія съ

благотѣпнымъ старцемъ, приснился такой сонъ. Видитъ онъ станового пристава, получившаго высшее образованіе и имѣющаго дипломъ доктора философій. Сидитъ будто этотъ становой и пишетъ: «Проявился въ моемъ станѣ купецъ 1-й гильдіи Осипъ Ивановичъ Деруновъ, который собственности не чтитъ и въ дѣйствіяхъ своихъ по сему предмету представляется не безопаснымъ. Искусственными мѣрами понижаетъ онъ на базарахъ цѣну на хлѣбъ и тѣмъ вынуждаетъ мѣстныхъ крестьянъ обывать свои продукты за безцѣнокъ. И даже на дняхъ, встрѣтивъ чемезовскаго помѣщика (имя рекъ), наглými и безстыжными способами вынуждаетъ оного продать ему свое имѣніе за самую ничтожную цѣну. А потому благоволилъ высшее начальство оного Дерунова изъ подвѣдомственнаго мѣста сана извлечь и поступить съ нимъ по законамъ, водворивъ въ мѣста болѣе отдаленныя и безопасныя». Это былъ сонъ, а проснувшись, авторъ съ достовѣрностью узнаетъ, что Деруновъ сверхъ того и снохачъ. Благотѣпный старецъ, такъ краснорѣчиво говорившій о прелестяхъ семейной жизни («истинный рай земной!»), отнялъ жену у собственного сына...

Очеркъ «Превращеніе» рисуетъ Дерунова на еще высшей степени великолѣпія. Онъ уже бросилъ непосредственное кровопійство, предоставивъ эту черную работу сыну и приказчикамъ, а самъ занялся «отвлеченнымъ» грабежомъ, высшими финансовыми операціями, при которыхъ не слышать протестовъ въ видѣ стоновъ, оханій, проклятій, «бунтовъ» и которыя, однако, даютъ рубль и два рубля на рубль въ такіе сроки, въ какіе непосредственное кровопійство даетъ на рубль гривенникъ. Сверхъ того, Деруновъ, еще бодрый и крѣпкій старикъ, рветъ цѣлты наслажденія: ѣздитъ въ Петербургъ, задаетъ лукулловскіе пиры, носитъ брилліантовыя запонки и открыто живетъ съ красавицей-снохой.

Чурилинъ («Кандидатъ въ столпы»), Стрѣловъ («Отецъ и сынъ»), Хрисаншка Полушкинъ («Опять въ дорогѣ»), затѣмъ Груздевъ, Разуваевъ («Убѣжище Монрепо»),—все это разновидности Деруновскаго типа. Въ «Предостереженіи» сатирикъ подвелъ имъ итогъ кличкой «чумазные». Это такіе-же безсознательные лицемѣры, какъ Іудушка Головлевъ, кузина Машенька, Батищевъ и мать его, Проказинъ и мать его и множество другихъ дѣйствующихъ лицъ сатиръ Салтыкова. Все это люди, отлично помнящіе десять заповѣдей, но исключительно въ буквальной формѣ ихъ повелительнаго наклоненія, то-есть въ формѣ обращенія ко второму лицу: *ты* не укради, *ты* не убей, *ты* не прелюбы сотвори. А затѣмъ отъ степени изворотливости

даже не ума ихъ, а только языка—зависитъ удача или неудача достиженія истинной цѣли ихъ жизни: сбросить съ себя лично уду этихъ самыхъ заповѣдей. Но «чумазы» видѣются изъ всего персонала лицемѣровъ своимъ общественнымъ положеніемъ. Они пробивались снизу вверхъ. Они новые люди въ исторіи. Въ дореформенную эпоху они были возможны развѣ въ видѣ рѣдкихъ исключеній и во всякомъ случаѣ никакого новаго теченія внести въ жизнь не могли. Бывали случаи, что, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, «мужичекъ» пролѣзалъ на-верхъ, но онъ становился при этомъ такимъ же баринкомъ, какъ и прирожденные баре, растворялся въ барскомъ слобѣ: заводилъ себѣ непомѣрную дворню, въ теплые края путешествовать ѣздилъ, бросалъ деньги направо и налево, а при случаѣ и книжки читалъ и библиотеки, музеи, школы заводилъ. «Чумазы», какъ новый дирижирующий слой, стали возможны только съ тѣхъ поръ, какъ «порвалась цѣпь великая, порвалась, раскаталась — однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику». Не потому, разумѣется, они стали возможны, что порвалась великая постыдная цѣпь, а благодаря обстоятельствамъ, сопровождавшимъ это событіе. Неужный баринъ и обремененный мужикъ—вотъ два источника, изъ которыхъ и на счетъ которыхъ «чумазы» черпаютъ свою силу. Деруновъ уловляетъ и чезовскаго барина, пользуясь его безпомощностью, и крестьянъ, выжидая моментъ, когда кормы повыберутся и недоимки понуждать начнутъ. Разуваевъ опутываетъ владѣльца Монрепо и мужику спуска не даетъ, памятуя, что «Йенъ достанитъ».

Въ финансовомъ девизѣ Разуваева лежитъ ключъ къ уразумѣнію разницы между тѣмъ обездоленіемъ, которому могъ подвергать мужика баринъ, и тѣмъ, которое зависитъ отъ алчности чумазыхъ. Баринъ могъ проиграть свою Маниловку или Заманиловку въ карты, могъ промѣнять крестьянскую семью на пару борзыхъ собакъ, могъ совершать всякія безобразія и жестокости, но онъ не могъ не знать и не принимать въ соображеніе той границы матеріальнаго обездоленія, за которою «Йенъ» уже ничего не «достанитъ». А еслибы онъ и перевелъ обитателей своей Маниловки за эту границу, то, во-первыхъ, это отозвалось бы на немъ самомъ; а во-вторыхъ, дальше своихъ владѣній онъ былъ не въ силахъ распространять развореніе. Сфера же дѣятельности чумазыхъ, можно сказать, безпредѣльна; для нихъ «Йенъ» всегда «достанитъ», потому что если этотъ «Йенъ» даже съ голоду уреть, такъ на его мѣсто совершенно такой же свѣжій «Йенъ» явится; да и самъ чумазый, опустошивъ Маниловку,

можетъ свободно перенестись въ другую Маниловку, третью и т. д., безъ конца. Кромѣ того, надо помнить, что баринъ всетаки былъ не чуждъ наукъ и искусствъ, онъ иногда слушалъ Грановскаго и читалъ Вѣлинскаго, былъ способенъ предаваться «мечтаніямъ», конечно, въ большинствѣ случаевъ, платоническимъ и празднымъ. Чумазый же на вопросъ: что есть истина? твердо и неукоснительно отвѣчаетъ: «распивоchno и на выносъ!» Чумазый, какъ мы видѣли на примѣрѣ Дерунова, можетъ поднятись очень высоко, начисто вымыться и надѣть брилліантовые запонки, такъ что сюда относятся вообще «кабатчики, желѣзнодорожники, мѣнялы и прочіе міровѣдскихъ дѣлъ мастера». Чумазые это—нашъ *tiers-état*. Но въ отличіе отъ европейской буржуазіи, на знамени которой значатся слова: просвѣщеніе и свобода, Деруновъ ставитъ себѣ девизомъ: «насчетъ вина свободнo, а насчетъ чтеніевъ строго», и этимъ изреченіемъ стремится окрасить все окружающее. Въ этомъ ему существенную помощь оказываютъ благонамѣренные рѣчи.

Мы видѣли приемы, которыми Деруновъ настигаетъ мужика: ловить моментъ безкормицы и взысканія недоимокъ, а если и за всѣмъ тѣмъ мужикъ не беретъ шести гривенъ за пудъ, то Деруновъ называетъ это стачкой и бунтомъ и готовъ прибѣгнуть къ содѣйствію властей, потому онъ армию хлѣбомъ снабжаетъ, а не умирать же арміи изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ! Этотъ залпъ благонамѣренныхъ рѣчей за счетъ властей и арміи есть *ultima ratio*. Такъ и съ «господами». Понуждая чезовскаго барина продать имѣніе задешево, Деруновъ пугаетъ его судьбой кандауровскаго барина, котораго «чуть-чуть не увезли», потому что онъ «чтеніями» занимался. Въ очеркѣ «Опять въ дорогѣ» Хрисашка Полушкинъ съ братьей доносами выживаютъ помѣщика Опирина; доносы, конечно, состоятъ изъ благонамѣренныхъ рѣчей: въ церковь Опиринъ не ходитъ, такъ это истиннымъ сынамъ церкви обидно показалось, а какой же Хрисашка сынъ церкви, когда онъ воръ и прелюбодѣй? Владѣльца Монрепо Разуваевъ съ Ковыряевымъ выкуриваютъ всѣми возможными способами—и наглýmъ нахрапомъ, и угрозами, и наконецъ угрозой политическаго доноса. Никакихъ политическихъ грѣховъ за владѣльцемъ Монрепо нѣтъ, но, въ концѣ-концовъ онъ не выдерживаетъ этого всесторонняго натиска и продаетъ Разуваеву Монрепо: *finis* Монрепо.

Такова сила «благонамѣренныхъ рѣчей»... Вотъ три чловѣка, въ прошломъ которыхъ есть убійство, воровство, лжесвидѣтельство, прелюбодѣйство,—словомъ, нарушеніе чуть

не всѣхъ десяти заповѣдей,—являются въ качествѣ добровольцевъ-охранителей государственнаго порядка и религіи («Охранители»). Они «извѣщаютъ» исправника о преступной дѣятельности помѣщиковъ Анпетова и Парначева. Исправникъ, хорошо знакомый съ біографіями всѣхъ трехъ доносчиковъ, отказывается дать ходъ ихъ извѣщеніямъ, потому что въ дѣйствіяхъ Анпетова и Парначева не оказывается состава преступления (одинъ самъ землю пашетъ, а другой хлопочетъ о школахъ, трезвости и сыровареніи). Однако исправникъ, всетаки, пользуется услугами извѣстителей и, кажется, не можетъ не пользоваться, потому что въ противномъ случаѣ они, чего добраго, его самого обвинятъ въ неуваженіи къ «основамъ». Обвинять, не моргнувъ глазомъ, ни на секунду не дрогнувъ совѣстью, хотя они-то и есть настоящіе разрушители основъ. Эти три доносчика настолько глупы и невѣжественны, что формулируютъ свои извѣщенія такъ: «Каммуны дѣлаетъ, пролетаріатъ проповѣдуетъ, прокламацію распускаетъ, все, словомъ сказать, весь ядь!—Главнѣйше же путямъ провидѣнія не покоряется: дождь, напримѣръ, не отъ Бога, а отъ облаковъ». Но благонамѣренные рѣчи отнюдь не всегда отливаются въ такіа безграмотныя и бессмысленныя формы. Напротивъ, онѣ поддаются болѣе или менѣе благообразной, въ техническомъ смыслѣ, обработкѣ и складываются въ цѣлыя литературныя теченія, отъ чего, однако, ни мало не измѣняется ихъ суть. Суть же въ томъ, что на защиту основъ поднимаются разрушители основъ, сохраняя при этомъ столь полную ясность духа, что не знаешь даже чему ее приписать—безграничной-ли наглости, или младенческой наивности. Во всякомъ случаѣ этотъ странный маскарадъ, гдѣ все безъ церемоніи валится съ больной головы на здоровую; гдѣ возможна «притча о мерзавцѣ, на доброй стезѣ стоящемъ» («Письма къ тетенькѣ»); гдѣ «разбойниками печати» ругаются именно тѣ, кому этотъ титулъ приличествуетъ; гдѣ уличенные развратники кричатъ о святости семейнаго начала, гдѣ казнокрады заподозрѣваютъ Щедриныхъ въ недостаткѣ патріотизма,—маскарадъ этотъ внушилъ сатирику ядовитую мысль, которую онъ, впрочемъ, облекъ въ комическую форму «Современной идилліи».

Одурманенные хоромъ благонамѣренныхъ рѣчей, герои «Современной идилліи» припоминаютъ свое прошлое: чего-чего тамъ только не было,—и восторгъ по поводу упраздненія крѣпостнаго права, и признательность сердца по случаю введенія земскихъ учреждений, и свѣтлыя надежды, возбужденныя опубликованіемъ новыхъ судебныхъ уста-

вовъ, и торжество, вызванное упраздненіемъ предварительной цензуры, съ оставленіемъ ея лишь для тѣхъ, кто, по человѣческой немощи, не можетъ выѣстить безцензуренности». Съ точки зрѣнія Терпибѣдовыхъ и Граціановыхъ, Разуваевыхъ и Очищенныхъ, все это такіа преступления, которыя вопіютъ о торжественномъ и блестящемъ искупленіи. И вотъ герои «Современной идилліи» спѣшатъ сдѣлаться «участниками преступленій, въ надеждѣ, что общій уголовный кодексъ защититъ ихъ отъ притязаній кодекса уголовно-политическаго». Они стремятся уподобиться Терпибѣдовымъ и Граціановымъ, погружаются въ пучину низости, мерзости, грязи, совершаютъ рядъ постыдныхъ и прямо преступныхъ дѣяній и, наконецъ, достигаютъ своей цѣли: Терпибѣдовы, Граціановы, Разуваевы и весь сонмъ лицемѣровъ признаютъ ихъ людьми благонамѣренными. Но тутъ является на сцену «Стыдь»...

VII.

Умѣренность и аккуратность.

«Въ основѣ современной жизни лежитъ почти исключительно мелочь... Ахъ, эти мелочи! Какъ чесоточный зудень, вливаются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ, и жгутъ его... Мелочи, мелочи, мелочи заполонили всю жизнь».

Такъ вздыхалъ Салтыковъ въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ произведеній, разумѣя при этомъ не только русскую, а и европейскую жизнь. Понятно, однако, что наибольшее вниманіе онъ удѣляетъ нашей жизни. Въ томъ сравнительно небольшомъ произведеніи, изъ котораго взяты приведенныя слова («Мелочи жизни»), сдѣланъ смотръ разнымъ положеніямъ русскихъ людей. Передъ читателемъ проходятъ: «Хозяйственный мужичокъ», сельскій священникъ, помѣщикъ, «мироѣды», группа «молодыхъ людей», группа «читателей», группа «дѣвушекъ», группа, поставленная за общую скобку заглавія «Въ сферѣ сѣянія» (газетчикъ, адвокатъ, земскій дѣятель, праздношатающійся), затѣмъ отдѣльныя фигуры «Портнаго Гришки», «Счастливецъ», «Имярека». По задачѣ это нѣсколько напоминаетъ некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Но поэтъ не успѣлъ отвѣтить на свой вопросъ, а отвѣтъ Салтыкова на-лицо. Отвѣтъ грустный; именно грустный. Всякій другой эпитетъ, хотя бы даже справедливый по существу дѣла, былъ бы всетаки неумѣстенъ, въ виду того тона, которымъ этотъ отвѣтъ проникнутъ. Въ смыслѣ господствующаго тона, «Мелочи жизни» можетъ быть самое цѣльное изъ произведеній Салтыкова, если

брать ихъ такъ, какъ онъ ихъ писалъ,—цѣлыми сериями. Въ «Мелочахъ жизни» нѣтъ той смѣны спокойнаго разсужденія и изображенія взрывами заразительнаго смѣха, а этого смѣха негодованіемъ, которую мы видимъ и въ «Губернскихъ очеркахъ», и въ «Помпадурахъ», и въ «Господахъ Ташкентцахъ», и въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», и въ «Пошехонскихъ разсказахъ», и въ «Письмахъ къ тетенькѣ» и т. д. Въ этомъ отношеніи рядомъ съ «Мелочами жизни» можетъ быть поставлена только «Пошехонская старина», но объ ней у насъ пойдетъ рѣчь особо. Въ «Мелочахъ жизни» сатирикъ является какъ бы уставшимъ смѣяться и негодовать. Онъ можетъ только грустить. Грустить онъ о томъ, что мелочи заполонили всю жизнь, что всѣ, куда ни взглянешь, да и самъ онъ, сатирикъ, затануты тинной мелочей, въ которой даже, повидимому, наиболѣе счастливые почерпаютъ только тусклую, сѣрую жизнь изо-дня-въ-день, безъ намека на настоящее счастье, безъ маящаго прозвѣта въ будущее. О какой-нибудь утѣрковѣ или о тенденціозномъ подборѣ фактовъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Салтыковъ выбираетъ для своего обзора отнюдь не худшія положенія. Совсѣмъ даже напротивъ. Такъ изъ крестьянской жизни онъ беретъ не какую-нибудь голъ перекатную, раздавленную нуждой и горемъ, а «хозяйственнаго мужичка», разумаго, честнаго, у котораго домъ, по-крестьянски, полная чаша. И однако, одѣлавъ добросовѣстный обзоръ его жизни, авторъ приходитъ къ грустному вопросу: «съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?» Мелочи, тягучія, липкія мелочи, опутывающія всю жизнь хозяйственнаго мужичка, не даютъ ему подняться выше «хлѣба единого», обрѣзываютъ его души крылья, да и въ сферѣ ежедневныхъ интересовъ онъ все-таки не спокоенъ. Хорошо онъ живетъ, полная чаша его домъ, но подъ старость, когда ему приходится передать бразды правленія большаку-сыну, онъ видитъ, что дѣло его жизни начинается вразбродъ идти. «Умру, все растащутъ!—думается старику, и болитъ—ахъ, болитъ его хозяйственное сердце!» А уйти отъ этой боли некуда,—весь онъ тутъ, въ этихъ мелочахъ.—Вотъ сельскій священникъ: хорошій попъ, и никакихъ особенныхъ, экстренныхъ несчастій судьба ему не посылаетъ. Тѣмъ не менѣе, жизнь его есть ни что иное, какъ «сказка объ изнурительномъ жизне-строительствѣ», и резюмируется словами: «Горькое начало, горькое существованіе, горькій конецъ».—Но вотъ, пропуская нѣсколько фигуръ, наталкиваемся на исключи-

тельнаго удачника. Газетчикъ Иванъ Непомнящій устроился блистательно: обладая, вмѣсто убѣжденій и знаній, лишь бойкимъ перомъ и наглостью, онъ въ изобиліи пожинаетъ деньги тамъ, гдѣ сѣтъ вздоръ, сплетни, гаерство. Онъ задаетъ роскошные обѣды, держитъ при своей особѣ «лыстеца», «разсказчика сценъ» и «разорившагося жуира», собирается купить въ Италіи замокъ Лампопо съ принадлежащимъ къ нему княжескимъ титуломъ,—словомъ, можетъ сказать себѣ: пей, ѣшь и веселись. Онъ и пьетъ, и ѣстъ, но не веселится. И его жизнь слѣгается изъ удручающихъ мелочей изо-дня въ день, такъ что онъ начинаетъ, наконецъ, ненавидѣть свою газету, а бросить ее не можетъ...

Таково-ли дѣйствительно положеніе Ивана Непомнящаго, въ самомъ-ли дѣлѣ онъ удрученъ мелочами жизни, или, напротивъ, душа его ничего иного не проситъ, до этого намъ дѣла нѣтъ. Мы говоримъ о настроеніи Салтыкова, объ его собственномъ отношеніи къ мелочамъ жизни. Онъ представлялся ему чѣмъ-то ужаснымъ и вмѣстѣ унижительнымъ, какимъ-то засасывающимъ болотомъ, выбраться изъ котораго не легко, даже при полномъ сознаніи, что погружаешься во что-то грязное, липкое и зловонное. Салтыковъ очень хорошо знаетъ, что есть люди, способные довольствоваться мелочами. Вотъ, напримѣръ, помѣщикъ Лобковъ «совершенно доволенъ, что его со всѣхъ сторонъ обступили мелочи,—ни дыхнуть, ни подумать ни о чемъ не даютъ; цѣною этого онъ быть и здоровъ, а больше ему ничего и не требуется». Или «Ангелочекъ», или «Полковницкая дочь» (обѣ изъ группы «Дѣвушекъ»), да мало-ли ихъ, малымъ довольныхъ. Какъ бы, однако, они ни были по-своему счастливы, со стороны на нихъ можно посмотрѣть разнo. Можно, памяти изрѣченіе: «Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей», негодовать на узколобіе или черствость, необходимыя для благополучнаго погруженія въ мелочи жизни; можно озмѣять рыцарей вершка и золотника. Но можно и пожалѣть ихъ. Ангелочекъ, полковницкая дочь, Лобковъ, Иванъ Непомнящій и проч.,—все это люди малые, но все же они люди. Могли бы вѣдь и они, при другихъ условіяхъ, вкусить отъ настоящей жизни, взять съ нея все, что она способна дать человѣку, а они, бѣдные, даже не подозреваютъ о существованіи тѣхъ подчасъ мучительныхъ, а подчасъ и радостныхъ и во всякомъ случаѣ расширяющихъ личное существованіе тревогъ, которыя даютъ высшія проявленія жизни. Что ужъ это за жизнь безъ любовнаго участія къ чьей бы то ни было чужой жизни, безъ мечты, безъ жаж-

ды подвига, безъ подъема къ какому бы то ни было небу... жалкая, сиротская, нищенская жизнь!

На этой именно точкѣ грустной жалости стоитъ Щедринъ въ «Мелочахъ жизни». Онъ ни на кого не сердится, никого не осмѣиваетъ,—онъ жалѣетъ, и въ этой его жалости находятъ себѣ одинаковый пріютъ и всѣми безжалостно поруганный портной Гришка, и великолѣпный газетчикъ, и бездушный Ангелочекъ, счастливо превращающійся въ княгиню Сампантре, и оставшаяся «Христовой невѣстой» Ольга Васильевна. Очень это различные люди и очень различные ихъ положенія, но они одинаково засосаны мелочами. Это не надменный укоръ человѣка, взбравшагося на пьедесталъ. Авторъ и самого себя чувствуетъ опутаннымъ сѣтями мелочей. На краю могилы «онъ чувствуетъ, что сердце его горитъ, и что онъ пришелъ къ цѣли поисковъ всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезѣ правды... Онъ простираетъ руки, ищетъ отлика, онъ жаждетъ идти, возглашать... И сознаетъ, что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и обреченности» («Имярекъ»).

Очеркъ «Имярекъ» произвелъ въ свое время сильное впечатлѣніе, какъ личная исповѣдь знаменитаго автора. Онъ получалъ много писемъ. Одно изъ нихъ пришло въ моемъ присутствіи, и Салтыковъ, жалующій на слабость зрѣнія, просилъ меня прочесть его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыковъ, по обыкновенію, ворчалъ и въ то-же время плакалъ... Авторъ письма называлъ его «святимъ старикомъ», доказывалъ, что не крохи и мелочи у него въ прошломъ, что не одинокъ онъ и не можетъ быть одинокъ, что русское общество не можетъ забыть его заслуги, какъ бы ни умалять ихъ размѣры онъ самъ. Письмо было хорошее, звучало искренностью, и если автору его попадутся на глаза эти строки, пусть онъ приметъ отъ меня благодарность за тѣ минуты умиленія, которыми онъ доставилъ больному и мнительному старику. Корреспондентъ былъ настоящий «читатель-другъ», общеніе съ которымъ Салтыковъ, какъ мы видѣли, считалъ драгоценнымъ для каждаго убѣжденного писателя. Но письмо было не просто утѣшительно, въ немъ была правда. Конечно, только мнительность и болѣзнь могли внушить Салтыкову мысль, «что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и обреченности». Все относительно. Ядовитыя мелочи не пощадили и Салтыкова, и въ его жизнь и дѣятельность онъ внесли свою долю горькой

отравы. Но сдѣланнаго имъ, разумѣется, слишкомъ достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека. Хотя бы уже потому, что въ его дѣятельности широкая полоса была отдана именно борьбѣ съ мелочами жизни. До конца дней своихъ не уставалъ онъ звать насъ въ тотъ міръ идеала и дѣйственной вѣры въ будущее, который только и можетъ спасти отъ губительной цѣпкости мелочей. Вглядываясь въ безнадежно сѣрые тоны нашей жизни, воспроизведенные имъ кистью рукою въ предсмертной страницѣ «Забытыхъ словъ», онъ боялся: «Кто знаетъ,—можетъ быть не далеко время, когда самыя скромныя ссылки на идеалы будущаго будутъ возбуждать только ничѣмъ не стѣсняющійся смѣхъ («Попеховская старина»). Увы! это время уже наступило, слова: «вѣра въ будущее», «идеалы» уже возбуждаютъ смѣхъ, столько же наглый, сколько и глупый. А впрочемъ, *riga bien qui riga le dernier*...

Къ торжеству мелочей Салтыковъ не всегда относился только съ грустью, какъ въ послѣдніе годы своей жизни. Раньше онъ встречалъ его то бурнымъ негодованіемъ, то безпощаднымъ смѣхомъ.

Въ сказкѣ «Добродѣтели и Пороки» парламентеромъ отъ Добродѣтелей во враждебный лагерь Пороковъ, въ концѣ-концовъ, отправляется Лицемѣрие. Но сначала Добродѣтели отправили было «двухъ бобылокъ—Умѣренность и Аккуратность». Выборъ этотъ онѣ сдѣлали по указанію Опыта, который посоветовалъ: «отыщите такое сокровище, которое и Добродѣтели бы уважало, да и отъ Пороковъ было бы не прочь». Умѣренность и Аккуратность вполнѣ соответствовали этимъ требованіямъ, потому что со одной стороны въ добродѣтельскихъ селеніяхъ жили, а съ другой—торговали корчевнымъ виномъ и потихоньку Пороки у себя принимали. Однако, миссія Умѣренности и Аккуратности не удалась. Пришли онѣ въ лагерь Пороковъ и начали канитель разводить: «понамаленьку-то покойнѣе, а потихоньку вѣрнѣе»: ну ихъ и прогнали.

Умѣренность и аккуратность несомнѣнно живутъ въ добродѣтельскихъ селеніяхъ и питаются тѣми самыми мелочами, которыми, по Салтыкову, калѣчатъ жизнь человѣческую. Понятно, что большого благоволенія къ этимъ почтеннымъ качествамъ сатирикъ не могъ чувствовать. И дѣйствительно, еще въ самомъ раннемъ своемъ произведеніи, въ «Запутанномъ дѣлѣ», онъ съ совершенно недвусмысленною неприязнью относится къ той программѣ умѣренности и аккуратности, которую отецъ героя снабжаетъ отъѣзжающаго въ Петербургъ сына. Это можно бы было пожалуй, поставить на счетъ молодости. Сал-

тыкову было всего двадцать два года, когда онъ писалъ «Запутанное дѣло»; ну, а въ эти благодатные годы умѣренность и аккуратность натурально претятъ: «то кровь кипитъ, то силъ избытокъ». Надо быть Молчалинымъ, чтобы посвятить себя культу умѣренности и аккуратности à la fleur de l'âge. Потомъ, когда цвѣты отцвѣтутъ, когда уходить бурку крутая горка, — другое дѣло. Суровая житейская практика поукротить молодой задоръ, поубавить молодыхъ силъ, мелочи жизни сдѣлаютъ свое дѣло, и умудренный человѣкъ сожжетъ все, чему поклонялся, поклонится всему, что сожигалъ. Съ улыбкой, — и хорошо еще если съ улыбкой, а не со стыдомъ или зубовнымъ скрежетомъ, — будетъ онъ вспоминать золотые сны молодости и предъявить ту самую программу умѣренности и аккуратности, которую когда то гордо и пылко браковалъ. Ахъ, это очень обыкновенная исторія, — до такой степени обыкновенная, что когда я вижу юношу, съ негодованіемъ рвущаго знамя умѣренности и аккуратности, я по-неволѣ вспоминаю примѣры происходившихъ на моихъ глазахъ превращеній и думаю: на долго-ли этого задора хватить? Горькія думы, но еще горше видѣть молодость безъ ея естественныхъ атрибутовъ, а это бываетъ. Салтыковъ держался на этотъ счетъ вполне опредѣленнаго мнѣнія. Онъ писалъ: «Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать». Отсюда его особенная ненависть къ молодымъ ташкентцамъ всякаго рода: пусть бы ужъ старики ташкентствовали, если эта чаша не можетъ миновать насъ совсѣмъ.

Какъ бы то ни было, но съ Салтыковымъ лично не произошло, на всемъ протяженіи его жизни, никакого превращенія по части умѣренности и аккуратности. Какъ онъ выступилъ на литературное поприще съ презрѣніемъ къ этимъ бобылкамъ, живущимъ «на задворкахъ добродѣтельныхъ селеній», такъ и въ могилу сошелъ безъ уваженія къ нимъ. Онъ всегда понималъ губительную цѣпкость мелочей и ихъ засасывающую силу. Поэтому онъ сравнительно благодушно отнесся даже къ Молчалину («Въ средѣ умѣренности и аккуратности»), не смотря на всѣ его «уступочки» и «обстановочки». Правда, какъ мы видѣли, онъ пригрозилъ ему страшной карой сыновняго суда, но это уже собственноручно за то, что Молчалинъ былъ способенъ окровавленными руками пироги съ капустой рѣзать. Это вѣдь ужъ въ самомъ дѣлѣ слишкомъ. Но затѣмъ Молчалинъ просто маленький, слабый человѣкъ, самъ сознающій свое ничтожество, и вы ясно видите, что са-

тирикъ по человѣчеству сочувствуетъ его горестямъ и труднымъ положеніямъ. Иное дѣло, когда представители умѣренности и аккуратности воображаютъ, что они-то и суть настоящіе большіе корабли, которымъ предстоитъ большое плаваніе, когда они, гордо закинувъ голову и воинственно потрясая мечомъ, набрасываются на все, что не отмѣчено клеймомъ умѣренности и аккуратности. Этимъ Салтыковъ не давалъ пощады. Въ сущности, онъ только требовалъ, чтобы всякій сверчокъ зналъ свой шестокъ, чтобы вещи назывались ихъ подлинными именами: вершокъ — вершкомъ, аршинъ — аршиномъ, и, кажется, требованіе это нельзя назвать чрезмѣрнымъ или несправедливымъ. А между тѣмъ за это за самое онъ претерпѣлъ нападокъ можетъ быть больше, чѣмъ за какую бы то ни было другую струю своей дѣятельности.

Полемика, происходившая въ началѣ семидесятыхъ годовъ между *Отечественными Записками* и *С.-Петербургскими Вѣдомостями*, нынѣшнему поколѣнію читателей совершенно чужая. Благодаря разнымъ неожиданностямъ, подрывающимъ преемственность нашего литературнаго развитія, нынѣшнимъ читателямъ не только трудно проникнуться интимной, живой подкладкой той полемики, но едва-ли многіе даже просто помнятъ и знаютъ ее. Къ этому надо еще прибавить неполноту документовъ, относящихся къ дѣлу: сочиненія Салтыкова на-лицо, со всею ихъ полемическою рѣзкостью, а кому же нужна или охота разыскивать старые номера *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*? Они были и быльемъ поросли. Ознакомиться съ ними не трудится, повидимому, даже тѣ, для кого это, по обстоятельствамъ, обязательно.

Одинъ, вообще говоря, очень благосклонный критикъ дѣлаетъ по поводу упомянутой полемики упрекъ сатирику въ «преувеличеніи», «несправедливости» и «ошибкѣ». Не возражая противъ щедринской оцѣнки «пѣнокоснимательства» вообще, онъ находитъ несправедливостью и ошибку въ приуроченіи его «къ одному лицу и къ одной газетѣ». Этотъ упрекъ прежде всего фактически несправедливъ. Подъ «Старѣйшей Всероссійской Пѣнокоснимательницей», конечно, разумѣются *С.-Петербургскія Вѣдомости*, но рядомъ съ ними у Щедрина фигурируютъ и другіе органы печати, напримѣръ, журналъ «Вѣстникъ Пѣнокосниманія», еженедѣльное изданіе «Обыватель Пѣнокоснимающій», газета «Истинный Россійскій Пѣнокосниматель». Что же касается «одного лица», то Менаандръ Прелестновъ, къ которому только и можетъ относиться эта аллегорія, пользуется даже нѣкоторымъ сочувствіемъ сатирика. Менаандръ Прелестновъ видалъ лучшія времена лите-

ратуры и помнить ихъ. Въ минуту откровенной бесѣды онъ говоритъ автору: «ну, скажи на милость, развѣ Бѣлинскій, Грановскій, ну, Добролюбовъ, Писаревъ что ли... развѣ писали они что-нибудь подобное той скупоточивой канители, которая въ настоящее время носить названіе передовыхъ статей?.. Ты замѣтилъ-ли, что этотъ Нескладинъ нагородитъ?» («Дневникъ провинціала въ Петербургѣ»). Менаандръ Прелестновъ — центральная фигура картины, но онъ не инициаторъ пѣнокосниманія, а скорѣе жертва его, не принципиальный его поборникъ, а только попуститель, да и то поневолѣ. Временами по крайней мѣрѣ, онъ отлично сознаетъ, чего стоятъ принципы пѣнокоснимательства и его представители, орудующіе въ «Старѣйшей Россійской Пѣнокоснимательницѣ».

Даже, упомянутый критикъ говоритъ, что Салтыковъ потратилъ въ этой полемикѣ «слишкомъ много слишкомъ тяжелыхъ снарядовъ», но о томъ, какіе снаряды пускались въ ходъ пѣнокоснимателями, не говоритъ ни единого слова. Это придаетъ всей исторіи невѣрное освѣщеніе. Полемика *Отечественныхъ записокъ* съ *С.-Петербургскими Вѣдомостями* была не поединкомъ Салтыкова съ Менандромъ Прелестновымъ, а борьбою двухъ направленій, и въ этой борьбѣ не одна же только сторона тратила «снаряды». Здѣсь, конечно, не мѣсто припоминать подробности полемики, но всякій, кто пожелаетъ оправиться въ подлинныхъ документахъ, увидитъ, что въ *Отечественныхъ Запискахъ*, отъ которыхъ Салтыковъ никогда себя не отдѣлялъ, и лично въ самого Салтыкова летѣли изъ лагеря пѣнокоснимателей снаряды, начиненные всѣмъ порошкомъ, какого только у нихъ хватало. Что не они порохъ выдумали, это правда, но это уже другой разговоръ.

Дѣло именно въ томъ, что пѣнокоснимательство занимало въ ту пору воинствующее положеніе. Конечно, уже самые его принципы не могли быть симпатичны сатирику. «Наше время—не время широкихъ задачъ»; «съ одной стороны надо признаться, но и съ другой стороны нельзя не сознаться»,—это не могло быть по душѣ человѣку, которому умѣренность и аккуратность рисовались въ видѣ бобылокъ, живущихъ на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній. Если этому влиянію и этому аккуратно-умѣренному погруженію въ мелочи жизни предается какой-нибудь Молчалинъ, такъ, пожалуй, и Богъ съ нимъ, тѣмъ болѣе, что онъ выше сферы своей не лѣзаетъ, жаръ-птицы изъ себя не изображаетъ и никогда не забываетъ пословицы, предписывающей протягивать ножки по одежкѣ. Но литература! Литература, идея которой, по Салтыкову, граничитъ съ вѣчностью!.. Какое такое можетъ быть время, что литера-

тура не найдетъ въ немъ широкихъ задачъ? Что задачи могутъ, по характеру своему, измѣняться, переходя отъ теоріи къ практикѣ и обратно и въ каждой изъ этихъ областей отъ одной группы вопросовъ къ другой,—это вѣрно. Что внѣшнія обстоятельства могутъ насильственно сдвинуть сферу дѣятельности литературы,—это, къ сожалѣнію, опять-таки безспорно. Но чтобы литература сама накладывала на себя руки и возводила узость задачъ въ руководящій принципъ,—этого Салтыковъ, въ своемъ благоговѣйномъ отношеніи къ роли литературы, ни понять, ни простить не могъ. И пусть бы эта самоубійственная литература по крайней мѣрѣ сознавала глубину своего ничтожества и позора, пусть бы она клевала выдѣнные яйца и прочія мелочи жизни, краснѣя отъ стыда или хоть только со скромнымъ видомъ, приличествующимъ бобылкамъ, которыя на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ. А то вѣдь она что говоритъ?—Она говоритъ: мы соль земли! а вы, говоритъ, которые о широкихъ горизонтахъ хлопчете, празднословы, неспособные подняться на высоту научнаго пониманія задачъ времени. Нескладинъ отстаиваетъ «проектъ упраздненія» противъ «проекта уничтоженія». Авторъ «Дневника провинціала» осмѣливается ему замѣтить, что это, кажется, одно и то же и что «сердце отказывается вѣрить»... Нескладинъ надменно перебиваетъ: «А такъ какъ я имѣю дѣло съ фактами, а не съ тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вамъ въ утѣшеніе!» Неуважай-Корыто, по поводу какого-то Чурилки, тоже съ величественною сухостью отрѣзываетъ: «Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ утѣшеній преподать вамъ не можетъ!» Наука! Они вѣдь серьезно думали, что это наука, а отстаиваніе «проекта упраздненія» противъ «проекта уничтоженія»—либерализмъ. Что касается либерализма, то дальнѣйшія превращенія многихъ дѣятельнѣйшихъ пѣнокоснимателей уже сами по себѣ свидѣтельствуютъ, въ какой мѣрѣ были правы Салтыковъ, не давая этому либерализму той цѣны, которую тотъ самъ запрашивалъ.

Умѣренность и аккуратность сами по себѣ отнюдь не постыдныя какія-нибудь качества. Притомъ же есть такіе сферы жизни и такіе положенія, въ которыхъ онѣ рѣшительно необходимы. Но имъ приличествуетъ скромность. Грибоѣдовскій Молчалинъ боится «свое сужденіе имѣть». Его и Софья-то полюбила за то, что онъ «врагъ дерзости, всегда застѣнчивъ и не смѣлъ». Да и не одна Софья. Самъ Щедринъ оцѣнилъ скромность Молчалина и сообразно этому внесъ въ грибоѣдовскій образъ нѣкоторыя любопытныя поправки. Щедринскій Молчалинъ рѣшитель-

но отрицаетъ приписанныя ему Грибоѣдовымъ амурныя пашни съ Софьей. Онъ рассказываетъ дѣло такъ: «Я въ ту пору на флейтѣ игрывалъ,—ну, Софья Павловна и приглашала меня, собственно, на предметъ аккомпанимента... Однажды точно что послѣ игры ручку изволила дать мнѣ поцѣловать, однако, я такъ благороденъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ ихнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать съ разсужденіемъ». Съ Лизой у него пашни, дѣйствительно, были,—ну, Софья Павловна и разсердилась, что «такой пассажъ—и возлѣ самыхъ ея апартаментовъ». Этими объясняется знаменитая сцена послѣ бала. Чацкий въ послѣдствіи самъ сознался, что погорѣлся; онъ-таки женился на Софьѣ Павловнѣ, и оба они всегда благоволили къ Молчалину, а Софья, кромѣ того, и дѣтей у него всѣхъ крестила. На зубокъ новорожденному она всегда двадцать пять полумперіаловъ дарить. «А я,—рассказываетъ Молчалинъ,—не будь прости, сейчасъ къ Юнкеру, да внутренняго займа съ выигрышами билетѣцъ! Можетъ-быть когда-нибудь на наше счастье тысячекъ двадцать пять — обѣ двухъ-стахъ-то ужъ мы не думаемъ—и выпадетъ!» («Въ средѣ умѣренности и аккуратности»). Въ этой щедринской передѣлкѣ Молчалинъ выходитъ гораздо симпатичнѣе, чѣмъ у Грибоѣдова; а эта сравнительная привлекательность зависитъ отъ того, что передѣланный Молчалинъ искреннѣе и послѣдовательнѣе въ своей умѣренности и аккуратности: онъ скромнѣе, онъ знаетъ свой шестокъ.

Своей передѣлкой Молчалина Салтыковъ показалъ, что онъ можетъ очень мягко относиться къ умѣренности и аккуратности, когда онѣ украшаются скромностью. Какъ всякій истинно большой человѣкъ, Щедринъ не презиралъ ни маленькихъ людей, ни маленькихъ дѣлъ, но подъ тѣмъ условіемъ, чтобы они не маскировались большими людьми и большими дѣлами. Съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть и на статью «Новый Нарцисъ или влюбленный въ себя», надѣлавшую въ свое время много шума и вызвавшую много нареканій на автора. Либеральные критики негодовали на сатирика за нападки на «наши молодыя земскія учрежденія». Что Салтыковъ раздѣлялъ надежды всѣхъ благомыслящихъ русскихъ людей на земское самоуправленіе, это, не говоря о прочемъ, видно уже изъ «Писемъ о провинціи» (въ особенности седьмого и восьмого письма). Но, говорилъ онъ, «чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начала поняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Служеніе задачъ вообще плохая школа для вновь высту-

пающихъ учреждений». Изъ этого, какъ и вообще изъ «Писемъ о провинціи», явствуетъ, что Салтыковъ понималъ роль земскихъ учреждений много выше и шире, чѣмъ тѣ, кто напустился на «Нарциса». Онъ очень хорошо понималъ настоятельность задачи, волнующихъ умы героевъ «Нарциса»: вопроса о заготовленіи нижняго бѣлья для больныхъ гражданскаго вѣдомства, вопроса о полудѣ рукомыльниковъ, вопроса о станомъ приставѣ, позволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ вмѣсто двухъ, и т. д. Все это безспорно важно и нужно уладить. Но вѣдь не въ этомъ же все дѣло, и во всякомъ случаѣ все это еще не составляетъ резона для великолѣпныхъ разговоровъ о «новыхъ путяхъ», «твердыхъ упованіяхъ», «свѣтлыхъ надеждахъ», «великомъ будущемъ» и проч. Будьте умѣренны и аккуратны, поскольку это дѣйствительно необходимо, но не погружайтесь исключительно въ мелочи и подробности; если же вы только умѣренностью и акуратностью блистать хотите и никакой обширности вмѣстить не можете, такъ будьте, по крайней мѣрѣ, скромны, не сотрясайте воздуха трубными звуками, своею громогласностью отнюдь не соответствующими дѣламъ вашимъ. Вотъ, собственно говоря, вся мораль «Нарциса».

Читатель видитъ, что мораль эта, въ своемъ общемъ выраженіи, вполне примыкаетъ къ морали «Благонамѣренныхъ рѣчей». Тамъ вѣдь тоже требовалось уравниеніе слова съ дѣломъ: не воруй, а ежели ты воръ, такъ не изображай собою столпа, поддерживающаго принципъ собственности; не развратничай, а ежели ты развратникъ, такъ не разглажь всѣхъ о святости семейнаго начала; не грабь казну и народъ, а ежели ты казнокрадъ, такъ не блистай патріотизмомъ. И тамъ, и тутъ сатирикъ преслѣдуетъ маскарадное поведеніе. Разница, однако, въ томъ, что ораторы благонамѣренныхъ рѣчей замаскированы «столпами» и, въ случаѣ грамотности, охотно говорятъ о себѣ: мы консерваторы. Ораторы же умѣренности и аккуратности склонны, напротивъ, называть себя либералами. Положеніе сатирика среди этихъ двухъ маскарадовъ было необыкновенно трудное. Съ одной стороны «столпы» говорятъ такъ много и такихъ азартныхъ благонамѣренныхъ рѣчей, что около нихъ сгустилась атмосфера относительной неприкосновенности. Всякую попытку совлечь съ нихъ маскарадной костюмъ они истолковываютъ въ смыслѣ посягательства на тѣ принципы, которымъ они якобы служатъ, и этотъ фортель имъ слишкомъ часто удается. Съ другой стороны, рыцари умѣренности и аккуратности столь же ни къ селу, ни къ городу вопіютъ объ оскорбленіяхъ, якобы

наносимыхъ принципамъ свободы, просвѣщенія, «нашимъ молодымъ учрежденіямъ», когда рѣчь идетъ вовсе не объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, а только о томъ, что умѣренность и аккуратность на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ.

Маленькая подробность. Изъ всѣхъ очерковъ, вошедшихъ въ составъ сборника «Мелочи жизни», только два снабжены эпиграфами, и это какъ бы подчеркиваетъ ихъ значеніе. Надъ очеркомъ «Имярекъ» стоитъ: «О, поле, поле, кто тебя усыялъ мертвыми костями?» Это понятно, если припомнить, что «Имярекъ» есть личная исповѣдь автора: удрученный болѣзнью и житейскими невзгодами сатирикъ съ преувеличенною мнительностью не видитъ въ своей жизни ничего, кромѣ поля, усыяннаго мертвыми костями... Другой очеркъ, снабженный эпиграфомъ, называется «Чудиновъ». Эпиграфъ гласитъ: «Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ нихъ, летѣть». Я уже упоминалъ объ этомъ очеркѣ въ главѣ «Вѣра въ будущее». Чудиновъ «вздумалъ летѣть», а безжалостная судьба подкосила ему крылья прежде, чѣмъ онъ успѣлъ ихъ расправить. Авторъ нашелъ неудобнымъ дать Чудинову подняться на воздухъ и прикончилъ его не тѣми опасностями и трудностями, которыя грозили ему въ самомъ процессѣ полета, а просто чахоткой. Остается фактъ сочувствія автора къ самому намѣренію «летѣть» изъ міра мелочей жизни въ область идеала и подвига. Защита того, что рыцари умѣренности и аккуратности презрительно обзываютъ «мечтами» и «фантазіями», составляла какъ бы задачу жизни Салтыкова. Онъ очень часто къ ней возвращался и, между прочимъ, утверждалъ, что самые фантастическіе мечтатели, — это именно тѣ, кто, зарывшись въ мелочи, вопіетъ изъ ихъ глубины противъ «мечтаній». Устами Крамольникова Салтыковъ спрашивалъ: «Да развѣ это не самое грубое, не самое противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даромъ слова — заставить молчать? человѣка, одареннаго способностью мыслить — заставить не мыслить?» И далѣе: «Одни видятъ высокую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія и эту задачу называютъ дѣломъ; другіе, напротивъ, не признавая необходимости человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой... Разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка мечтателей» («Пошехонскіе рассказы»).

По мнѣнію Салтыкова,

«одна изъ характеристическихъ чертъ пѣнокосимательства, — это враждебное отношеніе къ

такъ называемымъ утопіямъ. Не то, чтобы пѣнокосиматели прямо враждовали, а такъ, гадать. Всякій пѣнокосиматель есть человѣкъ не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображенія; человѣкъ, который самою природою осужденъ на хладное пережевываніе первоначальныхъ, такъ сказать, обнаженныхъ истинъ... Пѣнокосиматель не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній, но даже гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно также служитъ цивилизаціи, какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ утонулъ въ заборъ и ни о чемъ другомъ, кромѣ забора, не хочетъ знать» («Дневникъ провинціала»).

Крылатая мысль Салтыкова никогда не могла успокоиться на тѣхъ заборахъ, въ которыхъ доктринеры умѣренности и аккуратности видятъ предѣлъ, его же не предѣли. Любопытны его автобиографическія показанія въ «За рубежомъ». Онъ рассказываетъ тамъ, что, только-что оставивъ школьную скамью, онъ примкнулъ къ западникамъ. «Но не къ большинству западниковъ, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прильпился къ Франціи. *Разумѣется*, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сень-Симона, Каба, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ - Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество». Рассказывая далѣе объ интересѣ, съ которымъ молодежь слѣдила за тогдашними французскими событіями, онъ пишетъ: «Можно-ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое вдобавокъ отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше?» Эту любовь къ Франціи и этотъ живой интересъ къ ея судьбамъ Салтыковъ сохранилъ навсегда. Статья «Сила событий», можно сказать, брызжетъ скорбнымъ сочувствіемъ къ Франціи, раздавленной «пятой лихтенштейнцой», и ненавистью какъ къ этому умѣренному и аккуратному лихтенштейнцу, такъ и къ позорному игу Наполеона, приготовившему пораженіе Франціи. Но и за всѣмъ тѣмъ сатирикъ остается полонъ вѣры въ «галльскаго пѣтуха», ибо не можетъ такъ-таки совсѣмъ погаснуть «пламя, согрѣвавшее исторію человѣчества». Эта неискоренимая вѣра въ творческую силу Франціи, какъ небо отъ земли, далека отъ зауряднаго западничества, составляющаго одинъ изъ параграфовъ кодекса политической умѣренности и аккуратности.

Историческія заслуги Европы Салтыковъ цѣнилъ, конечно, не меньше, чѣмъ наши чистокровные, умѣренные и аккуратные западники. Для національнаго самохвальства онъ слишкомъ ясно видѣлъ и слишкомъ близко къ сердцу принималъ наши многочисленные язвы и грѣхи, для мисти-ческой стороны славянофильскаго ученія

онъ слишкомъ любилъ свѣтъ, ясность, подлинную жизнь; а для узкаго, доктринерскаго западничества онъ слишкомъ любилъ просторъ. Не «Европа» и, въ частности, не «Франція» была для него тѣмъ магическимъ словомъ, которое окрыляло его сердце надеждой и вѣрой. Его симпатіей пользовалось лишь совершенно определенное теченіе европейской жизни, получившее особенно яркое выраженіе во Франціи, въ которой, однако, тутъ же рядомъ существуютъ и совсѣмъ другія теченія. Если Салтыковъ былъ далекъ отъ разговоровъ о «гніеніи Запада», то, съ другой стороны, никто и никогда не могъ бы его упрекнуть въ «преклоненіи передъ Европой». Имѣвшая когда-то свой смыслъ, но уже давно исчерпанная тяжба славянофильства съ западничествомъ всегда была для него чужимъ дѣломъ, по той простой причинѣ, что Европа никогда не представлялась ему чѣмъ-нибудь цѣлостнымъ и однороднымъ, заслуживающимъ обобщеннаго почитанія или порицанія. Движеніе—вотъ единственная общая черта, которую Салтыковъ склоненъ усваивать европейской жизни вообще. Говоря о несовершенствѣ политическихъ и общественныхъ формъ, выработанныхъ Западною Европой, онъ замѣчаетъ: «но здѣсь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастье само свалится когда-нибудь съ неба». («Господа ташкентцы»), Салтыковъ зналъ, однако, что и движеніе, неустанность творческаго процесса жизни не есть все-таки безусловно необходимый атрибутъ европейской исторіи на всемъ ея протяженіи. Не далеко ходить: «Современному французскому буржуа ни героизмъ, ни идеалы уже не подь силу. Онъ слишкомъ отяжелѣлъ, чтобы не пугаться при одной мысли о личномъ самоотверженіи, и слишкомъ удовлетворенъ, чтобы нуждаться въ расширеніи горизонтовъ. Онъ давно уже понималъ, что горизонты могутъ быть расширены лишь въ ущербъ ему» («За рубежомъ»). А такъ какъ именно этотъ самый буржуа управляетъ современной Франціей, то страна, озарившая молодость Салтыкова лучами нравственнаго свѣта, носить теперь на себѣ клеймо «безыдейной сытости» и духовной неподвижности. Но это не можетъ тянуться безъ конца. «Ясно, что идетъ какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипятъ и хлопочутъ съ очевидною рѣшимостью пробиться наружу. Исконное теченіе жизни все больше и больше заглушается этимъ подземнымъ гудѣніемъ;

трудная пора еще не наступила, но близость ея признается уже всѣми» («Мелочи жизни»).

«Безыдейная сытость» современнаго французскаго буржуа отразилась, между прочимъ, и на беллетристикѣ, которая «для того, чтобы скрыть свою изменчивость, не безъ наглости подняла знамя реализма». Слово это знакомо и намъ, русскимъ. «Но,—говорить Салтыковъ,—размѣры нашего реализма нѣсколько иные, нежели у современной школы французскихъ реалистовъ. Мы включаемъ въ эту область *всею* человѣка, со *всею* разнообразіемъ его опредѣленій и дѣйствительности; французы же главнымъ образомъ интересуются торсомъ человѣка и изъ всего разнообразія его опредѣленій съ наибольшимъ раченіемъ останавливаются на его физической правоспособности и на любовныхъ подвигахъ. Съ этой точки зрѣнія Викторъ Гюго, наприм., представляется въ глазахъ Зола чуть не гороховымъ шутомъ» («За рубежомъ»).

Зола, какъ извѣстно, провелъ и въ русскую литературу свое предпріятіе—свергнуть Виктора Гюго и Жоржъ-Занда съ ихъ поэтическихъ престоловъ. Кое-кто и у насъ видѣлъ въ этомъ предпріятіи какое-то трезвенное слово, нужную и полезную борьбу съ чѣмъ-то ненужнымъ и вреднымъ. Зола дѣлалъ это мало достойное дѣло во имя трезвости, умѣренности, аккуратности, а такъ какъ онъ обнаруживалъ при этомъ еще совершенно пустопорожнюю надменность, то понятно негодованіе Салтыкова. Тѣмъ болѣе понятно, что,—по словамъ нашего сатирика,—изъ старой французской литературы «лиглась на насъ вѣра въ челоуѣчество». Зола, при всемъ своемъ талантѣ, котораго Щедринъ не отрицалъ, не преувеличивая, однако, его размѣровъ, былъ въ его глазахъ все-таки нѣчто въ родѣ пѣнкоснимателя, то-есть человѣка, который подъ той или другой благовидной маской (наука, либерализмъ, реализмъ) наровитъ подрѣзать челоуѣчеству крылья, отнять у него право мечты и идеала и засадить за умѣренное и аккуратное пережевываніе мелочей жизни.

VIII.

С О Ю З Ы.

До сихъ поръ мнѣ всего одинъ разъ пришлось цитировать послѣднее произведеніе Салтыкова, «Пошехонскую старину»; а именно въ подтвержденіе того, что на краю могилы онъ былъ столь же горячимъ защитникомъ «мечты», руководящихъ идеаловъ, какъ и въ первые годы своей литературной дѣятельности. Это не единственная черта,

свято донесенная имъ до конца дней и отличающаяся въ «Пошехонской старинѣ».

Салтыковъ оговаривается, что «Пошехонская старина не есть автобіографія. Онъ не отрицаетъ присутствія въ ней автобіографическаго элемента, но говорить, что туда допущено и кое-что, имъ лично не пережитое, а частью и просто фантазія. Но во всякомъ случаѣ въ основаніи этого произведенія лежатъ подлинныя факты, если не всегда автобіографическіе, то все-таки видѣнные, слышанные, вообще наблюденныя авторомъ въ дѣтствѣ. Дѣло въ томъ, что Салтыкова въ послѣдніе годы его жизни посѣтила старческая память, при которой образы и картины далекаго прошлаго встаютъ какъ живые, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ, и иногда въ ущербъ недавно минувшему. Заканчивая «Пошехонскую старину», Салтыковъ пишетъ: «Масса образовъ и фактовъ, которую пришлось *связать*, подѣйствовала настолько подавляющимъ образомъ, что явилось невольное утомленіе». Подчеркнутое выраженіе не точно. Салтыкову ничего не пришлось вызывать,—воспоминанія дѣтства помимо его воли всплыли на поверхность сознанія и овладѣли имъ съ такою силой, что едва-ли могъ бы онъ приняться за что-нибудь другое, не сваливъ предварительно хоть часть этого груза на бумагу. Но, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, отмѣченныхъ нами раньше, Салтыковъ не пассивно отдается напору стихійной силы воспоминаній. Хлынувшія на него далекія первыя житейскія впечатлѣнія овладѣли имъ настолько, что вытѣснили всякій другой фактический матеріалъ и не позволяли ему оперировать надъ чѣмъ бы то ни было, кромѣ нихъ. Но онъ не просто записывалъ свои воспоминанія въ хронологическомъ или какомъ другомъ порядкѣ. Онъ комбинировалъ ихъ въ художественныя образы и картины, онъ творилъ, и творилъ какъ всегда, при свѣтѣ нравственныхъ убѣжденій, непоколебимо сохранившихся въ немъ до самой смерти. Такимъ образомъ въ «Пошехонской старинѣ» мы имѣемъ, если можно такъ выразиться, зародышъ и корни, и плоды жизни сатирика,—яркость первыхъ впечатлѣній дѣтства и безповоротную законченность идей умирающаго человѣка.

«Пошехонская старина» имѣетъ задачей воспроизведеніе крѣпостного быта. Фабула крѣпостного права завершилась, говоритъ Салтыковъ. Но, «кромѣ фабулы, въ этомъ трагическомъ прошломъ было нѣчто еще, что далеко не поросло быльемъ. Фабула исчезла, но въ характерахъ образовалась извѣстная складка, въ жизнь проникли извѣстныя привычки». Дѣйствительно, хотя

клеимо крѣпостного права по необходимости стирается теченіемъ исторіи, но что оно далеко не стерлось и по сіе время, объ этомъ свидѣлствуютъ всенародно заявляемыя вождѣнія такъ называемой консервативной печати. Собственно говоря, ей менѣе всего приличествуетъ названіе консервативной, потому что она не охраненіемъ занимается, а, напротивъ, исключительно проектами ломки того зданія нашей гражданственности, во главу угла котораго легко освобожденіе многомилліонной крестьянской массы. Если же она что и стремится, въ самомъ дѣлѣ, охранять, такъ развѣ именно только ту «складку» и тѣ «привычки», которыя остались жить и по окончаніи фабулы крѣпостного права. А потому и самая фабула имѣетъ для насъ отнюдь не историческій только интересъ. Прошли тѣ времена наивнаго ликованія, когда такой, во всякомъ случаѣ, чуткій человѣкъ, какъ Писаревъ, могъ серьезно упрекать Салтыкова за то, что онъ, *стуся два года* послѣ отмены крѣпостного права, пишетъ рассказы изъ крѣпостного быта,—устарѣлая, дескать, тема! Увы, скоро сказка сказывается, а дѣло не скоро дѣлается. Салтыковъ писалъ: «Я выросъ на лонѣ крѣпостного права, вскормленъ молокомъ крѣпостной кормилицы, воспитанъ крѣпостными мамками и, наконецъ, обученъ грамотѣ крѣпостнымъ грамотѣемъ. Всѣ ужасы этой вѣковой кабалы я видѣлъ въ ихъ наготѣ» («Мелочи жизни»). Когда безъ остатка вымрутъ поколѣнія, которыя могутъ сказать о себѣ эти страшныя слова, такъ и то можетъ быть еще будетъ давать себя знать «извѣстная складка», составляющая и нынѣ наслѣдіе крѣпостного права. Въ чемъ же Салтыковъ полагалъ эту складку?

Отстаивая право человѣчества на «мечту» отъ посягательствъ, съ одной стороны, ораторовъ благонамѣренныхъ рѣчей и ихъ пособниковъ, а съ другой — представителей умѣренности и аскратности, Салтыковъ, конечно, не рекомендовалъ самоуслажденія праздною фантазіею. Онъ для этого слишкомъ хорошо зналъ и любилъ жизнь. Въ «Мелочахъ жизни» есть страничка (въ V главѣ 1-й части), посвященная «стариннымъ утопистамъ», тѣмъ самымъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ которыхъ сложились первыя убѣжденія Салтыкова, въ особенностяхъ Фурье. Рѣшительно защищая общія основанія «утопій», Салтыковъ признаетъ, однако, естественность и законность претерпѣннаго ими фіаско, именно потому, что они старались уловить, регламентировать своего рода мелочи жизни будущаго, и все это оказалось праздною фантазіею. Но, повторяю, общія основанія и тенденцію «утопій» онъ всегда высоко цѣнилъ. Помню, между про-

чимъ, что когда я еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ началъ писать въ *Отечественныхъ Запискахъ*, то Салтыковъ чуть-ли не въ первомъ же разговорѣ предложилъ мнѣ написать статью о французскихъ социальныхъ системахъ,—онъ находилъ необходимымъ напомнить ихъ русскому обществу (я уклонился отъ этой работы). Во всякомъ случаѣ, та «мечта», о правахъ которой Салтыковъ хлопоталъ, имѣла ярко социальный характеръ, хотя въ подробностяхъ и не вполне опредѣленный. Это была мечта о тѣсномъ единеніи людей, объ общественномъ союзѣ. А между тѣмъ въ разныхъ произведеніяхъ Щедрина, въ особенности въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», можно найти много выраженій рѣзко подчеркнутаго ироническаго или презрительнаго или даже озлобленнаго отношенія къ «союзамъ»: Деруновъ—«рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ»; «союзы опутали современнаго человѣка» и т. п. Дѣло, конечно, объясняется очень просто тѣмъ, что «союзы», поборниками которыхъ являются Деруновы и которые вызываютъ отрицательное отношеніе сатирика, очень отличаются отъ тѣхъ, которые составляютъ его заветную мечту, его идеалъ. Это такъ. Но любопытно было бы опредѣлить наиболѣе общія черты тѣхъ и другихъ союзовъ, въ каковыхъ общихъ чертахъ должны заключаться указанія на причины такого или иного отношенія къ нимъ сатирика.

Крѣпостное право санкционировало извѣстный союз барина и мужика. Что это былъ за союзъ, мы узнаемъ изъ «Пошехонской старины». Авторъ отнюдь не задавался мыслью рассказать непременно какіе-нибудь ужасы. Напротивъ, вотъ, наприм., «тетенька-сластена»—добрая, мягкая, и всѣмъ у нея хорошо, и дворянъ веселая, ласковая. Или вотъ въ домѣ самого рассказчика умираетъ староста Федотъ, неліцемерно преданный мужикъ, и суровая помѣщица ухаживаетъ за умирающимъ, искренно горюетъ. Правда, авторъ не даетъ высокой цѣны этимъ добрымъ проявленіямъ союза, но вѣдь они и въ самомъ дѣлѣ не дорого стоятъ, да и не этими двусмысленными идиλλіями была главнымъ образомъ отмѣчена пошехонская старина. Не ими, но пожалуй и не звѣрствами, которыя въ каждомъ данномъ случаѣ могли быть и не быть. За характерной чертой основного пошехонскаго союза не зачѣмъ далеко ходить,—она заключается въ самомъ его названіи. Черта эта—крѣпость одного человѣка другому, подневольность и неизбывность.

Сатиры-скиталецъ (одна изъ лучшихъ фигуръ «Пошехонской старины») самъ по себѣ не особенно претерпѣлъ отъ страш-

наго союза, хотя, конечно, по крайней мѣрѣ виды видалъ въ достаточномъ количествѣ. Онъ врагъ союза, врагъ принципиальный, союзъ представляется ему грѣховнымъ, но грѣхъ лежитъ не на господахъ, а на рабахъ: «мы прежде вольные были, а потомъ сами свою волю продали; изъ-за денегъ господамъ въ кабалу продались; за это насъ судить будутъ». На томъ свѣтѣ будетъ этотъ судъ, а потому единственная мечта Сатиры состоитъ въ томъ, чтобы предстать предъ Богомъ не въ рабскомъ состояніи. Но ущемленная сознаниемъ грѣха мысль Сатиры не можетъ придумать иного выхода изъ союза, иного пути освобожденія, какъ принятіе «ангельскаго чина». Больной, онъ отправивается у помѣщицы въ монахи, но не успѣваетъ поступить и умираетъ рабомъ. Авторъ имѣлъ, однако, жалость послать ему предсмертный сонъ, въ которомъ исполняется его желаніе, такъ что Сатиръ умираетъ якобы «инокомъ Серапіономъ». Сатиры-скиталецъ умеръ во свѣ, и авторъ не могъ знать его сновидѣнія. Это—добавка фантазіи, добавка жалостливая, любовная, и самое присутствіе ея свидѣлствуетъ о подлинности Сатиры-скитальца и о томъ впечатлѣніи, которое онъ произвела на автора въ дѣтствѣ. Въ этомъ и въ другихъ подобныхъ впечатлѣніяхъ надо искать корня интереса Щедрина къ той смутной работѣ народной души, о которой мы говорили въ главѣ «Честь и совѣсть».

Сатиры-скитальцу ненавистный, грѣховный союзъ представляется столь неразрывнымъ, что нечего и думать объ его прекращеніи на землѣ, и хорошо бы хоть къ божьему-то престолу явиться не въ рабскомъ видѣ. Наличность союза слишкомъ несомнѣнна, слишкомъ осязательна и такъ или иначе даетъ себя знать на всѣхъ путяхъ жизни обѣихъ сторонъ. Особенно интересны отраженія ея на другихъ союзахъ и прежде всего на союзѣ семейномъ.

Съ «безчастной Матренкой» случился грѣхъ,—забеременѣла. Не было тутъ ни любви, ни выбора: безчастная Матренка была одною изъ представительницъ «сборища подъяремныхъ звѣрей, которые и возделѣютъ, какъ звѣри». Барыня очень разгнѣвалась, но Матренкѣ опять пришла пора и она опять забеременѣла. Тогда барыня рѣшила выдать Матренку замужъ за-самого что ни на есть «гадѣнка» изъ дальней деревни. Между Матренкой и гаденкомъ происходитъ радъ страшныхъ сценъ; гадѣнокъ не хочетъ жениться на Матренкѣ, Матренка не хочетъ выходить за гаденка. Но воля барыни непреклонна, а потому Матренкѣ остается только одинъ способъ уклониться отъ предлагаемаго ей семейнаго союза,—уклониться

отъ самой жизни; она и кончаетъ самоубійствомъ.

Не красенъ былъ семейный союзъ и въ господской семьѣ. Разказавъ нѣкоторыя подробности отношеній, существовавшихъ между родителями и дѣтьми, Щедринъ предвидитъ скептическія замѣчанія читателей и говоритъ: «что описываемое мною похоже на адъ, объ этомъ я не спорю; но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымысленъ мною». Эти дѣтскія впечатлѣнія (особенно нѣкоторыя подробности въ родѣ раздѣленія дѣтей на «любимчиковъ» и «постылыхъ», материнскихъ угрозъ Суздаль-монастыремъ и т. п.) вошли потомъ въ составъ многихъ произведеній Салтыкова, каковы: «Господа Головлевы», «Семейное счастье», «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронатъ» и проч. Но въ памяти Салтыкова встаютъ еще гораздо болѣе трагическія сцены и положенія по части семейнаго союза. Ради краткости, мы остановимся только на одномъ случаѣ, представляющемъ тотъ особенный интересъ, что семейный союзъ оказывается въ немъ осложненнымъ другими элементами.

Тетенька Анфиса Порфирьевна вышла замужъ за нѣкогда Савельцева, человѣка нравнаго, крутого, необузданнаго, который ее бьетъ, издѣвается надъ ней, и все это тетенька терпитъ, съ затаенною злобою выжидая случая, когда и на ея улицу упадетъ праздникъ. Отецъ Савельцева умираетъ. Вступая во владѣніе имѣніемъ и людьми, Савельцевъ первымъ дѣломъ засѣкаетъ до смерти любовницу отца, выштыная у нея, гдѣ деньги. Къ этому уголовному дѣлу присоединяются приказныя пѣявки и сосутъ, сосутъ, сосутъ, пока наконецъ тетенька Анфиса Порфирьевна не придумываетъ выхода: она предлагаетъ мужу умереть. Не взаправду умереть, конечно. Какъ разъ кстати умираетъ мужикъ, котораго и хоронятъ подъ видомъ Савельцева, съ добавляющей помпой, а Савельцевъ остается жить подъ видомъ крѣпостнаго своей жены. Вмѣстѣ съ тѣмъ для тетеньки Анфисы Порфирьевны наступаетъ часъ отщепенія за всѣ, перенесенныя ею отъ мужа обиды и муки; она расплачивается сторицею и вдобавокъ поселяетъ у себя своего незаконнаго сына, прижитаго неизвѣстно отъ кого еще до брака, и вдвоемъ съ нимъ жестоко надругается надъ «покойничкомъ», который вытолкнуть изъ семейнаго союза, а въ союзѣ крѣпостнымъ перечисленъ изъ господъ въ рабы. Всѣ знаютъ эту исторію, никто Савельцева иначе, какъ «покойничкомъ» не называетъ; представители закона, правосудія и благочинія, то-есть государственнаго союза, тоже знаютъ, но смотрятъ сквозь

пальцы, что, впрочемъ, не дешево обходится тетенькѣ Анфисѣ Порфирьевнѣ. Тѣмъ временемъ своимъ порядкомъ идутъ всяческія тиранства надъ крестьянами. Тутъ есть сцена, несомнѣнно, прямо съ натуры списанная очевидцемъ, да и разказана она, какъ личное впечатлѣніе автора, тогда еще ребенка: крѣпостная дѣвченка Наташка стоитъ на навозной кучѣ, съ завороченными назадъ и привязанными къ столбу руками; жара, съ навозной кучи поднимаются мухи и облѣпляютъ глаза и ротъ дѣвчонки... за исполненіемъ казни присматриваетъ «покойничекъ»...

Въ исторіи тетеньки Анфисы Прокофьевны мы имѣемъ по-истинѣ чудовищный переломъ трехъ союзовъ. Къ этому надо еще прибавить замѣчаніе Салтыкова, что въ пошехонской старинѣ объ обществѣ не было и помину: «смишлявали любовь къ отечеству съ выполненіемъ распоряженій правительства и даже просто начальства». Но и начальство разнилось во славу, такъ что иное начальство было кому начальство, а кому просто пустяки. Становой приставъ былъ, конечно, начальство для разной мелкой сошки, а иногда и не только для нея. Тетенька Анфиса Порфирьевна, пользуясь его покровительствомъ въ дѣлѣ «покойничка», не могла не видѣть въ немъ начальства. А предводитель Струнниковъ, человѣкъ властный и ни въ какихъ такихъ уголовныхъ исторіяхъ не замѣшанный, третируетъ этого официального представителя государственнаго союза съ возмутительною развязностью: онъ издѣвается надъ нимъ совершенно такъ же, какъ и надъ всякимъ другимъ безсильнымъ человѣкомъ.

Мы не будемъ, однако, перебирать весь фактическій матеріалъ, собранный въ «Пошехонской старинѣ». Это въ разныхъ смыслахъ трудно. Приведеннаго, я полагаю, достаточно, чтобы видѣть, сквозь какую призму преломлялись передъ глазами умирающаго Салтыкова лучи далекихъ дѣтскихъ впечатлѣній, въ какомъ отношеніи находятся плоды его жизни къ ея корнямъ. Тамъ, вдали, на зарѣ жизни видѣются сатирику не просто семья Затрапезныхъ, не просто «тетеньки-сестрицы», тетенька-сластена, дѣдушка Павелъ Борисовичъ, предводитель Струнниковъ, безчастная Матренка, буфетчикъ Кононъ, Сатиръ-скиталецъ и проч., и проч., и проч. Салтыковъ не пассивно, какъ фотографическій аппаратъ, воспринимаетъ это нашествіе пошехонскихъ воспоминаній, вызванное стихійнымъ процессомъ старческой памяти. Онъ встрѣчаетъ его сознательно выработанными идейными рамками, въ которыхъ и велѣніемъ которыхъ группируются хлынушіе изъ нѣдръ

прошедшаго образы. Группируются они въ разные «союзы», причемъ оказывается, что всѣ эти союзы чрезвычайно крѣпки, до неразрывности, но крѣпки не внутреннею своею сущностью, не волею и сознаниемъ участниковъ, а исключительно только внешнею санкціей. Это обстоятельство создавало въ такъ называемое доброе старое время цѣлый рядъ безвыходныхъ противорѣчій, которыя и составляютъ идейное содержаніе «Пошехонской старины».

Первое и самое, разумеется, наглядное противорѣчіе состоитъ въ томъ, что союзы добраго стараго времени не только не удовлетворяютъ цѣли всякаго союза—облегченію и расширенію личнаго существованія, но, напротивъ, составляютъ источникъ всевозможныхъ мученій, лишеній, тѣсноты и грязи жизни. Можетъ показаться, что сюда не подходитъ основной и всеопредѣляющій союзъ пошехонской старины—крѣпостное право: рабы, разумеется, претерпѣвали, но облегченіе ихъ личнаго существованія вовсе не входило въ задачи союза, а другая сторона, господа, несомнѣнно почерпали такое облегченіе изъ союза и жили припѣваючи. Не разъ высказывалась мысль, что блестящія явленія литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ были результатомъ тѣхъ готовыхъ хлѣбовъ, которые давало крѣпостное право. Между прочимъ, и Салтыковъ воспитался, по его собственному выраженію, «на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности». Такимъ образомъ, господа почерпали въ крѣпостномъ союзѣ возможность не только сладко ѣсть и мягко спать, плодиться и множиться, но и предаваться высшимъ задачамъ духа—наукѣ, философіи, художественному творчеству. Это мысль до известной степени вѣрная. Нынѣшнему Пушкину или Салтыкову, Герцену или Тургеневу приходится, можетъ быть, еще гимназистомъ разбрасываться и надирать силы въ бѣготѣ по урокамъ, тогда какъ въ старые годы, укрытый отъ непосредственной борьбы за существованіе, онъ могъ всецѣло отдаваться работѣ духа. Но, оставляя даже совсѣмъ въ сторонѣ вопросъ о тѣхъ даровитыхъ людяхъ не господскаго происхожденія, которые безслѣдно затирались крѣпостнымъ правомъ, надо имѣть въ виду, что Пушкины и Салтыкова были каплями въ морѣ Затрапезныхъ, Струнниковыхъ, Савельцевыхъ и прочихъ персонажей «Пошехонской старины». Досугъ обезпечивался крѣпостнымъ союзомъ, но было что-то такое въ этомъ союзѣ, что побуждало наполнять досугъ отнюдь не высшими задачами духа. Правдивый разсказъ Салтыкова рисуетъ намъ помѣщичью жизнь изу-

чительно скудную и низменную. Ренанъ утверждаетъ, что «потѣ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь». Въ «Пошехонской старинѣ» мы этого не видимъ: многіе дѣйствительно обливается потомъ, но немногіе ведутъ жизнь по истинѣ благородную, и крѣпостной союзъ не только не оказываетъ имъ въ этомъ отношеніи никакой помощи, а даже совсѣмъ напротивъ того. Самая обезпеченность вела только къ тусклой, тупой жизни изо дня въ день, при полнѣйшемъ отсутствіи всякихъ высшихъ интересовъ.

Это не могло не отражаться и на другихъ союзахъ, изъ которыхъ было вытравлено всякое содержаніе, такъ что оставалась только одна форма, но форма крѣпкая, неразрывная, и въ ней человѣческія существа бились, какъ птицы въ клѣткѣ. Чего и говорить о семейномъ союзѣ въ рабской средѣ, гдѣ Матренку съ Гаденкомъ сводили, какъ животныхъ. Но и семейные союзы Затрапезныхъ или Савельцевыхъ не имѣютъ ничего общаго съ идеальными построеніями церкви и гражданскаго закона. Это «адъ», а не союзъ. Это поприще всяческихъ злобныхъ чувствъ, то затаенныхъ, то открытыхъ, глядя по тому, на чьей сторонѣ сила. Сегодня Савельцевъ тиранитъ свою жену, даже не сознавая, что онъ дѣлаетъ, и жена покоряется, терпитъ, не ищетъ выхода, а только ждетъ случая, когда ей самой удастся стать въ положеніе столь же безсовѣстной силы и встрѣтить столь же безчестную слабость. Ни Савельцевъ, ни тетенька Анфиса Порфирьевна рѣшительно никакой радости, никакого облегченія жизненной тяготы другъ отъ друга не получаютъ, напротивъ, составляютъ другъ для друга источникъ непрестанныхъ мученій, а между тѣмъ связаны неразрывнымъ союзомъ; по крайней мѣрѣ имъ въ голову не приходитъ возможность его разорвать, потому что высшія проявленія духовной жизни—сознаніе и воля—въ нихъ совершенно не воспитаны и въ союзѣ никакого участія не принимаютъ.

Есть анекдотъ объ испанцѣ, который попалъ въ какую-то сѣверную, очень холодную страну. На него напали собаки; онъ схватилъ камень, чтобы швырнуть имъ въ собакъ, но камень примерзъ, такъ что его нельзя было отодрать. Тогда испанецъ сказалъ: «о, удивительная страна, гдѣ камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать!» Это восклицаніе могло бы служить девизомъ всѣхъ союзовъ пошехонской старины. Подъ ихъ покровомъ совершалось много насилій и вообще зла, но защиту въ нихъ трудно было найти. Они не защитили тетеньку Анфису Порфирьевну отъ тиранства Савельцева, но помогли ей превратить его въ

«покойничка» и, въ свою очередь, тиранствовать надъ нимъ.

Таковъ смыслъ «Помеховской старини». Но здѣсь же лежатъ центры тяжести всѣхъ произведеній Салтыкова, всей его многообразной и многосложной работы, ибо, повторю, въ «Помеховской старинѣ» мы имѣемъ единственно и корень, и плодъ жизни сатирика. Начать съ того, что «извѣстная складка», оставшаяся, въ качествѣ наслѣдія крѣпостного права, въ русскомъ обществѣ, и доселѣ состоитъ именно въ тяготѣніи къ подневольнымъ и безсознательнымъ союзамъ, которые, фигурально выражаясь, камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать. Салтыковъ съ необыкновенною прозорительностью открывалъ эту складку подъ разными, иногда очень благообразными формами и настойчиво преслѣдовалъ ее, не стѣсняясь повтореніями. Съ другой стороны, заветную «мечту», Салтыкова, въ ея общемъ выраженіи, составляетъ вольный и сознательный союзъ, способствующій широкому и всестороннему развитію личности, пробужденію всѣхъ ея силъ и способностей, удовлетворенію всѣхъ ея потребностей. По своей специальности сатирика, Салтыковъ не могъ отдаваться прямому, положительному развитію этого идеала, но тѣмъ сильнѣе и значительнѣе была его облеченная въ художественную форму критика общественнаго злостіи съ точки зрѣнія идеальнаго союза. Подчеркиваю эти слова, потому что ими, мнѣ кажется, резюмируется вся дѣятельность Салтыкова.

Въ мою задачу, приближающуюся уже къ концу, не входитъ пересмотръ всѣхъ произведеній Салтыкова. Я хотѣлъ только наметить главные пункты его работы, притомъ преимущественно такіе, которые при жизни сатирика возбуждали, а отчасти и до сихъ поръ возбуждаютъ недоразумѣнія. Кое что, занимающее въ щедринской сатирикѣ очень видное мѣсто, но не нуждающееся въ комментаріяхъ или разъясненіяхъ, я обошелъ; кое-что освѣтилъ, вѣроятно, недостаточно. Попробуемъ теперь оглянуться назадъ, съ цѣлью пересмотрѣть и кое въ чемъ дополнить предыдущіе очерки при свѣтѣ выше подчеркнутой общей формулы.

Идеалъ Салтыкова былъ слишкомъ возвышенъ, чтобы можно было думать о немедленномъ и полномъ его осуществленіи. Это далекій и въ подробностяхъ не совсѣмъ даже ясный пунктъ, достиженіе котораго будетъ стоить многого труда, борьбы, жертвъ, но который можетъ и долженъ сейчасъ руководить нами, освѣщая нашъ трудъ, борьбу и жертвы. Это свѣтлая точка, маякъ, опредѣляющій направленіе нашей дѣятельности, а затѣмъ возникаетъ вопросъ о ближайшихъ

станціяхъ въ этомъ направленіи. Салтыковъ началъ свою литературную дѣятельность въ одинъ изъ самыхъ глухихъ періодовъ русской исторіи, но возмощилъ ее, напротивъ, въ пору высшей напряженности общественной жизни. Когда страшный урокъ крымской войны во-очію показывалъ, чего стоятъ союзы, которые камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать. «Губернскіе очерки» оканчиваются видѣніемъ: передъ авторомъ проходитъ похоронная процессія: то «прошлые времена хоронятъ!». Это восклицаніе хорошо характеризуетъ тогдашнее настроеніе сатирика. Понятно, что онъ, самъ видѣвшій и «покойничка», и дѣвочку Натанку, привязанную къ столбу на навозной кучѣ, и всю прочую помеховскую старину, долженъ былъ встрѣтить великій день 19 февраля 1861 г. какъ праздникомъ праздника и торжество изъ торжествъ. Вспоминная объ этомъ дѣтъ въ «Письмахъ о провинціи», онъ говоритъ: «Всему этому безпутному, безсознательному и ненужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и безсмысленнаго варварства положило безповоротный конецъ 19-е февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбныя стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи, такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный! Энтузіазмъ этотъ, столь естественный для человѣка, лично видѣвшаго ужасы крѣпостнаго права, въ Салтыковѣ осложнился еще тою вѣрою въ будущее, которою онъ былъ окрыленъ отъ природы. Если рухнулъ вѣковой порядокъ, казавшійся неизбѣжнымъ, если оказалось возможнымъ то, что считалось невозможной и преступной мечтой, такъ законны и дальнѣйшія перспективы. Салтыковъ не могъ сказать, подобно Симеону: «нынѣ отпущаеши раба твоего, яко видѣста очіи мои спасеніе». Онъ былъ для этого слишкомъ силенъ и дѣтеленъ и потому долженъ былъ, напротивъ, сказать: «нынѣ призываети». Онъ спрашивалъ: «Давно-ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, вольтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ во-очію совершается? И нельзя-ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ когда-нибудь называться добромъ?» («Сеничкинъ ядъ»).

Уже самые эти вопросы показываютъ, что не всѣ были въ ту пору единомышленны на Руси. Дѣйствительно, всѣческія подвѣшанія подѣ реформъ начались очень

рано и многого достигли. Съ точки зрѣнія Салтыкова дѣло реформъ состояло въ устраненіи подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Не о томъ шла рѣчь, чтобы на землѣ, отягченной вѣковой наследственностью грѣха, немедленно же водворилась райская жизнь, миръ и въ человѣдѣхъ благоволеніе, а только о томъ, чтобы эта грѣшная земля пооттаяла, чтобы хоть камни-то, нужные для обороны, не были прикованы морозомъ. Земскія учрежденія, гласный судъ, народная школа, свобода печати составляли естественное дополненіе къ основной, крестьянской реформѣ. Необходимость этихъ шаговъ была заявлена самимъ правительствомъ и признана всею благомыслящею частью русскаго общества, въ томъ числѣ и Салтыковымъ. Всѣ эти реформы имѣли цѣлью приобщить жизнь личности къ жизни общественной, дать русскому человѣку возможность сознательнаго и вольнаго участія въ общественныхъ дѣлахъ; тѣмъ самымъ вносилось живое содержаніе во всякаго рода «союзы», за исключеніемъ тѣхъ, конечно, которые такового и выдержать не могли. Не смотря, однако, на это, энтузіазмъ, о которомъ говорить Салтыковъ, покинулъ его, и умъ его постепенно обозлялся. Теперь это уже проплыла времена, въ свою очередь похороненныя, а потому къ нимъ можно относиться спокойно. Но тогда мудро было спокойно смотрѣть на то, какъ дѣло реформы, при самомъ даже своемъ возникновеніи, подтачивалось руками, заматерѣлыми въ практикѣ подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Критика всѣхъ относящихся сюда явленій нашей общественной жизни и составила задачу Салтыкова.

Разбираясь въ огромной массѣ не только образовъ и картинъ, а и мыслей, пущенныхъ Салтыковымъ въ обращеніе, мы увидимъ, что элементы, противоборствующие поступательному ходу русской исторіи, какъ онъ рисовался самому Щедрину, распределяются по двумъ большимъ отдѣламъ. Мы ихъ намѣтили въ главахъ о благонамѣренныхъ рѣчахъ и объ умѣренности и аккуратности.

Деруновъ есть «рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ», но именно подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ, которые бы ему, Дерунову, развязывали руки, а прочимъ—связывали. Его экономическая программа, конечно, не его языкомъ выраженная, гласитъ такъ: «Необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому, онъ лился бы столь же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы «вольнымъ» пошехонскимъ «потомъ» («Пошехонскіе разсказы»). Семейный союзъ Деруновъ чтить,

но самъ—снохачъ. Союзъ государственный онъ тоже чтить, но съ тѣмъ, чтобы исправникъ призналъ бунтовщиками крестьянъ, которые не отдають хлѣба по шести гривенъ. И однако Деруновъ—«столипъ». Не одинъ Деруновъ такъ устроился, даже не одинъ «чумазные», потому что вотъ и кузина-Машенька и другіе нечумазаго чина люди то же самое практикуютъ. Есть у нихъ и пособники, во-первыхъ, среди «озорниковъ» и «помпадуровъ», которые, впрочемъ, видя въ себѣ персонификацію «союзовъ», практикуютъ и за свой собственный счетъ. Сатирикъ отказывается признать ихъ «поборниками государственнаго союза за то только, что они видятъ въ государствѣ пироги, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать» («Круглый годъ»). Есть пособники и въ литературѣ. Эти, можетъ быть, самые страшные. Беря подъ свою защиту всякіе подневольные и безсознательные союзы и практикуя въ дѣлѣ этой защиты полную свободу, они требуютъ, чтобы всѣ, съ ними не согласно мыслящіе, были поставлены въ положеніе тѣхъ примерзшихъ камней, которыми несчастный испанецъ такъ и не могъ воспользоваться для самообороны. Вся эта разношерстная стая, пополняемая при случаѣ переметными сумами въ родѣ адвокатовъ Балалайкиныхъ и газетчиковъ Ивановъ Непомнящихъ, набрасывается на всякое дѣло и на всякаго человѣка, имѣющихъ въ виду настоящій союзъ, заслуживающій дѣйствительно этого названія. Будущій историкъ русскаго общества найдетъ у Салтыкова драгоценнѣйшія указанія по этой части, и не только указанія, а и готовые выводы.

Но хоромъ благонамѣренныхъ рѣчей не исчерпываются элементы, тормозящіе исторію. Уже въ «Литераторахъ-обывателяхъ» Щедринъ можетъ быть даже съ чрезмѣрной жесткостью отнесся къ тѣмъ крохоборамъ, которые носятъ со всякою мелочью, какъ съ писанной торбой. Жесткость была въ этомъ случаѣ потому чрезмѣрна, что литераторы-обыватели, во всякомъ случаѣ, свѣдѣтельствовали своимъ существованіемъ о нѣкоторомъ оживленіи провинціи. Сатирикъ самъ замѣтилъ: «Времена созрѣли, и какъ бы ни была мало искусна пѣсня Корытникова, онъ не можетъ не пѣть. Выдѣте весною на улицу, прислушайтесь, какой концертъ задають тамъ воробыи!.. Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннимъ чувствомъ, поетъ возрожденіе природы, поетъ красоту гласности и самоуправленія, поетъ взволнованность своихъ собственныхъ чувствъ». Справедливая сторона насмѣшки, обращенной къ литераторамъ-обывателямъ, состояла въ указаніи на самодовольную узкость ихъ

кругозора, фальшиво раздуваемую фразами вроде: «въ наше время, когда, казалось бы, воровство преслѣдуется повсюду», въ «наше время, когда привычки законности мало-по-малу проникаютъ во всѣ административныя трущобы» и т. п. Но если литераторы-обыватели ликовали по пустякамъ, то они все-таки не возводили крохоборства въ принципъ. Это суждено было сдѣлать гораздо позже пѣнокоснимателямъ, провозгласившимъ, что «наше время не время широкихъ задачъ». Пѣнокосниматель не то, что ораторъ благонамѣренныхъ рѣчей,—онъ «никогда не промолвится, что крѣпостной трудъ лучше свободного или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытыхъ дверяхъ; нѣтъ, никогда, ибо склады либерализма извѣстны ему въ точности». На дѣлѣ же «вамъ говорить о благодѣніяхъ свободного труда, но въ то же время приурочиваютъ его дѣйствіе къ такой безконечно малой сферѣ, что въ сущности выходитъ лишь замаскированный крѣпостной трудъ; вамъ повѣствуютъ о выгодахъ гласнаго суда, а на повѣрку выходитъ, что рѣчь сводится къ рекламѣ въ пользу такого-то адвоката или судьи» («Дневникъ провинціала»). Можеть быть даже не кто иной, какъ именно пѣнокосниматель, помогъ Дерунову сформулировать вышеприведенную экономическую программу насчетъ «вольнаго пошехонскаго пота». По крайней мѣрѣ на это имѣются указанія въ параллели между хищникомъ и пѣнокоснимателемъ, которою заканчивается «Дневникъ провинціала»: «Хищникъ проводитъ принципъ хищничества въ жизни, пѣнокосниматель возводитъ его въ догматъ и сочиняетъ правила на предметъ наилучшаго производства хищничества». Благодаря возвышенности той точки, на которой стоялъ Салтыковъ въ своей критикѣ явленій нашей общественной жизни, его нельзя было ни подкупить, ни испугать какими бы то ни было ходячими формулами, кличками, словами «жупелами». Къ числу такихъ жупеловъ принадлежитъ либерализмъ, къ которому Салтыковъ естественно тяготѣлъ многими своими сторонами; но онъ понималъ, что бываютъ случаи, когда «либерализмъ есть своего рода дойная корова» («Дневникъ провинціала»), и съ искусствомъ опытнаго анатома-практика вскрывалъ эту корову. Такъ и поступилъ онъ съ пѣнокоснимателями, щеголявшими либерализмомъ. Пѣнокоснимательство уже по самому существу своей умѣренности и аккуратности понижало или стремилось понизить уровень требованій жизни и тѣмъ самымъ задерживать жизнь въ смыслѣ приближенія къ щедринскому идеалу. А кромѣ того оказалось, что умѣренность и аккуратность не только на зад-

воркахъ добродѣтельныхъ селеній живутъ, но и корчемнымъ виномъ торгуютъ, и потихоньку пороки у себя принимаютъ.

La critique est aisée et l'art est difficile.—гласить старое изреченіе. Старое, но далеко не вполне вѣрное, хотя бы уже потому, что существуетъ l'art de critique. Есть критика талантливая и бездарная, проникательная и подслѣповатая, убѣдительная и неубѣдительная. Но этого мало. Есть критика, исходящая изъ пустого мѣста, но есть и такая, которая не только имѣетъ въ своемъ основаніи совершенно опредѣленные положительные идеалы, но и самымъ процессомъ своимъ дѣлаетъ положительное, творческое дѣло. Такова была щедринская критика явленій нашей общественной жизни, и нельзя, конечно, сказать, чтобы это было легкое дѣло. Я говорю не о художественной формѣ, въ которую эта критика большею частью облекалась,—это само-собою,—а объ ея содержаніи. Трудно объять всю огромность щедринскаго дѣла, всю ту критическую энциклопедію русской жизни, которая заключена въ его произведеніяхъ, и всѣмъ выше сказаннымъ еще далеко не исчерпывается эта полная чаша. Читатель, я полагаю, однако, и самъ ориентированъ во многомъ, нами не затронутымъ, если будетъ помнить тотъ идеалъ вольнаго и сознательнаго союза, который всегда руководилъ сатирикомъ. Конечно, онъ не сочинялъ проектовъ общественнаго устройства или переустройства, но своею безпощадною критикой онъ дѣлалъ великое положительное дѣло: будилъ сознание русскаго общества, каковое сознание составляетъ первое условіе для приближенія къ идеалу. Будилъ онъ его прежде всего глубокимъ анализомъ формъ и содержанія разныхъ «союзовъ». Пусть помпадуръ и столпы, патріоты-казнокрады и пѣнокосниматели, ташкентцы и пошехонцы, Балалайкины и Иваны Непомняшіе дѣлаютъ свое дѣло,—сатирикъ не можетъ имъ въ этомъ воспрепятствовать,—но пусть они по крайней мѣрѣ не маскируются поборниками «союзовъ», изъ которыхъ они же вытраиваютъ всякое содержаніе, защитниками «основъ», которыя они же разрушаютъ. Въ этомъ отношеніи сатира Салтыкова, конечно, достигла своей цѣли: мы, третьи лица, зрители, благодаря Салтыкову, хорошо изучили этотъ иногда комическій, иногда чудовищный маскарадъ. Но задача сатирика на этомъ не кончается. Въ основѣ всѣхъ безсознательныхъ и подневольныхъ союзовъ лежитъ сочетаніе безсовѣстной силы и безчестной слабости (см. гл. IV). Наличность этихъ двухъ элементовъ составляетъ необходимое условіе для мирнаго, спокойнаго, цвѣтущаго существованія подне-

вольныхъ и безсознательныхъ союзовъ, въ томъ-ли юридически-нормированномъ видѣ, въ какомъ ихъ рисуетъ «Пошехонская старина», или въ какомъ другомъ, замаскированномъ. Салтыкову надлежало поэтому будить совѣсть въ силѣ и честь въ слабости. Онъ это и дѣлалъ, то грозя судомъ исторіи и потомства, то клеймя позоромъ художественнаго воспроизведенія, то обливая ядомъ насмѣшки, то поднимаясь на высоту неподражаемаго лиризма. Но какихъ результатовъ достигъ онъ въ этомъ направленіи, — это, конечно, вопросъ.

IX.

Женскій вопросъ.

Трудно оторваться отъ Щедрина. Трудно, во-первыхъ, въ силу того исключительнаго интереса, который представляетъ его оригинальная литературная фizioномія; трудно, во-вторыхъ, еще и потому, что все боясь, какъ бы не породить какихъ-нибудь недоразумѣній, въ виду обширности и сложности щедринскаго дѣла.

Возьмемъ какой-нибудь частный случай, достаточно значительный для того, чтобы на немъ можно было провѣрить если не все вышесказанное, то хоть наиболѣе выдающіеся пункты нашего анализа. Результаты, къ которымъ мы придемъ, пригодятся и для другихъ частныхъ случаевъ. Я выбираю такимъ пробнымъ камнемъ такъ называемый женскій вопросъ, отчасти просто потому, что надо же что-нибудь выбрать, а отчасти и по другимъ причинамъ.

Много по женскому вопросу писано, такъ что онъ кажется и безъ Салтыкова достаточно выясненнымъ со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Сколько, въ самомъ дѣлѣ, на эту тему чернилъ пролито, сколько горячихъ словъ сказано, сколько литературныхъ схватокъ! Весьма не малой величины залъ потребовался бы для вмѣщенія всѣхъ книгъ и статей о женскомъ образованіи, о женскомъ трудѣ, о положеніи женщинъ, о подчиненности женщинъ, о женщинахъ, за женщинъ, противъ женщинъ, особенно если прибавить къ нимъ романы, повѣсти, драмы, стихотворенія, въ которыхъ тотъ же женскій вопросъ трактуется при помощи образовъ и картинъ. Однако, Салтыкова не вредно выслушать и въ этомъ дѣлѣ.

Въ народной средѣ женскій вопросъ поставленъ чрезвычайно просто и весь исчерпывается въ рѣчи учителя Крамольникова на юбилей Мосенча («Сонъ въ лѣтнюю ночь»). Тутъ не можетъ быть рѣчи ни о *женскомъ образованіи*, потому что въ немъ столь же нуждаются и мужчины, ни о *женскомъ трудѣ*,

потому что его не меньше, чѣмъ мужского. Провозглашая гость «за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи», Крамольниковъ имѣлъ въ виду одно: чтобы мужики перестали обижать бабъ. Во всемъ остальномъ нѣтъ существенной разницы между положеніемъ мужчинъ и положеніемъ женщинъ, а стало-быть нѣтъ и почвы для возникновенія спеціальнаго женскаго вопроса. Крамольниковъ говорить мужикамъ, собравшимся чествовать Мосенча: «Часть тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю русской крестьянки, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ виноваты не столько вы сами, сколько ваша горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, господа. Пора сказать: мы несчастны, слѣдовательно, наша обязанность подать другъ другу руку, а не раздирать другъ друга». Такимъ образомъ женскій вопросъ здѣсь самъ собой расплывается въ общей «проблемѣ о мужикѣ», и если осуществленіе добраго пожеланія Крамольникова представляеть трудности, то самая постановка женскаго вопроса въ народной средѣ до-нельзя проста.

Обратимся въ другія сферы, совершенно противоположныя, гдѣ женщину не только не бьютъ, но гдѣ она, напротивъ того, является предметомъ поклоненія, почти культа, гдѣ ее окружаютъ особенною атмосферою, насыщенною ласкою, почетомъ, эниміазмомъ, сердцемъ, ароматомъ цвѣтовъ, блескомъ брилліантовъ, гдѣ женщины не жите, а масляница. Конечно, не въ этой душистой и сверкающей атмосферѣ зарождается женскій вопросъ, но матеріалъ для его постановки доставляется ею въ изобиліи, и Салтыковъ этимъ матеріаломъ не брезгалъ. «Дамочки», «куколки», «ангелочки» не разъ останавливали на себѣ вниманіе суроваго сатирика, и не смотря на то, что портреты этихъ странныхъ видоизмѣненій человѣческаго типа разбросаны въ разныхъ его произведеніяхъ, какъ бы мимоходомъ, онъ, очевидно, далъ себѣ трудъ изучить ихъ съ большою пристальностью. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и повторяемость портретовъ, и чрезвычайно тонкая отдѣлка нѣкоторыхъ подробностей. Душа «куколки» — штука, разумеется, не сложная, но все-таки это не машинка какая-нибудь, а душа, хотя можетъ быть «видомъ малая и не безсмертная», какъ выражается въ «Исторіи одного города» учитель каллиграфіи Линкинъ, разумѣя, впрочемъ, не чело-вѣческую, а лягушечью душу. Изучить эту

несложную душу тѣмъ труднѣе, что она проявляется разнаго рода внезапностями, предвидѣть которыя невозможно, если придерживаться обыкновенной логики. Все здѣсь внезапно: сужденія, чувства, поступки. Салтыковъ изучилъ однако «куколку» такъ, какъ едва-ли это удалось даже тѣмъ изъ нашихъ писателей, которые сдѣлали себѣ изъ міра женскихъ отношеній своего рода специальность.

Мы уже имѣли случай остановиться на двухъ экземплярахъ этой породы: m-me Персіянова въ «Ташкентцахъ» и m-me Проказниина въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» («Еще переписка»). Обѣ эти милыя дамочки представляютъ своихъ юныхъ, но уже многообщающихся сыновей, съ одной стороны, въ преданности религіи, отечеству, дворянскому долгу и прочимъ «основамъ», а съ другой—въ искусствѣ побѣждать женскія сердца и совершать адюльтеръ. Сами «куколки» по этой послѣдней части не пропускаютъ случая. Какъ хорошенькія, ярко расцвѣтшія бабочки, онѣ перепархиваютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, если только позволительно сравненіе прекрасной половины человѣческаго рода съ цвѣтами. Куколки охотно посвящаютъ взрослыхъ сыновей въ тайны своихъ *proesses*, дабы еще разъ хоть мысленно пережить поэму любви. И юный, но уже многообщающій сынъ одобряетъ свою «*petite mère*», которая и до сихъ поръ, не смотря на годы, столь несправедливо проведенныя, «*est jolie à croquer*». Безстыдный сынъ говоритъ это безстыдной матери въ глаза, и оба остаются другъ другому очень довольны, да и кругомъ всѣ довольны. Конечно, когда парижскія приключенія *de la belle princesse Persianoff* получаютъ уже слишкомъ громкую и скандальную извѣстность, «свѣтъ» шокируется, но именно, только потому, что ужъ слишкомъ громко и скандально. А до этого предѣла вотъ какія требованія и совѣты выслушиваетъ куколка. Вышла она замужъ почти дѣвочкой и осьмнадцати лѣтъ родила уже сына. По этому случаю «*ma tante*» говорить ей о священномъ чувствѣ матери и о томъ, что «для мальчика главное въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ». А дядя Павелъ Борисовичъ, въ свою очередь, наставляетъ молодую мать насчетъ воспитанія сына: «*Il faut que se soit un galant homme...* Чобы женщина была для него святыня! Чобы онъ онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!» Умираетъ у куколки мужъ. *Ma tante* опять наставляетъ: «Потеря твоя велика, но даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ всегда есть вѣрное пристанище — это религія!» А дядя Павелъ Борисовичъ съ своей стороны

присовокупляетъ: «Я очень понимаю всю важность твоей потери, *mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant*. Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку». Куколка погоревала, погоревала, да и уѣхала за границу, оставивъ сына на попеченіи *ma tante* и дяди Павла Борисовича. «*Ma tante* согласилась замѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. *Mon oncle* поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго». Ну, куколка какъ съумѣла, такъ и сочетала принципы *ma tante* и дяди Павла Борисовича...

Такова же примѣрно исторія m-me Проказниной. Обѣ эти фигурки иллюстрируютъ собой «семейный союзъ». Изъ всего союза, такъ тщательно оберегаемаго на словахъ въ качествѣ одной изъ основъ, сохранились только дружескія отношенія между матерью и сыномъ, но, Боже! какія это паскудныя, ужасающія отношенія... М-me Неугодова въ «Кругломъ годѣ» тоже куколка («нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ»), но у нея съ сыномъ нѣтъ такихъ безстыдныхъ откровенностей. У нея другое. Она, проживая за границей, требуетъ, чтобы сынъ продавалъ одно за другимъ ихъ имѣнія, потому что ей, куколкѣ, за границей денегъ много нужно, а когда сынъ указалъ ей перспективу печальнаго исхода, она отвѣтила ему такимъ письмомъ: «я мать и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ, послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смиренныя и нныя заведенія» и т. д. Письмо это, какъ оно уже и по слогу видно, писано подъ чужую диктовку. Но и при личномъ свиданіи съ авторомъ куколка Неугодова говоритъ: «Я просто попрошу, чтобы его посадили въ смиренный домъ, куда онъ не раскается». Авторъ прибавляетъ: «Я взглянулъ на нее, думая, не прочту-ли что-нибудь на ея лицѣ. И что-жъ?—ничего! куколка, ну, просто куколка—и ничего больше». Авторъ замѣчаетъ, что «это у нихъ должно-быть врожденное, то-есть у русскихъ культурныхъ маменокъ вообще. Я помню, покойница-матушка—ужъ на что, кажется, любила меня, а разсердился бывало, сейчасъ: я тебя въ Суздаль-монастырь упеку! Тогда еще Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь, со смягченіемъ нравовъ, смиренный домъ явился». «Суздаль-монастырь» дѣйствительно часто срывается съ языка маменокъ, изоб-

раженныхъ въ «Семейномъ счастьи» «Кузинѣ Машенькѣ», «Господахъ Головлевыхъ», «Пошехонской старинѣ». Но ихъ мы теперь не тронемъ, потому что то не куколки. Вотъ кузина Надежда Гавриловна («Письмо къ тетенькѣ») — та по крайней мѣрѣ очень приближается къ куколкѣ, хотя прозвище, данное ей родственниками, есть не куколка, а «индюшка». Это слѣдуетъ заключить изъ того, что она сына не Суздалемъ-монастыремъ пугаетъ, а смиреннѣйшимъ домомъ, а также изъ слѣдующей ея исповѣди. «Индюшка» убѣждаетъ автора бросить сатиру и «описывать про любовь».

«Какъ это... ну, вообще, что обыкновенно съ дѣвушками случается... Разумѣется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... Зачѣмъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не поймемъ. Не беспокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять лучше нельзя... Вотъ маменька-покойница тоже все думала, что я въ дѣвушкахъ ничего не понимала, а я однажды ей вдругъ все... до послѣдней ниточки!... Что въ самомъ дѣлѣ, за что они насъ притѣсняють? Думаютъ, коли дѣвица, такъ и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потомъ, замужемъ, еще болѣе развилась, но и въ дѣвицахъ... Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ на сторонѣ женскаго вопроса стою! Но именно только въ одномъ этомъ случаѣ, parce que la famille... tu comprends, la famille! tout est là! Семейство — это... А всѣ эти женскіе курсы, эти аеушерки, астрономки, телеграфистки, землемѣрки, tout se fatigue»...

Такимъ образомъ куколки, въ концѣ-концовъ, очень стоятъ за семейный союзъ вообще и въ частности за право родителей сажать непочтительныхъ дѣтей въ смиренный домъ, но онъ отнюдь не хотѣтъ, чтобы этотъ союзъ «притѣснялъ» ихъ въ дѣлѣ амурныхъ похищеній; въ этомъ случаѣ онѣ объявляютъ себя на сторонѣ «женскаго вопроса», но, конечно, только въ этомъ...

Съ куколки, по части теоріи и логики, взятки—гладки. Что съ нею въ самомъ дѣлѣ возмешь, коли для нея въ области умственныхъ упражненій существуютъ только sujets de conversation? Не ея совсѣмъ дѣло теоретизировать, она просто практикуетъ. Но есть теоретикѣ кукольного положенія, къ которымъ и надо обратиться за разъясненіемъ. Таковъ Тебеньковъ въ очеркѣ «По части женскаго вопроса» (въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ»). Къ счастью, Тебеньковъ рѣчистъ и откровененъ. Прежде всего, что такое женскій вопросъ, котораго куколкѣ и хочется, и не хочется? Тебеньковъ отвѣчаетъ обстоятельно. «Женщина — это святая, которой не должно касаться ни одинъ нечистый помыселъ! Вотъ мой женскій вопросъ-съ! И мужчина, и женщина это, такъ-сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, Ладъ и Лада, которымъ суждено другъ друга взаимно восполнять. Они гуля-

ють въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ гнѣіе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ-друга и наконецъ устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: *répons, nous!* Ладъ же отвѣчаетъ: *ce que femme veut, Dieu le veut!* и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ... А mon avis toute la question est là!» Итакъ, весь женскій вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы Лада могла безпрепятственно проводить время съ Ладомъ подъ сѣнью деревъ, и этотъ вопросъ вполнѣ разрѣшенъ. Тебеньковъ утверждаетъ, что «ежели извѣстныя формы общегитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это всѣми давно признано, подписано и рѣшено. Но какъ расширить эти формы — вотъ въ чемъ весь вопросъ?» Тебеньковъ указываетъ на *princesse de R., baronne de K.*, Катерину Михайловну и другихъ прелестныхъ дамъ, которыя разрѣшили этотъ вопросъ «совершенно и опредѣленно, и къ полному своему удовольствію». Онѣ разрѣшаютъ его практически, каждая сама для себя, не воздвигая никакихъ принциповъ и не требуя вмѣшательства закона. Тебеньковъ рѣшительно стоитъ «за святость семейныхъ узъ», но «не дѣлаться же княгинѣ монахиней изъ-за того только, чтобы князь Левъ Кирилловичъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ!» Княгиня просто дѣлаетъ «экскурсію въ область запретнаго», совершенно позволительную, даже необходимую и ни мало не колеблющую общественнаго зданія. Такимъ образомъ дѣло идетъ прекрасно, само въ себя находя нужныя поправки. Ему грозятъ, однако, двѣ большія опасности, которыя необходимо предотвратить. Во-первыхъ, «представь себѣ, что вдругъ *есть* сказали бы, что запретнаго нѣтъ, — вѣдь это было бы новое нашествіе печенѣговъ! Вѣдь они подвергли бы дома наши разграбленію, они осквернили бы нашихъ женъ и дѣвъ, они уничтожили бы всѣ памятники цивилизаци!» Въ этомъ именно, а не въ какомъ другомъ смыслѣ надо разумѣть святость семейнаго и другихъ союзовъ: «свойства этой азбуки таковы, что для меня лично, — говоритъ Тебеньковъ, — она можетъ служить только огражденіемъ отъ печенѣжскихъ набѣговъ; съ какой же стати я буду настаивать на ея упраздненіи?» Противъ частныхъ же и негласныхъ экскурсій въ область запретнаго, Тебеньковъ не только ничего не имѣетъ, но считаетъ ихъ даже необходимыми. Такимъ образомъ все ученіе о семейномъ союзѣ (а равно и о другихъ) распадается на экзотическую и экзотерическую части: первая доступна лишь немногимъ посвященнымъ, и бѣда, если *есть* «печенѣги» проникнутъ

ризонтовъ, въ просвѣщенномъ служеніи родитъ или человѣчеству, въ пропитаніи трудами рукъ своихъ, то вѣдь женщина тоже человѣкъ, и мы не имѣемъ никакого права запереть у нея передъ носомъ двери, ведущія туда, гдѣ мы, на словахъ по крайней мѣрѣ, испытываемъ столько высокихъ духовныхъ наслажденій. Мало того: съживая сферу дѣятельности женщины до послѣдней степени, обрекая ее на роль исключительно спутника планеты-мужчины, надо признать, что лучше же имѣть спутника, способнаго войти въ ваши интересы и воспитать вашихъ дѣтей. Правда, вотъ дѣти... Женщинѣ предписано закономъ природы въ болѣзняхъ родити чада. Но, не говоря уже о тѣхъ женщинахъ, которыя по той или другой причинѣ обречены на бездѣтность, почему этотъ аргументъ остается у насъ въ карманѣ, когда дѣло идетъ объ актрисахъ, балеринахъ, акробаткахъ, наѣзднякахъ, пѣвицахъ и прочихъ представительницахъ профессій эстрады, сцены, цирка? Онѣ вѣдь тоже женщины и тоже по закону природы должны въ болѣзняхъ родити чада, но мы не вопиимъ однако по этому поводу о потрясеніи основъ...

Все это извѣстно и переизвѣстно. До такой степени, что какъ-то даже странно и оскорбительно писать. Вѣдь это же азбука. Есть истины несомнѣнныя, ясныя, какъ бѣлый день, которыя, однако, стыдно повторять, а тѣмъ болѣе доказывать и развивать, именно потому, что онѣ несомнѣнны и какъ бѣлый день ясны. Но бываютъ времена, когда общественная мысль до такой степени засоряется разными мутными теченіями, что проповѣдь элементарныхъ истинъ становится необходимою. Какъ тутъ быть писателю, памятующему свои обязанности, но обладающему чувствомъ собственного достоинства? Странно, смѣшно, оскорбительно положеніе Галилея таблицы умноженія или Колумба «краткихъ начатковъ». Школьный учитель можетъ изъ года въ годъ заниматься изложеніемъ первоначальныхъ ариметическихъ и грамматическихъ понятій и дѣлать это съ чистою совѣстью и съ сознаніемъ исполненнаго долга. Таковъ дѣйствительно его долгъ,—онъ имѣетъ дѣло съ мальцами, впервые слышащими проповѣдуемыя имъ истины. Писатель же обращается къ обществу, въ умственномъ багажѣ котораго уже давнымъ-давно заключаются всякаго рода краткіе начатки. И не мудрено, что у писателя не повертывается языкъ повторять, что дважды два четыре. Для этого нужно большое мужество, можетъ быть не меньше того, какимъ должны обладать провозвѣстники новыхъ истинъ, впервые озаряющихъ умственные горизонты человѣчества. Мужество провозвѣстниковъ новыхъ истинъ съ избыткомъ

оплачивается гордымъ сознаніемъ этой новизны и радостью творчества. Блескъ новой истины, къ которому еще не привыкъ глазъ современниковъ или соотечественниковъ, блескомъ же отражается и на личной судьбѣ ея носителей. Пусть судьба эта бываетъ переполнена страданіями, но вѣдь и есть изъ-за чего страдать. Не современниками, такъ потомствомъ, не своими, такъ чужими (если правда, что никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ), а будетъ оцѣнена новая истина, станутъ люди удивляться,—какъ это безъ нея жить можно было, и добромъ и благословеніемъ помянуть имена тѣхъ, кто ее внесъ. А ни съ чѣмъ не сравнимое счастье творчества, созданія или открытія новой истины, оригинальнаго образа? Разуѣется, все относительно и дѣло не въ абсолютной новизнѣ. Я хочу только сказать, что для повторенія задовъ требуются иногда не меньше мужества, чѣмъ для движенія впередъ. Если уже почему-нибудь понадобилось доказывать, что дважды два четыре, что просвѣщеніе полезно, что земля обращается вокругъ солнца, такъ, значитъ, эти довольно древнія истины такъ основательно забыты, что должны встрѣтить какія-то значительныя препятствія, какое-то противодѣйствіе, какъ бы новыя, потому что въ противномъ случаѣ ихъ не затѣмъ было бы и тревожить. А между тѣмъ проповѣдь ихъ можетъ доставить не какое-нибудь внутреннее удовлетвореніе, а напротивъ того—только горечь и обиду.

Салтыковъ никогда не обладалъ мужествомъ пропагандиста «краткихъ начатковъ». Онъ относился къ этимъ начаткамъ съ безразличною нетерпѣливостью. Такъ и относительно женскаго вопроса. Онъ довольствовался въ этомъ отношеніи анализомъ аргументаціи противниковъ и оригинальнымъ освѣщеніемъ разныхъ формъ семейнаго союза. При этомъ самъ-собою возникалъ вопросъ о настоящей необходимости женскаго образованія и труда, но необходимость эта представлялась Щедрину столь непререкаемо ясною, столь азбучно несомнѣнною, что ужъ не на ней надо было настаивать, а на чемъ-то другомъ.

Уже въ «Письмахъ о провинціи» Салтыковъ иронически отнесся къ нѣкоторымъ формамъ женской образованности. Тамъ сопоставлены два женскихъ міра: жены, дочери и племянницы «исторіографовъ» и жены, дочери и племянницы «пришельцевъ» или «піонеровъ».

Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются неслыханнымъ великолѣпіемъ одежды, необычными разнѣрами шлейфовъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ; жены пришельцевъ, напротивъ, представляются слегка опичанными и даже какъ бы не совсѣмъ кормленными... Сколь-

ко сыты блистають тѣлами и шлейфами, столько голодные пѣнають основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первая бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣствуютъ о гражданской честности и непреодолимой вѣрности. Случается даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ... Но... приходится сознаться, что шармы тѣлесныя рѣшительно подавляютъ и вѣроятно долго еще будутъ подавлять шармы умственные. Оттого-ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относиться какъ слѣдуетъ къ нетѣльнымъ красотахъ ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ, какъ бы то ни было, но взоры наши охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блистаетъ тѣльная красота».

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы отбросили специально дамскія темы разговоровъ, обрѣзали себѣ шлейфы и щеголяютъ либеральною умѣренностью и основательностью сужденій по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ. Чего бы, кажется, лучше? Пѣносняматель долженъ придти въ полный восторгъ. А Салтыковъ что-то хмурится, на какой-то изъянъ въ нетѣльныхъ красотахъ ума и сердца намекаетъ. Намекъ этотъ брошенъ въ первомъ письмѣ о провинціи, въ 1868 г., и только въ 1873 г., въ вышеупомянутомъ очеркѣ «По части женскаго вопроса», сатирикъ вернулся къ нему, опять-таки въ видѣ намека, хотя и гораздо болѣе яснаго.

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы, блестящія умственными шармами, — не самостоятельныя свѣтила; онѣ заимствуютъ свой свѣтъ отъ мужей, братьевъ, дядьевъ. Не ихъ имѣетъ въ виду Тебеньковъ, когда говоритъ объ извращеніи женской природы, а «утопистокъ телеграфистики и стенографистики», какъ онъ выражается. Конечно, онъ и въ этомъ случаѣ предпочелъ бы тѣлесныя шармы, шлейфы и специально дамское щебетанье, но просто рѣчь не о судейшахъ и слѣдовательшахъ зашла. Авторъ и Тебеньковъ были на вечерѣ, гдѣ происходили такіе разговоры: — «Хоть бы позволили въ медико-хирургическую академию — восклицаютъ однѣ. — Хоть бы позволили университетскіе курсы слушать! — отзываются другія. — Не доказали-ли телеграфистики? убѣждаютъ третьи. — Наконецъ, кассирши на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типографіяхъ, сидѣлицы въ магазинахъ, все это не доказываетъ-ли? — допрашиваютъ четвертыя. И въ заключеніе, склоненіе: Суслова, Сусловой, Суслову, о Суслова! и т. д.» Въ тонѣ, которымъ передаются эти разговоры, ясно слышится свойственная Салтыкову нетерпѣливая брезгливость къ краткимъ начаткамъ. Затѣмъ авторъ защищаетъ «утопистокъ стенографистики и телеграфистики»,

но черезъ всю эту защиту проходитъ пролическая нота:

«Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ Петербургѣ, а можетъ быть и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдушихъ казенный интересъ? Женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы восклицать: «bonjour, chère mignonne! Какое вчера на princeps N платье было!» будутъ говорить: «а что, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты мясниковскаго дѣла?» Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать медико-хирургическую академию, слушать университетскіе курсы? Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ ничему не научатся и потеряютъ время *задромъ*, все-таки спрашивается: кому отъ этого вредъ? Кто пострадаетъ отъ того, что онѣ задаромъ проведутъ свое и безъ того даровое время? Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими иезуитскими приемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ все-таки будетъ одинъ: нѣтъ, ни опасности, ни вреда не предвидится никакихъ».

Далѣе сатирикъ говоритъ, что еслибы отъ него зависѣло разрѣшеніе этого вопроса, то онъ непремѣнно «позволилъ бы». Онъ думаетъ, что это было бы съ его стороны только актомъ политической мудрости, въ интересахъ тѣхъ самыхъ «основъ», которые выдвигаются какъ препятствіе для осуществленія женскихъ стремленій учиться и работать. Во-первыхъ, тѣмъ самымъ прекратились бы шумъ и недовольство, а во-вторыхъ, можетъ быть среди женщинъ «которымъ *позволено*», и найдутся настоящія опоры существующаго строя, настоящіе «столбы». И почему бы въ самомъ дѣлѣ нѣтъ? Вѣдь женщины желаютъ, чтобы имъ «позволено было быть столбами наравнѣ съ мужчинами». Нѣтъ, на мѣстѣ начальства, я позволилъ бы, повторяетъ Щедринъ. «Разумѣется, прибавляетъ онъ, еслибы меня спросили, достигнется-ли черезъ это «дозволеніе» разрѣшеніе такъ-называемаго «женскаго вопроса», я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло. Еслибы меня спросили, подвинется-ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество, я отвѣтилъ бы: опять-таки это не мое дѣло».

Кажется, ясно. Съ точки зрѣнія сатирика предоставленіе женщинамъ права учиться и работать есть дѣло элементарной справедливости, и только тебеньковское лицемеріе можетъ возставать противъ этого права. Осуществленіе его должно принести многія благія послѣдствія, поскольку нынѣшнія драмы семейнаго союза зависятъ отъ женской пустоты, невѣжества, бездѣлья. Но сатирикъ отказывается радоваться тому, что всѣ существующія профессіи будутъ

комплектоваться безразлично мужчинами и женщинами. Собственно от этого не произойдет никакого изменения въ общемъ ходѣ житейскихъ порядковъ, кромя развѣ усиленія конкуренціи, то-есть отбора способнѣйшихъ къ исполненію существующихъ профессій. Тутъ нѣтъ никакой опасности для «основъ», но нѣтъ и повода для радости съ точки зрѣнія сатирика, ибо все, что есть въ нашей жизни подневольнаго и безсознательнаго, таковымъ и останется, и мелочи жизни отъ этого ни мало не покрѣпнѣютъ.

Поясню эту мысль иллюстраціями. Я помню, что въ одной либеральной газетѣ, въ подтвержденіе того, что женщина не уступаетъ мужчинѣ въ способностяхъ, были приведены свѣдѣнія о какой-то американской сыщицѣ, обнаружившей въ своей дѣятельности много ума, ловкости, энергіи и знаній. Да, увлеченіе «женскимъ вопросомъ», обнаженнымъ отъ всякихъ стороннихъ соображеній, доходило у насъ до этого. Между тѣмъ, чему тутъ, собственно, радоваться? Американскій государственный союзъ нуждается въ сыщикахъ, которыхъ и выбираетъ главнымъ образомъ между мужчинами, но согласенъ взять и женщину, если она обнаружитъ достаточныя способности! Только и всего.—Въ «Недоконченныхъ бесѣдахъ» Салтыковъ посвящаетъ одну главу дѣлу Кропбергга, судившагося за истязаніе дочери. Между прочимъ, сатирикъ очень возмущается показаніемъ одной весьма извѣстной женщины-врача, каковое показаніе кончилось къ признанію за подсудимымъ права совершить то, что онъ совершилъ. Салтыкову не вспомнились тогда его соображенія насчетъ женщинъ «столбовъ», а это недурная иллюстрація: женщина-врачъ, не хуже всякаго мужчины, оказываетъ косвенную поддержку семейному союзу, достигая, чему до предѣловъ истязанія отцомъ дочери. Въ чемъ же опасность для «основъ»? Но въ чемъ и радость съ точки зрѣнія Салтыкова?

Салтыковъ былъ не изъ любезниковъ. Le beau sexe ни тлѣнными, ни нетлѣнными своими шармами не могъ подкупить его критику явленій общественной жизни. Суровъ былъ покойникъ. Но тѣмъ цѣннѣе слова сочувствія, любви и надежды, съ которыми онъ, случалось, и къ женщинамъ обращался. Въ «Мелочахъ жизни» есть цѣлый рядъ женскихъ фигуръ «ангелочекъ», «Христова невѣста», «полковницкая дочь», «сельская учительница», жена Черезова, — затертыхъ то просто дрянными, то презрѣнными и подлыми мелочами. И обо всѣхъ объ нихъ, за исключеніемъ развѣ «ангелочка», болитъ сердце автора. Почему болитъ? Въ семьѣ Черезовыхъ жена работаетъ не меньше мужа

и, значить, вопросъ о «женскомъ трудѣ» разрѣшенъ, да и живутъ супруги Черезовы дружно, другъ-другу помогая, другъ-друга уважая и любя. Но... «Можетъ быть при другихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердце ихъ раскрылось бы и для другихъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, трудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраненія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки высшихъ стремленій».

Однако, не вѣчно это торжество мелочей, безжалостно калѣбачищихъ и мужскую, и женскую жизнь одинаково. Сатирикъ въ этомъ увѣренъ, и достойно вниманія, что вѣру эту онъ предоставляетъ выразить именно женщинѣ, — Юленькѣ, въ «Дворянской хандрѣ». Юленька предсказываетъ, что не вѣчно ночь будетъ, что солнце взойдетъ... Авторъ рассказываетъ: «Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли, лицо ея было все, какъ въ лучахъ; даже въ голоса слышались мощныя, звонкія ноты».

Да будетъ же по слову хорошей дѣвушки!

X.

Художникъ.

Какъ умѣлъ и какъ могъ, я постарался если не исчерпать содержаніе писаній Салтыкова, то хоть помочь читателю разобраться въ огромномъ литературномъ наслѣдствѣ, которое Щедринъ оставилъ русскому обществу. Условія русской печати совсѣмъ не таковы, чтобы это могло быть теперь же сдѣлано съ надлежащею полнотою и ясностью. Говорю это не въ оправданіе пробѣловъ и другихъ недостатковъ моей работы, по-скольку они зависятъ отъ моего умѣнья или неумѣнья. Во всякомъ случаѣ я могъ бы еще и еще продолжать эти очерки, — Салтыковъ даетъ для этого достаточно матеріала, — но чего-нибудь существеннаго прибавить не могу. Остается только поговорить о томъ, какъ Щедринъ дѣлалъ свое дѣло. Его критика явленій общественной жизни была облечена въ оригинальную художественную форму. Такъ вотъ объ этой формѣ.

Прошу читателя припомнить кое-что изъ сказаннаго въ первой и третьей главѣ объ основной чертѣ всей литературной физиономіи Салтыкова. Мы видѣли, что черта эта состоитъ въ необыкновенно счастливымъ сочетаніи могучей непосредственности, богатого сырья, съ одной стороны, и силы неунынно бодрствующаго сознания — съ другой. Талантъ Салтыкова былъ громаденъ, но онъ не довѣрялъ этой громадной стихійной силѣ и держалъ ее подъ строгимъ контролемъ сознания. Онъ склоненъ былъ даже умалывать размѣры своего таланта, приписывая свой

успѣхъ и значеніе въ литературѣ исключительно упорному труду. Надо замѣтить, что и вообще таланту Салтыковъ не давалъ той цѣны, какая ему обыкновенно дается. Лучше, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ, что талантъ есть великая сила, и былъ очень тонкимъ цѣнителемъ въ этомъ отношеніи. Но работникъ, человѣкъ сознанія и воли, возмущался въ немъ противъ какихъ бы то ни было привилегій таланта, противъ поклоненія этому случайному подарку природы или капризной судьбы. Иногда слово «талантливый» было у него чуть-чуть что не браннымъ или, по крайней мѣрѣ, ничего лестнаго въ себѣ не заключающимъ. Въ «Губернскихъ очеркахъ» есть четыре портрета, собранныхъ подъ одно общее заглавіе «Талантливыя натуры». Заглавіе это отнюдь не ироническое: Корепановъ, Лузгинъ, Буеракинъ и Горехвостовъ дѣйствительно талантливыя натуры, но не въ хвалу имъ написаны эти портреты. Господамъ-ташкентцамъ сатирикъ усвоиваетъ, въ числѣ прочихъ качествъ, «талантливость». Не разъ и при другихъ случаяхъ онъ столь же пренебрежительно отзывался о талантливости. Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» онъ, устами дяди Григорія Семеновича, даетъ такое опредѣленіе: «талантливость все равно, что пустая бутылка,—какое содержаніе въ нее вольешь, то она и вмѣститъ». Сила таланта, какъ и всякая другая стихійная сила, получала для Салтыкова значеніе только по тому направленію, которое она принимала подъ вліяніемъ человѣческаго сознанія и воли. Этой печати сознанія и воли Салтыковъ, какъ мы видѣли, требовалъ отъ всѣхъ проявленій жизни. Честь и совѣсть, пробужденія которыхъ онъ такъ страстно желалъ, суть формы сознанія, притомъ формы, обязывающія къ дѣйствию, то-есть къ напряженію воли. Общественный союзъ, составлявшій его идеалъ, отмѣченъ тою же печатью сознанія и воли. Сознаніе и воля, высшія способности человѣческаго духа, должны царить надъ всѣмъ міромъ, надъ всѣми силами природы и исторіи, подчиняя ихъ себѣ въ качествѣ служебныхъ орудій, обрабатывая ихъ, какъ сырой матеріалъ, наконецъ, если нельзя иначе, претерпѣвая ихъ гнѣть, но такъ, какъ терпитъ гордый плѣнникъ тюрьму, какъ носилъ свои цѣпи Прометей, то-есть все-таки не подчиняясь. Мнѣ чтить тебя? за что? спрашиваетъ гётевскій Прометей (*ich dich ehren? wofür?*). Съ такимъ вопросомъ обратился бы Салтыковъ къ любой стихійной силѣ, въ томъ числѣ и къ Таланту, если бы онъ потребовалъ почтенія къ себѣ. Талантъ, случайная комбинація наслѣдственности и приспособленія въ моментъ зачатія, не есть заслуга. Продуетъ слѣпыхъ силъ,

онъ и самъ есть только даровой, незаработанный придатокъ личной силы, получающій свое значеніе, великое или презрѣнное, только отъ того направленія, которое ему даютъ сознаніе и воля. Не талантъ долженъ владѣть человѣкомъ, увлекаая его помимо воли и сознанія, а, наоборотъ, человѣкъ долженъ владѣть своимъ талантомъ. Къ такъ называемому «вдохновенію» Салтыковъ относился очень скептически. Онъ не сказалъ бы, подобно Гёте, что геній есть терпѣніе,—чему, мимоходомъ сказать, и самъ Гёте едва-ли вѣрилъ,—но во всякомъ случаѣ талантъ самъ по себѣ былъ для него только пустая бутылка, которую надо еще наполнить и, смотря по тому, чѣмъ она наполнена, такая ей и цѣна.

Когда плебей презрительно отзывается о знатности происхожденія и негодуетъ на преимущества, связанные съ такимъ происхожденіемъ, то всегда найдутся дешевые скептики, которые объяснятъ этотъ протестъ завистью: дескать, самъ не можешь щегольнуть родословнымъ древомъ, ну, и ворчить. Мудрено было бы пустить въ ходъ это подозрѣніе примѣнительно къ взглядамъ Салтыкова на талантливость. Огромный талантъ Салтыкова стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній, кажется, для самыхъ отъявленныхъ его враговъ. Съ этой стороны слышались даже иногда фарисейскія сожалѣнія, что такое значительное дарованіе тратилось на дѣло, господамъ критикамъ неудобное. Едва-ли не самый злостный критикъ, и тотъ напелся вынужденнымъ признать за Салтыковымъ по крайней мѣрѣ «несомнѣнный талантъ глумленія и нахальства». Бѣдный сердитый критикъ! Онъ ничего не понимаетъ. Станнымъ образомъ, однако, подобныя замѣчанія трогали Салтыкова, какъ это видно изъ часто попадающихся у него не то, что оправданій, а по крайней мѣрѣ упоминаній о «балагурствѣ», писательствѣ «по смѣшной части», «смѣхѣ для смѣха», «глумленіи». Упреки эти столь бессмысленны, что Салтыковъ смѣло могъ бы проходить мимо нихъ, какъ слонъ мимо лающей москки. Въ самомъ дѣлѣ, припомните хоть только группы Разумова и сына («Больное мѣсто») и Молчалина и сына («Въ средѣ умѣренности»). Надъ кѣмъ бы, кажется, и глумиться сатирику, если не надъ этими стариками, руки которыхъ обогрѣны безсознательнымъ преступленіемъ и которые, какъ курица, высидѣвшая утятъ, не имѣютъ съ своими дѣтьми ничего общаго, кромѣ связи рожденія. Пусть безсознательно, а не какъ истые злодѣи, но этотъ Разумовъ и этотъ Молчалинъ загубили на своемъ вѣку не мало молодыхъ жизней. Не даромъ одна изъ матерей обозвала Разумова «сатаной». И вотъ

теперь, когда на них самих надвигается та беда, которую они кругомъ себя сѣяли, какъ легко, какъ, не скажу законно, но по крайней мѣрѣ естественно было бы злорадное торжество. Но ни единой черты глумленія не позволилъ себѣ сатирикъ. Передъ вами одна изъ самыхъ страшныхъ драмъ, какія только могутъ быть созданы фантазій и дѣйствительностью, и въ виду глубины ея ступевывается политическая, если можно такъ выразиться, вражда автора къ старикамъ Разумову и Молчалину.

Разумовъ думалъ, что сынъ—утѣха, а вышло, что онъ просяніе. Какимъ-то проклятымъ образомъ перемѣлился эти два совсѣмъ несомнѣнные понятія, и нѣтъ возможности распутать ихъ. И утѣха и просяніе—какой адъ. Ахъ нѣтъ, нѣтъ! Утѣха, утѣха, утѣха! Слышишь-ли ты это, Отецъ? Подсказываетъ-ли тебѣ сердце, что какое бы громадное несчастье ни придавило тебя, это же самое несчастье во сто кратъ, въ тысячу кратъ тяжелѣйшимъ молотомъ придавить безомыслную голову твоего отца! Нѣтъ у этого отца ни настоящего, ни будущаго, нѣтъ даже промаха, но вѣдь и въ этомъ человѣкъ-обрывокъ трепещетъ сердце... Тобой полно это сердце, тобой, однимъ тобой!"

Я опять напоминаю читателю, что съ точки зрѣнія Салтыкова Разумовъ есть злодѣй, хотя и безсознательный. Но во имя лютой скорби, переживаемой этимъ злодѣемъ, великій художникъ, ни въ чемъ не измѣняя себѣ, своимъ убѣжденіямъ, сростается съ его душой и шагъ за шагомъ переживаетъ вмѣстѣ съ нимъ всю драму. Это «глумленіе», «балагурство»? Еслибы Салтыковъ написалъ въ этомъ родѣ только «Большое мѣсто», такъ и то упрекъ въ балагурствѣ былъ бы безсмысленнѣйшей изъ клеветъ, которая сама-собою обрушивается позоромъ на головы клеветниковъ. А сверкающая слезами рѣчь Крамольникова въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь»? А трагическая фигура Іудушки и въ особенности конецъ его и «племяннушки» Анниньки? Надо быть очень веселымъ человѣкомъ, чтобы читать эти страницы безъ содроганія, и очень неумнымъ человѣкомъ, чтобы увидеть тутъ глумленіе. А «Мелочи жизни», насквозь проникнуты грустью о погибающихъ въ проклятомъ болотѣ человѣческихъ жизняхъ? А «Христова ночь» и другія сказки? А страстныя рѣчи въ честь и въ защиту литературы, которыя мы видѣли въ первой главѣ?

Талантъ Салтыкова представляетъ собою сумму очень многихъ и очень разнородныхъ слагаемыхъ. Бываютъ таланты яркіе, сильные, но, такъ сказать, одноцвѣтные. Талантъ Салтыкова я бы назвалъ радужнымъ, и переливы этой блистательной радуги составляютъ столько же прекрасное, сколько и рѣдкое въ литературѣ зрѣлище. Что ка-

сается формы въ смыслѣ рубрикъ, на которыя теорія дѣлитъ художественныя произведенія, то Салтыковъ обращался съ ними вполне безцеремонно, подчиняя ихъ основной струѣ своего творчества. Можно бы было, напримѣръ, сказать, судя по «Драматическимъ сценкамъ» въ «Губернскихъ очеркахъ» и «Недавнимъ комедіямъ» въ «Сатирахъ въ прозѣ», что драматическая форма не давалась Щедрина. Можетъ быть оно такъ и есть въ самомъ дѣлѣ. Можетъ быть Щедринъ органически не могъ настолько отодвинуть свое личное чувство за кулисы, насколько это требуется самыми условіями драмы. Но онъ и не смотрѣлъ никогда на «сцены» «Губернскихъ очерковъ» и «комедій» «Сатиръ въ прозѣ», какъ на драматическія произведенія; да и никто на нихъ такъ не смотритъ. Еще бы къ діалогу «малышка въ штанахъ» и «малышка безъ штановъ», или къ разговоръ Свиньи съ Правдой, или къ «Драмѣ въ кашинскомъ окружномъ судѣ» (въ «Современной идилліи») предъявлять требованія, какимъ должно удовлетворять драматическое произведеніе! Эти *quasi*-драматическіе наброски удовлетворяютъ совсѣмъ другимъ требованіямъ, художественнымъ же, но стоящимъ внѣ всякой связи съ дѣленіемъ словесности на роды и виды. Салтыковъ утилизировалъ всѣ эти роды и виды, но тасовалъ ихъ, какъ колоду картъ, то, напримѣръ, въ «Современной идилліи», перебивая комическій рассказъ страстнымъ стихотвореніемъ въ прозѣ «Властитель думъ», то иллюстрируя публицистику діалогомъ «Свиньи съ правдой», то, наоборотъ, обрывая художественный рассказъ публицистической экскурсіей, те неожиданно вводя струю сказочной фантастики въ реальнѣйшее изъ реальныхъ описаній. Припомнимъ, для образчика, маленькую, всего въ нѣсколько строкъ, но истинно поразительную сцену, которую я уже приводилъ въ главѣ «Вѣра въ будущее». Молчалинъ, возвратившись, съ обгащенными безсознательнымъ преступленіемъ руками, домой, этими самыми руками спокойно рѣжетъ пирогъ съ капустой; авторъ указываетъ ему на руки; «я вымылъ-съ», отвѣчаетъ Молчалинъ. Это смѣлое, до дерзости, сочетаніе аллегорической и страшной крови на рукахъ Молчалина съ реальнымъ и будничнымъ пирогомъ съ капустой даже можетъ быть не останавливаетъ на себѣ съ перваго раза вниманія читателя. Мысль не запинаясь объ эту наглядную несообразность, такъ ярко и сжато характеризующую Молчалина. Передъ нами результатъ—живой портретъ, болѣе того—живой типъ, и мы не спрашиваемъ себя въ тотъ моментъ о приемахъ и способахъ, которыми этотъ резуль-

татъ достигнуть. А если, анализируя свое впечатлѣніе, оглянемся на нихъ, на эти способы и приемы, то уже, конечно, не прекнемъ автора за ихъ наглядную несообразность. Нельзя, напротивъ, не залюбоваться этими мощными скачками отъ дѣйствительности, вмѣщающейся въ пироги съ капустой, къ фантазіи, обгадряющей руки Молчалина, отъ комическихъ подробностей житія Молчалина къ несознаваемому имъ самымъ ужасу его обычныхъ занятій. Въ этомъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ изумительна въ особенности легкость, съ которою талантъ Салтыкова, презирая препоны утвержденныхъ формъ словесности, переходить отъ одной изъ нихъ къ другой, отъ безпощаднаго реализма къ вершинамъ фантазіи, отъ ядовитой насмѣшки къ страстной лиричѣ. Вы не видите при этомъ никакихъ усилій автора, никакихъ слѣдовъ натуги, старанія; это чисто стихійное, самопроизвольное радужное сверканіе таланта, рѣзко выделяющее Салтыкова изъ среды нашихъ большихъ писателей. При всѣхъ своихъ разнообразныхъ достоинствахъ, ни одинъ изъ нихъ не обладаетъ тою спеціальною силою и гибкостью таланта, которою обуславливается эта черта. Формалисты назовутъ ее, можетъ быть, распушенностью, безпорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну, и Богъ съ ними.

Есть во всякомъ случаѣ у Салтыкова и такія произведенія, которыя даже самый узколобый изъ формалистовъ найдетъ безупречными въ смыслѣ выдержанности стиля. Таковы, скажемъ для примѣра, очерки, вошедшіе въ составъ «Мелочей жизни», таково «Большое мѣсто», почти всѣ сказки, такова, за вычетомъ нѣкоторыхъ отступлений, Головлева хроника. Все это—перлы въ своемъ родѣ, поражающіе яркою жизненностью образовъ, смѣлостью и спокойною увѣренностью общихъ очертаній и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкостью отдѣлки подробностей. Что касается послѣднихъ, то я напомнимъ только пейзажи въ «Конягѣ» и въ «Христовой ночи». По основнымъ задачамъ всей своей дѣятельности, цѣликомъ посвященной общественной жизни, Салтыковъ не могъ придавать пейзажу того значенія, которое онъ имѣетъ для романистовъ и поэтовъ. И тѣмъ не менѣе, перечтите «Конягу» и «Христову ночь», и вы увидите, что имѣющіеся тамъ пейзажи должны быть поставлены рядомъ съ лучшими произведеніями этого рода. Перехожу къ перлу изъ перловъ—къ «Господамъ Головлевымъ».

Фигура Іудушки, совмѣщающая въ себѣ столько комическихъ чертъ и въ то же время полная глубокаго трагизма, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя живутъ вѣка.

Вы ясно видите этого словоточиваго «кровопивушку», слышите его голосъ, ощущаете непріятность его прикосновенія и, вмѣстѣ съ его сыномъ, племянницей, Евпраксеюшкой, милымъ другомъ-маменькой, брезгливо и страшно содрогаетесь. Но удивительное дѣло: вы понимаете, что Аннинька должна была бѣжать отъ той невыносимой скуки и страха, которые распространяетъ вокругъ себя Іудушка, и могла вернуться подъ его постылый кровъ только въ конецъ одуренная пьяною жизнью; вы понимаете, что и сынъ Іудушки, и Евпраксеюшка, и милый другъ-маменька должны сторониться отъ общенія съ нимъ; вы чувствуете, наконецъ, что и сами вы, встрѣтившись съ этой фигурой въ жизни, ни на единую минуту не пожелали бы продолжить эту встрѣчу. А вотъ въ художественномъ воспроизведеніи вы отъ Іудушки оторваться не можете, хотя и переживаете съ другими дѣйствующими лицами ихъ тоску и страхъ. Въ этомъ и состоитъ чудесная тайна истинно-художественнаго произведенія: властная воля великаго художника плѣнила васъ, приковала ваше вниманіе къ явленію, мимо котораго вы, свободный отъ чаръ гениальнаго творчества, постарались бы пробѣжать какъ можно скорѣе. Эффектъ этотъ достигается иногда и совершенно заурядными писателями, но, во-первыхъ, въ совсѣмъ другомъ кругѣ читателей, а, во-вторыхъ, не силою таланта, а чисто внѣшнимъ образомъ, нагроможденіемъ кричащихъ подробностей въ самой фабулѣ. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ чарованіемъ искусства, а съ тою странною притягательною силою, которую для многихъ людей имѣютъ кровь, опасность, уголовщина, съ тою странною силою, которая сгоняетъ толпы зрителей на головоломныя представленія акробатовъ, бои быковъ, на уличные драки и площадные скандалы. Любители этого рода зрѣлищъ найдутъ «Господъ Головлевыхъ» слишкомъ прѣснымъ произведеніемъ. Тутъ и фабулы-то почти никакой нѣтъ. Пожалуй, есть она въ видѣ матеріала, зародыша, и заурядный писатель могъ бы извлечь много головокружительныхъ эффектовъ, напримѣръ, изъ трагической развязки жизни обоихъ сыновей Іудушки, но у Щедрина объ эти развязки происходятъ за кулисами. Съ другой стороны, самыя потрясающія страницы Головлева хроника посвящены необыкновенно простымъ, въ смыслѣ обыденности, вещамъ. Рожденіе незаконнаго сына и отправка его въ воспитательный домъ,—Господи! да вѣдь это каждый день совершается, не попадая даже въ полицейскую хронику наравнѣ съ кражей, пожаромъ, паденіемъ изъ третьяго этажа и проч. Дрянной старикашка пьетъ съ пле-

дача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бываютъ вродѣ повѣтрія. Глупые фасыны выпли, вотъ и все. Но ежели глупые фасыны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать куда глаза глядятъ». Дѣло ясное. Разгнѣванный и оскорбленный тогдашнимъ состояніемъ русскаго общества, сатирикъ бросилъ ему шапку по Сенькѣ: серьезное слово убѣжденія и призыва отскакиваетъ отъ васъ, какъ отъ стѣны горохъ, вамъ вадору нужно,—нате, получайте! Но уже во второмъ вечерѣ сатирикъ самъ не выдержалъ этой программы безпредметнаго смѣха, а оканчиваются «Помехонскіе рассказы» глубоко прочувствованной картиной похоронъ Ивана Рыжаго, убитаго одурѣлою толпой по подстрекательству Мазилки и Скоморохова... Можно бы было найти и другіе случаи, когда смѣхъ Салтыкова прорывался безъ осложненій гнѣва и печали и безъ удержу. Но случаи эти крайне рѣдки, и съ насъ достаточно перваго вечера «Помехонскихъ рассказовъ», чтобы судить, что было бы, еслибы Салтыковъ дѣйствительно пускалъ въ ходъ свою способность смѣха съ тою необузданностью, какую ему приписываютъ глупые и безстыжіе люди. О, какъ бы мы хохотали!—мы, вы, они... Но, памятуя высокія обязанности литературы и лежащую на ней отвѣтственность, сатирикъ не пожелалъ этого повального веселья, не пожелалъ быть писателемъ «по смѣшной части».

Онъ понималъ цѣну смѣха и отнюдь не отказывался отъ него. «Что же такое, если и карриатура?—спрашиваетъ онъ въ «Письмахъ къ тетенькѣ».—Карриатура, такъ карриатура—большая бѣда! Не все же стоять, упершись лбомъ въ стѣну; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть въ человѣческомъ сердцѣ эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человѣкъ, и тотъ ощущаетъ ее». Салтыковъ зналъ, во-первыхъ, что есть явленія, въ которыхъ, какъ и вездѣ, можно найти смѣшныя стороны и надъ которыми, однако, по ихъ незащищенности отъ разныхъ другихъ воздѣйствій, смѣяться грѣшно, «жутко», какъ онъ выражается въ «Дневникѣ провинціала». Во-вторыхъ, у него была строго обдуманная, чрезвычайно оригинальная и блистательно имъ оправданная теорія карриатуры.

Въ «Недоконченныхъ бесѣдахъ», по поводу модныхъ въ то время газетныхъ разговоровъ о «расхищеніи власти», Салтыковъ писалъ: «О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ. Людямъ, болѣе или менѣе подозрительнымъ, можетъ показаться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣшительное, въ родѣ «закрѣпощенія» или

возстановленія старой судебной волокиты,—отнюдь не бывало! Даже этихъ немудрыхъ словъ нѣтъ». Вотъ эти-то недоговоренныя слова, эти-то выводы и пожеланія, еще смутныя, но можетъ быть завтра же имѣющіе объявиться въ полной законченности, и составляютъ функцію щедринской карриатуры. Онъ самъ подробно развиваетъ эту мысль въ «Помпадурахъ и помпадуршахъ». Разсказавъ про удивительныя приключенія Ѳединьки Кротикова, сатирикъ самъ забываетъ впередъ вопросу — не слишкомъ-ли это фантастично, преувеличенно, карриатурно, и рѣшительно отвѣчаетъ: нѣтъ.

«Я согласенъ, что въ дѣйствительности Ѳединька многого не дѣлалъ и не говорилъ изъ того, что я заставилъ его дѣлать и говорить, но я утверждаю, что онъ несомненно все это думалъ (курсивъ Салтыкова) и слѣдовательно сдѣлалъ бы или сказалъ бы, еслибы умѣлъ или смѣлъ. Этого для меня вполне достаточно, чтобы признать за моимъ разсказомъ полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности... Небывальщина гораздо чаще встрѣчается въ дѣйствительности, нежели въ литературѣ. Литературѣ слишкомъ присуще чувство жѣры и приличія, чтобы она могла взять на себя задачу съ точностью воспроизвести карриатуру дѣйствительности... Многія изъ Ѳединькиныхъ бредней до того фантастичны, что онъ самъ старается скрыть ихъ, но я ловлю его на полусловъ, я пользуюсь всякимъ темнымъ намекомъ, всякимъ минутнымъ изліяніемъ, и съ помощью ряда усилій вступаю твердою ногою въ храмину той другой, не обыденной, а скрытой дѣйствительности, которая одна и представляетъ вѣрное мѣрило для всесторонней оцѣнки человѣка. Не знаю, въ какой степени усилія мои увѣнчаются успѣхомъ, но убѣжденъ, что пріемъ мой во всякомъ случаѣ долженъ быть признанъ правильнымъ. Говорять о карриатурѣ и преувеличеніяхъ, но нужно только осмотрѣться кругомъ, чтобы обвиненіе это пало само собой. Не останавливайтесь на настоящей минутѣ, но прозрѣвайте въ будущее. Тогда вы получите цѣлую картину вошестствъ, которыхъ быть можетъ еще нѣтъ въ дѣйствительности, но которыя несомнѣнно придутъ».

Эти замѣчательныя строки (я привелъ ихъ въ сокращеніи) бросаютъ интересное освѣщеніе на всю дѣятельность Салтыкова и даютъ драгоценныя указанія критикѣ. И письменная критика, и въ особенности устная, которой Салтыковъ подвергался больше, чѣмъ кто-нибудь, такъ какъ почти каждое его произведеніе возбуждало въ обществѣ говоръ, давно замѣтила слѣдующее обстоятельство. Нѣкоторыя, совершенно, повидимому, фантастическія положенія, придуманныя щедринской сатирой, надъ которыми мы смѣялись, какъ надъ карриатурами, по прошествіи извѣстнаго времени оказывались точнымъ отраженіемъ дѣйствительности. Случалось иногда такъ, точно Салтыковъ былъ какъ бы сатирическимъ лидеромъ ненавистной ему партіи мрака, его карриатуры точно задавали тонъ извѣстной части лите-

ратуры и соотвѣтственной части общества; онѣ, эти каррикатуры, развивались, по прошествіи нѣкотораго времени, въ серьезъ, какъ нѣчто въ самомъ дѣлѣ желательное, спасительное, обязательное. Укажу для примѣра на проектъ «централизаціи» отставного корнета Толстолобова въ «Дневникѣ провинціала» и на «проектъ обновленія» Стрѣлова въ «Пестрыхъ письмахъ». Одинъ изъ нихъ написанъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, другой — лѣтъ пять. Написаны они на смѣхъ; перечтите ихъ и скажите: фантастика-ли это? карриатура-ли? Изъ только что приведеннаго объясненія самого Салтыкова видно, что эти совпаденія каррикатуры съ дѣйствительностью отнюдь не были дѣломъ капризной случайности. Не нуждаются эти предвидѣнія и въ какихъ-нибудь мистическихъ объясненіяхъ. Салтыковъ самъ открылъ намъ ихъ секретъ. Онъ прислушивался, присматривался, «ловилъ на полусловѣ, пользовался всякимъ темнымъ намекомъ, всякимъ минутнымъ изліаніемъ». Результатъ достигался, слѣдовательно, упорной, сознательной работой, вполне опредѣленнымъ приемомъ изслѣдованія.

Понятно, что въ другихъ рукахъ этотъ же самый приемъ не далъ бы тѣхъ же самыхъ результатовъ. Иной можетъ годы прислушиваться и присматриваться и все-таки ничего не высмотрѣть и не выслушать, а иному достаточно вершка, чтобы угадать сажень. Это дѣло таланта, и именно чуткости. Чуткость Салтыкова была по-истинѣ изумительна. Она особенно была въ глаза въ послѣдніе годы его жизни, когда онъ жилъ, какъ монахъ въ кельѣ, отрѣзанный отъ всего міра, и все-таки чувалъ приливы и отливы этого міра. Мнѣ уже случилось однажды сравнить его съ чрезвычайно чувствительнымъ барометромъ, который, будучи запертъ въ четырехъ стѣнахъ, тѣмъ не менѣе отзывается на перемены въ состояніи атмосферы. Но и въ этомъ случаѣ Салтыковъ не былъ ни тѣмъ работъ, лукавымъ и лѣнивымъ, который зарылъ свой талантъ въ землю, ни тѣмъ себялюбивымъ счастливецомъ, который, гордясь своими случайными преимуществами, щеголяетъ ими съ единственною цѣлью поразить, ослѣпить: онъ работалъ, направлялъ свою чуткость, какъ и вообще свой талантъ, къ вполне опредѣленной, сознательно выработанной цѣли.

Выше, говоря о свойственномъ Салтыкову радужномъ сверканіи таланта, я называлъ это сверканіе чисто стихійнымъ, самопроизвольнымъ. Но самопроизвольный не значитъ самодовлѣющий. Доволяя себѣ художественныя дерзости въ родѣ перетасовки утвержденныхъ формъ словесности и полного смѣшенія фантазіи и дѣйствительности, Сал-

тыковъ зналъ, что онъ дѣлаетъ, и въ каждой своей строчкѣ могъ бы дать отчетъ и себѣ и другимъ. Все свое высокое дарованіе отдавалъ онъ на службу дѣлу свѣта и правды и зорко слѣдилъ за этой своей стихійной силой, чтобы она какъ-нибудь не уклонилась отъ намѣченной цѣли. Ему такъ легко было бы нарисовать, на примѣръ (одинъ примѣръ изъ сотни), картину изувѣченнаго трупа Гришки-портного, плавающего въ лужѣ крови, разбитаго черепа, разбрызганныхъ мозговъ, нечеловѣческихъ стоновъ. Его творческая сила нашла бы здѣсь себѣ работу, удовлетвореніе. Но эта страшная картина слишкомъ сосредоточила бы на себѣ вниманіе читателя, слишкомъ взволновала бы его, въ ущербъ сочувствію къ несчастному Гришкѣ и негодованію на загубившаго его подлости. И великій писатель обошелъ эту картину. Ему можетъ быть еще легче было-бы смѣшнить насъ безъ удержу, смѣшнить до упаду, но великій писатель не пожелалъ этого: онъ обуздывалъ свой смѣхъ систематической программой. Менѣе могучій талантъ едва-ли могъ бы даже выдержать такое неустанно зоркое самонаблюденіе и самообузданіе, такой контроль сознанія и воли. Салтыковъ выдержалъ.

Слава таланту! Конечно слава. Но вѣщая слава человѣку, работнику, служителю свѣта и правды!

XI.

Памяти Щедрина *).

Все на свѣтѣ старѣется, изнашивается и, наконецъ, умираетъ, уступая мѣсто новой, молодой жизни. Таковъ законъ естества, неизбѣжный и неумолимый, какъ бы ни возмущалось противъ него наше чувство. Да и не всегда вѣдь оно возмущается. Смерть не страшна и не печальна, а именно только естественна, когда она составляетъ условіе обновленной жизни, когда умираетъ то, что успѣло уже износиться и только давить собою новые ростки жизни. Такой смерти вполне приличествуетъ эпитетъ «естественная» и съ нею сравнительно легко мирится даже личное горе людей, близкихъ къ покойнику. Щедринъ умеръ въ этомъ смыслѣ не естественною смертью. Давно больной тѣломъ, онъ не изжилъ своихъ духовныхъ силъ, не одряхлѣлъ ни талантомъ, ни убѣж-

*) Глава эта написана и напечатана въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» тотчасъ послѣ смерти Салтыкова. Я не хотѣлъ ее перепечатывать, въ виду ея характера наброска, вызваннаго первымъ впечатлѣніемъ вѣстия о смерти сатирика. Но въ ней содержатся кое-какія черты, которыя мнѣ не удалось потомъ развить.

надо только смолоду приучить мальчика правильно и упорно работать; «конечно, если онъ не идіотъ и не математикъ», прибавлялъ онъ, разумна, кажется, противоположность между опредѣленною специальною способностью и полнымъ отсутствіемъ всякихъ способностей. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, значить, ничего не подымаешь, а въ этихъ предѣлахъ все доступно труду. Разумѣется, роль труда въ своей собственной литературной дѣятельности Щедринъ непомѣрно преувеличивалъ. Его рѣдкое трудолюбіе не только не способствовало его славіи художника или сатирика, а, напротивъ, отвлекало его силы въ сторону журнальной техники. Чтеніе и исправленіе, рукописей и корректуры, всегда отнимающее много времени, у Щедрина отнимало его больше, чѣмъ у кого-нибудь. Онъ вѣдалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, кромѣ общей редакціи въ качествѣ отвѣтственнаго редактора, еще специально беллетристическій отдѣлъ, и если вообще принималъ близко къ сердцу интересы журнала, то въ свой специальный беллетристическій отдѣлъ по-истинѣ всю душу свою вложилъ. Всякій вновь появившійся въ журналѣ беллетристическій, первоначально можетъ быть нѣсколько обезкураженный рѣзкою и суровою манерою редактора, встрѣчалъ въ немъ на дѣлѣ доброжелательнѣйшаго, усерднѣйшаго покровителя и совѣтника, даже расточительно тратившаго свой трудъ и время на чужія произведенія. Помню, напримеръ, такой случай. Молодой талантливыи писатель Котелянскій (я могу его называть, онъ умеръ) прислалъ повѣсть «Чиншерикъ». Щедринъ рѣшилъ ее напечатать, но по исправленію и сокращенію. И вотъ что онъ, между прочимъ, одѣлалъ: вытравилъ на всемъ протяженіи повѣсти одно изъ дѣйствующихъ лицъ цѣликомъ, со всеми его довольно сложными отношеніями къ другимъ, оставшимся дѣйствующимъ лицамъ. Котелянскій самъ говорилъ мнѣ потомъ, что онъ очень благодаренъ Щедрину за эту операцію, которая окрасила повѣсть, но удивляется, какъ онъ ухитрился это одѣлать. И действительно, всякій мало-мальски знакомый съ редакторскимъ дѣломъ пойметъ, какого труда и вниманія стоитъ подобная операція. Вообще Щедринъ былъ образцовымъ редакторомъ. Я былъ нѣсколько лѣтъ однимъ изъ ближайшихъ его сотрудниковъ по веденію журнала, и хотя дѣло не всегда обходилось безъ недоразумѣній и пререканій, но ни единой капли горечи не осталось въ моихъ воспоминавіяхъ объ этомъ сотрудничествѣ и не иначе, какъ съ удовольствіемъ и чувствомъ глубокаго уваженія къ Щедрину, думаю я о томъ счастливомъ времени. Не смотря на свою рѣзкость и раздражи-

тельность, Щедринъ владѣлъ той тайной внутренняго равновѣсія, которая гарантируетъ редактора и отъ безпринципной распушенности, превращающей журналъ въ простой сборникъ болѣе или менѣе интересныхъ или неинтересныхъ статей, и отъ ненужнаго мелочнаго вѣдательства въ веденіе самостоятельныхъ отдѣловъ. Единство и цѣльность журнала даже въ мелкихъ подробностяхъ слагались какъ будто сами собой. Въ согласіи съ основными чертами своего открытаго, благороднаго характера и своей отзывчивости на «житейскія волненія», Щедринъ ненавидѣлъ ложь, въ чемъ бы она ни состояла, и сухой доктринерскій формализмъ. Правдивое и живое отношеніе къ дѣлу—вотъ главное, чего онъ лично требовалъ отъ сотрудниковъ и безъ чего мудро было попасть въ *Отечественныя Записки*. При обширномъ и тонкомъ умѣ Щедрина, при его чуткости, эта формула «правдиваго и живаго отношенія» обнимала очень многое, и немудрено, что руководимый имъ журналъ постепенно выработалъ себѣ такую цѣльность и опредѣленность фizioноміи, какая не часто встрѣчается въ исторіи русской журналистики. Конечно, она могла нравиться однимъ и не нравиться другимъ...

Собственная писательская фizioномія Щедрина тоже нравилась однимъ и не нравилась другимъ. Онъ имѣлъ восторженныхъ поклонниковъ, но имѣлъ и враговъ, злобныхъ, мстительныхъ. Такова участь всякаго превышающаго средній ростъ человека, но въ положеніи Щедрина были свои особенности. Его великій талантъ и его значеніе, какъ литературнаго дѣятеля, едва-ли не съ первыхъ же его литературныхъ шаговъ стали виѣ всякаго спора и сомнѣнія, а затѣмъ обратились въ общее мѣсто, которое даже повторять странно. Правда, кое-кто изъ оскорбленныхъ его личною рѣзкостью или его строгою, но и отвѣтственною дѣятельностью, какъ редактора *Отечественныхъ Записокъ*, безсильными, трясуцимися отъ злобы руками замахивался и на его талантъ. Помню одну забавную статью въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, въ которой серьезнѣйшимъ образомъ доказывалось, что Щедринъ (и Некрасовъ) не можетъ идти, по таланту, ни въ какое сравненіе съ... г. Стахѣевымъ. Помню разныя полемическія упражненія газетныхъ рецензентовъ, представляющихъ собою двойную анатомическую игру природы: отсутствіе мозга и сердца, при наличности рукъ, которые могутъ держать перо, махать его въ чернила и потомъ водить имъ по бумагѣ. Этой мелочи Щедринъ даже не замѣчалъ, какъ слонъ той москы, которая на него лаяла. Были враги покрупнѣе. Были такіе, которые понимали, что прать противъ рожа

глуго, и не только не отрицали таланта Щедрина, но именно въ этомъ талантѣ видѣли сугубую опасность для чего-то, будто бы, ими охраняемаго. Эти очень волновали покойнаго и многого добились.

Была пущена въ ходъ и усердно эксплуатировалась нелѣпная клевета, что Щедринъ ненавидитъ и презираетъ Россію, не вѣрить въ нее, желаетъ ей всякаго зла и погибели, въ доказательство чего указывалось на исключительно мрачныя краски его сатирической палитры. Еслибы «патріотъ своего отечества» и «мерзавецъ своей жизни» не слились у насъ въ какой-то конгломератъ шутовской пошлости и злодѣйскаго предательства, еслибы слово «патріотъ» не было такъ захватано грязными руками, я сказалъ бы, что Щедринъ былъ великій патріотъ. Здѣсь не мѣсто, да и слишкомъ много времени потребовалось бы, подвергать сколько-нибудь систематическому критическому анализу сочиненія Щедрина въ ихъ художественномъ и общественномъ значеніи. Я просто пишу бѣглую замѣтку, и читатели не въ правѣ требовать отъ меня многого.

Щедринъ безспорно не любилъ многого въ Россіи (а кто любитъ все въ Россіи? не тѣ ли, кто не любитъ великаго русскаго писателя, нынѣ лежащаго въ гробу?). Не любилъ, между прочимъ, и даже въ особенности, того фальшиваго, иногда слашаваго, иногда напротивъ злобнаго теченія, которое какъ бы захватило въ свои руки монополію патріотизма. Этому ненавистному для Щедрина теченію часто отъ него доставалось, его мощное слово не разъ посрамляло его представителей. Такъ, одно время представители эти усвоили себѣ кличку «культурныхъ людей» и очень носились съ нею. Тогда Щедринъ началъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* рядъ очерковъ подъ заглавіемъ «Культурные люди», но не успѣлъ даже ихъ кончить (такъ они и остались неконченными въ журналѣ и до сихъ поръ не перепечатывались въ отдѣльномъ изданіи; въ полное собраніе сочиненій, однако, войдутъ),—не успѣлъ даже кончить, какъ гордую кличку «культурные люди», точно траву кося, скосяло. «Культурные люди» устыдились посрамленной Щедринымъ клички,—до такой степени устыдились, что кличка такъ навѣки и погибла, и, можетъ быть, многіе изъ читателей даже не помнятъ ее. А знаменитая «торжествующая свинья»? Но если Щедринъ неустанно клеймилъ живое теченіе, самозванно усвоившее себѣ имя патріотизма, то только слѣпой или именно уродъ, лишенный мозга и сердца, могъ не видѣть той горячей, трогательной и заразитель-

ной любви къ отечеству и къ отечественному «мальчику безъ штановъ» («За рубежомъ»), которая сквозила изъ-подъ его ѣдкой сатиры.

Возьмемъ сравнительно безобидную область—область литературы. Разъ Щедринъ спросилъ меня, какое изъ его произведеній я считаю наиболѣе удачнымъ. Я затруднился отвѣтить, какъ затруднился бы и сейчасъ выбрать какой-нибудь цвѣтокъ изъ этого огромнаго и роскошнаго букета.—По-моему, «Похороны» лучше всего, я ихъ вчера пересматривалъ; право хорошо, — сказалъ Щедринъ. Я хорошо помнилъ «Похороны», небольшой и дѣйствительно прекрасный рассказъ, который, однако, трудно поставить въ ряду произведеній Щедрина въ первую голову. Это рассказъ о похоронахъ бѣднаго, маленькаго писателя, о постигавшихъ его при жизни невзгодахъ, о трудностяхъ и радостяхъ его положенія. Рассказъ проникнутъ тихою, хотя и улыбающеюся грустью и тѣмъ своеобразнымъ лиризмомъ, который въ послѣдній періодъ дѣятельности Щедрина все чаще и чаще пробивался въ его произведеніяхъ. Этотъ-то душевный тонъ рассказа и подкупалъ самого автора. Онъ глубоко любилъ русскую литературу и интересовался судьбами самыхъ даже маленькихъ и невидныхъ ея служителей. Мерзости представителей печати, которыхъ онъ награждалъ ударами своего сатирическаго бича, не мѣшали ему вѣрить въ русскую литературу, именно какъ въ русскую, желать ей развитія, свободы, почета. Не даромъ онъ и въ завѣщаніи сыну написалъ трогательныя и по праву гордыя слова: «Паче всего любви родную литературу и званіе литератора предпочитай всякому другому». Не касаясь прочихъ сторонъ этого предсмертнаго пожеланія, я спрашиваю: кто же былъ истинный патріотъ, кто больше любилъ свое отечество и больше вѣрилъ въ таящіяся въ немъ силы,—тотъ-ли, кто завѣщалъ своему сыну любить «родную литературу», или тѣ «патріоты своего отечества», которые съ пѣной у рта требуютъ для этой родной литературы узды и кнута?

Великая скорбь постигла Россію, еще большая —русскую литературу и насъ, русскихъ литераторовъ. Почтимъ же память Щедрина не только словами и слезами, а и дѣломъ: постараемся сравняться съ нимъ,—конечно, не талантомъ; постараемся работать такъ, чтобы, подобно ему, имѣть передъ лицомъ смерти право гордиться своимъ званіемъ литератора и завѣщать эту гордость потомству...

Матеріалы для литературнаго портрета М. Е. Салтыкова *).

28 апрѣля минетъ годъ со смерти Салтыкова. Къ годовщинѣ печальнаго событія послѣдъ девятый, послѣдній томъ сочиненій покойнаго, изданіе которыхъ было начато еще имъ самимъ, хотя, впрочемъ, при жизни его вышелъ только одинъ первый томъ. Изъ приложенной къ девятому тому статьи г. Арсеньева *Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова* видно, что все изданіе, въ количествѣ 6,500 экземпляровъ, уже разошлось. Безъ сомнѣнія, будетъ немедленно же приступлено къ новому изданію, надо надѣяться, болѣе дешевому и болѣе полному. Болѣзненная мнительность, одолевавшая Салтыкова въ послѣдніе годы его жизни, побудила его ограничить изданіе цифрой 6,500 экземпляровъ, а это должно было отозваться на цѣнѣ «сочиненій», относительно не высокой, но, всетаки, для очень и очень многихъ почитателей сатирика обременительной. Что касается плана изданія, то онъ былъ составленъ самимъ Салтыковымъ, но будущимъ издателямъ нѣтъ никакой надобности руководствоваться именно этимъ планомъ: многое, исключенное слишкомъ строгимъ къ себѣ авторомъ, можетъ занять свое мѣсто въ будущемъ изданіи, — кое-что цѣлкомъ, а кое-что, по крайней мѣрѣ, въ извлеченіи. Можно также рассчитывать, что сухіе «матеріалы для біографіи» замѣнятся настоящею біографіей, достойною памяти великаго покойника.

Г. Арсеньевъ отнесся къ своей задачѣ вполне добросовѣстно, но не особенно ретиво. Изъ печатнаго матеріала, появившагося послѣ смерти Салтыкова, онъ воспользовался только, и то очень умѣренно, статьей г. Скабичевскаго въ *Новостяхъ*, статьей г. Михайлова *Щедринъ, какъ чиновникъ*, въ *Одесскомъ Листѣ* и воспоминаніями г-жи Головачевой въ *Историческомъ Вѣстникѣ*. Родственники покойнаго предоставили въ распоряженіе г. Арсеньева нѣкоторые любопытные рукописные матеріалы, частью найденные въ кабинетѣ Салтыкова, частью хранившіеся въ семьѣ. Но затѣмъ въ статьѣ г. Арсеньева нѣтъ никакихъ слѣдовъ работы въ смыслѣ активнаго собиранія матеріаловъ. Поневолѣ вспоминается живое и любовное отношеніе редакціи сборника *Памяти Гаршина* къ біографической сторонѣ взятой ею на себя задачи. Г. Арсеньевъ говоритъ: «Неизданныхъ или мало извѣстныхъ матеріаловъ, которые относились бы къ послѣднимъ двадцати пяти годамъ жизни Салты-

кова, въ нашихъ рукахъ нѣтъ почти вовсе. Намъ доставлено лишь нѣсколько писемъ Салтыкова къ его дѣтямъ и одно письмо, отъ 2 января 1881 г., къ писателю, только что передъ тѣмъ напечатанному разборъ одного изъ произведеній Салтыкова». «Намъ доставлено лишь»... Если бы г. Арсеньевъ или лица, завѣдывавшія изданіемъ, хотя бы только подобно редакціи сборника *Памяти Гаршина*, напечатали въ газетѣ обращеніе ко всѣмъ, имѣющимъ какіе-нибудь матеріалы, въ видѣ ли личныхъ воспоминаній, или переписки, то именно послѣдніе двадцать пять лѣтъ жизни Салтыкова, навѣрное, получили бы особенно яркое освѣщеніе. Въ живыхъ еще много людей, имѣвшихъ съ нимъ такъ или иначе общеніе за это время. Уже по отвѣтамъ Тургенева, напечатаннымъ въ собраніи его писемъ, изданнымъ комитетомъ литературнаго фонда въ 1884 г., можно бы было заключить, какъ интересны и характерны были письма Салтыкова. Притомъ же, матеріалъ, который получалъ бы такимъ образомъ въ свое распоряженіе біографъ, освѣщалъ бы Салтыкова именно съ той стороны, которая всегда останется наиболѣе цѣнною и значительною въ глазахъ русскаго читающаго общества. Я не то хочу сказать, что матеріалы, такъ сказать, сами собой пришедшіе къ г. Арсеньеву, а не собранные имъ, не интересны. Напротивъ, они очень интересны и должны занять свое мѣсто въ біографіи, но въ нихъ очень мало *Щедринна*.

Въ бумагахъ Салтыкова уцѣлѣла копія съ донесенія Салтыкова (тогда совѣтника губернскаго правленія), представленнаго имъ въ 1852 г. вятскому губернатору по дѣлу о безпорядкахъ, возникшихъ между государственными крестьянами двухъ сельскихъ обществъ въ Слободскомъ уѣздѣ. Г. Арсеньевъ подробно рассказываетъ содержаніе этого рапорта, изъ котораго видно, какъ серьезно относился Салтыковъ къ своимъ служебнымъ обязанностямъ. Это очень любопытная страница изъ жизни Салтыкова, но *Щедринна* здѣсь нѣтъ. Нѣтъ его и въ сохранившихся въ его бумагахъ черновыхъ замѣткахъ *Объ идѣ права*. Въ 1855 и 1854 году Салтыковъ получилъ позволеніе съѣздить изъ Вятки въ свою тверскую деревню. Оттуда онъ посылалъ своимъ вятскимъ знакомымъ, сестрамъ Е. А. и А. А. Болтинымъ (Е. А. стала потомъ женой сатирика), составленную имъ *Краткую исторію Россіи*. Объ этой рукописи г. Арсеньевъ говоритъ: «Характеристичнаго въ ней немногого, сходнаго съ будущемою *Исторіей одного города* — ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ назначеніемъ рукописи — служить какъ бы учебникомъ для

*) 1890 г.

молодыхъ дѣвушекъ, почти дѣвочекъ. Въ самомъ способѣ изложенія ничто не напоминаетъ позднѣйшую манеру автора. Приведемъ нѣсколько выписокъ только для того, чтобы показать, какъ мало салтыковского въ этомъ юношескомъ произведеніи Салтыкова». Затѣмъ слѣдуютъ выписки, въ которыхъ дѣйствительно нѣтъ ничего салтыковского ни въ отношеніи содержанія, ни въ отношеніи формы. Весь эпизодъ съ *Краткою исторіей Россіи* характеренъ только, какъ еще одно свидѣтельство присущихъ Салтыкову серьезности и трудолюбія, которыя онъ вносилъ во все, что онъ дѣлалъ. По поводу вышеупомянутаго рапорта вятскому губернатору г. Арсеньевъ справедливо замѣчаетъ, что «заурядный чиновникъ тогдашняго—да и не только тогдашняго—времени» отнесся бы къ дѣлу совсѣмъ не такъ, какъ Салтыковъ. Точно также едва-ли найдется много молодыхъ чиновниковъ, да и вообще молодыхъ людей, которые посвящали бы свои деревенскіе досуги нелегкому дѣлу составленія хотя бы и шаблоннаго историческаго учебника для двухъ молодыхъ дѣвушекъ.

Въ числѣ рукописныхъ матеріаловъ г. Арсеньева есть еще письма Салтыкова къ дѣтямъ,—сыну тогда было около девяти лѣтъ, дочери около семи. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать одно изъ этихъ прелестныхъ писемъ: «Доношу вамъ, что безъ васъ скучно и пусто. Когда вы были тутъ (семья Салтыкова жила въ это время за границей), то бѣгали и прятались въ моей комнатѣ, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и въ цѣлости. Имъ тоже скучно, что никто ихъ не ломаетъ. А еще доношу, что сегодня Арапка (какарейка), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такъ сюрпризъ! Что же касается Крылатки, то она еще совсѣмъ голенькая, но мать начинаетъ уже летать отъ нея. Ни конфектъ, ни апельсиновъ послѣ вашего отъѣзда въ Петербургъ уже нѣтъ; всѣ уѣхали слѣдомъ за вами въ Баденъ. Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мнѣ, что вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете большіе, мы станемъ вмѣстѣ ихъ перечитывать. Цѣлую васъ обоихъ крѣпко-накрѣпко. Какъ только можно будетъ, прилечу. Не забывайте папу».

Недавно въ *Русскомъ Обзорѣ* г. Фетъ помянулъ въ своихъ воспоминаніяхъ и Салтыкова. Г. Фетъ встрѣтилъ Салтыкова у Тургенева. Салтыковъ будто бы расхваливалъ какіе-то возникшіе въ ту пору у насъ

«фаланстеры», гдѣ практикуется полная свобода половыхъ отношеній. «Какая же участь ожидаетъ дѣтей?»—спросилъ Тургеневъ.—«Дѣтей не полагается»,—отвѣтилъ будто бы Салтыковъ... О, г. Фетъ, г. Феты!... О, гѣвѣцъ соловья и розы!..

Читатель видитъ, что какъ ни интересны матеріалы г. Арсеньева, какъ ни характерны они для Салтыкова, какъ человѣка, чиновника, отца семейства, но Щедрина, литературнаго дѣятеля, они мало освѣщаютъ (литературный интересъ представляетъ только одно изъ доставленныхъ г. Арсеньеву писемъ). А, между тѣмъ, Салтыковъ-литераторъ будетъ всегда представлять для насъ преимущественный интересъ, и это совершенно понятно въ виду той исключительной роли, которую литературная дѣятельность играла въ его собственной жизни.

Мнѣ думается даже, что не біографія Салтыкова нужна, а нуженъ литературный портретъ. Вышними событіями его жизни и сама по себѣ не богата, а въ особенности по сравненію съ характерностью его литературной физіономіи. Центральнымъ пунктомъ его жизни, по его собственному и совершенно вѣрному показанію, былъ литературный интересъ. Онъ же долженъ стать центральнымъ пунктомъ его біографіи. Только при подобной гармоніи между объектомъ задачи и приѣмомъ ея выполненія получится нѣчто яркое, сильное, достойное Щедрина. И это будетъ не біографія въ строгомъ и, по отношенію къ Салтыкову, нѣсколько скучномъ смыслѣ этого слова, а литературный портретъ. Салтыковъ, русскій дворянинъ, родившійся въ селѣ Спасъ-Уголь, Калязинскаго уѣзда, Тверской губерніи, учившійся въ лицѣ, служившій въ канцеляріи вятскаго губернатора и проч., и проч., утопился при этомъ въ Щедринѣ, и это будетъ вполнѣ справедливо: Салтыкова создали извѣстныя вышнія условія, а Щедринымъ онъ самъ сдѣлался, и дѣломъ его, главнымъ дѣломъ его жизни было слово.

Обращаясь къ вышеупомянутому собранію писемъ Тургенева, я нахожу тамъ, между прочимъ, слѣдующее: «Петръ Великій, говорить, когда встрѣчалъ умнаго человѣка, цѣловалъ его въ голову; я хотя и не Петръ и не Великій, а, прочитавъ ваше письмо, охотно облобызалъ бы васъ, любезнѣйшій Михаилъ Евграфовичъ, — до того все, что вы говорите о романахъ Гонкура и Зола, мѣтко и вѣрно. Мнѣ самому все это смутно мерещилось, словно подъ ложечкой сосало; но только теперь я произнесъ: а! — и ясно прозрѣлъ. И не то, чтобы у нихъ не было таланта, особенно у Зола, но идутъ они не по настоящей дорогѣ и ужъ очень сильно сочиняютъ» и т. д. Письмо Салтыкова, на

которое здѣсь отвѣчаетъ Тургеневъ, не представляетъ никакого интереса въ чисто-біографическомъ смыслѣ, и, однако, оно можетъ быть крайне любопытно, какъ матеріалъ для литературнаго портрета. Подобныхъ писемъ, навѣрное, сохранилось не мало, Салтыковъ былъ не лѣнивъ на переписку, напротивъ, переписывался очень охотно. Особенно были бы интересны его письма къ писателямъ, преимущественно беллетристамъ, начавшимъ свою литературную дѣятельность въ періодъ редактированія Салтыковымъ *Отечественныхъ Записокъ*. Въ нихъ должно сказаться горячее участіе ко всякому начинающему дарованію, а кромѣ того, въ этихъ письмахъ, въ формѣ совѣтовъ и указаній, отразилось бы многое, что не могло имѣть мѣста въ письмахъ къ сверстникамъ вроде Тургенева. Опубликованіе переписки Салтыкова, хотя бы только въ выдержкахъ и даже только въ пересказѣ, имѣло бы, кромѣ того, огромный практический, скажу—педагогическій интересъ: среди нашихъ распутныхъ литературныхъ нравовъ появилась бы во весь ростъ фигура благороднѣйшаго литературнаго дѣятеля—живымъ укоромъ для однихъ, поощреніемъ для другихъ, поученіемъ для третьихъ... Мы должны близко знать тѣхъ, кто составляетъ нашу славу и гордость, дабы свѣтъ во тьмѣ свѣтился и служилъ намъ маякомъ.

Когда я писалъ о Салтыковѣ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* и когда потомъ издавалъ эти фельетоны отдѣльною книжкой, мнѣ не пришло въ голову воспользоваться для характеристики покойнаго сатирика имѣющимися у меня его письмами. На эту мысль я былъ натолкнутъ только теперь. Думаю, что и мои матеріалы могутъ оказаться не бесполезными.

Странное чувство испытывалъ я, разыскивая письма Салтыкова въ огромномъ ворохѣ всякаго рода писемъ по литературнымъ дѣламъ, сохранившихся за много лѣтъ. Точно будто вновь переживались эти много лѣтъ, хотя и въ полномъ безпорядкѣ, потому что письма были свалены кое-какъ, и изъ кучи ихъ попадалось то письмо еще живого «презрительнаго Терсита», то письмо «могучаго Патрокла», котораго уже нѣтъ; отголосокъ времени надеждъ чередовался съ свидѣтельствомъ мрачнаго отчаянія; слѣдъ живого общенія съ читателемъ попадался рядомъ съ порожденіемъ мелкихъ литературныхъ дразгъ; автографъ измѣнника, когда-то лѣшаго въ душу, а нынѣ... а чортъ его знаетъ, что онъ такое нынѣ! Цѣлая коллекція писемъ писателя, добивавшагося чести попасть въ *Отечественныя Записки* и потомъ печатно ихъ обругавшаго; письма восторженныхъ юношей, «читателей-друзей»;

письма милыхъ сердцу и по нынѣ и письма постылыхъ; письма о большихъ и о смѣшныхъ дѣлахъ; письма разумныхъ и письма безумныхъ; всякія, всякія... Да, много пережито за все то время, отъ котораго сохранился этотъ ворохъ писемъ. И немудрено, что, разыскивая письма Салтыкова, я то и дѣло останавливался на другихъ, въ ту минуту мнѣ вовсе ненужныхъ письмахъ, и воскрешалъ въ памяти своей тотъ или другой вызвавшій ихъ эпизодъ. Впрочемъ, такъ какъ огромное большинство писемъ такъ или иначе связано съ *Отечественными Записками*, то многое, всетаки, по крайней мѣрѣ, напоминаетъ Салтыкова, а кое-что и прямо къ нему относится. Вотъ, напримѣръ, стихотворная ругань, въ которой нѣкто называетъ Салтыкова «журнальнымъ генераломъ» и, очевидно, полагаетъ себя остроумнымъ и ядовитымъ. Должно быть, это оскорбленный непріятіемъ статьи бездарный писакъ; письмо его, вѣроятно, адресованное просто въ редакцію, попало ко мнѣ, и я, конечно, скрытъ его отъ тогда уже больного и слабаго Салтыкова (письмо помѣчено 1882 г.). Вотъ другія письма о Салтыковѣ, участливыя, восторженные... Но вотъ, наконецъ, письма самого Салтыкова извлечены, расположены въ хронологическомъ порядкѣ. Ихъ около сотни.

Надо, прежде всего, замѣтить, что многихъ писемъ я не уберегъ, — пропали при переездахъ и другихъ передрыгахъ. Самое раннее относится къ 1876 г. и послѣ него опять порядочный пробѣлъ. Далѣе, большинство писемъ относится къ лѣту 1880 г. и къ лѣту 1881 г., когда Салтыковъ жилъ за границей, а я въ Петербургѣ, и къ 1883—86 годамъ, когда, наоборотъ, онъ жилъ въ Петербургѣ, а я внѣ онаго. Однако, благодаря страстному отношенію Салтыкова къ литературному дѣлу, есть не мало писемъ и записокъ и за тѣ времена, когда мы оба были въ Петербургѣ: не дожидаясь свиданія, обязательнаго каждый понедѣльникъ въ редакціи или, въ случаѣ его болѣзни, у него на квартирѣ послѣ редакціонныхъ пріемныхъ часовъ, онъ торопился сообщить или получить то или другое свѣдѣніе, то или другое впечатлѣніе. Затѣмъ надо имѣть въ виду, что письма Салтыкова никогда не могли бы быть опубликованы такъ, какъ это было сдѣлано, напримѣръ, съ перепиской Тургенева. Многое въ нихъ неудобно для печати, какъ по самой темѣ, такъ и по выраженіямъ, въ которыхъ онъ, въ письмахъ къ близкимъ людямъ, не стѣснялся.

Я, впрочемъ, не могу себя считать вполне близкимъ къ нему человекомъ. И, для уразумѣнія нижеслѣдующаго, надо сказать нѣсколько словъ о нашихъ съ нимъ отноше-

нѣхъ, очень оригинальныхъ. Знаю, что многіе изъ пишущихъ воспоминанія о знаменитыхъ покойникахъ, можетъ быть, даже безсознательно и невольно, приурочиваютъ эти воспоминанія такъ или иначе къ своей собственной личности. Но думаю, что мнѣ тѣмъ легче будетъ избѣжать этого комическаго положенія, что я собственно не воспоминаю собираюсь писать, а хочу только извлечь изъ писемъ Салтыкова кое-какія характерныя черты.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ, выражая, по нѣкоторому особенному случаю, свои добрыя чувства ко мнѣ, которыя, дескать, всегда питалъ, онъ прибавляетъ: «хотя разность лѣтъ и моя болѣзнь препятствовали мнѣ ближе сойтись съ вами». Я имѣлъ много свидѣтельствъ добраго расположенія покойнаго сатирика, но интимно близокъ съ нимъ никогда не былъ. Этому препятствовали не только его болѣзнь и разность лѣтъ, но и разница во всемъ складѣ жизни. Что называется «домами» мы никогда не были знакомы и «въ гостяхъ» другъ у друга не бывали. Посѣщенія были чисто-дѣловыя, а съ прекращеніемъ *Отечественныхъ Записокъ* я только навѣщалъ больного. Интимно-дружеской близости не было, а суррогатъ ея—свѣтскія отношенія были бы между нами просто смѣшны. Ни онъ, ни я не чувствовали склонности вообще къ такого рода отношеніямъ, хотя ему, благодаря всей его жизненной обстановкѣ, приходилось, все-таки, имѣть и поддерживать таковыя. Воображаю, а отчасти и знаю, какъ онъ ихъ поддерживалъ! Я не могъ не улыбнуться, перечитывая слѣдующія строки въ одной его запискѣ ко мнѣ, помѣченной 5-мъ декабря (не знаю, котораго года): «Такъ какъ завтра множество Николаевъ, то полагаю, что вы одинъ изъ оныхъ». И затѣмъ подпись. Это значило, что онъ поздравляетъ съ именинами...

Тѣмъ цѣннѣе представляется мнѣ наше литературное единеніе. Оно было свободно отъ всякихъ постороннихъ подмѣсей. «Наша совмѣстная служба на радость и пользу полехонцамъ», какъ онъ выражался въ одномъ письмѣ, вытекала исключительно изъ общности взглядовъ. Безъ сомнѣнія, не всегда и не во всемъ мы вполне сходились; случались и разногласія, но они никогда не достигали размѣровъ принципиальнаго разлада. Естественно, что и въ письмахъ нѣтъ того, поводовъ къ чему не было въ самой жизни, то-есть пререканій или даже только разсужденій о принципахъ. Единственный слѣдъ чего-нибудь отдаленно подобнаго я нашелъ въ письмѣ его изъ деревни отъ 1876 г., по разнымъ причинамъ неудобномъ для печати и кончающемся такъ: «До свиданія, жму вашу руку, ту

самую, которая выдвинула впередъ вопросъ о качественности цивилизаціи... а Н. подслушалъ сіе и окрился»... Разногласія, какія были, кончались всегда скоро и благополучно. Не смотря на ворчливость и раздражительность покойника, мнѣ, по крайней мѣрѣ, было легко имѣть съ нимъ дѣло, потому что при общности взглядовъ и взаимномъ довѣріи взаимныя уступки не заключали въ себѣ ни тѣни чего-нибудь унижательнаго. Были, правда, попытки нарушить эту въ своемъ родѣ почти даже идиллію, но онѣ ничего не достигали. Въ январѣ 1884 г. по нѣкоторому, мнѣ теперь уже не совсемъ ясному, поводу Салтыковъ писалъ мнѣ: «Есть многіе... которые мнѣ дѣлаютъ это привѣтствіе: «здравствуй, дуракъ!» Никогда у насъ съ вами серьезныхъ разногласій не было, и публика, читающая, это знаетъ отлично, точно такъ же, какъ знаетъ, что я не наемный редакторъ, а кровный». Какъ у насъ вообще дѣлалось дѣло, можно видѣть изъ слѣдующихъ двухъ отрывковъ изъ писемъ Салтыкова (выбираю два, лишь въ видахъ краткости). Въ сентябрѣ 1881 г., посылая изъ Парижа третье *Письмо къ тетенькѣ*, онъ писалъ: «Думаю, что статья и неудовлетворительна, и не весьма цензурна. Поэтому предоставляю вамъ дѣлать съ нею, что хотите: исправлять, печатать, не печатать и т. д. Спорить и прекословить не стану, а буду, напротивъ, очень благодаренъ». А вотъ отрывокъ изъ письма, не датированнаго, но, если не ошибаюсь, 1880 г.: «Я утромъ ждалъ васъ, но не дождался. Впрочемъ, корректуры съ моими помѣтками у васъ... Будьте такъ добры, одѣлайте мнѣ эти уступки... Я зачеркнулъ, между прочимъ, и упоминаніе объ Анненковѣ. Если хотите, возстановите его, но онъ мой пріятель, и я какъ-то еще не возвысился до того, чтобы оставить отца и мать и прилѣпиться къ журналу».

На этомъ я кончаю выписки, характеризующія наши отношенія, хотя, признаюсь, очень соблазнительно остановиться на нихъ подольше. Они принадлежатъ къ числу лучшихъ воспоминаній всей моей жизни, и даже такой изъянъ, какъ отсутствіе личной дружбы, вносилъ въ нихъ своеобразную прелесть и чистоту.

Не смотря на вышеприведенную оговорку по поводу Анненкова, я не зналъ человѣка, о которомъ съ большимъ правомъ, чѣмъ о Салтыковѣ, можно сказать, что онъ оставилъ отца и мать и прилѣпился къ журналу. Въ этомъ отношеніи особенно характерны его заграничныя письма. О заграничныхъ впечатлѣніяхъ, встрѣчахъ, о своемъ времяпровожденіи — нѣсколько словъ. Напримѣръ: «Здѣсь (въ Парижѣ) ужасъ

какая скука». Иногда, впрочем, несколько больше: «Здѣсь (опять-таки въ Парижѣ) ужасные холода и льетъ дождь ежеминутно. Поэтому я сижу дома и пишу совершенно такъ, какъ бы находился въ 3-мъ Парголовѣ. Знакомыхъ совсѣмъ почти нѣтъ; сегодня прѣѣзжалъ С., да развѣ это резонъ веселиться? А, все-таки, пробуду указанное время въ Парижѣ, т. е. еще двѣ недѣли: хоть въ театры схожу. За сквернымъ временемъ не вижу главнаго—уличной жизни, и это большое лишеніе». И затѣмъ сообщенія о литературныхъ планахъ и о ходѣ работы, или же самыя детальныя заботы о составѣ книжки *Отечественныхъ Записокъ* и о сотрудникахъ. Вотъ, напримѣръ, одно изъ писемъ почти цѣлкомъ: «Предполагаю печатать Н. и З.... П. и М. еще при мнѣ доставили стихи... а, между тѣмъ, въ августовской книжкѣ стиховъ совсѣмъ нѣтъ. Есть еще стихи Я., спросите, пожалуйста, у П. Ежели М., З. и Я. (будетъ еще мое письмо, въ листъ) недостаточно, то можно въ середину записать В... Статью В. оставьте до меня, С. тоже лучше въ ноябрѣ помѣстятъ. Да что же У.?—неужели такъ ничего и не будетъ писать? По моему, это самый для насъ необходимый писатель, хотя послѣдняя его статья скучновата... Я попросилъ бы васъ спросить у Н., сколько ему нужно денегъ, и дать записку... Онъ, вѣроятно, нуждается. Что же касается до К., то до смерти его жалко... негодная вещь, я съ вами совершенно согласенъ, ибо читалъ. Говорятъ, что А. хорошо пишетъ. Я ничего не читалъ, но хвалить. Нельзя-ли его привлечь къ *Отч. Запискамъ*... По-моему, Х. талантливъ. И его не мѣшало бы привлечь... Не слыхали-ли, не написали-ли чего Островскій?»

Имѣйте въ виду, что это пишетъ человѣкъ больной, слабый, уѣхавшій гдѣ-то и отдыхать и въ дѣйствительности отдыхавшій только отъ чтенія рукописей и корректуръ, потому что надъ своими собственными вещами онъ не переставалъ работать. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ, очевидно, весь тутъ, въ нашей редакціи, въ этихъ двухъ комнатахъ, гдѣ бывало подчасъ такъ ужасно невесело и гдѣ, однако, всякая мелочь была ему дорога и близка. Но и отъ черной редакторской работы Салтыковъ не вполнѣ, все-таки, отдыхалъ за границей. 7 іюля 1881 г. онъ мнѣ писалъ: «Пожалуйста, помѣстите въ августовской книжкѣ N—скую статью... Послѣ будетъ ужъ поздно. Онъ ужасно обезкураженъ. Принесъ мнѣ статью беллетристическаго содержанія, довольно таки плохую, и, все-таки, надо будетъ помѣстить. На одномъ редактированіи придется мнѣ потратить дня три усидчиваго труда».

Источникомъ заграничныхъ волненій Салтыкова были, однако, преимущественно цензурныя условія. Вотъ выдержки изъ нѣсколькихъ тогдашнихъ писемъ.

7 іюля 1881 года: «Прочитали-ли вы мое письмо къ тетенькѣ? Я предположилъ написать штукъ 7 или 8... Но опасаясь, что уже на первомъ письмѣ, пожалуй, произойдетъ ошѣчка... Вѣроятно, въ минуту послѣднѣйшихъ изъясненій вамъ этого письма іюльскій № будетъ уже въ цензурѣ. Пожалуйста, сообщите за перипетіями этого пребыванія во чревѣ кита; буде что случится, обратитесь къ Краевскому».

15 августа: «Вы пишете отъ 11 числа и, къ сожалѣнію, ни однимъ словомъ не упоминаете, когда предполагаете отправить № въ цензуру. Мнѣ кажется, что мы много себя мученія прибавляемъ этою медленностью. Думаю, однакожъ, что хоть вчера то отправили въ виду двухъ праздничныхъ дней. Повѣрите-ли, такъ щемитъ сердце. Здѣсь все какіе-то безобразнѣйшіе слухи, которые принимаютъ тѣмъ болѣе уродливыя размѣры, что нельзя проверки никакой сдѣлать. Все думается, что ждетъ нѣчто необыкновенно непріятное».

10 сентября: «Я очень просилъ бы васъ, нельзя-ли отослать 9 № въ цензуру 12 числа? Тутъ два дня праздниковъ».

14 сентября: «Вѣроятно, въ эту минуту *Отечественныя Записки* уже приготовляются къ отъѣзду въ цензуру. Отъ души желаю, чтобы путешествіе было благополучное, хотя, признаться, не совсѣмъ-то спокойно на сердцѣ».

16 сентября: «Благодарю за письмо, хотя весьма огорченъ, что отсылка 9 № отложена до вчерашняго числа. Дѣло въ томъ, что я вызважу отсюда въ пятницу, а срокъ цензурный кончится въ субботу. По особенностямъ моего организма, а все время буду ѣхать съ стѣсненнымъ сердцемъ, тогда какъ если бы срокъ кончился сегодня, то Г. (конторщикъ) могъ бы телеграфировать мнѣ о результатѣ. Всякое мученіе нужно сокращать—вотъ мое правило».

Въ концѣ 1882 г. я долженъ былъ уѣхать изъ Петербурга, и хотя продолжалъ издаи принимать участіе въ редактированіи *Отечественныхъ Записокъ*, но понятно, что, при самомъ горячемъ желаніи, не могъ на много облегчать работу Салтыкова, а онъ все слабѣлъ физически и омрачался духомъ. Затѣмъ произошла еще убыль въ составѣ сотрудниковъ. Временами Салтыковъ бодрился, утѣшалъ и меня и отдавался юмору. Но въ общемъ письма его за это время наполнены жалобами на судьбу, особенно послѣ того, какъ *Отечественныя Записки* получили въ 1883 г. второе предостереженіе. Дѣйстви-

тельно, положеніе его было необыкновенно трудно, и немудрено, что ему приходило въ голову даже бросить журналъ. Замѣчательно, однако, что и тутъ у него находилось доброе, утѣшающее слово для другихъ.

20 января 1883 г. онъ писалъ: «Что касается до меня, то со мною дѣлается нѣчто странное. Кашель меньше, а слабость ужасная. Шатаетъ. Вообще, доживаю свой вѣкъ. Вчера былъ Боткинъ. Молоко приказалъ пить, а я терпѣть его не могу. И еще говорить: меньше курите, а я люблю курить. Какъ, умный человѣкъ, онъ, однакожъ, не прибавилъ: меньше волнуйтесь. Впрочемъ, я уже не волнуюсь, а просто до крайности все опостылѣло. Работать охоты нѣтъ. Боюсь, что къ февральской книжкѣ не поспѣю. Плохое мое дѣло».

30 іюня 1883 г.: «Мнѣ кажется, что вы слишкомъ неспокойно смотрите на ваше положеніе; это мѣшаетъ вамъ устроиться и работать. Что вы отсутствуете изъ Петербурга, съ этимъ журналъ еще можетъ кое-какъ устроиться; а вотъ что вы не работаете для журнала, это отзывается чувствительно. Впрочемъ, прошу васъ не принимать моихъ словъ за упрекъ, а просто за желаніе, чтобы журналъ былъ сколько-нибудь интереснѣе. Я былъ на дняхъ у Краевскаго и говорилъ съ нимъ о журналѣ: окончательное рѣшеніе отложили до возвращенія моего изъ-за границы. Но вѣроятно все, что я съ будущаго года откажусь отъ редакторства. Во-первыхъ, съ двумя предостереженіями журналъ издавать совсѣмъ немислимо, а, во-вторыхъ, я совсѣмъ измученъ и физически, и нравственно. Въ первомъ смыслѣ, я почти потерялъ зрѣніе, во второмъ—вижу себя до того одинокимъ, что страшно дѣлается. Помышляю о томъ, не переѣхать-ли въ Москву,—тамъ не будетъ-ли полуднѣе. Не имѣете-ли вы какую-нибудь комбинацію въ виду насчетъ *Отечественныхъ Записокъ*, которую могъ бы Краевскій принять?... Если всѣ три редактора будутъ отсутствовать, то журналъ несомнѣнно упадетъ, а быть редакторомъ падающаго журнала тоже не особенно лестно».

12 декабря 1883 г.: «Имѣю къ вамъ слѣдующую просьбу: не задерживайте выхода 1-й книжки. Я надѣюсь выпустить ее совсѣмъ невинною, и самъ затѣялъ разсказъ, въ которомъ идетъ рѣчь объ обстановкѣ дворянскаго дома и воспитаніи дворянскаго сына въ былые годы (*Пошехонская старина*). Боленъ я самымъ непріятнымъ образомъ... Это письмо пишу въ 7 часовъ утра, потому что разбудилъ страшный припадокъ кашля. Вотъ такъ работникъ! До свиданія, будьте здоровы. А мнѣ—мать».

Такимъ образомъ, первая мысль о *Поше-*

хонской старинѣ относится еще къ 1883 г. Но текущія дѣла, злобы дня въ ту пору еще слишкомъ занимали Салтыкова и въ 1884 г. онъ выступилъ со *Сказками* и фельетонами *Между дѣломъ (Недоконченныя бестыды)*. Сказки потерпѣли крушеніе. Сообщая мнѣ объ этомъ 14 февраля, Салтыковъ продолжаетъ: «Скажу вамъ откровенно, мнѣ становится невыносимо скучно. И старъ я, и боленъ, а тутъ еще въ цензурный комитетъ требуютъ и работу уничтожаютъ. Крѣпко подумываю я объ отставкѣ, хотя полуголодная старость вовсе для меня непривлекательна... На всякій случай, не хотите-ли вы такую комбинацію: дождавшись выхода мартовской или, пожалуй, апрѣльской книжки, предложить редакцію Карновичу? Вы бы могли оставаться въ томъ же положеніи, — объ этомъ можно бы съ Карновичемъ условиться, и прочіе сотрудники тоже. Я же продолжалъ бы участвовать въ журналѣ въ качествѣ сотрудника. Пишу вамъ все сіе откровенно и жду вашего откровеннаго отвѣта».

Я, разумѣется, никакимъ образомъ не могъ согласиться на эту комбинацію. Карновичъ былъ хорошій человѣкъ, но ни въ какихъ смыслахъ не соответствовалъ положенію редактора *Отечественныхъ Записокъ*. Все зданіе, долгими усиліями воздвигнутое, рухнуло бы,—такъ мнѣ представлялось, по крайней мѣрѣ,—самопроизвольно, и я предпочиталъ, чтобы оно лучше ужъ прямо шло на встрѣчу своей судьбѣ, хотя понималъ, что трудно Салтыкову, какъ онъ писалъ, «воевать на старости въ одиночку». И, кромѣ того, у меня были всетаки надежды. Салтыковъ, однако, и потомъ, послѣ прекращенія *Отечественныхъ Записокъ*, писалъ: «Мнѣ невольно припоминается приюткомъ, какъ было бы хорошо, еслибъ дѣло устроилось съ Карновичемъ!» Впрочемъ, тутъ онъ разумѣлъ только то, что, отказавшись отъ редакторства, онъ не былъ бы обремененъ непріятными хлопотами по ликвидаціи журнала. А съ Карновичемъ дѣло все равно не выгорѣло бы. Салтыковъ предполагалъ вручить ему бразды правленія послѣ мартовской или даже апрѣльской книжки, а апрѣльская уже не вышла.

Мнѣ хочется еще подчеркнуть здѣсь удивительную энергію творчества, не покидавшую Салтыкова даже въ это трудное время. 8 февраля онъ писалъ: «Ужасно обидно: задумалъ я сказку подъ названіемъ *Пестрые люди* (объ этомъ есть уже намекъ въ сказкѣ *Вяленая вобла*), какъ вдругъ вижу, что Успенскій объ томъ же предметѣ трактуетъ! Ну, да я свое возьму, не нынче, такъ завтра». 14 февраля: «Увы! мои сказки потеряны, и что еще больше досадно, я на мартъ передамъ въ типографію еще 4 сказ-

ви и думалъ, что отработался, а выходить, что только все труждался зяждущій и долженъ былъ сегодня же взять сказки эти обратно». Письмо безъ даты: «Меня лукавый поддѣлъ писать *Между отломъ*... Я пишу пошехонскій разсказъ, но такъ какъ я рассчитывалъ на новыя сказки, которыя были уже совсѣмъ готовы и сданы въ типографію, то понятно, что, взявъ ихъ назадъ, я не могу поспѣть скоро. Къ тому же, я до того боленъ, что даже въ редакціи не могъ сегодня быть».

Душевное состояніе Салтыкова послѣ прекращенія *Отечественныхъ Записокъ* было необыкновенно тягостно. Какъ ни туго ему приходилось передъ концомъ журвала; какъ ни ворчалъ онъ на бремя, становившееся, дѣйствительно, неудобноносимымъ; какъ ни хотѣлъ онъ его сбросить и уйти,—но, когда пришлось это сдѣлать поневолѣ, онъ загоревалъ еще пуще. Погибло дорогое, любимое дѣтище, въ которое онъ всю душу свою вложилъ. Поднимались сложные, трудные даже не для шестидесятилѣтняго больного чело-вѣка вопросы: что же теперь дѣлать? куда идти? Оборвалась руководящая нить жизни... Я все еще жилъ тогда въ Петербургѣ и потому писемъ, относящихся къ этому времени, было у меня довольно много. Къ огромному моему сожалѣнію, они далеко не всѣ сохранились. Недостаётъ даже перваго, извѣщающаго о событіи.

Натура чрезвычайно дѣятельная, Салтыковъ получилъ нѣкоторое отвлеченіе отъ своего горя въ формѣ разнообразной возни по ликвидаціи *Отечественныхъ Записокъ*. Правда, онъ опять-таки очень ворчалъ на эту возню, — да и мудро бы было продолжать ее съ кротостью,—но это все-таки былъ своего рода горячичникъ. Расчеты съ издателями, конторой, подписчиками, журналами, принявшими на себя удовлетвореніе подписчиковъ, множество отнюдь не всегда пріятныхъ свиданій и разговоровъ,—все это было, конечно, и скучно, и хлопотно, и подавало поводъ къ разнымъ раздраженіямъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не давало мысли исключительно сосредоточиваться на постигшей журналъ бѣдѣ. Расчеты были особенно сложны, какъ въ виду неожиданности событія, такъ и въ виду организаціи журвала: собственникомъ *Отечественныхъ Записокъ* былъ Краевскій, а мы были только арендаторами. Переписка наша по этому поводу не представляетъ для читателей никакого интереса, и я приведу только одну характерную для Салтыкова выдержку: «Вчера я имѣлъ съ Краевскимъ цѣлую стычку по поводу выдачи одновременно и безвозвратно нѣкоторой суммы денегъ, которая дала бы возможность осмотрѣться со-

трудникамъ нашимъ, потерявшимъ работу. Насилу уломалъ дать, до разчета съ подписчиками, 2,500 руб., ибо онъ требовалъ, чтобы ждать разчета. Деньги эти распределены такъ... Я знаю, что этого мало, но ничего поддѣлать не могу». Потомъ Салтыкову удалось нѣсколько увеличить эту сумму.

Но хлопоты по ликвидаціи *Отечественныхъ Записокъ* были все-таки только отвлеченіемъ и не могли заглушить горе совсѣмъ. Въ письмѣ отъ 11 мая 1884 г. Салтыковъ писалъ, между прочимъ: «Искренно благодаренъ вамъ, что откликнулись и вспомнили добромъ нашу совмѣстную службу на радость и пользу пошехонцамъ. Съ своей стороны отвѣчаю вамъ тѣмъ же. Думаю, что моя пѣсня уже спѣта и что ни дѣта мои, ни здоровье не позволяютъ въ этомъ отношеніи никакого сомнѣнія. Желаю мирной кончины живота моего, а что она будетъ непостыдна,—это уже отъ меня зависитъ... Желаю, чтобы жизнь когда-нибудь улыбулась вамъ».

Въ другомъ письмѣ (безъ числа, что мнимоходомъ сказать, случалось съ Салтыковымъ очень рѣдко: онъ былъ такъ же обстоятеленъ въ перепискѣ, какъ и въ работѣ): «Ничего не пишу и врядъ-ли буду. Слишкомъ великъ переполохъ и я слишкомъ старъ. Надо новую дорогу прокладывать, а это и трудно, да и противно... Я чело-вѣкъ оконченный. Меня и теперь уже на половину забыли. Задумалъ я одну вещь давно «на всякій случай» (вѣроятно, дѣло идетъ о *Пошехонской старинѣ*), но теперь вижу, какъ мнѣ трудно изъ колеи выйти. Извините небрежность письма. Хотѣлъ бы и больше, и складѣе поговорить, да лучше не ворошить. Боленъ я и... огорченъ!!!»

Въ письмѣ отъ 29 іюня: «Я очень радъ, что вы собираетесь работать, хотя, конечно, это для васъ будетъ трудно. Сузу по себѣ: съ тѣхъ поръ, какъ у меня душу запечатали, нѣтъ ни охоты, ни повода работать. Вся суть заключалась въ непрерывномъ общеніи съ читателемъ. Для русскаго литературнаго дѣятеля это, покамѣстъ, единственная подстрекающая сила. А—чѣ недужинный чело-вѣкъ, а ступшевался, будучи лишень этого общенія. А надеждъ на возстановленіе общенія очень мало. Такъ мало, что я и не думаю о немъ. Если найдется возможность, буду кое-что кропать, а не то такъ и ухну въ Лету безъ разговоровъ. Ужасно какъ нелестно быть свидѣтелемъ своей собственной смерти».

23 іюля: «Я положительно потерялъ всякую охоту къ писанію и вотъ уже три мѣсяца, какъ ничего не дѣлаю. Я боленъ, а больше всего привыкъ работать въ общемъ тонѣ и въ *своемъ мнѣнїи* (подчеркнуто въ подлинникѣ). Куда я теперь пойду—просто

ума не приложу. Провидѣніе послало мнѣ ужасную старость. Я на свѣтѣ любилъ только одну особу—читателя, и его теперь у меня отняли».

11 августа, все того же 1884 г., сообщая, что въ одной петербургской газетѣ меня не совсѣмъ, при данныхъ условіяхъ, деликатно назвали «критикомъ, сошедшимъ со сцены», и характеризуя эту не деликатность словами, не вполне удобными для печати, Салтыковъ прибавляетъ: «Можетъ быть, и обо мнѣ будутъ такъ же выражаться, и съ полнымъ основаніемъ, потому что чѣмъ больше я думаю о предстоящей литературной дѣятельности, тѣмъ болѣе сомнѣваюсь въ ея возможности. Собственно говоря, вѣдь, писать не объ чемъ. Легко сказать, пишите бытовыя вещи,—но трудно переломить свою природу. Прежде всего, это возьметъ пропасть времени, а мнѣ, между прочимъ, и деньги добывать нужно. И куда идти?—это тоже вопросъ... Я живу жизнью почти отчужденно и болѣе необыкновенно, чему отчасти, впрочемъ, и радъ, потому что это даетъ мнѣ надежду на скорую развязку... Меня дрожь пробираетъ въ виду предстоящаго безплодія моей жизни, и вся надежда на то, что скоро предстантъ провести черту. О читателѣ скажу вамъ, что хотя я страстно его люблю, но это не мѣшаетъ мнѣ понимать, что онъ великій подлецъ».

17 ноября: «Я рѣшился печататься въ *Вѣстникъ Европы* и въ *Русскія Вѣдомосты*—больше идти некуда. Но, конечно, и въ томъ, и въ другомъ мѣстѣ я буду не болѣе, какъ случайный сотрудникъ. Скучно мнѣ до зарѣзу, и совсѣмъ не пишется».

14 февраля 1885 г.: «Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ чувствовать себя иностранцемъ въ журналѣ, въ которомъ участвуешь. А я именно нахожусь въ этомъ положеніи»...

Здѣсь умѣстно будетъ привести отрывокъ изъ письма, свидѣтельствующій о томъ, какъ понималъ Салтыковъ журнальную дисциплину: «N. написалъ фельетонъ, но совершенно невозможный. Вырвалъ изъ (такого-то изданія) три строки «примѣчанія» и привязался. Я не помѣстилъ фельетона, во-первыхъ, потому, что не вижу надобности пока вступать въ полемику, съ (такимъ-то изданіемъ); во-вторыхъ, ежели я понадобится полемика, то не по поводу случайныхъ трехъ строкъ, да и не N. же увлекать насъ на сей новый путь, а въ-третьихъ, я полагаю, что подобные шаги должны быть рѣшаемы обдуманно и сообща, чтобы можно было и впоследствии поддержать полемику, а не отступать».

Вотъ и все, что я нашелъ возможнымъ извлечь изъ писемъ Салтыкова. Не то, чтобы въ нихъ не было больше ничего интереснаго. Напротивъ, тамъ есть много любо-

пытныхъ и оригинально выраженныхъ сужденій о людяхъ, событіяхъ, литературныхъ произведеніяхъ, но они не подлежатъ, по крайней мѣрѣ, теперь, оглашенію. Однако, и то не многое, что приведено выше, хорошо характеризуетъ Салтыкова въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Вы видите, что этотъ человѣкъ, комически неспособный совершить такой элементарный актъ внѣшней вѣжливости, какъ поздравленіе съ именинами, — человѣкъ, о которомъ составилось мнѣніе, какъ о суровомъ, грубомъ и надменномъ «литературномъ генералѣ», былъ, въ сущности, необыкновенно мягокъ и добродушенъ. Я не стану, конечно, утверждать, чтобы онъ былъ идеаломъ любезности. Но много-ли найдется такихъ редакторовъ, которые, пребывая ради своей пользы или удовольствія за границей, слѣдили бы оттуда и за такимъ-то, котораго «до смерти жалко», потому что онъ написалъ «негодную вещь», и за такимъ-то, который, «вѣроятно нуждается». А свидѣтельство такой внимательности къ чужимъ дѣламъ въ письмахъ много,—я только избѣгалъ повтореній. Въ томъ же ворохѣ разныхъ документовъ, изъ котораго я извлекъ письма Салтыкова, я нашелъ и кое-какія жалобы на него, и просьбы уладить тѣ или другія, иногда очень острыя недоразумѣнія, возникшія между кѣмъ-либо изъ сотрудниковъ и Салтыковымъ. Многое въ этихъ случаяхъ объясняется дѣйствительно его раздражительностью, особенно за послѣднее время, когда онъ почти постоянно хворалъ. Но многое прямо зависитъ отъ неумѣнія разобратъ въ этой оригинальной смѣси внѣшней, скажемъ, нелюбезности съ внутреннею мягкостью. Что до меня касается, я съ чувствомъ глубокой благодарности перечитывалъ тѣ его письма, въ которыхъ онъ пытается утѣшить, успокоить въ постигавшихъ меня бѣдахъ. Это выходило тѣмъ трогательнѣе, что ласковыхъ словъ въ его распоряженіи было отъ природы очень мало и что личной близости, какъ я уже говорилъ, между нами никогда не было.

Но съ особенною ясностью возникаетъ изъ приведенныхъ отрывковъ образъ настоящаго, кровнаго литератора, не диллетантски относящагося къ своему дѣлу, а отдававшего ему цѣлкомъ и безповоротно. Если читатель соблаговолитъ пересмотрѣть тѣ выписки изъ сочиненій Салтыкова, которыя сгруппированы въ первой главѣ моей статьи *Щедринъ*, и сопоставить ихъ съ вышеприведенными отрывками изъ писемъ, онъ увидитъ, до какой степени слово и дѣло сливались у покойнаго сатирика. Не для краснаго словца писалъ онъ въ *За рубежомъ*: «Легко сказать: позабуду, что въ Петербургѣ

существует цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и иди; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ, право, не легко». Ему дѣйствительно было не легко, и мы видѣли выше, какъ въ самомъ дѣлѣ трепетало за границей его сердце за судьбу каждой книжки *Отечественныхъ Записокъ*. Недаромъ въ письмахъ встрѣчаются почти буквально тѣ же выраженія, которыя вошли потомъ, наприимѣръ, въ *Прикличеніе съ Крамольниковымъ*: «Крамольниковъ былъ коренной пошехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ». Правда, въ письмѣ прибавлено: «но это не мѣшаетъ мнѣ понимать, что читатель великій подлецъ». Ну, да, вѣдь, въ частномъ письмѣ мало-ли что можно себѣ позволять, особенно послѣ того, какъ оказался вопиющимъ въ пустынь гласъ оратора на похоронахъ литературнаго труженика Пимена Коршунова: «читатель! русскій читатель! защити!»

Въ страстной любви къ литературѣ, которую болѣлъ, именно болѣлъ, Салтыковъ, были спеціальныя особенности. Онъ не былъ любителемъ словесности, который можетъ спокойно, медленно и въ одиночку «творить» въ общественной жизни и житейской борьбы или гдѣ-то надъ ними. Ему, какъ видно изъ писемъ (а сколько-нибудь проницательные люди могли бы увидѣть это и изъ сочиненій), нужно было, во-первыхъ, «непрерываемое общеніе съ читателемъ», безъ котораго онъ мучительно тосковалъ, а, во-вторыхъ, «работа въ общемъ тонѣ и въ своемъ мѣстѣ», безъ чего онъ, опять-таки, былъ самъ не свой. Лишенный читателя и «своего мѣста», онъ мрачно доживалъ свои дни съ «запечатанною душой», — выраженіе необыкновенно мѣткое

и вѣрное: душа жила и требовала себѣ работы и не находила ея въ удовлетворяющемъ размѣрѣ, потому что была запечатана. Распечатать ее могло бы только возрожденіе непрерывнаго общенія съ читателемъ и работы «въ общемъ тонѣ и своемъ мѣстѣ». Судьба не побаловала душу Салтыкова... Я не могу, къ сожалѣнію, привести другія, имѣющіяся въ письмахъ свидѣтельства отчаянной тоски по читателю и въ особенности по «общему тону и своему мѣсту». Но, полагаю, и приведеннаго достаточно, чтобы видѣть, до какой степени ошибочны нѣкоторые изъ повторяемыхъ въ печати взглядовъ на Салтыкова.

Выражаются, наприимѣръ, сожалѣнія, иногда лицемерныя, а иногда, можетъ быть, искренно недоумѣнныя, о томъ, что Салтыковъ не помѣстилъ свой высокій талантъ цѣликомъ у подножія алтаря «вѣчнаго» искусства, а разорвался, дескать, на клочки въ угоду разнымъ влобамъ дня. Выказывается увѣренность, что онъ сдѣлалъ это изъ какихъ-то стороннихъ побужденій, что онъ насилывалъ своедарованіе, соблазняясь доктринами, враждебными чистому художеству. Изъ приведеннаго видно, что, напротивъ, для всякой другой дѣятельности, кромѣ той, которую выбралъ Салтыковъ, онъ долженъ бы былъ «переломить свою природу», и что это ему было «трудно». Другіе утверждали, что Салтыковъ никогда никакими доктринами не соблазнялся, никогда таковыхъ не италъ, ни къ какой определенной партіи не принадлежалъ, а потому всѣ не прямо мракобѣсныя элементы нашей литературы были ему «свои». Отсюда сожалѣнія, что онъ иногда былъ «своихъ»... Стоны, настоящіе стоны Салтыкова о «работѣ въ общемъ тонѣ и въ своемъ мѣстѣ» достаточно ясно говорятъ сами за себя.

Герой безвременья *).

I.

1814 г. октября 2-го, «въ домѣ господина покойнаго генералъ-маіора и кавалера Федора Николаевича Тола, у живущаго капитана Юрія Петровича Лермонтова родился сынъ Михаилъ. Молитвовалъ протоіерей Николай Петровъ съ дьячкомъ Яковомъ Федоровымъ. Крещенъ того же октября 11-го

дня. Восприемникомъ былъ господинъ коллежскій ассессоръ Оома Васильевичъ Хотинцевъ, восприемницей была вдовствующая госпожа гвардіи поручица Елизавета Алексѣевна Арсеньева».

Такъ значится въ метрической книгѣ церкви Трехъ Святителей, что у Красныхъ воротъ, въ Москвѣ. Справка эта была опубликована лишь въ 1873 г. Розонымъ въ *Русской Старинѣ*. До тѣхъ же поръ и годъ, и число мѣсяца, и даже мѣсто рожденія Лер-

*) 1891 г.

монтова показывались въ разныхъ біографіяхъ различно. Да и послѣ приведенной справки разнорѣчивость показаній не совсемъ исчезла, такъ что еще въ 1891 году въ одной провинціальной газетѣ былъ поставленъ «открытый вопросъ нашимъ біографамъ» — «когда родился М. Ю. Лермонтовъ?» Это характерно для скудости, сбивчивости и малоизвѣстности біографическихъ свѣдѣній о Лермонтовѣ вообще. За послѣднее время, впрочемъ, въ нашихъ историческихъ, а частію и общихъ журналахъ, вмѣстѣ со многими неизданными стихотвореніями Лермонтова, появилось довольно много отрывочныхъ біографическихъ данныхъ. Уясняя ту или другую фактическую подробность изъ жизни поэта, данныя эти, однако, мало прибавляютъ къ общимъ и кореннымъ чертамъ его духовной фізіономіи, и въ этомъ отношеніи главный источникъ біографіи поэта составляетъ его собственная поэзія. Поэтъ въ высшей степени субъективный, лишь очень рѣдко, хотя и блистательно выступавшій въ роли созерцателя, Лермонтовъ на всѣ свои произведенія клалъ рѣзкую печать своей индивидуальности, вносилъ всюду самого себя, свою личность, не хотѣлъ или не могъ отъ нея отдѣлаться. Весь процессъ его духовнаго роста, всѣ даже мимолетныя его настроенія отражались въ его поэзіи. Еще Боденштедтъ замѣтилъ: «Важнѣйшее изображеніе личности Лермонтова все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ». Нельзя, однако, вполне согласиться съ тѣми мотивами, которыми нѣмецкій переводчикъ нашего поэта поддерживаетъ свою очень вѣрную мысль. Онъ думаетъ, что въ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ «выказывается исполнѣ такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться». Это и вѣрно и невѣрно. Нисколько не сомнѣваясь въ искренности лермонтовской поэзіи, признавая ея высокую біографическую цѣнность, надо все-таки съ большою осторожностью черпать изъ нея біографическій матеріалъ, именно потому, что въ ней отражались даже мимолетныя его настроенія.

Лермонтовъ сталъ поэтомъ очень рано, 13—14 лѣтъ. Но еще раньше онъ проявляетъ свои художественныя наклонности въ другихъ формахъ. А. П. Шангирей, вспоминая раннее дѣтство поэта, пишетъ: «Мишель былъ мастеръ дѣлать изъ талаго снѣга человѣческихъ фигуры въ колоссальномъ видѣ; вообще онъ былъ счастливо одаренъ способностями и искусствомъ; уже тогда рисовалъ акварелью довольно порядочно и лѣпилъ изъ крашеннаго воска цѣлыя картины; охоту за зайцемъ съ борзыми, которую разъ всего пришлось намъ видѣть, вылепилъ очень

удачно, также переходъ черезъ Граникъ и сраженіе при Арбеллахъ, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусомъ, и косами изъ фольги. Проявленіе же поэтическаго таланта въ немъ вовсе не было замѣтно въ то время; всѣ сочиненія по заказу Сарет (учителя) онъ писалъ прозой и нисколько не лучше своихъ товарищей» («Русское Обозрѣніе», 1890, № 8). Съ теченіемъ времени зачаточные таланты живописца и скульптора не то что исчезли, — рисовать Лермонтовъ продолжалъ (не чуждъ былъ онъ и музыки), — а, такъ сказать, обогатили собою талантъ поэта, придавъ его описаніямъ необыкновенную яркость и выпуклость. Восхищаясь пейзажами въ поэзіи Лермонтова, гр. Растопчина справедливо замѣчаетъ: «онъ, самъ хорошій пейзажистъ, дополняетъ поэта живописцемъ» («Русская Старина», 1882, № 9). Бѣлинскій говоритъ, между прочимъ, о «Трехъ пальмахъ»: «Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаются въ этой пьесѣ поэзію съ живописью; это картина Брюлова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее». Но прежде, чѣмъ изобразить предметъ, положеніе, сцену, надо этотъ предметъ или сцену вообразить. И къ необыкновенной изобразительной способности Лермонтова, въ которой такъ счастливо и чудно сплелись разнородные таланты, баловница-природа прибавила еще даръ могучаго воображенія и быстрой мысли.

Въ одномъ дѣтскомъ стихотвореніи (1828 г.) Лермонтовъ писалъ;

Таковъ поэтъ: чуть мысль блеснетъ,
Какъ онъ перомъ своимъ прохвѣтъ
Всю душу...

Лермонтовъ былъ именно таковъ. Онъ самъ подсмѣивался надъ своею «страстью повсюду оставлять слѣды своего существованія», — писалъ въ особыхъ тетрадяхъ, на клочкахъ бумаги, на стѣнахъ. Существуетъ, однако, мнѣніе, немногими, впрочемъ, кажется, раздѣляемое, что онъ писалъ трудно. «Лермонтовъ ищетъ, сочиняетъ, улаживаетъ; разумъ, вкусъ, искусство указываютъ ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стихъ; но первоначальная мысль постоянно не имѣетъ полноты, неопредѣленна и колеблется; даже и теперь въ полномъ собраніи его сочиненій попадаетъ тотъ же стихъ, та же строфа, та же идея, вставленная въ совершенно разныхъ пьесахъ» (гр. Растопчина). Послѣднее совершенно справедливо: Лермонтовъ безъ всякой церемоніи переноситъ строфы и цѣлыя ряды строфъ изъ одного своего произведенія въ другое и нерѣдко возвращался къ темамъ или даже прямо стихамъ, уже эксплуатиро-

ваннымъ раньше. Но въ большинствѣ случаевъ это отнюдь не результатъ колебанія или неопредѣленности первоначальной мысли, которыя можно замѣтить лишь въ очень немногихъ, большихъ произведеніяхъ, главнымъ образомъ въ «Демонѣ». Къ счастью, мы знаемъ, по рассказамъ современниковъ, какъ были написаны по крайней мѣрѣ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова. Знаемъ, на примѣръ, какъ создавалась «Вѣтка Палестины». Ожидая себѣ грозы за стихотвореніе на смерть Пушкина, Лермонтовъ зашелъ къ А. Н. Муравьеву поговорить по этому дѣлу и не засталъ его. Дожидаясь, онъ увидѣлъ привезенныя Муравьевымъ изъ Палестины пальмовыя вѣтви и тутъ же, на клочкѣ бумаги, написалъ стихотвореніе, помѣщаемое нынѣ во всѣхъ хрестоматіяхъ. Сидя по тому же дѣлу подъ арестомъ, Лермонтовъ велѣлъ приносимую ему провизію завертывать въ сѣрую бумагу и на этихъ клочкахъ, «съ помощью вина, печной сажки и спички», написалъ нѣсколько пьесъ, а именно: «Когда волнуется желтѣющая нива», «Я, матеръ Божія, нынѣ съ молитвою», «Кто бъ ни былъ ты, печальный мой сосѣдъ», и передалъ старую пьесу «Отворите мнѣ темницу», прибавивъ къ ней послѣднюю строфу «Но окно тюрьмы высоко». По свидѣтельству Хвостовой и другихъ, такъ же быстро и цѣльно выливались у Лермонтова стихи и въ ранней юности. Это гарантируетъ ихъ искренность. Поэтъ, долго обдумывающій и отдѣлывающій свои произведенія, можетъ быть, конечно, вполне искрененъ, но можетъ также настолько отдѣлаться отъ своего первоначальнаго впечатлѣнія или настроенія, что передача ихъ уже утратить свою свѣжесть, явится передъ нами съ поправками позднѣйшаго анализа. Поэтъ можетъ быть самъ не въ состояніи будетъ по совѣсти сказать, такъ-ли онъ воспринялъ известное явленіе, известный моментъ жизни, какъ они выразились въ его стихахъ. Но то у Лермонтова: каждое его стихотвореніе представляетъ собою, такъ сказать, фотографію его душевнаго состоянія въ данную минуту. Но бѣда въ томъ, что подобная моментальная фотографія можетъ захватывать и такія мимолетныя душевныя состоянія, которыя вовсе не характерны. Мало-ли что пробѣгаетъ въ головѣ человѣка, въ особенности человѣка молодого, неустановившагося, а вѣдь Лермонтовъ, начавъ писать стихи 13—14 лѣтъ, и всего-то 27-ми лѣтъ не прожилъ. За десятокъ съ небольшимъ годовъ его творческой дѣятельности, въ ней можно найти не мало противорѣчій, при томъ такихъ, которыя зависать не отъ того, что молодое растетъ, старое старится и съ теченіемъ времени и само себя отрицаетъ, не отъ опре-

дѣленнаго, правильнаго роста, а отъ чисто случайныхъ причинъ. Граціознѣйшая въ мірѣ женщина можетъ случайно принять очень неграціозную позу, и если моментальная фотографія фиксируетъ ее въ этой позѣ, то это не будетъ ложь, но не будетъ и правда въ смыслѣ общей характеристики. Если умнѣйшій человѣкъ будетъ записывать все, что промелькнетъ въ его мозгу въ теченіе хотя бы только одного дня, въ его записяхъ навѣрное окажется не мало глупостей, но это не помѣшаетъ ему быть умнымъ человекомъ. Если впечатлительный поэтъ фиксируетъ свои даже мимолетныя настроенія на бумагѣ, если онъ вдобавокъ, какъ Лермонтовъ, обладаетъ пылкою и яркою фантазіей, которая расцвѣчаетъ не только пережитое, а и воображаемое, то критика должна очень старательно отличать здѣсь временное и случайное отъ постоянного и характернаго. Не смотря однако на вытекающую отсюда трудности, мнѣ, по крайней мѣрѣ, представляется совершенно невозможнымъ даже внѣшнимъ образомъ отдѣлать фактическую біографію Лермонтова отъ его поэтического наслѣдія, — они слишкомъ переплетаются, поясняя и дополняя другъ друга.

Предокъ русской фамиліи Лермонтовыхъ, Юрій Лермонтъ, вышелъ изъ Шотландіи сначала въ Польшу, а потомъ, въ 1633 г., въ Московское государство, гдѣ и получилъ вотчины въ Галицкомъ уѣздѣ. Въ числѣ шотландскихъ предковъ Лермонтова не безъ интереса отмѣтитъ полу-легендарнаго поэта-пророка XIII вѣка Томаса Лермонта, которымъ очень интересовался Вальтеръ-Скоттъ. Преданіе приписываетъ этому Томасу Лермонту необыкновенныя, сверхъестественныя дарованія: въ юности онъ пробывъ семь лѣтъ въ царствѣ фей, гдѣ получилъ дары поэтическаго творчества и прорицанія и куда подъ конецъ жизни долженъ былъ опять вернуться при чрезвычайно поэтической обстановкѣ. На этотъ сюжетъ Вальтеръ-Скоттъ написалъ балладу. Мы имѣемъ свидѣтельства, что Лермонтовъ очень рано познакомился съ поэтическими произведеніями Вальтеръ-Скотта, но упомянутой баллады, равно какъ и положенной въ ее основаніе легенды, очевидно, не зналъ. Иначе величаво-таинственный образъ Томаса Лермонта, конечно, вдохновилъ бы его. Въ юности Лермонтовъ, повидимому, раздѣлялъ заблужденіе, существующее и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ вѣтвяхъ фамиліи Лермонтовыхъ, что они происходятъ отъ герцога Лермы, бѣжавшаго въ Шотландію. Подъ нѣкоторыми письмами онъ подписывался М. Legma и рисовалъ сначала на стѣнѣ углемъ, а потомъ на полотнѣ масляными красками поясной портретъ человѣка въ средне-вѣковомъ испанскомъ

костюмъ, съ цѣпью ордена Золотого Руна на шеѣ,—можетъ быть это былъ предполагаемый испанскій предокъ. Но это еще вопросъ, а что Лермонтовъ, по крайней мѣрѣ временами, интересовался въ юности именно своимъ шотландскимъ происхожденіемъ, тому есть доказательства въ его поэтическомъ наслѣдіи. Къ 1830 г. относится стихотвореніе «Гробъ Оссіана», къ 1831 г.—стихотвореніе «Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной». Здѣсь говорится о «горахъ Шотландіи моей», о желаніи «задѣть струну шотландской арфы», о замкѣ предковъ, о висящихъ на древней стѣнѣ «наслѣдственномъ щитѣ и заржавленномъ мечѣ» и проч. Второе изъ названныхъ стихотвореній кончается такъ:

Послѣдній потомокъ отважныхъ бойцовъ
Увядаетъ средь чуждыхъ снѣговъ;
Я здѣсь былъ рожденъ, но не здѣшній душой...
О, зачѣмъ я не воронъ степной!

На самомъ дѣлѣ очень сомнительно, чтобы въ Лермонтовѣ сохранилось хоть что-нибудь шотландское по крови, навѣрное ничего не было специально шотландскаго по духу, и русскіе снѣга, среди которыхъ онъ будто бы «увядалъ» въ шестнадцать лѣтъ, отнюдь не были ему чужды въ какомъ бы то ни было отношеніи. Упомянутыя стихотворенія интересны, однако, какъ свидѣтельство рано сказавшейся мечтательности и силы фантазіи, хватающейся за каждый намекъ, чтобы начать свою красивую работу. На подлинникѣ стихотворенія «Гробъ Оссіана» сдѣлана замѣтка: «узналъ отъ путешественника описаніе сей могилы». Случайнаго разсказа какого-то путешественника, въ связи съ какими-нибудь столь же случайными разговорами о шотландскихъ предкахъ, достаточно было, чтобы пылкая фантазія заработала на подсунутую ей слушаемъ тему, чтобы Шотландія стала отцизной, а Россія чужбиной. Но затѣмъ фантастическая шотландская отцизна уже ни разу болѣе не появляется въ стихахъ Лермонтова, да и въ томъ же 1831 г., къ которому относится стихотвореніе «Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной», Лермонтовъ пишетъ:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невѣдомый избранникъ,—
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.

Спрашивается, какое же біографическое значеніе могутъ имѣть двѣ вспышки шотландскаго патріотизма? Никакого, кромѣ свидѣтельства, что юный Лермонтовъ умѣлъ совершенно проникнуться положеніемъ воображаемаго «послѣдняго потомка отважныхъ бойцовъ» Шотландіи, передъ которымъ отчетливо рисуются замокъ предковъ, ихъ щиты и мечи. Необыкновенная отчетливость

всей этой созданной воображеніемъ картины такъ сильно дѣйствуетъ на поэта, что онъ въ ту минуту искренно видитъ въ себѣ «послѣдняго потомка»: онъ подавленъ своимъ собственнымъ могучимъ воображеніемъ. А между тѣмъ толчокъ всей этой работѣ данъ чистою случайностью. Въ ранней молодости, когда мысль еще не направлена жизнью въ какое-нибудь опредѣленное русло, подобныхъ случайныхъ толчковъ должно было, конечно, быть особенно много. Поэтому-то о раннихъ произведеніяхъ Лермонтова такъ часто и слышатся суровые приговоры не только относительно формы, но и относительно содержания. Заподозрѣвается именно ихъ искренность.

Приведемъ послѣсловіе къ одному изъ набросковъ «Демона», Дудышкинъ говоритъ: «Человѣкъ, который по *шестнадцатому году* (курсивъ Дудышкина) писалъ такіе стихи о себѣ, конечно, не могъ писать ихъ иначе, какъ вслѣдствіе подражательности. Чтобы видѣть въ мірѣ одну несправедливость, всякое отсутствіе гармоніи и потомъ перенести эту дисгармонію сначала на душу человѣка, а потомъ на все общество; сдѣлать изъ этой идеи—идеаль, наконецъ, этотъ идеаль облечь прелестью презрѣнія ко всему... согласитесь, что до этого сознанія Лермонтовъ не могъ достигнуть, будучи 14 лѣтъ, а все это уже видно въ первомъ очеркѣ «Демона» («Ученическія тетради Лермонтова», «Отечественныя Записки», 1859, № 7).

А. П. Шангирей, хорошо-знавшій поэта, пишетъ въ цитированной выше статьѣ: «Вообще большая часть произведеній Лермонтова съ 1829 по 1833 г. носятъ отпечатокъ скептицизма, мрачности и безнадёжности, но въ дѣйствительности чувства эти были далеки отъ него. Онъ былъ характера скорѣй веселаго, любилъ общество, особенно женское, въ которомъ почти выросъ и которому нравился живостью своего остроумія и склонностью къ эпиграммамъ; часто посѣщалъ театры, балы, маскарады; въ жизни не зналъ никакихъ лишеній, ни неудачъ: бабушка въ немъ души не чаяла и никогда ни въ чемъ ему не отказывала; родные и короткіе знакомые носили его, такъ сказать, на рукахъ; особенно чувствительныхъ утратъ онъ не терпѣлъ; откуда же такая мрачность, такая безнадёжность?» Шангирей думаетъ, что все это было дѣломъ лишь моды и подражанія Байрону.

Можно бы было привести и еще подобные же отзывы. Но для насъ особенно любопытны показанія Шангирея, товарища дѣтства Лермонтова и очевидца его развитія. Это вѣдь ужъ, кажется, свѣдущій человѣкъ. И однако этотъ свѣдущій человѣкъ рѣшается утверждать, что «особенно чув-

ствительныхъ утратъ Лермонтовъ не терпѣлъ», тогда какъ мы знаемъ, что онъ потерялъ мать по третьему году и отца, будучи уже юношей, способнымъ чувствовать и понимать, какъ не всякій взрослый. Мы знаемъ далѣе, что семейная обстановка, въ которой росъ Лермонтовъ, отнюдь не изъ однихъ розовыхъ лепестковъ и лебяжьего пуха состояла, хотя бабушка въ немъ дѣйствительно души не чаяла. Сначала между родителями поэта, а потомъ, послѣ смерти матери, между отцомъ и бабкой его происходила какая то затяжная и тяжелая драма. Въ чемъ она состояла, въ точности неизвѣстно, да пожалуй, не любопытно. Важно только, что она была и тяжело отзывалась на ребенкѣ, а эту тяжесть онъ въ свою очередь передавалъ бумагѣ перомъ. Въ юношеской лирикѣ Лермонтова бабушка не упоминается, но мать и отецъ являются не одинъ разъ, и всегда съ трагической стороны: «Въ младенческихъ лѣтахъ я мать потерялъ»; «Я сынъ страданья, мой отецъ не зналъ покоя по конецъ, въ слезахъ угасла мать моя»; «Ты далъ мнѣ жизнь, но счастья не далъ. Ты самъ на свѣтѣ былъ гонимъ, ты въ людяхъ только зло извѣдалъ»; «Ужасная судьба отца и сына—жить разное и въ разлукѣ умереть... Но ты свершилъ свой подвигъ, мой отецъ, постигнуть ты желанною кончиной! Дай Богъ, чтобы, какъ твой, спокоенъ былъ конецъ того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ причиной! Но ты простишь мнѣ... Я-ль виновенъ въ томъ, что люди угасить въ душѣ моей хотѣли огонь божественный, отъ самой колыбели горѣвшій въ ней, оправданный Творцомъ? Однажыжъ тщетны были ихъ желанья: мы не наши вражды одинъ въ другомъ, хоть оба стали жертвою страданья... Не мнѣ судить, виновенъ ты или нѣтъ, ты свѣтомъ осужденъ... А что такое свѣтъ?»

Въ юношескихъ драмахъ мать не фигурируетъ, но за то является на сцену бабушка, и вмѣстѣ съ тѣмъ выясняются подробности и мотивы по крайней мѣрѣ второй половины тяжелой семейной исторіи, очевидно глубоко волновавшей поэта. Первая половина этой исторіи—размолвка родителей—можетъ быть навсегда осталась не вполне ему ясной, какъ неясна она и для насъ. Можетъ быть онъ и впоследствии узналъ немногимъ больше того, что онъ потерялъ мать «въ младенческихъ лѣтахъ», и что она «въ слезахъ угасла». Слышалъ онъ, вѣроятно, на этотъ счетъ разное и ни на чемъ определенномъ не остановился. Распря между отцомъ и бабушкой была ему гораздо болѣе извѣстна, потому что онъ могъ уже самъ и наблюдать и оцѣнивать. Болѣе извѣстна она и намъ.

Мать Лермонтова умерла въ февралѣ

1817 г. Умерла она въ пензенскомъ имѣніи своей матери, Елизаветы Алексѣевны Арсеньевой, Тарханахъ, въ присутствіи своего мужа. Но вдовецъ пробылъ въ Тарханахъ, послѣ ея смерти, только девять дней и уѣхалъ въ другое имѣніе, оставивъ трехлѣтняго сына на попеченіи бабушки, которая была вмѣстѣ съ тѣмъ и крестною матерью его. Вскорѣ, однако, вдовецъ потребовалъ сына къ себѣ. Сохранилось письмо Сперанскаго отъ 5-го іюня того же 1817 г. къ брату Арсеньевой, Аркадію Столыпину: «Елизавету Алексѣевну ожидаетъ крестъ новаго рода: Лермонтовъ требуетъ къ себѣ сына и едва согласился оставить еще на два года. Станный и, говорятъ, худой человекъ; такъ по крайней мѣрѣ долженъ быть всякъ, кто Елизаветѣ Алексѣевнѣ, воплощенной кротости и терпѣнію, рѣшится дѣлать оскорбленіе» («Русскій Архивъ» 1870 г., стр. 1136). Объ отцѣ Лермонтова мы почти ничего достоверно не знаемъ, ни хорошаго, ни худого, а аттестаціи Сперанскаго можемъ и не вѣрить, такъ какъ она основана на «говорахъ» и вѣрїе всего на показаніяхъ бабки поэта, Е. А. Арсеньевой, въ данномъ случаѣ лицомъ заинтересованнымъ и едва-ли безпристрастнымъ. Какъ бы то ни было, Арсеньева безъ ума любила своего внука и не хотѣла отдавать его отцу, изъ-за чего между ними происходили ссоры и пререканія. Преданіе, сообщаемое г. Висковатовымъ, сохранило слѣдующую любопытную подробность этой распри. Когда Юрій Петровичъ (отецъ Лермонтова) прїѣзжалъ въ Тарханы навѣстить сына, то тотчасъ же посылались на почтовыхъ гонцы въ Саратовскую губернію за братомъ бабушки, Аванасіемъ Столыпинымъ, «звать его на помощь для зашиты, на случай отнятія» («Русская Мысль» 1881 г., № 12). Черта эта, любопытная и сама по себѣ, становится еще интереснѣе въ виду того, что она цѣлкомъ воспроизводится въ юношеской драмѣ Лермонтова «Menschen und Leidenschaften».

Василій Михалычъ. Когда должно твоему отцу прїѣхать, здѣшнія подлые сосѣдки... получили посредствомъ ханжества довѣренность Марѣ Ивановнѣ; сказали ей, что онъ прїѣхалъ отнять тебя у нея... и она повѣрила... Доходятъ же люди до такого сумасшествія!

Юрій. Отецъ... хотѣлъ отнять сына... отнять... развѣ онъ не имѣлъ полного права надо мной, развѣ я не его собственность?.. Но нѣтъ, я вамъ снова говорю, вы смѣетесь надо мною...

Василій Михалычъ. Доказательство въ истинѣ моего разсказа есть то, что бабушка твоя тотчасъ послала курьера къ Павлу Ивановичу, и онъ на другой день прискакалъ.

Уже одно это частное совпадение ясно говорит об автобиографическом значении драмы «Menschen und Leidenschaften». Главный же узел этой драмы выражен в словах, с которыми ея юный герой, Юрий Волинъ, обращается къ своему другу Заруцкому: «Ты знаешь, что у моей бабки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцомъ моимъ, и это все на меня упадетъ». Это живое реальное ядро драмы обставлено разными искусственными подробностями напыщенно романтического характера, и вообще вся драма представляет собою нечто совершенно дѣтское. Но собственно положение молодого человѣка между двухъ огней, между бабушкой и отцомъ, намѣчено хорошо и правдиво. Вообще всѣ четыре извѣстныхъ намъ юношескія драмы Лермонтова построены на мотивахъ семейныхъ раздоровъ, хотя и не вездѣ тѣхъ, какіе онъ могъ видѣть около себя. Затѣмъ въ той же драмѣ «Menschen und Leidenschaften» очень неискусно выполнена, но живо и правдиво задумана самая фигура бабушки. Эту смѣсь ханжества, помѣщичьей жестокости и искренней любви къ внуку 15—16-лѣтній мальчикъ не могъ выдумать, какъ бы ни была могуча его фантазія, потому что въ этой фигурѣ нѣтъ ничего фантастическаго; не могъ и изъ книгъ вычитать, потому что такихъ книгъ не было. Списалъ-ли онъ эту бабушку съ своей собственной бабуки, неизвѣстно, потому что съ этой стороны мы не имѣемъ объ его бабкѣ свѣдѣній. Роль Мары Ивановны въ семейной драмѣ и нѣкоторыя внѣшнія черты сходства (Марья Ивановна ходитъ, опираясь на палку, — бабка поэта, по рассказамъ, тоже опиралась на палку) заставляютъ думать, что это такъ. Но она-ли или кто другой послужилъ оригиналомъ для Мары Ивановны, а изъ драмы видно, что юнаго поэта корбило отъ пощечинъ и плетей, раздаваемыхъ крѣпостной дворнѣ. Тотъ же мотивъ находить себѣ, хотя опять-таки неискusstное, но сильное выраженіе въ драмѣ «Странный человѣкъ», — въ жалобахъ крестьянъ на звѣрскую жестокость помѣщицы.

Такимъ образомъ дѣтство Лермонтова прошло среди впечатлѣній, несомнѣнно тяжелыхъ. Конечно, съ иного они могли бы сойти, какъ съ гуся вода, но въ душѣ юнаго поэта они оставили явственно болѣзненные слѣды. Отсюда мрачный характеръ даже его юношеской поэзіи. Отъ Галахова до г. Спасовича цѣлый рядъ писателей старался опредѣлить вліяніе на Лермонтова другихъ поэтовъ, главнымъ образомъ, Байрона. Другой рядъ критиковъ, отъ Боденштедта до г. Острогорскаго, не отрицая слишкомъ очевиднаго вліянія Байрона, находилъ, однако, что тонъ поэзіи Лермонтова вполне объяснимъ и безъ

этого вліянія. «Въ Лермонтовѣ демоническій элементъ поэзіи объясняется естественнѣе, нежели въ Байронѣ», — говоритъ Боденштедтъ. И я думаю, что онъ правъ. Въ поэзіи Лермонтова, въ особенности, конечно, ранней, юношеской, можно найти много напускного, навѣяннаго со стороны какою-нибудь случайностью. Образчикомъ можетъ служить хоть бы тотъ же внезапный шотландскій патріотизмъ, который какъ скоро пришелъ, такъ скоро и ушелъ. Но изъ этого слѣдуетъ только, что, устанавливая связь между личною жизнью Лермонтова и его произведеніями, надо прежде всего опредѣлить наиболѣе постоянные и наиболѣе часто звучащіе аккорды его поэзіи.

II.

Не надо быть послѣдователемъ Карлейля съ его культомъ «героевъ», чтобы признать фактъ существованія людей, по самой природѣ своей призванныхъ вести другихъ за собой, стоять впереди другихъ. Это однако отнюдь не непремѣнно благодѣтели человечества (какъ думалъ Карлейль), или своей родины, или просто окружающихъ людей. Они могутъ быть и таковыми, но точно также могутъ представлять собою исходные пункты огромныхъ золъ, потому что могутъ вести за собою толпу на злое дѣло и быть, по старинному образному выраженію, настоящими «бичами божіими». Ставъ на эту точку зрѣнія, мы должны допустить въ прирожденныхъ властныхъ людяхъ или герояхъ возможность значительныхъ умственныхъ и нравственныхъ измѣновъ: зло, ими распространяемое, очевидно, составляетъ результатъ либо ошибочнаго пониманія, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственного недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственнаго. И, дѣйствительно, исторія свидѣлствуетъ, что во главѣ того или иного движенія, энергически воздѣйствуя на своихъ современниковъ, соотечественниковъ, соплеменниковъ, сотрудниковъ, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокіе, мелочно самолюбивые, развратные. Обращаясь къ самому понятію героя, какъ вожака, какъ перваго въ своемъ родѣ человѣка, которому безотчетно повинуются или за которымъ безотчетно слѣдуютъ другіе, мы увидимъ, что добродѣтели могутъ его и не украшать, онъ не составляетъ необходимой его принадлежности. Быть можетъ единственное нравственное качество, безусловно необходимое «герою», есть смѣлость. Но и то, это такое качество, которому не легко точно указать мѣсто въ ряду добродѣтелей.

поступать так. Если бы писал он. Мистик считал бы дитящее одарение, исключение из совершенно дитящей формы величия, производящее даже недретное впечатление чего-то старобразного. Становится даже как будто жалко автора, потому что будучи так явно ребенком, выстилает так так много перед собой и зарекомендовало.

Между прочим поэтичностью автор замечает: «Теперь жизнь молодых людей была иная, чем дитящее поколение, а наблюдателей чертатура иная». Это скорбное замечание на всю жизнь осталось руководящим для Лермонтова. Ничь определяющая существенная часть содержания его поэмы, драмы и повестей, характер его лирика и, наконец, бурная волна его собственной жизни. В развитии этой темы он достигал и непревзойденных вершин художественной красоты и, я решаюсь сказать, предчувствия научной точности в постановке соотносящихся вопросов.

Неудивительно, что юное воображение плывет каким-нибудь Измаил-Беем, красавцем в живописном костюме, скачущим на борзот коней среди грандиозной кавказской природы или врубавшимся в ряды неприятелей, привлекающих все женские взоры, мстившим по рыцарски — лицом к лицу и при дневном свете. Здесь все красиво, изящно, благородно. Но Вадим, — что в нем патетического? Он — горбатый, уродливый, грязный нищий, он зол и жесток, он, терпеливо выжидая часа мести, холопствует, терпит побои, ругательства. Къ чему и чѣмъ можетъ въ немъ прилипнуть юная душа, полная образовъ и картинъ художественной красоты? А между тѣмъ Лермонтовъ, тщательно отбѣгая каждую черту физическаго безобразія Вадима и каждое его злое побужденіе, явно находитъ въ себѣ симпатичныя этому злому уроду струны и, не обинуясь, называетъ его «великой душой». Полная зрѣлость мысли и безповоротная убѣжденность сказались въ той смѣлости, съ которою юный Лермонтовъ вселилъ «великую душу» въ такое, повидимому, во всѣхъ отношеніяхъ непріятное существо, какъ Вадимъ. Для этого надо твердо знать, въ чемъ состоятъ величіе души, и твердо вѣрить въ свое знаніе. Мы на каждомъ шагѣ видимъ, что литераторы, набившіе себѣ руку въ писаніи романовъ и повѣстей, литераторы чрезвычайно искусные, которые справедливо постыдились бы подписаться подъ такой дѣтской вещью, какъ «Горбунъ», поровнять подкупить читателей, да и себя, въ пользу своихъ героевъ ихъ физической красотой и обиліемъ добродѣтелей. Шестнадцатилѣтнему Лермонтову не нужно было этихъ

подкуповъ и вычуженныхъ подкуповъ. Онъ своимъ Вадимомъ точно нарочно хотѣлъ показать, что нѣтъ абстрактнаго, отвѣтъ «величіе души» съ нѣтъ постороннихъ прикрасъ и предать его съ такою ясностью и силой, что его не заслонитъ ни горбъ, ни зорька. Въ чѣмъ же polegaетъ величіе Лермонтова «величіе души»? Въ одну особенность, трудную задачу. Когда Вадимъ убилъ во снѣгѣ не того, кого хотѣлъ убить, охотъ, казалось, сказать, что теперь бороться уже не съ людьми, но съ противніемъ, и смутно предчувствовать, что если даже останется побѣдителемъ, то слишкомъ дорого купить побѣду: но непоколебимая жеманная воля составляла все существо его, она не знала ни претрады, ни оставовки, стремилась къ своей цѣли.

Таковъ человѣкъ «великой души», онъ же и «герой» въ смыслѣ приращеннаго властнаго человѣка, какинъ и является въ повѣсти Вадимъ. Мы увидимъ тѣ ограниченія, которыя Лермонтовъ самъ ставилъ такому безпощадно абстрактному пониманію «героя». А теперь замѣтимъ любопытную скептическую черту въ изображеніи благороднаго красавца Измаил-Бея. Онъ, какъ мы вѣдѣли, «повелитель, герой по взорамъ и рѣчь». Но одно время, при самомъ появленіи въ поэмѣ этого горца, воспитаннаго въ Россіи, авторъ въ немъ сомнѣвается: «Горе, горе, если онъ, храня людей суровыхъ мнѣній, развратомъ, ядомъ просвѣщенія въ Европѣ душевно зараженъ! Старикъ для чувствъ и наслажденія, безъ сѣдны между волюсь, зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо, такъ неспокойно, такъ игриво, онъ сердце мертвое принесъ»? Скоро оказывается, однако, что первое же дуновение родины смело налетѣть «разврата, яда просвѣщенія». Ничаго и жестокаго уроду Вадима «ядъ просвѣщенія» не коснулся, и юный авторъ въ немъ не сомнѣвается... Арбенинъ (въ «Маскарадѣ») «изнемогъ подъ гнетомъ просвѣщенія» и самъ надъ собой съ горечью иронизируетъ: «Такъ! въ образованномъ родился я народъ: языкъ и золото — вотъ нашъ кинжалъ и ядъ!» Печоринъ излагаетъ нѣчто въ этомъ же родѣ. И по Лермонтовской лирикѣ тамъ и сямъ перебѣгаютъ блестящія искры отрицательнаго отношенія къ «глубокимъ познаніямъ», къ «бремени познанія», къ «наукѣ безплодной».

Критика много умствовала по поводу этого страннаго на первый взглядъ протеста противъ «просвѣщенія», толкуя его вкривъ и вкось. Между тѣмъ здѣсь не представляется никакой надобности умствовать, надо только умѣть читать. Знаменитая «Дума» есть одно изъ самыхъ ясныхъ стихотвореній Лермонтова, не допускающихъ двойкаго толкованія.

Поэт печально глядит «на наше поколѣние»: «подъ бременемъ познанья и сомнѣнья, съ *бездѣйствіемъ* состарится оно. Къ добру и злу постыдно равнодушны, въ началѣ поприща мы вянемъ *безъ борьбы*; передъ опасностью поворотно-малодушны и передъ властію презрѣнные рабы... Мы иссушили умъ наукою *безплодной*, тая завистливо отъ ближнихъ и друзей надежды лучшія и голось благородный невѣріемъ осмѣянныхъ страстей». Еще недавно одинъ критикъ хотѣлъ видѣть въ «Думѣ» выраженіе вѣковѣчнаго, въ самой природѣ человѣка заложеннаго, безысходнаго разлада между разумомъ и чувствомъ, которые, дескать, никогда и не могутъ примириться: вѣчно разумъ будетъ разбѣдять чувство холодомъ своего анализа, вѣчно чувство будетъ протестовать противъ этого холоднаго прикосновенія. Лермонтовъ однако ясно указывалъ исходъ: онъ видѣлъ его не въ разумѣ и не въ чувствѣ, а въ третьемъ элементѣ человѣческаго духа,—въ волѣ, которая, комбинируя и разумъ, и чувство, повелительно требуетъ «дѣйствія», «борьбы». Если бы однако «Дума» оказалась въ этомъ отношеніи недостаточно убѣдительною и ясною, то за подтвержденіемъ и развитіемъ указанной мысли дѣло не станетъ въ другихъ произведеніяхъ Лермонтова. Безспорно, Лермонтову были знакомы муки противорѣчія между горячностью чувства и холодомъ разума. Жизнь манила его къ себѣ всею гаммою своихъ звуковъ, всѣмъ спектромъ своихъ цвѣтовъ, а рано отточившійся ножъ анализа подрѣзывалъ цѣну всякаго наслажденія. Отсюда безпредметная тоска, проницающая нѣкоторыя изъ его стихотвореній, тоска, характеръ которой иногда ему самому не ясенъ: «подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури, надъ нимъ лучъ солнца золотой, а онъ, мятежный, проситъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой!» Иногда «смиряется души его тревога» подъ влияніемъ разныхъ мимоетныхъ впечатлѣній, но отлетаютъ эти впечатлѣнія, и опять тоска. Однако, среди всѣхъ этихъ колебаній, всѣхъ ихъ переживая, держится тоже рано созрѣвшее рѣшеніе задачи жизни. Теоретически и въ одинокой душѣ самого поэта рѣшеніе готово: противорѣчіе разума и чувства и всѣ муки этого противорѣчія зависятъ отъ «бездѣйствія», отъ отсутствія «борьбы». Найдите точку приложенія для дѣятельности, и элементы мятущагося духа перестанутъ враждовать между собой. Но вопросъ въ томъ, возможно-ли найти эту желанную и спасительную точку на практикѣ? Возможно-ли найти ее, если не для всѣхъ людей сразу, то для тѣхъ прирожденно властныхъ, для тѣхъ «героевъ», которые потомъ увлекутъ за собой и остальныхъ?

Критика уже давно замѣтила, что Лермонтова тянуло на Кавказъ не только потому, что тамъ есть увѣнчанный снѣговыми вершинами Эльбрусъ, «глубокая тѣнина Дарьяла», стройные, вѣчно зеленые кипарисы и развѣсистыя чинары, красавцы черкесы на борзыхъ коняхъ, вообще благодарнѣйшій въ живописномъ отношеніи матеріалъ для поэтическихъ картинъ. Эта сторона Кавказа еще въ дѣтствѣ прозвела неизгладимое впечатлѣніе на Лермонтова и много способствовала тому, что непроницательные люди имѣютъ извѣстное право называть его «пѣвцомъ Кавказа». Но что-то отвлекало его отъ окружавшей его жизни не только на Кавказѣ, а и въ болѣе или менѣе отдаленную глубь русской исторіи—«Бояринъ Орша», «Литвинка», «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, удалаго опричника и купца Калашникова», «Горбачъ Вадимъ». Сверхъ того, Лермонтовъ говорилъ Бѣлинскому о задуманной имъ романтической трилогіи, трехъ связанныхъ между собою романахъ изъ эпохъ Екатерины II, Александра I и настоящаго времени. Уже самъ по себѣ этотъ проектъ намекаетъ на то, что не художественный капризъ увлекалъ мысль и воображеніе Лермонтова къ болѣе или менѣе отдаленнымъ временамъ, что онъ тамъ чего-то искалъ для сравненія съ современностью. Для сравненія и въ укоръ, какъ видно изъ содержанія всѣхъ его экскурсій въ русскую исторію и на Кавказъ. «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей чересчуръ много». Это теперь, но не всегда такъ было. Въ старые годы существовали люди, для которыхъ мысль и чувство не глядѣли врознь, а сливались въ дѣло. Ихъ-то и ищеть, на нихъ-то и останавливается Лермонтовъ съ очевидною любовью. Ихъ же ищеть, на нихъ же любитъ онъ и на нетронutomъ цивилизаціей Кавказѣ. Злодѣйскіе поступки, совершаемые всѣми этими Оршами, Вадимами, Хаджи-Абреками, Измайлъ-Беями, если и пугаютъ Лермонтова своимъ кровавымъ блескомъ, то немедленно же находятъ себѣ въ его глазахъ и оправданіе и поэтическую красоту въ той цѣльности настроенія, въ той безповоротной рѣшимости, съ которою они совершаются. А отсутствіе этихъ чертъ въ окружавшей его жизни въ такой же мѣрѣ оскорбляетъ его.

Въ «Фаталистѣ» Печоринъ смѣется надъ старинными людьми, вѣрившими, что свѣтила небесныя принимаютъ участіе «въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочокъ земли или за какія-нибудь вымышленныя права». Съ нашей теперешней точки зрѣнія смѣшны эти вѣрованія старинныхъ людей. Но, говорить Печоринъ, за то «какую силу воли

придавала имъ увѣренность, что цѣлое небо со своими безчисленными жителями на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нѣмымъ, но неизмѣннымъ. А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденія и гордости, безъ наслажденія и страха... неспособны къ великимъ жертвамъ ни для блага человечества, ни даже для собственнаго нашего счастья... не имѣя ни надежды, ни даже того неопредѣленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встрѣчаетъ душа во всякой борьбѣ съ людьми или съ судьбой».

Если старинныя вѣрованія, развѣянные «ядомъ просвѣщенія», были такъ спасительны, то не попытаться-ли вернуть ихъ или хотя не притвориться-ли вѣрящими, что небесныя свѣтила принимаютъ участіе въ нашихъ дѣлахъ и дѣлшкахъ? Такъ и думаютъ трусы, лицемеры и ханжи. Если ядъ просвѣщенія отравляетъ нашу дѣятельную силу, то не заняться-ли намъ бездѣлчаньемъ въ красивой позѣ безысходнаго разочарованія и въ эффектной костюмѣ «нарядной печали»? Такъ и думаютъ кокетничавшіе гамлетики и гамлетизированные поросята. Но Лермонтовъ слишкомъ искренно и больно переживалъ волновавшіе его вопросы, чтобы закрывать глаза на ихъ колючія стороны, и слишкомъ жаждалъ дѣятельности, чтобы ограничиться нарядной печалью. Бывали и у него минуты слабости, оставившія свой слѣдъ въ его лирихъ. Но это именно только минуты слабости, за которыя совершенно напрасно хватаются ханжи, лицемеры и трусы, съ одной стороны, кокетничавшіе красивой позой — съ другой. Всею своею жизнью и дѣятельностью Лермонтовъ самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ ставитъ дилемму: или звонъ во всѣ колокола, жизнь всѣмъ существомъ человѣка, жизнь мысли и чувства, претворяющихся въ дѣло, или — «пустая и глупая шутка», въ которой даже красиваго ничего нѣтъ. Выбирайте любое. Такая рѣшительная постановка вопроса вытекала изъ самыхъ нѣдръ цѣльной и недѣлимой души Лермонтова. И онъ не переставалъ искать точки опоры для «дѣйствія», для «борьбы съ людьми или судьбой», ибо въ ней видѣлъ высшій смыслъ жизни. Но прежде, чѣмъ перейти къ самому поэту, отмѣтимъ еще одну черту его созданія.

Приглядываясь къ героямъ лермонтовскихъ поэмъ изъ старой русской жизни и изъ жизни кавказскихъ горцевъ, мы увидимъ, что если не во всѣхъ нихъ, то въ большинствѣ рѣзко выбируется одна и та же струна. То дѣло, которому они себя почти всѣ посвящаютъ, которому отдаютъ цѣлкомъ и свою мысль, и свое чувство, и всю жизнь свою, есть дѣло мести. Бояринъ Орша,

Арсеній, Вадимъ, Хаджи-Абрекъ, Измаиль-Бей, купецъ Калашниковъ, — все это мстители. Хаджи-Абрекъ поетъ настоящій гимнъ блаженству мести: «Блаженство то вѣрнѣй любви... за единый мщенья часъ, клянусь, я не взялъ бы всею жизнью». Орша скорбитъ въ предсмертную минуту: «Но знай, что жизни мнѣ не жаль, а жаль лишь то, что часъ мой билъ, покуда я не отомстилъ». Арсеній хочетъ «передъ врагомъ предстать съ безчувственнымъ челомъ, съ холодной важностью лица и мстить хоть этимъ до конца». И т. д., и т. д. Напомню еще только позорный конецъ, постигшій Гаруна («Бѣглецъ») за то, что онъ «не отомстилъ». Напомню, что «Маскарадъ» весь построенъ на мести. Тотъ же мотивъ звучитъ и въ лирихъ. Лермонтовъ съ особенной энергіей подчеркиваетъ, что Пушкинъ умеръ «съ жаждой мести», «съ глубокой жаждой мщенья». Великолѣпное стихотвореніе «Поэтъ» кончается словами: «Проснешься — ты опять, осмѣянный пророкъ, или никогда на голосъ мщенья изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ, покрытый ржавчиной презрѣнья?» Этотъ особенный интересъ Лермонтова къ дѣлу мести поддерживался въ немъ и извѣстными чисто теоретическими соображеніями, какъ видно изъ слѣдующихъ, въ высшей степени замѣчательныхъ словъ Печорина: «Первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идея — созданіе органическаго, сказать кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого гений, прикованный къ чиновничьему столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара».

Много смутнаго въ этихъ словахъ, но много и глубокаго. Я обращаю пока вниманіе читателя все на ту же цѣпкость, съ которою Лермонтовъ хватался за связь между мыслью, «идеей», и дѣломъ, «дѣйствіемъ», и затѣмъ на ту специальную окраску, которую онъ въ приведенныхъ словахъ даетъ «дѣйствію», — окраску страданія за страданіе, окраску мести. Откуда эта злобная нота и неужели на свѣтѣ нѣтъ иного, боже блгороднаго дѣла, чѣмъ мечь?

III.

Съ очень ранняго возраста Лермонтова манила роль перваго въ своемъ родѣ чело-

«Има», та власть, которая, не опираясь ни на какое «положительное право», тѣмъ не менѣе даетъ себя знать самымъ осязательнымъ образомъ. Эти-то мечты онъ и объективировалъ въ герояхъ своихъ повѣстей, поэмъ, драмъ. Во всѣхъ герояхъ повторяется, лишь слегка варьируясь, самъ Лермонтовъ, какимъ онъ себя чувствовалъ или какимъ хотѣлъ бы быть.

Интересно, между прочимъ, замѣтить, что Лермонтовъ получилъ въ юнкерской школѣ прозвище «Маешка» и, очевидно, охотно носилъ эту кличку, потому что самъ себя такъ называлъ въ нѣкоторыхъ юнкерскихъ стихотвореніяхъ. Прозвище «Маешка» происходило отъ Маеуих, имени горбатаго героя какого-то французскаго романа, и Лермонтовъ получилъ его за свою сутуловатость и вообще нестройность стана. Быть можетъ, этотъ физическій недостатокъ, не слишкомъ сильный, чтобы упоминаніе о немъ было оскорбительно для самолюбиваго юноши, но все-таки выдѣлявшій его, обращалъ на себя вниманіе и прежде, до поступленія въ юнкерскую школу. Быть можетъ, онъ послужилъ однимъ изъ толчковъ для созданія *юрбача* Вадима. И если Вадимъ, при всемъ «величій души» своей, есть кровожадный злодѣй, такъ вѣдь около того же времени, когда создавалась эта неконченная повѣсть, юный поэтъ писалъ уже прямо о себѣ въ одномъ изъ очерковъ «Демона»: «Какъ демонъ мой, я зла избранникъ». И въ другомъ стихотвореніи: «Настанетъ день — и міромъ осужденный, чужой въ родномъ краю, на мѣстѣ казни, гордый, хоть презрѣнный, я кончу жизнь мою, виновный предъ людьми, не предъ тобою, я твердо жду тотъ часъ». И еще въ одномъ стихотвореніи: «Когда къ тебѣ молвы рассказъ мое названье принесетъ и моего рожденія часъ передъ полміромъ проклянетъ, когда мнѣ пищей станетъ кровь и буду жить среди людей, ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничьей» и т. д. Такимъ образомъ, сочиняя своего свирѣпаго горбуна, Лермонтовъ и самъ мысленно готовъ былъ совершать какія-то ужасныя преступленія, упиваться кровью, заслужить проклятія полміра. Весьма возможно, что въ стихотвореніи «Предсказаніе», навѣянномъ ужасами чумы, съ одной стороны, и дуновеніемъ іюльской революціи, съ другой, Лермонтовъ именно о себѣ говорилъ: «Въ тотъ день явится мощный челоуѣкъ, и ты его узнаешь; и поймешь, зачѣмъ въ рукъ его булатный ножъ. И горе для тебя: твой плачь, твой стоишь ему тогда покажется смѣшномъ, и будетъ все ужасно, мрачно въ немъ». Но въ то же время Лермонтовъ «и Байрона достигнуть бы хотѣлъ». Этому вполне соответствуетъ

характеристика «дѣтей рока» въ «Измаиль-Бейѣ»: они «хотятъ ихъ («рабовъ») превзойти *въ добръ и злѣ*, и власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ».

Конечно, много даже комически-ребяческаго въ этихъ мечтахъ о роли хотя бы и злодѣя, но великаго, перваго, властнаго, и Печоринъ правъ, когда говоритъ: «Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ покончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками». Но Лермонтовъ былъ не изъ того матеріала, изъ котораго дѣлаются вѣчные титулярные совѣтники. Онъ не въ мечтахъ только, а и въ дѣйствительности оказался способнымъ «превзойти рабовъ въ добръ и злѣ» и носить «власти знакъ на гордомъ челѣ», хотя и не въ тѣхъ грандіозныхъ размѣрахъ, какіе рисовались его юношескому воображенію.

Въ немногочисленныхъ, къ сожалѣнію, письмахъ Лермонтова, сохранившихся для потомства, мы постоянно наталкиваемся то на «мученія тайнаго сознанія, что онъ кончитъ жизнь ничтожнымъ челоуѣкомъ», то на сообщенія противоположнаго свойства, которыми онъ самъ готовъ называть «хвастовствомъ», проявленіями «самаго главнаго его недостатка — суетности и самолюбія». Въ одномъ изъ писемъ къ М. Лопухиной (1832 г.), извѣщающемъ о переходѣ изъ московскаго университета въ юнкерскую школу, вставлено стихотвореніе личнаго характера, которое оканчивается такъ:

Ужасно старикомъ быть безъ сѣдинъ!
Онъ равныхъ не находитъ; за толпою
Идетъ, хоть съ ней не дѣлится душою:
Онъ межъ людьми ни рабъ, ни властелинъ,
И все, что чувствуетъ, — онъ чувствуетъ одинъ.

Это чрезвычайно характерныя строки. 18-лѣтній юноша не находитъ себѣ равныхъ, а такъ какъ затѣмъ остаются только положенія раба, которымъ онъ быть не хочетъ, и властелина, которымъ онъ быть не можетъ, то онъ становится виѣ общества въ полномъ одиночествѣ. Такъ оно и было съ Лермонтовымъ въ университетѣ. Какъ видно изъ записокъ его товарища Вистенгофа, поэтъ держалъ себя отъ всѣхъ въ сторонѣ, пренебрежительно и заносчиво. Вистенгофъ рассказываетъ, между прочимъ, какъ онъ однажды обратился къ Лермонтову съ очень простымъ вопросомъ и какъ тотъ отвѣчалъ ему дерзостью. При этомъ, «какъ ударъ молніи сверкнули его глаза; трудно было выдержать этотъ насквозь пронизывающій, непривѣтливый взглядъ». О необыкновенныхъ глазахъ Лермонтова упоминаютъ и другіе современники. Такъ, Панаевъ вспо-

иды! Воспламенивъ воображеніе, повелѣвалъ онъ безъ труда». Съ другой стороны, Демонъ и Вадимъ готовы примириться съ жизнью и отказаться отъ своей грозной властной роли, если ихъ полюбятъ—одного Тамара, другого Ольга. Выходитъ, что это какъ бы эквиваленты, легко замѣщающіе другъ друга. Въ «Горбачѣ-Вадимѣ» есть одно мѣсто, въ которомъ смутная мысль о какой-то эквивалентности любви и власти выражена настолько ясно, насколько это возможно для смутной мысли. Я выпишу это любопытное мѣсто цѣликомъ, безъ всякихъ пропусковъ. Сказавъ, что Юрій сразу сталъ близокъ и понятенъ Ольгѣ, юный авторъ продолжаетъ:

«Нельзя сомнѣваться, что есть люди, имѣющіе этотъ даръ, но имъ воспользоваться можетъ только существо избранное, существо, котораго душа создана по образцу ихъ души, котораго судьба должна зависѣть отъ ихъ судьбы... и тогда эти два созданія, уже знакомыя прежде рожденія своего, читаютъ свою участь въ голосахъ другъ друга, въ глазахъ, въ улыбкахъ... и не могутъ обмануться... и горе имъ, если они не вполне доверятся этому святому, таинственному влеченію... оно существуетъ и должно существовать, вопреки всѣмъ умствованіямъ людей ничтожныхъ, иначе душа брошена въ наше тѣло для того только, чтобы оно питалось и двигалось... Что такое были бы всѣ цѣли, всѣ труды человечества безъ любви? И развѣ нѣтъ иногда этого всемогущаго сочувствія между народами и царемъ? Возьмите Наполеона и его войска! долго ли они прожили другъ безъ друга?»

Повторяю, я не пропустилъ ни одного слова; поворотъ мысли отъ любви къ отношеніямъ Наполеона и его войска является полною неожиданностью, и вѣроятно для самого юнаго поэта связь между этими двумя родами человѣческихъ отношеній была не совсѣмъ ясна; онъ ее лишь чувствовалъ въ себѣ, въ своей собственной природѣ.

Изъ юношескихъ любовныхъ увлеченій Лермонтова наибольшую извѣстностью пользуется его романъ съ Хвостовой, урожденной Сушковой. Она сама рассказываетъ этотъ романъ въ своихъ «Запискахъ», и хотя рассказъ ея вызываетъ сомнѣнія и опроверженія въ частностяхъ но въ общемъ фактическая его часть подтверждается самимъ Лермонтовымъ. Про свое въ высшей степени недостойное поведеніе въ этомъ дѣлѣ онъ рассказываетъ въ письмѣ къ Верещагинной и, кромѣ того, цѣликомъ воспроизвелъ его въ неоконченной повѣсти «Княгиня Литовская». 15-лѣтнимъ мальчикомъ Лермонтовъ очень увлекался Сушковой, которая была нѣсколькими годами старше его, а она забавлялась этою любовью, причемъ, повидимому, нисколько не щадила самолюбія будущаго знаменитаго поэта. Черезъ нѣсколько лѣтъ они встрѣтились опять, и въ Лермонтовѣ, всетаки еще совсѣмъ молодомъ

человѣкѣ, нашлось достаточно силы и желанія дерзать и владѣть, чтобы побѣдить когда-то смѣявшагося надъ нимъ гордую красавицу, побѣдить и компрометировать. Кромѣ непосредственнаго удовольствія, которое доставляла ему эта игра, она ему была нужна, по его собственному выраженію, какъ «пьедесталъ». Онъ хотѣлъ играть роль въ петербургскомъ свѣтскомъ обществѣ, быть замѣченнымъ и, по его оправдававшемуся расчету, это удобнѣе всего было достигнуто громкимъ, даже, пожалуй, скандальнымъ романомъ. Все было пущено для этого въ ходъ, вплоть до подложныхъ анонимныхъ писемъ. И Лермонтовъ понималъ, что онъ дѣлаетъ дурное, злое дѣло. О героѣ «Княгини Литовской», который продѣлываетъ съ Негуровой все то, что самъ Лермонтовъ продѣлалъ съ Сушковой, говорится: «Ему надобно было, чтобы поддержать себя, приобрести то, что нѣкоторые называютъ свѣтскою извѣстностью, то-есть прослыть человѣкомъ, который можетъ дѣлать зло, когда ему вздумается... Въ нашемъ бѣдномъ обществѣ фраза: онъ погубилъ столько-то репутаций, значитъ почти: онъ выигралъ столько-то сраженій». Такимъ образомъ Лермонтовъ отлично понималъ «бѣдность» общества, въ которомъ желалъ блистать, равно какъ и значеніе «свѣтской извѣстности». Что же касается собственно Сушковой, то безжалостное издѣвательство надъ ней оправдывалось въ его глазахъ мстью. Онъ писалъ: «я мщу за слезы, которыя пять лѣтъ тому назадъ заставляло проливать меня кокетство m-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставляла страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбіе старой кокетки». Въ большинствѣ любовныхъ приключеній Лермонтова чувственность, по всѣмъ видимостямъ, не играла никакой роли, и во всякомъ случаѣ его гораздо больше занимали тонкія и сложныя операціи надъ сердцемъ женщины, самый процессъ этихъ операцій. Въ «Странномъ человѣкѣ» одно изъ дѣйствующихъ лицъ объясняетъ задумчивость героя тѣмъ, что его занимаетъ вопросъ, «какъ заставить женщину любить или признаться въ томъ, что она притворялась». Въ «Маскарадѣ» Арбенинъ (между прочимъ, вспоминающій о «власти, съ которою, порою, казнилъ толпу онъ словомъ, остротой») съ какимъ-то дикимъ психическимъ сладострастіемъ добивается отъ Нины признанія въ томъ, что она притворялась. Это уже игра виртуоза.

Печоринъ (въ «Княгинѣ Литовской») «зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымъ и непреклоннымъ, слѣдуя какому то закону природы, доселѣ необъяснимому». Зналъ, конечно, эту аксіому и самъ Лермонтовъ, и ему до-

ставляло своеобразное наслаждение практически осуществлять ее при каких бы то ни было обстоятельствах, вполне сознавая мелочность, пошлость или даже преступность тѣхъ «пьедесталовъ», на которые ему приходилось иногда взбираться, чтобы отсюда дерзнуть и владѣть. Только этимъ и объясняется его будто бы пристрастіе къ свѣтскому обществу, за которое его такъ часто упрекали. Упреки эти, какъ извѣстно, доходили до того, что, признавая огромный талантъ Лермонтова (его мало кто рѣшался отрицать), его самого, какъ личность, совершенно вдвигали въ толпу свѣтскихъ хлыщей и фатовъ, изъ которой, дескать, онъ выдѣлялся развѣ только особенно несноснымъ высокомеріемъ и эгоизмомъ, доходившимъ до бреттерства. И много фактовъ, повидимому, подтверждающихъ такой взглядъ на Лермонтова. Даже Боденштедтъ, при всемъ своемъ глубочайшемъ уваженіи къ нашему поэту, былъ неприятно пораженъ его личностью при первой встрѣчѣ. Правда, на другой же день, при слѣдующей встрѣчѣ, это неприятное впечатлѣніе сгладилось, но и то Боденштедтъ находить возможнымъ сказать только такіа добрая слова: «Лермонтовъ вполне умѣлъ быть милымъ. Отдаваясь кому-нибудь, онъ отдавался отъ всего сердца, только едва-ли это съ нимъ часто случалось... Людей же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обаятельныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ, онъ могъ быть въ то же время кротокъ и нѣженъ, какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задумчивое, часто грустное настроеніе».

Все это прекрасно, конечно, но далеко все-таки не соответствуетъ тѣмъ высокимъ требованіямъ, которыя невольно ставятся поэту, обнаружившему въ своихъ произведенияхъ такую исключительную мощь и глубину. Однимъ талантомъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, нельзя объяснить эту огненную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленную поэзію, — она должна была быть порожденіемъ, кромѣ таланта, еще изъ ряда вонъ выходящаго ума и великаго духа вообще. Къ счастью, на этотъ счетъ имѣется показаніе можетъ быть компетентѣйшаго изъ современниковъ Лермонтова.

Въ свѣтѣ Лермонтовъ все больше и больше преуспѣвалъ, уже не нуждаясь болѣе въ низменной спекуляціи за счетъ прекрасныхъ дѣвицъ. Стихи на смерть Пушкина, ссылка на Кавказъ, дуэль съ Барантомъ, новая ссылка, — все это приковало къ особѣ молодого офицера вниманіе свѣтскаго общества, —

вниманіе, частію почтительное, частію злобное. Одновременно шли и успѣхи въ литературѣ. Онъ познакомился кое съ кѣмъ изъ писателей, между прочимъ съ Бѣлинскимъ, котораго, однако, приводилъ въ смущеніе отсутствіемъ серьезности. По словамъ Панаева въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», Бѣлинскій рѣшительно недоумѣвалъ. Онъ говорилъ: «Сомнѣваться въ томъ, что Лермонтовъ умный, было бы довольно странно, но я ни разу не слыхалъ отъ него ни одного умнаго и дѣльнаго слова; онъ, кажется, нарочно щеголяетъ свѣтской пустотой». Панаевъ съ своей стороны прибавляетъ, что, «дѣйствительно, Лермонтовъ какъ будто щеголяетъ ею, желая еще примѣшивать къ ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, страсть показывать презрѣніе къ жизни, а иногда даже и задоръ бреттера. Мимоходомъ замѣтить, это слова Панаева; что же касается сообщаемыхъ имъ фактовъ, то собственно въ нихъ довольно мудроно усмотрѣть щегольство свѣтскою пустотой. Факты очень, впрочемъ, скудные. Панаевъ рассказываетъ, какъ однажды Лермонтовъ ни съ того, ни съ сего долгимъ взглядомъ своихъ пронзительныхъ черныхъ глазъ смутилъ нѣкоего Языкова и даже заставилъ его выйти изъ комнаты въ сильномъ нервномъ раздраженіи. Рассказываетъ еще объ отношеніяхъ Лермонтова къ Краевскому, тогда еще только начинавшему свое издательское поприще: они были «на ты», и Лермонтовъ позволялъ себѣ всякія школьничества съ Краевскимъ и разбрасывалъ его бумаги по полу, производилъ въ его кабинетѣ всяческую кутерьму и раздѣ даже опрокинулъ его самого со стуломъ. Быть на ты съ Краевскимъ и школьничать въ его кабинетѣ, — это едва-ли признаки щегольства великосвѣтскостью. Рассказываетъ, однако, Панаевъ и еще одинъ фактъ, въ высшей степени интересный, а именно восторгъ Бѣлинскаго, когда ему удалось, наконецъ, поговорить съ Лермонтовымъ по-человѣчески. Случилось это въ ордонансъ-гаузѣ, гдѣ Лермонтовъ сидѣлъ подѣ арестомъ за дуэль съ Барантомъ. Бѣлинскій восторженно рассказывалъ Панаеву объ этомъ свиданіи. Г. Пыпинъ, въ предисловіи къ одному изъ изданій сочиненій Лермонтова (1873 г.), замодозрилъ Панаева въ неточной передачѣ рассказа Бѣлинскаго, а г. Скабичевскій, въ предисловіи къ Павленковскому изданію сочиненій Лермонтова, пошелъ гораздо дальше и усомнился въ самомъ фактѣ свиданія. Г. Пыпинъ заподозрилъ Панаева только въ преувеличеніи или невѣрной передачѣ, г.-же Скабичевскій косвеннымъ образомъ заподозриваетъ либо Панаева, либо Бѣлинскаго во лжи. И это на томъ единственномъ основаніи, что, по сло-

какъ Шангирей, въ ордонаксъ-гауэ къ Лермонтову никого не пускали. Да и «самъ Барантъ, сынъ французскаго посланника, слѣдовательно, человекъ со связями, могъ видѣть Лермонтова въ ордонаксъ-гауэ лишь тайкомъ. Послѣ этого невольно беретъ сомнѣніе, какъ могъ пробраться къ Лермонтову Бѣлинскій, человекъ маленький и къ тому же совсѣмъ чужой Лермонтову». Еслибы г. Скарбичевскій внимательнѣе отнесся къ своей задачѣ біографа и редактора собранія сочиненій Лермонтова, онъ не впалъ бы въ этотъ совершенно неумѣстный скептицизмъ. Изъ документовъ, частью приложенныхъ къ редактированной имъ книгѣ, а частью въ его собственномъ предисловіи къ ней напечатанныхъ, онъ узналъ бы, что Лермонтовъ былъ арестованъ сначала въ ордонаксъ-гауэ, а потомъ переведенъ въ арсенальную гауптвахту, и Барантъ былъ у него не въ ордонаксъ-гауэ, а на гауптвахтѣ; а порядки въ этихъ двухъ мѣстахъ заключенія могли быть и разные, — въ одномъ строже, въ другомъ послабѣе. Правда, Шангирей дѣйствительно утверждаетъ, что въ ордонаксъ-гауэ никого, кромѣ него, Шангирей не пускали. Но позволительнѣе, я думаю, заподозрить Шангирея въ ошибку (тотъ же Шангирей утверждаетъ, напримѣръ, что Лермонтовъ родился въ Тарханахъ), чѣмъ Панаева или Бѣлинскаго въ сочиненіи небывалаго факта. Во всякомъ случаѣ, существуетъ собственный рассказъ Бѣлинскаго о посѣщеніи имъ Лермонтова, вполне совпадающій съ рассказомъ Панаева, и надо потому думать, что такъ-ли, сякъ-ли, а Бѣлинскому удалось пробраться въ ордонаксъ-гауэ. Г. Пыпинъ давно отрекся отъ своихъ подозрѣній и призналъ, что Панаевъ «очень вѣрно передаетъ сущность дѣла». Письмо Бѣлинскаго (къ Боткину), въ которомъ онъ говоритъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, было напечатано г. Пыпиннымъ въ его почтенномъ трудѣ: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка» и затѣмъ неоднократно цитировалось въ журналахъ; совершенно даже непонятно, какъ могло оно остаться неизвѣстнымъ біографу Лермонтова...

Бѣлинскій писалъ: «Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ!» И далѣе: «Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, онъ улыбнулся и сказалъ: «дай Богъ!» Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово — онъ самъ, вся его натура, во всей глубинѣ и цѣлости

своей. Я съ нимъ робко — меня давятъ такіе цѣлостныя полныя натуры; я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества».

Наши художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны къ русской литературѣ и въ особенности къ ея исторіи. Но фигуры Лермонтова и Бѣлинскаго достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудрено найти тему для картины, болѣе благодарную, чѣмъ это собесѣдованіе великаго критика и великаго поэта въ ордонаксъ-гауэ. Представьте себѣ Лермонтова съ привычно насмѣшливымъ складомъ губъ и пронзительными черными глазами, отъ взгляда которыхъ смущаются тѣ, на кого онъ смотритъ. Смущается, можетъ быть, и Бѣлинскій, что не мѣшаетъ ему, однако, «упорствомъ, волнующимъ и снѣша», въ горячей рѣчь отстоять свои «понятія». Онъ твердо увѣренъ въ истинности и возвышенности этихъ понятій; но всѣмъ своимъ чутьемъ и дѣтски искреннимъ существомъ чувствуетъ, что въ бесѣдующемъ съ нимъ гусарскомъ поручикѣ есть нѣчто, чего въ немъ самомъ нѣтъ и передъ чѣмъ онъ долженъ преклониться...

IV.

Въ воспоминаніяхъ извѣстнаго въ свое время и совершенно неизвѣстнаго нынѣ великосвѣтскаго беллетриста гр. Соллогуба, автора «Тарантаса», «Исторіи двухъ калошъ» и проч., много рассказывается о дружескихъ отношеніяхъ автора съ Лермонтовымъ, о томъ, какъ Лермонтовъ съ нимъ совѣтовался, предлагалъ выстѣ издавать журналъ и т. д. Соллогубъ очень восторгается талантомъ Лермонтова и скорбитъ объ его ранней кончинѣ. Это понятно и приличествуетъ всякому, знавшему и незнавшему поэта лично. Но, будучи пріятелемъ Лермонтова, гр. Соллогубъ можетъ, конечно, сообщить намъ о немъ что-нибудь интимное, что-нибудь такое, что только наблюденію близкаго человека достаточно, и главнымъ образомъ что-нибудь касающееся свѣтскихъ отношеній Лермонтова. Но гр. Соллогубъ почти совсѣмъ не трогаетъ этого пункта, отсылая любопытствующихъ читателей къ одному своему беллетристическому произведенію. Онъ говоритъ: «Свѣтское значеніе Лермонтова я изобразилъ подъ именемъ Леонина въ моей повѣсти «Вольшой свѣтъ». Гр. Соллогубъ прибавляетъ, что повѣсть эту онъ написалъ «по заказу» одной высокопоставленной особы. Было бы въ высшей степени любопытно знать, какую цѣль преслѣдовала эта особа, заказывая гр. Соллогубу такое произведеніе. Изъ воспоминаній графа этого не видно, но

не видно также и мотивовъ, руководившихъ графомъ при исполненіи «заказа». Дѣйствіе повѣсти происходитъ, какъ показываетъ и заглавіе, въ «большомъ свѣтѣ», гдѣ, между прочимъ, ставятся за одну скобку «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то-есть Лермонтовъ и Соллогубъ, какъ писатели. Герой повѣсти, молодой офицеръ Леонинъ, играетъ въ «большомъ свѣтѣ» главнѣйшую роль сверчка, не знающаго своего шестка, и котораго поэтому свѣтскіе люди осмѣиваютъ и водятъ за носъ сколько имъ угодно. Это просто дурачокъ какой-то, ничтожный, сентиментальный и даже въ мазуркѣ не сильный, насчетъ которой онъ серьезно совѣщается съ другимъ дѣйствующимъ лицомъ повѣсти, Сафьевымъ, истинносвѣтскимъ человѣкомъ, — быть можетъ, въ немъ мы должны угадывать самого гр. Соллогуба. Надо замѣтить, что «Большой свѣтъ» былъ напечатанъ въ 1840 г., въ годъ дуэли Лермонтова съ Барантомъ и появленія въ печати «Героя нашего времени». Спрашивается, какъ же отнесся пылкій, заносчивый, самолюбивый поэтъ, находившійся въ это время на верху своей славы, къ своему якобы портрету, написанному якобы дружеской рукой гр. Соллогуба? Въ томъ же 1840 г. Вѣлискій въ письмѣ къ Боткину такъ характеризовалъ «Большой свѣтъ»: «Много вѣрнаго и истиннаго въ положеніи, прекрасный разказъ, нѣтъ никакой глубины, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьевъ — ложное лицо. А впрочемъ, славная вещь. Богъ съ ней! Лермонтовъ думаетъ такъ же. Хотя и салонный человѣкъ, а его не надуешь — себя на умѣ». Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что ни Вѣлискій не узналъ въ Леонинѣ Лермонтова, ни Лермонтовъ не узналъ самъ себя.

Для славной памяти поэта не было бы, конечно, ничего оскорбительнаго въ томъ, что какой-нибудь Сафьевъ превосходилъ его въ танцевальномъ искусствѣ или въ умѣнн вести свѣтскія интриги, хотя съ точки зрѣнія Соллогуба это грѣхи не малы. Но въ числѣ прочихъ біографическихъ фактовъ намъ нужно знать и «свѣтское значеніе» поэта. И, по соображенію со свѣдѣніями изъ другихъ источниковъ, мы должны признать, что значеніе это не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ изображеніемъ гр. Соллогуба. Общаго между Лермонтовымъ и Леонинимъ только то, что оба стремятся попасть въ высшій аристократическій свѣтъ, но Лермонтовъ никогда не былъ тѣмъ робкимъ травояднымъ, какимъ является въ «Большомъ свѣтѣ» Леонинъ; онъ былъ, какъ показываетъ уже его исторія съ Сущковой, скорѣе слѣпкомъ смѣлымъ и безцеремоннымъ хищникомъ. Да и самыя выраженія

въ родѣ «попасть въ высшій аристократическій свѣтъ» требуютъ по отношенію къ Лермонтову оговорокъ. Правда, ихъ иногда употребляетъ и самъ Лермонтовъ, говоря о себѣ, но совсѣмъ въ особенномъ смыслѣ. По свидѣтельству Вистенгофа, Лермонтовъ, еще будучи въ московскомъ университетѣ, вращался въ свѣтскомъ обществѣ: «Онъ посѣщалъ великолѣпныя балы тогдашняго московскаго благороднаго собранія, являлся на нихъ изысканно одѣтымъ, въ сообществѣ прекрасныхъ свѣтскихъ барышень, къ которымъ относился такъ же фамиллярно, какъ къ почтеннымъ вліятельнымъ лицамъ во фракахъ со звѣздами или ключами позади, прохаживавшимися съ нимъ по заламъ». Такимъ образомъ, въ смыслѣ свѣтскаго лоска Лермонтовъ былъ очень рано вполне готовымъ человѣкомъ, и едва-ли могъ нуждаться, будучи уже офицеромъ, въ какихъ-нибудь урокахъ Сафьева или гр. Соллогуба. Въ юнкерской школѣ онъ былъ опять же товарищемъ и какъ бы даже первоприсутствующимъ въ средѣ молодыхъ людей такъ называемаго высшаго круга. Конечно, такого товарищества было еще мало, чтобы быть своимъ въ аристократическихъ салонахъ, но Лермонтовъ хотѣлъ быть въ нихъ не столько своимъ, сколько первымъ въ своемъ родѣ, и новичкомъ онъ былъ въ нихъ уже, конечно, не въ смыслѣ непривычки къ свѣтскому обществу, какъ Леонинъ. И тѣмъ не менѣе повѣсть гр. Соллогуба, какъ она освѣщается его собственнымъ признаніемъ насчетъ ея происхожденія, является очень цѣннымъ матеріаломъ для опредѣленія «свѣтскаго значенія» Лермонтова. Если гр. Соллогубъ рѣшился поставить въ своей повѣсти рядомъ «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то изъ этого слѣдуетъ заключить, что талантъ Лермонтова признавался въ большомъ свѣтѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ около него, очевидно, много накопилось ненависти, потому что вотъ заказывается пасквиль на него, и дружеская рука великосвѣтскаго беллетриста исполняетъ заказъ. Ударъ, повидимому, не попалъ въ цѣль, потому что Лермонтовъ даже не узналъ себя. Но вѣдь не это и нужно было; это даже совсѣмъ не нужно было, такъ какъ необузданный характеръ Лермонтова ничего хорошаго персонѣ гр. Соллогуба не обѣщалъ, въ случаѣ еслибы поэтъ узналъ себя. Но гдѣ-то, въ какихъ-то сферахъ нужно было изображеніе Лермонтова ничтожествомъ...

Поневолѣ вспоминаются слова Лермонтова о Пушкинѣ:

Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбъ просто-
душной
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ, завистливый
и душный

вамъ Шангирея, въ ордонансъ-гаузъ къ Лермонтову никого не пускали. Да и «самъ Барантъ, сынъ французскаго посланника, слѣдовательно, человекъ со связями, могъ видѣть Лермонтова въ ордонансъ-гаузѣ лишь тайкомъ. Послѣ этого невольно беретъ сомнѣніе, какъ могъ пробраться къ Лермонтову Бѣлинскій, человекъ маленький и къ тому же совсѣмъ чужой Лермонтову». Еслибы г. Скабичевскій внимательнѣе отнесся къ своей задачѣ біографа и редактора собранія сочиненій Лермонтова, онъ не впалъ бы въ этотъ совершенно неумѣстный скептицизмъ. Изъ документовъ, частью приложенныхъ къ редактированной имъ книгѣ, а частью въ его собственномъ предисловіи къ ней напечатанныхъ, онъ узналъ бы, что Лермонтовъ былъ арестованъ сначала въ ордонансъ-гаузѣ, а потомъ переведенъ въ арсенальную гауптвахту, и Барантъ былъ у него не въ ордонансъ-гаузѣ, а на гауптвахтѣ; а порядки въ этихъ двухъ мѣстахъ заключенія могли быть и разные,—въ одномъ построже, въ другомъ послабѣе. Правда, Шангирей дѣйствительно утверждаетъ, что въ ордонансъ-гаузъ никого, кромѣ него, Шангирея не пускали. Но позволительнѣе, я думаю, заподозрить Шангирея въ ошибку (тотъ же Шангирей утверждаетъ, напримѣръ, что Лермонтовъ родился въ Тарханахъ), чѣмъ Панаева или Бѣлинскаго въ сочиненіи небывалаго факта. Во всякомъ случаѣ, существуетъ собственный рассказъ Бѣлинскаго о посѣщеніи имъ Лермонтова, вполне совпадающій съ рассказомъ Панаева, и надо поэтому думать, что такъ-ли, сякъ-ли, а Бѣлинскому удалось пробраться въ ордонансъ-гаузъ. Г. Пыпинъ давно отрекся отъ своихъ подозрѣній и призналъ, что Панаевъ «очень вѣрно передалъ сущность дѣла». Письмо Бѣлинскаго (къ Боткину), въ которомъ онъ говоритъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, было напечатано г. Пыпинымъ въ его почтенномъ трудѣ: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка» и затѣмъ неоднократно цитировалось въ журналахъ; совершенно даже непонятно, какъ могло оно остаться неизвѣстнымъ біографу Лермонтова...

Бѣлинскій писалъ: «Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ!» И далѣе: «Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, онъ улыбнулся и сказалъ: «дай Богъ!» Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово—онъ самъ, вся его натура, во всей глубинѣ и цѣлости

своей. Я съ нимъ робко—меня давятъ такія цѣлостныя полныя натуры; я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества».

Нани художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны къ русской литературѣ и въ особенности къ ея исторіи. Но фигуры Лермонтова и Бѣлинскаго достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудрено найти тему для картины, болѣе благодарную, чѣмъ это собесѣдованіе великаго критика и великаго поэта въ ордонансъ-гаузѣ. Представьте себѣ Лермонтова съ привычно намышленнымъ складомъ губъ и пронзительными черными глазами, отъ взгляда которыхъ смущаются тѣ, на кого онъ смотритъ. Смущается, можетъ быть, и Бѣлинскій, что не мѣшаетъ ему, однако, «упорствуя, волнуясь и спѣша», въ горячей рѣчи отстоять свои «понятія». Онъ твердо увѣренъ въ истинности и возвышенности этихъ понятій; но всѣмъ своимъ чуткимъ и дѣтски искреннимъ существомъ чувствуетъ, что въ бесѣдующемъ съ нимъ гусарскомъ поручикѣ есть нѣчто, чего въ немъ самомъ нѣтъ и передъ чѣмъ онъ долженъ преклониться...

IV.

Въ воспоминаніяхъ извѣстнаго въ свое время и совершенно неизвѣстнаго нынѣ великосвѣтскаго балетриста гр. Соллогуба, автора «Тарантаса», «Исторіи двухъ калонъ» и проч., много рассказывается о дружескихъ отношеніяхъ автора съ Лермонтовымъ, о томъ, какъ Лермонтовъ съ нимъ совѣтовался, предлагалъ вмѣстѣ издавать журналъ и т. д. Соллогубъ очень восторгается талантомъ Лермонтова и скорбитъ объ его ранней кончинѣ. Это понятно и приличествуетъ всякому, знавшему и незнавшему поэта лично. Но, будучи пріятелемъ Лермонтова, гр. Соллогубъ можетъ, конечно, сообщить намъ о немъ что-нибудь интимное, что-нибудь такое, что только наблюденію близкаго человека доступно, и главнымъ образомъ что-нибудь касающееся свѣтскихъ отношеній Лермонтова. Но гр. Соллогубъ почти совсѣмъ не трогаетъ этого пункта, отсылая любопытствующихъ читателей къ одному своему балетристическому произведенію. Онъ говоритъ: «Свѣтское значеніе Лермонтова я изобразилъ подъ именемъ Леонина въ моей повѣсти «Вольшой свѣтъ». Гр. Соллогубъ прибавляетъ, что повѣсть эту онъ написалъ «по заказу» одной высокопоставленной особы. Было бы въ высшей степени любопытно знать, какую цѣль преслѣдовалъ онъ, заказывая гр. Соллогубу такое Изъ воспоминаній графа въ

ядь! Воспламенивъ воображеніе, повелѣвалъ онъ безъ труда». Съ другой стороны, Демонъ и Вадимъ готовы примириться съ жизнью и отказаться отъ своей грозной властной роли, если ихъ полюбятъ—одного Тамара, другого Ольга. Выходитъ, что это какъ бы эквиваленты, легко замѣщающіе другъ друга. Въ «Горбачѣ-Вадимѣ» есть одно мѣсто, въ которомъ смутная мысль о какой-то эквивалентности любви и власти выражена настолько ясно, насколько это возможно для смутной мысли. Я выпишу это любопытное мѣсто цѣликомъ, безъ всякихъ пропусковъ. Сказавъ, что Юрій сразу сталъ близокъ и понятенъ Ольгѣ, юный авторъ продолжаетъ:

«Нельзя сомнѣваться, что есть люди, имѣющіе этотъ даръ, но имъ воспользоваться можетъ только существо избранное, существо, котораго душа создана по образцу ихъ души, котораго судьба должна зависѣть отъ ихъ судьбы... и тогда эти два созданія, уже знакомыя прежде рожденія своего, читаютъ свою участь въ голосахъ другъ друга, въ глазахъ, въ улыбкахъ... и не могутъ обмануться... и горе имъ, если они не вполне доверятся этому святому, таинственному влеченію... оно существуетъ и должно существовать, вопреки всѣмъ умствованіямъ людей ничтожныхъ, иначе душа брошена въ наше тѣло для того только, чтобы оно пыталось и двигалось... Что такое были бы всѣ цѣли, всѣ труды чело-вѣчества безъ любви? И развѣ нѣтъ иногда этого всемогущаго сочувствія между народомъ и царемъ? Возьмите Наполеона и его войска! долго ли они прожили другъ безъ друга?»

Повторяю, я не пропустилъ ни одного слова; поворотъ мысли отъ любви къ отношеніямъ Наполеона и его войска является полною неожиданностью, и вѣроятно для самого юнаго поэта связь между этими двумя родами чело-вѣческихъ отношеній была не совсѣмъ ясна; онъ ее лишь чувствовалъ въ себѣ, въ своей собственной природѣ.

Изъ юношескихъ любовныхъ увлеченій Лермонтова наибольшую извѣстностью пользуется его романъ съ Хвостовой, урожденной Сушковой. Она сама рассказываетъ этотъ романъ въ своихъ «Запискахъ», и хотя рассказъ ея вызываетъ сомнѣнія и опроверженія въ частностяхъ но въ общемъ фактическая его часть подтверждается самимъ Лермонтовымъ. Про свое въ высшей степени недостойное поведеніе въ этомъ дѣлѣ онъ рассказываетъ въ письмѣ къ Верещагиной и, кромѣ того, цѣликомъ воспроизвелъ его въ неоконченной повѣсти «Княгиня Лиговская». 15-лѣтнимъ мальчикомъ Лермонтовъ очень увлекался Сушковой, которая была нѣсколькими годами старше его, а она забавлялась этою любовью, причѣмъ, повидимому, нисколько не щадила самолюбія будущаго знаменитаго поэта. Черезъ нѣсколько лѣтъ они встрѣтились опять, и въ Лермонтовѣ, всетаки еще совсѣмъ молодомъ

человѣкѣ, нашлось достаточно силы и желанія дерзнуть и владѣть, чтобы побѣдить когда-то смѣявшуюся надъ нимъ гордую красавицу, побѣдить и компрометировать. Кромѣ непосредственнаго удовольствія, которое доставляла ему эта игра, она ему была нужна, по его собственному выраженію, какъ «педесталь». Онъ хотѣлъ играть роль въ петербургскомъ свѣтскомъ обществѣ, быть замѣченнымъ и, по его оправдававшемуся расчету, это удобнѣе всего было достигнуть громкимъ, даже, пожалуй, скандальнымъ романомъ. Все было пущено для этого въ ходъ, вплоть до подложныхъ анонимныхъ писемъ. И Лермонтовъ понималъ, что онъ дѣлаетъ дурное, злое дѣло. О героѣ «Княгини Лиговской», который продѣлываетъ съ Негуровой все то, что самъ Лермонтовъ продѣлалъ съ Сушковой, говорится: «Ему надобно было, чтобы поддержать себя, пріобрѣсти то, что нѣкоторые называютъ свѣтскою извѣстностью, то-есть прослыть чело-вѣкомъ, который можетъ дѣлать зло, когда ему вздумается... Въ нашемъ бѣдномъ обществѣ фраза: онъ погубилъ столько-то репутаций, значитъ почти: онъ выигралъ столько-то сраженій». Такимъ образомъ Лермонтовъ отлично понималъ «бѣдность» общества, въ которомъ желалъ блистать, равно какъ и значеніе «свѣтской извѣстности». Что же касается собственно Сушковой, то безжалостное издѣвательство надъ ней оправдывалось въ его глазахъ мстью. Онъ писалъ: «я мщу за слезы, которыя пять лѣтъ тому назадъ заставляло проливать меня кокетство m-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбіе старой кокетки». Въ большинствѣ любовныхъ приключеній Лермонтова чувственность, по всѣмъ видимостямъ, не играла никакой роли, и во всякомъ случаѣ его гораздо больше занимали тонкія и сложныя операціи надъ сердцемъ женщины, самый процессъ этихъ операцій. Въ «Странномъ чело-вѣкѣ» одно изъ дѣйствующихъ лицъ объясняетъ задумчивость героя тѣмъ, что его занимаетъ вопросъ, «какъ заставить женщину любить или признаться въ томъ, что она притворялась». Въ «Маскарадѣ» Арбенинъ (между прочимъ, вспоминающій о «власти, съ которою, порою, казнилъ толпу онъ словомъ, остротой») съ какимъ-то дикимъ психическимъ сладострастіемъ добивается отъ Нины признанія въ томъ, что она притворялась. Это уже игра виртуоза.

Печоринъ (въ «Княгинѣ Лиговской») «зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымъ и непреклоннымъ, слѣдуя какому то закону природы, доселѣ необъяснимому». Зналъ, конечно, эту аксіому и самъ Лермонтовъ, и ему до-

ставляло своеобразное наслаждение практически осуществлять ее при каких бы то ни было обстоятельствах, вполне сознавая мелочность, пошлость или даже преступность тѣх «пьедесталовъ», на которые ему приходилось иногда взбираться, чтобы оттуда дравать и владѣть. Только этимъ и объясняется его будто бы пристрастіе къ свѣтскому обществу, за которое его такъ часто упрекали. Упреки эти, какъ извѣстно, доходили до того, что, признавая огромный талантъ Лермонтова (его мало кто рѣшался отрицать), его самого, какъ личность, совершенно вдвигали въ толпу свѣтскихъ хлыщей и фатовъ, изъ которой, дескать, онъ выдѣлялся развѣ только особенно несноснымъ высокомеріемъ и заботчивостію, доходившимъ до бреттерства. И много фактовъ, повидимому, подтверждающихъ такой взглядъ на Лермонтова. Даже Боденштедтъ, при всемъ своемъ глубочайшемъ уваженіи къ нашему поэту, былъ непріятно пораженъ его личностію при первой встрѣчѣ. Правда, на другой же день, при слѣдующей встрѣчѣ, это непріятное впечатлѣніе сгладилось, но и то Боденштедтъ находить возможнымъ сказать только такіа добрыя слова: «Лермонтовъ вполне умѣлъ быть милымъ. Отдаваясь кому-нибудь, онъ отдавался отъ всего сердца, только едва-ли это съ нимъ часто случалось... Людей же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обаятельныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ, онъ могъ быть въ то же время кротокъ и кѣженъ, какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задумчивое, часто грустное настроеніе».

Все это прекрасно, конечно, но далеко все-таки не соответствуетъ тѣмъ высокимъ требованіямъ, которыя невольно ставятся поэту, обнаружившему въ своихъ произведеніяхъ такую исключительную мощь и глубину. Однимъ талантомъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, нельзя объяснить эту огненную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленную поэзію,—она должна была быть порожденіемъ, кромѣ таланта, еще изъ ряда вонъ выходящаго ума и великаго духа вообще. Къ счастью, на этотъ счетъ имѣется показаніе можетъ быть компетентѣйшаго изъ современниковъ Лермонтова.

Въ свѣтѣ Лермонтовъ все больше и больше преуспѣвалъ, уже не нуждаясь болѣе въ низкой спекуляціи за счетъ прекрасныхъ дѣвицъ. Стихи на смерть Пушкина, ссылка на Кавказъ, дуэль съ Барантомъ, новая ссылка,—все это приковало къ особѣ молодого офицера вниманіе свѣтскаго общества,—

вниманіе, частію почтительное, частію злобное. Одновременно шли и успѣхи въ литературѣ. Онъ познакомился кое съ кѣмъ изъ писателей, между прочимъ съ Бѣлинскимъ, котораго, однако, приводилъ въ смущеніе отсутствіемъ серьезности. По словамъ Панаева въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», Бѣлинскій рѣшительно недоумѣвалъ. Онъ говорилъ: «Сомнѣваться въ томъ, что Лермонтовъ уменъ, было бы довольно странно, но я ни разу не слышалъ отъ него ни одного умнаго и дѣльнаго слова; онъ, кажется, нарочно щеголяетъ свѣтской пустотой». Панаевъ съ своей стороны прибавляетъ, что, «дѣйствительно, Лермонтовъ какъ будто щеголяетъ ею, желая еще примѣшивать къ ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительныя взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, страсть показать презрѣніе къ жизни, а иногда даже и задоръ бреттера. Мимоходомъ замѣтить, это слова Панаева; что же касается сообщаемыхъ имъ фактовъ, то собственнн въ нихъ довольно мудрено усмотрѣть щегольство свѣтскою пустотой. Факты очень, впрочемъ, скудные. Панаевъ рассказываетъ, какъ однажды Лермонтовъ ни съ того, ни съ сего долгимъ взглядомъ своихъ пронзительныхъ черныхъ глазъ смутилъ кѣ-когого Языкова и даже заставилъ его выйти изъ комнаты въ сильномъ нервномъ раздраженіи. Рассказываетъ еще объ отношеніяхъ Лермонтова къ Краевскому, тогда еще только начинавшему свое издательское поприще: они были «на ты», и Лермонтовъ позволялъ себѣ всякія школьничества съ Краевскимъ и разбрасывать его бумаги по полу, производилъ въ его кабинетъ всяческую кутерьму и развѣ даже опрокинулъ его самого со стуломъ. Быть на ты съ Краевскимъ и школьничать въ его кабинетъ,—это едва-ли признаки щегольства великосвѣтскостію. Рассказываетъ, однако, Панаевъ и еще одинъ фактъ, въ высшей степени интересный, а именно восторгъ Бѣлинскаго, когда ему удалось, наконецъ, поговорить съ Лермонтовымъ по-человѣчески. Случилось это въ ордонансъ-гаузѣ, гдѣ Лермонтовъ сидѣлъ подъ арестомъ за дуэль съ Барантомъ. Бѣлинскій восторженно рассказывалъ Панаеву объ этомъ свиданіи. Г. Пыпинъ, въ предисловіи къ одному изъ изданій сочиненій Лермонтова (1873 г.), заподозрилъ Панаева въ неточной передачѣ разсказа Бѣлинскаго, а г. Скабичевскій, въ предисловіи къ Павленковскому изданію сочиненій Лермонтова, пошелъ гораздо дальше и усомнился въ самомъ фактѣ свиданія. Г. Пыпинъ заподозрилъ Панаева только въ преувеличеніи или невѣрной передачѣ, г.-же Скабичевскій косяннымъ образомъ заподозриваетъ либо Панаева, либо Бѣлинскаго во лжи. И это на томъ единственномъ основаніи, что, по сло-

ванкъ Шангирея, въ ордонансъ-гаузъ къ Лермонтову никого не пускали. Да и «самъ Барантъ, сынъ французскаго посланника, слѣдовательно, человекъ со связями, могъ видѣть Лермонтова въ ордонансъ-гаузѣ лишь тайкомъ. Послѣ этого нѣвозможно беретъ сомнѣніе, какъ могъ пробраться къ Лермонтову Бѣлинскій, человекъ маленькій и къ тому-же совсѣмъ чужой Лермонтову». Еслибы г. Скабичевскій внимательнѣе отнесся къ своей задачѣ біографа и редактора собранія сочиненій Лермонтова, онъ не впалъ бы въ этотъ совершенно неумѣстный скептицизмъ. Изъ документовъ, частью приложенныхъ къ редактированной имъ книгѣ, а частью въ его собственномъ предисловіи къ ней напечатанныхъ, онъ узналъ бы, что Лермонтовъ былъ арестованъ сначала въ ордонансъ-гаузѣ, а потомъ переведенъ въ арсенальную гауптвахту, и Барантъ былъ у него не въ ордонансъ-гаузѣ, а на гауптвахтѣ; а порядки въ этихъ двухъ мѣстахъ заключенія могли быть и разные,—въ одномъ построже, въ другомъ послабѣе. Правда, Шангирей действительно утверждаетъ, что въ ордонансъ-гаузѣ никого, кромѣ него, Шангирея не пускали. Но позволительнѣе, я думаю, заподозрить Шангирея въ ошибку (тотъ же Шангирей утверждаетъ, напримѣръ, что Лермонтовъ родился въ Тарханахъ), чѣмъ Панаева или Бѣлинскаго въ сочиненіи небывалаго факта. Во всякомъ случаѣ, существуетъ собственный рассказъ Бѣлинскаго о посѣщеніи имъ Лермонтова, вполне совпадающій съ рассказомъ Панаева, и надо поэтому думать, что такъ-ли, сякъ-ли, а Бѣлинскому удалось пробраться въ ордонансъ-гаузъ. Г. Пыпинъ давно отрекся отъ своихъ подозрѣній и призналъ, что Панаевъ «очень вѣрно передалъ сущность дѣла». Письмо Бѣлинскаго (къ Боткину), въ которомъ онъ говоритъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, было напечатано г. Пыпинымъ въ его почтенномъ трудѣ: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка» и затѣмъ неоднократно цитировалось въ журналахъ; совершенно даже непонятно, какъ могло оно остаться неизвѣстнымъ біографу Лермонтова...

Бѣлинскій писалъ: «Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокой и могучій духъ!» И далѣе: «Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей смена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, онъ улыбнулся и сказалъ: «дай Богъ!» Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово—онъ самъ, вся его натура, во всей глубинѣ и цѣлости

своей. Я съ нимъ робко—меня давятъ такіе цѣлостныя полныя натуры; я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества».

Наша художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны къ русской литературѣ и въ особенности къ ея исторіи. Но фигуры Лермонтова и Бѣлинскаго достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудрено найти тему для картины, болѣе благодарную, чѣмъ это собесѣдованіе великаго критика и великаго поэта въ ордонансъ-гаузѣ. Представьте себѣ Лермонтова съ привычно насмѣшливымъ складомъ губъ и пронзительными черными глазами, отъ взгляда которыхъ смущаются тѣ, на кого онъ смотритъ. Смущается, можетъ быть, и Бѣлинскій, что не мѣшаетъ ему, однако, «упорствуя, волнуясь и снѣша», въ горячей рѣчи отстаивать свои «понятія». Онъ твердо увѣренъ въ истинности и возвышенности этихъ понятій; но всѣмъ своимъ чуткимъ и дѣтски искреннимъ существомъ чувствуетъ, что въ бесѣдующемъ съ нимъ гусарскомъ поручикѣ есть нѣчто, чего въ немъ самомъ нѣтъ и передъ чѣмъ онъ долженъ преклониться...

IV.

Въ воспоминаніяхъ извѣстнаго въ свое время и совершенно неизвѣстнаго нынѣ великосвѣтскаго беллетриста гр. Соллогуба, автора «Тарантаса», «Исторіи двухъ калонъ» и проч., много рассказывается о дружескихъ отношеніяхъ автора съ Лермонтовымъ, о томъ, какъ Лермонтовъ съ нимъ совѣтовался, предлагалъ выстѣпъ издавать журналъ и т. д. Соллогубъ очень восторгается талантомъ Лермонтова и скорбитъ объ его ранней кончинѣ. Это понятно и приличествуетъ всякому, знавшему и незнавшему поэта лично. Но, будучи пріятелемъ Лермонтова, гр. Соллогубъ можетъ, конечно, сообщить намъ о немъ что-нибудь интимное, что-нибудь такое, что только наблюденію близкаго человека доступно, и главнымъ образомъ что-нибудь касающееся свѣтскихъ отношеній Лермонтова. Но гр. Соллогубъ почти совсѣмъ не трогаетъ этого пункта, отсылая любопытствующихъ читателей къ одному своему беллетристическому произведенію. Онъ говоритъ: «Свѣтское значеніе Лермонтова я изобразилъ подъ именемъ Леонина въ моей повѣсти «Вольшой свѣтъ». Гр. Соллогубъ прибавляетъ, что повѣсть эту онъ написалъ «по заказу» одной высокопоставленной особы. Было бы въ высшей степени любопытно знать, какую цѣль преслѣдовала эта особа, заказывая гр. Соллогубу такое произведеніе. Изъ воспоминаній графа этого не видно, но

не видно также и мотивовъ, руководившихъ графомъ при исполненіи «заказа». Дѣйствіе повѣсти происходитъ, какъ показывается и заглавіе, въ «большомъ свѣтѣ», гдѣ, между прочимъ, ставятся за одну скобку «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то-есть Лермонтовъ и Соллогубъ, какъ писатели. Герой повѣсти, молодой офицеръ Леонинъ, играетъ въ «большомъ свѣтѣ» главѣйшую роль сверчка, не знающаго своего шестка, и котораго поэтому свѣтскіе люди осмѣиваютъ и водятъ за носъ сколько имъ угодно. Это просто дурачокъ какой-то, ничтожный, сентиментальный и даже въ мазуркѣ не сильный, насчетъ которой онъ серьезно совѣщается съ другимъ дѣйствующимъ лицомъ повѣсти, Сафьевымъ, истинносвѣтскимъ человѣкомъ,—быть можетъ, въ немъ мы должны угадывать самого гр. Соллогуба. Надо замѣтить, что «Большой свѣтъ» былъ напечатанъ въ 1840 г., въ годъ дуэли Лермонтова съ Барантомъ и появленія въ печати «Героя нашего времени». Спрашивается, какъ же отнесся пылкій, заносчивый, самолюбивый поэтъ, находившійся въ это время на верху своей славы, къ своему якобы портрету, написанному якобы дружеской рукой гр. Соллогуба? Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій въ письмѣ къ Боткину такъ характеризовалъ «Большой свѣтъ»: «Много вѣрнаго и истиннаго въ положеніи, прекрасный рассказъ, нѣтъ никакой глубины, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьевъ—ложное лицо. А впрочемъ, славная вещь. Богъ съ ней! Лермонтовъ думаетъ такъ же. Хотя и салонный человѣкъ, а его не надуешь—себѣ на умѣ». Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что ни Бѣлинскій не узналъ въ Леонинѣ Лермонтова, ни Лермонтовъ не узналъ самъ себя.

Для славной памяти поэта не было бы, конечно, ничего оскорбительнаго въ томъ, что какой-нибудь Сафьевъ превосходилъ его въ танцевальномъ искусствѣ или въ умѣнн вести свѣтскія интриги, хотя съ точки зрѣнія Соллогуба это грѣхи не малы. Но въ числѣ прочихъ біографическихъ фактовъ намъ нужно знать и «свѣтское значеніе» поэта. И, по соображенію со свѣдѣніями изъ другихъ источниковъ, мы должны признать, что значеніе это не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ изображеніемъ гр. Соллогуба. Общаго между Лермонтовымъ и Леонинимъ только то, что оба стремятся попасть въ высшій аристократическій свѣтъ, но Лермонтовъ никогда не былъ тѣмъ робкимъ травояднымъ, какимъ является въ «Большомъ свѣтѣ» Леонинъ; онъ былъ, какъ показывается уже его исторія съ Сущковой, скорѣе слѣпкомъ смѣлымъ и безцеремоннымъ хищникомъ. Да и самыя выраженія

въ родѣ «попасть въ высшій аристократическій свѣтъ» требуютъ по отношенію къ Лермонтову оговорокъ. Правда, ихъ иногда употребляетъ и самъ Лермонтовъ, говоря о себѣ, но совсѣмъ въ особенномъ смыслѣ. По свидѣтельству Вистенгофа, Лермонтовъ еще будучи въ московскомъ университетѣ, вращался въ свѣтскомъ обществѣ: «Онъ посѣщалъ великолѣпныя балы тогдашняго московскаго благороднаго собранія, являлся на нихъ изысканно одѣтымъ, въ сообществѣ прекрасныхъ свѣтскихъ барышень, къ которымъ относился такъ же фамиллярно, какъ къ почтеннымъ вліятельнымъ лицамъ во фракахъ со звѣздами или ключами позади, прохаживавшимися съ нимъ по баламъ». Такимъ образомъ, въ смыслѣ свѣтскаго лоска Лермонтовъ былъ очень рано вполне готовымъ человѣкомъ, и едва-ли могъ нуждаться, будучи уже офицеромъ, въ какихъ-нибудь урокахъ Сафьева или гр. Соллогуба. Въ юнкерской школѣ онъ былъ опять же товарищемъ и какъ бы даже первоприсутствующимъ въ средѣ молодыхъ людей такъ называемаго высшаго круга. Конечно, такого товарищества было еще мало, чтобы быть своимъ въ аристократическихъ салонахъ, но Лермонтовъ хотѣлъ быть въ нихъ не столько своимъ, сколько первымъ въ своемъ родѣ, и новичкомъ онъ былъ въ нихъ уже, конечно, не въ смыслѣ непривычки къ свѣтскому обществу, какъ Леонинъ. И тѣмъ не менѣе повѣсть гр. Соллогуба, какъ она освѣщается его собственнымъ признаніемъ насчетъ ея происхожденія, является очень цѣннымъ матеріаломъ для опредѣленія «свѣтскаго значенія» Лермонтова. Если гр. Соллогубъ рѣшился поставить въ своей повѣсти рядомъ «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то изъ этого слѣдуетъ заключить, что талантъ Лермонтова признавался въ большомъ свѣтѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ около него, очевидно, много накопилось ненависти, потому что вотъ заказывается пасквиль на него, и дружеская рука великосвѣтскаго белметриста исполняетъ заказъ. Ударъ, повидимому, не попалъ въ цѣль, потому что Лермонтовъ даже не узналъ себя. Но вѣдь не это и нужно было; это даже совсѣмъ не нужно было, такъ какъ необузданный характеръ Лермонтова ничего хорошаго персонѣ гр. Соллогуба не обѣщалъ, въ случаѣ еслибы поэтъ узналъ себя. Но гдѣ-то, въ какихъ-то сферахъ нужно было изображеніе Лермонтова ничтожествомъ...

Поневолѣ вспоминаются слова Лермонтова о Пушкинѣ:

Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы просто-
душной
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ, завистливый
и душный

Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ безбож-
нымъ.

Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ласкамъ
ложнымъ. —

Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей!

«Врачу, испѣлся самъ». — можно бы было, повидимому, сказать по этому поводу Лермонтову, потому что вѣдь онъ и самъ рвался «въ этотъ свѣтъ, завистливый и душный», и судьба Пушкина не послужила ему урокомъ. Однако, это только повидимому. «Мирныхъ нѣтъ и дружбы простодушной» Лермонтовъ почти не знаетъ, а «словамъ и ласкамъ ложнымъ» отнюдь не вѣрилъ. Въ 1839 г., сообщая М. Лопухиной о своемъ петербургскомъ жить-бытьѣ, онъ писалъ: «Весь народъ, который и оскорбляетъ въ стихахъ моихъ, обманываетъ меня ласкательствами, самыми хорошенькими женскими проситъ у меня стиховъ и торжественно ими хвастаются... И возбуждаетъ любопытство, меня ищутъ, меня всюду приглашаютъ, даже когда я не выражаю къ тому ни малѣйшаго желанія, дамы, съ притязаніемъ собирать замѣчательныхъ людей въ своихъ гостиныхъ, хотѣть, чтобы я у нихъ былъ, потому что вѣдь я тоже мѣла, а, вѣдь Машенька, добрый малый, у котораго вы никогда не подозревали гримас. Согласитесь, что все это можетъ означать... Эта новая охотность полезна; она дала мнѣ оружіе противъ этого общества, которое непременно будетъ преслѣдовать меня своими клеветами, и тогда у меня есть въ запасѣ орудіе для отмщенія: вѣдь видѣ не встрѣчаю столько мизанствъ и странностей, какъ тутъ».

Такимъ образомъ, Лермонтовъ шелъ въ «оульгъ», какъ на битву, хорошо подготовленный и вооруженный, и соответственно велъ себя тамъ. Ходячее уподобленіе свѣтскихъ отношеній Лермонтова и Пушкина рѣшительно ни на чемъ не основано, кромѣ того чисто вышшняго факта, что оба поэта вращались въ большомъ свѣтѣ и оба хотѣли въ немъ вращаться. Никогда Лермонтовъ не былъ и, насколько мы знаемъ его духовную фязіономію, не могъ быть въ такихъ двусмысленныхъ положеніяхъ по отношенію къ сильнымъ міра, въ какихъ не разъ приходилось бывать Пушкину, никогда онъ ничего не просилъ, не покупалъ, не бралъ на себя никакихъ порученій, никогда никакимъ покровительствомъ не пользовался. Пушкину только случалось призывать на себя своими стихотвореніями грозу, Лермонтовъ же дѣлалъ, кажется, все возможное, чтобы создать вокругъ себя постоянную атмосферу недовольства, вражды, ненависти.

Въ замѣткѣ, отнюдь не въ пользу Лермонтова пристрастной, кн. А. И. Васильчи-

ковъ говорить: «Лермонтовъ не принадлежалъ къ числу разочарованныхъ, озлобленныхъ поэтовъ, бичующихъ слабости и пороки людскіе изъ зависти, что не могутъ насладиться запретнымъ плодомъ; онъ былъ человѣкъ вполне своего вѣка, герой своего времени: вѣка и времени, самыхъ пустыхъ въ исторіи русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, къ коей всѣ мы, юноши 30-хъ годовъ, были обречены, вращаясь въ средѣ великосвѣтскаго общества, придавленного и кассированнаго послѣ катастрофы 14-го декабря, онъ глубоко и горько сознавалъ его ничтожество и выражалъ это чувство не только въ стихахъ «Печально я гляжу на наше поколѣніе», но и въ ежедневныхъ, свѣтскихъ и товарищескихъ своихъ сношеніяхъ. Отъ этого онъ былъ вообще нелюбимъ въ кругу своихъ знакомыхъ въ гвардіи и въ петербургскихъ салонахъ; при дворѣ его считали вреднымъ, неблагонамѣреннымъ и при томъ, по фрунту, дурнымъ офицеромъ, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербургское великосвѣтское общество, махнувъ рукой, повторило это надгробное слово надъ храбрымъ офицеромъ и великимъ поэтомъ».

Г. Висковатовъ рассказываетъ про одного товарища Лермонтова по юнкерской школѣ, «достигнувшаго потомъ важнаго государственнаго положенія»: человѣкъ этотъ, — говоритъ г. Висковатовъ, — «приходилъ въ негодование каждый разъ, когда мы заговаривали съ нимъ о Лермонтовѣ. Онъ называлъ его самымъ «безиравственнымъ человѣкомъ» и «посредственнымъ подражателемъ Байрона» и удивлялся, какъ можно имъ интересоваться до собиранія матеріала для его біографіи. Гораздо позднѣе, когда намъ попался въ руки школьный произведеніи нашего поэта, мы поняли причину такой злобы». Дѣло идетъ, очевидно, о какомъ-нибудь обидномъ стихотвореніи, котораго злопамятный товарищъ не простилъ поэту даже послѣ его смерти.

Въ вышеприведенномъ письмѣ къ Лопухиной Лермонтовъ говоритъ о людяхъ, которыхъ онъ «оскорбляетъ въ стихахъ своихъ» и которые, дескать, теперь окружаютъ его лестью и ухаживаніемъ. Весьма возможно, что многія изъ стихотвореній, о которыхъ тутъ упоминаетъ Лермонтовъ, затерялись или даже намѣренно уничтожались. Пропали же для русской литературы чрезвычайно характерныя мелкія стихотворенія его, сохраненныя лишь Боденштедтомъ въ нѣмецкомъ переводѣ. Всѣ эти «Kleine Betrachtungen» и «Kleine Einfälle und Ausfälle», какъ они озаглавлены у Боденштедта, носятъ печать страстной вражды и презрѣнія къ какимъ

то людямъ, судя по усвоиваемымъ имъ атрибутамъ, принадлежащимъ къ такъ называемому свѣтскому обществу. «Всегда я чувствовалъ къ вамъ полное презрѣніе. названіемъ ослѣпъ клеймилъ васъ, шельмовалъ, и вы же у меня просили извиненія въ томъ, что я васъ ослиами величалъ». Это—начало одного изъ стихотвореній въ несовсѣмъ удачномъ пере-переводѣ Минаева. А вотъ два куплета другого стихотворенія въ нѣмецкомъ оригиналѣ-переводѣ Боденштедта:

Weil ich bei ihrem Thun vor Scham oft roth
bin,
Mir nicht Musik erscheint Geklirr von Ketten
Und mir nicht lockt der Glanz von Bajonetten:
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin!

Weil ich nicht ganz von altem Korn und
Schrott bin
Und nicht mit jedem Schritte rückwärts gehe:
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin,
Mein Land nicht liebe und es nicht verstehel

Это стихотвореніе, напоминающее мотивъ «Родины» («Люблю отчизну я»), но съ острой полемической приправой, свидѣтельствуетъ, что Лермонтову приходилось имѣть дѣло и съ столь обычною у насъ клеветою беззастѣнчивыхъ враговъ насчетъ недостатка любви къ отечеству. Вообще взаимныя отношенія между поэтомъ и окружавшею его свѣтскою средою были самыя напряженныя. Есть доля фактической правды даже въ отдающемъ цинизмомъ замѣчаніи кн. Васильчикова, что если бы и не Мартыновъ, такъ все равно кто-нибудь другой рано или поздно убилъ бы Лермонтова. Последняя драма въ жизни поэта, не смотря на свой, повидимому, бессмысленно случайный характеръ, подготовлялась давно. Г. Висковатовъ сообщаетъ со словъ современниковъ, что «многіе» изъ бывшихъ въ то роковое лѣто въ Пятигорскѣ свѣтскихъ людей называли Лермонтова «ядовитой гадиной». Эти благородные люди подговаривали молодого офицера Лисаневича вызвать поэта на дуэль, но Лисаневичъ объявилъ, что у него «не поднимется рука на такого человѣка». У Мартынова поднялась... Всѣ тѣ рѣзкіе укоры, съ которыми Лермонтовъ обращался къ закулиснымъ виновникамъ смерти Пушкина, вполне приложимы и къ обществу, выдвигнувшему Мартынова. Но надо всетаки признать, что самъ Лермонтовъ былъ отнюдь не невиненъ въ той атмосферѣ вражды и ненависти, которая вокругъ него создавалась. По свидѣтельству всѣхъ, оставившихъ какія-нибудь воспоминанія о Лермонтовѣ, какъ людей, благорасположенныхъ къ нему, такъ и нерасположенныхъ, немногіе изъ его знакомыхъ пользовались его искреннею и нѣжною привязанностью, а ко всѣмъ остальнымъ онъ относился презрительно, заносчи-

во, враждебно, точно нарочно изыскивая предлоги къ непріятностямъ и открытымъ столкновеніямъ.

Мы поймемъ это, разумѣется, непріятное для окружающихъ поведеніе, припомнивъ слова Печорина: «Я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ, — вотъ что я называю жизнью». Странная задача, странное понятіе о «жизни»! Но такого рода странностями переполнена, можно сказать, жизнь какъ самого Лермонтова, такъ и дѣйствующихъ лицъ его произведеній. И во всѣхъ этихъ странностяхъ виденъ все тотъ же человѣкъ, страстно жаждущій дѣятельности, именно въ смыслѣ психическаго воздѣйствія на людей, задающій себѣ разнообразныя, утонченно сложныя задачи этого рода.

Дѣйствовать, бороться, покорять сердца, такъ или иначе оперировать надъ душами ближнихъ и дальнихъ, любимыхъ и ненавидимыхъ, — таково призваніе или коренное требованіе натуры всѣхъ выдающихся дѣйствующихъ лицъ произведеній Лермонтова, да и его самого. Имъ было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтеніе къ мысли, идеѣ, теоріи, которое получило такое яркое выраженіе въ знаменитомъ «я мыслю, слѣдовательно, существую» Декарта, равно какъ и многія другія блестящія страницы исторіи философіи. «Я мыслю» — изъ этого еще ничего не слѣдуетъ. Мысль, идея есть лишь зачатокъ дѣйствія и сама по себѣ отнюдь не можетъ служить доказательствомъ или мѣриломъ существованія. Существованіе самой мысли еще нуждается въ доказательствѣ, которое дается лишь обнаруженіемъ ея въ дѣйствіи. Припомните слова Печорина: «идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идеи — созданія органическія, ихъ рожденіе уже даетъ имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе». Таковъ, по Лермонтову, естественный строй душевной жизни, и это воззрѣніе весьма близко къ тому, которое становится господствующимъ въ современной психофизиологіи. Лермонтовъ дошелъ до него не путемъ логическихъ выкладокъ или систематическаго изученія; онъ прочелъ его готовымъ въ своей собственной душѣ, которой была инстинктивно противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной дѣйствіемъ. Столь же чуждо Лер-

холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучший цвѣтъ жизни». Эта характеристика Печорина, сдѣланная имъ самимъ подъ диктовку Лермонтова, приложима и къ Лермонтову, но съ ограниченіями. Ни изъ чего не видно, чтобы Лермонтовъ «навѣки утратилъ пылъ благородныхъ стремленій». Онъ умеръ слишкомъ молодымъ, чтобы можно было дѣлать подобныя заключенія, и все заставляетъ, напротивъ, думать, что онъ, въ лицѣ Печорина, слишкомъ рано поставилъ на себѣ крестъ. Не совсѣмъ также вѣрно, что онъ не угадалъ «своего назначенія». Но за то вполне вѣрно, что силы его были громадны и что эти силы тратились иногда на «приманки страстей пустыхъ и неблагодарныхъ». Исключительный размѣръ силъ Лермонтова сказанъ не только въ его чарующей поэзіи, совмѣщающей въ своемъ содержаніи глубокую мысль и сильное чувство, а въ своей формѣ—музыку стиха, живопись красокъ и пластику скульптуры. Исключительная сила выразилась и въ житейскихъ дѣлахъ Лермонтова, даже въ самыхъ мелкихъ и, прямо сказать, дрянныхъ, нравственно безобразныхъ. Нѣтъ имени его поведенію въ исторіи съ Сущиковой-Хвостовой, какъ мы ее знаемъ и отъ нея, и отъ него. Но, принимая въ соображеніе его тогдашній мальчишескій возрастъ и житейскую, а въ частности свѣтскую неопытность, нельзя все-таки не признать, что это—злая, безспорно злая работа, но работа недюжинной силы. И сила эта совершенно особенная, рѣдкій даръ природы, приносящій съ собою иногда много добра, иногда много зла,—даръ дерзать и владѣть, сила психическаго воздѣйствія на людей. Печать этой силы лежитъ на всей поэзіи Лермонтова, но и помимо поэзіи она всегда рвалась въ немъ наружу, требовала работы, стихійно искала себѣ точки приложения. Именно стихійно. Лермонтовъ, по самой натурѣ своей, не могъ не подчинять себѣ людей, такъ или иначе, играя на струнахъ ихъ душъ, то намѣренно ихъ очаровывая, то столь же намѣренно доводя ихъ до озлобленія. Въ послѣдніе годы своей жизни Лермонтовъ мечталъ о томъ, чтобы выйти въ отставку и совсѣмъ отдаться литературѣ,—онъ думалъ издавать журналъ. Мудрено гадать, чего мы лишились, благодаря неосуществленію этого проекта. Мудрено гадать даже о томъ, удовлетворился ли бы сколько-нибудь самъ Лермонтовъ тою литературною дѣятельностью, какая была возможна въ его время. Но вся жизнь его протекла въ условіяхъ, совершенно неба-

гоприятныхъ для пріисканія дѣятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключеніемъ, разумеется, поэзіи, въ которую онъ и вкладывалъ свою уязвленную душу. Отсюда мрачные мотивы и мрачный тонъ этой поэзіи. Въ придачу къ тяжелымъ впечатлѣніямъ дѣтства, быть можетъ, и преувеличеннымъ пылкостью воображенія и болѣзненною чуткостью поэта, въ пору сознательной жизни явилось еще нѣчто въ родѣ мукъ Прометѣя, у котораго печень вновь выпростается по мѣрѣ того, какъ ее клочетъ коршунъ. Мы видѣли, что даже въ юнкерской школѣ, среди веселаго разгула и непристойныхъ упражненій въ поэзіи, Лермонтовъ внутренне угрызался и тосковалъ. И такъ было всю жизнь. Становясь на Кавказѣ во главѣ чего-то въ родѣ шайки башкибузовъ, онъ находилъ нѣкоторое удовлетвореніе, которое самъ сравниваетъ съ ощущеніями азартной игры; но это лишь улаженіе минуты, за которымъ слѣдуетъ горькое раздумье и разочарованіе. Слѣпая сила его собственной природы стихійно побуждала его дерзать и владѣть гдѣ бы то ни было и при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ, а голосъ разума и совѣсти клеймилъ эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первомъ удобномъ случаѣ, при новой встрѣчѣ съ женщиной, при столкновеніи съ новымъ обществомъ, жажда дерзать и владѣть выступала впередъ и опять голосъ разума и совѣсти говорилъ: не то! не таково должно быть поле дѣятельности для «необытныхъ силъ»! Немудрено, что въ душѣ поэта вспыхивали зловѣщіе огни отчаянія и злого, мстительнаго чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему временами «пустою и глупою шуткой»...

Кн. Васильчиковъ правъ, говоря, что то было время «самое пустое въ исторіи русской гражданственности», и указывая на «придавленность общества послѣ катастрофы 14-го декабря». Но онъ не правъ, называя Лермонтова «человѣкомъ» вполне своего вѣка, героемъ своего времени». Или по крайней мѣрѣ это опредѣленіе требуетъ оговорок. Что бы ни хотѣлъ сказать Лермонтовъ заглавіемъ своего романа,—иронизировалъ-ли онъ или говорилъ серьезно, собирательный-ли типъ хотѣлъ дать въ Печоринѣ или выдающуюся единицу, съ себя ли писать «героя нашего времени» или нѣтъ,—для него самого его время было полнымъ безвременьемъ. И онъ былъ настоящимъ героемъ безвременья.



Н. В. ШЕЛГУНОВЪ *).

I.

Въ одномъ изъ своихъ «Очерковъ русской жизни» Н. В. Шелгуновъ приводитъ слѣдующія слова «Гражданина» о шестидесятихъ годахъ: «Тогда все кипѣло жизнью, и именно жизнью духовною, тогда лучшіе люди шли на общественную службу, тогда въ каждомъ русскомъ человѣкѣ билось сильно сердце, тогда либералы создали цѣлую Ніагару мыслей, стремлений, цѣлей въ руслѣ русской умственной жизни и этимъ самымъ вызвали къ жизни и противниковъ этого громаднаго урагана,—словомъ, тогда все, что дремало до того, проснулось, и на борьбу выступили всѣ силы добра и зла, на борьбу живую и, можно безъ преувеличенія сказать, народную, въ смыслѣ животрепещущихъ вопросовъ судьбы русскаго государства, эпохою создавшихся».

Н. В. Шелгуновъ дѣлаетъ эту выписку изъ «Гражданина» съ особою цѣлю, для иллюстраціи одного частнаго своего соображенія. Но гораздо болѣе общее чувство внутреннего удовлетворенія, навѣрное, говорило въ немъ при этомъ. Пріятно и мнѣ начать вступительную статью къ сочиненіямъ одного изъ видныхъ представителей шестидесятихъ годовъ этою выпискою изъ газеты, болѣе чѣмъ неблагосклонной къ тогдашнему умственному движенію. Приснопамятные шестидесятые годы будутъ еще, вѣроятно, долго служить предметомъ самыхъ разнообразныхъ сужденій, въ числѣ которыхъ не мало будетъ и рѣшительныхъ осужденій. Такова всегдѣшняя участь всего яркаго и крупнаго,—людей, событій, эпохъ. Мелкіе люди, заурядныя событія, тусклые эпохи не вызываютъ пререканій и противорѣчивыхъ сужденій, а около всего цѣтнаго и крупнаго стоитъ гулъ и шумъ споровъ. Съ теченіемъ времени этотъ шумъ, разумѣется, затихаетъ и, наконецъ, совсѣмъ прекращается. Однако, такое событіе, какъ, напримѣръ, первая французская революція, доселѣ, спустя сто лѣтъ, подвергается самымъ разнообразнымъ и противорѣчивымъ сужденіямъ. У насъ, впрочемъ, есть примѣръ ближе—петровская реформа. Сколько пламенныхъ восторговъ и сколько несдержанной брани вызываетъ она даже по сей часъ! Одни видятъ въ ней безупречно розовую зарю русской исторіи, другіе — почти пре-

ступное и, во всякомъ случаѣ, прискорбное удаленіе «изъ дому». И это только два крайнія мнѣнія, а существуетъ еще много другихъ, менѣе одноцвѣтныхъ, пытающихся придать сложному явленію соотвѣтственно сложное значеніе, или болѣе частныхъ, имѣющихъ въ виду главнымъ образомъ гигантскую личность Петра, либо ту или другую подробность реформы. Одно стоитъ выѣ всякихъ споровъ и сомнѣній: въ подобные историческіе моменты жизни бьетъ ключемъ, совершается нѣчто значительное, какъ бы кто ни расцѣпывалъ содержащееся въ этомъ значительномъ добро и зло. Къ такимъ именно полнымъ жизни и значенія историческимъ моментамъ принадлежатъ шестидесятые годы. Это должны признать даже отъявленные враги всего, что тогда народилось и расцвѣло. Если они далеко не всегда столь открытвенны и безпристрастны, какъ «Гражданинъ» въ сдѣланной выше выпискѣ; если они, напротивъ, въ большинствѣ случаевъ, всячески сиются унизить, «развѣнчать» шестидесятые годы, то самая страстность этихъ ихъ усилій, доходящая иногда чуть не до бѣшенства, свидѣтельствуетъ о крупныхъ размѣрахъ того, съ чѣмъ они заднимъ числомъ борются.

Сочиненія писателя, воспитаннаго подобною эпохой, естественно должны представлять особенный интересъ, хотя-бы уже въ силу того отпечатка, который должно положить на нихъ участіе въ общей крупной работѣ. И, прежде всего, для насъ интересно отношеніе такого писателя къ этой общей работѣ. Въ воспоминаніяхъ Шелгунова, а частью и въ другихъ статьяхъ настоящаго изданія, читатель найдетъ и матеріалы для сужденія о шестидесятихъ годахъ и самыя его сужденія. Я приведу лишь очень немногое, наиболѣе, мнѣ кажется, общее или фактически наиболѣе выразительное, что можетъ служить отправнымъ пунктомъ для нашихъ собственныхъ соображеній. Но надо оговориться. Въ буквальный смыслъ слова Шелгуновъ воспитанъ не шестидесятыми годами, а предъидущей, тоже приснопамятной, Николаевской эпохой. Но и какъ писатель, и какъ человѣкъ, онъ вынесъ изъ этого времени почти исключительно одни отрицательные уроки. Онъ говоритъ: «Дорожить насъ не пріучили ничѣмъ, уважать мы также ничего не уважали: но за то начальство старательно водворяло въ насъ чувство страха... Имъ (то-есть чувствомъ страха) у насъ по-

*) 1891 г.

стоянно злоупотребляли. Когда-же всё общественныя связи основаны только на страхѣ и страхъ наконецъ исчезаетъ, тогда ничего не остается, кромѣ пустого пространства, открытаго для всѣхъ вѣтровъ. И вотъ такое-то пустое пространство и открылось у насъ. Но въ пустомъ пространствѣ жить нельзя, каждому человѣку нужно строиться; мы и начали строиться».

Заключенная въ этихъ немногихъ словахъ глубоко вѣрная мысль требуетъ лишь нѣкотораго распространенія и поясненія, чтобы ею вполне освѣтились значеніе и характеръ шестидесятыхъ годовъ. Постараемся найти это распространеніе и поясненіе у самого Шелгунова. Это не трудно.

Школьныя и служебныя воспоминанія Шелгунова почти сплошь представляютъ собою поучительнѣйшую картину той, повидимому, необыкновенно стройной, цѣльной, однородной цѣпи отношеній, которая составляла сущность тогдашняго русскаго общества. Это было, дѣйствительно, нѣчто очень стройное и цѣльное, а на иной глазъ, пожалуй, даже обаятельное въ какой-то своей художественной законченности: каждый былъ въ этой цѣпи въ одно и то-же время восходящимъ и нисходящимъ звеномъ, каждый имѣлъ свое опредѣленное мѣсто, на которомъ онъ трепеталъ передъ одними, высшими, и заставлялъ трепетать другихъ, низшихъ. Сознательнаго исполненія долга, «не токо за страхъ, но и за совѣсть», здѣсь не было, потому что не было мѣста ни личному убѣжденію, ни личному достоинству, ни, вообще, чему-нибудь такому, что могло-бы пестрить картину и нарушать простую гармонію системы. Но она была уже слишкомъ проста для такой сложной штуки, какъ человѣческая жизнь и человѣческое общество. Ее нельзя было предоставить самой себѣ, въ расчетъ на силу первоначальнаго толчка и силу инерціи. Она требовала постоянной поддержки искусственными средствами, замаскированными, впрочемъ, изъ нея же. Шелгуновъ имѣетъ полное право прибавлять эпитетъ «страшное» къ ироническому выраженію «доброе старое время». Да, «страшное доброе старое время»; не только потому, что и теперь страшно читать хотя-бы въ воспоминаніяхъ того-же Шелгунова, наприимѣръ, сцены жесточайшихъ расправъ съ двѣнадцатилѣтними ребятами, но и потому, что все дѣло и въ то-то время было въ страхѣ. Рассказавъ одинъ подобный случай, когда въ дворянскомъ полку директоръ Пушнинъ засѣлъ воспитанника до смерти, Шелгуновъ прибавляетъ: «Пушнинъ остался директоромъ, чтобы не колебать дисциплины и уваженія къ власти». Съ точки зрѣнія господствовавшей системы, это было вполне

последовательно. Пушнинъ былъ виноватъ, но онъ совершилъ свою вину въ качествѣ власти, а власть и вина были не совмѣстимы въ тогдашней системѣ, ибо, разъ допустивъ критическій разборъ властнаго поступка, можно было опасаться умаленія того исходящаго отъ власти спасительнаго страха, на которомъ держалась вся система. Эта, логически необходимая, безнаказанность властныхъ людей придавала имъ необыкновенную самоуверенность, дѣлала ихъ «выше ростомъ», по выраженію Шелгунова, и весьма вѣроятно, что угрызенія совѣсти были имъ совершенно незнакомы даже въ самыхъ ужасныхъ случаяхъ, а инымъ, можетъ быть, и во-истину не изъ-за чего было угрызаться. Если, какъ рассказывали Шелгунову, два чиновника «умерли отъ страху», въ ожиданіи предпринятой Муравьевымъ ревизіи вѣдомства государственныхъ имуществъ, то собственнно въ этихъ двухъ смертяхъ Муравьевъ лично былъ ни при чемъ, хотя и раздавилъ двѣ человѣческія жизни однимъ своимъ именемъ. И, можетъ быть, это были вовсе не худшіе чиновники, которымъ грозила бѣда по заслугамъ. Вина и заслуга, какъ и всѣ прочіе виды добра и зла, теряли въ то страшное доброе старое время всякое самостоятельное значеніе, переломляясь на совершенно, по нынѣшнимъ нашимъ понятіямъ, неожиданный манеръ въ призмѣ господствовавшей системы отношеній. Надо замѣтить, что случаи, рассказанные Шелгуновымъ, не смотря на всю свою выразительность, еще далеко не самые ужасные. Въ своихъ воспоминаніяхъ онъ лишь очень бѣгло, мимоходомъ касается крѣпостнаго права, съ которымъ, повидимому, и въ жизни не имѣлъ близкихъ соприкосновеній. Но онъ хорошо понимаетъ, что оно-то и составляло фундаментъ всей системы. Фундаментъ, столь прочный, что даже всемогущій императоръ Николай не находитъ возможнымъ развалить его и, по собственному его выраженію, лишь почитать должнымъ передать это великое дѣло своему преемнику «съ возможнымъ облегченіемъ при исполненіи». И когда силою вещей наступилъ конецъ этому фундаменту, а вмѣстѣ съ нимъ и всей системѣ, то «ничего не осталось, кромѣ пустого пространства, открытаго для всѣхъ вѣтровъ». Цѣпныя поколѣнія съ упорною последовательностью и исключительностью готовились къ двойной роли: приказывающихъ и исполняющихъ приказанія, и въ результатѣ получились настоящіе виртуозы той и другой функціи, изумительно приладившіеся къ воспитавшей ихъ системѣ. Но когда область двудеиной функціи сгузилась и распалась, эти превосходнѣйшіе въ своемъ родѣ специалисты естественно должны были очутиться въ положеніи рыбъ, выта-

ценныхъ изъ воды, а о выработкѣ того, что требовалось новымъ историческимъ моментомъ, — самостоятельной мысли, знаній, твердыхъ убѣжденій, чувства собственнаго достоинства и признанія такового за другими, — система не заботилась и не могла, по самому существу своему, заботиться. Мало того, весь этотъ умственный и нравственный багажъ пестрилъ систему, не допускавшую никакой пестроты, грозилъ ей разнообразными изъясненіями и неудобствами, а потому или прямо преслѣдовался, какъ контрабанда, или содержался въ сильномъ подозрѣніи. Это было опять-таки вполнѣ естественно и послѣдовательно. Система, до такой степени законченная, должна была даже съ преувеличенною чуткостью относиться къ разнымъ враждебнымъ ей элементамъ. Системѣ, конечно, нужны были, по крайней мѣрѣ, всякаго рода техники, а положеніе великой европейской державы обязывало и къ нѣкоторой умственной роскоши, хотя бы только показной. Но даже самое невинное и чисто фактическое знаніе могло стать очагомъ критической мысли, а эта послѣдняя была уже рѣшительно враждебна системѣ, враждебна сама по себѣ, какъ таковая, на что-бы она ни была направлена. Поэтому всѣ усилія были направлены на урѣзку даже фактического знанія до возможнаго minimum'a, опредѣлить который было, конечно, очень трудно, и на приданіе этому minimum'у общей окраски двуединой функціи, что отчасти и достигалось введеніемъ военной дисциплины въ учебныя заведенія, готовившія къ самымъ мирнымъ занятіямъ. Исторія русскаго просвѣщенія того времени представляетъ высокій теоретическій интересъ, въ качествѣ огромнаго социологическаго опыта, къ сожалѣнію, слишкомъ дорого стоившаго, но мы не будемъ разбрасываться и постараемся не отходить далеко отъ непосредственнаго предмета нашей статьи, — сочиненій Н. В. Шелгунова.

Вскорѣ послѣ паденія Севастополя Шелгунову было предложено мѣсто ученаго лѣсничаго въ Лисинскомъ учебномъ лѣсничествѣ. Къ сложнымъ занятіямъ, сопряженнымъ съ этимъ мѣстомъ, Шелгуновъ считалъ себя не подготовленнымъ и потому лишь въ томъ случаѣ соглашался принять мѣсто, если его отправить предварительно (на его счетъ) за границу для ознакомленія съ тамошнимъ лѣснымъ хозяйствомъ. Шелгуновъ зналъ, чего стоить знанія, приобретенныя имъ въ тогдѣшнемъ Лѣсномъ Институтѣ, но система находила, что этого вполнѣ достаточно, и только послѣ порядочной борьбы Шелгуновъ настоялъ на своемъ. Изъ заграничныхъ воспоминаній его отбѣтитъ слѣдующую черту: «Я отыскивалъ сочиненія о Россіи, которой я не

зналъ ни исторіи, ни географіи». На первый взглядъ, это поразительно, почти невѣроятно: образованный русскій офицеръ, въ умственномъ отношеніи, очевидно, выдающійся, такъ какъ ему предложено было видное мѣсто ученаго лѣсничаго, а потомъ и профессора, добросовѣстный, такъ какъ не хватаетъ сразу за видное положеніе, не знаетъ ни исторіи, ни географіи своей родины и за границей отыскиваетъ сочиненія о Россіи! Казалось-бы, парадоксальнѣе этого и выдумать ничего нельзя. Но тогдашняя Россія была переполнена подобными парадоксами. Уже въ 1863 г., состоя подъ военнымъ судомъ, Шелгуновъ разговаривалъ съ однимъ изъ членовъ суда, морякомъ, капитанъ-лейтенантомъ, причемъ оказалось, что этотъ капитанъ-лейтенантъ и членъ суда по политическому дѣлу въ первый разъ услышалъ имя Стеньки Разина! Шелгуновъ самъ говоритъ, что это можетъ показаться невѣроятнымъ, а тогда онъ такъ принялъ этотъ фактъ къ сердцу, что, подъ давленіемъ его, принялся писать популярную статью по русской исторіи («Россія до Петра Великаго»). «И все это понятно, — говоритъ Шелгуновъ. Я учился около того же времени, какъ и капитанъ-лейтенантъ и другіе члены военного суда, а если и не совсемъ въ то время, то, во всякомъ случаѣ, при томъ-же воспитательномъ режимѣ. И у насъ не включался въ курсъ русской исторіи Стенька Разинъ, не былъ извѣстенъ и Пугачевъ, а еще меньше сообщалось о какихъ-либо народныхъ волненіяхъ (то-есть, вѣроятно, второстепенныхъ, мѣстныхъ). Исторія, которой насъ учили, была исторія благополучія и прославленія русской мудрости, величія, мужества и доблести. Оканчивалась она царствованіемъ императрицы Екатерины II, а все послѣдующее время представлялось намъ въ видѣ туманнаго пятна съ большимъ вопросительнымъ знакомъ».

Бунтъ Разина и Пугачевщина скрывались, очевидно, ради крѣпостного права, составлявшаго фундаментъ системы. Почиталось удобнымъ замалчивать неприятыя историческіе факты, порожденные общественнымъ строемъ, въ общихъ чертахъ еще живымъ. Однако, дѣло двусмысленнаго отношенія къ историческому знанію не ограничивалось этимъ спеціальнымъ примѣненіемъ приѣма, напоминающаго манеру страуса прятать голову и тѣмъ убѣждать себя въ отсутствіи опасности. «Арсеналъ нашихъ знаній, особенно общественныхъ, былъ очень скуденъ, — говоритъ Шелгуновъ. Было извѣстно, что на свѣтѣ существуетъ Франція, король которой, Людовикъ XIV говорилъ: «государство — это я» и за это былъ названъ великимъ; знали, что въ Германіи, и въ особенности въ Пруссіи, солдаты очень хорошо маршируютъ; на-

конецъ, краугольное знаніе заключалось въ томъ, что Россія страна самая большая, богатая и сильная, что она служитъ «житницей» Европы и, если захочетъ, то можетъ оставить Европу безъ хлѣба, а въ крайности, если вынудятъ, то и покорить всѣ народы».

Вотъ что зналъ средній русскій образованный человѣкъ. Намъ, позже выступившимъ въ жизнь, трудно себѣ и представить, какая страшная, зіяющая пустота должна была раскрыться передъ умами людей, знавшихъ это и только это, когда крымскія неудачи и, наконецъ, паденіе Севастополя, послѣдовавшія за колоссальнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ родной страны, показали, что «краугольное знаніе» есть заблужденіе. А это ошеломляющее открытіе было чревато многими другими, подобными-же. И, наконецъ, вся такъ хорошо прилаженная, такая стройная, такая, повидимому, прочная система оказалась однимъ громаднымъ, сплошнымъ заблужденіемъ. Я знаю, что нынѣ многіе вновь возвращаются къ этимъ заблужденіямъ и видятъ въ нихъ истину, какъ будто исторія и не давала намъ своихъ страшныхъ уроковъ. Пусть. У насъ теперь рѣчь идетъ не о существѣ дѣла, а о состояніи умовъ тридцать — тридцать пять лѣтъ тому назадъ. Тогда русскіе люди фатально должны были признать заблужденіемъ все то, что въ предшествовавшую эпоху стояло въ всякихъ сомнѣніяхъ. Такъ должно было быть по логикѣ событій, такъ и было въ дѣйствительности. Кругомъ, куда ни взглянешь, оказалось пустое пространство, въ которомъ надо строиться за-ново...

Страшное дѣло строиться въ пустынѣ. Сколько предстоитъ блужданій, напрасной траты силъ, сколько риску и опасностей! Но великое счастье людей шестидесятыхъ годовъ, счастье, которому могутъ позавидовать всѣ послѣдующія поколѣнія, состояло въ томъ, что у нихъ была путеводная звѣзда, сіявшая ослѣпительно яркимъ блескомъ идеала и, въ то-же время, указывавшая обязательную практическую задачу, подлежащую немедленному рѣшенію. Эта путеводная звѣзда называлась «освобожденіе крестьянъ». Такіе великіе моменты рѣдки въ исторіи, это ея свѣтлые праздники, но за то же они отражаются на всѣхъ сторонахъ жизни общества, которому выпали на долю, и, какъ благодатный дождь послѣ засухи, вливаютъ жизнь всюду, гдѣ ея осталось хоть малое, хоть чахлое зерно. Чтобы достойно опѣнить положеніе русскаго общества послѣ паденія Севастополя, сравнимъ его съ положеніемъ Франціи послѣ Седана. Обѣ страны вынесли тяжкія несчастія, обѣ получили жестокіе уроки, обидные для національнаго самолюбія, но отрезвляющіе и вынуждающіе сосредоточиться на реформахъ обветшалаго общественнаго строя. Но Фран-

ція должна была еще пережить залитое потоками крови междоусобіе и доселѣ не имѣть опредѣленной, концентрированной задачи, въ которой высокія требованія идеала сочетались-бы съ общепризнанною возможностью и необходимостью немедленнаго практическаго осуществленія. Безъ сомнѣнія, и во Франціи, какъ во всякой цивилизованной странѣ, живутъ свѣтлые и высокіе общественные идеалы, способные окрылять мысль и чувство, но и объ существѣ ихъ, и о своевременности ихъ реализаціи идутъ споры. Есть у Франціи и такіе задачи, которыя сейчасъ достаточно назрѣли въ общемъ сознаніи для пракческаго осуществленія, но между ними нѣтъ такой, отъ величія которой захватывало-бы духъ. У насъ такая задача была: освобожденіе миллионныхъ рабовъ; освобожденіе, возможность и необходимость котораго сразу стали для всѣхъ ясны, хотя одни готовились встрѣтить его съ ликоваціемъ, а другіе съ трепетомъ и скрежетомъ зубныхъ. Если оставить въ сторонѣ этихъ трепещущихъ и скрежещущихъ, которымъ было, конечно, не весело, то огромность счастья жить въ такое время трудно даже опѣнить. И вотъ почему такъ скоро прошли печаль о крымскихъ потеряхъ и стыдъ за крымскій позоръ. И вотъ почему не страшно было строиться въ пустынѣ за-ново. Работа предстояла многосложная и трудная. Неотложность собственно юридическаго факта освобожденія не подлежала никакому сомнѣнію, и развѣ только какія-нибудь Коробочки, заплесневѣвшія въ своихъ гнѣздахъ, питали смутную надежду, что авось Богъ пронесетъ грозу. Но экономическая сторона дѣла, вопросъ аграрный, финансовый, самыя формы освобожденія, вопросъ будущаго устройства крестьянъ,—все это еще подлежало рѣшенію и допускало различныя рѣшенія, въ числѣ которыхъ были и такіе, которыя могли-бы овести «на нѣтъ» самыя существенныя стороны реформы. И разработкою этихъ сложныхъ вопросовъ далеко еще не ограничивалась умственная пища, предложенная русскому обществу великимъ историческимъ моментомъ. Какъ уже сказано, крѣпостное право составляло фундаментъ всей системы, осужденной исторіей на смерть. Его духъ, его образъ и подобіе отражались и во всемъ морѣ государственной жизни, и въ каждой малой каплѣ составляющихъ его водѣ. Отношеніе государства къ личности и ко всѣмъ функциямъ умственной, нравственной, политической, промышленной, гражданской жизни, отношенія начальства къ подчиненнымъ, суда и слѣдствія къ преступнику, мужей къ женамъ, отцовъ и воспитателей къ дѣтямъ,—все было окрашено тѣмъ-же цвѣтомъ. Поэтому обществу и выразительницѣ его нуждъ,

желаній и упований — литературѣ приходи-лось выработать цѣлое новое міросозерца-ніе, которое обнимало-бы и и отвлеченные во-просы теоріи, и насущные вопросы практики. Дѣло трудное, но оно оказалось по плечу обществу и литературѣ.

Неумные и злобные люди, слишкомъ крѣп-ко памятующіе какую-нибудь свою личную обиду отъ толчка, даннаго русскому обществу въ шестидесятыхъ годахъ, или сами побывавшіе въ этомъ водоворотѣ, но не выдержи-вавшіе, а потому страдающіе, подобно боль-нинству ренегатовъ, близорукостью, эти не-умные и злобные люди часто хватаются за ка-кую-нибудь частную ошибку или увлеченіе шестидесятыхъ годовъ и празднуютъ по это-му случаю легкую побѣду. Побѣда столь-же легкая, сколько и не лестная. Если-бы у этихъ людей было немножко побольше ума или немножко поменьше злобы, они поняли-бы, что эти частныя ошибки и увлеченія должны быть поставлены на счетъ не шестидесятымъ годамъ, а предшествовавшей эпохѣ. Она под-готовила и даже прямо создала ту пустоту, въ которой шестидесятымъ годамъ пришлось строиться за-ново, и если отъ нея сохрани-лись матеріалы, которые можно было утили-зировать въ новомъ строѣ, то сохранились они отнюдь не благодаря, а напротивъ, какъ разъ вопреки ей. Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, вся такъ называемая плеяда знаменитыхъ бел-летристовъ сороковыхъ годовъ даже славяно-филы — все это было не ко двору въ свое вре-мя, все это едва терпѣлось въ урѣзанномъ видѣ, а иногда и совсѣмъ не терпѣлось. Ме-муары современниковъ сообщаютъ такіа, под-часъ комическія, но въ общемъ глубоко тра-гическія подробности о положеніи русской кри-тической мысли въ теченіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, что можно удивляться, какъ она сов-сѣмъ не атрофировалась. И, во всякомъ слу-чаѣ, при этихъ условіяхъ удивительно не то, что въ шестидесятыхъ годахъ были ошибки и увлеченія. Когда ихъ не было? Они, вѣдь, пожалуй, и теперь, въ наше безошибочное время, найдутся. Удивительно, напротивъ, что и общія черты, и многія частности зарабо-таннаго въ шестидесятыхъ годахъ міросозер-цанія доселѣ подлежатъ только дальнѣйшему развитію, примѣнительно къ новымъ ослож-неніямъ жизни и къ поступательному ходу исторіи. Удивительно то, что не было ни гро-ша и вдругъ сталъ алтынъ. Это удивитель-ное явленіе лишь отчасти объясняется лич-ными достоинствами людей, выступившихъ къ шестидесятымъ годамъ на арену обществен-ной дѣятельности. Коренное-же его объяс-неніе лежитъ въ удивительныхъ свойствахъ задачи, развернувшейся передъ обществомъ. Ныѣшнему даже очень чуткому молодому человѣку надо сильно напрячь свою мысль,

чтобы вполне проникнуться потрясающимъ смысломъ этихъ двухъ словъ: «освобожденіе крестьянъ». Прекращеніе возмутительнаго си-стематическаго, правомѣрнаго насилія надъ милліонами человѣческихъ существъ; превра-щеніе милліоновъ живыхъ вещей, подлежа-щихъ куплѣ, продажѣ, залогу, обмѣну и проч. въ милліоны людей; осуществленіе вѣковой мечты народной; конецъ вѣковымъ стонамъ, слезамъ и проклятіямъ — все здѣсь огромно даже въ чисто количественномъ отношеніи: вѣка, милліоны. И, чтобы не выходить изъ области количествъ, припомнимъ, что всѣмъ этимъ вѣкамъ и милліонамъ итогъ былъ под-веденъ въ четыре года (1857—1861).

Бываютъ эпохи, когда великія задачи, по-жалуй, даже ясно сознаваемые, представля-ются чѣмъ-то въ родѣ журавля въ небѣ: когда-то еще его поймаетъ! А въ ожиданіи можно и позѣвать, любуясь на него, и всякими дру-гими, не имѣющими къ нему никакого отно-шенія, дѣлами заняться, такъ что идеаль самъ по себѣ, а жизнь тоже сама по себѣ. Бываютъ другія эпохи, которыя суть людямъ прямо синицу въ руки, и хотя синица птица завѣ-домо малая, но люди подкупаются ею и жи-вуть со дня на день малою и скудною жизнью, вполне, однако, довольные. Если продолжитель-ное созерцаніе журавля въ небѣ можетъ приу-чить мысль къ слишкомъ отвлеченному па-ренію и безплодному идеальничанію, отлич-но уживающемуся съ самыми разнообразными прохожденіями жизни *ici bas*, то синица въ ру-кахъ грозитъ черствымъ самодовольствомъ и узкою практичностью въ предѣлахъ вершковъ и золотниковъ. Бываетъ, однако, и такъ, что ни журавля въ небѣ, ни синицы въ ру-кахъ, а одно только тоскливое сознаніе отсут-ствия какой-бы то ни было точки приложе-нія для силъ. Такъ было у насъ въ эпоху, предшествовавшую освобожденію, когда, на-примѣръ, И. Аксаковъ съ горечью воскли-калъ: «разбейтесь, силы, вы не нужны!» И вслѣдъ затѣмъ эти ненужныя, гонимыя силы понадобились для осуществленія грандіозной задачи, соединявшей въ себѣ всѣ выгоды журавля въ небѣ со всѣми выгодами синицы въ рукахъ, не имѣя неудобствъ того и другого. Кто хочетъ понять характеръ и значеніе шести-десятыхъ годовъ, долженъ прежде всего оста-новиться на этомъ необыкновенно счастли-вомъ и чрезвычайно рѣдкомъ въ исторіи со-четаніи идеальнаго съ реальнымъ, головокру-жительно-возвышеннаго съ трезво-практиче-скимъ. Но прежде, чѣмъ войти въ нѣкоторыя подробности этой коренной черты всей работы шестидесятыхъ годовъ, черты, наложившей свою печать и на нравственные фізіономіи дѣятелей того времени, уяснимъ себѣ еще нѣ-которыя обстоятельства.

II.

Дойдя въ своихъ воспоминаніяхъ до 1859 г., Шелгуновъ пишетъ: «Съ этого года мои личныя воспоминанія получаютъ другой характеръ. Я вступаю въ сношенія съ людьми, память о которыхъ связана съ лучшими годами моей жизни. И какая-же это память, какая благоговѣйная память и какъ она дорога мнѣ! Самая широкая гуманность и великодушныя чувства нашли въ этихъ людяхъ лучшихъ своихъ поборниковъ. Если у меня, старика, у котораго уже нѣтъ будущаго, бываютъ еще теплыя и свѣтлыя минуты въ жизни, то только въ воспоминаніяхъ о нихъ».

Это благоговѣйное отношеніе не мѣшаетъ, однако, Шелгунову понимать, что дѣло было не въ личныхъ достоинствахъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ, а, главнымъ образомъ, въ условіяхъ историческаго момента, которые выдвинули на авансцену большіе умы, великодушныя сердца, крупныя таланты. Но тѣ же условія указали работу и менѣе одареннымъ, зажгли энтузіазмъ въ равнодушныхъ, придали силы слабымъ, просвѣтили темныхъ, поддерживали колеблющихся. Конечно, званыхъ было много, а избранныхъ, какъ и всегда, оказалось, въ концѣ-концовъ, мало. Конечно, энтузіазмъ равнодушныхъ, силы слабыхъ, равноволеіе многихъ колеблющихся, просіяніе многихъ темныхъ не несли въ себѣ залоговъ значительной прочности. Отнюдь не всѣ, разбуженные и притрѣтые историческимъ солнцемъ, могли вполнѣ и окончательно, на всю жизнь, къ нему приспособиться, такъ какъ прошлое ихъ слишкомъ мало для этого готовило, вѣрнѣе готовило совсѣмъ къ другому, а, въ концѣ-концовъ, не приготовило ни къ чему.

По справедливому замѣчанію Шелгунова, система Николаевской эпохи, не смотря на свою стройность, законченность и кажущуюся прочность, сама въ себѣ носила задатки собственнаго разрушенія. Требуя повиновенія (и предоставляя приказывать), система, собственно говоря, только на этомъ единственномъ пунктѣ и вторгалась въ душу. Что тамъ, въ этой душѣ, совершалось помимо формальнаго исполненія приказанія, до этого никому никакого дѣла не было. И потому тамъ совершалось очень разное и подчасъ совсѣмъ неожиданное, проникавшее путемъ безчисленныхъ, неуловимыхъ случайныхъ вліяній. Система воспитывала приказывающе-повиновующіеся аппараты, которые ни на что другое не были годны. Но, при всѣхъ своихъ стараніяхъ и при всей своей послѣдовательности, она не могла закупорить всѣ щели, сквозь которыя доносилось до насъ дыханіе европейской жизни, не могла также совершенно заглушить

естественное, почти физическое тяготѣніе человека къ свѣту. Однимъ грубая и жестокая дѣйствительность говорила сама за себя, другіе прилѣплялись къ европейской мысли, хотя-бы урѣзанной и профильтрованной. Тамъ и сямъ, съ огромными трудностями, подъ давленіемъ всяческихъ каръ, угрозъ и подозрѣній, пробивались всетаки ростки самостоятельной жизни и критической мысли, которые система могла косить и опять косить, но которые она была бессильна вырвать съ корнями. Да она объ этомъ и не думала. Гордая своею художественною законченностью, система не добивалась чьего-бы то ни было уваженія, любви, сознательной преданности, она довольствовалась страхомъ и формальнымъ исполненіемъ приказаній. «Не разсуждай, а исполняй!»—требовала система, требовала жестоко, неумолимо, не принимая въ соображеніе никакихъ обстоятельствъ времени, мѣста и образа дѣйствія. И потому случалось одно изъ двухъ: или душа опустошалась совершенно, превращалась въ пустыя рамки, катеты угловъ которыхъ состояли изъ приказанія и повиновенія и которыя не заключали въ себѣ никакой картины, никакого образа и подобія; или-же «разсужденіе и, вообще, внутренняя жизнь складывалась безъ всякаго вліянія со стороны системы: ей нечѣмъ было вліять. Отъ разнообразныхъ условій личной жизни каждого зависѣло, останутся ли пріуготовленные для всѣхъ рамки совершенно пустыми, или-же чѣмъ нибудь наполнятся, чѣмъ именно,—это было опять—таки дѣломъ разныхъ случайностей. Понятно, что рамки сплошь и рядомъ не выдерживали чуждаго содержанія и лопались. Система въ такихъ случаяхъ сердилась и карала, а когда рамки оставались пустыми,—она была довольна: все, значить, въ порядкѣ, все на своемъ мѣстѣ. На самомъ дѣлѣ, однако, было не такъ: не все на своемъ мѣстѣ было, а просто ничего не было. Ошибка системы,—ошибка, часто повторяющаяся въ исторіи и составляющая, повидимому, даже необходимую принадлежность наиболѣе мрачныхъ ея періодовъ,—состояла въ увѣренности, что опустошенные души являются лучшею окорою существующаго порядка. Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ. Безспорно, всегда найдется не мало хорошо выдрессированныхъ автоматовъ, которые даже лягутъ косями «безъ размыслиній, безъ борьбы, безъ думы роковой», когда имъ прикажутъ лечь. Такихъ и воспитывала система, но она также должна была породить, и, дѣйствительно, породила, множество такихъ пустопорожнихъ людей, которые, подобно пустымъ сосудамъ, лежащимъ на берегу рѣки, готовы наполниться всѣмъ, что донесетъ до

нихъ волна въ половодье. Шестидесятые годы были настоящимъ весеннимъ половодьемъ, и много пустыхъ сосудовъ наполнилось, чтобы вслѣдъ затѣмъ, конечно, опять опорожниться, но въ ту-то минуту, въ самый моментъ половодья, они явились ярыми сторонниками новаго теченія и ярыми врагами породившей ихъ системы, точно мстя ей за опустошеніе своей души. На самомъ дѣлѣ ни сознанія своей опустошенности, ни сознательнаго усвоенія новыхъ идей тутъ, конечно, не было; было только стадное увлеченіе и все та-же привычка повиноваться, не разсуждая, хотя и формы, и характеръ повиновенія рѣзко измѣнились. Таковы обычные результаты систематическаго опустошенія души: при первомъ удобномъ случаѣ жертвы опустошенія съ чрезвычайною легкостью проникаются враждебными системѣ элементами. Жестоко ошибаются тѣ, кто ликуетъ, при видѣ тиши и глади, господствующихъ въ мрачные историческіе періоды всеобщаго обезличенія и загона критической мысли. Въ этой тиши, подъ всеподавляющимъ гнетомъ дисциплины, копится матеріалъ, совершенно несоответствующій близорукимъ ожиданіямъ. Тихо-то оно тихо, но система, воспитывающая барановъ, не должна-бы собственно удивляться, когда въ одинъ прекрасный день все стадо шархнетъ въ сторону. Такъ и было въ шестидесятыхъ годахъ, къ великому, но совершенно неосновательному удивленію близорукихъ людей. Само собою разумѣется, однако, что, количественно усиливъ своимъ персоналомъ новое теченіе и сослуживъ ему извѣстную службу въ отрицательномъ отношеніи, пустопорожніе люди не были его украшеніемъ ни въ смыслѣ послѣдовательности, ни въ смыслѣ прочности.

Въ «Воспоминаніяхъ» Шелгунова есть интересная глава — «Переходные характеры». Здѣсь намѣчено нѣсколько фигуръ изъ тѣхъ, въ комъ новыя вѣянія сочетались въ разныхъ формахъ и количествахъ съ наслѣдіемъ прошлаго. Не смотря, впрочемъ, на интересъ, представляемый этою маленькою портретною галлереей (между прочимъ, портретъ покойнаго издателя-редактора журналовъ «Русское Слово» и «Дѣло», Благосвѣтлова, написанъ бѣгло, но мастерски), я не на нее хочу обратить особенное вниманіе читателей, а на главу XVI-ю, въ которой идетъ рѣчь о Кельсіевѣ. Человѣка этого, по выраженію Шелгунова, «задѣла новая волна, столкнула со стараго берега, и снѣ съ головой кинулся въ невѣдомое для него море, выплыть изъ котораго у него, однако, не хватило силъ». Кельсіевъ, какъ извѣстно, увлекался крайними социалистическими и революціонными идеями,

эмигрировалъ изъ Россіи, хотя Герценъ и Огаревъ удерживали его отъ этого рискованнаго шага, велъ дѣятельную революціонную агитацію, для чего съ большою смѣлостью пріѣзжалъ съ фальшивымъ паспортомъ въ Россію, былъ чѣмъ-то вродѣ атамана некрасовцевъ въ Добруджѣ и т. д.; затѣмъ разочаровался или ослабѣлъ или, вообще, измѣнилъ образъ мыслей и явился въ Россію съ повинной головой. Получивъ прощеніе, онъ «издалъ брошюру, возмущившую всѣхъ рѣзкостью перехода отъ одного берега къ другому, цинизмомъ покаянія и своимъ неприличнымъ тономъ».

Покойный Салтыковъ неоднократно печатно утверждалъ, что на могилѣ ренегата непремѣнно долженъ быть водруженъ осиноый колъ. Какъ общее правило, такое порамленіе могилы ренегата рѣшительно несправедливо. Если ренегатъ отступился отъ лжи и прилѣпился къ истинѣ, такъ за что же его осиновымъ коломъ къ землѣ притгождать? Хорошо было говорить Салтыкову, сразу вступившему на тотъ путь, который онъ до конца дней своихъ считалъ путемъ истины. Но не всѣмъ выпадаетъ на долю такое счастье; потому что это въ самомъ дѣлѣ большое счастье. Благо всякому, знающему, что въ прошломъ у него нѣтъ ничего такого, отъ чего нужно-бы было теперь со стыдомъ или омерзѣніемъ отворачиваться, при воспоминаніи о чемъ приходилось-бы краснѣть. Но, какъ всему человѣчеству истина дается цѣною многихъ и многихъ заблужденій, изъ-за которыхъ льются иной разъ цѣлые потоки слезъ и крови, такъ и каждому отдѣльному человѣку, по крайней мѣрѣ, простиительно заблуждаться и потомъ, сознавъ свои заблужденія, отступить отъ нихъ. Хуже бы было, если бы онъ, сознавъ заблужденіе, все-таки, остался при немъ, а вѣдь тогда онъ не былъ-бы ренегатомъ. Онъ былъ-бы лицемеръ, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ не желающій открыть свои карты, для чего-то носящій маску. И если человѣкъ добросовѣстно искалъ истины и такъ-же искренне примкнулъ къ своему новому убѣжденію, какъ искренне держался прежняго, — кто рѣшится прибавить осиноый колъ къ тѣмъ мукамъ стыда за свое прошлое, которыя такой несчастный человѣкъ долженъ испытывать? А между тѣмъ, большинство читателей, навѣрное, повторяло за Салтыковымъ: да, осиноый колъ! Такое всеобщее презрѣніе къ ренегатамъ объясняется не самымъ фактомъ отступничества, а той неприглядной обстановкой и тѣми неизменными формами, въ которыхъ оно, въ большинствѣ случаевъ, совершается. Самый обыкновенный случай тотъ, что человѣкъ не измѣняетъ свои убѣжденія, а просто продаетъ ихъ, если не за деньги,

такъ за положеніе, за спокойствіе и т. п. Привлекательнаго въ этомъ, конечно, мало, и немудрено, что сами покупщики презрительно относятся къ такому товару. Но бываетъ еще и такъ, что ренегаты, вмѣсто того, чтобы откровенно признаться въ своей слабости и затѣмъ стыдливо затеряться въ толпѣ, занимаетъ воинствующее положеніе и цинически оплевываетъ все, чему поклонялся. Цинизмъ состоитъ тутъ опять-таки не въ томъ, что человекъ громогласно и горячо отстаиваетъ свои новыя убѣжденія и столь же горячо и громогласно порицаетъ свои прошлыя заблужденія. Это — законнѣйшее право всякаго человека, имѣющаго какія-бы то ни было убѣжденія, но, во-первыхъ, дѣйствительно, имѣющаго, а не торгующаго ими, а, во-вторыхъ, тутъ есть одинъ приемъ, по которому можно почти безошибочно отличить ренегата, въ презрительномъ смыслѣ этого слова, даже въ томъ случаѣ, когда прямыхъ и ясныхъ доказательствъ его нравственной низменности на-лицо нѣтъ.

Исторія русской литературы имѣетъ въ запасѣ образчикъ истиннаго мученика своихъ убѣжденій, которому случалось измѣнять ихъ, но которому, однако, благодарное потомство воздвигнетъ, вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ, монументъ, а не осиновый колъ. Я говорю о Бѣлинскомъ, о «неистовомъ Виссаріонѣ», съ страшною душевною болью вспоминая о своихъ прошлыхъ заблужденіяхъ. Въ фактахъ этого рода, извѣстныхъ изъ переписки Бѣлинскаго и изъ воспоминаній о немъ, особенно бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Бѣлинскій говоритъ: «я писалъ гнусности, мерзости, чушь» и т. п., и нигдѣ не подѣлите вы у него и слѣдовъ жалкой, плаксивой и предательской ноты: меня или насъ соблазнили, увлекли такіе-то и такіе-то преступные люди. Эта черта дорого стоитъ. Вы видите передъ собой мужественнаго человека, который принимаетъ на себя полную отвѣтственность за то, что онъ говорилъ, писалъ или дѣлалъ, а не сваливаетъ ее на другихъ. Цинизмъ настоящихъ, заслуживающихъ презрѣнія ренегатовъ состоитъ, именно, въ томъ, что они стараются, по возможности, облить себя лично, представляясь жертвами и умалчивая о томъ, сколько жертвъ они сами создали, сколько людей они сами склонили къ тому, что они нынѣ объявляютъ заблужденіемъ. Этого не стыдятся люди въ родѣ Кельсиева, аглавшіе видную, въ своемъ родѣ, роль и которыми поетому минорный плаксивый тонъ особенно не присталъ. Бываютъ, впрочемъ, экземпляры гораздо еще непригляднѣе, чѣмъ Кельсievъ, но масса отступаетъ не такъ крикливо. «Двойственный типъ, къ которому принадлежатъ Кельсievъ,—говоритъ Шелгу-

новъ,—не составляетъ рѣдкости, и именно у насъ, въ Россіи, но шестидесятыя годы выставили его въ количествѣ болѣе обыкновеннаго». И дагѣ: «Двойственный типъ, теряя постепенно свою бравурную и циническую окраску, принималъ все менѣе и менѣе яркій цвѣтъ и, увеличиваясь численно, становился, наконецъ, частью общественнаго мнѣнія. Такую часть общественнаго мнѣнія сформировали всѣ тѣ, которые приняли сначала участіе въ движеніи идей шестидесятыхъ годовъ, затѣмъ стали думать иначе и къ своей лучшей и самой яркой порѣ жизни начали относиться съ высокоуміемъ, называя шестидесятыя годы эпохой незрѣлаго увлеченія. Едва-ли однако эти люди имѣли и имѣютъ право обобщать въ себѣ все то время».

Еще бы! Кельсievъ облыжно называлъ себя «жертвой новой русской исторіи», тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ жертвой, именно, старой русской исторіи, образовавшей въ его душѣ пустоту, которая могла наполниться какимъ угодно содержаніемъ и потомъ опорожниться для новаго наполненія. Такихъ людей было не мало, но къ счастью, свѣтъ не клиномъ на нихъ сошелся. Благодаря тѣмъ естественнымъ прорѣхамъ въ системѣ, о которыхъ было говорено выше и черезъ которыя проникали разныя случайныя влиянія, съ трудомъ и съ огромными жертвами, но складывались все-таки извѣстныя умственные и нравственные традиции, складывались неистребимо прочно, можетъ быть, частью именно потому, что покупались очень дорогою цѣной. А тутъ засіяло историческое солнце. Не будемъ говорить о тѣхъ счастливицахъ, которые были къ шестидесятымъ годамъ уже готовыми людьми, съ запасомъ теоретическихъ знаній или житейской опытности, съ вполне сложившимися убѣжденіями и опредѣленною нравственною физиономіей. Возьмемъ одного изъ тысячъ, развивавшихся при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ. Возьмемъ Н. В. Шелгунова. «Такихъ, какъ я,—говоритъ онъ,—были десятки тысячъ людей, и принадлежали мы не къ той формаци, которая выросла изъ извѣстнаго московскаго кружка. О существованіи этого кружка и его идеяхъ мы даже не подозрѣвали».

Въ противоположность большинству людей пишущихъ свои воспоминанія, Шелгуновъ очень скупъ на чисто автобіографическія подробности, даже черезчуръ скупъ. Бросивъ мимоходомъ ту или другую этого рода черту, онъ торопится утопить ее въ какихъ-нибудь сближеніяхъ или въ какой-нибудь общей мысли и даже не доводитъ до конца; такъ что матеріаловъ для характеристики его личности мы, собственно говоря, не имѣ-

омъ или почти не имѣемъ, а пользоваться для этого своими собственными наблюденіями и почерпнутыми изъ личнаго съ нимъ знакомства соображеніями, я почитаю нескромнымъ. Есть, однако, въ воспоминаніяхъ одна именно мимоходомъ, вскользь брошенная подробность, которая, мнѣ кажется многое освѣщаетъ. Говоря о своемъ воспитаніи въ Лѣсномъ институтѣ, Шелгуновъ, между прочимъ, вспоминаетъ: «Запершись въ классѣ, мы передразнивали наше начальство, пѣли пародіи на тропари, солдатскія непристойныя пѣсни въ барковскомъ стилѣ (изъ какой казармы онѣ къ намъ попали—не знаю), декламировали трагедіи Баркова. Подобныя молебны, въ которыхъ я хотя и не принималъ прямого участія, но при которыхъ всегда присутствовалъ и даже подтигивалъ въ хорѣ, нисколько не помѣшали мнѣ потомъ плакать надъ библіей и мечтать сдѣлаться проповѣдникомъ».

Эти маленькія подробности хорошо характеризуютъ, какъ личность самого Шелгунова, такъ и многосложную сѣть случайныхъ вліяній, хорошихъ или дурныхъ, которыя съ разныхъ сторонъ пробивались подъ ровное, всепокрывающее чело дисциплины. Дисциплина не заботилась о водвореніи въ сердцахъ дисциплинируемыхъ какихъ-нибудь чувствъ, кромѣ чувства страха, или довольствовалась въ этомъ отношеніи холодными, чисто формальными изложеніями прописной морали, которыя, конечно, столь-же холодно и формально воспринимались. Тѣмъ горячѣе усвоивались вліянія стороннія, «не казенныя», имѣвшія извѣстную прелесть уже именно одною своею неказенностью. Однимъ въ этомъ отношеніи счастливилось, то-есть стороннія вліянія подбирались добрыя, другимъ—не счастливилось. Обстановка юнаго Шелгунова была не изъ счастливыхъ: на глазахъ у начальства все обстояло благополучно, а за глазами начальство осмѣивалось; изъ какихъ-то казармъ, невѣдомыхъ для дисциплины путями, заносились, въ видѣ контрабанды, разныя гадости и кощунства, и, безъ сомнѣнія, много молодыхъ душъ навсегда погибло въ этомъ двусмысленномъ и грязномъ омутѣ, а сгѣлая дисциплина была довольна: ея требованія исполнялись. Но иныхъ спасали опять-таки какія-нибудь случайности, счастливыя, но столь-же непредвидѣнныя системой, невѣдомыя ей или даже прямо ею преслѣдуемыя. Шелгуновъ былъ спасенъ благородствомъ и чистотою своей натуры. И онъ, мальчикомъ, купался въ грязныхъ топотахъ, но грязь не пристала къ нему. Онъ непркосновенно сохранилъ способность плакать чистыми слезами умиленія и мечтать о роли проповѣдника истины. И мечта исполнилась, потому что, что-же такое вся жизнь Шелгунова,

какъ не жизнь проповѣдника? Мечта исполнилась, благодаря шестидесятымъ годамъ, которые призывали къ дѣятельности, въ числѣ другихъ, и Шелгунова и навсегда опредѣлили его жизненный путь.

Мы видѣли ретивость, съ которою Шелгуновъ, разъ сознавъ пробѣлы своего школьнаго образованія, принялся ихъ пополнять. Съ такою-же ретивостью отдался онъ потомъ и дѣлу распространенія знаній. Очень въ этомъ отношеніи характеренъ приведенный выше поводъ происхожденія статьи: «Россія до Петра Великаго». Шелгуновъ написалъ ее потому, что принять близко къ сердцу поразительное незнаніе русской исторіи, обнаруженное достаточно великовозрастнымъ капитанъ-лейтенантомъ и членомъ суда по политическому дѣлу. Одна изъ его статей («Историческая сила критической личности») оканчивается такимъ діалогомъ: «Тутъ нѣтъ ничего новаго, я это зналъ и прежде,—скажетъ читатель.—И прекрасно, если ты зналъ это». Дескать, ты зналъ, такъ другой не зналъ, а, можетъ быть, тебѣ только кажется, что ты зналъ, а если и въ самомъ дѣлѣ зналъ, такъ ничего, повтори, лучше знать будешь. Любопытно, что одна изъ статей Шелгунова, посвященная обзору бѣдствій, принимаемыхъ человѣчеству рабствомъ, войнами и экономической неправдой, озаглавлена: «Убыточность незнанія». И хотя въ самомъ концѣ статьи пробивается нѣкоторый скептицизмъ по отношенію къ всеисцѣляющей и всеутѣшающей роли знанія, но ключъ къ статьѣ все-таки очень вѣрно указанъ заглавіемъ: «Убыточность незнанія», къ каковой убыточности сводится большинство бѣдъ и золъ. Просвѣтить, научить темныхъ—такова, прежде всего, задача. Это надо имѣть въ виду при чтеніи многихъ статей Шелгунова, писанныхъ въ шестидесятыхъ годахъ и могущихъ показаться иному нынѣшнему читателю нѣсколько многословными и элементарными. Что-же касается вѣры въ силу знанія, вѣры, которая опять-таки можетъ показаться нынѣшнему читателю нѣсколько преувеличенной, то она вполне объясняется обстоятельствами времени. Въ ту пору задача, стоявшая передъ обществомъ, представлялась столь непререкаемо ясною, что людямъ въ родѣ Шелгунова, казалось, что только недостатокъ знаній и можетъ препятствовать усвоенію и разрѣшенію ея: такъ ярко горѣло солнце на историческомъ небѣ, что всякое своекорыстіе и всякіе противообщественныя личныя интересы должны растаять сами собою, какъ только масса узнаетъ то, чего она не знала, а она не знала, можно сказать, ничего. Отсюда это множество популярныхъ статей по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, наполненныхъ иногда одними чисто

фактическия свѣдѣніями. И, безъ сомнѣнія, въ свое время, статьи эти открывали множеству читателей совершенно новые горизонты и сослужили большую и хорошую службу, претворившись въ общее сознаніе и, такъ сказать, распустившись тамъ. Если онѣ теперь кажутся элементарными, то эта участь не только компилятивныхъ статей, предпринятыхъ съ цѣлью популяризаціи тѣхъ или другихъ знаній, а до извѣстной степени и руководящихъ работъ, отмѣченныхъ печатью исключительныхъ дарованій. Говоря о знаменитой диссертациі «Объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности», Шелгуновъ справедливо замѣчаетъ: «Теперьшніе читатели могутъ замѣтить, что въ мысляхъ, высказанныхъ въ диссертациі, о которой идетъ рѣчь, нѣтъ ничего новаго; они могутъ сказать: «мы все это знаемъ» (миѣ случилось встрѣчать такихъ). Да, вѣрно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже и не узнавали ни откуда, вы, просто, выросли на литературѣ и критикѣ, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этимъ путемъ, впервые указаннымъ ей тридцать лѣтъ назадъ».

Случайно подвернувшимся сопоставленіемъ компилятивныхъ и популяризирующихъ статей Шелгунова съ руководящей диссертацией Чернышевскаго, я отнюдь не хочу сказать, что Шелгуновъ только компиляторъ; хотя несомнѣнно, что исключительно блестящіе таланты, рядомъ съ которыми приходилось работать Шелгунову въ старые годы, заслонили его. И едва-ли найдется много людей, которые принимали-бы выпавшую имъ на долю вторую роль съ такимъ спокойнымъ достоинствомъ, съ такимъ искреннимъ и открытымъ уваженіемъ къ первымъ номерамъ, какъ Шелгуновъ.

III.

Если-бы настоящее изданіе было полнымъ собраніемъ сочиненій Шелгунова, такъ и то оно не представляло бы собою всей суммы работы, которую сдѣлалъ этотъ человекъ. Въ качествѣ члена редакціи распространенныхъ и имѣвшихъ большой успѣхъ журналовъ, онъ долженъ былъ принять на себя массу чернаго труда, и этого труда не выразить никакими цифрами, равно какъ не оцѣнить того, что онъ сдѣлалъ, пропустивъ въ обращеніе и не допустивъ до обращенія тотъ или другой проходившій черезъ его руки литературный матеріалъ разныхъ достоинствъ. Эта сторона его литературной дѣятельности такъ навсегда и останется неясною для публики. Но настоящее изданіе не есть полное собраніе сочиненій. Шелгуновъ въ теченіе многихъ лѣтъ велъ, такъ называемое «внутрен-

нее обозрѣніе» въ журналахъ (оно называлось у него, помнится, «домашнею лѣтописью»), и всѣ эти обозрѣнія не вошли въ настоящее изданіе. Не вошли и много другихъ, отдѣльныхъ статей самаго разнообразнаго содержанія. Наконецъ, многія изъ статей, вошедшихъ въ изданіе, сильно сокращены авторомъ. Я не знаю, тѣмъ онъ руководствовался при выборѣ и сокращеніи статей, но нѣкоторые изъ проблемъ должны помануть для обрисовки литературной фizioноміи автора.

Въ изданіе не вошла, напримѣръ, статья 1863 г.: «Земля и органическая жизнь». Это пересказъ «Естественной исторіи мірозданія» и «Физиологическихъ писемъ» Фогта и «Физиологическихъ картинъ» Бюхнера. Это, по нятно, — популяризирующій пересказъ популярныхъ книгъ, имѣющихся въ русскомъ переводѣ, конечно, и не стоило перепечатывать въ собраніи сочиненій. Но, можетъ быть, у автора были еще другіе, спеціальныя резоны для исключенія этой статьи. Такъ можно думать, судя по характеру нѣкоторыхъ сокращеній въ другихъ статьяхъ. Напримѣръ, въ статьѣ «Убыточность незнанія» уничтожено начало и почти все «заключеніе», отъ котораго осталось лишь нѣсколько строкъ, присоединенныхъ къ предидущей главѣ. И тамъ, и тутъ, то-есть и въ началѣ и въ концѣ статьи уничтожены разсужденія о значеніи естественныхъ наукъ. Повторяю, миѣ неизвѣстны мотивы этихъ измѣненій, но, систематически проведенныя черезъ все изданіе, они затушевываютъ одну характерную черту, свойственную не Шелгунову только, а всѣмъ шестидесятымъ годамъ. Черта эта — увлеченіе естествознаніемъ.

Въ статьѣ «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи» введеніе сильно сокращено, причемъ выпущено кое-что опять-таки чрезвычайно характерное и для Шелгунова лично, и для шестидесятыхъ годовъ вообще. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что статья «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи», напечатанная въ 1861 г. въ «Современникѣ», есть въ своемъ родѣ первая по времени. Потомъ у насъ было много статей и цѣлыхъ книгъ о положеніи рабочаго класса въ Европѣ, но починъ этой литературѣ положенъ былъ Шелгуновымъ. Позволю себѣ привести здѣсь нѣсколько строкъ изъ исключеннаго авторомъ:

«Такіе господа тяготятъ всѣми силами къ далеку отъ нихъ лежащей Европѣ; только въ ея выработанной жизни, въ ея вышней привлекательности видятъ они задачу своихъ стремленій; далекій идеалъ для Россіи... Людей этого сорта, по самой натурѣ способныхъ составлять большинство, разводитъ у насъ все больше и больше; они считаютъ себя избранными просвѣщать Россію, и они учатъ насъ тому, что больше

всего вредно намъ и менѣе всего намъ нужно... Рядомъ съ силой и здоровьемъ Европа нарастила на себѣ много желваковъ, много дикаго мяса, потратила много силъ, чтобы создать то, что не только совсѣмъ не нужно для ея здоровья, а напротивъ, вытягиваетъ ея свѣжіе и здоровые соки... Европа проснулась, она поняла свою болѣзнь; проснулась и Россія; но неужели-же она проснулась для того, чтобы сознательно идти тѣмъ путемъ, которымъ Европа шла безсознательно?.. И откуда это добродушное стремленіе спасти своего ближняго, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное послѣдствіе на сосѣда?

Дѣло тутъ идетъ о европейскихъ буржуазно-экономическихъ теоріяхъ и соотвѣтственной экономической политикѣ, и хотя мысль, заключающаяся въ приведенныхъ строкахъ, проглядываетъ и въ нѣкоторыхъ другихъ статьяхъ Шелгунова, но ни въ одной изъ нихъ я не нашелъ ея въ столь ясной, опредѣленной формѣ. Не считаю поэтому нежелательнымъ восстановить вычеркнутое авторомъ; тѣмъ болѣе, что на этотъ разъ можно, кажется, догадываться о мотивахъ исключенія. Мы живемъ въ такое странное и трудное время, когда разные недоросли и перерослы (если можно употребить такое слово) съ печальною и, прямо скажу, глупою неосмотрительностью рвутъ всѣ литературныя традиціи и когда многое, еще недавно вполне ясное, истачивается червями всяческихъ недоразумѣній. Быть можетъ,—отнюдь, однако, не выдаю этого за достовѣрное,—Шелгуновъ поопасился тѣхъ недоразумѣній, которые по нынѣшнему времени могутъ породить приведенныя соображенія объ отношеніяхъ Россіи къ Европѣ. Когда-то мы были до такой степени увѣрены въ многообразныхъ преимуществахъ нашего отечества передъ Западною Европою, что понадобилась крымская трагедія съ ея севастопольскимъ финаломъ для нашего усмирненія. Но зато—какъ это обыкновенно въ такихъ случаяхъ бываетъ,—мы тотчасъ-же бросились въ другую крайность и готовы были пренебречь всѣмъ цѣннымъ, что у насъ было въ дѣйствительности, и пересадить къ себѣ Европу цѣликомъ, со всѣми ея, исторически сложившимися болячками. Противъ этого-то и протестуетъ Шелгуновъ. Но порывистый или вѣрнѣе,—гораздо вѣрнѣе,—обрывистый ходъ нашей исторіи привелъ насъ нынѣ опять къ тому же положенію влюбленнаго въ себя Нарцисса, мы опять такъ много и громко заговорили о чрезвычайныхъ преимуществахъ Россіи передъ Западною Европою, что опасенія Шелгунова (если таковыя были) положить лишнюю гирию на чашку вѣсовъ самовосхваленія—понятны. Вполнѣ уважая этотъ мотивъ, я думаю, однако, что тотъ отгѣнокъ литературы шестидесятыхъ годовъ, къ которому принадлежатъ Шелгуновъ, слиш-

комъ дорогъ для исторіи и слишкомъ цѣненъ самъ по себѣ, чтобы его можно было затушевывать ради соображеній о возможныхъ теперешнихъ недоразумѣніяхъ. На всякое чиханіе не наздравствуешься и всѣхъ кривотолковъ не избѣжишь. Но этого мало. Я увѣренъ, что внимательное, детальное изученіе, *sine ira et studio*, литературы шестидесятыхъ годовъ могло-бы значительно помочь намъ въ разборкѣ облегающихъ насъ нынѣ недоразумѣній и многія изъ нихъ просто устранить совсѣмъ, а иныя, по крайней мѣрѣ, разъяснить. Никакія увлеченія, никакія частныя ошибки, никакія другія пятна не могутъ компрометтировать общую фیزیономію тогдашней литературы и ея коренныя черты. Я разумѣю, конечно, не всю литературу шестидесятыхъ годовъ огуломъ,—и тогда всяко бывало,—а лишь тотъ ея отгѣнокъ, ту струю ея, въ которой полностью отразилось вышеуказанное счастливое сочетаніе идеальнаго съ реальнымъ; каковое сочетаніе представляетъ собою исключительно благоприятное условіе для усвоенія или самостоятельной выработки правды. Не къ преклоненію передъ этой литературой приглашаю я читателя, — мимоходомъ сказать, это противорѣчило-бы лучшимъ ея завѣтамъ,—а къ внимательному и добросовѣстному ея изученію. И тѣмъ хуже для тѣхъ, кто на основаніи поверхностнаго съ ней знакомства, иной разъ даже просто понаслышкѣ, высокомерно третируетъ ее, какъ пройденную ступень. Да, исторически, это—пройденная ступень; но, благодаря капризному ходу исторіи нашего умственного развитія, многіе изъ нынѣ дѣйствующихъ въ литературѣ и на другихъ поприщахъ до сихъ поръ еще не побывали на этой ступени и, сплошь и рядомъ, бываютъ фатально осуждены или на открытіе давно открытыхъ Америкъ, или на изложеніе идей, давно и основательно оданныхъ въ архивъ.

Работа шестидесятыхъ годовъ состояла, прежде всего, въ критическомъ пересмотрѣ всего наслѣдія до реформенной эпохи. Въ положительномъ смыслѣ наслѣдство сводилось къ тому, что предыдущимъ поколѣніямъ удалось, цѣною огромныхъ усилій и жертвъ, выработать вопреки господствовавшему строю жизни. Но въ пустотѣ, раскрывшейся въ послѣднемъ актѣ крымской трагедіи, имѣли обращеніе разныя иллюзіи и фикціи, на которыя существовалъ своего рода принудительный курсъ. Надо было дознать и указать ихъ дѣйствительную цѣнность. Въ этомъ отношеніи благоприятность условій историческаго момента сама собою бросается въ глаза, такъ какъ сама жизнь выступала, если позволительно такъ выразиться, въ роли практическаго критика тѣхъ

фикций и иллюзий. На берегах Альмы, Черной рѣчки, подъ стѣнами Севастополя жизнь безпопочно разрушала иллюзію нашего непреодолимого могущества, иллюзію закиданія прогнившей Европы русскими шапками. Литературѣ надлежало только идти вмѣстѣ съ жизнью. Такъ было и со многими другими иллюзіями, но мы пока остановимся на этой. Крымская война была страшнымъ, но отрезвляющимъ урокомъ, показавшимъ, что мы далеко не обладаемъ тѣми матеріальными и нравственными средствами, какія имѣются у западной Европы, и что прежде, чѣмъ пускаться во внѣшніе политическія авантюры, намъ нужно, хотя бы даже только въ виду этихъ самыхъ авантуръ, много поработать надъ своимъ внутреннимъ благоустройствомъ. По закону реакціи, мы ударились въ другую сторону, чему уже и въ Николаевскую эпоху были задатки въ лицѣ такъ называемаго западничества. Теперь, послѣ крымской войны, западническая идея вышла, такъ сказать, на улицу, овладѣвъ и совершенно заурядными людьми и не дюжинными умами, какъ показываетъ тогдашнее англоманство Каткова. Направленіе это выразилось отрицательно—самообличеніемъ въ разнообразнѣйшихъ формахъ беллетристики, публицистики, критики, поэзіи, историческихъ изслѣдованій, и положительно—преклоненіемъ передъ европейской наукой и европейскими порядками. Небольшая кучка славянофиловъ тщетно старалась плыть противъ этого стремительнаго теченія. Однако, тотъ отбѣнокъ литературы, къ которому принадлежалъ Шелгуновъ, и которому и понынѣ, главнымъ образомъ, усвоивается названіе литературы шестидесятыхъ годовъ, этотъ отбѣнокъ никогда не впадалъ въ крайности западничества и славянофильства. Въ принципѣ онъ устранилъ обѣ эти крайности, а если и по сей часъ можно услышать разговоръ о нихъ, какъ о живыхъ темахъ, то въ этомъ виноваты все тотъ-же обрывистый ходъ нашего умственнаго развитія, мѣшающій прочному установленію какихъ бы то ни было традицій. Можно довольно часто встрѣтить въ нынѣшней нашей печати утвержденіе, что литература шестидесятыхъ годовъ была западническою. Это—заблужденіе, зависящее не отъ непониманія, потому что дѣло слишкомъ ясно, а отъ незнанія: люди просто не знаютъ того, о чемъ они говорятъ.

Въ статьяхъ Шелгунова, сгруппированныхъ въ настоящемъ изданіи подъ рубрикой «историческихъ», читатель найдетъ, прежде всего, попытку разобраться въ различныхъ элементахъ европейской цивилизаціи, разложить смутное обобщеніе «запада» на его составныя части и оцѣнить ихъ съ

нѣкоторой высшей точки зрѣнія, съ которой одинаково хорошо видны и добро, и зло. Уже одинъ этотъ анализъ, одно это покушеніе на цѣльность «запада» показываетъ, что «западничества» тутъ нѣтъ и быть не можетъ. Разъ европейская цивилизація разложима и разложена на составныя элементы, изъ которыхъ одни признаны, а другіе отвергнуты, «западничеству», очевидно, нѣтъ мѣста, оно теряетъ всякій смыслъ и становится пустымъ словомъ безъ содержанія. Изобиліе многочисленныхъ отечественныхъ язвы, пуская для этого въ ходъ горячее слово и ядовитую насмѣшку, критику и исторію, поэзію и статистику, литература шестидесятыхъ годовъ отнюдь не отвергала все русское только потому, что оно русское, и не преклонялась передъ всѣмъ европейскимъ только потому, что оно европейское. Съ той идеально-реальной высоты, на которой она стояла, она могла свободно относиться ко всѣмъ явленіямъ, какъ русской, такъ и европейской жизни, и, подобно Мольеру, сказать о себѣ: *je prends mon bien partout où je le trouve*. Для наглядной характеристики этой драгоценной черты я и счелъ позволительнымъ возстановить вышеприведенныя строки изъ введенія къ статьѣ «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи», хотя, повторяю, въ менѣе рѣзкой и опредѣленной формѣ та-же самая мысль имѣется и въ другихъ статьяхъ Шелгунова. Эта готовность признать правду и отринуть неправду, откуда-бы она ни шла, есть однако, не эклектизмъ, лишенный всякаго оригинальнаго центра, а, именно, свободное отношеніе къ явленіямъ жизни.

Свобода не значить распущенность, свободное отношеніе къ явленіямъ жизни не значить распущенное отношеніе, слагающееся и измѣняющееся подъ давленіемъ смѣны мимолетныхъ впечатлѣній. Это—не свобода, ежели я ежеминутно могу оказаться во власти какой-нибудь непредвидѣнной комбинаціи обстоятельствъ. Флюгера на видъ очень свободны,—вертятся и вправо и влево, но вѣдь они повинуются малѣйшему дуновенію вѣтра, а когда «безоблачно, небо, нѣтъ вѣтру съ утра, — въ большомъ затрудненіи торчать флюгера: ужъ какъ ни гадаютъ, никакъ не добьются, въ которую сторону имъ повернуться». Свободное отношеніе къ явленіямъ жизни возможно, напротивъ, лишь тогда, когда въ человѣкѣ сложились убѣжденія, достаточно прочныя, чтобы противостоять временнымъ и случайнымъ дуновеніямъ, чтобы всякій фактъ, ничтожный, заурядный или крупный, радостный, возмутительный или безразличный, нашелъ свое мѣсто въ системѣ убѣжденій. Но что-же это значить: фактъ нашелъ свое мѣсто въ системѣ убѣжденій?

Это значитъ, во-первыхъ, что фактъ признанъ, какъ фактъ, и затѣмъ признанъ или отвергнутъ, какъ принципъ. Повидимому, это дѣло очень простое, но бываютъ обстоятельства, при которыхъ оно обращается въ очень непростое. Такъ напримѣръ, мы бываемъ склонны отрицать неприятный для насъ фактъ, то есть или отрицать самое его существованіе, или подкравливать его пріятнымъ цвѣтомъ, и иногда нужно большое мужество, чтобы признать фактъ во всемъ его нравственномъ безобразіи, во всей его обидности и неприятности. Это бываетъ даже съ фактами, вполне безразличными въ нравственномъ отношеніи: Галилей вынужденъ былъ отрицать несомнѣнный для него фактъ вращенія земли, потому что официальнымъ представителямъ мысли того времени было неприятно, обидно такое покушеніе на геоцентрическое пониманіе міра. Однако, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трудность признанія относится къ области фактовъ нравственного порядка. И здѣсь мало признать фактъ, надо еще оцѣнить его принципиальное значеніе, надо рѣшить, грубо выражаясь, хорошъ или дуренъ фактъ и почему, именно, хорошъ или дуренъ. Это тоже не всегда легко. Фактъ очень часто до такой степени придавливаетъ человѣческую мысль и чувство, что онъ не смѣютъ дать ему принципиальную оцѣнку и самого его, какъ онъ есть, во всей его грубости, возводить въ принципъ. Ниже мы еще встрѣтимся съ такимъ положеніемъ вещей, а теперь вернемся къ литературѣ шестидесятыхъ годовъ, которая не знала этого тяжкаго ига факта.

Въ статьѣ «Европейскій западъ», сравнивая XVIII и XIX вѣка, Шелгуновъ, между прочимъ, пишетъ: «Служеніе расширенному общественному интересу, а не частичному, какъ было въ XVIII столѣтіи, было неизбежнымъ слѣдствіемъ всепроникающаго движенія науки и изслѣдованія, во главѣ которыхъ встало естествознаніе, обратившееся къ изученію законовъ органической жизни, начиная біологіей и кончая соціологіей. Буржуазная интеллигенція XVIII столѣтія не имѣла этого характера, и только интеллигенція XIX вѣка, воспитавшаяся на обобщеніяхъ, поставила цѣлью своихъ стремленій счастье всѣхъ обездоленныхъ и общее равенство на пиру природы, на которомъ всѣ приглашенные и нѣтъ никого избранныхъ».

Я отнюдь не могу согласиться съ этой сравнительной характеристикой XVIII и XIX вѣковъ, хотя въ ней и есть доля правды. Я привожу ее лишь, какъ отзвукъ того увлеченія естествознаніемъ, которое было такъ сильно въ шестидесятыхъ годахъ и многіе слѣды котораго Шелгуновъ счелъ нужнымъ изгнать или ослабить въ настоящемъ изданіи.

Вышеупомянутая, не вошедшая въ это изданіе статья «Земля и органическая жизнь» начинается такъ:

„Земля, какъ это знаетъ читатель, составляетъ одну изъ планетъ нашей солнечной системы. Нептунъ, самая отдаленная изъ нихъ, лежитъ отъ солнца въ разстояніи 5,208,000 000 верстъ. Человѣческое воображеніе, разумѣется, не можетъ представить себѣ эту величину; но вычисленія астрономовъ указываютъ на разстоянія еще значительно большія. Напримѣръ, поперечникъ солнечной системы составляетъ 10,416,000,000 верстъ; Сіріусъ лежитъ отъ земли въ 1,275,715,000,000 верстахъ, а отдаленнѣйшая изъ всѣхъ видѣнныхъ астрономами звѣздныхъ системъ лежитъ въ 35,000 разъ дальше Сіріуса или въ 44,650,026,000,000,000,000 верстахъ. Если черезъ все это разстояніе вообразить желѣзную дорогу, то повѣзь, равняющійся по быстротѣ нашему московскому почтовому, свершилъ-бы путь въ 6,800,000,000,000 лѣтъ. Всѣ эти цифры приводимъ мы, разумѣется, не для того, чтобы поставить читателя въ затруднительное положеніе произвести ихъ. Мы только хотимъ показать громадность опредѣленныхъ человѣкомъ предѣловъ мірозданія и сравнительную незначительность земли, имѣющую въ поперечникѣ всего только 11,900 верстъ. Но самая большая изъ этихъ цифръ вовсе еще не предѣлъ міра; самое смѣлое человѣческое воображеніе подавляется громадною пространствомъ, представляемаго звѣзднымъ небомъ“.

Я сдѣлалъ эту довольно длинную выписку, чтобы напомнить читателю одну изъ сторонъ литературы шестидесятыхъ годовъ. Авторъ не скрываетъ цѣли, съ которою онъ хочетъ поразить своихъ читателей неудобовыговариваемыми, по ихъ огромности, числами,—онъ хочетъ отбѣнить незначительность земли. Авторъ не специализируется по астрономіи, который можетъ излагать результаты своей науки въ популярной формѣ единственно для распространенія знаній, безъ всякой задней мысли. Авторъ — публицистъ, задающійся, правда тою-же цѣлью распространенія знаній въ средѣ общества, отрѣзаннаго дотолѣ отъ всѣхъ путей просвѣщенія и которому поэтому полезно преподавать даже инныя элементарныя истины ради самыхъ этихъ истинъ. Но ему этого мало. Онъ хочетъ, чтобы сообщаемыя имъ знанія укладывались въ головѣ читателя въ известную общую систему, въ известное міроуразумѣніе, обнимающее не только различныя области теоріи, но и вопросы житейской практики. Онъ подходит къ этой задачѣ сегодня въ популярной статьѣ по естествознанію, черезъ мѣсяцъ во «внутреннемъ обозрѣніи», еще черезъ мѣсяцъ въ критической статьѣ и т. д. Онъ знаетъ, что у него есть сотрудники, которые ту-же задачу преслѣдуютъ средствами belletrистики, философіи, исторіи и проч. Въ этой неустанной и многообразной работѣ играетъ важную роль ликвидація разныхъ иллюзій и фикцій, въ томъ числѣ иллюзіи какого-то особеннаго, привилегированнаго

численныхъ свѣтилъ», являются непредвидѣнно (хотя, конечно, и пути кометъ предвидимы) и могутъ даже въ самыя трудныя времена становиться на надлежащую точку для выработки правды. Законъ не писанъ не только для дураковъ, какъ утверждаетъ пословица, а и для геніевъ. Но для одновременнаго появленія нѣсколькихъ центровъ правильнаго отношенія къ фактамъ и для быстрого, хотя-бы и поверхностнаго распространенія его въ массѣ,—нужны особенныя условія. Такія условія были налицо, напримѣръ, въ Европѣ въ концѣ XVIII вѣка, были и у насъ въ шестидесятыхъ годахъ. (Мимоходомъ сказать, между этими двумя историческими моментами, вообще, много сходства, оставая, разумѣется, въ сторонѣ ихъ размѣры и общее историческое значеніе). Условія эти указаны выше: присутствіе въ обществѣ идеала, достаточно высокаго, чтобы насторожить умы и воодушевить сердца, и, въ то же время, по общему сознанию достаточно близкаго къ практическому осуществленію, чтобы подъѣмъ духа не изсякъ въ отвлеченномъ пареніи. При этихъ условіяхъ выступаютъ на сцену, въ сравнительномъ изобиліи, и оказываютъ свое вліяніе на все общество тѣ «реалисты» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, «идеалисты земли», о которыхъ говоритъ Шелгуновъ.

«Идеалисты земли» (выраженіе, можетъ быть, не совсѣмъ складное, но прекрасно характеризующее самую суть явленія, о которомъ идетъ рѣчь) открыто признавали всѣ факты, разъ доказано ихъ существованіе. «Насъ возвышающій обманъ» былъ для нихъ такимъ и смѣшнымъ понятіемъ. Смѣшны и дики, даже преступны были съ ихъ точки зрѣнія тѣ quasi-патріотическія соображенія, въ силу которыхъ почиталось нужнымъ скрывать многоразличныя отечественныя изыяны. Если всацеская наша скудость есть фактъ,—онъ долженъ быть признанъ, какъ-бы ни было горько нашему сердцу. Если то или другое quasi-историческое лицо или событіе, къ которому мы съ дѣтства привыкли относиться, какъ къ чему-то великому, оказывается, при ближайшемъ фактическомъ изслѣдованіи, легендарнымъ, оно должно быть вычеркнуто, какъ ни больно разставаться съ красивой легендой. Если подъ маской возвышенныхъ идеаловъ скрываются грубо животныя побужденія, фактъ маскарада долженъ быть вскрытъ, не взирая на послѣдствія. Если дознано, что человѣкъ не есть то по преимуществу духовное существо, какимъ его рисуютъ люди невѣжественные или лицемерные, это должно быть громко и отчетливо высказано. И т. д., и т. д. Нѣтъ аргументовъ, которые оправдывали-бы въ глазахъ этой литературы укрывательство факта или

извращеніе его. Это настоящее торжество факта, торжество «реализма». И торжество законное. Мы очень хорошо извѣстно, что литература шестидесятыхъ годовъ впадала на этомъ пути въ ошибки и увлеченія, неправильно располагая перспективу фактовъ, но это ничего не говоритъ противъ основной точки зрѣнія.

Въ огромной области фактовъ естественныхъ, то есть возникающихъ независимо отъ человѣческой дѣятельности, торжество факта продолжается еще и въ иномъ смыслѣ: не только признается его существованіе, но признается его верховность, неприкосновенность и неподсудность человѣку. Если земля во столько-то и столько-то разъ меньше такихъ-то другихъ планетъ, если жизнь кончается смертью, если природа человѣка ограничена такими-то условіями и т. п., мы должны со всѣмъ этимъ примириться, не затрачивая понапрасну чувствъ скорби, обиды или возмущенія, равно какъ и противоположныхъ чувствъ радости или благодарности. Здѣсь фактъ и принципъ или идея сливаются. Уже не то въ области фактовъ историческихъ и окончательно не то относительно фактовъ текущей жизни, въ возникновеніи и развитіи которыхъ мы принимаемъ участіе, если не дѣломъ, такъ словомъ и помышленіемъ. Въ этой, сравнительно небольшой, но имѣющей для насъ первенствующее значеніе области, фактъ долженъ быть признанъ, какъ фактъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ признается подлежащимъ нашему воздѣйствію, а слѣдовательно и опѣнкѣ съ точки зрѣнія извѣстнаго идеала. Неумѣстный по отношенію къ группѣ естественныхъ фактовъ субъективный элементъ получаетъ здѣсь широкое примѣненіе, не устарѣвая, разумѣется, объективнаго констатирования факта средствами науки и воспроизведенія средствами искусства. И въ этомъ смыслѣ идея торжествуетъ надъ фактомъ. Вслѣдствіе разныхъ запутанныхъ обстоятельствъ, въ нашей теперешней печати, говоря о литературѣ шестидесятыхъ годовъ, разумѣютъ, главнымъ образомъ, литературную критику того времени. При этомъ часто можно услышать, будто эта критика требовала отъ художниковъ извращенія фактовъ въ угоду тѣмъ или другимъ теоріямъ. Это—непониманіе или незнаніе. Критика шестидесятыхъ годовъ, въ согласіи со всѣми другими отраслями и формами тогдашней литературы, требовала, прежде всего, правдиваго воспроизведенія фактовъ. Въ этомъ требованіи отражалась коренная черта всей тогдашней литературы, ея «реализмъ». Но затѣмъ, опять-же въ общемъ всей литературѣ тонѣ, критика подчиняла фактъ идеѣ, во-первыхъ, сортируя художественный матеріалъ по степени его важности съ извѣстной точки зрѣнія, а во-вторыхъ,

давая ему известную нравственно-политическую оценку. Я знаю, что и на этомъ пути были дѣлаемы ошибки, но знаю также, что онѣ не компрометируютъ основной точки зрѣнія, которая отнюдь не упраздняетъ художественную критику, а дополняетъ и расширяетъ ее. Нынѣ находятъ такое расширеніе не только излишнимъ, — такой излишекъ ничему, вѣдь, по крайней мѣрѣ, не мѣшаетъ, — а вреднымъ. Это не ново. Такъ разсуждали иныя и въ шестидесятыхъ годахъ, и если теперь это разсужденіе получаетъ, повидимому, значительное распространеніе, то это въ такой-же мѣрѣ объясняется общими условиями времени, въ какой противоположная точка зрѣнія была связана съ условиями своего времени. Характеръ литературной критики шестидесятыхъ годовъ не можетъ быть удовлетворительно оцѣненъ внѣ связи съ другими формами тогдашней литературы и съ ея общимъ духомъ. Присутствіе обще-признаннаго и завѣдомо осуществимаго высокаго идеала внушало литературѣ безстрашіе передъ фактами, которые она признавала, но простымъ созерцаніемъ (а слѣдовательно, и констатированіемъ и воспроизведеніемъ) которыхъ она ограничиться не могла. Она видѣла крушеніе такого колоссальнаго факта, какъ крѣпостное право и всей связанной съ нимъ системы, и это величественное зрѣлище естественно внушало ей смѣлость надеждъ и жажду дѣятельности, то-есть воздѣйствія на существующіе факты во имя идеала. Идеаль этотъ былъ чисто земного характера, да и не затѣмъ ему было быть инымъ, потому что на землѣ во-очію совершалось истинно великое дѣло. И если эти «идеалисты земли» были въ то же время «реалистами», то тутъ нѣтъ никакого противорѣчія, а есть, напротивъ, вполне законченное цѣльное міроразумѣніе. Его общія черты остаются истиной и доселѣ: факты признаются безъ утайки и безъ идеализаціи, во всей ихъ реальности; затѣмъ они распадаются на неподлежащее нашему воздѣйствію и подлежащее таковому, а для воздѣйствія необходимъ идеаль, то-есть такое расположеніе реальныхъ элементовъ, которое лучше, выше, желательнѣе, чѣмъ дѣйствительность. Пусть «идеалисты земли» заблуждались относительно предѣловъ и возможностей воздѣйствія, — въ принципѣ они, во всякомъ случаѣ, стояли на пути къ правдѣ.

Освобожденіе крестьянъ стимулировало мысль и чувство современниковъ въ очень широкихъ предѣлахъ, такъ что фактомъ освобожденія еще далеко не кончалась центральная задача времени. Задача эта состояла въ теоретическомъ опредѣленіи, а, поскольку возможно, и практическомъ установленіи нормальныхъ отношеній между личностью и обществомъ. Задача эта, конечно, не шести-

десятыми годами впервые выдвинута. Она столь-же стара, какъ само человеческое общество. Но всею своею полнотою она занимаетъ людей гораздо рѣже, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въ основѣ всякаго международнаго, политическаго, экономическаго, моральнаго, юридическаго, административнаго вопроса такъ или иначе лежатъ взаимныя отношенія личности и общества. Но въ огромномъ большинствѣ случаевъ, при обыкновенномъ теченіи житейскихъ дѣлъ, это не сознается; общественные вопросы обсуждаются и рѣшаются безъ приведенія ихъ къ ихъ основѣ, которая маскируется разными узко-практическими условностями и отвлеченными категоріями. Жизнь идетъ слѣпою олушью, механически цѣпляясь «за случайности установившихся отношеній, или-же ища себѣ обоснованія въ не-анализированныхъ отвлеченныхъ категоріяхъ «права», «свободы», «порядка», «прогресса», «справедливости», «національнаго достоинства», «народнаго богатства» и т. д. Въ послѣднемъ результатѣ анализа всѣхъ этихъ понятій нечему быть, кромѣ личности и общества въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И людямъ серьезнаго знанія это хорошо известно, но лишь въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ субстратъ всѣхъ общественныхъ вопросовъ всплываетъ въ общемъ сознаніи и влияетъ на обыденную житейскую практику. Всплываетъ и влияетъ, разумѣется, уже въ известной, болѣе или менѣе опредѣленной формѣ.

Статья Шелгунова «Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи» оканчивается такими словами: «Если протестанты XVI столѣтія освободили мысль, то мы сдѣлали попытку освободить человѣка. Только наше время установило, что благороднѣйшій, драгоцѣннѣйшій и единственный элементъ прогресса есть свободная личность, развившаяся въ свободномъ обществѣ. Мы живемъ въ самомъ началѣ этого періода и несемъ на своихъ плечахъ главную борьбу за новое слово».

«Мы сдѣлали попытку», «мы несемъ на своихъ плечахъ», — это, разумѣется, не специально къ намъ, русскимъ относится, а къ известному времени, къ известной ступени цивилизаціи, къ которой, однако, и мы съ шестидесятыхъ годовъ приобщились. Въ XII главѣ «Воспоминаній» Шелгунова читаемъ:

«Внизу освобождались крестьяне отъ крѣпостнаго права, вверху освобождалась интеллигенція отъ служилаго государства и отъ старыхъ московскихъ понятій. И болѣе великаго момента, какъ этотъ переходъ отъ идеи крѣпостнаго и служилаго государства къ идеѣ государства свободнаго, въ нашей исторіи не было, да, пожалуй, и не будетъ».

Мы, современники этого перелома, стремясь къ личной и общественной свободѣ и работая только для нея, конечно, не имѣли времени думать, дѣлаемъ-ли мы что-нибудь великое или невеликое. Мы просто стремились къ простору и каждый освобождался, гдѣ и какъ онъ могъ и отъ чего ему было нужно. Хотя работа эта была, повидимому, мелкая, такъ сказать, одиночная, потому что каждый дѣйствовалъ за свой страхъ и для себя, но именно отъ этого общественное оказывалось сильнѣе, неудержимѣе, стихийнѣе. Идея свободы, охватившая всѣхъ, проникла всюду и совершалось дѣйствительно что-то небывалое и невиданное».

Волгѣ за этимъ Шелгуновъ приводитъ разные иллюстрирующие эпизоды и соображенія. Тутъ есть рассказы объ офицерахъ, выходившихъ въ отставку, чтобы завести книжную торговлю или заняться издательствомъ, о женщинахъ, выбивавшихся изъ-подъ гнета грубой и деспотической семьи, и т. п. Есть и такія указанія: «Правительство сознавало, что при новыхъ усложненныхъ требованіяхъ болѣе развитой жизни продолжать старую систему казеннаго управленія у него не достанетъ силъ, и оно стало продавать или закрывать казенныя фабрики и заводы, оно поощряло и поддерживало акціонерныя предпріятія, оно создало русское общество пароходства и торговли, оно открыло возможность для частныхъ банковъ, оно передало постройки желѣзныхъ дорогъ частнымъ предпринимателямъ. Однимъ словомъ, реакція противъ прежняго всепоглощающаго государственнаго вѣншаательства и казеннаго руководства была не только всеобщей, но и легла въ основу общественно-экономическихъ реформъ и всей системы государственнаго хозяйства прошедшаго царствованія».

Все это должно свидѣтельствовать о торжествѣ новой формулы взаимныхъ отношеній между личностью и обществомъ: «свобода личности» или «свободная личность въ свободномъ обществѣ». Вглядываясь, однако, нѣсколько ближе въ иллюстрирующие эпизоды и соображенія Шелгунова, мы едва-ли найдемъ въ нихъ полную однородность или, вѣрнѣе, однородность эта не поидетъ далѣе отрицательной стороны. Всѣ эти эпизоды и указанія одинаково говорятъ о размягченіи или распушеніи общественныхъ узъ и о выдѣленіи изъ нихъ частныхъ, личныхъ интересовъ. Въ этомъ смыслѣ смягченіе деспотизма старой семьи и отреченіе фиска отъ руководства промышленною жизнью страны могутъ быть совершенно правомѣрно сведены къ одному знаменателю, и Шелгуновъ вполне правъ, констатируя этотъ всеобщій фактъ. Не слѣдуетъ, однако,

думать, чтобы этотъ фактъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ совпадалъ съ идеаломъ Шелгунова и его единомышленниковъ. Къ шестидесятымъ-же годамъ относятся первые гимны «свободы» мужика «отъ земли». Но та струя литературы, къ которой принадлежалъ Шелгуновъ, слишкомъ пристально вглядывалась въ жизнь европейскихъ странъ, въ которыхъ принципы экономической свободы достигъ наибольшаго осуществленія (см. «историческія» и «соціально-экономическія» статьи Шелгунова), чтобы мечтать о такомъ-же торжествѣ его у насъ. Мы видѣли, что, почтительно склоняясь передъ европейскою наукою и многими европейскими учреждениями, Шелгуновъ отнюдь не желаетъ, чтобы двери русской жизни были настолько отворены для пропуска европейскихъ экономическихъ порядковъ. Онъ спрашиваетъ: «откуда это добродушное стремленіе спасти своего ближняго, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное послѣдствіе на сосѣда»? Это Шелгуновъ писалъ въ одной изъ самыхъ раннихъ своихъ статей, въ 1861 г., а вотъ что онъ писалъ въ 1868 г.: «То, что славянофилы, почвенники и ихъ продолжатели толковали о народной душѣ, народной правдѣ и русскомъ всечеловѣчѣ, несомнѣнно очень благородный идеалъ, на которомъ стоитъ построить русскую общественную жизнь, но подробности этого идеала создадутся не смутными сердечными порывами, не чувствомъ, а изслѣдованіемъ выработанныхъ народомъ и интеллигенціей общественныхъ и бытовыхъ понятій и тѣхъ равноправныхъ и, именно, всечеловѣческихъ основъ народнаго коллективизма, который чуждъ еще интеллигенціи, вырабатывающей пока достоинство личности» («Новый отвѣтъ на старый вопросъ»).

Здѣсь не мѣсто говорить объ этихъ упованіяхъ по существу. Я привожу слова Шелгунова для уясненія его формулы взаимныхъ отношеній личности и общества. Ни онъ, ни литература шестидесятыхъ годовъ вообще не думали ограничиваться отрицательною формулою свободы. Въ ихъ лицѣ, какъ и въ ихъ теоріяхъ, личность, освободившись отъ обветшалыхъ общественныхъ узъ, сознательно подчинялась инымъ узамъ, самоотверженно отдавая имъ свою мысль, чувство, волю, всю свою жизнь. Для выработки этихъ обновленныхъ общественныхъ узъ, «идеалисты земли» обращались и къ западно-европейскимъ теоріямъ, и къ русской народной жизни, словомъ всюду, гдѣ рассчитывали найти теоретическіе или практическіе зародыши такого сочетанія общественныхъ элементовъ, которое гарантировало-бы личности полноту жизни. Какъ говорить Шелгуновъ въ статьѣ о Берне

(«Первый нѣмецкій публицистъ»), «въ средоточіи земной жизни стоитъ живой человѣкъ и для этого-то живого человѣка и долженъ работать каждый». Что касается Берне, то «въ тотъ моментъ, въ который онъ дѣйствовалъ», идею свободы можетъ быть и исчерпывалась злоба дня; но въ моментъ нашихъ шестидесятихъ годовъ, въ виду сложности перелома жизни, злоба дня была сложнѣе, а потому «свобода» бывала иногда просто громкимъ словомъ, подъ которымъ крылась совсѣмъ несоотвѣтственная сущность. Наши публицисты не соблазнялись подобными громкими словами, но они и не боялись словъ. Поэтому они охотно говорили, между прочимъ, и объ эгоизмѣ, какъ объ основномъ свойствѣ человѣческой природы, но относились они къ этому эгоизму весьма своеобразно. Въ качествѣ «реалистовъ», они признавали фактъ эгоизма и смѣло сводили къ нему, какъ самыя низменныя, такъ и самыя возвышенныя побужденія. А въ качествѣ «идеалистовъ земли», они строили такой идеалъ личности, «его» которой не грозитъ никому бѣдой и горемъ, потому что способно пережить въ себѣ жизнь ближняго и дальняго и чувствовать ихъ радости и горести, какъ свои собственныя. Идеалъ этотъ для нихъ не въ воздухѣ висѣлъ, онъ представлялся имъ естественнымъ результатомъ выработки соотвѣтственныхъ общественныхъ условий, да и на нынѣшняго человѣка, какъ онъ есть сейчасъ, они смотрѣли отнюдь не мрачными глазами. Въ самой его природѣ, воплотивъ эгоистической, они видѣли, однако, такія стороны, развитіе которыхъ должно поднять человѣка на высшую ступень. Было кое-что наивное во всемъ этомъ, но есть наивность, которая гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ разныя ухищренности.

«Доброжелательство есть у всякаго человѣка,—говоритъ Шелгуновъ,—только въ различной степени, и значительный недостатокъ его составляетъ такое-же важное лишеніе и ведетъ къ такимъ-же печальнымъ послѣдствіямъ, какъ и недостатокъ сообразительности. Людей, лишенныхъ доброжелательства, слѣдуетъ отнести къ разряду организмовъ ненормальныхъ, у которыхъ не достаетъ одной изъ важнѣйшихъ человѣческихъ способностей, равносильной разсудку. Злой человѣкъ всегда безразсуденъ, точно такъ-же, какъ безразсудный всегда злой. Это двѣ парныя способности и лишеніе одной парализуетъ другую. Поэтому злого человѣка безъ ошибки можно назвать глупымъ, точно такъ-же, какъ глупаго—злымъ» («Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи»).

Это наивно, потому что кто-же не зна-

валъ злобныхъ умниковъ и глупыхъ добряковъ. И, однако, несомнѣнно, что въ высшемъ смыслѣ Шелгуновъ правъ. Истинное, глубокое пониманіе своихъ человѣческихъ, то-есть гуманныхъ, интересовъ исключаетъ злобу.

V.

Статья моя приходитъ къ концу. Называется она «Шелгуновъ», а собственно объ немъ въ ней сказано, повидимому, пока слишкомъ мало. Но это только повидимому. Все, сказанное выше о шестидесятихъ годахъ вообще, цѣликомъ относится и къ Шелгунову въ частности. Не внеся въ работу шестидесятихъ годовъ какихъ-нибудь своихъ рѣзкихъ индивидуальныхъ чертъ, Шелгуновъ впиталъ въ себя весь духъ того времени. Вотъ почему я могъ, говоря о шестидесятихъ годахъ, обойтись безъ единой ссылки на кого-бы то ни было, кромѣ Шелгунова. Можетъ быть, мнѣ не удалось сдѣлать то, что я хотѣлъ сдѣлать, но, во всякомъ случаѣ, я не думалъ о критическомъ разборѣ сочиненій Шелгунова. Я хотѣлъ лишь облегчить самому читателю дѣло этого разбора напоминаніемъ тѣхъ общихъ чертъ литературы шестидесятихъ годовъ, которые нынѣ или совсѣмъ игнорируются, или поминутаются больше по наслышкѣ, по смутному, непровѣренному преданію. Въ настоящемъ изданіи собраны статьи, написанныя съ 1861 года по 1890 включительно. Писаны онѣ всѣ подъ давленіемъ текущей жизни. Не мудрено было бы найти въ нихъ, рядомъ съ достоинствами, и извѣстные недостатки, но я не считаю это нужнымъ. Для меня гораздо важнѣе ихъ общій тонъ, а онъ у Шелгунова тотъ же, что у всей литературы шестидесятихъ годовъ.

Шелгуновъ представляетъ, однако, ту особенность, что работаетъ и по сейчасъ, представляя собою въ литературѣ чуть ли не единственный обломокъ приснопамятнаго историческаго момента. Въ дѣятельности своей онъ держится все тѣхъ-же завѣтовъ своего времени, отстаивая ихъ съ живостью и горячностью, которымъ можно удивляться въ человѣкѣ, столь долго и много на своемъ вѣку поработавшемъ. Особенность-ли это его личныхъ силъ, или животворящій даръ все тѣхъ-же шестидесятихъ годовъ, или и то, и другое вмѣстѣ, я не знаю; но знаю, что этотъ старикъ моложе многихъ и многихъ молодыхъ. Между прочимъ, онъ довольно часто прямо говоритъ о шестидесятихъ годахъ то въ своихъ «Воспоминаніяхъ», то въ «Очеркахъ русской жизни» по поводу нѣкоторыхъ явленій текущей литературы. Мало понимающему и мало чувствующему человѣку

может показаться, да и было высказано въ печати, что Шелгуновъ является въ этомъ случаѣ представителемъ «отцовъ», расхваливающихъ, по изстари заведенному порядку, свое отжившее время и брюзжащихъ на порошки молодой жизни, которая растетъ по своему, не спросясь ихъ, стариковъ. Это, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ очень обыкновенное явленіе: старикамъ съ остывшею кровью, замерзшимъ въ идеяхъ, когда-то живыхъ, но нынѣ уже отжившихъ, завидно глядѣть на кипящую молодость, которая рвется къ новымъ идеаламъ, чуждымъ, непонятнымъ для «отцовъ»... Бываетъ такъ, это точно, но бываетъ и иначе; бываетъ и такъ, что старикамъ обидно смотрѣть на отсутствіе кипящей молодости и какихъ-бы то ни было идеаловъ. И тогда старые «отцы» моложе своихъ старообразныхъ «дѣтей».

Менѣе, чѣмъ кто-нибудь, Шелгуновъ можетъ быть обвиняемъ въ упрямой ворчливости старика, остановившагося на точкѣ замерзанія. Давно уже, въ статьѣ «По поводу одной книги», онъ писалъ: «Насъ приучили слышать о людяхъ двадцатыхъ годовъ, сороковыхъ, шестидесятыхъ; но мы еще ни разу не слышали, чтобы у насъ были люди XIX вѣка. Или десятилѣтія—наши вѣка, или русская мысль растетъ не годами, а часами? Какія умственные пропасти раздѣляютъ мыслящую Россію на десятилѣтія? Откуда эта невозможность примиренія, откуда этотъ безпощадный антагонизмъ, который даже и людей одного десятилѣтія дѣлитъ на нѣсколько враждебныхъ лагерей? Говорятъ: люди сороковыхъ годовъ—отцы теперешней эпохи; это освободители Россіи отъ крѣпостного права; это первые люди, сказавшіе на Руси первое слово въ пользу человѣческихъ правъ женщины; съ людьми пятидесятыхъ годовъ они думали уже о гласномъ судѣ. Но развѣ люди шестидесятыхъ годовъ не прямое непосредственное слѣдствіе идей сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ? Гдѣ же логика для вражды и антагонизма? Отчего «отцы» не понимаютъ «дѣтей», не понимаютъ, что они—ихъ родныя «дѣти»?

Въ одномъ изъ «Очерковъ русской жизни», написанныхъ въ самое недавнее время, читатель найдетъ тѣ-же вопросы и недоумѣнія, но обращенныя уже въ другую сторону, въ сторону дѣтей, чужающихся своихъ отцовъ, соотвѣтственно чему весь этотъ очеркъ озаглавленъ въ настоящемъ изданіи—«Борьба поколѣній ведетъ насъ впередъ». Но мы вернемся къ статьѣ «По поводу одной книги». Книга эта—небольшой сборникъ разсказовъ Герцена, изданный, помнится, въ 1871 г. Говоря объ этой книгѣ и объ ея авторѣ, Шелгуновъ пишетъ: «Натуры дѣйствительныя, реальныя, живучія, дѣйствуютъ по событіямъ:

онѣ являются не съ готовыми сентенціями и идеалами, не съ запасомъ готовыхъ истинъ, чтобы вѣчно держаться за нихъ, а только съ честными стремленіями и съ юношеской энергіей, которая никогда ихъ не оставляетъ». И далѣе: «Какъ свѣжи и хороши люди безъ ярлычковъ и какъ высоко слѣдуетъ цѣнить такихъ людей, какъ нашъ авторъ; мысли которыхъ сохранили текучесть на всю жизнь, а энергія тоже на всю жизнь сохранила свою юношескую силу. Такіе люди могутъ поочереді пережить двадцатые, сороковые, шестидесятые и даже сотые годы, лишь-бы Богъ далъ вѣку, и не остановятся на какомъ-либо предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагами послѣдующаго. Тутъ—истинная сила преемственной мысли, не знающей дѣленія на десятилѣтія».

Спрашивается, если Шелгуновъ такъ высоко цѣнитъ «людей безъ ярлычковъ», «не останавливающихся на какомъ-либо предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагами послѣдующаго»; если онъ такъ хорошо понимаетъ, что не годится «являться съ готовыми сентенціями и идеалами, съ запасомъ готовыхъ истинъ, чтобы держаться за нихъ вѣчно»,—то почему же значительная часть его «очерковъ русской жизни» посвящена полемикѣ съ «восьмидесятниками», какъ онъ ихъ презрительно называетъ? «Восьмидесятники»—это люди, сами объявившіе себя современными «дѣтьми», несогласными съ «отцами», и представителями «новаго литературнаго поколѣнія», которое, надо думать, имѣетъ своихъ представителей и на другихъ, не-литературныхъ путяхъ жизни. Люди эти объявляютъ, что «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ ними безсильны», что они не хотятъ знать никакихъ «традицій прошлаго». Это не хорошо съ точки зрѣнія Шелгунова, дорожащаго преемственностью мысли, преемственностью развитія вообще. Но вѣдь и «восьмидесятники» могутъ, казалось бы, претендовать, въ свою очередь, на Шелгунова и бить ему челою его-же добромъ. Они могутъ повторить его слова: «отчего отцы не понимаютъ дѣтей, не понимаютъ, что они—ихъ родныя дѣти?» Надо еще замѣтить, что не извѣстно, что Богъ дастъ далѣе, а пока «восьмидесятники», по крайней мѣрѣ, въ литературѣ, не сильны ни качествомъ, ни количествомъ, ни единогласіемъ. Перечисляя, наприимѣръ, свои беллетристическія силы, они сами замѣчаютъ, что изъ молодыхъ писателей значительнѣйшіе стоятъ на старомъ пути. Въ другихъ отрасляхъ литературы они тоже не могутъ похвастаться чѣмъ-нибудь выдающимся, крупнымъ. Далѣе, говоря о необходимости «бодрящихъ впечатлѣній» и о цѣнности «свѣтлыхъ явленій», нѣкоторые изъ нихъ въ то же время чрезвычайно почти-

тельно относятся къ Щедрину, не помышляя, повидимому, о томъ, что сказалъ-бы суровый сатирикъ по поводу ихъ пропаганды свѣтлыхъ явленій. Вообще, это литературное явленіе, по крайней мѣрѣ, сейчасъ, настолько незначительно во всѣхъ отношеніяхъ, что, отмѣтивъ его, Шелгуновъ смѣло могъ-бы затѣмъ уже не вступать въ длинную полемику съ его представителями. Тѣмъ болѣе, что это вѣдь «дѣти», «родныя дѣти»...

Въ томъ-то и дѣло, что если это и въ самомъ дѣлѣ дѣти, то заведомо никому не родныя. Если они, дѣйствительно, незначительны въ литературѣ, то въ современной нашей жизни есть соответственная струя, вялая, мелкая, мутная, но гораздо болѣе значительная, чѣмъ ея литературное выраженіе. Не въ томъ дѣло, что старые идеалы замѣнились новыми; это было бы, можетъ быть, дѣло законное, и во всякомъ случаѣ Шелгуновъ понимаетъ, что не слѣдуетъ «останавливаться на какомъ-нибудь предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагомъ послѣдующаго». Дѣло даже не въ томъ, что идеалы совсѣмъ потухли, и, лишены ихъ животворящаго дѣйствія, люди не чувствуютъ въ себѣ силъ и способностей къ «героизму»,—Шелгуновъ знаетъ, что «въ жизни народовъ за восторженностью, энтузіазмомъ и усиленной умственно-общественной дѣятельностью слѣдуетъ всегда реакціонное отступленіе» («Новый отвѣтъ на старый вопросъ»). Но если ужъ насъ, настигла такая печальная историческая полоса, такъ ее нужно признать печальной исторической полосой и думать о томъ, чтобы ее скорѣе пронесло, а не носиться съ ней какъ съ писанною торбой, не ходить, уперевъ руки въ бока фертомъ, не говорить съ нелѣпою гордостью: мы—солъ земли, мы—«новое слово»...

Таковы мотивы полемики Шелгунова и, надо правду сказать, что мудрено представить себѣ что-нибудь болѣе антипатичное дѣятелю шестидесятыхъ годовъ, чѣмъ эти «восьмидесятники». Конечно, и они со своей точки зрѣнія правы, платя ему той-же монетой. Это два полюса, которымъ пригнуться другъ къ другу нельзя. Poleмика Шелгунова можетъ служить прекрасною отрицательною иллюстраціей ко всему вышесказанному.

Если обстоятельства времени шестидесятыхъ годовъ создали свою литературу, то нынѣшнія наши условія выдвигаютъ свою. Ни для кого не тайна, что идеалы въ наше время оскудѣли, какъ въ отношеніи, такъ сказать, объема, такъ и въ отношеніи интенсивности. Это признаютъ и «восьмидесятники», которые дѣлаютъ даже современную скудость идеаловъ отпавшимъ пунктомъ своихъ литературно-критическихъ и публицистическихъ соображеній. Не спорить, конечно, а Шелгуновъ, но онъ приглашаетъ принять

всѣ тѣ выводы, которые логически отсюда вытекаютъ. О наличности какой-нибудь общественной задачи, которая соединяла-бы въ себѣ грандіозность замысла съ общепризнанною возможностью немедленнаго исполненія, нечего въ наше время и говорить. Нѣтъ такой задачи. Но нѣтъ и гораздо меньшаго. А за отсутствіемъ общедоступныхъ точекъ приложенія для крупныхъ талантовъ, горячей проповѣди, страстной дѣятельности, на сцену выступаетъ вялая, холодная, безцвѣтная посредственность. Не то, чтобы русская земля такъ ужъ оскудѣла, что въ ней перестали подростать энергическіе и даровитые люди. Но, во-первыхъ, значительная часть ихъ остается, по разнымъ причинамъ, не у дѣлъ, а во-вторыхъ, хотя появляются, время отъ времени, новые таланты и въ литературѣ, но они немедленно получаютъ общій отпечатокъ тусклости и безразличія. Это-то можетъ быть и неизбѣжное, но, во всякомъ случаѣ, печальное положеніе вещей «новое литературное поколѣніе» возводитъ въ принципъ. Придавленное, пригнетенное фактомъ, оно безсильно противопоставить ему идею. Оно косится на всякіе сколько-нибудь широкіе идеалы и рѣшительно отрицаетъ «героизмъ». Оно желаетъ «реабилитировать дѣятельность» и съ этою цѣлью ищетъ въ ней «свѣтлыхъ явленій» и «бодрающихъ впечатлѣній». Оно не способно раздѣлывать явленія жизни по ихъ нравственно-политическому значенію и эту свою неспособность возводитъ въ принципъ, которому усваивается названіе «пантеизма»,—дескать, всѣ явленія, великія и ничтожныя, гнусныя и возвышенныя, одинаково подлежатъ лишь созерцанію, а не нравственному суду.

Разъясненіе всего этого читатель найдетъ у Шелгунова. Я только обращаю ваше вниманіе на позицію, занятую имъ въ этой полемикѣ. Вѣрный себѣ и традиціямъ шестидесятыхъ годовъ, онъ не отрицаетъ и не поддурманиваетъ факта блѣдности нашей жизни. Да, говоритъ онъ, вы правы,—«фактически теперешнее время—не время широкихъ задачъ, а время мелочей, маленькихъ мыслей и несущественныхъ споровъ»; вы сами, своею блѣдностью, слыхомъ наглядно свидѣтельствуете объ этомъ. Но, опять-таки вѣрный себѣ и шестидесятымъ годамъ, Шелгуновъ не считаетъ нужнымъ преклоняться передъ фактомъ только потому, что онъ фактъ. Онъ желалъ-бы, чтобы эта мертвенная блѣдность замѣнилась румянцемъ стыда, радости, негодованія, вообще игрой живыхъ красокъ, а не поддурманивалась-бы разными ad hoc изобрѣтенными «пантеизмами», теоріями «свѣтлыхъ явленій» и т. п. Въ этомъ поддурманенномъ видѣ она есть, по его мнѣнію, «популяризація общественнаго индиф-

не так имъ овладѣть, что онъ рѣшительно не сумѣетъ разсказать какъ слѣдуетъ о томъ, что этимъ спокойнымъ ночамъ предшествовало. Ясно, что исторія отъ этого въ убытокъ. Я еще недавно перечитывалъ записки нѣкоторыхъ декабристовъ и истинно изумлялся, младенческому простодушію нашихъ мемуаристовъ. Да и не мало можно найти поводовъ для такого изумленія. Еслибы мемуары велись какъ разъ во время событий, то это были бы дѣйствительно драгоценные историческіе матеріалы, а по прошествіи извѣстнаго періода они выдыхаются, усыхаютъ, утекаютъ и въ послѣдство исторіи остаются одни голые факты, въ такомъ именно родѣ, что паукъ слѣзъ муху.

Возвращаясь къ началу, надо сказать, что во время войны было, конечно, не до мемуаровъ, а во время внутреннихъ тревогъ... Да тоже не до мемуаровъ, хотя бы потому, что всякій ждалъ и долженъ былъ ждать, что вотъ явятся любознательные люди и переркоутъ, перервутъ и съ собой унесутъ всѣ ваши бумаги. Какіе ужъ тутъ мемуары! Ну, а теперь прошло...

Да не подумаетъ, однако, читатель, что, подписывая: «Записки современника», я имѣю въ виду пополнить пробѣлы по части мемуаровъ. Отнюдь нѣтъ.

Всѣ современники обѣдаютъ, пьютъ чай, ложатся спать и по утрамъ встаютъ. Но ничего современнаго во всемъ этомъ нѣтъ, потому что сто лѣтъ тому назадъ точно также было и черезъ сто лѣтъ опять тоже будетъ. Но есть во всякой современности нѣчто такое, что именно ей свойственно, чего не было сто лѣтъ тому назадъ и не будетъ черезъ новые сто лѣтъ. Притомъ нѣчто серьезное, глубокое, интимное—не въ покровѣ же платя дѣло! Такъ вотъ этого то серьезнаго, интимнаго ядра современности мнѣ бы и хотѣлось, по крайней мѣрѣ, поискать вмѣстѣ съ читателемъ. Можетъ показаться, что мы какъ будто забѣгаемъ впередъ, называя глубокимъ, серьезнымъ то, что нами еще не найдено, чего мы только еще искать будемъ: можетъ быть, мы въ концѣ поисковъ на какой-нибудь пошлый водевилъ наткнемся. Нѣтъ, это не такъ. По дорогѣ мы встрѣтимъ, вѣроятно, много пошлыхъ водевилей, гораздо больше, чѣмъ ихъ требуется собственно для увеселенія. Но никакой историческій моментъ водевилемъ не исчерпывается. Въ его основаніяхъ всегда заложена драма, можетъ быть, высокая драма, съ торжествомъ героя правды и добра въ пятомъ актѣ, можетъ быть, съ торжествомъ грязи и подлости, но непремѣнно драма, глубокая, серьезная. Мы это увидимъ. Если же я заговорилъ о Пименахъ,

то единственно для того, чтобы отмѣтить недостатокъ матеріаловъ для сужденія обинтимномъ ядрѣ современности. Конечно, предметъ обставленъ и разными другими трудностями, въ томъ числѣ и «независящими обстоятельствами»...

Вотъ хоть бы эти самыя независящія обстоятельства взять. Безъ сомнѣнія, они въ настоящую минуту не таковы, какъ были недавно, не такъ цѣпки, не такъ длинноруки. Но — *le mort saisit le vif*! И напрасно современники думаютъ, что, сказавши нѣсколько общихъ фразъ о великомъ значеніи свободы слова и о безобразіи независящихъ обстоятельствъ, они уже извели весь урокъ, какой можетъ быть по этой части добытъ изъ нашего недавняго прошлаго. Нѣтъ, прошлое не такъ-то скоро становится въ самое дѣлѣ прошлымъ, до конца прошлымъ, и долго еще опредѣляетъ собою настоящее, даже и не такое туманное, какъ наше теперешнее.

Напримѣръ, одесскій корреспондентъ «Порядка», сообщая о снятіи съ мѣстныхъ газетъ административной, такъ сказать, добавочной цензуры, между прочимъ, пишетъ: «Независимо отъ личнаго давленія, какое оказывала администрація, ея дискреціонною властью могли пользоваться и даже пользовались всѣ болѣе или менѣе значительныя особы въ городѣ, если нужно было заставить газеты молчать о томъ или другомъ. И это дѣлалось открыто, даже не устно. Я видѣлъ своими глазами, напримѣръ, официальную бумагу, адресованную здѣшнимъ попечителемъ учебнаго округа въ редакцію «Правды», гдѣ говорится, что онъ «сумѣетъ заставить редакцію молчать о фактахъ, касающихся завѣдываемаго имъ округа». Еще недавно красный карандашъ канцеляріи градоначальника ходилъ по корректурнымъ листамъ даже органа городского общественнаго управленія и своими опустошеніями до того запугалъ редактора этой газеты, что онъ посылалъ градоначальнику не только хронику и приговоры думы, но за одно и доклады городской управы, которые, по прямому смыслу городского положенія, печатаются подъ отвѣтственностью городского головы». Вотъ. Положимъ, что этого теперь, т. е. сегодня, нѣтъ. Но какія ручательства, что этого не будетъ завтра? Еслибы независящія обстоятельства сосредоточивались въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, то еще можно бы было думать, что упраздненіе этого спеціального мѣста (о чемъ однако, не слыхать) съ разу покончить съ такимъ вопіющимъ зломъ. Но вы видите, какъ широко раскинулась сѣть независящихъ обстоятельствъ, какую роль играютъ въ ней, кромѣ органовъ цензурнаго вѣдом-

ства, определяемых общими законами, и канцелярія генералъ-губернатора, и канцелярія попечителя учебнаго округа, и, наконецъ, «всѣ болѣе или менѣе значительныя особы въ городѣ»! Независимыя обстоятельства, значитъ, разлились въ безбрежное море, въ которомъ нельзя даже различить, кто же есть истинный носитель независимыхъ обстоятельствъ и кто не имѣетъ права пользоваться ими. Это пользованіе вошло въ нравы, что, конечно, гораздо глубже и горше, чѣмъ простое существованіе цензуры. Оно до такой степени вошло въ нравы, что въ «Извѣстіяхъ и ученыхъ запискахъ казанскаго университета» за май — июнь прошлаго 1880 года вы можете найти, между прочимъ, слѣдующее донесеніе профессора Бодуана-де-Куртене:

«Вслѣдствіе моего представленія, историко-филологическій факультетъ, еще въ началѣ текущаго года, вошелъ въ совѣтъ съ представленіемъ о напечатаніи, въ видѣ приложения къ «Ученымъ запискамъ казанскаго университета», весьма важнаго и драгоцѣннаго, въ научномъ отношеніи, сборника литовскихъ пѣсень И. В. Юшкевича, причемъ издатель, не желая обременять университетскаго бюджета, согласился принять всѣ издержки по этому изданію на свой счетъ. Совѣтъ единогласно согласился съ представленіемъ историко-филологическаго факультета. Въ полной увѣренности, что постановленіе совѣта будетъ безпрекословно и по возможности скоро исполнено подвѣдомственными ему лицами, г. Юшкевичъ заказалъ у Гаттаулина нѣсколько десятковъ особыхъ буквъ, необходимыхъ для принятая имъ научнаго правописанія, что стоило ему довольно значительной суммы денегъ. Между тѣмъ, вопреки всѣмъ правиламъ и обычаямъ, печатаніе труда г. Юшкевича, начатое еще до вакацій, или же въ началѣ вакаціоннаго времени, было произвольно приостановлено. Кто-то изъ типографіи изволилъ отослать первый набранный полулистъ г. исправлявшему должность казанскаго цензора, а г. исправлявшій должность казанскаго цензора изволилъ воспретить дальнѣйшее печатаніе. Дѣло объ этомъ поступило сначала въ факультетъ; теперь же оно должно быть доложено, рассмотрѣно и разрѣшено въ совѣтѣ. Съ своей стороны, я позволяю себѣ обратить вниманіе вашего превосходительства на то обстоятельство, что, въ виду неистѣненныхъ до сихъ поръ §§ 128 и 132 высочайше утвержденнаго «Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ», лица, повліявшія на замедленіе печатанія труда г. Юшкевича, въ высокой степени превысили свою власть: типографія, вполне подвѣдомствен-

ная совѣту университета и обязанная не тормозить законныя совѣтскія постановленія, а только безпрекословно имъ повиноваться, не имѣла ни малѣйшаго права приостанавливать печатаніе и отсылать первый набранный полулистъ г. исправлявшему должность казанскаго цензора; г. же исправлявшій должность казанскаго цензора наврядъ-ли имѣлъ право нарушать высочайше утвержденный университетскій уставъ». И т. д.

Университеты имѣютъ право издавать ученые труды и по закону состоятъ въ этомъ отношеніи въ полной независимости отъ общей цензуры. А г. казанскій цензоръ взялъ да и перешагнулъ черезъ законъ, ни съ того, ни съ сего устроивъ независимыя обстоятельства для сборника пѣсень, который, по отзыву специалистовъ, «былъ бы дѣйствительно украшеніемъ» университетскихъ записокъ. Последнее, впрочемъ, въ настоящемъ случаѣ, неважно. Хорошъ или дуренъ ученый трудъ, одобренный факультетомъ и совѣтомъ, но откуда взялась такая прыть у г. казанскаго цензора? Къ этому остается еще прибавить, что г. казанскій цензоръ есть г. Шпилевскій, профессоръ, тотъ самый, который въ нынѣшнемъ же году, на пушкинскомъ торжествѣ, блисталъ уваженіемъ къ слову и, можетъ быть, вторилъ г. Каткову: «да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!» Дѣло кончилось въ пользу университетской автономіи, то есть veto господина самопроизвольнаго цензора было снято, и несчастныя литовскія пѣсни, строка за строкой, мирно укладываются на страницы казанскихъ университетскихъ извѣстій. Но здѣсь интересна совсѣмъ не судьба сборника литовскихъ пѣсень — работы, вѣроятно, очень почтенной, которую, однако, прочтутъ, примѣрно, два съ половиной человека — а именно это самопроизвольное зарожденіе цензуры. Если на подцензурную провинціальную газету, кромѣ всякихъ канцелярій, накладываютъ руки «всѣ значительныя особы въ городѣ»; если на свободныя академическія изданія поднимается рука цензора-профессора, хотя подобное право никакимъ закономъ ему не предоставлено, то это показываетъ, что поврежденіе нравовъ весьма велико. Такъ велико, что значительныя и незначительныя особы должны, очевидно, получить еще много и много уроковъ, прежде чѣмъ узнаютъ о своей подсудности литературѣ и о совершенной неподсудности литературы имъ. Вовсе не надо быть писателемъ, не надо даже любить литературу, чтобы признать глубоко возмутительнымъ безбрежное разлитіе независимыхъ обстоятельствъ. Это касается не только нашего брата, писателя, на котораго вы, чего добраго, рукой махнете: это — глубокий внут-

ренний общественный развратъ; онъ создается, воспитывается цѣлою совокупностью жизненныхъ условий, и, въ свою очередь, крѣпнеть, наглѣветъ, питаясь независимыми обстоятельствами. Подумайте только, до какого забвенія элементарныхъ требованій, не говорю, нравственности, а просто приличія, надо дойти, чтобы написать официальную бумагу постороннему человѣку: «Я стужу заставить васъ молчать обо мнѣ!» или чтобы придти въ такое мѣсто, гдѣ для тебя даже ни по какимъ штатамъ студа не полагается, развалиться и сказать: не позволю! Очень мы ужъ ко всѣмъ подобнымъ вещамъ привыкли, но такъ, отойдя немножко отъ нашего паскуднаго опыта — право, вѣдь это изумительно! Фантастическое что-то. А между тѣмъ это существовало и существует! Разныя есть тому причины, но въ числѣ ихъ независимыя обстоятельства сыграли, разумѣется, одну изъ крупнѣйшихъ ролей, одну изъ тѣхъ, на которыхъ вся пьеса держится.

И, однако, это еще далеко не единственный результатъ независимыхъ обстоятельствъ.

Было бы очень любопытно пересмотрѣть хоть нѣкоторыя изъ книгъ, подвергшихся въ послѣдніе годы уничтоженію или изытію изъ продажи. Я, можетъ быть, это когда-нибудь сдѣлаю. Но мы можемъ набрести на нѣкоторые пеучительные выводы, и не тревожа праха этихъ безвременно погибшихъ дѣтищъ литературы. Осматриваясь просто кругомъ, мы можемъ отчасти догадаться, въ чемъ состояли грѣхи покойниковъ, за что они погибли, что унесли съ собой и, наконецъ, выиграли-ли мы или проиграли отъ ихъ гибели.

Вотъ новая книга, изданная въ Одессѣ: «Очерки южно-русскихъ артелей и общинно-артельныхъ формъ», г. Ф. Щербины. Въ предисловіи издателя, между прочимъ, читаемъ: «Не смотря на то, что книга была разрѣшена цензурою, въ началѣ нынѣшняго года она была приостановлена изданіемъ по *независимымъ обстоятельствамъ*, и только во второй половинѣ сего года изданіе и печатаніе этой книги было разрѣшено уже главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати». Перелистывая эту книгу, я все думалъ: за что? И могъ придумать только одинъ отвѣтъ: ни за что, ни про что; въ каковому результату, впрочемъ, пришло и главное управленіе по дѣламъ печати. Если же невинное и полезное изслѣдованіе о южно-русскихъ артеляхъ еле-еле протискалось на книжный рынокъ, то объясненія этому надо искать въ неведомыхъ мѣстныхъ глубинахъ независимыхъ обстоятельствъ: можетъ быть, на административно-одесскомъ нарѣчій «артель»

значить тоже самое, что «жупель»; можетъ быть, авторъ слыветъ неблагонадежнымъ; можетъ быть, троюродная племянница автора «занимается соцеализмомъ». Все можетъ быть.

Вотъ изданная въ Петербургѣ брошюра г. Попова, на которой мы остановимся нѣсколько подольше. Статейка г. Попова озаглавлена такъ: «По поводу первой брошюры профессора Цитовича. Спб. 1880». Вы невольно поражаетесь отсталостью г. Попова. Какое кому теперь дѣло до первой брошюры профессора Цитовича? Былъ дѣйствительно такой профессоръ, и погиге память его безъ шума; была такая брошюра и былъ-ея поросла. Нетолько не великодушно, а даже ненужно рассказывать это бывшее и искать въ немъ того лежакаго, котораго бить стыдно, а похвалить не за что. Но у г. Попова есть свои резоны. Онъ пишетъ въ коротенькомъ предисловіи: «По совершенно независимымъ обстоятельствамъ, брошюра запаздываетъ появленіемъ въ печати. Впрочемъ, тѣ общіе вопросы, которые подняты споромъ г. Цитовича съ г. Михайловскимъ и о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящей брошюрѣ, не потеряли своего интереса и до настоящаго момента и, вѣроятно, еще долго будутъ составлять злобу русскаго дня».

Опять независимыя обстоятельства! Это становится, наконецъ, похоже на условный приемъ старинныхъ повтическихъ произведеній, начинавшихся непременно обращеніемъ къ музѣ: муза, воспой! и т. д. Муза независимыхъ обстоятельствъ, специальная муза русской миеологии фигурируетъ теперь чуть не въ каждомъ предисловіи. На этотъ разъ, независимыя обстоятельства можно взвѣсить, смѣрять, причемъ, я увѣренъ, читатель не постыуетъ на г. Попова за упорство, съ которымъ онъ хочетъ довести до общественнаго мнѣнія свой взглядъ на incident-Цитовичъ.

Да не подумаетъ прежде всего читатель, чтобы я обращаю его вниманіе на брошюру г. Попова, въ качествѣ, нѣкоторымъ образомъ, заинтересованной стороны. Нѣтъ, о своей заинтересованности въ казусѣ г. Цитовича я и думать забылъ. Притомъ же г. Попова я отнюдь не могъ бы считать своимъ союзникомъ. Совсѣмъ напротивъ. То-то и любопытно, что «совсѣмъ напротивъ», а независимыя обстоятельства все-таки украсили собой предисловіе г. Попова.

Г. Поповъ вполне согласенъ съ г. Цитовичемъ насчетъ гибельной пропасти, въ которую «извѣстная часть нашей литературы» влечетъ молодыя русскія силы. Скажу прямо, г. Поповъ говоритъ въ этомъ направленіи много очень смѣшныхъ вещей. Но да простятся онъ ему, да не будутъ онъ даже здѣсь

упомянуты, въ виду той здоровой правды, которая, между прочимъ, заключается въ его брошюрѣ и ради которой онъ, конечно, и подвергся вліянію независимыхъ обстоятельствъ.

Г. Поповъ ищетъ союзниковъ. Оглядывается и видитъ людей, повидимому, горячо отстаивающихъ дорогіе ему, г. Попову, идеалы и истины. Но онъ отвергаетъ этихъ союзниковъ. Онъ находитъ, что это «борцы плохіе, больше вредные, чѣмъ полезныя, потому что своимъ невѣжественнымъ вліяніемъ они портятъ дѣло основательной апологетики христіанства. Иного результата и трудно ожидать отъ такой апологетики, которая, почитая различныя современныя воззрѣнія «пустяками», не считаетъ нужнымъ основательно изучать ихъ, а довольствуется самыми смутными о нихъ представленіями; отъ такой апологетики, которая не знаетъ хорошо даже и того, что берется защищать, то есть христіанства.... Съ невѣдѣніемъ и невѣжествомъ научнымъ вообще, проявляющимися устно и печатно въ создаваніи такихъ апологетическихъ книжекъ и статей, которыя способны заронить искру религіознаго сомнѣнія даже въ душѣ вѣрующаго человѣка, часто связывается въ разсматриваемыхъ псевдо-апологетахъ грубый фанатизмъ при защитѣ своего міровоззрѣнія и противорѣчіе ему въ жизни, противорѣчіе, поддерживающее и усиливающее религіозный индифферентизмъ и невѣріе въ ихъ окружающихъ. Святотатственно воображая себя подъ вліяніемъ горделивой самоуверенности апостолами, а свою рѣчь громами и молніями, погубляющими въ корнѣ различныя тлетворныя ученія, эти люди не знаютъ и даже не хотятъ, если имъ и разъясняютъ, признать, что на самомъ дѣлѣ защитительная рѣчь ихъ, при отсутствіи основательнаго знанія, сердечной любви къ заблуждающемуся и истинно христіанскихъ отношеній къ жизни, есть мѣдъ звѣнящая или кимвалъ бряцающій».

«Развѣ, спрашиваетъ дальше нашъ авторъ:—развѣ презрѣніе, скрежетъ зубовъ и невѣжественная полемика, чѣмъ мы постоянно выражаемъ свое отношеніе къ гибнущимъ людямъ, замѣняютъ нашъ прямой долгъ вывести заблудшихъ на путь истины и правды, и загородить ложную дорогу?» Между тѣмъ, что же встрѣчаетъ «заблудшій» съ другой стороны? Встрѣчаетъ онъ главнымъ образомъ, «статьи и книги извѣстной части литературы и журналистики». «Нашъ юноша, напримѣръ, натолкнулся на статьи Писарева. Неужели онъ можетъ читать ихъ безъ увлеченія, безъ сердечнаго замиранія? Вѣроятно, онъ въ первый разъ въ своей жизни повстрѣчалъ ласковаго, любящаго учителя».

Мы можемъ теперь оставить г. Попова, потому что дѣло уже ясно. То-есть ясно, почему его брошюрка не могла явиться въ свое время. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, независимымъ обстоятельствамъ не всполошиться, когда г. Поповъ, объявляя себя защитникомъ «основъ», въ то же время, требуетъ отъ другихъ защитниковъ основъ такихъ вещей, какъ знаніе и честность?! Когда онъ утверждаетъ, что гг. Катковъ, кн. Голицынъ, кн. Мещерскій, Цитовичъ, и какіе тамъ еще были и есть, только зубами скрежещутъ, да невѣжественную полемику ведутъ, а какой-нибудь Писаревъ является *первымъ* ласковымъ, любящимъ учителемъ?! Положимъ, что г. Поповъ дѣйствовалъ вполне bona fide. Искренне желая дать посильную поддержку «основамъ»; положимъ, что онъ указалъ несомнѣнные факты, отворачиваясь отъ которыхъ просто невыгодно. Но, какъ все-таки смѣть, съ одной стороны, усомниться въ познаніяхъ и добросовѣстности кн. Мещерскаго, а съ другой, объяснить вліяніе Писарева или «извѣстной части литературы» вообще любящимъ, ласковымъ, учительнымъ отношеніемъ! Такова логика независимыхъ обстоятельствъ. Логика безумная, та самая, которая подсказала медвѣдю блестящую мысль согнать муху со лба пустытника увѣсистымъ булыжникомъ. У насъ вѣдь какъ было, можно сказать, на дняхъ? Стоило только какому-нибудь злецу или юродивому выскочить впередъ и съ пѣной у рта начать молотъ невозможный вздоръ якобы въ защиту основъ, а въ сущности на выпущеніе ихъ поруганіе—и независимыя обстоятельства брали его подъ свое покровительство. Злецы и юродивые самоуслаждались, серьезно мнили себя «столпами», спасателями отечества, или нагло торопились наловить рыбы въ мутной водѣ. Понятно, что искренніе люди, въ родѣ г. Попова, должны были приходиться въ ужасъ и негодованіе отъ этого постыднаго и, съ ихъ точки зрѣнія, даже кощунственнаго шабаша. А ничего не подѣлаешь: заикнулся было г. Поповъ насчетъ негодности столповъ, да и продержалъ въ своемъ письменномъ столѣ; по независимымъ обстоятельствамъ, благонамѣреннѣйшую брошюру лишній годъ... Тѣмъ временемъ, напримѣръ, кн. Мещерскій, безъ толку крича о потрясеніи основъ, мозоля всѣмъ глаза своей фizioноміей цвѣта бѣлаго террора, благополучно выльзъ впередъ и, какъ теперь пишутъ въ газетахъ, насильно навязалъ грошовымъ школамъ на десятки тысячъ своихъ книгъ. Тѣмъ же временемъ, г. Цитовичъ пришелъ, увидѣлъ казенныя сто шестьдесятъ тысячъ (какъ опять таки въ газетахъ пишутъ) и, подъ охраною независимыхъ обстоятельствъ, извелъ ихъ на газету «Берегъ».

Еслибы не эти десятки и сотни тысячъ, которыя ни съ какой точки зрѣнія не полагается бросать зря, то «извѣстная часть литературы» могла бы только радоваться, да руки отъ радости потирать. Какой же, въ самомъ дѣлѣ, противникъ опаснѣе: тотъ-ли, который кричитъ безъ всякаго смысла, каждымъ словомъ свидѣтельствуя о своемъ невѣжествѣ, непониманіи, недобросовѣстности, или умный, знающій? Возиться съ людьми неумными или съ такими, которые наговяютъ подъ видомъ благочестія заполучить нѣчто изъ казеннаго сундука и, собственно говоря, болѣе ничего не имѣютъ въ предметъ; возиться съ такими тяжело, за то успѣхъ вѣрный. Такъ вѣдь и во всякой борьбѣ: пусть, пусть противный лагерь работаетъ на свою погибель; пускай онъ самъ задавитъ въ себѣ все разумное и искреннее, и останется при одномъ злобномъ, крикливомъ, но безсильномъ отребьѣ—кого Богъ наказать захочетъ, у того прежде всего разумъ отниметъ. Недаромъ г. Поповъ скорбитъ. Онъ понимаетъ, что независимція обстоательства — плохая охрана, что кажущееся торжество баши-бузукъ отъ благонамѣренности есть, можетъ быть, временное торжество личной карьеры или личнаго кармана того или другого баши-бузукъ, но всѣмъ не торжество идей. Идей, дорогія, излюбленныя идеи г. Попова, при этихъ условіяхъ официально торжествующія, на самомъ дѣлѣ унижены, оскорблены, ихъ въ грязи волочатъ и надругиваются надъ ними. Онѣ впитываютъ въ себя всю эссенцію грязи хватающихся за нихъ рукъ, разлагаются, меркнутъ, становятся символами разнообразнѣйшихъ глупостей и гнусностей. Напротивъ, идеи, ненавистныя г. Попову или представляющіяся ему опасными, хотя и хоронятся по катакомбамъ, откуда должны появляться на дневной свѣтъ въ маскахъ—на самомъ дѣлѣ влекутъ къ себѣ сердца. Что можетъ быть горше для г. Попова, и что можетъ быть пріятнѣе для его противниковъ? Возьмемъ осязательный примѣръ. Г. Поповъ какъ-то странно кульминируетъ всѣ не нравящіяся ему идеи «извѣстной части литературы» въ антихристіанскомъ направленіи. Въ дѣйствительности у насъ вовсе нѣтъ сколько-нибудь вліятельнаго специально антихристіанскаго теченія. Но допустимъ. Представьте же себѣ, какъ велико должно быть удовольствіе русскаго антихристіанина, если независимція обстоательства любезно предоставляютъ защиту христіанства исключительно или преимущественно гг. Цитовичу, Каткову, кн. Мещерскому, кн. Голицыну, а передъ людьми, въ родѣ г. Попова, спускаютъ трехцвѣтное полосатое бревно, называемое

плагбаумомъ. Спору нѣтъ, перечисленные господа естественно стремятся наполнить страхомъ вселенную и превратить ее въ гигантскую Собачью пещеру, въ которой дышать нечѣмъ. Но что же это значить для фанатика антихристіанской, какъ и всякой другой идеи? Онъ скажетъ не безъ удовольственнаго злорадства: жить тяжело, скверно, невыносимо, но, задыхаясь въ созданной вами атмосферѣ, я плюю проклятія на ваши головы, и небо и землю зову въ свидѣтели, что вашъ идеалъ, высокій и чистый, какъ вы говорите, есть подлинно Собачья пещера! И къ нему, задыхающемуся, задохшемуся придутъ, и припадутъ и повѣрятъ. А баши-бузукъ будетъ увѣренъ, что они побѣдили. Они будутъ гарцовать въ пустомъ пространствѣ, бряцая оружіемъ палачей, и кричать, какъ Пустосвятъ съ братіей: «всѣхъ препрехомъ и посрамихомъ! тако вѣруйте!» Но въ самомъ-то дѣлѣ, въ глубинѣ-то вещей—кто побѣдилъ?

Какъ бы, однако, далеко читатель ни пошелъ нить этого разсужденія, онъ непремѣнно долженъ внести въ него еще одну въ высокой степени важную поправку.

Вы, конечно, читали беллетристическія произведенія, въ коихъ повѣствуется о разныхъ гнусностяхъ, глупостяхъ и преступленіяхъ, совершаемыхъ «извѣстною частью нашей молодежи». Я ихъ тоже прежде читалъ, но теперь бросаю, потому что не интересно и надоело. Даже изъ произведеній знаменитаго г. Незлобина прочиталъ всего одинъ какой-то разсказъ. Тѣмъ не менѣе, я не *не* *схрю* подобнымъ повѣствованіямъ, хотя, въ то же время, твердо знаю, что огромное большинство ихъ дѣйствующихъ лицъ одушевлено чистѣйшими побужденіями. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что Иванъ Сидоровъ сдѣлалъ то-то, Сидоръ Ивановъ мыслить такъ-то, Марья Петрова говорить то-то. Къ слѣдовательской дѣятельности не считаю себя призваннымъ. Но происходило-ли разсказанное какимъ-нибудь Незлобинымъ или онъ все это навралъ, а нѣчто подобное *должно* было происходить? Не въ указаніи на фактъ виноваты эти пятого сорта обличители, не за него заклеены они презрѣніемъ порядочныхъ людей, а за перевертаніе факта и за то освѣщеніе, которое они ему даютъ. Еслибы будущій историкъ русскої цивилизаціи былъ поставленъ въ необходимость составлять понятіе о нашихъ мудреныхъ временахъ исключительно по этому рода произведеніямъ, онъ былъ бы повергнутъ въ величайшее изумленіе. Ему предстала бы такая картина: святая Русь, святая не въ смыслѣ условнаго эпитета, а въ буквальномъ смыслѣ святая, безгрѣшная; и эта-то святость изрыгнула вдругъ

изъ себя, ни съ того, ни съ сего, горсть нравственныхъ чудовищъ, какъ будто даже не отъ Адама и Евы происходящихъ; ибо хотя прародители наши, вкусивъ отъ плодовъ древа познанія добра и зла, совершили тѣмъ самымъ грѣхопаденіе, но за то, по крайней мѣрѣ, узнали, что добро и что зло; а эти чудовища не знаютъ, и въ этомъ нравственномъ невѣжествѣ ихъ злонамѣренно поддерживаетъ «извѣстная часть литературы». Картина столь нелѣпая, невозможная, что историкъ цивилизаціи ей, разумеется, ни на одну минуту не повѣритъ. Тѣмъ болѣе, что пересоль чувствуется не только въ общемъ планѣ картины, а и въ подробностяхъ. Я еще недавно читалъ книжонку, въ которой «нигилисты» изображаются извергами человѣческаго рода, а графъ М. Н. Муравьевъ не только человѣкомъ великаго ума и энергіи, а и ангеломъ кротости.

Историкъ цивилизаціи съумѣетъ опредѣлить истинный вѣсъ и размѣръ фактовъ, подлежащихъ обсужденію, и найти истинное соотношеніе трехъ факторовъ: святой Руси, нравственныхъ чудовищъ и извѣстной части литературы. Онъ постарается прежде всего нѣсколько уравнять шансы между святой Русью и нравственными чудовищами, потому что это же невѣроятно, чтобы яблоко упало такъ неизмѣримо далеко отъ яблони. Ну, а эту задачу уравниенія будетъ не хитро разрѣшить, хотя бы при помощи только уголовной лѣтописи: тамъ записаны такія вещи, передъ которыми совершенно блѣднѣютъ поступки нравственныхъ чудовищъ, даже предполагая, что эти поступки вѣрно изображены обличителями. Но на уголовной лѣтописи историкъ не остановится. Къ его времени, между прочимъ, и Пимены выйдутъ изъ келій и предъявятъ свои мемуары. О, я знаю, что, въ большинствѣ случаевъ, это будутъ младенчески простодушные Пимены; заранѣе скорблю о положеніи историка, который узнаетъ съ полной достовѣрностью, что паукъ съѣлъ муху, но найдетъ слишкомъ мало свидѣтельствъ о мысляхъ и чувствахъ съѣденнаго въ ту минуту, когда его ѣли. Ну, дѣлать нечего. Историкъ будетъ умный и какъ-нибудь собственными средствами извернется. Въ концѣ концовъ, историкъ долженъ будетъ признать, что отнюдь нельзя до такой степени выпячивать безобразія нравственныхъ чудовищъ, изрыгнутыхъ святою Русью. Положимъ, что всѣ краски вѣрны; положимъ, что нравственные чудовища не имѣютъ понятія ни о чести, ни о совѣсти и живутъ скотоподобно. Но на другой-то сторонѣ, тамъ, откуда несутся вопли ужаса и обличенія, тамъ-то гдѣ подвиги добра и правды? О, весьма возможно, что Ландсберги и Маевскіе, Митрофанія и Гу-

лакъ-Артемовскія, Юханцовы и Мясниковы, гр. Бобринскіе и Фишеры, читая незлобинскія и инныя произведенія, приходили въ неменьшій ужасъ, чѣмъ Катковы и Мещерскіе, Голицыны и Спичаковы!

Но это—только отрицательныя соображенія; ими нравственные чудовища только вдвигаются въ ряды сыновъ святой Руси. Историкъ пойдетъ дальше. Позвольте васъ спросить, напримѣръ, о такомъ сынѣ отечества, какъ кн. Мещерскій. Пустое, вы скажете, мѣсто, не стоящее вниманія. Но я потому-то его и беру, что онъ въ родѣ пустого мѣста; въ видахъ безпристрастія беру, какъ человѣка зауряднаго, но за то и не «изумившаго міръ злодѣйствомъ». Что онъ дѣлалъ? Лѣзъ начальству въ глаза готовностью растерзаться (еслибы были зубы, конечно) всякаго, не «такъ вѣрующаго», училъ богословію и правиламъ церкви архіереевъ и, прославившись благонамѣренностью, пустилъ эту репутацію въ оборотъ: самъ кричитъ: «всѣхъ препрехомъ, всѣхъ посрамихомъ!» а тѣмъ часомъ накладываетъ контрибуцію въ нѣсколько десятковъ тысячъ на школы. Только и всего. Никакого преступленія, предумышленнаго уголовнымъ кодексомъ, нѣтъ—просто карьеру человѣкъ дѣлалъ, какъ дѣлаютъ ее десятки, сотни, тысячи другихъ людей. Теперь возьмите какое-нибудь нравственное чудовище по такой, напримѣръ, программѣ: свою почтенную тещу, убѣленную сѣдинами, совратилъ въ нигилизмъ, убѣдилъ ее отречься и поступить на женскіе курсы, ту же почтенную тещу совратилъ еще далѣе, прельстивъ ее идею свободной любви: наконецъ, ту же самую тещу убилъ, ограбилъ и деньги употребилъ на изданіе противозаконнаго сочиненія. Кажется, краски достаточно яркія, и ни одинъ изъ Незлобинныхъ не отказался бы подписаться подъ литературнымъ произведеніемъ съ такой фабулой. Тѣмъ не менѣе, я осмѣливаюсь сказать, и вы должны будете согласиться, что есть въ этомъ чудовищѣ одна черта, которая ставитъ его безконечно выше совершенно непреступнаго кн. Мещерскаго. Черта эта въ томъ состоитъ, что совершая свои адскія преступленія, чудовище о себѣ не думало, ибо любовь убѣленной сѣдинами тещи—не велика корысть, а ограбить тещу и деньги употребить на противозаконное изданіе тоже не значить покорыстоваться. Какъ ни извращены идеи чудовища, но оно въ нихъ вѣритъ и только потому ихъ и держится, что вѣритъ. Написать романъ à la кн. Мещерскій—не штука, на это всякаго чудовища хватить. Забѣжать, куда слѣдуетъ, забѣжать разъ, забѣжать два, намозолить глаза необыкновенною высотой чувствъ и потомъ провести свой

романъ, напримѣръ, въ руководства для среднихъ учебныхъ заведеній—это будетъ потрудитѣ, и не у всякаго достанетъ нужной выдержки, но все же вѣдь для этого не требуется высшихъ способностей духа. Почему же этому почетному, прибыльному и не особенно трудному жизненному пути чудовище предпочло рядъ преступленій, въ концѣ которыхъ оно богато, какъ Іовъ, и спокойно, какъ заяцъ, за которымъ несется охота? Любопытный вопросъ.

Замѣтите, что я не поспешилъ на краски преступности и постарался превзойти все, написанное присяжными обличителями чудовищъ; вамъ самимъ предоставляется сдѣлать поправку на основаніи вашего личнаго знакомства съ дѣломъ. Замѣтите также, что съ другой стороны я взялъ всего только кн. Мещерскаго, о которомъ вы справедливо полагаете, что онъ есть пустое мѣсто, не стоящее вниманія. При такихъ условіяхъ можно, наконецъ, кажется, вспомнить и объ «извѣстной части литературы».

Родословная этой «извѣстной части литературы» довольно древняя. Съ крымской войны обыкновенно ведутъ ее, хотя нѣкоторые честолюбцы возводятъ ее выше, къ великимъ именамъ Гоголя и Грибоедова. Это все равно впрочемъ. Во всякомъ случаѣ, «извѣстная часть литературы» есть козлище отпущенія. Что бы ни случилось въ природѣ и въ другихъ мѣстахъ—гладь, трусь, потопленіе, нашествіе иноплемениковъ—за все про все и прежде всего отвѣчаетъ извѣстная часть литературы. Остальная, видите ли, литература полна любви къ отечеству и высокихъ идеаловъ, а эта «извѣстная часть» все наровитъ во вредъ родной странѣ и въ поруганіе всему святому. За это съ ней соответственно и поступаютъ. Когда древніе евреи получали сознаніе своей грѣховности въ виду какихъ-нибудь очевидныхъ каръ, посылаемыхъ Іеговою на избранный народъ, они выбирали подходящаго козла и съ извѣстными обрядами и молитвами выгоняли его въ пустыню. Тамъ, въ этой дикой пустынѣ, онъ могъ вопіять сколько угодно: его никто не слыхалъ, и онъ, наконецъ, искупалъ грѣхи избраннаго народа своею гибелью. Когда надъ русскою землею проносится какая-нибудь бѣда, «извѣстную часть литературы» тоже отправляютъ въ пустыню—въ пустыню независимыхъ обстоятельствъ. Но такъ какъ она—не смертный казель, фиктивный носитель грѣховъ народа Израиля, а выраженіе безсмертныхъ идей, то естественно обнаруживаетъ живучесть: нѣтъ, нѣтъ, да и вернется изъ пустыни, хотя и съ помятыми боками. Эта неровность, перемежаемость судебъ извѣстной части литературы играетъ

очень существенную роль въ исторіи нравственнаго чудовища.

Прежде, чѣмъ совершать рядъ непозволительныхъ дѣйствій надъ своей почтенной тещей, чудовище должно было имѣть нѣкоторую исторію. Первоначально оно не было чудовищемъ; оно было вѣроятно «заблудшимъ», какъ выражается г. Поповъ. Еще раньше, заблудшій былъ просто юноша чистый съ неопредѣленными стремленіями къ свѣту, добру и правдѣ, какъ это обыкновенно у свѣжихъ юношей бываетъ. Г. Поповъ полагаетъ, и справедливо полагаетъ, что въ большинствѣ случаевъ юноша этотъ встрѣчаетъ въ семьѣ и внѣ семьи не ахти какой пантеонъ добродѣтели, и что первымъ любящимъ и ласковымъ учителемъ ему является «извѣстная часть литературы», скажемъ, Писаревъ. Писаревъ, молодой, пылкій человѣкъ съ блестящимъ талантомъ и ловкой діалектикой, очень быстро разъясняетъ юношѣ цѣну окружающаго его пантеона добродѣтели. Эта отрицательная проповѣдь, горячая и искренняя, между прочимъ, потому въ особенности, что Писаревъ не только поучаетъ, а и самъ ею поучается, кладетъ прочное зерно въ душу юноши: онъ уже никогда не сдѣлается кн. Мещерскимъ. Что бы тамъ съ нимъ впереди ни случилось, но онъ не изберетъ почетнаго, прибыльнаго и легкаго жизненнаго пути наложенія контрибуцій на школы. (Конечно, читатели и почитатели Писарева совсѣмъ не необходимо обнаруживаютъ эту отрицательную устойчивость, но мы развиваемъ нашъ спеціальный гипотетическій примѣръ). Писаревъ успѣваетъ сверхъ того набросать для юноши или уже, можетъ быть, «заблудшаго», на скорую руку абрисъ положительнаго идеала, въ которомъ много комически-эгоистическаго и ребячески-наивнаго. Онъ подлещитъ учету, поправкамъ, которые уже готова дать та же извѣстная часть литературы. Но «заблудшій» жадно хватается за это эфемерное созданіе, въ надеждѣ замѣнить имъ низверженныхъ старыхъ боговъ, и торопливо видѣряетъ его въ свою жизнь. На этомъ опускается занавѣсъ. Какъ и что происходило дальше—зрителямъ неизвѣстно. Извѣстно только, что налетѣлъ шкваль и «первый ласковый и любящій учитель» исчезъ. Не потому, что умеръ Писаревъ—послѣдніе годы своей жизни онъ все равно не имѣлъ учительскаго значенія, и это опять не потому, что такъ сложилась его личная условія, а потому, что настала для извѣстной части литературы пора искупать своей гибелью чьи-то грѣхи: настала ей пора удалиться въ пустыню независимыхъ обстоятельствъ. Тамъ оставалась она и остается по сей день, лишь изрѣдка, украдкой,

урывками выходя за предѣлы пустыни. Безъ всякаго ея прямого участія, «заблудшій» добрался до тещи и совершилъ все выше-сказанное. Извѣстная часть литературы не знаетъ, какъ онъ дошелъ до этого, даже не знаетъ досконально, дошелъ - ли: говорятъ, что дошелъ. Однако, хотя это говорятъ вовсе не достовѣрные люди, а, напротивъ, фальсификаторы по призванію и профессіи, извѣстная часть литературы знаетъ, что нѣчто въ этомъ родѣ «заблудшій» долженъ былъ совершить: нѣчто тяжелое, мрачное, запутанное, нѣчто, сотканное изъ противорѣчій между чистыми побужденіями и дикими поступками.

Какъ-же иначе?! «Заблудшій» былъ предоставленъ самому себѣ въ самую критическую минуту своей жизни. На свой личный рискъ и страхъ, безъ малѣйшей помощи со стороны, онъ долженъ былъ додѣлывать, передѣлывать и раздѣлывать эфемериды Писарева. Развивайся эти эфемериды при дневномъ свѣтѣ, свободная критика безъ труда указала бы имъ настоящее мѣсто. Но ихъ взяли подъ свою защиту независимыя обстоятельства. Именно такъ. Это—вовсе не парадоксъ, хотя независимыя обстоятельства, конечно, не на это мѣтили. Правда, въ уличеніяхъ, обличеніяхъ, упрекахъ недостатка не было, но все это сопровождалось, во-первыхъ, зубовнымъ скрежетомъ и низкою злобою, а, во-вторыхъ, исходило не изъ такихъ мѣстъ, куда «заблудшій» привыкъ обращаться съ довѣріемъ и любовью: извѣстная часть литературы молчала.

Вы спросите: почему же она молчала? Почему не пользовалась она своимъ вліяніемъ для критики дѣятельности «заблудшихъ»? А вы думаете, что она воздерживалась съ легкимъ сердцемъ? Но она молчала и будетъ молчать, вплоть до тѣхъ поръ, пока не въ состояніи будетъ взять полного аккорда вмѣсто разрѣшенныхъ ей отдѣльных, безсвязныхъ, дребезжащихъ и въ безсвязности своей нелѣпыхъ и нравственно nepзволительныхъ нотъ. Отвлеченно говоря, отстоять неприкосновенность почтенной тещи вовсе не трудно, особливо, когда посягательства на нее исходятъ не изъ карманныхъ или иныхъ подобныхъ, а изъ совершенно чистыхъ (пожалуйста, замѣйте это хорошенько), такъ сказать, идейныхъ побужденій. Но это простое дѣло становится не только нравственно, а и физически невозможнымъ въ пустынѣ независимыхъ обстоятельствъ. Именно физически невозможнымъ, потому что если-бы извѣстная часть литературы пристала къ унисонному хору обличителей, она перестала бы быть самой собой и навѣки утратила бы ту плодотворную и великую роль ласковаго учителя,

которую она еще можетъ теперь себѣ вернуть. Она стала бы настоящимъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, отъ чего никому не стало бы тепло, а ей самой очень холодно. Извѣстная часть литературы, во имя нравственного своего достоинства, во имя даже существованія своего, какъ особаго, самостоятельнаго образа, не могла и не можетъ участвовать въ охотѣ на людей. Ибо направлять критику систематически въ одну сторону, куда и безъ того стекаются и обличенія, и уличенія, и упреки, и преслѣдованія, направлять ее туда, оставляя неприкосновенными цѣлыя громадныя территории зла, значить охотиться на людей, а не критиковать. Самые элементарныя требованія критики при этомъ не могутъ быть удовлетворены. Критика есть, во-первыхъ, оцѣнка, опредѣленіе хорошихъ и дурныхъ сторонъ предмета, а во-вторыхъ, всестороннее изслѣдованіе причинъ явленія. Пусть же кто-нибудь, положи руку на сердце, скажетъ, что такая критика возможна въ пустынѣ...

И такъ, рисуя нравственныхъ чудовищъ какими хотите красками. Громоздите Оссу на Пеліонъ, стройте вавилонскую башню, а когда Господь Богъ смѣшаетъ ваши языки, сосчитайте, во что обошлись намъ независимыя обстоятельства.

II.

О Писемскомъ и Достоевскомъ *).

1881 годъ начался для русской литературы двумя потерями: 21 января умеръ въ Москвѣ А. Θ. Писемскій, 27 января умеръ въ Петербургѣ Θ. М. Достоевскій. Писемскій родился въ 1820 г., Достоевскій въ 1822 г. Первый романъ Писемскаго «Боярщина» былъ оконченъ въ 1846 году (напечатанъ онъ гораздо позже, въ 1858), первый романъ Достоевскаго, «Бѣдные люди» появился тоже въ 1846.

Это были звѣзды, участники созвѣздія знаменитыхъ «сороковыхъ годовъ», которое такъ долго освѣщало нашу бѣдную жизнь, а теперь уже такъ сильно порѣдѣло. Но «звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во славу». Всегда грубоватая и какъ бы даже щеголявшая своей внѣшней грубостью и внутреннею неряшливостью, муза Писемскаго подъ конецъ совсѣмъ замолкла. Въ послѣднихъ произведеніяхъ его не слышится уже дыханія какой бы то ни было музыки. Онъ, очевидно, задолго до смерти совершилъ все, что могъ совершить, и благодарный читатель поминаетъ въ его лицѣ не живую си-

*) 1881 г., февраль.

ду, относительно которой были бы умѣстны надежды и опасенія, а—заслугу, заслугу законченную и взвѣшенную. Совсѣмъ другое дѣло—Достоевскій. Надъ нимъ едва-ли не сбылось пророчество Бѣлинскаго: «много въ продолженіи его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы». Положимъ, что «противопоставлять» талантъ Достоевскаго какому-нибудь другому никто не думалъ, да и мудрено бы было это сдѣлать въ виду крайней своеобразности таланта Достоевскаго. Но вѣрно, по крайней мѣрѣ, то, что общій интересъ въ его художественной дѣятельности, за нѣкоторыми перерывами, возрасталъ до самой его смерти, а этого далеко нельзя сказать о большинствѣ его блестящихъ сверстниковъ.

Я просто отмѣчаю фактъ, и не думаю мѣрять Достоевскаго съ кѣмъ бы то ни было, всего меньше съ Писемскимъ, хотя ихъ одновременная смерть невольно наталкиваетъ на сравненія и параллели. А фактъ на лицо, онъ не подлежитъ сомнѣнію, онъ засвидѣтельствованъ и похоронами Достоевскаго. Столь торжественныхъ проводовъ частнаго человѣка въ страну небытія Петербургъ, конечно, не видалъ. Какъ ни странно это звучитъ, но въ проводахъ было нѣчто даже какъ бы ликующее. Провожатые вспоминали другія времена, другія подобныя печальныя торжества. Вспоминали рассказъ Панаева о похоронахъ Бѣлинскаго, котораго маленькая кучка людей чуть не тайкомъ донесла до мѣста вѣчнаго упокоенія; вспоминали и радовались, что вотъ мы можемъ теперь такъ полно и открыто выражать свое уваженіе къ любимымъ труженикамъ мысли. Вспоминали похороны Некрасова, не столь многочисленныя и торжественныя, а главное—гораздо болѣе однородныя, не соединившія столько разнообразныхъ общественныхъ элементовъ; вспоминали и радовались, что вотъ все общество, отъ верхняго края до нижняго, слилось въ одномъ чувствѣ уваженія къ покойному и скорби по немъ...

Радостная сторона этихъ сложныхъ ощущеній не могла, разумѣется, имѣть прямого отношенія къ Достоевскому. Но мнѣ кажется, что она уже слишкомъ оторвалась отъ своего повода. Поясню свою мысль мелкимъ, но любопытнымъ фактомъ. Москва, всегда склонная похвастаться своей сердечностью и попрекнуть Петербургъ черствостью и холодностью, на этотъ разъ устала, если не ошибаюсь, «Современныхъ Извѣстій», перевернула на изнанку свою дренажную формулу распределенія пороковъ

и добродѣтелей между двумя столицами: почтенная газета не безъ пафоса укоряла согражданъ-москвичей за то, что они отдали Писемскому послѣднюю дань чувства не такъ полно и всенародно, какъ петербуржцы Достоевскому. Значитъ, почтенная газета думаетъ, что все дѣло тутъ въ пылкости чувствъ, когда-то украшавшей москвичей, а нынѣ переселившейся въ петербургскія болота; въ пылкости чувствъ, а не въ личностяхъ Достоевскаго и Писемскаго и не въ томъ, что «звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славу»...

Простите, читатель. Повторяю, я не думаю мѣрять двухъ покойниковъ, я отмѣчаю странную, но характерную мысль московской газеты. Это—странная мысль потому, что Достоевскій есть Достоевскій, а Писемскій есть Писемскій. Одинъ до конца дней своихъ доставлялъ многочисленнымъ читателямъ своеобразное мучительное наслажденіе игрою своей творческой силы; другой, можетъ быть, уже въ «Тысячѣ душъ», то есть гдѣтъ двадцать тому назадъ, сказалъ свое послѣднее художественное слово. Въ чемъ же, спрашивается, вина москвичей, если они хоронили давнопрошедшее (не затрогивая другой квалификаціи) не такъ, какъ петербуржцы хоронили даже не прошедшее? Но мысль московской газеты не только странна, она характерна. Характерна именно эта отвлеченная, такъ сказать, безпредметная точка зрѣнія на овалы и чествованія, независимо отъ чествуемой личности. Я видѣлъ настоящіе, искренніе слезы и истинно скорбныя лица у гроба Достоевскаго. Но я ощущалъ кругомъ себя и радость, и слышалъ выраженія радости, что вотъ, молъ, сколько свободы и единенія. Конечно, одно другому не мѣшаетъ. Можно глубоко скорбѣть объ утратѣ дорогаго человѣка и въ то же время радоваться, что наконецъ-то я могу открыто, всенародно заявить свои симпатіи. Это такъ. Но при томъ условіи, что свободное выраженіе симпатій есть у насъ рѣдкое и непривычное лакомство, а вовсе не хлѣбъ насущный, получаемый ежедневно,—въ распределеніи скорби и радости можетъ произойти путаница, въ которой истинное значеніе чествуемаго лица совсѣмъ утонетъ. Я глубоко убѣжденъ, что этого рода путаница сильно сгустилась надъ гробомъ Достоевскаго.

Говорятъ о единомъ чувствѣ скорби, въ которомъ слилось все русское общество отъ верхняго края до нижняго. Такое единеніе, пожалуй, и было, а пожалуй, что его и не было,—какъ смотрѣть на дѣло. Вся наша интеллигенція потеряла высоко даровитаго художника, который, вдобавокъ, незамѣнимъ, ибо много надо условій, и притомъ тяжелыхъ,

гнетущихъ условий, чтобы родился второй Достоевскій; поэтому вся интеллигенція, безъ различія направленій и положеній, должна чувствовать утрату. Но, переходя къ другимъ сторонамъ дѣла, я слышу, напримѣръ, рѣчь г. Кони, сказанную въ годовомъ собраніи юридическаго общества 2-го февраля. Какъ пишутъ въ газетныхъ отчетахъ объ этой рѣчи, г. Кони «очертилъ связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей». По вопросу о преступленіи, говоритъ г. Кони, покойникъ далъ анализъ преступленія въ его внутреннемъ содержаніи, далъ анализъ типовъ невмѣняемости и показалъ поучительный примѣръ теплаго къ нимъ отношенія; по вопросу о наказаніи онъ впервые познакомилъ насъ съ каторгой, очертилъ смертную казнь (въ «Идиотѣ») такими штрихами, которые «должны были приняты къ свѣдѣнію юриспруденціей», и изобразилъ «внутреннее наказаніе», которому виновный подвергается помимо общества; наконецъ, онъ внимательно останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ. «Ф. М. Достоевскій, заключилъ ораторъ: — жилъ и трудился для тѣхъ именно цѣлей, къ служенію которымъ призванъ новый, реформированный судъ; его девизъ—правда и милость—начертанъ въ твореніяхъ покойнаго глубокими штрихами, и по нимъ слѣдуетъ учиться служить этимъ великимъ задачамъ».

Юридическому обществу дѣлаетъ величайшую честь, что оно, устами не одного г. Кони, а также и г. Пахмана, не убоилось признать научную цѣнность за поэтическими произведеніями. Тѣмъ не менѣе, я не могу согласиться, чтобы связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей была исчерпана рѣчью г. Кони. Не буду распространяться о той, даже не особенно тонкой насмѣлкѣ, которою Достоевскій облилъ «новый, реформированный судъ» въ своемъ послѣднемъ произведеніи, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Напомню только завѣтную, излюбленную мысль покойнаго о необходимости страданія, въ силу которой онъ строго порицалъ судъ присяжныхъ за склонность къ оправдательнымъ приговорамъ и требовалъ «строгихъ наказаній, острога и каторги». А юридическая идея, лежащая въ основаніи «Братьевъ Карамазовыхъ», та идея, что преступная мысль должна быть такъ же наказываема, какъ и преступное дѣяніе? Нѣтъ, еслибы я обладалъ краснорѣчіемъ г. Кони, я сказалъ бы, можетъ быть, о Достоевскомъ: вотъ человѣкъ, въ увлекательной формѣ вливавшій въ юридическое сознаніе общества самыя извращенныя понятія. Конечно, я сказалъ бы не правду, а только половину правды; но и г. Кони тоже говоритъ половину правды, а не всю правду. И сомнѣ-

ваюсь, чтобы между нимъ, г. Кони и многоразличными проповѣдниками «строгихъ наказаній, острога и каторги», было дѣйствительное «единеніе» у гроба Достоевскаго.

Въ этомъ смыслѣ и на разныхъ другихъ пунктахъ было, вообще, мало «единенія», да и не могло его быть много. Каждый своему богу молится, и нѣкоторые изъ этихъ боговъ такъ же далеки другъ отъ друга, какъ Ормуздъ и Ариманъ. Что же въ самомъ дѣлѣ общего, напримѣръ, между кн. Мещерскимъ и Болеславомъ Маркевичемъ, пролившимъ по слезѣ на страницахъ «Московскихъ Вѣдомостей», и разными другими общественными элементами, представители которыхъ провожали покойника? Если дѣйствительно есть центральный пунктъ, на которомъ всѣ могли сойтись рука объ руку, такъ покажите же его, ничего не пряча и не извращая. Если же такового указать не можете, то опять-таки, ничего не пряча и не извращая, точно и опредѣленно скажите, какому богу вы молились и какое онъ имѣетъ отношеніе къ другимъ богамъ. Въ этомъ именно состояла задача людей печатнаго и устнаго слова, взявшихся разъяснить чувства многочисленныхъ и разнообразныхъ почитателей Достоевскаго. Но, за весьма малыми, едва замѣтными и, во всякомъ случаѣ, незамѣченными исключеніями, люди печатнаго и устнаго слова остались далеко ниже этой задачи. Ихъ, очевидно, смущала та тѣнь мудрости, которая гласитъ, что *de mortuis nil nisi bene*. Но вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, только тѣнь мудрости, а если мудрость, то какая то кашлунья, кастрированная мудрость, немощная и противоестественная или, по крайней мѣрѣ, противообщественная. Личные счеты, конечно, кончаются смертью. Если лежащаго вообще не бьютъ, то лежащаго въ могилѣ и подавно: онъ не встанетъ, чтобы отдать ударъ за ударъ. Но оцѣнка общественнаго дѣятеля не есть поединокъ или дѣло личной чести. Тѣло Достоевскаго въ могилѣ, но его духъ, запечатлѣвшій собою цѣлый рядъ поэтическихъ созданій, живъ, и, можетъ быть, смерть писателя временно даже обостряетъ вліяніе его произведеній, придаетъ имъ усиленное значеніе. Надо очень низко цѣнить этотъ «духъ», чтобы примѣнять къ нему правило *nil nisi bene*. Какое-нибудь ничтожество, которое, свалившись въ могилу, исчезаетъ безъ слѣда и остатка — можетъ нуждаться въ охранѣ великодушія или условныхъ правилъ поединка. Но Достоевскій, одинъ изъ крупнѣйшихъ дѣятелей русской литературы за все время ея существованія, не нуждается въ пощадѣ или великодушіи, ибо онъ хотя и умеръ, но живъ, доколѣ живы его произведенія. Кашлунья же мудрость, на-

валивая на него гору лести, хоронить подъ этой горой его истинное значеніе и, слѣдовательно, совершаетъ надъ нимъ второе погребеніе, ненужное, безцѣльное, оскорбительное и для памяти покойника, и для общественнаго сознанія.

Позвольте вернуться на одну минуту къ рѣчи г. Кони. Краснорѣчивый ораторъ сказалъ, между прочимъ, что Достоевскій «внимательно останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ, какъ-то: о доказательствахъ, о мѣрахъ пресѣченія обвиняемымъ способомъ уклоняться отъ слѣдствія и суда, о задачахъ слѣдователя по дѣламъ уголовнымъ и т. п.». Я не спорю, можетъ быть, это въ самомъ дѣлѣ одинъ изъ итоговъ дѣятельности покойнаго; можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ пристально занимался вопросомъ «о мѣрахъ пресѣченія обвиняемымъ способомъ уклоняться отъ слѣдствія и суда». Но, господа, надо же знать, наконецъ, мѣру! Вѣдь послѣ этого и чины полиціи и жандармы, не какъ люди, а именно какъ чины полиціи и жандармы, могутъ устраивать митинги и на нихъ торжественно заявлять: «вотъ нашъ учитель!» А намъ, зрителямъ и слушателямъ, останется при этомъ только ликовать, что вотъ, дескать, сколько свободы и единенія... Художникъ, умѣвшій глаголомъ жечь сердца людей, пѣвецъ униженныхъ и оскорбленныхъ—что-то большое, иные говорятъ—даже великое, и вдругъ за это безъ малаго великое, точно какъ клешней, хватаются какія-то маленькія, маленькія—мѣры пресѣченія обвиняемымъ способомъ уклоняться отъ суда и слѣдствія! Нѣтъ, какъ хотите, если это и вѣрно, то совсѣмъ не сюда относится. Забудьте, что, придавивъ покойника этой похвалой, г. Кони, какъ уже сказано выше, скрылъ любопытнѣйшую половину отношеній Достоевскаго къ преступленію и наказанію, ту именно половину, которою онъ не «правду и милость» проповѣдывалъ, а «строгія наказанія, острогъ и каторгу», притомъ не за преступленіе только, а и за преступную мысль. Еслибы я обладалъ краснорѣчіемъ г. Кони и былъ призванъ разъяснять юридическому обществу связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей, я поступилъ бы какъ разъ наоборотъ: я оставилъ бы мѣры пресѣченія совсѣмъ втунѣ, но за то постарался бы выяснить процессъ, которымъ человекъ, самъ на своей шкурѣ испытавшій всѣ ужасы каторги, пришелъ къ заключенію объ отвѣченной необходимости и высшемъ духовномъ смыслѣ каторги. Смію думать, что это не нанесло бы ущерба очерку связи творчества Достоевскаго съ юриспруденціей, а кромѣ того, передъ слушателями стоялъ бы живой человекъ, а не духовный

трупъ, погребенный подъ горою неумѣстныхъ похвалъ.

Я могъ бы привести еще не одинъ примѣръ такого вторичнаго погребенія, но читатель, пожалуй, уже давно хитро подмигиваетъ: дескать, *la critique est aisée...* Знаю и вовсе не думаю ограничиваться этой «критикой». Я именно намѣреваюсь рассказать, какъ я понимаю покойника и какъ и почему я шелъ за его гробомъ.

Сначала маленькое специальное замѣчаніе. Какъ разъ предъ смертью Достоевскаго русская литература была унижена и оскорблена, хотя и не въ такомъ смыслѣ, какъ его униженные и оскорбленные герои, но ужъ навѣрное не меньше ихъ. «Обличенія» и ругательства, пущенныя г. Дьяковымъ—Нездобинымъ съ такою холопскою развязностью вслѣдъ удалявшемуся отъ дѣлъ г. Цитовичу; потомъ процессъ гг. Ѳедорова, Баталина, Буренина и Поликарпова подняли такую массу отвратительной грязи со дна русской литературы, что сознавать себя русскимъ литераторомъ было, право, стыдно. Положимъ, что грязь поднялась именно со дна литературы, отъ ея подонковъ; положимъ, что сами они изъ всѣхъ силъ стараются установить границу между собою и тѣми элементами литературы, которые искренно хотятъ сохранить общеніе съ добромъ и правдой. Но, какъ ни какъ, это—«собратья», а тамъ извольте еще разбирать. Есть двѣ вещи, безъ которыхъ литература можетъ только прозябать, а не жить, это—свобода и общественное уваженіе. Этому то послѣднему грозила серьезная опасность; но многочисленная толпа, провожавшая Достоевскаго, могла принести нашему брату, писателю, много утѣшенія или удовлетворенія. Признаюсь, радостная сторона похоронъ даже совершенно исчерпывается для меня этимъ обстоятельствомъ. Честь, небывалая честь и почетъ воздавались труженику мысли и пера, притомъ такому, который до дна испилъ уготованную для этого сорта людей чашу: жестоко пострадалъ за дѣло мысли и практически позналъ, что значить лихорадочная, почти поденная умственная работа. Это было ново и утѣшительно. Что же касается свободы и единенія, то, откровенно говоря, я не то что въ ихъ наличность не вѣрю, а просто нахожу разговоръ этотъ неумѣстнымъ. Онъ также не сюда относится, какъ и мѣры пресѣченія обвиняемымъ способомъ уклоняться отъ слѣдствія и суда (удружилъ же, въ самомъ дѣлѣ, г. Кони покойнику!)

Я очень хочу быть искреннимъ и очень чувствую, какъ трудно привести это хотѣніе въ исполненіе. Тутъ не въ Достоевскомъ дѣло, а въ нашемъ мудреномъ времени.

Замѣтите, пожалуйста, эту любопытнѣйшую и, можетъ быть, наиболѣе общую черту современности: нашему современнику необыкновенно трудно быть искреннимъ. Я не про «независящія обстоятельства» говорю, а про тотъ общій сумбуръ, путаницу, неопредѣленность, въ которой независимыя обстоятельства сами составляютъ только частность, хотя и задающую тонъ многимъ другимъ частностямъ. Въ «Запискахъ современника» мы будемъ часто натапливаться на эту черту и когда-нибудь, набравши достаточно фактовъ, подведемъ итогъ. Теперь же скажу кратко: трудность въ томъ, что одни боятся быть понятыми, а другіе боятся быть непонятыми. Вотъ и я боюсь быть непонятымъ. И не я одинъ боюсь. Многіе совѣтовали даже отложить бесѣду о Достоевскомъ до болѣе благоприятнаго времени, когда восторгъ и скорбь нѣсколько поулягутся. Я думаю, что то само по себѣ, а теперь само по себѣ.

Вы, конечно, помните прекрасныя страницы, написанныя Добролюбовымъ по поводу «Униженныхъ и оскорбленныхъ»; а не помните—такъ перечтите. Многое разъяснено въ этой статьѣ. Но она писана въ 1861 году, двадцать лѣтъ тому назадъ, и въ эти двадцать лѣтъ много воды утекло. Прежде всего Добролюбовъ слишкомъ низко цѣнилъ талантъ Достоевскаго и слишкомъ высоко—«здоровость» его направленія. Онъ именно видѣлъ въ немъ «слабое, но здраво направленное художественное чутье». Для своего времени этотъ приговоръ былъ вѣренъ или почти вѣренъ. Но Достоевскій продолжалъ писать и писать. При этомъ общая манера его писанія осталась та же самая: та же безпричинная неровность изложенія, тѣ же нехудожественныя длинноты и урѣзки; та же невѣроподобность дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ, даже самыя глупыя, необыкновенно проницательны, всѣ говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, и притомъ языкомъ автора, и проч. Но Достоевскій писалъ въ этомъ родѣ такъ долго и упорно, что наконецъ заставилъ всѣхъ съ нимъ примириться. Всякій, принимаясь за новое произведеніе Достоевскаго, зналъ, что найдетъ тамъ много недоузданнаго, передѣланнаго и невѣроподобнаго, и заранее принималъ это почти какъ должное. Но, оставаясь въ отношеніи, такъ сказать, благоустройства романа самымъ слабымъ изъ нашихъ крупныхъ художниковъ, Достоевскій со временъ Добролюбова значительно выросъ, какъ изобразитель внутренней, душевной драмы. «Преступленіе и наказаніе» — (высшій моментъ развитія творческой силы Достоевскаго), по сложности

мотивовъ и тонкости ихъ разработки, неизмѣримо выше всего, что имѣлъ подъ руками Добролюбовъ. Да и въ послѣдующихъ, гораздо уже болѣе слабыхъ вещахъ, въ «Идіотѣ», «Вѣсахъ», «Братьяхъ Карамазовыхъ», есть страницы такого огромнаго достоинства, что о «слабости художественнаго чутья» тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Даже одной «Кроткой» достаточно, чтобы видѣть, что художественное чутье этого человѣка было, напротивъ, очень сильно, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядомъ на десятки, на цѣлыя сотни страницъ, чтобы потомъ вдругъ блеснуть драгоцѣннымъ перломъ и опять исчезнуть.

Но Достоевскій никогда не былъ, что называется, «чистымъ» художникомъ; меньше, чѣмъ кого-нибудь, можно его судить судомъ эстетическимъ: это значило бы оставить его совсѣмъ безъ оцѣнки. Мыслитель и публицистъ всегда рѣзко высовывались въ немъ изъ-за художника; а въ послѣдніе годы онъ и формально вступилъ на почву публицистики. И здѣсь опять приговоръ Добролюбова, почти вѣрный для своего времени, требуетъ теперь очень существенныхъ поправокъ и дополненій.

Вотъ что писалъ Добролюбовъ: «Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, наконецъ, даже не въ правѣ быть человекомъ, настоящимъ, полнымъ, самостоятельнымъ человекомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ долженъ быть человекомъ и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку»—вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и парціальныхъ воззрѣній, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то а priori, какъ что-то составляющее часть его собственной природы. И между тѣмъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человѣка сохранить свою личность, остаться самимъ собой, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходитъ только—или до ожесточенія, нелюбимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупленія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искреннаго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже человѣка... Кажется, тутъ-бы и говорить не о чемъ: человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ,—ну, и ладно, и бросить эту матерію... И какой интересъ—описывать то, какъ слѣпой не видитъ?.. Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ отерываешь, что

слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла; въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда не заглушимыя стремленія и потребности человеческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запертый протестъ личности противъ вѣшняго насильственного давленія и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе».

Въ этомъ-то «гуманическомъ», какъ говорить Добролюбовъ, направленіи художественнаго чутія онъ и видѣлъ его «здравость». На этомъ мотивѣ построена вся глубоко-прочувствованная статья нашего критика, долго составлявшая исходную точку и программу для сужденій о Достоевскомъ. Но «здрavo» или не здраво было направлено творчество Достоевскаго, когда онъ писалъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», а достовѣрно то, что впоследствии онъ совсѣмъ уклонился отъ этого пути. Пожалуй, отмѣченная Добролюбовымъ черта жила въ Достоевскомъ до конца дней: объ этомъ свидѣлствуютъ фигурирующие въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» штабсъ-капитанъ Снегиревъ и его сынъ Илюшечка. Но, во-первыхъ, нѣкоторыя мучительно-превосходныя сцены, въ которыхъ являются эти униженные и оскорбленные, несмотря на все свое высокое достоинство, не новы, это повторенія. А главное, «гуманическая» черта съ теченіемъ времени осложнилась другими чертами, не только не имѣющими ничего общаго съ ней, а даже совершенно ей противоположными. Задатки такого осложненія можно найти и въ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго, но въ настоящую минуту разыскивать ихъ было бы слишкомъ большимъ, да и не нужнымъ трудомъ. Мы, можетъ быть, вернемся къ этой темѣ, когда явится полное собраніе сочиненій покойнаго, которое, конечно, не заставитъ себя долго ждать. Теперь съ насъ довольно того несомнѣннаго факта, что въ «Видныхъ людяхъ» и въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» боль объ униженномъ человѣкѣ и тщательное исканіе въ душѣ его проблесковъ человеческого достоинства и протеста — составляють во всякомъ случаѣ преобладающую струю.

Съ теченіемъ времени эта боль объ униженномъ стала осложняться чувствомъ совершенно противоположнымъ, какимъ-то жестокимъ чувствомъ почти радости, что человѣкъ униженъ; а тщательное изысканіе лежащаго на днѣ души чувства собственного достоинства и протеста замѣнилось проповѣдью смиренія и вольнаго или невольнаго (каторжнаго) страданія. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на эту перемѣну, какъ на поворотъ къ лучшему или къ худшему, но са-

мый фактъ несомнѣненъ. Прежде Достоевскій съ особенною чуткостью ловилъ въ душѣ униженнаго и оскорбленнаго тотъ мотивъ, что и я, дескать, не хуже другихъ! И если этотъ мотивъ, благодаря запутанности и загнанности униженнаго, прорывался нескладно, комически-безобразно, то авторъ съ очевидною болью въ сердцѣ отмѣчалъ этотъ желанный, но неумѣлый взрывъ. Впоследствии, напротивъ, онъ сталъ даже съ гораздо большею жадностью искать въ человеческой душѣ сознанія грѣховности, сознанія своего ничтожества и мерзости и соотвѣтственной жажды искупленія грѣха страданіемъ. Сообразно этому, измѣнилось въ Достоевскомъ и многое другое. Позвольте, для наглядности, такое сравненіе. Въ первую половину своей дѣятельности Достоевскій производилъ, такъ сказать, душевные раскопки, какъ ученые производятъ раскопки археологическія. Во второй половинѣ онъ сталъ настоящимъ кладоискателемъ. Онъ именно искалъ душевнаго клада, со всею, мистически затѣйливою, ненужною и даже вредною для дѣла, но традиціонно обязательною обстановкою этого занятія: онъ пробирался къ намѣченному мѣсту въ глухую полночь, напряженно ждалъ, когда зацвѣтетъ на одно мгновеніе чудесный папоротникъ, и съ трепетомъ бормоталъ таинственные «слова», снимающія положенное на кладъ «заклятіе» и отгоняющія демоновъ, которые охраняють кладъ. Онъ уже не просто искалъ, какъ всѣ люди ищутъ, а почти священнодѣйствовалъ, подзадоривая, «взвнчивая» себя самымъ процессомъ священнодѣйствія и его фантастической обстановкой.

Разумѣется, эта перемѣна не вдругъ совершилась. Задатки ея, повторяю, можно найти и въ первой половинѣ дѣятельности Достоевскаго. Поворотъ происходилъ съ извѣстнымъ постепенностью, выдвигая впередъ то, что было первоначально едва замѣтно, и отодвигая назадъ то, что прежде ярче всего било въ глаза. И вотъ какъ, мнѣ кажется, этотъ поворотъ въ общихъ чертахъ происходитъ.

Если есть униженные и оскорбленные, то, значить, есть и унижающіе и оскорбляющіе. А если есть боль за униженныхъ и оскорбленныхъ, то какъ слѣдуетъ относиться къ унижающимъ и оскорбляющимъ? На этотъ вопросъ разные люди отвѣчаютъ разное, то есть или прямо словами отвѣчаютъ, или своею дѣятельностью, даже, можетъ быть, не задавая себѣ точно формулированнаго вопроса. Можно, во имя возмездія, потребовать для унижающихъ кары, такого же униженія и оскорбленія, какое они сами раздаютъ направо и налево. Можно обратиться къ нимъ съ проповѣдью добра и правды, развернувъ передъ ними яркую картину причиняемаго

ими страданія, пригрозивъ имъ муками ада или укорами совѣсти. Можно, наконецъ, подняться на очень, повидимому, высокую точку любви и всепрощенія и сказать: эти люди творятъ неправду, но они не вѣдаютъ, что творятъ, отпусти имъ, Боже! Какъ ни разнородны эти три рѣшенія, но всѣ они имѣютъ одну общую черту: всѣ они рѣшаютъ вопросъ въ предѣлахъ одинокой (хотя и многократно повторяющейся) личности. Возможность новыхъ и новыхъ униженій и оскорбленій, униженій и оскорбленій безъ конца — ни мало ими не колеблется даже въ идеѣ, потому что вся операція подобна рубкѣ лѣса, а не уничтоженію корней, вся она состоитъ въ индивидуально-психологическомъ рѣшеніи задачи. Но можно перенести вопросъ и на общественную почву, которая нисколько не пренебрегаетъ удовлетворенію личныхъ позывовъ къ возмездію и совершенствованію другихъ и себя. Широкая общественная реформа можетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеѣ) вырвать самые корни униженія и оскорбленія, а затѣмъ съ выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, какъ хотите: если въ васъ непреодолимо гложетъ чувство возмездія — жарайте; если вы рассчитываете разбудить въ нихъ совѣсть — будите; если вы склонны къ всепрощающей любви — прощайте. Поступая такъ или иначе, вы удовлетворяете законнымъ требованіямъ своего темперамента и своихъ взглядовъ на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ, коль скоро рядомъ съ ней идетъ движеніе общественной реформы. Но этого-то послѣдняго Достоевскій никогда не признавалъ и, кажется, даже просто органически не могъ понимать. Чтобы видѣть, до какого предѣла онъ въ этомъ отрицаніи или непониманіи, наконецъ, дошелъ, достаточно вспомнить августовскій номеръ «Дневника писателя» (единственный номеръ за 1880 годъ), въ которомъ онъ прямо говоритъ, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы устроить свои отношенія въ наивысшемъ нравственномъ видѣ, оставаясь помѣщицей и крѣпостными, еслибы только прониклись идеями христіанской морали. Точно такъ же онъ въ послѣднее время чрезвычайно горячо и явительно возставалъ противъ новыхъ «учрежденій», доказывая ихъ тщету и, напротивъ, единоспасающее значеніе личнаго совершенствованія. (Были у него и другіе мотивы для агитаціи противъ новыхъ учреждений, но это были мотивы побочные; о нихъ, можетъ быть, ниже). Ему даже такое соображеніе не приходило въ голову, что если всякія учрежденія безсильны, такъ затѣмъ же выходить изъ себя, ратуя противъ того или другого изъ нихъ: ну, пусть оно

явится, это безсильное учрежденіе; если оно въ самомъ дѣлѣ безсильно, такъ тутъ и хлопотать не о чемъ. И всетаки Достоевскій хлопоталъ и выходилъ изъ себя: до такой степени ему была ненавистна идея общественной реформы. Онъ до такой степени вѣрилъ въ силу личной нравственной проповѣди (проще говоря, въ свою собственную силу вѣрилъ), что всякіе иные пути устраненія униженій и оскорбленій казались ему самымъ дерзкимъ возстаніемъ и прогнѣвъ исторіи, и противъ народныхъ идеаловъ, и противъ Бога. Онъ это не разъ прямо говорилъ.

Все это развилось до высшей степени уже подъ конецъ; но, оглядываясь теперь на начало дѣятельности Достоевскаго, можно замѣтить, что и въ этомъ началѣ, при всемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, онъ точно не находилъ унижающихъ и оскорбляющихъ. Это, можетъ быть, свидѣтельствуется объ очень тонкомъ пониманіи, о «проникновеніи», какъ любилъ говорить покойникъ, въ самую суть жизни. Дѣйствительно, если общій порядокъ вещей родитъ и заставляетъ трепетать униженныхъ и оскорбленныхъ, такъ что же ужъ тутъ обрушиваться на какого-то глупаго большого чиновника, который даже совсѣмъ нечаянно оскорбилъ глупаго малаго чиновника? Можетъ быть, Достоевскій такъ и понималъ дѣло, рисуя намъ цѣлую портретную галерею обиженнаго мелкаго люда. Но общій порядокъ вещей былъ для него неприкосновененъ по глубочайшимъ, можетъ быть, интимнѣйшимъ требованіямъ его ума и сердца, и потому онъ съ своей жадой личной нравственной проповѣди остался какъ ракъ на мели, если позволена будетъ въ настоящемъ случаѣ столь вульгарная поговорка. Куда же было дѣвать, эту жадю морализировать, карать, поучать, будить совѣсть, прощать. Пока Достоевскій выбиралъ для своихъ повѣстей и романовъ темы изъ жизни мелкаго чиновника, лишь изрѣдка захватывая другія, болѣе или менѣе родственныя сферы, не могло особенно рѣзко обнаружиться противорѣчіе между уваженіемъ къ общему порядку вещей и признаніемъ его же главнымъ виновникомъ униженій и оскорбленій. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того какъ талантъ Достоевскаго росъ и опредѣлялся, по мѣрѣ того какъ его творческая сила охватывала и такъ называемые интеллигентные слои общества и народъ, — противорѣчіе должно было, такъ или иначе, разрѣшиться. Надо было, наконецъ, либо рѣшительно обвинить общій порядокъ, либо найти иныхъ виновныхъ, личныхъ, съ которыми и поступить сообразно одному изъ трехъ вышеприведенныхъ рѣшеній. Достоевскій нашелъ виновныхъ... Однако, не вдругъ на нихъ обрушился съ внѣшнею

карю, муками ада и ущемленной совѣсти, и всепрощающею любовью...

Будемъ говорить откровенно, читатель. Вы, безъ сомнѣнія, охотно признаетесь, что, читая романы и повѣсти Достоевскаго, да и «Дневникъ писателя», вы не разъ испытывали большую скуку. Но вы, можете быть, не такъ легко признаетесь въ другомъ чувствѣ, которое, однако, почти навѣрное ощущали при этомъ чтеніи, — въ чувствѣ безглаголивости. А оно, между тѣмъ, совершенно понятно. Читая, напримѣръ, «Братьевъ Карамазовыхъ», вы ясно слышите присутствіе злонамѣреннаго человѣка, который иногда глубоко причетъ свою злонамѣренность, а иногда даже просто не можетъ скрыть ея рвущагося наружу обилія. Присутствіе злонамѣреннаго человѣка всегда неприятно, и всякій естественно стремится избавиться отъ него. Вообще говоря, это сдѣлать очень просто: стоитъ только уйти или, въ настоящемъ случаѣ, не читать. Но если какія-нибудь постороннія причины всетаки заставляютъ васъ не только что терпѣть присутствіе злонамѣреннаго человѣка, а даже искать общенія съ нимъ, то въ васъ невольно и неизбежно шевелится безглаголивость. Таково именно отношеніе читателя къ Достоевскому. Не быть его читателемъ нельзя: можно пропускать десятки, сотни скучныхъ, растянутыхъ и натянутыхъ страницъ, но всетаки иные моменты романа даютъ столько и такого наслажденія (почти всегда мучительнаго), сколько и какого ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не найдешь. И, тѣмъ не менѣе, я увѣренъ, что, называя Достоевскаго злонамѣреннымъ писателемъ, я выражаю мысль многихъ и многихъ, хотя, можетъ быть, немногіе рѣшатся именно такъ ее формулировать. Достоевскій — вѣдь это нашъ апостолъ любви, и не той «ненавидящей любви», которая сама признаетъ, что кипитъ желчью и гнѣвомъ, а любви всепрощающей, смиренной. И вдругъ — злонамѣренность!

Вдругъ-ли, не вдругъ-ли, но оно такъ. И не торопитесь винить меня въ несправедливости такихъ сужденій о человѣкѣ, только что зарытомъ въ могилу. дочитайте до конца, и вы увидите, что въ моихъ сужденіяхъ скрывается безъ сравненія больше уваженія къ покойнику, чѣмъ въ безпутныхъ похвалахъ многихъ и многихъ медоточивыхъ хвалителей и ликующихъ о единеніи и свободѣ...

Возьмите какія-нибудь старыя вещи Достоевскаго, изъ тѣхъ, которыя написаны послѣ «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Возьмите, напримѣръ, «Скверный анекдотъ» или «Крокодила, или необыкновенное событіе въ пассажѣ». «Скверный анекдотъ» — вещь въ своемъ родѣ мастерская, «Крокодилъ» — оборванная шутка, очевидно, имѣю-

щая слишкомъ близкое отношеніе къ какимъ-то дѣламъ или дѣлшкамъ своего времени (начала шестидесятыхъ годовъ) и потому теперь совершенно непонятная. Въ «Скверномъ анекдотѣ» разсказывается, какъ одинъ большой чиновникъ, будучи навеселѣ, попалъ на свадебную пирушку своего подчиненнаго. Попалъ онъ нечаянно, отчасти даже противъ воли, но затѣмъ вознамѣрился ободритъ пирующихъ своимъ высокимъ посѣщеніемъ и своею гуманною ласкою. Ничего, однако, такого не вышло, а, напротивъ, — генералъ разстроилъ все веселье, самъ получилъ много оскорбленій, нализался пьянъ, и дѣло кончилось всеобщимъ стыдомъ. Въ «Крокодилѣ» описывается, какъ нѣкто, будучи проглотенъ крокодиломъ, котораго показывали въ пассажѣ, остался тамъ «въ нѣдрахъ» цѣль и невредимъ, и намѣревается оттуда «почувать человѣчество» и изобрѣсти новую собственную теорію новыхъ экономическихъ отношеній». Соль этого оборваннаго разсказа состоитъ, повидимому, въ томъ, что проглотенный крокодиломъ человѣкъ имѣетъ необыкновенно высокое о себѣ мнѣніе. Онъ очень радъ своему несчастію, расчитывая, что въ пассажѣ теперь повалятъ масса народу смотрѣть на крокодила и слушать его, проглотеннаго: «въ результатѣ я у всѣхъ на виду и хотѣ спрятанный, но первенствую». Какая тутъ аллегорія — могутъ разсказать только люди, близкіе къ литературнымъ кружкамъ того времени... Но дѣло не въ этомъ. Читая эти двѣ маленькія вещи очень различной художественной цѣнности, вы невольно поражааетесь проникающей ихъ какою-то страшною, беспокойною и почти безпредметною злостью. Выскакиваетъ зачѣмъ-то сотрудникъ сатирическаго листка «Головешки», пьяный, наглый и безъ смысла оскорбляющій того генерала, который попалъ на свадьбу. Зачѣмъ-то «господинъ Лавровъ читаетъ публичную лекцію» въ пассажѣ и слышатся «свѣтскія образованности и карикатуры г. Степанова». Но вы ясно видите, что дѣло совсѣмъ не въ этихъ мелкихъ шпильбахъ, которыя авторъ, конечно, не съ добрымъ чувствомъ, но только мимоходомъ всаживаетъ въ своихъ литературныхъ противниковъ, а въ какомъ-то гораздо болѣе общемъ и беспокойномъ, безпорядочномъ недовольствѣ. Это — недовольство самимъ собой, своею, тогда еще не упорядоченною внутреннею жизнью, въ которой билось, ища выхода и разрѣшенія, вышеупомянутое противорѣчіе: надо, неужеджимо надо карать, будить совѣсть, прощать; но, во-первыхъ, еще неизвѣстно кого? въ комъ? а во-вторыхъ, надо по внутреннему влеченію къ проповѣди, но надо-ли по ходу дѣла; если виноватъ не Сидоръ, не Иванъ, а неприкосновенный общій порядокъ?

Съ теченіемъ времени эти вопросы выяснились. И какъ только они выяснились, Достоевскій далъ широко задуманную и блестящую вещь — «Преступленіе и наказаніе», въ художественномъ отношеніи лучшее (послѣ «Записокъ изъ мертваго дома», разумеется) изъ всего, что онъ написалъ. Хотя здѣсь еще звучитъ временами старая теплая нотка (особенно въ фигурѣ чиновника Мармеладова), но всетаки первый, къ кому приложены и проповѣдь смиренія, и кара совѣсти, и кара каторги, есть — униженный и оскорбленный Раскольниковъ. Это на первый взглядъ странно, непонятно. Но припомните, что унижающихъ и оскорбляющихъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть общій порядокъ, который, однако, неприкосновененъ, и есть моралистъ, который призванъ творить судъ надъ личностью и только надъ личностью: кромѣ самихъ униженныхъ, значить, судить некого. Къ тому же Раскольниковъ не простой униженный и оскорбленный. Онъ дерзнулъ на возстаніе, онъ кощунственно коснулся общаго порядка и теоретическою мыслью, и практическимъ дѣйствіемъ (довольно, впрочемъ, бессмысленнымъ). За это-то его и совѣсть мучить, за это онъ и на каторгу идетъ, и только тамъ, на каторгѣ, смирившись и увѣровавъ, получаетъ, наконецъ, душевный миръ. Живымъ укоромъ стоитъ передъ нимъ Соня Мармеладова, оплеванная, загаженная, безвинно униженная до послѣдней возможной степени, но и за всѣмъ тѣмъ смиренная, не протестующая: если она противъ чего и протестуетъ, то только противъ сатанинской гордости и дерзости Раскольникова. Смиренная, она все еще себя смирить хочетъ; страдающая, она страданій ищетъ. Это — идеаль. Постепенно въ немъ укрѣпляясь, Достоевскій дошелъ, наконецъ, до убѣжденія, что это не только его личный идеаль, и тѣмъ паче не только пріемникъ его проповѣди, а во первыхъ, — самимъ Богомъ указанная цѣль, и во-вторыхъ, — заветная мысль всего русскаго народа.

Съ «Преступленія и наказанія» Достоевскій становится специалистомъ кладискателемъ. Онъ ходитъ по самымъ дикимъ трупобамъ и все ищетъ смиренія, чувства грѣха, сознанія своего ничтожества. Если долго не находитъ, а тѣмъ болѣе если находитъ, напротивъ, рѣшительное нежеланіе страдать, отсутствіе смиренія или даже протестъ противъ страданія и смиренія вообще, то очень сердится (сейчасъ увидимъ, что изъ этого проистекаетъ). А когда найдетъ подходящую для его надобностей искру, то начинаетъ усиленно раздувать ее, доводитъ, наконецъ, до размѣровъ цѣлаго костра страданія и самоуничтоженія, а самъ стоитъ,

любуется, да раскаленные уголья съ священнымъ сладострастіемъ помѣшиваетъ: онъ знаетъ, что эти муки — во спасеніе...

Въ исключительномъ талантѣ Достоевскаго была одна черта, придававшая ему особенную силу, черта, которую я не умѣю иначе назвать, какъ жестокостью таланта. Припомните въ «Идіотѣ» Настасью Филипповну, эксцентрическій женскій типъ, за который покойникъ не одинъ разъ принимался (онъ и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» повторяется — Грушенька) и который, однако, такъ и не дался ему. Эта странная женщина съ лихорадочною горячностью хватается за мысль нѣкоего Фердыщенко, а мысль въ томъ состоитъ, что каждый изъ присутствующихъ (собралось довольно многочисленное общество) долженъ разсказать вслухъ о самомъ себѣ что-нибудь такое, что онъ считаетъ самымъ подлымъ изъ своихъ поступковъ. Почти все общество возстаетъ противъ этой дикой мысли, но Настасья Филипповна настаиваетъ. «Можетъ быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи», замѣчаетъ авторъ, очень склонный идеализировать Настасью Филипповну. Это самое надо и о самомъ Достоевскомъ сказать. Въ его талантѣ была какая-то жестокая мучительская складка, которая, разумеется, ему самому дорого стоила, но которая тѣмъ не менѣе побуждала его съ наслажденіемъ растагивать утонченнѣйшія описанія мученій и страданій, растагивать до нехудожественной длинноты и часто совсѣмъ безъ нужды. Мнѣ незачѣмъ напоминать читателю отдѣльныя сцены, потому что все, что онъ самъ припомнитъ, будетъ навѣрное въ этомъ родѣ. Только ради ненужности многихъ подобныхъ мучительныхъ и мучительскихъ сценъ, я укажу на моментъ появленія Красоткина у постели умирающаго Илюшечки (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Красоткинъ лицо вводное, притомъ введенное подъ самый конецъ романа и не играющее въ немъ никакой существенной роли. Выкиньте Красоткина совсѣмъ — и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» рѣшительно ничего не измѣнится, хотя можно, пожалуй, механически приставить къ фабулѣ романа даже двухъ Красоткиныхъ. И вотъ авторъ съ любовью и величайшимъ тщаніемъ вырисовываетъ (именно вырисовываетъ, а не просто рисуетъ) поразительную сцену, какъ Красоткинъ мучитъ умирающаго мальчика напоминаніями о его жестокомъ поступкѣ съ собакой Жучкой. Положимъ, что Красоткинъ продѣлываетъ это отчасти даже съ доброю цѣлью, ради болѣе эффектнаго общенія Илюшечкѣ, что собака Жучка жива, онъ и не подозреваетъ, что добываетъ умирающаго. Но Достоевскій-то это пони-

насть. Сцена совершенно невыроподобна, но все-таки производит сильное впечатление, именно благодаря жестокой тщательности, съ которою ее отдалъ авторъ. За что же онъ мучить Илюшечку, когда тотъ и безъ этого эпизода съ собакой все равно скоро умереть?—За что?! страшный вопросъ! скажетъ, можетъ быть, читатель: развѣ вамъ непремѣнно нужно, чтобы художникъ только картины блаженства и розоваго счастья рисовалъ?—Нѣтъ, нѣтъ вовсе этого не нужно. Но, во-первыхъ, я ищу характеристики писателя, а Достоевскій былъ одинъ изъ тѣхъ художниковъ, передъ которыми навѣрное много живутъ создаваемые ими образы, а потому очень характерно, что онъ этому живому Илюшечкѣ причиняетъ ненужное и такъ сказать, совершенно сверхсвѣтное страданіе. Во-вторыхъ, вопросъ: за что?—вполнѣ умістивъ именно относительно Достоевскаго, потому что въ томъ-то и дѣло, что онъ и теоретически (въ своей публицистикѣ), и практически (надъ своими героями) требовалъ и раздавалъ страданія ни за что, ни про что, страданія ради страданій. Онъ ихъ и читателю доставлялъ въ безмѣрномъ количествѣ, въ безмѣрномъ, потому что сплошь и рядомъ его мучительныя картинки не будятъ никакой мысли, не отвѣчаютъ ни на какой запросъ читателя, не вызываются теченіемъ романа, не имѣютъ никакого нравственнаго смысла и, наконецъ, не соотвѣтствуютъ реальной жизненной правдѣ; словомъ, ничѣмъ не оправдываются и ничего не даютъ, кромѣ художественно-мучительнаго шекотанія нервовъ. Вы признаете законность, напримѣръ, того, что въ «Идиотѣ», въ самомъ началѣ романа и чуть-ли не въ одной первой главѣ, князь-идиотъ три раза рассказываетъ сцену смертной казни. Три раза—это, можетъ быть, уже слишкомъ много, но все-таки вы встрѣчаете тутъ жизненную правду и нравственную подкладку. Но найдите нравственный смыслъ и правду въ безсознательномъ мучительствѣ Красоткина и во многомъ, во многомъ другомъ...

Такимъ образомъ, все влекло Достоевскаго къ апогею страданія: и уваженіе къ общему порядку, и жажда личной проповѣди, и специальная жестокость таланта. Понятно, поэтому, съ какою ненавистью долженъ былъ онъ относиться къ тѣмъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. Особенно важно послѣднее, то-есть, что другихъ-то хочетъ избавить. Человѣкъ — животное, просто животное, ищущее наслажденій во что бы то ни стало, безъ мысли объ ихъ источникѣ, значеніи и послѣдствіяхъ — не занималъ Достоевскаго. Интересный въ общественномъ смыслѣ, этотъ типъ слишкомъ скуденъ личной пси-

хологіей, а въ ней только покойникъ и чувствовалъ себя, какъ въ родной стихіи, въ ней только онъ и былъ охотъ и смѣлъ. За то тѣмъ сильнѣе приглядывался онъ къ такимъ людямъ, которые, не желая сами страдать, не желаятъ, чтобы и другіе страдали, или согласны принять крестъ, даже сами идти на него, но не ради самоудовольщающаго страданія, а ради именно того, чтобы другіе перестали страдать. Тѣмъ самымъ они переносятъ вопросъ объ униженіяхъ и оскорбленіяхъ на общественную почву, дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. Онъ съ ними и поступаетъ какъ врагъ, неутомимый, жестокий, истительный. Онъ ихъ билъ, унижалъ, мучилъ всѣми возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналѣ его богатой своей болѣзненностью и раздражительностью фантазій. Впрочемъ, всѣ эти разнообразныя казни и пытки можно подвести подъ три главные типа.

Въ «Идиотѣ» нѣкто Евгенийъ Павловичъ доказываетъ, что кто у насъ нападаетъ «на существующіе порядки вещей», тотъ нападаетъ «на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію». Эпиплетическій же князь (въ томъ же «Идиотѣ»), вообще представляющій личные взгляды автора, высказываетъ его излюбленную мысль, что «кто отъ родной земли отказался, тотъ и отъ Бога своего отказался». Сообразно этому, обыкновеннѣйшій приемъ наказанія дерзостныхъ враговъ общаго порядка и лично Достоевскаго состоитъ въ слѣдующемъ. Намѣтивъ подходящую жертву, Достоевскій отнимаетъ у нея Бога, и дѣлаетъ это такъ просто и механически, что точно крышку съ миски снимаетъ. Отниметъ Бога и смотритъ: какъ себя ведетъ въ этомъ положеніи жертва? Само собою разумѣется, что испытуемый немедленно начинаетъ совершать рядъ болѣе или менѣе гнусныхъ преступленій. Но это не бѣда: для преступленій есть искупляющее страданіе и, затѣмъ, всепрощающая любовь. Не для всѣхъ, однако, и въ этомъ все дѣло. Если испытуемый, оставшись безъ Бога, начинаетъ корчиться въ судорогахъ ущемленной совѣсти, то Достоевскій поступаетъ съ нимъ сравнительно милостиво: проволочивъ жертву по цѣлому ряду гнусностей, онъ ее отправляетъ на каторгу или къ «монаху-совѣтодателю» и тамъ ее, самоуниженную и смиренную, осыпаетъ крыломъ всепрощающей любви (Раскольниковъ, Дмитрій Карамазовъ, дерзостный мужикъ Власъ). Если жертва упорствуетъ и до конца чинить «бунтъ», какъ называется одна ха-

рактрная глава въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», бунтъ противъ Бога, порядка вещей и обязанности страданія (изъ той же главы «Бунтъ» особенно ясно видно, что бунтъ надо понимать именно въ этихъ трехъ направленіяхъ заразъ), то Достоевскій заставляетъ ее повѣситься, застрѣлиться, утопиться, опять-таки прогнать предварительно сквозь строй подлости и преступленій (Свидригайловъ, Стоврогинъ, Кириловъ, Смердяковъ). Наконецъ, если испытуемый, оставшись безъ Бога, даже и не упорствуетъ, а чувствуетъ себя совершенно спокойно, то Достоевскій даруетъ ему жизнь и свободу, но казнить его при этомъ самою въ своемъ родѣ лютою казнью: онъ его дѣлаетъ мѣднымъ лбомъ и мерзавцемъ ниже самаго низкаго, словомъ, — какую-то гадину. Таковы многія дѣйствующія лица «Бѣсовъ», таковъ Ракитинъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Въ изображеніи этихъ людей и ихъ судьбы злонамѣренность Достоевскаго чувствуется особенно сильно, и соотвѣтственныхъ страницъ истинно нельзя читать безъ брезгливости.

Остановимся на минуту, только для образца, на Ракитинѣ. Это человѣкъ умный, какъ его рекомендуетъ, по крайней мѣрѣ, Достоевскій, но до такой степени низкій и безсовѣстный, что способенъ дѣлать не только подлости, а и большія глупости. Въ судѣ надъ Дмитріемъ Карамазовымъ онъ фигурируетъ въ качествѣ свидѣтеля. Авторъ рассказываетъ: «Всю трагедію преступленія онъ изобразилъ, какъ продуктъ застарѣлыхъ нравовъ крѣпостного права и погруженной въ безпорядокъ Россіи, страдающей безъ соотвѣтственныхъ учреждений. Словомъ, ему дали кое-что высказать. Съ этого процесса господинъ Ракитинъ въ первый разъ заявилъ себя и сталъ замѣтнѣе; прокуроръ зналъ, что свидѣтель готовитъ въ журналъ статью о настоящемъ преступленіи, и потомъ, уже въ рѣчи своей, цитовалъ нѣсколько мыслей изъ этой статьи, значить, — уже былъ съ нею знакомъ. Картина, изображенная свидѣтелемъ, вышла мрачною и роковою и сильно подкрѣпила «обвиненіе». Вообще же изложеніе Ракитина плѣнило публику независимостью мысли и необыкновеннымъ благородствомъ ея полета. Послышались даже два, три внезапно сорвавшіяся рукоплесканія, именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорилось о крѣпостномъ правѣ и страдающей отъ безурядицы Россіи».

Послѣ всего вышеизложеннаго, вы понимаете, конечно, что такое, хотя бы мимолетное, торжество Ракитина Достоевскій не могъ оставить безъ жестокаго возмездія — вѣдь онъ и негодяемъ-то Ракитина сдѣлалъ за эту самую «страдающую отъ безурядицы

Россію». И, дѣйствительно, возмездіе получается блистательное. Ловкій адвокатъ, чтобы ослабить впечатлѣніе, произведенное показаніями Ракитина, искусными разспросами доводитъ до свѣдѣнія публики, что онъ, этотъ самый благородный врагъ крѣпостного права и безурядицы, 1) будучи атеистомъ, печатаетъ изъ подлости религіозныя статьи, 2) игралъ за двадцать пять рублей гнусную роль сводни. Удовлетворенный авторъ злобно замѣчаетъ: «г. Ракитинъ сошелъ со сцены нѣсколько подсаженный; впечатлѣніе отъ вышшаго благородства его рѣчи было-таки испорчено». Но этого мало. Извѣстно, что у Достоевскаго всѣ дѣйствующія лица чрезвычайно проникательны и всѣ пророчествуютъ именно то, что автору нужно для дальнѣйшаго развитія событій. И вотъ какое пророчество изрекаетъ Иванъ Карамазовъ Ракитину. Пророчество это, какъ опять-таки часто бываетъ у Достоевскаго, излагаетъ самъ Ракитинъ въ разговорѣ съ Алешей: «Извольте (твой братъ) выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита въ весьма недалекомъ будущемъ и не рѣшусь постричься, то непременно уѣду въ Петербургъ и примкну къ толстому журналу, непременно къ отдѣленію критики, буду писать лѣтъ десятокъ и, въ концѣ концовъ, переведу журналъ на себя. Затѣмъ буду опять его издавать и непременно въ либеральномъ и атеистическомъ направленіи, съ социалистическимъ оттѣнкомъ, съ маленькимъ даже лоскомъ социализма, но держа ухо востро, то-есть, въ сущности, дружа нашимъ и вашимъ и отводя глаза дуракамъ. Конецъ карьеры моей, по толкованію твоего брата, въ томъ, что оттѣнокъ социализма не помѣшаетъ мнѣ откладывать на текущій счетъ подписныя денежки и пускать ихъ при случаѣ въ оборотъ, подъ руководствомъ какого-нибудь жидашки, до тѣхъ поръ, пока не выстрою капитальный домъ въ Петербургѣ съ тѣмъ, чтобы перевести въ него и редакцію, а въ остальные этажи напустить жильцовъ». Всякій узнаетъ въ этомъ пророчествѣ вѣшнюю сторону исторіи одного недавно умершаго журналиста. Но каковы бы ни были грѣхи этого покойника, а роль сводни Достоевскій навѣрное уже присочинилъ для вышшаго и злонамѣреннаго эффекта. Такого рода выходки вы найдете въ каждомъ романѣ Достоевскаго (высшій пунктъ этого злобнаго полу-творчества составляетъ, можетъ быть, знаменитый беллетристъ Кармазиновъ въ «Бѣсахъ»). Онъ беретъ нѣсколько чертъ, по которымъ если не всѣ, то очень многіе могутъ узнать, о комъ рѣчь идетъ, но присовокупляетъ уже отъ себя какія-нибудь экстренныя гнусности или пошлости. Въ этомъ

направленіи онъ любилъ также эксплуатировать громкіе уголовныя и политическіе процессы. Словомъ, онъ дѣлалъ то-же самое, что сдѣлалъ въ «Идіотѣ» Келлеръ, напечатавъ обличительную статью противъ князя, за что, разумѣется, Келлеръ и потерпѣлъ отъ Достоевскаго. Но Келлеръ есть всего только Келлеръ, а Достоевскій есть Достоевскій, и потому брезгливое чувство читателя совершенно понятно...

Вы скажете, можетъ быть, что я сужу о Достоевскомъ, какъ человѣкъ партіи. Я не думаю, чтобы такой судъ былъ незаконенъ, но настаивать на этомъ не буду, потому что въ дѣйствительности пишу совсѣмъ не съ точки зрѣнія партіи. Что касается отношеній самого Достоевскаго къ различнымъ партіямъ, то я сейчасъ напомнимъ одинъ любопытный фактъ, въ свое время незамѣченный, съ которымъ придется считаться всякому, кто будетъ писать о Достоевскомъ въполнѣдствіи и кто вѣрнѣе искренности покойника. Но сперва о другомъ.

О Достоевскомъ часто говорятъ, какъ о народномъ писателѣ или, по крайней мѣрѣ, какъ о такомъ, который глубоко постигалъ самую суть русскаго народа, его душу. Это одна изъ самыхъ странныхъ, по своей неосновательности, репутаций. Изъ всѣхъ блестящихъ представителей сороковыхъ годовъ, она наименѣе приличествуетъ именно Достоевскому. Народомъ, какъ матеріаломъ для художественной обработки, онъ никогда не интересовался. Заинтересовался онъ имъ только подъ конецъ, но въ качествѣ публициста и мыслителя, а не художника. «Записки изъ мертвого дома» не въ счетъ. Это крупнѣйшее произведеніе покойника и одно изъ крупнѣйшихъ во всей русской литературѣ стоитъ совсѣмъ особнякомъ. Оно, конечно, на много переживетъ все остальное имъ написанное, посвященное болѣзному интеллигентному русскому человѣку. (Эта сравнительная недолговѣчность не отъ темы, разумѣется, зависитъ, а отъ исполненія, — Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, Отелло, тоже болѣзны интеллигентные люди, но они вѣчны). Однако, и въ «Запискахъ изъ мертвого дома» нельзя искать настоящихъ народныхъ типовъ уже по самой исключительности сферы наблюденій автора. Очень бы ужъ это странно рекомендовало наши «общіе порядки», еслибы въ самомъ дѣлѣ оказалось, что народъ, настоящій народъ надо у насъ только на каторгѣ изучать. Затѣмъ, что касается глубокаго пониманія народной души, то оно исчерпывается въ Достоевскомъ двумя идеями: 1) народъ вѣрнѣе въ Царя; эта идея не есть спеціальное открытіе Достоевскаго, она давно уже стала даже общимъ мѣстомъ; 2) народъ любить и хочетъ стра-

дать; это идея, дѣйствительно, оригинальная, лично Достоевскому принадлежащая, но понятно, что она получена не путемъ наблюденія и изученія, а непосредственно вытекаетъ изъ духа самого Достоевскаго. Чувство грѣха и соотвѣтственная жажда искупленія, какъ тема, не есть исключительная собственность Достоевскаго, но въ постановкѣ вопроса и въ его разработкѣ она, дѣйствительно, оригинальна. Едва-ли, однако, къ выгодѣ для дѣла.

Однажды Достоевскій въ «Дневникѣ писателя» указалъ на некрасовскаго «Власа», какъ на вещь сильную и глубоко проникающую въ народную душу. При этомъ онъ попытался и самъ создать своего собственнаго Власа. Сравните эти два образа. Грѣхи некрасовскаго Власа извѣстны: онъ «побоями въ гробъ жену свою вогналъ; промышляющихъ разбоями, конокрадовъ укрывалъ; у всего сосѣдства бѣднаго скупить хлѣбъ, а въ черный годъ не повѣрить гроша мѣднаго, втрое съ нищаго одереть; бралъ съ родного, бралъ съ убогаго». Заболѣлъ Власъ, страшно стало, муки адскія видятся. И разбуженная совѣсть наложилла, наконецъ, на него крестъ. Все такое житейское, простое, прямо изъ народной жизни взятое. Къ такой простотѣ и жизненности Достоевскій былъ рѣшительно неспособенъ. Разыскивая кладъ грѣховности темною ночью, единственно при свѣтѣ мистическаго расцвѣта папоротника, онъ заставляетъ своего Власа совершить вычурнѣйшее, фантастически затѣйливое преступленіе: Власъ, причащаясь, не проглотилъ причастія, а выплюнулъ въ руку, потомъ положилъ его въ огородъ на землю и выстрѣлилъ въ него изъ ружья! Мнѣ кажется, что достаточно сопоставить этихъ двухъ Власовъ, чтобы убѣдиться, до какой степени скудно и односторонне было въ Достоевскомъ пониманіе народной души. Вся эта душа резюмировалась для него въ чувствѣ грѣха и жажды страданія, чего, конечно, на дѣлѣ нѣтъ; только русской душѣ усваивалъ онъ эту жажду, что, конечно, тоже не вѣрно. Затѣмъ грѣхъ онъ отрывалъ отъ его житейской, общественной почвы, отъ всѣхъ этихъ скупокъ хлѣба, драгня съ «родного и убогаго» и проч., и переносилъ въ сферу фантастическую. И никогда не понималъ онъ той глубокой черты не только русскаго, а и всякаго народнаго духа, въ силу которой присутствіе грѣха обязываетъ не только къ пассивному подвигу личнаго страданія, а къ активному подвигу борьбы съ зломъ за то, что оно другихъ заставляетъ страдать *).

*) Превосходную иллюстрацію къ этой чертѣ читатель найдетъ въ одной главѣ поэмы Некра-

пусть всё страдают! не мѣшай! самъ сми-
рись и страдай,—вотъ все, что ты можешь
сдѣлать; такъ говорилъ Достоевскій, пови-
нуясь требованію своего собственнаго духа.
Но такъ какъ опираться на свой собствен-
ный духъ въ подобномъ дѣлѣ немножко стыд-
но, то Достоевскій искалъ внѣшнихъ санк-
цій и, разумѣется, нашелъ: Богъ и русскій
народъ—вотъ кто требуетъ страданія! Но,
конечно, это неправда: просто Достоевскій
требуетъ, и потому объ изученіи, наблюде-
ніи, пониманіи тутъ даже и рѣчи быть
не можетъ. По этой же самой причинѣ
наполовину правъ г. Кони, рекомен-
довавшій юристамъ учиться у Достоевскаго
гуманному отношенію къ преступникамъ;
но правъ и я, утверждая, что покойный ро-
манистъ распространялъ самыя извращен-
ныя юридическія понятія. Дѣло въ томъ,
что тѣхъ преступниковъ, которые, лишив-
шись Бога, корчались въ судорогахъ ущем-
ленной совѣсти и затѣмъ смиряются и само-
уничтожаются, Достоевскій, дѣйствительно,
«прощалъ» и относился къ нимъ тепло. Но
это только послѣ отбытія наказанія и цѣ-
лаго ряда страданій вообще. Страданіе же
и униженіе считалъ благотворными даже для
людей ни въ чемъ неповинныхъ, и потому
громилъ прокуроровъ за слабость обвиненія,
адвокатовъ за дерзость оправданія, присяж-
ныхъ за то, что они оправдательными при-
говорами лишаютъ подсудимыхъ блаженства
«строгихъ наказаній острога и каторги».

Вернемся къ народу. Пусть Достоевскій
скудно и односторонне понималъ народную
душу, но онъ горячо любилъ народъ, же-
лалъ ему добра и видѣлъ въ немъ надежду
Россіи. Это правда. И великая честь за это
покойнику. Подобно многимъ людямъ соро-
ковыхъ годовъ, Достоевскій понималъ, что
идетъ какая-то еще неясная, но навѣрное
грозная и грязная сила, одинаково враж-
дебная и общимъ идеаламъ сороковыхъ го-
довъ, и мужику. Понималъ это и Писемскій
и выражалъ (въ «Ваагѣ», «Просвѣщенномъ
времени», «Мѣщанахъ») съ свойственною
ему грубою, сухою и узкою опредѣлитель-
ностью. Понималъ и Достоевскій, но до кон-
ца дней своихъ не могъ установиться на
рѣшеніи, откуда собственно гроза надви-
гается? Мыслилъ онъ, надо сказать, чрезвы-
чайно тяжело и медленно, и не по слабости
мысли, а потому, что она у него была обвѣ-
щена разными отягощающими привѣсками,
какъ каторжники кандалами. Если какой-

нибудь поэтическій образъ не давался ему
сразу, однимъ порывомъ вдохновенія и если
приходилось, поэтому, звать на помощь чисто
логическую силу, то онъ оказывался совер-
шенно безпомощнымъ. Онъ возвращался къ
искомому не разъ, не два, повторялъ его
въ цѣломъ рядѣ романовъ, но все-таки ни
до чего не доходилъ (въ такой неопредѣ-
ленности остался, напримѣръ, упомянутый
выше безпокойный женскій типъ и многіе
другіе). Тѣмъ затруднительнѣе было его по-
ложеніе въ области политики или публи-
цистики. Мы видѣли, что уже въ «Идіотѣ»,
то есть въ 1868 г., высказывается въ чрез-
вычайно смутномъ видѣ завѣтная мысль До-
стоевскаго, что кто оторвался отъ народной
почвы, тотъ тѣмъ самымъ отъ Бога отор-
вался, и наоборотъ. Эта мысль и черезъ де-
сять лѣтъ высказывалась съ такою же лю-
бовью, но и въ томъ же смутномъ видѣ. Во
всякомъ случаѣ, Достоевскій всегда искалъ,
вдумывался. Такъ было и относительно на-
двигающейся на русскій народъ грозы. Мнѣ
остается слишкомъ мало времени и мѣста,
чтобы прослѣдить всѣ запутанныя перипетіи
исканій Достоевскаго. Кое-что объ этомъ
мною было разъяснено въ «Отечественныхъ
Запискахъ» 1873 г., гдѣ шла рѣчь о «Бѣ-
сахъ». Теперь укажу только на слѣдующій
фактъ. По поводу январской книжки «Оте-
чественныхъ Записокъ» 1873 г., Достоевскій
заявилъ, что въ нѣкоторыхъ статьяхъ ея онъ
нашелъ «какъ бы новое откровеніе». Онъ
писалъ это въ «Дневникѣ писателя», кото-
рый велъ тогда еще въ «Гражданинѣ»,
а вслѣдъ затѣмъ предложилъ намъ свое-
го «Подростка». Мнѣ, по многимъ причи-
намъ, пріятно напомнить это обстоятельство,
между прочимъ, и въ виду многообразной ро-
брани, которая, я предвижу, обрушится на
меня за предлагаемую статью. Но совер-
шенно отъ этихъ соображеній независимо,
во всякомъ случаѣ интересно отмѣтить соб-
ственное признаніе покойника, откуда онъ
получилъ «новое откровеніе». Статьи, на ко-
торыхъ онъ указывалъ, развивали ту мысль,
что народу послѣ реформы, а отчасти даже
въ связи съ ней, дѣйствительно грозитъ бѣ-
да быть умственно, нравственно и экономи-
чески обобраннымъ. Эта мысль стала съ
тѣхъ поръ любимую мыслью Достоевскаго,
во имя ея онъ и новыя «учрежденія» встрѣ-
чалъ враждебно. Но общій строй его мысли
и идеаловъ уже слишкомъ закоренѣлъ въ
своей фантастичности и произвольности,
чтобы «новыя откровенія» могли отлиться
въ твердые, ясные результаты...

Въ концѣ концовъ невольно рождается во-
просъ: что искалѣчило Достоевскаго?—потому
что въ этомъ-то нельзя же сомнѣваться,
что онъ искалѣченъ.

ова «Кому на Руси жить хорошо?», именно въ
рассказѣ «О двухъ великихъ грѣшникахъ». При-
бавьте рассказы «Про холопа примѣрнаго—Якова
вѣрнаго» и «Крестянский грѣхъ», и вы увидите,
что значитъ истинное пониманіе народной души
въ вопросѣ грѣха и искупленія.

версть, 25 коп. При взвѣшиваніи руды каждыя сани возчика ставятся въ 9 пудовъ и късь этотъ скидывается съ платы, тогда какъ самыя лучшія сани вѣсятъ не свыше 4½ пудовъ, а большинство отъ 3½ до 4-хъ пудовъ. Если посчитать все количество перевозимой руды, то выйдетъ, что у крестьянъ, посредствомъ такихъ пріемовъ, урывается ежегодно не менѣе 10,875 рублей. Это такая сумма, которой хватило бы на уплату за всѣхъ пашковскихъ крестьянъ податей, повинностей и мірскихъ сборовъ, да еще осталось бы на выпивку міроѣдамъ, стоящимъ горю за заводское правленіе. При такихъ условіяхъ, г. Пашковъ едва-ли не напрасно старается распространять между крестьянами черезъ заводскую контору, душевспасительныя книги».

Съ благочестивыми людьми подобныя вещи случаются не рѣдко. Но, мнѣ кажется, тотъ, кто увидитъ въ поведеніи г. Пашкова образчикъ лицемѣрія во вкусѣ мольеровскаго Тартюфа, рискуетъ очень ошибиться. Быть можетъ, «петербургскій апостолъ» (нынѣ, впрочемъ, кажется, уже лондонскій), постоянно устремляя очи горе, просто не видитъ и не знаетъ, что дѣлается у него подъ ногами: Стерлитамакъ, вѣдь это такъ далеко! Быть можетъ, въ самую доктрину г. Пашкова (мнѣ, признаюсь, мало извѣстную) входитъ, какъ необходимая составная часть, обирание мужика для спасенія его же мужицкой души. Быть можетъ, наконецъ, г. Пашковъ совершенно искренно цѣнитъ распространяемыя имъ между крестьянами душевспасительныя брошюры ровно въ 10,875 р. въ годъ. Вообще, очень вѣроятно, что г. Пашковъ не лицемѣръ. Но отъ этого не легче крестьянамъ пяти деревень, приписанныхъ къ Богоявленскому мѣдноплавильному заводу. Не легче не только въ матеріальномъ отношеніи, это само собою разумѣется, а и въ нравственномъ смыслѣ. Потрудитесь въ самомъ дѣлѣ заглянуть мысленно въ душу того мужика, который свидѣть на ⅓ десятины, у котораго скидываютъ съ провозной платы за девяти-пудовыя сани, вѣсящія въ дѣйствительности четыре пуда, съ которыми продѣлываютъ и другіе подобныя фокусы, но которому вручаютъ при этомъ душевспасительную брошюру. Мы съ вами, глядя на дѣло со стороны, можемъ придумывать для г. Пашкова всевозможныя смягчающія обстоятельства, любезно сглаживать противорѣчащія стороны его дѣятельности и высоко цѣнять его благочестіе. Но мужикъ, получающій изъ однихъ и тѣхъ же рукъ душевспасительную брошюру и фальшивую бумажку (ибо, иносказательно говоря, контора г. Пашкова расплачивается фальшивыми ассигнаціями), никакихъ этихъ circonstances

atténuantes во вниманіе не возьметъ. И можете себѣ представить, къ какимъ онъ долженъ приходиться страннымъ заключеніемъ насчетъ благочестія вообще и благочестія г. Пашкова въ особенности!

Вообще, приходило-ли вамъ когда-нибудь въ голову представить себѣ картину полного «единенія» съ мужикомъ? въ томъ именно родѣ, что мужикъ сидитъ съ нами, слушаетъ и понимаетъ наши дебаты, а мы, въ свою очередь, слушаемъ и понимаемъ мужицкія рѣчи или, по крайней мѣрѣ, понимаемъ мужицкую душу, если мужикъ отказывается отъ произнесенія рѣчей? Веселенькіе, я думаю, тутъ могутъ выдти психологическіе пейзажики. Особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда наше лицемѣріе не можетъ представить уже ровно никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ въ свое оправданіе. А это бываетъ. Позвольте представить любопытнѣйшій примѣръ, который хорошъ тѣмъ, во-первыхъ, что очень нагляденъ, а во-вторыхъ, что очень типиченъ.

18-го декабря прошлаго года, въ Москвѣ, въ залѣ благороднаго собранія происходилъ духовный концертъ. Исполняли, между прочимъ, «обѣдню Чайковскаго». По этому поводу нѣкто «Старый московскій священнослужитель» напечаталъ въ № 8-мъ газеты «Русь» протестующее письмо. Авторъ чрезвычайно энергически по существу, но очень сдержанно и вообще прилично по формѣ, доказывалъ, съ точки зрѣнія священнослужителя, незаконность такого явленія, какъ «обѣдня Чайковскаго» и вообще духовный концертъ 18-го декабря. Доказалъ-ли онъ этотъ свой тезисъ — я рѣшить не берусь, ибо не считаю себя призваннымъ судить о вещахъ съ точки зрѣнія священнослужителя. Да и не нужно мнѣ это въ данномъ случаѣ, потому что я объ лицемѣрахъ говорю, а «Старый московскій священнослужитель» ничѣмъ не заслужилъ такого титула. Съ нимъ можно соглашаться или не соглашаться, но онъ, во всякомъ случаѣ, полно и послѣдовательно оцѣнилъ, съ извѣстной специальной точки зрѣнія, обратившій на себя его вниманіе фактъ. Тутъ нѣтъ даже и повода для разговора о лицемѣріи. Одно только позволю я себѣ замѣтить. «Старый московскій священнослужитель», между прочимъ, негодуетъ на то, что музыка, приложенная къ священнымъ пѣснопѣніямъ, исполняется «за деньги». Этого упрека я не понимаю, ибо священно и церковно-служители, исполняющіе эти самыя пѣснопѣнія въ храмахъ, также получаютъ вознагражденіе.

Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ.

Прошла недѣля, другая, третья. И вотъ въ № 14-мъ «Руси» является передовая статья на тему, затронутую «Старымъ мо-

сковскихъ священнослужителей», но уже съ разными, достойными вниманія и подлежащими свѣтскому обсужденію вывертами. Почтенная газета сознается, что, дескать, «мы, лично, вѣроятно, не обратили бы на эту «концертную обѣдню» никакого вниманія, до такой степени неуваженіе къ народной святинѣ вошло у насъ въ общественный обычай и нравы». Но, говорить, когда «Старый московскій священнослужитель» доставилъ намъ свой протестъ, мы его немедленно напечатали, чего никакая другая газета не сдѣлала бы; не сдѣлала бы «не столько по причинѣ разномыслія, сколько ради боязни подвергнуться упреку въ ретроградствѣ, страха ради *иудейск* въ буквальномъ смыслѣ этого слова». Статья № 8-й «Русь», продолжаетъ г. Аксаковъ, вызвала въ нѣкоторыхъ газетахъ гнѣвные выходки и глумленія. Причемъ «одинъ изъ такихъ фельетоновъ, должно быть, самый извѣстный былъ написанъ, сколько намъ извѣстно, именно «интеллигентнымъ» *иудеемъ*»...

Дѣло, впрочемъ, опять-таки не въ этомъ, не въ этихъ сплетнически-іезуитскихъ и ни съ чѣмъ несообразныхъ намекахъ на то, чего не вѣдаетъ никто. А въ томъ дѣло, что «Русь» переноситъ вопросъ на свѣтскую и именно политическую почву. Московская газета согласна признать, что въ «обѣднѣ Чайковскаго» и вообще въ томъ, что такъ возмущало «Старого священнослужителя», по существу, нѣтъ ни грѣха, ни преступленія, ни чего нибудь противнаго религіи или ученію церкви. Тѣмъ не менѣе, концертъ 18-го декабря, равно какъ и театральныя зрѣлища въ великомъ посту, подлежатъ строгому осужденію, ибо въ подобнаго рода вещахъ сказывается неуваженіе къ «отеческимъ обычаямъ», къ «требованію нравственнаго народнаго чувства». И такъ, слѣдуетъ осудить великопостныя театральныя представленія и духовные концерты, не потому, чтобы въ нихъ было что-нибудь предосудительное, съ точки зрѣнія осуждающаго, а потому, что они другимъ кажутся предосудительными. Другими словами, «Русь» рекомендуетъ лицемѣріе. Само собою разумѣется, что, развивая тему, въ нравственномъ отношеніи столь скользкую, да еще тономъ грознаго проповѣдника - моралиста, почтенная газета должна принимать болѣе или менѣе рискованныя позы. И дѣйствительно, какъ ни изловчился г. Аксаковъ въ выкрикиваніи разныхъ «журавлей», а все-таки не избѣгъ въ настоящемъ случаѣ положеній, даже болѣе, чѣмъ рискованныхъ.

Такъ, не довольствуясь доказательствами домашними, г. Аксаковъ отправился за море и тамъ выискалъ слѣдующее: «Ужъ, конечно, сильные мыслители и высокообразованные

умы Англіи очень хорошо понимаютъ, что такое соблюденіе воскреснаго дня, какое полагается англійскимъ обычаямъ, обличаетъ нѣкоторый формализмъ и узость религіознаго воззрѣнія, не заключающаго въ себѣ никакой высшей, безусловной истины. Конечно, ни Джонъ Стюартъ Милль, ни Спенсеръ, ни Бокль, которымъ даже наши интеллигенты и либералы не откажутъ въ умѣ и либерализмѣ, никогда не дозволяли себѣ оскорблять чувство своего народа явнымъ пренебреженіемъ къ чтимому народомъ обычаю». Въ Англіи лицемѣрія дѣйствительно вдоволь, за что ей всегда и доставалось отъ ея собственныхъ великихъ людей, напримѣръ, отъ Байрона. Что же касается Милля, Бокля и Спенсера, то хотя ихъ воскресное времяпровожденіе мнѣ неизвѣстно, а рѣшаюсь все-таки утверждать, что московская газета совершенно напрасно на нихъ ссылается. Но замѣтьте, пожалуйста, какой съ Божіей помощью оборотъ: г. Аксаковъ, какъ извѣстно, стоитъ на томъ, что Европа намъ не указъ, а лишь только въ этой самой Европѣ ему померещились образцы лицемѣрія, такъ онъ готовъ воскликнуть: вотъ люди! Однако, увы! г. Аксакову образцы лицемѣрія именно только померещились. Много лицемѣрія въ Англіи, но ея лучшіе сыны всегда противъ него протестовали и ни Милль, ни Бокль, ни Спенсеръ не заслужили той оскорбительно-хвалебной аттестаціи, которую имъ выдаетъ «Русь». Я могъ бы написать цѣлые десятки страницъ изъ ихъ сочиненій въ доказательство, что они не годятся въ учителя лицемѣрія, но ограничусь только двумя цитатами.

Въ книгѣ «О свободѣ» Милль касается, между прочимъ, и англійскихъ порядковъ воскреснаго времяпровожденія. Рѣшаетъ онъ, однако, этотъ вопросъ совсѣмъ не такъ, какъ можно было бы ожидать на основаніи легкомысленной ссылки г. Аксакова. Милль говоритъ: «Стѣсненія личной свободы избирать для себя тотъ или другой родъ удовольствій, какой кому нравится, не имѣютъ въ свое оправданіе никакого основательнаго довода, и защитникамъ этихъ стѣсненій ничего болѣе не остается, какъ опереться на то основаніе, что есть такіа удовольствія, которыя осуждаются религіей. Но подобное притязаніе мотивировать законъ религіозными соображеніями заслуживаетъ самаго энергическаго протеста... То чувство, которое въ настоящее время обнаруживается въ постоянно повторяемыхъ попыткахъ прекратить движеніе по желѣзнымъ дорогамъ въ воскресные дни, запереть музеи и т. п., это чувство свидѣтельствуетъ объ умственномъ состояніи, въ сущности совершенно одинаковомъ съ тѣмъ, которое дѣла-

ло людей способными на религиозныя преслѣдованія». А вотъ страничка изъ Спенсера. Въ опытѣ «Обычаи и приличія», между прочимъ. читаемъ: «Для истиннаго реформатора нѣтъ ни учрежденій, ни вѣрованій, которыя стояли бы выше критики. Все должно сообразоваться съ справедливостью и разумомъ; ничто не должно спасаться силою своего обаянія. Предоставляя каждому человѣку свободу достиженія своихъ цѣлей и удовлетворенія своихъ вкусовъ, онъ требуетъ для себя подобной же свободы и не согласенъ ни на какія ограниченія ея, кромѣ тѣхъ, которыя обусловливаются подобными же правами другихъ людей. Ему все равно, исходить-ли постановленіе отъ одного человѣка или отъ всѣхъ людей... Онъ высказываетъ свое мнѣніе, несмотря на угрожающее наказаніе, онъ нарушаетъ приличія, несмотря на мелкія преслѣдованія, которымъ его подвергнуть... Онъ предупреждаетъ ихъ (своихъ противниковъ), что будетъ непремѣнно сопротивляться и что сдѣлаетъ это не только для сохраненія своей собственной независимости, но и для ихъ же блага. Онъ доказываетъ имъ, что они рабы и не сознаютъ этого; что они скотовы и цѣлуютъ свои цѣпи; что они всю свою жизнь прожили въ тюрьмѣ и жалуются, что стѣны ея рухнули. Онъ говоритъ, что считаетъ своею обязанностью упорствовать для того, чтобы освободиться и, несмотря на настоящіе ихъ порицанія, предсказываетъ, что когда они успокоятся отъ страха, причиненнаго имъ перспективой свободы, они сами будутъ благодарить его за то, что онъ помогъ имъ освободиться».

Щадя сѣдны г. Аксакова, я прекращаю выписки. Приведеннаго достаточно, я думаю, чтобы снять съ англійскихъ мыслителей похвалу или клевету (это какъ кому угодно) московской газеты. Полемизируя съ славянофиломъ, я бы, разумѣется, никогда не позволилъ себѣ искать опоры въ мнѣніяхъ Милля или Спенсера, ибо, при обыкновенныхъ условіяхъ, эти мнѣнія въ глазахъ славянофила ровно ничего не стоятъ. Но г. Аксаковъ самъ выразилъ желаніе, чтобы мы, русскіе, поучились у этихъ англичанъ... Такимъ образомъ, очевидно, что уличать Европу оглуомъ въ недоброкачественности много легче, чѣмъ отличать въ ней хорошее и дурное. Очевидно также, что если г. Аксаковъ говоритъ что-нибудь даже съ величайшимъ апломбомъ, то вѣрить ему на слово отнюдь нельзя.

Этимъ, однако, далеко не исчерпывается рисованныя положенія, въ которыя г. Аксаковъ становится, возводя лицемеріе въ нравственно-политическій принципъ. Его, на-примѣръ, очень смѣшить и сердить мысль,

что «наши либералы» и «демократы» многоглагольствуютъ о гуманности, ратуютъ за матеріальные интересы народа съ горячностью, подчасъ даже вплоть искреннею, но въ грошъ не ставятъ именно того, что для русскаго народа дороже и святѣ всякихъ вещественныхъ прибылей и выгодъ». Не считая себя призваннымъ защищать всѣхъ русскихъ «либераловъ» и «демократовъ». Но думаю всетаки, что ироническія ковычки, въ которыя г. Аксаковъ помѣщаетъ «либераловъ» значительно, колеблются въ настоящемъ случаѣ мнѣніями Милля и Спенсера, за коими «Русь» согласна признать истинный «умъ и либерализмъ». Конечно, русскій «либералъ» не привыкъ ставить вопросъ такъ рѣзко и круто, какъ онъ поставленъ, на-примѣръ, у Спенсера, но отъ этого теснѣе г. Аксакова ни мало не выигрываетъ. Пикантнѣе поставлено обвиненіе «демократовъ». Г. Аксаковъ полагаетъ, что истинный демократъ долженъ смотрѣть на вещи непремѣнно такъ, какъ смотритъ на нихъ народъ, что въ такомъ именно единеніи съ народомъ и состоитъ демократизмъ, достойный быть освобожденнымъ отъ ироническихъ ковычекъ. Истинный демократъ долженъ ходить, на-примѣръ, въ театрѣ только въ мясоѣдъ, и не потому, чтобы въ великопостномъ спектаклѣ было что-нибудь преступное, грѣховное въ религиозномъ или въ высшемъ нравственномъ смыслѣ, а потому, что онъ представляетъ «эстетическое или, вѣрнѣе, свѣтски-суетное услажденіе меньшинства, *юснопѣ*», отвергаемое народнымъ благочестіемъ. Осмѣливаюсь думать, что театральныя представленія, даваемые въ мясоѣдъ, точно также составляютъ достояніе *юснопѣ*. Что же касается народнаго благочестія и народныхъ вѣрованій вообще, то для вѣщаго уясненія ихъ роли въ настоящемъ случаѣ, позвольте отойти на минуту отъ нашихъ русскихъ дѣлъ и русскаго народа.

Индусы вѣруютъ, что Брама, верховный повелитель міра, сотворилъ брамина изъ устъ своихъ, кшатрія — изъ рукъ своихъ, ваясія — изъ бедра и судра — изъ ноги. Это—народное индусское вѣрованіе, притомъ такое, на которомъ зиждется весь строй индійскаго общества. Представьте же себѣ индійскаго демократа, который оставалъ бы это вѣрованіе, не потому, что оно соотвѣтствуетъ его религиозному настроенію, а именно потому, что онъ демократъ! Разсуждая по методу газеты «Русь», мы должны признать такое странное явленіе возможнымъ, логическимъ и желательнымъ. Между тѣмъ ясно, что нашъ индійскій демократъ стоялъ бы за угнетеніе и униженіе своего народа, отстаивалъ бы принципъ

существенно аристократическій, притомъ въ самой возмутительной формѣ. Ясно, что называть себя демократомъ онъ могъ бы только или по крайней глупости, не умѣющей различать бѣлое отъ чернаго, или изъ лицемерія. Это очень рѣзкій примѣръ, но онъ наглядно показываетъ всю глубину политическаго недомыслия или политическаго лицемерія «Руси». То или другое изъ этихъ блистательныхъ качествъ еще рѣзче отбѣняется признаніемъ почтенной газеты, что презираемые ею «демократы» «радутъ за матеріальные интересы народа съ горячностью, подчасъ даже вполне искреннею». Лучше не могъ бы сказать самъ г. Пашковъ или его контора, раздающая крестьянамъ душепасительныя брошюры и фальшивыя ассигнаціи.

Какъ ни противно все это лицемеріе, въ немъ есть, однако, и хорошая сторона. Хорошо именно то, что лицемеріе раскрываетъ свои карты. Теперь понятно, почему «Русь» такъ охотно печатаетъ статьи такъ называемаго «успокоительнаго» свойства, статьи гг. Самарина и другихъ, въ которыхъ доказывается, что крестьянское малоземелье есть коварная выдумка петербургскихъ демократовъ: почтенная газета заботится болѣе о духѣ, чѣмъ о матеріи, совершенно также, какъ г. Пашковъ. Согласитесь, однако, что это вовсе не выходитъ изъ рискованнаго положенія, созданнаго проповѣдью лицемерія. Согласитесь, что петербургскіе «демократы» имѣютъ нѣкоторое право отвѣтить «Руси» приблизительно слѣдующее:

Въ дѣлѣ, касающемся нашей личной совѣсти, мы не признаемъ авторитета народнаго благочестія и народныхъ вѣрованій вообще. Еслибы наши религіозныя и нравственныя убѣжденія осуждали духовные концерты и великопостные спектакли, мы воздержались бы отъ ихъ посѣщенія. Но такъ какъ этого нѣтъ, такъ какъ сама «Русь» не находитъ въ этихъ посѣщеніяхъ ничего противнаго религіи или ученію церкви, то мы не видимъ никакихъ резоновъ для воздержанія въ угоду народнымъ предразсудкамъ. При этомъ наша совѣсть совершенно спокойна и со стороны вѣрности демократическому принципу, ибо принципъ этотъ отнюдь не въ томъ состоитъ, чтобы во всемъ вторить народу. Напротивъ, онъ обязываетъ всеми возможными и доступными средствами поднимать нравственный и умственный уровень народа и, слѣдовательно, въ частности развѣщать ему, какъ грубо его пониманіе религіи, если онъ дѣйствительно видитъ оскорбленіе своей святыни въ духовныхъ концертахъ и великопостныхъ спектакляхъ; какъ негѣпы его понятія о началахъ общежитія, если онъ въ самомъ

дѣлѣ, говоря словами Милля, «вѣрить, что Богъ не только гнѣвится неблагочестивыми поступками невѣрующаго, но гнѣвится и на насъ, если мы дозволяемъ безпрепятственно совершать эти неблагочестивыя поступки». Мы должны сознаться въ своемъ безсиліи, должны признать, что, не обстоятельства времени и мѣста, которые измѣняются же когда-нибудь, мы не можемъ въ настоящее время служить просвѣтленію народнаго разума, какъ то обязаны были бы дѣлать въ силу своихъ демократическихъ принциповъ. Но это практическое безсиліе ни мало не колеблетъ нашихъ идеаловъ и уже никакъ неспособно заставить принять противоположный образъ дѣйствій, то есть систематическое, сознательное и преднамѣренное потворство заведомо неправильнымъ народнымъ вѣрованіямъ. Это потворство есть не демократизмъ, а лицемеріе, равно унижающее и религію, и народъ, и самого лицемера. Таково наше положеніе относительно «духа». Намъ тутъ нечего стыдиться, и пусть безпристрастные люди разсудятъ, кто выше и чище понимаетъ этотъ «духъ» — мы-ли, или московская газета, мечущая въ насъ громы за неуваженіе къ духу. Что касается «матеріи», то и въ этой области мы не безъ духа живемъ, то-есть не безъ идеаловъ. Между прочимъ, въ нашъ идеалъ входитъ экономически сильное, матеріально самостоятельное крестьянство. И въ этомъ отношеніи нашъ идеалъ совершенно совпадаетъ съ идеаломъ народа. Господа московскіе лицемеры! вы толкуете о народныхъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ, какъ о высшемъ, непререкаемомъ критеріи. Спросите же народъ, какъ онъ понимаетъ «теорію о недостаточности крестьянскихъ надѣловъ». Спросите, — и уберите со страницъ своей газеты разсужденіе гг. Самаринскихъ и иныхъ, ибо вы очень хорошо знаете, какъ рѣшаетъ этотъ вопросъ народъ. Но здѣсь, въ области столь презираемыхъ вами матеріальныхъ интересовъ, вы рѣшаетесь имѣть свое собственное сужденіе, не стѣсняясь «народной исторической правдой», «самобытностью» и другими фразами, которыя, однако, безъ удержу скачутъ съ вашего языка, когда рѣчь идетъ о томъ, чтобы потворствовать грубости и невѣжеству народному... О, еслибы въ самомъ дѣлѣ, мужикъ присутствовалъ при нашихъ дебатахъ! Можетъ быть, онъ сказалъ бы: «Господь съ вами, господа, ходите себѣ въ театръ, когда угодно и сколько угодно, а намъ бы только землицы прихватить»... Но, можетъ быть, онъ разсудилъ бы и иначе. Землицы-то онъ во всякомъ случаѣ прихватить пожелалъ бы, но можетъ быть онъ прибавилъ бы: «а въ театръ великимъ по-

стоить ходить не могли... Что-нибудь въ этомъ родѣ... Я не знаю... Но вотъ что я знаю навѣрное: каковъ бы ни былъ въ послѣднемъ случаѣ трагизмъ нашего положенія (истинно трагизмъ, потому что не въ одномъ театрѣ тутъ дѣло, конечно), но наша совѣсть будетъ чиста: мы не лицебрили, мы ничего на народномъ невѣжествѣ не строили и не собирались строить, мы не хотѣли держать мужика въ духовной нищетѣ и грубости, чтобы съ тѣмъ большимъ удобствомъ загнать его къ себѣ въ батраки и арендаторы...

IV.

О порнографіи *).

На душѣ было пасмурно. Обрывки мыслей перебивали другъ друга, не кристаллизуясь въ правильныя логическія формы. Какая-то посторонняя, стихійная сила гнала ихъ въ безпорядкѣ въ одну сторону и разбивала о страшныя картины. Видѣ ихъ—ни думать, ни чувствовать. Не до работы было. По привычкѣ, рука тянулась къ книгѣ, къ новому номеру журнала и перелистывала страницы. Но строки только передъ глазами мелькали, ничего не говоря «очамъ духовнымъ». Нужно было усиленное напряженіе воли, чтобы войти въ колею, но затѣмъ было безразлично, на какой мысли или на какомъ явленіи остановиться для сосредоточенія. Лишь бы не на московскихъ благоглупостяхъ и благомерзостяхъ, отъ которыхъ и при обыкновенномъ-то теченіи дѣлъ, что называется, съ души воротить, а теперь они... точно розы въ цвѣту, хотѣлъ я сказать, да вспомнилъ, что роза красива и благоуханна.

Я взялъ первую попавшуюся подъ руку книгу, развернулъ тоже гдѣ попало и сталъ читать съ твердымъ намѣреніемъ, такъ сказать, прилѣпиться мыслью къ читаемому. Это былъ апрѣльскій номеръ «Русской Рѣчи» и развернулся онъ на повѣсти г. Немировича-Данченко «Краденое счастье».

И содержаніе, и пикантныя особенности этой повѣсти вы, можетъ быть, уже знаете, если не изъ самой повѣсти, то изъ газетъ, которыя, кажется, всѣ обратили вниманіе на новое произведеніе г. Немировича-Данченко. Такова наша доля. Мы, журналисты, сотрудники такъ называемыхъ толстыхъ журналовъ, по необходимости, живемъ нынѣ заднимъ числомъ. И не далеко уже въроятъ то время, когда газета съ одной стороны, книга и брошюра съ другой, низведутъ журналъ на степень сборника въ родѣ

Revue des deux Mondes, Deutsche Rundschau и англійскихъ обзорѣй. Къ худу или къ хорошу, но такъ будетъ. Жизнь начинаетъ кипѣть слишкомъ быстро, чтобы за ней могла угоняться неповоротливая форма ежемѣсячнаго журнала. Но пока что, а теперь газеты еще оставляютъ намъ кое-что изъ текущихъ житейскихъ мелочей «на разживу». По спѣшности-ли дѣла, или по какой иной, субъективной причинѣ, но газеты рѣдко проходятъ весь тотъ кругъ выводовъ и наблюденій, который вызывается известною текущею житейскою мелочью. Такъ было, кажется, и съ повѣстью г. Немировича-Данченко. Газеты отмѣтили ея порнографическій характеръ, и только.

Жила была дѣвушка, Ольга Максимова. Она была чрезвычайно уродлива, до отвращенія. Уродлива, однакъ, лицомъ только. У ней былъ «отвратительный носъ», «невозможные скулы и лобъ», «безцвѣтные глаза». Но за то она обладала прелестной, стройной таліей, прелестными ножками и ручками, а главное—умомъ. Физическое уродство дѣло неприятное, конечно, и можетъ вліять не мало горечи въ жизнь дѣвушки. Но объяснить всю судьбу Ольги Максимовой однимъ физическимъ уродствомъ невозможно. Очевидно, она была кромѣ того уродъ нравственный, хотя ея творецъ и не замѣчаетъ этого. Ольга Максимова очень рано начала тяготиться своей уродливостью, а пятнадцати лѣтъ уже «зачастую горѣла вся отъ полноты жизни, неудачно выбравшей для себя такое скверное помѣщеніе». Она «сама себя писала стихи и читала ихъ, представляя мысленно, что это декламируетъ ихъ одинъ изъ ея знакомыхъ и непремѣнно стоя на колѣняхъ». Она до того дошла, что «даже Лермонтовскую Тамару понимала. Смерть—не дорогая плата за такую ночь наслажденій и блаженства», рассуждала пятнадцати-лѣтняя дѣвочка. Но вотъ изъ дѣвочки выросла дѣвушка, которая нашла себя опредѣленный, облеченный плотью и кровью «предметъ». Это былъ «артистъ», по какой части неизвѣстно, знаменитый артистъ и вдобавокъ красавецъ, пользовавшійся огромнымъ успѣхомъ у дамъ. Ольга, въ качествѣ уroda, смотрѣла на свой предметъ снизу вверхъ, какъ на нѣчто недосигаемое. Но однажды ей пришла въ голову остроумная мысль приблизиться къ нему въ маскѣ. Въ маскарадѣ дѣло сразу пошло на ладъ, потому что, какъ уже сказано, у Ольги, кромѣ лица, все было прекрасно: прелестная талія, ручки, ножки, умъ, остроуміе. Подъ прикрытіемъ маски дѣло до такой степени пошло на ладъ, что уже при первомъ свиданіи, Волинскій (такъ звали артиста) «задышался», «какъ звѣря

*) 1881 г., май.

бы разорвалъ», вообще превратился въ нѣчто среднее между скотомъ безсмысленнымъ и огнедышащей горой. Онъ сразу предложилъ «все за все» и получилъ согласіе, только чтобы не сейчасъ. А на второмъ свиданіи уже совершилось все, чему надежить совершиться, когда сопркосаются двѣ столь пламенные натуры; Волынский повезъ Ольгу прямо изъ маскарада къ себѣ домой, причемъ дѣвушка поставила только одно условіе: счастливый артистъ не долженъ былъ требовать, чтобы она сняла маску. Вдуть наши огнедышащія натуры... Но эта страница изъ записокъ уroda такъ замѣчательна, что вы позволите мнѣ привести ее почти цѣликомъ.

— Наконецъ-то! послышалось за мной. — Я узнала голосъ Волынскаго... Онъ дрожалъ, точно въ лихорадкѣ; лицо его сдѣлалось блѣднымъ, порою на немъ проступали красныя пятна и онъ сильно жалъ мою руку.

— А ты давно пріѣхала?

— Я чувствовала, что и мой голосъ звучитъ какъ-то странно.

— Съ полчаса.

— Ну? грубо заговорилъ онъ; голосъ его даже нѣсколько охрипъ отъ чего-то. — Наше условіе въ полной силѣ? Это не была маскарадная шутка? Чего ты молчишь? Измучила меня всего! я уже двѣ недѣли въ горячкѣ какой-то... Такъ условіе сохраняется?

— Да... но...

— Какое еще но? недовольно крикнулъ онъ, останавливаясь.

— Съ тѣмъ, чтобы и мои были свято соблюдены.

— Не бойся. Я самъ не сниму твоей маски, самъ не стану узнавать, кто ты и что ты! Такъ гораздо лучше, свободнѣе. Есть какое-то острое чувство въ этой неизвѣстности. Если да, чего мы станемъ ждать тутъ... Вдемъ... Хочешь? А, хочешь?..

Онъ скорѣе отгадалъ отвѣтъ, тѣмъ разсуждалъ его. Красныя пятна рѣзче выступали на этомъ красивомъ лицѣ. Глаза какъ-то сразу потускли; грудь задыхалась сильнѣе, заговорилъ онъ обрывками, одно слово скажетъ, другое пропустить. Нужно было самой про себя оканчивать его фразы.

— Послушай: безъ сожалѣній, безъ жалобъ, безъ упрековъ! Я не хочу такъ!.. Чтобы потомъ вину...

— Я люблю тебя! только и могла я отвѣтить ему на это. Какіе еще тутъ могли быть упреки; развѣ не я сама искала его, развѣ не я сама ему навязалась! Мужчины въ этихъ случаяхъ ужасно недогадливы.

Онъ рванулъ меня къ выходу... И черезъ минуту мы, сломя голову, неслись по улицѣ. Сани дергали... Рука Волынскаго, придерживавшая меня, дрожала. Онъ сильно прижималъ меня къ себѣ, такъ сильно, что мнѣ дѣлалось больно.

— Скорѣе, Иванъ! злился онъ: — что у тебя за одры сегодня!

— Боги неслись вихремъ, и я не успѣла опомниться, какъ сани остановились у ярко освѣщеннаго подъѣзда...

Неправду говорить, что насъ, дѣвушекъ, заставляють отдаваться одно только любопытство, неправда! Во мнѣ билась и кипѣла такая могучая страсть, а вся горѣла. Мои щеки могли об-

жечь; кровь ходуномъ ходила, въ вискахъ стучало, неровно стучало; и сердце тоже то заколотится, какъ испуганная птица, то замретъ, и кажется, вотъ-вотъ совсѣмъ остановится. Я уже не помню, какими комнатами мы шли: было темно. Въ окна смотрѣла тусклая ночь, тускло поблескивали во мракѣ зеркала и едва-едва мерещилась позолота мебели... На столъ какой-то наткнулась, задрезала лампа, стоявшая на немъ, шаговъ не было слышно — вездѣ были ковры. Скоро, скоро!..

— Тебѣ не страшно? обернулся онъ ко мнѣ по дорогѣ...

Нѣтъ! Чего-же... Я тебѣ сказала, я люблю тебя...

— Послушай! Еще есть время, еще ты можешь вернуться. Но разъ мы перешагнемъ ту портьеру, все будетъ кончено! Слышишь?..

— Не успѣла я дойти до середины спальни, какъ сильныя руки точно приподняли меня на воздухъ.

— Да, теперь уже поздно! ты можешь просить, молиться, а тебя не выпущу, ты моя!.. Моя, моя, слышишь!.. Дорогая, милая!

Я не чувствовала никакой охоты ему противиться. Ласки его были грубы, отъ нихъ мнѣ было больно; онъ мѣлъ меня, подымая на руки, но мнѣ дѣлалось отъ этого такъ хорошо, такъ хорошо, что я бы нигуда не захотѣла уйти изъ этой пропитанной раздражающимъ ароматомъ комнаты.

Вотъ. И все въ маскѣ, замѣтите: стремительный Волынский жалъ, мѣлъ, дрожалъ, ржалъ, но свято соблюдалъ условіе! И такъ прошло три недѣли. Да, только три недѣли тянулось это «краденое счастье», столь скотски начатое. Въ одну прекрасную ночь несчастному уроду, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ неинтересныхъ сантиментовъ, пришло въ голову снять передъ Волынскимъ маску. Артистъ испугался. Онъ сказалъ: «Однако!» — и опрометью убѣжалъ изъ дому, а черезъ двѣ недѣли женился на хорошенькой подругѣ нашей уродливой героини. Героиня уѣхала съ матерью въ Крымъ, тосковала, хотѣла застрѣлиться, но, наконецъ, примирилась съ жизнью. Примирилась на томъ неожиданномъ основаніи, что есть на свѣтѣ природа, къ которой героиня обращается съ такимъ гимномъ въ прозѣ: «Да, ты, природа, ты одна истинно прекрасна, ты одна никогда не измѣняешься, ты одна даешь счастье и красивымъ и уродливымъ, и богатымъ и бѣднымъ! Ты одна справедлива!» И т. д.

Мораль, какъ видите, довольно скучная. Скучная именно по своей необъятной обширности, въ которой необходимо должна расплыться всякая мораль, ниѣющая хоть какое-нибудь право на этотъ титулъ. Въ природѣ, безъ сомнѣнія, есть природа, но можно сомнѣваться въ цѣнности этой Америки, открытой разочарованнымъ уродомъ. Можно сомнѣваться также, чтобы въ природѣ не было ничего, кромѣ природы и скотскаго ржанія пламенныхъ артистовъ. Ольга Максимова даже не пыталась пощупать почву для примиренія съ жизнью гдѣ-нибудь въ

промежутки между этимъ телескопически огромнымъ и этимъ микроскопически малымъ. И въ этомъ состоитъ самая любопытная и, дѣйствительно, интересная черта «Краденаго счастья». Но понятно, что отвѣтственность за нее падаетъ отнюдь не на Ольгу Максимову, а исключительно на г. Немировича-Данченко. Когда передъ вами стоитъ, дѣйствительно художественный образъ—Фаустъ, Гамлетъ, Чичиковъ—стоитъ, какъ живой, вы къ нему и относитесь, какъ къ живому лицу: бесѣдуете съ нимъ, изучаете, судите его, любите, презираете и проч. Это результатъ и выстъ съ тѣмъ проба истиннаго творчества. Ольгу Максимову нельзя, конечно, ни любить, ни презирать, ни жалѣть. Никакой отвѣтственности за себя она нести не можетъ, она не живое лицо, а очень искусно сдѣланное чучело, имѣющее, правда, нѣкоторое отдаленное сходство съ человѣкомъ, но только въ томъ смыслѣ, что и у него есть двѣ руки, двѣ ноги, носъ, уши и проч. Тутъ уже долженъ отвѣчать художникъ, если только можно назвать художникомъ человѣка, которому пришло въ голову заняться набиваніемъ чучель. И, конечно, самый строгій приговоръ, въ родѣ ссылки въ отдаленнѣйшія мѣста литературы, былъ бы, безусловно говоря, вполне справедливъ относительно г. Немировича-Данченко. Осужденію онъ подлежитъ за цѣлый рядъ преступныхъ дѣяній, въ числѣ которыхъ есть и клевета на человѣческую природу, и рѣшительно анти-художественные приемы, и подстрекательство, и попустительство самымъ низменнымъ инстинктамъ читающей толпы, и ухищренная идеализация скотоподобія.

Я не чувствую, однако, никакой охоты производить слѣдствіе по личному дѣлу г. Немировича-Данченко. Ахъ! столько гнусностей видѣть и слышать современникъ; и такихъ гнуснѣйшихъ гнусностей, надъ всей родной страной распространяющихъ свое дыханіе, что о провинностяхъ г. Немировича, несмотря на ихъ безотносительную тяжесть, распространяться просто стыдно. Поневолѣ думается: эхъ, кабы у насъ только такія провинности были, такъ жить бы еще можно припѣваючи!

Но въ томъ-то и дѣло, однако, что *только* такія провинности невозможны, немислимы. Вы сразу инстинктомъ чувствуете, а, вникая въ дѣло, и разумомъ окончательно убѣждаетесь, что провинности г. Немировича выросли изъ нѣкотораго общаго положенія вещей, которое подготовило, воспитало, опредѣлило и фабулу, и духъ «Краденаго счастья». Съ этой только стороны грубый порнографическій колоритъ повѣсти и представляетъ интересъ. Ибо лично г. Немировичъ... что же въ самомъ дѣлѣ его приговаривать къ ссылкѣ

въ отдаленнѣйшія мѣста литературы, когда «Краденое счастье» и безъ того въ «Русской Рѣчѣ». Это хоть не самое отдаленное мѣсто, но и очень не близкое. Фауна этого географическаго пространства еще не падаетъ до уровня гг. Катковыхъ и Аксаковыхъ, но уже имѣетъ своими представителями гг. Навроцкихъ и Марковыхъ. Да и помимо того, что г. Немировичъ налагаетъ на себя наказаніе уже самымъ фактомъ преступленія, его положеніе таково, что самъ даже несомнѣнный, при другихъ условіяхъ, отягчающій вину обстоятельства становятся въ данномъ случаѣ источникомъ сомнѣній. Въ самомъ дѣлѣ, г. Немировичъ, во-первыхъ, не лишенъ таланта; во-вторыхъ, онъ человѣкъ бывалый, видавшій виды; ему знакомы сѣверъ и югъ, востокъ и западъ; онъ былъ свидѣтелемъ цѣлаго ряда драматическихъ эпизодовъ, въ которыхъ было вдоволь и выскокаго, и пошлаго, и величія, и подлости. Словомъ, въ умственной кладовой г. Немировича долженъ лежать чрезвычайно богатый запасъ картинъ и образовъ. Все это, повидимому, обстоятельства, отягчающія его вину. А между тѣмъ, вы невольно формулируете свое сужденіе въ видѣ вопроса: почему же этотъ человѣкъ, не лишенный таланта и владѣющій богатымъ запасомъ образовъ и картинъ, всѣ свои богатства превратилъ и сочинилъ такую во всѣхъ отношеніяхъ окудную и фальшивую вещь, какъ «Краденое счастье»? Не въ томъ дѣло, что это плохая совѣсть. Плохихъ повѣстей очень много на бѣломъ свѣтѣ. Дѣло и не въ томъ, что въ повѣсть введенъ порнографическій элементъ. Но онъ доведенъ до такого напряженія, что обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Онъ доведенъ до того, что вы видите людей развѣ только въ смыслѣ двуногихъ, безперыхъ животныхъ, каковое опредѣленіе человѣка еще въ древности считалось образомъ фальши и узкости. Это не кушанье, въ которое положено много перцу, а перецъ, къ которому изъ остатка приличія прибавленъ микроскопическій кусочекъ мяса, да и то не свѣжаго. Ольга Максимова вспоминаетъ мимоходомъ, что плѣнила Волынскаго своимъ «умомъ», что она обмѣнилась съ нимъ какими-то «убѣжденіями» и «взглядами», но все это остается гдѣ-то за кулисами. Ни ума, ни убѣжденій, ни взглядовъ читатель не видитъ и вполне вправѣ заподозрѣвать присутствіе этихъ аксессуаровъ въ отношеніяхъ Ольги Максимовой и Волынскаго. Ибо если скотоподобный артистъ согласенъ никогда не видѣть даже лица своей возлюбленной, лишь бы имѣть въ распоряженіи остальное, такъ ужъ какой тутъ умъ, какіе взгляды и убѣжденія! Неустанный трехдѣльный «пантомимъ любви» въ маскѣ—это мысль чрезвы-

чайно выразительная, как нельзя болѣе наглядно показывающая, въ чемъ дѣло. Гоголевскій герой говорилъ: «ты мнѣ момо-то не разводи, а подавай настоящее дѣло!» Г. Немировичъ идетъ гораздо дальше. Онъ, во-первыхъ, идеализируетъ принципъ гоголевскаго героя, а во-вторыхъ, доводитъ его до степени символа, ибо въ реальной дѣйствительности пантомимъ любви въ маскѣ есть невозможность и нелѣпость, но его символическое значеніе очень серьезно. Еще немножко смѣлости на поприщѣ символики, и героями романа или повѣсти могутъ оказаться прямо извѣстныя части тѣла: все остальное, дескать, «момо»... И, не смотря на все это безобразіе, а можетъ быть даже именно вслѣдствіе преувеличенности этого безобразія, является невольная склонность формулировать сужденіе о г. Немировичѣ въ видѣ вопроса: какъ это могло случиться?

Такой вопросительный оборотъ мысли тѣмъ естественнѣе, что г. Немировичъ совсѣмъ не та одинокая ласточка, которая еще не указываетъ наступленія весны, а свидѣтельствуется только о собственномъ легкомысліи. Нѣтъ, порнографическая весна уже вступила въ свои права, и г. Немировичъ есть только одинъ изъ многихъ, болѣе смѣлый въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, болѣе сдержанный въ другихъ. Надѣвъ на Ольгу Максимову маску, онъ тѣмъ самымъ снялъ съ нея фатовый ластъ, а заставивъ Волинскаго на первомъ же свиданіи съ Ольгой ржать, перенесъ дѣйствіе повѣсти изъ человѣческаго общества въ скучную конюшню. Это очень смѣло, но можно быть еще смѣлѣе, особенно если взять на себя задачу «обличенія порока». Такой обличитель можетъ, причесавъ за шить «строгой морали», живописать всякую мерзость вплоть до противоестественныхъ пороковъ; живописать въ сущности, разумѣется, вовсе не для обличенія и вообще не для чего бы то ни было, а просто потому, что у него у самого при описаніи мерзостей слюни текутъ. На этотъ чрезвычайно удобный способъ обличенія я имѣлъ случай обратить вниманіе читателя еще въ третьемъ году, по поводу сборника порнографическихъ произведеній г. Маститаго Беллетриста. Я привелъ тогда три или четыре описанія «широкихъ кроватей», сдѣланныя г. Маститымъ, описанія совершенно тождественныя, потому что нельзя же придавать серьезное значеніе такимъ различіямъ, что надъ одной кроватью виситъ розовый фонарь яйцевидной формы, а другая озаряется серебрянымъ свѣтомъ искривленнаго мавританскаго фонаря; или что возлѣ одной кровати стоятъ алые туфли безъ задковъ, а возлѣ другой бѣлыя туфли съ изогнутыми каблучками. Не смотря, однако, на эту тождественность, г.

Маститый находилъ возможнымъ нѣкоторые изъ этихъ описаній излагать задыхающимся тономъ, а другія сопровождать эпитетами «подлая» кровать, «безстыдный» фонарь и т. п. Въ этихъ механически приставленныхъ карающихъ эпитетахъ и состоитъ «обличеніе» порока. Понятно, что изъ-за этой ширмы можно очень удобно порнографировать (самая нынѣ настоящая пора для введенія въ русскій языкъ такого глагола), заходя при этомъ далеко за предѣлы «Краденаго счастья». И, дѣйствительно, г. Немировичъ останавливается на животномъ счастьи, а г. Маститый не отступаетъ передъ изображеніемъ счастья противоестественнаго.

Есть, наконецъ, и еще приѣмъ. Порнографъ объявляетъ, что онъ никого не думаетъ карать или миловать, ибо не въ этомъ совсѣмъ состоитъ великая задача искусства, которому онъ, порнографъ, преданъ до глубины души. Искусство должно быть зеркаломъ дѣйствительности, равно безстрастно отражающимъ красоту и уродство, добро и зло. Исходя изъ этого пункта, можно предаться весьма забавнымъ теоретическимъ соображеніямъ въ родѣ тѣхъ, какія плететъ Эмиль Зола о натурализмѣ и экспериментальномъ романѣ, но, понятное дѣло, можно написать какую-нибудь «Нана» и безъ всякихъ теоретическихъ оправданій.

Въ то самое время, когда я имѣлъ удовольствіе бесѣдовать о порнографическихъ рассказахъ г. Маститаго Беллетриста, я обратилъ также вниманіе читателя на произведеніе начинающаго (кажется) писателя, г. Н. Морского. Въ его романѣ «Аристократія Гостинаго двора» было нѣсколько очень недурныхъ страницъ, причѣмъ авторъ, несмотря на нѣкоторые рискованныя положенія дѣйствующихъ лицъ, счастливо избѣгалъ заблужденія, будто голая правда есть именно голая женщина и только она. Нельзя того же сказать о новомъ произведеніи г. Морского—«Содомъ». Передать содержаніе этого романа (печатавшагося, если не ошибаюсь, въ газетѣ «Новое Время», а теперь изданнаго отдѣльно) я не берусь, по крайней его запутанности *). Во всякомъ случаѣ, съ какого конца ни начать изложеніе «Содома», а придешь все къ тому же.

Господинъ Варикуръ надзиратель въ част-

*) Котати о запутанныхъ фабулахъ. Одинъ критикъ замѣтилъ по поводу главы «Записокъ современника», трактовавшей о Достоевскомъ, что я, очевидно, не читалъ «Братьевъ Карамазовыхъ», ибо говорю, что Иванъ Карамазовъ кончилъ самоубійствомъ, а изъ романа этого вовсе не видно. Могу увѣрить почтеннаго критика, что «Братьевъ Карамазовыхъ» я читалъ, и очень внимательно, но, дѣйствительно, ошибся, покончивъ дни Ивана Карамазова самоубійствомъ. Эта ошибка, впрочемъ, не имѣетъ никакого значенія.

номъ учебномъ заведеніи, былъ нѣкогда лакеемъ у сводни. М-ле Варикуръ, его дочь, съ юныхъ лѣтъ склонная соблазнять мужчинъ на веселый грѣхъ, продается развратному мальчишкѣ Залетаеву, воспитывающемуся подлѣ наблюденіемъ Варикура. Мать этого Залетаева живетъ съ псаломщикомъ, братомъ м-ше Варикуръ, а отецъ—съ «Акулькой». Но кромѣ того, Залетаевъ-сеньоръ заводитъ связь съ м-ше Варикуръ, уже состоящую въ связи съ его сыномъ, и послѣ долгихъ стараній получаетъ нѣкую пѣвицу Золотницкую, выдавъ ее предварительно обманнымъ образомъ замужъ все за того же своего сына. У м-ше Варикуръ есть подруга или родственница (право не помню) Варенька, поступающая на содержаніе къ женатому купцу Силантьеву, но замужъ она, по разнымъ соображеніямъ, выходитъ опять-таки за младшаго Залетаева, уже женатаго на Золотницкой (которую обезчещиваетъ Залетаевъ-отецъ) и живущаго съ м-ше Варикуръ (которая находится въ связи и съ Залетаевымъ-отцомъ). И т. д. Однимъ словомъ, тутъ, съ позволенія сказать, самъ чортъ ногу сломить. Достоверно только то, что почти всѣ дѣйствующія лица романа сосредоточиваютъ всѣ свои чувства и помыслы, иносказательно говоря, на «широкой кровати». Не пьютъ, не ѣдятъ, а только на широкой кровати валяются. Въ виду этой единственной цѣли жизни, пускаются въ ходъ чрезвычайно сложныя махинаціи, а кто съ кѣмъ живетъ, даже разобрать трудно. Впечатлѣніе получается тѣмъ болѣе отвратительное, что самыя мерзостныя отношенія возникаютъ и поддерживаются съ совершенно невѣроятною наглостью. Вотъ, на примѣръ, разговоръ Паулины Онуфриевны Залетаевой съ сыномъ. Мать пріѣхала навѣстить своего сына въ учебномъ заведеніи; ей приходится ждать въ пріемной, потому что юный негодяй находится на весьма пикантномъ амурномъ свиданіи. Наконецъ, онъ приходитъ.

«—Гдѣ былъ? Долго ждала.

«Онъ отвѣтилъ, что курилъ. Она не вѣрила.

«—Врешь. Красный, какъ ракъ: или водку пилъ, или за дѣвчонками бѣгалъ.

«Тогда онъ признался: было свиданіе. Она обнаружила къ этому слабый интересъ, хотя все-таки осведомилась: кто такая? изъ простыхъ?

«— О, нѣтъ, дочь одного изъ нашихъ воспитателей, господина Варикура.

«— Запросить дорого, сообразила она и перешла къ болѣе ее интересующему предмету:—а я вѣдь псаломщика-то угнала.

«—Какъ такъ?

«—Тварь негодная.

«И перешла къ другому:

«— А папенька все съ Акулькой. И какъ ему не надоѣсть!»

На прощанье мать «нѣжно треплетъ по щекѣ» сына и говоритъ: «въ мать: непостояненъ. Въ позапрошлую недѣлю одна, нынѣ—другая... Не въ отца; тому далась одна Акулька. И какъ она ему не надоѣсть».

Читая эту якобы голую правду, вы покачиваете головой и думаете: съ кого они портреты пишутъ? гдѣ разговоры эти слышать? Но всяко бываетъ. Мало-ли какіе есть уроды и какія уродскія отношенія. Эта мать и этотъ сынъ—случайность; но если художникъ ее подмѣтилъ, такъ какъ же он не изобразить хоть мимоходомъ. Но, перевернувъ нѣсколько страницъ, вы натыкаетесь на совершенно такую же наглую бесѣду, въ которой принимаетъ участіе вся семья Залетаевыхъ: отецъ, мать и сынъ. Ваши сомнѣнія начинаютъ усиливаться, но вы утѣшаете себя мыслью, что такая ужъ семья попалась. Ничуть не бывало. Отецъ и мать Варикуры, временами съ участіемъ дочери, ведутъ опять такія же бесѣды, характеръ которыхъ опредѣляется, на примѣръ, тѣмъ, что дочь «заохотала громкимъ и отрывистымъ смѣхомъ и вдругъ, быстро растегнувъ свой капотъ, сбросила его съ плечъ и осталась передъ матерью полуобнаженной:—Каково-съ?»

Согласитесь, наконецъ, что это «каково-съ?» и эта дочь, обнажающаяся чортъ знаетъ для чего передъ матерью, хватаютъ далеко черезъ край голой правды! Это просто наглый, грубѣйшая порнографія. Это не обличеніе, не искусство, а мерзость, вовсе не изъ дѣйствительной жизни почерпнутая, а вымученная изъ глубины души автора путемъ извращенной фантазіи; мерзость самодовлѣющая и «откровенная» въ спеціальномъ смыслѣ, приданномъ этому благородному слову «Новымъ Временемъ», главнымъ притономъ нашей порнографіи.

Увы! я слишкомъ хорошо понимаю, что пишу рекламу новому произведенію г. Морского. Я знаю, что есть многочисленные читатели, которыхъ хлѣбомъ не корми, только покажи какую-нибудь паскудную картинку. Что-жъ будете дѣлать? Нельзя же не отмѣтить въ жизни современника порнографическую струну, если она начинаетъ звучать такъ ярко и нагло, что заглушаетъ все, кромѣ равноправныхъ съ ней, якобы патріотическихъ завываній о негодности европейскихъ порядковъ. Нельзя не обратить на нее вниманія, потому что значеніе ея, очевидно, очень серьезно. Но понятно, что, дѣлая невольную рекламу «Содому» и ему подобнымъ литературнымъ произведеніямъ, я все-таки не желаю пачкать страницы «Отечественныхъ Записокъ» обиліемъ

цитатъ. Образцовъ довольно. Я тороплюсь перейти къ итогамъ, къ общимъ выводамъ и сдѣлаю еще только одно частное замѣчаніе.

Г. Немировичъ-Данченко совершенно самостоятельно или, говоря нынѣшнимъ возвышеннымъ стилемъ, самобытно изобразилъ пятнадцатилѣтнюю дѣвочку, которая вполнѣ разумѣетъ Тамару, какъ демонъ, коварную и злую. Знаменитый артистъ, ржущій на подобіе жеребца и столь раздвинувшій предѣлы «момо» тоже самобытенъ. Самобытенъ и г. Морской въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ безпардонно грубъ и аляповатъ. Но затѣмъ онъ есть самый рабскій подражатель Эмиля Золя. Читая у него описанія роскошной обстановки, мебели, зимнихъ садовъ и оранжерей, описанія заурядныхъ и эксцентрическихъ баловъ, церковнаго богослуженія, вы безъ труда узнаете: это изъ «La siçée», это изъ «Аббата Мура», изъ «Евгенія Ругона», изъ «Нана». Тотъ же торжественный, какъ бы церемоніймейстерскій тонъ разсказа, тѣ же подробности, то же стремленіе къ описанію запаховъ, вкусовъ, цвѣтовъ, вообще элементарныхъ низшихъ ощущеній. Такимъ образомъ, наши порнографы могутъ сказать, подобно Мольеру: *je prends mon bien partout où je le trouve*.

Такъ какъ рѣчь зашла о Золя, то кстати ужъ, прежде чѣмъ толковать о происхожденіи и значеніи російской порнографіи, посмотримъ, какъ стоитъ дѣло во Франціи.

Извѣстно, что теоретическая болтовня Золя и его практика, то есть его романы, не только произвели во Франціи большое волненіе, но народили цѣлую школу, правда, небольшую. Такъ какъ всѣ эти поклонники и послѣдователи не обладаютъ талантомъ автора «Ругоновъ», то произведенія ихъ уже ровно ничѣмъ не скрапиваются и поражаютъ своею дикостью и распушенностью. Передъ нѣкоторыми изъ нихъ самъ учитель остановился въ недоумѣніи и своего благословенія имъ не далъ. Еще бы! Одинъ изъ этихъ господъ, напримѣръ, предпринималъ и опубликовалъ описаніе запаховъ женскаго пота. Но и на этомъ не останавливается парижская порнографія. Въ Парижѣ (конечно, вѣтъ какой бы то ни было связи съ Золя) съ огромнымъ успѣхомъ издается нѣсколько иллюстрированныхъ газетъ, не разъ выдержавшихъ обвиненіе въ оскорбленіи общественной нравственности. Передо мной лежитъ номеръ одного изъ такихъ изданій—«L'Événement parisien». Просматривая его, удивляешься, какъ терпитъ бумага подобную грязь, не заключающую въ себѣ даже остроумія: грязно, это само собою, грязно до тошноты, но, кромѣ того, глупо и нисколько не смѣшно. Тутъ ровно не на чемъ остановиться. Любопытно развѣ только всту-

пительное стихотвореніе, въ которомъ авторъ обращается къ противникамъ порнографіи, между прочимъ, съ такою рѣчью:

*Que nous reprochez-vous?—D'être fils de Voltaire,
Brantôme, Rabelais,
La Fontaine, Rousseau, Piron et Molière,
Ces grands esprits français.*

Справедливо, что Вольтеръ написалъ *La Pucelle*, но изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы всякій пакостникъ могъ требовать себѣ титула сына Вольтера. Ибо, во-первыхъ, Вольтеръ написалъ не одну *Pucelle*, а во-вторыхъ, и ее написалъ вовсе не потому, чтобы раздѣлять убѣжденіе, будто голая правда все равно, что голая женщина. Понятно, однако, желаніе пакостника спрятаться за великія имена или вообще за что-нибудь, пользующееся уваженіемъ. Мы очень хорошо знакомы съ этимъ приѣмомъ, ибо и наши порнографы наравятъ прикрыться то идеей голой правды, то идеей бичеванія порока. Они, изволите видѣть, горой стоятъ за нравственность, разрушаемую отрицателями, за отечество, имѣющее въ лицѣ ихъ вѣрнѣйшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ, за высокіе идеалы, за русскій народъ... Всѣ эти увертки очень дрянны, разумѣется, но вѣстѣ съ тѣмъ очень обыкновенны и никого рѣшительно провести не могутъ. Но они и объяснить за то ничего не могутъ. Объясненіе или, по крайней мѣрѣ, хоть намекъ на объясненіе найдется, когда мы заглянемъ на послѣднюю страницу «Événement parisien». Мы найдемъ здѣсь (я говорю объ номерѣ, лежащемъ передо мной, взятомъ совершенно наудачу) три объявленія, имѣющія отношеніе къ спеціальности журнала: о какомъ-то косметическомъ средствѣ для уничтоженія волосъ на лицѣ, о дѣвицѣ, ищущей жениха, и, наконецъ, объ еженедѣльномъ «Journal des Abrutis», то - есть журналѣ скотовъ или, точнѣе, «оскотинѣвшихъ». (Существуетъ также или, по крайней мѣрѣ, недавно существовалъ «Journal des cochons»). Затѣмъ, изъ объявленій, не имѣющихъ, повидимому, никакого отношенія къ порнографіи, есть только два: объ еженедѣльной газетѣ «Le crédit parisien» и еженедѣльной же газетѣ «Le journal de la bourse». Прибавьте къ этому, что въ текстѣ, кромѣ спеціально порнографическаго матеріала, есть только одна рубрика: Bulletin financier, биржевая хроника. Что же касается упомянутыхъ объявленій, то они составлены чрезвычайно любопытно. Газета «Парижскій кредитъ» рекомендуетъ себя «защитницей французскихъ интересовъ» и врагомъ «иностранныхъ займовъ, столь пагубныхъ для Франціи». «Биржевой журналъ», въ свою очередь, объявляетъ, что онъ «откровенно»

(ouvertement) посвящает себя освобождению национальных сбережений отъ всѣхъ иностранныхъ и враждебныхъ учрежденій Франціи вліяній; что его задача есть борьба съ анти-французской спекуляціей.

И такъ, порнографическій походъ открывается воззваніемъ къ тѣнямъ Вольтера, Руссо, Мольера, подъ флагомъ которыхъ и проходятъ грубѣйшія и глупѣйшія мерзости. Въ текстѣ газеты, кромѣ этой грязи, есть *только* биржевая хроника; въ отдѣлѣ объявленій, кромѣ специальныхъ, есть *только* объявления о биржевыхъ газетахъ. Эти послѣднія стоятъ подъ флагомъ национальных интересовъ и борьбы съ враждебными иностранными вліяніями. Наилучшіе продолжатели des grands esprits français суть пошлые и грязные порнографы, а наивѣрнѣйшіе охранители des institutions de la France отъ иностранныхъ враговъ суть биржевые спекулянты. И, понятно, что, преисполненные горячей преданности величію отечества, спекулянты и порнографы должны подать другъ другу руки. Они и подають...

Мы подошли къ объясненію. Не трудно, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, кто потребителю этой грязной и праяной литературы. Объ ихъ фizioноміи можно составить себѣ понятіе даже a priori, не зная фактическаго положенія различныхъ классовъ общества во Франціи. Это прежде всего должны быть люди со средствами, хотя и небольшими (и порнографическія, и рекламируемые ими биржевыя газеты отличаются крайнею дешевизною); у нихъ есть большой досугъ и кое-какія «сбереженія», которыми они желаютъ помѣстить безъ риска и которыя, при условіи какого-нибудь спокойнаго, не обременительнаго занятія, позволяютъ имъ вести безбѣдное существованіе. Они разстались съ клерикализмомъ и даже съ католицизмомъ (порнографическіе журналы очень любятъ, что называется, срывать маску съ монаховъ), но ничѣмъ въ себѣ его не замѣнили. Они знаютъ, что существовали на свѣтѣ Вольтеръ, Руссо, Мольеръ и любятъ вспоминать объ этомъ, платонически радуясь величію французскаго гения. Не имѣя въ своемъ распоряженіи никакихъ политическихъ идеаловъ, они тѣмъ не менѣе любятъ вообще пофилософствовать на тему о величіи Франціи и о зависти къ ней другихъ странъ и народовъ. Эта тема имъ какъ разъ по плечу, потому что льститъ ихъ самолюбію, не обязывая ни къ какой дѣятельности, и въ то же время настолько скудна содержаніемъ, что не даетъ уму слишкомъ отяготительной работы. Вкусы у нихъ грубые, натура невосприимчивая, такъ сказать, запыленная жиромъ. Тонкаго остроумія, изящества въ какомъ бы то ни было

направленіи имъ не нужно, а нужны острые и грубые приности. Чувкая ихъ съ величайшимъ наслажденіемъ, они не понимаютъ нравственной стороны пожираемаго матеріала и при случаѣ готовы серьезно объявить себя столпами отечества, защитниками нравственности и «учрежденій Франціи». Что же касается учрежденій, то для этихъ людей они безразличны, лишь бы они гарантировали имъ спокойную и сытую жизнь.

Читатель знаетъ, что такихъ людей въ нынѣшней Франціи много и что едва-ли не они составляютъ политическій центръ тяжести третьей республики. Это не старая буржуазія, щеголявшая свободолубіемъ и свободомысліемъ и, дѣйствительно, ими дорожившая. Это и не буржуазія второй имперіи съ грандіозными подлостями и широкимъ размахомъ хищничества. Это люди отнюдь не преступные, а только пошлые. А не преступны они, главнымъ образомъ, потому, что преступленіе все-таки сопряжено съ рискомъ и безпокойствомъ. Ихъ требованія отъ жизни столь не велики, что съ избыткомъ удовлетворяются наличными условіями. Къ нимъ именно можетъ быть отнесено то, что говорится въ апокалипсисѣ ангелу Лаодикійской церкви: «Знаю твои дѣла; ты ни холоденъ, ни горячъ, о, если бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но поскольку ты теплъ, а не холоденъ и не горячъ, то извергну тебя изъ устъ Моихъ. Ибо ты говоришь: я богатъ, разбогатѣлъ и ни въ чемъ не имѣю нужды; а не знаешь, что ты несчастенъ и жалокъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ». Это представители такъ широко развившагося при третьей республикѣ средняго благосостоянія—мелкіе рантье, лавочники, пресловутые коммивояжеры, съ которыми не даромъ такъ любятъ бесѣдовать Гамбетта. Это ядро заражаетъ собою сосѣдніе общественные слои: рабочихъ съ одной стороны, представителей либеральныхъ профессій съ другой. Отсюда разнообразные оттѣнки порнографіи отъ Эмиля Золя до «журнала свиней».

Порнографія всегда существовала, но она всегда носила вуаль. Худо-ли это или хорошо, что она пряталась въ ночной темнотѣ и въ закоулкахъ, объ этомъ мы разсуждать не будемъ. Но несомнѣнно, что выпатиться съ такою наглою развязностью она можетъ только благодаря наличности совершенно особыхъ условій. Эти условія и даны социальнымъ строемъ современной Франціи. Но читатель понимаетъ, конечно, что въ дальнѣйшій анализъ этого строя мы не пойдемъ, ибо свои дѣла у насъ есть.

Приблизительно одинаковыя явленія можно съ вѣроятностью приписывать одинаковымъ причинамъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. У насъ нѣтъ такого опредѣленнаго

класса мелкой буржуазии, поставщикомъ которой по части умственной пищи состоитъ французская порнографія.

Но у насъ, по совершенно особымъ условиямъ, можетъ быть, заслуживающимъ титула самобытныхъ, есть всетаки люди, въ общихъ чертахъ родственные той мелкой французской буржуазии, бѣглая характеристика которой сдѣлана выше. На нихъ нельзя указать пальцемъ, это не какая-нибудь опредѣленная общественная группа, они разсыпаны повсюду, по всѣмъ слоямъ читающаго общества. Общая скобка, за которую ихъ поставили обстоятельства, состоитъ именно въ наиболѣе общихъ чертахъ мелкой французской буржуазии: въ слабой восприимчивости, малой образованности, тупомъ самодовольствѣ, грубости вкусовъ, отсутствіи какихъ бы то ни было идеаловъ. Такие люди всегда были и едва-ли когда-нибудь переводятся. Но обстоятельства времени и мѣста иногда сокращаютъ ихъ число, пуская въ ходъ какую-нибудь общедоступную идею, во имя которой апатичныя встряхиваются, и тупость получаетъ себѣ нѣкоторое просіяніе; неисправимые при этомъ отодвигаются на задній дворъ, гдѣ имъ и быть надлежитъ. Иногда же, напротивъ, обстоятельства усиленно воспитываютъ этихъ людей, которые, по выраженію апокалипсиса, ни холодны, ни горячи. Такое воспитаніе можетъ быть чисто отрицательнымъ, то есть совершаться путемъ простого изытія животворящихъ идей изъ обращенія. Созданная г. Немировичемъ-Данченко Ольга Максимова есть плохо набитое чучело. Это такъ. Но вполне мыслимо такое состояніе общества (современники въ этомъ не усомнятся), когда большинству предоставленъ выборъ между телескопически огромнымъ и микроскопически малымъ, между вселенной во всей ея необъятности и скотскими отношеніями во всей ихъ мерзости, и ничего въ промежуткѣ. Ничего или почти ничего. Пантомимъ любви въ маскѣ требуетъ для своего осуществленія денегъ, а такой сложный, ухищренный пантомимъ, какимъ занимается семья Залетаевыхъ, даже очень большихъ денегъ. Значитъ, дѣлу наживы должно быть обезпечено извѣстное мѣсто въ промежуткѣ между природой и лошадинымъ ржаніемъ. А затѣмъ, послѣ обѣда и передъ Акулькой, отчего же не пофилософствовать о величіи самобытнаго русскаго духа и о враждѣ къ намъ иностранцевъ. Это ничему не мѣшаетъ, ибо вовсе не обременяетъ головы непосильною работою. Это та самая книга, которую читаетъ Гамлетъ: въ ней написаны слова, слова, слова. О, словъ можетъ быть сколько угодно и самыхъ громкихъ: Вольтеръ, отечество, истинная свобода, сердце Россіи, голая прав-

да, бичеваніе порока... Очень много словъ и какъ можно меньше идей. Надо помнить, что ни отъ какого большинства нельзя требовать ни героизма, ни сильной логики, ни глубокаго чувства. Большинство, какъ птица подъ стекляннымъ колоколомъ, изъ котораго, ради опыта, выкачивается и въ который потомъ опять накачивается воздухъ: много подъ колоколомъ кислорода—птица обнаруживаетъ всѣ признаки жизни; мало кислорода—птица, такъ сказать, увядаетъ.

Одна птица долѣе сопротивляется изытію кислорода, другая меньше, но и ту, и другую ждетъ всетаки смерть, если экспериментаторъ не сжалится и не выпуститъ подъ колоколъ живительнаго газа. Въ общественной атмосферѣ есть тоже своего рода кислородъ. Это—животворящіе идеи. Когда этотъ кислородъ систематически выкачивается многоразличными насосами, тупое, самодовольное, ни горячее, ни холодное большинство растетъ количественно и качественно. Между прочимъ, оно требуетъ порнографіи и—получаетъ ее...

V.

Мѣдныя лбы и варенныя души*).

«Многія глубоко русскія, истинно народныя точки зрѣнія газеты «Русь», конечно, несравненно ближе разуму и сердцу сплошной массы русскаго общества, чѣмъ озлобленныя издѣванья надъ Россіей и русскимъ какого-нибудь органа безплоднаго отрицанія и космополитическихъ грезъ, словно въ наемъ присвоившаго себѣ имя «Отечественныхъ» Записокъ, и другихъ органовъ печати нашей, у которыхъ нѣтъ на душѣ ни одного русскаго чувства, ни одной русской мысли. Всѣ эти органы расхожаго европейскаго либерализма безъ собственного труда и заботы снабжаются всѣмъ готовымъ прямо съ базара, какъ безхозяйственные проходимцы одѣваются съ головы до ногъ въ первомъ попавшемся магазинѣ готоваго платья... Стая литературныхъ попугаевъ... Безшабашное и безпрепятственное гарцваніе на полѣ общественной мысли однихъ только оторвавшихся отъ своей родной почвы либеральствующихъ нахаловъ, обланяющихъ всѣ историческія народныя святыни, все простое, искреннее и теплое, что сохранилось въ душѣ современнаго русскаго человѣка. Эти литературныя галманы»...

Такъ полагаетъ г. Евгеній Марковъ («Русская Рѣчь», № 5). Проходимцы, обезьяны, попутан, нахалы, галманы и еще многое другое въ этомъ родѣ, что мнѣ уже лѣнь

* 1881 г., августъ.

было выписывать. Мнѣ кажется, что для собесѣдованія съ человѣкомъ, извергающимъ такой искрометный фонтанъ крѣпкихъ словъ, я имѣю право прибѣгнуть къ выраженію «мѣдный лобъ». Отнюдь не въ отместку, прошу замѣтить. Еслибы дѣло шло объ отместкѣ, то не предстояло бы никакихъ затрудненій отвѣтить на фонтанъ фонтаномъ, даже усиленнымъ; ибо, извлекая изъ міра животныхъ попугавъ и обезьянъ, а изъ человѣческаго ругательнаго лексикона нахаловъ, проходивцевъ и какихъ-то «галмановъ», г. Марковъ, конечно, далеко не исчерпалъ источника ругательства. Такой отвѣди я не беру на себя и просто попрошу г. Маркова зайти въ праздничный день въ кабакъ и принять на свой счетъ всѣ тѣ крѣпкія слова, которыя онъ тамъ услышитъ. Будетъ сытъ по горло. «Мѣдные лбы» — другое дѣло. Не ради ругани употребляю я это выраженіе, а только въ качествѣ характеристическаго названія цѣлаго типа людей, весьма распространеннаго всегда, а нынѣ въ особенности.

Знаете-ли вы, что такое мѣдный лобъ? Нѣтъ, вы не знаете, что такое мѣдный лобъ, потому что, еслибы вы знали, то положеніе мѣдныхъ лбовъ было бы совсѣмъ иное. Положимъ, губерскіе чиновники знали, что Ноздревъ безъ зазрѣнія совѣсти лжетъ и нечисто играетъ въ карты, но все-таки играли съ нимъ, хотя и съ предосторожностями, и къ нему именно, заведомому вралю, обратились за разъясненіемъ исторіи съ мертвыми душами. Ясно, что чиновники, собственно говоря, не знали Ноздрева. Не знали тѣмъ вышшимъ психологическимъ знаніемъ, которое охватываетъ всего познающаго и, пропитавъ собою все его существо, не даетъ ему остановиться на безразличномъ отношеніи къ человѣческой душѣ, а сопрягается съ любовью или ненавистью, презрѣніемъ или уваженіемъ. Вотъ этого-то вышшаго, всеохватывающаго и всепроникающаго знанія у насъ вообще очень мало. Живописца Ноздрева, Гоголь довольно справедливо замѣтилъ: «что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ (Ноздревъ) черезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми друзьями, которые его журили, и встрѣчался какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего». Положимъ, что не только на Руси это можетъ случиться, но, во всякомъ случаѣ, на Руси скопилось много условій, благоприятныхъ для подобныхъ казусовъ. Темпераменты у насъ уже отъ природы довольно кисельные. Получили-ли мы свою вареную душу отъ отдаленныхъ предковъ въ наслѣдство, или намъ ее вѣдряетъ нашъ русскій пейзажъ, лишенный яркихъ красокъ

и рѣзко очерченныхъ формъ, но достовѣрно, что русская душа бываетъ силовъ и рядомъ такой вареной: что-то блѣдное, расплывающееся, почти лишенное силы опѣшенія между частями. Вѣрнѣе, впрочемъ, предположить, что дѣло тутъ не въ природѣ, а въ исторіи. Дѣйствительно, наша мутно-сѣрая исторія такъ сложилась, что не на чемъ было воспринять чувство собственного достоинства, которое побуждало бы брезгливо отталкивать отъ себя всякую гадину и держать ее на томъ почтительномъ разстояніи, на которомъ ея амикошонскія любезности или фонтаны ругательства имѣли бы характеръ только физическаго явленія, колебанія звуковыхъ волнъ. Наконецъ, наше настоящее таково, что огромное большинство русскихъ людей «тузитъ» другъ друга въ родѣ, какъ изъ-за выдѣннаго яйца. Что же мудренаго, если послѣ такой потасовки русскіе люди, «какъ говорится, ничего»? Что же мудренаго, что и вы не знаете настоящимъ образомъ, что такое мѣдный лобъ? Вы знаете, что онъ нагль, безстыденъ, нечистъ на руку, лжець и клеветникъ, но вы терпите его въ своемъ обществѣ и нѣтъ-нѣтъ, да и обратитесь къ нему съ предложеніемъ сыграть пульку или даже за какимъ-нибудь разъясненіемъ. Правда, что, выслушавъ разъясненіе, вы иной разъ только руками разведете или, подобно полицімейстеру, скажете въ раздумьѣ: «чортъ знаетъ, что такое!» Но, во всякомъ случаѣ, вы его до себя допускаете, если даже не сами къ нему лѣзете, а, слѣдовательно, настояще его не знаете.

Само собою разумѣется, что я не мечтаю о сообщеніи вамъ такого знанія, потому что оно и вообще не сообщается, а дается только жизнью. Когда духъ жизни, вольной и широкой, коснется васъ своимъ магическимъ жезломъ; когда выдѣнное яйцо перестанетъ быть исключительнымъ предметомъ вашихъ помысловъ и чувствъ; когда явится передъ вами что-нибудь въ самомъ дѣлѣ дорожное, за что стоитъ любить и ненавидѣть, вѣнчать лаврами и закидывать гнилымъ картофелемъ, тогда и только тогда узнаете вы, что такое мѣдный лобъ. Все это когда-нибудь да будетъ, разумѣется, или же русская исторія прекратитъ свое теченіе: «вша заѣстъ». Я даже думаю, что это довольно скоро будетъ. Но пока что, а теперь развѣ только крупный художникъ можетъ, забывая теченію жизни впередъ, заклеить мѣдный лобъ такимъ клеймомъ, что даже въ нашемъ со-временникѣ, въ этой несчастной, загнанной въ раковину улиткѣ, зашевелится чувство отвращенія.

Однако, Гоголь былъ крупный художникъ, Ноздревъ — несомнѣнный представитель породы мѣдныхъ лбовъ, а клеймо позора вовсе

ужь не такъ ярко горитъ на немъ. Напротивъ, вспоминая его, вы смѣтаетесь презрительнымъ, но всетаки снисходительнымъ и добродушнымъ смѣхомъ. Да, но я говорю только, что крупный художникъ можетъ послать мѣдному лбу такую пулю, которая даже отъ него не отскочитъ. Это не значить, что крупный художникъ, взявшись за известную задачу, непремѣнно ее выполнить. Да Гоголь и не имѣлъ въ виду специально мѣдный лобъ. Онъ осложнилъ фигуру Ноздрева тою безпорядочною и безшабашною, но добродушною удачею, которая такъ часто исполняется у насъ обязанностью истиннаго благородства и которая въ глазахъ русскихъ людей сама въ себя несетъ какое-то странное оправданіе. «Широкая натура», «душа человѣкъ» — какихъ мерзостей не проститъ своему ближнему русская вареная душа за эти качества? Вареная душа поражается зрѣлищемъ суетливой яркости, безраздумной рѣшительности сужденій и поступковъ, всего этого угара «широкой натуры», каковое зрѣлище представляетъ такой рѣзкій контрастъ съ собственнымъ состояніемъ вареной души. И вареная душа прощаетъ. Прощаетъ тѣмъ охотнѣе, что, несмотря на контрастъ между нею и Ноздревымъ, они очень близки другъ другу. Ноздревъ въ сущности — такая же вареная душа, не знающая истинной любви и ненависти, лишенная всякой устойчивости и цѣлности, но только одаренная мѣднымъ лбомъ и размашистымъ жестомъ. Простая вареная душа колеблется направо и налево, дѣлаетъ шагъ впередъ и два шага назадъ, потому что никакое глубокое чувство ей недоступно. Недоступно оно и вареной душѣ, украшенной мѣднымъ лбомъ и размашистымъ жестомъ: сегодня она задушить подѣлуями того самого человѣка, котораго завтра обдастъ цѣлой лоханью помоевъ. Но въ каждую данную минуту она поражаетъ веселою безапелляционностью своихъ рѣшеній.

Дѣло заключается, можетъ быть, еще въ томъ, что нравственное чувство, возмущенное поступками Ноздрева, не имѣетъ времени развиться до размѣровъ оскорбленной справедливости. Положимъ, что сегодня Ноздревъ чуть-чуть не избилъ Чичикова чубкомъ и руками своихъ холоповъ, но вѣдь вчера его, можетъ быть, самого высѣкъ поручикъ Кувшинниковъ, а завтра ему выдеретъ одну бакенбарду штабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ. Сегодня онъ обыгралъ шулерскимъ образомъ перваго встрѣчнаго, а завтра такой же встрѣчный обыграетъ его самого на чисто, хоть пѣшкомъ къ себѣ въ деревню иди. Неправедно торжествующаго Ноздрева вы почти не видите. Та самая безшабашная неугомонность, которая толкаетъ его на мерзости, приготовляетъ ему

и наказаніе, такъ что чувство возмездія въ постороннемъ наблюдателѣ насыщено. Притомъ же, всѣ шулерства Ноздрева, все его безпардонное лганье и наглость вращаются исключительно въ кругу его личныхъ дѣлъ. Конечно, онъ вретъ, когда увѣряетъ, что поймалъ руками зайца, но намъ съ вами нѣтъ никакого резона принимать это вранье близко къ сердцу. Онъ-ли прибѣсть Чичикова, или, напротивъ, его самого выморить поручикъ Кувшинниковъ — это опять-таки только ихъ тронъ касается. Выиграстъ-ли Ноздревъ, или останется въ убыткѣ, промѣнявъ шарманку на бричку, это тоже для насъ съ вами довольно безразлично. Въ дѣла характера общаго и общественнаго, задвигающія болѣе или менѣе широкій кругъ интересовъ, Ноздревъ не мѣшается. Онъ — человѣкъ мерзостнаго личнаго факта только, а не мерзостнаго общаго принципа. Онъ никого не увѣряетъ, что вчера спасъ или завтра спасетъ отечество; онъ говоритъ только, что поймалъ руками зайца и что у него была лошадь голубого цвѣта. Безбожно клеветая на Чичикова, Ноздревъ согласенъ подтвердить предположеніе губернскаго общества, что онъ, Чичиковъ — французскій шпионъ; но и тутъ, въ высшій моментъ своего наглого лганья, онъ собственно не въ политической неблагонадежности обвиняетъ Чичикова, а увѣряетъ только, что Чичиковъ былъ въ школѣ «фискаломъ». Словомъ, Ноздревъ органически не можетъ выбиться изъ тины личныхъ мелочей и вынести свой мѣдный лобъ на почву политической клеветы и политическаго шулерства. Это — также весьма вѣское смягчающее или примиряющее съ распущенностью Ноздрева обстоятельство.

Но ни одно изъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ не составляетъ необходимой принадлежности мѣднаго лба. Напротивъ, типъ предсталъ бы передъ нами ярче, рельефнѣе, еслибы мѣдлобію былъ представленъ возможно широкій районъ дѣятельности. Во всякомъ случаѣ, нынѣшній мѣдный лобъ не обладаетъ ни подкупающею широтою натуры, каковая могла питаться главнымъ образомъ только крѣпостнымъ правомъ, ни похвальной воздержностью относительно принциповъ и общественныхъ дѣлъ. Нынѣшній мѣдный лобъ — такой же виртуозъ въ дѣлѣ наглости, клеветы, хвастовства, передержекъ, какъ и Ноздревъ, но у него, во-первыхъ, есть приходя-расходящая книга, куда онъ аккуратно заноситъ результаты своей дѣятельности, а во-вторыхъ, онъ выноситъ свое безстыдство на арену общественной жизни. Это отнюдь не значить, чтобы онъ обзавелся какою-нибудь опредѣленною политическою точкою

зрѣнія. Нѣтъ, онъ по прежнему весь до дна истощается своимъ мѣдлобїемъ и сохранилъ даже всѣ ноздревскіе технические приемы клеветы, шуллерства и лганья, но онъ завоевалъ себѣ новое поприще, гдѣ есть на чемъ разгуляться его дряннымъ инстинктамъ. Для него попрежнему нѣтъ ничего заветнаго, но уже не шарманки и лошади, не собаки и брички, не живыя и мертвыя души составляютъ предметъ его коммерческихъ операций, а политическіе принципы. Онъ ихъ мѣняетъ съ такою же безшабашною стремительностью, какъ Ноздревъ мѣнялъ собакъ, и продаетъ, не всегда за деньги, но, во всякомъ случаѣ, продаетъ. Въ немъ говорить все то же неудержимое стремленіе напасть на ближнего, но сфера приложенія этого инстинкта для него много расширилась. Гоголь могъ бы предвидѣть это дальнѣйшее развитіе намѣченнаго имъ типа, потому что на себѣ испыталъ его вѣяніе. Пѣвцу «бѣдности и несовершенства нашей жизни» современные ему мѣдныя лбы не разъ бросали упрекъ въ недостатокъ любви къ Россіи и въ «облаиваніи историческихъ народныхъ святынь»...

Теперь г. Евгений Марковъ предъявляетъ этотъ самый упрекъ «Отечественнымъ Запискамъ». Да и одинъ ли г. Марковъ! Г. Марковъ съ своими напыщенными, выложенными прозаическими гимнами, г. Марковъ, не умѣющий слова сказать безъ ужимки, бываетъ подчасъ до такой степени смѣшонъ, что лично объ немъ не стоило бы говорить. Ну его! Пусть разстлается сизымъ орломъ подъ облаками, пусть собираетъ по кабакамъ коллекцію крѣпкихъ словъ, пусть, вообще, проводитъ свое время, какъ ему угодно. Г. Марковъ хотъ и ловить зайцевъ руками, но самъ понимаетъ всетаки свое слабосиліе. Онъ привѣтствуетъ газету «Русь» въ качествѣ органа, который, наконецъ, разгонитъ торжествующихъ «галмановъ» и «либеральствующихъ нахаловъ». Надъ собой и надъ своими присными въ «Русской Рѣчи» г. Марковъ ставитъ, значить, крестъ: они могутъ топорщиться и восклицать, подниматься къ облакамъ и спускаться въ кабаки, но «галмановъ» имъ не разогнать. Такъ Ноздревъ понималъ, что хотъ у него и была лошадь голубого цвѣта, но во многихъ отношеніяхъ пальма первенства принадлежитъ всетаки не ему, а поручику Кувшинникову и штабсъ-ротмистру Поцѣлуеву.

Будучи лишены всякой оригинальности, будучи вообще мизерны и не интересны, какъ личность, г. Марковъ есть тѣмъ не менѣе любопытный типъ. Только въ качествѣ типа онъ насъ здѣсь и занимаетъ. Чита-

тель безъ труда припомнитъ тѣ болѣе или менѣе распространенныя въ нашей литературной и общественной жизни черты мѣдлобїя, которыя г. Марковъ своимъ краснорѣчіемъ повторяетъ.

Обратите прежде всего вниманіе на время, избранное г. Марковымъ для обличенія «Отечественныхъ Записокъ» въ «озлобленномъ издѣваніи надъ Россіей» и въ «облаиваніи историческихъ народныхъ святынь». Это—время, почти непосредственно слѣдующее за кровавымъ событіемъ 1-го марта. Время ужаса и чуть не повального одурѣнія; время невозможныхъ проектовъ перенесенія столицы въ Москву и обществъ взаимнаго добровольнаго шпіонства; время расцвѣта того дикаго яко бы патріотизма, который, какъ хорошая охотничья собака, обнюхиваетъ каждый кустъ, не пахнетъ-ли жидомъ, полякомъ, вообще не русскимъ или русскимъ измѣнникомъ. Надо обладать, дѣйствительно, очень крѣпкимъ лбомъ, чтобы въ такое время указать пальцемъ на тотъ или другой органъ печати и сказать: вотъ кто облаиваетъ историческія народныя святыни! вотъ кто озлобленно издѣвается надъ Россіей и всѣмъ русскимъ! Читатель знаетъ, что не одинъ г. Марковъ занимался этимъ благороднымъ ремесломъ.

Скажутъ, можетъ быть, что все дѣло тутъ въ искренности убѣжденія: если г. Марковъ, дѣйствительно, убѣжденъ, что либеральствующіе нахалы, проходимцы, попугаи, обезьяны, галманы «Отечественныхъ Записокъ» вредны, то именно тревожность исторической минуты налагаетъ на него нравственную обязанность указать на зло и назвать его по имени.

Такъ. Но замѣьте, что искренность убѣжденія составляетъ при этомъ необходимое условіе; искренность убѣжденія и еще одна вещь. Что касается искренности, то я позволю себѣ усомниться въ ея наличности. Ругательства и инсинуаціи г. Маркова имѣютъ совершенно ноздревскій характеръ. Ноздревъ вѣдь тоже разсыпалъ направо и налево крѣпкія слова, отнюдь, однако, не вкладывая въ нихъ дѣйствительной ненависти или вообще искренняго убѣжденія, что облаиваемый имъ субъектъ на самомъ дѣлѣ заслуживаетъ крѣпкаго слова. Ноздревъ просто сотрясалъ воздухъ. Сотрясаетъ его и г. Марковъ. «Отечественныя Записки» теперешняго состава редакціи въ общемъ, то-есть, оставляя въ сторонѣ какія-нибудь неизбѣжныя случайныя частности, ни разу себѣ не измѣняли съ тѣхъ поръ, какъ существовать, съ 1868 года. Много бурь и тревогъ пережило за это время русское общество; много, значить, было поводовъ для пробы прочности убѣжденій. «Отечествен-

ния Зависки» судил о нем. Может быть, правды, может быть совершенно справедливо, но истинно, что он оставил во время войны сильное впечатление на людей. Может быть, г. Марков прав, и «Блестящие Зависки» представляют собой, действительно, скандальную галерею, но это, значит, уже очень старый грибок нах, грибок, можно сказать, первоуродный: всегда мы галтели были, всегда историческая народная святость обманывалась и озабоченно называлась надъ Россіей. Был, однако, время, когда, несмотря на наше галтели, г. Марковъ любезно удостоивал насъ своимъ сотрудничествомъ. И мы не отказывались печатать его «Очерки Крыма», ибо эти очерки, давая читателю кое-какія любопытныя свѣдѣнія, не блистали ничѣмъ специально марковскими, кромѣ красоты слога. Но мы рѣшительно отказались украсить свои страницы другимъ, позднѣйшимъ и чрезвычайно обширнымъ произведеніемъ г. Маркова, въ коемъ уже было нѣчто несравненно худшее, чѣмъ невнятная возвышенность стиля въ духѣ старинныхъ курсовъ риторикъ. Не интересно въ чѣмъ тутъ дѣло, а то интересно, что г. Марковъ желалъ попасть въ то именно общество, которое онъ теперь осмываетъ крѣпкими словами... Можетъ-ли тутъ быть рѣчь объ искренности убѣжденія? Мало того. Г. Марковъ увѣряетъ теперь (въ той же майской книжкѣ «Русской Рѣчи»), что галтели «встрѣчаютъ тухлыми яйцами» всѣхъ, кто не желаетъ пристать къ нимъ; что галтели «ропщутъ достоинство той почтенной партіи дѣйствительнаго и серьезнаго либерализма, къ которой они стараются пристроиться» и блистательнѣйшій представитель которой есть, разумѣется, г. Марковъ! Согласитесь, что это — чисто поздравскія выходки, говорящія совсѣмъ не объ искренности убѣжденія, а о необыкновенной прочности лба. Это — дѣйствительно, лобъ! Онъ несомнѣнно поймалъ руками зайца, это г. Марковъ. И если вы, подобно хладнокровному зятю Ноздрева, замѣтите: «ну, зайца-то руками ты не поймалъ», то г. Марковъ съ полнѣйшимъ самообладаніемъ повторитъ возраженіе своего прототипа: «а вотъ же поймалъ, вотъ нарочно поймалъ!» О, эти мѣдные лбы неуязвимы!

И такъ, намъ не приходится даже разсуждать о томъ, на сколько искренность убѣжденія во вредоносности нашего журнала могла бы оправдать инсинуаціи г. Маркова: никакой искренности тутъ нѣтъ, а есть одно только мѣднолобіе. Этого мало. Допустимъ, что г. Марковъ въ самомъ дѣлѣ глубоко убѣжденъ въ томъ, что говорить. Но вѣдь есть дѣла, по которымъ обвиненіе и судъ

нельзя образовать не могутъ основываться на самыхъ тайныхъ внутреннихъ убѣжденіяхъ. И обвиненіе г. Маркова гражданскій обвинитель въ этой категоріи. Галтели г. Марковъ не былъ тѣмъ, что онъ есть, еслибы онъ обладалъ хотя малымъ запасомъ аргументарной изобрѣтательности, онъ представилъ бы какія-нибудь доказательства, что мы «обманываемъ историческія народныя святости» и «заблужденно называемся надъ Россіей и русскими». Это было бы всегда необходимо, а тѣмъ болѣе въ избраніе г. Маркова для этой роли. Отъ этого не ушли бы патристическіе подвиги розысканія враговъ отечества, а только приобрѣли бы характеръ солидности и серьезности, не говоря уже о требованіяхъ прямой добропорядочности. Но какое же всего этого дѣло мѣднѣе лба? Отправившись въ походъ на враговъ отечества, они позолудили, нарочно одѣнулись въ архаическіе костюмы, ибо могли уразумѣть, что гражданскій подвигъ не уживается ни съ паясничествомъ, ни съ клеветой? Ихъ дѣло — сотрясать воздухъ бранными кликомъ единственно въ тѣхъ видахъ, чтобы напасть на ближняго, и затѣмъ, вѣсто всякой отвѣтственности передъ собой и людьми, безстрашно и безстыдно выставить впередъ свой мѣдный лобъ: отъ него все отскочитъ...

Отскочить, я знаю, и мое собесѣдованіе съ г. Марковымъ. Я слишкомъ хорошо знаю, что ни краска стыда не заляжетъ его лица, ни ущемленная совѣсть не ослабитъ морщинистой яркости его природнаго румянца. Знаю и не особенно горю объ этомъ. Но вотъ, что въ самомъ дѣлѣ огорчительно: еслибы я доказалъ мѣднолобіе г. Маркова съ математическою точностью и не оставилъ ни одного сомнѣнія относительно нравственной фizioноміи этого человѣка, то при новой встрѣчѣ съ вареными душами все-таки и онъ будетъ, «какъ говорится, ничего и они ничего». А вареныхъ душъ много, ими переполнена бѣдная русская земля. Только этимъ обиліемъ вареныхъ душъ, не злопамятныхъ и не добропамятныхъ, можно объяснить многія дикія страницы старой и новой русской исторіи и многое множество нашихъ житейскихъ эпизодовъ. Нигдѣ негодяй не можетъ съ такимъ удобствомъ продѣлать свое негодяйство второй и третій разъ надъ одними и тѣми же слабыми, нравственно безпомощными людьми, имъ же ими легіонъ. Нельзя, знають, съ ними не считаться; а какъ съ ними считаться, коли они всегда готовы все простить якобы по благодущію, а въ сущности потому, что у нихъ душа выварена?

Какъ уже сказано, однако, я не имѣю претензій заклеить мѣдный лобъ нести-

раемымъ клеймомъ. Но я не могу все-таки не отмѣтить г. Маркова и не воспользоваться имъ для подведенія нѣкоторыхъ итоговъ.

Читатель замѣтилъ, можетъ быть, что г. Марковъ, презирая «органы расхожаго европейскаго либерализма», тѣмъ не менѣе знаетъ какую-то «почтенную партію дѣйствительнаго и серьезнаго либерализма». Неизвѣстно только, какая это партія, изъ какихъ людей она состоитъ, каковы ея цѣли и программа. Г. Марковъ говоритъ только, что къ ней «стараятся пристроиться» галланы. Г. Марковъ говоритъ, г. Марковъ не говоритъ, г. Марковъ рыдаетъ, г. Марковъ раздвигаетъ улыбкою ротъ до ушей—кому какое дѣло до этого? Но г. Марковъ есть типъ. Не онъ одинъ прибѣгаетъ къ фортелю съ таинственными намеками на истинный или дѣйствительный либерализмъ. Читателю извѣстно, что нынѣ вошло въ моду, говоря о либерализмѣ, ставить его въ ироническія ковычки: «либерализмъ», «либералы» и проч. Дескать, это совсѣмъ не истинный либерализмъ и не истинные либералы, а мы только въ насмѣшку такъ ихъ называемъ, «въ критику и изъ-подъ политики», какъ говоритъ у Островскаго жеманная купеческая дочка. Очень часто дѣло не ограничивается ироническими ковычками и являются выраженія: «quasi-либерализмъ», «лже-либерализмъ», «формальный либерализмъ» и т. п. Этими выраженіями опять-таки дается понять, что употребляющимъ ихъ извѣстенъ и близокъ сердцу истинный и не формальный только либерализмъ, не имѣющій ничего общаго съ образомъ мыслей ихъ противниковъ. Одни прибѣгаютъ къ этому фортелю просто зря, безъ мотива и цѣли, а другіе... Не знаю, впрочемъ, выражается-ли у этихъ другихъ такимъ способомъ остатокъ стыда или, напротивъ, вѣщное безстыдство мѣдныхъ лбовъ. Дѣло въ томъ, что многіе и многіе изъ нихъ (г. Марковъ въ томъ числѣ) когда-то не мало грѣшили по части либерализма, гордились титуломъ либерала и чрезвычайно негодовали на людей, находившихъ либерализмъ узкой и фальшивой доктриной. Теперь настали новыя времена, и старыя птицы запѣли новыя пѣсни: онѣ поютъ о зловерности либерализма. Поютъ громко, съ задорными флюритурами, но—вотъ этого-то я и не могу рѣшить—по остатку стыда или по большому безстыдству, отдають двусмысленную дань своему либеральному прошлому выгораживаніемъ какого-то истиннаго, не формальнаго, серьезнаго, просвѣщеннаго либерализма. Можетъ быть, впрочемъ, они просто оставляютъ себѣ лазейку на тотъ случай, если либерализмъ станетъ когда-нибудь опять современною пѣснью. Они могутъ въ такомъ случаѣ сказать: мы не были противъ

настоящаго, серьезнаго, просвѣщеннаго либерализма, а, дескать, нынѣ господствующій и есть именно этотъ настоящій, серьезный...

Намъ не придется пѣть такую пѣсню, потому что мы никогда либералами не были; ни въ тѣ времена, когда либерализмъ, правда, умѣренный и аккуратный (онъ говорилъ: «наше время не время широкихъ задачъ»), брызгалъ чуть не изъ всѣхъ поръ русской литературы, ни теперь, когда доктрина либерализма находится въ такомъ загонѣ, что даже нѣсколько неловко подчеркивать ея слабыя стороны. Неловко по той же причинѣ, по которой лежакаго не бьютъ и въ спину не стрѣляютъ. Я, конечно, и не собираюсь заниматься этимъ благороднымъ дѣломъ, но надо все-таки удивляться необыкновенному мѣдлолюбію людей, ставящихъ либерализмъ намъ на счетъ и валящихъ вину съ собственной больной головы на чужую здоровую. И вѣдь это всенародно происходитъ! Точно читатель не можетъ заглянуть ни въ старыя статьи, ни въ того же г. Маркова и прочіихъ нынѣшнихъ враговъ «лже-либерализма», ни въ старыя и новыя номера «Отечественныхъ Записокъ».

Упрекъ въ «лже-либерализмъ» обыкновенно осложняется упрекомъ въ подражаніи Европѣ. Г. Марковъ говоритъ объ «органахъ расхожаго европейскаго либерализма», изъясняясь указывая при этомъ на неправильность названія *Отечественныя* Записки для журнала, который занимается «облаиваніемъ» народныхъ святынь и презираетъ все отечественное. Мы не выбирали названія для своего журнала, а получили его по невольному наслѣдству, въ силу тѣхъ особыхъ условій, въ которыхъ стояла и стоитъ русская печать. Но, по правдѣ сказать, еслибы намъ предстоялъ свободный выборъ, мы, вѣроятно, выбрали бы не «Отечественныя Записки», а какое-нибудь другое названіе. Прежде всего, впрочемъ, въ виду того, что названіе это не особенно удачно въ логическомъ и грамматическомъ отношеніи. А затѣмъ и по болѣе интереснымъ причинамъ.

Очень ужъ много недоразумѣній возбуждаетъ слово «отечество». Я не говорю о томъ давно поставленномъ вопросѣ—Германію или Францію должны считать нынѣ своимъ отечествомъ эльзасцы и лотарингцы. Вопросъ, интересный для самихъ эльзасцевъ, интересный теоретически, но собственно для насъ, въ моментъ собесѣдованія о нашемъ патріотизмѣ, совершенно безразличный. Мы—коренные русаки, и ни даже самый подозрительный мѣдный лобъ не могъ до сихъ поръ открыть присутствіе «жидовскаго», польскаго и вообще инородческаго элемента въ составѣ нашей редакціи. Не то, чтобы мы гнали отъ себя «жидовъ» и иныхъ

«ѣтъ просто какъ случилось. Какъ бы то ни было, «случай-ли выручилъ, Богъ-ли помогъ», но одна опасность и одно затрудненіе для насъ не существуютъ. Есть, къ сожалѣнію, другія.

Спрашивается: если я люблю свое отечество, то люблю-ли и долженъ-ли любить все, что въ немъ живетъ, летаетъ и пресмыкается, всѣхъ птицъ и гадовъ, его населяющихъ? Обязанъ-ли я, напимѣръ, любить г. Маркова и все сонмище мѣдныхъ лбовъ «отечественной фабрикаціи»? Мнѣ кажется, это не обязательно. Хотя бы потому не обязательно, что, любя мѣдные лбы, я долженъ не любить многое русское же, несомнѣнно русское, что эти мѣдные лбы колотятъ своею металлическою непроницаемостью. Возьмите крупный, хорошій и при томъ русскій орѣхъ и подставьте его мѣдному лбу: мѣдный лобъ не то, что безжалостно, а просто въ силу своей неоствтственности металлической, расплющить орѣхъ, не разбираючи шелухи и ядра. Могу-ли я пожалѣть о безслѣдно погибшемъ прекрасномъ русскомъ орѣхѣ? Мнѣ кажется, это позволительно. И не только позволительно, а можетъ даже быть правомѣрно введено въ сферу любви къ отечеству, ибо безплодно погибшій прекрасный орѣхъ былъ русскій: онъ выросъ на отечественной почвѣ, обмывался отечественнымъ дождемъ и созрѣвалъ подъ отечественнымъ солнцемъ. Съ другой стороны, мѣдный лобъ тоже справедливо говорить, что онъ отечественной фабрикаціи. Онъ, можетъ быть, даже мнить себя неприкосновенной «народной святыней» или чѣмъ-нибудь въ такомъ родѣ. Это онъ вретъ, конечно. Но надо же все-таки, значитъ, выбирать между любовью къ русскому мѣдному лбу и любовью къ раздавленному имъ прекрасному русскому орѣху. Гдѣ та возвышенная точка, съ которой этотъ выборъ можетъ быть сдѣланъ правильно?

Спрашивается далѣе: если я люблю отечество, то не могу-ли въ тоже время любить нѣкоторыя вещи, не отечественныя, правда, но и не стоящія въ прямомъ противорѣчій съ *идеями* отечества; тѣ международныя вещи, о которыхъ, употребляя слова писанія, слѣдуетъ сказать, что по отношенію къ нимъ нѣсть эллинъ, ни іудей? Такія вещи безспорно есть, онѣ называются: истина, справедливость, свобода, трудъ, честь, совѣсть и проч. Мнѣ кажется опять-таки, что любить ихъ не только позволительно, а даже обязательно для истиннаго сына отечества. Мало того, быть можетъ, вся задача истиннаго патріота исчерпывается посильнымъ водвореніемъ этихъ прекрасныхъ международныхъ вещей въ свое отечествѣ. По крайней мѣрѣ, такъ именно понимали дѣло многіе великіе

европейскіе и русскіе люди, составляющіе гордость своей родной страны. И наоборотъ, нельзя указать ни одного историческаго примѣра, чтобы родина съ благодарною гордостью вспоминала о челоѣкѣ, который гналъ изъ нея великія международныя вещи; не русскія, или французскія, не эллинскія или іудейскія, а тѣ, что всѣмъ равно свѣтять и всѣхъ равно грѣютъ, какъ солнце. Видѣть свою родину, хотя бы въ будущемъ, облеченною въ броню истины и справедливости — г. Марковъ и К° называютъ это «космополитическими грезами». Такъ-ли полно? По моему, это не грезы, а если грезы, то во всякомъ случаѣ патріотическія. А, впрочемъ, дѣло не въ словахъ, и повторяю, еслибы выборъ отъ насъ зависѣлъ, то во избѣжаніе недоразумѣній, мы не назвали бы, вѣроятно, своего журнала «Отечественными Записками».

Недоразумѣнія еще не исчерпаны. Дѣло въ томъ, что великія международныя вещи не противорѣчатъ *идеѣ* отечества, а напротивъ, даютъ ей опору. Но понятно, что фактическому положенію отечества они могутъ въ каждую данную минуту противорѣчить самымъ рѣзкимъ образомъ. Еще недавно мы слышали съ высоты трона о духѣ «неправды и хищенія», бременищемъ наше отечество. Это и есть указаніе на противорѣчіе великихъ международныхъ вещей съ фактическимъ положеніемъ родины въ данную минуту. Ясно, слѣдовательно, что, любя отечество, можно и должно многое въ немъ ненавидѣть, презирать, гнать, клеймить, позорить. И еслибы (беру случай теоретической возможности) мрачныя историческія условія обратили хищеніе и неправду даже въ «народную святыню», такъ и то она должна быть низвергнута, какъ былъ низвергнутъ идолъ Перуна (то же народная святыня того времени) основателемъ христіанства въ Россіи. Пусть мѣдные лбы, величавъ своимъ патріотизмомъ, ходятъ вокругъ да около и пусть вопятъ въ отчаяніи, какъ поклонники Перуна: «выдибай, Боже!».

Но, можетъ быть, я поднялъ вопросъ въ слишкомъ высокія и отвлеченныя сферы. Можетъ быть, дѣло стоитъ просто такъ, что мы, полагая въ своемъ ослѣпленіи великія международныя вещи уже достигшими полнаго развитія и осуществленія на западѣ, и именно на либеральномъ западѣ, желаемъ пересадки запада къ намъ, на востокъ. Мѣдные лбы говорятъ это. Забывъ, какъ сами они стучали своею непроницаемою металлическою поверхностью передъ либеральнымъ западомъ и какъ они не разбивались только потому, что мѣдные лбы вообще не разбиваются (пусть г. Марковъ

вспомнить, напимѣрь, полемическій эпизодъ изъ-за взглядовъ графа Л. Н. Толстого на народное образованіе), забывъ, говорю, свое прошлое, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ неувѣрною наглостью вала въ больной головы на здоровую. Дѣло въ томъ, что за всѣ эти семидесятыя годы ни одинъ органъ русской печати не относился къ различнымъ проявленіямъ запада, и въ особенности либеральнаго запада, съ такою пристальною, тревожною, съ такою, смѣю сказать, патріотическою критикою, какъ мы, неправедно носящіе титулъ *Отечественныхъ* Записокъ. Я вызываю любой мѣдный лобъ опровергнуть меня. Опровергнуть, разумѣется, фактически, а не такъ, какъ Поздревъ возражалъ Мижуеву: «а вотъ же поймалъ, вотъ нарочно поймалъ!» Правда, мы не вопіяли о нашей «самобытности» и не трепали за волосы все европейское прошлое и настоящее, а напротивъ, видѣли въ немъ и лучи ослѣпительно яркаго, благодатнаго свѣта. Но тѣмъ не менѣе вѣрно, что нынѣшніе модные противники «quasi-либерализма», «лже-либерализма» и проч., сплошь и рядомъ быють намъ челою нашимъ же добромъ, только въ искаженномъ видѣ, съ придачей нахальства въ тонѣ, всякаго вздора и мракобсія въ содержаніи. О, мѣдные лбы! Что говорить о прошломъ? И теперь, когда мы систематически отказываемся бить лежакаго и стрѣлять въ спину, мы не поступились ничѣмъ изъ своихъ взглядовъ. А мѣдные лбы читають, напимѣрь, хоть интересныя статьи г. В. В., въ которыхъ разъясняется, что для нашего отечества необязателенъ и даже невозможенъ путь европейскаго либеральнаго развитія, читають и говорятъ: «органъ расхожаго европейскаго либерализма, словно въ насмѣшку присвоившій себѣ имя *Отечественныхъ* Записокъ»...

Паки и паки: мѣдные лбы! А вы, варенныя души, неужто вы, въ самомъ дѣлѣ, и напередки будете «ничего»? неужто души у васъ выварены до состоянія мочалки?!

Какъ ни гладокъ, какъ ни крѣпокъ, какъ ни лоснится мѣдный лобъ, но есть же все-таки въ концѣ-концовъ какая-нибудь цѣль, не сознательная, такъ инстинктивная, его наглаго лганія. Поздревъ лгалъ по неудержимой склонности своей въ нѣкоторомъ родѣ художественной натуры, изъ элементарнаго желанія напакоствить ближнему, изъ желанія оказаться пріятнымъ человѣкомъ въ той или другой компаніи. Но въ концѣ концовъ онъ обдѣлывалъ свои дѣлишки, глупо, неумѣло, безпорядочно, но обдѣлывалъ. Такъ и нынѣшніе мѣдные лбы и даже въ гораздо большей степени.

Въ той же статьѣ г. Маркова, которая служить исходнымъ пунктомъ для на-

стоящей главы «записокъ современника», говорится о «навязываемой намъ литературою извѣстнаго направленія обязанности закласть въ жертву интересовъ крестьянскаго сословія всѣ другіе интересы и сословія русскаго государства, сознательно игнорируемые атимъ направленіемъ». Говорится также о «мечтаніяхъ нашей «мужиковствующей» журналистики, великодушно жертвующей чужими интересами и претендующей основать на этомъ дешевомъ подвигѣ свою репутацію передовыхъ людей Россіи. Вотъ—корень вещей. Это ненавистное «мужиковствующее» направленіе (терминъ, до котораго г. Марковъ своимъ умомъ дошелъ, чѣмъ очень гордится) и есть именно то «галманское» направленіе, которое вторитъ европейскому либерализму, осмѣиваетъ народные святыни и проч. И въ этомъ все дѣло. Г. Маркову нѣтъ никакого дѣла до того, что настоящій «расхожій европейскій либерализмъ» никогда фактически «мужиковствующимъ» не былъ и никогда не могъ быть таковымъ въ принципѣ. Но г. Маркову и вообще нѣтъ дѣла до запада и востока, сѣвера и юга. Все это—аксессуары или пожалуй бильярдныя шары, которые игрокъ сажаетъ то въ среднюю лузу, то въ одну крайнюю, то въ другую, смотря по тому, какъ удобнѣе. Самая же суть состоитъ, какъ давно уже разъяснилъ самъ г. Марковъ, въ «возстановленіи простыхъ и тихихъ прелестей крѣпостного быта» въ обновленной, конечно, формѣ. Можно это устроить при помощи европейскаго либерализма—прекрасно: да здравствуетъ либерализмъ! Нельзя—г. Марковъ поищетъ другихъ средствъ, будетъ ругать либерализмъ чуть что не непечатными словами и удличать прохожихъ въ измѣнѣ отечеству. Обращаясь же къ «мужиковству» по существу, надо сказать прежде всего слѣдующее. Еслибы понадобилось «закласть въ жертву интересовъ крестьянскаго сословія» интересы собственно г. Маркова и присныхъ его, то мы, конечно, надъ такимъ дѣломъ не задумались бы. Въ этомъ я долженъ откровенно сознаться. Что же касается закланія «всѣхъ другихъ интересовъ», то это обвиненіе клеветническое и мѣднолобое. Интересы крестьянскаго сословія для насъ дѣйствительно дороги, и я не вижу еще резона обвинять насъ по этому случаю въ измѣнѣ отечеству и въ облаиваніи народныхъ святынь. Но вопросъ состоитъ все-таки въ томъ, какъ сочетать эти интересы съ интересами тѣхъ великихъ международныхъ вещей, о которыхъ говорено выше.

Это—интересный предметъ, но при обсужденіи его присутствіе г. Маркова совершенно излишне. Идите, г. Марковъ, куда

угодно; идите... и вперед не грѣшите, хотѣлъ я сказать, но, право, это не важно. Можете, пожалуй, и грѣшить...

Дѣло въ томъ, что г. Марковъ на этотъ разъ какъ будто утрачиваетъ свой характеръ типа: онъ съ негодованіемъ говоритъ о «мужиковствѣ», тогда какъ другіе противники «лже-либерализма» преисполнены особливою преданностью мужику и только и говорить, что о закланіи «всего» въ жертву интересамъ крестьянскаго сословія. Да погибнетъ все, кромѣ того, что нужно русскому народу, мужику!—такова тоже современная модная пѣсня, и я рекомендую читателю внимательно вдуматься въ тотъ фортель, который можетъ быть выкинутъ и дѣйствительно выкидывается при помощи этой пѣсни. Хотя бы не для того, чтобы удалить или раздавить этотъ фортель,—можетъ быть, въ немъ выражается непреклонный и неутомимый историческій фатумъ—а чтобы знать, какъ идутъ дѣла въ родной странѣ.

Демократическій фортель, но фортель...

Нынѣшнее царствованіе уже отмѣчено нѣсколькими важными правительственными распоряженіями: объ обязательномъ выкупѣ крестьянскихъ надѣловъ, о пониженіи выкупныхъ платежей, о прекращеніи продажи казенныхъ земель въ Оренбургскомъ Краѣ на льготныхъ условіяхъ 1871 г., объ облегченіи для крестьянъ арендованія свободныхъ казенныхъ земель. Общій характеръ этихъ мѣропріятій несомнѣненъ: всѣ они клонятся къ тому, чтобы сблизить производителя-крестьянина съ землей. Вмѣстѣ со всѣми благомыслящими русскими людьми, мы привѣтствуемъ этотъ принципъ, хотя и не знаемъ до какихъ предѣловъ предполагается его осуществить. Какъ бы то ни было, но правительственный починъ далъ соотвѣтственный толчокъ общественной мысли. Послышались самопроизвольные отказы отъ земельныхъ участковъ, полученныхъ на льготныхъ условіяхъ; симферопольское земство постановило отчислить 5,000 р. въ годъ на устройство безземельныхъ крестьянъ; мелитопольское земство назначило капиталъ въ 60,000 для пособія крестьянамъ въ покупкѣ земель; таврическое губернское земство назначило 150,000 р. на образованіе капитала для осудъ безземельнымъ, полтавское губернское земство постановило пріобрѣсти 12,000 десятинъ земли съ тою же цѣлью устройства безземельныхъ крестьянъ. Немного все это, разумѣется; но принципъ мы всетаки высоко цѣнимъ. Къ сожалѣнію, исторія попытокъ полтавскаго земства получила совершенно неожиданный финалъ. Вотъ какъ онъ рассказанъ въ газетахъ.

Полтавская губернская управа, по словамъ циркуляра предѣдателя губернскимъ

гласнымъ, считая своимъ обязанностью пользоваться каждымъ случаемъ для содѣйствія земельному устройству безземельныхъ крестьянъ, не могла не обратить вниманія на дошедшее до нея свѣдѣніе, что въ Миргородскомъ уѣздѣ продается на весьма льготныхъ условіяхъ имѣніе г. Муравьева-Апостола, состоящее изъ 12 тысячъ десятинъ. Имѣніе это находилось въ пожизненномъ владѣніи г-жи Муравьевой-Апостолъ и послѣ ея смерти должно было перейти къ М. И. Муравьеву-Апостолу. Вслѣдствіе соглашеній, пожизненная владѣлица отказывалась отъ пожизненныхъ правъ, а г. Муравьевъ соглашался продать свои права съ выдѣломъ пожизненной владѣлицѣ 3,500 десятинъ—за 300 тысячъ рублей, а безъ этого выдѣла—за 650,000 руб. Выходило, такимъ образомъ, съ небольшимъ 50 рублей за десятину; для Полтавской губерніи это цѣна дешевая. Губернская управа немедленно командировала въ Москву, для переговоровъ съ г. Муравьевымъ, члена своего г. Ильишенко и кромѣ того, имѣя въ виду, что попечитель московскаго учебнаго округа, г. Капнистъ—полтавскій землевладѣлецъ, обратилась и къ нему. Однако, г. Капнистъ, вмѣсто содѣйствія, счелъ своею обязанностью испортить все дѣло. Какъ-то бы, ему принадлежало право или оказать просимую помощь, или просто отказать въ ней; но онъ почему-то вообразилъ себя въ роли «попечителя» полтавскаго земства, призваннаго производить оцѣнку разумности и правильности земскихъ дѣйствій. Присвоивъ себѣ такую роль, онъ счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ «помѣшать» земству въ осуществленіи его предпріятія и отвѣтилъ земской управѣ, что, по его мнѣнію, покупка имѣнія—«операція невозможная безъ нарушенія законныхъ правъ, задачъ и цѣлей земства», что она даже «не соотвѣтствуетъ видамъ правительства и можетъ породить «необычныя надежды и ложные слухи». Такимъ образомъ, землевладѣлецъ и попечитель учебнаго округа—г. Капнистъ присвоилъ себѣ еще роль выразителя правительственныхъ взглядовъ на вопросы земскаго и народнаго хозяйства. Далѣе, г. Капнистъ прибавилъ, что онъ успѣлъ даже «отклонить» г. Муравьева отъ сдѣлки съ земствомъ, и что г. Муравьевъ самъ раздѣляетъ его взгляды. Вотъ какъ поступилъ дѣйствительный попечитель учебнаго округа и самозванный попечитель земства. На повѣрку однако вышло, что г. Муравьевъ не совсѣмъ раздѣлялъ попечительскіе взгляды; онъ желалъ продать имѣніе «или земству, или родовитому дворянину», но только впалъ въ сомнѣніе—точно-ли правительство не отнесется къ продажѣ земству

«неодобрительно?» Нечего дѣлать, предсѣдатель губернской управы, въ виду спѣшности и важности дѣла, прибѣгнувъ къ чрезвычайному способу: обратился къ г. министру внутреннихъ дѣлъ съ телеграммою, въ которой, объяснивъ обстоятельства дѣла, просилъ сообщить продавцамъ, что начатое предпріятіе не противно видамъ правительства, а, напротивъ, соотвѣтствуетъ имъ; въ то же время онъ вступилъ въ переговоры съ харьковскимъ землемъ банкомъ объ обезпеченіи сдѣлки, въ чемъ и успѣлъ. На телеграмму не послѣдовало ни утвердительнаго, ни отрицательнаго отвѣта. А тутъ истати подвернулся конкурентъ-покупатель, кн. Мещерскій, относительно котораго не возбуждалось уже никакихъ сомнѣній, и земское дѣло—окончательно потеряно. Словомъ, тутъ какъ нарочно сошлись всѣ неблагоприятныя случайности. Циркуляръ заключается слѣдующими словами: «глубоко сожалѣя о неудачѣ, губернская управа будетъ считать для себя поддержкой въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ ваше сочувствіе къ образу ея дѣйствій въ настоящемъ случаѣ».

Исторія, крайне любопытная сама по себѣ. Частный человѣкъ, никѣмъ не уполномоченный, совершенно самопроизвольно налагаетъ отъ имени правительства свое вѣто на сдѣлку, не только не предосудительную вообще, но по всѣмъ видимостямъ совпадающую съ послѣдними правительственными заявленіями. И добро бы это Іисусъ Навинъ былъ, который своимъ словомъ остановилъ солнце, а то всего-то г. Капнистъ!

Я не счелъ бы, однако, нужнымъ напоминать читателю эту, безъ сомнѣнія, уже извѣстную ему исторію, еслибы она не находила на нѣкоторые общія размышленія и опасенія.

Въ обществѣ и литературѣ то и дѣло слышатся нынѣ возгласы: долой «интеллигенцію» и да здравствуетъ народъ! Хорошо. Я не высокаго мнѣнія о русской интеллигенціи и никому не уступлю въ искренности пожеланія: да здравствуетъ русскій народъ! Но я боюсь данайцевъ, дары носящихъ. Боюсь, что господствующее настроеніе общественной мысли отойдетъ и уже отливается въ схему, которую можно заимствовать у газеты «Русь»: изъ уваженія къ требованіямъ народной совѣсти и народныхъ вѣрованій, театры въ посту должны быть закрыты; что же касается народнаго пониманія хозяйственныхъ отношеній, то тутъ не у народа надо справляться, а у интеллигентнаго человѣка, г. Самарина, который сочинилъ теорію достаточности надѣловъ... Это только схема. Дѣло не въ великопостныхъ спектакляхъ, конечно, и даже не въ запрещеніи служить панихиду въ память вели-

каго поэта, составляющаго честь и красоту отечества. Дѣло въ общей тенденціи—задавать, подъ предлогомъ народныхъ идеаловъ, великія международныя вещи и... и все-таки ничего не дать народу...

Госпожи вареныя души! Если вы уже выварены до состоянія молчаки и не можете не обниматься съ мѣдными лбами, то, по крайней мѣрѣ, знайте кого вы обнимаете.

Господа мѣдные лбы! Если въ васъ подъ металлической покрывкой сохранилась хоть единая капля человѣческаго достоинства—бросьте клевету и наглую ложь, перестаньте валить съ больной головы на здоровую, перестаньте кощунствовать, толкуя объ идеалахъ, и говорите прямо, чего вамъ нужно.

VI.

Послушаемъ умныхъ людей*).

Избавь насъ, Господи, отъ друзей, а съ врагами мы ужъ какъ-нибудь сами справимся, сказалъ кто-то. Русская литература никимъ образомъ не можетъ повторить это изрѣченіе, ибо справится-ли она съ врагами и какъ справится, это—дѣло очень темное, а самое существованіе друзей, пожалуй, еще темнѣе. За то есть покровители, отечески заботливые, отечески мудрые... Если вы сомнѣваетесь въ этомъ, то загляните въ «Саратовскія Губернскія Вѣдомости» и прочтите тамъ слѣдующій циркуляръ и. д. губернатора, саратовскаго вице-губернатора, г. Азанчевскаго.

«Редакція «Саратовскаго Листка» и «Саратовскаго Дневника», 24 и 25 сего августа мѣсяца, распорядились напечатать о перемѣнахъ между высшими лицами мѣстной губернской администраціи. Свѣдѣнія, переданныя на публичное обсужденіе, не основаны на формальныхъ данныхъ, дошедшихъ до мѣстнаго общества какимъ-либо несомнѣнно вѣрнымъ, положительнымъ и правительственно-официальнымъ путемъ. Слѣдовательно, такое извѣстіе, которое появляется на основаніи слуховъ и догадокъ, и еще относительно лицъ, служащихъ высшими представителями правительства въ губерніи, по малой мѣрѣ, лишено всякаго сознанія своихъ гражданскихъ обязанностей къ служебной и общественной дисциплинѣ и уваженія къ личной скромности служащихъ лицъ. Редакція газетъ, при настоящемъ современномъ взглядѣ на печатное слово, представляютъ собой конторы, имѣющія своею цѣлью распоряженіе обращеніемъ общественной мысли, точно такъ же, какъ торговыя конторы распоряжаются обращеніемъ торговыхъ

*) 1881 г., октябрь.

фондовъ; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ кредитъ и его поддержка играютъ первостепенную роль—для сохранения кредита, что приобретаетъ довѣріе общества, нужно вѣрное и точное, справедливое веденіе своихъ операций; но можетъ-ли то и другое существовать, когда оно основано на летучихъ, временныхъ данныхъ? Разумѣется, нѣтъ! Поэтому для пользы и истины самого дѣла печати предъявляется редакціямъ частныхъ органовъ печати и гг. служащимъ, имѣющимъ ближайшую обязанность наблюдение за исполненіемъ законовъ о печати и постановленій правительства—цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ въ особенности, чтобы впредь ни подъ какими видами не были помѣщаемы никакія свѣдѣнія, касающіяся правительственныхъ лицъ и учреждений, не основанныя на прямыхъ и непосредственныхъ указаніяхъ правительственныхъ органовъ и распоряженій, въ порядкѣ законовъ указываемыхъ и обнародуемыхъ».

Циркуляръ этотъ замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ: и въ политическомъ, и въ логическомъ, и въ грамматическомъ. Но едва ли не самое любопытное въ немъ—это отеческая заботливость просвѣщеннаго г. вице-губернатора о литературѣ; заботливости, основанная какъ непосредственно на отеческихъ чувствахъ администратора, такъ и на «настоящемъ современномъ взглядѣ на печатное слово».

Отдавая, однако, должную дань чувствамъ благорасположенія, одушевляющимъ г. Азанчевскаго, и его прекраснымъ намѣреніямъ, я не могу, къ сожалѣнію, признать совершенно правильнымъ его «настоящій современный взглядъ на печатное слово». Параллель между литературнымъ дѣломъ и торговыми конторами нельзя назвать очень удачною. Но еслибы она была даже перломъ остроумія и глубокомыслія, то едва ли все-таки есть логическая возможность сдѣлать изъ нея тѣ выводы, которые дѣлаетъ г. саратовскій вице-губернаторъ. Допустимъ, въ самомъ дѣлѣ, что редакція газетъ и торговыхъ конторы едино суть. Ну, и пускай бы себѣ «Саратовскій Листокъ» и «Саратовскій Дневникъ» потеряли «довѣріе общества» сообщеніемъ невѣрныхъ свѣдѣній и пускай бы себѣ саратовское общество, разочарованное этими газетами, народило или выбрало другія. Помогать именно «Листку» или «Дневнику» не видится настоятельной надобности. А ужъ если помогать, такъ надо доводить это благотворительное дѣло до конца. Саратовскія газеты сообщили невѣрные свѣдѣнія о новомъ назначеніи г. Азанчевскаго. И вотъ «цензора, полиціймейстеры и исправники» Саратовской губерніи подни-

маются на ноги для защиты «личной скромности служащихъ лицъ» и для поддержанія въ публикѣ довѣрія къ русской литературѣ. Но вѣдь саратовскія, какъ и всякія другія газеты, могутъ сообщить невѣрные свѣдѣнія и о другихъ предметахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ скромности администраторовъ. Напримѣръ, о высотѣ Монъ-Блана, о парламентскихъ порядкахъ въ Англіи, о видахъ на урожай, о нравственномъ значеніи буддизма, о годѣ рожденія Юлія Цезаря, о причинахъ падающихъ звѣздъ и проч., и проч., и проч. Г. Азанчевскій скромно и признаетъ, конечно, что всѣ эти предметы нѣсколько болѣе высокаго роста, чѣмъ саратовскій вице-губернаторъ, а потому неточныя объ нихъ свѣдѣнія въ еще болѣе мѣрѣ подрываютъ довѣріе общества къ литературѣ. Не подлежитъ-ли, слѣдовательно, предоставить гг. саратовскимъ цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ гораздо болѣе широкій районъ руководительства печатнымъ словомъ, чѣмъ какой отведенъ имъ въ циркулярѣ г. Азанчевскаго? Циркуляръ этотъ имѣетъ вѣдь въ виду «пользу и истину самого дѣла печати»; авторъ его только о томъ и беспокоится, какъ бы поддержать мѣстную литературу на высотѣ ея призванія торговой конторы и внушить публикѣ довѣріе къ ней. Только въ этихъ чрезвычайно благосклонныхъ видахъ циркуляръ и произноситъ грозныя слова: предъявляется... цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ въ особенности (почему исправникамъ въ особенности?), чтобы впредь ни подъ какими видами» и т. п. Я не совсѣмъ понимаю, почему именно «исправники въ особенности» приглашаются къ благотворительному воздѣйствію на литературу, но это второстепенная подробность, надъ которой не стоитъ ломать голову. Гораздо интереснѣе было бы знать, почему вообще цензора и чины полиціи должны способствовать установленію довѣрія между обществомъ и печатью? А въ случаѣ удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ, не безъинтересно знать, почему сообщенія газетъ о высотѣ Монъ-Блана могутъ безпрепятственно основываться «на летучихъ, временныхъ данныхъ», а сообщенія о новыхъ административныхъ назначеніяхъ должны покориться на данныхъ вѣчныхъ?

Откровенно говоря, я думаю, что мысли саратовскаго циркуляра надо понимать совершенно наоборотъ. А именно: господа цензора, полиціймейстеры и исправники должны неукоснительно исполнять обязанности, возложенныя на нихъ закономъ, отнюдь не обременяя себя сторонними предпріятіями; литература же пускай собствен-

ными средствами добывает и поддерживает необходимый ей кредит; если она этого кредита не заработает, то погибнет и худая трава изъ поля вонъ. Осмѣливаюсь выразить даже такую мысль. Безъ сомнѣнія, русская литература не пользуется довѣріемъ общества въ той мѣрѣ, въ какой это требуется задачей печатнаго слова; безъ сомнѣнія, въ этомъ виновата отчасти сама литература, но положеніе это уже, разумѣется, въ несравненно большей степени создано неопечетельною дѣятельностью администраціи. Въ сущности, для самаго дѣла довольно безразлично, какіе мотивы руководятъ администраціею въ ея отношеніяхъ къ печатному слову, если отношенія эти практически исчерпываются грозными словами: «предъявляется... цензорамъ, полиціимейстерамъ и исправникамъ въ особенности, чтобы впредъ ни подъ какимъ видомъ» и проч. Разъ тѣмъ или другимъ путемъ установился такой порядокъ, общество, конечно, не можетъ имѣть довѣрія къ литературѣ: общество знаетъ, что литература отнюдь не имѣетъ въ рукахъ «распоряженія обращеніемъ общественной мысли, какъ торговые конторы распоряжаются обращеніемъ торговыхъ фондовъ», а напротивъ, сплошь и рядомъ вынуждена пускать въ обращеніе мысли гг. цензоровъ, полиціимейстеровъ и исправниковъ въ особенности. Можетъ-ли быть тутъ рѣчь о довѣріи? Разумѣется, нѣтъ!

Говоря еще болѣе откровенно, я сильно сомнѣваюсь въ благорасположеніи и отеческихъ чувствахъ г. Азанчевскаго. Весь сыр-боръ загорѣлся, конечно, изъ-за «личной скромности» или вообще личныхъ какихъ-нибудь свойствъ саратовскаго вице-губернатора. Ну, а литература наша есть точное подобіе того неизбежнаго на народныхъ гуляньяхъ динамометра въ видѣ головы турка, на которомъ всякій мимоходящій можетъ безпрепятственно испробовать силу своихъ мышцъ. Въ этомъ все дѣло, а остальное—украшеніе слога, словесная экскурсія въ область возвышенныхъ чувствъ.

Тѣмъ не менѣе, экскурсія любопытная, потому что въ ней выразилась одна изъ распространеннѣйшихъ у насъ мыслей, а именно мысль о несовершенности литературы, которую никакъ нельзя предоставить собственнымъ средствамъ и силамъ, а непременно надо подвергать тому или иному воздѣйствію, даже для ея собственной пользы, а тѣмъ паче для пользы родины. Что эта мысль невѣрная, фальшивая, объ этомъ, право, даже какъ-то странно говорить, ибо дважды два—четыре, и вѣрнѣе этого ничего не придумаешь. Но когда является администраторъ, простирающій свою попечительную заботливость до стараній устано-

вить довѣріе публики къ печатному слову, то невольно представляется общій вопросъ. Личный составъ литературы не съ неба на русскую землю падаетъ и не изъ преисподней откуда-нибудь на нее выгнѣзаетъ, а набирается изъ тѣхъ же русскихъ людей, которые на русской землѣ обитаютъ. И не послѣдніе, во всякомъ случаѣ, люди входятъ въ этотъ составъ, не подонки какіе-нибудь, ибо требуется для этого всетаки извѣстная талантливость, извѣстные теоретическія знанія или житейская опытность и т. п. Положимъ, что въ общемъ счетѣ это далеко не соль земли, но, во-первыхъ, гдѣ же соль? а во-вторыхъ, дѣло немножко затемняется тѣми разнообразно враждебными отношеніями, которыми кипитъ литература. «Кто любитъ тыкву, а кто—офицера, говорить пословица. Я, напримѣръ, не считаю для себя обязательнымъ чрезвычайное уваженіе къ гг. Катковымъ и Аксаковымъ и ихъ сподвижникамъ. Но вѣдь есть же люди, которые съ своей точки зрѣнія усматриваютъ въ нихъ спасителей отечества, богатырей умомъ и чувствомъ, высоко поднимающихся надъ среднимъ уровнемъ русскаго общества. Другіе отмѣчаютъ своимъ уваженіемъ иныхъ представителей литературы. И въ концѣ концовъ, выходитъ, что съ какой угодно точки зрѣнія, а претензія хоть бы того же г. Азанчевскаго руководить, опекать, воздѣйствовать рѣшительно ни съ чѣмъ несообразна, ибо съ любой точки зрѣнія найдутся въ литературѣ люди достаточно крупнаго роста. А затѣмъ возникаетъ общій вопросъ: какіе же элементы русскаго общества не подлежатъ воздѣйствію того или иного характера и какіе подлежатъ, и какому именно?

Послушаемъ умныхъ людей...

Покойникъ Некрасовъ говорилъ, я помню, что при установленіи свободы печатнаго слова въ Россіи наилучшею формою литературной бесѣды о злобѣ дня будетъ брошюра. Ежемесячный журналъ для этого слишкомъ неповоротливъ, связанъ срочностію выхода, обремененъ массою черной, редакціонной работы, требуетъ значительнаго личнаго состава и значительныхъ матеріальныхъ средствъ. Газета, обремененная во всѣхъ этихъ отношеніяхъ еще болѣе, не имѣетъ, кромѣ того, по своей летучести, средствъ высказаться о данномъ предметѣ съ желательною полнотою и законченностію. Брошюра—другое дѣло. Крайнюю упрощенность механизма она соединяетъ съ дешевизной и съ возможностью высказаться полно, ясно, какъ разъ въ нужную минуту. Такъ разсуждалъ опытный и чуткій журналистъ, и въ этомъ разсужденіи всякій признаетъ значительную долю справедливости,

хотя, разумѣется, брошюра только въ исключительныхъ случаяхъ можетъ достигнуть такого распространенія и, слѣдовательно, вліянія, какъ периодическое изданіе. Какъ бы то ни было, но брошюра становится у насъ теперь очень употребительною формою литературной бесѣды о текущихъ дѣлахъ. Если ли это признакъ зарождающейся свободы печатнаго слова, объ этомъ пусть судить читатели... Мы теперь просто пересмотримъ нѣкоторыя изъ появившихся въ послѣднее время брошюры, въ надеждѣ найти въ нихъ помощь для разрѣшенія вопроса объ элементахъ русскаго общества, подлежащихъ и не подлежащихъ воздѣйствію.

Несомнѣнно, что этотъ предметъ занимаетъ нынѣ всякаго мыслящаго русскаго человѣка. И даже тѣхъ, упорно отказывающихся мыслить, которые готовы выразиться энергическимъ пушкинскимъ стихомъ: «все утопить!» Все утопить! Но вѣдь это утопія, и блестящіе ею фантастическіе умы не скрываютъ, что надо утопить все, кромѣ ихъ самихъ и, разумѣется, домовъ ихъ, и ословъ и рабовъ ихъ. Все-таки, значитъ, не все, и столько-то паръ такихъ-то нечистыхъ животныхъ должно быть помѣщено въ Ноевомъ ковчегѣ для спасенія отъ всеобщей утопіи. Но, Боже мой! какъ же добраться до истины? Или, если это ужъ такъ трудно, какъ узнать мнѣнія разнаго рода людей объ этой истинѣ? «Народъ безмолвствуетъ», по привычкѣ-ли къ молчанію или просто потому, что съ нимъ не разговариваютъ. Литература есть въ настоящемъ случаѣ подоудимый, ибо, можетъ быть, она-то прежде всего и должна быть ввергнута въ волны утопіи. А между тѣмъ, иныхъ путей, кромѣ литературнаго, у русскаго общества нѣтъ для предьявленія своего пониманія вещей. Выходитъ что-то въ родѣ квадратуры круга. Но тутъ-то, можетъ быть, насъ и выручитъ брошюра. Дѣло въ томъ, что литература, дѣйствительно, состоитъ въ подозрѣніи и можетъ свободно заблуждаться только насчетъ высоты Монъ-Блана. Но когда говорятъ о вредности литературы, о «мошенникахъ пера и разбойникахъ печати», объ «омерзительныхъ личностяхъ журналистики» и т. п., то разумѣютъ именно журналистику, литературу, такъ сказать, профессиональную, кристаллизовавшуюся въ опредѣленныя формы периодическихъ изданій. Брошюра совсѣмъ другое дѣло. Это нѣкоторымъ образомъ литература въ литературѣ, это — голоса изъ общества, прибѣгающіе къ печатному слову отъ полноты чувствъ и притомъ чувствъ вполне благонамѣренныхъ, ибо брошюра, по размѣру своему, подлежитъ, на основаніи нашихъ законовъ о печати, непремѣнно предварительной цензурѣ. Конечно, это послѣд-

нее обстоятельство представляетъ лезвіе обоюдоострое, такъ какъ и здѣсь, значитъ, мы неизбежно встречаемся съ «обращеніемъ общественной мысли», тщательно контролируемымъ. Но на нѣтъ и суда нѣтъ. Обращаясь къ брошюрѣ, мы все-таки кое-что узнаемъ и даже, можетъ быть, убьемъ двухъ зайцевъ за разъ: узнаемъ, какъ мыслитъ общество независимо отъ обычныхъ литературныхъ путей, то-есть отъ журналистики, и получимъ помощь въ разрѣшеніи вопроса объ томъ, что подлежитъ и что не подлежитъ въ нашемъ отечествѣ воздѣйствію.

Сами мы приступаемъ къ этому вопросу отнюдь не съ либеральной точки зрѣнія. Иначе говоря, мы отнюдь не думаемъ, что весь составъ русскаго населенія долженъ быть распущенъ на всю волюную волю, предоставленъ собственнымъ силамъ и взаимному пожиранию, при каковомъ пожирании возьмутъ верхъ сильнѣйшіе, лучшіе, доблестнѣйшіе. О нѣтъ! Мы очень хорошо знаемъ, что и въ частной жизни атмосфера свободы оплошъ и рядомъ омрачается успѣхомъ подлости, низости и ничтожества. Знаемъ, что есть и общественные элементы, волчья пасть которыхъ настоятельно требуетъ намордника. Но дѣло именно въ томъ, что иногда происходятъ печальныя ошибки: намордникъ надевается на глашатая добра и правды, а волчья пасть съ оскаленными хищными зубами и ограднымъ дыханіемъ не только избѣгаетъ воздѣйствія, а еще получаетъ содѣйствіе. Такъ бываетъ, слишкомъ часто бываетъ...

Послушаемъ умныхъ людей...

Умный человѣкъ № 1, г. А. Ч., авторъ брошюры «Желанная реформа. Четыре статьи о дворянствѣ».

Г. А. Ч. чрезвычайно уважаетъ свободу. Въ самомъ началѣ его брошюры находимъ слѣдующія слова: «Если нашъ нынѣ царствующій монархъ будетъ продолжать государственныя преобразованія въ духѣ своего незабвеннаго отца, на что мы вправѣ надеяться изъ словъ Высочайшаго манифеста отъ 2-го минувшаго марта, то, въ неотдаленномъ времени, мы примемъ изъ рукъ самодержавнаго правителя ту обширную свободу, которая достигалась въ западно-европейскихъ государствахъ цѣною, какъ жертвъ, такъ и борьбы, и столь же неправильнымъ, сколько и труднымъ путемъ». А заканчивается брошюра такимъ приподнятымъ завѣсомъ будущаго: «Если, отставивъ такъ искренно, горячо и усердно права и преимущества русскаго родового дворянства, мы не распространяемся о томъ значеніи, которое могло бы оно имѣть въ представи-

тельной монархii, то въ этомъ руководимся мы неподдѣльно-вѣрно подданическими чувствами. Считая себя въ полномъ правѣ указывать на нарушение сословныхъ привилегій и высказывать опасенія на будущее, вслѣдствіе непрочности основъ народнаго благоустройства мы никакъ не дозволяемъ себѣ гласнаго предложенія, клонящагося къ преобразованію государственнаго строя; но, благоговѣя передъ престоломъ нашего Самодержца, какъ помазанника Божьяго, мы вознесемъ ему благодарность, воздавая въ то же время хвалу Промыслу Вевышняго за каждое государственное нововведеніе, изъ котораго мы почерпнемъ расширеніе нашей гражданской свободы, когда Государю Императору благоугодно будетъ сдѣлать общепользное и соответствующее нашему просвѣщенному вѣку правительственное преобразованіе совершившимся фактомъ».

И такъ, г. А. Ч. чрезвычайно уважаетъ свободу. Но, увы! нѣтъ уже болѣе нынѣшнихъ старинныхъ свободолюбцевъ, которые безтрепетной рукой повергали жертвы къ подножію свѣтозарнаго идола свободы! Нынѣ каждый свободолюбецъ имѣетъ своихъ протѣж, какихъ-нибудь униженныхъ и оскорбленныхъ, слабыхъ и безпомощныхъ, нуждающихся въ особомъ покровительствѣ. И это очень правильно. Но вопросъ въ томъ, кто именно — униженные и оскорбленные, нуждающіеся въ особливомъ вооруженіи, дабы не быть смятыми въ разгулѣ свободы? Г. А. Ч. очень хорошо знаетъ это. Онъ говоритъ: «Мѣтимъ мы, *помимо*, на невыразимо жалкое состояніе, въ социальномъ отношеніи, нашего столь славнаго по своему историческому значенію дворянства». И такъ, дворянство — вотъ кто слабые и безпомощные, которымъ свобода нужна, при извѣстныхъ условіяхъ, наравнѣ со всѣми элементами русскаго общества, но которые вмѣстѣ съ тѣмъ подлежатъ защитѣ, покровительственному воздѣйствію, выходу изъ «невыразимо жалкаго состоянія».

Къ сожалѣнію, въ развитіи этой остроумной мысли г. А. Ч. нѣсколько путается. Надо замѣтить, что онъ покорнѣйшій слуга дворянства вообще, а не только русскаго. По его мнѣнію, «уваженіе къ привилегированному сословию вообще Священнымъ Писаніемъ, повѣствующимъ, что тѣло Христово отдано было на погребеніе, по видимому промыслу Божьему, знатному фарисею Іосифу Аримаеѣскому». Г. А. Ч. немножко забылъ тѣхъ рыбаковъ, изъ которыхъ Христосъ набиралъ себѣ учениковъ, и помнить только дворянина Осипа Осиповича Аримаеѣскаго... Тѣмъ паче преданъ онъ русскому дворянству: это — «наше великодушное, геройское, боголюбивое, высшее сословіе!» Словомъ,

большая сила. И вдругъ эта большая сила находится въ «невыразимо жалкомъ состояніи!» Безсильная сила, какъ и сильное безсильіе, въ принципѣ не представляетъ какого-нибудь неразрѣшимаго противорѣчія. Дѣла на грѣшной землѣ, напротивъ, очень часто идутъ такъ, что истинное безсильіе, истинное ничтожество торжествуетъ, пробираясь ползкомъ, ничкомъ, окольными путями, которыхъ истинное достоинство не подозрѣваетъ и даже мысли о которыхъ вмѣстѣ не можетъ. Но все-таки ничтожество восторжествовало, а достоинство побѣждено, и анализъ условій, при которыхъ произошло такое на первый взглядъ странное явленіе, требуетъ большой логической деликатности и тонкости. Либо г. А. Ч. не обладаетъ этими умственными качествами, либо его тема незащитима, т. е. указанное противорѣчіе относительно дворянства не существуетъ. Напримѣръ, г. А. Ч. выражаетъ полную увѣренность, что «знатокъ исторіи немедленно отличить узурпацию, а народъ всегда отнесется съ благоговѣніемъ къ представителю дѣйствительнаго дворянскаго рода, пользующагося вѣковой славой». Это на страницѣ 10. А на страницѣ 18 съ ужасомъ узнаемъ, что «каждый какой-нибудь фонъ-Шмидтъ, фонъ-Мейеръ, фонъ-Шульце, не говоря уже о всякомъ остзейскомъ баронѣ и закавказскомъ князѣ, будетъ казаться несравненно знатнѣе неславающихся дворянъ: Глѣбова (одного происхожденія съ боярами Лопухинными отъ князя Редеди), Яковлева, Игнатьева и т. п., говоря, что такихъ-то выслужившихся мѣщанина, писца и унтеръ-офицера зовутъ также Глѣбовымъ, Яковлевымъ, Игнатьевымъ». Такимъ образомъ, остается совершенно невыясненнымъ, дѣйствительно-ли наше дворянство составляетъ такую крупную, очевидную силу, которая безошибочно бросается всѣмъ въ глаза, или, напротивъ, его положеніе столь «невообразимо тягостно», что никто ему не платитъ дани почета, смѣшивая съ мѣщанами, писарями и унтеръ-офицерами. На стр. 11-й авторъ съ жаромъ говоритъ, что «наша печать отважилась даже формулировать», такъ сказать, утопленіе дворянства въ «интеллигенцію» и что въ «такого-то рода проектахъ и глѣздается ядовитые и воспламенительные корни революціоннаго нигилизма!» Но тутъ же оказывается, что проекты эти ничего страшнаго въ себѣ не заключаютъ, ибо «проектисты открыли именно, такимъ образомъ, прямой путь къ господству тому же ненавистному имъ дворянству»: всѣ, дескать, наши крупныя умственныя, «интеллигентныя» силы состоятъ именно изъ «родовыхъ дворянъ». Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же было городить огорождъ ядовитыхъ и воспламенительныхъ корней?

Если, однако, наш умный человек № 1 не умѣетъ справиться съ деликатнымъ вопросомъ о безсильной силѣ, то онъ чрезвычайно обставленъ въ изложеніи практическихъ мѣръ для вывода русскаго дворянства изъ невыразимо жалкаго состоянія.

Прежде всего, видите ли, надо ограничить доступъ въ дворянское сословіе чинами, дающими титулъ «превосходительства»; личное дворянство уничтожить совсѣмъ; воспретить двумъ или нѣсколькимъ фамиліямъ различнаго происхожденія носить одно и то же имя; отнять отъ гербовъ дворянъ, не титулованныхъ и не вписанныхъ въ 6-ю книгу, щитодержателей. Это, однако, только подготовительныя реформы, только приписка, сказка вперед. Сказка состоитъ въ томъ, что 1) дворянскіе роды, внесенные въ 6-ю и 5-ю книги, должны именоваться *боярами*; 2) титулы свѣтлости и сіятельства должны передаваться только старшимъ въ родѣ, причѣмъ младшія дѣти князей будутъ именоваться графами, младшія дѣти графовъ—баронами, бароновъ—боярами; 3) бояре, владѣющіе поземельною собственностью съ доходомъ не менѣе 12,000 р., бароны—не менѣе 15,000 р., графы—20,000 и князья—25,000, должны образовать изъ своихъ имѣній майораты, причѣмъ къ старшему сыну будетъ переходить и титулъ.

Вотъ и все. Есть, пожалуй, еще кое-какія мелкія подробности «желательной реформы», но онѣ ничего не прибавляютъ существеннаго, хотя ничего и не портятъ въ остроумномъ проектѣ. Авторъ увѣряетъ, что «такимъ путемъ въ Россіи воскреснетъ, въ своемъ истинно національномъ обзорѣ, славное русское боярство», а затѣмъ, разумеется, надъ нашей скудной и смутной родиной опростенится рогъ изобилія.

Читатель скажетъ, можетъ быть, что умный человекъ № 1 говоритъ такіа глупости, на которыя рѣшительно не стоитъ обращать вниманія. Ахъ! не торопитесь такъ фыркать на глупости. Разъ глупости существуютъ и звонко и отчетливо раздаются надъ самымъ вашимъ ухомъ, съ ними надо считаться и, значитъ, надо знать ихъ. Глупости способны иногда окрасить собою цѣлую эпоху и до такой степени переполняютъ атмосферу, что дышать становится нечѣмъ и хотъ топоръ вѣшай. Правда, глупости умнаго человека № 1 (кроме развѣ идеи майоратовъ) не изъ заразныхъ по нынѣшнему времени, когда «щитодержателей», пожалуй, всякій самъ отдастъ и даже за очень дешевую цѣну, ибо не знаетъ, что съ ними дѣлать: во щи лить или съ кашей ѣсть. Правда, мы ровно ничему не научились у г. А. Ч., хотя онъ и говоритъ о прелестяхъ свободы и о необходимости ока-

зать содѣйствіе униженнымъ и оскорбленнымъ потомкамъ князя Редеди, коихъ невѣжественные или недоброжелательные люди смѣниваютъ съ мѣщанами и унтеръ-офицерами. И всетаки мы нѣчто узнали. Узнали, именно, что есть люди, умѣющіе читать и писать, которые во время вящей скудости и смутности могутъ серьезно говорить о щитодержателяхъ и боярскомъ титулѣ. Это характерно. Это показываетъ, что среди всеобщихъ волненій, недоумѣній, скорбей сохранились на святой Руси оазисы, гдѣ небо безоблачно, души безмятежны и совершенно незнакомы съ плодами древа познанія добра и зла. Характерно также, что г. А. Ч. хлопочетъ о воскресеніи славнаго русскаго боярства «въ своемъ истинно національномъ образѣ». Въ дѣйствительности, это чистѣйшій вздоръ, разумеется. Древнее русское боярство майоратовъ не знало, и подражательная попытка Петра завести у насъ майораты разбилась объ истинныя русскія привычки, такъ что прилепывать къ идеямъ г. А. Ч. какой-то «истинно національный образъ» рѣшительно ни съ чѣмъ несообразно. Но тѣмъ-то и любопытно наше безпутное время, что нынѣ позволительно созвать истинно національный образъ куда угодно, даже туда, гдѣ ему рѣшительно нѣтъ мѣста, лишь бы только сотрясали воздухъ слова: «национальный», «народный»...

Что эти самыя слова означаютъ, умѣсты ли они въ данномъ случаѣ—до этого нѣтъ никакого дѣла. Фразеры привольно носятъ въ туманѣ національныхъ «жупеловъ» и народныхъ «металловъ», не утруждая себя напряженіемъ мысли и съ безстыднымъ спокойствіемъ любясь на производимый ими оргіастическій маскарадъ идей. Этихъ фразеровъ называютъ иногда честными людьми, только, дескать, у нихъ въ самое темя гвоздь вбитъ, и вотъ почему они успокоиваются на бессмысленной фразѣ, увѣряя себя и другихъ будто въ ней смыслъ есть. Не знаю. Но, чтобы не далеко ходить, г. А. Ч. такъ пристально изучалъ исторію русскаго дворянства, такъ хорошо знаетъ, кто происходитъ отъ князя Редеди, кто отъ Вейдевута и кто отъ Гилигина. Неужели же онъ, специалистъ въ нѣкоторомъ родѣ, не знаетъ, что «истинно національный образъ» русскаго боярства исторически несовмѣстимъ съ майоратнымъ правомъ? Иначе говоря, неужели онъ можетъ искать для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ своей безсознательности? Если да, то-есть, если г. А. Ч., будучи вполне честнымъ человекомъ, невиновенъ въ сознательной подтасовкѣ, а только имѣетъ въ темени своемъ гвоздь, то отсюда вытекаетъ весьма важное общее правоученіе, отнюдь не одного г. А. Ч. касающееся.

Бываютъ, значить, положенія, въ которыхъ личной добродѣтели мало, ибо даже при наличности ея, но съ гвоздемъ въ тѣмѣ, можно надувать современниковъ и вообще вносить въ жизнь прискорбную путаницу...

Умный человекъ № 2: К. Н. Леонтьевъ, авторъ брошюры «Какъ слѣдуетъ понимать сближеніе съ народомъ?»

Вотъ, можно, по истинѣ, сказать, *vechata questio!* Столько разговоровъ было о «сближеніи», «слиянніи», «ровни» и проч., столько перьевъ обломалось объ эти таинственные вещи, а все еще оказывается возможнымъ сказать объ нихъ нѣчто новое. Надо отдать справедливость г. Леонтьеву—онъ дѣйствительно говорить нѣчто новое, хотя новизна эта состоитъ главнымъ образомъ въ откровенности.

Г. Леонтьевъ ставитъ вопросъ ребромъ и ребромъ же на него отвѣчаетъ. По его мнѣнію, нужно совсѣмъ не «слиянiе интересовъ», а «сходство идей», не «какія-нибудь дѣловыя, юридическія, земскія и т. п. соглашенія или сближенія съ народомъ», а просто мы, образованное русское общество, должны отказаться отъ своего тепершняго духовнаго багажа и «подражать» народу, усвоивъ себѣ его вѣрованія, понятія, идеалы. Исходя отсюда, г. Леонтьевъ дѣлаетъ нѣсколько любопытныхъ и чрезвычайно смѣлыхъ выводовъ. Установленіе собственно исходной точки, надо правду сказать, не вполне удовлетворительно. Такъ, г. Леонтьевъ говоритъ: «Не намъ надо учить народъ, а самому у него учиться. Мы европейцы, а нашъ народъ не европеецъ; *скорѣе его можно назвать византійцемъ*: вотъ чѣмъ онъ лучше и выше насъ». А дальше вездѣ уже дѣло такъ стоитъ, что мы европейцы, а народъ самобытенъ. Но почему же самобытенъ, если онъ византiецъ? и почему византiецъ лучше и выше европейца? Однако, разъ вы, не предаваясь критикѣ, перешагнете вѣсѣтъ съ г. Леонтьевымъ этотъ порогъ, все пойдетъ уже какъ по маслу.

При настоящемъ положеніи вещей народъ не любитъ «интеллигенцію», и это очень хорошо, разсуждаетъ г. Леонтьевъ; этому надо радоваться, потому что идеи и политическіе вкусы, господствующіе въ интеллигенціи, все заимствованные, а у народа все свои (отнюдь, значить, не византійскіе). Сближаясь съ народомъ, мы его будемъ портить своимъ европеизмомъ. Чѣмъ дальше, слѣдовательно, стоимъ мы отъ народа, чѣмъ больше между нами розни, тѣмъ лучше. «Чѣмъ больше равенства, больше общенія, больше даже откровенныхъ бесѣдъ, больше

взаимнаго пониманія; чѣмъ больше нравственнаго вліянія сверху внизъ, со стороны болѣе свѣдущей, но культурно болѣе испорченной; чѣмъ меньше «основнаго отчужденія, тѣмъ легче либеральная зараза». Такимъ образомъ, рознь, отчужденіе, рѣзкія основныя перегородки—вотъ что прежде всего нужно для спасенія нашего «національнаго типа» или «стиля». Г. Леонтьевъ съ благодарностью вспоминаетъ о «каменной стѣнѣ юридическихъ правъ и привилегій», которая начала разрушаться 19-го февраля 1861 года и которая была, однако, чрезвычайно благотворна. Правда, стѣна эта представляла поводъ и возможность для разныхъ безобразій «личнаго и матеріальнаго» характера, но за то (какая прелесть!): «Эгоизмъ и открытое презрѣніе высшихъ, привилегированныхъ—съ одной стороны, апатія и скрытое отвращеніе низшихъ—съ другой, спасали культурный стиль народа. Высшіе не спѣшили учить и ласкать низшихъ, привлекая ихъ этой лаской постепенно къ подражательности. Низшіе, съ своей стороны, смотрѣли на «господъ», какъ на нѣчто чуждое, «нѣмецкое» и даже весьма противное, не потому именно, что «наказываешь» и «заставляешь на себя работать», а потому, что «въ узкомъ и короткомъ платьѣ ходитъ, посты плохо соблюдаетъ и т. д.».

Нѣтъ, значить, худо безъ добра, и Ариманъ оказывается въ чрезвычайно двусмысленномъ положеніи—онъ не зло сѣтъ, а благо, не тьмой облекаетъ грѣшную землю, а льетъ на нее потоки свѣта: все, что отъ вѣка считалось, если не непременно источникомъ, то во всякомъ случаѣ симптомомъ и спутникомъ зла—эгоизмъ, презрѣніе, апатія, ненависть, отвращеніе—все это намъ было во благо и таковымъ остается по сіе время. А сконфуженный Ормуздъ сидитъ, пригорюнившись, и грустно смотритъ на ласку, любовь, сочувствіе, участіе, на все, словомъ, чѣмъ онъ думалъ осчастливить людей и что теперь валяется во прахѣ, въ дребезги разбитое смѣлою мыслью К. Н. Леонтьева *aus der Stadt Moskau*... Да, очень смѣлая мысль у г. Леонтьева! А дальше идетъ еще смѣлье. Вы, можетъ быть, подумаете, что двусмысленныя благодѣянія духа тьмы и злобы строго ограничены условіями времени и мѣста; что они должны прекратиться, какъ только мы усвоимъ себѣ вѣрованія, понятія, идеалы народа? Отнюдь нѣтъ. Г. Леонтьевъ, между прочимъ, съ особенною силою напираетъ на соблюденіе постовъ, какъ на пробный камень превращенія зла въ добро и обратно. Онъ говоритъ, что при крѣпостномъ правѣ народъ соблюдать посты, не соблазнась примѣромъ «господъ», чужихъ, презрѣнныхъ и ненавистныхъ вообще.

Нынѣ, когда пошли въ ходъ разныя эти сближенія и уравниенія, народъ начинаетъ относиться къ постаѣмъ уже не столь строго. Ну, хорошо, а если мы всѣ съ завтрашняго дня начнемъ блюсти посты? что тогда? миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе? презрѣніе, ненависть, эгоизмъ, отслуживъ свою службу, удаляются въ отставку? Ничуть не бывало: «вовсе не надо быть непременно равнымъ во всемъ мужику, нѣтъ даже вовсе особенной нужды быть всегда любимымъ имъ и *считаться всегда* (курсивы подлинника) самому любить его *дружественно*; надо любить его *національно, эстетически*, надо любить его *стиль*. *Нужно быть съ нимъ схожимъ въ основатахъ*». А именно: «Мужикъ, напри- мѣръ, не только, молясь въ церкви, но даже и сидя въ кабацѣ, уже тѣмъ умѣнъ и хороше, что онъ въ *прогрессъ* не вѣритъ (т. е. въ прогрессъ *благоденственный и отчужденный*). Онъ, когда ему случается подумать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ хозяйства, податей и водки, думаетъ, что «всѣ мы подъ Богомъ» и «все отъ Бога!» Мужикъ посмѣется, если ему скажутъ, что какіе-то европейцы мечтаютъ водворить добропорядочную жизнь на землѣ («если не рай, то что-то приближительное»). Онъ «покоряется, вѣритъ и крестится». Такъ и мы должны примириться «и съ неравенствомъ (хотя бы и сословнымъ), и съ войнами, съ недугами, и съ семейнымъ деспотизмомъ и расприми, и съ тягломъ нашихъ государственныхъ обязанностей». Для вышшаго внѣдренія читателю этой мысли, г. Леонтьевъ обязательно сообщаетъ, что *ressimus* значитъ не латыни наихудшій, а *optimus*—наилучшій и, *pour la bonne bouche*, «съ истиннымъ восхищеніемъ» дѣлаетъ выписку изъ одного сочиненія самаго что ни есть европейца, Эдуарда фонъ-Гартмана...

Извините, пожалуйста, но послѣ всего этого на кой же намъ, съ позволенія сказать, чортъ этотъ «національный стиль»? Неужели только затѣмъ, чтобы примириться съ каменной стѣной юридическихъ правъ и привилегій, которая при крѣпостномъ правѣ была спасительна, какъ временная охранительница національнаго стиля, а теперь оказывается необходимою на вѣки вѣчные? Или затѣмъ, чтобы читать и переписывать творенія нѣмецкаго человѣка Эдуарда фонъ-Гартмана?

Истинно національный образъ русскаго боярства, опирающійся на майораты, національный стиль, временно и вѣчно охраняемый каменной стѣной и опирающійся на Гартмана—я боюсь, что читатель на меня разсердится. Онъ подумаетъ, пожалуй, что я, подъ предлогомъ бесѣды съ умными людьми, завелъ его въ сумасшедшій домъ, гдѣ Фер-

динанды, короли испанскіе, разсуждаютъ о 43-мъ числѣ мѣсяца мартабрия. Нѣтъ, я такой ехидной цѣли не имѣлъ въ виду, хотя и самъ начинаю думать, что Фердинандовъ испанскихъ гораздо больше на бѣломъ свѣтѣ, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Я просто хотѣлъ послушать людей, выступающихъ на литературное поприще не по профессіи, а единственно въ минуту переполненія чувствомъ, и имѣющихъ притомъ возможность высказаться не на лету, а вполне обдуманно и законченно. Послушать ихъ умныхъ рѣчей и, разумеется, извлечь изъ нихъ полезный урокъ. Урокъ вѣдь и получился, несомнѣнно полезный, хотя и не тотъ, на который мы разсчитывали. Урокъ состоитъ въ томъ, что въ головахъ нѣкоторыхъ нашихъ современниковъ бродитъ почти невѣроятный сумбуръ, гдѣ земля не отдѣлена отъ воды, огонь отъ воздуха и мысли пляшутъ фантастическій танецъ, то сплибаясь другъ съ другомъ, то разлетаясь въ разныя стороны, то выворачиваясь на изнанку. Удивительный танецъ и безстыдный, ибо не для своего домашняго обихода тѣшатся воѣ эти гг. А. Ч. и Леонтьевы. Пускай бы они ходили у себя дома въ грязномъ бѣльѣ и съ неумытыми фizioноміями, но они выносятъ свою неумность на стогны и торжища града, и безъ того скуднаго и смутнаго; и выходятъ они въ мантии учителей и если не отцовъ, то, по крайней мѣрѣ, истинныхъ и предантѣйшихъ сыновъ отечества. Да, удивительный и безстыдный танецъ, ибо не такъ ужъ просто воѣ эти господа, какъ можно бы было думать на основаніи ихъ лѣтоисчисленія отъ 43-го мартабрия. Они слишкомъ хорошо понимаютъ, что «національный» соусъ нынѣ въ авантажѣ находится и смѣло обливаютъ имъ все, что имъ вздумается—все отъ князя Редеди до Эдуарда фонъ-Гартмана, отъ временной каменной стѣны до вѣчной, отъ Ормузда до Аримана. Сами по себѣ гг. А. Ч. и Леонтьевы опасны развѣ только въ смыслѣ публично практикуемаго разврата мысли. Но они вторятъ голосамъ, по обстоятельствамъ болѣе сильнымъ, и прибавляютъ новыя ноты къ дикому хору, гласящему: давайте постыться по середамъ и пятницамъ, потому что таковы желанія нашего народа; что же касается матеріальныхъ нуждъ этого народа, то въ этомъ отношеніи съ его желаніями справляться нечего; мы ихъ устроимъ, какъ сами признаемъ за благо, и пусть мужикъ попрежнему «покоряется, вѣритъ и крестится». Это—и нашъ идеалъ: мы тоже покорно вынесемъ свое выгодное положеніе...

Что касается нашей спеціальной задачи, то-есть уразумѣнія элементовъ русскаго общества, нуждающихся и не нуждающихся въ воздѣйствіи, то на этотъ счетъ мы на-

ходимъ у нашего умнаго человѣка № 2 всего двѣ-три поучительныя строки. А именно, говоря, что «дѣло теперь не въ дальнѣйшемъ уравненіи правъ», г. Леонтьевъ замѣчаетъ въ скобкахъ: «главнымъ и послѣднимъ уравненіемъ было бы столь убійственное для порядка разрѣшеніе крестьянамъ продавать личные участки». Въ основаніи своемъ это вѣрная мысль. Но не съ Фердинандомъ же испанскимъ разсуждать на эту тему. Подождемъ другихъ умныхъ людей. Они есть, но гг. А. Ч. и Леонтьевъ отняли у меня столько времени и мѣста, что дальнѣйшую экскурсію въ литературу брошюръ о злобѣ дня приходится отложить до слѣдующаго раза.

VII.

Продолженіе *).

Продолжаемъ учиться у умныхъ людей.

Умный человѣкъ № 3-й Н. А. Новосельскій, авторъ брошюры «Соціальныя вопросы въ Россіи».

Это—уже несомнѣнно умный человѣкъ, съ которымъ, дѣйствительно, стоитъ побесѣдовать. Заслуживаетъ вниманія самый поводъ появленія брошюры, рассказанный въ предисловіи. Авторъ, бывшій одесскій городской голова, былъ въ теченіи трехъ лѣтъ призываемъ, въ качествѣ сословнаго представителя, въ особое присутствіе сената по дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ. Къ дѣлу своему онъ отнесся не формально. Россійскому человѣку, въ положеніи г. Новосельскаго, надо бы держаться пословицы «отзвонилъ да и съ колокольни долой»—пришелъ, отсудилъ и ушелъ. Такъ вѣдь большую часть и бываетъ, я, если хотите, російскихъ людей нельзя очень строго судить за такое отношеніе къ дѣлу. Конечно, это складываніе рукъ поворно во всякомъ случаѣ, потому что либо оно опредѣлено внѣшними обстоятельствами, отнюдь не способствующими культурѣ чести, либо оно свидѣтельствуетъ, что русскій человѣкъ есть выѣденное яйцо: скорлупа сохранилась, а внутри-то ничего нѣтъ, обликъ человѣческій, такъ называемый образъ и подобіе божіе—существуетъ, а души нѣтъ. Конечно, долгъ гражданина и сына отечества предписываетъ совсѣмъ иное поведеніе. Но...

Позвольте рассказать одинъ случай. Дѣло было 19-го марта нынѣшняго года. Былъ прекрасный, свѣтлый день. Свѣтъ и тепло манили петербуржцевъ на улицу, но петербуржцы сидѣли по домамъ, потому что таково было распоряженіе начальства. Въ этотъ день петербуржцы выбрали членовъ временнаго совѣта при градоначальникѣ. Сидѣлъ

дома и я, въ ожиданіи комиссіи, которой долженъ былъ сообщить имя своего кандидата, своего «излюбленнаго». Но, подобно большинству петербуржцевъ, я не имѣлъ своего излюбленнаго. То-есть какъ, пожалуй, не имѣть излюбленныхъ людей въ городѣ чуть не съ миллионнымъ населеніемъ—были они и у меня; но, какъ на грѣхъ, ни одинъ изъ нихъ не жилъ въ одномъ со мной окологдѣ, а кругомъ, по близости, все или люди совершенно неизвѣстные даже по имени, или съ именами, ничего не говорящими уму и сердцу. (А выбирать, какъ читатель, конечно, помнить, можно было только въ своемъ окологдѣ). Вдругъ являются двѣ молодыя дамы и съ большимъ оживленіемъ начинаютъ меня допрашивать о моемъ собственномъ излюбленномъ и объ излюбленныхъ моихъ друзей и знакомыхъ, съ присовокупленіемъ размышлений о необходимости единенія въ такой моментъ... въ такой моментъ, когда на улицѣ свѣтло и тепло, а петербуржцы сидятъ дома по распоряженію начальства. Признаюсь, рѣчи моихъ посѣтительницъ смущали меня. Я не могъ не цѣнить эту свѣжесть жизни, эту, если позволено будетъ такъ выразиться, гражданскую непосѣдливость, побуждающую хвататься за всякую тѣнь всякаго повода для дѣятельнаго проявленія себя. Но я не могъ, однако, не понимать въ то же время законности моего скептицизма, ибо скептицизмъ этотъ основывался на неопровержимомъ фактѣ: я долженъ былъ найти своего излюбленнаго непременно сегодня же, черезъ 2—3 часа, и непременно въ своемъ окологдѣ, въ которомъ у меня ни души знакомой. Съ моей точки зрѣнія, было до обиды и боли ясно, что въ предоставленныхъ мнѣ предѣлахъ я могу, пожалуй, avec l'ombre d'une brosse frotter l'ombre d'un carrosse, но въ дѣйствительности долженъ отзвонить и съ колокольни долой, записать первое попавшееся имя и раскланяться съ комиссіей. Гости мои разсуждали рѣшительно неосновательно, и все-таки что-то въ родѣ зависти вопошилось во мнѣ при видѣ ихъ оживленныхъ лицъ, на которыхъ такъ ясно читалось: вѣра, надежда, любовь... Гости ушли довольными. Онѣ даже обидѣлись, когда я, какъ имъ показалось, съ насмѣшкой пожалѣлъ, что столько «гражданскаго чувства» пропадаетъ даромъ... Нѣтъ, милые незнакомки, я не насмѣхался, хотя слова «гражданское чувство» въ самомъ дѣлѣ очень истасканы и, по обстоятельствамъ и дѣламъ нашимъ, болѣе съ ироніей схожи. Но, если судьба опять по какому-нибудь случаю столкнетъ насъ, вы, конечно, признаете, что въ свѣтлый и теплый день 19-го марта не оставалось дѣлать ничего иного, какъ отзвонить и съ колокольни долой...

* 1881 г., октябрь.

Подобныхъ казусовъ въ русской жизни бываетъ достаточно, слишкомъ достаточно для того, чтобы выработалась привычка вообще отлынивать отъ колокольни, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда отлыниваніе никакихъ себѣ оправданій предъявить не можетъ. Скверная и позорная привычка...

Во всякомъ случаѣ, г. Новосельскій ею не страдаетъ. Призванный судить и ридить, онъ не поторопился бѣжать съ колокольни, а напротивъ, сталъ пристально вглядываться въ открывшіяся ему перспективы: «занился прочтеніемъ всѣхъ дѣлъ по предшествовавшимъ политическимъ преступленіямъ, а также множества книгъ и брошюръ, относящихся къ предмету» его занимавшему. И дагѣе, «уѣхавъ въ Одессу подѣ сильнымъ впечатлѣніемъ всего передуманнаго и прочувствованнаго въ этихъ политическихъ процессахъ», онъ «естественно не могъ забыть, что узналъ и поэтому пользовался всѣми случаями, чтобы уяснить себѣ всесторонне вопросъ о томъ: есть-ли, дѣйствительно, въ Россіи почва для социальной революціи?»

Плодомъ этихъ размышленій и является брошюра: «Соціальныя вопросы въ Россіи».

Нельзя сказать, чтобы брошюра съ точностью отвѣчала именно на поставленный авторомъ вопросъ: есть-ли въ Россіи почва для социальной революціи? Но вѣдь это, собственно говоря, все равно, отвѣчаетъ-ли она на тотъ или другой вопросъ, если только она вообще на что-нибудь отвѣчаетъ, то-есть, вообще, даетъ нѣчто интересное и поучительное. А брошюра г. Новосельскаго именно такова, хотя, какъ убѣдится читатель ниже, интересъ ея далеко не всегда положительный. Для насъ, въ виду задачи, поставленной въ прошлый разъ, произведение г. Новосельскаго даже особенно интересно, ибо, собственно говоря, оно посвящено вопросу объ томъ, какіе элементы русскаго общества подлежатъ воздѣйствію и какому именно, и какіе не подлежатъ. Красный призракъ социальной революціи даетъ при этомъ только толчокъ мысли автора. Какъ должна быть поставлена механика правительственнаго воздѣйствія, въ какихъ направленіяхъ усилена, въ какихъ ослаблена, чтобы социальная революція была задушена въ самомъ зародышѣ? Но социальной революціи никто не хочетъ, а потому и вопросъ, поставленный г. Новосельскимъ, имѣетъ гораздо болѣе общій характеръ, чѣмъ можно думать, судя по предисловію къ его брошюрѣ.

Конечно, еслибы авторъ думалъ только о непосредственномъ полицейскомъ воздѣйствіи, то его задача была бы, во-первыхъ, не длиннѣ воробьиного носа, а во-вторыхъ, оказалась бы давно исчерпанною въ трудахъ

многихъ русскихъ публицистовъ. «Бди!»—такъ гласитъ одинъ изъ безсмертныхъ афоризмовъ Кузмы Прутковъ. Сильнѣ этого ничего не говорилось, сильнѣ и нельзя ничего сказать по адресу людей, призванныхъ и обязанныхъ бдѣть. Если же на эту краткую тему говорилось и говорится такъ много, то единственно потому, что существуетъ разногласіе относительно призванныхъ и обязанныхъ. Одни полагаютъ, что это дѣло полиціи и только полиціи. Другіе находятъ, что полицейскаго бдѣнія недостаточно, въ виду чего къ этому занятію должны быть привлечены добровольцы. Третьи думаютъ, что и добровольцевъ недостаточно, а необходимо соединеніе добровольства съ обязанностию, за уклоненіе отъ которой слѣдуетъ соответственное наказаніе, то есть, что всѣ русскіе люди поголовно должны стать добровольцами. Четвертые полагаютъ, что это немножко слишкомъ сильно со стороны логики и что предпріятіе должно ограничиться организаціей истинно добровольческихъ элементовъ. Начесть способовъ и видовъ организаціи опять идутъ разногласія. Но въ концѣ-концовъ, операція по существу все таки исчерпывается афоризмомъ Кузмы Прутковъ. У г. Новосельскаго находимъ двѣ вариации на эту тему. Онъ утверждаетъ, именно, что полиція должна быть такъ организована, чтобы «имѣть постоянный секретный надзоръ за такими лицами, кои, по недостатку—ли средствъ, или по занятіямъ, или по образу жизни и сношеніямъ своимъ съ скомпрометированными личностями, навлекаютъ на себя подозрѣніе въ неблагонадежности». Но такъ какъ г. Новосельскій понимаетъ, что эта штука стара (только не догадывается, что ее бросить пора) и что система бдительнаго надзора, ничего не предотвращая, многое извращаетъ, то мечтаетъ о «поднятій уровня полиціи привлеченіемъ въ ея составъ людей болѣе развитыхъ, посредствомъ увеличенія имъ содержанія». Однако, въ заключеніе, и эта мечта нѣсколько блѣднѣетъ передъ умственнымъ окомъ г. Новосельскаго и онъ, если не отлѣняетъ, то пополняетъ ее другою мечтой. Надо, видите-ли, учредить артель петербургскихъ дворниковъ. «Артель эта, составленная изъ русскихъ людей, представляя собой чистый народный элементъ, съ ея (?) извѣстною сметливостью, выносливостью и любовью къ царю, благонадежнѣ массы полицейскихъ агентовъ. Артель эта, съ взаимнымъ ручательствомъ и съ значительнымъ денежнымъ залогомъ, безъ шума будетъ доставлять интеллигенціи полицейской всѣ данныя, кои нужны ей для нашего спокойствія».

Бди! Это справедливо. Но, еслибы въ

брошюръ г. Новосельскаго не было ничего, кромѣ мечтаній о призванныхъ и обязанныхъ надзирать, то я не сталъ бы утруждать ея вниманіе читателя. Ибо во истину эта штука стара, и надо удивляться долготерпѣнію людей, способныхъ жевать жвачку, затѣмъ проглатывать ее, отрыгивать и опять жевать. Совсѣмъ бы это, кажется, несвойственное челоѣку, вѣнцу творенія, занятіе...

Къ счастью или къ несчастію, дѣла въ нашемъ отечествѣ стоятъ такъ, что продолговатость однимъ жвачнымъ процессомъ мысли становится рѣшительно невозможнымъ. Самые что ни на есть мизинные люди, въ родѣ гг. А. Ч. или Леонтьева, и тѣ, какъ мы видѣли, утверждаютъ, что нужно, необходимо нужно нѣчто, кромѣ полицейскаго надзора. Правда, излагая это необходимое нѣчто, они городятъ ни съ чѣмъ несообразный вздоръ, но не все же съ разу. Извѣстно, что природа скачковъ не дѣлаетъ, и трудно прыгнуть по зоологической лѣстницѣ со ступени жвачныхъ прямо на ступень челоѣческаго разумія. Хорошо ужъ и то, что одніе варіаціи на тему: «бди!» оказываются недостаточными даже въ глазахъ мизинныхъ людей. Съ Божіей помощью мы пойдемъ, можетъ быть, и дальше и дойдемъ, наконецъ, полегоныку до уразумѣнія другого афоризма Кузмы Прутова: «смотри въ корень вещей!»

Г. Новосельскій уже и теперь склоненъ смотрѣть въ корень вещей. Воздавъ должную дань первому афоризму Кузмы Прутова, онъ переходитъ къ разнообразнымъ общимъ мѣрамъ, которыя должны быть приняты для введенія нашей жизни въ сколько-нибудь правильное русло.

Богиня свободы не улыбается г. Новосельскому или, пожалуй, онъ ей не улыбается, по крайней мѣрѣ, тою довѣрчивою улыбкою, которая знаменуетъ, что ножъ горькаго скептицизма и анализа не коснулся сердца улыбающагося. Приглядываясь къ европейскимъ странамъ, онъ находитъ, что хотя тамъ «водворено юридическое гражданское равенство людей, но при проведенныхъ въ законы и въ мѣропріятія правительства теоріяхъ политической экономіи о о свободѣ конкуренціи и создавшихся чрезъ то условіяхъ экономической жизни общества, появилась, вмѣсто прежнихъ привилегированныхъ классовъ, денежная аристократія, господствующая надъ тружениками во всѣхъ областяхъ общественной жизни». Исходя отсюда, г. Новосельскій справедливо утверждаетъ, что мы должны воспользоваться опытомъ европейскихъ странъ и не колотъ напрасныхъ и ненужныхъ жертвъ на алтарь свободы.

Правительство должно принять на себя защиту обиженныхъ, помощь слабымъ, обузданіе злоупотребляющей силы. Наніе правительства легко можетъ взять на себя эту благородную и благодарную задачу, ибо у насъ не то, что въ Западной Европѣ, гдѣ у кормила правленія прямо или косвенно стоятъ привилегированные классы, а отнюдь не высшая, надъ всѣмъ равно возвышающаяся и ни отъ кого независимая сила. Такъ разсуждаетъ г. Новосельскій и затѣмъ проектируетъ цѣлый рядъ разнаго рода мѣропріятій.

Я позволю себѣ сгруппировать эти мѣропріятія въ три отдѣла: мѣропріятія по отношенію, во-первыхъ, къ народу, во-вторыхъ, къ требованіямъ просвѣщенія, и въ-третьихъ, къ требованіямъ кармана. Пусть не удивляется читатель этой, на первый взглядъ странной классификаціи — она сама себя оправдываетъ ниже. У г. Новосельскаго ея формальнымъ образомъ нѣтъ, но тѣмъ не менѣе всѣ его мысли и предложенія располагаются именно по этимъ тремъ радіусамъ.

Мы привыкли хвастать крестьянскимъ земельнымъ надѣломъ и крестьянской общиной, которые, дескать, прочно гарантируютъ намъ въ будущемъ безоблачное лазурное небо, тогда какъ Западная Европа будетъ все больше и больше изнывать подъ тяжестью своихъ неправильныхъ поземельныхъ отношеній. Правда, есть у насъ не мало людей, которые, хотя и ничего не видятъ дальше своего носа, но въ предѣлахъ этого круговора отлично знаютъ, гдѣ зимуютъ раки; эти люди когда-то яростно шипѣли противъ крестьянскаго землевладѣнія вообще и общиннаго въ особенности, но нынѣ начинаютъ приспосабливаться къ наличнымъ порядкамъ, извлекая изъ нихъ не малые выгоды (читатель благоволитъ заглянуть, напримѣръ, выше, въ статью «Страда въ нынѣшнемъ году»). Однако, съ ихъ точки зрѣнія, было бы всетаки много лучше, еслибы мужикъ не на землѣ сидѣлъ, а въ воздухѣ висѣлъ, ожидая нанимателей. Эти, конечно, не хвастаются и не величаются передъ западной Европой. Большинство же образованныхъ русскихъ людей, не теплое и не холодное, не особенно на рыбу похожее, но и мяса не напоминающее, чрезвычайно склонно болтать, въ минуты душевнаго размягченія, о предстоящей намъ типши, глади и божьей благодати, благодаря нашимъ земельнымъ порядкамъ. Въ противность такимъ, имѣющимъ очи видѣти, но не видящимъ, г. Новосельскій рѣшительно заявляетъ, что «соціальный земельный вопросъ» въ Россіи существуетъ. Мужикъ-землевладѣлецъ, это фактъ, но онъ — нищій землевладѣлецъ, это тоже фактъ, и

ниций, между прочимъ, потому, что земли у него мало. Столпы отечества, въ родѣ гг. Аксакова и Самарина, неустойчиве всеу приывать имя русскаго народа, утверждаютъ, что крестьянское малоземелье выдуманно петербургскими шелкоперами-либералами, а г. Марковъ тонко намекаетъ, что шелкоперы эти суть голоштанники, которые терять нечего, почему они и мутятъ. Но вѣдь не шелкоперъ же г. Новосельскій! Онъ—городской голова и, какъ самъ упоминаетъ въ предисловіи, владѣетъ имѣніями въ разныхъ губерніяхъ. Такое общественное положеніе придаетъ особенную цѣну слѣдующимъ словамъ нашего автора: «Мы знаемъ, что у насъ относительно земельного вопроса установилось такое мнѣніе, что такого вопроса въ Россіи не существуетъ, потому что крестьяне надѣлены землей, а крупные землевладѣльцы затрудняются во-время имѣть рабочихъ даже за большіе деньги. На дѣлѣ же оказывается, что недовольство крестьянъ происходитъ не отъ того, что у нихъ земли нѣтъ, но отъ того, что у нихъ ея мало, и что они, для удовлетворенія своихъ хозяйственныхъ нуждъ, вынуждены нести всю тяготу эксплуатации со стороны тѣхъ, у кого они занимаютъ земли или угодья». Въ подтвержденіе такой своей мысли г. Новосельскій можетъ сослаться на одно немаловажное, всѣмъ извѣстное, но московскими тартюфами обыкновенно замалчиваемое обстоятельство. Дѣло въ томъ, что, кромѣ петербургскихъ шелкоперовъ, завѣдомо существуетъ обширный классъ людей, убѣжденных въ крестьянскомъ малоземельи. Этотъ классъ составляютъ ни больше, ни меньше, какъ сами крестьяне. Если вѣрить московскимъ тартюфамъ, то народъ нашъ страстно желаетъ «всѣмъ міромъ попопоститься»; что же касается размѣровъ землевладѣнія, то объ этомъ народъ не имѣетъ своего мнѣнія, а если и имѣетъ, такъ все-таки пусть будетъ такъ, какъ г. Самарину съ г. Аксаковымъ. Вселенскій постъ, какъ идеалъ мужика, стоитъ передъ московскими тартюфами съ полною ясностью, и они охотно готовы наложить на тебя это легкое иго «цѣлокушно» съ народомъ. Напротивъ, кое-какія другія желанія, надежды, идеалы народа, они хотя и знаютъ—ибо кто же ихъ не знаетъ?—но держать у себя къ карманѣ и публикѣ не показываютъ. Это, конечно, и не умно и не добросовѣстно, Г. же Новосельскій прямо говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «Мы глубоко убѣждены, зная нашу сельскую жизнь и народъ русскій, что никакими доводами нельзя его увѣрить, будто царь—освободитель не имѣетъ желанія дать имъ

больше земли противу того надѣла, который они получили при освобожденіи. Какъ доказательство этого, можемъ привести новѣйшій примѣръ. Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ, узнавъ о подобныхъ толкахъ между крестьянами, исходатайствовалъ Высочайшій указъ для обнародованія, что никакихъ новыхъ надѣловъ крестьяне ждать не должны. Указъ этотъ былъ понятъ народомъ совершенно въ противномъ смыслѣ, а именно, что они получаютъ новые надѣлы».

Ставъ такимъ образомъ на точку зрѣнія дѣйствительныхъ нуждъ народа и дѣйствительныхъ его желаній, г. Новосельскій естественно пришелъ къ заключенію, что та высокая задача защиты и помощи, которую онъ усвоиваетъ правительству, должна, прежде всего, коснуться народной массы. Онъ находитъ, что необходимо, «не стѣсняясь уже поконченными вопросамъ объ отношеніяхъ реформы къ помѣщикамъ и принимая въ уваженіе недостаточность земельного надѣла для благосостоянія освобожденныхъ крестьянъ, а также и увеличившагося числа ихъ новыми поколѣніями—воспособить имъ приобрѣтеніе достаточнаго количества земли у землевладѣльцевъ, затрудняющихся обработкою своихъ владѣній».

«Воспособленіе» это должно произойти при помощи спеціальнаго государственнаго кредита, организацію котораго г. Новосельскій рисуетъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. Изъ нихъ мы отмѣтимъ лишь одну: кредитъ долженъ быть предоставленъ всѣмъ желающимъ покупать земли у частныхъ владѣльцевъ или у казны, но не иначе, какъ подъ условіемъ общиннаго владѣнія. Общинное землевладѣніе нашъ авторъ вообще цѣнитъ очень высоко, но не думаетъ, чтобы оно составляло панацею въ томъ видѣ, въ какомъ теперь существуетъ. Онъ полагаетъ, не входя, впрочемъ, въ подробности, что необходимо «охраненіе крестьянской общины нашей (міра) отъ угрожающаго ей нашествія враговъ, такъ вѣрно названныхъ народомъ мироѣдами; мироѣды эти, дѣйствительно, поѣдаютъ міръ, эксплуатируя допущенныя положеніемъ условія для извѣстныхъ случаевъ, и обезземеливаютъ крестьянъ».

Г. Новосельскій не беретъ отрицать существованіе у насъ и того вопроса, который получилъ въ Европѣ спеціальное названіе рабочаго. Понятное дѣло, что онъ не утверждаетъ, будто жгучія и трескучія вещи, суммирующіяся въ этомъ названіи, находятся у насъ точно въ такомъ положеніи, какъ на Западѣ: онъ слишкомъ уменъ для этого. Но онъ напоминаетъ о работающихъ на фабрикахъ и заводахъ безземельныхъ мѣщанахъ, отставныхъ солдатахъ, раз-

начинахъ, а также объ обстоятельствахъ, при которыхъ и настоящій мужикъ-земледелецъ попадаетъ на фабрику и проживаетъ тамъ. Потребность въ организаціи промышленнаго труда несомнѣнно есть, и ей-то г. Новосельскій предполагаетъ удовлетворить при помощи нашей исконной формы труда — артели. Отъ широкаго примѣненія къ нашей экономической жизни г. Новосельскій ждетъ многихъ и разнообразныхъ благихъ послѣдствій. Онъ «настоячиво рекомендуетъ правительству не только дозволить, но и всячески поощрять и содѣйствовать составленію артелей для всевозможныхъ работъ». Въ особенности же удобнымъ и цѣлесообразнымъ полагаетъ нашъ авторъ приобрѣтеніе подобными артелями (при помощи долгосрочнаго кредита), казенныхъ горныхъ заводовъ, назначенныхъ къ продажѣ въ частныя руки. Положенія свои авторъ иллюстрируетъ крайне любопытной исторіей ниже-туринской артели для приготовления ударныхъ трубокъ по нарядамъ артиллерійскаго вѣдомства и еще одной артели на одномъ заводѣ, ближайше не обозначенномъ.

Все это очень бѣгло, обрывочно, неполно; но вѣдь много мудрено и требовать отъ небольшой брошюры, трагующей большое число большихъ вопросовъ. Во всякомъ случаѣ общій контуръ картины г. Новосельскаго, несмотря на свою незаконченность, много все-таки яснѣе московскаго колокольнаго звона, который гудитъ-гудитъ, глушитъ-глушитъ, такъ что даже ничего не разберешь! Нѣтъ сомнѣнія, что если бы приведенныя предложенія г. Новосельскаго, надлежащимъ образомъ развитыя, получили приложеніе въ жизни, то въ русскую исторію была бы внесена славная страница, и мы, современники, могли бы гордиться, что живемъ въ концѣ девятнадцатаго вѣка. *Novum regum mihi nascitur ordo*, могъ бы оказать современникъ, съ неменьшимъ правомъ, чѣмъ это говорилъ въ концѣ прошлаго вѣка аббатъ Галіани. Было бы чѣмъ воодушевиться на страдную жизнь и страхнуть съ себя всякую мразь и тину, ибо какую въ самомъ дѣлѣ великую, одушевляющую перспективу представляетъ эта планомѣрная охрана того, что такъ непреодолимо могуче своей внутренней силой и такъ жалко безпомощно вслѣдствіе отсутствія организаціи—человѣческаго труда...

Замѣтите, однако, что г. Новосельскій не говоритъ въ сущности ничего новаго или необычайнаго. Не всякій, говорящій: «Господи! Господи!» войдетъ въ царствіе Божіе. А потому оставимъ въ сторонѣ тѣхъ злостныхъ лицемѣровъ или просто «праздно болтающихъ», у которыхъ не сходятъ съ

языка слово «народъ», а рядомъ уживаются слова, мысли и чувства совсѣмъ другого сорта. Но не разъ люди серьезные и искренніе указывали для нашей внутренней жизни выше бѣгло очерченное направленіе, мотивируя его и великими задачами вѣка, и требованіями вѣчной правды, и требованіями науки, и, наконецъ, нашимъ собственнымъ прошлымъ и настоящимъ. Казалось бы, задача такъ плодотворна, сулитъ такое заманчивое будущее, такъ немногосложна и такъ очевидно растетъ изъ самаго нутра русской жизни...

Но, должно быть, однако, наличныя условія представляютъ какія-нибудь непреодолимые препятствія для введенія въ жизнь этого простого, великаго и мирнаго. Должно быть. Иначе мы давно уже имѣли бы хоть задатокъ будущаго и не слышали бы безконечной, какъ волчій вой, московской пѣсни о томъ, что андроны ѣдутъ, поститься хотятъ. Андроны ѣдутъ—ну, и пусть себѣ гдѣ-нибудь проселкомъ ѣдутъ, если ужъ нельзя безъ нихъ. Такъ бы, кажется, надлежало быть. А выходитъ совсѣмъ не такъ. Выходитъ, что, напримѣръ, г. Новосельскій прибѣгаетъ къ такимъ приемамъ защиты своихъ положеній, которые всякаго свѣжаго человѣка должны рѣшительно поразить своей неожиданностью. Есть много отпавныхъ пунктовъ для доказательства экономическихъ и политическихъ удобствъ предоставленія земли земледѣльцу и сосредоточенія орудій производства въ рукахъ производителя. Есть между ними и такой: государственная форма, которая съумѣетъ заинтересовать такимъ способомъ трудящееся населеніе, т. е. подавляющее большинство, окажется сидящею на фундаментѣ непреодолимой прочности. Это элементарно, это азбука. Понятно, въ самомъ дѣлѣ, что всякій врагъ, вѣншній или внутренній, тѣмъ безопаснѣе, чѣмъ больше въ данной странѣ людей, довольныхъ своимъ положеніемъ. Повторяю, это—азбука, но отчего же и не повторять азбуки, отчего, значить, и г. Новосельскому не развивать азбучнаго аргумента? Но онъ осложняетъ свою аргументацію крайне любопытною специфическою чертою, вытекающею исключительно изъ нѣдръ нашего необыкновеннаго времени. Артель, напримѣръ, для него—не просто экономическая форма, въ такихъ-то и такихъ-то отношеніяхъ выгодная, удобная, правильная; нѣтъ, кромѣ того, «артели представляютъ правительству возможность удобнѣйшаго наблюденія по всей Россіи за распространеніемъ соціальной пропаганды». Г. Новосельскій рисуетъ даже не лишнюю нѣкоторой художественности картину, какъ члены артели, заинтересованные въ томъ, чтобы ихъ дѣло не

подвергалось риску, выслѣживаютъ и, наконецъ, накрываютъ забредшаго къ нимъ пропагандиста. Это—черта! Повторяю, афоризмъ Кузьмы Прутькова исполненъ глубокой практической мудрости. Но вѣдь нельзя же, нелогично и неприлично бдѣть даже въ земномъ раю, гдѣ все добро зѣло, гдѣ, слѣдовательно, можно и отдохнуть. Нельзя же въ описаніе рая вставить такую подробность: кромѣ такихъ-то и такихъ-то райскихъ красотъ, учрежденіе это представляетъ еще то удобство, что въ немъ легко выслѣживать и накрывать пропагандистовъ. Надо бы, кажется, помнить, что въ раю пропагандистовъ просто нѣтъ. А г. Новосельскій хоть и не рай пообщагъ, но все-таки разрѣшеніе того именно самого социального вопроса, изъ неразрѣшенности котораго только и можетъ произтекать серьезная необходимость усиленнаго надзора. Такая игра, какъ продажа или отдача въ аренду казенныхъ горныхъ заводовъ рабочимъ артелямъ просто устранила бы въ соответствующемъ районѣ необходимость вѣчно озираться, а не то, что предоставила бы для этого занятія особливныя удобства.

Такая странная логика наводитъ на соображенія. Можетъ быть, г. Новосельскій просто пожелалъ отдать дань нашему странному, запуганному, ошеломленному времени, когда даже золотыя мечты и небесно-голубыя идилліи не могутъ рисоваться безъ величественнаго образа полиціанта. За эту поблажку времени, кажется, нельзя очень винить г. Новосельскаго. Хотя бы въ виду слѣдующаго, рассказываемаго имъ анекдота. На какомъ-то большомъ заводѣ, хозяева, по разнымъ обстоятельствамъ, пришли къ мысли ввести у себя работу артелями. Для начала предположено было сдать артели всю работу одного цеха. Дѣло пошло на ладъ: трудъ сталъ производительнѣе, успѣшнѣе, рабочіе встали въ наилучшія отношенія къ хозяевамъ и, въ довершеніе всего, сами указали трехъ товарищей, «подозрѣваемыхъ въ привязанности къ социальному учению». Кажется, чего бы еще? Но «полиція нашла такіе порядки работъ опасными и незаконными, и взгляду этому пришлось подчиниться и разрушить даже съ точки зрѣнія самого правительства одно изъ самыхъ полезныхъ дѣлъ. Мало того, вмѣсто преслѣдуемой пользы, дѣйствительно, получился отъ несостоявшагося дѣла вредъ въ томъ отношеніи, что доврѣ рабочихъ было обмануто... Въ результатѣ получилось удвоенное недовольство своимъ положеніемъ, то-есть полиція сыграла какъ разъ въ руку социальной пропаганды».

Поучительная исторія!

Мефистофель, духъ зла и злобы, пони-

малъ, что онъ говоритъ, когда внушаетъ ученику:

Im Ganzen—haltet euch an Worte!

Dem eben, wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.

Этихъ дьявольскихъ совѣтовъ какъ нельзя лучше пользуются наши разнообразныя клички, извергая потоки словъ, которыми не соответствуетъ никакое понятіе. Но это въ сторону. У господъ полиціи, закрывшихъ не только мирную, но даже архи-мирную артель, объ которой рассказываетъ г. Новосельскій, очевидно, понятія, Begriffe, были не въ изобиліи, а слова, Worte, въ распоряженіи были. Ну, а при такихъ условіяхъ нетрудно надѣлать даже просто невѣроятныхъ, скажемъ, глупостей. Слово «артель» было вѣдь у насъ одно время въ сильномъ подозрѣніи: чѣмъ-то будто отъ нея особливо «соціальнымъ» пахло. И, разумеется, ни въ чемъ иномъ, какъ въ такой смѣшной словобоязни, заключается секретъ приведенной исторіи. Понятное дѣло, что г. Новосельскому, возлагающему на артель столько надеждъ, необходимо настаивать, что артель — не только не страшная штука, а вотъ, дескать, до какой степени полезна даже просто въ полицейскомъ смыслѣ.

Очевидно, полезна. Я боюсь, однако, что г. Новосельскимъ руководить не только адвокатская потребность обмануть излюбленное явленіе во всѣхъ возможныхъ и невозможныхъ смыслахъ. Объ этомъ сейчасъ нѣсколько подробнѣе. А теперь обратимъ вниманіе на выясняющіяся рассказанною исторіей препятствія для осуществленія плановъ г. Новосельскаго. Уже если такого сорта артель оказалась въ глазахъ низшихъ правительственныхъ агентовъ «опасною и незаконною», не смотря на предъявленные ею доказательства крайней политической благонадежности, то можно себѣ представить, какую встрѣчу устроитъ Мефистофель серьезному и широкому плану защиты и организации труда. Страшныя слова стануть поперегъ дороги цѣлой вереницей, андроны пустятся вскачь, заливаясь малиновымъ звономъ колокольцевъ и бубенцевъ а вѣдь, кромѣ андроновъ и неразумія вообще, есть еще на свѣтѣ алчная хитрость и броненосная безсовѣстность. Эти сьумѣютъ направить нехитрыхъ андроновъ куда слѣдуетъ. Близурукая полиція, своихъ не познавшая, разогнала архи-мирную артель, повидимому, совершенно самостоятельно, безъ какихъ-нибудь толчковъ со стороны, а единственно изъ безпредметнаго усердія. По крайней мѣрѣ, изъ рассказа г. Новосельскаго не видно, чтобы по софодству были какіе-нибудь конкуренты, достаточно сильные для

внушения мѣстной полиціи того или другого образа дѣйствій. Но разъ существуетъ такое умоположеніе, въ которомъ Begriffe fehlen, мѣстные Колушаевы и Разуваевы, Собакинчи и Чичиковы легко могутъ разыграть на немъ, при помощи страшныхъ словъ, ту именно мелодію, какая имъ понадобится: понадобится имъ придавить конкурента или вообще неудобное въ томъ или другомъ отношеніи явленіе, и они придавятъ, разъяснивъ кому слѣдуетъ, что тутъ-то именно «крокодилъ на дѣѣ лежитъ». А въ результатъ выходитъ чрезвычайно странная штука. Г. Новосельскій, повидимому, безусловно правъ, когда говоритъ, что въ западной Европѣ всѣмъ механизмомъ государственной жизни заправляютъ своекорыстные, привилегированные классы, а у насъ ничего подобнаго нѣтъ. Юридически, формально, г. Новосельскій дѣйствительно правъ или почти правъ, но что реальныя соотношенія силъ у насъ далеко не заслуживаютъ такого розоваго освѣщенія, это тоже не подлежитъ сомнѣнію. Слѣдуетъ поэтому очень пожалять, что г. Новосельскій не обратилъ никакого вниманія на современные способы рыболовства въ современной мутной водѣ, на тѣ способы и приемы задушенія самыхъ скромныхъ благихъ начинаній, какія практикуются подъ прикрытіемъ переживаемыхъ нами тревогъ. Приглядѣвшись къ этому обстоятельству со всѣхъ сторонъ, г. Новосельскій убѣдился бы, что осуществленіе его проектовъ на благо народа не только не благопріятствуется наличными условіями нашей жизни, а, напротивъ, встрѣчаетъ въ нихъ какое-то широко развитыя препятствіе.

Это до такой, въ самомъ дѣлѣ, степени очевидно, что становится даже подозрительною серьезность прекрасныхъ плановъ г. Новосельскаго: вразвѣду-ли онъ ихъ излагаетъ? Сомнѣнія эти навѣваются, впрочемъ, съ разныхъ сторонъ. Взять хоть бы, наприкладъ, исторію артели, по недоразумѣнію закрытой полиціей. «Артель» не есть «жупелъ» и, вообще, не такое слово, котораго надо бы было ужасаться, но приходитъ отъ него въ трепетъ восторга тоже не особенно благоразумно. Г. Новосельскій возлагаетъ, повидимому, чрезвычайно надежды на широкое развитіе артелей, ожидая, что оно, какъ въ его проектѣ продажи артелямъ казенныхъ горныхъ заводовъ, направитъ теченіе нашей экономической жизни путемъ, совершенно отличнымъ отъ европейскаго. Но упомянутая артель, которою г. Новосельскій такъ восторгается, не представляетъ никакого въ этомъ смыслѣ задатка. Она начала свою дѣятельность съ того, что обязалась увеличить производство на 30%, понизила заработную плату на 20%, и затѣмъ

опредѣлила численность своихъ членовъ въ 90 человекъ, вмѣсто работавшихъ прежде 250, т. е. выгнала на улицу 160 своихъ товарищей. Все это, безъ сомнѣнія, чрезвычайно выгодно для хозяевъ завода, но что же тутъ не европейскаго? и какія основанія для розовыхъ надеждъ? Съ точки зрѣнія заявленныхъ нашимъ авторомъ общихъ принциповъ, эта артель—такіе вздорные пустяки, насильственному прекращенію которыхъ можно сугубо изумляться, но цѣнить ихъ, какъ нѣчто серьезное, рѣшительно невозможно. Очевидно, г. Новосельскій недостаточно вдумался въ защищаемое имъ дѣло и защищаетъ его вовсе не серьезно.

Это явствуетъ и изъ совокупности другихъ рекомендуемыхъ г. Новосельскимъ мѣропріятій, которыя я позволяю себѣ назвать мѣрами по отношенію къ карману.

Странное названіе! Не существуетъ же карманъ вообще, карманъ абстрактный, не пришитый ни къ сюртуку Ивана, ни къ поддевкѣ Петра, ни къ штанамъ Сидора! Разумѣется, такого абстрактнаго кармана нѣтъ, но есть, наприкладъ, «отечественныя богатства», и когда говорятъ объ этихъ отечественныхъ богатствахъ, то не имѣютъ въ виду ни Ивана, ни Петра, ни Сидора. Это и есть какъ бы карманъ вообще. Г. Новосельскій очень беспокоится о томъ, чтобы этотъ всеобщій карманъ не былъ пустъ. А для этого онъ рекомендуетъ средства всѣмъ извѣстныя, давно испробованныя—банковый кредитъ и желѣзныя дороги. При этомъ европейскія страны оказываются уже не игролищемъ въ рукахъ «денежной аристократіи» и, въ силу этого, примѣромъ отрицательнымъ, а, напротивъ, желаннымъ образцомъ экономическаго развитія. Къ счастью, отношенія банковаго кредита и желѣзныхъ дорогъ къ абстрактному всеобщему карману ни для кого не составляютъ уже никѣй секретъ. Если «воспособленіе» желѣзнымъ дорогамъ поглощаетъ почти $\frac{1}{3}$ всѣхъ нашихъ государственныхъ расходовъ, то, слѣдовательно, вся эта сумма совсѣмъ не въ абстрактномъ «національномъ» карманѣ покоится, а переходитъ изъ кармана плательщиковъ податей въ карманъ людей, у желѣзныхъ дорогъ стоящихъ. Одного этого примѣра достаточно, чтобы видѣть, что абстрактный отечественный, національный карманъ, одинаково доступный или недоступный Ивану, Петру и Сидору, есть мнѣ. Мнѣ, очень распространенный и могущественный, изъ-за котораго люди иногда дѣлаютъ въ огонь и воду, не чувствуя боли, при помощи котораго можно отлично вытаскивать каштаны изъ печки чужими руками, но, тѣмъ не менѣе, мнѣ. Наше время находится по отношенію къ этому мнѣ въ чрезвычайно дву-

смысленномъ положеніи. Съ одной стороны, мнѣ какъ бы теряютъ подъ ногами почву, потому что выясняются его реальныя основы; съ другой — онъ грозитъ, напротивъ, расположиться въ умахъ современниковъ еще комфортабельнѣе.

Мнѣ пріятно, въ подтвержденіе своей мысли, сдѣлать слѣдующую цитату изъ такого органа печати, какъ «Новое Время»:

«Приводимъ изъ «Москов. Телеграфа» рядъ краснорѣчивыхъ цифръ, наглядно уясняющихъ, что сдѣлано для такъ называемой русской интеллигенціи, а вѣрнѣе — для нашей юной буржуазіи. Узнавъ, что

«въ интересахъ крестьянъ-производителей, кромѣ «Положенія» 19 февраля, не было издано почти ни одного законодательнаго акта, нѣтъ ли сколько-нибудь серьезное значеніе для упроченія ихъ экономическаго положенія»,

— газета удостоверяетъ, что въ интересахъ всевозможныхъ представителей капитала сдѣлано чрезвычайно много:

«Такъ, въ 1860 году въ эксплуатаціи находилось всего только 1,260 верстъ желѣзныхъ дорогъ, а черезъ 20 лѣтъ, при содѣйствіи правительства и частныхъ акціонерныхъ учрежденій, число верстъ возросло до 21,870. До 1864 г. въ Россіи былъ одинъ только банкъ, государственный, а теперь, кромѣ него, мы имѣемъ 37 національныхъ коммерческихъ банковъ съ капиталомъ въ 27 милл. руб., 277 общественныхъ коммерческихъ банковъ съ годовымъ оборотомъ въ 800 милл. руб., до 100 обществъ взаимнаго кредита, съ капиталомъ въ 200 милл. руб. и 21 ипотечный банкъ въ 750 милл. р. Въ 1855 г. въ Россіи дѣйствовали только 82 акціонерныхъ компаній съ капиталомъ въ 64 милл. руб.; теперь же ихъ имѣется болѣе 500 съ общимъ капиталомъ въ 3,235 милл. рублей. Въ области фабричной и заводской промышленности также замѣчается довольно значительный ростъ, хотя и не столь быстрый, какъ въ области банковъ. Обороты внѣшней торговли, не превышающіе въ 1855 г. 325 милл., достигаютъ теперь до 1,213 милл. руб. Параллельно съ этимъ, однако, происходило и сильное возрастаніе государственныхъ расходовъ, поднявшихся съ 414 милл. р. въ 1861 г. до 644 въ 1879 г. Въ то же время росли и государственные долги, достигшіе въ 1878 г. громадной суммы — болѣе 3 миллиардовъ рублей. Между тѣмъ, въ главной отрасли русской промышленности, въ земледѣліи, не только не замѣчалось никакого поступательнаго движенія, но напротивъ, былъ видѣнъ застой, даже упадокъ».

«Еще бы не быть упадку, заключаетъ «Новое Время»: — когда отъ земледѣльца

взято столько миллионѣвъ, отъ которыхъ ни одной копейки не вернулось къ нему?» («Новое Время», 13 сентября).

Ходъ нашей экономической жизни за послѣднія двадцать лѣтъ былъ дѣйствительно таковъ, какъ указываетъ московская газета и какъ повторяетъ за нею «Новое Время». И за все это время мы радовались нашимъ успѣхамъ и съ гордостью выставляли тѣ самыя цифры, которые теперь начинаемъ приводить даже какъ бы съ нѣкоторымъ стыдомъ. Это послѣднее показывать, что мнѣ абстрактнаго кармана весьма распатанъ, что мы научились различать въ этомъ абстрактномъ карманѣ совершенно конкретныя отдѣленія и перегородки, въ которыхъ происходитъ реальный, не мнѣстическій оборотъ экономическихъ силъ. Это, конечно, очень хорошо, ибо надо же, наконецъ, когда-нибудь разстаться съ мѣнами и познать дѣйствительность. И въ этомъ направленіи познанія дѣйствительности мы имѣемъ уже нѣсколько шаговъ. На первомъ планѣ стоитъ, разумеется, положительная правительственная дѣятельность, которою отмѣчено начало нынѣшняго царствованія, дѣятельность, которой можно бы было пожелать большей яркости, но объектъ которой есть до сихъ поръ во всякомъ случаѣ не абстрактный, а именно мужицкій карманъ. Затѣмъ, общественное сознаніе, выразившееся хотя бы въ вышеприведенныхъ проектахъ г. Но восельскаго или въ словахъ «Московского Телеграфа» и «Новаго Времени», наконецъ, въ многочисленныхъ и успѣвшихъ даже оскомину набить разсужденій о томъ, что интеллигенція особъ статья, а народъ особъ статья. Еще недавно это была вполне еретическая мысль, вызывавшая насмѣшки или негодованіе. Нынѣ она стала одною изъ модныхъ мыслей, раздается на всѣхъ перекресткахъ, высказывается съ задоромъ и наскокомъ. Но, какъ это часто случается съ мыслями, достигающими уличнаго распространенія, она вмѣстѣ съ тѣмъ утрачиваетъ свой первоначальный опредѣленный смыслъ и пропитывается тѣмъ смутнымъ безсмыслиемъ, которымъ въ данную минуту полна улица съ переулками. Этому способствуетъ и самый терминъ «интеллигенція страны», который нельзя назвать удачнымъ, хотя онъ отнюдь не хуже, а даже гораздо лучше многихъ другихъ метафоръ въ этомъ родѣ, напримѣръ, «сердце Россіи» и т. п. «Сердце Россіи» — просто лирическій вздоръ, тогда какъ «интеллигенція страны» есть довольно опредѣленное собирательное названіе. Но если ужъ мы взяли въ руки аналитическій инструментъ и вскрыли имъ мнѣ абстрактнаго національнаго кармана, то нѣтъ резона на этомъ останавливаться и тутъ же созда-

вать новые мненія. «Новое Время», например, какъ приведено выше, говоритъ: вотъ что сдѣлано «для такъ называемой русской интеллигенціи, а *спривне* для нашей юной буржуазіи». Конечно, вѣрнѣе. До такой степени вѣрнѣе, что весь рядъ грандіозныхъ цифръ, свидѣтельствующихъ о нашихъ успѣхахъ въ дѣлѣ банковаго кредита и желѣзныхъ дорогъ, даже цѣликомъ относится къ «нашей юной буржуазіи» и не имѣетъ ровно никакого отношенія къ «русской интеллигенціи». Интеллигенція и буржуазія могутъ, конечно, идти рука объ руку, помогать другъ другу, даже совпадать, но это частный случай, а не общее правило. Г. Губонинъ, напримеръ, есть буржуазія, но никто же не назоветъ его интеллигенціей. Лермонтовъ есть интеллигенція, но никто не назоветъ его буржуазіей. А вотъ г. Аксаковъ есть интеллигенція, состоящая въ вассальныхъ отношеніяхъ къ буржуазіи—къ московскимъ купцамъ. Надо же эти вещи различать, а то, понятное дѣло, у насъ мелево выйдетъ, а не разговоръ. И пока мелево будетъ молотиться—дѣла будутъ обдѣлываться. Возьмите три означенныя величины, т. е. г. Губонина, Лермонтова и г. Аксакова, и посмотрите какую фантазмагорію можно устроить, подставляя ихъ одну вмѣсто другой. Мненіе абстрактнаго кармана будетъ чувствовать себя при этомъ, конечно, очень привольно, да и самый нынѣшній модный походъ на интеллигенцію въ большинствѣ случаевъ предпринимается въ интересахъ этого мненія, для отвода глазъ. Логическій порядокъ похода таковъ. Г. Аксаковъ, напримеръ, начинаетъ много и съ чрезвычайною горячностью говорить о русскомъ народѣ, объ его идеалахъ, объ его интересахъ; объ томъ, что петербургскій періодъ русской исторіи изжилъ свой вѣкъ и что отнынѣ намъ, интеллигенціи, уже не приходится верховодничать народомъ, что мы должны, напротивъ, передъ нимъ преклониться, какихъ бы жертвъ это намъ ни стоило. Эти обильныя и горячія слова подхватываются другими, образуется цѣлый хоръ. Распространяется мысль, что наши интересы и интересы народа совсѣмъ не тождественны, а слѣдовательно, колеблется мненіе абстрактнаго кармана. Но это послѣднее вовсе не желательнѣе вассалу буржуазіи, г. Аксакову. Онъ поэтому дѣлаетъ диверсію. Онъ льетъ новые обильные и горячіе потоки словъ о необходимости для насъ сломить свою гордость, смириться передъ народной правдой, преклонить передъ ней знамя надменной и ложной науки и проч., и проч. Въ концѣ концовъ, выходитъ, что у этого великодушнаго, великаго, христіаннѣйшаго русскаго народа земли совершенно достаточно,

ибо еслибы ея у него было больше—у гг. землевладѣльцевъ не было бы въ довольномъ количествѣ рабочихъ и арендаторовъ, а слѣдовательно, пострадать бы абстрактный національный карманъ. Но рознь все-таки должна быть прекращена, жертвы на алтарь народной правды должны быть принесены; а именно мы должны усвоить себѣ образъ и подобіе московскихъ купцовъ: по средамъ поститься, по пятницамъ тоже поститься, по субботамъ ходить въ баню и во всѣ дни недѣли отмѣтять надменную ложную науку. Довольно! интеллигенція поприазновала въ волю!—Если вы вздумаете остановить этотъ натискъ краснорѣчія замѣчаніемъ, что краснорѣчивый ораторъ занимается передержкой, передвигаетъ центр тяжести разговора, то васъ обладутъ новымъ потокомъ, будутъ уличать въ презрѣніи къ народу, въ либеральничаньи, а при случаѣ ударятъ челомъ вашимъ же добромъ, скажутъ: вотъ что сдѣлано для интеллигенціи, пора, наконецъ, сдѣлать что-нибудь и для народа! Конечно, пора, объ этомъ именно и рѣчь идетъ. Но позвольте, однако, что же именно сдѣлано для интеллигенціи? Г. Губонинъ, дѣйствительно, не остался въ накладе отъ развитія банковаго кредита и желѣзно-дорожной сѣти, но вѣдь онъ не интеллигенція. Нѣкоторые утверждаютъ, что онъ—народъ, настоящій народный народъ, который по средамъ постится, по пятницамъ тоже постится, по субботамъ ходить въ баню и во всѣ дни недѣли засучиваетъ штаны въ сапоги. Затѣмъ, г. Аксаковъ, несомнѣнная интеллигенція, снимаетъ нѣкоторыя и не очень жидкія сливки съ развитія банковаго кредита, но дѣлаетъ онъ это совсѣмъ не въ качествѣ интеллигенціи, какъ таковой, а въ качествѣ вассала буржуазіи. Что же касается интеллигенціи... Я знаю, что Лермонтовъ убитъ на дуэли, что Пушкинъ задохся въ атмосферѣ подлости, что Бѣлинскій померъ отъ чахотки и цензуры и т. д., и т. д., Но я рѣшительно не знаю, что сдѣлано для русской интеллигенціи и не знаю времени, когда она праздновала въ волю. Было въ русской исторіи не мало такихъ періодовъ, когда разнаго рода дѣльцы, аферисты и карьеристы, задыхаясь въ собственномъ тукѣ и давясь жадно нахватанными кусками, лѣзли вверхъ по лѣстницѣ почета и власти. Но съ интеллигенціей русской ничего подобнаго не было и быть не могло. Все, что украшаетъ страницы ея скорбной исторіи, достигнуто ею самою, не благодаря содѣйствіямъ и воспособеніямъ, а вопреки противодействіямъ. Да и что же можно сдѣлать для истинной интеллигенціи, кромѣ того, что предоставить ее собственному теченію, сказать: живи себѣ какъ

знаешь, на свой собственный страх и риск...

Г. Новосельскій (къ которому пора, наконецъ, возвратиться) съ этимъ несогласенъ.

Когда рѣчь идетъ о наполненіи абстрактнаго отечественнаго кармана, г. Новосельскій требуетъ отъ правительства «воспособленія» и свободы частной предприимчивости. «Противу злоупотребленій при сооруженіи желѣзныхъ дорогъ и при «эксплуатаціи ихъ могутъ быть приняты цѣлесообразныя мѣры, но мѣры практическія, а не мѣры увеличенія контроля государственнаго». (18). «Мыслимо ли, вмѣсто помощи, столь необходимой въ Россіи въ настоящее время, стѣснять правительственными распоряженіями всѣ денежныя и торговые обороты наши?» (20). «Если правительство не находитъ возможнымъ давать гарантію на сооруженіе дорогъ... то оно можетъ своимъ могучимъ содѣйствіемъ предоставить сооруженіе подобныхъ дорогъ той же частной промышленности, облегчивъ ей и способы осуществленія такихъ обширныхъ предпріятій. Между тѣмъ, извѣстно, что въ настоящее время частныя лица, желающія, для разработки желѣзныхъ рудъ и сбыта угля, построить дороги посредствомъ иностранныхъ капиталовъ, безъ правительственной гарантіи, не получаютъ на это разрѣшенія» (28).

Словомъ, воспособленіе и свобода. Какимъ образомъ эта грандіозная помощь и этотъ широкій просторъ для дѣятельности отечественныхъ и иностранныхъ капиталовъ важуются съ проектами охраны и организаціи труда, я не знаю. Думаю, что и самъ г. Новосельскій не знаетъ, ибо не все, что имъ говорится, говорится «въ заправду», а служить одновременно Богу и мамонѣ нельзя. Какъ бы то ни было, но для персонаификаціи абстрактнаго кармана, для буржуазіи, требуются воспособленіе и свобода. Совсѣмъ другое для интеллигенціи. Достойно вниманія, что, трактуя о «соціальныхъ вопросахъ въ Россіи», г. Новосельскій ни единымъ словомъ не обмолвился о положеніи нашей печати. Казалось бы, вопросъ тоже немаловажный: дѣйствительно-ли наша печать, какъ думаютъ нѣкоторые, предается оргіи разнузданности и сѣетъ всюду сѣмена яда, или, напротивъ, она лишена возможности исполнять свои обязанности? Прямо этотъ вопросъ, къ удивленію читателя, не занимаетъ г. Новосельскаго. Но мы находимъ у него, тѣмъ не менѣе, утвержденіе, будто у насъ «въ неисчерпаемомъ числѣ книгъ, брошюръ, журналовъ и газетъ молодежь, жаждущая поскорѣе и съ меньшимъ трудомъ добраться до результатовъ знанія, вычитываетъ, что Бога въ сущности нѣтъ, что матерія и сила нераздѣльны и вѣчны,

что міръ, каковъ есть теперь, составился постепенною игрою взаимныхъ отношеній силъ изъ атомовъ матеріи... что на всѣ религіозныя вѣрованія наши слѣдуетъ смотрѣть, какъ на остатки младенчества и обскурантизма, поддерживаемаго правительствомъ и привилегированными классами для того, чтобы держать въ подчиненности и эксплуатировать народъ, или управляемый».

Читатель не хуже г. Новосельскаго знаетъ, что «исчерпаемое количество книгъ, брошюръ, журналовъ и газетъ», въ коихъ излагаются подобныя вещи, есть сочиненіе нашего автора, ибо цензура наша достаточно бдительна, да и вся-то наша литературная производительность очень исчерпаема. Надо замѣтить, что разсужденія г. Новосельскаго по предмету философіи и науки заслуживаютъ только одной отвѣдки: да проститъ ему Богъ! Мы ихъ и не коснемся. Намъ только интересно знать, какія мѣры рекомендуетъ онъ противъ описываемаго имъ дѣйствительнаго или воображаемаго зла. Мѣры странныя и двусмысленныя. Онъ предлагаетъ, во-первыхъ, правительству заняться изданіемъ хорошихъ книгъ, а также озаботиться преобладаніемъ извѣстнаго направленія на университетскихъ кафедрахъ. Не слѣдуетъ, однако, думать, что роль правительства должна ограничиваться этою творческою, положительною задачею. Отнюдъ нѣтъ. «Вопросъ о свободномъ отъ контроля правительства преподаваніи въ императорскихъ университетахъ выводовъ изъ новѣйшихъ гипотезъ въ естествознаніи и приложеніи ихъ къ жизни не можетъ быть оставленъ безъ соотвѣствующихъ мѣропріятій, въ виду уже того факта, что народъ русскій понялъ отчужденіе отъ него интеллигентнаго и высшего класса и начинаетъ смотрѣть враждебно на ученіе въ университетахъ».

Вотъ оно, le grand mot, какъ говорятъ французы.

«А все-таки вертится!» говорилъ Галилей, когда ему рекомендовали отречься отъ того, что онъ считалъ истиной. Казалось бы, наука не можетъ дать много отвѣта, не взирая на какія бы то ни было отчужденія. А у насъ не такъ: у насъ правительственный контроль совершенно излишенъ, когда дѣло идетъ о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, о торговыхъ и денежныхъ оборотахъ; но тотъ же правительственный контроль необходимъ, когда возникаетъ вопросъ о духовныхъ потребностяхъ... Что же касается народа, то объ немъ современному публицисту позволительно и даже обязательно поговорить много, пламенно, пожалуй, и основательно, но затѣмъ надлежитъ: либо свести дѣло на какихъ-нибудь андроновъ, либо

формулировать такіа мѣропріятія, которыя логически и практически совершенно парализуютъ дѣловую сторону обильныхъ и пламенныхъ разговоровъ о народѣ. Потомъ, какъ говорится въ поваренныхъ книгахъ, облей все это національнымъ, отечественнымъ соусомъ и—подавай на столъ...

Кто виноватъ, кто правъ въ этомъ недо-разуміи, пусть судить читатель. Я только указываю ему преобладающую черту нашего времени, тотъ современный Римъ, къ которому ведутъ всѣ дороги—съ запада и востока, съ сѣвера и юга, съ отчужденія и единенія...

VIII.

Три мизантропа *).

Благосклонный читатель, позвольте на этотъ разъ освободить себя и васъ отъ умныхъ людей—надобѣи. Передохнувъ разъ, другой, можетъ быть, опять къ нимъ вернемся, а можетъ быть и не вернемся, ибо дѣло мое вольное. И то сказать: всѣхъ умныхъ людей не переслушаешь, да каждого выслушивать, пожалуй, что и не стоитъ. Разговоры ихъ только съ виду разнообразны, а на дѣлѣ всѣ они предлагаютъ своему отечеству идти въ тотъ Римъ, о которомъ говорено въ прошлый разъ. Этотъ Римъ весь выстроенъ въ національномъ стилѣ, весь изукрашенъ рѣзными полотенцами, коньками и пѣтухами. Въ этомъ Римѣ интеллигенція совсѣмъ нѣтъ или она доведена до того количества и качества, какія нужны, дабы полиція не осталась безъ образованныхъ дѣятелей, господа помѣщики—безъ агрономовъ и управителей, господа заводчики—безъ техниковъ. Въ этомъ Римѣ мужикъ пользуется необыкновеннымъ почетомъ, онъ сидитъ въ переднемъ углу, чрезвычайно счастливый тѣмъ, что господа его уважаютъ. Въ этомъ Римѣ предоставлена свобода наживѣ и заперта въ тежницу мысль. Этотъ Римъ, наконецъ, насквозь пропитанъ лице-мѣріемъ вообще и ханжествомъ въ особенности...

А! умные люди пороку не выдумали. И да не будетъ имъ стыдно, сказать бы я по человечеству, потому что если когда-нибудь незванный гость—стыдъ посѣтить ихъ, имъ будетъ очень больно. Съ другой стороны, однако, отчего же и имъ когда-нибудь не поболѣть за ту боль, которую они вокругъ себя распространяютъ, не сами по себѣ, разумѣется, а вкупѣ со стихійной силой вещей.

Да, боль за боль...

Это, впрочемъ, уже не относится къ нашимъ умнымъ людямъ, то есть, пожалуй, и относится, но такъ, какъ относится очень большое къ очень маленькому, какъ большой философскій вопросъ къ маленькому житейскому эпизоду. И не то, чтобы я хотѣлъ заняться тѣмъ большимъ философскимъ вопросомъ во всемъ его объемѣ, но все-таки не приписать же я въ «запискахъ современника» къ умнымъ людямъ или вообще къ той минутѣ, которую мы переживаемъ.

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся
Въ чарованьи красныхъ вымысловъ...

Удалимся подъ тѣнь вѣчнаго искусства, хотя я очень боюсь, что и тамъ, подъ этою благодатною тѣнью, текущая минута, рѣжущая, колющая и обухомъ бьющая, не оставитъ насъ въ покоѣ. Ничего не подѣлаешь... «Камо пойду отъ духа твоего и отъ лица твоего камо бѣжу?»

Мнѣ бы хотѣлось, однако, сперва оглянуться на прошлую главу «записокъ современника», которая не понравилась нѣкоторымъ господамъ газетчикамъ. Не скорблю объ этомъ, потому что вообще не рассчитываю имъ нравиться. Но зачѣмъ же все-таки врать? Г. Суворинъ, напримѣръ, утверждаетъ, будто у меня написано! «интеллигенція есть Лермонтовъ». Онъ ставитъ даже это опредѣленіе въ ковычкахъ, какъ несомнѣнно мнѣ принадлежащее. Опредѣленіе, разумѣется, очень глупое, до такой степени глупое, что опроверженію его рѣшительно не стоило посвящать цѣлый фельетонъ. Но бѣда въ томъ, что я вовсе не думалъ давать интеллигенціи опредѣленіе и вовсе не говорилъ, что «интеллигенція есть Лермонтовъ». У меня написано наоборотъ: «Лермонтовъ есть интеллигенція», а это, конечно, вѣрно. Кому очень хочется или очень нужно врать, съ тѣмъ, разумѣется, ничего не подѣлаешь. Подобное вранье, однако, ни на волосъ не измѣняетъ положенія дѣла, а положеніе это именно таково, какъ изображено у меня: вся новѣйшая русская исторія представляла доселѣ большія удобства для развитія буржуазіи и большія неудобства для развитія интеллигенціи. Иначе говоря, мы могли свободно наживаться на счетъ народа и государства и не могли свободно мыслить, свободно учиться, свободно учить. Если кому не нравится сопоставленіе въ этомъ смыслѣ г. Губонина и Лермонтова (а отчего бы не нравиться? вѣдь оба—великаны, каждый въ своемъ родѣ), тотъ можетъ заглянуть въ деревню и сопоставить кулака и сельскаго учителя и т. п. Понятно, что буржуазія и интеллигенція

*) 1881 г. Ноябрь.

Соч. н. к. михайловскаго, т. V.

могут совпадать, но это вовсе не обязательно, и задача русской интеллигенции, между прочим, в томъ именно и состоитъ, чтобы бороться съ развитіемъ буржуазіи на русской почвѣ, что, конечно, не исключаетъ другихъ задачъ. Такъ я думаю и такъ, мнѣ кажется, должны думать всѣ благомыслящіе люди. Развѣтіе же этой темы, отнюдь, впрочемъ, не новой, хотя и не исчерпанной, откладываю до другого раза. Теперь мнѣ объ другомъ поговорить хочется..

Боль за боль...

Есть прекрасная, очень гуманная и вѣрная теорія, которая на первый взглядъ рѣзко противорѣчитъ такой жесткой формулѣ. Теорія эта гласитъ, что мстительное чувство есть результатъ непониманія; ибо, дескать, все совершается на законномъ основаніи, по извѣстному сдѣленію причинъ и слѣдствій, и, разъ мы поняли причины какого-нибудь, даже самаго возмутительнаго поведения, мы какъ бы сами пережили весь процессъ данной мерзости, познали ея неизбѣжность—и мстительное чувство не имѣетъ мѣста. «Понять значитъ простить»—прекрасное и глубоко вѣрное изрѣченіе. Но бѣда въ томъ, что на этомъ самомъ основаніи надо понять и простить, между прочимъ, чувство мести. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ, есть мерзости, которыя понять можетъ только весьма низкопробный человекъ, именно, въ силу своей низкопробности; между тѣмъ, требованіе прощенія и отказа отъ мести рассчитано, разумѣется, на людей болѣе или менѣе высокой пробы. До извѣстныхъ или, точнѣе говоря, до нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ предѣловъ надо быть умнымъ и хорошимъ человекомъ, чтобы понять мотивы гнуснаго поступка, а, слѣдовательно, простить его; но за этими предѣлами гнусность становится именно для умнаго и хорошаго человека совершенно непонятною—слишкомъ ужъ она ему чужая. И въ такихъ случаяхъ ему естественно требовать боли за боль, хотя съ другой стороны, причинять кому бы то ни было боль ему самому больно. Такимъ образомъ, возникаетъ сложная драматическая коллизія, которую я хочу рекомендовать вниманію читателя по поводу вышедшей въ нынѣшнемъ году книжки г. Веселовскаго «Отюды о Мольерѣ. Мизантропъ».

Иной читатель будетъ, пожалуй, протестовать. Скажетъ: что мнѣ Гекуба? что мнѣ за дѣло до драматическихъ коллизій личной жизни, до личныхъ скорбей и радостей, личной нравственности и безнравственности, когда я весь поглощенъ интересами высшаго порядка, интересами общественными?—Ну,

не будешь говорить такъ круто, читатели: важна кинутая общественная дѣятельность, навѣрное оставилъ какъ немножко времени для личныхъ дѣлишекъ и, никому не будь сказано въ обиду, подчасъ довольно дрянныхъ дѣлишекъ. По крайней мѣрѣ, я видаю такихъ, что, кажется, не спать, не ѣсть, все объ интересахъ высшаго порядка думать, а на дѣлѣ у него ничего, кромѣ пакости, за душой нѣтъ. Бываетъ это. Что же касается сравнительной высоты сферъ личныхъ и общественныхъ интересовъ, то это какъ смотрѣть на дѣло. Когда покойникъ Достоевскій утверждалъ, что надо искать себя въ себѣ и проч., то-есть сосредоточиться на вопросѣ личной чистоты, не взирая на условія, при которыхъ приходится этикъ заниматься—это была большая радость для всѣхъ скорбныхъ главою и лицемеровъ, и большой вздоръ, разумѣется. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы идеалы личной нравственности были послѣдними или даже вторыми дѣломъ. Странная вещь! Неужто у людей головы или сердца такъ узки, что не могутъ вмѣстѣ въ себѣ одновременно двухъ элементовъ, ни мало другъ другу не противорѣчащихъ и часто даже другъ другу помогающихъ? Неужто надо непременно либо плевать на личную жизнь во имя общественной, либо наоборотъ? Я понимаю, что эти элементы могутъ въ частныхъ случаяхъ сталкиваться враждебно, пожирать одинъ другого, но это—именно, специальные случаи, каждый разъ подлежащіе особому анализу. Въ принципѣ же, вообще, унижать одинъ насчетъ другого есть просто бессмыслица. Это, можетъ быть, само собою выяснится ниже, а теперь я могу только сказать скептикамъ, которые вздумали бы протестовать противъ темы предлагаемой главы «записокъ современника», что монологи мольерова Мизантропа много интереснѣе, важнѣе, ближе даже современнику, чѣмъ засѣданія свѣдущихъ людей...

Бываютъ красивыя лица, которыя были бы, однако, еще гораздо лучше, еслибы были чуть-чуть похуже: немножко бы изломать эту слишкомъ симметричную соболиную бровь, точно сковылающую глазъ, немножко бы спутать эти линіи лба и носа... Чѣмъ-то не то педантическимъ, не то дѣтскимъ отдастъ отъ такихъ слишкомъ красивыхъ лицъ: точно природа боялась отступить отъ извѣстной нормы и этою своею боязнью эту же боязнь подчеркнула.

Бываютъ и книги такіе. Книга г. Веселовскаго, заглавіе которой выписано выше, именно такова. Въ ней много свѣтлыхъ, хотя и не оригинальныхъ мыслей, много прекрасныхъ намѣреній; много свѣдѣній

интересных, поучительных, тщательно проверенных. Она рассматривает намеченный предмет со всех сторон: «Мизантроп» для г. Веселовского—не только художественное произведение, подлежащее эстетической оценке, а одно из произведений человеческого духа в самом широком смысле слова; одна из тем, издревле и по праву занимающих мыслящего человека. Г. Веселовский внимательно следит, как эта тема преемственно переходила от одного художника к другому, какие, значит, у Мольера были предшественники и преемники, и какие тревоги своего времени каждый из них вкладывал в разработку темы. Прибавьте к этому истинную роскошь знакомства с литературой предмета. Перед нами проходит вся история типа «мизантропа» во всех его воплощениях среди той или другой исторической среды; мы узнаем все житейские и литературные источники пьесы Мольера, все заимствования, которые он для нее сделал у других и у самого себя, все выдающиеся голоса критики...

Чего же больше желать?

Ничего, кроме разве того, чтобы книга была чуть-чуть похуже...

Вот образчик добросовестности г. Веселовского и его эрудиции. Он пишет между прочим: «В сонет Оронто вошла одна строчка из старой испанской песни, ранее Мольера уже эксплуатировавшаяся другими французскими поэтами, например, Ронсаром» (стр. 68). К этим трем строчкам г. Веселовский делает два примечания со ссылками на источники. Это прекрасно, конечно, хотя для русского читателя, и своих-то поэтов плохо знающего, может быть, даже слишком прекрасно. Во всяком случае, против такой роскоши протестовать нельзя. Но г. Веселовский заходит и гораздо дальше в своем стремлении подобрать все, имеющее хотя бы отдаленное отношение к избранному им предмету. Он подбирает иногда при этом такую пустяковину, о которой решительно говорить не стоит. Например, он даже с некоторой торжественностью заявляет: «Нам довелось напасть на след любопытного автобиографического признания одного из заурядных светских мизантропов того времени, какого-то monsieur de Mériquat, набросавшего свой собственный портрет (portrait de mr. Mér. fait par lui même) за семь лет до появления Мольеровской пьесы». И г. Веселовский делает длинную выписку из найденной им рукописи, которая смгло могла бы оставаться в рукописи, ибо ровно ничего не уясняет ни в мизантропии вообще, ни в «Мизантропе» Мольера в осо-

бенности. А уж мимо слова «мизантроп» г. Веселовский решительно не может пройти равнодушно: сейчас цитата и ссылка. Понятное дело, что такое обилие мелочей производит наконец тесноту в книге. Мелочи теснота ни почему, она в ней отлично уживается, как цыганская куча тараканов в щели, но все крупное тесноты не любит. Не то, чтобы г. Веселовский пропустил что-нибудь крупное (хотя и тут приходится не без изумления отметить, что автор не единственным словом не упомянул драматического отрывка Шиллера «Der Menschenfeind», очень невыдержанного в художественном отношении, но очень любопытного в философском смысле). Напротив, он даже начинает книгу разсуждениями о таких широких вещах, как оптимизм и пессимизм вообще. Но, уделяя подобным широким вещам столько же внимания, как автобиографии mr. de Mériquat и одной строчки, заимствованной из испанской песни, г. Веселовский очень уж теснит те широкие вещи, сплюсчивает их одна об другую, а потому не всегда с успехом в них разбирается. Приведу только один пример. На стр. 4 мы узнаем, что из обширной группы пессимистов выделяются «люди, чьим отличительным оттенком признана нелюдимость и ненависть к человечеству», мизантропы тоже. А на стр. 12-й в «общем типе мизантропа» находим, между прочим, «группу поэтов» мировой скорби и мыслителей пессимизма». Что же, спрашивается, шире—пессимизм или мизантропия?

На стр. 96, г. Веселовский пишет (в примечании): «Нам случайно встретилося довольно удачное объяснение вспыльчивости Альцеста в сцене сонета. Из-за такой бездницы не стоило входить из себя, но Оронто припелся под дурную руку, когда Альцест только-что взбешен противоречиями Филанта. См. в сборнике Quatre saisons littéraires 1807, стат. Sur le Misanthrope».

Должен заранее покаяться: если мне в нижеследующем придется своим умом дойти до «довольно удачного объяснения», в этом роде, то я его так от своего имени и представляю, без ссылки на сборник 1807 года. И не только потому, что я этого сборника не знаю, а и потому еще, что, право же, всякому позволительно своим умом дойти до подобного объяснения. Книга г. Веселовского, при всех своих достоинствах, а отчасти даже прямо в связи с этими достоинствами, часто напоминает слова Фауста:

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet...

замѣтилъ въ развѣ, что она всѣмъ существомъ своимъ кокетству отдала—порочковъ вѣка воплощеніе? Какъ менажиды ихъ, вы любите ее?» Это-то противорѣчіе и надумало Альцеста. Онъ не обвиняетъ себя насчетъ слабостей Селимены, но надѣется, что «моя любовь ее возвыситъ». Но такъ какъ, не смотря на всю свою подозрительность и мезантринію, онъ восталъ изъ одной породы съ Тимонемъ, то пустая бабенка отлично надуваетъ его, умиаго человѣка и рыцаря правды и чести. Онъ пылаетъ, бранится, всѣми силами старается вывести дѣло на чистоту, требуя у Селимены и ея обожателей публичныхъ объясненій, но быстро сдается на новую ложь своей возлюбленной. И не потому только, что ему, ослѣпленному страстью, хочется ей вѣрить (эту слабость онъ самъ за собой знаетъ), а и потому еще, что, смутно подозрѣвая, что дѣло нечисто, онъ далеко восталъ отъ пониманія всего объема низости и легкомыслія Селимены. Наконецъ, когда дѣло выясняется помимо него и отъ Селимены отступаются всѣ, онъ «все готовъ покрыть забвеньемъ, все оправдать, все объяснить, назвать проступки увлеченьемъ», но съ тѣмъ условіемъ, чтобы Селимена совершенно перемѣнила образъ жизни. Селимена не согласна: «Какъ? я должна покинуть свѣтъ и заживо себя похоронить въ могилѣ?.. Мнѣ только двадцать лѣтъ, а одиночество ужасно въ эти лѣта. На это силы нѣтъ во мнѣ». Только тутъ Альцестъ уразумѣваетъ, до какой степени вздорны его надежды, и объявляетъ полный разрывъ—разрывъ не съ одной Селименой: «А я, измученный продажною судей, неблагодарностью, отверженною страстью, враждой нелѣпою за пару глупыхъ строкъ (сонетъ Оронта), въ конецъ измученный борьбою безысходной, бѣгу—и можетъ быть найдется уголокъ, гдѣ можно честнымъ быть свободно».

Такъ вѣдь и «Горе отъ ума» кончается. Но Чацкій, опять-таки—не Альцестъ. Правда, у него, совсѣмъ какъ у Альцеста, «грошный взглядъ и рѣзкій тонъ»; правда, онъ, какъ Альцестъ, желченъ, придирчивъ и вспыльчивъ. Но уже совсѣмъ не по Альцестовоки, онъ, временами, полонъ самой наивной розовой вѣры въ «вѣкъ нынѣшній», когда, по его мнѣнію, «омѣхъ страшитъ и держитъ стыдъ въ уздѣ», когда «вольнѣе всякій дышетъ» и проч., и проч. «Вѣкъ нынѣшній» показалъ ему себя. «Горе отъ ума» съ такимъ же правомъ могло бы быть названо, если не «Горемъ отъ глупости», то, по крайней мѣрѣ, «Горемъ отъ недостатка ума». Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, горе Чацкого—отъ ума? Чацкій—умный человекъ, конечно; но исподнищу вещей онъ

гораздо больше невинидеть, чѣмъ дѣйствительно понимаетъ. Онъ не понимаетъ, что московская барышня Софія Паникина Фамусова никакъ не можетъ принять что божьи божья. Для него непонятно, что гадина Молчаливъ, лично лично, что онъ—гадина, можетъ оказаться его личнымъ соперникомъ. Онъ видитъ ничтожество и считаетъ его для себя безвкуснымъ, ибо не можетъ вѣрить мысли объ умѣ, насколько оно презрѣнно и въ нѣмъ презирать оно приобщается для достиженья личнаго дѣла. Точно также не можетъ онъ опуститься до мысли о красотѣ на него, разумной его возлюбленной. Замѣтьте, наконецъ, что Чацкій самолично не открылъ подлости, его опутавшей: ее ему (какъ и Тимону, и Альцесту) открыли случайнымъ, постороннимъ обстоятельства. Все это не отъ ума, разумеется, происходитъ. Все это показывается только, что есть сферы, въ которыхъ самъ по себѣ недогаданный умъ можетъ сноровать даже передъ ничтожествомъ, если только они, притомъ—и неравны. Оттого-то такъ странна встрѣча съ подлостью для Тимоня, Альцеста и Чацкого. Мало того, что ихъ личная жизнь разбита, ибо вся эта личная жизнь была вложена въ то, что ихъ предало и продало; но передъ ними вдругъ, точно въ сказкѣ, какъ по чужьему велѣнію, только не по ихъ прошенію, открывается пѣлый, для нихъ новый, отвратительный міръ, пропасть, кишмя кишущая чудовищными гадами, по самому краю которой они до сихъ поръ ходили, не зная, гдѣ они ходятъ, съ кѣмъ дѣло вѣнчать. И въ этомъ драма.

Но драма на этомъ не кончается. Прикупили-ли себѣ страдальцы своимъ страданіемъ ума—дѣло темное. Можетъ быть, тяжкій опытъ обережетъ ихъ на будущее время отъ новыхъ просаковъ, т. е. если не отъ новыхъ встрѣчъ съ подлостью вообще, то, по крайней мѣрѣ, отъ встрѣчъ неопределенныхъ, а, можетъ быть, они органически неспособны вѣдаться съ подлостью въ ея самыхъ грязныхъ формахъ. Но какъ быть съ прошедшимъ? Понять они его не могутъ, не могутъ, значить, и простить, и ихъ душевные раны требуютъ боли за боль. А причинять боль—больно.

Тимонъ разражается проклятіями, помогаетъ Алкивиаду въ его планахъ разгромить Аѣны, проситъ веселыхъ спутницъ Алкивиады сѣять развратъ и болѣзни среди аѣнской молодежи и аѣнскихъ стариковъ и проч. Но Тимонъ—прямо душевно-больной, да и то ему невыносимо жить этою неустанной и всестороннею злобою: онъ торопится въ могилу. У Альцеста мелькаетъ дикая мысль отомстить Селименѣ сближеніемъ

съ Элиантой, но, еслибы чуткая, любящая Элианта и не отвергла этого предложенія, Альцестъ, разумѣется, не былъ бы удовлетворенъ. Его личная жизнь, личное счастье разбито, онъ, можетъ быть, только случайно и попутно найдетъ его въ томъ «уголкѣ, гдѣ можно честнымъ быть свободно». Но любопытно было бы знать, что это за таинственный уголокъ, можетъ быть, тождественный съ тѣмъ «уголкомъ», куда Чацкій хочетъ пристроить свое «оскорбленное чувство». Это, отнюдь не непременно «пустыня» или «одиночество», какъ, повидимому, думаетъ г. Веселовскій. Изъ того, что Тимонъ удалился въ пустыню; изъ того, что самъ Мольеръ, вложившій въ «Мизантропа» много автобіографическихъ чертъ, любилъ иногда удаляться отъ людей; изъ того, что раздраженный Альцестъ произноситъ гиперболическую фразу: «ужъ лучше прямо въ лѣсъ и жить среди звѣрей»; изъ всего этого вовсе не слѣдуетъ, что «уголокъ» Альцеста и Чацкаго есть пустыня.

Изъ книги г. Веселовскаго узнаемъ, что одинъ изъ новѣйшихъ біографовъ Мольера, Арсенъ Гуссе (*La femme et la fille de Molière*) называлъ одну главу своего труда «Слезы Мольера» (*Les larmes de Molière*) и въ ней чуть не радуется, что поэтъ испыталъ много личного горя, ибо, дескать, безъ этого не создались бы многія изъ лучшихъ его произведеній. Въ сѣдую старину былъ, говорятъ, обычай при закладкѣ новаго дома замуровливать въ фундаментъ невиннаго младенца: вѣрили, что на этой чистой крови, на страданіяхъ невиннаго, домъ будетъ стоять особенно прочно. Разсужденіе Арсена Гуссе напоминаетъ это повѣрье. Какъ бы то ни было, но Мольеръ дѣйствительно, слезами мстилъ за свои личные несчастія, раздавая въ своихъ комедіяхъ всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, въ которыхъ блистали выкованные изъ тѣхъ слезъ сатирическіе алмазы. Правда, мсть не всегда доходила по непосредственному адресу. Извѣстно, что Селимена есть во многихъ отношеніяхъ портретъ жены Мольера, какъ Альцестъ—его собственный. Утонченное-ли мстительное чувство руководило Мольеромъ или, напротивъ, какъ думаетъ г. Веселовскій, утонченное чувство любви и надежды исправить жену, но роль Селимены Мольеръ предоставлялъ исполнять ей, а Альцеста игралъ самъ. Г. Веселовскій, однако, справедливо замѣчаетъ, что жена Мольера, едва-ли чувствовала урокъ и, вѣроятно, просто пользовалась случаемъ попокетничать на сценѣ. Но вѣдь Селимена—«пороковъ вѣка воплощеніе», какъ говоритъ Мольеръ устами Филанта, и, если непосредственная, ближайшая виновница не-

счастія поэта не понимала урока и не чувствовала боли, то другимъ носителямъ пороковъ вѣка было, во всякомъ случаѣ, больно: иначе Мольеръ не имѣлъ бы ни столько озлобленныхъ враговъ, ни столько восторженныхъ почитателей.

Почему не предположить, что «уголокъ» Альцеста и Чацкаго есть именно нѣчто въ этомъ родѣ? Личныя раны съ теченіемъ времени затянутся, оскорбительные образы Оронта и Селимены, Молчалина и Софьи Павловны поблѣдѣютъ въ памяти. Острая боль отъ личнаго оскорбленія утонетъ въ хронической боли отъ «пороковъ вѣка», въ больбѣ съ которыми страдальцы найдутъ единственное возможное для нихъ удовлетвореніе. Альцестъ и Чацкій къ этому вполне приготовлены, потому что и безъ того они не личною только жизнью живутъ и даже обладаютъ спеціальною склонностью вытягивать изъ своихъ личныхъ дѣлъ ихъ общее значеніе. Пусть тѣ, именно, представители подлости, которые непосредственно исковеркали ихъ жизнь, останутся безнаказаны или только въ малой степени ощутятъ боль, но, въ качествѣ частной мелочи, они, вѣдь, развѣ только презрѣнію заслуживаютъ, холоднаго, подавляющаго. И Альцестъ, и Чацкій поймутъ это, когда пройдутъ первыя вспышки. Они пойдутъ съ свѣточемъ правды въ рукахъ противъ общаго субстрата подлости и, яко таетъ воскъ отъ лица огня, подлость будетъ отступать все дальше, корчась отъ злобы и боли, будетъ-ли то боль стыда, или боль пораженія, боль сознанія необходимости уйти, спрятаться...

Утѣшительная картина! И еслибы для ея воплощенія въ жизни въ самомъ дѣлѣ нужны были безвинныя страданія, невинная кровь, Мольеровы слезы—Тимоны, Альцесты и Чацкіе, можетъ быть, сами легли бы въ фундаментъ новаго зданія. Но не такъ просто идутъ дѣла на землѣ, и драма все еще не кончена...

Что мнѣ Гекуба? думаетъ опять читатель, и какъ попали въ записки современника разсужденія о «милліонѣ терзаній» господъ Чацкаго, Альцеста и Тимона, которые *sind längst gestorben, verdorben*?

Клянусь, читатель, что пока я писалъ все, что вы сейчасъ прочли, текущая минута не выходила у меня изъ головы. Я думалъ именно, что вамъ отнюдь не слѣдуетъ фыркать на предлагаемую мною вашему вниманію тему, ибо текущая минута особенно благоприятна для неожиданныхъ встрѣчъ, и гдѣ-нибудь около насъ съ вами навѣрное хлопочетъ не одинъ милліонъ терзаній. Характернѣйшую черту текущей ми-

нута составляет лицемѣріе. Лицемѣріемъ окутываются хищническіе инстинкты, лицемѣріемъ украшаются всѣ гробы поваленные, лицемѣріе, какъ свинцовая туча, нависло надъ всею Россіей. Вы слышите дѣловыя рѣчи, творцы которыхъ сами знаютъ, что это—рѣчи бездѣльныя. Вы видите фигляровъ, расшибающихъ лобъ передъ тѣмъ, что они сами чуть не буквально вчера сожигали, и сожигающихъ то, передъ чѣмъ они вчера молитвенно преклонялись. Вы читаете приглашенія сѣсть съ народомъ и безъ труда открываете, что за этими пламенными приглашеніями нѣтъ ничего, кромѣ ненависти къ свѣту и карманныхъ мотивовъ. Вы видите людей, во имя идеала бьющихъ себя въ грудь правою рукою, и въ ту же минуту совершающихъ лѣвою рукою подлогъ или предательство. Мудрено не наткнуться на дерево въ такомъ дремучемъ лѣсу, и да не будетъ та встрѣча неожиданною...

И потомъ, любопытный вопросъ. Наша драма, вѣдь, еще не кончена. Положимъ, что Тимоны, Альцесты и Чацкіе, такъ или иначе, покончивъ свои личные счеты, вымещаютъ свою боль на борьбѣ съ подлостью вообще. Но подлость сильна своей общедоступностью для большинства, она можетъ пронизывать всю атмосферу, осаждалась въ учрежденія, общественныя группы, выростать въ цѣлыя стѣны, съ которыми, пожалуй, никакіе тараны не справятся. Альцестъ на себѣ испыталъ это: Оронтъ не безъ успѣха потянулъ его въ судъ за правдивое сужденіе о глупыхъ стихахъ; подлый доносъ приписалъ ему безправственный памфлетъ. Фамусовъ, въ свою очередь, независимо отъ своего личнаго гнѣва, имѣетъ уже въ головѣ мысль о запрещеніи Чацкому «на выстрѣлъ подѣзжать къ столицамъ». Въ различные времена эти усиленные препятствія получаютъ различное развитіе и различное значеніе. Читателю предоставляется размыслить, въ какое время и что ждетъ на этомъ пути Тимоновъ, Альцестовъ и Чацкихъ...

И вотъ мы вернулись къ началу, ибо Тимоны, Альцесты и Чацкіе суть интеллигенція.

Я не хотѣлъ сегодня распространяться объ интеллигенціи, объ ея отношеніи къ народу, къ буржуазіи и проч. Не собираюсь и теперь. Позвольте всего нѣсколько словъ.

Пока я занимался «милліономъ терзаній», «Новое Время» успѣло напечатать еще одинъ фельетонъ, посвященный интеллигенціи, гдѣ опять мое имя упоминается всею, хотя на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, безъ прямого вранья, а только съ умолчаніями. Говоря о взаимныхъ отношеніяхъ интеллигенціи и бур-

жуазіи, я, для иллюстраціи, привелъ по одному образчику чистой интеллигенціи (Лермонтовъ), чистой буржуазіи (г. Губонинъ) и помѣси интеллигенціи съ буржуазіей (г. Аксаковъ). Это была просто схема, причѣмъ количественныя отношенія вовсе не имѣлись въ виду. Изъ этой схемы г. П. О., авторъ фельетона, почему-то вычеркнулъ г. Аксакова (вѣроятно, изъ уваженія къ этому доблестному мужу) и затѣмъ умозаключаетъ, что я проникнуть уваженіемъ ко всей русской интеллигенціи, защищаю ее, дѣлаю подлогъ, подставляя Лермонтова вмѣсто интеллигенціи и проч. Нѣтъ, я г. Аксакова и ему подобныхъ не уважаю, не защищаю и съ Лермонтовымъ не смѣшиваю. Я говорю объ томъ, какъ *должна* вести себя интеллигенція, я ужъ, конечно, не хуже сотрудниковъ «Новаго Времени» знаю, что она, въ большинствѣ случаевъ, ведетъ себя не такъ, какъ слѣдуетъ. Затѣмъ, г. П. О. по своему комментируетъ мои слова: «Лермонтовъ убитъ на дуэли, Пушкинъ задохся въ атмосферѣ подлости, Бѣлинскій померъ отъ чахотки и цензуры и т. д.». Но г. П. О. не только комментируетъ, а кромѣ того вычеркиваетъ слова и цензуры. Для того онъ это дѣлаетъ, чтобы сказать: «Потому-то они и «гибнутъ на дуэли», «задыхаются въ атмосферѣ подлости» и «умираютъ отъ чахотки», что не имѣютъ, гдѣ главу преклонить, что среди самой интеллигенціи встрѣчаютъ лишь зависть, клевету, самую грубую эксплуатацію и т. п. мерзости». О, да! я это очень хорошо знаю. Я больше знаю. Я знаю, что не надо обладать, напримѣръ, колоссальнымъ талантомъ Лермонтова, а довольно быть Чацкимъ или Альцестомъ, чтобы встрѣтиться съ подлостью и изнемогъ подъ ея ударами. Но это—только полъ-истины. Представьте себѣ Чацкаго, очищеннаго въ горнилѣ страданія, отрекшагося отъ погони за личнымъ счастьемъ, на которомъ онъ такъ жестоко обманулся. Представьте себѣ его на полѣ общественной дѣятельности. Онъ, конечно, наткнется на такой рожекъ, какого никогда не встрѣтилъ бы, еслибы отправился гулять по свѣту, подъ ручку хоть съ тѣмъ же г. Губонинымъ. И въ этомъ все дѣло.

Еще два слова. Г. П. О. называетъ Лермонтова «святыней цѣлаго народа». Такъ-ли это? Народъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, Лермонтова не знаетъ и ничего въ немъ, кромѣ развѣ пѣсни про Калашникова и Кирибѣвича, не пойметъ. Онъ—столь же чужой народу, какъ и любой заурядный представитель интеллигенціи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе чужой. Это—большое несчастіе, какъ для самого Лермонтова, такъ и для народа. Но «чужой» не всегда означаетъ «враждебный», равно какъ «свой»

не есть непременно синонимъ «дружественнаго».

Это, впрочемъ,—матерія слишкомъ длинная и сложная, чтобы ее затрогивать сегодня...

Надо надѣяться, что мы когда-нибудь выучимся азбукѣ. Смѣлая, конечно, надежда, но всетаки осуществимая. Во всякомъ случаѣ, проживемъ — увидимъ, а до тѣхъ поръ надо приниматься за азбуку, хотя это очень скучно для взрослыхъ людей. Скучно и даже какъ будто маленько стыдно. Но вѣдь еще стыднѣе вѣровать или, по крайней мѣрѣ, исповѣдывать, что *буки-азъ* не *ба*, а *дра* или что-нибудь еще болѣе несуразное. Вѣровать или, по крайней мѣрѣ, исповѣдовать, потому что есть вѣрующіе, но есть и не вѣрующіе, а только исповѣдующіе. Кто изъ нихъ хуже, сказать трудно. Вѣрнѣе всего, что оба сорта хуже, каждый въ своемъ родѣ. Вѣрующіе, что *буки-азъ*—*дра*, невѣжды; это ихъ невѣжество, само по себѣ вполне простительно и поправимо, ибо знаніе — дѣло наживное, и, при нѣкоторомъ усилии, можно научиться азбукѣ, даже въ томъ возрастѣ, когда азбукѣ учиться стыдно. И потомъ, есть вещь, которая можетъ украсить самое глубокое невѣжество: это—скромность. Но совершенно уже непростительно, когда невѣжество является передъ публикой въ полной парадной формѣ спасителя отечества. Тѣмъ непростительнѣе, разумеется, поведение людей не вѣрующихъ, а только исповѣдующихъ, что *буки-азъ*—*дра*. Столь это занятіе завѣдомо предосудительно, что даже въ прописяхъ не одобряется.

Во всякомъ случаѣ, давайте, примемся за азбуку...

IX.

Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей *).

Не знаю, что будетъ на очереди, когда вы будете читать эти строки, а теперь, когда я принимаюсь писать, можно подумать, что вселенная наполнена «пѣснью торжествующей любви» И. С. Тургенева. Будто даже «свѣдущихъ людей» нѣтъ на свѣтѣ, а только стоитъ гдѣ-то въ пространствѣ Муцій и льетъ чарующіе звуки со струнъ своей волшебной скрипки. Пройдетъ нѣсколько дней, и отъ пѣсни торжествующей любви не останется даже воспоминанія. Совсѣмъ инныя размышленія и разговоры займутъ читающій людъ, какъ будто обаятельные звуки скрипки Муція никогда не разогнали воздуха и никогда не блистали алмазъ на его смычкѣ.

Это навѣрное такъ будетъ, но это еще равно ничего не говоритъ противъ новаго произведенія нашего маститаго художника. Просто, мы какъ-то ужасно мелки стали, мелки и забывчивы. Вещи безъ сравненія крупнѣйшія, чѣмъ исторія Муція, Фабія и Валеріи, точно также вызываютъ большую или меньшую рябь на нашемъ житейскомъ морѣ, рябь, которую можно даже иногда принять за настоящія волны, а по простествіи нѣкотораго времени погибаютъ, какъ тѣ Обры, «ихъ же, по словамъ лѣтописца, нѣсть племени, ни наслѣдка». Именно ни племени, ни наслѣдка. Ничто не вѣчно подъ луной, и всякой вещи надлежитъ въ свое время утонуть въ забвеніи. Но, во-первыхъ, *въ свое время*, а во-вторыхъ, должна же существовать преемственность вещей. Во всѣхъ учебникахъ логики на разные манеры обсуждается то положеніе, что всѣ люди смертны, а Иванъ—человѣкъ и, слѣдовательно, тоже смертенъ. Ну, и прекрасно: Иванъ умеръ, когда дошелъ до него чередъ. Но вѣдь у него былъ сынъ Степанъ, а у того дочь Степанида и т. д. Такъ и въ мірѣ идей, событій, чувствъ, думъ. А у насъ нынче выходитъ совсѣмъ не такъ. Вы видите временами лица, какъ будто оживленныя скорбью или восторгомъ, негодованіемъ или испугомъ, слышите лязгъ и бряцанье какихъ-то доспѣховъ, *ad hoc* вытасченныхъ изъ арсеналовъ и музеевъ и наскоро приведенныхъ въ порядокъ. А черезъ минуту, все это исчезаетъ точно въ фееріи какой, такъ что участники фееріи даже не помнятъ, въ какіе доспѣхи они облакались и по какому случаю. Завтра они, все съ тою же кажущейся горячностью, будутъ повторять аргументы своихъ вчерашнихъ противниковъ, да и въ самомъ пылу битвы будутъ метаться туда и сюда.

Все это отъ мелкости, я думаю, отъ плоскодонности, отъ отсутствія дѣйствительнаго, глубокаго возбужденія, которое, что называется, хватало бы за сердце.

Возьмите, наприкладъ, хоть ту же «Пѣснь торжествующей любви». Говору въ гостинныхъ и въ газетныхъ фельетонахъ весьма много. Съ задоромъ высказываются мысли о законныхъ предѣлахъ искусства, о служеніи чистой красотѣ и слышится старинная фраза: «такъ, по вашему, сапоги выше Шекспира?!» Но вы безъ труда усматриваете, что все это—«мечи картонные» или, самое большое, мечи, хотя и настоящіе, въ свое время сослужившіе свою службу, но нынѣ совершенно ржавые и только такъ, случайно вынутые изъ музея. Еслибы вы въ этомъ усомнились, то стоитъ только припомнить тѣ времена, когда вопросы о законныхъ предѣлахъ искусства, о служеніи чи-

*) 1881 г., Декабрь.

стой красотѣ, объ отношеніи сапогъ къ Шекспиру представляли у насъ поле настоящей, горячей битвы. Худо-ли, хорошо-ли разсуждали въ тѣ времена объ враждующія стороны, но несомнѣнно, что для нихъ это были вопросы жизненные, въ которые они душу свою полагали. Безчисленными нитями связывались они для нихъ съ различными сторонами жизни, и частный вопросъ о задачахъ искусства не стоялъ въ любви данную минуту «одинъ, одинъ бѣдняжка, какъ рекрутъ на часахъ». Конечно, и тогда существовали недоразумѣнія, недоумѣнія, противорѣчія, это все—дѣло житейское, неизбежное; но, по крайней мѣрѣ, люди старались, чтобы тѣ или другія требованія, поставляемыя ими искусству, находились въ согласіи съ другими сторонами ихъ разумѣнія вещей міра видимаго и невидимаго. Если кто думалъ, что искусство есть нѣчто самодовлѣющее, что оно само въ себѣ носитъ свою цѣль, тотъ искалъ и другихъ, столь же самодовлѣющихъ цѣлей и клалъ къ подножію ихъ всѣ дѣла человѣческія. Наоборотъ, кто думалъ, что искусство есть лишь средство для достиженія иныхъ цѣлей, тотъ освѣщалъ съ точки зрѣнія этихъ высшихъ цѣлей не только область искусства, а и житейскія дѣла всякаго рода. При такихъ условіяхъ, ни одно явленіе жизни, искусства, науки не можетъ стоять, такъ сказать, ершомъ: всѣ они извѣстными образомъ между собою связываются, всѣ другъ друга напоминаютъ, а не высказываютъ поочередно, изъ-за ширинъ, какъ Петрушка, чтобы прокричать свою реплику и потомъ опять провалиться за ширмы. А теперь?

Идутъ усиленные разговоры о задачахъ искусства, но зачались они вдругъ, по случаю «Пѣсни торжествующей любви», и также вдругъ, по прошествіи извѣстнаго времени, оборвутся. Оборвутся до такой степени безслѣдно и бесплодно, что къ слѣдующему подобному случаю, который наступить, можетъ быть, черезъ годъ, можетъ быть, черезъ два, вы услышите буквально тѣ же разговоры, какъ будто дотолѣ ихъ никогда и не было. Но при этомъ вы отнюдь не можете поручиться, что, напримѣръ, Ивановъ или Сидоровъ, котораго сегодня иронически спрашиваютъ: «такъ, по вашему, сапоги выше Шекспира?!» — чтобы онъ къ тому времени самъ не научился задавать этотъ самый вопросъ съ такою же безмысленно побѣдоносною ироніей. Этого мало. Одна газета, чрезвычайно презирающая «интеллигенцію», въ то же время восторгается «Пѣснью торжествующей любви», какъ произведеніемъ чистаго, самодовлѣющаго искусства, далекаго отъ какой бы то ни было тенденціозности. Между тѣмъ, если интеллигенція въ самомъ дѣлѣ должна быть поставлена

въ положеніе рака на мели, если ея цѣли и задачи непремѣнно зловредны, то понятное дѣло, что прежде всего подлежать строжайшему осужденію произведенія въ родѣ «Пѣсни торжествующей любви». Никакъ нельзя говорить: интеллигенція есть паразитъ, интеллигенція подлежитъ искорененію и т. п., и въ то же время любоваться на произведеніе искусства, въ которомъ ярче, чѣмъ въ чемъ-нибудь, выражается паразитизмъ интеллигенціи, ея оторванность отъ интересовъ народа и т. п. Почтенная газета («Новое Время») даже не пытается свести свои концы съ концами, а это свидѣлствуетъ, что либо ея презрѣніе къ интеллигенціи не искренно и не сильно, либо произведеніе И. С. Тургенева вовсе ужъ не такъ ей понравилось.

Не для того, чтобы полемизировать съ «Новымъ Временемъ», а единственно для иллюстраціи современной разорванности и плоскодонности, я приведу слѣдующую выписку изъ № 2068 этой газеты. Дѣло идетъ о какомъ-то спектаклѣ:

«Pour la bonne bouche, долженъ былъ идти большой дивертисментъ, который распорядителю заботливо составили изъ самыхъ милостивыхъ танцовщицъ нашего казеннаго балета. Г-жа Оголейтъ 1-ая весьма кокетливо протанцовала съ г. Л. Ивановымъ «la permission de dix heures» — миленькую польку изъ небольшого балета г. Петиша «Фризакъ». Послѣдній не худо бы возобновить для большаго разнообразія нашего балетнаго репертуара. Г-жа Недремская, талантливая танцовщица, только что окончившая курсъ, исполнила solo-попурри изъ наиболѣе любимыхъ балетныхъ танцевъ: pas de crotales petit coqsair и т. д. Легкость и изящество безъ большой силы — отличительныя черты г-жи Недремской, обладающей еще парой красивыхъ глазъ. Слабѣ танцовала тарантеллу г-жа Оголейтъ 3-я, наружность которой составляетъ теперь предметъ весьма пріятныхъ бесѣдъ между балетоманами, и мазурку — г-жа Андреева. Партнерами послѣднихъ танцовщицъ были гг. Карсавинъ и Татаринъ».

Прочитавши эту совершенно на удачу, то-есть безъ всякихъ поисковъ и стараній найденную въ «Новомъ Времени» цитату, вы невольно изумляетесь: какъ можно презирать интеллигенцію, корить ее за то, что она живетъ на счетъ народа, ничего ему взамѣнъ не давая, и въ то же время такъ пристально и съ такимъ сочувствіемъ слѣдить за интересами господъ балетомановъ? Въ № 2047, напримѣръ, «Новое Время» съ весьма, повидимому, прочувствованнымъ негодованіемъ говоритъ объ одномъ земствѣ, которое «употребляетъ крестьянскія деньги на школы дѣтей не крестьянъ, а болѣе высшихъ сословій». Это очень справедливое негодованіе, но любопытенъ и знать, на какія деньги будетъ возобновленъ балетъ г. Петиша «для большаго разнообразія нашего балетнаго репертуара» и на какія деньги

блистает со сцены «пара красивых глаз» г-жи Недремской?

Возвращаясь къ разговорамъ о «Пѣснѣ торжествующей любви».

Другая газета («Новости») пожелала сказать свое слово о рассказѣ г. Тургенева въ связи съ полемическимъ эпизодомъ насчетъ буржуазіи и интеллигенціи. Я подчеркну только одну подробность размышлений почтенной газеты—остальное неинтересно. «Новости» напоминаютъ, что во Франціи, со времени образованія такъ называемой романтической школы, установилось особенное, условное понятіе словъ «буржуа», «буржуазный». Именно, дескать, слова эти употребляются въ смыслѣ прямой противоположности всему вдохновенному, поэтическому, изящному. Отсюда выводъ: у насъ истинные буржуа суть тѣ, кто требуетъ утилитарной подкладки для художественнаго произведенія, кто утверждаетъ, что сапоги выше Шекспира. Мимоходомъ сказать, пора бы этотъ вздоръ на счетъ сапоговъ и Шекспира бросить. Говорить, что сапоги выше Шекспира (если это когда-нибудь кто-нибудь говоритъ), столь же нелѣпо, какъ утверждать, что Шекспиръ выше сапоговъ: Шекспиръ самъ по себѣ, сапоги сами по себѣ, и никакому сравненію они не подлежатъ. Что же касается оригинальнаго вывода газеты «Новости», то логически онъ вполне правиленъ: если подъ буржуазіей разумѣть то, что разумѣли французскіе романтики, то и т. д. Но вопросъ въ томъ—какое намъ дѣло до точки зрѣнія французскихъ романтиковъ и ихъ. условнаго жаргона? Мало-ли какое содержаніе вкладывалось въ разное время въ слово буржуа и мало-ли какіе обличья принимала въ теченіе исторіи буржуазія. Буржуа былъ, напримѣръ, нѣкогда человѣкомъ, закованнымъ въ желѣзо и собственноручно отражавшимъ нападенія надменнаго феодала. Какое же намъ до этого дѣло при нашихъ разсужденіяхъ объ относительно значеніи интеллигенціи и буржуазіи? Ясно, что словесный кунштштукъ фельетониста «Новостей» вызванъ отнюдь не желаніемъ пролить, по мѣрѣ силъ, свѣтъ на предметъ спора, а просто такъ, для разговора. Ну, а разговоръ для разговора, конечно, завтра же забудется, ибо онъ вовсе не рассчитанъ на то, чтобы принести завтра какой-нибудь плодъ. Въ спорахъ о буржуазіи и интеллигенціи подъ буржуазіей разумѣется классъ людей, непосредственно не трудящихся и владѣющихъ орудіями производства, сосредоточеніе которыхъ обусловливается юридическими нормами, формами производства, государственными учрежденіями, системами кредита и крупныхъ общепользовныхъ предпріятій, системами на-

роднаго образованія и проч. Въ зависимости отъ этихъ разнообразныхъ условій складывается нравственный обликъ буржуазіи, ея политическій символъ вѣры, ея вкусы и стремленія. Газетѣ «Новости» надлежало опредѣлить отношеніе чистаго искусства вообще и «Пѣсни торжествующей любви» въ особенности къ буржуазіи, именно въ этомъ смыслѣ, а вовсе не въ томъ, какой разумѣли французскіе романтики.

Что касается меня лично, то я думаю, что чистое искусство есть созданіе фантазіи, въ дѣйствительности не существующее. Это, пожалуй—идолъ, передъ которымъ вѣрующіе, а иногда и невѣрующіе молятся, у котораго есть жрецы, но который, какъ всякій идолъ, есть ложь. Въ дѣйствительности, никто чистому искусству не служитъ, а оно, наоборотъ, всегда и непремѣнно кому-нибудь или чему-нибудь служить. Пустая форма (все равно прекрасная или безобразная), форма безъ содержанія немислима. Содержаніе можетъ быть мелко или крупно, вложено въ художественную форму сознательно или попасть туда помимо воли и сознанія художника, но оно, во всякомъ случаѣ, непремѣнно есть. Есть оно и въ «Пѣснѣ торжествующей любви», разумѣется.

Меня поразило одно словесное возраженіе, полученное въ разговорѣ о законности произведеній типа «Пѣсни торжествующей любви». Мнѣ было сказано: «такъ вы хотите оставить человечество при однихъ низменныхъ, животныхъ инстинктахъ?» Но развѣ только и свѣту, что въ окошкѣ? Пожалуйте на улицу, пожалуйста въ поле—тамъ солнце сіяетъ съ небесъ. Еслибы я отрицалъ даже всю область поэзіи, во всѣхъ ея видахъ и формахъ (чего я, разумѣется, не дѣлаю), такъ и то оставались бы на свѣтѣ добро, правда—истина и правда—справедливость, вовсе не мирящіеся съ низменными, животными инстинктами. Что касается этихъ инстинктовъ, то художественныя произведенія въ родѣ «Пѣсни торжествующей любви» не только не отодвигаютъ ихъ въ задній уголъ, а, напротивъ, ставятъ на пьедесталъ. *Wage du zu träumen*, такъ, помнится, гласитъ эпиграфъ къ фантастическому разсказу И. С. Тургенева. О да! *wage*. Отнять мечту у человѣка было бы слишкомъ безжалостно. Но замѣйте, что весь Траумъ, вся мечта уходитъ въ разсказъ на фантастическую обстановку, представляющую смѣсь «Тысячи и одной ночи» съ гипнотическими сеансами Ганзена. Въ этомъ направленіи Траумъ заходитъ, дѣйствительно, далеко. Но относительно внутренняго содержанія, неужели надо быть очень смѣлымъ мечтателемъ, чтобы представить себѣ, какъ молодой человѣкъ и молодая женщина, влекомые чисто

физическою страстью (въ духовномъ отношеніи чувства Валеріи къ Муцію даже неприязненны), сходятся, дѣлаютъ ребенка и затѣмъ расходятся, чтобы никогда больше не увидаться? Право же, это—очень скудная исторія изъ области именно низменныхъ инстинктовъ, полъ-де-коковскій анекдотъ, который рѣшительно не стоило вставлять въ такую, блистающую роскошью фантазіи рамку. Не стоило и, смѣю сказать, не слѣдовало. Я слышалъ мнѣніе, что «Пѣснь торжествующей любви» есть художественная иллюстрація къ метафизикѣ любви Шопенгауера. По этой метафизикѣ, мировая воля обманываетъ людей всею чарующею прелестью любви единственно въ интересахъ вида homo sapiens, единственно для того, чтобы любящіе сердца произвели на свѣтъ новаго человѣка. А такъ какъ, дескать, супружество Фабіи и Валеріи было безплодно, то и явился на сцену Муцій. Не знаю, имѣлъ-ли что-нибудь подобное въ виду И. С. Тургеневъ, но знаю, что это—невѣрное или, по крайней мѣрѣ, неполное толкованіе теории Шопенгауера, которая требуетъ отъ любви пополненія контрастовъ между любящими и всей тонкой игры чувствъ, возникающей при такомъ пополненіи, а не мистически грубаго и голаго взаимнаго влеченія какого-нибудь Муціи и какой-нибудь Валеріи. Расскажите этотъ самый анекдотъ во всей его нагой правдѣ, безъ всѣхъ этихъ скрипокъ, нѣмыхъ малайцевъ, змѣй и яшмовыхъ чашечекъ, и если ваши слушатели не скажутъ, что это—мерзость, такъ только потому, что это—слишкомъ ужъ вульгарная, пріѣвшаяся исторія. А въ фантастической рамкѣ, совершаясь подъ звуки какой-то необыкновенной музыки, и, вообще, въ обстановкѣ мечты, идеала Тгапш'а, анекдотъ получаетъ, повидимому, совсѣмъ другой характеръ. Но это только, повидимому, а на дѣлѣ ничего, кромѣ низменныхъ инстинктовъ, анекдотъ не затрагиваетъ.

Вы можете придать какому-нибудь сосуду форму красивую или безобразную, можете влить въ него ядъ или лекарство, шипазское вино, которымъ Муцій опоилъ Валерію, или очищенную водку. Но вы очень ошибетесь, если подумаете, что, не наливъ въ него ничего, вы такъ его пустымъ и оставили: въ крайнемъ случаѣ, въ немъ окажется воздухъ и, по всей вѣроятности, болѣе или менѣе испорченный. Такъ и въ поэзіи. Художникъ можетъ вдвинуть въ художественную форму очень разнообразное содержаніе и, слѣдовательно, заставить свое искусство служить очень разнообразнымъ цѣлямъ. Но если онъ захочетъ служить именно чистой красотѣ, именно формѣ, то, помимо его воли и сознанія, въ эту форму

вкрадется, по всей вѣроятности, очень низменное содержаніе, а слѣдовательно, и искусство будетъ служить очень низменнымъ цѣлямъ.

Дѣло въ томъ, что чистая красота есть лишь отвлеченная категорія, созданіе анализа, необходимое при извѣстныхъ логическихъ операціяхъ, но въ дѣйствительности, какъ ничто живое, совсѣмъ не существующее. Ничего просто прекраснаго въ жизни нѣтъ, и въ понятіе о прекрасномъ непременно входятъ сознаваемые или несознаваемые вами, положительные или отрицательные, возвышенные или низменные элементы добра и правды. А потому искусство для искусства руководящимъ принципомъ быть не можетъ. Столь гордое своею отрѣшенностью отъ всѣхъ земныхъ скорбей и радостей, витающее въ надзвѣздныхъ сферахъ отвлеченной красоты, чистое искусство на дѣлѣ оказывается всегда и непременно чѣмъ-нибудь покорнѣйшимъ слугой. Чѣмъ?—это опредѣлится условіями жизни художника. Если онъ своими личными усиліями опредѣлитъ для себя отношенія прекраснаго къ истинному, добруму, справедливому, онъ сдѣлаетъ искусство орудіемъ для достиженія тѣхъ или другихъ сознательно выбранныхъ цѣлей. Если же онъ захочетъ отдаться исключительно на волю своего влеченія къ прекрасному, то нравственный элементъ все-таки бессознательно войдетъ въ его работу, но войдетъ въ томъ грубомъ, сыромъ видѣ, въ какомъ онъ носится въ окружающей художника средѣ, въ томъ общественномъ слоѣ, къ которому художникъ принадлежитъ. Въ концѣ концовъ, такимъ образомъ, гордое, чистое искусство окажется на службѣ интересовъ даннаго общественного слоя.

Я понимаю, читатель, что все это—слишкомъ философская бесѣда для «Записокъ современника», и потому буду кратокъ.

Искусство для искусства—не единственный въ своемъ родѣ идолъ современнаго челоѣчества. Ихъ существуетъ цѣлая коллекція: наука для науки, справедливость для справедливости, богатство для богатства. Всѣ эти, якобы самодовлѣющія, цѣли оказываются на дѣлѣ средствами, бессознательными слугами интересовъ извѣстной общественной группы. Во избѣжаніе самообмана и обмана другихъ, эту бессознательность необходимо ликвидировать. Пусть гордые люди либо сами поймутъ и другимъ откровенно скажутъ, чему именно они служатъ, либо выберутъ себѣ другой, высшій предметъ служенія. Этими высшимъ предметомъ можетъ быть не красота, не истина, не справедливость, а только челоѣческая личность, цѣльная и полная, въ которой всѣ эти отвлеченныя категоріи складываются въ живое единство.

Для чисто теоретических областей человеческой деятельности этот критерий всегда ясен и удовлетворителен. Но мы здесь оставим это обстоятельство без дальнейших разъяснений, которые завели бы нас слишком далеко, и обратимся к сферам практическим, где критерий человеческой личности, благодаря запутанности отношений, может повести к большим недоразумениям.

Первая французская революция с громом и треском провозгласила торжество личного начала, во имя которого были разрушены старые формы политической и экономической жизни. Результат, к которому привел этот колоссальный опыт, ныне ни для кого уже не составляет предмета сомнений: на деле человеческая личность вовсе не стала во главе угла нового общественного здания, и вся операция ограничилась замною привилегии происхождения привилегией богатства. Но это — не довод против личного начала, как руководящего принципа, ибо хотя личность отчасти, действительно, вырвалась из сжимавших ее феодально-цеховых тисков, но немедленно же попала в тиски буржуазно-капиталистические. На практике, не личному началу послужил переворот, а тому третьему слову, о котором Свист, с надменностью, доселѣ соблазняящую людей в родѣ г. Суворина, говорил, что оно должно быть, «всѣмъ». Умудренные тяжелым историческим опытом, мы должны, конечно, прежде всего бросить эту надменную иллюзию. Зато, если уж нам трудно оперировать в наших сложных общественных отношениях непосредственно при помощи личного начала, если это — все-таки слишком отвлеченный руководящий принцип, то надлежит прискаты такой общественный элемент, служение которому наиболее приближало бы нас к намеченной цели. Такой общественный элемент есть. Это — народ. Народ в смысл не нации, а совокупности трудящегося люда. Труд — единственный объединяющий признак этой группы людей — не несет с собой никакой привилегии, служба которой мы рискуем усилить какому-нибудь одностороннему началу: в труд личность выражается наиболее ярко и полно.

Но служить не значит прислуживаться. Служить народу не значит потакать его невежеству или прилаживаться к его предразсудкам. Мы, «вверху стоящие, что гордъ на горѣ», мы, богатые теоретическим знанием и чужим историческим опытом, должны стать на страже интересов народа, охранять их от попятных заведомых врагов и тех лицемерных друзей, кото-

рые желают держать его в темноте невежества...

Простите, читатель, за крайнюю блгу и схематичность изложения. Но я, во-первых, боюсь наскутить вам, удерживая вас в теоретической области, а во-вторых, я не новое что-нибудь излагаю, а только напоминаю то, что много раз развивалось на страницах «Отечественных Записок» в самых разнообразных формах и по самым разнообразным поводам. Мне нужно было напомнить вам все это в виду тех людей, которые ныне бьют нам челом нашим же добром, только изуродованным. Они нас учат насчет правильных отношений интеллигенции к народу; они, вечно шатающиеся из стороны в сторону и только пасквили и скандалу неизменно преданные, учат нас, никогда не забывавших, что такое идола науки для науки, искусства для искусства, богатства для богатства, справедливости для справедливости; нас, всегда приглашавших науку, искусство, публицистику, т.е. интеллигенцию, взять народ за центр тяжести своей работы... И не рядом только холодных логических выводов пришли мы к такому результату. В нас говорит и щемящее чувство ответственности перед народом, неоплаченного ему долга за то, что, насчет его вольной работы и кровавого пота, мы дошли до возможности строить эти логические выводы. Мы можем поэтому с чистою совестью сказать: мы — интеллигенция, потому что мы многое знаем, обо многом размышляли, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой: слѣпыми историческим процессом мы оторваны от народа, мы — чужие ему, как и все так называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разум наш с ним. Сердце и разум — замѣйте это сочетание. Это не минутная вспышка сентиментальности, не те женские слезы, о которых говорится в пѣснѣ, что онѣ, как роса: взойдет солнце, роса высушится. Еслиб чувство остыло или охладѣло под напором житейских дел и делшек, не поколеблется разум, а поколеблется разум — поддержит чувство. Чтобы привести хоть одну фактическую иллюстрацию, я напому наши отношения к разнообразным попыткам приложить биологические доктрины и в особенности теорию Дарвина к общественной жизни. Эти попытки возмутительны для нас именно потому, что онѣ хотят одѣлать из народа нѣчто, законами самой природы обреченное на вѣчную страду pour les beaux yeux горсти избранных. Но онѣ, кроме того — ложь и своим примѣром свидѣтель-

чувствуют, что дѣла на землѣ идутъ, въ концѣ концовъ, не скверно, ибо истина и справедливость не въ разладѣ живутъ: нельзя купить истину цѣною страданій миллионѣвъ...

Мы не имѣемъ ничего общаго съ тою долею интеллигенціи, которая хочетъ, по недоразумѣнію, служить чистой наукѣ, чистому искусству, насаждать въ отечествѣ абстрактное богатство, абсолютную справедливость. Тѣмъ паче далеки мы отъ тѣхъ представителей науки, искусства, журналистики и практики, которые безъ всякихъ недоразумѣній служатъ, напримѣръ, туманному образу грядущей русской буржуазіи. Но я готовъ всетаки отстаивать нѣкоторые общія права интеллигенціи и даже самое слово «интеллигенція».

Не Богъ знаетъ, конечно, какая находка это слово, но любопытно, что одинъ изъ аргументовъ противъ него гласитъ такъ: нигдѣ въ Европѣ подобное слово не употребляется въ смыслѣ опредѣленія особой общественной силы. И это говорятъ, главнымъ образомъ, люди, которые во всѣхъ другихъ отношеніяхъ плюютъ на Европу, дескать, Европа намъ не указъ, она сама по себѣ, мы сами по себѣ, мы должны быть самобытны! Ну, и будемъ самобытны, осмѣлимся имѣть термины и понятія, Европѣ неизвѣстныя. По моему, въ самой наличности этого нескладнаго на русское ухо слова есть нѣчто отчасти утѣшительное, отчасти прискорбное и, во всякомъ случаѣ, обусловленное особенностями русской исторіи.

Къ тому времени, когда въ Европѣ восторжествовала буржуазія и Сіэзъ получилъ возможность сказать знаменитую фразу, что третье сословіе должно быть «всѣмъ», вся интеллигенція, за чрезвычайно рѣдкими исключеніями, была въ полномъ единеніи съ буржуазіей. Цѣлыя новыя отрасли науки, таковы политическая экономія и конституционное право, возникли подъ ея непосредственнымъ давленіемъ и эксплуатировались въ ея интересахъ. Философія, точныя науки, поэзія такъ или иначе служили интересамъ буржуазіи, расшатывая тѣ общественныя силы, съ которыми ей приходилось бороться, и проповѣдуя новыя начала, близкія уму, сердцу и карману буржуазіи. О текущей политической печати и говорить нечего. Съ своей стороны, и буржуазія добивалась, прежде всего, всяческой свободы, въ томъ числѣ свободы мысли и слова, которая нужна интеллигенціи, какъ вода рыбѣ. Такимъ образомъ ни въ какомъ терминѣ въ родѣ «интеллигенція», не было и надобности: интеллигенція совпадала съ буржуазіей и утопала въ ней. Теперь въ Европѣ дѣла стоятъ, разумѣется, иначе. Новый общественный слой, такъ называемое четвертое

сословіе выставило свою новую интеллигенцію, и сплошь и рядомъ интеллигентный человѣкъ, буржуа по происхожденію и даже образу жизни, силою вѣщей влечется къ защитѣ совершенно не буржуазныхъ принциповъ. Но своихъ, особыхъ, специальныхъ интересовъ и задачъ эта новая интеллигенція также не имѣетъ. Ея интересы отчасти (во всемъ, что касается свободы мысли и слова) совпадаютъ съ интересами всякой, въ томъ числѣ и враждебной ей интеллигенціи, а отчасти съ интересами выдвинувшаго ее общественного слоя. Такимъ образомъ, по обстоятельствамъ своего историческаго развитія, Европа не имѣетъ надобности въ особомъ терминѣ для того, что у насъ называется интеллигенціей. Ну, а у насъ это слово привилось и употребляется даже тѣми, кто его отрицаетъ. Есть же этому какія-нибудь причины. Не знаю, право, откуда у насъ это слово взялось. Говорятъ, будто его г. Боборыкинъ выдумалъ. Не знаю. Но выдумать слово не штука. Вотъ напримѣръ, г. Суворинъ выдумалъ недавно слово «думные люди». вмѣсто «свѣдующіе люди» (кажется, такъ, навѣрное не помню, но въ этомъ родѣ), но ничего изъ этой выдумки не простекло. А если слово привилось, и еще вдобавокъ такое нескладное, неуклюжее слово, какъ «интеллигенція», такъ, значить, оно соответствуетъ какой-то настоятельной потребности. Нужно оно, значить, было. Говорятъ, будто это отъ нашего лицемѣрія: дескать, всѣ мы буржуа и всѣ, если не сегодня защищаемъ, такъ завтра будемъ защищать интересы буржуазіи и буржуазныя принципы, а только намъ стыдно въ этомъ признаться. Не спорю, что для многихъ отдѣльных случаевъ это можетъ быть и справедливый упрекъ, но заслуживаетъ вниманія уже самый этотъ фактъ стыдливости. Говорятъ, будто дѣло въ нашей гордости: дескать мы соль земли, мы «интеллигенція». Но какія же такія необыкновенно гордыя претензіи заявляетъ интеллигенція? Въ эту минуту, по крайней мѣрѣ, она только проситъ позволенія говорить вслухъ, а для человѣка, существа, отъ самага Господа Бога снабженнаго даромъ слова, это достаточно умѣренная просьба, чтобы толковать по этому поводу о гордости.

Нѣтъ, должно быть слово «интеллигенція» привилось не потому, что его г. Боборыкинъ или кто другой выдумалъ, и не потому, что имъ хотятъ прикрываться лицемѣры и гордецы. Должно быть, оно въ самомъ дѣлѣ нужно. И, конечно, нужно.

Г. Суворинъ когда-то говорилъ, что ни одной моей статьи онъ не читалъ, а если ему случается говорить о моихъ писаніяхъ, одобрять или не одобрять ихъ, такъ по на-

слышкѣ. Нынѣ онъ, очевидно, меня читаетъ, хотя и не особенно внимательно. Очень польщенъ. Такъ вотъ, если этой чести удостоится и настоящая глава «записокъ современника», то я попрошу г. Суворина объяснить мнѣ, какъ собственно онъ относится къ буржуазіи: желаетъ или не желаетъ онъ ея торжества на русской землѣ? Правда, онъ однажды сказалъ съ свойственной ему откровенностью: «я за буржуазію». Это очень опредѣленно, конечно. Но затѣмъ я прочелъ въ другой статьѣ г. Суворина слѣдующее: «у буржуазіи есть стремленія хорошія, прогрессивныя, изъ буржуазіи могутъ выдѣлиться партіи, изъ которыхъ ни одна не назовется интеллигенціей, но изъ которыхъ навѣрно выдутъ партіи болѣе или менѣе враждебныя буржуазіи». Это ужъ вовсе не опредѣленно. Хорошее надо брать вездѣ, гдѣ его взять можно, а значить, и у буржуазіи, но затѣмъ же брать буржуазію цѣликомъ, особливо въ томъ странномъ разчетѣ, что изъ нея съ теченіемъ времени выйдутъ партіи, ей враждебныя? Я готовъ былъ искать въ другихъ мѣстахъ газеты г. Суворина объясненія этому недоразумѣнію. Но нашелъ въ одномъ мѣстѣ негодованіе на земство, воспитывающее дворянскихъ дѣтей на крестьянскія деньги, какое поведение земства указываетъ, по словамъ почтенной газеты, на буржуазное направленіе его. А въ другомъ мѣстѣ нашелъ требованіе, чтобы былъ поставленъ новый балетъ и чтобы казенное театральное училище воспитывало на крестьянскія деньги «пару прекрасныхъ глазъ». Это, надо думать, если и буржуазное направленіе, то касается лишь «хорошихъ, прогрессивныхъ» стремленій буржуазіи. Во всякомъ случаѣ недоумѣваю. Если г. Суворинъ можетъ отвѣтить на вышепоставленный вопросъ прямо, не ради меня, конечно, а въ интересахъ самаго дѣла, я ему буду очень благодаренъ. А если онъ сумѣетъ это сдѣлать безъ ругани и безъ вранья, то тѣмъ паче. Оговорка насчетъ ругани сама собою понятна, когда рѣчь идетъ о «Новомъ Времени». Что же касается вранья, то къ этой оговоркѣ побуждаетъ меня лично г. Суворинъ. Онъ долженъ былъ сознаться, что «невѣрно передалъ опредѣленіе г. Михайловскимъ слова интеллигенція» (№ 2063), но тутъ же взводитъ на меня новую ложь. Утверждаетъ, будто я называлъ народъ «святой скотиной». Я слышалъ, что это выразительное слово сказано въ послѣднюю войну однимъ генераломъ о солдатѣ. Во всякомъ случаѣ, я отъ своего имени никогда этого слова не говорилъ.

Буржуазія есть классъ людей, непосредственно не работающихъ, а имѣющихъ для того наемниковъ и владѣющихъ орудіями производства. Это коренная и всеобщая чер-

та буржуазіи, ея суть. Но, затѣмъ, нравственные идеалы буржуазіи, ея политическія стремленія, нравы, вкусы могутъ быть весьма различны, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста. Буржуазія можетъ быть мужественна или труслива, отличаться простотою или утонченностью нравовъ, рваться къ свободѣ или прятаться подъ крылышко власти, смотря по тѣмъ условіямъ, при которыхъ ей приходится исполнять свою миссію сосредоточенія въ немногихъ рукахъ капиталовъ и орудій производства вообще. Мы обыкновенно представляемъ себѣ европейскаго буржуа тѣмъ-то, хотя и своекорыстнымъ, но просвѣщеннымъ или стремящимся къ просвѣщенію, и свободнымъ или уважающимъ свободу. Это ходячее представленіе, разумѣется, невѣрно, какъ общее правило, но всетаки болѣе или менѣе соответствуетъ извѣстному моменту въ исторіи буржуазіи, тому, именно, моменту, который характеризуется, между прочимъ, полнымъ совпаденіемъ буржуазіи съ интеллигенціей. Спрашивается, въ какой мѣрѣ такое совпаденіе возможно у насъ теперь или въ ближайшемъ будущемъ?

Разумѣется, у насъ какъ и вездѣ, вполне возможенъ ученый или журналистъ, продающій свои знанія или свое перо прохождѣ съ туго набитымъ карманомъ. Мы уже и видали такіе примѣры. Но рѣчь не объ нихъ, а объ общемъ теченіи дѣлъ. Прежде всего для нашей интеллигенціи невозможна та беззаветная искренность, съ которою европейская интеллигенція временъ расцвѣта либеральной доктрины ожидала водворенія чуть не райа на землѣ отъ проведенія въ жизнь буржуазныхъ началъ. Оглядываясь теперь назадъ, мы видимъ всю ошибочность этихъ розовыхъ надеждъ, но только потому мы это такъ ясно видимъ, что ушли на цѣлое столѣтіе впередъ и фактически знаемъ тѣмъ разрѣшились тѣ надежды. Въ тѣ времена, въ ошибку, естественно, впадали люди даже исключительно обширнаго ума. Теперь это почти трудно для людей даже весьма скромныхъ умственныхъ способностей. Нужно быть или заядлымъ доктринеромъ, черствымъ, какъ третьеводнашній сухарь, или, наоборотъ, человѣкомъ необычайнаго легкомыслія съ хроническимъ междуцарствіемъ въ головѣ, или, наконецъ, просто недобрительнаго поведения человѣкомъ, чтобы сказать во всеуслышаніе: я за буржуазію! Это дѣйствительно стыдно. Совсѣмъ не потому, что кличка «буржуа» неблагозвучна или что это что-то слишкомъ узкое для нашей широкой русской натуры, узкое, мелкое и будничное: европейскій буржуа умѣетъ при случаѣ обламывать гигантскія дѣла и развертывается такъ, какъ и не снилось русской широкой натурѣ. Нѣтъ, дѣло гораздо

проще. Русской интеллигенціи стыдно и должно быть стыдно идти нога въ ногу съ буржуазіей, потому что ей, этой интеллигенціи, извѣстно то, что не было въ свое время извѣстно интеллигенціи европейской. Для той буржуазіи была носительницей высокихъ идеаловъ свободы и энергической просвѣщенной дѣятельности, борцомъ за оскорбленное въ ея собственномъ лицѣ чело-вѣчество. Такою буржуазіа въ тѣ времена въ передовыхъ странахъ Европы дѣйстви-тельно была, и въ цѣломъ, какъ сословіе, и въ лучшихъ изъ своихъ отдѣльныхъ пред-ставителей. Но эти высокія качества были, говоря философскимъ языкомъ, акциденціей, а не субстанціей, обстоятельствомъ времени и мѣста, а не самою сущію буржуазіи. Суть же эта состояла все въ томъ же сосредото-ченіи производительныхъ силъ страны въ рукахъ людей, непосредственно не трудя-щихся, а имѣющихъ для того наемниковъ. И разъ это намъ извѣстно, разъ мы знаемъ какія послѣдствія повлекло за собой торже-ство буржуазіи, мы уже изгнаны изъ рая, ибо вкусили плода древа познанія добра и зла. Мы не можемъ призвать къ себѣ буржуазію не то что съ энтузіазмомъ, а даже просто, безъ угрызений совѣсти, ибо знаемъ, что торжество ея равносильно си-стематическому отобранію у народа его хо-зяйственной самостоятельности. Отсюда всѣ эти шатанія даже такихъ людей, которые, Богъ ихъ знаетъ по какимъ побужденіямъ, не прочь сказать во всеуслышаніе: я за буржуазію! Стоять за буржуазію можно, но вдохновиться ея идеей, съ чистою совѣстью и уваженіемъ къ себѣ отдать ей на службу свое оружіе — мысль, знаніе, творчество, логику, — этого интеллигенція наша сдѣлать не можетъ. Въ этомъ отношеніи даже совер-шенно безразличенъ вопросъ, какой обликъ приметъ русская буржуазія: будетъ-ли она точной копіей европейской буржуазіи того или другого историческаго момента или же, напротивъ, облечется въ какой-нибудь вполнѣ самобытный костюмъ. Будетъ-ли она, напри-мѣръ, уважать поэзію или презирать ее, домогаться свободы или гнать ее, ходить въ охабняхъ и мурмолахъ или въ сюрту-кахъ и цилиндрическихъ шляпахъ, отъ этого самая суть дѣла нисколько не измѣнится. Но вопросъ важенъ въ другомъ отношеніи.

Въ противность той дружбѣ, искренней, честной и притомъ основанной на тождествѣ интересовъ, какая существовала одно время въ Европѣ между интеллигенціей и буржу-азіей, наша интеллигенція съ буржуазіей дружить не можетъ. Но можетъ-ли въ свою очередь *наша* буржуазія дружить съ интел-лигенціей? Тоже нѣтъ. Интеллигенціи, по самой ея сущности, нужна свобода мысли

и слова. Возможны, конечно, временныя и случайныя исключенія, въ родѣ, напримѣръ, г. Каткова, но въ цѣломъ интеллигенція не можетъ не желать свободы мыслить и вы-сказывать свои мысли, учить и учиться, — иначе она сама на себя наложить руку. А между тѣмъ, буржуазія нашей совершенно не нужны ни эти прекрасныя вещи, ни сопредѣльныя съ ними. Во времена Екате-рининскаго Наказа, то-есть какъ разъ въ то время, когда въ Европѣ третье сословіе ратовало за начала свободы и просвѣщенія, наши «средняго состоянія» люди требовали себѣ права имѣть крѣпостныхъ, мотивируя это требованіе хозяйственными соображені-ями. Теперь, разумѣется, ни у кого не по-вернется языкъ потребовать прямо восстанов-ленія крѣпостнаго права. Но этотъ отри-цательный результатъ достигнуть, главнымъ образомъ, ростомъ идей, работой интелли-генціи, а отнюдь не рѣзкимъ измѣненіемъ хозяйственныхъ условий, при которыхъ происходитъ сосредоточеніе въ немногихъ рукахъ производительныхъ силъ страны. Статьи нашего почтеннаго сотрудника, г. В. В., обратившія на себя, какъ это у насъ часто бываетъ, гораздо больше вниманія въ читающей публикѣ, чѣмъ въ печати, под-лежатъ, конечно, обсужденію. Но, разовьется-ли у насъ стройный капиталистическій по-рядокъ на европейскій манеръ или ничего такого не сложится, а все дѣло ограничится какою-то безформенною неустойчивостью, одно вѣрно: нашъ капитализмъ въ насто-ящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регламентаціи, правительственныхъ гаранті-яхъ, субсидіяхъ. А не нуждаясь въ свободѣ вообще, онъ всего менѣе нуждается въ сво-бодѣ мысли и слова. На этотъ счетъ не надо себя обманывать тѣмъ виѣшнимъ ло-скомъ, который усвоила себѣ извѣстная часть нашей буржуазіи. Крупные дѣльцы, представители желѣзнодорожной, банковской, промышленной дѣятельности, будучи часто людьми образованными и состоя въ постоянномъ общеніи съ тлетворнымъ западомъ, естественно заражаются ходячими идеями вѣка. Но изъ этого возникаетъ только вну-треннее противорѣчіе, и, пожалуй, значи-тельное практическое удобство: при слу-чаѣ, когда, напримѣръ, рѣчь зайдетъ о сво-бодѣ крестьянъ отъ земли и, слѣдовательно, увеличеніи контингента наемниковъ, о сво-бодѣ родителей отдавать на фабрику шести-лѣтнихъ ребятъ, о свободѣ безобразныхъ договоровъ между работодателями и рабо-чими и т. п. — можно сослаться на идеи вѣка. Это украшаетъ стиль и снабжаетъ лишнимъ аргументомъ. Но подобныя част-ные случаи, въ которыхъ можно поиграть

на словѣ «свобода», суть только отдѣльные клочки, изъ которыхъ никомъ образомъ нельзя сложить цѣльную программу.

По обстоятельствамъ, вѣроятно, всякому читателю понятнымъ, это слишкомъ щекотливая тема для подробнаго ея развитія, и я скажу еще только слѣдующее. Европейская буржуазія, въ моментъ ея полнаго единенія съ интеллигенціей, *нуждалась* въ свободѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова и во всѣхъ его приложеніяхъ; настанетъ, можетъ быть, такое время когда-нибудь и для оперившейся русской буржуазіи, но теперь дѣла стоятъ не такъ. Этимъ резюме я тѣмъ болѣе могу ограничиться, что центра тяжести нашей буржуазіи надо искать совсѣмъ не въ средѣ крупныхъ финансовыхъ, желѣзнодорожныхъ и промышленныхъ дѣльцовъ. Эта количественно ничтожная горсть очень, разумеется, сильна своими связями и деньгами и играетъ чрезвычайно важную роль въ государственной жизни. Но въ высшей степени мала вѣроятность, чтобы она явилась опредѣлительницею судебъ отечества въ моментъ торжества буржуазныхъ началъ, или даже, чтобы эти начала, именно, при ея помощи окончательно восторжествовали. Такое предположеніе есть въ значительной степени дѣло перспективнаго обмана. Мы такъ не привыкли приглядываться къ жизни народа, столь отъ насъ удаленной, что склонны упускать изъ виду роль тѣхъ безчисленныхъ шпавицъ, которыя непосредственно присоединялись къ народному тѣлу. А между тѣмъ, тутъ-то и есть ядро нашей буржуазіи. Колупаевы и Разуваевы сильны, во-первыхъ, своимъ несмѣтнымъ множествомъ; во-вторыхъ, опредѣленностью и цѣльностью своей жизненной задачи, въ которой нѣтъ никакихъ инородныхъ элементовъ въ родѣ тлетворныхъ западныхъ идей: въ-третьихъ, своею родственностью съ народною массою. Родственность эта не выходитъ за предѣлы обычая, образа жизни, предразсудковъ, костюма; но изъ всего этого слагается тѣмъ не менѣе въ нашей степени выгодное положеніе, сходное съ положеніемъ домашнего вора, который знаетъ, гдѣ что лежитъ и можетъ отводить глаза, набрасывая подозрѣніе на совершенно неповинныхъ людей. Колупаевы и Разуваевы—страшная сила и, конечно, чисто буржуазная, въ самомъ точномъ и полномъ значеніи слова. Кто ищетъ буржуазіи непременно въ европейскомъ костюмѣ, тотъ будетъ, пожалуй, утверждать, что Колупаевы и Разуваевы—«народъ», ибо они ходятъ по субботамъ въ баню и т. п. Но это просто бессмыслица, соблазнительная только либо для очень уже близорукихъ людей, либо для умышленно закрывающихъ глаза. Колупаевы и Разуваевы настоящая буржуазія, ибо ихъ

Соч. н. к. михайловскаго, т. V.

спеціальная роль состоитъ въ лишеніи народа хозяйственной самостоятельности. А можно-ли сомнѣваться, что болѣе лютыхъ враговъ свободы мысли и слова и, слѣдовательно, интеллигенціи, нѣтъ на святой Руси и быть не можетъ?

Одинъ испанецъ, путешествуя гдѣ-то на далекомъ сѣверѣ, былъ однажды атакованъ цѣлой стаей собакъ. Онъ хотѣлъ было схватить для защиты камень, но оказалось, что камень примерзъ къ землѣ. Тогда испанецъ воскликнулъ: О, проклятая страна, гдѣ камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать!—«Проклятая страна», это слишкомъ сильно сказано, но несчастная страна—это вѣрно. Во всякомъ случаѣ, буржуазія и интеллигенція находятся у насъ примѣрно въ такомъ же взаимномъ отношеніи, какъ собака и камни въ той странѣ, гдѣ путешествовалъ испанецъ. Логически онѣ у насъ прирожденные враги, и въ этомъ, именно, состоитъ если не самобытность наша, то особенность нашей исторіи. Но другое теченіе нашей исторіи, не знаю ужъ самобытное или не самобытное, постоянно привязываетъ камни и пускаетъ бѣгать собакъ. А вслѣдствіе этого, интеллигенція фактически безсильна выполнить ту задачу, которая для нея обязательна логически...

Разумѣется, кромѣ внѣшнихъ причинъ, систематически обрекающихъ интеллигенцію на безсиліе, тутъ слишкомъ часто виновата добрая воля самой интеллигенціи. Правильнѣе, можетъ быть употребить въ этомъ случаѣ языкъ криминалистовъ и говорить не о доброй волѣ, а, напротивъ, о злой, преступной волѣ. Но злая воля предполагаетъ сознательность, а, я склоненъ, всетаки думать, что преступныя дѣянія нашей интеллигенціи очень часто совершаются по недоразумѣнію, недодуманности, по отсутствію простора для приложенія силъ.

Во всякомъ случаѣ, я далекъ отъ мысли объявлять нашу интеллигенцію стоящею на высотѣ своего призванія: тупость, мракобѣіе, клузничество, наглость, ложь, клевета, доносы, всего этого у насъ вдоволь и все это получаетъ особенно паскудный характеръ по сравненію съ высокою ролью, которую могла бы сыграть русская интеллигенція. Когда-нибудь я подберу букетъ изъ отношеній извѣстной части интеллигенціи къ народу, охраненіе интересовъ котораго, какъ бы ввѣрено ей самой исторіей. А теперь у меня есть въ запасѣ два факта изъ совершенно другой области, къ которымъ я не умѣю даже иначе отнести, какъ въ вопросительной формѣ.

Въ № 2068 «Новаго Времени» напечатано:

«Вчера мы, т. е. редакция «Новаго Времени», были смущены нѣсколькими появленіемъ судебного

слѣдователя съ понятными и съ прочими арсеналомъ въ нашей квартирѣ. Что такое случилось? Какое такое преступленіе совершенно въ комнатахъ, обитаемыхъ нами? Уви, преступленіе было действительно совершенно: графъ Алексѣй Жасминовъ поразилъ г. Стасюлевича перомъ. Адвокатъ раненаго, г. Спасовичъ, настоялъ на обыскѣ редакціи для того, чтобы найти, если не самаго графа Жасминова, то его гонораръ или его рукопись. Иавѣстно, что г. Спасовичъ похоръживаетъ, что г. Буренный, именно, то дѣйствительное лицо, которое, подъ маскою графа Жасминова, нанесло ударъ г. Стасюлевичу. Обыскъ продолжался больше часу, понятіе отправили свои обязанности съ непреклонностью древнихъ римлянъ. Перебирались рукописи, производилась раскопка во всякомъ бумажномъ хламѣ, который хранить мы обязаны, по правиламъ о печати. Разсматривалась гонорарная книга. Но ничего не было найдено. Г. Спасовичъ при этомъ не присутствовалъ, но мы чувствовали, что духъ его былъ незримо, и изъ нашихъ очей струились благодатныя слезы».

Не я, разумѣется, стану защищать «Новое Время» вообще и, въ особенности, его полемическіе приемы, отъ которыхъ иногда приходится сторониться, какъ сторонится прохожій гдѣ-нибудь въ уѣздномъ захолустьи отъ дома нечистоплотнаго хозяина, выливающего помой изъ окна на улицу. Но неужели всетаки рассказы «Новаго Времени» объ обыскѣ справедливы? Неужели эта возмутительная и оскорбительная картина, столь знакомая нашей интеллигенціи по совершенно другимъ поводамъ, неужели она хоть сколько-нибудь соотвѣтствуетъ достоинству интеллигенціи?

Другой фактъ еще пикантнѣе.

Съ 1-го декабря нынѣшняго года въ Казани издается ежедневная газета «Волжско-Камское Слово». Я не видалъ еще ни одного номера газеты, но передо мной лежатъ разнообразныя документы, относящіеся къ ея изданію.

Во-первыхъ, объявленіе. Объявленіе какъ и всякое, только немножко слишкомъ широкѣшательное: тутъ и «родная намъ Волга», и «величественная Кама», и «добро во всемъ его обаяніи», и «зло людское во всей его наготѣ». Словомъ очень хорошо и чувствительно. Есть, однако, въ объявленіи одно мѣсто, чувствительностью необъяснимое: «Было-бы совершенно излишнимъ доказывать необходимость изданія въ г. Казани ежедневной газеты; должно только удивляться, что «Волжско-Камское Слово» является первою попыткою такой газеты въ городѣ, который справедливо считается промышленно-торговымъ центромъ обширной территоріи: гдѣ почти 80 лѣтъ существуетъ университетъ, и около половины того—духовная академія; гдѣ считается пять ученыхъ обществъ и т. п. Напротивъ, весьма важно и поучительно изслѣдовать причины, которыя доселѣ препятствовали появленію

въ Казани подобной газеты». Разумѣется, это будетъ очень поучительно, тѣмъ болѣе, что редакція новой казанской газеты должна быть признана въ этомъ случаѣ вполне компетентною. Дѣло въ томъ, что «Волжско-Камское Слово» совсѣмъ не первая попытка въ своемъ родѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Казани издавалась (и съ большимъ для провинціальной газеты успѣхомъ) «Камско-Волжская Газета», безвременно погибшая по, такъ называемымъ, независимымъ обстоятельствамъ. Я не помню хорошенько, была-ли «Камско-Волжская Газета» ежедневнымъ изданіемъ, но это была, во всякомъ случаѣ, большая газета, выходившая нѣсколько разъ въ недѣлю. Редакторъ-издатель новой казанской газеты, г. профессоръ Шпилевскій, какъ бывшій мѣстный цензоръ, можетъ, конечно, поразсказать много любопытнаго, какъ о прекращеніи «Камско-Волжской Газеты», такъ и вообще о причинахъ, «которыя доселѣ препятствовали» и т. д. Будемъ ждать.

Второй документъ есть циркуляръ г. Шпилевскаго. Привожу его цѣликомъ:

«Вкладчики въ капиталъ на изданіе предлагаемой газеты содѣйствуютъ осуществленію давно признаваемой въ Казани необходимости имѣть печатный органъ для выраженія промышленно-экономическихъ и другихъ общественныхъ нуждъ города Казани и цѣлаго края. Такой органъ печати долженъ служить и высокимъ цѣлямъ не только мѣстнаго, но и центрального правительствъ, для которыхъ необходимо, при обсужденіи и принятіи правительственныхъ и законодательныхъ мѣръ, основываться на точныхъ свѣдѣніяхъ о дѣйствительныхъ нуждахъ края и о мѣстныхъ взглядахъ на способъ удовлетворенія этихъ нуждъ. Эти необходимыя для правительства свѣдѣнія постоянно можетъ представлять мѣстная періодическая печать, если только она преслѣдуетъ, действительно, серьезные цѣли и обладаетъ необходимыми материальными и духовными средствами для служенія этимъ цѣлямъ. Профессоръ Шпилевскій, становясь во главѣ газеты, которая должна преслѣдовать такіе высокіе цѣли, будетъ считать особенною для себя честью служить этому общественному дѣлу, онъ долженъ служить ему вѣрно и усердно, никогда не измѣняя высотъ этого дѣла. Исполняя это общественное служеніе, профессоръ Шпилевскій постоянно будетъ находиться подъ нравственною отвѣтственностью не только передъ помогавшими осуществленію этого дѣла деньгами, но и передъ всѣмъ мѣстнымъ обществомъ; *вступать же въ какой-нибудь юридическій договоръ съ вкладчиками въ капиталъ на это общественное дѣло онъ не можетъ.* Когда достаточное количество подписчиковъ на газету представитъ обезпеченіе дальнѣйшаго изданія ея, это будетъ счастливымъ временемъ для газеты и ея представителя, за этимъ откроется и возможность постепенно возращенія вкладчикамъ ихъ взносов. Но если капиталъ, составленный изъ взносовъ, будетъ необходимо израсходованъ на изданіе газеты прежде обезпеченія существованія ея впередъ на свои доходы, такъ что изданіе газеты, по неимѣнію денежныхъ средствъ, должно будетъ прекра-

тяться, тогда издатель-редактор, профессор Шпилевскій, не может подлежать обязанности возмещать вкладчиков за их потери. Надѣясь на возможность обезпеченія существованія газеты на ея собственныя средства не въ отдаленномъ будущемъ, а за этимъ и на постепенное возвращеніе вкладчикамъ ихъ взносов, профессор Шпилевскій считаетъ себя обязаннымъ указывать и на несчастный исходъ предполагаемаго дѣла, хотя это было бы уже особеннымъ несчастіемъ, страхъ котораго, конечно, не можетъ останавливать задуманнаго дѣла. Въ предупрежденіе же возможныхъ недоразумѣній по вопросу, расходуются-ли именно на изданіе газеты основной капиталъ изъ взносов и доходы отъ подписчиковъ и объявленій, должны служить правильно веденныя въ конторѣ редакціи книги дохода и расхода. Впрочемъ, становящаяся во главѣ предпринимаемаго дѣла считаетъ своею сердечною потребностью выразить, что въ такомъ нравственно высокомъ дѣлѣ, какъ веденіе газеты, которая должна служить выраженію истинны и правды на общественную пользу, *нечестно никакая-нибудь ложь и недоверіе при самомъ устройствѣ этого дѣла или впоследствии между поставленнымъ во главѣ этого дѣла и тѣми, кому было угодно доверять ему.* Главное основаніе нравственной силы и крѣпости послѣдняго, необходимыхъ ему для веденія дѣла, должно лежать въ полномъ довѣріи къ нему пожелавшихъ помочь осуществленію этого важнаго общественнаго дѣла. Несочувствующіе и недоувѣряющіе по какимъ-нибудь причинамъ предпринимаемому дѣлу, конечно, не будутъ и помогать ему, следовательно, и не поставятъ являющагося во главѣ этого дѣла подъ необходимую нравственную обязанность быть особенно отвѣтственнымъ и передъ ними. Такой отвѣтственности издатель-редакторъ подлежитъ только передъ тѣми, кому это дѣло общественной пользы обзано за начала своей жизни».

Я не говорю о грамотности и чувствительности циркуляра. Не трогаю пока и другихъ имѣющихся у меня документовъ, относящихся къ зарожденію казанской газеты. Но желалъ бы слышать отъ цивилистовъ, какъ называется въ гражданскомъ правѣ тотъ видъ договора, который г. Шпилевскій предлагаетъ пайщикамъ по изданію «Волжско-Камскаго Слова». Мнѣ кажется, онъ никакъ не называется, можетъ быть, потому, что доселѣ никогда и никѣмъ не практиковался, а можетъ быть и потому, что это вовсе не договоръ, а такъ себѣ — порывъ высокихъ чувствъ и приглашеніе къ сердечной взаимности. Но въ такомъ случаѣ я желалъ бы слышать отъ господъ пайщиковъ, откликнулись-ли глубины ихъ сердецъ на призывъ г. Шпилевскаго совершенно самостоятельно или какія-нибудь постороннія силы побудили ихъ оказать г. Шпилевскому столь безграничное довѣріе...

Г. Шпилевскій! Правда-ли, что ваша газета получила кое-гдѣ въ Казани прозвище «административно-университетско-коммерческой»? а если прозвище это не доходило до сихъ поръ до вашего деликатнаго уха, то правда-ли, что для [такой квалификаціи] есть воѣ данныя?

Гг. враги интеллигенціи! Г. Шпилевскій есть профессоръ и писатель, словомъ, интеллигенція, но я не защищаю его...

X.

Журнальное обозрѣніе *).

Жить-былъ профессоръ. Каковъ онъ былъ, какъ профессоръ, Богъ его знаетъ. Съ русскими профессорами это часто бываетъ, что никто не знаетъ, свѣдущи они или не свѣдущи въ своемъ дѣлѣ, талантливы или бездарны. Ибо русскіе профессора сплошь и рядомъ не могутъ собраться не то что свою науку впередъ двинуть (этимъ пусть гнилой Западъ занимается!), а даже хотъ курсъ какой-нибудь свой издать. Но личное раздраженіе и желчь вывели нашего профессора изъ неизвѣстности. Онъ прогремѣлъ на всю читающую Россію нѣсколькими брошюрами, задорными, какъ репейникъ, и грязными, какъ грязь. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ замѣченъ и призванъ...

Вы понимаете, что я г. Цитовича вспоминаю. Но вы понимаете также, что если я тревожу печальную память этого метеора, столь быстро поднявшагося на горизонтъ и столь быстро съ него исчезнуващаго, то имѣю особые резоны. И въ самомъ дѣлѣ, судьба этого несчастнаго человѣка интересна развѣ только въ томъ отношеніи, что, будучи поставленъ въ исключительно выгодное положеніе оффиціоза, онъ долженъ былъ со срамомъ уйти съ поля затѣяннаго имъ сраженія и получить еще себѣ въ догонку озлобленную ругань отъ своего ближайшаго, надежнѣйшаго сотрудника, отъ своего alter ego г. Незлобина. Надѣлала синица шуму, а моря не загля и даже сама въ немъ утонула...

Оказывается, однако, что эта синица оставила по себѣ слѣдъ въ литературѣ, что она есть авторитетъ, на который можно сослаться безъ провѣрки и сомнѣній. Въ № 11 «Русскаго Вѣстника» за прошлый годъ напечатана статья г. де-Пуле «Нигилизмъ, какъ патологическое явленіе русской жизни». Все, что въ этой статьѣ мелется, давнымъ-давно уже молото и перемолото на множествѣ мельницъ. Но вотъ что любопытно. Г. де-Пуле задается вопросомъ: «что же такое нигилизмъ и откуда онъ взялся?» и размышляетъ: «Для рѣшенія этого вопроса необходимо прежде всего ознакомиться съ ученіемъ отцовъ нигилизма, первыхъ его основателей. Отличнымъ пособіемъ для этой цѣли могутъ служить брошюры г. Цитовича, гдѣ сущность нигили-

*) 1882 г., январь.

стическаго ученія выясняется съ достаточною полнотою». Понимать же это надо такъ, что г-ну де-Пуле лѣнь или не хочется читать произведенія самихъ «отцовъ нигилизма», а потому онъ намѣренъ довольствоваться тѣми выдержками и цитатами, которыя приведены въ брошюрахъ г. Цитовича. И дѣйствительно, г. де-Пуле набиваетъ свою статью якобы подлинными словами Добролюбова, Писарева, но ссылается не на ихъ сочиненія или журнальныя статьи, а на брошюры г. Цитовича. Г. де-Пуле, значить, вполне увѣренъ, что озабоченный метеоръ цитируетъ критикуемыхъ имъ авторовъ безъ прибавокъ и убавокъ, передастъ ихъ мысли не произвольно вырванными фразами, а съ полною точностью. Но г. Цитовичъ написать все-таки цѣлыхъ три брошюры на занимающую г-на де-Пуле тему. Это много! Послѣдующій «исследователь» можетъ не трудиться ихъ перечитывать, а просто ссылаться на статью г-на де-Пуле, рекомендуя читателямъ, что вотъ, молъ, подлинныя слова Добролюбова и Писарева. Какая любопытная каша изъ этого выйдетъ, можете судить по слѣдующему примѣру. Писаревъ будто-бы написалъ такіа слова: «Дерзость наша равняется только нашей глупости и только нашей глупостью можетъ быть объяснена и оправдана». Гдѣ это сказано у Писарева, когда, по какому случаю, въ какой связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ—ничего не извѣстно. Г. де-Пуле говоритъ: см. брошюру Цитовича «Разрушеніе эстетики», стр. 9. Не знаю, какъ обработаны приведенныя слова у г. Цитовича, но г. де-Пуле серьезно полагаетъ, что Писаревъ «проговорился» ими въ «минуту откровенности». То - есть, значить, Писаревъ сказалъ о самомъ себѣ, что онъ дерзкій дуракъ...

Съ такимъ убогимъ человѣкомъ разговаривать, очевидно, не приходится, ибо онъ ровно ничего не понимаетъ, а, слѣдовательно, можетъ повѣрить и тому, что курочка бычка родила, и тому, что летать медвѣдь по небесамъ, и тому, что у дьячка за обихагомъ жолуди говѣли. Богъ съ нимъ! Да и вообще не стоитъ, чуть не въ сотый разъ, перебирать эти обвиненія періода нашего возрожденія въ «разрушеніи эстетики» при помощи «реализма», то-есть въ приниженіи роли искусства, и въ проповѣди безпорядочныхъ половыхъ отношеній, то-есть свободной любви. Только во избѣжаніе недоразумѣній скажу, что не думаю отрицать существованія разнаго рода увлеченій въ шестидесятыхъ годахъ. Но это были, во всякомъ случаѣ, увлеченія, нѣчто искреннее. А вотъ посмотримъ, какъ относятся къ тѣмъ же предметамъ эти худители и критики, съ цѣлой у рта защи-

щающіе святость брачныхъ узъ и высокое значеніе чистаго эстетическаго наслажденія. Образчикъ серьезности и добросовѣстности критическихъ приемовъ мы уже видѣли въ статьѣ г-на де-Пуле. Такая critique est aisée, конечно. Посмотримъ, насколько l'art est difficile для этихъ господъ.

Я долженъ откровенно сознаться, что не читаю беллетристическаго отдѣла «Русскаго Вѣстника». Но не читаю потому, что читаю и, слѣдовательно, нѣкоторое понятіе имѣю. Знаю я именно, что беллетристическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника» на двухъ китахъ стоитъ. Одинъ изъ нихъ называется г. Маркевичемъ, другой—г. Авсѣнко. Но почему одинъ называется Авсѣнко, а не Маркевичемъ, а другой Маркевичемъ, а не Авсѣнко—этого я не знаю. Нахожу, однако, эти познанія совершенно достаточными, чтобы съ Божіей помощью приступить прямо къ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», къ той самой, въ которой напечатаны критическія упражненія г-на де-Пуле.

На первомъ мѣстѣ красуется здѣсь романъ г. Маркевича «Переломъ». Романъ или «правдивая исторія», какъ называется его авторъ, далеко подвинулся впередъ: передъ нами уже четвертая часть. Но это не бѣда, ибо я хорошо помню, что г. Маркевичъ, во-первыхъ, всегда самъ себя равенъ, а во-вторыхъ, что его произведенія можно читать не только съ начала, какъ произведенія обыкновенныхъ смертныхъ, а и съ конца, и съ середины. Большое удобство, свидѣтельствующее о большихъ достоинствахъ. И дѣйствительно, достоинства у г. Маркевича числятся не мало. Прежде всего онъ—жемчужина, затѣмъ онъ, опять-таки, жемчужина. Я не знаю, какой цвѣтъ и въ какой навозной кучѣ нашелъ эту жемчужину и, признавъ ея негодность, оставилъ лежать тамъ, гдѣ нашелъ. Но что жемчужина—это вѣрно: та же высокая цѣнность, если кто захочетъ купить, тотъ же чистый цвѣтъ, бѣлый цвѣтъ невинности, а нѣжному, матовому отливу жемчуга вполне соответствуетъ идеальная мечтательность и нѣжность любвеобильной души г. Маркевича. Эти высокія качества нашего романиста обнаруживаются уже при самомъ бѣгломъ взглядѣ на печатныя страницы, подписанныя его именемъ. У него такъ заведено, что каждая маленькая глава его романа непременно снабжена двумя эпиграфами, непременно двумя, ни больше, ни меньше, и все больше изъ Шиллера. Тутъ Herz рифмуется съ Schmerz, а Liebe... съ Diebe, хотѣлъ я сказать, но вспомнилъ, что Dieb значитъ воръ. Такихъ вещей нѣтъ въ творческомъ бюджетѣ г. Маркевича, у него только Herz, Schmerz, Liebe, только сердце, стра-

даніе, любовь... И, поэтъ въ душѣ и на дѣлѣ, онъ повергаетъ свой *Herz*, свой *Schmerz* и свою *Liebe* къ подножію богини чистой красоты. Онъ именно изъ тѣхъ, что рождены не «для житейскаго волненія», а «для вдохновенія, для звуковъ оладкихъ и молитвъ». Этотъ ужъ не займется «разрушеніемъ эстетики»! Нѣтъ, онъ своимъ примѣромъ, самими примѣрами своего творчества покажетъ, какъ высоко можетъ и должна парить поэзія надъ бренными дѣлами брэнной земли!..

Начинаю читать первую главу четвертой части «Перелома», съ надеждою насладиться перлами и алмазами неразрушенной эстетики. Начинаю и съ недоумѣніемъ приоткрываюсь, ибо, вмѣсто эстетическихъ перловъ, нахожу обличительную литературу: г. Маркевичъ обличаетъ генерала Павлинова и статсъ-секретаря Ягина, играющихъ, по видимому, далеко не послѣднюю роль въ правительственныхъ сферахъ. Первый обличается въ легкомысленномъ и козенномъ, а второй—въ злостномъ и прямомъ потворствѣ либеральнымъ идеямъ и даже преступной пропагандѣ. Правда, «обличительная литература» того добраго стараго времени, когда сложился этотъ терминъ, занималась обличеніями совѣтъ не этого спеціального рода, но обличеніе есть во всякомъ случаѣ обличеніе; куда бы оно ни направлялось, во имя какихъ бы цѣлей оно ни совершалось, а «эстетика» тутъ ни при чемъ.

Ну, и Богъ съ ней, съ эстетикой, скажетъ, пожалуй, читатель, любясь на гражданское мужество г. Маркевича, пускающаго стрѣлы обличенія прямо въ правительственныя сферы, а не въ какого-то исправника *Б.* или становаго *В.*, берущаго взятки съ населенія *Н—скаго* уѣзда. Такъ вѣдь болѣею частью пряталась обличительная литература добраго стараго времени, а теперь извольте полюбоваться: подобно орлу, который, говорятъ, можетъ безбоязненно смотрѣть на солнце, г. Маркевичъ выводитъ на свѣжую воду генераловъ и статсъ-секретарей, звѣздоносцевъ, ворочающихъ какими-то очень важными винтами и колесами государственнаго механизма. Но успокойтесь, читатель (если вы безпокон-тесъ), и генералъ Павлиновъ, и статсъ-секретарь Ягинъ, по всей вѣроятности, давно умерли и, можетъ быть, даже допухъ, выросшій изъ ихъ брэнныхъ остатковъ, въ настоящую минуту съ достоинствомъ чавкаетъ какое-нибудь непочтительное травоядное животное. Оно, это травоядное животное, тоже обличеніемъ занимается: оно обличаетъ гг. Павлинова и Ягина въ брэнности вообще, въ брэнности ихъ земнаго величія въ особен-ности. Эти «сановники», представители «выс-

шей администраціи», какъ видно изъ обличеній г. Маркевича, грѣшили главнымъ образомъ тѣмъ, что искали популярности: ихъ «*emporte le torrent*», они «не могутъ идти противъ литературы и общества». Но если травоядное животное, скажемъ, корова разгуливаетъ нынѣ по мѣсту ихъ вѣчнаго успокоенія и чавкаетъ растущій тамъ допухъ, такъ, значитъ, ни родственники покойниковъ, ни «литература и общество» не оградили ихъ могилъ прочными рѣшетками и не поставили сторожей. Напрасно, значитъ, популяричили генералъ Павлиновъ и статсъ-секретарь Ягинъ, напрасно или неумѣло, въ чемъ ихъ и обличаетъ травоядное животное самымъ фактомъ своего чавканья... Грустно, читатель...

А, впрочемъ, все это гипотеза, и до травояднаго животнаго намъ нѣтъ никакого дѣла. Что же касается г. Маркевича, то онъ, во всякомъ случаѣ, обличаетъ заднимъ числомъ, ибо разсказъ его относится къ тому времени, когда издавался «Колоколъ» Герцена. Это довольно далека отъ насъ времена, представляющія большія удобства для безбоязненнаго обличенія, а потому читатель, конечно, успокоился (если онъ безпоконился).

Пользуясь этой минутой успокоенія, я прошу читателя поразмыслить о слѣдующемъ.

Сказать, что г. Де-Пуле есть человѣкъ дюжинны, значитъ, сказать неправду. Онъ человѣкъ *гросса*, какъ называется въ торговлѣ дюжина дюжинъ. Ибо навѣрное дюжину дюжинъ разъ вы слышали и читали то, что онъ соблаговолилъ поведать міру въ ноябрѣ 1881 года. Потрудитесь же припомнить, какую «эстетику» выставилъ весь этотъ *гроссъ*, столь пламенно протестующій противъ разрушенія эстетики. Гдѣ тѣ перлы вѣчнаго искусства, тѣ дары чистаго эстетическаго наслажденія, которыхъ мы вправѣ ждать отъ поэтовъ и беллетристовъ *гросса*? Нѣтъ ихъ, «и не жди—не будетъ»! Были гг. Вс. Крестовскій (не-псевдонимъ), Стебницкій и проч., есть гг. Маркевичъ, Авсѣенко, Неагобинъ и другіе, а эстетики нѣтъ. Если вы скажете, что эстетическое наслажденіе не всякій можетъ дать и что перечисленные господа не виноваты въ скудости своихъ поэтическихъ дарованій, то вы будете только на половину правы. Во-первыхъ, между перечисленными господами есть люди не бездарные; во-вторыхъ, дѣло тутъ не въ степени талантовъ, а въ доброй или злой волѣ беллетристовъ, направляющихъ свой талантъ въ ту или другую сторону. Еслибы, напримѣръ, тотъ же г. Маркевичъ написалъ плохую, но, по замыслу, дѣйствительно поэтическую вещь—тогда другое дѣло. Но самый замыселъ «Перелома» г. Маркевича не имѣть

съ эстетикой ничего общаго. Да и всѣ романы этой категоріи (потрудитесь припомнить) занимаются *прежде всего* обличеніемъ, причемъ неизмѣнно обличаются либо живые «нигилисты», «реалисты» и проч., либо мертвые генералы и статсъ-секретари. Это, можетъ быть, и очень благородно, но, согласитесь, очень ужъ «реально» и вовсе не эстетично. Мнѣ кажется даже, что такой «реализмъ», обращаясь въ традиціонный пріемъ и непремѣнное правило, весьма много способствуетъ «разрушенію эстетики»...

Я подчеркнулъ слова: *прежде всего*, ибо обличеніемъ дѣятельность постоваgrossa не ограничивается. При тѣхъ возвышенныхъ качествахъ ума и сердца, которые выражаются обличеніемъ живыхъ нигилистовъ и мертвыхъ генераловъ, обличеніе можетъ весьма легко переходить въ пасквиль. А это тотъ именно родъ литературы, образчикомъ котораго можетъ служить вторая глава четвертой части «Перелома» г. Маркевича. Тутъ изображены три художника—Топыгинъ, Самуровъ и Гавриленко; они бесѣдуютъ за завтракомъ у Дюссо. Нашъ братъ, писатель по профессіи, безъ труда узнаетъ съ кого эти портреты описаны благородною кистью г. Маркевича. Но одного изъ собесѣдниковъ, Самурова, навѣрно узнаютъ многие и многие изъ читателей, далекихъ отъ литературныхъ сплетенъ и личныхъ знакомствъ. Г. Маркевичъ влагаетъ Самурову въ уста почти подлинныя слова одного нашего извѣстнаго писателя, сказанныя имъ печатно. Г. Маркевичъ дѣлаетъ отъ своего собственнаго лица характеристику Самурова, повторяя въ ней все, что люди grossa за послѣднее время неоднократно говорили объ означенномъ писателѣ, котораго они когда-то очень чтили. Кажется, достаточно «реально», не правда-ли? Но, давъ такимъ образомъ каждому возможность узнать Самурова, г. Маркевичъ пускаетъ въ ходъ и свое художественное творчество: онъ «творитъ» для Самурова комическія и унизительныя положенія и посрамляетъ его побѣдоносными рѣчами нѣкоего Троекурова...

Но когда рѣчь идетъ объ людяхъ grossa, то сплосъ и рядомъ не знаешь, смѣяться или негодовать. Такъ и тутъ. Въ той самой главѣ «Перелома», гдѣ отъ незаконной связи «реализма» и «творчества» рождается пасквиль, г. Маркевичъ находитъ возможнымъ пронизировать надъ «реальностью» и поучать Самурова словами Гёте насчетъ задачи искусства! А Топыгину онъ влагаетъ въ уста такія слова: для него (извѣстно для кого) «что другъ другу въ харю, что въ Сикстинскую Мадонну харкнуть—все единственно!» Ну, конечно, куда имъ, этимъ

«тупицамъ мѣднолобымъ, чурбанамъ безпардоннымъ», какъ выражается «эстетикъ». Топыгинъ. Куда имъ! Вотъ г. Маркевичъ другое дѣло. У него одинъ глазъ можетъ смотрѣть на васъ, а другой въ Арзамасъ, одна рука—молитвенно и восторженно простирается къ образу Сикстинской Мадонны, а другая—писать пасквиль. Завидная, конечно, способность, но каково всетаки положеніе неразрушенной или возстановленной эстетики? Ей служить, во-первыхъ, обличеніемъ живыхъ нигилистовъ и мертвыхъ генераловъ, а во-вторыхъ, пасквилямъ... Бѣдная богиня чистой красоты! какія нечистыя жертвы принесть тебѣ г. Маркевичъ, повергая къ твоему подножію свой *Neiz, Schmerz* и свою *Liebe*! И ты, Мадонна, ты «дѣва родшая», такъ долго мучившая этимъ противорѣчіемъ фантазію великихъ католическихъ художниковъ, развѣ ты не осквернена молитвеннымъ преклоненіемъ пасквилянтовъ?..

Мимоходомъ сказать, замѣчали-ли вы, читатель, что если вамъ собесѣдникъ начинаетъ преувеличенно выражать почтеніе къ мадоннамъ Рафаэля, то это почти вѣрный признакъ, что онъ или вчера совершилъ или завтра собирается совершить какую-нибудь мерзость? Житейское наблюденіе, которое я вамъ предлагаю проверить, но которое объяснить не умѣю. Вижу только, что эти люди точно спрятаться хотѣтъ за Мадонну и, особенно, за Сикстинскую. А она, неповинная, смотритъ съ своихъ облаковъ все тѣми же изумленными, широко открытыми глазами. Она изумлена своимъ величіемъ, осуществленіемъ въ ней неземной тайны дѣворожденія. Но, можетъ быть, она изумляется также дерзости тѣхъ нечистыхъ, которые за нее прячутся...

И еще мимоходомъ. Просмотрите издающееся теперь въ Дрезденѣ собраніе гравюръ и фотографій съ картинъ Рафаэля (*Rafael Werk*). Передъ вами пройдутъ десятки Мадоннъ, десятки пробъ художественнаго воплощенія идеи, которая служила отрадой и утѣшеніемъ для милліоновъ людей. Это все мысль и фантазія мучилась, лова неумовимое. И вы скажете: да, *l'art est difficile*. А потомъ...

Потомъ, надо всетаки вернуться къ г. Маркевичу, который ловитъ только то, что поймано и либо въ клѣтку посажено, либо въ могилу закопано, да еще «творитъ» условія для пасквиля, то-есть выдумываетъ унизительныя или гнусныя положенія для тѣхъ, съ кого пишутъ самыя что ни на есть «реальныя» портреты.

Какъ ни какъ однако, а идя подъ руку съ г. Маркевичемъ, мы всетаки постепенно поднимаемся по лѣстницѣ художественнаго

творчества и эстетического наслаждения. Мы начали съ обличений, въ которыхъ нѣтъ и намека на искусство. Затѣмъ, мы поднялись на ступень пасквиля, гдѣ начинается фигурировать нѣчто, исправляющее должность творчества. Мы можемъ подняться *еще* выше.

Велики нравственныя требованія г. Маркевича, почерпаемыя имъ изъ глубины его собственного возвышеннаго духа. Тамъ, въ надзвѣздномъ мірѣ идеаловъ, гдѣ все блескъ и чистота, г. Маркевичу, разумѣется, все родственно и близко. Но на этой грѣшной землѣ, по которой ползаетъ столько гадовъ, совершающихъ столько гадостей... А впрочемъ, и на землѣ есть избранные. Таковъ, на примѣръ, Борисъ Васильевичъ Троекуровъ, главный, повидимому, герой «Перелома». Это человѣкъ, «независимый столько же по характеру своему, сколько по состоянію, котораго ни запугать поэтому, ни купить ничѣмъ нельзя. Ему свойственна «сжатость и рѣзкая опредѣлительность выраженія» въ разговорѣ. Онъ человѣкъ «характерный». Безмѣрно самолюбивый Самуровъ чувствуетъ «смущеніе каждый разъ, когда ему приходится сходиться съ этою, безспорно аристократическою, натурой, сильною и независимой». Безстыжаго болтуна Гавриленку «придавливали» «учтивая холодность» Троекурова и его «какъ бы нѣсколько брезгливая сдержанность». Эстетикъ Топыгинъ, напротивъ, питаетъ къ Троекурову слабость, онъ цѣнитъ въ немъ «кровь», породу. Троекуровъ однимъ мѣткимъ вопросомъ заставляетъ Самурова умолкнуть, генералъ Павлиновъ передъ нимъ лебезитъ, статсъ-секретарь Ягинъ не лебезитъ только по своей закоренѣлости. Словомъ, все недоброе боится Троекурова или ненавидитъ его, все доброе его уважаетъ, если не любитъ, а все средняное, тряпичное смущается его крупнымъ нравственнымъ и умственнымъ ростомъ. Въ добавокъ, онъ истинный патріотъ своего отечества. Все кругомъ него—генералы, статсъ-секретари, даже жандармы и полиція, не говоря о простыхъ обывателяхъ—такъ или иначе, прямо или косвенно, потворствуютъ преступной пропагандѣ. Но онъ непоколебимъ. Онъ даже собственноручно избилъ одного «негодяя» и вмѣстѣ «пропагандиста», котораго «арестовала затѣмъ полиція и тутъ же выпустила на всѣ четыре стороны».

Таковъ герой. Между прочимъ, онъ громитъ генерала Павлинова за «открытую проповѣдь безбожія и анархіи, которую само правительство распространяетъ по Россіи за подписью своихъ цензоровъ». Говоря это прямо въ лицо Павлинову, Троекуровъ обнаруживаетъ, конечно, большое мужество. Но читатель помнитъ, что разговоръ этотъ про-

исходитъ примѣрно лѣтъ двадцать тому назадъ и что на страницахъ «Русскаго Вѣстника» 1881 года только загробная тѣнь Троекурова громитъ тѣнь того «правительства», которое такъ ужасно распатывало всѣ основы и краеугольные камни. Мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай! Еслибы блистательный Троекуровъ не былъ такъ склоненъ къ сжатости рѣчи, то, развивая свои обвиненія, онъ изложилъ бы то самое, что изложено въ статьѣ г. де-Пуле. И неуваженіе къ священнымъ узамъ брака, конечно, занимало бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ обвинительномъ актѣ. Между тѣмъ, мы застаемъ теченіе «Перелома» какъ разъ въ тотъ моментъ, когда идеальный защитникъ «основъ» Троекуровъ готовится бросить свою законную жену и совершить «пантомимъ любви» съ какой-то княжной Кирой. Въ этой же четвертой части «Перелома» имѣются намеки на таковыя же отношенія идеальнаго Троекурова къ «Ольгѣ Эльпидиоровнѣ Ранцевой, нынѣ княгинѣ Шастуковой». Словомъ, Троекуровъ малый не промахъ по части прелюбодѣянія или, что тоже, разрушенія священныхъ узъ брака. Къ сожалѣнію, въ той части «Перелома», которая у меня передъ глазами, нѣтъ непосредственнаго изображенія подвиговъ Троекурова въ этомъ смыслѣ, а рыться въ предыдущихъ книжкахъ «Русскаго Вѣстника» слишкомъ скучно. Но я вполне увѣренъ, что Троекуровъ совершаетъ эти подвиги такъ изящно и благородно, что ими можно бы было залюбоваться, еслибы только у г. Маркевича было чѣмъ изображать изящество и благородство.

Въ самомъ дѣлѣ, философскій вопросъ: доступно-ли изящество людямъ, въ теоріи защищающимъ эстетику, а на практикѣ ее разрушающимъ при помощи пасквиля? Доступно-ли благородство людямъ, въ теоріи защищающимъ священныя узы брака, а на практикѣ разрушающимъ ихъ скадкорѣчными описаніями прелюбодѣянія? Немножко фальшивое положеніе, которое, однако, фатально. Припомните всѣ романы людей грѣса, и вы увидите, что у ихъ авторовъ «сила вся души великая» ушла на возведеніе прелюбодѣянія въ перлъ созданія. Здѣсь, и только здѣсь, начинается ихъ творчество, но здѣсь же оно и кончается. Ихъ герой обладаетъ обыкновенно такими возвышенными достоинствами физическими, умственными, нравственными, что всѣ мужчины трепещутъ передъ нимъ отъ страха, зависти и низкой злобы, а всѣ женщины тоже трепещутъ, но отъ сладкихъ порывовъ любви. Коварныя польки, презрѣнныя телеграфистки, простыя обывательницы устремляютъ на него взоры, полныя бурной страсти или меланхолической

преданности. Но герой до поры до времени либо совершенно непоколебимъ (потому что онъ больше всего любитъ отечество), либо колеблется, даже падаетъ, но не серьезно. Однако, является, наконецъ, княжна Кира, Мира, Ира, Заира, вообще нѣчто болѣе или менѣе невозможное... Тутъ въ романѣ непременно стоитъ многоотціе, потому что въ этотъ моментъ священные узъ брака, связывающія героя или княгиню Кирѣ, Мирѣ, Заирѣ—разрываются. Но какъ разрываются! Такъ аппетитно, что г. де-Пуле восторженно восклицаетъ: вотъ истинные столпы отечества! вотъ настоящіе киты, на которыхъ не только «Русскій Вѣстникъ», а и всѣ «основы» покоятся, въ томъ числѣ и основы семьи! Оно и естественно: «можетъ-ли такой предестинный ребенокъ (какъ Троекуровъ или его творецъ) чтонибудь испортить?» Земстолюбецъ Маниловъ просто-таки запакоистилъ новый фракъ Чичикова, да и то ничего не испортилъ.

Можно и наоборот: героиня, начиненная достоинствами, как фаршированная индѣйка; она—блѣдная, мечтательная лилія или пышная роза; она—вся женственность и das ewig Weibliche не имѣет лучшей представительницы на землѣ. Мужъ у нея, по несчастію, негодный или дуракъ непроходимый или прекраснѣйшій человѣкъ, но сортомъ много пониже ея, и потому и оцѣнить ее не можетъ. Дама томится. И вотъ является князь Леонъ, Панталеонъ или прямо-таки Мильонъ, собственно потому, что въ немъ миллионъ достоинствъ и ни одного изъяна. Понятное дѣло, что блѣдная лилія склоняетъ свою мечтательную головку на грудь Панталеона, а пышная роза падаетъ въ объятія неотразимаго Мильона. И обѣ пары болѣе или менѣе красиво совершаютъ многолѣтіе...

Нѣчто именно въ этомъ родѣ я прочиталъ въ той же ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», въ романѣ г. Авсѣенко «Злой духъ». Къ сожалѣнію (а, впрочемъ, не знаю, жалѣть ли?), это тоже только часть романа, начало котораго мнѣ неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, тутъ фигурируетъ прекрасная Полина, свѣтская дама, повидимому, давно уже пустившаяся во всѣ тяжкія и, на глазахъ мужа и при всемъ честномъ народѣ, не совсѣмъ прилично позволяющая любовничать съ собой «молодому генералу» Пахтаеву. Тутъ есть рассказъ о томъ, какъ «красавица Пашеть Долицына, эта мраморная Діана петербургскаго свѣта», бѣжала отъ мужа съ нѣкимъ Жедровскимъ. А этотъ Жедровскийъ именно и есть, если не самъ Мильонъ, то, по крайней мѣрѣ, Панталеонъ. Онъ уже бросилъ прекрасную Пашетъ во второй части «Злого Духа» и съ величай-

нем быстрою готовился совершить много-
точие съ княгиней Анной Всеволодовной Та-
джанской, которая прекрасна, как ангел
небесный, умна, как только можно пред-
ставить себѣ и читателю г. Авсеенко, и,
вообще, обладает многоразличными до-
стоинствами... А г. де-Пуэ оный воскли-
цаетъ: какою прочностью основъ!

Вы, пожалуйста, подумайте, что это бичем сатиры г. Авсѣенко потрясаетъ. О, Боже мой! Да вѣдь этотъ человѣкъ издревле знаменитъ тѣмъ, что все старается разбить себѣ лобъ передъ «большинствомъ» и все никакъ не можетъ этого результата достигнуть. Наконецъ, прочтите и увидите.

Ахъ, господа, господа! Любовь дѣло житейское, любовь дѣло вольное, но лицензія дѣло скверное. Или скажите ужъ прямо: узъ брака священны, но messieurs Леонъ, Панталеонъ, Милонъ и mesdames Кира, Мира, Заира имѣютъ привилегію на разрушеніе оныхъ. Тогда, по крайней мѣрѣ, дѣло ясно будетъ.

И еще: любовь дѣло житейское, дѣло вольное, но не скотское дѣло. То-есть, у людей не скотское. Не знаю, впрочемъ, какъ полагается объ этомъ г. Фетъ.

Читатель, пожалуй, обидится, за нашего настоящего поэта. Г. Фетъ, вѣдь это «шопотъ, робкое дыханье, трели соловья»; безглагольное стихотвореніе, безначальный конецъ, безконечное начало, словомъ, ничто архипоэтическое, а слѣдовательно, и любовь онъ можетъ понимать только въ самомъ возвышенномъ смыслѣ. Ну, какъ тамъ у поэтовъ полагается: «фіалъ любви готовъ... и небеса небесъ разверзлись». Что-нибудь въ этомъ родѣ. Какія же тутъ могутъ быть сомнѣнія?

То-то вот не знаю. Все в той же ноябрьской книжке «Русского Вѣстника» напечатанъ рассказъ г. Фета «Кактусъ». Въ рассказѣ действительно расцвѣтаетъ и умираетъ прелестнѣйшій кактусъ, но еслибы рассказъ назывался «Чортъ знаетъ что, или сапоги въ смятку», то это было бы можетъ быть болѣе подходящее заглавіе. А, впрочемъ, судите сами.

Дѣло было въ іюлѣ мѣсяцѣ, на дачѣ или въ деревнѣ у г. Фета. Онъ, г. Фетъ, еще съ утра замѣтилъ, что единственный бутонъ стоявшаго въ бильярдной бѣлаго кактуса, цвѣтущаго только разъ въ годъ, готовится къ расцвѣту. Расчитавъ, что кактусъ распу- стится къ 6 часамъ, г. Фетъ предложилъ перенести его къ обѣду въ столовую, чтобы, значить, конвивы кушали, а кактусъ тѣмъ временемъ на ихъ глазахъ расцвѣталъ. И дѣйствительно, къ самому концу обѣда как- тусъ началъ распускаться. Конвивы обсу- пили цвѣтоѣ. Конвивы состояли, кроѣ са- мого г. Фета и его домашнихъ, изъ «моло-

дого пріятеля Иванова, страстнаго любителя цвѣтовъ и растений» и «очень молодой гостыя», повидимому, нѣсколько нигилистическаго пошиба: не то, чтобы что, а всетаки тронута. Молодой гостыя надобно ждать окончательнаго расцвѣта кактуса, и она ушла въ другую комнату, «побренчать на фортепіано». Скоро изъ той комнаты послышались «цыганскія мелодіи, которыхъ власть надо мной всеильна», прибавляетъ г. Фетъ. Можете себѣ представить положеніе маститаго поэта: съ одной стороны кактусъ распускается, а съ другой—цыганскія мелодіи слышатся—на лицо всѣ условія для нѣкотораго философско-поэтическаго паренія въ направленіи сапогъ въ смятку. И дѣйствительно, г. Фетъ предался слѣдующимъ размышленіямъ:

«Боже! думалось мнѣ, какая томительная жажда беззавѣтной преданности, безпредѣльной ласки слышится въ этихъ тоскующихъ напѣвахъ. Тоска, вообще чувство мучительное; почему же, именно, эта тоска дышетъ такимъ счастьемъ? Эти звуки не приносятъ ни представленій, ни понятій; на ихъ трепетныхъ крыльяхъ несутся живыя идеи. И что, по правдѣ, даютъ намъ наши представленія и понятія? Одну враждебную погоню за неуловимой истиной. Развѣ самое твердое астрономическое понятіе о неизмѣнности луннаго діаметра можетъ заставить меня не видать, что луна разрослась на востокъ? Развѣ философія, убѣждая меня, что міръ только зло или только добро или ни то, ни другое, властна заставить меня не содрагаться отъ прикосновенія безвреднаго, но гадкаго насѣкомаго или пресмыкающагося, или не слышать этихъ зовущихъ звуковъ и этого нѣжнаго аромата? Кто жаждетъ истины, ищи ее у художниковъ. Поэтъ говоритъ:

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

«Другой высказываетъ тоже словами:

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу
И брошусь въ битвы
Ему я на встрѣчу.

«Этому, по крайней мѣрѣ, вѣрили въ со-роковыхъ годахъ. Эти вѣрованія были общимъ достояніемъ. Поэтъ тогда не могъ говорить другого, и цыгане не могли идти путемъ, на который сошли теперь. И они вѣрили въ красоту и потому ее и знали».

Благоговѣя богомольно передъ святыней ерунды, а только предьявляю эту тираду на усмотрѣніе читателя, дабы и онъ тоже остановился въ нѣмомъ изумленіи передъ обнаруживающейся въ ней силою мысли и высотой поэтическаго паренія. Постоявши, подумавши, полюбовавшись, пойдемъ дальше.

Кактусъ расцвѣтаетъ окончательно. Всѣ любуются прелестнымъ цвѣткомъ, причемъ страстный любитель цвѣтовъ и растений Ивановъ выражаетъ мысль, что цвѣтокъ этотъ есть «храмъ любви». А что же такое любовь?—спрашиваетъ скептическая молодая гостыя. Ивановъ отвѣчаетъ: «Понимаю. Я видѣлъ на вашемъ столикѣ философскія книжки или, по крайней мѣрѣ, желающія быть такими. И вотъ вы меня экзаменуете. Не стѣсняясь никакими въ мірѣ книжками, скажу вамъ: любовь—это самый произвольный, а потому самый искренній и обширный діапазонъ жизненныхъ силъ индивидуума, начиная отъ васъ и до этого прелестнаго кактуса, который теперь въ этомъ діапазонѣ». Дѣвушка, натурально, ничего не понимаетъ въ этомъ отвѣтѣ Иванова, да вѣдь и вы, читатель, не понимаете, и я, грѣшный, признаюсь, тоже не понимаю, и г. Ивановъ, я думаю, тоже не понимаетъ. Между прочимъ, дѣвушка возражаетъ, что Ивановъ хочетъ объяснить что такое любовь и приводитъ музыкальный терминъ, не имѣющій ничего общаго съ объясняемымъ предметомъ. Тутъ уже г. Фетъ «не выдержалъ». Онъ вмѣшался въ разговоръ, съ цѣлью доказать дѣвушкѣ, что она «напрасно проводить такую рѣзкую черту между чувствомъ любви и чувствомъ эстетическимъ, хоть бы музыкальнымъ». Положимъ, что дѣвушка ничего такого не говорила, а только протестовала противъ нелѣпаго объясненія. Но пусть будетъ такъ, какъ хочетъ г. Фетъ. А онъ хочетъ разсказать анекдотъ, и кактусъ, и вся святыня ерунды—все это только приступъ, прісказка. Нужна, однако, еще одна прісказка, и тогда мы подойдемъ, наконецъ, къ анекдоту вплотную.

Г. Фетъ былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ съ покойнымъ Аполлономъ Григорьевымъ, а Григорьевъ былъ, между прочимъ, замѣчательнымъ «цыганистомъ», то-есть любилъ и пѣлъ цыганскія пѣсни. Любимую его пѣсню была «венгерка», перемежающаяся припѣвомъ:

Чибиракъ, чибиракъ, чибирашечки,
Съ голубыми ты глазами моя душечка!

«Понятно, замѣчаетъ г. Фетъ:—почему эта пѣсня припала ему по душѣ, въ которой набѣгавшее скептическое вѣніе не могло загасить пламенной любви красоты и правды. Въ этой венгеркѣ, сквозь комически-плясовую форму, прорывался тоскливый разгулъ погибшаго счастья. Особенно отбѣнялъ онъ кушеть:

Подъ горой-то ольха,
На горѣ-то вишня;
Любилъ баринъ цыганочку—
Она замужъ вышла».

Ну, разумеется, «Чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки», это въ самомъ дѣлѣ еще не очень ясно. Но когда «подъ горой ольха, а на горѣ вишня», тогда все уясняется, все *понятно*. Такъ вотъ, однажды, Аполлонъ Григорьевъ затащилъ г. Фету послушать, какъ поетъ одна цыганка, Стеша, не на эстрадѣ, а дома, въ своей обыденной житейской обстановкѣ. Обстановка же эта заключала въ себѣ нѣчто поэтическое. Стеша была влюблена въ гусара, и безнадежно, потому что цыгане, какъ водится, требовали выкупа, а гусаръ не хотѣлъ или не могъ его представить. Стеша, натурально, грустила, печаловалась, и печаль эта отражалась въ ея пѣніи. Такъ рассказывалъ г. Фету Аполлонъ Григорьевъ, такъ все и на дѣлѣ было, въ чемъ г. Фетъ самолично убѣдился. Стеша, дѣйствительно, мастерски спѣла двѣ пѣсни, имѣвшія нѣкоторое отношеніе къ ея положенію, и кончила тѣмъ, что расплакалась и убѣжала изъ комнаты. Рассказавъ этотъ случай, г. Фетъ, разумеется, въ доску положилъ ту дѣвицу, которая находила, что ерунда есть ерунда, а не опредѣленіе. Онъ обратился къ ней съ побѣдоноснымъ вопросомъ: «Что же вы на это скажете, скептическая дѣвица? Развѣ эта Стеша не любила? Развѣ она могла бы такъ пѣть, не любя? Стало быть любовь и музыка не такъ далеки другъ отъ друга, какъ вамъ угодно было утверждать». Смущенная столь побѣдоносной аргументаціей, скептическая дѣвица отвѣчаетъ: «Да, конечно, въ навѣстныхъ случаяхъ».

Но что же съ кактусомъ, въ честь котораго весь рассказъ получилъ свое названіе? Что съ нимъ и причѣмъ онъ тутъ? Что съ нимъ, это узнать не трудно: завялъ; рассказъ оканчивается слѣдующими, должно быть, глубоко значительными словами: «Когда утромъ мы собрались къ кофею, на краю стола лежалъ бездушный трупъ вчерашняго красавца кактуса». Но причѣмъ кактусъ во всей этой исторіи—уразумѣть не такъ-то легко. Кактусъ былъ прекрасенъ, но на гитарѣ онъ не игралъ, равнымъ образомъ не пѣлъ «чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки». Аполлонъ Григорьевъ пѣлъ «чибирякъ», но не былъ кактусомъ. Стеша любила гусара, но въ печальномъ эпизодѣ ея любви кактусъ не игралъ никакой роли. Вообще, исторія темна, баснословна и, если говорить прямо, такъ смесу въ ней никакого. Но г. Фетъ, очевидно, хотѣлъ что-то сказать своимъ рассказомъ, кого-то въ чемъ-то убѣдить. Можно догадываться, что предпріятіе состоитъ все въ той же защитѣ эстетики и высокихъ и чистыхъ отношеній любви. Въ сокровищницу снарядовъ, конки «Русскій Вѣстникъ» защищаетъ эти твердыни, г. Фетъ пожелалъ вложить свою лепту. И это

настоящая лепта вдовицы: немного, но отъ чистаго сердца. Однако, именно потому, что лепта такъ незначительна, скептическая дѣвица имѣла бы полную возможность обратиться къ г. Фету съ слѣдующимъ отповѣдомъ:

Милостивый государь и высокотожественный поэтъ! Простите откровенность бѣднаго человѣка, но вы—плохой защитникъ и едва ли еще не худшій обвинитель. Можетъ быть, впрочемъ, это зависитъ не отъ природной неспособности, а единственно отъ того, что вы незнакомы ни съ тѣмъ, что защищаете, ни съ тѣмъ что обвиняете. Я вовсе не отрицаю, что прекрасное прекрасно и даже понимаю это дѣло, кажется, лучше васъ. Ибо, еслибы мнѣ пришлось защищать прекрасное, то я выбрала бы что нибудь получше, чѣмъ «чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки». Что же касается тѣсной связи любви и музыки, то объ этомъ весьма обстоятельно рассказывается въ тѣхъ «философскихъ книжкахъ или желающихъ быть такими», которые такъ презираетъ господинъ Ивановъ...

Ну, однако, Богъ съ нимъ, съ г. Фетомъ и съ его скептической дѣвицей! Читатель и безъ того, я думаю, удивляется, что я столь долго возмусь съ такой дребеденью. Но дѣло въ томъ, что «Кактусъ» есть въ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» единственное законченное произведеніе беллетристики, и мнѣ хотѣлось поэтому на немъ, именно, показать, что эти люди защищаютъ и противъ чего ополчаются. Долженъ, однако, сознаться, что г. Фетъ для этого не годится. Во-первыхъ, возиться съ нимъ скучно, несмотря на увеселительный характеръ «Кактуса», а, во-вторыхъ, слишкомъ ужъ онъ наивенъ. Онъ, очевидно, не подозреваетъ, что Америка уже открыта, и съ самымъ серьезнымъ видомъ предлагаетъ посмотреть и послушать, какъ онъ ее сейчасъ откроетъ. Но любопытно, всетаки, видѣть, что высшій моментъ эстетики составляютъ какіе-то «чибиряки» и что цвѣтокъ кактуса есть «храмъ любви». Америка состоитъ прежде всего въ томъ, что музыка и любовь другъ къ другу близки. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, «философскія книжки» (Дарвинъ, Уоллэсъ) очень усердно и обстоятельно развивали эту тему, въ особенности въ примѣненіи къ пѣнію птицъ. Но дѣло-то въ томъ, что если оницца или чижъ въ моментъ любви чиррикаютъ и чивикаютъ, то люди въ этомъ отношеніи достаточно выросли, чтобы перестать чибирякать: они умѣютъ вкладывать въ свои пѣсни больше смысла и содержанія. Другая Америка силится обнять однимъ опредѣленіемъ цвѣтущій кактусъ и любящую женщину. Очень тоже старинная Америка, но, опять-таки, цвѣтокъ кактуса есть вовсе не

«храмъ любви», а просто половой органъ; храмъ же любви создается только человекомъ, который вноситъ въ свою любовь специально человѣческія черты. Вотъ на-счетъ этого-то пункта я и нахожусь въ сомнѣніи, то-есть не знаю, какія черты вносить въ свою любовь гг. Фетъ и присные его...

Я и не замѣтилъ, какъ у меня вышло на этотъ разъ настоящее «журнальное обзорѣніе»: мы, собственно говоря, проштудировали всю ноябрьскую книжку «Русскаго Вѣстника». Есть еще тамъ, правда, статья г. Гурьева «Историографъ Миллеръ въ Томскѣ», статья г. Пуцилло «Къ вопросу, кто былъ Ермакъ Тимофеевичъ, покоритель Сибири» и др. Но кто же эти прекрасныя статьи читаетъ? Онѣ неприкосновенны, какъ жена Цезаря. Все же прикосновенное нами исчерпано. И вышло, кажется, довольно поучительно. Развѣ не поучителенъ, въ самомъ дѣлѣ, этотъ «диапазонъ» эстетики отъ пасквиля до чибирика и отъ апоееова прелюбодѣнія до цвѣтушаго кактуса? Наивность-ли почти младенческая опредѣляетъ образъ мыслей и дѣйствій этихъ людей, или, напротивъ, лицемеріе самое высокопробное, или и то и другое вмѣстѣ (это бываетъ), но вы видите, что они, рекомендуя себя друзьями прекраснаго и высокаго, суть ихъ злѣйшіе враги. Еслибы я осмѣлился прибѣгнуть къ изящному стилю Топыгина, я сказалъ бы, что они «харкаютъ въ харю» своему собственному идеалу. Именно, собственному, или, по крайней мѣрѣ, тому, который они официально предъявляютъ. Кто чибирикомъ «харкнетъ», кто пасквилемъ, кто апоееовомъ грубаго прелюбодѣнія «харкнетъ» и спрячется за Сикстинскую Мадонну, да оттуда и кричитъ во всю глотку: караулъ! держи! лови! прекрасное гибнетъ, высокое унижается, эстетика разрушается, священные узы колеблются! Это одна изъ любопытѣйшихъ чертъ нашего современнаго жита-бытья, и читатель, надѣюсь, не посѣтуетъ на меня, если я возвращусь къ ней еще и еще разъ и постараюсь прослѣдить ее въ различныхъ ея формахъ и приложенияхъ.

Р. С. Александръ Македонскій умеръ, но Леонидъ Полонскій живъ и разрубаетъ узы. Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ интеллигенціи и буржуазіи, которымъ я занималъ вниманіе читателя въ декабрьской книжкѣ прошлаго года, упраздненъ двумя декретами, напечатанными въ номерахъ 151 и 152 газеты «Страна». Почтенная газета признаетъ вопросъ этотъ «празднымъ и не заслуживающимъ подробнаго разсмотрѣнія».

Такъ было сказано въ первомъ декретѣ. А когда «Новое Время», находя доводы почтенной газеты не убѣдительными (да и какіе же могутъ быть доводы и убѣдительность въ декретѣ?), замѣтило, что «вопросъ остается открытымъ», то «Страна» издала второй декретъ: «Вопросъ вовсе не остается открытымъ, но долженъ считаться заключеннымъ». Никакъ не могу согласиться, что вопросъ праздный и не заслуживаетъ подробнаго разсмотрѣнія, однако, готовъ признать его «заключеннымъ». Но, конечно, въ томъ, именно, смыслѣ, въ какомъ я предлагалъ его разрѣшить, а именно: русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и тоже и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова — и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія — и народъ будетъ навѣрное съѣденъ...

XI.

Торжество г. Ціона, чреда образованности и проч. *).

Мнѣ попалась недавно французская брошюра съ пышнымъ заглавіемъ «La guerre à Dieu et la morale laïque. Réponse à M. Paul Bert par E. de Cyon, directeur du «Gaulois». P. 1881. Пышно заглавіе, еще пышнѣе имя автора, въ превосходной степени пышно содержаніе брошюры.

«Война съ Богомъ и свѣтская мораль. Отвѣтъ Е. де-Сіона Полю Беру»... Какой важный человѣкъ долженъ быть этотъ г. де-Сіонъ! Оно и по фамиліи видно: *de* — это что-то дворянское, а *Сіонъ* — что-то іерусалимское, хотя, впрочемъ, по-французски слѣдовало бы писать въ такомъ случаѣ не *Cyon*, а *Sion*. По-русски же можно, кажется, просто сказать «Сіонскій», ибо *duc d'Orléans*, напимѣръ, будетъ по-русски герцога Орлеанскій...

Нѣтъ, читатель, по-русски надо просто сказать «Ціонъ», какъ видно изъ титула *directeur du «Gaulois»*, а въ качествѣ директора этой газеты г. Ціонъ получилъ недавно большую извѣстность, благодаря маленькой неприяности, причиненной ему г. Верещагиннымъ, объ чемъ писалось въ газетахъ. Но и помимо этого титула, уже изъ первыхъ строкъ предисловія вы убѣждаетесь, что передъ вами ломается, именно, г. Ціонъ, *monsieur*, знаменитый г. Ціонъ, тотъ самый, самовосхваленіе котораго достигаетъ гипер-

*) 1882 г., февраль.

болической высоты. Дѣло въ томъ, что Поль Беръ, незадолго до своего назначенія министромъ народнаго просвѣщенія французской республики, сказалъ публичную рѣчь о религіозномъ образованіи въ школахъ духовныхъ обществъ. Г. Цюну эта рѣчь показалась несостоятельною и онъ напечаталъ въ *Gaulois* «отвѣтъ» на нее (собственно говоря, не отвѣтъ, а возраженіе, ибо Поль Беръ вовсе къ г. Цюну не обращался). Затѣмъ, г. Цюнь издалъ свой отвѣтъ отдѣльной брошюрой, «побуждаемый пламенными поздравленіями, обращенными къ нему со всѣхъ концовъ политическаго горизонта и уступая настоятельнымъ требованіямъ читателей». Дабы читатель не подумалъ, что я клевету на г. Цюна, я приведу эту фразу въ подлинникъ: *encouragé par des félicitations chaleureuses, venues des tous les coins de l'horizon politique, et cédant aux pressantes invitations de mes lecteurs...* Все письмо г. Цюна проникнуто этимъ тономъ увѣренности, что «со всѣхъ концовъ политическаго горизонта» на него, г. Цюна, устремлены взоры, полныя вѣры, надежды, любви. И какъ только онъ напечаталъ въ *Gaulois* свое письмо къ Полю Беру, такъ «въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете себя представить, тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ! Каково положеніе?—Г. де-Сюны! пожалуйста, говорятъ, управлять министерствомъ!» Управлять министерствомъ позволяли, однако, по ошибкѣ, Поля Бера, а г. Цюнь остался при курьерахъ. Тѣмъ хуже для Франціи, разумѣется, и для всего политическаго горизонта...

Съ тѣхъ поръ, и Поль Беръ провалился вмѣстѣ съ Гамбеттой. И Богъ съ ними! Намъ до нихъ дѣла нѣтъ, равно какъ и до содержанія письма г. Цюна. Да еслибы мы и очень безпокоились насчетъ опасностей, угрожающихъ религіи во Франціи, то вѣдь на стражѣ ея стоитъ тамъ г. Цюнь, привѣтствуемый и даже «пламенно» привѣтствуемый политическимъ горизонтомъ. Этимъ все сказано, и «чего-жъ тебѣ больше жалеть?»

Такой стражъ не выдастъ. Чуть что, онъ опять затрубитъ тревогу, и опять къ нему поскачутъ курьеры, и опять позовутъ управлять министерствомъ Поля Бера, а онъ останется при курьерахъ. Это такъ ясно, просто и неизбѣжно, что и говорить ничего не остается. Но въ брошюрѣ г. Цюна есть одинъ эпизодъ, имѣющій непосредственное отношеніе къ нашему отечеству, и его-то я хочу рекомендовать вниманію читателя. Г. Цюнь вспоминаетъ, какъ онъ, въ качествѣ профессора медико-хирургической академіи, читалъ въ 1873 году актовую рѣчь

въ академіи. Кое-кто изъ читателей, можетъ быть, тоже помнитъ какъ эту рѣчь, такъ и всѣ обстоятельства, сопровождавшія выходъ въ отставку г. Сѣченова и избраніе г. Цюна въ его преемники по кафедрѣ физиологіи въ медико-хирургической академіи. Во всякомъ случаѣ, вотъ разсказъ г. Цюна.

Бейте литавры и барабаны, трубите трубы!—г. Цюнь входитъ на кафедру!

Его рѣчь озаглавлена «Сердце и мозгъ». «Предметъ моей рѣчи,—разсказываетъ г. Цюнь,—такъ напугалъ высшее духовенство, что оно, противно обычаю, не присутствовало на торжествѣ. За то въ залѣ было много молодежи, отравленной преподаваніемъ моего предшественника, верховнаго жреца ингилизма, того самаго, который ухитрился показывать душу подъ микроскопомъ и сообщать кроликамъ человѣческій разумъ, угощая ихъ фосфоромъ. Эти слушатели ожидали, безъ сомнѣнія, что я впаду въ тонъ ихъ бывшаго профессора и воспользуюсь своей темой, чтобы помститься грубому матеріализму, слишкомъ поощряемому квази-научною литературой. Ихъ заблужденіе разсѣялось скоро. Пока я говорилъ о чистой наукѣ, они слушали съ очень сочувственнымъ вниманіемъ. Только нѣкоторые мои намеки на услуги, оказанныя физиологіей музыкѣ, поэзіи, живописи, вызвали неодобрительный ропотъ. Но подъ конецъ рѣчи, когда я, въ согласіи съ авторитетами нашей науки, сказалъ, что человѣческій разумъ имѣетъ свои предѣлы, за которыми все и всегда останется неизвѣстнымъ, разразилась настоящая буря. Она еще усилилась, когда я произнесъ слѣдующія слова: «уразумѣніе механики интеллектуальныхъ функций—вотъ предѣлъ нашихъ познаній о душѣ, за который никогда не преступать ни естественныя и ни никакія другія науки». Говоря это, я смотрѣлъ въ ту сторону, откуда раздавались протесты, и читалъ на лицахъ протестантовъ гнѣвъ и удивленіе... Я сошелъ съ кафедры полный мрачныхъ предчувствій насчетъ будущности, которую готовило своей родинѣ столь извращенное поколѣніе. Многіе подходили ко мнѣ съ поздравленіями, въ томъ числѣ и военный министръ, графъ Милютинъ, одинъ изъ вождей либеральной русской партіи. Матеріалистическое направленіе средняго образованія въ Россіи есть по преимуществу его рукъ дѣло. Онъ тогда игралъ роль заядлаго защитника школьной молодежи и простиралъ свою снисходительность до извиненія самыхъ неизвинимыхъ поступковъ.—«Господинъ-министръ,—сказалъ я ему, поблагодаривъ за привѣтствіе,—замѣтили-ли вы, какое впечатлѣніе на молодежь произвели нѣкоторые мѣста моей рѣчи? Что до меня касается, то я глубоко

огорченъ. Я не пророкъ, но предсказываю вамъ, что, если вы не остановите какъ можно скорѣе деморализацію этой молодежи, круто измѣнивъ систему образованія, то черезъ пятнадцать, двадцать лѣтъ, Россія будетъ въ состояніи полного соціального разложенія». — Министръ недоувѣрчиво улыбнулся: «Вы преувеличиваете, потому что не имѣете довѣрія къ морализующей силѣ естественныхъ наукъ», — отвѣчалъ онъ. — «О, да! довѣрія никакого», — возразилъ я. — Я не ошибался. Хотите знать, что вышло потомъ изъ этихъ юныхъ нигилистовъ, протестовавшихъ тогда противъ моихъ доктринъ? Ихъ было около сотни и изъ этого числа, по-крайней мѣрѣ, семьдесятъ пять повѣшены или сосланы въ Сибирь».

Трубите трубы, бейте литавры и барабаны! — г. Цюнь сошелъ съ каеэдр...

Каково бы ни было, однако, состояніе политическаго горизонта въ эту торжественную минуту, а очевидно, что г. Цюнь во многомъ заблуждается. Заблуждается онъ, напимѣръ, въ томъ, что называлъ графа Милютина «господиномъ министромъ»; въ дѣйствительности, разговоръ начался, конечно, словами «ваше высокопревосходительство». Г. Цюнь, бесѣдующій въ республиканской Франціи за панибрата съ футюр-министромъ Полемъ Беромъ, забылъ, должно быть, какъ принято и должно обращаться къ министру у насъ. Во всякомъ случаѣ, г. Цюнь заблуждается: онъ сказалъ не «господинъ министръ», а «ваше высокопревосходительство». Конечно, заблужденіе это, на первый взглядъ, совершенно пустяковое, въ особенности, если предположить (а это не невѣроятно), что и разговора-то такого вовсе не было. Однако, и не совсѣмъ все-таки пустяковое.

Всю эту исторію своей актовой рѣчи г. Цюнь къ тому рассказываетъ, чтобы предупредить Францію насчетъ опасностей той *rente fatale*, на которую Поль Беръ увлекаетъ ее своими радикальными затѣями въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія: дескать, затѣи эти уже испробованы въ Россіи и вотъ къ чему онѣ привели. Между тѣмъ, Франція есть страна, въ которой г. Цюнь называетъ завтрашняго министра (г. Цюнь прямо говоритъ это) — *mon cher confrère*. Россія же есть страна, въ которой г. Цюнь называетъ министра «ваше высокопревосходительство». Если достаточно свѣдующій палеонтологъ можетъ по одному зубу реставрировать весь образъ ископаемаго животнаго, которому этотъ зубъ принадлежалъ, то всякій простой смертный легко нарисуетъ въ общихъ чертахъ всю разницу государственнаго строя двухъ странъ, изъ которыхъ въ одной человекъ науки говоритъ министру «ваше высокопревосходи-

тельство», а въ другой — *mon cher confrère*. Конечно, мы и безъ того знаемъ, что Франція и Россія не одно и то же, но заблужденіе г. Цюня хорошо подчеркиваетъ эту разницу. А отсюда слѣдующій вопросительный выводъ: неужели же, въ самомъ дѣлѣ, всѣ радикальныя затѣи французскаго министра народнаго просвѣщенія были осуществлены у насъ десять лѣтъ тому назадъ и уже успѣли принести свои плоды? Нечего и говорить, что Поль Беръ оставилъ письмо г. Цюня безъ отвѣта, но г. Цюнь, будучи чрезвычайно великодушнымъ, объясняетъ это своею необходимостью: дескать, нечего было возразить. Ну, не совсѣмъ, кажется, такъ. Я думаю, что Поль Беръ могъ бы возразить многое, и, между прочимъ, сказать такъ: *mon cher confrère*, я вамъ очень благодаренъ за то, что, озабочиваясь судьбами моей родины, вы даете мнѣ совѣты и указанія; но успокойтесь: я вовсе не требую для Франціи тѣхъ порядковъ школьнаго образованія, какіе господствовали въ Россіи въ вашу бытность тамъ, то-есть при министерствѣ графа Толстого, о коемъ много слышанъ: совсѣмъ даже напротивъ, и поскольку несчастія Россіи зависѣли отъ господствовавшей тамъ системы образованія, Франція будетъ моею системою гарантирована.

Мнѣ кажется, что говоря это, Поль Беръ былъ бы правъ, а г. Цюнь заблуждается.

Заблужденіямъ г. Цюня, впрочемъ, можно сказать, нѣтъ конца. Пышный, какъ строители вавилонской башни, онъ терпитъ, примѣрно, одинаковое съ ними возмездіе: у тѣхъ Господь Богъ смѣшалъ языки, а у г. Цюня языкъ какъ-то самъ собой зарпортовался. Обратите вниманіе на порядокъ, въ которомъ изложено волненіе слушателей актовой рѣчи г. Цюня. Сначала его слушаютъ «съ сочувственнымъ вниманіемъ»; потомъ раздается «неодобрительный ропотъ»; потомъ «разразилась настоящая буря»; потомъ буря «еще усилилась». Когда въ русскихъ торжественныхъ и иныхъ публичныхъ собраніяхъ буря разражается до такихъ усиленныхъ размѣровъ, то происходитъ сами знаете что: залъ тѣмъ или другимъ способомъ очищается отъ публики и наступаетъ такая всеподавляющая тишина, какъ будто никогда никакихъ бурь на свѣтѣ не было. Ничего такого на академическомъ актѣ 1873 года не случилось. Правда, лѣтопись русскихъ скандаловъ велика и обильна и запутаться въ ней не трудно. Но объ актовой рѣчи г. Цюня въ свое время такъ много говорили, такъ много смѣялись надъ ней, что какъ бы, кажется, намъ не запомнить этого эпизода. Объ этомъ и г. Цюнь умалчиваетъ. Спрашивается, какъ же это такъ: идетъ усиленная буря, а попечитель-

ное начальство не принимает никаких мер для водворения тишины? Въ новѣйшій отечествѣ г. Цюна, во Франціи, это дѣло самое заурядное, ибо начальство тамъ непомечтательное и подчасъ даже просто изъ *cher conféré* овъ состоитъ. Ну, а у насъ этого, воля ваша, быть не можетъ. И вся исторія объясняется очень просто: никакой бури не было, ее г. Цюнь сочинилъ для красоты слога и для внятнаго устрашенія политическаго горизонта. Но надо же свести концы съ концами. И вотъ г. Цюнь начинаетъ сбавлять краски: вмѣсто усиленной бури оказывается сначала «гнѣвъ и удивленіе» на лицахъ слушателей, а потомъ г. Цюнь подходит къ министру и говоритъ: «ваше высокопревосходительство, *замѣтимъ-ли* вы, какое впечатлѣніе произвели нѣкоторыя мѣста моей рѣчи?» Стало быть, усиленная-то буря была такова, что министр могъ ее даже не замѣтить...

Но самое интересное заблужденіе г. Цюна состоитъ въ увѣренности, будто юношество могло враждебно возволноваться тѣми мѣстами его рѣчи, о которыхъ онъ говоритъ или какъ онъ ихъ передаетъ. «Верховный жрецъ нигилизма» или, говоря не столь адо-лито высокимъ стилемъ, г. Съченовъ никогда, разумѣется, не брался показывать «душу подъ микроскопомъ», а вотъ г. Цюну точно случилось богатѣе нѣчто въ этомъ родѣ, и какъ разъ, именно, въ той самой актовой рѣчи «Сердце и мозгъ», которую онъ доселѣ не можетъ хвалиться. Есть такой инструментъ, который записываетъ силу и окрестность сокращеній сердца. Называется онъ кардіографъ. Такъ вотъ объ этомъ самомъ кардіографѣ г. Цюнь излагалъ въ своей рѣчи, будто онъ (кардіографъ) спасетъ человечество отъ вселенской лжи, лицемерія и подлости, ибо, рассматривая кривыя, начерченные кардіографомъ на бумагѣ, можно будетъ читать человеческое сердце, какъ книгу. Г. Цюнь не безъ игривости развилъ картину нѣкоторыхъ примѣненій кардіографа въ этомъ направленіи, и я помню, что тогда много смѣялась надъ его глубокомыслиемъ. Весьма вѣроятно, что это мѣсто рѣчи вызвало удивленіе на лицахъ слушателей. Удивленіе, но отнюдь, я думаю, не гнѣвъ, потому что юношество благодушно, и за подобный безразличный вздоръ не тивъается. Забудьте, однако, что этотъ вздоръ, будучи вздоромъ абсолютнымъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ въ частности, вздоръ грубо материалистическій, чуть не буквально «душа подъ микроскопомъ» и, во всякомъ случаѣ, душа на кончикѣ пера кардіографа. Слѣдовательно, еслибы слушатели г. Цюна были въ самомъ дѣлѣ предварительно отравлены верховнымъ жрецомъ нигилизма и

квази-научною литературою въ направленіи грубого материализма, то они огулились бы г. Цюна амфилодисменами за его вздоръ. Ничего подобнаго, однако, не было, а былъ, напротивъ, даже «неодобрительный ронотъ». Не помню другихъ экскурсій г. Цюна въ области философіи, искусства и жизни, но знаю, что если не всѣ онѣ столь же были на грубой эффектъ, то всѣ были столь же легковѣсны. Почему же, спрашивается, считать отравленными людей, которые цѣнятъ вздоръ и легковѣсность по достоинству и которые притомъ, по удостовѣренію самого г. Цюна, слушаютъ «съ очень сочувственнымъ вниманіемъ», когда имъ говорятъ о «чистой наукѣ»? Вотъ еслибы г. Цюнь сказалъ что-нибудь дѣльное по части услугъ, какія физиологія оказала и можетъ оказать философіи, искусству, жизни, тогда сочувственное вниманіе навѣрное не прерывалось бы. Что же касается мысли объ ограниченности человѣческаго разума, предопредѣленной самымъ фактомъ организаціи человѣка, то ужъ, конечно, она не могла возбудить неудовольствіе въ слушателяхъ г. Цюна. Онъ говоритъ, правда, по этому поводу: «мои доктрины», но это онъ только отъ чрезмѣрнаго своего великолѣпія; въ сущности же высказанная имъ мысль составляетъ достояніе вѣка и выработалась усиліями звѣздъ первой величины въ области философіи и науки.

Ахъ! еслибы въ самомъ дѣлѣ кардіографъ доставилъ намъ возможность читать человеческое сердце, какъ книгу... А впрочемъ, не знаю, хорошо-ли бы это было. Съ одной стороны, конечно, хорошо, потому что можно бы было съ увѣренностью знать съ кѣмъ имѣешь дѣло и, значитъ, избѣгать такихъ пріятныхъ вещей, какъ поворъ обмана, горечь разочарованія, объятія негоды, подлая усмѣшка лицемеря. Съ другой стороны, жизнь вѣчно съ камнемъ за пазухой тоже должно быть не очень веселая штука.

Какъ тамъ, однако, будетъ съ кардіографомъ, этимъ пусть г. Цюнь занимается въ свободное отъ привѣтствій политическаго горизонта время. Пока что, а теперь приходится довольствоваться обыкновенными приемами анализа вещественныхъ знаковъ невещественныхъ отношеній. И, кажется, этихъ обыкновенныхъ или, какъ выразился бы одинъ нынѣ замолодѣвшій русскій публицистъ, «глазомѣрныхъ» приемовъ въ настоящемъ случаѣ вполне достаточно: вся брошюра г. Цюна есть вещественный знакъ чрезвычайно дрянныхъ невещественныхъ отношеній. Что же касается невещественной подкладки разсказа объ актовой рѣчи, то она дрянна въ превосходной степени.

Г. Цюнь жетъ, это ясно. Но обратите вниманіе на приемы, цѣль, мотивы этой безпардонной лжи, съ торопливою наглостью спитой бѣлыми нитками. Г. Цюню нужно щегольнуть передъ «политическимъ горизонтомъ» Франціи умѣренностью либерализма, проникательностью, обнаруженною имъ еще въ Россіи, и проч. Цѣль эта не превышаетъ своими размѣрами размѣра мѣднаго гроша, но, ради нея, г. Цюнь ничего не жалѣетъ; все равно, какъ иной совсѣмъ озвѣрившійся отъ голода человѣкъ, рѣшается на убійство, чтобы поживиться двумя-тремя копѣйками. О собственномъ достоинствѣ г. Цюня нечего и говорить, разумеется: какое ужъ чувство собственного достоинства у безстыднаго хвастуна, если позволено будетъ, наконецъ, назвать *заблужденіемъ* г. Цюня настоящимъ именемъ. Это разоблаченіе собственного нутра, пожалуй, даже очень полезно. О! пусть бы г. Цюнь и ему подобные представляли людямъ свое нравственное убожество во всей красѣ. Но бѣда въ томъ, что они валяютъ съ больной головы на здоровую и, несмотря на бѣлые нитки наглости, лжи и клеветы, всегда найдутся люди достаточно глупые или несвѣдущіе, чтобы имъ поверить, и достаточно родственные по духу, чтобы ихъ поддерживать. Надѣлаетъ человѣкъ гадостей, наговоритъ глупостей, а потомъ построить себѣ монументъ, да съ высоты пьедестала собственной фабрикаціи и восклицаетъ, картинно скрестивши руки: о, времена! о, нравы! о, извращенное поколѣніе! Онъ, видите-ли, думалъ, что ему за гадости и глупости лавровый вѣнокъ благодарные современники поднесутъ. Не получая желаемого, онъ ощущаетъ въ сердцѣ своемъ занову, подвигавшую его на новыя монументальныя гадости и глупости, пока, наконецъ, его болѣе или менѣе неделикатно стащутъ за шиворотъ съ монумента собственной фабрикаціи.

А, пожалуй, что и не дурная штука кардіографъ—контролеръ сердечныхъ движеній. Представьте себѣ такой «веселенькій пейзажикъ»: стоитъ живой монументъ и соловьемъ разливается, какъ о своихъ непомѣренныхъ достоинствахъ, такъ и о чрезвычайной презрѣнности тѣхъ, кто его не оцѣнилъ, освисталъ, обругалъ, или просто не замѣтилъ. А кардіографъ тѣмъ временемъ записываетъ на своемъ условномъ языкѣ: жетъ, жетъ, жетъ. Право, занятно. Или другой, напримѣръ, распинается, бѣя себя въ грудь, на тему о любви къ отечеству и о народности. А кардіографъ: жетъ, жетъ, жетъ...

Я бы очень желалъ пристроить кардіографъ къ сердцамъ нѣкоторыхъ московскихъ людей. Не подумайте только, что я имѣю

въ виду сердце г. Каткова. Нѣтъ, я боюсь, что кардіографъ, пристроенный къ сердцу этого въ своемъ родѣ великана, такое напишетъ, что при дамахъ и сказать нельзя. Я другихъ московскихъ людей разумею.

Въ ноябрьской книжкѣ «Русской Мысли» напечатано начало статьи г. Дитятина «Когда и почему возникла рознь въ Россіи между «командующими классами» и «народомъ». Статья имѣетъ полемическую цѣль, а именно, направлена противъ мнѣній «Руси» о райскомъ состояніи русской земли въ допетровскую пору. Нарисовавъ картину порядковъ московской Руси и показавъ, что рознь между «командующими классами» и народомъ была въ тѣ поры ужасающихъ размѣровъ, г. Дитятинъ оканчиваетъ статью такъ: «Гдѣ же причины? Въ наше время онѣ найдены въ существованіи интеллигенціи, зараженной губительными идеями Запада. Ну, а тогда? Вѣдь этой злостной интеллигенціи не существовало; вѣдь все покоилось на исконныхъ русскихъ стародавнихъ обычаяхъ; сермяга голоднаго бобыля была одного покроя съ золотымъ зипуномъ царскаго боярина; кабацкая голь и царская «служня» одинаково забавлялись шутами, яродивыми. Всѣ вѣровали въ одного Бога несомнѣнно. И все-таки все «бѣжитъ розно». И все-таки общество разлагалось; слышенъ былъ трупный запахъ... Гдѣ же причины? На этомъ вопросѣ мы остановимся во второй половинѣ нашей статьи».

Статья помѣчена 30-мъ августомъ 1881 г. и подъ ней значится: «окончаніе слѣдуетъ». Но вотъ уже и февральская книжка «Русской Мысли» вышла, а окончаніе статьи г. Дитятина все еще не слѣдуетъ. Какой бы этому резонъ былъ? Можетъ быть, г. Дитятинъ просто заглохъ или отдумалъ дописывать статью. Можетъ быть, какъ помните, у Некрасова:

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала!
Богъ съ ней, когда идеъ зло
Она потворствовать желала...
Но, можетъ быть, она была
Честна... а такъ, рѣзка, смѣла?
Двѣ, три странички роковыя...

Всяко бываетъ. Но, можетъ быть, и такъ, что объясненія слѣдуетъ искать въ длинномъ предисловіи отъ редакціи, сопровождающемъ статью г. Дитятина. Въ противоположность довольно рѣзкому по тону и фактическому по содержанію характеру статьи, это предисловіе отличается мягкостью и расплывчатостью. Г. Аксаковъ величается въ немъ, совершенно противно обычаямъ печати, по имени и отчеству: «Желательно, чтобы Иванъ Сергѣичъ объяснилъ». «Мы увѣрены, что Иванъ Сергѣичъ объяснитъ». Почтенная редакція всту-

пасть даже въ полемику съ г. Дятятинымъ, приче́мъ до такой степени входить въ тонъ пріятельской бесѣды за чайнымъ столомъ, что говорить: «Кто же изъ знающихъ лично И. С. Аксакова и когда (?) могъ обвинять его въ желаніи двинуть назадъ русскій народъ, къ жизни его въ XVI и XVII вѣкѣ, къ умственнымъ и нравственнымъ идеаломъ пона Сильверста—въ томъ, что онъ въ образованности, въ наукѣ видитъ источникъ нравственнаго паденія? Никто и никогда. И. С. Аксакова мы знаемъ хорошо».

Иванъ Сергѣевичъ, разумѣется, ничего не разъяснилъ, не объяснилъ и на всѣ любезности редакціи «Русской Мысли» отвѣтилъ грубою бранью. Почтенная редакція пролила, вѣроятно, по этому поводу слезу благодарнаго умиленія и... и окончанія статьи г. Дятятина не воспослѣдовало. Можетъ быть, конечно, это чисто случайное совпаденіе обстоятельствъ и, какъ уже сказано, г. Дятятинъ просто зачѣнился или «пропала книга. Но, признаюсь, я не безъ интереса ожидаю бы результатовъ примѣненія кардиографа къ сердцу «Русской Мысли»...

Не хочу, впрочемъ, такъ говорить. Не хочу, чтобы у читателя хотя бы только мелькнула мысль, будто я ставлю почтенную редакцію «Русской мысли» за одну скобку съ людьми въ родѣ г. Цюна. Нѣтъ, это совсѣмъ другой сортъ. Я вѣрю, что «Русская Мысль» искренно ищетъ истины, и думаю, что она все болѣе къ ней приближается. Но нѣкоторые ея старше славянофильскіе грѣхи побуждаютъ желать, чтобы редакція съ болѣею опредѣленностью высказалась по кое-какимъ вопросамъ русской жизни. Предисловіе къ статьѣ г. Дятятина, въ особенности въ связи съ оборванностью самой статьи, весьма мало подвигаетъ дѣло впередъ.

Что касается самой статьи г. Дятятина, то она очень любопытна во многихъ отношеніяхъ. Въ ней нѣтъ ничего поразительнаго, ничего такого, что не было бы извѣстно людямъ, сколько-нибудь знакомымъ съ русской исторіей и сколько-нибудь думавшимъ о ходѣ человѣческихъ дѣлъ на землѣ вообще. Но то-то и любопытно, что статья такого, казалось бы, общезвѣстнаго содержания можетъ оказаться нужною и полезною.

Главныя положенія «Руси», съ которыми полемизируетъ г. Дятятинъ, состоятъ въ томъ, что только съ XVIII вѣка, съ петровской реформы ведутся у насъ «кровавыя преданія переворотовъ, измѣнъ, крамолъ»; что только съ XVIII вѣка Россія раздѣлилась «на мужика и на барина, на бритыхъ и небритыхъ, битыхъ и бьющихъ», а до тѣхъ поръ все было добро зѣло, всѣ одному Богу

молились, одними идеалами жили; что Петръ разбилъ это благолѣпное единеніе, растворивъ къ намъ настежь двери Европы, а переходъ отъ народнаго непосредственнаго бытія на чреду образованности пріобрѣтается у насъ, болѣею частью, цѣною нравственнаго паденія». Все это подлинныя изреченія «Руси». Спрашивается, какимъ образомъ мысли столь нелѣпыя могутъ высказываться и находить слушателей? Г. Дятятинъ находитъ двѣ причины этому дикому явленію. Во-первыхъ, «публицисты, проповѣдующіе изложенную теорію, занимаютъ, сравнительно съ остальными своими собратьями по перу, *особое присищенное* (курсивъ г. Дятятина) положеніе, которое даетъ имъ возможность многое изъ своей теоріи обратить въ дѣйствительность и, такимъ образомъ, если не истребить, вырвать съ корнемъ ненавидимые имъ плоды «раблѣпства» передъ Западомъ, то въ значительной степени содѣйствовать установленію тѣхъ препятствій или созданію тѣхъ мѣръ, которыя, въ извѣстной степени, тормозятъ ростъ и развитіе ихъ». Другая причина состоитъ въ томъ, что «знакомство съ исторіей родной страны вовсе не имѣетъ желательнаго распространенія среди нашего общества». «Намъ кажется, говорить г. Дятятинъ: — что, именно, это обстоятельство даетъ возможность храбрымъ публицистамъ съ апломбомъ самой высокой пробы ссылаться въ своихъ высокаго стиля писаніяхъ, якобы на исторію, на нѣчто имѣющее очень мало общаго съ этой послѣдней».

Съ этимъ послѣднимъ предположеніемъ почтеннаго автора согласиться, пожалуй, можно, но только съ очень и очень большими оговорками. Знаній, вообще, мало въ нашемъ обществѣ и въ томъ числѣ знаній по исторіи родины. Это правда. Но вѣдь есть же предѣлы у всякаго невѣжества, и я сомнѣваюсь, чтобы большинство читателей «Русской Мысли» узнало изъ статьи г. Дятятина нѣчто для себя фактически новое. Давайте пересмотримъ бѣглымъ образомъ статью съ этой стороны.

Вотъ Ольговичи, Святославици и вся эта безконечная, однообразная, скучная возня удѣльнаго періода, въ которой князья добывали выгодныхъ «столовъ», ихъ дружины — добычи, а положеніе народа характеризуется словами лѣтописца: «И бысть пагуба посельцамъ ова отъ половецъ, ова же отъ своихъ посадникъ». Неужели же это для насъ ново, когда походженія Ольговичей, Святославичей, Мстиславичей еще въ школѣ надобно намъ хуже горькой рѣдьки? Помните! сколько «пятерокъ» получили прилежнѣйшіе изъ насъ за отчетливое изложеніе передъ лицомъ учителя разсказа о томъ, какъ Ольго-

вичи, соединившись съ половцами, пошли на Мстиславичей! И сколько нулей и единиц доставалось на долю тѣхъ, которые никакъ не могли запомнить, кто на кого пошелъ, кто кого надулъ, предалъ, продалъ, ослѣпилъ, убилъ, кто соединился съ половцами, а кто съ косогами! Правда, что память прилежнѣйшихъ также давно уже освободилась отъ Изяславичей и Мстиславичей, брошенныхъ въ море забвенія, подобно тому, какъ бросается съ корабля въ море балластъ. Но если не специалисту нѣтъ ни надобности, ни возможности запомнить всѣ перипетіи этой драмы, то драма, во всякомъ случаѣ, была, и всѣ мы знаемъ, что эта драма состояла въ безконечной дракѣ, что князья съ своими дружинниками ходили по лицу русской земли не въ «единеніи» съ простыми русскими людомъ, а въ разореніе ему и въ союзъ съ половцами, косогами, печенѣгами, казарами, татарами. Знаемъ мы также, что всѣ эти иноплеменники приглашались князьями на разгромъ родной земли не съ тлетворнаго запада... Отнюдь нѣтъ!

Далѣе, говоря о духовенствѣ, которое, по своимъ нравственнымъ и политическимъ воззрѣніямъ, стояло въ полной рознь съ массами тогдашняго населенія, г. Дитятинъ самъ замѣчаетъ: «Кто не знаетъ, что первоначально *все духовенство*—низшее и высшее—состояло изъ грековъ, воспитанныхъ совершенно на иныхъ началахъ нравственно-религіозныхъ и политическихъ». Но, точно также, кто же не знаетъ, что, напримѣръ, въ Новгородѣ за все время его самостоятельнаго существованія, «безпрестанно происходили раздоры, и молодшіе или черные враждовали со старѣйшими и богатыми» (цитата изъ Костомарова). Кто не знаетъ, что «въ позднѣйшее время новгородской исторіи боярскія фамиліи рѣзче и рѣзче отдѣляли свои интересы отъ интересовъ народа», благодаря чему, дѣло дошло до того, что «новгородскіе бояре, продавая свое отечество князьямъ, совершенно разошлись съ народомъ» (цитата изъ Бѣляева).

Наконецъ, вотъ и московскій періодъ эта лучезарная звѣзда русской исторіи, время собиранія русской земли и государственнаго ея объединенія: «Тотчасъ послѣ похоронъ Василия, вдовѣ его донесли уже о крамолѣ» (цитата изъ Соловьева). «Цѣлыя пятнадцать лѣтъ царствованія Грознаго, все его малолѣтство—не что иное, какъ сплошной рядъ крамолъ, убійствъ, дворцовыхъ переворотовъ». Крамола, выходятъ и на улицу, и разъяренная толпа убиваетъ Юрія Глинскаго въ Успенскомъ соборѣ. Итальянецъ-архитекторъ бѣжитъ въ Ливонію и на вопросъ о причинахъ бѣгства отвѣчаетъ: «и нынѣча, какъ великаго князя Василья не

стало и великой княгини, а государь нынѣшній малъ остался, а бояре живутъ по своей волѣ, а отъ нихъ великое насиліе, а управы въ землѣ никому нѣтъ, а промежъ бояръ великая рознь». Но вотъ Грозный выросъ, развернулся, и потекли по русской землѣ рѣки крови правыхъ и неправыхъ. Вотъ «скорбный главою» Феодоръ и возстаніе въ Москвѣ, и осада Кремля... Годуновъ... Самозванцы... боярскія измѣны, купля и продажа русской земли... цѣлованіе креста сегодня Годунову, завтра Дмитрію, сегодня Шуйскому, завтра Тушинскому вору... Затѣмъ, сравнительно долгая пауза въ царствованіе Михаила Феодоровича и опять крамола, кровь, хищеніе, «кормленіе», бунты, «Окружавшіе царя брали просьбы у народа и всякій разъ представляли дѣло въ иномъ видѣ» (Соловьевъ). Московскій мятежъ 1648 г. затихаетъ, между прочимъ, благодаря отчасти *нѣмецкому* наемному войску. Упомянувъ объ этомъ эпизодѣ, г. Дитятинъ замѣчаетъ: «Увы, какъ должно оскорбиться чувство патриотизма нашихъ патриотовъ: нѣмецкіе наемные солдаты охраняютъ царя отъ народа, и этотъ народъ не трогаетъ ихъ, отступаетъ передъ ними, и отступаетъ, по разсказу историка, не только какъ передъ вооруженною силою, но и какъ передъ людьми, которыхъ уважаетъ за то, что они «люди честные, обмановъ и притѣсненій боярскихъ не хвалятъ»... Затихла Москва, возстали Сольвычегодскъ, Устюгъ, Псковъ, Новгородъ, потомъ опять Москва, потомъ Соловецкій монастырь, потомъ поднялся Стенька Разинъ...

Послушайте, да неужели же мы въ самомъ дѣлѣ всего этого не знаемъ?! Не говорю, разумѣется, о мелкихъ подробностяхъ, но развѣ намъ можетъ быть неизвѣстна общая картина скорби и крови, хищенія и кормленія, измѣнъ и предательствъ московской Руси? Неужто, наконецъ, одного царствованія Ивана Грознаго или одного бунта Стеньки Разина не достаточно для разсѣянія всего этого тумана «единенія, цѣлокупности», всей этой трухи, которую «Русь» пускаетъ добрымъ людямъ въ глаза? Нѣтъ, г. Дитятинъ слишкомъ благодушенъ. Позорно, разумѣется, не знать исторіи своей родины, но еще позорнѣе сознательно извращать ея смыслъ, называть черное бѣлымъ и кроваво-красное небесно-голубымъ. Была, видите-ли, идиллія: пастушки играли на свирѣляхъ нѣжные мелодіи, барашки щипали зеленую травку, а небесный сводъ прикрывалъ эту картину «цѣлокупностью» своей лазури; пришелъ Петръ и разнесъ картинку: явились «мужикъ и баринъ, бьющіе и битые, бритые и небритые», а до тѣхъ поръ никто никого не билъ, ни бояринъ хо-

лоповъ, ни Стенька Разинъ бояръ, ни Грозный бояръ и холоповъ, пришла «чреда образованности» и принесла съ собой «нравственное паденіе»...

Позвольте, однако,—перебьютъ меня читатель. Положимъ, что «Иванъ Сергѣевичъ» и всѣ иже съ нимъ показываютъ неправду, говоря, будто въ допетровской Руси не было барина и мужика, битыхъ и бьющихъ, но раздѣленіе на бритыхъ и небритыхъ, навѣрное, ужъ только съ Петра началось. Такъ, да не такъ, читатель. Рекомендую вамъ вышедшую въ 1881 году книгу г. Преображенскаго «Нравственное состояніе русскаго общества въ XVI вѣкѣ, по сочиненіямъ Максима Грека и современнымъ ему памятникамъ». Книга эта, повидимому, академическаго происхожденія, вѣроятно, диссертация на ученую степень, состоитъ изъ пяти главъ: I. Просвѣщеніе на Руси въ XVI вѣкѣ; II. Пороки, господствовавшіе въ средѣ духовенства; III. Пороки, господствовавшіе въ средѣ мірянъ; IV. Пороки, господствовавшіе въ классѣ монашествующихъ; V. Свѣтлыя стороны въ религиозно-нравственной жизни русскаго народа въ XVI вѣкѣ. Г. Преображенскій не задается никакими полемическими цѣлями, а просто группируетъ по означеннымъ рубрикамъ подлинныя свидѣтельства современниковъ. И, Боже! какой длинный рядъ отвратительно гнусныхъ картинъ возстаетъ передъ глазами читателя! Насиліе, жестокосердіе, развратъ, грабежъ, чего хочешь, того просишь, кромѣ «чреды образованности», конечно. Я не воспользуюсь этимъ матеріаломъ, потому что выбрать что-нибудь одно, наиболѣе яркое, трудно—все одинаково, кажется, ярко, а передать всего содержанія книги не мѣсто въ «запискахъ современника». Но собственно насчетъ бритыхъ и небритыхъ приведу одно любопытное указаніе г. Преображенскаго, отнюдь, впрочемъ, не новое, и одно его предположеніе, которое, кажется, ново.

Борода была издревле въ почтеніи у русскихъ. И не только у простого народа, который изъ-за бороды рѣшался на открытыя возстанія; и не только у бояръ, одинъ изъ которыхъ, къ великой, хотя и непонятной радости «Руси», сказалъ царю: «Въ головѣ моей ты волея, а въ бородѣ не волея», то есть голову руби, а бороды не стриги. Стоглавый соборъ, между прочимъ, постановилъ: «аще кто бороду брѣетъ и представится тако, недостойтъ надъ нимъ служить, ни сорокоустія по немъ пѣти, ни просфоры, ни свѣчи по немъ въ церковь приносить; съ невѣрными да причтется». Много было причинъ такого уваженія къ бородѣ и презрѣнія къ брадобритію. Во-первыхъ, борода отличала русскаго человѣка отъ иноземца,

а иноземцевъ русскіе чуждались; но такъ какъ иноземецъ совпадалъ съ иновѣрцемъ, то почитаніе бороды осложнилось религиознымъ характеромъ. Этому способствовала и церковная иконопись, изображавшая святыхъ обыкновенно съ бородами. Но было и еще одно обстоятельство, способствовавшее презрѣнію къ брадобритію. Сопоставляя различныя показанія современниковъ насчетъ брадобритія и содомскаго грѣха, сильно развившагося въ лучезарный московскій періодъ русской исторіи, надо признать, что бороды брили тѣ несчастныя или подлныя твари мужескаго пола, но женскаго назначенія, которые служили грязнѣйшимъ инстинктамъ московскихъ бородатыхъ людей. Отсюда, по предположенію г. Преображенскаго, столь непомятно суровое постановленіе стоглаваго собора, отсюда же (между прочимъ, разумѣется) и такое презрѣніе къ бритымъ. Справедливо это предположеніе или нѣтъ, но читатель видитъ, что раздѣленіе на бритыхъ и небритыхъ существовало и въ московской Руси, но что раздѣленіе это, при полной невинности относительна чреды образованности, цѣлокупно свидѣтельствовало о глубочайшемъ нравственномъ паденіи...

Возвращаясь къ статьѣ г. Дяткина, повторяю, что не могу присоединиться къ его мысли о невѣжествѣ по части родной исторіи, какъ источникѣ дикихъ теорій цѣлокупности и тому подобныхъ вздорныхъ, плохо маскированныхъ надутымъ велерѣчіемъ. За то я вполне раздѣляю другое соображеніе г. Дяткина. Онъ совершенно справедливо говоритъ, что публицисты, косящіеся на «чреду образованности», находятъ въ особомъ, привилегированномъ положеніи, ибо въ нашей современной дѣйствительности есть нѣчто, дающее имъ опору и, въ овою очередь, на нихъ опирающееся. Какой-то духъ тьмы, мрачный и злобный, носится надъ русскою землей и подбираетъ себѣ пособниковъ, жрецовъ, гимнослагателей, жертвоприносителей. Тяжело жить современнику. Злобные гости—скорбныя думы одолеваятъ его со всѣхъ сторонъ. Надо искать причину обложившихъ насъ бѣдъ, искать, найти и устранить. Но за это дѣло, какъ и за многія другія дѣла, можно взяться съ двухъ противоположныхъ концовъ. Можно искать дѣйствительно причинъ бѣды, а можно, подобно страусу, причуяющему голову и воображающему, что если онъ не видитъ опасности, такъ ее и въ дѣйствительности нѣтъ, хлопотать только объ томъ, чтобы замазать бѣду. При этомъ послѣднемъ направленіи дѣятельности, объектомъ вашихъ нападеній станетъ не истинная причина бѣды, а тѣ вещи, которыя объ ней напо-

минаютъ и свидѣлствуютъ. Вы пустите камнемъ въ зеркало, свидѣлствующее о вашемъ уродствѣ, пользуете съ кулаками на термометръ, показывающій сорокъ градусовъ мороза, вы, наконецъ, скажете вѣсть съ Фамусовымъ:

Ученье—вотъ чума! ученость—вотъ причина!

«Ученье», «ученость», «чреда образованности», «интеллигенція», «разнузданность печати»—все это вѣдь, собственно говоря, одно и то же, разными сторонами и даже иногда просто разными названіями одной и той же вещи. Свобода мысли, свобода слова, свобода изслѣдованія издревле была козлищемъ отпущенія за грѣхи и всѣ бѣды общества. На нее всегда опирались и лѣзли съ кулаками близорукіе, ослѣпленные или трусливые люди, хлопотущіе объ томъ, чтобы замазать бѣду, а не найти ея истинную причину; а также вся та безславная стая бонапартистовъ (безъ Бонапарта или съ Бонапартомъ), которой нужна мутная вода, чтобы ловить въ ней рыбу, и несчастія родины, чтобы выудить изъ нихъ нѣсколько цѣлковыхъ. Такъ какъ замазывать бѣду представляется на первый взглядъ дѣломъ болѣе легкимъ и удобнымъ, чѣмъ устранить ее совсѣмъ, то ослѣпленные, трусы и бонапартисты въ тревожныя минуты сидятъ обыкновенно въ переднемъ углу. Ихъ секретъ такъ простъ: похерить чреду образованности, уничтожить интеллигенцію, сжечь книги, остановить притокъ юношества въ учебныя заведенія. Что можетъ быть проще? Положимъ, что до сихъ поръ ни разу еще не удавалось добиться этимъ простымъ путемъ чего-нибудь путнаго, кромѣ развѣ того, что исторія клеймила въ свое время позоромъ тѣхъ, кто тащилъ общество на этотъ путь. Но вѣдь улита ѣдетъ, когда-то будетъ; когда-то еще исторія скажетъ свое слово, а современники-то, во всякомъ случаѣ, должны болѣе или менѣе помалкивать. Казалось бы, однако, что по нынѣшнему времени мудрено все-таки отнестись къ дѣлу съ такою искреннею цѣлоушностью, чтобы повторить слова Фамусова: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!» Фамусову легко было говорить это, ибо самъ онъ былъ неучъ. А съ тѣхъ поръ, во-первыхъ, мысль завоевала себя, кажется, право существованія; во-вторыхъ, болтовни въ московскомъ салонѣ нынѣ уже маловато, для произведенія должнаго впечатлѣнія, надо перенести пропаганду на торжища и стогны—въ газеты. И понятно, какое изъ этого не-пріятное осложненіе дѣла выходитъ. Если г. Катковъ, напримѣръ, крикнетъ: «ученье, вотъ чума!» такъ вѣдь ему всякій можетъ сказать: а вы-то сами, Михаилъ Никифо-

ровичъ, чумной, что-ли? вѣдь вы и сами учились, и другихъ учили? Иванъ Сергѣевичъ, отвергая чреду образованности, обусловливающую нравственное паденіе, рискуетъ получить тотъ же самый *argumentum ad hominem*, ибо онъ, несомнѣнно, стоитъ на чредѣ образованности, а, слѣдовательно, можетъ быть заподозрѣнъ въ нравственномъ паденіи. Газетной кликѣ, науськивающей кого слѣдуетъ на интеллигенцію, можно посовѣтовать сломать перья, ибо вѣдь она, эта клика, все же таки интеллигенція или, по крайней мѣрѣ, исполняетъ ея функціи въ ожиданіи лучшихъ дней. Изъ протекающаго отсюда двусмысленнаго и противорѣчиваго положенія съ чѣстью вышелъ едва-ли не одинъ г. Катковъ. Съ чѣстью-ли или съ безчестіемъ, это, впрочемъ, вопросъ. Но, во всякомъ случаѣ, онъ первый и притомъ безъ долгихъ поисковъ, безъ трепета, безъ оговорокъ и виланій указалъ «причину». Онъ—тотъ желѣзнодорожный Вія, который указалъ желѣзнымъ пальцемъ на Хому Брута и закричалъ: «вотъ онъ!» А до тѣхъ поръ одолѣвшие несчастьяго Хому чудовища не могли его найти, хотя, кружась около него, задѣвали хвостами и крыльями...

Мимоходомъ: помните-ли вы конецъ «Вія»? Когда раздался пѣтушинный крикъ, крикъ вѣстника утра, свидѣлствующаго, что всякой тѣмъ сейчасъ конецъ будетъ, что солнце сейчасъ разгонитъ и исколетъ ее тысячами своихъ лучей, гномы бросились, кто какъ попало, въ окна и двери храма, чтобы поскорѣ вылетѣть. Но опоздали гномы, слишкомъ засидѣлись—и такъ и завязли въ дверяхъ и окнахъ, на вѣковѣчное свое посрамленіе... Но какъ иногда мучительно долги бываютъ ночи...

Вернемся къ нашимъ баранамъ, какъ говорятъ французы. Люди, обыкновенные люди, а не желѣзнодорожные Вія, не могутъ чувствовать себя вполне хорошо въ вышеозначенномъ двусмысленномъ положеніи. Стоять на чредѣ образованности и кричать во всю глотку, что чреда образованности есть для русскаго человѣка условіе нравственнаго паденія—съ тѣмъ это совсѣмъ различно? Сболтнуть такую штуку, конечно, можно, но выдержать всю протекающую отсюда нелѣпицу—дѣло мудреное. Не совсѣмъ же все-таки даромъ человѣкъ называется *homo sapiens*. И вотъ начинаются разнообразныя виланія и хитросплетенія, имѣющія цѣлью то же неблагородное слово какъ-нибудь поблагороднѣе молвить.

Одинъ какой-нибудь гномъ вдругъ проникается необыкновенною заботливостью объ интересахъ народа. Онъ требуетъ сокращенія угнетенія, если не уничтоженія всего,

что лежит такъ или иначе на плечахъ народа, но это все оказывается, именно, интеллигенціей, а не «командующими классами», какъ говорятъ другіе, не «буржуазіей», какъ напоминаютъ третьи, не помѣстнымъ дворянствомъ, не чиновничествомъ. Нѣтъ, это все пустяки: интеллигенція — вотъ чума! единственная, но за то страшная чума, подлежащая воздѣйствию. Поэтому, тотъ же самый гномъ, съ совершенно чистою совѣстью, сегодня требуетъ постановки новаго балета на счетъ народа, а завтра потребуетъ на тотъ же счетъ войны за братьевъ-босняковъ. Гномъ очень хорошо знаетъ, что балетъ и война будутъ устроены на счетъ народа и ни мало не совпадаютъ съ его интересами. Но ему, собственно, и дѣла нѣтъ до интересовъ народа; это только такъ — знамя, гарниръ приличія, можетъ быть, попытка сдѣлки съ собственною совѣстью, а главная и даже единственная задача состоитъ въ уязвленіи интеллигенціи: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!», хотя прямо этого гномъ не скажетъ. Балетъ же и война по этой части совершенно невинны, ну, и, значить, они желанные гости. Неси, народъ, свою копѣйку и свой потъ, чтобы господа гномы могли любоваться «элеванціями» и «выворотностью ногъ» танцовщицъ въ новомъ балетѣ (см. въ этомъ же номерѣ рецензію книги «Балетъ, его исторія и мѣсто въ ряду изящныхъ искусствъ»). Неси, народъ, свою копѣйку ради посрамленія гордой и коварной Австро-Венгріи. Это ничего, это можно, ибо ни новый балетъ, ни новая война не помѣшаютъ мракобѣсію...

Другой гномъ вступаетъ за *духъ* народа. Но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, духъ великаго, могучаго народа, которому предстоятъ долгіе годы жизни, оказывается совершенно несомнѣстимымъ съ «образованностью». Сама по себѣ образованность, можетъ быть, и не дурная вещь, но какъ только русскій человѣкъ вступаетъ на «чреду» ея, такъ немедленно и фатально «нравственно падаетъ». Когда гному говорятъ, что «духъ» народа русскаго, между прочимъ, весьма опредѣленно требуетъ прирѣзки земли, то гномъ отвѣчаетъ: нѣтъ, земли у мужика довольно, это и «наука», «образованность», можетъ подтвердить. Притомъ же, земля, надѣлы — это такая грубая матерія, такая жалкая проза, а вотъ вы съ другой-то стороны удовлетворите народный духъ, съ поэтической, съ самой что ни на есть духовной—образованность уничтожьте: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!» А ужъ если эту чуму нельзя уничтожить совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, монополизируйте ее: поднимите плату за образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ, дабы лишь малая доля

русскихъ людей могла въ нихъ попадать. Ибо истинно говорю вамъ: чреда образованности ведетъ къ нравственному паденію. Посмотрите на древнюю и, въ особенности, московскую Русь, которая была едина и цѣлокупна въ своемъ невѣжествѣ, и какъ тогда все было честно и благородно!—Опять-таки гномъ, въ противность мнѣнію г. Дяткина, очень хорошо знаетъ, не можетъ не знать, что раздѣленіе на мужика и барина гораздо старше «чреды образованности», и что московская Русь была черезъ край переполнена «нравственнымъ паденіемъ» и всяческой мерзостью. Но гномъ исполняетъ свою миссію: въ тревожныя минуты оказывается большой запросъ на людей, властвующихъ простымъ секретомъ замазыванія бѣды, а секретъ этотъ давно открытъ Фамусовымъ и состоитъ въ томъ, чтобы зажать ротъ интеллигенціи: ученье, вотъ чума!..

Разница, однако, въ томъ, что Фамусовъ былъ вполнѣ искрененъ, и самъ кардіографъ г. Ціона не открылъ бы въ его сердцѣ признаковъ лицемерія. Другое дѣло наши гномы. Для нихъ лицемеріе, эта характеристическая черта нашего сираднаго и мрачнаго времени, неизбежно. Но взойдетъ солнце—это вѣрно. И гномы застрянутъ въ дверяхъ и окнахъ храма...

А, впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ быстро переодѣнутся и сожгутъ все, чему поклонялись, и поклонятся всему, что сожигали. Не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать такой оборотъ: дѣло бывалое...

XII.

О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ *).

Въ прошломъ году русская литература обогатилась новымъ трудомъ г. П. Полевого—біографіей нашего извѣстнаго поэта-издателя, Н. В. Гербеля. Въ біографіи приведены многіе въ высшей степени важныя факты и документы; напримѣръ, застольная рѣчь, произнесенная г. Гербелемъ на обѣдѣ, который ему давали товарищи по лейбъ-гвардіи уланскомъ полку при выходѣ его въ отставку и т. п. Но трудолюбивый біографъ не ограничился свѣдѣніями о поэтѣ-издателѣ. Мы узнаемъ весьма многое объ отцѣ Н. В. Гербеля и нѣчто объ его супругѣ. Объ дѣтахъ, однако, почему-то ничего не узнаемъ и даже не видимъ изъ біографіи, былъ-ли «вполнѣ счастливый бракъ» Н. В. Гербеля благословленъ потомствомъ. Это, впрочемъ, не единственный пробѣлъ въ

*) 1882 г., мартъ.

трудъ г. Полевого, ибо, сообщая многозначительные разговоры г. Гербеля съ товарищами по лейбъ-гвардіи уланскому полку, г. Полевой ничего не сообщает о разговорахъ, вѣроятно, столь же знаменательныхъ, съ изюмскими гусарами, въ рядахъ которыхъ г. Гербель тоже служилъ. Но біографія всетаки въ общемъ весьма обстоятельна, а ужъ объ достовѣрности сообщаемыхъ ею свѣдѣній и говорить нечего, ибо Лукулъ обѣдаетъ у Лукулла: біографія г. Гербеля издана самимъ г. Гербелемъ...

Penpu soit qui mal у pense! Скромность г. Гербеля слишкомъ извѣстна, чтобы читатель подумалъ, что онъ можетъ такъ-таки взять да и издать свою біографію, да еще съ приложеніемъ портрета, на удивленіе современникамъ и въ назиданіе потомству. Нѣтъ, г. Гербель приложилъ къ своей собственной біографіи жизнеописанія многихъ своихъ однокашниковъ, причемъ, напримѣръ, Гребенкѣ удѣлилъ мѣста только въ половину меньше, чѣмъ самому себѣ, а Гоголю даже на двѣ страницы больше. Къ этому онъ прибавилъ еще нѣсколько другихъ статей и изъ всего этого вышла объемистая, изящно изданная книга, подъ заглавіемъ: «Гимназія выпшихъ наукъ и лицей князя Безбородко. Изданіе второе, исправленное и дополненное. Спб. 1881». Я, признаться сказать, не помню перваго изданія этой книги, но помню, что одна изъ статей, вошедшихъ въ нее, была нѣсколько лѣтъ тому назадъ издана отдѣльной брошюрой, на которую въ свое время «Отечественныя Записки» обратили вниманіе въ бібліографическомъ отдѣлѣ. Тѣмъ не менѣе, статья эта содержитъ нѣсколько любопытныхъ и, кажется, не старѣющихъ на Руси чертъ, объ которыхъ стоитъ и теперь побесѣдовать.

Статья принадлежитъ г. Лавровскому и называется «Гимназія выпшихъ наукъ въ Нѣжинѣ». Въ ней есть одинъ чрезвычайно любопытный эпизодъ—исторія вольнодумства—изъ временъ первыхъ годовъ царствованія императора Николая I. Г. Лавровский справедливо говоритъ, что, «по содержанию своему, нѣжинская исторія совершенно однородна съ извѣстными исторіями въ с.-петербургскомъ и харьковскомъ университетахъ, такъ что представляетъ собою только отдѣльный, доселѣ неизвѣстный эпизодъ общей университетской исторіи о пресловутомъ вольнодумствѣ профессоровъ, обличаемомъ тогдашними ревнителями просвѣщенія, въ родѣ Магницкаго, Рунча и другихъ».

Въ октябрѣ 1826 года, инспекторъ гимназическаго пансіона, онъ же профессоръ естественнаго права, Бѣлоусовъ, донесъ куда слѣдуетъ, что «нѣкоторые воспитанники пан-

сіона, скрываясь отъ начальства, пишутъ стихи, не показывающіе чистой нравственности, и читаютъ ихъ между собою, читаютъ книги, неприличныя для ихъ возраста, держатъ у себя сочиненія Александра Пушкина и другихъ подобныхъ». Пошли разслѣдованія, обыски, выемки, все, что слѣдуетъ. Но, давно извѣстно, что подъявшій мечъ отъ меча и погибнетъ. Не дальше, какъ въ май 1827 года, самъ Бѣлоусовъ, столь строгій цензоръ «Александра Пушкина и другихъ подобныхъ», подвергся доносу со стороны профессора политическихъ наукъ Билевича. А именно, Билевичъ «примѣтитъ въ нѣкоторыхъ учебникахъ нѣкоторыя основанія вольнодумства, происшедшія отъ заблужденія въ основаніяхъ права естественнаго, которое, вопреки предписаніямъ попечителя, читается не по системѣ де-Мартини, а по основаніямъ философіи Канта и Шада. Въ оправданіе Бѣлоусовъ, сверхъ обличенія Билевича въ невѣжество, представилъ въ конференцію свои записки, которыя, однако, Билевичъ объявилъ подложными и достать и доставилъ якобы настоящія, съ своими комментаріями. По мнѣнію Билевича, записки Бѣлоусова «преисполнены такихъ мнѣній и положеній, которыя неопытное юношество, дѣйствительно, могутъ вовлечь въ заблужденіе». Конференція передала дѣло на разсмотрѣніе законоучителя, о. Павла Волинскаго, и отецъ протоіерей постарался...

Отецъ протоіерей «въ нѣкоторыхъ мѣстахъ записокъ нашегъ мысли, при наученіи юношества, къ сбивчивымъ и ложнымъ понятіямъ ведущія». Вотъ нѣсколько образчиковъ обличенія г. Волинскаго. Говоря о системѣ Томазія, Бѣлоусовъ замѣчаетъ въ своихъ запискахъ, что начала права по этой системѣ—справедливое, честное и приличное—«не важны». На это о. протоіерей возражаетъ, что «справедливаго и честнаго законъ Божій держаться повелѣваетъ (Филипис. IV, 8)».—Бѣлоусовъ говоритъ: «Человѣкъ имѣетъ право на свое лицо, то-есть онъ имѣетъ право быть такъ, какъ природа образовала его душу и тѣло, а потому достоинство разумной природы въ чувственномъ мірѣ составляетъ ненарушимость лица». О. протоіерей находитъ, что при такомъ опредѣленіи «можно отрицать всякое повиновеніе закону; при немъ же уничтожается власть родителей на дѣтей, воспитаніе или ученіе ихъ дѣлаются ненужными; въ чемъ же состоитъ достоинство разумной природы—неизвѣстно».—Вообще, все обличеніе о. протоіерея состоитъ изъ совершенно вздорныхъ придиорокъ къ словамъ и отдѣльнымъ выраженіямъ, причемъ обличитель не брезгаетъ извращать критикуемый текстъ, выпускаетъ изъ него неудобныя для обличенія фразы и т. п. Въ

результатъ всѣхъ этихъ ухищреній получается, однако, отнюдь не преступная пустяковина и позорное дѣло о. протоіерея выигрывается только припѣвомъ: «сіе противно святому писанію и ученію церкви». Въ заключеніе о. протоіерей полагаетъ: «Таковыя и подобныя имъ наставленія въ классической наукѣ положительнымъ образомъ юношеству преподаваемаго естественнаго права, нахожу я дѣли воспитанія юношей несоотвѣтственными и съ самымъ благочестіемъ несообразными, тѣмъ паче, что въ оной, врученной мнѣ для пересмотрѣнія тетради между правилами нигдѣ ничего не было преподано о должностяхъ къ Богу, къ родителямъ, наставникамъ, къ начальству и вообще къ ближнему, даже и къ самимъ себѣ».

Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Послѣ взаимныхъ пререканій, обвиненій, рапортовъ, профессора привлекали къ дѣлу и воспитанниковъ, въ качествѣ свидѣтелей. А отсюда новые рапорты и донесенія. У Бѣлоусова оказались сторонники между преподавателями, равноумно заподозрѣнные въ «вольномудствѣ»: Ландражинъ, Зингеръ и Шапалинскій. До какой грязи и мелочности, а вмѣстѣ съ тѣмъ до какого страстнаго возбужденія дошли обѣ воюющія стороны, видно изъ слѣдующихъ, напримѣръ, случаевъ или, вѣрнѣе, рапортовъ, ибо вся эта гнусная исторія имѣла характеръ взаимнаго обстрѣливанія рапортами, наполовину вздорными, наполовину облыжными. Профессоръ Героцесъ донесъ, что въ одномъ изъ засѣданій конференціи Бѣлоусовъ обратился къ нему со словами: «я тебя задую». Профессора Моисеевъ и Никольскій въ одномъ общемъ рапортѣ донесли: «Наканунѣ оныхъ экзаменовъ, случайно, во время прогулки, подъ вечеръ, сошлись мы на новомъ, такъ называемомъ купца Долгова мосту, сѣли за пѣшеходною перегородкою на лавочку и, пока вечерѣло, занимались разговорами. Черезъ нѣсколько минутъ, проходить мимо насъ ученикъ Зміевъ съ двумя его сестрами и съ дядею, поручикомъ бугскаго уланскаго полка, Рубаномъ. Пройдя мимо насъ немного, Зміевъ отстаетъ отъ сестеръ и дяди, обращается къ намъ и дѣлаетъ призывные знаки рукою. Профессору Никольскому показалось, что будто ученикъ Зміевъ зоветъ его, почему и подошелъ къ нему; но Зміевъ сказалъ, что имѣетъ надобность поговорить съ профессоромъ Моисеевымъ, котораго Никольскій и позвалъ. Когда подошелъ Моисеевъ, то Зміевъ, между прочимъ, вполголоса сказалъ слѣдующее: «Я слышалъ отъ учениковъ, что профессоръ Бѣлоусовъ съ профессоромъ Зингеромъ сговорились завтра на экзаменѣ обивать учениковъ въ отвѣтахъ». Зміевъ сказалъ то, самъ

будучи въ нѣкоторомъ страхѣ отъ предстоящаго ему экзамена».

Къ этому остается прибавить, что, несмотря на обстоятельность разсказа Моисеева и Никольскаго, онъ оказался вымышленнымъ; почтенные преподаватели, можетъ быть, и сидѣли «за пѣшеходной перегородкой на лавочкѣ», но о злобныхъ намѣреніяхъ Бѣлоусова и Зингера Зміевъ имъ ничего не говорилъ. Но понятное дѣло, что главный интересъ баталіи составляли уличенія по части неблагонамѣренности политической и религіозной. Зингеръ уличался въ томъ, что, переводя въ классѣ статью Канта «О высокомъ и изящномъ», выражался пренебрежительно о ношеніи крестовъ на тѣлѣ, а также о значеніи присяги. Въ учебныхъ тетрадяхъ оказывались выраженія, «противныя греко-россійской церкви». Ученикъ Зміевъ обвинялся въ томъ, что, съ согласія профессора Ландражина, перевелъ на французскій языкъ стихи Кондратія Рылѣева, «касающіеся до призванія къ свободѣ». Ученикъ Кукольникъ давалъ товарищамъ своего сочиненія трагедію «Марію», «дерзко и непристойно написанную». И т. д.

Изъ учениковъ за всю эту исторію поплатился только двое—Родзянко и Кукольникъ: оба были при выпускѣ лишены медалей, а Кукольникъ, сверхъ того, и класснаго чина, соотвѣтственнаго его успѣхамъ въ наукахъ. Что же касается «вольномудныхъ» профессоровъ, то въ октябрѣ 1830 года относительно ихъ послѣдовало слѣдующее окончательное рѣшеніе: «Шапалинскаго и Бѣлоусова, за вредное на юношество вліяніе, а Ландражина и Зингера, сверхъ того, и за дурное поведеніе, отрѣшати отъ должности, со внесеніемъ сихъ обстоятельствъ въ ихъ паспорта, дабы таковымъ образомъ они и впредь не могли быть нигдѣ терпимы въ службѣ по учебному вѣдомству, а тѣхъ изъ нихъ, кои не русскіе, выслать за-границу, русскихъ же—на мѣста ихъ родины, отдавъ подъ присмотръ полиціи».

Такимъ образомъ, гидра была обезглавлена, порокъ наказанъ, а добродѣтель восторжествовала. Но сколь добродѣтель въ своемъ торжествѣ неистова, видно изъ слѣдующаго эпизода нѣжинской исторіи о вольномудствѣ. Въ 1832 году, Ландражинъ, проживавшій въ Тотмѣ подъ надзоромъ полиціи, обратился куда слѣдуетъ съ прошеніемъ, о выдать ему квартирныхъ денегъ за два года, въ свое время не полученныхъ. Ландражинъ ссылался при этомъ на свое бѣдственное положеніе, такъ какъ онъ «нынѣ лишентъ всѣхъ средствъ къ пропитанію себя и осиротѣвшаго семейства своего»; деньги же просилъ выдать или ему лично, или «бѣдной женѣ его, оставшейся съ дѣтьми въ

Нѣжинъ». Въ концѣ-концовъ, Ландражинъ получилъ желаемое, но въ конференціи нѣжинской гимназіи выспіхъ наукъ нашлись, всетаки, представители ничего не забывающей и ничему не обучающейся Немезиды. Самымъ виднымъ изъ нихъ оказался опять-таки законоучитель, но уже не о. Волинскій, а новый—о. Мерцаловъ. Это духовное лицо рѣшительно полагало Ландражину денегъ не давать, ибо, дескать, «совсѣмъ неестественно давать плату такому дѣлателью, который, бывъ принятъ на извѣстныхъ, выгодныхъ для него условіяхъ починить домъ, совершенно бы оный разрушилъ, или построить новый, вмѣсто сего попортилъ бы матеріалы, къ построенію приготовленные»...

Черты знакомыхъ лицъ, знакомый разгулъ гнусности и злобы...

Есть что-то звѣрское въ человѣкѣ, наслѣдіе далекихъ предковъ, бѣгавшихъ на четверенькахъ. Исторія наложила на этого звѣря цѣлый рядъ слоевъ, такъ что по временамъ его будто и нѣтъ вовсе. Но иногда звѣрь просыпается и щелкаетъ звѣриными клыками, и машетъ звѣринимъ хвостомъ, и злобно шуритъ звѣриныя глаза...

Боюсь, впрочемъ, что эти черты возбуждаютъ въ читателѣ картину, слишкомъ красивую для сюжета настоящей нашей бесѣды. Нѣтъ, надо себѣ представить звѣря же, злобнаго и лукаваго, но не обладающаго никакой собственной силой, а почерпающаго ее въ случайныхъ обстоятельствахъ времени и мѣста, тогда и получится дѣятель эпохи реакціи. Реакція не только останавливаетъ ходъ историческаго движенія или, вѣрнѣе сказать, пытается его остановить, потому что въ концѣ концовъ никакая реакція ничего не останавливаетъ и остановить не можетъ, но она будитъ, кромѣ того, въ людяхъ звѣрскіе инстинкты, даетъ имъ просторъ. Всѣ эти Билевичи, Никольскіе, отцы Волинскіе, отцы Мерцаловы, конечно, и въ обыкновенное время не были бы рыцарями чести. Но въ обыкновенное сѣрое время ихъ зложелательная дѣятельность была бы заключена въ сравнительно узкіе предѣлы сплетенъ, пересудовъ, перебранки, пожалуй, потасовки. Все это некрасивыя вещи, разумеется, но, составляя болѣе или менѣе необходимую принадлежность извѣстной среды, онѣ не открываютъ зложелательному взгляду никакихъ новыхъ, широкихъ перспективъ: дѣло обычное, дѣло привычное, совершающееся уже съ нѣсколько притупленнымъ аппетитомъ. Правда, когда нужно спихнуть кого-нибудь съ мѣста, чтобы самому сѣсть на него или посадить родного человѣчка, тогда аппетитъ разыгрывается и въ игру вносится нѣкоторая страстность. Но самый арсеналъ орудій подсиживания и подгажи-

ванія ближнему слишкомъ всетаки скуденъ. И вдругъ является возможность съ успѣхомъ объявить любого Иванова и всякаго Петрова «вольтеромъ», «массономъ», «сицилистомъ», врагомъ Бога и властей! Самая возможность успѣха на этомъ поприщѣ окрыляетъ неразуміе и злобу. Тигръ не тигръ, а всего-то на всего какой-нибудь Билевичъ, или Волинскій, или Мерцаловъ, но всетаки лизнулъ крови. Онъ, ничтожество, «знаетъ слово», не хуже какого мага и волшебника. Онъ, бессильный, можетъ отнынѣ не просто гадить ближнему, а дѣлать это съ музыкой, съ сладострастнымъ ощущеніемъ своего могущества и съ издѣвательствомъ надъ жертвой. Звѣрь распаляется, окончательно дурѣетъ, ибо какую бы дурость, совершенно даже ни съ чѣмъ несообразную, онъ ни предъявилъ—она имѣетъ кредитъ. Существуетъ, наприимѣръ, профессоръ Бѣлоусовъ, настолько скромный и умѣренный, что не одобряетъ чтенія юношествомъ «сочиненій Александра Пушкина и другихъ подобныхъ». Но стоитъ только вырвать изъ его курса наудачу нѣсколько невиннѣйшихъ фразъ безъ всякой оязы и приписать: «сіе противно святому писанію и ученію церкви» или что-нибудь въ этомъ родѣ; стоитъ только совершить эту простую манипуляцію, чтобы загорѣлся сыр-боръ и чтобы врагъ «Александра Пушкина и другихъ подобныхъ» оказался въ концѣ-концовъ врагомъ властей и Бога. Существуетъ профессоръ Ландражинъ, котораго само начальство аттестуетъ такъ: «сколько службою по своему предмету съ хорошей стороны извѣстенъ, столько и свѣдѣніями по оному начальствомъ и посторонними лицами много засвидѣтельствованъ». Но маги и волшебники «знаютъ слово». И вотъ—фьютъ! Ландражинъ, разлученный съ семьей, кушаетъ морошку въ Тотмѣ. Какъ не разгуляться звѣрскимъ инстинктамъ при такихъ условіяхъ и что мудренаго, если о. Мерцаловъ не пожелалъ оставить Ландражина въ покоѣ даже Тотмѣ и все тануль ту же единственную волчью пѣсню: «совсѣмъ неестественно давать плату такому дѣлателью». Положимъ, что этому «дѣлателью» просто-таки должны, просто не заплатили денегъ, слѣдующихъ ему по праву. Но какія ужъ права и долги, когда рѣчь идетъ о «вольтерѣ», «массонѣ», «сицилистѣ», «пошломъ либералѣ», вообще, о человѣкѣ, отмѣченномъ перстомъ разъярившагося звѣря, если только у него персть, а не копыто! Въ томъ-то и сласть для ничтожества, чтобы бить жертву безъ конца и жалости и наслаждаться въ этомъ гнусномъ дѣлѣ отраженіемъ своего зазнающаго могущества...

Глубоки тайники человѣческой души и много въ нихъ бродитъ такого, что и не

снилось нашимъ мудрецамъ. Но одно вѣрно: либо очень смѣются надъ нами, либо сами очень ошибаются тѣ мудрецы, которые, подобно покойному Достоевскому и его послѣдователямъ, увѣряютъ, что надо «искать себя въ себѣ», а все прочее вниманія не не стоитъ; что никакія общественныя или историческія условія не могутъ стать поперекъ дороги доброй волѣ. Добрая воля можетъ многое сдѣлать, это очевидно, потому что есть борцы и добровольные мученики на бѣломъ свѣтѣ. Но дѣло въ томъ, что средняя человѣческая душа есть сосудъ съ крайне сложнымъ, разнообразнымъ, смѣшаннымъ содержимымъ. Добра тутъ много, гораздо больше, чѣмъ думаютъ мрачные пессимисты, но и зла тоже не мало, гораздо больше, чѣмъ полагаютъ слащавые моралисты, отъ которыхъ пахнетъ лакрицей. И какъ хозяйка-помѣщица, знающая приличія и обычаи, готовая угостить отца благочиннаго съ причтомъ, вынимаетъ изъ кладовой совсѣмъ не ту провизію, которая понадобится при угощеніи землемѣра или предводителя дворянства, такъ поступаетъ и исторія съ средней человѣческой душой. Сегодняшній историческій моментъ съ своими особенностями общественныхъ отношеній будитъ въ средней душѣ звѣря, застрапный можетъ его усыпить. Утѣшительно-ли это или нѣтъ, я не знаю, но это такъ. Для настоящей минуты оно, пожалуй, утѣшительно, потому что большинство сегодняшнихъ Савловъ завтра, когда вѣтеръ переменится, перестанутъ быть Савлами. Ну, только и Павлы изъ нихъ выдутъ не особенно надежные, однако, въ числѣ прочихъ, въ общемъ счетѣ, пожалуй, и не бесполезные. Какъ бы тамъ, впрочемъ, ни было, а достоверно, что эпохи реакціи вызываютъ необыкновенные психологическіе феномены злобы и жестокости, ключа къ которымъ надо, кажется, искать именно въ томъ, что безсильное само по себѣ, внутренне безсильное ничтожество получаетъ въ свои руки дѣйствительно страшное оружіе и сладострастно тѣшится бѣдами, которыя производитъ. Оттого-то и всѣ уроки исторіи пропадають въ этомъ отношеніи даромъ и никакой Вилевичъ, никакой Волгинскій не боятся того позорнаго столба, къ которому они, рано или поздно, будутъ представлены. Отчего, скажите, ослу доставляло удовольствіе лягать больного льва? Оттого, что онъ оселъ. И какъ же вы хотите, чтобы оселъ, убоясь того, что онъ станетъ притчей во языцѣхъ, отказался воспользоваться такою счастливою для него случайностью, какъ болѣзнь льва. Времена реакціи представляютъ цѣлое скопище подобныхъ счастливыхъ случайностей и разыгравшійся звѣрь,

очертя голову, не думая о завтрашнемъ днѣ, наслаждается...

Но это еще не все, не весь букетъ. Дѣятели реакціи, по самому положенію вещей, должны величайшія свои гнусности приправлять умиленными или благоговѣйными фразами: «сіе противно святому писанію и ученію церкви». У самого всѣ внутренности клокочутъ отъ предчувствія злобнаго торжества, а онъ долженъ, между тѣмъ, воздвѣвая очи горѣ, выжимать изъ себя елеяныя слова объ обязанности къ Богу или ближнимъ, о смиреніи, о добрыхъ нравахъ и проч. Ханжество и лицемеріе составляютъ столь же необходимые ингредиенты реакціи, какъ злоба и жестокость. Это масло къ кашѣ, соль къ хлѣбу. Безъ ханчества и лицемерія «суха риторика, косноязычна піитика»...

Любопытно слѣдующее обстоятельство. Мнѣ не случилось видѣть отзыва объ изданной г. Гербелемъ книгѣ «Гимназія вышнихъ наукъ и лицей князя Безбородко» ни въ одномъ журналѣ, за исключеніемъ «Русскаго Вѣстника». Въ этомъ же журналѣ была помѣщена довольно обширная рецензія съ изложеніемъ содержанія книги и исторіи нѣжинскаго училища. Но при этомъ собственно «исторія о вольнодумствѣ», самый любопытный пунктъ книги, не поминается ни единымъ словомъ, точно ея никогда и не было. Значитъ, знаетъ все-таки кошка, чье она мясо съѣла. Это похвально...

Вилевичъ въ одномъ изъ своихъ рапортовъ писалъ, между прочимъ: «нѣтъ сильнѣйшаго противъ профессора обвиненія, какъ обвиненіе въ вольнодумствѣ». Это справедливо, конечно: при извѣстныхъ условіяхъ профессору простить все: бездарность, невѣжество, лѣнность, безнравственность, но только не «вольнодумство». Но справедливый афоризмъ Вилевича требуетъ для ясности дѣла двухъ дополненій. Во-первыхъ, когда во всеобщій оборотъ пускается слово «вольнодумство» или другое подобное, и становится всепобивающей дубиной, тогда рѣшительно никто не знаетъ, что, собственно, значитъ вольнодумствовать. Такъ напримѣръ, потрудитесь разрѣшить загадку: почему признавать основанія права по системѣ Томазіа «неважными» значитъ вольнодумствовать? Когда, по прелестному выраженію Гл. Успенскаго, «никому—ничего—нельзя», тогда всякому—всякаго—возможно обличить въ вольнодумствѣ. Это разъ. Во-вторыхъ, во времена «никому—ничего—нельзя» обвиненіе въ вольнодумствѣ, есть тягчайшее не только для профессора, а и для всякаго земнороднаго, чуть-ли даже не для младенцевъ, въ утробахъ матерей покоящихся. По крайней мѣрѣ, вотъ что со-

общает корреспонденция изъ Симферополя въ «Голосъ» отъ 5-го марта:

Появление въ газетахъ замѣтокъ о печальномъ положеніи мѣстной мужской гимназіи, а затѣмъ присылка анонимнаго оскорбительнаго и угрожающаго письма за подписью «гимназистъ», вызвали повальный обыскъ всей гимназіи жандармами.

Не прошло недѣли послѣ обыска, какъ на дняхъ, вечеромъ, адъютантъ жандармскаго управленія, проходя по Александроневской улицѣ, мимо дома Т., по его словамъ, былъ оскорбленъ свистомъ и указаніемъ въ лицо на него пальцемъ со стороны ученика гимназіи перваго класса Т., который, будто-бы, въ то время, когда проходилъ адъютантъ мимо дома Т., гдѣ ученикъ Т. вмѣстѣ съ другими дѣтьми катался на конькахъ, обратился къ катавшимся дѣтямъ со словами: «вотъ идетъ тотъ жандармскій офицеръ, который производилъ въ нашей гимназіи обыскъ, отобралъ наши тетради», сталъ, указывая на него пальцемъ, свистать. Этотъ офицеръ подошелъ къ свиставшему ученику, спросилъ фамилію и, потребовавъ отъ него гимназическій билетъ, котораго у гимназиста не оказалось, прошелъ мимо.

На другой день, директору гимназіи была прислана официальная бумага отъ начальника жандармскаго управленія, въ которой указано на неблагонамѣренный поступокъ названнаго ученика и предложено наложить на него взысканіе. Директоръ, зная, что этотъ ученикъ не способенъ на такой поступокъ, тѣмъ не менѣе, распорядился тотчасъ назначеніемъ слѣдствія, пригласивъ въ гимназію мать обвиняемаго. Оказалось, что когда жандармскій офицеръ проходилъ мимо катающихся мальчиковъ, то ученикъ Т., подѣзжая на конькахъ къ другому мальчику, сказалъ довольно тихо и даже съ робостью: «Смотри, вотъ идетъ тотъ офицеръ, который обыскивалъ нашу гимназію», причемъ не только онъ, но нѣкто изъ катавшихся мальчиковъ свистать и указывать пальцемъ и не думать. Когда офицеръ обратился къ нему съ вопросомъ о фамиліи и о гимназическомъ билетѣ, тотъ сейчасъ же назвалъ: «а билетъ—сказалъ онъ—вотъ тутъ дома, хотите я сейчасъ принесу, обождите минуточку». Офицеръ сказалъ: «не надо» и ушелъ.

Когда невинность ученика выяснилась, мать его отправилась съ жалобою къ исправляющему должность губернатора, который, однако, сказавъ, что не имѣетъ причины не вѣрить ей, но не имѣетъ также причинъ не вѣрить и жандармскому управленію, обѣщалъ принять въ этомъ дѣлѣ участіе. Послѣ этого, гимназическое начальство получило частное письмо отъ жандармскаго управленія, въ которомъ предлагалось дѣло прекратить, такъ какъ шалость ребенка не имѣетъ значенія. Въ частномъ письмѣ жандармскаго управленія совѣтовалось, всетаки, предложить ученику Т. попросить извиненія у офицера, но г-жа Т. согласія своего на это не изъявила. Поговариваютъ также, что и гимназическое начальство, въ свою очередь, заявивъ высшему начальству о невозможности вести свое дѣло при такихъ слишкомъ стѣснительныхъ и пристрастныхъ отношеніяхъ, которыми существуютъ между гимназіей и жандармскимъ управленіемъ, и что обыски, не приводящіе, конечно, ни къ какимъ результатамъ, производятъ на дѣтей далеко нежелательныя впечатлѣнія и даже вредно на нихъ вліяютъ. Во время переѣзжа въ гимназію жандармскій офицеръ а, потребовавъ отъ директора

тетради всѣхъ учениковъ, сталъ ихъ перелистывать и сличать съ почеркомъ анонимнаго письма, хотя это можно было сдѣлать такъ, чтобы не знали ученики. Рассказываютъ также о нехорошемъ отзывѣ полковника на одномъ официальном обѣдѣ о женской гимназіи и о неблагонадежности начальницы; о предложеніи одному ученику хорошаго вознагражденія за шпионство и проч.

У насъ только и разговоровъ про эти исторіи. Эти «гимназическія исторіи» вызвали совершенно неожиданный пріѣздъ сюда попечителя одесскаго учебнаго округа, г. Лавровскаго. Новымъ, 19-го февраля, онъ пріѣхалъ, а утромъ, 20-го, посетилъ обѣ гимназіи и засталъ все, какъ говорятъ, врасплохъ. Попечитель предполагаетъ пробыть въ Симферополѣ болѣе недѣли, чтобы ознакомиться съ описанными и другими случаями въ подробностяхъ и потомъ установить порядокъ.

Какъ видитъ читатель, бываютъ положенія, когда ученикъ перваго класса гимназіи, то-есть юнѣйшій юнецъ, можетъ быть не безъ грому уличаемъ въ вольнодумствъ: свищать! И хотя въ концѣ концовъ оказывается, что онъ вовсе даже и не свищетъ, но тѣмъ пикантнѣе выходитъ этотъ поединокъ двухъ учреждений изъ за гимназиста, который не свищалъ. Какъ бы однако ни были пикантны подобныя поединки, а они имѣютъ печальное свойство затягиваться до безконечности и притягивать все больше и больше народу, волнуя иногда все общество.

Черезъ день (7-го марта) въ «Голосѣ» появилась новая корреспонденція, рассказывающая продолженіе «гимназической исторіи» такъ:

Попечитель одесскаго учебнаго округа, пріѣхавъ съ ночнымъ поѣздомъ въ Симферополь, нигдѣ не встрѣченный, отправился въ гостиницу, гдѣ не объявивъ тотчасъ о томъ, кто онъ такой, чтобы гимназіи не были предупреждены.

Утромъ, часовъ въ восемь, когда въ женской гимназіи воспитанницы были на молитвѣ, попечитель явился въ гимназію и, прежде всего, одни говорятъ, сдѣлалъ выговоръ, другіе—«раскритчался» на швейцара, осмѣливавшагося не стоять, какъ статуя, у двери, а отлучившагося на два шага въ корридоръ, чтобы прибрать галоши. Въ классахъ попечитель нашелъ, будто бы, во всемъ безпорядкѣ, о чемъ заявилъ начальницѣ при ученицахъ, выражая свое не удовольствіе въ начальническомъ тонѣ и, наконецъ, «разгромилъ» нѣкоторыхъ ученицъ, позволившихъ себѣ въ его присутствіи поправить передникъ или что-то въ этомъ родѣ.

Въ мужской гимназіи онъ нашелъ, будто бы, тоже массу безпорядковъ—у нѣкоторыхъ учениковъ не были застегнуты мундиры на всѣ пуговицы и т. п. Какъ и въ женской гимназіи, онъ, какъ говорится, разнесъ и директора и учениковъ, послѣ чего уѣхалъ. На другой день, по его приглашенію, былъ созванъ попечительный совѣтъ при женской гимназіи, на который явились губернский и уѣздный предводители дворянства, городской голова и другіе представители общества. На совѣтѣ, какъ и въ гимназіи, попечитель продолжалъ укорять директора мужской гимназіи, приписывая ему едва-ли не разложеніе гимназіи; въ общемъ же, рѣчь его, обращенная къ членамъ совѣта, была похожа

на обвинительный акт противъ директора гимназій. Рѣчь эта представителямъ общества показалаcя настолько странною, что одинъ изъ нихъ выразилъ удивленіе по поводу выслушанной рѣчи, назвавъ ее обвинительнымъ актомъ, причемъ пояснилъ, что скорѣе, въ порядкѣ вещей, было бы имъ, представителямъ общества, быть недовольными директоромъ и произнести его высшему начальству обвинительный актъ. Постъ такого неожиданнаго „афронта“, попечитель оставилъ гимназію, видимо недовольный.

Толковъ объ этомъ много. Разговоры сводятся къ тому, что начальникъ гимназій и директору будетъ предложено выйти въ отставку, о чемъ всѣ сожалеютъ, крайне не сочувствуя подобнымъ мѣрамъ. Оба представителя дворянства, архіерей, сильно отстаивающій директора, городской голова и многіе другіе члены общества устроили общій адресъ, въ которомъ говорятъ за оставленіе начальствъ гимназій на своихъ мѣстахъ, какъ людей вполне способныхъ, которыми все общество вполне довольно. Губернскій предводитель дворянства отправился къ попечителю на квартиру и вручилъ ему этотъ адресъ. Преосвященный Гурій, архіепископъ таврическій, отправился въ гостиницу, къ попечителю, чтобы увѣрить его, что общество возбуждено разными слухами и что общество желаетъ, чтобы начальство гимназій оставалось на своихъ мѣстахъ, такъ какъ можно ручаться, что нѣтъ твердыхъ основаній къ перемѣнѣ ихъ, а также, что вѣрить доносчикамъ и недоброжелателямъ нельзя и къ ихъ заявленіямъ нужно относиться осторожно. Тѣмъ не менѣе, полагаютъ, что начальство нашихъ гимназій, къ сожалѣнію общества, будетъ или уволено, или перемѣщено. Если это осуществится, то, такимъ образомъ, тайнымъ агентамъ, шпионамъ, доносчикамъ и анонимнымъ письмамъ будетъ оказано больше вѣры, чѣмъ представителямъ общества.

Какъ назвать такое положеніе вещей, когда цѣлый городъ можетъ быть встревоженъ какими-то «тайными агентами, шпионами, доносчиками и анонимными письмами», и когда архіепископъ, высшее духовное лицо, тщетно доказываетъ, что «вѣрить доносчикамъ и недоброжелателямъ нельзя и къ ихъ заявленіямъ нужно относиться осторожно»? «Галиматья» — это вѣрно, пѣтушій Матвій, galli Mathias, вмѣсто Матвѣева пѣтуха. Но представьте себѣ, какъ злобно потираютъ руки тѣ «доносчики и недоброжелатели», которые заварили всю эту кашу. Да и какъ имъ не радоваться? Захотѣли — и отняли пѣтуха у Матвѣя и отдали Матвѣя пѣтуху, а ужъ чего, кажется, несообразнѣе? Понятное дѣло, что люди грубые, злобные, малоумные, получивъ въ распоряженіе такую магическую силу, не упустятъ случая приложить ее даже ни съ того, ни съ сего, такъ, для удовлетворенія просто безпредметно-злобнаго чувства своей мощи. Еще понятнѣе, что это орудіе пускается въ ходъ съ опредѣленною, спеціальною цѣлью нагадить неприятному человѣку, напримѣръ, оскорбившему злобнаго и малоумнаго человѣка, уличившему его въ какой-нибудь пакости или, напротивъ, ока-

завшему ему много услугъ. Ибо глубока глубина дрянности дряннаго человѣка и съ особенно дрянною радостью проявляетъ онъ при случаѣ заемную, случайно полученную силу надъ тѣмъ, кому онъ много обязанъ: это нарочито льстить его самолюбію. Словомъ, нѣтъ низости, которая не могла бы насосаться, какъ пивка, въ такіе времена, когда одного магическаго слова достаточно, чтобы отнять пѣтуха у Матвѣя и отдать Матвѣя пѣтуху.

Взятая отдѣльно, симферопольская исторія представляетъ нѣчто даже фантастическое, и надо надѣяться, что попечитель одесскаго учебнаго округа, равно какъ и министерство народнаго просвѣщенія прекратятъ, наконецъ, эту фантазмагорію, то-есть, отказаться отъ предстательство преосвященнаго Гурія и симферопольскихъ воеводъ. Но, вѣдь, не всегда духовные и свѣтскіе нотаблы хотятъ и могутъ вступить въ борьбу съ разыгравшимся звѣремъ, а даетъ онъ себя знать не въ одномъ Симферополѣ и не только въ февралѣ мѣсяцѣ.

Недавно одинъ мой старый пріятель, живущій въ провинціи, былъ по дѣламъ въ Петербургѣ. Онъ сообщилъ мнѣ, между прочимъ, въ разговорѣ, что, дескать, въ эту самую минуту у него дома происходитъ, можетъ быть, полицейскій обыскъ по нелѣпѣйшему доносу политическаго характера. Посмѣявшись надъ дѣйствительно колоссальною нелѣпостью доноса, я замѣтилъ пріятелю, что ему опасаться, во всякомъ случаѣ, нечего, потому что обыскъ кончится торжествомъ его невинности. — «А я почему знаю?» — возразилъ пріятель. — «Да вѣдь у васъ ничего противозаконнаго нѣтъ». — «Можетъ быть, и найдется. У меня по дѣламъ моимъ благопріятелей много, и есть между ними такіе, что ни передъ чѣмъ не остановятся, лишь бы напакостить изъ-за угла; коли такой доносъ сочинили, такъ могутъ въ мое отсутствіе и подкинуть что-нибудь...»

Я не знаю конца этой исторіи, но это все равно, ибо воодушевленію должно дѣйствовать уже самое ожиданіе, самая перспектива, въ концѣ которой красуется тотемская морощка. Воодушевленію, разумѣется, для тѣхъ маговъ и волшебниковъ, которые «знаютъ слово», и совѣтъ не воодушевленію для мирныхъ гражданъ.

Что значить по нашему времени «слово», это лучше всего видно изъ недавней исторіи закрытія харьковскаго университета. Исторія эта, насколько ее можно возстановить на основаніи различныхъ корреспонденцій, состояла въ слѣдующемъ.

23-го января въ харьковскомъ дворянскомъ собраніи происходилъ танцевальный

вечеръ въ пользу общества для вспоможенія нуждающимся студентамъ харьковского университета. Часовъ около пяти утра за однимъ изъ столовъ сидѣли представители мѣстной печати гг. Іозефовичъ, Говоруха-Отрокъ, студенты Ванчаковъ и Лившицъ—секретари редакціи «Южнаго Края», и профессора Ярошъ и Даневскій. Одинъ изъ трехъ молодыхъ людей, находившихся по близости этой группы, подошелъ къ профессору Даневскому съ вопросомъ: «Гдѣ Говоруха? мнѣ интересно посмотреть на него». Профессоръ указалъ и г. Говоруха уже протянулъ черезъ столъ руку студенту, желавшему, по его мнѣнію, съ нимъ познакомиться, но получилъ отвѣтъ: «Не торопитесь, я съ вами вовсе не желаю знакомиться, я только хочу посмотреть на васъ». Другой студентъ, желая мотивировать слова своего товарища, упомянулъ о какой-то «подлости», совершенной г. Говорухой. Въ чемъ эта «подлость» состояла, такъ и осталось неизвѣстнымъ. Г. Говоруха объяснялъ потомъ въ письмѣ въ редакцію «Южнаго Края», что дѣло шло о какомъ-то его поступкѣ на диспутѣ профессора Яроша, другіе указывали на какую-то статью г. Говорухи въ «Южномъ Краѣ». Какъ бы то ни было, но г. Говоруха отвѣтилъ на оскорбленіе оскорбленіемъ—пустилъ стаканомъ въ лицо оскорбителя. А вслѣдъ затѣмъ началась всеобщая драка при помощи стеклянной посуды. Событіе, какъ видите, отнюдь не міроваго значенія: къ пяти часамъ утра на веселомъ вечерѣ мало-ли что можетъ случиться. Личные счеты участниковъ битвы могли бы быть потомъ такъ или иначе сведены, и все дѣло кануло бы въ рѣку забвенія, гдѣ ему, по справедливости, и надлежитъ быть. Но г. Говоруха напечаталъ на другой день въ «Южномъ Краѣ» объяснительное письмо, до смѣшнаго не вѣроподобное. Это бы еще тоже не бѣда, но въ письмѣ этомъ были прописаны слова, которые потомъ въ разныхъ корреспонденціяхъ получили характеристическое названіе «роковыхъ словъ». И въ самомъ дѣлѣ, то были слова роковыя. Г. Говоруха рассказываетъ, что студентъ обратился къ нему со словами: вы участвовали въ процессѣ 193-хъ и, значитъ, были честнымъ человѣкомъ, а теперь и т. д. Роковой характеръ этихъ словъ опредѣлялся упоминаніемъ о политическомъ процессѣ, а редакція «Южнаго Края», въ свою очередь, подлила масла въ огонь передовой статьей, съ громами противъ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ». Ну, и начался, разумеется, пѣтушій Матвій, хотя, какъ оказалось, «роковыя слова» г. Говоруха просто выдумалъ. Богъ его знаетъ, почему и затѣмъ онъ ихъ выдумалъ, но выдумывать подобныя вещи,

во всякомъ случаѣ, скверно. Однако, надо удивляться не только облыжному письму г. Говорухи, сколько тому, что редакція «Южнаго Края», состоящая изъ профессоровъ харьковского университета, это письмо напечатала, да еще подпустила собственной приправы въ видѣ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ». Кассіи и Бруты рѣшительно не причемъ въ побоищѣ стеклянной посудой, а ироническій эпитетъ «чердачные», будучи лишены всякаго смысла, свидѣтельствуютъ только о злобномъ желаніи насолить, ибо, почему бы заправскимъ Брутамъ и Кассіямъ жить непременно въ бель-этажѣ? Студенты, народъ вообще пуганный, прочитавъ роковыя слова, естественно безпокоились судьбою своихъ товарищей, такъ неосторожно предъ-явившихъ г. Говорухѣ свои мнѣнія о нравственномъ достоинствѣ. Они собрались по-этому для обсужденія какъ самаго дѣла, такъ и просьбы къ совѣту университета о передачѣ его въ вѣдѣніе студентовъ. По самому дѣлу было постановлено слѣдующее рѣшеніе: признавая трехъ товарищей неотвѣтственными за отзывъ о г. Говорухѣ, выразить имъ, однако, порицаніе за то, что они сводили эти счеты на студенческомъ вечерѣ. Выѣстъ съ тѣмъ, собраніе отправило трехъ депутатовъ—двухъ вольнослушателей и одного студента—къ ректору для представленія въ совѣтъ означеннаго постановленія и просьбы о прекращеніи дѣла. Ректоръ направилъ депутатовъ къ проректору, профессору Щелкову, а тотъ отказался принять постановленіе и просьбу. Тогда студенты рѣшили представить то и другое непосредственно въ совѣтъ. Но изъ залы совѣта депутаты были изгнаны криками: «вонъ! вонъ!» и призывомъ сторожей. А вслѣдъ затѣмъ совѣтъ постановилъ слѣдующее рѣшеніе: двухъ изъ оскорбителей г. Говорухи исключить изъ университета, а третьему сдѣлать строгое внушеніе; одного депутата передать прокурорскому надзору, другого исключить изъ университета, а третьяго предать университетскому суду. Этотъ суровый приговоръ вызвалъ въ свою очередь сборища товарищей пострадавшихъ молодыхъ людей, а затѣмъ университетъ былъ закрытъ...

Такимъ образомъ дѣло началось личной перебранкой и дракой между студентами и человѣкомъ, постороннимъ университету, а кончилось болѣе или менѣе жестокою карою шести молодыхъ людей и закрытіемъ университета. Что за чудеса? Какъ могъ такой ничтожный источникъ дать въ концѣ концовъ такое широкое устье? Курьезъ увеличивается еще слѣдующимъ обстоятельствомъ. Генералъ-губернатора не было въ Харьковѣ въ то время, когда разыгралась

эта печальная история, и некоторые думают, что при немъ она не имѣла бы такого крупнаго финала, ибо онъ взглянулъ бы на дѣло съ болѣе высокой точки зрѣнія. Но неужели же эта болѣе высокая точка зрѣнія была недоступна профессорамъ, людямъ, которымъ интересы университета должны бы быть, кажется, особенно близки и дороги? Господамъ профессорамъ даже изобрѣтать нечего было, потому что постановленіе студентомъ было исполнено такта и справедливости. Въ самомъ дѣлѣ, какое дѣло университету до того, что студентъ Z назвалъ г. Говоруху подлецомъ, а тотъ пустилъ ему, вмѣсто отвѣта, стаканомъ въ лицо? Самый фактъ до такой степени ничтоженъ, что въ случаѣ возникновенія этого дѣла въ мировомъ судѣ, судья, вѣроятно, прекратилъ бы его по взаимности оскорбленій. Но такъ какъ обвиняемые студенты нанесли г. Говорухѣ оскорбленіе, именно, на студенческомъ вечерѣ, то товарищи весьма основательно выразили имъ за это неприличіе порицаніе. Что же касается рѣшенія совѣта, то объ немъ можно только сказать, пародируя слова Гамлета: что г. Говоруха университету, что университетъ ему?

Недоумѣніе разъясняется очень просто, если вспомнить, что въ промежуткѣ между ничтожнымъ началомъ исторіи и ея крупнымъ концомъ были произнесены «роковыя слова». По легкомыслію или злонамѣренно г. Говоруха приписалъ своимъ оскорбителямъ сочувственное упоминаніе о политическомъ процессѣ; по легкомыслію или злонамѣренно редація «Южнаго Края» оболтнула о «чердачныхъ Брутахъ и Кассіяхъ» — но, разъ появился на сцену «жупелъ» волюнтаризма и политической неблагонадежности, обыкновенная исторія прекратила свое теченіе и началась «исторія» въ техническомъ смыслѣ слова...

Когда же этому конецъ будетъ? Когда прекратятся эти жертвоприношенія на алтарѣ жупела, да еще и облыжнаго? Когда, наконецъ, будемъ мы, вмѣсто «исторій», имѣть исторію и осуществится пожеланіе Пушкина, торжественно повторенное г. Катковымъ на пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ: «да здравствуетъ разумъ! да скроется тьма!»

Когда-нибудь все это будетъ, вѣроятно, но пока что, а теперь-то г. Катковъ не упустилъ, разумеется, случая поэксплуатировать несчастную харьковскую исторію въ видахъ тьмы и неразумія. Но въ Харьковѣ, по крайней мѣрѣ, была исторія, то-есть скандаль. А вотъ полюбуйтесь какъ описываютъ «Московскія Вѣдомости» годичный актъ петербургскаго университета (8 февраля), на которомъ никакого скандала не было:

«Одинъ почтенный профессоръ, на котораго возложено было университетскимъ совѣтомъ составленіе и чтеніе отчета о состояніи университета, не былъ съ состояніемъ исполнить это порученіе: его принудили нескончаемыми криками сойти съ кафедръ; чтеніе отчета было тогда поручено ректоромъ другому, болѣе популярному профессору, который и былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій: но только-что онъ принялся за чтеніе дальнѣйшихъ частей отчета, какъ снова раздался крикъ и его заставили читать сначала, такъ что публикѣ пришлось дважды прослушать одно и то же. Раздавался отъ времени до времени пронзительный свистокъ, а крикамъ и апплодисментамъ при всякомъ вызовѣ награждаемаго медалью студента не было конца».

Обратите вниманіе на подчеркнутыя слова. Кто не знаетъ дѣла, тотъ представитъ себѣ «событія 8-го февраля» такъ: выходитъ на кафедру почтенный, благонамѣренный, но нелюбимый студентами профессоръ и начинаетъ читать отчетъ. Студенты бурно протестуютъ; бурно и успѣшно, ибо нелюбимый профессоръ удаляется и ректоръ, подчиняясь волнующейся молодежи, поручаетъ чтеніе отчета другому, любимому профессору. Затѣмъ свистки и апплодисменты... Дѣло ясное. Одно только не совсѣмъ ясно: почему «Московскія Вѣдомости», для которыхъ не существуетъ изрѣченіе «*nomina sunt odiosa*» и которыя никогда не отказываются ставить точки надъ і, почему онъ не называютъ именъ, какъ «почтеннаго» профессора, такъ и «болѣе популярнаго»? Потому, что это для нихъ удобнѣе, а удобнѣе потому, что «болѣе популярный» профессоръ, привѣтствованный громомъ рукоплесканій и даже какъ бы вызванный на кафедру мутящимся студенчествомъ, есть г. Орестъ Миллеръ. Дѣло было такъ. Отчетъ долженъ былъ читать г. Помяловскій, профессоръ дѣйствительно почтенный, но отличающійся слабымъ голосомъ. Когда это, при чтеніи отчета, обнаружилось, то въ публикѣ послышались слова: «громче! громче!» Г. Помяловскій громче не могъ и потому, съ его согласія, ректоръ попросилъ прочитать отчетъ г. Миллера. Выборъ былъ вполнѣ натураленъ: г. Орестъ Миллеръ есть испытанный и охочій чтецъ, постоянно читающій то собственныя публичныя лекціи, то чужую прозу и чужіе стихи на разныхъ литературныхъ вечерахъ. Что можетъ быть проще? Что же касается популярности г. Ореста Миллера, то, сколько мнѣ извѣстно, учащаяся молодежь дѣйствительно очень цѣнитъ его добрый характеръ. Можетъ быть, однако, популярность г. Миллера имѣетъ и другія, гораздо болѣе широкія основанія, заложенные въ самомъ образѣ мыслей почтеннаго профессора. Въ такомъ случаѣ «Московскія Вѣдомости» могли бы только радоваться популярности г. Ореста Миллера, ибо онъ есть извѣстный патріотъ своего отечества, почи-

татель г. Аксакова, пропагандист Достоевского, защищающий «основы» по мѣрѣ своихъ силъ и способностей. Но даже невинный образъ г. Ореста Миллера не удержалъ г. Каткова отъ поползновения поиграть жу-пеломъ вольнодумства и опредѣлить своею несомнѣнною голубиною чистотою только одну подробность: умолчаніе имени «болѣе популярнаго» профессора. Разбирай, дескать, тамъ, кого привѣтствовали студенты громомъ рукоплесканій и кто пользуется у нихъ популярностью—можетъ, революціонеръ какой!.. Комическое, собственно говоря, происшествіе. Судя по тону «Московскихъ Вѣдомостей», вы такъ и ждете, что вамъ покажутъ необузданнаго демагога съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ, съ пламенными рѣчами на устахъ. И вдругъ выскакиваетъ маленькая, аккуратная, благонамѣреннѣйшая фигура О. Э. Миллера... Овидіевы превращенія...

О, пѣтуній Матѣй!..

Независимо, однако, отъ клеветническихъ науськиваній и злобнаго потрясанія разными жупелами, самый фактъ университетскихъ «исторій» не подлежитъ сомнѣнію. «Событія 8 февраля» на годичномъ актѣ петербургскаго университета сочинены «Моск. Вѣдом.» при помощи превращеній О. Э. Миллера въ революціоннаго дѣятеля. Это просто враки. Но не враки харьковская исторія и многія другія. Разные люди объясняютъ ихъ разнo. Но не безынтересно было бы слышать объясненіе отъ самаго учащагося люда, не въ примѣненіи къ тому или другому частному случаю, причѣмъ такъ легко запутаться въ подробностяхъ и изъ-за деревьевъ не увидѣть лѣса, а въ возможно общей формѣ. Съ этою именно цѣлью мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе читателей на доставленную мнѣ, за подписью нѣсколькихъ студентовъ, записку подъ заглавіемъ: «Корни университетскихъ исторій и безпорядковъ».

Записка мотивируетъ свое происхожденіе распространившимся передъ 8-мъ февраля въ обществѣ и, къ счастью, несбывшимися ожиданіями какого-то скандала, какой-то исторіи. Авторы указываютъ и на деревянную перегородку, раздѣлившую для чего-то передъ самымъ актомъ залу на двѣ части, и на радость печати, что актъ прошелъ благополучно. Всѣ эти опасенія и ожиданія свидѣлствуютъ объ общепризнанности факта недовольства студентовъ своимъ положеніемъ, недовольства, которое мѣшаетъ мирному занятію наукой. Въ чемъ же дѣло? Авторы рассуждаютъ такъ: «Мы—русскіе студенты; мы молодые люди въ возрастѣ отъ 18-ти до 30-ти лѣтъ, въ возрастѣ, который способенъ отдаваться до самопожертвованія,

сильно любить и сильно не любить. Мы окончили курсъ среднихъ учебныхъ заведеній и аттестованы, какъ люди зрѣлые въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Таковыми мы можемъ признать себя не только потому, что обладаемъ аттестатами зрѣлости, но и по другому, болѣе основательному соображенію. Умственная и нравственная зрѣлость достигается двумя и только двумя путями: путемъ научнаго образованія и путемъ опыта политической жизни. Тамъ, гдѣ не существуетъ этотъ послѣдній, воспитывающій опытъ, тамъ остается только первый путь. Кто же мы по научному образованію? Въ Россіи болѣе 80-ти милліоновъ жителей, а всѣхъ, получившихъ среднее и высшее образованіе, не наберется и 800 тысячъ. Слѣдовательно, по образовательному цензу, мы правоспособны. Но правамъ должны соответствовать обязанности и, въ качествѣ студентовъ, обязанности наши состоятъ въ образованіи и воспитаніи изъ себя полезныхъ гражданъ. Обязанность двоякая: умственное образованіе и гражданское воспитаніе. Въ стѣнахъ университета все будетъ спокойно, когда мы будемъ видѣть, что въ этихъ стѣнахъ одинаково и совмѣстно достигаются обѣ указанныя цѣли. Но онѣ достижимы только при двухъ условіяхъ: при свободной корпораціи профессоровъ, улучшающей составъ образовывающей силы, и при таковой же корпораціи студенчества, обеспечивающей, защищающей, поддерживающей, граждански-воспитывающей это студенчество».

Я почти дословно передалъ содержаніе первой части записки, съ сохраненіемъ ея нѣсколько сухой схематичности и молодой категоричности. Подробности мотивовъ окончательнаго вывода требуютъ, конечно, поясненій и дополненій. Но въ общемъ, выказанныя запиской пожеланія, приложенныя хотя бы, напримѣръ, къ харьковской исторіи, несомнѣнно помогли бы устраниенію ея печальнаго финала. Вѣсьма вѣроятно, что самая возможность товарищескаго суда, въ связи съ другими элементами «гражданскаго воспитанія», не допустила бы оскорбителей г. Говорухи до сведенія съ нимъ счетовъ путемъ публичнаго скандала. А ужъ это-то навѣрное, что разъ скандалъ произошелъ, товарищескій судъ повелъ бы къ безъ сравненія выгоднѣйшимъ для университета и для всего общества результатамъ, чѣмъ исключенія, закрытія и тому подобныя вещи, столь часто практикуемыя и ничего не достигающія. Но, вѣдь, остаются еще харьковскіе профессора, которые такъ дурно воспользовались находившеюся въ ихъ рукахъ газетою и, вмѣсто естественной ихъ въ этомъ случаѣ роли миротворцевъ, сыграли

роль подстрекателей и обличителей. Остается, наконец, вопрос: удовольствуется-ли учащийся людъ своими корпоративными дѣлами, если въ стѣнахъ университета имъ будетъ предоставлена безпрепятственная возможность «умственного образования и гражданского воспитанія»?

Авторы записки отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. Они не отрицаютъ, что отдѣльныя личности изъ учащейся молодежи, при томъ обыкновенно наиболѣе выдающіяся въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, нерѣдко выходятъ за предѣлы собственно студенческихъ дѣлъ и занятій и оказываются, что называется, «неблагонадежными». Какъ съ этимъ быть? Отдѣлить козлицъ отъ овецъ и козлицъ въ огородъ не пускать? Но авторы записки справедливо замѣчаютъ, что «неблагонадежность не опредѣляется никакими внѣшними признаками, она не обусловлена ни имущественнымъ, ни сословнымъ, ни какими другими различіями и проявляется только въ своихъ слѣдствіяхъ, то-есть слишкомъ и слишкомъ поздно». Въ самомъ дѣлѣ, никто, разумѣется, не можетъ возражать противъ желанія университетовъ, находящихся постоянно подъ мечомъ Дамокла-Каткова и иныхъ, принимать мѣры противъ вторженія «неблагонадежныхъ» элементовъ. Мѣры и принимаются и, однако, ничего не гарантируютъ. Ясно, что корни затрудненія находятся совсѣмъ не въ стѣнахъ университета, а гдѣ-то внѣ ихъ, куда попечительная дѣятельность университетскихъ начальствъ проникать не можетъ—въ семьѣ, въ обществѣ, въ государствѣ. Авторы записки говорятъ: вышеупомянутыя ближайшія, непосредственныя цѣли учащагося люда имѣютъ характеръ только подготовленія къ цѣли болѣе отдаленной, а именно, къ полезной общественной дѣятельности. Научное образование и нравственное самовоспитаніе имѣютъ цѣну только при условіи увѣренности въ осуществленіи цѣли конечной. «Но можетъ-ли существовать такая увѣренность у русскихъ студентовъ? Могутъ-ли они сказать себѣ: теперь намъ нужно только спокойно запасться возможно большими знаніями да поддерживать въ себѣ вложенные Богомъ общественныя инстинкты, а тамъ, по выходѣ изъ университета, насъ ждетъ безопасная общественная дѣятельность, гдѣ возможно будетъ примѣнить всю силу своихъ способностей и знаній и тѣмъ отплатить за свое воспитаніе вынесшему насъ на своихъ плечахъ народу?» Отвѣтъ понятенъ и авторы въ концѣ концовъ формулируютъ его такъ: «чтобы дѣти» не забютились чрезмерно и несвоевременно о своихъ правахъ, надо, чтобы эти права были у «отцовъ».

Представляя эти соображенія на благо-

усмотрѣніе читателей, я прошу его нарисовать себѣ мысленно такую картину Учащійся юноша ставитъ себѣ въ жизни скромнѣйшую цѣль и мечтаетъ всего на всего, наиримѣръ, о роли учителя гимназіи, гдѣ онъ будетъ старательно и добросовѣстно сѣять сѣмена просвѣщенія. И вдругъ онъ слышитъ, что какіе-то «доносчики, шпіоны и анонимныя письма», съ которыми даже преосвященный архіепископъ Гурій борется вѣдѣ, произвели разгромъ симферопольской гимназіи... А вѣдь онъ юноша, у него кровь ходуномъ ходитъ. Надо судить по человечеству...

Вотъ и харьковскихъ профессоровъ я готовъ судить по человечеству. Я не думаю, чтобы они изъ сознательной, злостной мстительности пустили въ ходъ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ» и другія «роковыя слова». Конечно, нѣкоторая моментальная озлобленность, вѣроятно, была. Но не въ ней, всетаки, дѣло главнымъ образомъ, а въ томъ, что харьковскіе профессора подобно многимъ другимъ русскимъ гражданамъ, не могутъ слышать равнодушно слова «жуликъ»: сейчасъ у нихъ, какъ у Настасьи Панкратьевны, «руки-ноги затрясутся». А старій клauзникъ Мудровъ и радъ, что на такую напасть, и все подбавляетъ роковыхъ словъ: «обаче», говоритъ, или «вотъ, наиримѣръ, «металъ», что-съ? каково слово?»

Но право же, господа, это, наконецъ, стыдно. Такая мы, можно сказать, большая держава и вдругъ Настасья Панкратьевна!.. Она вѣдь просто дура, Настасья-то!

XIII.

Все французъ гадитъ *).

«Все французъ гадитъ». Кажется, французъ, а можетъ быть и англичанинъ. Не помню цитаты. Но это, пожалуй, безразлично, потому что намъ рѣшительно всѣ гадятъ, кромѣ насъ самихъ, разумѣется. Сами по себѣ, мы такъ чисты, такъ чисты — «чище снѣга альпійскихъ вершинъ»; чисты и притомъ смиренны, благодушны, хотя и грозны врагамъ. Понять даже трудно, отчего намъ, при подобныхъ совершенно неблагоприятныхъ условіяхъ, всетаки всѣ гадятъ: чистоты нашей не цѣнятъ, грозы не боятся, точно мы вовсе не чисты и не грозны.

Прежде намъ гадила преимущественно Европа, за что мы ее, независимо отъ грома оружія, обзывали всю цѣликомъ «гнилыми западомъ». Это въ общемъ, а затѣмъ, раздавали всѣмъ сестрамъ по серьгамъ въ отдѣльности. Англію обзывали «коварнымъ

*) 1882 г., апрѣль.

Альбионъ», коварнымъ и «рыжимъ», что выходитъ чрезвычайно язвительно; о французахъ полагали, что «разсудка французъ не имѣть, да и имѣть его почелъ бы за несчастіе»; объ нѣмцахъ и говорить нечего, ибо «колбасники», за исключеніемъ Австріи, которая не столько колбасница, сколько «неблагодарная». И въ самомъ дѣлѣ, неблагодарность черная: мы-ли не старались возстановить «порядокъ» въ Австріи, а впрочемъ, и въ Неаполѣ, и въ Пьемонтѣ, и даже въ далекой Испаніи, гдѣ шумить-бѣжить Гвадалквивиръ, совершенно насъ не трогая. И вдругъ, вмѣсто любви и признательности—гадить. Ну, а далѣе идутъ уже разные «мятежные венгры», «физики голландскіе» и прочая шушера, вниманія не стоющая. Вотъ развѣ еще норвежцевъ стоитъ поминуть, которые спиваютъ нашихъ соотечественниковъ на крайнемъ сѣверѣ своимъ сквернымъ, да еще контрабанднымъ ромомъ, и отбиваютъ хлѣбъ у русскихъ рыбопромышленниковъ. Еслибы не этотъ проклятый норвежскій ромъ, мы не знали бы, что такое пьянство, и каждый трудящійся русскій чловѣкъ самъ пожиналъ бы плоды трудовъ своихъ: норвежскій ромъ гадить, а сами мы чище снѣга альпійскихъ вершинъ. Кромѣ того, въ своемъ собственномъ отечествѣ мы имѣемъ «безмозглыхъ поляковъ» и «пархатыхъ жидовъ», которые гадятъ изъ всѣхъ силъ. Ко всему этому мы давно уже привыкли, присмотрѣлись и въ обыкновенное время довольно лѣнливо, точно съ просонковъ, еле ворочаемъ языкомъ: «все французъ гадить». Но въ минуты чрезвычайной любви къ отечеству и народной гордости, этотъ языкъ начинаетъ ворочаться быстро и рѣшительно; столь быстро и рѣшительно, что мысль за нимъ не поспѣваетъ, вслѣдствіе чего онъ безо всякаго контроля болтаетъ многое уже ни съ чѣмъ несообразное. Откровенно говоря, мнѣ уже и то кажется довольно несообразнымъ, что будто Австрія, наприимѣръ, должна быть намъ вѣчно благодарна за возстановленіе «порядка», который нынѣ уже тамъ не существуетъ. Но во времена необузданности языка, по случаю любви къ отечеству и народной гордости (ныне называютъ такіа времена временами «подъема духа»), несообразность прорывается бурнымъ потокомъ, рветъ плотинъ, сноситъ мосты. Таково переживаемое нами нынѣ время. Кто усомнится въ нашей любви къ родной землѣ, тому мы можемъ зажать ротъ хотя бы исторіей уфимскихъ и другихъ родныхъ земель, а что мы должны гордиться, объ этомъ, кромѣ уфимской, свидѣлствуютъ и безчисленные другія исторіи. Всѣ условія для подъема духа и необузданности языка на лицо, и вотъ...

Впрочемъ, теперь дѣло обостряется еще тѣмъ, что намъ начинаетъ гадить не только гнилой западъ, а и востокъ.

Можете вы себѣ представить, что въ тифлисскомъ театрѣ была дана историческая драма «Родина» на грузинскомъ языкѣ, въ которой изображалось торжество грузинъ надъ персіянами! А тутъ еще и армяне затѣяли свой театръ въ Тифлисѣ. Каково положеніе русскаго патріота своего отечества, когда какіе-то грузины и армяне осмѣливаются имѣть въ Россіи свой собственный театръ, свои историческія преданія, свою Куру и Арагу, которые, впрочемъ, шумятъ, бѣгутъ, нисколько насъ не трогая. Но есть солнце на небѣ, есть М. Н. Катковъ въ Москвѣ. Проницательнымъ взоромъ полководца, посѣдившаго въ бояхъ за отечество, онъ усмотрѣлъ, что намъ собираются гадить еще съ одной стороны, и, сдѣлавъ строгое внушеніе кавказскому цензурному комитету, вмѣстѣ съ тѣмъ, предложилъ «продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимы»... Это было предложеніе высокоблагородное и глубоко-патріотическое. Но, увы! хотя «Московскія Вѣдомости» и продолжали издавать громы, но это уже не туча, а только куча. Самъ же М. Н. Катковъ такъ много и такъ неустанно мелеть, что, наконецъ, его скоро поставятъ вмѣсто декораціи мельницы въ оперѣ «Русалка» и оперный князь будетъ, указывая на него, меланхолически пѣть: «вотъ мельница! она ужъ развалилась»!.. Да, она развалится, эта бойкая, шумная мельница, и стократное эхо не будетъ вторить ей гулу. Уже и теперь, вмѣсто послушнаго эхо, появилось въ газетѣ «Кавказъ» опроверженіе кавказскаго цензурнаго комитета, непочтительнаго, но, надо признаться, весьма основательно доказывающее, что мельница не понимаетъ, что, именно, она мелеть. А спеціально за грузинскія знамена вступился тифлисскій предводитель дворянства, г. Магаловъ. Въ письмѣ въ редакцію «Голоса» (№ 70) г. Магаловъ пишетъ, между прочимъ, по поводу продажи грузинскихъ знаменъ въ циркъ, слѣдующее: «Въ мірѣ нѣтъ варвара, который не уважалъ бы народной святыни, служащей эмблемою чести и національнаго достоинства». Я въ этомъ дѣлѣ мало понимаю, но думаю, все-таки, что г. Магаловъ правъ. По крайней мѣрѣ, вотъ эпизодъ, вычитанный мною въ недавно вышедшей книжкѣ Маслова «Завоеваніе Ахаль-Теке». Очерки изъ послѣдней экспедиціи Скобелева. Въ одномъ изъ сраженій, предшествовавшихъ взятію Денгиль-Тепе, у 4-го баталіона апшеронскаго полка текинцы отняли знамя. Это было большое огорченіе для русскаго отряда, чуть-ли не большее, чѣмъ потеря въ людяхъ, которыхъ тоже не

мало погибло въ несчастномъ дѣлѣ. Передъ штурмомъ, генералъ Скобелевъ издалъ приказъ, которымъ назначилъ 4 й апшеронскій батальонъ въ голову штурмовой колонны, дабы онъ могъ искупить потерю знамени. Затѣмъ, при взятіи Денгиль-Теле произошло слѣдующее: «Куропаткинъ съ своимъ штабомъ уже былъ на бреши. Въ это время со стѣны подошло нѣсколько охотниковъ, неся какое-то знамя... Это было знамя 4-го апшеронскаго батальона, которое *хранилось у кибитки Мурадъ-хана, такъ какъ текинцы считаютъ знамя тоже (!) за святыню*. Знамя было отнято охотникомъ-апшеронцемъ. Туркестанцы и ширванцы радостнымъ ура привѣтствовали дорогой трофей» («Завоеваніе Ахаль-Теке», стр. 141).

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ уваженія къ «эмблемамъ чести и національнаго достоинства» дикій текинецъ Мурадъ-ханъ оказывается гораздо болѣе свѣдущимъ человекомъ, чѣмъ М. К. Катковъ. А г. Катковъ не первый встрѣчный, онъ одинъ изъ вождей «національной партіи», «національной политики». Мельница въ непродолжительномъ времени развалится, это вѣрно, но пока она еще шумитъ, гудитъ и назойливо вторгается своимъ шумомъ въ слухъ мимоходящихъ. И если представитель русской національной политики предлагаетъ, въ отместку за невинную грузинскую пьесу, продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимъ, то не слѣдуетъ-ли изъ этого, что мы не чище не только снѣга альпійскихъ вершинъ, но даже дикихъ текинцевъ? Родная земля не клиномъ сошла на г. Каткова. Это точно. Есть на этой землѣ люди, умѣющіе различать добро и зло, черное и бѣлое, истину и ложь, достоинство и мерзость. Но до сихъ поръ слишкомъ часто обстоятельство складывается такъ, что впереди насъ вѣсмъ видны, «что городъ на горѣ», и вѣсмъ слышны, точно трубы іерихонскія, стоятъ люди, Богомъ обиженные насчетъ разумнаго добра и зла. Русскіе люди въ цѣломъ, конечно, неповинны въ дикомъ требованіи г. Каткова продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимъ. Да это и чистый вздоръ въ узко практическомъ смыслѣ, то есть грузинскія знамена останутся неприкосновенны на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они и теперь находятся. Но бываетъ такъ, что предложенія, указанія, инсинуаціи и прямо доносы «Московскихъ Вѣдомостей», отличаясь совершенно текинскою дикостью, не такъ шутовски смѣшны, а потому способны оказывать прямое вліяніе на теченіе нашей жизни. Однако, и въ дѣлѣ грузинскихъ знаменъ, совѣмъ не вздоръ то раздраженіе, которое примыкаетъ къ любопытному вопросу: кто

кому гадить вообще и кто намъ гадить въ особенности? Дѣло хорошо характеризуется слѣдующими словами г. Магалова. Онъ спрашиваетъ: о какихъ это грузинскихъ знаменахъ говорятъ «Московскія Вѣдомости»? «Не о томъ-ли знамени, подъ сѣнью котораго Грузія, очутившись «передовымъ редутомъ христіанской обороны противъ ислама», въ продолженіе двѣнадцати столѣтій, съ честью защищала, кровью своихъ сыновъ, православный крестъ, донесенный ею «до порога девятнадцатаго вѣка»? Не о тѣхъ-ли, наконецъ, знаменахъ, которые пожалованы грузинскому народу: одно—императоромъ Николаемъ Павловичемъ за *преданность* русскому престолу и за заслуги передъ отечествомъ, а другое—георгіевское, въ Бовѣ почившимъ императоромъ Александромъ Николаевичемъ за блистательное дворянское дѣло конной дворянской дружины при Чолокѣ, 4-го іюня 1854 года? Все это—знамена, которые грузины всегда высоко и съ честью держали, оправдывая довѣріе своихъ монарховъ на поляхъ Малой Азіи, у твердынь Черкесіи, Чечни и Дагестана, совместно обагренныхъ кровію лучшихъ сыновъ Россіи и Грузіи. Какое же изъ этихъ грузинскихъ знаменъ «Московскія Вѣдомости» совѣтуютъ сдать въ циркъ».

Вопросъ, въ самомъ дѣлѣ, интересный, но который, конечно, останется безъ отвѣта, ибо «Московскія Вѣдомости» изложили свою идею единственно по случаю необузданности языка и въ тѣхъ видахъ, что во времена «подъема духа» бездѣйствуютъ законы логики и принципа, здраваго смысла и нравственности. Но посмотрите, однако, что изъ этого выходитъ. Грузины имѣютъ воі основанія ссылаться на свои знамена, какъ на знаки ихъ преданности русскому государству, и вдругъ представитель русской «національной политики» предлагаетъ продать эти обагренные кровію знаки въ циркъ, гдѣ пестрые арлекины и бѣлые пьеро, ломающіеся клоуны и триковья наѣздники будутъ ими украшаться. Можетъ-ли это обстоятельство усилить любовь грузинъ къ Россіи? Можно-ли ожидать, чтобы совершенно посторонній человекъ, которому нѣтъ даже ровно никакого дѣла до грузинскихъ знаменъ и соотвѣтственныхъ заслугъ передъ русскимъ государствомъ, согласился: «да, молъ, сами вы чище снѣга альпійскихъ вершинъ, а только вамъ французъ гадить». Какой же, помыслите, французъ! Просто г. Катковъ гадитъ!

Замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что представители и вожди русской «національной партіи», «національной политики», «національных интересовъ» съ чрезвычайною горячностью требуютъ отъ всѣхъ народовъ

міра уваженія къ нимъ, любви, преданности, благодарности, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы всѣ народы міра насъ ненавидѣли. Я не говорю о тѣхъ возмутительныхъ картинахъ нашей внутренней жизни, которыя въ значительной степени обязаны своимъ существованіемъ, именно, этимъ бюстителемъ «національных» интересовъ и которыя будучи предъявлены вселенной, отнюдь не способны завоевать ея симпатіи. Не говорю даже объ томъ, какъ мы издревле и по сейчасъ беремъ на себя роль всесвѣтныхъ полиціе-маіоровъ или брандъ-маіоровъ и водворяемъ «порядокъ», возстановляемъ потрясенныя «основы» и тушимъ пожары на всемъ пространствѣ отъ Испаніи до Болгаріи. Нѣтъ, возьмите только наши пышныя разсужденія о принципахъ національности, о самообытности и поставьте ихъ рядомъ съ продажей грузинскихъ знаменъ, съ запрещеніемъ армянскаго театра, малорусской рѣчи и проч., и проч., и проч., со всѣми этими архи-текинскими, безцѣльными, бессмысленными оскорбленіями и науськиваніями. И потомъ вздохъ угнетенной невинности и—«французъ гадить»...

Не считая крупныхъ вещей, въ родѣ еврейскихъ погромовъ или incident Scobeleff, вы чуть не каждый день можете встрѣтить въ газетахъ по этой части или выходки, отъ которыхъ покраснѣлъ бы Мурадъ-ханъ, или извѣстія, превосходящія своею фантастическою занимательностью сказки Шехерезады. То вдругъ появится слухъ о предстоящей обязательной натурализаціи всѣхъ иностранцевъ, проживающихъ въ Россіи болѣе пяти лѣтъ; слухъ, рѣшительно ни съ чѣмъ несообразный, ибо хотя мы и доселѣ вѣримъ въ возможность закиданія Европы папками, но въ дѣйствительности Европа своихъ людей въ обиду не дастъ. Тѣмъ не менѣе, нелѣпый слухъ ходитъ и комментируется газетами. А то вдругъ произойдетъ слѣдующій высоко комическій эпизодъ.

Есть въ Подольской губерніи городъ Проскуровъ, въ коемъ, по календарю Гоппе, числится 12 тысячъ жителей. Въ числѣ этихъ 12 тысячъ есть одинъ ирландецъ Макъ-Доль. Поселился онъ тамъ давно, поселился нищимъ, но теперь оказывается человѣкомъ состоятельнымъ, каковое состояніе приобрѣтено имъ «личнымъ трудомъ» и благодаря «гуманному обращенію съ нимъ правителей». По словамъ корреспондента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», этотъ Макъ-Доль «5-го февраля явился въ общее собраніе городской думы, заявляя свою просьбу объ исходатайствованіи ему передъ нашимъ правительствомъ перехода въ подданство Россіи, причемъ съ рыданіи

емъ сталъ выяснять собранію о тяжкомъ гнетѣ, невыносимыхъ страданіяхъ, отнятіи всякихъ гражданскихъ правъ и постановленіе почти въ невольничье состояніе его братій-христіанъ въ Ирландіи, угнетаемыхъ и порабащаемыхъ по произволу англійскими лордами, добавляя, что вся Ирландія намѣрена искать противъ англійскихъ лордовъ высокою и гуманною покровительствомъ Россіи. Это заявленіе согбеннаго старосты и убѣденнаго сѣдинами ирландца, равно своеобразное предложеніе прочесть, какъ доказательство тираніи и свирѣпства лордовъ надъ ирландцами, принесенныя имъ двѣ книги: «Мститель», Шарля Делиса, переводъ съ французскаго, и «Кровавыя ночи», исторія Ирландіи, помѣщенная въ газетѣ «Новости» за 1882 годъ, при страдальческомъ типическомъ выраженіи лица несчастнаго произвели сильное, потрясающее впечатлѣніе на слушателей. Тогда преподаватель, городской голова предложили собранію прочесть публично предъявляемыя Макъ-Долемъ книги, и предложеніе это было встрѣчено восторженно, съ криками, «благодаримъ! прочесть, прочесть!». Затѣмъ началось чтеніе, и при чтеніи всѣхъ ужасовъ своеволия, опустошеній и убійствъ, многіе изъ членовъ собранія плакали. Послѣ этого, по приглашенію городского головы, была составлена собраніемъ слѣдующая резолюція:

«а) Поступки съ ирландцами англійскихъ лордовъ внушаютъ чувства сожалѣнія и отвращенія, но эти поступки, составляя явленіе внутренней жизни, не проникнутой еще цивилизаціею, не могутъ стать предметомъ официальной переписки или разслѣдованія. Возможны развѣ при случаѣ дружескія представленія со стороны Россіи, такъ какъ всякія другія дѣйствія, по вопросу объ отношеніяхъ англійскихъ лордовъ къ ирландцамъ, скорѣе повредятъ, чѣмъ помогутъ означеннымъ несчастнымъ.

«б) Войти съ представленіемъ къ г. губернатору о принятіи въ русское подданство ирландца Макъ-Доля, съ тѣмъ, не признается-ли возможнымъ, независимо этого, ходатайствовать передъ правительствомъ о переселеніи всѣхъ вообще ирландцевъ въ Россію, на казенныя земли, взаменъ евреевъ, недовольныхъ нашимъ правительствомъ, которыхъ англійскіе лорды, вѣроятно, позаботятся водворить у себя, вмѣсто ирландцевъ, какъ людей, болѣе къ нимъ подходящихъ».

Резолюція была принята съ единодушнымъ восторгомъ, а затѣмъ произошло... торжественное поднесеніе городскому голове «вѣнка изъ бѣлыхъ лилій»!

Участвовать въ современной русской

жизни необыкновенно тяжело, потому что есть только два возможные вида участія въ ней: можно участвовать или своими боками, или же въ качествѣ созерцателя, наблюдателя, классификатора. Своими боками никому не охота, да и то сказать: охота-ли не охота, а во времена «подъема духа» это—дѣло «божьей планиды», таинственного и непредвидимаго теченія судеб. Простой созерцатель, наблюдатель, лѣтописецъ, классификаторъ, и тотъ въ этомъ отношеніи нисколько не гарантированъ, тѣмъ болѣе, что роль созерцателя необыкновенно трудна въ другомъ смыслѣ. Для нея нуженъ совершенно особенный темпераментъ, спокойный, ровный, умѣющий, какъ говорится, объективировать факты. А какъ объективировать то, что васъ бьетъ, оскорбляетъ, волнуетъ? Вотъ, еслибы можно было какъ-нибудь вывернуться изъ нашей жизни и смотрѣть на нее откуда-нибудь со стороны, съ точки въ пространствѣ, о! тогда она представила-бы интересъ чрезвычайно занимательной фееріи, и весь этотъ переплетъ изъ бѣлыхъ лилій, грузинскихъ знаменъ и прочей разной чепухи былъ бы вполне умѣстенъ...

Читатель можетъ замѣтить, однако, что гг. Катковъ, Маевъ-Доль и многіе другіе живутъ еще на третій манеръ: они не своими боками участвуютъ въ жизни, а, напротивъ, до чужихъ боковъ добираются; не безстрастнымъ созерцаніемъ занимаются, а разрушаютъ грузинскія интриги и протаскиваютъ руку помощи угнетеннымъ ирландцамъ. Я и не спорю, что означеннымъ господамъ «живется весело, вольготно на Руси». Но, собственно говоря, какая же это жизнь? Это просто сонъ съ бредомъ; дикий сонъ, при которомъ отсутствуетъ чувство дѣйствительности и разнузданная фантазія оперируетъ надъ химерическими образами и картинами. Прислушиваясь къ этому бреду, вы, наконецъ, чувствуете, что и сами потеряли масштабъ дѣйствительности и фантазіи, возможнаго и невозможнаго? Возможна напимѣръ проскуровская комедія или невозможна? Происходила она въ дѣйствительности или это мистификація, устроенная веселымъ корреспондентомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» ради потѣхи? Вы понимаете только, что вопросительный знакъ здѣсь, по малой мѣрѣ, столько же умѣстенъ, сколько и восклицательный, но съ твердою увѣренностью отвѣтить на вопросъ никакъ не можете. Этотъ согбенный старецъ, обогатившійся «благодаря гуманному обращенію съ нимъ правителей» Подольской губерніи и кидаящій Англіи перчатку изъ глубокой глубины города Проскурова; эти невинные и, можно сказать, пасторальные проскуровскіе обыватели, впервые,

изъ книжечъ знакомящіеся съ «ужасами своеволия, опустошеній и убійствъ»; эти вѣнки изъ бѣлыхъ лилій и великодушное предоставленіе русскихъ казенныхъ земель ирландцамъ, почему вы знаете, что это такое? Вы отвѣтите, пожалуй, что это прекрасный сюжетъ для оперетки во вкусѣ Оффенбаха. Такъ, но откуда взять этотъ сюжетъ? изъ жизни или области фантазіи? былъ это или сказка? Неизвѣстно.

И въ такой фантастической неизвѣстности мы живемъ не день и не два... Надо, впрочемъ, нынѣ считать время не днями, а ночами. Днемъ, при солнечномъ свѣтѣ, невозможны такіа сочетанія несочетаемаго, днемъ домытые люди не душатъ и лошадей гривы не заплетаютъ, барабанщикъ не встаетъ изъ гроба и не бьетъ фальшивой тревоги, вѣдьмы не слетаются на Лысую гору и всякая вообще чертовщина спитъ. Современникъ долженъ вести не дневникъ, а ночникъ. Примѣрно такъ.

Ночь первая. Видѣлъ огромнаго рака, весьма схожаго съ обыкновеннымъ рѣчнымъ ракомъ, но, въ противность пословицъ и законамъ природы, этотъ ракъ свиснулъ; происходило же это въ городѣ Проскуровѣ, Подольской губерніи и проскуровский городской голова, увѣнчанный бѣлыми лиліями, картинно сидѣлъ на свистающемъ ракѣ верхомъ. При этомъ зрители проливали слезы, а такъ какъ проскуровскіе обыватели чрезвычайно чувствительны, то и слезъ они пролили много, цѣлую рѣку. И рѣка та потекла въ сердце Россіи, въ Москву, въ предѣлахъ которой раздѣлилась на два рукава: одинъ потекъ къ ногамъ М. Н. Каткова, а другой къ ногамъ И. С. Аксакова. Здѣсь слезы окаменѣли, кристаллизовались и образовали цѣлыя горы алмазовъ. Разработкою этихъ алмазныхъ горъ отечество обогатилось; не только голодные насытились, холодные согрѣлись, нагіе одѣлись, но остался еще солидный фондъ, спеціально предназначенный на поддержаніе національной политики, на устрашеніе народовъ неблагодарныхъ и на поощреніе благодарности народовъ угнетенныхъ. Хотя за всѣмъ тѣмъ и осталось нѣсколько голодныхъ соотечественниковъ, но они пытались внутренностями М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, которые, подобно пеликану, и самыхъ внутренностей своихъ для истинныхъ сыновъ отечества не жалѣютъ. Устрашенный французъ пересталъ гадить, ракъ же болѣе не свистѣлъ.

Ночь вторая. Видѣлъ цѣлое полчище русскихъ, еврейскихъ, польскихъ, грузинскихъ и иныхъ женщинъ. И тѣ женщины плакали. Плакали жены, плакали сестры, плакали матери. Женны слезы какъ роса падали: прозрачными, красивыми каплями, которыя

скоро высыхали. Сестрины слезы как ручей текли. Материнскія слезы рѣкой разлились. Приняла въ себя та рѣка и улетучившіяся женнины слезы, и сестрины журчащія ручьи, и потекли все дальше, дальше въ сердце Россіи, въ Москву, гдѣ опять же раздѣлилась на два рукава. Одинъ потекъ къ И. С. Аксакову, другой къ М. Н. Каткову. Но эти слезы не окаменѣли, да и не вышли бы изъ нихъ горы алмазовъ: замутились-ли онѣ по дорогѣ, докатываясь до сердца Россіи, или прямо кровавыми слезами матери плакали, только не было въ волнахъ этой рѣки алмазной прозрачности и безцвѣтности; скорѣе рубиновою она отличалась. Дотекла рѣка къ подножію М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, а тѣ тоже въ женщинъ превратились, и именно въ тѣхъ женщинъ, которыя говорятъ: «не брито, а стрижено»! Облила рѣка слезъ ноги московскихъ вождей, а они говорятъ: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка выше, колѣна обняла а они: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка еще выше, по грудь, по шею и залила наконецъ рты, твердившіе: «стрижено, стрижено»! Тогда московскіе вожди подняли руки и движеніемъ вторыхъ и третьихъ пальцевъ, схожимъ съ движеніемъ стригущихъ ножицъ, мимикой говорили: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка слезъ еще и покрыла вождей до самыхъ концовъ упорныхъ пальцевъ. Потомъ рѣка отхлынула, а вожди такъ и остались въ видѣ монументовъ съ поднятыми руками и стригущими пальцами. И потомки указывали на нихъ своимъ дѣтямъ: вотъ люди, утопнувшіе не то въ собственной утопіи, не то въ рѣкѣ слезъ, ибо они говорили «стрижено, стрижено»!...

Было это? будетъ? или никогда этого не было и не будетъ? Не знаю. Знаю только, что тѣ сказки, которыя Шехерезада рассказывала въ теченіе тысячи и одной ночи, превзойдены нашею современною дѣйствительностью. И г. Страховъ совершенно правъ, говоря: «наша мысль витаетъ въ призрачномъ мірѣ; она не есть настоящая мысль, а только подобіе мысли... Наше историческое движеніе получило какой-то фантастическій видъ. Наши разсужденія не соответствуютъ нашей дѣйствительности; наши желанія не вытекаютъ изъ нашихъ потребностей; наша злоба и любовь устремлены на призраки... Мысли такихъ людей питаются сами собой, независимо отъ всего окружающаго; стремленія ихъ возникаютъ и разгораются безъ настоящихъ нуждъ и потому ничѣмъ удовлетворены быть не могутъ... Мечтательность нашего времени грозитъ превзойти всѣ увлеченія былыхъ временъ».

Слова эти я заимствую изъ предисловія г. Страхова къ недавно вышедшей его книгѣ

«Борьба съ Западомъ». Слова эти не ярко, но всетаки вѣрно характеризуютъ нашу современную жизнь. Только ихъ надо, къ сожалѣнію, понимать совершенно наоборотъ. Тѣхъ многоточій, которыя у меня стоятъ между отдѣльными фразами и предложеніями г. Страхова, въ самомъ предисловіи нѣтъ. Въмѣсто нихъ стоятъ другія фразы и предложенія, показывающія, что г. Страховъ всецѣмъ не настоящимъ дѣломъ занять, а просто переживаетъ старую струну въ смыслѣ «борьбы съ Западомъ». Его проповѣдь обращена не къ настоящимъ фантастамъ, бредящимъ о рацѣ, который свиснулъ, о грузинскихъ знаменахъ, которыя надо продать въ циркъ, о тевтонахъ, которымъ слѣдуетъ дать генеральную битву, о французѣ, который гадитъ, и проч. Нѣтъ, по мнѣнію Страхова, корень фантастичности нашей жизни заключается въ томъ, что «мы—подрожатели, то-есть думаемъ и дѣлаемъ не то, что намъ хочется, а то, что думаютъ и дѣлаютъ другіе; вліяніе Европы постоянно отрываетъ насъ отъ нашей почвы». Сообразно этому г. Страховъ и занимается борьбой съ Западомъ, дабы спасти соотечественниковъ и показать имъ примѣръ оригинальности, самобытности. Будучи, однако, однимъ изъ наименѣе оригинальныхъ русскихъ писателей, пользующихся нѣкоторою извѣстностью, г. Страховъ естественно не являетъ образчиковъ самобытности и, въ самой борьбѣ съ Западомъ, идетъ по тропѣ, давнымъ давно проложенной, но до сихъ поръ никого никуда не приведшей. Книга составлена изъ старыхъ статей г. Страхова, написанныхъ въ разное время. Объ нѣкоторыхъ изъ нихъ у насъ было въ свое время говорено и собственно книги я теперь касаться не намѣренъ, а хочу только отмѣтить манеру борьбы г. Страхова....

Надняхъ мнѣ принесли книгу, завернутую въ № 85 «Московского Листка». Такъ какъ я этой газеты никогда не видывалъ, то и поинтересовался. Нашелъ, между прочимъ, любопытную рубрику «Совѣты и отвѣты». Отдѣлъ этотъ ведется, повидимому, постоянно въ газетѣ и въ немъ редація запросто бесѣдуетъ съ разными честными лицами, не называя ихъ по имени, но сообщая ихъ примѣты. Образчикъ:

«На Тверскую, въ жидовскій домъ. Нѣмцу.

«Предшественникъ вашъ добился популярности, благодаря честному отношенію своему, какъ къ кліентамъ, такъ и къ служащимъ. Вы же, наоборотъ, относитесь къ послѣднимъ возмутительно: ругаете ихъ площадною бранью, кормите плохо, заставляете ихъ работать по 13 часовъ въ сутки и т. д. Если вы, какъ нѣмецъ, можете, не знаете,

что у насъ подобныя вещи нетерпимы, то примите это къ свѣдѣнію».

Я наткнулся на эту бесѣду съ «нѣмцемъ» отнюдь не по словицѣ «на ловца и звѣрь бѣжитъ». Нынѣ вамъ вовсе нѣтъ надобности быть ловцомъ, чтобы на васъ набѣжалъ звѣрь, и гораздо труднѣе самому избѣжать встрѣчи со звѣремъ. Это вообще. А въ частности на предметъ предлагаемой главы записокъ современника нельзя не наткнуться въ той или другой формѣ въ любомъ номерѣ газетъ извѣстнаго пошиба. То спичечныя коробки съ польскими этикетками, то армянскій театръ, то малорусская пѣсня или малорусская рубаха, то грузинскія знамена, то еврейскіе пейсы, то чухонское масло—и всѣ эти предметы даютъ толчекъ патристической мысли въ томъ направленіи, что французъ гадитъ и что мы необыкновенно великодушны. Я остановился на письмѣ, адресованномъ «на Тверскую, въ жидовскій домъ, нѣмцу» единственно потому, что оно, своею наивною и элементарною, очень наглядно рисуетъ приемы нашего патриотизма.

Редакція «Московского Листка», повидимому, серьезно увѣрена, что только нѣмецъ можетъ обращаться съ своими работниками возмутительно, ругать ихъ площадною бранью, плохо кормить, заставлять ихъ работать по 13 часовъ въ сутки и т. п. Нѣмецъ это можетъ, какъ по прирожденной жестокости своей, такъ и потому, что у него тамъ, въ Швабін, законъ бездѣйствуетъ и работниковъ отъ хозяйскихъ безобразій не охраняетъ. У насъ другое дѣло, у насъ «подобныя вещи нетерпимы», и мечъ русской Оемиды, конечно, не замедлитъ поразить нѣмца, живущаго на Тверской въ жидовскомъ домѣ. Читатель, знакомый хотя бы только со статьей г. Абрамова «Изъ фабрично-заводскаго міра» печатающейся въ прошломъ и нынѣшнемъ номерахъ «Отечественныхъ Записокъ» и оставленной на основаніи трудовъ *московскихъ* статистиковъ, естественно долженъ приваду-маться: что же это такое? неужто специально московская газета не знаетъ, что въ Московской губерніи чисто русскіе люди заставляютъ своихъ рабочихъ работать по 16, 18 и 20 даже часовъ въ сутки, держать ихъ впроголодь и т. д.? Какъ видитъ читатель, это, примѣрно, тотъ же самый вопросъ, который я имѣлъ случай предложить недавно: г. Аксаковъ увѣряетъ (бія себя въ грудь, замѣтите), что только съ Петра началась у насъ «рознь» и раздѣленіе «на бѣлыхъ и бѣлыхъ, на барина и мужика»; неужто же г. Аксаковъ, не говоря о прочемъ, не знаетъ, что Иванъ Грозный и Степка Разинъ жили до Петра? Нельзя не знать, а потому ясно, что эти люди живутъ въ какомъ-то фантастическомъ мірѣ, насе-

ленномъ несуществующими образами и совершенно свободномъ отъ образовъ и картинъ существующихъ: «тамъ чудеса, тамъ лѣпшія бродить»... И Богъ бы съ нимъ, съ этимъ міромъ фантазіи, еслибы онъ былъ самъ по себѣ, а живая дѣйствительность сама по себѣ. Но въ томъ-то и бѣда, что эти два міра связались какою-то странною цѣпью и когда въ мірѣ фантазіи свиститъ ракѣ, то въ дѣйствительной жизни на этотъ свистъ сбѣгаются городовые. Это ужъ рѣшительно ни съ чѣмъ несообразно!

Странно, но очевидно возможно жить при такихъ условіяхъ, не замѣчая ихъ чудовищной нелѣпости и полагая, что живешь на настоящей землѣ, дышешь настоящимъ воздухомъ, смотришь на настоящую траву и настоящее небо. Еще страннѣе, однако, что г. Страховъ, натолкнувшись мыслію на фантастическій элементъ русской жизни, замѣтивъ, слѣдовательно, наличность какой-то незаконной связи фантазіи съ дѣйствительностью, валитъ съ большой головой на здоровую. Въмѣсто того, чтобы познать замѣченный имъ туманъ и затѣмъ способствовать его разсѣянію, г. Страховъ своею книгою въ сущности написалъ огромное письмо на Тверскую, въ жидовскій домъ, нѣмцу. Конечно, г. Страховъ не могъ этого сдѣлать съ наивною редакціи «Московского Листка», ибо онъ вкусилъ древа познанія добра и зла. Въ качествѣ образованнаго человѣка, онъ обязанъ признать, что «мы должны уважать Западъ и даже благоговѣть передъ величіемъ его духовныхъ подвиговъ». Въ качествѣ стараго гегельянца, онъ долженъ признать, что первые проповѣдники нашей самобытности, первоначальники славянофильства получили просіяніе своего ума изъ Берлина. И вообще, г. Страховъ далеко не имѣетъ столь легкаго сердца и столь опустошенной головы, какъ большинство нашихъ нынѣшнихъ борцовъ съ Западомъ. Онъ многого не позабылъ, но, къ сожалѣнію, мало чему научился и, должно быть, памятуя гегельянскій тезисъ отождествѣ бытія и небытія, всталъ въ ряды фантастовъ, поражающихъ несуществующее и отрицающихъ существующее. Онъ, напримѣръ, съ полною серьезностію размышляетъ такъ: «Фантастическая бѣда хуже всевозможныхъ дѣйствительныхъ бѣдъ и несчастій. Вообразимъ, въ самомъ дѣлѣ, что Россію постигли какія-нибудь реальные бѣдствія и одолѣваютъ реальные недостатки; голодъ и пожары, война и внутренніе безпорядки, жестокость и безразсудство правителей, невѣжество, пьянство, преступленія, дикіе нравы; развѣ все это еще могло бы быть поводомъ къ отчаянію? Не ясна-ли сущность каждаго изъ этихъ волъ? Эти бѣдствія и недостатки въ той или другой мѣрѣ

неизбѣжны и могутъ приводить насъ въ скорбь, но не въ недоумѣніе; мы тутъ хорошо знаемъ, противъ чего и какъ намъ слѣдуетъ бороться; все зависитъ только отъ нашей стойкости, отъ нашей доброй воли». А вотъ, дескать, подражаніе Европѣ—это нѣчто худшее, чѣмъ всѣ «реальныя бѣдствія», ибо это болѣзнь духа.

Обратите вниманіе прежде всего на истинно болѣзненный скептицизмъ, съ которымъ г. Страховъ относится къ реальнымъ бѣдствіямъ. Ему нужно «вообразить», напрочь воображеніе, чтобы допустить существованіе въ Россіи внутреннихъ безпорядковъ, жестокости, безразсудства, невѣжества, пьянства, дикихъ нравовъ. Кажется, всего этого слышкомъ достаточно, совершенно даже независимо отъ той или иной точки зрѣнія на вещи. Для признанія факта внутреннихъ безпорядковъ и прочаго не надо быть непременно радикаломъ или непременно либераломъ, консерваторомъ. Не надо быть даже оумомъ невѣрнымъ, ибо вотъ онъ изъяс. А г. Страховъ любезно соглашается: «вообразимъ, въ самомъ дѣлѣ!» Ну, хорошо, вообразимъ. А потомъ что? А потомъ оказывается, что «реальныя бѣдствія, реальныя недостатки» суть совершенный вздоръ, почти не стоящій вниманія. Во-первыхъ, они «въ той или другой мѣрѣ» неизбѣжны. Во-вторыхъ, мы отлично знаемъ противъ чего и какъ слѣдуетъ бороться, да и, вообще, никакихъ препятствій для борьбы не предвидится, ибо все дѣло въ нашей доброй волѣ... Какая прелесть! не житье, а масляница! Одного только не понимаю: почему бы г. Страхову, если дѣло стоитъ такъ просто, не указать намъ ясно и точно, какъ намъ раздѣлаться съ этими мизерными реальными бѣдствіями? Положимъ, что это пустяки, мало достойныя высоко парящаго мыслителя, но отчего же, все-таки, мыслителю не спуститься хотя бы на одно мгновеніе на грѣшную землю; спуститься, утеретьъ всѣмъ намъ носъ и потомъ опять отлетѣть въ ту высшую сферу вещей безъ названія и названій безъ вещей, гдѣ ракъ свиститъ, гдѣ лѣшій бродитъ и только одинъ французъ гадитъ? Весьма можетъ быть, что мы остались бы на землѣ и только съ благодарностью и утертыми носами любовались бы на вознесеніе г. Страхова, а можетъ быть и сами полетѣли бы за нимъ на крыльяхъ радости. Теперь же намъ, непросвѣтленнымъ, остается только вздыхать и стонать: когда эта бессмыслица кончится?! Бессмыслица и безстыдство. Это послѣднее я говорю не лично о г. Страховѣ, для котораго бытіе и небытіе, существующее и несуществующее смѣшиваются въ нѣкоторомъ философскомъ туманѣ, а не въ пройдохескихъ, практическихъ попопозновеніяхъ

замутить воду, дабы удобнѣе было было ловить въ ней и шукъ, карасей поймающихъ, и карасей, шуками поймаемыхъ. Г. Страховъ, я увѣренъ, съ чистымъ сердцемъ пишетъ: «Теперь уже всякій мыслящій и пишущій человекъ въ Россіи обязанъ (курсивъ г. Страхова) стать въ известное отношеніе къ этой реакціи (противъ «западнаго просвѣщенія въ цѣломъ»), обязанъ объявить себя западникомъ или славянофиломъ, то есть признать законность вопроса о самобытности и, слѣдовательно, въ сущности объявить себя за самобытность» («Борьба съ Западомъ», стр. 93). Г. Страховъ говоритъ съ чистымъ сердцемъ, но говоритъ пустяки. Пустяки сами по себѣ невинныя и развѣ только утомительныя, ибо плетутся они много лѣтъ, а все никакой самобытности изъ нихъ не проистекаетъ. Но люди, имѣющіе практическій интересъ во введеніи фантастическаго элемента въ русскую жизнь, обращаютъ эти самые невинныя и только утомительныя пустяки въ поприще истиннаго безстыдства.

Не будемъ говорить о старыхъ временахъ, о прошломъ славянофильства и западничества. Я утверждаю, что, во всякомъ случаѣ, теперь ихъ нѣтъ, что это тѣни, жилицы страны небытія, и если г. Страховъ настаиваетъ на ихъ не только наличности, а даже обязательности, то это единственно потому, что онъ, вообще, видитъ невидимое и невидитъ видимое. Есть, правда, люди, съ большимъ азартомъ толкующіе о самобытности и провозглашающіе борьбу съ Западомъ, но это «слова, слова, слова». Мало того. Въ виду нашей исторической молодости, сами западные люди обращаются къ намъ иногда съ совѣтами идти путемъ самобытности и даже возлагаютъ на насъ въ этомъ смыслѣ большія надежды. Но, именно, наши борцы съ Западомъ и представители «національной» политики и самобытности рѣшительно обрубаютъ всѣ подобныя надежды. Примѣры:

Разсуждая о разныхъ недоумѣніяхъ, вызванныхъ гипнотическими явленіями даже между врачами, вѣнскій профессоръ Бенедиктъ указываетъ, какъ на одну изъ причинъ этихъ недоумѣній, на классическое образованіе. «Въ дѣйствительности,—говоритъ онъ:—хотя съ «аттестатомъ зрѣлости», но незрѣлымъ приступаетъ врачъ къ своимъ занятіямъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не будетъ въ корнѣ уничтожена легенда классическаго воспитанія. Послѣднее есть «умотвенная клюка», но такая, которая мѣшаетъ намъ правильно ходить. Я сомнѣваюсь, чтобы этотъ переворотъ вышелъ изъ среды старыхъ культурныхъ народовъ Запада. Преданіе есть сильное оружіе, но въ то же время крѣпкая око-

вы. Когда болѣе молодые культурныя націи, сѣверо-американская и русская освободятся отъ естественнаго честолюбія идти наравнѣ съ болѣе старыми, когда ихъ здравый смыслъ, не слишкомъ связанный преданіями, одержитъ верхъ, тогда произойдетъ эта реформа» («Каталепсія и месмеризмъ», стр. 38). Ну, вотъ, значитъ, представитель гнилого Запада говорить намъ: пожалуйста, поборитесь съ Западомъ, пожалуйста, будьте самобытны; и вамъ хорошо будетъ, да и мы «ex oriente lux» получимъ. Но наши самобытники и націоналы говорятъ: «стрижено, стрижено!» и упорно плетутся въ хвостъ гнилого Запада и распинаятъ дѣтей нашихъ на крестѣ классицизма, дабы они, пригвожденные, наилучше проникались самобытностью... Греція и Рима!

А г. Страховъ увѣряетъ, что «теперь уже всякій мыслящій и пишущій человекъ въ Россіи обязанъ... объявить себя западникомъ или славянофиломъ, то-есть признать законность вопроса о самобытности и, слѣдовательно, въ сущности объявить себя за самобытность»... Г. Страховъ! убѣдите въ этомъ гг. Каткова, Аксакова и иныхъ прочихъ. Пожалуйста! честь и мѣсто...

Другой примѣръ. Лавеле въ своей извѣстной книгѣ о «первобытной собственности» обращается къ исторически юнымъ обществамъ съ горячимъ призывомъ къ самобытности въ дѣлѣ землевладѣнія. Онъ убѣждаетъ ихъ «не усваивать себѣ того узкаго, суроваго права, которое мы (то-есть старая Европа) заимствовали изъ Рима и которое можетъ (?) привести насъ къ экономической борьбѣ». Опять-таки, значитъ, представитель гнилого Запада рекомендуетъ намъ не подражать Европѣ и идти своимъ собственнымъ путемъ. А наши самобытники и націоналы опять-таки говорятъ: «стрижено, стрижено». Ни объ чемъ они такъ не хлопчутъ, какъ объ томъ, чтобы ввести у насъ «узкое, суровое» римское право собственности и, какъ вѣнецъ его, европейскую культуру. Г. Катковъ дѣлаетъ это съ откровенностью человека, ничѣмъ, кромѣ своего «ндрава», не связаннаго, а г. Аксаковъ съ лицемѣріемъ человека, связаннаго славянофильскими преданіями. Онъ такъ много болталъ объ общинномъ, началъ, искони отличавшемъ могучій духъ русскаго народа отъ духа народовъ европейскіхъ, и гарантирующемъ Россію отъ пролетаріата и другихъ золъ Запада; такъ много болталъ, что и доселѣ привычныя уста трубятъ: община, община, община. Но что въ дѣлѣ разумнѣя отечественныхъ аграрныхъ порядковъ г. Аксаковъ есть чистокровный западникъ, въ этомъ, конечно, теперь уже никто не сомнѣвается. А еслибы кто усомнился, тому рекомендую

перечитать послѣднее письмо А. Н. Энгельгардта «Изъ деревни» («Отечественныя Записки», № 2).

Такимъ образомъ, человекъ, обязанный объявить себя за самобытность, есть чистый фантомъ. Много есть людей, играющихъ на этомъ и другихъ подобныхъ словахъ, какъ на струнахъ балалайки. Но, какова бы ни была сама по себѣ эта балалаечная мелодія, а не всякій, говорящій: «Господи! Господи!» увидитъ въ царствіе Божіе. На словахъ у насъ самобытностью хоть прудъ пруди, а на дѣлѣ она сводится къ заимствованію изъ Европы, именно, того, что тамъ есть гниющаго и отъ чего сама Европа не знаетъ какъ отдѣлаться. Но г. Страховъ видитъ самобытность и, съ твердостью простирая палецъ въ пустое пространство, говоритъ: вотъ она! Въ тоже время, когда ему говорить о «реальныхъ бѣдствіяхъ», онъ съ недоумѣніемъ спрашиваетъ: да гдѣ же они? но, пожалуй, вообразимъ и т. д. Это, поистинѣ, удивительно. Но еще удивительнѣе то, что пріемы мышленія г. Страхова и его отношеніе къ вещамъ по сю и по ту сторону бытія отнюдь не могутъ быть поставлены ему лично на счетъ. Онъ, положимъ, издревле привыкъ въ туманахъ носиться, свободно отъ персти земной. Но возьмите какой-нибудь «Московский Листокъ», весь, вѣроятно, погруженный въ земную персть, и тотъ, имѣя передъ глазами образцы величайшей терпимости властей по отношенію къ безобразному обращенію съ рабочими, пресерьезно пугаетъ нѣмца на Тверской въ жидовскомъ домѣ: смотри, нѣмецъ! у насъ такіе порядки нетерпимы! Г. Катковъ швыряетъ камнемъ въ мимоходящаго и затѣмъ гордо спрашиваетъ: ты что же, такой-сякой, не благодарить за кусокъ хлѣба, который я тебѣ подаль? А зритель, видѣсто того, чтобы изумиться такому фантастическому поведенію московскаго папы, только вздыхаетъ: все французъ гадить! Г. Аксаковъ, развертывая русскую исторію на страницахъ, въ конкхъ повѣтствуетъ о царствованіи Ивана Грознаго и о бунтѣ Стеньки Разина, говоритъ: вы видите, что въ до-петровской Руси никакой розни не было, и мужикъ не билъ барина, потому что и баринъ не билъ мужика!—Все это только отдѣльные маленькіе эпизоды изъ огромной траги-комедіи, которая грозитъ разстануться больше, чѣмъ на тысячу и одну ночь...

И такъ какъ мы окружены со всѣхъ сторонъ удивительнымъ, имъ дышемъ, имъ питаемся, то нѣтъ уже ровно ничего удивительнаго въ томъ, что у насъ процвѣтаетъ спиритизмъ. Говорятъ, что когда фокусникъ Казаневъ объявилъ себя анти-спиритомъ и общалъ показатъ и показалъ спиритическія

явленія при помощи обыкновенных фокуснических приёмовъ, наши вожди спиритизма заподозрили его въ совершенно необыкновенномъ шарлатанствѣ, въ шарлатанствѣ на выворотъ. Они объявили, что Казеневъ въ сущности очень сильный медиумъ и представленія его суть дѣйствительные спиритические акты, а только онъ, ради выгоды, выдаётъ ихъ за обыкновенные фокусы, достигаемые проворствомъ, ловкостью, механическими приспособленіями и другими «реальными» средствами. Во всѣ времена бывали фокусники, выдававшие себя за чудотворцевъ, и иногда имъ удавалось одурачить толпу, заставить ее повѣрить, что они въ самомъ дѣлѣ чудотворцы. А у насъ теперь, видите-ли, «Волга-матушка вспять побѣжала», и всѣ дѣла приняли теченіе наоборотъ. Человѣкъ самъ говорить: я, господа, фокусникъ и, пожалуй, даже готовъ вамъ рассказать, какими простыми средствами мои фокусы устраиваются. А мы ему на это возражаемъ: врешь! насъ не проведешь! сошьмъ ты не фокусникъ, а настоящий чудотворецъ!

Не знаю, правду-ли рассказываютъ объ этой необычайно тонкой прозорливости вождей нашего спиритизма, но по итальянской поговоркѣ, это «если не вѣрно, то хорошо придумано». Очень хорошо и характерно для людей, которые готовы повѣрить всему невѣроятному, а ко всему достоверному, «реальному» относятся со скептицизмомъ мудраго Мудрова въ «Тяжелыхъ дняхъ» Островскаго: «Я читаю, а самъ не вѣрю тому, что написано; какіе бы мнѣ документы ни приводили, я не вѣрю; хоть будь тамъ написано, что дважды два четыре, я не вѣрю, потому что я твердъ умомъ».

Да, «Тяжелые дни» и тяжелыя ночи...

Ночь за ночью и опять ночь и опять... Это ужасно! Надо же жить, наконецъ, а не сказки рассказывать и тѣмъ болѣе не въ сказкѣ участвовать. И чѣмъ все это кончится?

Чѣмъ! Можетъ быть, именно тѣмъ, что рѣка материнскихъ слезъ зальетъ рты, говорящія: «стрижено, стрижено». А, можетъ быть, всѣ мы, усталые отъ этой жизни, въ которой нѣтъ мѣста удовлетворенію настоящихъ, подлинныхъ потребностей, бросимся, очертя голову, въ омутъ искусственныхъ возбужденій, плюнемъ на все «реальное» и обоготворимъ все фантастическое, восплещемъ вокругъ гробовъ, въ которые уложимъ живыхъ людей, и осыплемъ поцѣлуями мертвецовъ...

Но можетъ приключиться и иной, болѣе веселый конецъ. Представьте себѣ сцену въ погребкѣ Ауэрбаха. По магическому слову Мефистофеля:

Умъ, смутися по словамъ!
Ложный видъ предстанетъ очамъ,
Будьте здѣсь и будьте тамъ!—

по этому магическому слову гг. Катковъ, Аксаковъ и всѣ прочіе фантасты хватаютъ другъ друга за носы, воображая, что это кисти превосходнаго винограда, и уже собираются сорвать вкусный плодъ, какъ сжалившійся Мефистофель разбиваетъ очарованіе словами: «Спади съ очей повязка заблужденія, и помните, какъ дьяволъ подпугилъ!» Тогда даже Зибель, не оперный Зибель, который поетъ «Расскажите вы ей», а настоящий—старая бочка—какъ его называетъ Мефистофель, даже Зибель уразумѣваетъ: Betrug war Alles, Lug und Schein—обманъ все было, ложь и тѣнь!..

Кстати о погребкѣ Ауэрбаха. «Пить или не пить? вотъ въ чемъ вопросъ! Что благороднѣе?» Свѣдущіе люди, вѣроятно, знаютъ, что благороднѣе, но несвѣдущіе не знаютъ; фантасты презираютъ, какъ и все «реальное», но люди дѣйствительности не могутъ презирать, ибо съ нихъ за это взыскиваютъ и притомъ весьма ощутительнымъ образомъ. Факты: «Пока свѣдущіе люди и высшія государственныя учрежденія вырабатываютъ мѣропріятія противъ пьянства, полиція города Кадникова, по словамъ газеты «Русскій Курьеръ», уже примѣняетъ на дѣлѣ свои способы сокращенія пьянства. Незавѣстно, какъ обставлено дѣло съ формальной стороны, только крестьяне говорятъ, что всякаго, попавшагося въ полицію въ пьяномъ состояніи, отправляютъ въ волостное правленіе и тамъ съкутъ. Высѣчено уже не мало народу, и всѣ крестьяне, какъ пьющіе, такъ и непьющіе, сильно возмущены. «За наши же денежки да насъ же съкутъ!» говорятъ они. Одинъ крестьянинъ деревни Большой Мурги предлагалъ 100 р. взаменъ тѣлеснаго наказанія, но всетаки былъ высѣченъ. Городовые города Кадникова отличаются на свой ладъ—они обшариваютъ у пьяныхъ карманы и присваиваютъ себѣ найденныя деньги. Множество очевидцевъ рассказываютъ подобныя исторіи и ничего—дѣло сходитъ съ рукъ». («Голосъ», № 94).

И такъ ясно: пьянство порокъ, а порокъ долженъ быть наказанъ. Выводъ, ничего не оставляющій желать въ отношеніи опредѣлительности, и г. Страховъ, очевидно, правъ, говоря, что въ дѣлѣ реальныхъ бѣдствій все ясно, все зависитъ отъ нашей доброй воли, особенно если она вспомоществуется просвѣщенной полиціей... Да, въ Кадниковѣ, дѣйствительно, такъ. А вотъ въ Бржезанскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи не такъ. По крайней мѣрѣ, оттуда пишутъ въ одну варшавскую газету слѣдующее:

„Въ то время, какъ почти во всемъ нашемъ

краѣ, не только въ мѣстечкахъ и селахъ, но даже и въ деревняхъ мѣстные жители съ давнихъ поръ стараются заводить у себя такъ называемые „крестьянскіе клубы“ или чайныя, и когда такія учрежденія во многихъ мѣстностяхъ начинаютъ уже приносить видимые добрые результаты для темнаго люда, какъ бы затѣвая или уничтожая собою корчмы и кабаки—разсадники всякаго зла, безобразія и растлѣнія нравовъ, у насъ, въ нашей губерніи, и преимущественно въ нашемъ уѣздѣ до сихъ поръ не открыто еще ни одного крестьянскаго клуба. Люди, не посвященные въ тайны отсутствія у насъ до сего времени крестьянскихъ клубовъ и деревенскихъ чайныхъ, пожалуй, по незнанію дѣла, могутъ приписать причины такого страннаго явленія въ нашей только мѣстности тому обстоятельству, что наше духовенство и земскіе обыватели не только не заботятся объ открытіи у насъ крестьянскихъ клубовъ, но еще противодействуютъ, съ своей стороны, ихъ открытію. Для выясненія этого дѣла спѣшимъ заявить путемъ печати, во всеобщее свѣдѣніе, что, напротивъ, не смотря на усиленные старанія нашего духовенства и особенно нашихъ лучшихъ земскихъ дѣателей, открыты у насъ чайныя вмѣсто кабаковъ, подобныя учрежденія ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ у насъ быть открыты и поэтому не могутъ существовать, по той простой и естественной причинѣ, что еще въ январѣ войты гминь нашего уѣзда отъ своихъ властей получили, какъ мы узнали, секретныя циркулярныя распоряженія, въ силу которыхъ открытіе въ нашей мѣстности крестьянскихъ клубовъ, а равно трактировъ на такихъ же самыхъ основаніяхъ, на какихъ существуютъ крестьянскіе клубы, т. е. безъ продажи и употребленія въ нихъ горячихъ напитковъ строго воспрещается. Такое циркулярное распоряженіе уѣздныхъ властей мотивировано тѣмъ, что крестьянскіе клубы и имъ подобныя заведенія, не производя торговли спиртными напитками и пріучая населеніе къ воздержанію, влияют на уменьшеніе доходовъ государства, что признается вреднымъ“.

И такъ, пить или не пить? что благороднѣй: утонуть въ морѣ личной добродѣтели, куда обывателей приглашаетъ и даже, можно сказать, «честью просить» кадникова полиція? или, напротивъ, принести себя въ жертву на алтарь отечества и способствовать «увеличенію доходовъ государства», какъ того требуетъ петроковская администрація? Для обыкновеннаго обывателя возможно, кажется, одинъ отвѣтъ: будь добродѣтелемъ въ Кадниковѣ, способствуя увеличенію доходовъ государства въ Петроковѣ, но и въ Кадниковѣ и въ Петроковѣ помни, что все французъ гадить, а сами мы чище снѣга альпійскихъ вершинъ...

XIV.

Смерть Дарвина *).

7-го апрѣля умеръ Дарвинъ.

Біографія этого человѣка не богата событіями. Говорятъ, что когда нѣсколько лѣтъ

тому назадъ одинъ изъ издателей его сочиненій обратился къ нему за автобіографическими свѣдѣніями, то Дарвинъ отвѣтилъ слѣдующее: «Меня зовутъ Чарльсъ Дарвинъ. Я родился въ 1809 году. Я учился, потомъ совершилъ путешествіе вокругъ свѣта. Съ тѣхъ поръ я не перестаю заниматься. Вотъ вся моя жизнь». И въ самомъ дѣлѣ, къ этимъ строкамъ остается прибавить лишь очень немногое, чтобы внѣшняя сторона жизни знаменитаго покойника была исчерпана вполне. Учился Дарвинъ сначала въ эдинбургскомъ, потомъ въ кембриджскомъ университетѣ; учился отнюдь не блистательно и даже не старательно. Въ кругосвѣтномъ путешествіи пробылъ съ 1831 по 1835 годъ; въ 1839 году женился на своей двоюродной сестрѣ, отъ которой прижилъ семь человѣкъ дѣтей. Въ 1842 году поселился въ деревушкѣ Даунъ, гдѣ и прожилъ безвыѣздно въ теченіи сорока лѣтъ, до самой своей смерти. Похороненъ 26-го апрѣля 1882 г. въ Вестминстерскомъ аббатствѣ рядомъ съ Ньютономъ. Вотъ и все. Но изъ скромной деревушки Даунъ, въ теченіе безъ малаго четверти вѣка, распространялось по всему научному міру волненіе, центромъ котораго были идеи этого человѣка; и не только по научному міру, потому что едва ли найдется въ исторіи науки много именъ, которыя пользовались бы такою обширною популярностью, какъ имя Чарльса Дарвина. Положимъ, что такъ называемая «большая публика» многое понимала вкривъ и вкосъ и черезъ два въ третій. Но, во всякомъ случаѣ, даже легкомысленнѣйшіе изъ современниковъ должны были говорить, писать и, можетъ быть, даже немножко думать о сѣдобородомъ даунскомъ отшельникѣ съ крутымъ лбомъ и густыми нависшими бровями. Одинъ его портретъ видѣлъ въ альбомѣ и слышалъ по этому поводу нѣчто о происхожденіи человѣка отъ обезьяны; другой наткнулся на газетную болтовню о тѣсной связи русскаго «динамита» съ идеями Дарвина; третій чрезвычайно заинтересовался «половыми подборомъ», полагая, что это нѣчто въ родѣ новѣйшихъ произведеній Эмиля Золя, и т. д., и т. д. Это—легкомысленнѣйшіе, тѣ мужскаго и женскаго пола бабочки, которые порхаютъ по жизненному полю, «не предвидя отъ сего никакихъ послѣдствій», да ни въ какихъ послѣдствіяхъ и не нуждаясь. Что же касается людей, мало-мальски серьезно интересующихся теченіемъ научной мысли, то они тѣмъ паче не могли и не могутъ обойти идеи Дарвина, что не найдется, кажется, ни одной отрасли знанія, куда такъ называемый дарвинизмъ не вторгся бы болѣе или менѣе властно. Астрономія и филологія, химія и исторія, не говоря, разумеется,

*) 1882 г., май.

обо всѣхъ отрасляхъ биологіи, испытывали на себѣ толчки изъ деревушки Даунъ, что въ графствѣ Кентъ. Мы знаемъ размышленія о борьбѣ за существованіе и естественномъ подборѣ между языками и ихъ элементами (Фарраръ, Макъ Мюллеръ), между планетами (Дю-Прель), между химическими элементами (Пфаундлеръ), между составными частями организма (Ру) и проч., и проч. Наконецъ, дарвинизмъ очень быстро проникъ и въ область житейскихъ вопросовъ, гдѣ породилъ громадную литературу отъ толстѣйшихъ томовъ до летучихъ брошюръ и газетныхъ статей.

Удобнымъ переходомъ отъ скудости внѣшней судьбы ученаго къ этой небывалой популярности его идей, можетъ служить исторія сочиненій Дарвина.

Какъ видно изъ разныхъ отрывочныхъ свѣдѣній о его жизни, Дарвинъ былъ до своего путешествія на корабль «Бигль» страстнымъ коллекционеромъ: онъ собиралъ минералы, бабочекъ, жуковъ, чучела животныхъ и т. п., и именно въ качествѣ опытнаго коллекционера и поступилъ на «Бигль». Собственно же научными знаніями обладалъ крайне скудными, въ чемъ самъ признавался. Знаній онъ сталъ впервые набираться во время путешествія, все продолжая удовлетворять своей коллекторской страсти, и затѣмъ уже не усталъ набираться ихъ до конца дней своихъ. Занятія на кораблѣ «Бигль» шли сначала безъ всякаго плана. Отнюдь не помышляя о предстоящей ему роли реформатора науки, Дарвинъ наблюдалъ, записывалъ, рисовалъ, собиралъ, сопоставлялъ, сравнивалъ все мелкое и крупное, что ему попадалось на глаза. Когда собственно сложилось то, что мы теперь называемъ дарвинизмомъ, сказать невозможно, вѣрно только, что гораздо раньше появленія въ свѣтъ знаменитой книги «О происхожденіи видовъ», съ которой дарвинизмъ ведетъ свое официальное лѣтосчисленіе. Само появленіе книги въ 1859 году произошло, какъ извѣстно, совершенно случайно. Будучи со времени путешествія человекомъ не только болѣзненнымъ, а и прямо больнымъ, Дарвинъ, тѣмъ не менѣе, не торопился дѣлиться съ публикой своими наблюденіями и выводами. Его теорія рисковала такимъ образомъ остаться подъ спудомъ, но тутъ подоспѣла знаменитая статья Альфреда Уоллеса «О стремленіи разнообразностей безгранично уклоняться отъ первоначальнаго типа». Тогда только Дарвинъ рѣшилъ напечатать сначала отрывокъ изъ книги «О происхожденіи видовъ», а въ слѣдующемъ году и самую книгу. Съ тѣхъ поръ шли одинъ за другимъ цѣлый рядъ изслѣдованій объ опыленіи цвѣтковъ при посредствѣ насѣкомыхъ,

о половыхъ отношеніяхъ въ растительномъ мірѣ, книги «О прирученныхъ животныхъ и воздѣланныхъ растеній», «О происхожденіи человѣческаго рода и половомъ подборѣ», «О выраженіи ощущеній» и, наконецъ, въ самое послѣднее время о насѣкомоядныхъ растеній, о движеніи растеній, объ образованіи чернозема. Всѣ эти послѣдующія произведенія Дарвина не могли уже, разумѣется, производить такого шума, какъ книга о происхожденіи видовъ, потому что только дополняли, разрабатывали, прилагали къ различнымъ частностямъ то общее ученіе, которое было уже тамъ изложено. Однако, нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, теорія пангенезиса, теорія полового подбора вызвали не мало волненій, ожесточенныхъ споровъ между приверженцами и противниками. Притомъ же, всѣ они, касаясь иногда совершенно неинтересныхъ для «большой публики», да и учеными людьми до толѣ не замѣченныхъ частностей, обращались подъ перомъ Дарвина въ чрезвычайно поучительные и общепринятые трактаты, благодаря двумъ его рѣзко выдающимся способностямъ: наблюдательности, не брезгающей никакой мелочью, на которую никто не обращаетъ вниманія, и воображенію, не останавливающемуся передъ изображеніемъ самыхъ подробныхъ картинъ фактически неизвѣстнаго прошедшаго и будущаго. Эти драгоцѣнные умственные качества вообще встрѣчаются не часто, а тѣмъ паче въ одномъ лицѣ и въ такихъ размѣрахъ, какъ въ Дарвинѣ. Чаше другихъ ими въ совокупности обладаютъ поэты. Но значительная часть работы поэта происходитъ въ той психической кладовой, которая называется областью безсознательнаго: заложенные тамъ элементы картинъ и образовъ, творческій процессъ вызываетъ наружу вдругъ, нѣкоторымъ образомъ по шучьему велѣнію. Поэты и беллетристы, мѣряющіе, сколько аршинъ въ комнату, которую они хотятъ изобразить, запоминающіе цвѣтъ обоевъ и т. п. большею частью очень посредственные художники. Настоящіе же поэты хватаютъ подобныя мелочи на лету или, лучше сказать, даже не хватаютъ, а совершенно безсознательно воспринимаютъ. Не такова творческая работа ученаго такого типа, какъ Дарвинъ. Весьма вѣроятно, что грандіознѣйшія изъ нарисованныхъ имъ картинъ прошедшаго и будущаго мелькали передъ нимъ очень давно, но для окончательнаго ихъ воспроизведенія понадобилось въ теченіе десятковъ лѣтъ мѣрять, взвѣшивать, считать. Тѣмъ не менѣе, при суммированіи этихъ мелкихъ отмытокъ и наблюденій обнаруживается такая сила творчества, такая даже у первоклассныхъ поэтовъ встрѣчается рѣдко.

Такъ работалъ Дарвинъ и достойно величайшаго вниманія, что такъ же работаетъ, съ точки зрѣнія дарвинизма, вся природа. Я не буду, разумѣется, утомлять читателя изложеніемъ теорій Дарвина, тысячу разъ изложенныхъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ. Но, собственно, для подтвержденія сходства между творческимъ процессомъ природы, какъ его понималъ Дарвинъ, и процессомъ его собственной умственной работы, остановимся на одну минуту на работѣ изъ произведеній Дарвина; напримѣръ, на послѣднемъ его изслѣдованіи, оконченномъ всего за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти и всетаки, значить, представляющемъ нѣкоторую новизну.

Дѣло идетъ объ земляномъ червѣ, объ этомъ несчастномъ, безпомощномъ существѣ, названіе котораго стало метафорой для выраженія презрѣнія. Дарвинъ облюбовалъ его; облюбовалъ сначала, конечно, также случайно, также безъ заглядыванія въ будущее, какъ въ молодости случайно собиралъ всякаго рода коллекци. Но, разъ остановивъ свое вниманіе на земляномъ червѣ, Дарвинъ принялся за него вплотную: подвергъ червя цѣлому ряду опытовъ и наблюденій, изслѣдовалъ его привычки, склонности, его «умъ». О мелочности и подробности всѣхъ этихъ изслѣдованій можетъ дать понятіе слѣдующій примѣръ. Земляные черви таскаютъ въ свои норы разные мелкіе предметы и таскаютъ съ большою ловкостью и расчетомъ. Такъ, напримѣръ, листья растенія они схватываютъ всегда за острый конецъ, чтобы легче было проташить въ нору. И вотъ Дарвинъ приводитъ таблицу своихъ наблюденій, въ которой резюмирована, нѣкоторымъ образомъ, статистика поведенія червей: изъ такого-то числа случаевъ столько-то разъ червь тащилъ въ нору листья такого-то растенія вершиною вперед и столько-то разъ основаніемъ. Одинъ изъ главныхъ результатовъ этого копотливаго изслѣдованія состоитъ въ слѣдующемъ. Земляные черви всеядны и при случаѣ питаются даже просто землей, если она содержитъ органическіе остатки. Но, кромѣ того, червь ѣстъ землю еще съ одною совершенно специальною цѣлю. Если ему приходится дѣлать себѣ нору въ почвѣ, настолько твердой, что у него не хватаетъ силы для проложенія себѣ пути, то онъ глотаетъ землю, пропускаетъ ее сквозь весь свой кишечный каналъ и выпускаетъ изъ другого конца въ видѣ тонкихъ нитей. Такимъ образомъ, подвигаясь въ глубь почвы, червь, именно своимъ оригинальнымъ способомъ передвиженія, образуетъ разрыхленную, какъ бы удобренную землю, черноземъ. Вотъ тщательное, основательное, любопытное наблю-

деніе, которое, однако, не будучи оплодотворено другими силами человѣческаго ума и, главнымъ образомъ, воображеніемъ, можетъ показаться практически совершенно неважнымъ. Червь такъ ничтоженъ; что же можетъ выйти крупнаго, замѣчательнаго изъ курьезной работы, которую онъ задаетъ своему кишечнику въ видахъ улучшенія своихъ путей сообщенія? Но тутъ передъ мыслью великаго натуралиста начинается мелькать картина миллионныхъ земляныхъ червей, постоянно занятыхъ выработкою чернозема. Онъ вновь принимается за наблюденія и вычисленія и приходитъ, наконецъ, къ тому результату, что во многихъ мѣстностяхъ Англіи, на каждомъ акрѣ земли слишкомъ десять тоннъ или болѣе шестисотъ пудовъ пропускается ежегодно сквозь тѣло земляныхъ червей; вся эта масса выбрасывается на поверхность и, такимъ образомъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ весь верхній слой земли оказывается продуктомъ мелкой, невидной работы червей. Понятны тѣ важные выводы, которые проистекаютъ отсюда по отношенію къ растительному міру и къ хозяйственной дѣятельности человѣка. Въ концѣ концовъ, Дарвинъ выражаетъ сомнѣніе, чтобы какія-нибудь другія животныя играли такую важную роль въ исторіи земли, какъ эти презрѣнные черви.

Вы видите, что между работой презрѣннаго червя и работой великаго Дарвина существуетъ полная аналогія. Человѣкъ, лишенный научнаго упорства и блестящихъ умственныхъ способностей Дарвина, будучи даже специалистомъ, также пройдетъ мимо работы червя, какъ и мимо мелочныхъ наблюденій натуралиста. А между тѣмъ и тамъ, и тутъ мы имѣемъ длинный рядъ мелочей, незамѣтныхъ и неважныхъ въ отдѣльности, но въ суммѣ дающихъ результаты огромной и совершенно неожиданной важности. И такъ во всѣхъ теоріяхъ и изслѣдованіяхъ Дарвина. Если Дарвинъ правъ въ самомъ міроразумѣніи, то можно сказать, что онъ работалъ въ унисонъ съ природой; если не правъ, то онъ рисовалъ процессъ природы въ процесса своей собственной мысли. Въ самомъ дѣлѣ, главная и наиболѣе общая мысль всѣхъ безъ исключенія работъ Дарвина состояла въ томъ, что результаты, поражающіе своею грандіозностью, достигаются безконечною цѣлью безконечно малыхъ измѣненій или переходовъ. Такъ человекъ со всею мощью своего разума, со всею страстною жаждой идеала, со всею упорной волей, противопоставляемой имъ цѣлому міру, производилъ отъ нѣкотораго низменнаго существа путемъ многовѣковаго процесса измѣненій, въ отдѣльности совер-

шенно ничтожныхъ. При этомъ природа отнюдь не преслѣдовала какого-нибудь плана, какой-нибудь опредѣленной цѣли. Нѣтъ, изъ всего громаднаго количества измѣненій, случайно прокидывающихся испоконъ вѣка, одни сохраняются, другія исчезаютъ, смотря по тому, какія изъ нихъ при данныхъ условіяхъ могутъ выжить и какія не могутъ. Не такова-ли же работа самого Дарвина? Какъ природа творитъ безконечно разнообразныя явленія, не помышляя объ ихъ дальнѣйшей судьбѣ и предоставляя ихъ взаимному тренію, такъ и Дарвинъ съ ранней молодости сдѣлалъ множество наблюденій, проглотилъ множество фактовъ безъ всякаго предварительнаго плана. Медленно, шагъ за шагомъ, въ теченіи десятковъ лѣтъ складывались эти наблюденія, прилегая одно къ другому, и въ результатъ дали то грандіозное явленіе, которое называется теоріей Дарвина. Въ довершеніе сходства, толчкомъ, побудившимъ Дарвина, наконецъ, издать свой трудъ, было соперничество, конкуренція съ Альфредомъ Уоллесомъ, то - есть то самое начало борьбы за существованіе, которое, по теоріи Дарвина, составляетъ творческій элементъ жизни; творческій и прогрессирующий, ибо въ борьбѣ за существованіе побѣждаютъ лучшіе, наилучше вооруженные. Такъ и оказалось на судьбѣ Дарвина: онъ побѣдилъ Уоллеса, потому что былъ лучше вооруженъ огромнымъ запасомъ фактовъ и необыкновенною силою воображенія; не того скачущаго, неровнаго воображенія, которое, забѣгая впередъ фактовъ, даритъ иногда людямъ счастье, но иногда и несчастье, а того, которое является какъ разъ во-время, чтобы вытянуть линію фактовъ въ непрерывную перспективу впередъ и назадъ, въ прошедшее и будущее...

Нельзя, конечно, утверждать, что Дарвинъ былъ совершенно чуждъ скачковъ воображенія. Онъ, напримѣръ, серьезно говоритъ: «Въ Сѣверной Америкѣ, по наблюденіямъ Гирна, черный медвѣдь иногда цѣлыми часами плаваетъ съ широко раскрытою пастью, ловя наѣкомыхъ, какъ китъ. Даже въ такомъ исключительномъ случаѣ, я не вижу ничего невозможнаго въ томъ, что еслибы наѣкомыхъ было постоянно вдоволь и еслибы въ той же странѣ не находилось уже лучше приспособленныхъ сонскателей, отдѣльная природа медвѣдей могла бы сдѣлаться, черезъ естественный подборъ, все болѣе и болѣе водною, ихъ пасть все болѣе и болѣе увеличиваться, пока не сложилось бы существо, такое же уродливое, какъ китъ». Это мѣсто, сохранившееся въ рускомъ переводѣ книги «О происхожденіи видовъ», было вынуждено въ послѣдующихъ изданіяхъ оригинала самимъ Дарвиномъ.

Можно бы было, пожалуй, найти еще нѣсколько такихъ курьезныхъ скачковъ фантазіи, но не имъ надо удивляться, а, напротивъ, тому, что ихъ такъ мало (у самого Дарвина, разумѣется, а не у его послѣдователей), когда поле фантазіи было такъ безгранично раздвинуто самою идеею измѣнчивости видовъ. И вотъ почему объ Дарвинѣ едва-ли можно сказать, что онъ будилъ мысль современниковъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ ее не будилъ, а придавливалъ. Старовѣры завопили на свою вѣчную тему о ниспроверженіи авторитетовъ и кумировъ, французская академія наукъ забаллотировала Дарвина большинствомъ голосовъ, но не здѣсь, конечно, надо искать разбуженной мысли. Многочисленные же сторонники, которыхъ Дарвинъ моментально приобрѣлъ между учеными людьми и профанами, въ большинствѣ случаевъ, или были совершенно ослѣплены колоссальною эрудиціей, сопровождавшею теорію, и тою крупною, но солидною ролью, которую играло въ ней воображеніе; или же принялись развивать и дополнять теорію въ частностяхъ и прилагать ее къ такимъ фактамъ и отраслямъ знанія, которыхъ учитель не имѣлъ въ виду. Возбужденіе было велико, но оно было, такъ сказать, прямолинейное, хотя никто не станеть отрицать, что возбужденіе это дало много въ высшей степени важныхъ плодовъ. Были, конечно, и исключенія, то-есть люди, дѣйствительно, разбуженные, способные отнестись съ благодарностью, но и съ критикой къ разбудившему ихъ толчку. Эти люди, безъ сомнѣнія, имѣли значительное обратное вліяніе на самого Дарвина.

Человѣкъ, совершенно незнакомый съ дарвинизмомъ, случайно узнавъ о той роли, которую въ немъ играетъ борьба за существованіе, пришелъ бы, конечно, къ заключенію, что это ученіе чрезвычайно мрачное, пессимистическое. На дѣлѣ же, какъ читателю извѣстно, дарвинизмъ навсѣрозъ проникнутъ оптимизмомъ, ибо предполагаетъ, что изъ тяжелой, гнетущей борьбы, вездѣ кругомъ насъ происходящей, изъ тысячъ смертей, ежеминутно косащихся жизни на землѣ, возникаютъ все высшія и высшія формы жизни. Нѣкоторые дарвинисты стоятъ за этотъ догматъ съ необыкновеннымъ упорствомъ; нѣкоторые, и въ томъ числѣ самъ Дарвинъ, нѣсколько послабили, съ теченіемъ времени, свой радостный тонъ; нѣкоторые, наконецъ, находятъ бѣду только въ томъ, что въ человѣческомъ обществѣ устроены разныя препятствія, состоящія въ учрежденіяхъ, идеяхъ, чувствахъ, мѣшающихъ погибели слабымъ, худшихъ и торжеству сильныхъ, лучшихъ. Это, безъ

сомнѣнія, самый интересный моментъ дарвинизма, какъ для всей массы профановъ, такъ и для кучки людей, желающихъ обнять теоретическую и практическую области единымъ принципомъ. Безспорны заслуги дарвинизма въ дѣлѣ разрушенія старыхъ убѣжденій о мѣстѣ человека въ природѣ. Но, во-первыхъ, эти убѣжденія были и безъ того распатаны разнообразѣйшими путями, а, во-вторыхъ, для окончательнаго ихъ разрушенія нѣтъ надобности въ специфическихъ чертахъ дарвинизма. Другое дѣло творческая сила борьбы за существованіе. Люди давно уже задумывались о значеніи успѣха въ жизни. Одни находили, что успѣхъ этотъ, самъ по себѣ, ровно ничего не говоритъ о какихъ бы то ни было достоинствахъ успѣвшаго; говорить, можетъ быть, даже напротивъ, объ его низости, подлости, безсовѣстности. Другіе, напротивъ, полагали, что успѣхъ самъ несетъ себѣ оправданіе и что побѣдитель всегда правъ, всегда выше побѣжденнаго. И вотъ является роскошно обставленная теорія, черезъ весь органическій міръ, черезъ всю исторію жизни на землѣ проводящая принципъ самоудовлѣющаго успѣха. Первоначально и рѣчи не было о приложеніи этого принципа къ нашимъ житейскимъ дѣламъ, къ человѣческому обществу. Дѣло шло о природѣ, вѣдь насъ лежащей: худшіе, наименѣе приспособленные вымираютъ, лучшіе выживаютъ, изъ нихъ опять подбираются лучшіе и т. д., и т. д. Но такъ какъ рѣчь, все-таки, шла о смертяхъ и страданіяхъ, хотя и сопутствующихъ жизни и наслажденію, то выдавались нѣкоторые щекотливые пункты. И вотъ, напримѣръ, какъ отнестися къ одному изъ нихъ Дарвинъ. Извѣстно, что двѣ пчелиныя матки въ одномъ ульѣ не уживаются, и вопросъ о престолонаслѣдіи разрѣшается единоборствомъ. По этому поводу Дарвинъ говоритъ: «Хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикой, инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, тотчасъ по ихъ рожденіи, или погибающей въ борьбѣ съ ними, ибо это несомнѣнно полезно обществу: и материнская любовь, и материнская ненависть, хотя послѣдняя, къ счастью, большая рѣдкость—все едино передъ неумолимыми законами естественнаго подбора». Здѣсь сказала уже совершенно специальная, особенная слабость воображенія Дарвина. Онъ, свободно обнимавшій пареніемъ своей мысли всю безконечную цѣль измѣненій отъ асцидин до человека и предвидѣвшій дальнѣйшія измѣненія въ этомъ направленіи: онъ не могъ напрочь воображеніе настолько, чтобы допустить возможность такой пу-

стяковой реформы пчелинаго общества, какъ устраненіе періодическихъ убійствъ! Онъ, такъ много и ловко орудовавшій принципомъ пользы, не замѣтилъ, что злоба пчелы-матки полезна совсѣмъ не пчеламъ и даже не пчелиному обществу, а только нынѣшней формѣ этого общества, ибо ея то неизмѣнности оно, конечно, способствуетъ! Что касается суроваго тона, съ которымъ Дарвинъ говоритъ вышеприведенныя слова, то и онъ зависѣлъ отъ той же специально дарвиновской слабости воображенія: онъ говорилъ такъ жестоко, холодно и сурово только потому, что не предвидѣлъ тѣхъ жестокихъ выводовъ, которые сдѣлаютъ изъ его основныхъ положеній ученики. Все его богатое воображеніе ушло въ погоню за творчествомъ природы и отъ него ничего не осталось на творчество социальное, если позволено будетъ такъ выразиться. Но вотъ начали появляться *enfants terribles* новаго ученія. Едва-ли не первую выступила г-жа Клемансъ Ройе, пламенный французскій синій чулокъ. Въ предисловіи къ сдѣланному ею французскому переводу книги «О происхожденіи видовъ», она не задумалась произнести суровѣйшій приговоръ всѣмъ слабымъ въ человѣческомъ обществѣ, ибо ихъ гибель кому-то или чему-то полезна. Дарвинъ, будучи человѣкомъ мирнымъ и, судя по всѣмъ извѣстіямъ, крайне добродушнымъ, испугался. Онъ не выступилъ противъ своей пылкой послѣдовательницы печатно, но очень хлопоталъ объ изданіи другого французскаго перевода, дабы не обязательно ему было являться передъ Европой подъ ручку съ грознымъ синнимъ чулокъ. Синій чулокъ не унимался. Онъ издалъ свою собственную книгу, въ которой требовалось, напримѣръ, отнятія у народа евангелія, ибо, дескать, книга эта пропитана идеей равенства, а идея равенства есть вредная химера, мѣшающая гибели и правомѣрной униженности слабыхъ. Нищій можетъ быть и не виновать въ томъ, что онъ нищій, но, разъ онъ нищій, разъ онъ оказался внизу—пусть выбирается, какъ знаетъ; если выберется, такъ тѣмъ самымъ покажетъ, что онъ изъ лучшихъ, а если погибнетъ, такъ туда ему и дорога; помогать же ему, значить идти противъ верховныхъ законовъ естественнаго подбора и останавливать прогрессивный ходъ исторіи, который непремѣнно долженъ покупаться цѣною страданій низшихъ, худшихъ, слабыхъ. Такъ разсуждала суровая г-жа Ройе. А, впрочемъ, должно быть увеселенія ради, она прибавила къ этимъ суровостямъ нѣкоторую утопію. А именно, набросала планъ будущаго царства амазонокъ, устроеннаго на манеръ пчелинаго общества, гдѣ женщины,

какъ извѣстно, все, а мужчины (трутни), совершивъ свою дѣтородную обязанность, избиваются.

Много было произнесено подобныхъ суровыхъ приговоровъ и много было развернуто подобныхъ смѣлыхъ перспективъ. Но всѣхъ превзошелъ, кажется, Ренанъ. Характеристика этого человѣка, сдѣланная Брандесомъ, съ которою читатель «Отечественныхъ Записокъ» имѣлъ случай недавно познакомиться, очень вѣрна, но грѣшитъ излишнею мягкостью и тонкостью. То презрѣніе Ренана къ людямъ, о которомъ говоритъ Брандесъ, имѣетъ въ немъ совершенно специальное направленіе и въ этомъ направленіи достигаетъ, можно сказать, колоссальныхъ размѣровъ, поражая своею грубостью и откровенностью. Онъ уже говорилъ (и приводилъ этимъ въ восторгъ одного изъ нашихъ «самобытниковъ», г. Страхова), что «грубость многихъ есть условіе одного, что потъ многихъ позволяеть немногимъ вести благородную жизнь» и т. п. Наконецъ, въ «Dialogues et fragments philosophiques» онъ предположилъ въ будущемъ образованіе, путемъ подбора, особенной, высшей породы людей, которые собственно даже не люди будутъ, а въ родѣ какъ боги. Эти боги, обладающіе высшими тайнами науки и огромными, чисто органическими, физиологическими премуществами, будутъ держать «грубую» и «потную» толпу въ черномъ тѣлѣ, постоянно въ страхѣ и повиновеніи...

Что же въ это время дѣлалъ учитель? Учитель... мамилъ. Онъ говорилъ, напримѣръ: «Нельзя не пожалѣть, хотя, быть можетъ, это не совсѣмъ разумно, о быстротѣ, съ какою размножается человѣчество», Или, «Мы должны безропотно примириться съ несомнѣнно пагубными послѣдствіями сохраненія жизни и размноженія слабыхъ людей». Или еще: «Преступниковъ казнить или подвергать долгосрочному тюремному заключенію, такъ что они не могутъ свободно передавать потомству свои дурныя качества. Меланхоликовъ и сумасшедшихъ запираютъ, или они кончаютъ самоубійствомъ. Люди задорные и запальчивые часто погибаютъ насильственной смертію». Такимъ образомъ, значить, и въ обществѣ происходитъ процессъ естественнаго подбора лучшихъ и гибели худшихъ. Но кто же эти лучшие и эти худшіе? Обратите вниманіе на колеблющійся, нерѣшительный тонъ Дарвина, какъ только рѣчь заходитъ о человѣческихъ житейскихъ дѣлахъ, а также опять-таки на специальный недостатокъ его, вообще столь богатаго воображенія. Онъ не можетъ себѣ представить общества, въ которомъ преступниками считались бы и, слѣдовательно, подвергались бы казни и долгосрочному тюрем-

ному заключенію не худшіе, а, напротивъ, лучшіе. А, кажется, такое общество представить себѣ не трудно. Взять хоть бы, напримѣръ, римское общество, казнившее христіанъ цѣлыми массами. Вѣдь не худшіе же это были? Я ужъ не говорю о томъ, что и самый обыкновенный преступникъ можетъ обладать всякаго рода достоинствами и быть подвинутымъ на преступленіе неблагоприятными условіями той общественной формы, которой Дарвинъ предоставляетъ рѣшающій голосъ: если она, эта форма рѣшила, что такой-то есть преступникъ, такъ и конечно—онъ худшій, онъ долженъ погибнуть. Ясно, что для сортировки лучшихъ и худшихъ, сильныхъ и слабыхъ критерій успѣха недостаточно, и что ходъ вещей на землѣ далеко не столь безостановочно радостенъ, какъ его рисуютъ дарвинисты.

Это не замедлило обнаружиться и въ области природы, внѣ человѣка лежащей. Самъ Дарвинъ обратилъ вниманіе, что бываютъ несомнѣнные изыяны въ организаціи, которые, однако, при извѣстныхъ условіяхъ полезны. Такъ, напримѣръ, пещернымъ животнымъ глаза не нужны и только даромъ поглощаютъ извѣстную часть пластическаго матеріала и жизненной силы. Поэтому побѣда останется здѣсь за слѣпыми. Нѣкоторые, спеціальныя изслѣдованія, особенно о жизни и строеніи паразитовъ, показали, что происходящее при подобныхъ условіяхъ пониженіе организаціи, регрессъ достигаетъ иногда чудовищныхъ размѣровъ. А разъ въ розовую, оптимистическую картину безостановочно прогрессирующей, путемъ борьбы и подбора, жизни вошла возможность регресса и побѣды худшихъ, поколебались и самые принципы борьбы и подбора, какъ творческія начала. Одинъ безымянный нѣмецъ (Ungenannter) издалъ остроумную пародію на теорію Дарвина, въ которой аргументами, подчасъ весьма благовидными, доказывалъ, что жизнь, вообще, регрессируетъ и что въ частности обезьяна произошла отъ человѣка, и именно путемъ борьбы и подбора. Это была, конечно, шутка, но остроумная, умѣстная и, если можно такъ выразиться, отрезвляющаго характера. Затѣмъ одинъ нѣмецкій ученый (Дорнъ) издалъ уже серьезное сочиненіе, въ которомъ развивалъ мысль, что асидіи, признаваемые нѣкоторыми дарвинистами за родоначальниковъ человѣка, сами произошли отъ позвоночныхъ путемъ постепеннаго и продолжительнаго регрессивація. Сколько мнѣ извѣстно, если не вся работа Дорна, то нѣкоторыя ея частности были встрѣчены специалистами благопріятно.

Надо замѣтить, что самые непреклонные изъ дарвинистовъ, встрѣчаясь съ нѣкто-

рыми фактами несомнѣннаго, ничѣмъ не замаскированнаго регресса организаціи и торжества худшихъ, такъ и должны были отзываться, что вотъ это, дескать, регрессъ и торжество худшихъ. Это само собой наводило на мысль, что должно же существовать какое-нибудь мѣрило для худшихъ и лучшихъ, независимое отъ успѣха или неуспѣха, торжества или гибели. Дарвинисты и искали этого мѣрила въ такъ называемомъ законѣ Бэра, который никогда не былъ ими проводимъ вполне послѣдовательно.

Обсужденіе этого пункта завело бы, однако, насъ слишкомъ далеко, да и уже много разъ мы объ этомъ толковали. Мы хотѣли только упомянуть «великаго буржуа-натуралиста», такъ сильно занимавшаго современниковъ и нынѣ мирно покоющагося въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Впрочемъ, собственно въ нашей жизни Дарвинъ и его ученіе не играли большой роли. Если не считать ничтожной горсти специалистовъ, на работахъ которыхъ дарвинизмъ, такъ или иначе, отзывался, то окажется лишь масса людей, праздно болтающихъ и мало понимающихъ, что доказывается, напримѣръ, газетными сближеніями дарвинизма съ «динамитомъ». На дѣлѣ между этими вещами нѣтъ ровно никакой связи, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ есть даже связь противоположности. Но у насъ, какъ и вездѣ, есть поприще для практическаго приложенія и теоретической проверки теоріи Дарвина. Законы измѣчивости, наследственности, приспособленія, борьбы за существованіе, подбора писаны и для насъ. А потому, оглядываясь на свое тысячелѣтнее прошлое, мы можемъ задаться не безинтереснымъ вопросомъ: всегда-ли у насъ торжествовали лучшіе и погибали худшіе? Всякій, я думаю, огласится, что отнюдь не всегда, хотя въ разборѣ лучшихъ и худшихъ производяте, разумеется, разногласія. Не будемъ входить въ эти подробности и разнообразіе точекъ зрѣнія на достоинство и низость, добро и зло, истинную силу и истинное ничтожество. Скажемъ вообще: пусть покроются позоромъ тѣ страницы русской исторіи, на которыхъ записано торжество мерзости и гибель достоинства! пусть въ будущемъ празднуетъ побѣду лишь то, что сильно внутренней, собственной силой, а не заемной, не той, которая почерпается въ уродливыхъ обстоятельствахъ времени и мѣста, какъ почерпаютъ свою силу слѣпыя животныя въ условіяхъ пещерной жизни.

А въ заключеніе, позвольте повторить вопросъ, которымъ я закончилъ прошлую бесѣду: пить или не пить? вотъ въ чемъ вопросъ: что благороднѣе? Въ Кадниковѣ говорятъ, что благороднѣе не пить. Въ Петро-

ковѣ говорятъ, что благороднѣе пить, потому что этимъ способомъ успѣшно пополняются государственные доходы. Пародируя и даже не пародируя, а просто перелагая вышеприведенныя слова Дарвина о злобѣ пчелы-матки, можно рѣшить вопросъ такъ: «Хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикимъ пьянствомъ русскаго мужика, ибо это несомнѣнно полезно обществу». Но возможно, конечно, и совершенно противоположное рѣшеніе. Но для этого другого рѣшенія, и особенно для его осуществленія, надо помнить, что не только свѣту, что въ окошкѣ, и что общественныя формы проходящи.

XV.

О доносахъ, съ присовокупленіемъ собственнаго опыта доноса *).

Да не удивится читатель, что «Отечественныя Записки» въ одномъ и томъ же номерѣ дважды обращаются къ литературному явленію, на первый взглядъ весьма мало цѣнному. Это явленіе — статья г. Щебальскаго «Наши беллетристы-народники» («Русскій Вѣстникъ», апрѣль). Объ ней идетъ рѣчь въ статьѣ «Подозрительный бель-этажъ», печатаемый въ этой же книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»; объ ней же и я собираюсь повести рѣчь. Находя, что мы дѣлаемъ много чести г. Щебальскому и его произведенію, читатель въ извѣстномъ смыслѣ совершенно правъ. Но вѣдь что же дѣлать? Независимо отъ своей внутренней цѣнности, литературныя явленія имѣютъ еще цѣнность рыночную, опредѣляемую состояніемъ базара житейской суеты. И съ этой точки зрѣнія могутъ иногда оказаться очень стоящими вниманія вещи, которыми во всѣхъ другихъ отношеніяхъ и по самому существу цѣна—грошъ. Таковъ именно, говоря высокимъ слогомъ, «трудъ» г. Щебальскаго. Это пустѣйшая изъ пустяковинъ, приправленная чрезвычайно комическимъ бахвальствомъ.

Г. Щебальскій начинаетъ свою статью такъ: «Сильно ошибся бы тотъ читатель «Русскаго Вѣстника», который сталъ бы заключать по беллетристикѣ этого журнала о нашей современной беллетристикѣ вообще. Повѣсти и романы «Русскаго Вѣстника», это—бель-этажъ, «чистыя комнаты» нашего литературнаго зданія. Но въ этомъ зданіи есть чердаки и подвалы, есть грязныя чуланы и никогда не вентилируемыя, никогда не подметаемыя спальни, есть задніе дворы съ кучами мусора». Очень величаво! И было

*) 1883 г., июль.

бы, конечно, еще болѣе величаво, еслибы не было съ одной стороны такъ бахвальски-грубо, а съ другой—такъ шутовски-смѣшно. Намъ съ читателемъ еще недавно случилось какъ-то заглянуть въ беллетристику всего одного номера «Русскаго Вѣстника», но и то мы натолкнулись тамъ на цѣлую кучу въ высокой степени дрянныхъ вещей, которая, впрочемъ, воздвигнута была, дѣйствительно, въ «чистой комнатѣ»: ковры, зеркала, по стѣнамъ портреты предковъ, любующихся на мерзости потомковъ... Съ Божіей помощью мы и еще какъ-нибудь совершимъ такую экскурсію, а теперь оставимъ эту матерію. Посмотримъ на тотъ элементъ статьи г. Щербальскаго, который оставленъ совсѣмъ въ сторонѣ авторомъ «Весьма подозрительнаго белъ-этажа».

Думали-ли вы, читатель, когда-нибудь объ томъ, отчего доносъ и доносчикъ пользуются такимъ всеобщимъ презрѣніемъ? Отчего ихъ глубоко презираютъ даже тѣ, кто ими пользуется? Прежде всего надо замѣтить, что доносчикъ не одинъ купается въ такомъ безбрежномъ морѣ презрѣнія. Ростовщика, палача, сводню тоже обыкновенно считают чѣмъ-то непотребнымъ даже тѣ, кому они потребны. Дѣло въ томъ, что исполненіе этихъ профессій, въ каждомъ данномъ случаѣ нужно для того или другого потребителя и, слѣдовательно, съ его точки зрѣнія оправдываемое, требуетъ совершенно особенныхъ и, конечно, непривлекательныхъ нравственныхъ качествъ. Что бы тамъ ни говорили, напримѣръ, блаженной памяти Де-Местръ объ абстрактномъ значеніи палача, какъ объ олицетвореніи правосудія, но лично палачу онъ никогда руки бы не протянулъ. Съ точки зрѣнія Де-Местра, палачъ дѣлаетъ полезное, необходимое, великое, святое дѣло, но для исполненія этого дѣла нужно быть звѣремъ. И какъ же не брезгать прикосновенія къ этому звѣрю, какъ не вымыть руки, если они какъ-нибудь случайно до него дотронулись? Точно также стоитъ дѣло съ доносчикомъ и даже въ «Русскомъ Энциклопедическомъ Словарѣ» г. Березина подъ словомъ «доносъ» читаемъ: «Законоу ставитъ доносъ обязательнымъ въ важныхъ преступленіяхъ и даже нарушеніяхъ, за что и полагаетъ награды, равно какъ и наказанія за лживые доносы: но общественное мнѣніе относится къ доносчикамъ весьма неблагоклонно; за немногими исключеніями». Не знаю, какія исключенія разумѣть «Русскій Энциклопедическій Словарь», но совершенно понимаю кажущееся противорѣчіе между извѣстнымъ покровительствомъ доносу и его презрѣнностью. Кому доносъ нуженъ, тотъ за него платитъ; это просто какъ дважды два—четыре. Но и

платящій не можетъ не знать, что фактъ доноса, какъ и все на свѣтѣ впрочемъ, зародился и расцвѣтъ не въ безвоздушномъ пространствѣ. Положимъ, что фактъ этотъ, самъ по себѣ, принесъ извѣстную пользу платящему, раскрывъ, напримѣръ, предстоящую опасность. Но совершенно независимо отъ этой пользы, почва, на которой выросъ доносъ, насквозь пропитана мерзостными элементами предательства, измѣны, обмана, корысти, виланья лисьего хвоста и смраднаго дыханія волчьего рта. И, конечно, не для однихъ христіанъ имя Іуды стало синонимомъ подлости и предательства. Искаріота презирали и тѣ, кто вручилъ ему тридцать сребрениковъ за доносъ. «Подависъ ты», думали они, вручая ему мзду предательства. И онъ подавился. Это значитъ только, что есть мерзостныя дѣла и профессіи, которыя при извѣстномъ общественномъ строѣ нужны.

Однако, этимъ отнюдь еще не разрѣшается вопросъ объ *обязательности* доноса. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаютъ юристы. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ профессоръ Таганцевъ въ своемъ «Курсѣ русскаго уголовного права»: «Съ одной стороны, при современныхъ государственныхъ условіяхъ исчезла необходимость въ привлеченіи всѣхъ гражданъ къ участію въ преслѣдованіи преступниковъ. Матеріальныя и иныя тяготы, которыя каждый гражданинъ несетъ на содержаніе полицейскихъ органовъ разнаго рода, служатъ достаточнымъ основаніемъ для сложенія съ общества натуральной повинности доноса, тѣмъ болѣе, что спеціальныя органы могутъ вести дѣло преслѣдованія преступниковъ и съ несравненно большимъ успѣхомъ и съ меньшею затратою силъ. Съ другой—существующее во всякомъ не отжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніе къ доносу не составляетъ предразсудка, съ которымъ нужно бороться государству. Не надо забывать, что здѣсь дѣло идетъ не о гласномъ обвиненіи преступника, при которомъ обвинитель несетъ и всю тягость послѣдствій легкомысленнаго или недобросовѣстнаго привлеченія кого-либо къ отвѣтственности, и даже не о добровольномъ заявленіи органамъ суда о преступленіи, котораго заявитель былъ очевидцемъ, или о которомъ онъ имѣетъ несомнѣнныя свѣдѣнія, а о тайномъ доносѣ, вынуждаемомъ угрозою наказанія. Обязанность доноса имѣетъ не обходимымъ и естественнымъ дополненіемъ награду за доносъ, всевозможныя поощренія доносчиковъ *).

*) На это указывалъ еще и Генке, Handbuch, стр. 282, справедливо прибавляя, что желаніе получить эти «деньги крови», Blutgeld, или, какъ

что такая система может иногда содѣйствовать раскрытію преступлений, борьба съ которыми оказалась не подѣ силу спеціальнымъ органамъ, но горе той странѣ, которая ради этого обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни, выдвинетъ шпионовъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ. Ради временныхъ выгодъ правительство посѣетъ въ обществѣ сѣмена страшной нравственной заразы, которая грозитъ или вымираніемъ государственнаго организма, или потребуетъ громадныхъ и долгихъ жертвъ на его исцѣленіе» («Курьеръ», вып. III, 170).

Къ этому надо прибавить еще слѣдующее. Общественное презрѣніе къ доносу отнюдь не безусловно. Оно имѣетъ, напротивъ, очень опредѣленные, хотя и трудно формулируемыя границы. Ни одинъ порядочный человекъ не откажетъ вамъ въ своемъ уваженіи, если вы донесете, напримѣръ, на человека, который истязуетъ ребенка, хотя бы вы сдѣлали это, по какимъ-нибудь вашимъ личнымъ обстоятельствамъ и соображеніямъ, анонимно, тайкомъ. Тѣмъ паче не грозитъ вамъ презрѣніе, если вы сдѣлаете это открыто, во всеуслышаніе, принимая на себя всѣ послѣдствія такого поведения, то-есть обязанность доказать и поддерживать свой доносъ, стоя лицомъ къ лицу съ обвиняемымъ вами человекомъ. Въ этомъ случаѣ вы можете оказаться даже не только не доносчикомъ въ томъ технически позорномъ смыслѣ слова, въ которомъ оно обыкновенно употребляется, а рыцаремъ добра и правды. Понятно, что къ такого рода доносамъ никакъ не относятся слова г. Таганцева: «горе той странѣ, которая обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни, выдвинетъ шпионовъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ». Напротивъ, счастье, великое счастье той странѣ, въ которой *такіе* доносы практикуются и *могутъ* практиковаться. Подчеркиваю слово «могутъ», потому что поле благороднаго доноса далеко не всегда открыто для всѣхъ, желающихъ на него выступить. Бываютъ разныя къ тому препятствія. У насъ, напримѣръ, литература могла бы представлять широкое поприще для благороднаго доноса, предоставляя всѣмъ и каждому возможно открыто и подѣ полною своею личною отвѣтственностью доносить на людей, неправду творящихъ, неправдой живущихъ. Но эта-то возможность и отнята у нашей злосчастной литературы. Объ литературѣ, впрочемъ, потомъ. А теперь отмѣтимъ то любопытное обстоятельство, что пре-

пятствиемъ для практики благороднаго доноса является сплошь и рядомъ практика доноса презрѣннаго. Весьма естественно, что эти два вида доноса не могутъ ужиться рядомъ, ибо ночь потому и черна, что солнца нѣтъ на небѣ. Но любопытно наблюдать ту почти математическую пропорціональность, съ которою убыль благороднаго доноса влечетъ за собой прибыль презрѣннаго доноса и обратно. Мы имѣемъ возможность дѣлать эти наблюденія, потому что недалеко уже отъ насъ то горе, о которомъ говоритъ профессоръ Таганцевъ.

Позвольте заимствовать изъ «Голоса» (№ 144) слѣдующую коллекцію, собранную въ фельетонѣ «Изъ мѣстной печати» за самое короткое время, да и для этого короткаго времени едва-ли полную.

Въ Винницахъ, городскому головѣ Щавинскому не по душѣ пришлось, что гласный Л—ій, по желанію группы лицъ, недовольныхъ думскими порядками, составилъ проектъ правилъ о веденіи дѣлъ въ думѣ. Когда проектъ былъ доложенъ, голова заявилъ, что уже извѣстное «*противоправительственное*» направленіе г. Л—го отразилось и въ его «правилахъ». Заявление это произвелъ эффектъ чрезвычайный: всѣ гласные закричали о необходимости отложить разсмотрѣніе проекта, потребовали копій съ него, чтобы вникнуть въ него повнимательнѣе—страшно стало. Къ счастью, исправникъ разрѣшилъ напечатать «противоправительственный» проектъ для разсылки гласнымъ, и его санкція успокоила умы.

Только голова не успокоился. Черезъ нѣсколько времени, по какому-то случаю, былъ обѣдъ въ мѣстномъ клубѣ; за обѣдомъ Щавинскій произнесъ рѣчь, въ которой публично заявилъ, что Л—ій потрассаетъ основы, возбуждаетъ недовольство противъ городского управленія—короче, что онъ «соціалистъ»! Дѣло дошло до мирового.

Въ Казани побили какого-то Фельдмана. Онъ немедленно приволокъ къ суду трехъ студентовъ по обвиненію въ «соціализмѣ», увѣрялъ даже, что въ него «стрѣляли динамитомъ»!

Въ той же Казани прославился управляющій мѣстною конножелезною дорогой г. Тальквистъ. Онъ безобразно безчинствуетъ подѣ предлогомъ, что исполняетъ долгъ патриота, ссылаясь на то, что «само правительство приглашало общество содѣйствовать искорененію крамолы». То онъ схватываетъ ни въ чемъ неповиннаго портного и объявляетъ его «соціалистомъ»; то вторгается въ ресторанъ съ толпой кондукторовъ, которыхъ, въ видѣ часовыхъ, разставляетъ къ отдѣльнымъ кабинетамъ, чтобы накрыть совѣщаніе соціалистовъ; то съ во-

называетъ ихъ Бернеръ, Indageld, порождаетъ профессію лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ.

оруженною толпою кучеровъ ходить по улицамъ, изловляя все тѣхъ же «соціалистовъ»: то набрасывается на самую полицію за слишкомъ довѣрчивое отношеніе къ представляемымъ паспортамъ.

Болезнь доноса заразила и образованныхъ людей. Полевой хирургъ Д—й, служащій младшимъ врачомъ полка, получилъ невеселое порученіе—убѣдиться, можетъ-ли провинившійся солдатъ (изъ штрафованныхъ) выдержать наказаніе въ 200 розогъ?—«Не можетъ», отвѣчалъ Д—й. Но старшій врачъ полка М., возмущенный «потворствомъ», назначилъ комиссію изъ себя и двухъ другихъ врачей, и комиссія нашла, что солдатъ экзекуцію выдержать можетъ. Вскорѣ вѣрность «диагноза» ученой комиссіи подтвердилась и самымъ фактомъ ошеченія. Тогда старшій врачъ донесъ, кому слѣдуетъ, что докторъ Д—й произвелъ изслѣдованіе небрежно и требовалъ для него кары.

Наконецъ, появился доносъ и въ деревнѣ. Какой-то волостной судья, крестьянинъ Мѣшаниновъ, Царицынской волости, Московскаго уѣзда, выпивая, буйствуетъ безъ мѣры. Надняхъ онъ ворвался въ одинъ изъ мѣстныхъ трактировъ, присталъ къ одному изъ посѣтителей со всевозможною бранью и, наконецъ, объявилъ: «ты соціалистъ; донесу—и тебя отсюда въ темной каретѣ увезутъ!» Просвѣщеніе очевидное. Прежде такихъ словъ въ деревнѣ не знали.

Отъ словъ недалеко и до дѣла. Въ Черниговской губерніи, близъ Глухова, въ селѣ Степановкѣ, давно ведется упорная борьба землевладѣльца К. съ крестьянами. Не смотря на всѣ притѣсненія К. по сдачѣ земли по выгонамъ, потравамъ и проч. или, вѣроятнѣе, благодаря, именно этимъ притѣсненіямъ стали его, въ свою очередь, «добѣзжать» и крестьяне. Долго-ли, коротко ли шла борьба помощью приѣмовъ, давно выработанныхъ въ идиллической тиши русскихъ деревень—неизвѣстно, но кто-то, наконецъ, шепнулъ крестьянамъ, что есть новыя средства борьбы, довольно общепотребительныя въ послѣднее время въ культурныхъ и некультурныхъ и слояхъ благоденствующей Россіи: крестьяне подали кому слѣдуетъ заявленіе о сомнительной благонадежности К. Являются къ К. «соотвѣтствующія случаю» власти и обязываютъ К. подпиской о не выѣздѣ изъ Глухова. Око-за-око: вскорѣ и К. извѣщаетъ черниговскаго губернатора, что крестьянами села Степановки получена подозрительная бумага. Соотвѣтствующая власть летитъ къ крестьянамъ: оказывается, что мѣра, принятая противъ К., не удовлетворила «меньшей братии». Крестьяне собрали 100 рублей и послали въ Петербургъ ходатая съ жалобой на К.,

въ которой поддерживаютъ прежнее обвиненіе и просятъ новаго слѣдствія. Привезенная ходатаемъ росписка въ томъ, что жалоба принята, и есть та злопсучная бумага, о которой донесъ К.

Крестьяне одного села Ставропольской губерніи, желая избавиться отъ своего священника, донесли, что у него во время панихиды по покойномъ государѣ на лицѣ была «улыбка довольнаго человѣка»!

Прямымъ спутникомъ доносовъ является, очевидно, и политическій шантажъ: «дайте столько-то или донесу».

Вотъ вы и разсудите. Разныя печальныя обстоятельства предоставили въ распоряженіе cadaго охочаго человѣка грязное оружіе презрѣннаго доноса. «Воинъ, купецъ и пастухъ» могутъ, когда имъ вздумается, взять это оружіе въ свои руки и махать имъ направо и налѣво, въ справедливомъ или несправедливомъ разсчетѣ, что это размахиваніе приведетъ къ нужнымъ результатамъ, то-есть нанесетъ, кому слѣдуетъ, смерть и увѣчье. Понятное дѣло, что добropорядочный воинъ, добropорядочный купецъ и добropорядочный пастухъ не станутъ марать рукъ объ эту грязь. За нее ухватятся уже готовые, и безъ того замаранные руки: воинъ, храбро удирающій отъ непріятеля и воющій съ мирными гражданами родной страны; купецъ, обвѣшивающій и обмѣривающій покупателя; пастухъ, небрежущій ввѣренными имъ стадомъ и дерущій двѣ шкуры съ одного вола. Ну, и потрудитесь выйти противъ этихъ людей съ открытымъ, то-есть съ благороднымъ доносомъ. Не говоря уже объ томъ, что у нихъ есть или могутъ быть бабушки, которыя отлично умѣютъ ворожить и не дадутъ въ обиду излюбленныхъ внуковъ, у нихъ у самихъ есть въ рукахъ страшное оружіе доноса, при помощи котораго они моментально могутъ превратить васъ во врага отечества. Конечно, не всегда подобныя махинаціи удаются (да и еще бы онѣ всегда удавались!), но онѣ удаются всетаки слишкомъ часто для человѣческаго достоинства и достоинства родины. И уже одна страничка изъ нашей текущей исторіи, въ родѣ вышеприведенной коллекціи фельетониста «Голоса», заставляетъ невольно повторить слова профессора Таганцева: горе странѣ, которая обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни! Двойное или, точнѣе, двустороннее горе: съ одной стороны растетъ, проникая, какъ мы видѣли, и въ глубь, и въ верхніе слои населенія, развратъ доноса со всѣми его спутниками—предательствомъ, ложью, наглýmъ хвастовствомъ; съ другой стороны суживается поле открытаго доноса на неправду творящихъ...

Однако, перебиваетъ меня, наконецъ, читатель:—какое же все это имѣетъ отношеніе къ г. Щебальскому и его статьѣ о беллетристахъ-народникахъ?

О, мы вовсе не такъ далеко отошли отъ г. Щебальскаго, какъ вамъ кажется! Мы все время возгѣ него были и теперь, чтобы посмотреть ему уже прямо въ лицо, намъ остается сдѣлать всего одинъ шагъ—сказать пару словъ о литературномъ доносѣ.

За исключеніемъ тѣхъ, кто воздѣлываетъ чистую науку, и тѣхъ, кто поетъ столь же чистую отъ житейскихъ тревогъ пѣснь торжествующей любви; за этими двумя исключеніями, всѣ мы, пишущая братія, по самому существу нашей профессіи—доносчики и должны быть таковыми. Всѣ, отъ случайнаго газетнаго корреспондента, общающаго какой-нибудь мелкій фактъ, до тѣхъ, кто, обобщая подобныя мелочи, отлиываетъ свои обобщенія въ художественные образы или теоретическія формулы. Кому мы доносимъ?—Всѣмъ имѣющимъ уши слышать. На кого, на что доносимъ?—На всякое зло и на всякую неправду, какъ мы ихъ понимаемъ. Ясно, что, по существу дѣла, литературные доносы должны принадлежать къ категоріи доноса благороднаго. Если я заявляю, что «много Понтійскихъ Пилатовъ и много лукавыхъ Іудъ Христа своего распинають, отчизну свою продають»; если я затѣмъ открыто, во всеуслышаніе, съ готовностью принять на себя всѣ обязанности, вытекающія изъ моего доноса, говорю: вотъ кто умылъ руки въ дѣлѣ вопиющей неправды, вотъ кто продалъ своего Христа, вотъ язвы гвоздиныя—то кто же посмѣетъ взглянуть на меня съ тѣмъ презрѣніемъ, съ которымъ смотрятъ на низкаго доносчика? Казалось бы, по самымъ кореннымъ условіямъ литературной профессіи, здѣсь не можетъ быть мѣста низкимъ формамъ доноса. Положимъ, мы съ г. Щебальскимъ (къ примѣру говорю) разное понимаемъ добро и зло. Онъ ищетъ добра въ парадныхъ комнатахъ, а я на чердакахъ и въ подвалахъ. Положимъ, далѣе, что мое пониманіе добра и зла съ точки зрѣнія г. Щебальскаго чрезвычайно вредно, а я, наоборотъ, считаю крайне вреднымъ и ошибочнымъ его пониманіе. Мы прямо, открыто доносимъ другъ на друга, защищаемся, обвиняемъ, а имѣющие уши слышать берутъ себѣ каждый, что приходится по его разумѣнію. Что можетъ быть проще, лучше, благороднѣе, хотя бы мы и позволили себѣ въ пылу раздраженной полемики какое-нибудь жестокое или грубое слово? Какъ можно сюда втиснуть низкія формы доноса, когда исторія разыгрывается на виду у всѣхъ, путемъ литературы, гдѣ противники сража-

ются одинаковымъ оружіемъ и гдѣ всякій посторонній человѣкъ можетъ проверить каждое слово и взвѣсить каждый аргументъ?

Да, въ принципѣ, по кореннымъ условіямъ литературной профессіи, все это такъ и есть. Оттого-то литературная дѣятельность и окружена такимъ заманчивымъ ореоломъ, оттого-то такъ и рвется къ ней чуть не каждый юноша, не побывавшій еще въ битвѣ жизни и не видавшій своихъ идеаловъ оскорбленными, своихъ надеждъ похороненными. Помилуйте,—«глаголомъ жги сердца людей»—и дѣло въ шляпѣ! Но нѣтъ розы безъ шиповъ и часто, слишкомъ часто розѣ приходится «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней», а шипы остаются и колютъ, и жгутъ. Думаю, что человѣчество когда-нибудь, и даже въ непродолжительномъ времени, выдумаетъ розу безъ шиповъ и введетъ ее во всеобщее употребленіе, потому что, собственно говоря, вовсе это ужъ не такая хитрая штука. Но пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ, и намъ грѣшнымъ, живущимъ сію минуту и поневолѣ требующимъ отъ этой минуты хоть какого-нибудь удовольствія, достаются сплошь и рядомъ одни шипы. И чертовски больно колютъ иногда эти шипы, особенно, когда сильно хочется найти розу... Это, впрочемъ, вообще. Въ частности же, по нынѣшнему времени шипы-доносы грозятъ совсѣмъ заглушить розу-литературу. Невозможное по кореннымъ условіямъ литературной профессіи и по логикѣ вещей оказывается возможнымъ по состоянію базара житейской суеты. Это каждый, впрочемъ, знаетъ и любопытно только приглядѣться къ тѣмъ путямъ, которыми низменный доносъ, нѣчто тайное, скрываемое и прикрываемое, вторгается въ литературу, гдѣ, по видимому, все такъ явно и открыто, гдѣ обязательны доносъ въ благороднѣйшей его формѣ.

Недавно «Московскія Вѣдомости» начали одну изъ своихъ передовыхъ статей, направленную противъ газеты «Русь», такимъ образомъ: «По печати сдѣлано распоряженіе не говорить ничего ни въ пользу, ни противъ извѣстнаго предмета. Нельзя не признать этого распоряженія весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ; но нельзя также не признать, что въ нашей печати то и дѣло, и притомъ самымъ настойчивымъ образомъ, высказывается необходимость измѣненія нашего государственнаго строя». А вслѣдъ за тѣмъ идутъ весьма пространныя разсужденія, направленные противъ извѣстнаго предмета, а слѣдовательно и противъ того самаго распоряженія, которое московская газета находить «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ». Обратите вниманіе

маніе сначала на слѣдующую черту. Правительство, по своимъ соображеніямъ, объ основательности которыхъ мы судить не можемъ, изъимлетъ тотъ или другой предметъ, назовемъ его *х*, изъ круга обсужденія литературы. Литература обязана подчиниться этому распоряженію, но какъ она можетъ ему радоваться, когда вся миссія ея состоитъ въ глашномъ и всестороннемъ обсужденіи всѣхъ предметовъ міра видимаго и невидимаго, а въ томъ числѣ и этого запретнаго *х*? Хозяйка рѣшаетъ подрѣзать гусамъ крылья—это ея дѣло, но неужто сами-то гуси могутъ находить это рѣшеніе «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ»? Удивительное дѣло! Казалось бы, представитель печати, имѣя свое собственное мнѣніе объ *х*, долженъ непремѣнно желать доставить ему побѣду, то-есть свести его на очную ставку со всѣми другими, враждебными мнѣніями, разгромить эти враждебные мнѣнія и на ихъ развалинахъ водрузить знамя истины и справедливости, какъ онъ ихъ понимаетъ. Но «Московскія Вѣдомости» довольствуются малымъ: *словесной* побѣдой среди всеобщаго молчанія! Какъ, подумаешь, лестно и какъ благородно! «Страна» по этому поводу замѣчаетъ: «Странно, что газета, признавая запрещеніе цѣлесообразнымъ, тутъ же сама его нарушаетъ. Или «Русь» и «Московскія Вѣдомости» имѣютъ особыя указанія?» «Новое время» въ свою очередь находитъ со стороны «Московскихъ Вѣдомостей» «безтактнымъ» говорить о предметѣ, о которомъ нѣтъ возможности всѣмъ сторонамъ объясниться на чистоту».

Замѣчанія «Страны» и «Новаго Времени» очень справедливы. Мнѣ кажется только немножко страннымъ, что обѣ газеты такъ усиленно приурочиваютъ свои соображенія къ данному случаю. Это вѣдь только эпизодъ, правда, очень пикантный. Совершенно независимо отъ него, есть множество предметовъ, объ которыхъ тоже «нѣтъ возможности всѣмъ высказаться на чистоту», что не мѣшаетъ, однако, нѣкоторымъ витязямъ литературы (они называютъ другихъ «мошенниками пера и разбойниками печати») толковать объ нихъ съ чрезвычайною развязностью. И хотя никто не можетъ отнять у нихъ этого права, но надо же все-таки признать, что тутъ-то и находится ворота, черезъ которыя вторгается въ область литературы низменный доносъ. Вамъ говорить, напримѣръ: ты облюбовалъ *х*, ты, слѣдовательно, врагъ отечества, измѣнникъ, недостойный и не стоишь, и столь отдаленныхъ мѣстъ и проч. Вы возражаете: позвольте, однако, я можетъ быть вовсе не облюбовалъ *х*, а если и облюбовалъ, то изъ моего разумія этого *х* вытекаютъ совсѣмъ не тѣ

отношенія къ отечеству, о которыхъ вы говорите; напротивъ...—Знаемъ мы васъ! все польская интрига, а потомъ еврейскіе безпорядки! гвоздитъ свое витязь литературы.—Вы молчите.—А! небось молчишь? а почему же ты молчишь и не присоединяешь своего голоса къ хору витязей?!

Согласитесь, что это доносъ уже въ самой низменной формѣ, потому что въ этомъ примѣрномъ разговорѣ нарушены всѣ тѣ коренныя условія печати, которыя въ принципѣ обязываютъ ее только къ благородному доносу. Правда, доносъ дѣлается во всеуслышаніе, открыто, но вѣдь обвиняемый оправдываться не можетъ, обвинитель же никакихъ дѣйствительныхъ доказательствъ не представляетъ, а ограничивается болѣе междометіями и бранными словами. Такъ что самая открытость доноса свидѣтельству о еще большемъ, можетъ быть, нравственномъ паденіи, чѣмъ какое обнаруживается тайнымъ доносомъ. Тайный доносчикъ, можетъ быть, все-таки стыдится своего грязнаго дѣла, а эти витязи безъ стыда и цензуры, эти благородные враги «мошенниковъ пера и разбойниковъ печати» съ полнымъ самодовольствомъ бьютъ людей, у которыхъ связаны руки, и надругаются надъ людьми, у которыхъ зажать ротъ. И какъ же опять не припомнишь горе страны...

Есть и еще примѣръ низменнаго литературнаго доноса. Его практикуетъ г. Щебальскій.

Трактуетъ о беллетристахъ-народникахъ, г. Щебальскій мимоходомъ сдѣлалъ честь узавлѣнія и мнѣ, къ народной беллетристикѣ ни мало не причастному. Онъ говоритъ между прочимъ, совершенно между прочимъ и даже ни къ селу, ни къ городу: «Политическія преступленія и вызывающая ихъ мація производить пертурбаціи въ теченіи политической и соціальной жизни человѣчества, суть, можетъ быть, такая же психическая болѣзнь, такое же временное нервное расстройство, какъ усматриваемыя Н. Михайловскимъ въ среднѣ вѣка «эпидемія самобичеванія, неистовой пляски, демономанія, демонолатрія, истребленія евреевъ, освобожденія гроба Господня и проч.» («Отечественныя записки», 1882, № 2). Можетъ быть читателямъ противнаго намъ лагеря не понравится сопоставленіе «неистовой пляски» съ революціонною эпидеміей; но намъ съ еще большимъ основаніемъ непріятно подведеніе подъ кличку нравственныхъ болѣзней того религіознаго чувства, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣрившихъ во Христа».

Видите, какъ тонко. Г. Щебальскій ни

въ чемъ прямо меня не обвиняетъ,—ни въ сочувствіи къ революціи, ни въ неуваженіи къ религіи. Онъ только подмигиваетъ. Разъ подмигнуть, два подмигнуть, анъ, смотришь, гдѣ слѣдуетъ и составилось не то что убѣжденіе, а такъ, туманный обликъ убѣжденія, что вотъ, молъ, гдѣ крокодилъ на днѣ лежитъ. Г. Щебальскій это очень хорошо понимаетъ и неустанно подмигиваетъ на протяжении всей своей статьи. Я сейчасъ рассмотрю нѣсколько подробнѣе подмигиваніе въ мою сторону и, къ счастью, могу это сдѣлать съ полнѣйшею откровенностью, ибо рѣчь идетъ о чисто научномъ вопросѣ. Но вотъ и еще нѣсколько образчиковъ подмигиванія г. Щебальскаго.

Говоря о «Власти земли» г. Успенскаго, московскій критикъ заявляетъ между прочимъ (у него все между прочимъ!): «И что же! въ концѣ концовъ выходитъ что Иванъ правъ; что, по крайней мѣрѣ, онъ не виноватъ, а виновенъ кто-то другой или что-то другое. «Среда заѣла»,—сказали бы дѣтъ двадцать тому назадъ! Но среда-ли, другое-ли что,—дѣло въ томъ, что Иванъ въ глазахъ читателя обьяняется, а обсужденію предается кто-то другой: *точь съ точь тотъ же приемъ, какъ въ драмѣ Вери Засулчъ*». Положимъ, что Вѣра Засулчъ и ея дѣло тутъ совершенно не причеиъ: ни это дѣло нисколько не объясняетъ исторію Ивана Босыхъ, ни исторія Ивана Босыхъ не объясняетъ дѣла Засулчъ. Но какая до всего этого надобность г. Щебальскому; онъ подмигнулъ и — конецъ! Подмигнулъ безсмысленно «весьма, какъ говорится, нецѣлесообразно», но вѣдь отъ подмигиванія и не требуется логическаго разсужденія или прямого доказательства. Цѣль достигнута: извѣстное имя пристегнуто къ тому, что намъ не нравится и съ тѣмъ открыто бороться у насъ не хватаетъ силенки, а тамъ разбѣрай, поди! Или, наприимѣръ, говоря объ одномъ разсказѣ г. Златовратскаго, г. Щебальскій замѣчаетъ: «Не знаю, имѣлъ-ли въ виду г. Златовратскій выставить «бунтарей» благодѣтелями русскаго народа, единственными людьми, пекущимися о немъ, но если онъ этого не имѣлъ и не имѣетъ въ виду, то желательно, чтобъ онъ и не подавалъ повода заподозривать себя въ такихъ слишкомъ уже нелитературныхъ тенденціяхъ». Какъ видите, опять никакого прямого обвиненія, ничего такого, что можно бы было назвать благороднымъ доносомъ. Нѣтъ, г. Щебальскій просто собственною персоною повторяетъ то, что рассказываетъ о себѣ кто-то у Гоголя: «я и мигаю Ивану Петровичу (а можетъ быть Петру Ивановичу), чтобы онъ козырялъ!» Ну, Иванъ Петровичъ посмотреть, посмотреть, да и козырнуть.

Я думаю, что приемы г. Щебальскаго только то и имѣютъ въ себѣ литературнаго, что практикуются перомъ на бумагѣ, нотомъ написанное сдается въ типографію, набирается, корректируется, верстается и т. д. Въ сущности же они представляютъ яркій образецъ того низменнаго доноса, который противорѣчитъ самымъ кореннымъ условіямъ литературной работы. Здѣсь нѣтъ ни открытаго обвиненія, ни равенства оружія, ни готовности принять на себя послѣдствія легкомысленнаго или недобросовѣстнаго обвиненія, то-есть, готовности отвѣчать за каждое слово. А отвѣчать есть за что,

Позвольте нѣсколько словъ *pro domo sua*.

Г. Щебальскій полагаетъ сказать нѣчто чрезвычайно язвительное и ядоносное, на-мекомъ на «революціонную эпидемію», которую я, будто бы, не соглашусь сопоставить съ другими нравственными эпидеміями. Нѣтъ, г. Щебальскій, подмигиваніе тутъ есть, хоть и не особенно искусное, ну, а яду совсѣмъ мало. Старый ужъ вы, должно быть, человекъ, а этого не понимаете. Въ статьѣ «Герои и толпа» прямо говорится: «Мы видимъ только, что существуетъ какая-то особая сила, толкающая людей къ подражанію; сила очень на первый взглядъ капризная, ибо охваченный ею человекъ подражаетъ иногда палачу, то-есть совершаетъ убійство, а иногда казненному преступнику; послѣднее, кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ, *особенно часто случается съ политическими преступниками*». Въ продолженіи статьи я надѣюсь обставить эту частію фактически и доказать, что во всякомъ революціонномъ движеніи, независимо отъ его политическихъ, экономическихъ и другихъ причинъ, играетъ роль сила подраженія; что это подражаніе вызывается, между прочимъ, примѣрами страданій, которыя создаетъ репрессія. Запомните это, г. Щебальскій, и перестаньте такъ хитро подмигивать: не въ то мѣсто попали...

Что касается другой ядовитости г. Щебальскаго, то она особенно любопытна въ устахъ историка (г. Щебальскій—историкъ или когда-то былъ имъ). Было-бы, разумѣется, очень для меня лестно, еслибы я первый сопоставилъ крестовые походы съ неистовою пляскою и другими средневѣковыми нравственными эпидеміями. Но увы! это сдѣлано уже очень давно и очень многими. До такой степени давно и многими, что стала общимъ мѣстомъ и мнѣ пришлось (по поводу мнѣнія Илама) даже доказывать, что такіа массовыя движенія, какъ крестовые походы, имѣли своимъ источникомъ не одно голое подражаніе, а еще цѣлую сложную сѣть умственныхъ, экономическихъ, политическихъ условій средневѣковой жизни. И опять, зна-

читать, г. Щебальский не въ то мѣсто попалъ. А вѣдь какую хитрѣйшую фязіономію устроилъ, когда подмигивалъ! Впрочемъ, подмигивалъ онъ больше насчетъ «подведенія подъ кличку нравственныхъ болѣзней того религіознаго чувства, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣровавшихъ во Христа». Г. Щебальский очень, видите-ли, обиженъ за дешевую опѣнку религіознаго чувства крестоносцевъ. Очень бы многое могъ я сказать по этому поводу историку (!) Щебальскому, но скажу малое. Да и то не самъ скажу, а попрошу говорить за себя архимандрита Арсенія, въ сторону котораго г. Щебальский можетъ быть и не рѣшится подмигивать. Въ «Лѣтописи церковныхъ событій» архимандрита Арсенія, о первомъ крестовомъ походѣ говорится такъ: «Простой народъ, безчеловѣчно тѣснымъ своими владѣльцами, радъ былъ и безъ того избавиться отъ своихъ владыкъ, а владѣльцы увлекались предстоящею славой подвиговъ, почестей и богатствъ; религіозное одушевленіе довершило остальное... Такимъ людямъ давалось, именемъ папы, полное отпущеніе грѣховъ (индугенція) и разрѣшеніе отъ постовъ на время войны, а также отъ слѣдующихъ имъ гражданскихъ за преступленія наказаній; оттого преступники охотно шли въ полки крестоносцевъ. Папа первый получилъ пользу отъ крестоносцевъ... Первые толпы крестоносцевъ... вели себя такъ необузданно, что жители всюду поступали съ ними, какъ съ врагами, въ Константинополь не пустили, а императоръ послѣднихъ переправить ихъ въ Азію, гдѣ они также опустошали все на пути». Что же касается четвертаго крестоваго похода, то одинъ изъ его эпизодовъ та же «Лѣтопись церковныхъ событій» изображаетъ слѣдующими чертами: «Крестоносцы вторглись въ Константинополь. Они сначала сами не довѣряли своему успѣху, не думая, чтобы городъ, съ предмѣстьями имѣвшій до двухъ милліоновъ жителей, не оказалъ отчаяннаго сопротивленія. Зажегши еще разъ городъ, они въ безпорядкѣ бросились грабить церкви и дворы. Попирая иконы, мощи, тѣло и кровь Христову, какъ антихристовы предшественники, по выраженію очевидца Никиты Хоніата, и потомки распинателей Христовыхъ, латиняне всюду искали только золота и драгоценностей. Насилія и убійства, пьянство и развратъ сопровождали ихъ».

Все это, вполне доступное любому гимназисту, было однако доселѣ неизвѣстно историку Щебальскому, и вотъ почему онъ столь горячо принимаетъ къ сердцу религіозное чувство крестоносцевъ. Въ извиненіе г. Щебальскаго надо однако прибавить,

что въ краткихъ учебникахъ дѣло, дѣйствительно, излагается такъ, или почти такъ, какъ оно представляется историку и критику «Русскаго Вѣстника». Однако теперь, когда, благодаря мнѣ, горизонтъ московскаго историка расширился даже до «Лѣтописи церковныхъ событій» архимандрита Арсенія... Теперь—коня! коня! г. Щебальскому. И такъ какъ онъ будетъ взбираться на коня, должно быть, довольно долго, то послѣдніе могутъ поддержать подъ уздцы, напримѣръ, гг. Маркевичъ съ Авсеенкомъ, пожалуй въ костюмахъ крестоносцевъ, а г. Катковъ пусть изъ окна или съ балкона благословляетъ знаменитаго витязя на новый бой. На этотъ разъ бой долженъ произойти съ архимандритомъ Арсеніемъ, несравненно болѣе, чѣмъ я, унижившимъ «то религіозное чувство, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣровавшихъ во Христа»...

Простите, читатель, но надо же было хоть на одномъ примѣрѣ показать, какъ все это просто, какъ ничего, кромѣ вѣдора, лжи, невѣжества, нѣтъ за всѣми этими ультраблагонамѣренными подмигиваніями и доносами. Но представьте себѣ, что крестовые походы, по какимъ-нибудь соображеніямъ изъяты изъ области литературнаго обсужденія. Г. Щебальский нашелъ бы, вѣроятно, такое распоряженіе «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ» и торжествовалъ бы словесную побѣду среди всеобщаго молчанія, имѣя при томъ видъ Геркулеса, покончившаго съ многоглавою гидрой. Но представьте себѣ съ другой стороны, что ничто не изъято изъ области литературнаго обсужденія. Вы понимаете, какъ быстро развалился бы въ такомъ случаѣ всѣ эти, построенныя на пескѣ, вавилонскія башни подмигиваній и доносовъ. О, тогда всѣмъ сразу открылось бы, гдѣ обитаютъ подлинныя мошенники пера и разбойники печати, гдѣ находятся настоящіе Понтийскіе Пилаты и лукавые Іуды, которые «Христа своего распинаютъ, отчизну свою продаютъ». Поживемъ, увидимъ...

А подмигивать чрезвычайно легко. Хотите, мы сейчасъ устроимъ контръ-доносъ на г. Щебальскаго, блистательный, если не по формѣ (это дѣло навыка, а я его не имѣю), то по замыслу? Минутное дѣло. Примѣрно вотъ такъ.

Беря въ руки «Лѣтопись церковныхъ событій» архимандрита Арсенія и сравнивая опѣнку крестовыхъ походовъ, сдѣланную этимъ истинно православнымъ духовнымъ лицомъ съ тою, которую даетъ имъ московскій ученый историкъ, мы невольно предаемся грустнымъ размышленіямъ. Не можемъ допустить, чтобы

ученый историкъ не знаетъ тѣхъ фактовъ, какіе сообщаются «Лѣтописью». Не можетъ онъ также не знать, что православная Русь никогда не принимала участія въ крестовыхъ походахъ, имѣя на то, конечно, основательныя причины, и что, напротивъ, были въ исторіи случаи, когда папы римскіе проповѣдывали крестовый походъ противъ Руси, ставя ее такимъ образомъ на одну доску съ невѣрными. Безспорно, крестовые походы представляютъ одинъ изъ моментовъ вѣчнаго торжества католической идеи, но русскому историкъ не мѣшаетъ, можетъ быть, помнить, что эта идея была всегда враждебна греко-восточному православію, каковая вражда запечатлѣна въ исторіи крестовыхъ походовъ даже кровію. Что же касается фамилии г. Щербальскаго, то ея окончаніе — *ский* — страннымъ образомъ совпадаетъ съ окончаніемъ, весьма обычнымъ у католиковъ-поляковъ... Можетъ быть г. Щербальскому надлежало бы быть осторожнѣе, въ особенности теперь, когда мы получаемъ тревожныя извѣстія изъ Вильны, а либерализмъ нѣкоторыхъ государственныхъ людей допустилъ польскій театръ и польскую газету въ Петербургъ...

Это—подмигиваніе, ну, а прямой доносъ устроить, конечно, еще легче, потому что тутъ уже рѣшительно нечего стѣсняться; тутъ тѣхъ же щей, только погуще влей, съ пряной приправой междометій и бранныхъ словъ.

Если читатель скажетъ, что я преувеличиваю, что мой контръ-доносъ есть каррикатура, то я отвѣчу: нѣтъ, не преувеличеніе это и не каррикатура, а, напротивъ, только очень слабое лишь подражаніе дѣйствительности. Дѣйствительность давно уже превзошла всякую, самую пылкую фантазію и примѣрами необузданнаго доноса наша бѣдная литература кипши кипитъ.

Есть такой казанскій человѣкъ, Александръ Оедоровичъ Гусевъ. Кто онъ такой я не знаю, а что его зовутъ Александръ Оедоровичъ и что онъ казанскій человѣкъ, это я узналъ изъ обложки одной изъ его книгъ: такъ пропечатано. Этотъ самый г. Гусевъ находился въ чрезвычайной ажитации въ то достопамятное время, когда г. Цитовичъ при- ставалъ къ «Берегу» и утвердился на ономъ. Г. Гусевъ суетился, какъ бѣсъ передъ заутреней (да простится мнѣ это выраженіе), курилъ енисіамъ г. Цитовичу, полемизировалъ съ его противниками, вздыхалъ о паденіи «основъ»; словомъ, всѣмъ своимъ существомъ говорилъ: доложите всѣмъ тамъ министрамъ и генераламъ, что живетъ въ Казани Александръ Оедоровичъ Гусевъ, человѣкъ благонамѣренности непоколебимой и готовности беззавѣтной. И никто на него, бѣдняжку,

тогда вниманія не обратилъ! Грѣшенъ и я передъ Александромъ Оедоровичемъ. Онъ мнѣ прислалъ свою книжку («Натуралистъ Уоллсъ, его русскіе переводчики и критики»), въ которой, между прочимъ, онъ третируетъ меня съ величайшимъ презрѣніемъ и негодованіемъ. Ясно, что при этомъ послѣднемъ условіи, фактъ присылки книги могъ означать только одно: доложите министрамъ и генераламъ, выругайте, но доложите. Однако, я не доложилъ, думаю себѣ: не надо! и такъ хорошъ Александръ Оедоровичъ. Такъ вотъ на первой же страницѣ упомянутой книжки напечатано: «Современное невѣріе начинается прибѣгать къ самымъ безчестнымъ средствамъ для противодѣйствія христіанскому мировоззрѣнію... Въ 1877 году Е. Н. Воронецъ въ «Православномъ Обзорѣніи» указывалъ научную недобросовѣстность журнала «Знаніе», редакція котораго, при изданіи на русскомъ языкѣ знаменитаго сочиненія Пальгрева объ Аравіи, ея жителяхъ и магометанствѣ, не стѣснилась, *сачило* возвеличенія мусульманской религіи, выкинуть изъ произведенія Пальгрева тѣ мѣста, въ которыхъ высказывается надле- жащій судъ надъ магометанствомъ».

Вотъ! Не подумайте пожалуйста, что редакторами-издателями «Знанія» были Султанъ-Калбалай-ханъ-Коропчевскій и Хаджи-Абрекъ-Гольдсмитъ. Совсѣмъ нѣтъ: просто г. Коропчевскій и просто г. Гольдсмитъ. Я могу допустить, что они издали дурной и даже, дѣйствительно, изуродованный переводъ сочиненія Пальгрева, это у насъ нерѣдко случается. Но чтобы они были переводѣтны мусульманскіе эмиссары, чтобы они испортили переводъ «съ цѣлью возвеличенія мусульманской религіи», это, воля ваша, уже черезъ край, по ту сторону Геркулесовыхъ столбовъ. Это гораздо сильнѣе, чѣмъ мое предположеніе, что г. Щербальскій за- щипщаетъ религіозное чувство крестоносцевъ съ цѣлью возвеличенія католической идеи. Тутъ хоть какой-нибудь смыслъ есть, а тамъ уже ровно никакого.

Все это было бы, конечно, очень смѣшно, еслибы не было такъ отвратительно. Не все же съ нахмуренными бровями ходить. Отчего иногда и не посмѣяться, хотя бы, напримѣръ, надъ высоко комическимъ доносомъ г. Гусева (или г. Воронца?), потому что самъ по себѣ онъ, въ самомъ дѣлѣ, высоко комиченъ. Но вѣдь онъ не одиноко стоитъ. Мы къ нему подошли такимъ долгимъ и постепеннымъ путемъ подмигиваній и доносовъ на всякаго рода сепаратизмы и другіе «измы», что даже не особенно удивились, когда въ одинъ прекрасный день Александръ Оедоровичъ разъяснилъ, что издатели «Знанія» суть тайные, но ревностные магоме-

тане. Привыкли. Должно быть, ваше тоже казанское начальство привыкло, иначе г. Тальквистъ не могъ бы совершать à la longue свои подвиги по части уловленія социалстовъ. Въ этой то привычкѣ и заключается ужасъ нашего положенія. Горе странѣ, въ которой доносчики и шпионы выступаютъ на видное мѣсто, но еще горшее горе странѣ, въ которой притупляется общественное презрѣніе къ доносу, то-есть одно изъ наиболѣе общихъ и элементарныхъ нравственныхъ побужденій, и въ которой поэтому доносчикъ уже не считается нужнымъ прятаться, скрываться. Нѣтъ, нелѣпѣйшее, бессмысленнѣйшее обвиненіе онъ съ совершенно яснымъ лбомъ предъявляетъ въ литературѣ (г. Гусевъ, напримѣръ) или на улицѣ (г. Тальквистъ, напримѣръ) и еще требуетъ себѣ за это титула спасителя отечества и уличаетъ другихъ въ «безчестныхъ» приѣмахъ. Это онъ-то! Но разъ онъ вышелъ съ этою глупостью и дрянностью въ литературу или на улицу, значить онъ рассчитываетъ на одобреніе болѣе или менѣе значительнаго круга людей. Рассчитываетъ и иногда, по крайней мѣрѣ, получаетъ...

Воображаю, каково жить въ Казани, гдѣ есть такое блистательное созвѣдіе, какъ г. Гусевъ, г. Тальквистъ, да на придачу еще г. Фельдманъ, въ котораго «стрѣляли динамитомъ»!

Недурно въ Харьковѣ, гдѣ «чердачные Бруты и Касси» потерпѣли недавно такое крупное пораженіе отъ руки истинныхъ сыновъ отечества.

Недурно въ Одессѣ, куда ждуть, говорятъ, опять г. Цатовича, «который будто бы возвратилъ уже казнѣ восемнадцать тысячъ франковъ въ счетъ *дола* и такимъ образомъ очистился въ глазахъ общества и профессоровъ» («Заря», № 110). Вернется-ли г. Цатовичъ и какимъ онъ вернется, это дѣло темное, а вѣрно то, что изъ новороссійскаго университета почему-то бѣгутъ лучшіе профессора: Мечниковъ, Посниковъ, Преображенскій...

Такъ идутъ дѣла въ университетскихъ городахъ, въ центрахъ, значить. Изъ центровъ идутъ во всѣ стороны радіусы, концы которыхъ образуютъ кругъ. Ну и вертись въ этомъ кругѣ, современникъ...

А между тѣмъ, какъ въ сущности просто устранить всѣ эти безобразія. Надо только немножко свѣта. Тогда доносъ перестанетъ быть монополіей людей нравственно низменныхъ, и чистыя руки сдѣлаютъ грязное дѣло доноса чистымъ дѣломъ: найдутъ и открыто укажутъ настоящимъ враговъ родины, ея губителей, прачущихся нынѣ за «весьма, пакъ говорится, цѣлесообразными» мѣропріятіями...

XVI.

Забытая азбука *).

I.

Съ нынѣшняго года въ Москвѣ издается новый журналъ «Другъ женщинъ», подъ редакціей г-жи Богуславской. Какъ видно изъ объявленія о подпискѣ, журналъ выходитъ по два раза въ мѣсяцъ. Сколько номеровъ до сихъ поръ вышло, я не знаю, но на послѣднемъ изъ видѣнныхъ мною, седьмомъ, значится цензурная помѣтка отъ 20 го сентября. Слѣдовательно, я, во всякомъ случаѣ, видѣлъ почти все, сдѣланное редакціей «Друга женщинъ». Случилось такъ, что я прочиталъ всѣ эти семь маленькихъ книжечекъ сразу, а до тѣхъ поръ даже не зналъ о существованіи новаго журнала. И я очень радъ, что такъ случилось. Еслибы я своевременно прочиталъ первую книжку «Друга женщинъ», то подумалъ бы: вотъ тоненькій блинъ, начиненный плохой прозой совершенно незначительнаго содержанія—и, конечно, тотчасъ забылъ бы о «Другѣ женщинъ». Гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, помнить всякую отдѣльную пустяковину безъ цвѣта, безъ вкуса и безъ запаха, съ которой приходится сталкиваться въ океанѣ печатной бумаги. Прочитавъ вторую книжку, я опять-таки подумалъ-бы о блинѣ, начиненномъ на этотъ разъ не только плохой прозой, но и еще болѣе плохими стихами. Это послѣднее обстоятельство, то-есть прибавка плохихъ стиховъ къ плохой прозѣ, не помѣшало бы, однако, тотчасъ же забыть второй номеръ, не вспомнивъ о первомъ. Такъ было бы и съ третьимъ, и съ четвертымъ номеромъ и т. д. Теперь не то. Теперь вотъ всѣ эти семь блиновъ или, деликатно выражаясь блинчиковъ, сразу лежатъ передо мной въ своихъ разноцвѣтныхъ оберточкахъ, свѣтло- и темно-розовыхъ, свѣтло- и темно-синихъ, зеленыхъ. И ознакомившись съ ними разомъ, такъ сказать, залпомъ, я вижу, что «Другъ женщинъ» есть не случайный какой-нибудь пустякъ, а явленіе въ своемъ родѣ чрезвычайно любопытное и всякаго вниманія достойное. Признаюсь, я даже не ожидалъ, что могу до такой степени заинтересоваться изданіемъ, носящимъ имя «Друга женщинъ». Не потому, конечно, чтобы я безучастно относился къ положенію женщинъ. Нѣтъ, я имъ желаю всего лучшаго, какъ желаю, впрочемъ, и мужчинамъ. Но мнѣ казалось, что специальный «другъ женщинъ», положимъ, даже очень интересный для «отжившихъ и нежившихъ», никакимъ образомъ не можетъ задѣть за живое насъ, не утра-

*) 1882 г., ноябрь.

тившихъ чутья и жажды жизни, но выдавшихъ виды. Ахъ, сколько мы, въ самомъ дѣлѣ, видовъ видали въ той области отношеній и вопросовъ, гдѣ можно быть другомъ или недругомъ женщинъ! И какихъ только видовъ мы не видали: были веселые, были и грустные, были трогательные, были и гнусные, была теорія, была и практика. Всякое было, и, спрашивается, чѣмъ насъ тутъ удивить можно? Для насъ, вѣдь, все тутъ азбука и нѣтъ въ этой области такого приѣма мысли, такой точки зрѣнія, которая не была бы нами давно и со всѣхъ сторонъ изучена...

Такъ думалъ я въ своей гордости человека, выдавашаго виды. По совѣсти говоря, впрочемъ, такая гордость не представляетъ ничего незаконнаго или самохвальнаго. Слишкомъ четверть вѣка, такъ называемый, женскій вопросъ жуется у насъ на разные лады и по разнымъ поводамъ. Не грѣхъ, кажется, думать, что въ такой долгій срокъ мы, наконецъ, изучили азбуку и даже ничего любопытнаго въ ней не находимъ. Какъ бы то ни было, а я посрамленъ журналомъ г-жи Богуславской: онъ оказался крайне любопытнымъ.

Сначала поговоримъ, впрочемъ, объ томъ, что нисколько не любопытно и вниманія недостойно, собственно затѣмъ, чтобы показать, что такого добра въ «Другѣ женщинъ» не мало.

Вотъ, напимѣръ, повѣсть г-жи Чемодановой «Цвѣтокъ безъ свѣта». Повѣсть изъ самаго что ни на есть аристократическаго быта. Въ ней, собственно говоря, всего три дѣйствующихъ лица, но за то всѣ три титулованныя: кроткая, смиренномудрая княжна Волжинская и страстная, коварная княжна Ганская борются изъ-за сердца легкомысленнаго князя Бѣлопольскаго. Борьба разрѣшается въ пользу коварства и страсти и, слѣдовательно—увы!—въ ущербъ кротости и смиренномудрью: кроткая княжна поступаетъ въ монастырь. Коварная же княжна такъ бесѣдуетъ по этому поводу съ легкомысленнымъ княземъ: —«Гдѣ же тутъ жизнь и любви? Холодомъ вѣетъ отъ такихъ монастырскихъ натуръ — нѣтъ, нельзя за ними жизнь признать! а жизнь такъ цвѣтетъ и свѣжестью пышетъ, такъ и манитъ въ свои объятья... Князь, неужели же мы для того живемъ, чтобы мертвымъ сномъ спать, закрывать насильно глаза отъ яркихъ красокъ жизни?! О нѣтъ! я чутко слышу зовъ природы на веселое пиршество жизни!— Она замолкла и тихо наклонилась надъ роскошнымъ букетомъ свѣжихъ цвѣтовъ изящной блѣдно-голубой вазы; срывая лепестки, она бессознательно ихъ жевала. Атмосфера кабинета была пропитана одуряющимъ запахомъ розъ. Уже темнѣло. Тѣни покачиваемыхъ

вѣтромъ садовыхъ деревьевъ ложились полосами на полъ кабинета. Время было послѣобѣденное—княжна спросила шоколаду».

Согласитесь, что повѣсть, составленная изъ такихъ перловъ, ничего достопримѣчательнаго не представляетъ. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, подобныя экскурсіи въ велико-свѣтскія сферы могли интересовать читателя, вмѣстѣ съ тѣмъ упражняя самого писателя въ русскій слогъ. Нынѣ же даже гг. Маркевичъ и Авсеенко, доведшіе этотъ родъ литературы до высшей степени совершенства, должны заманивать читателя вставками нигилистовъ и другихъ совершенно невелико-свѣтскихъ фигуръ. Куда же ужъ тутъ г-жѣ Чемодановой съ ея шоколадомъ, въ видахъ оригинальности употребляемомъ въ большомъ свѣтѣ по случаю «послѣобѣденнаго времени»!

Столь же мало достойнымъ вниманія надо признать весь стихотворный отдѣлъ «Друга женщинъ». Вотъ, напимѣръ, начало обращенія г. Москвина «Къ русской женщинѣ-матери»:

Велико и свято твое назначеніе
Женщина, мать въ семьѣ;
Подъ видомъ и образомъ дивнаго генія
Ты свѣточемъ свѣтлѣе во тьмѣ.
Какъ съ неба лазурнаго солнца живи-
тельный

Въ землю бросается лучъ,
Такъ путь твой семейный, разумный, спаси-
тельный

Будетъ пусть ясенъ, могутъ.

И т. д. Въ свою очередь, г. Монастырскій сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ изъ исторіи «Разбитой жизни».

Прошли года. Тебѣ на долю
Замужество выпало. Нагледъ,
Твою закабалить онъ волю
И довалять тебя въ конецъ.

Если это стихи, то я не знаю, почему «Другъ женщинъ» до сихъ поръ не перепечаталъ извѣстнаго, прекраснаго стихотворенія, имѣющаго притомъ достоинство краткости!

Екатерина Великая, о!
Поѣхала въ Царское село.

Едва-ли также можно считать въ какомъ-нибудь отношеніи достопримѣчательными вещи, въ родѣ статьи «Любовь по порядку» (переводъ съ нѣмецкаго), напечатанной въ № 6. Въ этой статейкѣ, разиѣромъ въ $\frac{1}{2}$ печатнаго листа, сообщается: «Свѣстные припасы (въ особенноти пряности) никогда не должны находиться рядомъ съ освѣтительными и горючими веществами; столовая посуда—съ туалетными принадлежностями; книги и тетради—съ бѣльемъ; сапоги и башмаки—съ платьемъ». Совѣты, что и говорить, прекрасные. Но я не знаю, почему ихъ такъ мало, почему они занимаютъ въ «Другѣ женщинъ» всего двѣ страницы. Почему бы,

напримѣръ, не прибавить еще слѣдующихъ: лица въ смятку слѣдуетъ варить не въ сапогахъ, а въ кострюлѣ, и т. п.

Будетъ, однако. Хорошенькаго понемножку. Читатель скажетъ, пожалуй, что глумиться надъ бѣдностью, столь очевидною, неблаго-родно, тѣмъ болѣе, что бѣдность эта, вѣро-ятно, сама сознаетъ себя таковою и потому, какъ поетъ одна дѣвица у Островскаго, «тиха, скромна, уединенна и сидитъ обыкно-венно у косящата окна». На первый взглядъ, «Другъ женщинъ», дѣйствительно, воплощен-ная скромность, мирно сидящая у косящата окна и никакихъ гордо мечтательныхъ по-ползновеній не имѣющая. Уже одно то взять, что «Другъ женщинъ» появляется тихо, смиренно, не только безъ какихъ-нибудь рекламъ, а даже почти безъ простыхъ объявленій, такъ что многія женщины, вѣроятно, и не подозреваютъ, что у нихъ есть въ Москвѣ другъ. Затѣмъ, въ первомъ же номерѣ редакція съ совершенно исключительною скром-ностью заявляетъ, что она «съ большимъ знаніемъ жизни, нежели науки, приступаетъ къ изданію журнала». Редакцію ободряютъ только «слова Смэйлса, что нерѣдко недо-статокъ научныхъ познаній восполняется опытностью житейскою». Во второмъ номерѣ редакція «предлагаетъ свои страницы тѣмъ (женщинамъ), у которыхъ нѣтъ особеннаго дара писать и смѣлости предлагать свои ру-кописи для напечатанія, но которыя, тѣмъ не менѣе, внимательно всматриваются въ жизнь и заботятся о воспитаніи дѣтей». И такъ, редакція, слабая по части научныхъ познаній, и стороннія сотрудницы, не имѣю-щія «дара писать» — вотъ персональ «Друга женщинъ». Большой скромности, повидимо-му, и требовать нельзя, и ссылка на житей-скую опытность и на заботы о воспитаніи дѣтей весьма мало эту скромность золотитъ. Если, однако, посмотрѣть на дѣло съ другого конца, то не величайшая-ли нескромность выступать въ такомъ скудномъ видѣ съ жур-наломъ? Журналъ, вѣдь это кафедрa, съ вы-соты которой должно раздаваться слово по-ученія для обширнѣйшей аудиторіи. Поло-жимъ, что русская литература знаетъ въ своемъ составѣ не мало редакторовъ, вполне свободныхъ отъ какихъ бы то ни было на-учныхъ познаній и сотрудниковъ, столь же свободныхъ отъ «дара писать». Но прежде всего они сами себя такими не полагаютъ. Затѣмъ, во главѣ журнала можетъ, конечно, стоять человѣкъ, сильный лишь житейскою опытностью, но, именно, вслѣдствіе этой опыт-ности онъ постарается пріобрѣсти отнюдь не такихъ сотрудниковъ, которые заботятся о воспитаніи дѣтей, а дара писать не имѣ-ютъ. Надо, впрочемъ, сказать, что въ треть-емъ номерѣ «Друга женщинъ» встрѣчаемъ

уже заявленіе, что «всѣ члены редакціи по-лучили высшее образованіе». Вмѣстѣ съ тѣмъ редакція стоитъ на томъ, что она хо-четъ предоставить «высказаться» русскимъ женщинамъ, не умѣющимъ писать, причемъ высшая образованность членовъ редакціи восполнить этотъ недостатокъ. Хорошо, пусть такъ. Посмотримъ же, какъ и кому изъ рус-скихъ женщинъ выше образованная редак-ція предоставляет высказаться.

Вотъ гг. Москвинъ и Монастырскій вы-сказываются въ томъ смыслѣ, что «Екатери-на Великая, о! уѣхала въ Царское Село». Мысль очень цѣнная, можетъ быть, но вѣдь гг. Монастырскій и Москвинъ, во всякомъ случаѣ, не русскія женщины.

Вотъ нѣмецъ или нѣмка, которой редак-ція предоставляет высказаться насчетъ не-правильности поведения хозяекъ, наливаю-щихъ керосинъ не въ лампы, а въ корзины съ бѣльемъ. Поведеніе, дѣйствительно, неодо-брительное, и авторъ совершенно правъ. Но этотъ авторъ опять-таки не русская женщина.

Вотъ переводныя же статьи Поля Суріо («О разумномъ воспитаніи»), Эрнеста Легуве («О женщинахъ») и другія. Это тоже не рус-скія женщины высказываются, а къ статьѣ Легуве редакція сочла нужнымъ сдѣлать даже такое примѣчаніе: «Все, что въ этой статьѣ говорится о стѣснительномъ для жен-щинъ законодательствѣ, не можетъ относиться къ русскимъ женщинамъ, такъ (какъ) наши законы относительно женщинъ не такіе стѣснительные».

Вотъ «жизнь св. Анастасіи», «жизнь св. Аполлинарія», «жизнь преподобной Маріи Египетской», «жизнь св. Мавры» — это про-стыя заимствованія изъ Четыхъ-Миней, и рус-скія женщины тутъ рѣшительно не при-чемъ.

Вотъ цѣлый рядъ фактическихъ сообщеній, заимствованный изъ другихъ періодическихъ изданій...

Но неужели же, однако, редакція «Друга женщинъ» такъ-таки рѣшительно не даетъ высказываться русскимъ женщинамъ? О, нѣтъ, даетъ, но до такой степени пропускаетъ сквозь свое собственное, редакціонное ре-шето всѣ подобныя «высказыванія», что отъ нихъ остается лишь нѣчто весьма странное. Такъ, въ № 4 читаемъ: «Изъ самыхъ даль-нихъ окраинъ женщины шлютъ письма въ этотъ журналъ, привѣтствуя его появленіе, и высказывая свои мысли о тяжелой жен-ской долѣ. Отчего это такъ несправедливо устроено, пишетъ намъ одна наша соотече-ственница изъ Алжира: — что женщина, ос-тавленная мужемъ, должна обращаться къ нему съ просьбой о выдачѣ ей паспорта? Отчего общество клеветаетъ на женщину

одинокую, если она не старая? Отчего не приходит никому въ голову устроить убѣжища для одинокихъ женщинъ, которыя не чувствуютъ призванія къ монастырской жизни?» Въ объясненіе своего проживанія въ Африкѣ, наша удалившаяся соотечественница говоритъ: *ici du moins on peut souffrir à l'aise*. Она поискала по свѣту и нашла, что въ Африкѣ «для оскорбленнаго есть чувства уголокъ» («Другъ женщинъ», № 4). И болѣе мы ничего объ нашей африканской соотечественницѣ не узнаемъ. Одно изъ двухъ, кажется: если въ ея письмѣ не было ничего, кромѣ этого французскаго вздоха въ Алжирѣ о скорби русской женщины, то объ немъ слѣдовало бы совсѣмъ умолчать—мало-ли какіе вздохи получаютъ въ редакціяхъ журналовъ: если же такъ наивно и сиротливо торчащіе теперь вопросы алжирской соотечественницы были въ ея письмѣ мотивированы и вообще обставлены, то отчего же редакція не дала ей «высказаться»?

Въ № 1 читаемъ подъ заглавіемъ «Педагогическія замѣтки»: «Педагогическій отдѣлъ, по предположенію «Друга женщинъ», долженъ быть однимъ изъ главныхъ отдѣловъ этого журнала и предоставляется постороннимъ редакціи лицамъ. Въ редакцію доставлена пространная статья о воспитаніи дѣтей, но, къ сожалѣнію, она опоздала для перваго номера, поэтому будетъ помѣщена во второмъ номерѣ нашего журнала. (Мимоходомъ сказать, никакой такой статьи во второмъ номерѣ нѣтъ). Мелкихъ же замѣтокъ доставлено не мало, но въ нихъ только высказывается взглядъ на методу Фребеля. Какъ видно, эта метода сильно распространилась по Россіи. Въ одной замѣткѣ, между прочимъ, сказано... (слѣдуетъ полстраницы «высказыванія»)... Въ другой замѣткѣ одна русская дама говоритъ, что она воспитывалась въ Швейцаріи и получила званіе *Kindergärtnerinn*; что учителемъ у нихъ былъ непосредственный ученикъ Фребеля, но, тѣмъ не менѣе, она противъ методы, послѣдняго, и теперь своихъ дѣтей воспитываетъ, какъ она выражается, безъ методы, предоставляя имъ полную свободу въ выборѣ игръ».

Предоставивъ, такимъ образомъ, «высказаться нѣкоторымъ русскимъ женщинамъ и исполнивъ собою на этомъ пунктѣ довольная, редакція заканчиваетъ такъ: «Желательно, чтобы теперь высказались приверженцы авторитета въ педагогикѣ»... И чудесно...

Несравненно болѣе посчастливилось г-жѣ Бабкиной. Ей редакція, дѣйствительно, предоставила высказаться, напечатать цѣликомъ ея письмо въ первомъ же номерѣ и не только снабдивъ его сочувственнымъ примѣчаніемъ, но, повидимому, принявъ его даже

въ руководство. Что же касается самой г-жи Елизаветы Бабкиной, то она живетъ въ «сельцѣ Лавровѣ» и болѣе объ ней ничего неизвѣстно. Г-жа Елизавета Бабкина пишетъ въ редакцію: «Съ удовольствіемъ я прочла извѣщеніе, что будетъ издаваться журналъ женщиною для женщинъ. Вся ваша программа мнѣ нравится; особенно то, что у васъ хватаетъ духу помѣщать жизнь святыхъ женщинъ. Теперь время давать чтеніе изъ жизни духовной. Хотя я живу въ глуши, но прошлую зиму провела въ столицѣ и замѣтила, что у многихъ начинающихъ является потребность въ духовномъ чтеніи. Совершенно вѣрно сказали, забыла, какой-то нѣмецъ про настоящее время, что люди ослѣпѣли отъ реализма». И т. д. Редакція, съ своей стороны, отвѣчаетъ: «На ваше письмо можемъ только отвѣтить, что, именно, подмѣченный нами поворотъ къ потребности въ духовномъ чтеніи внушилъ намъ мысль помѣщать на страницахъ «Друга женщинъ» описанія жизни женщинъ, имѣвшихъ высшіе нравственные идеалы, а не меркантильныя, только матеріальныя стремленія».

Обратите вниманіе на маленькое лукавство, къ которому прибѣгаетъ выше образованная редакція, приступившая, впрочемъ, къ изданію журнала съ большимъ знаніемъ жизни, чѣмъ науки. Г-жа Елизавета Бабкина говоритъ о «духовномъ» чтеніи въ совершенно спеціальномъ смыслѣ, ей, именно, житія причисленныхъ къ лику святыхъ нужны. Редакція же расширяетъ этотъ спеціальнй смыслъ до противоположенія духовнаго матеріальному и даже «меркантильному». Это, вѣдь, двѣ совершенно разныя вещи. Наглядно разница между ними можетъ быть представлена слѣдующимъ простымъ сопоставленіемъ. Г-жа Елизавета Бабкина, на примѣръ, имѣетъ въ своемъ распоряженіи высшіе нравственные идеалы и чуждается «матеріальныхъ стремленій». Однако, къ лику святыхъ она не причислена и не будетъ причислена. Равнымъ образомъ и редакція «Друга женщинъ», въ полномъ составѣ своихъ выше образованныхъ членовъ, въ святцахъ не значится, не взирая на свои идеальныя стремленія. А такъ какъ не только свѣту, что въ окошкѣ, то и вообще въ природѣ, а не только въ сельцѣ Лавровѣ и въ помѣщеніи редакціи «Друга женщинъ», найдется, вѣроятно, не мало стремленій, отнюдь не матеріальныхъ или «меркантильныхъ», которыя, однако, не укладываются въ рамки «духовнаго чтенія», какъ его разумѣетъ г-жа Бабкина. Редакція «Друга женщинъ» это конечно, очень хорошо понимаетъ, какъ можно думать на основаніи ея высшей образованности и какъ видно изъ самой программы журнала. Въ этой про-

граммъ есть рубрика: «Описаніе жизни писательницъ, женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи и причисленныхъ къ лику святыхъ». Сообразно этому, въ первомъ номерѣ помѣщены рядомъ «Послѣднія минуты жизни Жоржъ-Зандъ» и «Жизнь св. Анастасіи». Первую изъ этихъ статей г-жа Бабкина, съ своей точки зрѣнія, очень послѣдовательно, матеріаломъ для духовнаго чтенія не признаетъ и, можетъ быть, даже увидитъ въ ней одинъ изъ симптомовъ «опьяненія реализмомъ». Съ точки же зрѣнія редакціи, это матеріалъ вполне умѣстный, потому что хотя Жоржъ-Зандъ и грѣшная была человѣкъ, подобно огромному большинству человѣковъ и человѣчицъ, но извѣстныя идеальныя стремленія, безъ сомнѣнія, имѣла, быть можетъ, даже болѣе идеальныя, чѣмъ стремленія г-жи Елизаветы Бабкиной. Несмотря, однако, на это, послѣ письма г-жи Бабкиной, редакція «Друга женщинъ» не даетъ уже ни одного «описанія жизни писательницъ и женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи» и пополняетъ соотвѣтственную рубрику исключительно житіями причисленныхъ къ лику святыхъ. И совершенно, разумеется, напрасно. Высокіе подвиги самоотверженія, несокрушимая преданность своимъ убѣжденіямъ христіанскихъ мученицъ св. Анастасіи или св. Мавры никоимъ образомъ не могутъ служить прямыми, непосредственными примѣрами и поученіями для русскихъ женщинъ. Теперь, вѣдь, никому не возбраняется называться христіаниномъ, и собственно, за исповѣданіе христіанской вѣры никто мукъ и преслѣдованій не терпитъ. Слѣдовательно, практическое поученіе, даваемое житіями св. Анастасіи и св. Мавры, заключается не въ томъ, что онѣ были христіанки, а въ томъ, что познавъ истину, онѣ неуклонно шли ея путемъ, не взирая ни на какія препятствія и преслѣдованія. Думаю поэтому, что, въ удовлетвореніи запроса въ «духовномъ чтеніи», предъявленнаго г-жею Бабкиной, «Другъ женщинъ» могъ не ограничиваться житіями святыхъ. Онъ могъ бы, независимо отъ нихъ, печатать статьи религіознаго содержанія или, за неимѣніемъ собственныхъ богословскихъ силъ, перепечатывать творенія отцовъ церкви, слова и поученія церковныхъ ораторовъ и т. п. Въ интересахъ же собственнаго разумѣнія «духовнаго чтенія», редакція опять-таки никоимъ образомъ не можетъ ограничиться жизнеописаніями женщинъ, причисленныхъ къ лику святыхъ. Пусть идутъ въ ходъ эти высокіе примѣры добродѣтели и твердости, но, по крайней мѣрѣ, рядомъ съ ними должны стоять біографіи женщинъ, живавшихъ въ условіяхъ, болѣе намъ близкихъ, являя примѣры, въ этомъ смыслѣ

болѣе поучительныя, хотя бы и не столь высокіе. Окружающія насъ условія безъ сравненія сложнѣе, чѣмъ тѣ, которыми обставляють жизнь святыхъ минея четья и наши собственныя религіозныя убѣжденія. Взять хоть бы, на примѣръ, жизнь св. Мавры. Она была брошена, между прочимъ, въ котелъ съ кипяткомъ и не потерпѣла отъ того ни боли, ни поврежденія. Обыкновенная нынѣшняя русская женщина, конечно, на такую помощь Божію рассчитывать не можетъ. Далѣе, та же св. Мавра первоначально не хотѣла отрываться отъ семейной жизни для мученическаго подвига, но, будучи увлечена на него своимъ мужемъ, св. Тимофеемъ, въ свою очередь, оттолкнула мать свою, пытавшуюся удержать ее въ лоно семейства. Такимъ образомъ, мы видимъ здѣсь разрушеніе семьи во имя высшаго нравственнаго идеала. Спустя много сотенъ лѣтъ и будучи христіанами, мы ни малѣйше не сомнѣваемся въ правильности образа дѣйствій св. Мавры. Но въ какой мѣрѣ приложимъ этотъ образъ дѣйствій въ наше время, когда, съ одной стороны, за исповѣданіе Христа никто не мучитъ, а съ другой — г. Москвинъ обращается къ русской «женщинѣ-матери» словами: «Путь твой семейный, разумный, спасительный» и т. д.? Въ какомъ отношеніи находится семейное начало къ разнообразнымъ личнымъ и общественнымъ идеаламъ, выставленнымъ къ нашему времени исторіей? Какъ разрѣшаются возможныя коллизіи между семейнымъ долгомъ и, на примѣръ, обязанностью передъ отечествомъ? между семейнымъ началомъ и началомъ личнаго достоинства? И т. д. Вотъ вопросы, съ которыми, естественно, могутъ обратиться женщины къ своему «Другу». Другъ, надо думать, имѣетъ отвѣты, но если онъ хочетъ иллюстрировать тотъ или другой свой отвѣтъ историческими образами, то святые христіанскіе мученицы ему весьма мало въ этомъ помогутъ.

II.

Не велика бы еще бѣда, что со времени письма г-жи Бабкиной, въ «Другѣ женщинъ» пустуетъ заявленный въ программѣ отдѣлъ «описанія жизни писательницъ и женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи». Пустуетъ, такъ, пустуетъ. Это, вѣдь, во всякомъ случаѣ, только часть цѣлаго, только одинъ изъ обѣщанныхъ отдѣловъ, неполнота или односторонность котораго можетъ, если она представляется простою случайностью, съ избыткомъ вознаграждаться въ другихъ отдѣлахъ. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ. Маленькое лукавство (а можетъ быть и недомысліе), проникающее отвѣтъ редакціи на письмо г-жи Баб-

жиной, сквозить во всемъ, что только есть въ «Другъ женщинъ» яркаго, опредѣленнаго, своего.

«Другъ женщинъ» не понять. Онъ жалуются, что двѣ газеты, «Голосъ» и «Новое Время», «взглянули на изданіе женскаго журнала съ разныхъ точекъ зрѣнія и объ не вполнѣ вѣрно поняли главную задачу, которую себѣ поставилъ «Другъ женщинъ». Ужъ и то довольно характерно для безхарактерности журнала, что двѣ газеты не поняли его задачи. Но новое объясненіе, которое даетъ по этому случаю «Другъ женщинъ», не только ничего не объясняетъ, а еще болѣе затемняетъ дѣло. Редакція говорить, что женскій *вопросъ* стоитъ для нея на второмъ планѣ. «Другъ женщинъ» горячо сочувствуетъ «дѣятельности на разныхъ поприщахъ и высшему образованію женщинъ»; онъ «будетъ заносить на свои страницы все, что касается дѣятельности и высшего образованія женщинъ, но главное его сочувствіе не вопросъ, а доля женская». Спрашивается, что это значитъ? что это за доля женская, противопоставляемая женскому вопросу? «Другъ женщинъ» не отвѣчаетъ на эти вопросы и даже, какъ будто, не подозреваетъ ихъ возможности, а читатели, разумеется, остаются въ полномъ недоумѣніи насчетъ задачи новаго журнала. Что же касается дѣятельности женщинъ на разныхъ поприщахъ и женскаго образованія, то «Другъ женщинъ» или расплывается на эту тему въ общихъ фразахъ, успокаивая при томъ, что все обстоитъ благополучно, а въ ближайшемъ будущемъ будетъ еще благополучнѣе; или же, дѣйствительно, «заносить на свои страницы». Но что и какъ онъ заноситъ? Вотъ, на примѣръ, отдѣлъ «Разныхъ извѣстій» въ № 2. Тутъ, между прочимъ, сообщаются извѣстія объ осмыслѣнной музыкантшѣ, игравшей на вечерѣ у принцессы Матильды въ Парижѣ, и о постановленіи самарской думы, по которому рѣшено съ будущаго учебнаго года не допускать лицъ женскаго пола къ исполненію обязанностей учительницъ въ мужскихъ городскихъ школахъ. Оба извѣстія «Другъ женщинъ» просто перепечатываетъ изъ «Figaro» и «Русскаго Курьера», съ одинаковою аккуратностью и безстрастіемъ. Между тѣмъ, настоящему другу женщинъ нѣтъ въ сущности ровно никакого дѣла до осмыслѣнной музыкантши, а постановленія самарской думы онъ, конечно, не долженъ былъ бы оставлять безъ своихъ комментаріевъ.

Если читатель прибавитъ сюда перлы и адаманты, собранные изъ «Друга женщинъ» въ началѣ предлагаемой замѣтки; если онъ припомнитъ поэтическія упражненія гг. Монастырскаго и Москвина, французскій

вдохъ африканской соотечественницы, нѣмелкіе совѣты насчетъ хранения бѣлья въ керосинѣ и проч., и проч., то подумаетъ, вѣроятно, что «Другъ женщинъ» есть просто ежемѣсячная путаница, въ которой и редакція разобратъся не можетъ. Придя къ такому заключенію, читатель будетъ довольно близко къ истинѣ. Однако, не вполнѣ. Есть въ московскомъ женскомъ журналѣ одна сторона, въ которой онъ является очень опредѣленнымъ, яркимъ, твердымъ. Эта сторона—борьба съ «опыненіемъ реализма». *Excusez du peu!* «Другъ женщинъ» на мелочи не тратится и во всеоружіи своей житейской опытности и своего высшего образованія устремляется на борьбу съ кореннымъ зломъ нашего времени...

Лукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ
И, клубясь, надохъ Пнеонъ,
И твой лѣтъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ...

Впрочемъ, если чей-нибудь лѣтъ и блещетъ побѣдой, то Пнеонъ все-таки не издохъ. Да и не могъ издохнуть, прежде всего потому, что неизвѣстно, что такое Пнеонъ и гдѣ онъ находится. «Другъ женщинъ» просто валитъ въ одну кучу все, что ему не нравится, и называетъ ту кучу «реализмомъ» или «материализмомъ». На примѣръ, червонные валеты для всякаго обыкновеннаго смертнаго просто мошенники, какіе всегда были и еще, вѣроятно, долго будутъ, а для «Друга женщинъ» это представители крайняго материализма». Тутъ «Другъ женщинъ» придирается къ тому обстоятельству, что червоннымъ валетамъ «хотѣлось материально наслаждаться жизнью во что бы то ни стало». Должно быть хотѣлось, это «Другъ женщинъ» правду говоритъ, но, тѣмъ не менѣе, назвать мошенниковъ материалистами значитъ просто путать понятія, довольно ясно и прочно стоящія, какъ въ общемъ сознаніи публики, такъ и въ любой философской системѣ. Бываетъ, однако, такъ, что «Другу женщинъ» совсѣмъ уже неудобно втиснуть словечко «материально» и при помощи его сначала сотворить Пнеона, а потомъ сразить его изъ своего звенящаго лука. Тогда «Другъ женщинъ» поступаетъ еще проще: онъ обходитъ такіе пункты молчаніемъ, какъ будто ихъ никогда и не бывало. Извольте-ли, на примѣръ, видѣть: «Наука и трудъ имѣли на женщинъ отрезвляющее вліяніе; имъ захотѣлось страхнуть съ себя тѣ предрассудки и суевѣрія, въ которыхъ ихъ воспитывали, и онѣ принялись усердно освобождаться отъ этихъ путъ». Надо думать, что то же самое случилось и съ мужчинами, потому что затѣмъ читаемъ: «Отрезвленіе привело къ реализму, реализмъ къ материализму, материализмъ къ

расхищеніямъ, растратамъ, банкротствамъ, мошенничествамъ. А литература даетъ: «Въ погоню за наживой», «Охотники до легкой наживы» и т. д., и т. д. Опьянѣли отъ реализма, пишутъ г-жа Бабкина».

Очень простая генеалогія, конечно; простая и удобная; но неужто же, милостивыя государыни, литература такъ-таки ровно ничего, кромѣ «Погони за наживой», не даетъ? Сколько мнѣ извѣстно, подъ заглавіемъ этого рода было издано нѣсколько произведений, въ которыхъ авторы насильно старались посрамить духъ наживы, а потому едва-ли справедливо дѣлать изъ существованія этихъ, конечно, не великихъ произведений упрекъ литературѣ. Они, эти произведения, совершенно законны съ воинствующей точки зрѣнія самого «Друга женщинъ». Но еслибы они сами по себѣ и заслуживали всевозможныхъ упрековъ, то я смѣю все-таки увѣрить почтенную редакцію «Друга женщинъ», что литература не сплошь изъ червонныхъ валетовъ, матеріалистовъ тожь, состоитъ. Я навѣрно знаю, что въ литературѣ представляются довольно разнообразныя идеалы, изъ которыхъ одни могутъ нравиться «Другу женщинъ», болѣе или менѣе приближаться къ его собственнымъ идеаламъ, другіе—рѣшительно не нравятся, но съ которыми московскому женскому журналу надлежитъ такъ или иначе посчитаться. «Другъ женщинъ» предпочитаетъ иную политику. Все съ тѣмъ же маленькимъ лукавствомъ (или недомыслиемъ), которое обнаружилось въ редакціонномъ отвѣтѣ г-жѣ Бабкиной, «Другъ женщинъ» противопоставляетъ свои идеалы червоннымъ валетамъ, а объ остальномъ умалчиваетъ; какъ-будто только и есть на свѣтѣ, что идеалы московскаго женскаго журнала, да червонные валеты, которые, будучи, вѣроятно, совершенно неожиданно для себя, произведены въ чинъ матеріалистовъ, тѣмъ самымъ превращаются въ Пиеона. Бываетъ, конечно, и такая политика, но не ей сразить Пиеона...

Главное орудіе, которымъ «Другъ женщинъ» сражается съ Пиеономъ, есть беллетристика. Можетъ быть, впрочемъ, это зависитъ отъ чистой случайности, именно, отъ того, что въ «Другѣ женщинъ» наиболѣе плодovitою, наиболѣе яркою и, наконецъ, наиболѣе талантливою сотрудницею является беллетристка—г-жа Скворонская. Ея произведенія имѣются въ каждомъ номерѣ и каждое изъ нихъ проникнуто совершенно опредѣленною тенденціею.

Начнемъ съ самаго замысловатаго по формѣ и самаго выразительнаго по содержанию разсказа г-жи Скворонской, носящаго вычурное заглавіе ⁶⁶⁶/₃ (*Fantaisie capricieuse*).

Дѣло вотъ какъ было. Въ нынѣшнемъ 1882 году, во время московской выставки, нѣкоторые знакомые г-жи Скворонской хвастались своимъ изобрѣтеніемъ. Они выдумали такое вещество, которое усыпляетъ человѣка и сохраняетъ его живымъ на произвольное число лѣтъ: каждая капля усыпляетъ на одинъ годъ. Г-жѣ Скворонской очень плохо жилось на свѣтѣ, въ изобрѣтеніе она не вѣрила, а полагала, что умереть отъ новоизобрѣтенной жидкости, вслѣдствіе чего ихватила цѣлую сткланку. Въ сткланкѣ оказалось 1784 капли, и г-жа Скворонская пробудилась по этому въ 3666 году и увидѣла на грѣшной землѣ совсѣмъ новые порядки. Вы видите, что нашъ авторъ прибѣгаетъ къ беллетристическому приему, довольно-таки избитому, потому что много уже разъ разные писатели, шутки ради или съ сатирическими цѣлями, рисовали подобныя картины отдаленнаго будущаго. Приемъ, во многихъ отношеніяхъ, очень удобный, потому что содержаніе въ эти фантастическія картины можетъ быть вложено любое, а съ формальной стороны требуется только болѣе или менѣе пылкая фантазія, которая позволяла бы удалаться отъ формъ нынѣшней жизни, сообразно тѣмъ или другимъ цѣлямъ автора. Фантазія г-жи Скворонской оказывается не изъ самопылкихъ. Для примѣра приведемъ меню обѣда въ 3666 году. «Первое блюдо состояло изъ бульона, къ которому поданы были капельные хлѣбцы; бульонъ былъ очень крѣпкій и въ немъ чувствовался запахъ корнейевъ». Потомъ подали рыбу; «но стѣвши куска два, я поняла, что кушанью этому только придана форма и видъ небольшой рыбы въ родѣ леща, но вкусъ его походилъ на кнель изъ раковаго супа». Дальше намъ, пожалуй, не зачѣмъ слѣдовать за полетомъ фантазіи г-жи Скворонской, ибо дѣло ясное: наша кнель изъ раковаго супа будетъ, спустя 1784 года, подаваться въ формѣ леща, что, кажется, и нынѣ законами кулинарнаго искусства не возбраняется. Поэтому мы можемъ, кажется, безъ страха и сомнѣній, предоставить эту великую реформу отдаленному будущему и обратиться къ самому жгучему пункту всей *fantaisie capricieuse*. Но, предварительно, надо сдѣлать два замѣчанія. Во первыхъ, въ ту далекую пору, куда насъ переноситъ г-жа Скворонская, языкъ будетъ «чрезвычайно сжатъ и изъ него исключены всѣ лишнія слова, вставки, приставки и окончанія, онъ будетъ «составленъ изъ корней разныхъ языковъ». Образчикъ этого благозвучнаго языка мы сейчасъ увидимъ. Вотъ вторыхъ, воскресшая г-жа Скворонская попадаетъ подъ опеку ученаго, специально занимающагося нашимъ XIX вѣкомъ. Бесѣ-

дую съ воскресшею свидѣтельницею изучаемою имъ эпохи, онъ пополняетъ свои свѣдѣнія и, въ свою очередь, служить ей чичероне. Онъ ее, между прочимъ, и кнелю въ видѣ лебца кормить, и, наконецъ, ведетъ въ концертъ.

Мой кавалеръ просилъ меня обратить мое вниманіе на знаменитый музыкальный инструментъ. Прошу и я читательницъ обратить ихъ вниманіе на описаніе этой машины. Четыре узкихъ трубы пропущены были въ полъ; на этихъ трубахъ лежалъ валъ; съ одной стороны валъ кончался узенькой трубкой, съ другой онъ сужался и оканчивался неровнымъ шаромъ, изъ котораго вверхъ торчали семь очень узенькихъ трубочекъ, завитыхъ наверху въ форму коронъ. На этомъ шарѣ яркимъ магномъ свѣтилась цифра года изобрѣтенія, въ видѣ неправильной дроби $\frac{3666}{1}$; впрочемъ, числитель блестялъ крупно и ярко, а знаменатель — мелко и едва замѣтно. Эта цифра означала 3666 годъ.

Разсмотрѣвши пристально машину, я смекнула ея смыслъ и вздрогнула; мой ужасъ увеличился, когда на всѣхъ свѣдящихъ я замѣтила цифру года въ видѣ блестящихъ украшеній. Г. Ванъ, устремивъ глаза на машину, что-то соображалъ.

— Г. Ванъ, занимаясь изученіемъ XIX вѣка, читали-ли вы апокалипсисъ? спросила я.

— Три раза перечитывалъ и ничего не понималъ, отвѣтилъ онъ.

— Помните вы тамъ описаніе иконы звѣриной.

— Помню.

— Вглядитесь въ это послѣднее слово механики и въ публику.

— Дѣйствительно, странное совпаденіе, сказалъ онъ тихо и задумчиво.

Въ это время подъ поломъ завели механизмъ и инструментъ заигралъ. Замѣчательно вѣрно передавалъ онъ шумъ морскихъ волнъ, ударяющихся объ скалы; затѣмъ послышалось завываніе вѣтра, раскаты грома и трескъ домашнихъ кораблей; среди этого бурнаго хаоса раздался шовелительный человѣческій голосъ и мгновенно бура стихла. Послѣ этой паузы послышалось шипѣніе змѣи; она внятно прошипѣла: «глорія гомини! триумфъ машин! конкетта!!!» Послѣднее слово гадъ прошипѣлъ съ особеннымъ эффектомъ. Вслѣдъ за этимъ раздались, впрочемъ, въ удивительной гармоніи, всевозможные голоса звѣрей, произносившіе эти хвалебные слова человѣку и машинамъ. Замѣчательные руганья ржали лошади; за ними слѣдовало мычаніе коровъ, бѣлые овецъ; звуки то усиливались, то стихали; затѣмъ возвышалось сою одного животнаго; потомъ подхватывалъ дѣшый хоръ; словомъ, игрались вариации на ту данную змѣю. Наконецъ, форто перешло въ фортиссимо и со страшнымъ соп fuoco зарычалъ левъ: «глорія гомини! триумфъ машин! конкетта!!!»

На средину вышелъ агентъ, доставившій машину изъ Вѣны и объявилъ, что инструментъ этотъ по имени изобрѣтателя называется «Васхитъ».

— А это какъ вамъ покажется? спросила я г. Вана: — видъ васхитъ это — перековерканное евреями нѣмецкое слово Weisheit, то есть, мудрость, а вы помните, что, описать икону звѣриную, святой теологъ говоритъ: «и сіе есть мудрость».

Послѣ концерта публика перешла въ другой залъ, и г-жа Сковронская была приглашена выразить свои впечатлѣнія. Она

исполнила это въ длинной рѣчи. Сначала она говорила объ изумленіи, въ которое ее повергаютъ успѣхи человѣчества, объ аэро-статахъ, превосходныхъ мостовыхъ, несо-раемыхъ домахъ, наконецъ, о всеобщемъ благосостояніи и отсутствіи нищеты. Слушатели были довольны... Но г-жа Сковронская приготовила имъ подъ конецъ не совсѣмъ пріятный сюрпризъ; пусть однако рассказываетъ авторъ:

«Да, продолжала я, болѣзни, пожары, нищета и многое другое, о чемъ вы не имѣете понятія, терзали моихъ современниковъ, и нѣкоторые изъ нихъ поддавались искушенію: пользовались нуждою другихъ и расхищали чужое имущество; но въ мое время были еще люди, имѣвшіе нравственные идеалы (этихъ послѣднихъ двухъ словъ слушатели не поняли и попросили мостовъ (ученыхъ) объяснить. Г. Ванъ развернулъ свитокъ; въ концѣ XIX вѣка онъ нашелъ объясненіе слова идеалъ и сказалъ, конечно, на своемъ нарѣчій: «идея, воплощенная въ образѣ, называется идеаломъ». А вѣнскій мостъ въ рубрикѣ XX вѣка отыскалъ: нравственный — значитъ моральный. Очередь улыбнуться была за мною».

«Укрѣпивши чуть донеприступности свою плоть, вы сдавили, стѣснили въ ней духъ. Въ мое же время слабые плотью и чистые сердцемъ, хотя бы и бѣднѣйшіе люди, своими духовными очами удостоивались видѣть Ликъ, Котораго красота доброты неизреченна. А это лицезрѣніе доставляетъ такую блаженную радость, о которой вы, при всемъ вашемъ благосостояніи и благополучіи, и понятія не имѣете. Въ вашемъ концертъ-залѣ машина удивительно вѣрно подражала голосамъ животныхъ, которыя восхваляли васъ и ваши машины; это звукоподражаніе можетъ вызывать удивленіе, но не можетъ возбудить прекрасныхъ чувствъ благоговѣнія и умиленія, которыя испытывали мы, когда наши храмы наполнялись дивными звуками человѣческихъ голосовъ, восхвалявшихъ Духа Знѣдителя: «Тебе, Предвѣчнаго Отца вся земля величаетъ». Поклоняясь матеріи и возвеличивая человека, вы человѣческое число 666 ставите выше числа Святой Троицы. Вы думаете, что въ своей мудрости вы знаете все, а премудрый теологъ еще за тридцать семь вѣковъ зналъ, что будетъ съ вами. Да, вы открыли послѣднюю страницу книги тайнъ природы, но вамъ ее уже не читать. Ибо Всемогущій Духъ, Котораго вы не хотѣли знать, однимъ Своимъ дуновеніемъ истребитъ васъ, и я, ничтожная передъ вами, возвѣщаю вамъ, когда вы со всею вашею мудростью пропадете въ преисподней».

Въ это время внизу послышались какъ бы отдаленные раскаты грома, которые все приближались и приближались. Начинаясь какой-то адскій шумъ и трескъ. На лицахъ моихъ слушателей выразилась звѣрская злоба; я увидѣла, что они собираются на меня броситься, и рванулась къ окну. Повѣялъ свѣжій воздухъ. Я очнулась. Внизу подъ окномъ дѣйствительно раздавался громкій и непріятный звукъ отъ мчавшихся пожарныхъ командъ на первобытныхъ телегахъ, гремѣвшихъ по нашей булыжной мостовой. Бѣжавшій народъ кричалъ, что горитъ на Прѣсвѣ. Стѣнной календарь, съ котораго я аккуратно срываю листочки, показывалъ 1-е сентября 1882 года. На ночномъ столѣжъ лежалъ раскрытый Апокалипсисъ, который я читала наканунѣ вечеромъ.

Мы имѣемъ дѣло съ фантазіей, но и въ фантазіи сказывается человѣкъ съ разными особенностями своей нравственной физиономіи и умственныхъ привычекъ. Тѣмъ болѣе въ фантазіи тенденціозной, какова *fantaisie carpitieuse* г-жи Сковронской. И я думаю, читатели раздѣляютъ со мной изумленіе передъ легкомысліемъ или несообразительностью нашего автора. Въ самомъ дѣлѣ, люди будущаго, такъ жестоко отдѣланные нашею соотечественницею-современницею, очень на нее разсердились; она полагаетъ, за высказанную ею рѣзкую правду, а можетъ быть совсѣмъ не за это; можетъ быть, именно за легкомысліе или недобросовѣстность суда надъ тѣмъ, что выстрадано многими и многими поколѣніями людей. Конечно, съ нашею теперешней точки зрѣнія, такъ сильно сердиться за подобныя вещи не стоитъ. Но вѣдь, кто знаетъ!—можетъ быть къ 3666 году легкомысленно недобросовѣстная порода совсѣмъ переведется, такъ что объ ней и памяти не будетъ. Немудрено, если при такихъ условіяхъ «консервъ-индивидъ 1882 года» (терминологія будущаго), явившись во всеоружіи нашихъ теперешнихъ дрянныхъ грѣховъ, будетъ встрѣченъ, какъ дикій звѣрь какой... Во всякомъ случаѣ, съ нашею теперешней точки зрѣнія, люди будущаго, повторяю, поступили съ г-жей Сковронской слишкомъ строго. По нашему, она заслуживаетъ совсѣмъ не «звѣрской злобы», а, просто, маленькой и вполне вѣжливой нотации примѣрно въ такомъ родѣ.

Милостивая государыня! вы кушали нашу кнелъ въ видѣ лепца и отмѣтили ее въ своей памяти; вы обратили ваше просвѣщенное вниманіе на наши сѣрые вязаные штаны и таковыя же «кираски» и разспрашивали о свойствахъ матеріи, изъ которой мы шьемъ свои одежды; вы интересовались нашими путями сообщенія и освѣтительными матеріалами; но *ни разу, ни одного разу* во весь тотъ день, который вы съ нами пробывали, вы не спросили о нашихъ «нравственныхъ идеалахъ», а теперь насъ же ими корите! Ясно, что для васъ сѣрые вязаные штаны и кнелъ въ видѣ лепца несравненно интереснѣе, чѣмъ нравственные идеалы. Мы понимаемъ ваше уположеніе, мы знаемъ, что въ ваше печальное время большинство, такъ называемыхъ, образованныхъ женщинъ было болѣе штанами и кнелю проникнуто, чѣмъ нравственными идеалами. Но вы насъ корите въ отсутствіи идеаловъ—это уже рѣшительно нехорошо, сударыня, это легкомысленно и недобросовѣстно; это, по меньшей мѣрѣ, свидѣтельствуетъ, что вы сунулись въ воду, не спросясь броду, отравились въ походѣ, не сообразивъ ни цѣли своего предпріятія, ни скромности сво-

ихъ силъ. Конечно, еслибы вы насъ спросили объ нашихъ нравственныхъ идеалахъ, мы, можетъ быть, и должны были бы заглянуть въ лексиконъ, какъ вы объ этомъ по другому поводу съ ядовитостью рассказываете. Но ядовитость эта опять же о вѣщшемъ вашемъ легкомысліи говоритъ. Вѣдь и въ ваше время турокъ, услышавъ отъ васъ слово «нравственный» или даже «моральный», заглядывали въ лексиконъ, изъ чего, однако, вовсе не слѣдовало, что ему чужды соотвѣтственные этимъ словамъ вещи. А вы, именно, такъ смотрите, что если у вашего собесѣдника идеалы отличны отъ вашихъ или даже только иначе называются, такъ ихъ у него уже вовсе нѣтъ. Въ ваше время фанатическіе мусульмане говорили: нѣтъ Бога, кромѣ Бога, и Магометъ пророкъ его. И вы поступаете подобно этимъ своимъ мрачнымъ современникамъ. Мы же предпочитаемъ столь заинтересовавшимъ васъ узкіе штаны наши столь узкимъ взглядамъ. А замѣтите, что, даже не разспрашивая насъ объ нашихъ идеалахъ, вы, при нѣскольکو меньшемъ легкомысліи, могли бы непосредственнымъ наблюденіемъ убѣдиться въ ихъ существованіи. Вы рассказываете, напримеръ, о нашихъ «мозистахъ», то-есть ученыхъ. А какъ вы думаете, что гонить ихъ «ислѣдовать всѣхъ временъ дѣйства и причины?» Въ ваше печальное время ученые добивались чиновъ, окладовъ—у насъ ничего, вѣдь, этого нѣтъ, у насъ, какъ вы сами видѣли, всѣ сыты и никто не нуждается. Что же, какъ не нравственный идеалъ, движетъ нашихъ мозистовъ? Идеалъ, чрезвычайно высокій, сударыня, столь высокій, что не смотря на всѣ ваши пышныя слова, ваши идеалы въ сравненіи съ нимъ жалкіе карлики и карлѣки. Угодно пробу? Вамъ очень понравилась наша «освѣжительная эссенція», трехъ капель которой достаточно, чтобы человѣкъ отрезвѣлъ. Вы вспомнили при этомъ «слезы, горе, отчаяніе», причиняемая у васъ виномъ или, если позволите точно выразиться, болѣе водкой. Вы позавидовали намъ и выдали въ своей рѣчи похвальный аттестатъ за это изобрѣтеніе, которое, по вашимъ словамъ, было бы истиннымъ благодѣяніемъ въ ваше время. Замѣтите, что вы не отсутствію пьянства у насъ позавидовали, а именно легкости отрезвленія. Легкомысленная вы женщина! Наши мозисты и наши художники изучали ваше время и ваше отечество, и рисовали намъ поразительныя картины пьянства. Мы знаемъ, что пьянство порождало у васъ горе, но знаемъ также, что и горе порождало пьянство. Конечно, наша освѣжительная эссенція моментально отрезвила бы и этого вашего мужика, который напился, чтобы за-

быть о проданной за недоимку послѣдней коровенкѣ и о плачущихъ отъ голоду ребятишкахъ; и этого задавленного судьбой чиновника; и этого великосвѣтскаго шалопа, весело поужинавшего съ кокоткой; и этого честнаго человѣка, оскорбленнаго въ лучшихъ своихъ надеждахъ и вѣрованіяхъ вашими общественными и семейными безобразіями. Они бы отрезвились и вы были бы довольны—пьяныхъ нѣтъ. Но вѣдь они завтра же опять напьются, потому что наша чудодѣйственная эссенція безсильна устранить тѣ горести и гнусности, которыя лежатъ въ основѣ вашего пьянства. Э-ахъ, барыня!.. А еще объ идеалахъ толкуете...

Вотъ что, и еще многое, многое другое могли бы возразить г-жѣ Сковронской люди будущаго, оставаясь въ предѣлахъ вѣжливости. И мнѣ кажется, что нѣчто подобное можетъ быть предъявлено всему «Другу женщинъ». Если я такъ долго остановился на «фантазіи» г-жи Сковронской, такъ именно потому, что въ ней, «какъ солнце въ малой каплѣ водѣ», отражается вся фizioномія «Друга женщинъ». Это самая выразительная изъ статей, напечатанныхъ въ московскомъ женскомъ журналѣ. Прежде всего любопытно и характерно то, что женщины тутъ рѣшительно не приче́мъ. Въ фантазіи фигурируютъ исключительно мужчины, если не считать самого «консервъ-индивида 1882 г.»; такъ-что, при всемъ желаніи стать на точку зрѣнія друга женщинъ, мы рѣшительно не можемъ сказать, какъ будетъ вести и чувствовать себя прекрасный полъ въ тѣ страшныя времена, когда кнелъ будетъ подаваться въ видѣ леща. Мы не знаемъ даже, будутъ-ли тогда женщины носить, подобно мужчинамъ, сѣрые вязанные палтоны, или же, напротивъ того, сохранять теперешніе свои костюмы, или изобрѣтутъ что-нибудь новое, но женственное. Самыя поученія, которыя могутъ быть извлечены изъ *fantaisie carpiçieuse*, не заключаютъ въ себѣ ничего спеціально-дружественнаго по отношенію къ женщинамъ. Они обращены ко всему человеческому роду, стремящемуся въ пропасть, и, главнымъ образомъ, всетаки, къ мужчинамъ. Потому что вѣдь и въ 3666 году строить машины, воздѣлывать науку и проч. будутъ, какъ видно, всетаки, мужчины. Собственно для женщинъ вся эта фантастическая исторія можетъ служить развѣ предостереженіемъ: дескать, не становитесь на тотъ пагубный путь, по которому давно уже идутъ «опьяненные реализмомъ» мужчины.

А между тѣмъ, женщинамъ предстоятъ на этомъ пути, кажется, еще особенныя опасности, не предусмотрѣнныя въ «капризной фантазіи», но за то яркими чертами изображенныя въ другомъ разсказѣ той же г-жи

Сковронской—«Записки корректорши». Тамъ разсказывается поучительная исторія одной женщины, увлеченной мыслями о «широкомъ поприщѣ для дѣятельности», объ «отрасляхъ для женскаго труда», о «самообразованіи и самодѣятельности». Надо, впрочемъ, сказать, что женщина эта, еще будучи шестнадцати лѣтъ, пришла ни съ того, ни съ сего къ актеру и отдалась ему. А какъ только увлеклась «широкимъ поприщемъ для дѣятельности» и прочими хорошими словами, такъ пошла писать: познакомилась со студентами и ближе, чѣмъ слѣдовало, сошлась съ однимъ изъ нихъ; поступила въ наборщицы и увлеклась красивымъ метранпажемъ; поступила въ корректорши и не устояла передъ соблазномъ совратить съ пути истины одного скромнаго литератора, за которымъ слѣдовали: секретарь редакціи, адвокатъ, прокуроръ и еще какіе-то, уже не перечисляемые. Впослѣдствіи она раскаялась и умерла отъ разрыва сердца. Все это, конечно, спеціальныя результаты таинственнаго опьяненія реализмомъ, въ придачу къ тѣмъ обшчимъ, которые представлены въ капризной фантазіи. Вопросъ только въ томъ, какъ всѣ эти предостереженія и опасенія выжутся съ выраженнымъ редакціей «Друга женщинъ» сочувствіемъ къ образованію женщинъ и расширенію сферы ихъ дѣятельности.

III.

Дѣло объясняется очень просто, если припомнить увѣренность «Друга женщинъ», что по части женскаго труда и образованія все обстоитъ благополучно, а въ ближайшемъ будущемъ пойдетъ еще благополучнѣе. Если, такимъ образомъ, женщинѣ обезпечена возможность пріобрѣтать знанія и прилагать ихъ къ жизни, то для друга женщинъ весьма естественно перенести центръ тяжести своихъ заботъ на *формы* труда и *характеръ* знаній. Дѣло, такъ сказать, окончено въ низшей инстанціи, переносится въ высшую, вмѣстѣ къ чѣмъ спеціальныя женскія вопросы упраздняются. Что женщина не только можетъ, а и должна учиться и работать, что ей, слѣдовательно, не только могутъ, а и должны быть предоставлены необходимыя для этого средства и свобода—это вѣдь азбука. Мы ее много лѣтъ твердимъ, и весьма натурально думать, что какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ, а тѣмъ паче прямое отрицаніе азбуки гнѣздятся лишь гдѣ-нибудь въ темныхъ закоулкахъ жизни. Ну, да, вѣдь, въ эти закоулки солнце всегда поздно заглядываетъ, тамъ всегда отстаютъ и невозможно ждать ихъ окончательнаго просвѣщенія, чтобы сдѣлать

второй шаг послѣ перваго. Конечно, и те-
перь есть сферы, гдѣ думаютъ, напримѣръ,
что женщина есть цвѣтокъ, обзаванный по
закону природы въ извѣстное время наря-
жаться въ яркій нарядъ и прыскаться ду-
хами, потомъ отцвѣтаетъ, давать плодъ и уми-
рять. Людей, доселѣ стоящихъ на этой точкѣ,
можно, разувѣтся, полегоньку подучивать
азбукѣ, но нельзя же изъ-за нихъ стоять на
мѣстѣ. Жизнь не ждетъ и, покончивши съ
азбукой, повелительно призываетъ на слѣ-
дующія ступени лѣстницы граматы. Разъ вы-
учена азбука, разъ признана истина, что
женщина должна учиться и работать, возни-
каютъ вопросы: чему учиться? надъ чѣмъ
работать? А это уже вовсе не специально
женскіе, а общечеловѣческіе вопросы. Надо
замѣтить, что и вообще многое, обыкновенно
вдвигаемое въ рамки женскаго вопроса, да-
леко въ нихъ не укладывается. Вотъ, на-
примѣръ, въ № 6 «Друга женщины», въ чи-
слѣ «разныхъ извѣстій», имѣется перепе-
чатка изъ «Донской Пчелы» о положеніи
швей. Положеніе, дѣйствительно, ужасное, но
оно есть совсѣмъ не особенное какое-нибудь
положеніе женщинъ и положеніе рабочихъ
вообще. И недаромъ «Донская Пчела» окан-
чиваетъ свою замѣтку такъ: «это кабала въ
пользу кармановъ разныхъ мадамъ Мари и
мамзель Софи, нанимающихъ роскошныя ты-
сячныя квартиры въ лучшихъ частяхъ го-
рода». Мадамъ Мари и мамзель Софи жен-
щины, ихъ ученицы и мастерицы тоже жен-
щины. Тяжба между ними неразрѣшима съ
спеціальной точки зрѣнія женскаго вопроса,
но оканчивается сама собой, попутно, при
разрѣшеніи общаго вопроса о взаимныхъ
отношеніяхъ труда и капитала. Такъ и во
многомъ другомъ. Азбука гласитъ только,
что женщина должна учиться и работать.
По отношенію къ мужчинамъ мы давно уже
съ этой азбукой покончили. Никто не сом-
нѣвается и не споритъ объ томъ, что учить-
ся и работать надо, но много спорятъ о
содержаніи знаній и направленіи труда.
Одни утверждаютъ, что учиться надо клас-
сическимъ языкамъ, другіе налегаютъ на
естествознаніе; одни считаютъ то или дру-
гое направленіе труда полезнымъ, важнымъ,
великимъ, другіе находятъ его вреднымъ,
достоиннымъ всякаго порицанія. Давно бы
ужъ, кажется, пора приложить принципъ
такой классификаціи и къ женскому труду
и образованію. Возьмемъ наглядный при-
мѣръ. Мы вѣдь не умиляемся по поводу
того, что гг. Аксаковъ, Катковъ, Щедринъ,
Толстой работаютъ; не говоримъ: ахъ, какъ
хорошо, что эти господа не предаются праз-
дности, а вносятъ свои лепты въ сокровищ-
ницу русской литературы! Напротивъ, мы
ихъ классифицируемъ, сортируемъ, и не-

только по степени ихъ таланта или трудо-
любія, а также по степени приносимаго
ими вреда или пользы. При этомъ съ вашей
или съ моей точки зрѣнія, съ точки зрѣ-
нія Петра или Ивана, тотъ или другой изъ
этихъ писателей можетъ оказаться крайне
вреднымъ, такъ что даже горевать прихо-
дится, что онъ обогащаетъ русскую литера-
туру своими лептами. Разсуждая столь эле-
ментарнымъ образомъ, мы вѣдь не забы-
ваемъ положенія еще болѣе элементарнаго,
вполнѣ уже азбучнаго, насчетъ предосуди-
тельности празднаго времяпровожденія. Мы
твердо помнимъ, что праздность есть поро-
къ или даже мать всѣхъ пороковъ, но
затѣмъ цѣнимъ людей не праздныхъ, а дѣя-
тельныхъ съ точки зрѣнія нѣкотораго сво-
его идеала. Такъ поступаетъ, повидимому,
и «Другъ женщины». Признавъ азбукою
то положеніе, что женщина не цвѣтокъ,
духами опрысканный, а человѣкъ, имѣющий
не только право, но и обязанность учиться
и трудиться, московскій журналъ перено-
ситъ дѣло въ высшую инстанцію, судить
учащихся и трудящихся съ точки зрѣнія
нѣкотораго общечеловѣческаго идеала. Какъ
онъ эту задачу исполняетъ (и даже вполнѣ-
ли ее сознаетъ), это дѣло особое, объ ко-
торомъ у насъ уже была рѣчь и сейчасъ
опять будетъ. Но въ принципѣ «Другъ
женщины» поступаетъ правильно. Такъ и
мы должны относительно его самаго посту-
пать. Умиляться и радоваться появленію
журнала, редактируемаго женщинами и
предоставляющаго женщинамъ и «высказы-
ваться» на своихъ страницахъ, нѣтъ ника-
кого повода. Можетъ быть, журналъ такое
начнетъ высказывать, что лучше бы ему
вовсе и не родиться. Надо посмотреть. Вотъ
и посмотримъ.

Журналъ ведется дурно, безпорядочно,
смутно, это мы уже видѣли. Но, наконецъ,
мы нашли, кажется, сердце журнала, цен-
тральный пунктъ, изъ котораго редакція,
по крайней мѣрѣ, желала бы вести радіусы
къ разнымъ явленіямъ жизни. Это и есть
именно тотъ нравственный идеалъ, обще-
человѣческій, равно обязательный для муж-
чинъ и для женщинъ, съ точки зрѣнія кото-
раго оцѣниваются судьбы женщинъ, ихъ ра-
бота, ихъ образованіе. Съ отрицательной
стороны культъ этого идеала выражается
борьбой съ Писекономъ «реализма», причемъ
подъ реализмомъ разумѣются и реализмъ
философскій или научный, и воровство-
кража, воровство-мошенничество и т. п.
Такая путаница очень мало подвигаетъ насъ
впередъ, а потому надо обратиться къ
положительной сторонѣ нравственнаго иде-
ала «Друга женщины». Откровенно говоря,
мы и здѣсь встрѣтимъ путаницу, но надо

же, все-таки, ее уловить и как-нибудь формулировать. «Другъ женщинъ» желаетъ противопоставить торжествующему Пиеону нѣчто «духовное» и очень въ этомъ направленіи старается, какъ вы можете судить уже по письму г-жи Бабиной и отвѣту редакціи, по житіямъ святыхъ, по апокалипсической фантазіи г-жи Сковронской. Однако, это «духовное» никонимъ образомъ не можетъ быть названо христіанскимъ идеаломъ. Это какая-то мистическая отсебятина, если позволено будетъ употребить это старинное и не совсемъ благозвучное выраженіе.

Въ разсказѣ г-жи Сковронской «Разсудокъ и разумъ» (№ 6) нѣкая г-жа Березина, рисуемая авторомъ въ качествѣ положительнаго типа, устроила у себя въ комнатѣ жертвенникъ, на которомъ стоитъ изображеніе крылатой женщины, сидящей на тронѣ. На этотъ жертвенникъ Березина ставитъ букетъ цвѣтовъ и кладетъ «передъ букетомъ земной поклонъ». Какъ извѣстно, христіанскій идеалъ ничего подобнаго не предписываетъ, не требуетъ и не совѣтуетъ. Та же Березина вѣритъ въ разныя примѣты, вѣщаетъ сны и проч. и хотя толкуетъ при этомъ о какихъ-то своихъ непосредственныхъ сношеніяхъ съ Богомъ, но примѣты у нея самыя вульгарныя: видѣть во снѣ собаку значить на яву друга увидѣть. Та же Березина вѣруетъ и исповѣдуется, что никакое преступленіе, хотя бы чрезвычайно искусно скрытое, не остается безъ божественнаго возмездія уже въ теперешней, земной жизни. Березина можетъ разсказать соответственные анекдоты. Мы ихъ, впрочемъ, приводить не будемъ, потому анекдоты бываютъ всякіе. Что же касается до самой мысли, то въ этомъ отношеніи, редакція «Друга женщинъ» совершенно солидарна съ Березиной. Въ редакціонной замѣткѣ № 2 читаемъ: «Не безъ образованія человѣкъ звѣрь, а безъ вѣры. Избранные Христомъ рыбаки были люди необразованные, а проповѣдывали религію любви и милосердія. Напротивъ того, вѣроятно, не безъ образованія были тѣ люди, которые вотъ уже нѣсколько лѣтъ кряду ознаменовали расхищеніями, растратами и банкротствами, вслѣдствіе которыхъ приходится страдать другимъ; но у нихъ не было вѣры въ бытіе Высшаго Духа, въ существованіе закона божественнаго разума, въ силу котораго за всякое преступленіе послѣдуетъ наказаніе рано или поздно, хотя бы судьи земные и вынесли оправдательный приговоръ. Къ дурнымъ поступкамъ привелъ ихъ крайній матеріализмъ».

Обратите вниманіе на эти слова. Они того заслуживаютъ во многихъ отношеніяхъ.

Во-первыхъ, все та же мистическая отсебятина. Христіанская религія ничего не говоритъ о возмездіи въ земной жизни. Такая мысль даже противорѣчитъ чистому христіанскому идеалу, пугая наказаніями и заманивая наградами. Противорѣчитъ и строгости ученія о загробной жизни. А между тѣмъ, эту свою отсебятину «Другъ женщинъ» съ чрезвычайною смѣлостью выдаетъ за единю спасающую вѣру. Коли вы этой вѣры не имѣете, такъ у васъ рѣшительно никакихъ идеаловъ нѣтъ, вы—«крайній матеріалистъ», вы способны на расхищенія, растраты и мошенничество. Таковы черты нравственнаго идеала, съ высоты котораго «Другъ женщинъ» думаетъ и Пиеона сразить, и обсуждать судьбы, трудъ и образованіе женщинъ. Теперь вы понимаете, почему погибла корректорша, записки которой сочинила г-жа Сковронская—она не уѣхала въ земное возмездіе; почему та же г-жа Сковронская, даже не разспрашивая людей будущаго объ ихъ идеалахъ, жестоко расклеила ихъ—они не поклоняются букету цвѣтовъ и не вѣрятъ, что собаку во снѣ увидѣть значить на яву друга увидѣть; почему редакція «Друга женщинъ» не видитъ въ литературѣ рѣшительно ничего, кромѣ «погоны за наживой», а въ жизни ничего, кромѣ «опьянѣнія реализмомъ», вы можете воспѣвать добродѣтель и громить порокъ, можете совершать какіе угодно подвиги самотверженія, но если вы не суевѣрь и не изуевѣрь, вы погибшій человекъ. Вы видите, стало быть, что въ томъ идеалѣ, которому «Другъ женщинъ» хочетъ подчинить все и вся, азбука забыта...

По поводу этой забытой азбуки, я хотѣлъ сказать многое. Но preliminarily, сортировка разнообразной путаницы и вздора, совмѣщеннаго въ семи тоненькихъ блинчикахъ «Друга женщинъ», заняла столько мѣста, что я отложу предположенное до другого раза и—до другого повода: ихъ въ наше время представляется не мало. Теперь же прибавлю одно замѣчаніе.

Не такъ страшень чортъ, какъ его малюютъ. Не такъ ужъ мраченъ тотъ якобы духовный міръ, въ который приглашаетъ женщинъ ихъ новоявленный московскій другъ. Не все тамъ крылатыя женщины на тронѣ, да страшныя видѣнія. О, далеко нѣтъ. На что, кажется, мрачна капризная фантазія г-жи Сковронской, а между тѣмъ, въ самомъ ея названіи — *fantaisie capricieuse*—звучитъ что-то легковѣсно-примиряющее. Какъ будто даже танцевальнымъ вечеромъ отъ этого названія отдаетъ. Танцевальный вечеръ и апокалипсисъ—какая невозможность, какая клевета! скажетъ, пожалуй, читатель. Нѣтъ, это бываетъ. Вотъ, напри-

мѣръ, сцена изъ повѣсти «За каменными стѣнами» (№ 2). Институтки идутъ причащаться. Въ числѣ ихъ перлъ всего института, Лиза Семенова, коей добротѣтель, натурально, уже въ земной жизни вознаграждается.

Длинная вереница старшихъ воспитанницъ стройно подходитъ для принятія св. Тайнъ. Священный страхъ и благоговѣнне выражаются на ихъ лицахъ. Руки крестомъ сложены на груди. Каждая изъ нихъ, по институтскому преданію, твердитъ про себя *свое* желаніе.

— Да причастица жизни вѣчна буди, набожно шепчетъ одна.

— Господи! Прости мнѣ прегрѣшенія моя,вольная и невольная, твердитъ другая.

— Да простица! да простица мнѣ грѣхъ мой! искренно, страстно и благоговѣнно повторяетъ Лиза; но, подходя къ самой чашѣ, думаетъ: «чтобы любить меня!»

«Чтобы любить меня» одинъ плѣнительный брѣзень... Ну, это, конечно, ребячество, въ которомъ есть, пожалуй, даже нѣчто трогательное. Но вотъ прекрасная и добродѣтельная вдовушка, Березина, та самая, которая букету цвѣтовъ поклоняется и непосредственностью своихъ отношеній къ Богу сны истолковываетъ; эта самая вдовушка назначаетъ незнакомому мужчине свиданіе въ маскарадъ... Это, впрочемъ, только въ первый разъ и притомъ по совѣту легкомысленной подружки, а во второй разъ и по выбору собственнаго возвышеннаго сердца вдовушка назначаетъ свиданіе уже въ церкви и, именно, за всенощной на Савинскомъ подворьѣ... Видите, какая богомольная! Однако, эта прелестная вдовушка не только крылатыми женщинами на тронѣ, земными возмездіями, снотолкованіями и прочею «духовною» отсебятиной занимается. Вотъ сценка между Натальей Александровной (вдовушка) и ея легкомысленной подружкой въ присутствіи мужчины, плѣнившаго сердце вдовушки:

— Кузина не всегда разсуждаетъ о божественномъ, иногда она лучше всякой Альфонсины пропоетъ *Reine du bal*. Ну, Натали, не заставляй очень просить.

— Не въ такомъ настроеніи, Катя, а то бы не заставила себя просить.

— А ты начини и придешь въ настроеніе.

— Говоря это, Запольская открыла роль и запела на тему *Стрелокъ*.

Наталия Александровна неохотно подошла, грустно улыбаясь; вслушалась въ аккомпаниментъ и запѣла II: *faut que je vais dire, comment du bal je fus éprise*.

Гортанный выговоръ и весь пошибъ пѣнія каскадныхъ пѣвицъ трудно было передать лучше, но только выраженіе лица пѣвшей отнюдь не соответствовало словамъ пѣсни. Явно видно было, что Наталия Александровна дѣлала надъ собой большое усиліе. Это похоже было на то, какъ къ трупъ приставать гальваническую машину и заставить мускулы его двигаться въ родѣ смѣха или плача. До пѣвша до куплета

Maintenant je vais danser, Березина оборвала пѣніе и сказала:

— Нѣтъ, рѣшительно не могу.

На этотъ разъ госпожа Березина рѣшительно не можетъ, но когда-нибудь въ другой разъ, вдоволь накланявшись передъ крылатой женщиной на тронѣ, вдовушка несомнѣнно заткнетъ за поясъ всякую Альфонсину...

Баснь эту можно бы и болѣе пояснить, но вы видите, во всякомъ случаѣ, что въ духовныхъ сферахъ «Друга женщинъ» можно проводить время довольно весело, если только остерегаться опьяненія реализмомъ...

XVII.

Гамлетизированные поросята *).

Fatum. Рассказъ Г. Юрко («Полярная Звѣзда» 1881, № 6). — *Разелзла*. Рассказъ Г. О. («Вѣстникъ Европы» 1882, № 10).

I.

Говоря о многочисленности и разнообразіи толкованій характера Гамлета, Маудсли замѣчаетъ: «При откровенномъ признаніи со стороны сочувствующаго читателя, оказалось бы, по всей вѣроятности, что онъ считаетъ самого себя настоящимъ Гамлетомъ; неудивительно, что, по его мнѣнію, онъ всего болѣе и способенъ понять этотъ характеръ». Въ этомъ замѣчаніи много правды, и самая интересная правда состоитъ въ томъ, что дѣйствительно многимъ, слишкомъ многимъ людямъ кажется, что они удивительно похожи на знаменитаго датскаго принца; едва-ли даже найдется болѣе счастливый въ этомъ отношеніи литературный типъ. Отчасти это объясняется, конечно, художественнымъ гениемъ Шекспира, который воплотилъ въ Гамлетѣ широко распространенныя черты человѣческаго духа. Но съ этимъ объясненіемъ едва-ли согласится всѣ дѣйствительные Гамлеты и воображающіе себя таковыми. Напротивъ, они склонны выдѣлять себя изъ большинства людей, считать себя чѣмъ-то особеннымъ, совмѣщающимъ именно рѣдкостныя, наименѣе распространенныя черты человѣческаго духа. Значитъ, Гамлетъ обаятеленъ для нихъ совсѣмъ не тѣми своими сторонами, которыя попадаютъ на каждый шагъ, чуть не въ каждомъ человѣкѣ, только въ различныхъ пропорціяхъ. Да наконецъ, объясненіе и само по себѣ не полно. Въ Фальстафѣ, вѣдь, тоже воплощены широко распространенныя черты, однако, что-то

*) 1882 г., декабрь.

мало охотниковъ быть или казаться Фальстафомъ. Который если и буквальное повтореніе Фальстафа собою представляетъ, такъ и то не признаетъ своего съ нимъ сходства, и, можетъ быть, именно Гамлетомъ рисуется въ собственныхъ мечтаніяхъ, или передъ другими желаетъ бы рисоваться. Дѣло понятное. Одна изъ самыхъ распространенныхъ слабостей человѣческой натуры состоитъ въ болѣе или менѣе высокомъ о себѣ мнѣніи, и такъ какъ Фальстафъ есть старая, переполненная всякимъ свинствомъ бочка, то ни у кого нѣтъ охоты узнать себя въ такомъ зеркалѣ. Гамлетъ совсѣмъ другое дѣло. Надо только узнать, какія именно черты его характера дѣлаютъ его героемъ, предметомъ удивленія, поклоненія, подражанія для множества людей, иногда мелкихъ, какъ мелкая тарелка, а иногда, по крайней мѣрѣ, очень неглупыхъ.

Когда человѣка пріятно щекочетъ сознаніе сходства или только праздная мечта о сходствѣ съ какимъ-нибудь баловнемъ счастья, вся жизнь котораго есть рядъ успѣховъ, то тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Всякому счастью хочется, а успѣхи и побѣды, цвѣточныя гирлянды и лавровыя вѣнки, все, вѣдь, это внѣшнія выраженія, атрибуты счастья, за которыми истиннаго счастья нѣтъ, можетъ быть, ни капли, но которые по наглядности своей издревле составляютъ предметъ мечтаній огромнаго большинства людей. Гамлетъ не можетъ служить объектомъ такихъ элементарныхъ и грубыхъ мечтаній. Онъ не Иванъ-Царевичъ, которому достались и жаръ-птица и царь-дѣвица; не Аника Воинъ, что на блѣдомъ конѣ скакалъ, враговъ устрашалъ; не Чурило Пленковичъ, на котораго красныя дѣвушки и старыя старушки глядѣли-наглядѣться не могли. И во всѣхъ другихъ смыслахъ онъ, отнюдь, не баловень счастья. Правда, онъ принцъ и наслѣдникъ датскаго престола (устраченный, впрочемъ, отъ трона престоупленіемъ дяди); но не розы и лавры, а терніи, острые, колючіе, душу раздражающіе терніи вѣнчаютъ его на жизненномъ пути. Измѣна, предательство, холопство, лицемеріе, низость, пошлость, подлость—вотъ что онъ видитъ кругомъ себя. И видитъ не въ качествѣ посторонняго зрителя, прямо не задѣваемого развивающагося въ его присутствіи игрою всяческихъ гнусностей. Нѣтъ, онъ стоитъ въ самомъ центрѣ этой игры и на себѣ выноситъ всѣ ея случайности и намѣренности: дышитъ нравственно отравленнымъ воздухомъ и умираетъ отъ удара отравленной рапирой. Чему же тутъ завидовать? объ чемъ мечтать?

Но пусть судьба или, такъ называемые,

ближніе безжалостно пытаются Гамлета. Быть можетъ, остріе вонзающихся въ него терній тупится объ сознаніе исполненнаго долга, и это сознаніе не только облегчаетъ его участь, а придаетъ, кромѣ того, такое величіе его фигурѣ, что здѣсь-то и надо искать причины указаннаго Маудсли явленія. Нѣтъ, этого не можетъ быть. Именно отсутствіе сознанія исполненнаго долга и характерно для Гамлета. Онъ въ теченіе пяти актовъ все собирается исполнить то, что считаетъ своимъ долгомъ, дѣломъ чести и совѣсти, и только за нѣсколько секундъ до своей смерти исполняетъ его наконецъ, но и то случайно и двусмысленно: собственно говоря, уже не за отца своего онъ мститъ, а за самого себя, измѣнически убитаго. Весь внутренній интересъ драмы въ томъ именно и состоитъ, что человѣкъ, имѣющій полную возможность сто разъ исполнить свой долгъ (или то, что онъ считаетъ долгомъ), постоянно колеблется, отступаетъ, сочиняетъ ухищренныя и неужные способы провѣрки своихъ подозрѣній, придумываетъ предлоги для отсрочки, и притомъ такіе предлоги, которыми самъ не вѣритъ. Словомъ, что касается исполненія долга, Гамлетъ просто тряпка и самъ это очень хорошо понимаетъ. А это, конечно, не такое качество, которое было бы способно возбудить уваженіе или мечтанія о сходствѣ.

Гамлетъ, кромѣ того, уменъ, даже очень уменъ. Но эта черта черезъ-чуръ общая. Если умныхъ людей слишкомъ мало сравнительно съ потребностью въ нихъ и съ количествомъ людей глупыхъ, то ихъ слишкомъ много для того, чтобы какая-нибудь группа людей возмечтала о своемъ сходствѣ съ тѣмъ или другимъ умнымъ человѣкомъ, собственно по причинѣ его большого ума. Гамлетъ уменъ, но и Яго уменъ, и вообще самъ Шекспиръ такъ уменъ, что въ его портретной галлерей имѣется цѣлая коллекція умныхъ людей, которымъ, однако, не посчастливилось въ занимающемъ насъ смыслѣ такъ, какъ посчастливилось Гамлету. Въ этомъ смыслѣ, впрочемъ, умъ самъ по себѣ никогда не бываетъ счастливымъ. Если многіе люди мечтаютъ о томъ, чтобы равняться умомъ съ Кантомъ, Наполеономъ, Байрономъ, и т. п., то дѣло тутъ не въ умѣ собственно, а въ дѣятельности, въ дѣйствіи, въ созданіи «Критики чистаго разума», или въ могучемъ давленіи на политическую жизнь Европы, или въ протестаціи противъ извѣстнаго порядка вещей и т. п. Гамлетъ, будучи очень умнымъ человѣкомъ, все время, собственно говоря, бездѣйствуетъ, влѣдствие чего самый умъ его показывается намъ со стороны вовсе непривлекательной.

Чистый теоретикъ по складу ума, онъ поставленъ лицомъ къ лицу съ практической задачей. При такихъ условіяхъ, даже гораздо болѣе сильный умъ не могъ бы обнаружить наиболѣе блестящими своими чертами. А умъ Гамлета, кромѣ того, еще носитъ на себѣ несчастную печать той же безхарактерности, которою отмѣчена вся жизнь Гамлета. Это умъ, колеблющійся даже въ сферѣ чисто теоретическихъ вопросовъ. Словомъ, Гамлетъ не глубиной или обширностью своего ума плодитъ гамлетиковъ и—простите, что забѣгаю впередъ—гамлетизированныхъ поросать.

Есть въ Гамлетѣ еще одна выдающаяся черта. Онъ, что называется, актерская натура. Онъ не только искусно притворяется сумасшедшимъ, но и безнужно притворяется; притворство это, вовсе не оправдываемое практическими соображеніями, вытекаетъ непосредственно изъ его душевной потребности. Недаромъ онъ такъ любить театръ, недаромъ (какъ давно замѣчено критикой) онъ, послѣ удачнаго эффекта представленія странствующихъ актеровъ, радуется не тому, что убѣдился въ истинѣ, а тому, что какъ онъ всю эту механику искусно подвѣлъ! Механика по замыслу ребяческая, въ практическомъ отношеніи ненужная, но технически, дѣйствительно, искусно веденная. Мы, впрочемъ, не будемъ стоять за то, что Гамлетъ притворщикъ по природѣ. Маудсли утверждаетъ, что это прямо наследственная черта, безсознательно уловленная гениемъ Шекспира. Но можетъ быть дѣло надо понимать совсѣмъ не такъ. Можетъ быть, склонность Гамлета къ притворству и его искусство въ этой сферѣ надо объяснять не непосредственными требованіями натуры, а тѣмъ, что человѣку, стоящему много выше окружающаго общества, доставляетъ удовольствіе играть умомъ въ этомъ направленіи: водить за носъ людей, кичащихся своею практическою мудростью. Такъ или иначе, но можетъ-ли такая игра ума стать предметомъ тайныхъ или явныхъ помысловъ о сходствѣ или подражаніи? На первый взглядъ, конечно, не можетъ, потому что, что же привлекательнаго въ притворствѣ, то-есть враньѣ? Притворщикъ чуть не ругательное слово.

Не совсѣмъ, однако, это такъ просто. Совершенно независимо отъ officialнаго кодекса морали, во всякомъ обществѣ и даже во всякомъ отдѣльномъ слое общества, существуютъ нѣкоторыя особыя понятія о чести и достоинствѣ. Иногда они рѣзко противорѣчатъ officialному кодексу и находятъся поэтому въ странномъ, двусмысленномъ положеніи. Поступки, совершаемые на основаніи этихъ особыхъ понятій, отчасти

скрываются, отчасти же ими, напротивъ, при случаѣ, даже хвастаются. На примѣрахъ дѣло будетъ яснѣе видно. Взять, на примѣръ, взяточничество. Officialная мораль преслѣдуетъ его самымъ рѣшительнымъ образомъ, и никто не посмѣетъ выдти на площадь и съ гордостью, во всеуслышеніе объявить себя взяточникомъ. Но, вѣдь, не все же на площадяхъ люди живутъ. Кромѣ площадей есть на свѣтѣ улицы, переулки и закоулки. Есть сферы общества, гдѣ удачно взяткой хвастаются, гдѣ взяточника зовутъ молодцомъ, а прозѣвавшего подходящій случай—дуракомъ. И такъ смотреть на дѣло не только тѣ, кто сами взятки берутъ. Нѣтъ, къ этому, officialно столь презрѣнному, поступку болѣе или менѣе снисходительно относится чуть не большинство. Или, на примѣръ, прелюбодѣіе. Кто же не знаетъ, что прелюбодѣй, въ сущности, «молодецъ», не дающій маху, хотя въ тоже время существуетъ, кажется, даже officialный позорящій терминъ: «явный прелюбодѣй». И нельзя сказать что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ неофициальный, а тѣмъ болѣе дѣйствительный кодексъ морали не имѣлъ въ виду настоящихъ, несомнѣнныхъ достоинствъ. Напротивъ. Только достоинства эти отнюдь не моральнаго характера. Взяточникъ обнаружилъ умъ, ловкость, знаніе, а это все достоинства. Прелюбодѣй обладаетъ опять-таки ловкостью, красотой, и т. п.—тоже достоинствами. Даже самые грубо низменные въ нравственномъ смыслѣ поступки или привычки могутъ стать предметомъ гордости и хвастовства для однихъ, снисходительнаго полуодобренія для другихъ, если они связаны съ какимъ-нибудь физическимъ преимуществомъ. (О преимуществахъ умственныхъ въ такихъ случаяхъ не можетъ быть и рѣчи). На примѣръ, обжорство отвратительно и стоитъ даже ниже черты нравственнаго суда, но оно требъетъ извѣстныхъ физическихъ достоинствъ—силы, здоровья—и потому вы можете встрѣтить людей, хвастающихся обжорствомъ и удивляющихся ему, быть можетъ, въ тайнѣ мечтающихъ, какъ бы это уподобиться NN, который съѣлъ цѣлаго барана. Любопытно, что неофициальный кодексъ, вообще одобряя взяточника или прелюбодѣя, не проститъ имъ успѣха, достигнутаго безъ помощи какихъ-нибудь умственныхъ или физическихъ достоинствъ. Извѣстно, что взятка, полученная «даромъ», безъ знанія дѣла и безъ нѣкотораго умственнаго напряженія, никогда даже истыми взяточниками не одобряется. Прелюбодѣй старикъ, то-есть лишенный преимуществъ силы и красоты, составляетъ для всѣхъ предметъ презрѣнія и насмѣшекъ. Все это

свидѣтельству о глубокомъ общественномъ неурядкѣ, о раздвоенности и разстро-енности нравственныхъ идеаловъ, причемъ оффиціальныи кодексъ морали оказывается безсильнымъ, а неоффиціальныи произно-ситъ нравственный судъ на основаніяхъ, не имѣющихъ никакого нравственнаго зна-ченія: одно и тоже дѣланіе прощаетъ умиому, сильному, здоровому, красивому и не про-щаетъ глухому, слабому, больному, уроду. Теперь намъ нѣтъ надобности входить по этому поводу въ подробныя разъясненія. Мы беремъ просто фактъ, какъ онъ есть. А нѣкоторые любопытные выводы изъ него сдѣлаемъ ниже.

Возвращаясь къ притворству Гамлета, нетрудно видѣть, что и его нравственная оканка въ нашемъ обществѣ крайне дву-смысленна. Притворство, одинъ изъ ви-довъ обмана, оффиціальною моралью рѣши-тельно не одобряется. Но мораль неоф-фиціальная, столь же неодобрительно отно-сится къ притворству, обусловленному како-нибудь слабостью, беретъ подъ свое покрови-тельство притворство, связанное съ силою, съ какими-нибудь физическими или умст-венными преимуществами. Въ знаменитомъ разговорѣ о формѣ облака, похожаго, по желанію Гамлета, то на ласточку, то на верблюда, то на кита, оба собесѣдника при-творяются. Но притворство Полонія выте-каетъ изъ трусливаго угодничества цар-дворца, который чувствуетъ свое ничтож-ство передъ принцемъ, и неоффиціальная мораль его за это казнить, казнить собст-венно за ничтожество, за слабость. При-творство Гамлета, напротивъ, есть игра ума, чувствующаго себя выше, сильнѣе всѣхъ окружающихъ и потому позволяющаго себѣ надъ ними издѣваться, тѣмъ болѣе, что и по общественному положенію онъ ихъ всѣхъ выше и сильнѣе; ему неоффиці-альная мораль прощаетъ. Казалось бы, надо наоборотъ. Какъ ни презрѣнны фор-мы, принимаемыя иногда притворствомъ слабого человѣка, ради спасенія собст-венной шкуры, но можно бы было про-стить его уже потому, что тутъ дѣло о соб-ственной шкурѣ идетъ, и притворство яв-ляется орудіемъ защиты. Сильному человѣ-ку это орудіе совсѣмъ ненужно. Если онъ пускаетъ его въ ходъ, такъ не для защиты, а для издѣвательства надъ сосѣдями или для пытки ихъ. Неужели мышь, притворя-ющаяся мертвою въ лапахъ кота, достойна осужденія, а котъ, прибѣгающій въ этой жестокой потѣхѣ тоже къ притворству, не достоинъ? Но неоффиціальная мораль со-всѣмъ не видитъ нравственной стороны дѣла. Она просто любитъ силой и отво-рачивается отъ слабости. И вотъ почему

притворство Гамлета, его актерская натура, черта сама по себѣ отнюдь не симпатичная, можетъ стать для гамлетиковъ и гамлети-зированныхъ порослятъ предметомъ мечтаній о сходствѣ и подражаніи. Ходячая неоф-фиціальная мораль нашептываетъ этимъ людямъ, что очень бы хорошо было упо-добиться Гамлету въ искусствѣ притворять-ся, «играть на людяхъ», потому что это искусство свидѣтельству о превосходствѣ человѣка, а «превосходнымъ» быть пріятно.

Подобныи же образомъ и другія черты характера и поступки Гамлета, неодобра-емые ни оффиціальною моралью, ни непо-средственнымъ нравственнымъ чутьемъ, ни какою бы то ни было возвышенною рели-гіозною или философскою этикой, могутъ попадать подъ покровительство ходячей не-оффиціальной морали и этимъ путемъ пло-дить множество сознательныхъ или безсозна-тельныхъ копій датскаго принца. Однако, копій протекантъ не исключительно изъ этого источника.

Въ извѣстномъ критическомъ этюдѣ «Га-млетъ и Донъ-Кихотъ», г. Тургеневъ гово-ритъ, между прочимъ: «Наружность Га-млета привлекательна. Его меланхолія, блѣ-дный, хотя и не худой видъ (мать его за-мѣчаетъ, что онъ толстѣ), черная бархатная одежда, перо на шляпѣ, изящныя манеры, несомнѣнная поэзія его рѣчей, постоянное чувство полнаго превосходства надъ други-ми, рядомъ съ извѣтельной потѣхой само-униженія, все въ немъ нравится, все плѣ-няетъ; всякому лестно прослыть Гамлетомъ». *Одна полонія* занимающаго насъ вопроса безупречно хорошо обрисована этими сло-вами, которые не только выражаютъ вѣр-ную мысль, но и сказаны, расположены вѣрно. Этотъ красивый пель-мель изъ чув-ства превосходства и пера на шляпѣ, ме-ланхолія и черной бархатной одежды, мно-го способствуетъ обаятельности фигуры Гамлета. Ахъ! какъ хорошо страдать въ черной бархатной одеждѣ, возвышаясь при-томъ надъ людьми подобно тому, какъ воз-вышается на шляпѣ красивое перо! Очень красиво—что и говорить. Но красиво соб-ственно только въ замыслѣ, а въ дѣйстви-тельности очень смѣшно. Безспорно, что можно страдать въ черной бархатной одеждѣ и чувствовать свое превосходство, имѣя на головѣ шляпу съ перомъ. Но кто *мечта* этого пель-меля, мечтаетъ объ немъ, жела-етъ походить на страдальца непремѣнно въ шляпѣ съ перомъ, тотъ навѣрное не пре-восходствуетъ, и, вѣроятно, не страдаетъ; а если и страдаетъ, такъ развѣ отъ обиды, что шляпа у него безъ пера и одежда не-черная бархатная. Понятно, что когда ко-пированіемъ превосходнаго страдальца въ

черной бархатной одеждѣ занимается зеленый юноша, у котораго материнское молоко на губахъ не обсохло, такъ это равно ничего не значить: молоко обсохнетъ и юноша, можетъ быть, будетъ хохотать надъ своими мечтами о сходствѣ съ Гамлетомъ или стыдиться ихъ. Мы говоримъ о людяхъ взрослыхъ, такъ или иначе опредѣлившись. И, конечно, тѣ, кто стремится «подъ тѣнь Гамлета» (выраженіе Нежданова въ «Нови») по поводу чернаго бархата, тѣ люди не перваго сорта. Неужто же только подобная пушера идетъ и находить себя въ Шекспировскомъ Гамлетѣ?

Разумѣется, нѣтъ. Г. Тургеневъ обрисовалъ только одну половину дѣла. Существуетъ и другая половина. Такъ какъ я вовсе не помышляю сказать о Шекспировскомъ Гамлетѣ что-нибудь новое, да и не Гамлетъ насъ здѣсь интересуетъ, а нѣкоторые его копіи, то я опять приведу чужія справедливыя слова. Гервинусъ говоритъ: «Шекспиръ выдвигаетъ Гамлета на высоту гениальнаго ума и нравственнаго стремленія, не закрывая глазъ на тѣ погрѣшности или недостатки его натуры и образованія, которыя въ такой степени умаляютъ и его достоинства, и его добродѣтели. Довольство, съ которымъ поэтъ, очевидно, останавливается на этомъ характерѣ, производитъ на насъ тѣмъ болѣе благопріятное впечатлѣніе, что мы видимъ въ немъ, какъ поэтъ снисходитъ къ этой личности со своей умственной высоты, а не то, чтобы симпатизировалъ Гамлету, какъ равный равному. Потому что въ глазахъ поэта тѣ качества, которыхъ Гамлету недостаетъ, именно и составляютъ полное достоинство человѣка». Значить, можетъ быть, не «всякому лестно прослыть Гамлетомъ». И дѣйствительно, спросите любого дѣятельнаго, занятаго какимъ-нибудь дѣломъ человѣка (какого бы калибра ни былъ онъ самъ и какого бы калибра ни было его дѣло), мечтаетъ ли онъ когда-нибудь о сходствѣ съ Гамлетомъ—онъ разсмѣется или удивится. Гамлетъ есть человѣкъ, лишенный энергіи и дѣятельной воли, а вслѣдствіе этого, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, является тряпкой. И Шекспиръ на него такъ смотрѣлъ, и самъ Гамлетъ такъ, именно, себя понимаетъ, за что и обдастъ себя горькими упреками и жестокими ругательствами. Но эта рѣзкая искренность самоосужденія составляетъ новую привлекательную черту въ характерѣ Гамлета. Она миритъ съ нимъ и самаго счастливаго и самаго несчастнаго изъ людей дѣла, одинаково склонныхъ презрительно относиться къ бездѣльнику; миритъ и того, кто настолько счастливъ, что нашелъ себѣ дѣло по плечу и вкусу, и того, чьи пле-

чи или мозгъ отдавлены непосильной работой. Она же необыкновенно усиливаетъ влеченіе гамлетиковъ и гамлетизированныхъ просить «подъ тѣнь Гамлета».

Гамлету, по складу его ума и по характеру, надо бы философію читать, хоть бы въ томъ же Виттенбергскомъ университетѣ, гдѣ онъ учился. А между тѣмъ онъ взялъ на себя, или стеченіе обстоятельствъ взяло на него, практическую задачу, которую онъ выполнить не можетъ, которая даже претитъ ему, хотя въ тоже время онъ признаетъ ее цѣлью своей жизни. Эта раздвоенность души вызываетъ у Гамлета цѣлые потоки страстнаго, даже свирѣпаго самобичеванія. И онъ не рисуется при этомъ, а дѣйствительно, искренно презираетъ и проклиняетъ свою слабость. Гамлетикъ—тотъ же Гамлетъ, только поменьше ростомъ. Какъ и тотъ, большой Гамлетъ, онъ не соответствуетъ складомъ ума, характера, вкусовъ тому практическому дѣлу, которое по обстоятельствамъ считаетъ своимъ кровнымъ дѣломъ. У него тоже раздвоенная душа, изъ нея тоже рвутся горькіе вопли самобичеванія за слабость, неспособность къ дѣятельности, недостатокъ энергіи. Но, по относительной малости своего роста, онъ стремится подъ тѣнь великорослаго Гамлета, ищетъ и находитъ утѣшеніе въ своемъ съ нимъ сходствѣ. Понятно, однако, что въ такой копіи уже не можетъ быть цѣльной искренности покаянія оригинала. Гамлетъ страдалъ отъ сознанія своей тряпичности безутѣшно. У гамлетика есть утѣшеніе, и утѣшеніе состоитъ въ томъ, что былъ на свѣтѣ датскій принцъ съ большимъ умомъ, тонкими чувствами, поэтическою рѣчью, который тоже болѣлъ неспособностью къ дѣлу и тоже ругательски себя за это ругалъ. Гамлетъ, вполне сознавая свое превосходство, въ тоже время искренно презиралъ себя за позоръ бездѣйствія. Роясь въ своей душѣ когтями могучаго анализа, береда свои раны, онъ ловитъ и казнить себя на каждомъ шагу, искренно считаетъ себя человѣкомъ болѣе ничтожнымъ, чѣмъ страстующій актеръ, который умѣетъ зажегъся исполняемою имъ ролью. Гамлетикъ же, узнавая черты своей фізіономіи въ великомъ шекспировскомъ зеркалѣ, но не обладаая страшными когтями анализа, роется въ своей душѣ уже въ двоякомъ смыслѣ или, вѣрнѣе сказать, добываетъ въ своей душѣ двоякаго сорта вещи: съ одной стороны, бездѣйствіе и неспособность къ дѣлу позорны; съ другой, однако, стороны, также бездѣйствовалъ и также неспособенъ къ дѣлу былъ Гамлетъ, поэтический, умный, интересный Гамлетъ; и было у него перо на шляпѣ и ходилъ онъ въ черной бархатной одеждѣ...

Да, у гамлетика уже мелькает мысль об общей красивости пель-меля изъ меланхолин и пера на шляпѣ и о пріятности примѣрять этотъ пель-мель на себя. И это, конечно, не гамлетовская черта, потому что Гамлетъ прежде всего оригиналенъ и не мечтаетъ объ чужой одеждѣ. Но въ гамлетикѣ, всетаки, сохраняются двѣ несомнѣныя, подлинныя гамлетовскія черты, конечно, въ сокращенномъ размѣрѣ. Во-первыхъ, гамлетикѣ всетаки, дѣйствительно, страдаетъ отъ сознанія своей бездѣльности; во-вторыхъ, въ связи съ этимъ, онъ не сверху внизъ смотритъ на практическую дѣятельность вообще, и на лежащую передъ нимъ задачу въ частности, а на оборотъ, снизу вверхъ: не дѣло ничтожно, а онъ, гамлетикъ, ничтоженъ.

Въ гамлетизированномъ поросенокѣ эти черты совершенно уже отсутствуютъ...

Однако, что же это за гамлетизированный поросенокъ? спроситъ читатель. Какъ бываетъ никелированная или посеребренная мѣдь, напримѣръ: такъ бываетъ и гамлетизированный поросенокъ. Выраженіе это я употребилъ какъ-то нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ фельетонахъ «Въ перемежку» и теперь оно мнѣ вспомнилось при чтеніи разсказовъ, заглавія которыхъ выписаны подъ заголовкомъ предлагаемой статьи.

Представьте себѣ поросенка въ полной парадной поросячьей формѣ: рыльце пяткомъ, хвостикъ винтомъ, глазки «свинные», щетинка въ грязи. Представьте себѣ далѣе, что этому поросенку приходится въ голову странная, на первый взглядъ, мысль спрятать свою грязную щетину и свой хвостикъ винтомъ подъ черную бархатную одежду, надѣть шляпу съ перомъ, принять меланхолическій видъ и, выйдя на площадь, объяснить мимоходящей публикѣ: «я—датскій принцъ Гамлетъ; быть или не быть? вотъ въ чемъ вопросъ». Гамлетомъ онъ отъ этого, конечно, не станетъ, а будетъ гамлетизированнымъ поросенкомъ.

Но не такъ уже странно желаніе гамлетизироваться, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Поросенку, понятное дѣло, хочется быть или хотъ казаться красивѣе, чѣмъ онъ есть. Гамлетъ красивъ, а кромѣ того прикинуться Гамлетомъ легче, чѣмъ кѣмъ-нибудь...

Гамлетъ — бездѣльникъ и тряпка, и съ этихъ сторонъ въ немъ могутъ себя узнавать всѣ бездѣльники и тряпки. Гамлетъ, кромѣ того, облеченъ своимъ творцомъ въ красивый пель-мель и снабженъ изъ ряду вонъ выходящими дарованіями, и потому многіе бездѣльники и тряпки *хотятъ* себя въ немъ узнавать, то-есть копируютъ его, стремятся подъ его тѣнь. Можетъ показать-

ся, что такое копированіе представляетъ чрезвычайныя трудности. Въ самомъ дѣлѣ, откуда же первому встрѣчному бездѣльнику и тряпкѣ взять несомнѣныя достоинства Гамлета—его умъ, его благородство, такъ возвышающіе его надъ средой? Это такъ взять не откуда, изъ земли не вырастешь. Однако, съ этимъ затрудненіемъ справиться въ сущности очень легко, потому что, по своей собственной челоуку слабости, даже очень глупые люди почитаютъ себя иногда очень умными и очень низкіе—очень благородными. Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ обмановъ духовнаго зрѣнія, направленного внутрь себя. Поросенокъ есть поросенокъ, но онъ можетъ воображать себя умнымъ, благороднымъ челоукомъ и такимъ рекомендовать публикѣ. Повѣрить или не повѣрить публика—это дѣло другое. Затѣмъ, очень большимъ препятствіемъ представляется подлинность страданій Гамлета и страстная искренность его самобичеванія. Когда мы въ началѣ статьи пытались, перебирая отдѣльныя черты фигуры Гамлета, открыть секретъ многочисленности копій, мы говорили и о страданіяхъ датскаго принца, но ни въ нихъ, ни въ другихъ отдѣльных чертахъ этого секрета не нашли. Намъ выручили соображенія объ общей красивости пель-меля и о механикѣ отношеній официальной и неофициальной морали. Они и теперь должны намъ выручить.

Какъ бы ни было сильно воображеніе поросенка, его часто должны одолевать разныя сомнѣнія насчетъ дѣйствительнаго обладанія достоинствами Гамлета. Онъ, естественно, получаетъ нерѣдко житейскіе толчки отрезвляющаго свойства, и потому въ душѣ его происходитъ довольно-таки сложная работа, подчасъ очень мучительная. Онъ, напримѣръ, только-что наладитъ себя, а можетъ быть и изъ публики кого-нибудь, въ томъ смыслѣ, что онъ, подобно Гамлету, двумя головами выше всѣхъ окружающихъ, а грубая жизнь возьметъ да и сташитъ его съ этого монумента, воздвигнутаго самому себѣ. Обидно, а при большомъ самолюбіи даже мучительно обидно. И вотъ страдалецъ готовъ. Остается только гамлетизировать это страданіе, то-есть приурочить его не къ дѣйствительному его источнику, а къ той душевной раздвоенности, которою страдаетъ Гамлетъ. Бѣда, однако, въ томъ, что Гамлетъ страдаетъ отъ искреннаго презрѣнія къ самому себѣ, причѣмъ о своихъ достоинствахъ онъ вовсе даже не думаетъ. Гамлетизированному поросенку надо, напротивъ, убѣдить себя и другихъ въ наличности огромныхъ достоинствъ, которыя даютъ ему право на шляпу съ перомъ и на черную бархатную одежду. Поэтому

онъ, ради сходства съ Гамлетомъ, готовъ себя казнить наединѣ съ самимъ собой и публично, но чтобы эта казнь не совсѣмъ взаправду была, не выражала бы настоящаго презрѣнія. Гамлетъ казнить себя за бездѣльность и трюпичность, которыя всегда и вездѣ уваженіемъ не пользуются. Поросенокъ за это казнить себя не станетъ. Онъ, напротивъ, убѣжденъ и другихъ желать бы убѣдить, что подлежащее ему дѣло ниже его, что и, вообще, нѣтъ на землѣ практической дѣятельности, достойной его поросенка великогнѣя. Не его надо, дескать, презирать за бездѣльность, а то дѣло, за которое онъ взялся, не вѣруя въ него и не любя. Но поросенокъ будетъ очень охотно казнить себя за такіе мысли, чувства, поползновенія, поступки, которые не одобряются официальною моралью, но состоятъ подъ покровительствомъ морали неофициальной. Совершитъ онъ, положимъ, прелюбоудѣяніе; совершитъ, какъ и подобаетъ поросенку, грязно, грубо, совсѣмъ словомъ, не такъ, какъ совершилъ бы его при случаѣ Гамлетъ. Онъ и самъ чувствуетъ, что на Гамлета что-то не похоже и потому ощущаетъ нѣкоторое недовольство, но немедленно же гамлетизируетъ это недовольство, утѣшая себя самоубицваніемъ, которое тѣмъ удобнѣе, что вѣдь съ точки зрѣнія неофициальной морали онъ—молодецъ, не давшій маху. Выходитъ чрезвычайно удобное положеніе. Съ одной стороны, получается нѣкоторая гамлетизация: скорбный видъ, недовольство собой, самоубицваніе; съ другой стороны, однако, самоубицваніе это производится по такому интересному поводу, который въ глазахъ многихъ и многихъ даже очень возвышаетъ поросенка. Зрителю, нравственно чуткому и требовательному, поросенокъ представляется съ такой стороны, что, дескать, конечно, мое поведеніе грязно и грубо, но зато посмотрите, какъ я самъ себя за это казню. Зритель, проникнутый официальною моралью, видитъ ту же самую глубину покаянія. Представители же морали неофициальной, которые попроще, такъ просто и говорятъ: молодецъ! чисто поручикъ Кувшинниковъ! Болѣе же утонченныя говорятъ: ахъ, какой интересный страдалецъ, и какъ къ нему идетъ эта шляпа съ перомъ!

Конечно, не всегда говорятъ именно эти рѣчи и вообще, не всегда такъ, ко всеобщему удовольствію, выходитъ. Но обстоятельства могутъ такъ складываться, и поросенокъ это очень хорошо знаетъ...

II.

Стоитъ-ли заниматься гамлетизированными поросятами? Очень стоитъ. Въ наше

время на бѣломъ свѣтѣ такъ много подлиннаго и напускнаго, почтеннаго и презрѣннаго страданія, что «смѣшались шляпки и подѣзали изъ щелей мошки, да букашки». Если бы вся эта страшная масса страданія происходила изъ одного и того же источника, разыгрывалась бы на одинъ и тотъ же мотивъ, то страданіе было бы дѣйствительнымъ объединяющимъ признакомъ людей нашего времени и не зачѣмъ было бы сторониться сосѣдства мошекъ и букашекъ. Пусть мошка обижена природой, пусть она бездарна и слабобкрыла, но если горе ея истинно и зависитъ отъ тѣхъ же причинъ, въ которыхъ коренится страданіе существъ, одаренныхъ сильными крыльями, то почему же имъ не стоять рядомъ? Но если мошка страдаетъ отъ злобы и зависти, или если она только прикидывается страдальцею, только кокетничаетъ и рисуетъ, то надо же указать людямъ ея настоящее мѣсто. Это тѣмъ полезнѣе теперь, когда къ услугамъ гамлетизированныхъ поросятъ являются модныя пессимистическія теоріи, съ высоты которыхъ они могутъ съ особеннымъ удобствомъ кокетничать и ломаться. Это для нихъ новый ресурсъ. Будучи просто бездѣльниками и трюпиками, они могутъ картинно «складывать на пустой груди ненужныя руки», ибо вѣдь всякому дѣлу и бездѣлю, равно какъ и всякому добру и злу, одинъ конецъ—нирвана...

Во всякомъ случаѣ, беллетристика начала заниматься гамлетизированными поросятами, и критика должна сказать свое слово объ этихъ попыткахъ. Къ числу ихъ принадлежатъ рассказы гг. Юрко и Г. О.

Намъ надо, однако, сначала сказать нѣсколько словъ о такихъ сторонахъ этихъ рассказовъ, которыя не имѣютъ никакого отношенія къ гамлетизированнымъ поросятамъ и введены авторами исключительно въ видахъ внѣшняго эффекта. Герой *Fatum'a* подвергается смертной казни черезъ повѣшеніе за участіе въ политическомъ преступленіи. Герой «Развязки» есть человѣкъ, «когда то, гдѣ-то и въ чемъ-то замѣшанный и потерпѣвшій таки довольно много». Но ни Сергій Михайловичъ (*Fatum*), ни Максимъ Николаевичъ Порошинъ (Развязка), по крайней мѣрѣ, въ тотъ моментъ, когда они являются передъ читателями, никакими внутренними узами не связаны съ нашими политическими преступленіями. Сергій Михайловичъ попадаетъ на висѣлицу совершенно случайно, не въ силу какихъ-нибудь своихъ преступныхъ политическихъ убѣжденій, а напротивъ, пожалуй, въ силу отсутствія таковыхъ. Это дѣло слѣпота *fatum'a*, случайнаго стеченія обстоятельствъ, а не воли Сергія Михайловича. Вотъ какъ съ нимъ это случилось. Жили были прекрасная

дѣвица Нина Аркадьевна и прекрасный молодой человекъ Сергій Михайловичъ. Прекрасный молодой человекъ объяснился однажды прекрасной дѣвицѣ въ любви, но та рипостировала, что не любитъ его. Молодой человекъ «стушевался», на цѣлыхъ пять лѣтъ стушевался. «Шлялся онъ всѣ эти годы такъ, зря... Съ всякимъ народомъ связывался: и съ «земцами», и съ «нѣмцами», и съ «легальными», и съ «нелегальными»... *есть были равны, есть были смѣшны...* Помнитъ онъ, дней пять назадъ, остановился онъ у знакомыхъ, на день-на два... Предупреждали даже, что мало-ли, что можетъ случиться. Но *ему было все равно, даже забавно...* Такъ и не ушелъ, чисто изъ лени». А между тѣмъ, въ пріютившую его квартиру явилась полиція, раздались выстрѣлы. «Кто-то сумелъ ему револьверъ». Онъ выстрѣлилъ, ранилъ человека, потомъ убѣжалъ, спустившись по водосточной трубѣ. На волѣ ему, однако, было опять-таки «все равно». «Онъ даже, въ сущности, и не скрывался, а такъ, шлялся, не предпринимая ничего, отдаваясь случаю». Но, наконецъ, онъ рѣшилъ «взглянуть на нее», то-есть на прекрасную Нину Аркадьевну и «потомъ умереть». Нина Аркадьевна сказала ему на этотъ разъ, что она его любитъ, но онъ отвѣтилъ, что теперь уже поздно и что онъ ея не любитъ. Впрочемъ, ему хотѣлось сказать, что онъ ее любитъ. Потомъ онъ донесъ самъ на себя, и читатели присутствуютъ при его повѣшеніи. Присутствуетъ и Нина Аркадьевна. «Вотъ онъ ищетъ взглядомъ въ толпѣ... Вѣдь онъ ее ищетъ! Хотѣлось крикнуть, пошевелиться: ни голоса, ни движенія не было... Вотъ рѣзкая дробь барабана... Она дрогнула всѣмъ тѣломъ, лицо исказилось, челюсть упала... Вотъ онъ повернулъ голову... Господи!! Нѣтъ, увидалъ, узналъ... Ихъ глаза встрѣтились... И вдругъ это мертвенное лицо тронулось улыбкой, такой же доброй и печальной, какъ тогда—давно! Давно, безконечно давно. Въ той маленькой комнатѣ, когда, бывало, онъ подыметъ голову отъ книги и встрѣтитъ глазами ея лицо...» Послѣ казни Сергія Михайловича, Нина Аркадьевна заболѣла отъ горя и умерла.

Во всемъ этомъ много неяснаго и недоговореннаго, но одно вполне ясно и договорено: участіе Сергія Михайловича въ преступленіи есть дѣло чистой случайности, и «легальные» и «нелегальные» для него одинаково смѣшны. Что же касается героя «Развязки», то, изъ первыхъ же строкъ повѣсти, мы узнаемъ, что онъ «совершенно безучастно, развѣ лишь съ усталой ироніей относится ко всѣмъ «ликованіямъ» и «ожиданіямъ», ко всѣмъ «отрицаніямъ» и «воз-

мущеніямъ». Авторъ почему-то утверждаетъ, что на языкѣ «салона», въ которомъ появляется въ началѣ повѣсти герой, всѣхъ плѣняя своею интересною наружностью, его слѣдовало бы назвать «ретроградомъ». Мы не знаемъ, какой это салонъ, а потому и спорить не можемъ. Но, вообще, такихъ людей никто ретроgrадами не зоветъ, а зовутъ то индифферентистами, то людьми, стоящими внѣ партій, то людьми, не имѣющими опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій. Какъ бы то ни было, но прошлое героя «Развязки», его участіе въ какомъ-то политическомъ дѣлѣ, рѣшительно ничѣмъ не отражается въ теченіи повѣсти. Спрашивается, была-ли какая-нибудь надобность привлекать Сергія Михайловича и Максима Николаевича къ участію въ политическихъ преступленіяхъ?

Когда появился романъ г. Тургенева «Новъ», я выразилъ удивленіе, что романистъ, столь опытный, поставилъ въ центръ своего повѣствованія фигуру Нежданова. Романъ написанъ на тему современнаго движенія въ Россіи, а между тѣмъ, вниманіе читателя сосредоточивается главнымъ образомъ на человекѣ, невѣрующемъ въ то дѣло, которымъ онъ занимается, не имѣющемъ ни политическаго темперамента, ни фанатической преданности своимъ убѣжденіямъ, ни холодной увѣренности въ торжествѣ своихъ идей. Спору нѣтъ, Неждановы возможны вездѣ, а слѣдовательно, и въ средѣ русскихъ революціонеровъ, но, конечно, не они для этой среды характерны. Вспомъ за г. Тургеневымъ вотъ и гг. Юрко и Г. О. пристегиваютъ къ революціи людей, по малой мѣрѣ, столь же ей чужихъ. Они, правда, могутъ возразить, что вовсе не задаются, подобно г. Тургеневу, цѣлью нарисовать болѣе или менѣе полную, широкую картину русскаго революціоннаго броженія: они просто берутъ одного—Сергія Михайловича, другой—Максима Николаевича, случайно прикосновенныхъ къ преступной политической дѣятельности, и, полагая этихъ людей интересными, изображаютъ ихъ судьбы. Это такъ. Но, очевидно, все-таки, что наши авторы, и особенно г. Юрко, дѣлаютъ большой эстетическій промахъ. Сергій Михайловичъ, какъ типъ, могъ бы вполне обрисоваться въ положеніи, на примѣръ, профессора, невѣрующаго въ науку, военнаго человека, невѣрующаго въ законность войны и т. п.; можетъ онъ, конечно, оставаться и тѣмъ, что онъ есть теперь. Но, выбирая изъ всѣхъ подходящихъ комбинацій именно эту, доводя своего героя до такого страшнаго конца, какъ смертная казнь, авторъ его этимъ самымъ концомъ совсѣмъ придавливаетъ. Сергій Михайловичъ, какъ типъ, или даже

просто как одиночный живой образ, со-
всѣмъ пропадаетъ, «стусевывается» въ кар-
тинѣ смертной казни, не смотря даже на то,
что она вышла у г. Юрко блѣдною, шаб-
лонною и неправдоподобною *). Слишкомъ
ужъ это большой и яркій фонъ для портрета
такого маленькаго и блѣднаго человѣка, какъ
Сергій Михайловичъ. Выходитъ какое-то
эстетическое недоразумѣніе, которое, однако,
отражается и за предѣлами чисто художе-
ственныхъ интересовъ. Передъ вами, соб-
ственно говоря, нѣтъ Сергія Михайловича.
Не его фигура оставила въ васъ впечатлѣ-
ніе, а фигура человѣка, казеннаго за по-
литическое преступленіе. Чтобы ненавидѣть
или любить, презирать или уважать Сергія
Михайловича сообразно его дѣйствительной
правдивости, надо совсѣмъ забыть
о его трагическомъ концѣ и вообще обо
всѣмъ томъ дѣлѣ, въ которомъ онъ душою
вовсе не участвуетъ. И какое такое это
дѣло, которое онъ дѣлаетъ безъ вѣры, безъ
страсти, для насъ совершенно безразлично.
Надо только помнить, что какое-то такое,
все равно какое, дѣло есть.

Очевидно, мы имѣемъ передъ собой одну
изъ копій Гамлета. Но какая это копія, гам-
летикъ или гамлетизированный поросенокъ,
къ сожалѣнію, благодаря блѣдности рисунка
г. Юрко, сказать трудно. Мы знаемъ изъ
внутренней жизни Сергія Михайловича съ
полною опредѣленностью только двѣ вещи:
онъ одинаково презираетъ «легальныхъ» и
«нелегальныхъ» и чисто по рыцарски любитъ
Нину Аркадьевну. Можно догадываться, что
онъ вынесъ много разочарованій и горя, но
что и какъ — неизвѣстно. Въ этомъ смыслѣ
имѣется въ рассказѣ всего одно указаніе,
но до такой степени блѣдное и туманное,
что изъ него ровно ничего вывести нельзя.
А именно, когда Сергій Михайловичъ, уже
совершивъ свое нечаянное преступленіе,
узнаетъ, что прекрасная Нина его любитъ,
онъ размышляетъ такъ: «Вотъ она кровавая
иронія жизни... Вотъ она — казнь!.. *Выше
всего поставилъ я свое личное страданіе.*
И вотъ казнь...» Далѣе опять: «Да правда...
*Есть въ жизни что-то выше личнаго стра-
данія...* Затѣмъ же только это пришло такъ
поздно?.. И что же теперь?.. Опять «все
равно», *лишь бы покончить съ личнымъ
страданіемъ...*» И затѣмъ въ рассказѣ нѣтъ
ни одной черты, ни одного слова, которое

разъясняло бы эти туманные фразы. Къ
этой блѣдности рисунка надо еще прибавить
то обстоятельство, что авторъ, видимо, покрови-
тельствуетъ своему герою. Вспомните
опять Нежданова въ «Нови». Не смотря на
явные симпатіи г. Тургенева къ этому чело-
вѣку, онъ воздержался, все-таки, отъ излиш-
няго ему покровительства. Онъ, во-первыхъ,
заставилъ его признать, что онъ, Неждановъ,
плохъ, а не то, чтобы всякая дѣятельность
была презрѣнна. Затѣмъ, между людьми,
окружающими Нежданова, есть персонажи
небольшого ума, но, во всякомъ случаѣ, през-
рѣнія не заслуживающіе и въ нѣкоторыхъ
отношеніяхъ стоящіе гораздо выше Нежда-
нова. Наконецъ, Сокоминъ и Маріанна, какъ
по замыслу автора, такъ и по сознанію са-
мого Нежданова, уже безусловно выше его.
Г. Юрко поступилъ иначе. У него передъ
Сергѣемъ Михайловичемъ «всѣ равны», «всѣ
смѣшны»: нѣмцы и земцы, легальные и не-
легальные... Ничѣмъ, однако, фактическимъ
такая возвышенность Сергія Михайловича
не подтверждается. А потому и остается не-
извѣстнымъ: гамлетикъ-ли онъ или же гам-
летизированный поросенокъ.

Герой «Развязки», Максимъ Николае-
вичъ Порошинъ, гораздо опредѣленнѣе. Это
уже несомнѣнный гамлетизированный поро-
сенокъ. Объ этомъ, впрочемъ, придется, пожа-
луй, довольно пространно разговаривать, по-
тому что авторъ старается обставить своего
героя наивыгоднѣйшимъ для него образомъ,
и маловнимательный читатель, пожалуй и не
замѣтитъ винтообразнаго хвостика и гряз-
ной щетинки, довольно-таки-явственно вы-
глядывающихъ изъ-подъ черной бархатной
одежды. Я мало знаю беллетристическихъ про-
изведеній, авторы которыхъ были бы такъ
страстно влюблены въ своихъ героевъ, и
герои которыхъ такъ мало заслуживали бы
подобнаго увлеченія.

Начать съ того, что г. Г. О. сообщаетъ
такія подробности изъ жизни Порошина,
которыя, будучи совершенно незначитель-
ными вообще, не имѣютъ ровно никакого
значенія и въ повѣсти. Напримѣръ, Поро-
шинъ ѣдетъ куда-то изъ Петербурга. Въ
вокзалѣ онъ встрѣчается съ нѣкоторой Зоей,
которую любить, которая, кажется, и его
любитъ, но, кажется, и не любитъ, а можетъ
быть и онъ ее не любитъ. Все это, поло-
жимъ, къ дѣлу идетъ. Но когда Порошинъ,
будучи постоянно въ своемъ меланхоличе-
скомъ видѣ, не слышитъ звонка, вслѣдствіе
чего долженъ провести лишнюю ночь въ
Петербургѣ, въ гостинницѣ, гдѣ съ нимъ
ничего, впрочемъ, любопытнаго не происхо-
дитъ, то описаніе этого эпизода можно, ка-
жется, считать совершенно излишнимъ. На-
фабула рассказа, и характеристика Поро-

*) Можетъ быть, для Сергія Михайловича и
характерна та черта, что онъ и подъ вѣнчикомъ
или о чемъ, кромѣ Нины Аркадьевны, не думаетъ,
но, чтобы онъ ровныскалъ ее глазами въ толпѣ, да
еще улыбкался ей тою самою улыбкой «доброй
и печальной», которою онъ ей улыбался, когда
они за книжкой сидѣли — это ужъ грубѣйшая
фальшь.

пина ни мало от этого вперед не подвигаются. Въ дорогѣ опять подобный же ничемный эпизодъ. Въ одномъ вагонѣ съ Порошинымъ ѣдетъ молодая дѣвушка съ отцомъ. Порошинъ, при мрачности своей, смущаетъ ее «длиннымъ пристальнымъ» взглядомъ «холодныхъ, мертвыхъ глазъ». Ничего опять изъ этого не проистекаетъ (дѣвушка съ отцомъ выходятъ на одной изъ промежуточныхъ станцій, Порошинъ ѣдетъ дальше), но если Порошинъ опоздалъ на поѣздъ, если онъ посмотрѣлъ, чихнулъ, высморкался, то влюбленный авторъ не упускаетъ случая удѣлить этимъ событіямъ одну-другую страницу. Страницы эти всѣ сплошь проникнуты меланхоліей и мракомъ, потому что Порошинъ пьетъ, ѣстъ, чихаетъ, спитъ, говоритъ, думаетъ постоянно въ шляпѣ съ перомъ и въ черной бархатной одеждѣ, что, какъ извѣстно, очень красиво. До такой степени красиво, что разсказъ начинается такъ: въ одномъ петербургскомъ салонѣ, въ числѣ прочихъ гостей находился Максимъ Николаевичъ Порошинъ; «дамы почти всѣ находили его «эффектнымъ»; пожалуй, дамы были и правы». А оканчивается повѣсть такъ. Порошинъ застрѣливается, и священникъ, выслушавъ его предсмертную исповѣдь, удостоверяетъ его мать: «въ раю будетъ». Если авторъ не присовокупляетъ при этомъ отъ себя: «пожалуй, священникъ былъ и правъ», то, вѣроятно, потому только, что считаетъ авторитетъ священника достаточно вѣскимъ. Такимъ образомъ, Порошинъ угодилъ и дамамъ, и Богу. Случай довольно рѣдкій, объяснимый, конечно, только рѣдкими достоинствами Порошина, каковыя и позволяютъ ему съ презрѣніемъ смотрѣть на всѣ «ликованія», «отрицанія», «ожиданія», «возмущенія» и прочую низменную житейскую дребедень. Не сразу, впрочемъ, сталъ Порошинъ на эту точку. Когда-то, «переживши періодъ юношескихъ идиллій, онъ выработалъ себѣ павѣстный кругъ очень твердыхъ и опредѣленныхъ общественныхъ и нравственныхъ убѣжденій—въ общемъ это были убѣжденія и взгляды лучшихъ представителей русской образованности—но все это было не то. Все это было чисто разсудочное, холодное, мертвое, не то, чѣмъ можно бы было жить, дышать!»

Не знаю какъ вы, читатель, а я всегда очень скептически отношусь къ достоинствамъ людей, такъ ужъ полно презирающихъ всю эту низменную дребедень. Все мнѣ кажется, что не она выше этой жизни, которую они презираютъ, а напротивъ, эта жизнь выше ихъ. О, я очень хорошо знаю, что жизнь бываетъ иногда переполнена пошлостью и низостью, какъ тотъ стаканъ вина, объ которомъ говорится, что онъ озна-

часть «полнымъ домогъ жить». Знаю также, что есть люди, имѣющие право смотрѣть на эту жизнь сверху внизъ. Но они имѣютъ это право не иначе, какъ во имя какихъ-нибудь ликованій, отрицаній, ожиданій, возмущеній, тѣмъ или другимъ изъ этихъ путей вступая въ дѣятельныя отношенія къ жизни. Знаю, наконецъ, что былъ на свѣтѣ датскій принцъ Гамлетъ, очень крупный человѣкъ, смотрѣвшій на жизнь сверху внизъ и не вступавшій, однако, въ какія бы то ни было дѣятельныя отношенія къ ней. Но онъ несъ за это жесточайшее изъ наказаній, какія только могутъ выпасть на долю крупнаго человѣка—презрѣніе къ самому себѣ. И когда этотъ изъяснъ въ нравственной физіономіи Гамлета, имъ самимъ такъ ясно сознаваемый и такъ больно ощущаемый поднимается на какой-то пьедесталъ, я отношусь къ пьедесталу съ большими сомнѣніями. Никакія завіренія влюбленнаго человѣка, никакія ссылки его на свидѣтельства дамъ и священниковъ не могутъ сбить меня съ этой скептической позиціи. Я вѣрю, напиримѣръ, автору «Развязки», что дамы находили Максима Николаевича «эффектнымъ», вѣрю, что священникъ гарантировалъ ему рай. Но дамы дамами, а если этотъ самый Максимъ Николаевичъ относится «развѣ только съ устакой ироніей» ко всѣмъ «ликованіямъ» и «возмущеніямъ», не чувствуя при этомъ презрѣнія къ себѣ, то я не вѣрю его возвышенности: какъ бы ни была пошла и низменна окружающая его жизнь, а онъ ниже ея. Конечно, въ текущій моментъ нашей бесѣды съ читателемъ такой тезисъ можетъ показаться продуктомъ вѣры и апіорныхъ соображеній. Но мы на этомъ моментѣ не собираемся останавливаться. Мы пойдемъ дальше и постараемся посмотрѣть на достоинства Максима Николаевича поближе. Къ счастью, авторъ, подобно многимъ влюбленнымъ людямъ, такъ увѣренъ въ своемъ героѣ, что проговаривается кое-чѣмъ, для насъ любопытнымъ.

Если столичные дамы находили Порошина эффектнымъ и если, по свидѣтельству автора, «пожалуй, дамы были и правы», то дамамъ провинціальнымъ пришлось, конечно, съ его пріѣздомъ совсѣмъ плохо. Между прочимъ, онъ, совершенно противъ своего желанія, произвелъ стрѣлою амура одну дѣвицу, которая и затащила его къ себѣ на вечеръ. Для автора получается при этомъ благодарная тема контраста, между меланхолическою возвышенностью героя и пошлостью пошлѣйшаго изъ провинціальнѣхъ вчеровъ: сплетни, грязь, грубость, пошлость. Герой, понятное дѣло, скучаетъ и, ходя изъ комнаты въ комнату, презрительно прислушивается и приглядывается. Между про-

чимъ, онъ слышитъ такой разговоръ. Нѣкто рассказываетъ, какъ какой-то Иларіонъ Степановичъ, что называется, отбрилъ свою дочь, которая просила, чтобы онъ ее отпустилъ учиться на медицинскіе курсы. «Иларіонъ Степановичъ посмотрѣлъ такъ на нее, да и отрѣзалъ:—ну, говорить, коли тебѣ, моя милая, голыхъ мужчинъ такъ посматрѣть захотѣлось, такъ ты лучше замужъ выходи, тамъ все увидишь». Всѣ въ восторгѣ отъ этой пошлости, всѣ, кромѣ, разумѣется, Порошина, для котораго «всѣ эти разговоры, все это закорузное хамство, все это было такое давнишнее, знакомое, обычное; все это когда-то такъ волновало, такъ раздражало, такъ мучило и мучило». Когда-то Порошинъ заглазно, по сочувствію, возмущился бы за эту дѣвушку, безвинно получившую отъ отца такое грубое оскорбленіе; вознегодовалъ бы на старика или, можетъ быть, пожалѣлъ бы его сѣдины, имъ самимъ позоримыя. Теперь не то. Теперь Порошинъ такъ высоко паритъ надъ всѣмъ этимъ, что въ облакахъ еле видѣется его шляпа съ перомъ и черная бархатная одежда...

Мѣщанинъ Арбузовъ ведетъ Порошина на дровяной дворъ и тамъ, между прочимъ, затѣваетъ съ нимъ и съ рабочимъ Павлюкомъ полупуточный, полусерьезный разговоръ.

— Бабъ дерутъ... И комедія, скажу вамъ... Пропштрафится это баба чѣмъ-нибудь, сейчасъ на сходъ. Старики ихніе тутъ стоять, напимѣръ, судьи... Ну, разсудятъ—драгъ...

— А она не дури, вдругъ буркнулъ Павлюкъ.

— Не дури! строго заговорилъ Арбузовъ.—Нешто такъ можно? Примѣрно въ женскомъ полѣ и вдругъ—хвостъ на голову... Дуракъ, дубина! Стыдъ-то въ васъ есть?...

— Мнѣ что! бормоталъ сконфуженный Павлюкъ.—Я не драгъ!

— Я не драгъ! передразнилъ Арбузовъ.—А кто же драгъ? Изволите видѣть, обратился онъ къ Порошину:—онъ свою супругу, скажемъ, такъ—даму. И вдругъ при полномъ стеченіи народа... Тѣфу...

Дѣйствительно тѣфу! Грубость и безобразіе. Любопытно бы однако было знать, какъ самъ Порошинъ относится къ тому пикантному сюжету, который затрагивается рѣчами Иларіона Степановича и Арбузова. Нѣкоторые указанія на этотъ счетъ въ разсказѣ есть. А именно самъ Порошинъ говоритъ, что у него «въ душѣ Сикстинская мадонна и обнаженная бабенка съ аппетитными формами уживаться могутъ.. Небо и грязь, бездну надъ собой и бездну подъ собой». Подчеркнутыя слова имѣютъ, конечно, цѣлью поэтизировать и гамлетизировать признаніе типу?

Порошина; эти неопредѣленные слова, намеющія на что-то большое, выдающееся, должны играть роль черной бархатной одежды. Но развѣ вы не видите, что изъ подъ нея уже выглядываетъ кончикъ винтообразнаго хвостика? Въ слѣдующихъ мечтаніяхъ Порошина хвостикъ обнаруживается уже въ полномъ размѣрѣ.

«Потомъ онъ забылся, какъ въ кошмарѣ, какіе-то образы выползаютъ, плывутъ и тотчасъ, недоконченные исчезаютъ. И все около того же. Зоя и ея мужъ... И образы циничные, грязные, и опять-таки все недоконченное и тѣмъ болѣе циничное, что недоконченное... *какая-нибудь подробность са странной комбинаціей тѣла (?)* ярко становится и не уходитъ... Уйдетъ и тотчасъ же опять всплыветъ...»

Я поставилъ вопросительный знакъ послѣ «странной комбинаціей тѣла», потому что выраженіе это, въ самомъ дѣлѣ, не отличается ни удобопонятностью, ни даже грамотностью. Но, въ общемъ, все-таки ясно, какая грязь и мерзость носились передъ умственнымъ окомъ Максима Николаевича, не смотря на черное бархатное облаченіе. Не и это еще только цвѣтки, а не ягодки. Максимъ Николаевичъ вспоминаетъ: *«еще во времена надеждъ и иллюзій, когда отъ живой жены, да еще на деньки этой самой жены жеманиться хотѣлъ, вотъ тогда-то... еще въ саду было, яблони цвѣли... вдругъ захотѣлось тамошняго, давнишняго... флеръ-д'оранжъ, фата, цвѣты, пѣвчіе, все блестящее, оіяетъ, а потомъ въ каретѣ домой...»*

Вотъ, значитъ, каковъ былъ Максимъ Николаевичъ «еще во времена надеждъ и иллюзій». А теперь, въ моментъ разсказа, когда съ надеждами и иллюзіями покончено, онъ имѣетъ въ мысляхъ «обнаженную бабенку съ аппетитными формами» и «странныя комбинаціи тѣла». Спрашивается, выше онъ или ниже той дѣйствительно пошлой и грубой среды, въ которой вращается? Я думаю, отвѣтъ ясенъ самъ собой. Въ пошлой выходѣ Иларіона Степановича насчетъ голыхъ мужчинъ, въ грубости мужиковъ, всенародно обнажающихъ своихъ «супругъ» для порки, нѣтъ и тѣни той гнилостно-грязной, прямо сказать, поросичьей фантазіи, которую самъ Порошинъ и авторъ тщетно стараются запахнуть полами черной бархатной одежды. «Сикстинская мадонна», «бездна подъ собой, бездна надъ собой», «флеръ-д'оранжъ, цвѣты, фата», все, вѣдь, это только обстановка, гарниръ, ни мало не измѣняющій обложенной гарниромъ сущности.

Была-ли въ этомъ гарнирѣ какая-нибудь надобность? Иначе говоря, правильно-ли г. Г. О. отнесся къ изображаемому имъ

Но доскажемъ сначала содержаніе разсказа. Приѣхавъ въ провинцію, гдѣ у него есть мать и сестра, Порошинъ все терзается. Терзается отчасти мыслями о прекрасной Зоѣ, которой онъ хотѣлъ бы положить голову на колѣна и плакать; отчасти же неизвестно чѣмъ. Натерзавшись, онъ вспоминаетъ, что у него есть жена, съ которой онъ не живетъ. Онъ вызываетъ къ себѣ жену, кладетъ ей голову на колѣна и плачетъ. Это, однако, оказывается недостаточнымъ для утоленія печалей Порошина, и онъ застрѣливается. Передъ смертью онъ объявляетъ женѣ, что любить — то всетаки Зою, а священникъ, какъ уже сказано, съ своей стороны, объясняетъ, что Максимъ Николаевичъ въ рай будетъ.

Надо замѣтить, что Порошинъ однажды собирався уже стрѣляться, но не застрѣлился. Читатель этого эпизода передъ глазами не имѣетъ. Порошинъ объ немъ только вспоминаетъ и, вспоминая, казнится: «И не застрѣлился никогда, врешь... такіе не стрѣляются, что въ душѣ и Сикстинская мадонна и обнаженная бабенка съ апштитными формами уживаться могутъ». Кто-нибудь, значить, да ошибся: либо самъ Порошинъ, который полагалъ, что «такіе не стрѣляются», либо авторъ, который заставилъ его застрѣлиться. Я думаю, что правъ Порошинъ, но всяко бываетъ, а потому мы объ этомъ разсуждать не будемъ. Во всякомъ случаѣ, «интересность» и «эффектность» самоубійства вполне соответствуетъ многоразличнымъ интересностямъ и эффекностямъ, которыми авторъ обставляетъ героя, и которые, однако, не имѣютъ никакихъ практическихъ оправданій. Такъ, въ самомъ началѣ повѣсти, объяснивъ, что дамы находили Порошина эффектнымъ и что онъ былъ правъ, авторъ задается вопросами: «Что наложило печать на это лицо? Безсонныя ночи, проведенныя за книгами, или безсонныя оргіи съ «дамочками» неудовлетворенныхъ стремленій (?), муки-ли скорбной мысли или муки затаенной обиды и злобы, а, можетъ быть, и все это вмѣстѣ, неразрывно и органически сплетенное—кто знаетъ?»—Какъ, кто знаетъ? Авторъ знаетъ или долженъ знать. Вѣдь онъ не съ случайнаго прохожаго фотографію снималъ, а выносилъ въ душѣ образъ героя во время творческаго процесса. А мы — то, читатели, конечно, не знаемъ и даже недоумѣваемъ: причѣмъ тутъ безсонныя ночи, проведенныя за книгами, и скорбная мысль? Поневогѣ приходитъ въ голову, что намекъ на эти вещи пущенъ только въ видахъ интересности и эффектности, потому что въ самомъ разсказѣ нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ ни скорбной мысли, ни ночей, проведенныхъ

за книгами. Оргіи съ какими-то дамочками неудовлетворенныхъ стремленій—другое дѣло. Предположенія автора на этотъ счетъ вполне оправданы вышеприведенными мыслями, чувствами и поступками Порошина. Надо, однако, признаться, что г. Г. О. и этимъ фактическимъ матеріаломъ воспользовался чрезвычайно плохо. Вмѣсто того, чтобы эту дѣйствительно выдающуюся черту своего героя выдвинуть и въ разсказѣ на первый планъ, онъ отодвигаетъ ее, напротивъ, на такое разстояніе, на которомъ близорукая неофициальная мораль принимаетъ грязь за интересность, мерзость за эффективность. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите хоть тотъ эпизодъ, о которомъ вспоминаетъ Порошинъ: *во времена надежды и мамозій*, отъ живой жены, на ея же деньги жениться хотѣлъ; захотѣлось подъ вѣнцомъ постоять: флеръ д'оранжъ, цвѣты, фата, пѣвчіе, карета—вотъ ради чего задумана или совершена (съ точностью сказать нельзя) вся эта многосторонняя мерзость. Это такая крупная, яркая черта, что не можетъ не быть характерною. А между тѣмъ авторъ удѣляетъ эпизоду съ женитьбой всего нѣсколько строкъ, посвящая цѣлыя страницы на описанія того, какъ герой оповдалъ на поѣздѣ и какъ онъ смутилъ взглядомъ свою случайную и кратковременную спутницу въ вагонѣ. Во имя художественныхъ требованій, во имя здраваго смысла, во имя нравственной перспективы, слѣдовало бы поступить какъ разъ наоборотъ. Всякій можетъ, задумавшись, не слышать звонка и прозѣвать поѣздъ, но откуда не всякій можетъ жениться отъ живой жены, на ея же деньги и проч. Остановивъ вниманіе читателя на этомъ эпизодѣ подольше, авторъ дѣйствительно освѣтилъ бы физиономію героя, отъ которой, понятное дѣло, всякій отшатнулся бы съ отвращеніемъ, ибо здѣсь есть такіе черты, которые не беретъ подъ свое покровительство никакая, самая близорукая неофициальная мораль. Тоже самое и въ старческомъ извращенныхъ мечтахъ Порошина на тему «странныхъ комбинацій тѣла». Поставьте только эти вещи яснѣе, ближе къ читателю, и никто не ошибется насчетъ ихъ истиннаго нравственнаго значенія: онѣ слишкомъ хорошо говорятъ сами за себя. Но отдалите ихъ настолько, чтобы вмѣсто яркихъ, рѣзкихъ очертаній, получилась неопредѣленная туманность, прибавьте побольше Сикстинской мадонны, бездны подъ собой и бездны надъ собой, красивыхъ или якобы красивыхъ позъ, шляпу съ перомъ, скорбную мысль и проч., и многие непроницательные люди не замѣтятъ грязной щетины и винтообразнаго хвоста. Читатель замѣтитъ, можетъ быть, что Максимъ Николаевичъ, во всякомъ случаѣ, тер-

зается, казнится, бичуеть себя. Еще бы! Гамлетизированный поросенок не может обойтись безъ этой специальной стороны подражанія Гамлету. Но я уже обращалъ ваше вниманіе на разницу между приемами искренняго, страстнаго самобичеванія Гамлета и тѣми поддѣльными бичами, которыми нѣжно поколачиваютъ себя гамлетизированные поросята. Порошинъ болтаетъ, правда, что-то объ томъ, что у него «душа истѣла», «сгнила, однако, при сопутствующихъ эффектностахъ—это выходитъ очень кокетливо. А тотъ пунктъ, который такъ мучилъ Гамлета—бездѣльничество, неспособность страстно относиться къ дѣлу—составляетъ для поросенка, напротивъ, предметъ гордости: онъ бездѣльникъ отнюдь не потому, что онъ тряпка, нѣтъ, онъ просто выше всѣхъ «ликованій», «возмущеній», «отрицаній»; для него, какъ и для героя *Fatum'a*, «нѣмцы и земцы, легальные и нелегальные, всѣ равны, всѣ смѣшны». За то онъ очень непрочъ покаяться въ такихъ вещахъ, которыя хотя и предосудительны съ точки зрѣнія официальной морали, но морально неофициально одобряются. Вотъ предсмертная исповѣдь Порошина: «Противъ всѣхъ заповѣдей грѣшенъ, говорилъ онъ съ горькою улыбкой:—и боговъ у меня много было, и кумировъ себѣ создавалъ, и жену ближняго желалъ...» И только. Вы видите, что этотъ человекъ на порогѣ смерти, съ раной въ груди, все еще наравить изъ себя конфетку сдѣлать, а не то, чтобы отхлестать себя истинно, по гамлетовски. Хлестать, кажется, есть за что, но умирающій поросенокъ предпочитаетъ краткую и, такъ сказать, аллегорическую исповѣдь, съ ясностью напирая только на одинъ пунктъ: жену ближняго желалъ. Понятное дѣло, что тѣ дамы, которыя и при жизни находили его эффектнымъ, должны теперь проливать ручьи слезъ и говорить: ахъ, какой интересный страдалецъ умеръ! Соответственные же мужчины скажутъ: дуракъ, что застрѣлился, а все-таки молодчина былъ покойникъ, маху не давалъ и игривыя мысли имѣлъ!

Очевидно, совсѣмъ не такъ долженъ быть сервированъ гамлетизированный поросенокъ. Передъ г. Г. О., мелькала правильная постановка избранной имъ темы, но онъ испортилъ все дѣло пристрастіемъ къ герою; пристрастіемъ, которое побудило его расположить и оовѣтить свой матеріалъ несоответственно художественной и жизненной правдѣ. Пусть поросенокъ стремится подѣ тѣнь Гамлета, пусть онъ въ мечтахъ своихъ даже перепрыгиваетъ Гамлета, объясняя свое бездѣльничество и тряпичность своею возвышенностью; пусть, наконецъ, кое-кто изъ зрителей вѣрить, что передъ нимъ точ-

ное подобіе интереснаго датскаго принца. Но художникъ-то ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть въ числѣ этихъ близорукихъ зрителей. Онъ долженъ видѣть, что передъ нимъ поросенокъ, напавшій на себя шляпу съ перомъ и черную бархатную одежду, изъ подъ которой, однако, выглядываетъ вздрагивающій винтообразный хвостикъ и слышится хрюканье, тщетно старающееся воспроизвести слова: я датскій принцъ Гамлетъ! Быть или не быть, вотъ въ чемъ вопросъ! Для Гамлета это былъ вопросъ. Для поросенка же вопросъ совсѣмъ не въ этомъ, а въ гамлетизаціи, въ кокетничаньи. И какъ заправская кокетка прилаживается ко всѣмъ изгибамъ вкусовъ и требованій тѣхъ, передъ кѣмъ она кокетничаетъ, такъ прилаживается и гамлетизированный поросенокъ. Эту сторону художникъ непременно долженъ показать. Гамлетизированный поросенокъ можетъ быть въ томъ или другомъ смыслѣ «эффектнымъ» или не эффективнымъ, но главное-то дѣло въ томъ, что онъ хочетъ, старается быть эффективнымъ. И художникъ никоимъ образомъ не долженъ покровительствовать этимъ его стараніямъ. Весьма мало вѣроятно, чтобы старанія поросенка всегда увѣнчивались успѣхомъ. Сегодня, здѣсь ему удалось и никто его грязной щетинки и копытцевъ не замѣтилъ; завтра, въ другомъ мѣстѣ не удастся. Въ послѣднемъ случаѣ, въ поросенкѣ должны заговорить чувства злобы и обиды, на которыя есть только слабый и двусмысленный намекъ въ разсказѣ г. Г. О. А именно, задавъ себѣ торжественный вопросъ: «что положило печать на лицо» поросенка? авторъ предполагаетъ, что тутъ участвовали «скорбная мысль и бессонныя ночи за книгами», оргіи съ «дамочками» и, можетъ быть, «муки затаенной обиды и злобы». Между тѣмъ, въ самомъ разсказѣ нѣтъ никакихъ слѣдовъ этихъ естественныхъ въ положеніи поросенка чувствъ, почему священникъ и отправляетъ его прямо въ рай. Насчетъ загробной жизни намъ ничего неизвѣстно, и, конечно, дай Богъ всѣмъ въ рай быть. Но въ нашей земной юдоли поросенокъ вовсе не заслуживаетъ тѣхъ благожелательныхъ и почти благоговѣйныхъ чувствъ, какія питаются къ нему авторъ. Если наша беллетристика не остановится на попыткахъ гг. Юрко и Г. О., то ей предстоитъ сдѣлать изъ гамлетизированнаго поросенка фигуру, отчасти комическую, отчасти грязную. Во всякомъ случаѣ, такіа эффектные заключенія, какъ самоубійство и особенно смертная казнь, надо предоставить другимъ персонажамъ. Фактически, конечно, для Сергѣя Михайловича и Максима Николаевича возможны тѣ именно концы, къ которымъ привели

ихъ авторы. Но это дѣло спѣшенія случайныхъ обстоятельствъ и вовсе не вытекаетъ изъ типичныхъ чертъ героевъ. Единственная трагическая черта, которую можно, не измѣняя художественной правды, осложнить

ихъ смерть, это дегамлетизация, сознание въ торжественную минуту смерти, что Гамлетъ самъ по себѣ, а поросенокъ тоже самъ по себѣ.



Письма посторонняго въ редакцію Отечественныхъ Записокъ.

I *).

Милостивые государи!

Будучи человѣкомъ постороннимъ, я, однако, очень люблю литературу. Нѣтъ—«люблю» не совсѣмъ подходящее слово, по крайней мѣрѣ, недостаточно опредѣлительное. Я люблю литературу, какъ единственный органъ выраженія русской мысли, достаточно громкій, чтобы его слышно было на сѣверѣ и югѣ, на востокѣ и западѣ; памятуя, какой свѣтъ литература вносила и вносить въ нашу бѣдную, сѣрую, ниже травы ползущую, тише воды текущую жизнь; болѣю сердцемъ, когда этотъ единственный органъ русской мысли звучитъ хрипло и сдавленно, ненавижу ту струю въ литературѣ, которая, по глупой слѣпотѣ или по слѣпой злобѣ, самоубійственно замахивается на свободу печатнаго слова и кричитъ: «держи! лови! гони! бей!»; ненавижу и ту, другую струю, которая несетъ незнамо что, незнамо зачѣмъ, сегодня одно, завтра другое, и своимъ преступнымъ легкомысліемъ или легкомысленною преступностью поворить священное знамя литературы; благоговѣю передъ памятью тѣхъ, кто несъ это знамя до конца; могу понимать всѣ отбѣнки печали и злобы, надеждъ и разочарованій, торжества и отчаянія, какія встрѣчаютъ люди, идущіе по этому великому, по тернистому пути... Вотъ изъ чего слагается моя «любовь» къ литературѣ. Конечно, это слишкомъ мало для права надѣлать вамъ своими письмами. Конечно, и того мало, что вашъ журналъ представляется мнѣ, изъ наличныхъ органовъ печати, наиболѣе удовлетворяющимъ требованіямъ, которые, по моему, могутъ быть поставлены литературѣ. Говоря это, я вовсе не льщу вамъ и не собираюсь льстить. Вы убѣдитесь въ томъ, если не въ этотъ разъ, то въ одинъ

изъ слѣдующихъ. Во всякомъ случаѣ, ваше дѣло продавать мои письма тисненію или, напротивъ того, сожженію. Мнѣ будетъ, разумеется, огорчительно, если вы ихъ жечь станете. Да, вѣдь, мало-ли что иногда и самому сжигать приходится... Притомъ же, я человѣкъ посторонній, времени у меня вдоволь—все равно, куда же мнѣ его дѣвать? Ходи себѣ изъ угла въ уголъ или думай, думай, думай всю бессонную ночь напролетъ. Не подумайте, однако, что это очень веселое занятіе. А впрочемъ, дѣло не въ томъ. Довольно предисловія и рекомендацій. Приступимъ къ предмету настоящаго письма.

Въ библиографическомъ отдѣлѣ одного изъ послѣднихъ номеровъ вашего журнала за прошлый годъ, была выражена (по поводу произведеній г. Окрейца и кн. Мещерскаго) мимоходомъ мысль, заслуживающая, мнѣ кажется, болѣе подробнаго развитія. Авторъ библиографической замѣтки говоритъ о томъ, что въ библиографическомъ явленіи, что враги и обличители, такъ называемаго, отрицательнаго направленія въ литературѣ, сами этимъ отрицательнымъ направленіемъ заражены до мозга костей; бичуя своихъ противниковъ за якобы излишнюю мрачность ихъ образовъ и картинъ текущей русской дѣйствительности, сами рисуютъ эту дѣйствительность красками мрачнѣйшими. Вотъ на эту тему и позвольте мнѣ для перваго раза побесѣдовать.

Сначала соберемъ документы.

Въ № 6 «Русскаго Вѣстника» (1882 г.) въ статейкѣ о книгѣ г. Бѣльева «Воспоминанія декабриста», между прочимъ, напечатано:

«Въ *Воспоминаніяхъ декабриста* проходитъ передъ читателемъ длинная галлерея живыхъ лицъ, съ которыми авторъ на пространствѣ почти полулѣта встрѣчался и состоялъ въ прямыхъ и близкихъ отношеніяхъ, начиная съ высшихъ сановниковъ государства и кончая рабочими изъ «поселенцевъ» въ какомъ-нибудь городѣ Мину-

*) 1883, январь.

синскѣ—и все это *хорошіе* люди въ полномъ значеніи этого слова... Какъ далеко это отъ тѣхъ «облитыхъ горечью и злостью» изображеній русскаго человѣка на всѣхъ ступеняхъ нашей общественной іерархіи, которыми, словно кляча мни и любясь на ихъ мерзость и карикатурность, такъ изобилуетъ современная наша печать! Невольно въ умъ возникаетъ вопросъ: неужели такимъ кореннымъ образомъ могло въ какія-нибудь тридцать лѣтъ измѣниться все лицо земли нашей, что и слѣда не осталось въ ея обитателяхъ тѣхъ качествъ «идеальной симпатичности и чудной доброты», о которыхъ съ такимъ восторженнымъ умиленіемъ душевнымъ свидѣлствуетъ человѣкъ, имѣвшій, какъ выражается онъ, «счастіе не разъ и не два» въ теченіи своей тюремной и изгнаннической жизни убѣдиться на дѣлѣ, какъ вообще присущи эти нравственные качества нравственной природѣ русскаго человѣка? Но мы впади бы въ большое заблужденіе, еслибы приняли такое предположеніе за дѣйствительность. «Хорошіе люди, слава Богу, не перевелись на Руси и нынѣ. Но свѣтлыя стороны души раскрываются лишь передъ тѣмъ, кто самъ вѣрою въ *человѣка* вызываетъ сочувственный откликъ въ каждомъ, не утравившій образъ Божій человѣческомъ существѣ. А, конечно, не этотъ божественный образъ отыскиваютъ въ наши дни въ душахъ своихъ соотечественниковъ—да и едва ли признаютъ самую необходимость таковаго—извѣстные «этнографы» и «народники» *Вѣстника Европы* и *Отечественныхъ Записокъ*, съ авторомъ *Писемъ къ тетенькѣ* во главѣ своей».

И далѣе:

«Повсюду въ этихъ дальнихъ углахъ Сибири, какъ было уже упомянуто нами, изгнанники «имѣли счастье» встрѣчать прекрасныхъ, честныхъ, деликатныхъ людей, изъ которыхъ нѣкоторые отличались дѣйствительно «идеальными добродѣтелями». Пусть прочтеть читатель объ отцѣ Петрѣ, напримѣръ, священникѣ одной церкви, къ которой приписанъ былъ Илгинскій заводъ, о старикѣ поселенцѣ со старушкой женой... о сосланной въ работы на тотъ же заводъ полковницѣ Полянскою... Какъ мало походятъ рисуемые авторомъ живые портреты минусинскихъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, которыхъ считаетъ онъ долгомъ помянуть добрымъ словомъ за то участіе и ту приязнь, какую всѣ они оказывали ему и брату во все время ихъ пребыванія тамъ—на грубо-карикатурныхъ «помпадуровъ» и чиновныхъ диняковъ господина Щедрина! Какъ далеки фотографическіе снимки, снятые нашимъ декабристомъ съ лицъ простого званія, съ которыми приходилось ему по разнымъ занятіямъ его въ Сибири находиться въ ближайшихъ сношеніяхъ, отъ тѣхъ полускотовъ и пиджотовъ, какими малюютъ намъ русскаго рабочаго, русскаго пахара Рѣшетниковы, Успенскіе e tutti quanti... Какъ въ Вандяковыхъ портретахъ вы чувствуете въ каждой фигурѣ доброе отношеніе къ ней самого художника, такъ и здѣсь сказывается прежде всего то глубокое христіанское доброе расположеніе, съ которымъ повѣствователь относится къ каждому, вступающему съ нимъ въ отношеніе человѣческому существу, и неострашимое, какъ бы чисто инстинктивно вырывающееся у него изъ души, стремленіе отыскать въ этомъ существѣ его свѣтлую духовную сторону... Еслибы кому-либо понадобилось примиреніе съ Россіей, съ нашимъ столь оклеветаннымъ, оплеваннымъ за послѣдніе годы *человѣчествомъ*, мы бы посоветовали ему познаться съ этими воспоминаніями человѣка,

Соч. н. к. михайловскаго, т. V.

не подкупленнаго, конечно, жизненною долею смотрѣть на близко видѣнную имъ родную дѣйствительность въ розовыя очки»...

Милостивые государи! вамъ хорошо знакомы эти трогательныя рѣчи, вы ихъ много разъ слышали; и вы, и ваши отцы и, можетъ быть, даже дѣды. Во всякомъ случаѣ, со времени Гоголя эти упреки не измѣнились ни на волосъ, ни по сущности своей, ни даже по формѣ. Господамъ критикамъ «Русскаго Вѣстника», «Московскихъ Вѣдомостей» и прочихъ пристанищъ благородства и любви къ отечеству нѣтъ никакой надобности ломать себѣ головы надъ изобрѣтеніемъ новыхъ аргументовъ. Имъ стоитъ только, въ случаѣ надобности, заглянуть въ тѣ изъ старыхъ журналовъ, которые въ свое время тоже были Ноевыми ковчегами, гдѣ отъ всеобщаго потопа спасались чистыя (а впрочемъ, и нечистыя) животныя; заглянуть и выписать оттуда то, что писалось о «Мертвыхъ душахъ» или «Ревизорѣ». Столь прочныя традиціи идей истиннаго благородства! Кругомъ бушуетъ разсвирѣпѣвшій океанъ, хлещутъ волны, исчезаютъ берега, а Ноевъ ковчегъ все носится по волнамъ и все тѣ же звуки издаютъ населяющія его отборныя животныя; и прежде каркали, ревели, пищали, лаяли, и теперь каркаютъ, режутъ, пищать, лаютъ...

Воздавъ должную дань удивленія этой непоколебимости обитателей Ноева ковчега, позвольте обратить ваше вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Критикъ «Русскаго Вѣстника» отсылаетъ тѣхъ, кому нужно «примиреніе съ Россіей», «съ оплеваннымъ за послѣдніе годы русскимъ човѣчествомъ», къ запискамъ г. Бѣляева. Но, вѣдь, записки г. Бѣляева представляютъ явленіе совершенно случайное. Г. Бѣляевъ, доживъ до весьма преклоннаго возраста, вздумалъ написать свои мемуары. Никто не могъ этого ни ожидать, ни тѣмъ паче требовать. Еслибы г. Бѣляевъ просто на печи лежалъ или грѣлся подъ дѣтнимъ солнышкомъ, гдѣ-нибудь на заваленкѣ, вмѣсто того, чтобы писать книжки, такъ это было бы вполне естественно. Неужели же эта случайность представляетъ такой исключительный оазисъ въ пустынѣ русской литературы, что только тамъ и можно найти примиреніе съ оклеветаннымъ русскимъ човѣчествомъ? Полагаете-ли вы, милостивые государи, что участь русскаго човѣчества была бы дѣйствительно столь безпомощно ужасна, еслибы г. Бѣляевъ лежалъ на печкѣ? Я не полагаю, ибо на то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ; на то и Ноевъ ковчегъ въ русской литературѣ, чтобы хранить преданія благородства и рисовать умилительные образы и картины текущей русской дѣй-

ствительности. Критикъ «Русскаго Вѣстника» долженъ былъ, конечно, отмѣтить въ книгѣ г. Бѣльева то, что онъ считаетъ ея достоинствами, но за примиреніемъ съ оклеветаннымъ русскимъ человѣчествомъ ему надлежало отсылать читателей не къ такому случайному литературному явленію, а къ какой-нибудь постоянной, организованной проповѣди добра и правды, и прежде всего, конечно, къ «Русскому Вѣстнику» и «Московскимъ Вѣдомостямъ». Тамъ навѣрное собраны массы перловъ и адамантовъ русской добродѣтели, ибо, вѣдь, тамъ нѣтъ такихъ «клеветниковъ Россіи», какъ гг. Щедринъ, Успенскій, Рѣшетниковъ. Тамъ «отыскиваютъ божественный образъ въ душѣ своихъ соотечественниковъ», тамъ «съ христіанскимъ добрымъ расположеніемъ относятся къ каждому человѣческому существу». О, тамъ должно быть очень хорошо...

Однако, критикъ «Русскаго Вѣстника» не посылаетъ туда читателей за примиреніемъ съ оклеветаннымъ русскимъ человѣчествомъ: идите, говорить, вотъ къ этому почтенному старичку, который могъ бы безпрепятственно на солнышкѣ грѣться, вмѣсто того, чтобы писать книжки. И критикъ «Русскаго Вѣстника» знаетъ, что онъ дѣлаетъ, по крайней мѣрѣ, на столько же, насколько кошка знаетъ, чѣе она мясо съѣла.

Въ доброе старое время обитатели Ноева ковчега не ограничивались простымъ карканьемъ, ревомъ, пискомъ и лаемъ объ исчезновеніи всего добраго въ волнахъ всемірнаго потопа. По мѣрѣ своихъ скромныхъ силъ (силы ихъ были всегда скромны), они противопоставляли мрачностямъ потопа идилліи и пасторали, героическіе и свѣтлые портреты и картины изъ русской дѣйствительности. Все это было очень аляповато фальшиво, деревянно и болѣе на кукольную комедію походило, чѣмъ на настоящую литературу.

Но творцы, участники, попустители и пристанодержатели этой кукольной литературы не имѣли, по крайней мѣрѣ, надобности отсылать своихъ читателей къ случайнымъ явленіямъ въ родѣ мемуаровъ почтеннаго старичка. Они сами старались «отыскивать божественный образъ въ душѣ соотечественниковъ»; сами рисовали тѣ Вандиковы портреты, въ которыхъ «чувствуется доброе отношеніе художника».

Вы понимаете, что не въ серьезъ, а лишь изъ подражанія критику «Русскаго Вѣстника» сравниваю я тѣхъ жалкихъ и всѣмъ заслуженно забытыхъ писакъ съ Вандикомъ. Они были бездарны, во-первыхъ, они глупы, во-вторыхъ, они были «сочинители въ смѣшномъ смыслѣ этого слова, они сочиняли княжню Свѣтозарову, которой, будто бы, эта пышная

кличка приходится какъ разъ по шерсти и которая не только не бьетъ своихъ дѣвокъ пощечкамъ, приготовляясь къ балу, но, напротивъ того, сіяетъ алмазною кротостью и жемчужною добродѣтелью. Они сочиняли градоправителя Честнова, невинность котораго не вмѣщается даже понятія о взяткахъ или насиліи. Малоли что они еще сочиняли. Но когда они каркали, напримѣръ, про Сквозника - Дмухановскаго, они могли, по крайней мѣрѣ, съ чистою совѣстью, выдвинуть впередъ своего Честнова: дескать, вы, такіе сакіе, измѣнили отечеству, не умѣете отыскивать божественный образъ соотечественниковъ, а мы умѣемъ...

По нынѣшнему времени, эта операція вытанцовываться не можетъ, и вотъ почему «Русскій Вѣстникъ» не изъ собственныхъ вѣдръ Вандиковы портреты почерпаетъ, а отсылаетъ за ними къ прохожему старцу.

Въ каждой книжкѣ «Русскаго Вѣстника» (издатель уже такъ заведено) помѣщается по кусочку двухъ невообразимо длинныхъ романовъ, живописующихъ злобу дня. Обыкновенно это бываютъ романы гг. Маркевича и Авсѣенко. Въ истекшемъ году г. Маркевича замѣнили, безъ ущерба, но и безъ выгоды для журнала, г. Орловскій съ романомъ «Внѣ коленъ». Г.-же Авсѣенко держится изреченія: *j'y suis et j'y reste*, вслѣдствіе чего его «Злой духъ» непоколебимо танулъ весь годъ и все таки некончился. Давно уже было замѣчено критикой, что романы этой школы стремятся копировать «Войну и миръ» и особенно «Анну Каренину» Льва Толстого. Замѣчаніе вѣрное, но эта чисто внѣшняя черта беллетристики, украшающей страницы московскаго журнала, не заслуживаетъ большаго вниманія.

Во всякомъ случаѣ, романы «Русскаго Вѣстника» для насъ гораздо интереснѣе съ точки зрѣнія галлерей Вандиковыхъ портретовъ. Вотъ, напримѣръ, романъ г. Орловскаго. Это исторія злоключеній Димитрія Алексѣевича Корецкаго, блещущаго всѣми достоинствами, какія только можно найти въ словаряхъ. Онъ и уменъ, и благороденъ, и смѣлъ, и силенъ, и находчивъ, все, что хотите. Это, однако, не дѣлаетъ г. Орловскаго Вандикомъ, потому что гора достинствъ совершенно закрываетъ Корецкаго отъ глазъ читателей. Но, все-таки, г. Орловскій могъ бы, по крайней мѣрѣ, поползновеніе имѣть съ позволенія сказать, утереть этимъ блистательнымъ помѣщикомъ носъ тѣмъ клеветникамъ Россіи, которые рисуютъ Ноздревыхъ, Сабакевичей, Маниловыхъ, Коробочекъ. Но одна ласточка весны не дѣлаетъ и одинъ въ полѣ не воинъ; а злоключенія блистательнаго Корецкаго въ томъ именно и состоятъ или, по крайней мѣрѣ, отъ того зависятъ, что онъ одинъ, еден-

«ственный, какъ глазъ циклопа, какъ дѣйствующее лицо монгола. Этотъ человекъ сталкивается съ русскими людьми самыхъ разнообразныхъ званій и положеній, но онъ далеко не такъ счастливъ (или г. Орловскій не такъ похожъ на Вандика), какъ г. Бѣляевъ. Напримѣръ, бывшему декабристу встрѣчались все прекрасные экземпляры «русскаго рабочаго, русскаго пахара». Корецкій же, при всемъ своемъ благородствѣ, находится въ постоянныхъ неладахъ съ крестьянами, и эти его отношенія разыгрываются, въ концѣ концовъ, такъ, что крестьяне поджигаютъ господскій хлѣбъ и усадьбу. По этому поводу онъ размышляетъ такъ: «Да, не легко будетъ матери перенести это, и, конечно, не ради однихъ только матеріальныхъ убытковъ. Вого хуже для нея то, что подожгли Бѣлостолбовскіе мужики, тѣ самые, съ которыми она столько лѣтъ мирно жила, сохраняя надъ ними, какъ ей казалось, какую-то патріархальную власть даже и при новыхъ порядкахъ. И теперь съ этою давнишнею мечтою дружбы и лада приходилось разстаться». Вотъ вамъ для перваго раза не «божественный образъ въ душѣ соотечественниковъ», а напротивъ того, черная неблагогородность и злоба. И въ такомъ же родѣ на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ видахъ «нашего столь оклеветаннаго, оплеваннаго за послѣдніе годы человечества». О «нигилистахъ» и говорить нечего: кромѣ обычныхъ своихъ преступленій, они погубили невѣсту Корецкаго. Но вотъ, напримѣръ, чиновники. Г. Бѣляеву «минусинскіе чиновники разныхъ вѣдомствъ» оказывали участіе и приязнь, за что онъ ихъ и поминаетъ добрымъ словомъ. Корецкій же иначе, какъ лихомъ, ихъ помянуть не можетъ. Порокуроръ оказывается совершенно негодяемъ, жестоко мстящимъ Корецкому и его невѣстѣ изъ-за оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви; жандармскій штабъ-офицеръ держитъ сторону зла; губернаторъ—тряпка, «главный начальникъ края» недостаточно внимателенъ и не понимаетъ дѣла; представители вышей петербургской администраціи интригуютъ, либеральничаютъ, преслѣдуютъ Корецкаго, даже посылаютъ или высылаютъ его, хранителя здравыхъ консервативныхъ началъ и истинной любви къ отечеству! Земскіе люди опять же интригуютъ, беспокоятся только о жалованьи да объ обдѣлываніи своихъ карманныхъ дѣлшекъ вообще, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, до такой степени либерально глупы, что сочиняютъ на земскомъ собраніи сочувственный адресъ «великому гражданину великой націи», Леону Гамбеттѣ! И вотъ жизненный итогъ, который Корецкій предъявляетъ любимой женщинѣ: «я, кажется, ни отъ какой работы не сторонился, и на службѣ, у себя дома, и по зем-

ству, и что же изъ этого вышло? Въ министерствѣ воду толкали, а когда я изъ него вышелъ, чтобъ не толочъ воды, меня же родной дядюшка неблагонамѣреннымъ отмѣтилъ, мужики усадьбу подожгли и мать довели до гроба, а въ земствѣ... да просто вспоминать тошно! И въ концѣ концовъ, за то, что я какого-то мошенника уличилъ, обыскъ у меня сдѣлали, и тебя, мою невѣсту, изъ-за гадкихъ, низкихъ страстишекъ полтора года безъ вины въ тюрьмѣ продержали!.. Нѣтъ! я свою дань разомъ заплатилъ, съ меня будетъ». А такъ какъ вскорѣ послѣ этого признанія жена Корецкаго умела, то романъ оканчивается отъѣздомъ героя въ Италію. Ахъ! Зачѣмъ онъ не познакомился съ мемуарами г. Бѣляева? Тамъ онъ нашелъ бы примиреніе съ Россіей, съ нашими столь оклеветаннымъ, оплеваннымъ за послѣдніе годы человечествомъ». Онъ узналъ бы, что минусинскіе чиновники разныхъ вѣдомствъ и многіе, многіе другіе соотечественники носить въ душѣ своей божественный образъ. И не уѣхалъ бы блистательный Корецкій изъ Россіи...

Однако, что съ возу упало, то пропало: нѣтъ среди насъ Корецкаго, и не читалъ онъ мемуаровъ г. Бѣляева. Ну, и Богъ съ нимъ, нехай ему въ Италіи легко живется. Но вы понимаете теперь, почему критикъ «Русскаго Вѣстника» рекомендуетъ искать примиренія у лежащаго старичка, а не въ нѣдрахъ своего журнала: въ этихъ нѣдрахъ нѣтъ Вандиковыхъ портретовъ; нѣтъ «того глубокаго христіанскаго добраго расположенія, съ которымъ повѣствователь (старичокъ-то) относится къ каждому, вступающему съ нимъ въ сношеніе человѣческому существу», нѣтъ «стремленія отыскать въ этомъ существѣ его свѣтлую духовную сторону». Я взялъ романъ г. Орловскаго, но такіе же результаты получились бы, еслибы мы вздумали искать Вандиковыхъ портретовъ въ «Зломъ духѣ» г. Авсѣнки. Только это такъ длинно и скучно, что я увольняю себя отъ этой работы. Посмотрите сами, если хотите, и увидите коллекцію глупцовъ и негодяевъ безо всякаго божественнаго образа, а Вандиковыхъ портретовъ не найдете. Отчего же ихъ нѣтъ? Критикъ «Русскаго Вѣстника» удостовѣрять, что соотвѣтственные оригиналы существуютъ, что не оскудѣла русская земля минусинскими чиновниками разныхъ вѣдомствъ, русскими пахарами и другими, носящими въ душѣ своей божественный образъ. Значитъ, «Русскій Вѣстникъ» не хочетъ или не можетъ давать примиреніе съ Россіей, не хочетъ или не можетъ не клеветать и не плевать на русское человечество... Да, не хочетъ и не можетъ. Но ключа къ этой загадкѣ надо искать не въ приведеніяхъ гг. Орловскаго, Авсѣнки и имъ подобныхъ.

Ключа надо искать въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Впрочемъ, теперь уже нѣтъ надобности рыться въ листахъ почтенной газеты, благодаря одному техническому нововведенію г. Каткова: съ іюня мѣсяца онъ перепечатываетъ передовыя статьи «Московскихъ Вѣдомостей» въ приложеніи къ «Русскому Вѣстнику» подъ общимъ заглавіемъ «Современная лѣтопись». Мы имѣемъ, такимъ образомъ, ключъ рядомъ съ замкомъ. Съ вашего позволенія, я прямо укажу на ключъ. Дѣло въ томъ, что г. Катковъ желаетъ быть, подобно Корецкому, однимъ, единственнымъ, какъ глазъ циклопа, какъ дѣйствующее лицо монолога. Но, понятно, что онъ пріятно въовсе не хочетъ подвергаться поджогамъ, обыскамъ, высылкамъ и другимъ неприятностямъ, какія выпали на долю блистательнаго героя романа г. Орловскаго. Напротивъ того, онъ предпочитаетъ самъ быть дѣйствующимъ лицомъ. Ясно, что для этого надо, съ одной стороны, превозвысить себя, а съ другой, оклеветать и оплевать всю Россію; оплевать не то или другое преходящее явленіе, самая преходящестъ котораго оставляла бы хотя въ далекой дали лучъ надежды, свѣтъ утренней зари; нѣтъ, надо оплевать не феноменъ, какъ говорятъ философы, а нумень, самую душу вещей или, что тоже, изъять изъ обращенія тотъ «божественный образъ», котораго, конечно, и русскій человѣкъ не лишень: и его, вѣдь, мать родила...

Чтобы покончить съ беллетристикою и литературной критикою «Русскаго Вѣстника» и болѣе уже къ нимъ не возвращаться, допустите на минуту, условно, что мое предположеніе насчетъ интимной духовной потребности московскаго глаза циклопа справедливо, доказано, и вамъ уяснится многое. При этомъ условіи съ другихъ, конечно, можно требовать Вандиковыхъ портретовъ и умильных картинъ изъ текущей русской дѣйствительности, можно восхищаться мемуарами г. Вѣлѣва, дабы быть ими измѣнниковъ и клеветниковъ... Но самому вовсе не обязательно рисовать розовыя картинки. Напротивъ, чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, чѣмъ оплеваніе предстанетъ русское человѣчество въ романахъ «Русскаго Вѣстника», тѣмъ драгоценнѣе глазъ циклопа, единственный, за всѣмъ блюдушій, тѣмъ яснѣе его права на монологъ. Простые смертные должны, конечно, сводить концы съ концами, избѣгать противорѣчій, давать хоть сколько-нибудь такого, чего они сами отъ другихъ требуютъ. Но для «единственнаго» это совсѣмъ не нужно. Онъ внѣ времени и пространства, внѣ условій логики, здраваго смысла, приличія, нравственныхъ требованій, политическаго такта. Его формула вселенной есть основная фор-

мула нѣмецкой философіи: я и не-я. И «я» плюетъ на «не-я»... Одну часть этой патріотической операціи исполняютъ уполномоченные беллетристическіе *dii minores*, Орловскіе, Авсеенки, Маркевичи, усердно оплевывая минусинскихъ и другихъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, русскихъ пахарей, представителей администраціи, суда, печати и проч. Другую часть операціи исполняетъ критика, предавая анаемѣ всѣхъ, сомнѣвающихся въ достоинствахъ минусинскихъ чиновниковъ и проч. Наконецъ, центральный пунктъ всего предпріятія находится въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»...

Г. Катковъ высоко держитъ знамя русской литературы. Своеобразно, но высоко. Онъ утверждаетъ, напримѣръ, что намъ не нужно политическихъ правъ, потому что «у насъ есть политическія обязанности, а это больше. Въ обязанностяхъ уже заключаются права, обязанности неотлучно сопровождаются правами. Что намъ въ обязанность поставлено, на то намъ, конечно, и право дано» («Московскія Вѣдомости» отъ 11-го мая, «Русскій Вѣстникъ» № 6). Это общее правило относится и къ литературѣ. «Но служить въ печати государству—дѣло не легкое. Какъ разъ столкнешься съ интересами, которые пользуются привилегіями власти, но не всегда правдиво и честно къ ней относятся, не всегда служатъ ей должнымъ образомъ, не всегда бываютъ способны понимать и исполнять ея требованія, и нерѣдко вредятъ ей дѣлу, вмѣсто того, чтобы служить ему. Если общественное слово видитъ это, то оно обязано сказать; оно измѣнить своему долгу, оно поступить нечестно, оно поступить плохо, если не скажетъ».

Итакъ, впередъ, господа литераторы! Помните, что вы обязаны и имѣете право говорить правду по силѣ своего разумія и не взирая на лица, помните, что вы поступите *подло*, если промолчите при видѣ какихъ-либо злоупотребленій или непорядковъ. Литература, *mein Liebchen, was willst du noch mehr?! Здѣсь всѣ Diamanten und Perlen, здѣсь alles was Menschen begehren*, здѣсь—законъ и пророки свободнаго слова... Но увъ! не сбѣгають отъ этихъ вѣскихъ словъ слезы съ очей моей *Liebchen*, не выпрямляется гордо ея станъ, не раздвигаются ея хмурыя брови. Она знаетъ, что право, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть совсѣмъ особенное право, не предусмотрѣнное никакимъ кодексомъ и никакою юридическою системою, что это—право монолога г. Каткова.

Вѣскія слова о подлости молчанія были написаны 11-го мая. Черезъ полторы недѣли, 22-го мая, «Московскія Вѣдомости», быть можетъ, тѣмъ же самымъ, неуспѣвшимъ еще

притупиться перомъ, писали: «По печати сдѣлано распоряженіе не говорить ничего ни въ пользу, ни противъ... (вы не имѣете права монолога, а потому, дабы не навлиять вамъ какихъ-нибудь непріятностей, я не назову изъятаго изъ печатнаго обращенія предмета). Нельзя не признать этого распоряженія весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ». И затѣмъ слѣдуетъ обширный монологъ на запретную тему. 20-го мая «Московскія Вѣдомости» радуются: «Сдѣлано распоряженіе по печати о прекращеніи анти-еврейской агитации—давно бы пора!» (Вы тоже, вѣроятно, радуетесь прекращенію анти-еврейской агитации, но, полагаю, не можете радоваться распоряженію по печати). 17-го августа «Московскія Вѣдомости» скорбятъ: «Удивительно-ли, что польская интрига довольна своимъ московскимъ органомъ (подразумѣвается «Русскій Курьеръ»)? Удивляться надо лишь тому, что у насъ среди бѣла дня такъ открыто можетъ проповѣдываться государственная измѣна». 27-го мая «Московскія Вѣдомости» опять призываютъ возмездіе: «Мы идемъ быстро путемъ прогресса. Теперь и въ церковное управленіе вторгается интрига посредствомъ печати. Это тоже характеристическая черта нынѣшняго дня... Каково состояніе того общества, гдѣ могутъ безпрепятственно и безнаказанно совершаться подобныя безчинства?.. Признаемся, мы также мало довѣряемъ нашимъ такъ называемымъ консервативнымъ, какъ и либеральнымъ органамъ». И т. п. Видите, какъ просто устраивается дѣло. Вы, господа литераторы, будете поступать «подло», если не выскажетесь о какихъ-нибудь порядкахъ или не порядкахъ по силѣ своего разумія и не взирая на лица. Но, если высказанная вами мысль не совпадетъ съ монологомъ г. Каткова, онъ назоветъ ее государственной измѣной, безчинствомъ, вообще, какъ ему вадумается, и будетъ вопіять о необходимости кары...

Но оставимъ эту матерію, то-есть литературу. Подождимъ, что г. Катковъ наклеветалъ и наплевалъ на эту часть русскаго чело-вѣчества, сколько его душъ хотѣлось, и, какъ насосавшаяся пьявка, отвалился. Положимъ даже, что литература «окончила жизнь свою смертію», унесла съ собою въ могилу всѣ свои права и обязанности и нѣтъ на святой Руси никакихъ печатныхъ словъ, кромѣ монологовъ г. Каткова (каюсь, милостивые государи, что въ глубинѣ души я бы отчасти даже желалъ этого: такъ, изъ любопытности, посмотрѣть). Но и это радостное погребеніе никѣмъ образомъ удовольствовать г. Каткова не можетъ, ибо и за всѣмъ тѣмъ остается еще колоссально большое «не-я» въ разныхъ видахъ. О «рус-

скихъ пахаряхъ» нечего и говорить. Весьма сомнительно, чтобы они носили въ душѣ своей божественный образъ, потому что ихъ понятія рѣшительно не совпадаютъ съ монологомъ г. Каткова насчетъ великаго значенія интенсивнаго хозяйства. Въ эту собственную минуту г. Катковъ не имѣетъ прямыхъ поводовъ къ оклеветанію и оплеванію пахаря, но еще недавно онъ въ этомъ направленіи весьма старался, противопоставляя невѣжественной, грубой, стихійной массѣ пахарей—«культурнаго чело-вѣка». Изъ этого, однако, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы культурный чело-вѣкъ, въ свою очередь, не былъ достоинъ оклеветанія и оплеванія. Напримѣръ: «у насъ есть судебное сословіе, которое ни отъ кого не зависитъ, у насъ есть институтъ присяжныхъ. Самодержавный судъ и люди, взятые изъ общества, судятъ на всей своей волѣ, безповоротно и безконтрольно, всякія дѣла и дѣла о хищеніяхъ. И что же? Никогда хищенія такъ не процвѣтали, какъ въ наши дни; люди общества не только выгораживаютъ преступниковъ по этой части, но и самое преступленіе въ принципѣ объявляютъ и оправдываютъ» («Московск. Вѣд.» 4-го сентября). Я беру первое, случайно попавшееся подъ руку замѣчаніе, но вы сами знаете, что еслибы кто вздумалъ собрать все, наклеветанное и наплеванное г. Катковымъ на русское чело-вѣчество по поводу суда присяжныхъ, то «яма надобна большая»; яма не яма, а этакая хорошая лохань, въ родѣ тѣхъ, куда помои сливаютъ. Администрація, вся правительственная машина есть опять-таки «не-я». Именно то, чего намъ/ недостаетъ, и есть правительство. Мы страдаемъ не полномочіемъ правительственнымъ, а развѣ анеміей и оттого нервностью. Правда, у насъ есть многочисленныя правительственныя мѣста и лица; но выражаютъ-ли они собою правительство, то-есть исполняютъ-ли они обязанности правительства, дѣйствуютъ-ли въ томъ духѣ и въ тѣхъ интересахъ, которые правительство призвано блюсти и развивать, служить-ли дѣламъ правительства—это другой вопросъ... Они слишкомъ эманципировались отъ правительственнаго долга» («М. В.» 4-го сентября). Иначе говоря, правительство все еще недостаточно расчищаетъ почву для монологовъ г. Каткова! Наконецъ, общество есть «сборище людей деморализованныхъ и смущенныхъ», «сбродъ людей» («М. В.» 11-го мая). «Наше общество во всѣхъ слояхъ своихъ, и въ высшихъ болѣе, чѣмъ въ низшихъ, легко обрабатывается политическою интригою... При такомъ состояніи общества даже здравомыслящіе порознь люди даютъ негодный духъ. Когда люди не чувствуютъ твердой почвы подъ ногами,

когда умы въ разбродѣ и сами не знаютъ чего хотѣть и чего ищутъ, тогда, по малой мѣрѣ, безмысленно искать опоры въ обществѣ» («Моск. Вѣд.» 18-го мая).

Будетъ, я думаю. Нельзя счесть лучи пламень, пески морей. Нельзя переписать ту массу клеветъ и оплеваний, которою г. Катковъ обливаетъ изъ дня въ день все русское человѣчество. И спрашиваю я васъ, милостивые государи, гдѣ же «божественный образъ» въ этой безконечной вереницѣ глупцовъ, интригановъ, негодяевъ, дрянныхъ, пустыхъ, преступныхъ людей? И еще спрашиваю: почему же вы, воздерживаясь отъ пасторальной живописи, оказываетесь клеветниками и измѣнниками, а г. Катковъ, въ корнѣ подрывающій всякую вѣру въ русское человѣчество и всякую надежду на него, не клеветникъ и не измѣнникъ? Тщетно было бы искать отвѣта на эти вопросы, ибо право монолога не есть отвѣтъ. Но оно не есть и право. Никогда человѣчество (въ томъ числѣ и русское) не признаетъ монополіи мысли и слова, и никогда такая монополія не основывается на дѣйствительной силѣ. Истинная сила можетъ выразиться монологомъ, но она никогда не прибѣгаетъ для этого къ искусственнымъ мѣрамъ, никогда не будетъ вопіять: зажмите ротъ Петру, заставьте замолчать Ивана, прикажите Сидору держать языкъ за зубами. Истинная сила не боится ратоборства съ Иваномъ, Петромъ и Сидоромъ, она надѣется на себя. Между тѣмъ, весь политическій словарь г. Каткова состоитъ изъ подобныхъ повелительныхъ наклоненій отрицательнаго характера и ругательныхъ словъ. Маленькій глазъ циклопа сдѣлалъ большую личную ошибку, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказалъ большую услугу обществу своимъ нововведеніемъ, перепечаткою передовыхъ статей «Московскихъ Вѣдомостей» на страницахъ «Русскаго Вѣстника». Газетный листъ быстро стирается изъ памяти, оставляя послѣ себя болѣею частью очень смутное впечатлѣніе. Собранныя воедино, передовыя статьи «Московскихъ Вѣдомостей» могутъ быть одна другою провѣрены и истолкованы. Попробуйте же вынуть изъ нихъ перечень повелительныхъ наклоненій и ругательныхъ словъ: вы увидите необыкновенную скудость мысли, плоскость и размазистость аргументаціи и необыкновенное обиліе противорѣчій.

Если искать въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» краткой и ясной формулы всего политическаго багажа ихъ руководителя, то таковою надо будетъ признать, я думаю, слѣдующую фразу: «Воѣ преисполнены гражданской скорбію; у всякаго, вмѣсто вида, свой идеалъ въ карманѣ» («Московскія Вѣдомости», 18-го мая). По обыкновенію,

мысль выражена въ отрицательной формѣ, но вы понимаете въ чемъ дѣло: надо, чтобы у всякаго былъ, вмѣсто идеала, паспортъ. И кто прислушивался къ монологамъ г. Каткова, тотъ не усомнится конечно, что таковъ именно его идеалъ. Ибо, увѣ! это тоже не паспортъ, а идеалъ; притомъ недостижимѣйшій изъ идеаловъ, потому что дѣйствительно есть какой-то «божественный образъ», вложенный природою даже въ самыя скудныя души. Недостижимѣйшій и оскорбительнѣйшій. Самая мечта о возможности его водворенія въ русское человѣчество есть высшая клевета и оскорбленіе, какія только могутъ быть на это человѣчество введены... Долой политику и нравственность, это не болѣе какъ побочныя отрасли паспортной системы! Долой все, что, выстрадано русскимъ человѣчествомъ въ войнѣ и мирѣ, въ потѣ лица, въ слезахъ скорби и умиленія, все долой и да здравствуетъ паспортъ. Паспортъ и монологъ г. Каткова...

Я думаю, однако, что этого не будетъ, хотя вѣроятно еще не завтра прекратятся надѣвательства «Московскихъ Вѣдомостей» не только надъ «божественнымъ образомъ» въ душѣ соотечественниковъ, но и надъ простымъ здравымъ смысломъ. Въ нынѣшнемъ 1883 году, г. Катковъ тянетъ все ту же пѣсню, которая, наконецъ, распевелила даже «Новое Время», доселѣ весьма ослонное потворствовать монологамъ «Московскихъ Вѣдомостей». Вотъ что мы читаемъ здѣсь:

«Нигилизмъ, говорятъ «Московскія Вѣдомости», само по себѣ явленіе ничтожное; зломъ сдѣлало его государство, государство не въ смыслѣ географическаго термина, а въ смыслѣ политической системы. Государство, разъясняютъ дальше «Моск. Вѣд.», направляетъ и воспитываетъ общество, народъ; оно дѣлаетъ население такимъ, каковыя это население мы застаемъ въ каждую данную историческую минуту. На долю самого народа (въ широкомъ смыслѣ слова); его природныхъ талантовъ и способностей, его долгимъ историческимъ искусомъ сложившихся стремленій, вѣрованій, его политическихъ и нравственныхъ идеаловъ, его этнографическаго, наконецъ, характера—не остается ровно ничего. Самъ по себѣ русскій народъ, не взирая на его тысячелѣтнюю исторію, на его трудный подвигъ созданія и обороны государства—есть нуль, къ которому можно приставлять какія угодно единицы и который съ одинаковымъ удобствомъ можетъ перескакивать отъ величайшаго могущества къ величайшему ничтожеству. Вотъ, по истинѣ, безнадежная теорія». (Новое Время, 8 января).

Да, безнадежная и клеветническая, и состоитъ она, какъ видите, именно въ томъ, что у русскаго человѣчества нѣтъ или не должно быть идеала, «божественнаго образа», а есть или долженъ быть паспортъ. Такою постановкою переживаемаго нами нынѣ вопроса минуты «Московскія Вѣдомости».

если хотите, очень уясняютъ его. Клевета, будто въ душѣ русскаго человѣчества нѣтъ божественнаго образа; клевета, будто оно можетъ и должно замѣстить въ себѣ идеалъ паспортомъ. Но злоба дня до известной степени дѣйствительно состоитъ въ тяжбѣ идеала съ паспортомъ. Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ, предвидѣть не трудно. Верховный судъ исторіи, конечно, рѣшитъ тяжбу въ пользу идеала. Паспортъ выдается на срокъ и даже безсрочный паспортъ все-таки смертенъ, а идеалъ безсмертенъ. Этою своею жизненностью онъ и подкупить судъ исторіи. Но когда наступитъ этотъ конецъ? Боюсь, что дерзкое противопоставленіе смертнаго безсмертному протянется если не абсолютно долго, то слишкомъ долго въ ущербъ человѣческому достоинству. Но уже и теперь мы съ совершенною ясностью знаемъ, гдѣ гнѣздятся истинные клеветники Россіи.

Г. Катковъ заявилъ какъ-то, что онъ никогда не получалъ казенныхъ субсидій, да не нуждался въ нихъ, но еслибы нуждался и получалъ, то считалъ бы это за честь. Съ свойственною ему скромностью, онъ сослался притомъ на примѣръ Сократа, который заявилъ судившимъ его афинянамъ, что онъ заслуживалъ бы содержанія на счетъ государства... Многое бы можно было сказать на эту пикантную тему, но я скажу не многое. Пусть г. Катковъ есть русскій Сократъ—по Сенькѣ шапка и сброду людей, можетъ быть, причислется такой Сократъ, но тотъ, настоящій Сократъ не былъ и не могъ быть афинскимъ Катковымъ. Онъ не разжигалъ паспортныхъ страстей, не организовалъ возстанія паспорта противъ идеала, не объявлялъ политики и нравственности побочными отраслями паспортной системы...

II *).

Вы знаете, что нѣкогда Мальбругъ въ походѣ поѣхалъ и что подъ нимъ былъ конь игренъ... Мнѣ очень жаль, что слово «игренъ» просто обозначаетъ лошадиную масть и не имѣетъ никакого отношенія къ игривости, игрѣ и игрушкамъ. Во-первыхъ, по нынѣшнему времени игривость, игра и игрушки самое подходящее дѣло, какъ думаютъ многіе; а во-вторыхъ, когда П. Д. Боборыкинъ въ походѣ поѣхалъ, то подъ нимъ былъ конь, котораго я непременно называлъ бы игренемъ, еслибы это слово имѣло связь съ упомянутыми веселыми вещами.

Не то, чтобы г. Боборыкинъ, «сидя въ

чистомъ полѣ, лапти плелъ, свисталъ и пѣлъ и, своей долей доволенъ, никого знать ни хотѣлъ»... А впрочемъ, онъ, пожалуй, и въ чистомъ полѣ сидитъ (по крайней мѣрѣ, ему такъ кажется, что онъ въ чистомъ полѣ сидитъ), и лапти плететъ, и свиститъ, и поетъ, и своей долей доволенъ, и никого и ничего знать не хочетъ. Но все-таки онъ огорченъ, возмущенъ, оскорбленъ. И тѣмъ не менѣе, отправляясь въ походъ, онъ выбралъ коня, при видѣ котораго невольно вспоминаются игривость, игра и игрушки. Какъ ухитрился почтенный романистъ сочетать все это въ нѣчто «цѣлкупное», тайна сія велика есть. И, можетъ быть, это даже не г. Боборыкина тайна, а матери-природы, которая положила его въ колыбельку совершенно такимъ же, какимъ опуститъ въ могилку—да будетъ этотъ конецъ на многіе, многіе годы далека...

Походъ свой г. Боборыкинъ предпринялъ въ № 1 журнала «Наблюдатель» подъ заглавіемъ «Наша литературная критика». Это дѣйствительно походъ, и походъ тѣмъ болѣе интересный, что онъ предпринятъ беллетристомъ, то-есть человѣкомъ, кровно заинтересованнымъ въ достоинствахъ или недостаткахъ литературной критики. Нельзя же не обратить вниманія на такое явленіе. Но нельзя также не сказать, что это не статья и не «эюдъ», какъ любятъ называть свои произведенія г. Боборыкинъ, а именно походъ, нѣкоторое военное дѣйствіе.

Начать съ того, что почтенный романистъ никому не даетъ пощады и не знаетъ даже ни одного такого праведника, ради котораго древле Богъ пощадилъ цѣлый преступный городъ. Критика журнальная и газетная, критики «консерваторы», «либералы», «радикалы», всѣ одинаково невѣжественны и недобросовѣстны. И не со вчерашняго дня началось это оскуднѣніе, и не одну собственно литературную критику оно постигло. Нѣтъ, «вотъ уже по крайней мѣрѣ двадцать лѣтъ, какъ не замѣчается такихъ приемовъ критики—будетъ ли она философская, публицистическая или художественная—съ помощью которыхъ произведенія, люди, идеи, интересы выяснились бы въ настоящемъ свѣтѣ». И далѣе: «Просмотрите вы списокъ переводныхъ сочиненій за послѣднія двадцать лѣтъ, по исторіи философіи, по разнымъ частямъ научно-философскаго мышленія, по психологіи, социологіи, по литературной критикѣ, и параллельно составьте списокъ статей критическаго содержанія въ журналахъ и газетахъ, разберитесь въ массѣ ихъ и посмотрите, сколько окажется такихъ очерковъ или большихъ разборовъ, въ которыхъ значились бы пріобрѣтенія, сдѣланные русскими рецензентами изъ этой серъ-

*) 1883, мартъ.

езной переводной литературы. Навѣрное можемъ сказать, что вліяніе окажется самымъ малымъ, точно будто Милли, Спенсеры, Бэнны, Дарвины, Льюисы, Тэнны читались только для того, чтобы имѣть о нихъ понятіе и поставить на полку бібліотеки».

Ай, какъ стыдно, господа! Вы прочтете, да и поставите книжку на полку, а одинъ г. Боборыкинъ долженъ за всѣхъ васъ отдуваться и, прочитавъ, переварить, усвоить, пустить въ оборотъ, какъ въ области своего художественнаго творчества, такъ и въ своихъ «этюдахъ»! А онъ еще не всю научно-философскую переводную литературу перечислил. Прибавьте Марксовъ, Лассалей, Ланге, Шопенгауеровъ, Гартмановъ, Рикардо, Ротбертусовъ, Лэббоковъ, Тейлоровъ, Боклей и проч. и оцѣните положеніе г. Боборыкина. Немудрено, что, вооружившись всѣмъ этимъ арсеналомъ, онъ, наконецъ, не выдержалъ и отправился въ походъ.

Но зачѣмъ непременно походъ, а не просто «этюды»? А если ужъ походъ, такъ зачѣмъ непременно на игренемъ конѣ?

Главный обвинительный пунктъ, предъявленный г. Боборыкинымъ, состоитъ въ томъ, что «мораль—вотъ пагуба теперешней критики»; «преобладающая нота, какъ въ либеральныхъ, такъ и въ консервативныхъ органахъ, есть нота публицистическая, и разборы произведеній сводятся къ одобренію или неодобренію не художественнаго, а общественно-нравственнаго оттѣнка». Обвиненіе, какъ видите, не новое, для котораго, пожалуй, что и не стоило тревожить Миллей и Дарвиновъ, Бэнновъ и Тэнновъ. По крайней мѣрѣ, оно не разъ и прежде предъявлялось и нерѣдко съ гораздо большею силою и ясностью, чѣмъ это теперь дѣлается нашимъ Мальбругомъ. Какъ и слѣдуетъ походному, то-есть военному человѣку, г. Боборыкинъ не заботится о доказательности, а болѣе палить афоризмами. Да и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же ужъ на походъ аргументировать! Тутъ надо рубить, брать въ плѣнъ, въ трубы трубить, оружіемъ бряцать, конскими копытами пыль поднимать и людямъ ее въ глаза пускать. Единственное подобіе аргумента, и притомъ даже какъ бы новаго, представляетъ слѣдующая диссертация: англійскими психологами, видите-ли, «доказано было, что въ предметахъ, стоящихъ внѣ насъ, нѣтъ ничего такого, что было бы сущностью красоты, какъ увѣряли нѣмецкіе метафизики, а потомъ и русскіе критики. Было неизбѣжно установлено, что все сводится къ тому, что въ насъ есть чувство прекраснаго, которое немислимо безъ извѣстнаго рода волненія, эмоціи, и эта эмоція существенно отличается отъ разныхъ другихъ, отъ волеиспій нравственнаго или эго-

истическаго характера. Только серьезный психологическій анализъ утвердилъ то положеніе, что волненія эстетическаго свойства совершенно самостоятельны, хотя и могутъ быть осложняемы, дѣлаться ярче или слабѣе, вслѣдствіе ассоціаціи идей, примѣся другихъ чувствъ и настроеній... Если въ природѣ нѣтъ ничего такого, что представляло бы собою абсолютную красоту, что имѣло бы въ себѣ специфическое свойство помимо нашихъ ощущеній и волненій, то, стало быть, область воображенія дѣлается безпредѣльной, и предметы, сами по себѣ обыденные, иногда даже пошлые и грязные, въ силу художественнаго творчества, того, что мы называемъ талантомъ, умѣньемъ, мастерствомъ, получаютъ для нашей души особую прелесть».

Вотъ Pudelskern. Вотъ существеннѣйшая часть вооруженія г. Боборыкина, гордо и бодро галопирующаго на игренемъ конѣ. Подивитесь этой гордости, милостивые государи, потому что вооруженіе, какъ видите, чрезвычайно скромное, представляющее въ боевомъ смыслѣ minimum опасности для непріятеля и угрожающее скорѣе самому Мальбругу. Прежде всего, нѣтъ особеннаго резона такъ брыкаться въ сторону «нѣмецкихъ метафизиковъ», потому что бое у кого изъ нихъ г. Боборыкинъ могъ бы съ пользою для себя, для современниковъ и для потомства поучиться многому, въ томъ числѣ и по части низверженія «сущности красоты», независимой отъ нашихъ ощущеній. Я этимъ отнюдь не хочу сказать, что г. Боборыкину не зачѣмъ и нечѣмъ учиться у англійскихъ психологовъ. Совершенно напротивъ, пусть поучится, это ему будетъ на пользу. Поучившись, а впрочемъ, и просто давъ себѣ трудъ и время подумать, онъ не повторитъ, конечно, что если въ природѣ нѣтъ абсолютной красоты, такъ «стало быть область воображенія дѣлается безпредѣльной». Совсѣмъ не «стало быть». Такъ точно, какъ если въ углу стоитъ палка, то изъ этого вовсе «не стало быть», что дядя г. Боборыкина живетъ въ Кіевѣ; напротивъ, мѣстопробываніе и даже самое существованіе дяди остаются вполне неизвѣстны. Предѣлы воображенію полагаются разными вещами, въ числѣ которыхъ довольно трудно вдвинуть бытіе или небытіе абсолютной красоты. Безпредѣльность, какъ результировать отсутствія безусловности! Занятная штука... Ну, это, положимъ, можетъ быть просто lapsus. А вотъ, что «предметы пошлые и грязные, въ силу художественнаго творчества, получаютъ для нашей души особую прелесть», это, извините меня, совсѣмъ вздоръ. Не обмолвка, замѣйте пожалуйста, а настоящій вздоръ по существу

и со всѣми соприкасающимися выводами и положеніями. Конечно, то, что считается сегодня пошлостью и грязью, можетъ, по прошествіи извѣстнаго времени, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, получить иную нравственную оцѣнку, быть можетъ, менѣе строгую, быть можетъ, болѣе строгую. Но въ каждую данную минуту мерзавецъ есть мерзавецъ, пошлякъ есть пошлякъ, грязная сцена есть грязная сцена. Всякій согласится, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что бываютъ такіе вполне ужъ несомнѣнные мерзавцы, пошляки и грязныя сцены. *Изображеніе* этихъ предметовъ можетъ, благодаря художественному творчеству, въ него вложенному, получить для зрителя или читателя «особую прелесть». Но *изображаемый предметъ* не долженъ получать никакой прелесть, а долженъ оставаться гнусностью и грязью. Здѣсь-то г. Боборыкину и помогли бы англійскіе психологи, еслибы онъ въ самомъ дѣлѣ у нихъ хорошенько поучился или же бы просто далъ себѣ трудъ и время подумать, а не то, что сколько посидѣлъ, столько и написалъ. Дѣйствительно, если «эстетическая эмоція существенно отличается отъ разныхъ другихъ, отъ волненій нравственнаго или эгоистическаго характера»; если «волненія эстетическаго свойства совершенно самостоятельны», такъ и давайте намъ, господа беллетристы, г. Боборыкинъ у согражданина, давайте, между прочимъ, прекрасныя изображенія и пошлыхъ, и грязныхъ предметовъ. Но помните, что самые-то предметы должны при томъ оставаться грязными и пошлыми, и никакой «особой прелесть» не получать, именно вслѣдствіе самостоятельности эстетической эмоціи.

Отсюда проистекаетъ, впрочемъ, цѣлый рядъ выводовъ, рѣшительно непредвидѣнныхъ Мальбругомъ, бодро гакопирующимъ на игренемъ конѣ, и вовсе не соответствующихъ цѣли его похода.

Эстетическое волненіе самостоятельно и существенно отличается отъ волненій нравственнаго характера. Поэтому исполнѣ возможны, законны и необходимы съ точки зрѣнія эстетики такія художественныя произведенія, которыя, будучи прекрасными, въ тоже время возбуждаютъ презрѣніе или уваженіе, любовь или отвращеніе къ изображаемому предмету. Слѣдовательно, самостоятельность эстетическаго наслажденія нисколько не эманципируетъ художника и критика отъ обязанности служить не одной красотѣ, а творить и судить, соображаясь со всѣми другими условіями творчества и дѣйствительности, условіями, отнюдь не эстетическаго характера. Эти-то условія въ совокупности своей и кладутъ предѣлы воображенію, область котораго «стало быть»

вовсе не дѣлается безпредѣльною отъ того, что существуютъ на свѣтѣ англійскіе психологи. Представьте себѣ изумленіе этихъ почтенныхъ, приличныхъ людей, если они узнаютъ, что въ городѣ Санктпетербургѣ, столицѣ обширной имперіи, быстро движущейся по пути прогресса, есть г. Боборыкинъ, который изъ ихъ добросовѣстныхъ трудовъ дѣлаетъ такой выводъ: область воображенія безпредѣльна, не ограничена элементами приличія или нравственности, и роль искусства состоитъ, между прочимъ, въ приготовленіи изъ драни конфетокъ путемъ усвоенія этой завѣдомой драни «особой прелесть». Нѣтъ, сказали бы англійскіе психологи, нѣсколько оправившись отъ изумленія: нѣтъ, это не совсѣмъ такъ; и даже, кажется, совсѣмъ не такъ. Конфетки приготовляются изъ такихъ-то и такихъ-то матеріаловъ, а, конечно, можно, пожалуй, и дрань въ сахарѣ сварить, только это будетъ очень скверная конфетка...

Я съ своей стороны вполне присоединяю свой скромный голосъ посторонняго чловека къ голосамъ англійскихъ психологовъ. Мало того, я рѣшаюсь поднять старый, осмѣянный тезисъ, что въ области искусства (въ романѣ въ особенности, потому что кому много дано, съ того больше и спросится) добродѣтель должна торжествовать, а порокъ долженъ быть наказанъ. Да, милостивые государи, я рѣшаюсь выставить и защищать этотъ старый тезисъ, только нѣсколько обработавъ его на новый ладъ, и слѣдовательно, готовъ принять всѣ удары гарцющего на игренемъ конѣ Мальбруга, который съ такимъ побѣдоноснымъ видомъ заявляетъ: «мораль — вотъ пагуба теперешней критики»...

Конечно, тамъ, гдѣ по самому существу дѣла нѣтъ мѣста нравственному суду, тамъ неприложимъ и нашъ тезисъ. Въ области пейзажа, напримѣръ, не можетъ быть и разговора о торжествѣ или наказаніи добродѣтели или порока. Но разъ только эти понятія имѣютъ, если позволительно такъ выразиться, физическую возможность возникнуть, потребность нравственной оцѣнки должна быть удовлетворена въ полную мѣру этой возможности. Не объ томъ, разумѣется, рѣчь, чтобы фигурирующий, напримѣръ, въ романѣ злодѣй имѣлъ и внѣшній обликъ злодѣя и носилъ фамилію Лиходѣева, и въ концѣ романа получалъ возмездіе, положенное соответствующими статьями уложенія о наказаніяхъ. Бываютъ и такіе случаи, но рѣдко, такъ рѣдко, что возводитъ ихъ «въ перлъ созданія» значить лгать. (Мимоходомъ сказать, г. Боборыкинъ ужасно сердитъ на этотъ невинный «перлъ созданія»: не научный, видители-ли, терминъ,

обломки отсталых понятий, разрушенных английскими психологами. Конечно, это прекрасный повод пустить людям в глаза пыль, поднимаемую копытами игренного коня; с другой стороны однако, никто тут научнаго термина и не усматриваетъ, никто апъ египетскихъ «перлъ созданія» не принимаетъ, а если выраженіе привычно и понятно, такъ отчего же бы его и не употребить?). Итакъ, возводить въ перлъ созданія рѣдкіе случаи полнаго жизненнаго торжества добродѣтели и наказанія порока, значить лгать. А если ложъ унижаетъ и чловѣка, свидѣтельствуя о прошлыхъ, настоящихъ или будущихъ изынаняхъ въ его силѣ, то тѣмъ паче унижаетъ она сферу искусства. Не такъ идутъ дѣла на грѣшной землѣ, и торжествующая свинья на ней также перѣдка, какъ скованный Прометей. Искусство (не одно оно, конечно) можетъ и должно, изображая эту скорбную правду, какъ она есть, вносить въ нее вмѣстѣ съ тѣмъ поправку идеальнаго свойства, отнюдь не противорѣчащую специально эстетическимъ цѣлямъ, а, напротивъ, тѣсно съ ними связанную. Торжествующая свинья есть типическое житейское явленіе. Пусть же она торжествуетъ и въ романѣ, на примѣръ; но она свинья—пусть такою въ художественномъ изображеніи остается. Торжествуя въ жизни, она приметъ казнь въ умахъ и сердцахъ читателей, казнь заслуженную и удовлетворяющую неотложной потребности нравственнаго суда. И когда искусству предлагается такую возвышенную, святую роль духовнаго возмездія за помраченное солнце и за торжество свиньи, г. Боборыкинъ смѣетъ говорить объ «униженіи» его! Онъ и теперь, конечно, скажетъ, что не въ этомъ задача художественнаго творчества, что для представленія торжества добродѣтели и кары пороку, существуютъ другія вѣдомства. Я вовсе не отрицаю существованія другихъ вѣдомствъ суда и расправы, орудующихъ своими специальными средствами. Но я утверждаю, что въ пользу привлеченія богатѣйшихъ средствъ искусства къ той же благородной цѣли было высказано въ нашей литературѣ много доводовъ, изъ которыхъ г. Боборыкинъ не потрудился опровергнуть ни одного. Ибо ссылка на самостоятельность эстетической эмоціи, если что-нибудь и опровергается, то только самого г. Боборыкина. Нельзя, конечно, разумѣть эту самостоятельность въ томъ смыслѣ, что жизнь сама по себѣ, а художникъ, какъ нѣкоторый «чиновникъ совершенно посторонняго вѣдомства», тоже самъ по себѣ; что онъ служитъ по вольному найму въ особомъ департаментѣ красоты, рядомъ съ которымъ существуютъ или должны существовать осо-

бые же департаменты чести, принципа, правды, справедливости. Уразумѣть дѣло такимъ образомъ, г. Боборыкинъ хочетъ сдѣлать изъ искусства кѣто въ родѣ того змѣя, пусканіемъ котораго занимаются лѣтомъ ребяташки: змѣй, на тоненькой бичевкѣ, залетаетъ Богъ знаетъ куда и носитъ тамъ единственно по волѣ вѣтровъ. Область, говорить, воображенія безпредѣльна, и я могу нарисовать, на примѣръ, неприличную картинку такъ, что у читателя, особливо до такихъ картинокъ охочаго, слюнки потекутъ; могу, потому что никто меня за это осудить не смѣетъ, потому что эстетическая эмоція самостоятельна, а «мораль—пагуба». Между тѣмъ, изъ этой самостоятельности вытекаетъ кѣто совершенно противоположное. Вытекаетъ именно возможность и законность такихъ художественныхъ произведеній, которыя, оставаясь вѣрны правдѣ жизни и законамъ прекраснаго, рисуютъ свинью свиньей, мерзость мерзостью, то-есть возбуждаютъ въ читателѣ отвращеніе къ свиньѣ и мерзости. А это и есть возможность и законность торжества добродѣтели и казни порока въ искусствѣ. Въ искусствѣ, а стало быть и въ литературной критикѣ.

Сейчасъ я вернусь къ продолженію этой темы, а теперь, съ вашего позволенія, скажу нѣсколько словъ о другихъ эпизодахъ похода Боборыкина. Всего нѣсколько словъ.

Представьте себѣ прокурора, что-ли, который построилъ бы свою обвинительную рѣчь такъ: вотъ преступникъ, онъ совершилъ то-то, и то-то, положимъ, учинилъ кражу со взломомъ или грабежъ; но онъ утверждаетъ, что содѣянное имъ совсѣмъ не есть преступленіе, что грабежъ въ его положеніи былъ единственнымъ выходомъ, что грабежъ, наконецъ, есть благородное, открыто достигаемое возстановленіе такого-то поправнаго его права; хорошо, станемъ же на точку зрѣнія преступника и посмотримъ, удовлетворительно-ли онъ грабилъ; нѣтъ, грабить надо совсѣмъ не такъ, а вотъ какъ: выждать на большой дорогѣ, залечь въ оврагѣ и т. д. Это была бы, конечно, очень странная обвинительная рѣчь и доказывала бы только, что прокурору не такъ, чтобы очень дорогъ защищаемый имъ принципъ собственности, а просто, ему пришла почему-то дикая мысль дохвать преступника мытьемъ и катаньемъ: дескать, и грабитель онъ, да и грабить-то неправильно! нешто на такую сумму можно бы проѣжающаго-то ограбить! Въ такомъ родѣ поступаетъ и г. Боборыкинъ. Не довольствуясь пораженіемъ «пагубной морали» при помощи англійскихъ психологовъ и нѣкоторой отсебятины, онъ перелетаетъ на своемъ игренемъ конѣ въ лагерь противниковъ и начинаетъ ихъ учить:

развѣ такъ грабать?! надо вотъ какъ! Объ этой части разсужденій г. Боборыкина я говорить не буду, потому что вовсе не собираюсь защищать нашу литературную критику, хотя и приведу ниже нѣкоторыя, смягчающія ея вины обстоятельства. Теперь я хочу только отмѣтить походяшій характеръ предпріятія г. Боборыкина. Ему, собственно, не отставная идея дорога—еслибы такъ было, у него вышелъ бы «этюдъ»; ему нужно и мытьемъ и катаньемъ доѣхать нашихъ литературныхъ критиковъ—и вотъ почему Мальбругъ въ походѣ поѣхалъ, подъ нимъ былъ конь игрень...

Повторяю, милостивые государи, что я не собираюсь защищать нашу литературную критику, но нельзя же, а если ужъ она такая убогая, то тѣмъ паче нельзя взводить на нее напраслину. А г. Боборыкинъ и этимъ не брезгаетъ. Такъ, напримѣръ, онъ говорить: «Критики этихъ (охранительныхъ) направленій, въ послѣднія пять-шесть лѣтъ, взялись на французскій реалистическій романъ нисколько не менѣе, чѣмъ рецензенты совершенно противнаго лагеря, по ту сторону *благотворности умереннаго либерализма*. Гасильники входятъ съ радикалами и съ людьми самыхъ пламенныхъ социальныхъ упованій въ своемъ брезгливомъ и часто враждебномъ чувствѣ къ реалистическому роману и къ самому сильному таланту этой школы. Вы наталкиваетесь, какъ тутъ, такъ и тамъ, на тѣ же почти возгласы сентиментальной чопорности и педантскаго риторизма». Мимоходомъ сказать, подчеркнутыя мною выше слова у г. Боборыкина не подчеркнуты, а подчеркнуты ихъ слѣдовало, потому что, написавъ ихъ, г. Боборыкинъ все-таки высказалъ нѣкоторую похвальную осторожность. Достоинъ въ самомъ дѣлѣ вниманія тотъ фактъ, что Зола, объ которомъ идетъ рѣчь, именно у насъ получилъ громкую извѣстность прежде даже, чѣмъ у себя на родинѣ, благодаря гостепріимству «Вѣстника Европы». Почтенный журналъ любезно представилъ свои страницы критическимъ упражненіямъ Зола, въ которыхъ было кое-что хорошее и кое-что новое, но все хорошее было для насъ, русскихъ, не ново, а все новое не хорошо. Такъ что одно время Зола фигурировалъ въ числѣ русскихъ литературныхъ критиковъ, внося, конечно, въ эту зараженную пагубною моралью среду только принципы и приемы, а не приложеніе ихъ къ произведеніямъ русскихъ беллетристовъ. Что же касается «брезгливаго» отношенія къ порнографической сторонѣ «золаизма», то прежде всего не одна русская критика виновна въ «сентиментальной чопорности и педантскомъ риторизмѣ». Въ самой Франціи Зола не разъ

приходилось и теперь приходится выслушивать по этой части много гораздо болѣе яростныхъ упрековъ, а въ Германіи переводъ, если не ошибаюсь, Pot-Bouille былъ судимъ, осужденъ и запрещенъ за оскорбленіе общественной нравственности. Я вовсе не думаю прятаться или кого-нибудь прятать за эти факты, но они, во всякомъ случаѣ, показываютъ, что не такая же ужъ исключительно тупоголовая порода эти бѣдные русскіе критики и что справедливый или несправедливый гнѣвъ г. Боборыкина долженъ распространяться далеко за предѣлы обширной страны, въ которой звучитъ русская рѣчь. Главное дѣло, однако, не въ этомъ, а въ фальши общаго тона упрековъ собственно по поводу Зола. Я что-то не помню очень ужъ пристальныхъ и огульныхъ нападокъ на даровитаго французскаго романиста со стороны русской критики. Помню одну брошюру московскаго происхожденія («Золаизмъ» она называлась, имени автора не помню), въ которой, дѣйствительно, Зола былъ изрубленъ въ куски, куски сожжены и пепель развѣянъ въ пространства. И любопытно, что авторъ брошюры столь же сдвинулся на русскую критику за возвеличеніе Зола, какъ г. Боборыкинъ сердится за его приниженіе. Вотъ тутъ и угоди! Но затѣмъ большой дѣйствительно талантъ Зола едва-ли кѣмъ-нибудь отрицался; въ то же время нѣкоторые, признававшіе и признающіе этотъ большой талантъ, не совсѣмъ же ужъ такъ голословно утверждаютъ, что онъ слишкомъ склоненъ къ порнографіи и что его критическія упражненія, въ которыхъ онъ серьезно сравнивалъ себя съ Клодомъ Бернаромъ и несъ разную другую претенціозную чепуху, свидѣлствуютъ лишь о его малой образованности и большомъ самомнѣніи.

Еслибы г. Боборыкинъ потрудились хоть мимоходомъ отмѣтить то обстоятельство, что русская критика оцѣнила талантъ Зола, онъ поступилъ бы, во-первыхъ, добросовѣстно, а во-вторыхъ, усмотрѣлъ бы самъ и людямъ показать, что и русская критика бываетъ иногда все-таки добросовѣстна. Не правда-ли? О, милостивые государи, я очень хорошо знаю всѣ многоразличные изъяны и слабости русской критики, знаю ихъ, смѣю сказать, гораздо лучше г. Боборыкина, ибо больше, чѣмъ онъ, люблю русскую литературу и пристальнѣе его къ ней всегда приглядывался. Г. Боборыкинъ сегодня здѣсь, завтра тамъ, или вѣрнѣе, какъ Фигаро, и здѣсь и тамъ, и кто его знаетъ—что онъ собственно любитъ, кромѣ самого себя и своего игреняго коня... Дѣло въ томъ, что, зная изъяны русской критики, я знаю вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя совершенно посто-

ронныя причины этих изъясновъ, тяготѣющія, впрочемъ, не надъ одной критикой, а и надъ беллетристикой и надъ всей блѣдной сѣрой русской жизнью. Не всѣ, разумѣется, изъясны этими посторонними причинами объясняются, но надо же помнить, милостивые государи, что *la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a*.

Въ силу излюбленной г. Боборыкинымъ самостоятельности эстетической эмоціи, критикъ долженъ имѣть въ виду и художественную, и нравственно-политическую стороны разбираемаго произведенія. Онъ долженъ опредѣлить ихъ комбинацію, показать что вотъ, дескать, напримѣръ, прекрасное изображеніе гнуснаго предмета или, наоборотъ, плохое изображеніе предмета высокаго и т. п.; долженъ усмотрѣть и пояснить, между прочимъ, дѣйствительно-ли добродѣтель торжествуетъ въ данномъ произведеніи или же художникъ сознательно либо безсознательно предоставилъ торжество пороку. Извините, что я этой древней формулой пользуюсь. Г. Боборыкинъ, пролагающій якобы новые и якобы научные пути критикѣ, а въ сущности перемеливающій старую, никуда негодную дребедень, конечно, придетъ въ ужасъ отъ моей отсталости. Но вы-то понимаете, что я не сентиментальной лжи требую и говорю о торжествѣ добродѣтели и казни порока лишь въ сердцахъ и умахъ читателей. Это воздаяніе кое-муждо по дѣломъ его художникъ совершаетъ при помощи эстетической эмоціи. Обѣ стороны дѣла такъ тѣсно связаны между собой и такъ важны именно въ своей связи, въ своей совокупности, что о какой-нибудь конкуренціи между ними не можетъ быть и рѣчи. Но бываютъ сложныя и многоразличныя обстоятельства, при которыхъ та или другая сторона сама собой выдвигается на первый планъ. Прежде всего эти обстоятельства могутъ заключаться въ личности критика. Представьте себѣ, что, будучи далеко не первостепеннымъ знатокомъ и любителемъ по части эстетической эмоціи, но все-таки кое-что понимая, онъ въ тоже время очень чутокъ къ торжеству добродѣтели и казни порока. Пусть же онъ даетъ что можетъ и не будемъ требовать съ него того, чего онъ дать не можетъ. Вотъ если онъ, взявшись за разработку преимущественно нравственно-политической стороны, оказывается по этой именно части плохъ, невѣжественъ, недобросовѣстенъ, тогда другое дѣло. Если же онъ при этомъ, сознавая свою слабость, даже совсѣмъ не суется собственно въ художественную критику, къ которой онъ не подготовленъ, такъ это дѣлаетъ ему только честь. Соваться въ чужое, мало знакомое дѣло совсѣмъ не похвально, лучшимъ при-

мѣромъ чего можетъ служить г. Боборыкинъ многими сторонами своей дѣятельности...

Но возможны случаи, что и высоко развитый въ эстетическомъ смыслѣ критикъ обратитъ мало вниманія на художественную сторону произведенія и будетъ совершенно правъ. Это можетъ зависѣть отъ самой беллетристики, потому что опять-таки *la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a*. Возьмите, напримѣръ, того же г. Боборыкина, но на этотъ разъ, какъ беллетриста. Онъ талантливый человѣкъ, конечно, но въ художественномъ отношеніи работаетъ всегда, какъ ремесленникъ фотографъ: возьметъ подлинное живое лицо или подлинное событіе и, даже не возводя его въ перлъ созданія, цѣлкомъ пропечатаетъ, придавъ лицу или событію отъ себя какіи-нибудь гнусныя или, напротивъ, возвышенныя черты. Для критики подобныхъ произведеній, смѣю увѣрить г. Боборыкина, не требуется тревожить Милей, Дарвиновъ, Спенсеровъ и Бэнновъ. Достаточно простого здраваго смысла, чтобы оцѣнить эти приемы «творчества», элементарно слабыя въ художественномъ отношеніи и часто нечистоплотныя въ нравственномъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Боборыкинъ очень часто влагаетъ въ свою работу какую-нибудь «тенденцію», какой-нибудь поводъ именно для публицистической критики, объ которой говорить нѣтъ съ такимъ негодованіемъ. Припомните любой рассказъ, повѣсть, романъ г. Боборыкина, ну, хоть обширный романъ «Дѣлцы», печатавшійся на страницахъ вашего уважаемаго журнала. Я увѣренъ, вы сами признаете, что романъ этотъ въ художественномъ смыслѣ ровно ничего не стоитъ и что печатали вы его не ради его эстетическихъ достоинствъ, а просто какъ бойкіе, легко читающіеся, хотя и поверхностныя очерки мало знакомаго быта нашихъ «дѣльцовъ». По отношенію къ такого рода произведеніямъ нѣтъ мѣста не только художественной критикѣ—объ этомъ и говорить смѣшно—а и критикѣ литературно-публицистической, потому что они, собственно говоря, сами представляютъ публицистику въ лицахъ.

Возьмемъ другое произведеніе г. Боборыкина, новѣйшее, напечатанное какъ разъ одновременно съ его походомъ на литературную критику. Называется оно «Крашеная вода» и напечатано въ двухъ первыхъ номерахъ ежемѣсячнаго приложенія къ «Живописному Обозрѣнію». Это пересказъ дѣйствительнаго происшествія, всѣмъ извѣстнаго по газетамъ, а именно дѣла фабрики Морозова, заражавшей рѣку спускомъ красящихъ веществъ, «крашеной водой». Г. Боборыкинъ ввелъ множество блѣдныхъ и по

ходу разсказа ненужныхъ лицъ и придавъ героинѣ, владѣлицѣ фабрики, молодой вдовѣ, отъ себя выдуманный или съ натуры списанный неопредѣленный, но симпатичный характеръ. Позвольте мнѣ не разсказывать содержанія повѣсти, но за то позвольте привести заключительную страницу, прекрасно опредѣляющую комбинацію художественной и нравственно-политической стороны въ «Крашеной водѣ».

Она вдругъ подумала о своемъ старшемъ сынѣ Митѣ. Онъ и теперь уже, по одиннадцатому году, весь переполненъ трепетной потребностью правды, и теперь уже голова его работаетъ надъ тѣмъ: такъ-ли всѣ живутъ, какъ велитъ совѣсть, зачѣмъ есть господа и слуги, хозяева и батраки, богачи и голыши? Онъ не разъ ставилъ ее въ тупикъ. Будь онъ по старше, онъ сказалъ бы ей сегодня: мама, зачѣмъ ты беспокоилась объ томъ, что профессоръ изъ Петербурга найдеть въ сточной водѣ? Разумѣется, вода грязная, нездоровая, пить ее нельзя, надо остановить набивку ситцевъ, да и вся-то мануфактура выколачиваніе миллионѣвъ изъ рабочаго люда.

Стала ей противна красная обстановка ея добрыхъ дѣлъ на фонѣ хозяйскихъ барышей. Она уже не можетъ и не хочетъ теперь, стоя на террасѣ, выгораживать себя такъ, какъ дѣлала это еще вчера, когда ей не спалось на фабрикѣ, въ компанейскомъ домѣ.

И одиночество женщины, скрытая жажда любви и взаимности разбудили въ ней какой-то образъ... смутный... во живой.

«Когда ты полюбишь, какъ ты еще не любила, говоритъ она за себя и чувствуетъ внутри нѣмой звукъ своихъ словъ, этотъ человекъ не увлечется тѣмъ, что ты теперь. Онъ потребуетъ большаго. Слишкомъ легко бросать крохи отъ миллионной трапезы. Такихъ благотворительницъ довольно и между ханжами-барынями. Отъ бездѣлья и тѣсноты!»

Щеки Натальи Гордѣвны побѣлѣли. Точно ей полнило эфиромъ на груди, такимъ холодомъ вдругъ обдало ее изнутри. Она оперлась плечомъ о столбъ террасы и глядѣла на зыбь рѣки съ чуть видными струйками луннаго отблеска.

Не отдѣлаться ей отъ такихъ думъ. Не уйти нигуда. Видно, нельзя нынче ни быть богатой, ни дѣлать добро, ни опекать, ни руководить, ни любить страстно мужчину, ни любить материнскою любовью—безъ ночныхъ бесѣдъ съ совѣстью.

На рѣкѣ плеснулась полусонная рыба. Чайка опять крикнула.

Хозяинъ богатой владѣтельской усадьбы становилось очень тяжело...

Не ясно-ли, что затронутый въ повѣсти вопросъ нравственно-политическаго характера безконечно ярче и важнѣе той ремесленно-художественной формы, въ которую его облекъ г. Боборыкинъ? Не ясно-ли, что критикъ, который въ примѣненіи къ данному случаю послушается совѣтовъ нашего Мальбруга, выкинетъ «пагубную мораль» изъ своей оцѣнки и сосредоточится на эстетическихъ красотахъ произведенія г. Боборыкина—сыграетъ роль глупую и смѣшную? Повторяю, я лучше г. Боборыкина знаю слабости русской критики. Но не слабость,

а истинное пониманіе вещей скажется въ ней, если она извлечетъ изъ «Крашеной воды» «пагубную мораль» и пропуститъ мимо ушей эстетическую эмоцію, вызываемую «плескомъ полусонной рыбы и крикомъ чайки». Еслибы эта сторона была дѣйствительно достойна художественной критики, такъ можно бы было, пожалуй, ее требовать... Я склоненъ, впрочемъ, думать, что русская критика совоѣмъ оставитъ въ тунѣ «Крашеную воду»; отчасти по цензурной щекотливости темы, а отчасти потому, что слишкомъ ужъ игрень конь г. Боборыкина. Печатать *подобныя* произведенія г. Боборыкина (у него есть и совоѣмъ не подобныя) можно, но распространяться объ нихъ въ критическомъ отдѣлѣ, да еще поминать при этомъ всеу Дарвиновъ и Миллей, Бэновъ и Спенсеровъ, нѣтъ рѣшительно никакого резона.

Г. Боборыкинъ совершенно напрасно тревожитъ тѣнь еще одного великаго человека—Лессинга: дескать, вотъ писалъ же человекъ художественныя критики часто по поводу совершенно ничтожныхъ произведеній. По этому случаю можно бы было, однако, замѣтить, что вѣдь нѣтъ же теперь Лессинга ни въ одной европейской литературѣ, а не только въ русской. Должно быть есть для этого какія-нибудь общія условія. Это разъ. А, во-вторыхъ, неужели г. Боборыкинъ серьезно думаетъ, что Лессингъ, еслибы онъ принялся за ту же «Крашеную воду», не коснулся бы пагубной морали, а все бы только объ эстетической эмоціи разсуждалъ? Лессингъ былъ умный человекъ... Онъ не сказалъ бы: «нельзя нынче ни быть богатой, ни дѣлать добро, ни опекать, ни руководить, ни любить страстно мужчину, ни любить материнскою любовью безъ ночныхъ бесѣдъ съ совѣстью», а вотъ литературой такъ можно безъ зазрѣнія совѣсти заниматься, потому тутъ, и только тутъ, «мораль—пагуба». Думаю, что Лессингъ не сказалъ бы этого уже по одному тому, что вѣдь въ самомъ дѣлѣ уменъ былъ покойникъ. А впрочемъ, тутъ не то что Лессингъ, а даже сама Наталья Гордѣвна могла бы поучить г. Боборыкина...

Но оставимъ самого г. Боборыкина, какъ беллетриста, и возьмемъ что-нибудь другое изъ современной изящной словесности. Возьмемъ беллетристику того самого «Наблюдателя», который любезно предоставилъ свои страницы походнымъ упражненіямъ г. Боборыкина. Мы найдемъ тамъ два большихъ романа: «Въ наше смутное время» г. Лѣтнева и «Кошмаръ» г. Зависѣдчаго. Въ нравственно-политическомъ отношеніи, эти романы принадлежатъ къ тому типу, который постоянно украшаетъ собою страницы «Рус-

скаго Вѣстника». Въ смыслѣ художественномъ, однако, они много ниже своихъ московскихъ конкурентовъ. Г. Лѣтневъ давно уже извѣстенъ, какъ вѣщною занимательностію фабулы его романовъ, такъ и полнымъ отсутствіемъ художественнаго дарованія. Г. Зависѣцкій, кажется, еще новичекъ и будетъ должно быть вершка на полтора выше г. Лѣтнева. Но полтора вершка, это, знаете, еще не много... Ну, и спрашиваю я васъ: обнаружить-ли человѣкъ хоть каплю истиннаго критическаго дарованія и пониманія, если займется изслѣдованіемъ «эстетической эмоціи» (экіа словечки-то по такому поводу!), производимой красотами романовъ гг. Лѣтнева и Зависѣцкаго, и упуститъ изъ виду вопросы «пагубной морали»? Нѣтъ, не обнаружить. А можетъ-ли критика, по поводу означенныхъ романовъ, свободно излагать свои нравственно-политическія соображенія? Кое-кто изъ критиковъ, конечно, можетъ; тѣ именно, кто смотритъ на вещи одинаковыми глазами съ гг. Лѣтневыми и Зависѣцкими...

Да будетъ же стыдно тѣмъ Мальбругамъ, которые, ради удовольствія оскорбленнаго самолюбія или изъ любви къ гарцованію на игренемъ конѣ, предпринимаютъ несвоевременные походы. Да будетъ стыдно г. Боборыкину...

А впрочемъ...

Пора кончить, милостивые государи, и позвольте кончить однимъ итальянскимъ изреченіемъ. Почему итальянскимъ? Сейчасъ увидите.

Malgrado tutti i suoi difetti ed esagerazioni, il criticismo contemporaneo russo sta piuttosto in una buona che cattiva via. Это значитъ, милостивые государи, что, не смотря на свои недостатки, современная русская критика стоитъ на вѣрной дорогѣ. Мнѣ тѣмъ пріятнѣе съ этимъ согласиться, что слова эти принадлежатъ г. Боборыкину и заимствованы мною изъ итальянской статьи его «*Del criticismo russo*», оттискъ который я нѣсколько лѣтъ тому назадъ имѣлъ честь лично отъ автора получить съ лестною для меня (тогда я былъ не постороннимъ) собственноручною надписью. Въ статьѣ этой излагались совсѣмъ не тѣ воззрѣнія, какія излагаются г. Боборыкинымъ нынѣ въ статьѣ «Наблюдателя», и русская критика одобрялась именно за то, за что нынѣ топчется копытами игреняго коня...

Вы понимаете, какъ это радостно. Если г. Боборыкинъ такъ быстро преложилъ милость на гнѣвъ, такъ вѣдь онъ можетъ въ скорости совершить и обратную операцію, то-есть преложить гнѣвъ на милость. У него это все вдругъ... А въ ожиданіи столь благотворнаго поворота мыслей г. Боборы-

кина, живите. Живите и кланитесь не пагубную мораль, а тѣ печальныя обстоятельства, которыя мѣшаютъ вамъ ею заниматься такъ, какъ это требуется законами искусства и долгомъ гражданина...

III *).

Позвольте предложить вамъ нѣсколько мыслей объ томъ, чего въ нашей литературѣ нѣтъ и быть не можетъ и что, однако, могло и должно бы было быть...

Мнѣ говорятъ: зачѣмъ вы возитесь съ пустяками, въ родѣ похода г. Боборыкина? неужто ничего болѣе занимательнаго и достойнаго разговора не нашлось? Вѣдь, за всѣми вздорами не угоняться, да и не стоять они того...

Справедливо, хотя и не вполнѣ...

Вздоръ, даже самый полный, самый чистый, самый безусловный вздоръ есть все-таки нѣчто относительное въ томъ смыслѣ, что можетъ при извѣстныхъ условіяхъ оказаться оскорбительнымъ, возмутительнымъ, если не вреднымъ. Представьте себѣ человѣка, громко, съ апломбомъ провозглашающаго, что дважды два—стеариновая свѣчка. Вздоръ это въ полномъ размѣрѣ, но если обстоятельства времени и мѣста представляютъ нѣкоторые шансы успѣха этой дикой пропагандѣ... Да даже если никакихъ шансовъ она не имѣетъ, такъ ужъ одно ея появленіе, сопровождаемое помпой и апломбомъ, способно возмутить людей, знающихъ, какъ дорого стоили человечеству начатки просвѣщенія. Г. Боборыкинъ посягнуть, конечно, не въ буквальномъ смыслѣ на таблицу умноженія, но около того встаетъ. Припомните, сколько битвъ произошло на поляхъ російской литературы—отъ-тотъ самого вопроса, который съ легкостью почти военного человѣка оттрепалъ г. Боборыкинъ въ своемъ «этюдѣ». И не чернилопролитныя только были эти битвы. Нѣтъ, въ нихъ живая душа владывалась, въ нихъ слышались отклики запросовъ настоящей, живой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ о задачахъ искусства вообще и беллетристики въ особенности съ наибольшимъ горячіемъ дебатовался въ нашей литературѣ въ то достопамятное время, когда порывалась и, наконецъ, порвалась «цѣпь великая» крѣпостнаго права. Обсуждался онъ не одною, а въ непосредственной, внутренней связи со множествомъ другихъ вопросовъ, теоретическихъ и практическихъ, возникавшихъ и разрѣшавшихся на общей почвѣ. Этому общему почвовъ были новыя, рѣзко измѣнившіяся условія жизни, въ прижино-

*) 1883, апрѣль.

ни къ которымъ надлежало пересмотрѣть всѣ параграфы старой правды или якобы правды, покоившейся на барствѣ и рабствѣ. Были, конечно, ошибки и увлеченія въ этой работѣ почти внезапно разбуженныхъ чести и совѣсти. Но важно то, что это была цѣльная работа, что она не ограничивалась анализомъ, а имѣла и синтетическій характеръ. Всѣ части новаго міросозерцанія были другъ съ другомъ согласованы или, по крайней мѣрѣ, стремились къ согласованію. Вотъ почему и вопросъ о задачахъ искусства, казался бы, совсѣмъ спеціальнымъ и не имѣющимъ самъ по себѣ непосредственныхъ отношеній къ разнымъ злобамъ дня, сталъ у насъ однимъ изъ яблоковъ житейскаго, почти политическаго раздора. Съ одной стороны, искусству становилось въ обязанность служеніе чистой красотѣ, а, слѣдовательно, подъ видомъ самодовлѣющаго эстетическаго наслажденія, интересамъ тѣхъ общественныхъ слоевъ, которые эту чистую красоту могутъ оплачивать, не получая вмѣстѣ съ красотой никакихъ нравственныхъ уроковъ, а тѣмъ паче упрековъ. Съ другой стороны, отъ искусства, во имя общихъ началъ новой правды, требовалось служеніе жизни во всемъ ея объемѣ; отвлеченная категорія красоты признавалась чѣмъ-то барскимъ, а служеніе ей—рабскимъ. Кромѣ этихъ прямо практическихъ корней раздора, но не независимо отъ нихъ, онъ питался и столкновеніями въ чисто теоретическихъ сферахъ, въ области метафизики или борьбы съ нею.

Много ума, чувства, энергіи было потрачено на эти битвы по вопросу о задачахъ искусства, и, каковъ бы ни былъ результатъ, къ которому вы на этотъ счетъ пришли, вась должна возмутить легкость почти военнаго человѣка, треплющаго то, на что потрачено столько усилий. Думаю, что на такое трепаніе должны недружелюбно смотрѣть не только противники, а и защитники такъ называемаго чистаго искусства. Потому что какая же это защита? Это такъ что-то въ родѣ ничего, и даже весьма компрометирующаго ничего.

Я согласенъ, однако, что при иныхъ, болѣе благоприятныхъ для литературы условіяхъ, можно было бы довольно спокойно пройти мимо «этуда» г. Боборыкина или, что тоже, его пропустить мимо ушей. Это, впрочемъ, вѣроятно и случалось съ этудами г. Боборыкина на ту же тему, потому что онъ упоминаетъ, что, дескать, тогда-то и тогда-то я уже излагалъ эти самыя мысли, но меня «замолчали». Онъ думаетъ, что это отъ чрезвычайной побѣдности его аргументаціи... Ну, и чудесно...

Такъ вотъ, говорю, еслибы литература стояла въ менѣе печальныхъ условіяхъ,

еслибы въ ней было все, что можетъ и должно въ ней быть, то якобы научнымъ размышленіемъ г. Боборыкина можно бы было предоставить безданию и безпошлинно гулять по бѣлому свѣту и заняться чѣмъ-нибудь болѣе любопытнымъ. Но въ томъ-то и бѣда, что въ литературѣ нѣтъ и не можетъ быть многого, что могло бы и должно бы было быть. Ужасно, истинно ужасно многого...

Г. Боборыкинъ находитъ, что недостаетъ чисто художественной критики. Да, ея нѣтъ и—«не жди, не будетъ». Нѣтъ, потому что нѣтъ чисто художественной беллетристики. Повторяю, художественная оцѣнка произведеній хотъ бы г. Боборыкина была бы просто смѣшна и свидѣтельствовала бы только, что критикъ не умѣетъ различать въ разбираемомъ произведеніи важное и неважное, существенное и побочное. И г. Боборыкинъ вовсе не одинъ находится въ такомъ положеніи. Я упоминалъ въ прошлый разъ о романахъ гг. Лѣтнева и Зависѣцкаго; возьмите романы гг. Авсінько, Маркевича, Орловскаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ», возьмите, наконецъ, рассказъ г. Григоровича «Гуттаперчевый мальчикъ», который недавно одинъ критикъ пытался превратить въ чисто художественное произведеніе и дать ему соотвѣтственную оцѣнку. Я не отрицаю художественныхъ красотъ «Гуттаперчеваго мальчика», хотя надо признаться, что эти красоты не ахти какихъ размѣровъ; но дѣло въ томъ, что это всетаки рассказъ тенденціозный, проникнутый «пагубною моралью». Можно говорить, что тенденція его хороша въ нравственномъ смыслѣ, хотя и грубовато подчеркнута и азбучна по своему содержанію, но отрицать ее и видѣть въ «Гуттаперчевомъ мальчикѣ» нѣкоторый перлъ чистаго искусства смѣшно или недобросовѣстно. Что бы ни говорилъ г. Боборыкинъ и прочіе, но «тенденція», «пагубная мораль» навсегда завоевали себѣ мѣсто въ беллетристикѣ, и трезвые люди должны не объ томъ думать, чтобы изгнать ихъ оттуда—это донкихотовское предпріятіе—а объ томъ, чтобы регулировать ихъ вліяніе, опредѣлить ихъ мѣсто рядомъ съ художественнымъ элементомъ. Практически, тенденціи и пагубной морали грозятъ не набѣги гг. Боборыкиныхъ, а совсѣмъ другія обстоятельства.

Есть у насъ писатель Н. С. Лѣсковъ. Когда-то, подъ псевдонимомъ Стебницкаго, онъ занимался беллетристическимъ изображеніемъ разныхъ «измовъ», но потомъ оставилъ эту тему и перешелъ къ изображенію, иногда очень талантливому, быта нашего духовенства. За самое послѣднее время г. Лѣсковъ заставилъ о себѣ говорить двумя письмами въ редакціи газеты «Новости» и

«Газеты Гатцука». Въ первомъ письмѣ онъ излагаетъ, почему онъ уволенъ безъ прошенія, по знаменитому третьему пункту, отъ службы въ ученomъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія: начальство нашло его литературныя занятія несомѣстными съ государственною службою и предложило или подать въ отставку, или бросить литературу; г. Лѣсковъ не согласился ни на то, ни на другое и потому былъ уволенъ безъ прошенія. Второе письмо—въ редакцію «Газеты Гатцука»—интереснѣе. Потому интересно, что поводомъ къ нему послужилъ не случайный какой-нибудь острый эпизодъ изъ жизни русскаго писателя, а общая и хроническая болѣзнь всей русской литературы. Вотъ это письмо цѣликомъ.

«Къ прискорбію для себя и къ очевидной досадѣ редакціи, а, можетъ быть, и для нѣкоторыхъ читателей, я долженъ отказаться продолжать печатаніе начатаго у васъ романа «Соколій Перелетъ». Я сознаю всю неловкость этого отказа, но не могу поступить иначе. Романъ этотъ начать писаніемъ давно, болѣе двухъ лѣтъ назадъ, при обстоятельствахъ, которыя для печати весьма разнятся отъ нынѣшнихъ. Въ романѣ я хотѣлъ изобразить «перелетъ» отъ идей, отъмѣченныхъ мною двадцать лѣтъ назадъ въ романѣ «Некуда», къ идеямъ новѣйшаго времени. Въ романѣ «Соколій Перелетъ» также должны были выступить на свѣтъ и многія изъ лицъ, извѣстныхъ публикѣ по роману «Некуда», который въ одной изъ критическихъ замѣтокъ г-на П. Ш. былъ названъ «пророческимъ». Во многомъ, дѣйствительно, намѣченное въ томъ романѣ совершилось, какъ по писанному. Какое бы показался въ этомъ общественномъ значеніи романъ «Соколій Перелетъ», я не знаю, но хорошо знаю, что онъ не пошелъ бы въ томъ нынѣшнему взгляду на литературу, и во что бы то ни стало я останавливаюсь. Останавливаюсь просто потому, что, вѣрно или невѣрно, я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественнаго романа, написаннаго правдиво, какъ я стараюсь, по крайней мѣрѣ, писать, не подчиняясь ни партійнымъ, никакимъ другимъ давленіямъ.

«Приношу этимъ письмомъ мою повинную редакціи и всѣмъ подписчикамъ газеты.

«Взамѣнъ этого романа, я напишу вамъ и сообщу въ нынѣшнемъ же году для напечатанія романъ чисто бытоваго характера, на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній: «влюбился и женился», или «влюбился и застрѣлился».

«Конечно, я употреблю все отъ меня зависящее, чтобы обмѣнъ этотъ не былъ для вашихъ подписчиковъ невыгоденъ, и постараюсь дать интересное чтеніе».

Я не знаю «Соколяго Перелета», но знаю «Некуда». Этотъ романъ представляетъ отчасти фотографію, отчасти пасквиль и насквозь проникнутъ тою обличительною тенденціею, которою нынѣ блещутъ романы «Русскаго Вѣстника» и которая въ ту пору была еще новинкой. Г. Лѣсковъ и нынѣ, двадцать лѣтъ спустя, не только не отказывается отъ своего романа, но гордится имъ и былъ намѣренъ обогатить сокровищницу печатнаго русскаго слова его продолженіемъ. Тѣмъ почетнѣе теперешній отказъ его отъ этого намѣренія, отказъ публичный, торжественный. Авторъ «Некуда» находитъ, что, при нынѣшнемъ положеніи русской печати, правдивый общественный романъ невозможенъ... Вотъ фактъ. Намъ съ вами все равно, какъ и почему пришелъ г. Лѣсковъ къ своему заключенію и соотвѣстственному рѣшенію: потому-ли, что на своемъ личномъ опытѣ извѣдалъ нѣкоторые терніи жизни вообще и писательской дѣятельности въ частности; потому-ли, что, уволившись отъ службы въ ученomъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія, получилъ больше досуга для наблюденій и размышленій—все равно. Важно, что онъ, именно онъ, отказывается дописывать продолженіе «Некуда», и отказывается потому, что нынѣшняя пора «совершенно неудобна для общественнаго романа, написаннаго правдиво...»

Не думаю, милостивые государи, чтобы для оцѣнки извѣстнаго положенія, мы должны были ждать, пока возопіютъ камни. Полагаю, что и г. Лѣскова достаточно. Тѣмъ болѣе, что, кромѣ собственнаго его рѣшенія не дописывать «Соколяго Перелета», г. Лѣсковъ не сообщилъ ничего новаго или неожиданнаго. Правдиваго общественнаго романа у насъ, дѣйствительно, нѣтъ и быть не можетъ, хотя, съ другой стороны, онъ несомнѣнно могъ бы и долженъ бы былъ быть. У насъ печатается много романовъ, даже слишкомъ много, и есть между ними романы «общественные», но, полагаю, никто не назоветъ произведеній гг. Маркевича или Лѣтнева романами правдивыми. Сопишусь на г. Лѣскова. Будучи несравненно талантливѣе г. Маркевича, а тѣмъ паче г. Лѣтнева, онъ могъ бы плодить подобные романы десятками. Но онъ не хочетъ, онъ не можетъ, ибо понимаетъ, сколь неправдивы и односторонни всѣ эти образы и картины, а разъ человѣкъ, по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, это понялъ и прочувствовалъ, перо само собой вывалится изъ его рукъ...

Почему же, однако, оно должно непременно вывалиться? Казалось бы, тутъ-то и должна наступить пора расцвѣта чисто художественной литературы, пора «вдохновенія, звуковъ сладкихъ и молитвъ», потому что

вѣдь, это чуть не единственное дѣло, предоставляемое условіями времени беллетристу. Казалось бы такъ, а вотъ подите же! Нѣтъ «звукѣ сладкихъ»... Обратите, пожалуйста, вниманіе на нескрываемое презрѣніе, съ которымъ г. Лѣсковъ говоритъ о «романѣ чисто бытового характера на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній; влюбился и женился, или: влюбился и застрѣлился». Дѣлать ужъ, молъ, нечего, назвался груздемъ, полѣзу въ кузовъ, общалъ, такъ дамъ хоть пустяковину, только постараюсь, чтобы она представила «интересное чтеніе». Ну, а извѣстно, что это такое значить «интересное чтеніе»: уголовщина и порнографія. Между тѣмъ, сами по себѣ, темы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился» вовсе презрѣнія не заслуживаютъ. Люди любили, женились, стрѣлялись, любятъ, женятся, стрѣляются и, какъ ни древни эти акты жизни, но всегда въ нихъ есть нѣчто новое и часто не для дѣйствующихъ только лицъ, а и для присутствующихъ въ качествѣ зрителей. Игра страстей идетъ своимъ чередомъ, среди разнообразныхъ общественныхъ условій, хотя — прошу замѣтить въ интересахъ нижеслѣдующаго — весьма часто въ прямой отъ нихъ зависимости. Во всякомъ случаѣ, счастливая и несчастная любовь и весь сюда относящійся переплетъ страсти, волненій, скорби, радости ничего презрѣннаго, въ смыслѣ беллетристической темы, не представляютъ. Она, эта старая и всетаки новая тема, войдетъ, безъ сомнѣнія, какъ частность, и въ тѣ правдивые общественные романы, которыхъ теперь нѣтъ и быть не можетъ, но которые когда-нибудь да будутъ же. Наконецъ, надо замѣтить, что схемы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился» еще отнюдь не составляютъ области чистаго искусства и «звукѣ сладкихъ». Напротивъ, онѣ допускаютъ и стрѣлы сатиры, и проповѣдь моралиста, и реформаторскую тенденцію, и, вообще, всякія формы «пагубной морали». И всетаки за романъ «на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній» г. Лѣсковъ принимается только потому, что назвался груздемъ и, дѣлать нечего, надо лѣзть въ кузовъ...

Милостивые государи, уже въ первомъ письмѣ моемъ изъяснялся я въ любви къ русской литературѣ. Однако, любовь, эта не дѣлаетъ меня слѣпымъ. Въ литературѣ есть вещи и люди грязнѣе грязнаго и ниже низкаго. Можетъ быть, конечно, поневолѣ отнесишься нѣсколько строго къ служителямъ слова, постоянно соприкасающимся съ областью идеала, а можетъ быть и дѣйствительно самое это поприще таково, что допускаетъ особенно рѣзкое обнаруженіе и, такъ сказать, выпячиваніе грязи и низости, но

Соч. н. к. михайловскаго, т. V.

добра этого въ литературѣ, во всякомъ случаѣ, очень много. Есть за то въ ней и много высокаго, даже трогательнаго и умиленнаго. Иначе, какъ этими словами, не умѣю я назвать, на примѣръ, ту чуткость и ту бережность, съ которыми лучшая часть нашей беллетристики обходитъ невозможный по нынѣшнему времени общественный романъ, не впадая вмѣстѣ съ тѣмъ въ производство «интереснаго чтенія», то-есть уголовщины и порнографіи. По случаю нынѣшняго литературнаго положенія, много и часто говорятъ объ оскудѣніи русской земли талантами, однимъ изъ признаковъ котораго является, будто бы, обиліе «очерковъ», «отрывковъ», «замѣтокъ» при отсутствіи дѣльных, законченныхъ произведеній. Не думаю, однако, чтобы это, во всякомъ случаѣ интересное и характерное, явленіе въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствовало о творческомъ слабосиліи. Прежде всего, въ указанномъ мѣстѣ, если бы оно было справедливо, надо бы сдѣлать очень важную поправку. Всѣ-ли наши литературныя теченія даютъ только очерки и отрывки и не даютъ законченныхъ произведеній? Нѣтъ, не всѣ. «Русскій Вѣстникъ», на примѣръ, не спускаетъ съ своихъ страницъ двухъ большихъ романовъ, вполне благоустроенныхъ, съ завязками, интригами, развязками, съ обиліемъ дѣйствующихъ лицъ, взятыхъ изъ разныхъ слоевъ общества, съ сложными коллизіями страстей и интересовъ. А въ вашемъ журналѣ, наоборотъ, особенно замѣтно преобладаніе очерковъ и отрывковъ. Слѣдовательно, надлежало бы говорить не объ оскудѣніи талантовъ вообще, а только объ ихъ оскудѣніи въ извѣстныхъ литературныхъ группахъ: «Русскій Вѣстникъ», несомнѣнно, блещетъ творческою силою. Блещетъ творческая сила и еще кое-гдѣ, если разумѣть подъ ней способность создавать законченныя вещи. Вотъ, на примѣръ, г. Лѣтневъ, давно уже подвизающійся на литературномъ поприщѣ, точно блины печетъ, творитъ романы въ соотвѣтственной полной парадной формѣ, то-есть комбинируя извѣстнымъ образомъ характеры и положенія и доводя эти комбинаціи до точки или восклицательнаго или вопросительнаго знака. Опять же г. Боборыкинъ... Да мало-ли! А г. Лѣсковъ прямо говоритъ: напишу, говоритъ, бытовой романъ и будетъ интересно; только, говоритъ, писать мнѣ немножко противно...

Мы опять вернулись къ поучительной торжественности отказа г. Лѣскова отъ дописыванія «Соколыга Перелета», и онъ долженъ намъ что-нибудь объяснить. Почему авторъ «Некуда», оставаясь самимъ собой, нисколько не измѣняя своему пониманію вещей, отлитому въ формѣ романа двадцатьлѣтъ тому назадъ, отказывается нынѣ дописывать

«общественный романъ?» Потому, что правдивый общественный романъ не допускается условіями, въ которыхъ стоитъ русская печать. Почему ему немножко противно эксплуатировать вѣковѣчныя темы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился»? Отнюдь не потому, что эти темы какъ-нибудь сами по себѣ презрѣнны, а только потому, что не ими полна его творческая фантазія, что къ нимъ онъ притягивается не силою внутренняго влеченія, а совокупностью вѣшнихъ обстоятельствъ. Но въ извѣстномъ смыслѣ г. Лѣсковъ еще счастливо выходитъ изъ своего труднаго положенія: назвавшись груздемъ, онъ лѣзетъ въ кузовъ; какъ ни какъ, а сдѣлаетъ то дѣло, приступить къ которому ему немножко противно. Но представьте себѣ человѣка, которому оно до такой степени противно, что даже невозможно...

Представить себѣ такого человѣка вовсе не трудно, и я думаю, что здѣсь-то и надо искать корня современнаго якобы оскудѣнія талантовъ, насколько оно выражается обрывочностью и эскизностью, грозящими заполнить русскую беллетристику. Не оскудѣніемъ, я думаю, они (въ общемъ, разумѣется, а не во всѣхъ подробностяхъ) объясняются, а своего рода аскетизмомъ, воздержаніемъ. Помните, да неужто въ самомъ дѣлѣ трудно написать романъ или повѣсть съ головой и хвостомъ, съ завязкой, интригой и развязкой?! Для беллетриста, что называется, владѣющаго перомъ, это пустяковое дѣло, если только онъ отнесется къ нему, какъ къ пустяковому дѣлу, то-есть, возьметъ первую попавшуюся тему и будетъ ее тянуть по линіи наименьшаго сопротивленія вѣшнихъ условій. Люди такъ давно любятъ, женятся и стрѣляются и такъ давно отливаютъ все это въ художественные образы и картины, что даже вполне малодаровитый беллетристъ имѣетъ передъ собой сотни готовыхъ шаблоновъ и трафаретовъ. Просто садись и пиши! Нѣкоторые садятся и пишутъ, и именно сколько посидать, столько и напишутъ. Ну, а другіе не хотятъ. Они, эти другіе, опять-таки не имѣютъ резовъ презирать стародавнія и не старѣющія темы «влюбился и женился» и «влюбился и застрѣлился». Но не тѣмъ полна ихъ душа, не тотъ родъ образовъ и картинъ толпится въ ихъ творческой фантазіи и просится наружу. При этихъ-то условіяхъ и возникаетъ преобладаніе очерковъ, отрывковъ, замѣтокъ, свидѣтельствующее не объ оскуденіи талантовъ, а о наличности живого, нравственнаго чувства. Поэтому-то воздержаніе отъ романа, безотносительно говоря, очень для литературы печальное, представляется мнѣ необыкновенно трогательною чертою современной

беллетристики. Намъ съ вами, впрочемъ, а можетъ быть не только намъ съ вами, нечего долго раздумывать для оцѣнки положенія дѣла: достаточно оглянуться, посмотрѣть, кто воздерживается отъ романа и кто не воздерживается...

Но, милостивые государи, беллетристы это, вѣдь, не особенная какая-нибудь порода людей. Nous sommes hommes comme eux, какъ распѣвали въ старину французскіе крестьяне, сравнивая себя съ феодалами. Отъ прочихъ людей беллетристы отличаются только способностью говорить образами и картинами. Завидная способность, конечно, но она не вліяетъ на мысли и чувства, дѣятельность которыхъ вызываетъ художественное творчество, цементируетъ его продукты и опредѣляетъ ихъ движенія. Эти мысли и чувства носятъ по всему лицу русской земли. И если г. Лѣсковъ торжественно заявляетъ о своемъ воздержаніи отъ общественнаго романа, если нѣкоторые другіе беллетристы давно уже практикуютъ этотъ въ извѣстномъ смыслѣ невольный аскетизмъ, то...

Извините, я себя переблю совершеннo фантастическимъ предположеніемъ. Представьте себѣ, что способность говорить образами и картинами дарована волею капризной судьбы всѣмъ русскимъ людямъ, что наше обширное отечество сплошь населено беллетристами. Невозможное, конечно, дѣло, но такъ, къ примѣру. Что стала бы дѣлать вся эта громада беллетристовъ? или по крайней мѣрѣ, куда, въ какую область творчества направились бы самыя страстныя ея желанія и самыя энергическія усилія? О, мы получили бы тогда чрезвычайно много поганыхъ произведеній того сорта, который вызываетъ слюнотеченіе у разслабленныхъ старичковъ, много экземпляровъ помѣси фотографіи съ пасквилемъ и разнаго другого, якобы подавляющего добра. Но я думаю, что подавляющее большинство художественныхъ произведеній этого фантастическаго государства составили бы всетаки общественные романы. Понятное дѣло, что если всѣ прочія условія русской жизни останутся неприкосновенными въ теперешнемъ своемъ видѣ, то сравнительно лишь очень не многіе общественные романы увидятъ божій свѣтъ. Будутъ десятки и сотни тысячъ романовъ à la Авсѣнко, Маркевичъ и Орловскій, но романовъ въ томъ родѣ, каковъ недописанный романъ г. Лѣскова (чтобы говорить только объ немъ), не будетъ вовсе. Вынужденный аскетизмъ авторовъ этихъ произведеній, отпѣвшихъ, не успѣвши расцвѣсть, заставитъ ихъ искать удовлетворенія творческой потребности въ акридахъ и дикомъ медѣ «очерковъ», «от-

рывковъ» или же тѣхъ вѣковѣчныхъ положеній, къ которымъ съ такимъ пренебреженіемъ относится г. Лѣсковъ. Но вся ихъ Sehnsucht, какъ сказалъ бы нѣмецъ, весь порывъ ихъ мысли и вся страстность ихъ желанія влекли бы ихъ туда, въ сторону общественнаго романа...

Такъ, я думаю, было бы, потому что вѣдь и теперь такъ есть. Такъ идутъ дѣла среди торсточки беллетристовъ, соотвѣтственно идутъ они и въ средѣ прочихъ русскихъ людей. Ихъ, этихъ прочихъ, не тянетъ писать общественный романъ, потому что имъ не хватаетъ способности говорить образами и картинами, но ихъ Sehnsucht направлена къ дѣятельному участию въ общественномъ романѣ, сочиняемомъ самою жизнью, исторіей; въ общественномъ романѣ, замѣтите, то-есть въ цѣльной и широкой картинѣ русской жизни, а не въ отрывкѣ или очеркѣ и не въ амурно-уголовныхъ эпизодахъ.

Какъ и въ давнюю, и въ недавнюю старину, своимъ чередомъ люди любятъ, жаждутъ, стрѣляютъ, но не здѣсь лежитъ центральное чувствительное русское сердце, не здѣсь бьется ея пульсъ, не здѣсь и долженъ биться, потому что если г. Лѣсковъ съ пренебреженіемъ относится къ навязаннымъ ему вѣковыми условіями темамъ, то кольми паче должно ихъ отвести на задній планъ обширное отечество г. Лѣскова...

Не всѣ, однако, такъ думаютъ. «Новое Время», которое «всегда что-нибудь этакое скажетъ», недавно предоставило свои страницы цѣлому дождю писемъ «обманутыхъ мужей», «обманываемыхъ женъ» и еще какихъ-то людей, за что-то, а можетъ быть и за то ни про что, наказанныхъ непорядками семейной жизни. Въ тѣхъ письмахъ, натурально, призывались кары небесныя и земныя на нарушителей супружеской вѣрности, а «Новое Время» съ своей стороны прибавляло: вотъ настоящіе, жгучіе вопросы дня, а совсѣмъ не «политика», по которой вздыхаютъ «лже-либералы!» Въ цѣломудріи своемъ редакция «Новаго Времени» не остановилась на комментаріяхъ къ письмамъ неудачно устроившихся людей. Двое изъ ея видныхъ представителей, гг. Суворинъ и Буренинъ сочинили на ту же тему драму «Медей», ловко поставили ее на сцену, ловко муссировали, заставили въ продолженіи сравнительно долгаго времени говорить объ ней всю ежедневную печать. Теперь, впрочемъ, она, кажется, такъ же быстро канула на дно мелководнаго петербургскаго житейскаго моря, какъ быстро вошла на его поверхность. Я не берусь судить о достоинствахъ этой «Медей», потому что только по газетнымъ отзывамъ ее и знаю. Да, признаться сказать, мнѣ до ея достоинствъ или недо-

статковъ и дѣла-то столько же, сколько до таракановъ, которые одолеваятъ квартиру редакціи «Новаго Времени», объ чемъ она, редакция, недавно тоже пространно и горячо доводила до свѣдѣнія публики. «Медей» меня занимаетъ только вотъ съ какой стороны. Два писателя, барахтающиеся въ самомъ водоворотѣ текущей жизни, со всѣми ея многочисленными шипами и немногочисленными розами, удаляются въ глубь античнаго міра, куда ихъ, повидимому, ничто не приглашаетъ; удаляются затѣмъ, чтобы добыть тамъ фабулу драмы. Фабула же дорога имъ въ видахъ интересовъ семейной нравственности и игры личныхъ страстей, каковыя интересы, по другому поводу, противопоставляются интересамъ «политики», или, если вы позволите мнѣ продолжать мою метафору, интересамъ общественнаго романа...

Коллизія страстей, изображенная въ «Медей», довольно обыкновенна; мѣсть жены и матери за поправленные права семейнаго начала. Случай, если не столь же обыкновенный, какъ «влюбился и женился», то ужъ навѣрное не болѣе рѣдкій, чѣмъ «влюбился и застрѣлился». Можно съ увѣренностью сказать, что въ разныхъ углахъ нашего отечества, каждый день десятки мужей и женъ попадаютъ въ подобное положеніе и подобнымъ же образомъ, хотя и не въ столь грандіозныхъ размѣрахъ, изъ него выходятъ, если только это выходитъ. Спрашивается, почему же авторы «Медей», люди въ полномъ смыслѣ текущей минуты, обратились къ античному міру, куда ихъ, повторяю, ничто не приглашало: ни глубокое знаніе этого міра, ни личные вкусы, насколько они обнаружались ихъ многотѣтной литературною дѣятельностью? Легко можетъ быть, что это вышло совершенно случайно, какъ рассказываетъ г. Суворинъ: уѣхавъ онъ на лѣто изъ Петербурга отдохнуть, а чтобы отдохнуть совсѣмъ настояще, захватилъ съ собою книгу, не имѣющую никакого отношенія къ такъ называемымъ злобамъ дня; читая эти книжки, увлекся красотою античной драмы и т. д. Съ точки зрѣнія отстаиванія интересовъ законнаго брака и протеста противъ «теоріи свободной любви», замыселъ вышелъ, во всякомъ случаѣ, очень удачнымъ. Во-первыхъ, строгимъ тономъ классической драмы устранена опасность скабрёзныхъ сценъ, которыхъ гг. Суворинъ и Буренинъ едва-ли избѣжали бы въ изображеніи нынѣшней реальной жизни (зри разные повѣсти г. Буренина) и которыя были бы вполне неумѣстны въ драмѣ, «согласной съ строгою моралью». Во-вторыхъ, какъ справедливо говорится въ одной статьѣ «Новаго Времени», «иные вопросы легче рѣко и

прямо ставить, когда цивилизация была не так сложна, но человек жить страдал и чувствовал». Дѣйствительно, вся «политика» драмы для насъ какъ бы не существуетъ, совсѣмъ она намъ чужая. Не только, впрочемъ, потому, что она гораздо менѣе сложна, чѣмъ та, по которой вздыхаютъ «либералы», а потому еще, что очень она отъ насъ удалена во времени. Какое намъ дѣло до похода аргонатовъ, до Язона, какъ общественнаго дѣятеля, до участія царя Пеліаса и проч.? Все это само собой отпадаетъ прочь и вниманіе сосредоточивается на трагическомъ образѣ женщины, любящей, отвергнутой, страдающей и мыслящей. Получается какъ бы схематическое, отвлеченное, оголенное, если можно такъ выразиться, изображеніе различныхъ перипетій несчастной страсти. Съ другой стороны, однако, эта схематичность не мѣшаетъ выпуклости и яркости изображенія. А такъ какъ Медея натура сильная, то ея несчастія и страданія приковываютъ къ себѣ не только вниманіе, а и участіе, симпатію зрителей, вслѣдствіе чего должна торжествовать идея брака въ противоположность «теоріи свободной любви». Не знаю, какъ все это у гг. Суворина и Буренина исполнено, но задумано очень хорошо въ практическомъ отношеніи, то-есть очень цѣлесообразно: въ одно и тоже время публика оттягивается отъ политики къ вопросамъ личной нравственности, а въ этихъ послѣднихъ предоставляется торжество «строгой морали».

Но, милостивые государи, если все такъ хорошо устроилось въ смыслѣ цѣлесообразности, то я не думаю, чтобы оно такъ же хорошо устроилось въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ. Прежде всего, я не думаю, чтобы Медея заслуживала очень большой симпатіи. Разумѣется, ее жаль по человечеству, но можно и другихъ дѣйствующихъ лицъ драмы пожалѣть, можно найти въ драмѣ и кое-какіе моменты, ослабляющіе жалость къ Медеѣ. Мимоходомъ сказать, нынче въ большой модѣ ссылаться на мнѣнія народа, на его идеалы и гуманное пониманіе личныхъ и общественныхъ отношеній. Редакція «Новаго Времени» очень любитъ играть на этомъ инструментѣ, отъ безцеремоннаго употребленія довольно-таки поразстроеномъ. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, что и въ предисловіи къ «Медеѣ» находимъ слѣдующія строки, объ которыхъ можно было было, впрочемъ, сказать, что онѣ ни къ селу, ни къ городу: «Намъ кажется, въ легендѣ о Медеѣ сказанъ народный разумъ, выразились желанія рѣзко поставить вопросъ о дѣтяхъ и о положеніи женщины». Народный разумъ!.. Какой такой народный разумъ? Какого народа? Во всякомъ случаѣ,

если вы сведете на представленіе «Медея» русскаго мужика, то бьюсь объ закладъ на что хотите, онъ назоветъ героиню вѣдьмой, именно этимъ самымъ словомъ. Не только потому, что Медея занимается волшебствомъ и приготовленіемъ ядовъ, а и вслѣдствіе необыкновенной ея жестокости и всегдашней готовности совершить любое преступленіе, нанести своему ближнему какой угодно вредъ ради своей личной страсти. Цивилизованные и притомъ высоко нравственные люди, каковы гг. Суворинъ и Буренинъ, не могутъ, конечно, смотрѣть на вещи съ точки зрѣнія такого «народнаго разума». Они прислушиваются къ хорошимъ словамъ Медеи о «правахъ женщинъ», любятъ ея страстную любовь къ Язону и негодуютъ на Язона за то, что онъ разлюбилъ Медею...

Язонъ разлюбилъ Медею и полюбитъ Креузу. За что разлюбилъ, за что полюбитъ—неизвѣстно. Относительно Медеи «народный разумъ» выразился бы очень просто и жестко: какъ ее любить-то, этакую вѣдьму? Тотъ же народный разумъ сочинилъ пословицу: полюбится сатана пуще ясна сокола. Дѣло темное, любить не за что-нибудь, а почему-нибудь, и именно потому, что любитъ. Однако, посторонній наблюдатель очень часто можетъ различить въ супружескихъ отношеніяхъ такіе моменты, которые настраиваютъ людей на любовный ладъ, а такіе, которые подливаютъ любовь. Авторъ «Медеи» видитъ, что ихъ героиня вся соткана изъ страстной любви и преданности Язону, оказываетъ ему чрезвычайно важныя услуги, служитъ ему надежнѣйшей опорой въ жизни, и затѣмъ воскликаетъ: какая черная неблагодарность со стороны Язона! столь черная, что страшная месть Медеи вполне оправдана, а разныя «теоріи» совершенно посрамлены. Но не кажется-ли вамъ, милостивые государи, что для совершеннаго посрамленія теорій гг. Суворинъ и Буренинъ сдѣлали хотя и много, но все-таки не вполне достаточно. Конечно, если Язонъ просто изъ каприза и отъ легкомыслія своего, не борась съ новымъ чувствомъ и не думая о чужой бѣдѣ, бросилъ Медею, ухватился за Креузу, потомъ ее бросилъ и т. д., такъ это очень нехорошо. А если Медея дѣйствительно служила опорой Язону, была ему помощницей и преданнымъ другомъ, такъ это, напротивъ того, превосходно. Предъявивши только эти два положенія, можно, разумѣется, ни малѣйше не сомнѣваться въ томъ, на чьей сторонѣ окажутся симпатіи присутствующихъ при драмѣ. Но за то столкновеніе этихъ двухъ положеній нисколько не способствуетъ разрѣшенію вопроса, который имѣется въ виду «Медея». Ну, а еслибы Медея, даже, положимъ, любя Язона,

никогда ему помощницей не была, никакихъ услугъ не оказывала и, напротивъ, всякія пакости ему дѣлала (бываетъ вѣдь это)? Еслибы, съ другой стороны, Язонъ всячески старался раздуть чуть тлѣющій огонекъ любви къ своей неудачно выбранной подружѣ, еслибы онъ, бережно относясь къ чужой бѣдѣ, боролся съ новымъ чувствомъ и только въ борьбѣ этой, наконецъ, изнемогъ бы передъ любовью къ Креузѣ и презрѣніемъ, отвращеніемъ, вообще какимъ-нибудь отрицательнымъ чувствомъ къ Медеѣ? Тогда какъ? Разрѣшили-ли бы высоко нравственные авторы Язону попытку новаго счастья и ототанивали-ли бы они «права» Медеи? Я не знаю. Будемъ ждать новаго квази-античнаго произведенія, въ которомъ вопросъ поставится въ этой болѣе любопытной, потому что менѣе элементарной, комбинаціи. Теперь же «Медея» даетъ поддержку только нерасторжимости при извѣстныхъ, совсѣмъ не часто встрѣчающихся условіяхъ.

Какъ ни элементарны, однако, положенія, избранныя авторами «Медеи» для эксплуатаціи, они, всетаки, не до такой степени просты, какъ было бы въ интересахъ идей гг. Суворина и Буренина. Еслибы Медея не отличалась беззавѣтной преданностью и непоколебимою вѣрностью Язону, еслибы она, на примѣръ, что называется, пошла на сторону тайкомъ отъ мужа, то авторы, вѣроятно, разрѣшили бы Язону уйти съ миромъ къ Креузѣ или даже отомстить болѣе или менѣе жестоко. Но, и кромѣ подобныхъ «шалостей», бываютъ обстоятельства, непреодолимо отвращающія Язона отъ Медеи. Такова, на примѣръ, одна изъ услугъ, оказанныхъ Медеей Язону. Вотъ что, между прочимъ, говорится въ предисловіи къ «Медеѣ».

«Первую драму о Медеѣ написалъ Эврипидъ, но эта драма не дошла до насъ. Извѣстно только ея содержаніе. Аргонавты пристають къ Іолкосу, гдѣ царствовалъ Пеліасъ, дядя Язона, благодаря которому Язонъ и пустился въ опасное путешествіе. Медея обратилась, при помощи чаръ, въ старика и явилась въ городъ, гдѣ выдавала себя за чародѣя изъ странъ гиперборейскихъ. Между прочимъ, она увѣрила царя и его дочерей въ томъ, что она имѣетъ способность обращать стариковъ въ юношей и въ доказательство этого сама обратилась въ прекрасную женщину. Пеліасу, разумѣется, захотѣлось получить юность; Медея убѣдила дочерей его, что стоитъ только изрубить въ куски Пеліаса, сварить его и затымъ, при помощи ея чаръ, онъ возстанетъ снова въ цвѣтущей юности. Въ то время, когда дочери продѣлывали этотъ обрядъ, Медея, якобы для заговоровъ, взшла

на крышу дворца и подала знакъ аргонавтамъ, чтобъ они высаживались на берегъ. Мефистофельская затѣя, говорящая объ умѣ Медеи»...

Мефистофельская затѣя, свидѣтельствующая объ умѣ... Можетъ быть! Но, кромѣ ума, тутъ, кажется, не мало хитрости, подлости и жестокости. И вы, конечно, легко можете себѣ представить превосходную драму, построенную на такомъ мотивѣ: Язонъ, воспользовавшись подъ влияніемъ Медеи ея кровавой услугой, получаетъ потомъ къ ней отвращеніе именно за эту услугу; его совѣсть постоянно мучится тѣнью изрубленнаго въ куски Пеліаса. Во всякомъ случаѣ, очень, вѣдь, часто бываетъ, что подстрекатели, пособники и исполнители преступленія становятся съ теченіемъ времени неодолимо противны тѣмъ, чье честолюбіе или корыстолюбіе воспользовалось плодами преступленія...

Изъ всего этого видно, что не такъ ужъ рѣшительны, всеобщі и безапелляціонны выводы, какіе сдѣланы изъ «Медеи» ея творцами, и что вопросъ, поставленный въ этой драмѣ, остается исполнѣ въ своемъ прежнемъ до-медейскомъ видѣ. И не только этотъ вопросъ, не только избіеніе «теорій» не удалась авторомъ «Медеи», а и отклоненіе публики отъ «политики» къ вопросамъ личной и семейной нравственности, ибо эти вопросы находятся въ большой зависимости отъ политики.

Какъ извѣстно и вамъ, милостивые государи, и просвѣщенной редакціи «Новаго Времени», и всякому, читавшему что-нибудь изъ чрезвычайно обширной литературы по бытовой исторіи и этнографіи, супружескія отношенія въ разныя времена и у разныхъ народовъ складываются очень различно. Какъ случайность, характеръ Медеи можетъ, разумѣется, прокинуться всегда и вездѣ, но далеко не такъ всеобще ея значеніе, какъ типа. Такъ, на примѣръ, въ странахъ исповѣдующихъ магометанскую религію, Медея возможна только въ видѣ совершеннаго исключенія; въ огромномъ же, подавляющемъ большинствѣ случаевъ, ревнивое охраненіе Медеями своихъ правъ не пойдеть дальше требованія или даже только желанія помѣщаться въ одномъ гаремѣ съ Креузами. Наоборотъ, есть страны, въ которыхъ господствуетъ полиандрія, и гдѣ честь Медеи требуетъ, чтобы у нихъ было много Язоновъ, а совсѣмъ не того, чтобы Язонъ былъ неотлучно на всю жизнь при Медеѣ. И т. п. Много есть такихъ безобразныхъ установленій. Наконецъ, въ любой европейской странѣ, въ томъ числѣ и Россіи, есть такіе слои общества, гдѣ Медея просто немислима: либо потому, что женщина слишкомъ при-

нижена и не смѣетъ даже заикнуться о какихъ бы то ни было своихъ «правахъ»; либо потому, что она слишкомъ распушена и пускаетъ своего Язона къ любой Креузѣ, лишь бы онъ ей самой не мѣшалъ удовлетворяться какими-нибудь Альфонсами; либо наконецъ потому, что ея понятія о стыдѣ и чести, ея нравственная безгласность направлена въ ту сторону, чтобы никому, ни даже самому Язону не показать своей боли. Откуда бы ни протекали всѣ эти разнообразныя рѣшенія семейнаго вопроса, но всѣ они поддерживаются силою общественнаго мнѣнія. Семейныя драмы вовсе не на одной любви вертятся. Огромную роль играютъ тутъ условія экономическія и понятія о достоинствѣ и позорѣ, а эти послѣднія почти цѣлкомъ устанавливаются общественнымъ мнѣніемъ. Вотъ, напримѣръ, тирада Медек, заимствуемая мною изъ «Новаго Времени»:

Права

У мужа такъ велики, что немного
И женщинъ оставить надо. Мужа
Жена приданымъ покупать должна
И какъ рабыня быть ему послушна,
Изъ худшаго что можетъ хуже быть
Такого послушанья, если мужъ
Дурной достанется? Предвидѣть все
Возможно-ли неопытной дѣвицѣ?
Разводъ? Но онъ на насъ клеймомъ ложится.
И остается намъ такая жизнь:
И жить нельзя и не приходитъ смерть!

Вы видите, что любовь тутъ рѣшительно не причесть. Все дѣло въ юридически нормированныхъ экономическихъ условіяхъ и во влияніи общественнаго мнѣнія, которое «клеимъ позоромъ» разводъ. Пусть завтра измѣнятся эти условія и большая половина несчастія Медек исчезнетъ, трагическій моментъ сведется къ сравнительно ничтожному *minimum*у. А теперь что же дѣлать несчастной женщинѣ, которой достался «дурной мужъ»? Местъ, самоубійство, обманъ, вотъ обыкновенно практикуемые въ такихъ случаяхъ и независимые отъ «теорій» выходы. Но развѣ это выходы? Это только размноженіе бѣды и горя! Положимъ, что самоубійство есть выходъ, но это выходъ изъ жизни, а не изъ затрудненія, притомъ выходъ, въ общемъ смыслѣ ничего не достигающій: родной сынъ самоубійцы можетъ наткнуться на «дурную жену», родная дочь повторить ошибку «неопытной дѣвицы», и передъ ними будутъ все тѣ же три дороги: мѣсть, обманъ, самоубійство. И такъ далѣе, безъ конца. Гг. Суворинъ и Буренинъ придумали, впрочемъ, еще четвертую дорогу, правда, давно уже придуманную... Они ее рекомендуютъ Язону: пусть онъ растопчетъ свою любовь въ Креузѣ, пусть преодолѣетъ отрицательное чувство къ Медекъ. Но, вѣдь, это только вивисекція, ибо Язонъ все равно не дастъ счастья Медекъ.

Что касается собственно элемента любви въ семейныхъ драмахъ, то тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, Язонъ, въ драмѣ Эврипида, любилъ Креузу, Медекъ любила Язона. Двѣ тысячи лѣтъ спустя, въ драмѣ гг. Суворина и Буренина, Язонъ, опять-таки любить Креузу, а Медекъ любить Язона. Можно хлопотать объ томъ, чтобы могучее чувство любви постепенно утрачивало свой острый характеръ, доставляющій людямъ много счастья, но много и горя; можно требовать, чтобы оно не переходило въ простую распушенность. Но и только. Другое дѣло остальные элементы семейныхъ драмъ: юридическія и экономическія условія, давленіе общественнаго мнѣнія. На этой почвѣ многое можетъ быть сдѣлано для устраненія ненужныхъ страданій. Но за то, милостивые государи, мы здѣсь вступаемъ на почву «политики»...

Прислушайтесь опять къ жалобамъ Медекъ. Женщина должна покупать приданымъ мужа. Это неудобно, унижительно и во всѣхъ смыслахъ нехорошо, какъ для покупательницы, такъ и для покупаемаго. А такъ какъ непреодолимыми законами природы такой порядокъ вещей вовсе не предписанъ, то можно и должно хлопотать объ его отмінь. Ну, вотъ, напримѣръ, вы останавливаете у насъ сію минуту свое вниманіе на высшемъ женскомъ образованіи, какъ на одной изъ мѣръ, устраняющихъ для будущаго поколѣнія женъ часть жалобъ Медекъ. Но вы очень хорошо знаете, что у насъ существуютъ и защитники и противники женскаго образованія, что у тѣхъ и другихъ этотъ пунктъ не особнякомъ стоитъ, а въ связи съ цѣлою системою общественныхъ отношеній, следовательно, вы уже не съ печалью Медекъ имѣете дѣло, а съ политическими системами. Это, впрочемъ, такъ элементарно, что и говорить не остается. Гораздо любопытнѣе въ настоящемъ случаѣ давленіе общественнаго мнѣнія. Къ нему вѣдь, собственно говоря, и гг. Суворинъ и Буренинъ апеллируютъ. Но вы понимаете, конечно, что общественное мнѣніе не создается *ad hoc*, вдругъ, для данной минуты и для данного вопроса. Оно воспитывается практикой и непременно широкой, всесторонней практикой. Если оно вынуждено въ теченіе долгаго времени молчать по вопросамъ а, б, с, d и т. д., то непременно окажется вялымъ, распушеннымъ, недѣлательнымъ и по вопросамъ у и в, z, которые вы вдругъ, ни съ того, ни сего, вырвете изъ азбуки и предложите на его судъ. Чортъ съ ними совсѣмъ, съ Язонами и Медеками! пусть вѣдаются, какъ знаютъ! Такъ, примѣрно, выразится атрофированное общественное мнѣніе, выразится не словами, такъ дѣйствіемъ, или, вѣрнѣе, беза-

дѣйствіемъ. И—возвращаясь къ refrain сегодняшняго моего письма—повторится презрѣніе Лѣскова къ темамъ «влюбился и женился» и «влюбился застрѣлился»...

Милостивые государи, письмо мое приблизилось уже къ концу, а вопросъ о значеніи общественнаго мнѣнія подлежитъ обширному разговору. Но вы понимаете, всетаки, что я хочу сказать, и потому ограничусь въ поясненіе только еще нѣсколькими словами.

У насъ нѣтъ и не можетъ быть общественнаго романа, написаннаго правдиво, хотя онъ могъ бы и долженъ бы былъ быть. Есть романы школы «Русскаго Вѣстника», которые неправдивы. Есть, пожалуй, въ извѣстномъ смыслѣ правдивые романы, но, посудите сами, какой невысокой пробы эта правда. Вотъ одно газетное объявленіе:

Поступилъ въ продажу новый романъ Петра Боборыкина: Китай-городъ. 2 т., въ 6. 8 д. л. Цѣна 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. Романъ этотъ посвященъ изображенію жизни московскаго купечества и читается съ большимъ интересомъ, благодаря яркости и обрисовкѣ типовъ и занимательному, живому разсказу. Большая часть героевъ «Китай-города» списана авторомъ прямо съ живыхъ лицъ изъ московскаго купечества и многіе изъ нихъ узнають себя въ персонажахъ романа.

Неприличная реклама эта говоритъ и еще кое объ чемъ, а именно: о вялости и недѣятельности общественнаго мнѣнія, ибо только при такой вялости возможно подобное объявленіе объ романѣ не рыночнаго какого-нибудь писателя, а г. Боборыкина, требующаго художественной критики и трактующаго о самостоятельной эстетической эмоціи..

Если у насъ нѣтъ и не можетъ быть общественнаго романа въ литературѣ, то жизнь, исторія своимъ чередомъ сочиняють, всетаки, русскій общественный романъ. Но русскіе люди не принимаютъ дѣятельнаго участія въ этомъ романѣ. Не принимаютъ и не можетъ принимать его и литература. Откуда ея вялость, обрывчатость и другія отрицательныя качества. Она не выражаетъ и не можетъ выражать собою общественное мнѣніе, не можетъ и вліять, въ свою очередь, на его формированіе. Есть, правда, органы, свободно излагающіе свои мысли о предметахъ міра видимаго и невидимаго, но это какъ разъ тѣ, которые учатъ презрѣнію къ общественному мнѣнію, даютъ его, а слѣдовательно, не могутъ быть его выраженіемъ. И, Боже мой! что дѣлается въ этихъ свободныхъ органахъ печати! свободныхъ, къ сожалѣнію, и отъ суда общественнаго мнѣнія... Приведу одинъ только примѣръ.

Въ № 78 «С.-Петербургскихъ Вѣдомо-

стей» напечатано: «Послѣдній № «Руси»... для г. Аксакова создаетъ положительную эпоху; издатель «Руси» представляется теперь въ совершенно иномъ, чѣмъ до сихъ поръ, свѣтѣ. Въ передовой статьѣ г. Аксаковъ, по поводу взрыва вестминстерскаго дворца, ведетъ довольно длинную рѣчь о революціонерахъ. Издатель «Руси» несомнѣнно становится на ихъ сторону». Пикантное указаніе это «С.-Петербургскія Вѣдомости» развиваютъ далѣе весьма подробно, съ кляузничествомъ приказнаго. «Новое Время» назвало эту статью «образчикомъ идиотизма», а «Русь» (№ 7) прибавляетъ отъ себя: «Мы отъ всего сердца присоединяемся къ этому отзыву и надѣемся, что г. Комаровъ (редакторъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей») съ благодарностью оцѣнитъ умѣренность и безпристрастность нашего сужденія». Еще бы не умѣренность! Это не просто идиотизмъ, а развѣ нравственный идиотизмъ, самое наглое бравированіе предписаніями чести и совѣсти. Но подождите, господа!

Баснь эту можно было бы и болѣе пояснить, да чтобъ гусей не раздражить... Одного гуся, впрочемъ, позвольте тронуть.

Одинъ изъ столповъ «Новаго Времени» и заступниковъ Медеи, г. Буренинъ, по поводу предыдущаго моего письма «по нѣкоторымъ аллюрамъ узналъ» во мнѣ г. Михайловскаго и, озаглавивши своей фельетономъ «Гг. Боборыкинъ и Михайловскій», такъ, ничто же сумняся, и валаетъ. Псевдонимъ, чей бы онъ ни былъ, хотя бы такого малаго и посторонняго человѣка, какъ я, издревле считается во всѣхъ литературныхъ неприкосновеннымъ. И нѣ безусловно считается, потому что у писателя могутъ быть свои резоны писать подъ псевдонимомъ. Не говоря уже объ томъ, что въ настоящемъ случаѣ не было никакой надобности доискиваться, кто писалъ письмо въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ». Тамъ было говорено, напримѣръ, о значеніи самостоятельности эстетической эмоціи, объ чемъ слѣдовало говорить и г. Буренину, а какое кому дѣло, кто именно писалъ письмо? Но г. Буренинъ пожелалъ доискаться и тѣмъ совершилъ неприличіе самаго низменнаго сорта. Низменность эта еще сильнѣе отгѣняется участіемъ «Новаго Времени» вообще и г. Буренина въ особенности въ недавнемъ процессѣ о псевдонимѣ «графъ Жасминовъ», который такъ вѣдь и остался нераскрытымъ. Во всякомъ случаѣ, пусть г. Буренинъ продолжаетъ свои розыски, а мнѣ позвольте, засвидѣтельствовавши фактъ литературнаго одичанія, всетаки значиться тѣмъ, что я дѣйствительно есмь, а я—Посторонній.

IV *).

Въ прошломъ письмѣ я обратилъ ваше вниманіе на полемическій приѣмъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», который «Новое Время» и «Русь» единогласно называютъ «образчикомъ идиотизма», къ каковому опредѣленію я, съ своей стороны, считалъ бы нужнымъ прибавить только одно слово: образчикъ нравственнаго идиотизма. Вы помните въ чемъ дѣло. «С.-Петербургскія Вѣдомости» пожелали документально уличить г. Аксакова въ солидарности съ виновниками англійскихъ взрывовъ и съ революціонерами того же типа всѣхъ странъ. Но такъ какъ соотвѣственныхъ документовъ нѣтъ, то «С.-Петербургскія Вѣдомости» ихъ поддѣляли: взяли статью «Руси», направленную противъ революціонеровъ и, при помощи пропусковъ и подчистокъ, превратили ее въ статью, сочувственную революціонерамъ. Эти поддѣлки, подчистки, пропуски показываютъ, что «С.-Петербургскія Вѣдомости» сдѣлали дѣло вполне сознательно, а не по невинности или непониманію. Вотъ почему, я думаю, поступокъ ихъ и заслуживаетъ титула образчика нравственнаго идиотизма.

Но, милостивые государи, надо признаться, что въ нашей несчастной литературѣ этотъ сортъ идиотизма (какъ, впрочемъ, и другіе его сорта) вовсе не составляетъ рѣдкости. Если на этотъ разъ въ оцѣнкѣ полемическаго приѣма «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» сошлись такіе разнородные элементы печати, какъ «Новое Время», «Русь» и «Отечественныя Записки», такъ только потому, что слишкомъ ужъ грубъ подлогъ академической газеты и слишкомъ фантастиченъ ея доносъ. Вы, конечно, всегда готовы отмѣтить и назвать настоящимъ именемъ всякую такую мерзость, хотя бы форма ея была не столь ужъ несообразно груба, а содержаніе не столь ужъ несообразно фантастично. Но «Новое Время» и «Русь» склонны помахивать въ другихъ подобныхъ случаяхъ, имъ же имя легионъ въ нашей одичалой литературѣ. Сколько этого добра поставляютъ одни «Московскія Вѣдомости» съ «Гражданиномъ» на пристяжкѣ (не напоминаетъ-ли онъ вамъ, въ самомъ дѣлѣ, пристяжную? везти настоящее не везетъ, а кольцомъ вьется и вообще старается). Если же взять предметъ шире, то подлогъ, осложненный или неосложненный политическимъ доносомъ, какъ полемическій приѣмъ, окажется у насъ всѣмъ обыкновеннымъ дѣломъ. Къ этому неблагоприятному приему весьма прикосновенны и «Новое Время» и «Русь», такъ справед-

ливо возмущающійся «идиотизмомъ» «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Объ «Новомъ Времени» нечего и говорить: оно всегда готово, не моргнувъ глазомъ, обогатить кого угодно. Но при случаѣ отъ такихъ подвиговъ не отказывается и «Русь», хотя ее почему-то принято причислять къ тѣмъ музыкантамъ, которые «хоть немножко и дерутъ, но въ ротъ хвѣльного не берутъ». Я съ своей стороны полагаю, что славянофильскій органъ дѣйствительно «деретъ», но это само собой, а кромѣ того онъ и отъ хвѣльного не прочь.

Приведу образчикъ.

Въ № 6 «Руси» напечатана статья о недавно вышедшей книгѣ г. Веселовскаго «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ». Г. Веселовскій весьма откровенный «западникъ», столь откровенный, что по нынѣшнему времени въ литературѣ такихъ мало. Естественно, что «Русь» его книгой недовольна. Между прочимъ, она говоритъ: «Авторъ въ своихъ объясненіяхъ ничѣмъ не стѣсняется. Грибоѣдовъ, напримеръ, пишетъ «Горе отъ ума» и возсыластъ вслухъ желанія:

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ

Пустого, рабскаго, слѣпного подражанья.

Оказывается, Грибоѣдовъ (какъ увѣряетъ г. Веселовскій) намекаетъ на другое: «мы смѣшны, подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *мелочно и не стоимъ*». Затѣмъ «Русь» указываетъ и страницу, гдѣ эти слова напечатаны. Страница эта 178-я и, разыскавъ ее въ книгѣ г. Веселовскаго, вы дѣйствительно тѣ слова на ней прочтете, но вотъ при какой обстановкѣ. Г. Веселовскій говоритъ о литературѣ тридцатыхъ годовъ и, между прочимъ, о журналѣ Кирѣевскаго «Европеецъ». Бѣгло рассказавъ содержаніе двухъ вышедшихъ его номеровъ, онъ замѣчаетъ: «Прямо редакціонныя заявленія ставятъ категорически вопросъ о пользѣ или вредѣ заимствованій и, опираясь на только-что появившееся тогда на сценѣ «Горе отъ ума», рѣшаютъ этотъ вопросъ въ трезвомъ грибоѣдовскомъ духѣ: «мы смѣшны (говорится тутъ), подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *мелочно и не стоимъ*» и т. д. Такимъ образомъ, инкриминированныя слова принадлежать вовсе не г. Веселовскому, а редакціи «Европейца», Ивану Кирѣевскому, ставшему потомъ однимъ изъ столповъ славянофильства. Къ нему же стало быть, а не къ г. Веселовскому долженъ быть обращенъ упрекъ «Руси»: «авторъ въ своихъ объясненіяхъ ничѣмъ не стѣсняется», ибо именно ему, Кирѣевскому, принадлежитъ столь возмутившее «Русь» объясненіе

*) 1883 г., май.

грибоѣдовскаго стиха. Очевидно, кажется, что и сама «Русь» тоже ничѣмъ не стѣсняется. У г. Веселовскаго очень явственно поставлено въ скобкахъ: «говорится тутъ», то-есть въ редакціонныхъ заявленіяхъ «Европейца», а «Русь», какъ ни въ чемъ не бывало, ставитъ свои собственные скобки: «какъ увѣряетъ г. Веселовскій». Я не знаю, какъ слѣдуетъ называть этотъ полемическій приѣмъ «образчикомъ идиотизма» или иначе какъ-нибудь, но что это подлогъ, такъ это вѣрно...

Милостивые государи, вы знаете, что такіе подлоги, будучи обыкновеннымъ дѣломъ въ нашей литературѣ вообще, не представляютъ рѣдкости и въ томъ долгомъ, если не великомъ спорѣ о пользѣ или вредѣ «заимствованій», который составляетъ отчасти предметъ книги г. Веселовскаго. Говорю «отчасти», потому что книга эта оставляетъ читателя въ нѣкоторомъ недоумѣніи насчетъ своей цѣли.

Въ настоящее время, когда... когда говорится ужасно много глупостей, на якобы патриотическія темы; когда изъ вѣдръ отечества, подгоняемые, впрочемъ, московскимъ купечествомъ, вышли добровольные стражи нашей самобытности и разбѣстались въ водовильно трагическихъ позахъ «отъ финскихъ ледныхъ скалъ (дабы спасти Россію отъ финляндскаго привоза) до пламенной Колхиды» (дабы ее же спасти отъ кавказскаго транзита); когда тѣмъ бдительнѣе охраняется отъ идей гнилого запада свѣтъ, либюшій вотъ-вотъ, сію минуту возсіяетъ съ востока; когда въ ожиданіи этого свѣта рекомендуется посидѣть въ темнотѣ: въ такое время весьма невредно напомнить заправшимся соотечественникамъ о «Западномъ вліяніи въ новой русской литературѣ», да и не только въ новой, и не только въ литературѣ. Слѣдуетъ поэтому радоваться появленію книги г. Веселовскаго, хотя бы она, по извѣстному выраженію, найдя лукъ слишкомъ согнутымъ въ одну сторону, стремилась столь же не въ мѣру перегнуть его въ другую сторону. Но можно бы только ждать и желать, чтобы авторъ съ точностью опредѣлилъ читателямъ предметъ и объемъ своей задачи. Къ сожалѣнію, такой точности въ книгѣ г. Веселовскаго нѣтъ. А именно остается невыясненнымъ основной тезисъ книги. Желаетъ-ли авторъ доказать, что западное вліяніе всегда было въ русской литературѣ ощутительно, или же онъ имѣетъ въ виду преимущественно благотѣльное вліяніе запада?

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ книги имѣются указанія на послѣженіе чрезвычайно общее, а именно, что литературы всѣхъ странъ состоятъ между собою въ обмѣнѣ идей и

формъ. Затѣмъ понятно, что русская литература въ этомъ международномъ обмѣнѣ очень много получала и до сихъ поръ получаетъ и очень мало даетъ или даже ровно ничего не даетъ. Но, собственно, относительно факта обильныхъ «заимствованій» у насъ нѣтъ разногласій. Его признаютъ и здравомыслящіе люди, и разнаго покроя «самобытники», которые, вѣдь, пока еще ничего самобытнаго не сказали, а довольствуются отрицательною проповѣдью и обличеніями своей родины въ подражательности. Поэтому удержаться на этой общей обмѣнѣ сторонамъ, внѣ всякаго спора лежащей почвѣ почти нѣтъ возможности. Даже при полномъ желаніи автора воздержаться отъ сужденій о «пользѣ или вредѣ» заимствованій, онъ непременно вступитъ на эту почву качественной оцѣнки западныхъ вліяній. Но такого желанія въ настоящемъ случаѣ, конечно, и не было: г. Веселовскій отнюдь не скрываетъ своихъ западническихъ симпатій и только оговаривается, что его очерки «чужды цѣлямъ стараго, слишкомъ исключительнаго западничества». Но, въ такомъ случаѣ, для отдѣленія плевелъ отъ пшеницы, для различенія «полезныхъ» и «вредныхъ» заимствованій надлежало выставить какой-нибудь критерій, взявъ его изъ области общечеловѣческаго пониманія добра и зла и изъ особенностей русской и европейской исторіи.

Заимствованія могутъ быть нехороши прежде всего по легкомыслію, съ какимъ они дѣлаются. Г. Веселовскій отмѣчаетъ эти факты. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ о перепискѣ Екатерины «съ умѣйшими людьми Европы»: «У Екатерины есть между ними свои кумиры въ родѣ Вольтера, она спрашиваетъ ихъ совѣта въ разныхъ сложныхъ русскихъ дѣлахъ, забывая, до какой степени они имъ незнакомы, и какъ она сама часто излагаетъ свои вопросы, придавая имъ произвольную окраску. Но отъ этой блестящей корреспонденціи до осуществленія затрогиваемыхъ ею вопросовъ весьма далеко. Екатерина писала ободрительныя письма и къ вождю корсиканскаго возстанія, Паоли, зная, что онъ модный герой, что имъ интересуются всѣ порядочные люди въ Европѣ. Паоли былъ, конечно, изъ числа Пугачевыхъ, хотя и болѣе благопривличныхъ, за то онъ былъ далеко, и платонизмъ былъ безопасенъ». Это преклоненіе передъ верхами Европы было до такой степени внѣшнее, показное и легкомысленное, что впоследствии, по приказу Екатерины, въ Тамбовѣ было конфисковано собраніе сочиненій Вольтера, «какъ вредныхъ и напсленныхъ развращеніемъ». Если на подобное легкомысліе была способна Екатерина, женщина умная, то

ища много удивительнаго, что «холоднѣе за-
нестъ либеральна» вступавшія формы и безво-
звратныя толканы по французскій дѣла-
нныя затрѣжжались вѣдѣсть людямъ,
свершавшаю безпощадныя дѣла въ настоящій
смыслъ «охранительнаго движенія». О подоб-
ныхъ замѣшательствахъ между серьезными
людьми никакого и разговора быть не мо-
жетъ. Конечно, они не хороши: всегда злымъ
и неискреннимъ, иногда дряннымъ, а иногда прямо
вреднымъ. Тутъ дѣло даже объективно не въ
замѣшательствахъ съ запада, а въ нашей соб-
ственной неустойчивости и неустойчивости. Г. Ве-
селовскій совершенно справедливо замѣча-
етъ, что за подобныя подражанія оригиналь-
ны мало не отвѣтственны, потому что это ка-
рикатурное искаженіе, а исказить можно все.
Но вотъ другой, болѣе сложный случай:
«Съ дѣйствительно плохо образованныхъ
людей, которая повергала въ настоящее
изумленіе такихъ умныхъ наблюдателей,
какъ г. ж. Сталь, русское общество въ на-
чалѣ столѣтія гостеприимно принимало къ
себѣ съ запада все и всѣхъ, плохо разбирая
оттѣнки и направленія. Пришли къ нему и
роялисты-эмигранты, обучавшіе нашихъ дво-
рянъ тонкостямъ усовершенствованнаго ле-
гитимизма, и іезуиты, съ своими воспита-
тельными учрежденіями, и всякаго рода ми-
стиковъ новѣйшей формации, и графъ Жозефъ
Де-Местръ, поучавшій о вредѣ наукъ для
Россіи, какъ страны *послушной* и смиренной;
а наряду съ этимъ въ рукахъ молодежи
очутились книжки стихотвореній Байрона,
романтическія элегіи, проникнутыя міровою
скорбью, рѣчи различныхъ Рене и Адоль-
фовъ, она съ увлеченіемъ приглядывалась
къ политическому броженію на западѣ и
скоро научилась сочувствовать всякому на-
родному освободительному движенію, гдѣ бы
оно ни проявилось». Характеризуя затѣмъ
самого императора Александра, г. Веселов-
скій пишетъ: «Съ молодости сборы къ гуманно-
му правленію во вкусѣ просвѣтителей-фи-
лантроповъ, потомъ планы конституціонныхъ
реформъ въ англійскомъ духѣ, французскія
основы задуманныхъ, но не выполненныхъ
преобразованій Сперанскаго, нѣмецкій глу-
бокій патріотизмъ, усвоенный у Штейна, а
потомъ консерватизмъ Меттерниха, мисти-
цизмъ г. ж. Крюднеръ, квакерство и т. д.,
какая неострая сѣбѣ западныхъ увлеченій
всѣхъ родовъ наполняютъ эту тревожную
жизнь!»

Вотъ одно изъ тѣхъ отдѣльныхъ мѣстъ
книжки г. Веселовскаго (не говоря объ об-
щихъ ея тонѣ), которая способна поставитъ
читателя въ недоумѣніе относительно ея цѣ-
ли. Приведенные факты, безъ сомнѣнія, сви-
дѣтельствуютъ о громадномъ влияніи запада
на наши литературныя и не литературныя

оформы. Но они никакъ не говорятъ о бла-
готворности этого влияния, хотя уже потоку,
что въ немъ направляется тѣмъ разнообраз-
нымъ и разнонаправленнымъ теченіемъ съ запада, что
прежде всего надо въ нихъ самихъ разо-
браться. Тутъ уже намъ ограничиваться
указаніями на неискренность оригинала въ
исказеніяхъ, обусловленныхъ собственными
недостатками нашихъ вѣдѣтельствъ. Играли,
конечно, свою роль и эти недостатки, но въ
массѣ крайнею противорѣчивыхъ европей-
скихъ влияній должны же были быть какія-
нибудь и сами по себѣ извѣстныя. Г. Ве-
селовскій не предъявляетъ на этотъ счетъ ни-
какого мѣрала, никакихъ ясныхъ и точныхъ
опредѣленій. Едва ли я, однако, ошибусь,
если выведу изъ книги заключеніе, что для
автора благо всякое западное влияніе, на-
правленное къ свободѣ и просвѣщенію, и,
слѣдовательно, зло всякое противоположное
теченіе, хотя бы оно было архи-западное.
Въ виду этого, съ извѣстной точки зрѣнія,
можетъ быть, слѣдуетъ оправдать отсутствіе,
такъ сказать, выставки основнаго тезиса
книжки. Есть вещи, которыя трудно доказы-
вать или даже предъявлять, и таковы именно
требованія свободы и просвѣщенія. Не въ
цензурномъ смыслѣ трудно. Слава Богу,
хвалы свободѣ и просвѣщенію, въ ихъ аб-
страктномъ видѣ, въ общихъ чертахъ и, ра-
зумѣется, въ умѣренныхъ выраженіяхъ, не
возбраняются. Трудно потому, что стыдно.
Можетъ быть, конечно, мы и до того дой-
демъ, что будемъ въ самыхъ лестныхъ вы-
раженіяхъ отзываться, напримѣръ, о чело-
вѣкѣ, который каждый день умываетъ; мо-
жетъ быть, даже, человѣкъ этотъ будетъ
вполнѣ заслуживать тѣхъ отборно лестныхъ
выраженій; мало того, онъ окажется, можетъ
быть, въ положеніи сектанта и только въ
кругу единомышленниковъ будетъ исповѣды-
вать принципъ ежедневнаго омовенія. Но
согласитесь съ тѣмъ, милостивые государи,
что даже при такихъ исключительныхъ об-
стоятельствахъ, торжественно отстаивать
пользу, удобство и благопристойность еже-
дневнаго омовенія будетъ немножко зазорно.
Не менѣе, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ
даже болѣе, стыдно и горько заявлять себя
сторонникомъ свободы и просвѣщенія. Еже-
дневное омовеніе досталось человѣчеству
оравнительно даромъ. Малые дѣти, по не-
разумію своему, часто сопротивляются этой
операции, но придя въ возрастъ, безмолвно
вступаютъ въ кругъ дѣйствія принципа еже-
дневнаго омовенія, и въ исторіи человѣче-
ства онъ не записанъ кровью или слезами.
Другое дѣло принципа свободы и просвѣще-
нія. Они завоеваны, за нихъ дорого запла-
чено; такъ дорого, что, казалось бы, всѣ
долги челоѣчества по этой части погашены

и не подлежитъ оно никакимъ дальнѣйшимъ взысканіямъ.

Однако, взысканія продолжаются, и нельзя же совсѣмъ оставить безъ вниманія, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ. А чтобы нагляднѣе представить вамъ мысли мои объ этихъ нѣкоторыхъ, позвольте прибѣгнуть къ сравненію, довольно низменному...

Видали-ли вы, какъ на улицахъ дерутся собаки? Конечно, видали, но, можетъ быть, не обращали вниманія на одну любопытную психологическую подробность. Когда какая-нибудь собака начинаетъ одолавать другую, то около нихъ собирается иногда цѣлая стая, среди которой рѣзко выдѣляются два типа. Однѣ, великодушныя и смѣлыя, устремляются на защиту слабого; другія, напротивъ, получаютъ странный аппетитъ доканать слабого, принять посильное участіе въ его побѣдѣ. Источникъ этой собачьей трагедіи ихъ вовсе не касается: слабый, побиваемый песь ни кости у нихъ не отнялъ, ни другой какой пакости не сдѣлалъ, такъ что они накидываются на него даже совершенно безкорыстно, побуждаемы какимъ-то особымъ инстинктомъ, единственно потому, что его бьютъ, единственно изъ подражанія бьющему. Такъ и у людей бываетъ, милостивые государи, только, конечно, не въ такихъ грубо явныхъ очертаніяхъ. Люди раздѣляются на тѣ же два психологическіе типа. При видѣ драки одни стремятся защитить слабого, изнемогающаго, а если что-нибудь сами противъ него имѣютъ, то, по крайней мѣрѣ, собственныхъ рукъ къ его побѣдѣ не прикладываютъ; другіе, напротивъ, какъ бы разсуждаютъ: этого человѣка бьютъ, дай же и я его тресну! Но, конечно, они не разсуждаютъ, а просто повинуются нѣкоторому таинственному, неизслѣдованному еще, но, во всякомъ случаѣ, дрянному инстинкту; дрянному, хотя часто совершенно безкорыстному: эти добровольные пособники бьющаго часто не имѣютъ никакого дѣйствительнаго интереса поступать столь неблагоприятно.

Эти самые добровольные пособники и представляютъ человѣчеству тѣ взысканія по, будто бы, еще не погашенному долгу за свободу и просвѣщеніе, которыя нельзя оставить безъ вниманія и въ виду которыхъ и г. Веселовскому слѣдовало обосновать свой тезисъ, а не держать его въ секретѣ, невыраженномъ состояніи. Боюсь, однако, утверждать, чтобы г. Веселовскій могъ это сдѣлать, еслибы и захотѣлъ. Но сначала покончимъ съ добровольными пособниками. Вы ихъ видите кругомъ себя въ полномъ блескѣ. Это тѣ интеллигентные люди, газетчики, главнымъ образомъ, которые на разные лады и тоны поютъ, вопіютъ, взываютъ и

глаголютъ о зловредности интеллигенціи. Кое-кто изъ нихъ почерпаетъ, правда, нѣкоторыя частныя, косвенныя выгоды изъ временнаго приниженія интеллигенціи (конечно, временнаго, ибо живъ Богъ, жива душа моя, можетъ сказать объ себѣ чело-вѣчество), но въ общемъ это направленіе, очевидно, въ родѣ какъ самоубійственное. Замѣтите, что дѣло идетъ объ искорененіи или, по крайней мѣрѣ, вышшемъ приниженіи именно интеллигенціи. Если вы попробуете подставить вмѣсто этой несчастной, подъ удары добровольныхъ пособниковъ, бюрократію или буржуазію, то одни вамъ скажутъ: это такъ, но общую формулу зловредности составляетъ всетаки интеллигенція! другіе же прямо закричатъ: не его, но Варавву! Въ чемъ же дѣло и откуда такое странное массовое озлобленіе противъ интеллигенціи со стороны интеллигенціи же? Вы напрасно будете искать сколько-нибудь разумнаго основанія этому удивительному факту. Объясненіе лежитъ только въ области того—извините меня—собачьяго инстинкта, который побуждаетъ цѣлую стаю бросаться на своего ни въ чемъ неповиннаго собрата, подвергающагося трепкѣ. Чтобы оцѣнить нравственную дрянность этого похода, потрудитесь припомнить протестъ Руссо, пожалуй, тоже противъ интеллигенціи. Я не приглашаю васъ сравнивать то и другое по отношенію къ ширинѣ и смѣлости мысли или страстной искренности протеста—это было бы смѣшно. Обратите только вниманіе на обстановку обоихъ предпріятій. Такъ, вы видите нѣчто, почти героическое: среди роскошнаго пира интеллигенціи, когда могущественные государи ищутъ, какъ величайшей чести, дружбы писателей, философовъ, ученыхъ; когда, кажется, навсегда упрочено «царство мысли»,—вдругъ раздается протестующій и укоризненный голосъ одинокаго безсильнаго человѣка. А тутъ что? Въ странѣ, болѣющей тысячью недуговъ, напши, наконецъ, корень зла. Это не бѣдность, не невѣжество, не безправіе; нѣтъ, это—интеллигенція! Необходимо сократить число учащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ, необходимо ограничить права и притязанія интеллигенціи... Права и притязанія русской интеллигенціи!

Милостивые государи, остановите только одну минуту ваше вниманіе на сопоставленіи протеста Руссо и нашихъ добровольныхъ пособниковъ, и вы не посѣтуете на меня за грубое слово о собачьемъ инстинктѣ... Люди не могутъ, однако, просто лаять, рычать, грызть. Природа дала имъ способность издавать членораздѣльные звуки; которые они и должны волей-неволей группировать въ слова, предложенія, аргументы, наконецъ,

въ попытки оправданія даже самыхъ безстыдныхъ и безсмысленныхъ своихъ дѣяній. Добровольные пособники и дѣлаютъ это. Они оправдываютъ свое добровольное пособничество тѣмъ, что интеллигенція оторвалась западнымъ вѣтромъ отъ народа, отъ его интересовъ, дѣйствуетъ во вредъ ему, и, такимъ образомъ, отъ имени народа стремятся они къ принижению принциповъ свободы и просвѣщенія, и безъ того еле мерцающихъ на знамени интеллигенціи. Эту сторону дѣла, я полагаю, г. Веселовскій не долженъ былъ оставлять безъ вниманія.

Г. Веселовскій, конечно, понималъ цѣнность этого пункта. Съ особеннымъ сочувствіемъ останавливаясь на благородномъ образѣ Радищева, онъ говоритъ, что завѣтными мысли этой жертвы нашихъ потомковъ «пережили и его пору, многія уже осуществились, вошли въ жизнь, другія стали неотъемлемой принадлежностью всякой прогрессивной программы... Въ политическую программу его входило освобожденіе крестьянъ, свобода совѣсти, свобода печати, судъ присяжныхъ, отмена подушной подати, равенство передъ закономъ и т. д.». Съ понятнымъ въ западникѣ и совершенно законнымъ чувствомъ удовлетворенія, г. Веселовскій пишетъ далѣе: «Радищевъ и въ Сибири сохранялъ тѣ же интересы и стремленія. Сидя въ своемъ Илимскѣ, онъ продолжаетъ дообразовываться, слѣдить (благодаря Воронцову) за новою западною литературой, и возвращается въ Россію съ такой же преобразовательною жаждой, какъ и прежде! Первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ въ калужскую деревню было бы освободить крестьянъ, но указъ, возвратившій ему только половинныя права, не допускаетъ его до такой мѣры—и въ его «Описаніи моего имѣнія» живо сказывается то состояніе нравственной пытки, которое онъ испытывалъ, бродя по полямъ своего Иѣмцова во время работъ и со стыдомъ размышляя, какъ всѣ эти изнуренные жаромъ жницы и косцы всѣ силы свои полагаютъ на поддержаніе зажиточной жизни его одного. Когда же снова повѣяло свѣжимъ воздухомъ при Александрѣ, мы его опять видимъ за дѣломъ въ Петербургѣ, среди молодежи, рвущейся къ реформамъ; у него есть свой проектъ судебного переустройства, основаннаго на введеніи суда присяжныхъ, и смерть застигаетъ его среди приготовленій къ поѣздкѣ въ Англію для изученія на мѣстѣ этого института. Такъ вся жизнь этого единственнаго, быть можетъ, въ прошломъ вѣкѣ открытаго *западника* (курсивъ г. Веселовскаго) съ первыхъ же шаговъ на русской землѣ и до старости ушла на служеніе самымъ насущнымъ нуждамъ народа, и его неразрывная связь съ

европейскою умственной работой не отдалила его отъ Россіи, а приблизила къ ней и указала цѣли и способы ихъ достиженія».

Въ такомъ же родѣ говоритъ г. Веселовскій объ Николаѣ Тургеневѣ, указывая на его «западничество» и вмѣстѣ горячую преданность интересамъ русскаго народа...

Разумѣется, многое, что составляетъ умственный багажъ русскаго мужика, не можетъ выдержать столкновенія съ западною наукой, которая не дастъ своего согласія, на примѣръ, на стояніе земли на трехъ клетахъ. Но вѣдь это столкновеніе вовсе не запада съ востокомъ, а просто знанія съ невѣжества, для которыхъ нѣтъ админъ ни іудей, и никакое укрѣпленіе и вооруженіе «самобытности» не спасетъ трехъ китовъ. Это столь общепонятно, что даже тѣ изъ самобытниковъ, которые въ тайнѣ вдыхаютъ по тремъ китамъ, выступаютъ на ихъ защиту лишь въ болѣе или менѣе замаскированномъ видѣ. Что же касается собственно интересовъ мужика, то, конечно, судьба людей въ родѣ Радищева (а ихъ вѣдь не мало) способна бросить лучъ свѣта, какъ на бессмыслицу легенды о непомѣрныхъ правахъ и претензіяхъ русской интеллигенціи, такъ и на тотъ фактъ, что «западничество» само по себѣ вовсе не внушаетъ отрицательнаго или даже только холоднаго отношенія къ интересамъ русскаго народа. Оно вполне можетъ уживаться и съ знаніемъ этихъ интересовъ и съ горячею имъ преданностью. Однако, г. Веселовскому не слѣдовало бы, я думаю, ограничиваться отрывочными біографическими иллюстраціями къ этой темѣ, а надо бы нѣсколько заняться ею самою, вплотную. Но тутъ-то и сказывается двусмысленность, неопредѣленность задачи г. Веселовскаго, его основного тезиса. Въ самомъ дѣлѣ, онъ говоритъ, на примѣръ, о екатерининскомъ наказѣ: «онъ представлялъ искусное сочетаніе гуманныхъ принциповъ, высказанныхъ великими учителями всего тогдашняго поколѣнія... идя по слѣдамъ Вольтера, она борется съ клерикализмомъ; слѣдуя Мармонтелю, готова широко понять свободу совѣсти; созданіе *третьей сословія* (курсивъ г. Веселовскаго) на Руси озабочиваетъ ее на ряду съ французскими политиками, съ горячностью заявляетъ она свое уваженіе къ человѣческимъ правамъ своихъ подданныхъ и обѣщаніе служить имъ». Если это перечисленіе нѣкоторыхъ характеристическихъ чертъ «Наказа» имѣетъ цѣлью доказать вліяніе запада на Екатерину, то оно, разумѣется, достигаетъ своей цѣли. Но если имѣется въ виду благотворность западныхъ вліяній, то дѣло представляется въ гораздо болѣе сложномъ и спорномъ видѣ. Противъ широкаго пониманія свободы совѣсти, которое г. Ве-

селовскій усваиваетъ почему-то именно Мармонтелю, могутъ имѣть зубъ развѣ какіе-нибудь изувѣры, но далеко не столь безспорна благотворность заботъ о насажденіи у насъ третьяго сословія. Положимъ, что Екатерина, подобно самымъ даже верхнимъ верхамъ тогдашней европейской интеллигенціи, не могла предвидѣть той роли, которую буржуазія заняла въ послѣдствіи на исторической сценѣ; но у насъ-то третье сословіе никакимъ родомъ не могло играть *тогдашней* роли европейской буржуазіи, то-есть не могло быть носителемъ дорогихъ г. Веселовскому принциповъ свободы и просвѣщенія. Требования депутатовъ третьяго сословія въ екатерининской комиссіи сводятся къ тремъ пунктамъ. Они домогались, во-первыхъ, запрещенія крестьянамъ торговать даже продуктами ихъ собственнаго труда; во-вторыхъ, запрещенія дворянамъ заниматься торговлей и имѣть заводы; въ-третьихъ, права купцовъ и фабрикантовъ покупать населенныя имѣнія и людей безъ земли. Эта программа, вполнѣ опредѣленная, была вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно цѣлесообразна, ибо именно этимъ путемъ могло бы у насъ въ ту пору сложиться крѣпкое, сильное третье сословіе. Съ теченіемъ времени, окрѣпнувъ въ этой колыбели монополіи и крѣпостного права, третье сословіе, можетъ быть, и развернуло бы знамя свободы и просвѣщенія, но ясно, что въ ту-то пору заботы «на ряду съ французскими политиками» о насажденіи у насъ третьяго сословія ничего благотворнаго въ нашу жизнь не вносили и вносить не могли. А если прибавить, что и свободная и просвѣщенная буржуазія нынѣ утратила нравственно-политическій кредитъ въ самой Европѣ, то представится, по крайней мѣрѣ, очень и очень сомнительнымъ благотворность западныхъ вліяній на этомъ пунктѣ.

Сомнительность эта обнаруживается, можетъ быть, еще выразительнѣе по слѣдующему поводу.

На страницахъ 137 и 138 книги г. Веселовскаго читаемъ: «Особый интересъ къ политическимъ наукамъ и народному хозяйству, отличавшій тогдашніе (Александровскаго времени) образованные кружки, былъ прямо вызванъ распространеніемъ идей Адама Смита и его школы, хотя нельзя не замѣтить, что изученіе теорій автора «The wealth of nations» опоздало у насъ на сорокъ лѣтъ. Николай Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ, старается въ своемъ «Опытѣ теоріи налоговъ» возможно чаще говорить объ Англіи, ея наукѣ и учрежденіяхъ. Большинство проектовъ адмирала Мордвинова, проникнутыхъ искреннимъ чувствомъ къ русскому народу и сдѣлав-

шихъ имя автора дорогимъ для тогдашняго молодого поколѣнія, основаны на частыхъ ссылкахъ на примѣръ Англіи». Эти слова г. Веселовскаго заслуживаютъ особеннаго вниманія, во-первыхъ, потому, что это единственное мѣсто во всей книгѣ, гдѣ упоминается Мордвиновъ, а слѣдовательно, авторъ не находитъ нужнымъ чѣмъ-нибудь оговорить или дополнить приведенную характеристику знаменитаго государственнаго челоука. А во-вторыхъ, любопытно сопоставленіе Мордвинова и Николая Тургенева, очевидно, помѣщающее ихъ за одну скобку. Опять-таки, имѣя въ виду только, такъ сказать, количественную сторону западныхъ вліяній, такое сопоставленіе очень правильно, ибо Тургеневъ и Мордвиновъ были оба «западники», если можно говорить объ нихъ терминологіей позднѣйшаго времени. Въ качественномъ-же отношеніи они по важнѣйшимъ вопросамъ русской жизни заслуживаютъ не сопоставленія, а противопоставленія. Мордвиновъ былъ либераломъ на тотъ самый манеръ, на какой былъ либераломъ г. Катковъ, когда онъ еще былъ имъ. Разница только въ томъ, что Мордвиновъ былъ ярче и послѣдовательнѣе, что, впрочемъ, въ значительной степени объясняется обстоятельствами, обстановкой. Мордвиновъ желалъ не простой пересадки къ намъ англійскихъ порядковъ, а именно англійской конституціи съ палатой лордовъ, и не контингента безземельныхъ батраковъ для обрабатыванія помѣщичьихъ полей, а прямо и просто продолженія крѣпостного права. Наоборотъ, Тургеневъ требовалъ прежде всего освобожденія крестьянъ, хотя бы самыми круто деспотическими, самыми неконституціонными средствами. Столь рѣзкое различіе между двумя яркими западниками обязываетъ изслѣдователя «Западнаго вліянія въ новой русской литературѣ» не просто заносить ихъ въ списки западниковъ, а выразить свое мнѣніе о двухъ разнородныхъ струяхъ западныхъ вліяній. Г. Веселовскій, повторяю, ничего такого не сдѣлалъ; не только по отношенію къ тому или другому частному факту, въ родѣ дѣятельности Мордвинова или Тургенева, но и по отношенію ко всему «западному вліянію». Это очень печально прежде всего потому, что книга получаетъ характеръ какой-то внутренней недодѣланности. Недодѣланности эта, производящая непріятное впечатлѣніе уже сама по себѣ, въ архитектурномъ, такъ сказать, смыслѣ, тѣмъ прискорбнѣе, что по задачѣ своей, книга могла бы дать отпоръ вышерѣченными добровольными пособникамъ. Теперь же она не только такого отпора не даетъ, но даже даетъ пособникамъ пищу.

Г. Веселовскій говоритъ:—«Масса читающей публики привыкла считать рожденіе славянофильства явленіемъ чисто русскимъ, самобытнымъ; для сторонниковъ этого ученія утѣшительно думать, что въ немъ сказались здоровые народные соки, не задавленные въ концѣ европеизмѣ и обѣщавшіе пышно развиться въ небывалой самостоятельности... Культурная исторія Европы за послѣднія два столѣтія показывае́тъ намъ, что почти ни одна страна не обошлась въ свое время безъ движенія, вполне схожаго съ нашимъ славянофильствомъ. Сентиментальное поклоненіе старинѣ, исканіе въ ней одной величайшихъ доблестей, мистическій оттѣнокъ національной гордости, и рядомъ съ этимъ пробужденіе интереса къ народной жизни, поэзіи, повѣрьямъ и т. д., такова программа всѣхъ этихъ разнообразныхъ сектъ». Затѣмъ г. Веселовскій дѣлаетъ бѣглый обзоръ параллельныхъ, по его мнѣнію, славянофильству движеній въ Чехіи, въ Польшѣ, въ Германіи, въ Скандинавіи. Въ движеніяхъ этихъ г. Веселовскій различаетъ добро и зло, главнымъ образомъ, какъ здравомыслящій и преданный своей наукѣ филологъ и только отчасти, какъ политикъ. Онъ справедливо цѣнитъ въ нихъ возбужденіе научнаго интереса къ остаткамъ старины, открывшимъ богатѣйшіе источники для языкознанія и сравнительной исторіи культуры, и столь же справедливо порицаетъ ту сторону этихъ движеній, которая выразилась національнымъ самообольщеніемъ, нетерпимостью и китаизацией. Но онъ упустилъ изъ виду еще одну сторону дѣла, въ высшей степени важную, а именно, что въ подобныхъ движеніяхъ національные интересы слишкомъ часто смѣшиваются съ интересами народа, съ которыми они, въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ ничего общаго и даже прямо имъ противоположны. Надо замѣтить, что въ числѣ европейскихъ движеній мысли есть такія, которыя, обращая взоръ назадъ, ища, по выраженію нашего автора, въ ней одной величайшихъ доблестей, ни мало не осложняются національнымъ элементомъ. Укажу для примѣра на два такихъ явленія. Страстный протестъ Руссо и его многочисленныхъ преемниковъ противъ цивилизаціи, ихъ обращеніе назадъ, къ тому времени, когда неизвѣстны были ни «твое» и «мое», ни нѣкоторыя другіе институты, этотъ протестъ и это обращеніе не имѣли въ себѣ рѣшительно ничего національнаго. Это были чисто демократическія или, выражаясь нашимъ нынѣшнимъ, страшно опошленнымъ словомъ, «народническія» ученія. Другимъ образчикомъ можетъ служить недавнее, можно сказать, вчерашнее и еще сегодня не завер-

шенное, чисто научное явленіе. Такъ, изслѣдованіе индійскихъ и древнихъ ирландскихъ земельныхъ и другихъ порядковъ, выполненное Мэнотъ, побудило даже такого авторитетнаго человѣка, какъ Милль, признать, что «старина» содержитъ въ себѣ нѣчто въ высшей степени цѣнное, болѣе цѣнное, чѣмъ самыя коренныя принципы новѣйшей цивилизаціи. Такъ Лавеле въ своей извѣстной книгѣ о первобытной общинѣ взываетъ къ «гражданамъ Америки и Австраліи» съ увѣщаніемъ: «возвратитесь къ первобытному преданію вашихъ предковъ». Подобныхъ частныхъ можно бы было найти довольно много въ европейской наукѣ и жизни, не настаиваясь при этомъ ни на единую черту узкаго націонализма. И г. Веселовскій одѣлалъ большую ошибку, оставивъ эти явленія даже безъ упоминанія. Обративъ на нихъ достодолжное вниманіе, онъ лучше оттѣнилъ бы всѣ эти германофильства, славянофильства, польскіе мессіанизмы и тому подобныя, на одну треть мистическія, на другую шутовскія, на третью лицемѣрныя теченія, въ которыхъ смѣшивается народное и національное, отнюдь смѣшенію не подлежащія. Я, разумеется, не думаю, чтобы не было въ европейской исторіи другихъ поучительныхъ въ этомъ отношеніи явленій, но на сравненія съ этими именно обращеніями къ старинѣ, съ этими отрицаніями либерализма и цивилизаціи особенно удобно было бы оцѣнить, какъ наше славянофильство, такъ и тѣ виды «народничества», которые играютъ словами «нація» и «народъ». Еслибы г. Веселовскій имѣлъ этотъ пунктъ въ виду, да воспользо-вался бы для разъясненія его случаями, въ родѣ единовременной наличности въ русской жизни Мордвинова и Тургенева, то въ концѣ изслѣдованія онъ имѣлъ бы право обратиться къ добровольнымъ пособникамъ съ такою, примѣрно, рѣчью:

Господа, вы видите, что сказать «западное вліяніе» значитъ только употребить географическій терминъ, а мы вѣдь не географіей занимаемся. Много и сильно вліяло на насъ Западъ, но оттуда къ намъшло разное и разное оно въ нашей жизни преломлялось и отражалось. Такъ было вообще, такъ было и есть въ частности по отношенію къ интересамъ народа. Были и есть западныя вліянія, тяжело отражавшіяся и отражающіяся на этихъ интересахъ, но были и есть такія, которыя научили нашу интеллигенцію цѣнить и изучать ихъ. Поэтому, если вы хотите оказывать пособіе въ дѣлѣ пониженія и угнетенія, даже искорененія интеллигенціи, такъ дѣлайте это проще и откровеннѣе; но прячьтесь за народъ.

А любопытные есть эпизоды въ этой,

смыло говорю, позорной травлѣ интеллигенціи, якобы за вредъ, причиняемый ею, ея европейничаньемъ, народу. Возьмите, на примѣръ, самыхъ нашихъ опредѣленныхъ «самобытниковъ», какіе теперь только есть на лицо, возьмите газету «Русь», не стѣсняющуюся даже называть себя славянофильскою, чего другіе самобытники нѣсколько конфузятся. Зайдетъ ежели рѣчь о великопостныхъ театральныхъ представленіяхъ, газета набрасывается на европейничающую интеллигенцію, оторвавшуюся отъ народа настолько, что не уважаетъ его образа мыслей. Хорошо. Но какъ только кто-либо изъ интеллигенціи заговорить о крестьянскомъ малоземельи, совершенно совпадая на этомъ пунктѣ съ образомъ мыслей самаго народа, такъ немедленно г. Аксеновъ, ассистирующій гг. Дмитріемъ Самаринимъ и Сергѣемъ Шараповымъ, апеллируютъ къ европейской наукѣ и къ виленскимъ тукамъ, которые, дескать, и аршинный клочокъ земли сдѣлаютъ достаточно плодоноснымъ. Образъ же мыслей народа на этотъ случай прячется въ карманъ, дабы опять быть оттуда вынутымъ, когда понадобится ущипнуть европейничающую интеллигенцію... Или, на примѣръ, другой сортъ самобытниковъ кричитъ о необходимости прекратить русскую интеллигенцію (причемъ самихъ самобытниковъ, разумѣется, предполагается оставить на племя), она видятъ, довольно посправадала, теперь очередь народа, а она не народъ, она ничтожная горсточка и ея свобода, ея достоинство не народное дѣло. Хорошо. Но тутъ же поднимается на степень общенароднаго вопроса дѣло кавказскаго транзита и финляндскаго привоза. Изволите-ли видѣть, заинтересованная въ этомъ дѣлѣ горсть фабрикантовъ и купцовъ совсѣмъ не горсть, ея дѣло есть настоящее народное дѣло, и никогда русскіе фабриканты и купцы не видѣли на своей улицѣ праздника. Это не то, что интеллигенція!.. Долой интеллигенцію и давайте дорогу господамъ купцамъ и фабрикантамъ!.. О, милостивые государи, еслибы въ самомъ дѣлѣ интеллигенція была уничтожена и только самобытники были оставлены на племя, но еслибы они при этомъ по кореннымъ вопросамъ жизни русскаго народа обнаружили столько же пламеннаго усердія, столько же кропотливаго старанія въ подборѣ цифръ, столько же краснорѣчія... Ну, а теперь выходитъ вовсе нехорошо; выходитъ просто добровольное пособничество въ дѣлѣ вытравленія интеллигенціи и—извините меня—шишь тому народу, во имя и ради котораго будто бы эта операція производится...

Я не думаю, чтобы всѣ участники и пособники вытравленія европейничающей

интеллигенціи дѣйствовали вполне сознательно изъ корыстныхъ видовъ. Напротивъ, я уже говорилъ, значительная ихъ часть фигурируетъ въ этомъ скандалѣ вполне безкорыстно, даже въ ущербъ себѣ, ибо и они интеллигенція и еще вилами на водѣ писано, останутся-ли они на племя. Они повинуются тому инстинкту, о которомъ я говорилъ выше и который подсказываетъ: этого человѣка бьютъ, дай-ка и я тресну! При такихъ не разумныхъ, а чисто инстинктивныхъ влеченіяхъ, нѣтъ ничего мудренаго, что они нерѣдко съ головой погружаются въ сумбуръ и не умѣютъ свести концы съ концами.

Позвольте для примѣра остановиться на одну минуту на только-что прочитанныхъ мною самобытныхъ... сапогахъ въ смятку. Иначе я не могу назвать статью «Современный застой съ народной точки зрѣнія», напечатанную въ № 13 «Недѣли». Вотъ собственная авторская оцѣнка «современнаго застоя»: «Высокая заработная плата и дешевизна предметовъ потребленія составляетъ идеалъ экономическаго благосостоянія, и потому поднятіе цѣны умственнаго и физическаго труда и удешевленіе предметовъ, нужныхъ для жизни, является главнѣйшею задачею цивилизованныхъ государствъ. Въ послѣднее время мы поставлены относительно этой задачи въ довольно удобное положеніе. У насъ дешевле хлѣбъ и другіе предметы первыхъ потребностей, что для потребителей весьма выгодно». Далѣе слѣдуетъ бесѣда автора съ двумя мужичками, которую я сейчасъ приведу и изъ которой видно, что оба мужика отлично себя чувствуютъ при «современномъ застоѣ». Прекрасно, хлѣбъ дешевле и должно быть заработанная плата высока, хотя о послѣднемъ авторъ («одинъ изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ», какъ рекомендуетъ его редакция «Недѣли») не распространяется. Но далѣе авторъ переходитъ къ положенію землевладельцевъ и на той же страницѣ, на которой излагаетъ о дешевизнѣ хлѣба и умалчиваетъ о высотѣ заработной платы, пишетъ: «Съ одной стороны, заработная плата за послѣдніе три-четыре года ни мало не возвысилась, а съ другой—хлѣбныя цѣны (если взять для сравненія довольно большой періодъ времени) нисколько не упали». Оговорка, заключенная въ скобки, ровно ничего не стоитъ, потому что далѣе оказывается, что «съ 1840 года вплоть до второй половины 1879 года рожь никогда не продавалась дороже 5 руб.» (въ черноземныхъ губерніяхъ), а нынѣ она продается до 7 рублей и «слѣдовательно, настоящая цѣна не ниже, а выше обыкновенной». Итогъ: мы «въ послѣднее время» приближаемся къ

экономическому идеалу, состоящему въ дешевомъ хлѣбѣ и высокой заработной платѣ; а именно, въ это «последнее время» заработная плата ни мало не повысилась и хлѣбъ ни мало не подешевѣлъ...

Такова фактическая часть оцѣнки «современнаго застоя» самимъ авторомъ. Но онъ желаетъ еще предъявить, какъ необходимо по нынѣшнему времени нужно, «народную точку зрѣнія» на тотъ же предметъ. Вотъ она:

«Въ прошломъ декабрѣ, возвратившись изъ большого города въ деревенскую глушь, встрѣчаю я крестьянина И. Е. Онъ очень веселъ, на сапогахъ свѣжія заплаты, полушубокъ крѣпкій.—Здравствуй, И. Е., какъ поживаешь? говорю я.—Слава Богу, живемъ, ничего», отвѣчаетъ лукаво улыбаясь, И. Е.—Какъ ничего, когда всѣ мы кричимъ голосомъ? — «Да ты самъ подумай: въ третьемъ годѣ мнѣ давали за 1 руб. 70 коп. одинъ пудъ муки, а нынѣ даютъ три; хлѣба же я и борозды не сѣю, а ѣдокъ у меня одиннадцать».—И припомнилась мнѣ изнуренная фигура И. Е. въ восьмидесятомъ году. Чего только не перенесъ онъ за это тяжелое время! И лихорадища его трясла, и внутренняя сибирка по животу разгуливала, и омракъ его опшбалъ; сколько разъ уже подъ образа клали. Нынѣшній урожай гораздо хуже восьмидесятаго года, а между тѣмъ И. Е. молодецъ-молодцомъ. Но такъ какъ И. Е. самъ не занимается посѣвомъ хлѣба, то и не можетъ разрѣшить нашего недоумѣнія. Встрѣчаю другого крестьянина — мужика зажиточнаго, хлѣбнаго — и обращаюсь къ нему съ тѣмъ же вопросомъ, какъ поживаетъ. И здѣсь тотъ же отвѣтъ: «Слава Богу. Хлѣбца нынѣ уродилось маловато, купцы чаяли продавать муку рубля по два за пудъ, а нѣ она, Господь далъ, всего шесть гривенъ, да баютъ и еще упадетъ внизъ».—А развѣ для тебя лучше, что дешевѣетъ хлѣбъ? спрашиваю я.—Вѣдь тебѣ не покупать, а продавать его.—«Для насъ все равно, отвѣчаетъ:—коли дешевѣ хлѣбъ, скотиной можно промышлять. Я нынѣ кормилъ двѣнадцать свинокъ, и кормилъ, признаться, плохо; до дѣла не довелъ, а все-таки нажилъ пятьдесятъ цѣлковыхъ». Вотъ какъ смотритъ мужикъ на дешевизну хлѣба».

Видите, какъ просто. Встрѣтилъ двухъ мужичковъ, поговорилъ и получилъ народную точку зрѣнія на современный застой. Правда, одинъ изъ этихъ мужичковъ въ счетъ не идетъ, потому онъ хлѣба не сѣетъ; правда, и другой мужичокъ не совсѣмъ годится въ представители народной точки зрѣнія, потому что онъ находится, благодаря своимъ «свиненкамъ», въ совершенно исключительномъ положеніи; правда, автору не

встрѣтился на бѣду еще третій мужичокъ, у котораго нѣтъ двѣнадцати свинокъ и которому нужно продавать хлѣбъ и продавать его именно столько, чтобы покрыть расходы, текуція налоги и прошлогоднія недоимки. Но это пустяки. Дѣло не въ этихъ мелочахъ, а въ эффектѣ «современнаго застоя съ народной точки зрѣнія». И мнѣ кажется, что эффектъ этотъ даже далеко превосходитъ норму, требуемую собственно вопросомъ о дешевизнѣ хлѣба. Помилуйте, интеллигенція трубитъ о застоѣ и кризисѣ въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ, а вовсе не объ томъ, что хлѣбъ дешевъ; всюду уныніе, опасенія, даже отчаяніе. И вдругъ на этомъ мрачномъ фонѣ вырывается «народъ»: два мужика, «очень веселые», здоровые, довольные, лукаво улыбаются и объясняютъ, что «для насъ все равно». Чисто веселые пошехонцы! Идутъ и поютъ хвалу. Автору такъ дорога эта хвала, что, не соразмѣривъ художественнаго эффекта грамматическимъ, онъ ставитъ слова «слава Богу» даже не посредственно передъ роковыми словами: «хлѣбца нынѣ уродилось маловато».

Ну, конечно, интеллигенція клеветаетъ на современное положеніе вещей, и вы догадываетесь, что тутъ не безъ Европы, что гдѣ-нибудь тутъ должно имѣть мѣсто противопоставленіе самобытности и подражательности. Вы угадали. Но сначала позвольте васъ спросить, отчего, какъ вы думаете, «русское культурное общество» неустойчиво въ своихъ мнѣніяхъ? «Вотъ причина быстрыхъ переходовъ отъ однихъ желаній къ другимъ, совершенно противоположнымъ: она обуславливается частымъ перескакиваніемъ съ подражательнаго пути на самобытный и обратно». Каковъ перлъ логики и доказательности: причина переходовъ обуславливается частымъ перескакиваніемъ...

Итакъ, мы опять около западныхъ вліяній, около сакраментальной подражательности и самобытности. Западное вліяніе, видите-ли, выразилось въ томъ, что мы «устроили желѣзныя дороги, банки и фабрики въ такихъ формахъ и размѣрахъ, которые не вызывались народными потребностями». Въ очень бѣгломъ и короткомъ развитіи этой благодарной темы, авторъ, конечно, говоритъ многое вполне резонное, но ничего, однако, такого, что было бы, во-первыхъ, ново, а во-вторыхъ, что не было бы возможно развивать и доказывать безъ философическихъ размышленій о самобытности и подражательности. Въ вашемъ журналѣ такъ часто говорилось на эту тему, что мнѣ нѣтъ надобности объ ней здѣсь распространяться. Я сдѣлаю только два замѣчанія. Во-первыхъ, если справед-

ливо, что нѣкоторые правительственные дѣятели и публицисты увлекались и увлекаются грандіозною картиною европейскаго богатства, то непосредственные насадители желѣзныхъ дорогъ, банковъ и фабрикъ руководятся мотивомъ, одинаково сильнымъ на западѣ и востокѣ — наживой. Во-вторыхъ, если «Недѣля» противопоставляетъ самобытность подражательности и отсюда приходите къ заключенію о ненужности и даже вредности покровительственныхъ тарифовъ, заботъ о расширеніи рынковъ для русскихъ произведеній и т. п., то другіе самобытники разыгрываютъ на этой самой самобытности совершенно противоположныя аріи. Они, во имя самобытности, требуютъ какъ разъ этихъ отвергаемыхъ «Недѣлю» мѣръ, дабы англійскіе ситцы были посрамлены и изгнаны съ азіатскихъ рынковъ самобытными русскими, дабы процвѣло наше самобытное машиностроеніе, дабы финляндская проволока и писчая бумага не мѣшали развитію самобытной проволоки и бумаги и т. д., и т. д. Спрашивается, зачѣмъ же такъ усиленно совать всюду эту самобытность, которая допускаетъ такіа недоразумѣнія и совсѣмъ противоположныя толкованія? Не проще-ли было бы сказать, что наша торгово-промышленная политика послѣдняго времени направляла кредитъ, формы производства и пути сообщенія въ интересахъ капитала, а не труда, какъ слѣдовало бы по мнѣнію «одного изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ»? Конечно, гораздо проще. Но, видите-ли, нельзя, в-первыхъ, поручиться, что таково дѣйствительно мнѣніе образованнаго сельскаго хозяина. А во-вторыхъ, если всѣ вопросы ставить такъ просто и ясно, такъ придется, пожалуй, совсѣмъ отказаться отъ разныхъ занимательныхъ игръ на словахъ «самобытность», «западничество», «подражательность» и проч. Эти же игры представляютъ три драгоценныя возможности на выборъ (или, если угодно, всѣ три заразъ): или ловить рыбу въ мутной водѣ, или удовлетворять своей склонности къ изготовленію сапогъ въ смятку, или, наконецъ, удовлетворять инстинкту, побуждающему бить избиваемаго. Посмотрите, пожалуйста, что выходитъ. «Новое Время» сочувственно цитировало статью «одного изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ», между тѣмъ, какъ оно съ чрезвычайною горячностью требуетъ именно охранительныхъ поспѣшишь и расширенія рынковъ. Что же его въ статьѣ «Недѣли» прельстило? Прежде всего флагъ самобытности. Это разъ. А затѣмъ то обстоятельство, что «современный застой» есть, вопреки разглагольствіямъ интеллигенціи, прекрасная вещь «съ народной точки зрѣнія», а слѣдовательно интел-

лигенція подлежитъ сугубому пропятию за свои клеветы или эгоистическое отщепеніе отъ народной точки зрѣнія... Статья «Недѣли» начинается такъ: «Извѣстія періодическихъ изданій за прошлый годъ единогласно утверждаютъ, что наше экономическое положеніе изъ рукъ вонъ плохо и что отъ него страдаютъ всѣ классы безъ исключенія». Это говорятъ періодическія изданія и обычно говорятъ, потому что «тамъ, во глубинѣ Россіи...» тамъ два веселые пошехонца поютъ хвалу...

Милостивые государи, я совершенно понимаю, что многимъ пріятнѣе повѣрить двумъ веселымъ пошехонцамъ, чѣмъ единогласному утвержденію періодическихъ изданій. Понимаю также, что совершенно въ интересахъ этихъ многихъ переименовать хвалу веселыхъ пошехонцевъ въ «народную точку зрѣнія», а единогласное утвержденіе періодическихъ изданій въ дрянную эгоизмъ оторвавшейся отъ народа интеллигенціи. Но вотъ чего я рѣшительно не понимаю: «Недѣля», вѣдь, тоже періодическое изданіе, зачѣмъ же она самоубійствомъ занимается?..

Эта склонность къ самоубійству составляетъ одну изъ выдающихся чертъ современной литературы. Она проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, и вы позволите мнѣ въ заключеніе этого письма остановиться на одномъ изъ такихъ проявленій, причемъ я буду имѣть случай покончить съ однимъ полемическимъ эпизодомъ.

Въ прошломъ письмѣ я сдѣлалъ г. Буренину краткое увѣщаніе насчетъ неприличія раскрыванія чужихъ псевдонимовъ. Увѣщаніе, вы помните, было очень краткое, всего нѣсколько строкъ. Г. Буренину слѣдовало либо повиниться, либо, по крайней мѣрѣ, промолчать. Но изъ всего увѣщанія онъ вынулъ только одному: разрѣшенію продолжать розыскъ. Въ пространномъ отвѣтѣ онъ съ рѣдкою развязностью роется въ душѣ г. Михайловскаго, излагаетъ мотивы, по которымъ въ послѣднихъ номерахъ «Отечественныхъ Записокъ» не появляется статей за его подписью, намекаетъ на «интересное положеніе» г. Михайловскаго и т. д. Вѣроятно, онъ хочетъ этимъ подтвердить свой нынѣшній любимый тезисъ: мы не либералы (говорю *мы* *мы*, потому что когда-то любимый тезисъ г. Буренина былъ диаметрально противоположенъ: мы либералы). Это, конечно, не либерально, и не консервативно, и не ретроградно, и не радикально, даже не «откровенно», потому что откровенность предполагаетъ собственную разверстую душу, а не копаніе въ чужой. Это просто дрянно. Сколько мнѣ извѣстно, положеніе г. Михайловскаго ни мало не интересно, а только очень тоскливо, неудобно и ни въ какомъ

случаѣ издѣательства не заслуживаетъ. А впрочемъ, г. Буренину лучше знать, ему и книги въ руки, онъ именно изъ тѣхъ, которые могутъ сказать о себѣ: «чужихъ имѣній мнѣ не знать!» Дѣло, однако, не въ г. Михайловскомъ, а въ Постороннемъ. Я не имѣю особенно принудительныхъ причинъ скрываться, но когда меня хватаютъ за горло, роются въ моей совѣсти и кричатъ: ты вотъ кто! ты вотъ что на душѣ имѣешь! то я отвѣчаю: — не ваше дѣло! молчите, неприличные вы люди! На то есть полиція, чтобы выдавать свидетельства о самоличности и провѣрять паспорта, а вы—литераторы. Кто можетъ уважать литературу, которая на себя позорно, самоубийственно замахивается, въ средѣ которой нельзя даже псевдонима себѣ выбрать?..

Милостивые государи, я тороплюсь сойти съ вопроса о моемъ личномъ положеніи, дабы вы и публика яснѣе увидѣли, что я имѣю въ виду общее положеніе вещей.

Въ № 111 «Русскихъ Вѣдомостей» г. Арс. Введенскій объясняетъ, что подписи «Сибирякъ» и «М—инъ», встрѣчающіяся въ последнее время довольно часто подъ разсказами изъ горнозаводскаго быта, принадлежатъ одному и тому же лицу. Г. Введенскій прибавляетъ: «я не думаю, чтобы принадлежность этихъ двухъ подписей одному автору могла быть подвержена сомнѣнію или бы составляла тайну, не подлежащую разоблаченію въ печати». Затѣмъ, основываясь на этой тождественности, г. Введенскій читаетъ пространныя наставленія г. Сибиряку и редакціи «Дѣла». Имѣлъ-ли г. Введенскій право поступать съ чужими подписями столь безцеремонно? Я ничего не знаю о г. Сибирякѣ, интересно его положеніе или нѣтъ, вѣрно предположеніе г. Введенскаго или не вѣрно, но я рѣшительно отвѣчаю на свой вопросъ отрицательно. Допустимъ, что свидѣнія г. Введенскаго вѣрны, что мотивы, заставляющіе человека подписываться сегодня «Сибирякъ», а завтра «М—инъ», г. Введенскимъ угаданы, что наставленія, которые онъ читаетъ писателю и редакціи, чрезвычайно драгоцѣнны. Но и за всѣмъ тѣмъ, правъ полиціи и судебного слѣдователя я за г. Введенскимъ признать не могу. Ибо, если во вниманіе къ достоинствамъ г. Введенскаго мы ему это право предоставимъ, то кто же себѣ этого права не потребуетъ? Потребуется и какой-нибудь Х, который можетъ оказаться лишеннымъ всякихъ достоинствъ, а не можемъ же мы ему скачивать: нѣтъ-съ, это только г. Введенскому предоставлено, тотъ не налжетъ, не ошибется, оцѣнитъ степень интересности положенія и т. д.; напримѣръ, псевдонимъ «графъ Александръ Ясминновъ» онъ не разоблачитъ,

а «Обманутаго мужа изъ Калуги» разоблачитъ, или наоборотъ, какъ ужъ тамъ самъ разсудитъ... И потомъ, что такое «тайна» (псевдонима), подлежащая разоблаченію въ печати? Представьте себѣ, что я подписываюсь «Постороннимъ», потому что отъ долговъ бѣгаю, укрываю отъ кредиторовъ свой гонораръ. Бѣгать отъ долговъ очень не хорошо, но кредиторамъ тутъ должна помогать не литература, а специальное учрежденіе — полиція. Я думаю, милостивые государи, что въ средѣ литературы не составляетъ утопіи мечта о такомъ, по крайней мѣрѣ, уваженіи къ личности собрата по перу (хотя бы и врага по убѣжденіямъ), чтобы предоставить ему право называться какъ онъ хочетъ и по мотивамъ, которые онъ считаетъ удовлетворительными. Право, вѣдь, это вовсе не много... Тѣмъ болѣе, что такое соблюденіе самыхъ элементарныхъ приличій не мѣшаетъ не только изложенію драгоцѣнныхъ наставленій, но даже и простой грываніи. Вотъ хоть бы г. Буренинъ могъ бы въ настоящемъ случаѣ прибѣгнуть къ приему, который онъ много разъ съ успѣхомъ употребляетъ и прежде относительно того же г. Михайловскаго. Говорить, говорить объ чемъ-нибудь очень важнымъ и интересномъ, да вдругъ и прибавить: а кромѣ того, есть еще на свѣтѣ такой-сякой, несколько не важный и не интересный Михайловскій. И чудесно. Поступилъ также въ эпизодѣ со мной, г. Буренинъ насыпалъ бы волковъ и сохранилъ бы овецъ, злобу свою утопилъ бы и приличіе соблюлъ бы. Теперь же я могу сказать только одно: г. Буренинъ перенесъ полемику на такую почву, на которой я заранѣе побѣжденъ и складываю оружіе. И знаете что: торжествующій г. Буренинъ... это такъ естественно, это только маленькая, но очень характерная частность большой картины.

V *).

Позвольте мнѣ коснуться одного щекотливаго (въ редакціонномъ собственно отношеніи) пункта...

Объ вашемъ журналѣ существуетъ лестное для васъ мнѣніе—и вы, конечно, сами его слышали—что онъ болѣе или менѣе неуклонно держится разъ избраннаго направленія, имѣетъ болѣе или менѣе опредѣленную фізіономію, которая можетъ нравиться однимъ и не нравиться другимъ, но къ которой читающая публика, во всякомъ случаѣ, привыкла, какъ къ хорошо знакомому лицу. Не думаю, однако, чтобы, приводя здѣсь это распространенное мнѣніе, я подлежалъ об-

*) 1883, июль.

виненію въ лести. Спора нѣтъ, съ лицами знакомыми всякому пріятію имѣть дѣло, нежели съ такими, относительно которыхъ нельзя предсказать, когда и при какихъ обстоятельствахъ они освѣтятся улыбкой, когда омрачатся нахмуренными бровями и когда совсѣмъ отвернутся отъ собесѣдника. А въ лицахъ коллективныхъ, такъ сказать, юридическихъ и притомъ берущихъ на себя всюкую обязанность судить и рѣдить обо всемъ, что дѣлается и чего не дѣлается на общемъ свѣтѣ—каковъ журналъ или газета—подобная измѣнчивость фizioноміи совсѣмъ уже никуда не годится. Но именно поэтому разговоръ объ опредѣленности фizioноміи журнала не можетъ быть заподозрѣнъ въ лъстивости. Если это похвала, то слишкомъ ужъ элементарная, пожалуй, въ родѣ даже того, что, дескать, такой-то платокъ изъ кармановъ не воруетъ. Пенелопа имѣла свои резоны раздѣлывать по ночамъ работу, сдѣланную днемъ. Но журналъ никакихъ такихъ резоновъ не имѣетъ. Понятно, что, разъ сознавъ ошибочность своего міровоззрѣнія или своей программы, журналъ не можетъ уже его держаться изъ упрямой или лицемѣрной прямолинейности. Но въ такомъ случаѣ онъ долженъ выразить это безъ виланій и уклоненій, съ тѣмъ большею опредѣленностью, чѣмъ важнѣе пунктъ сознанаго заблужденія. Дѣло совсѣмъ не въ формалистикѣ, не въ неподвижности, а тѣмъ болѣе не въ неподвижности quand même. Дѣло просто въ опредѣленности, иначе говоря, именно въ томъ, чтобы люди имѣли передъ собой такое лицо, относительно котораго извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ оно краснѣетъ и блѣднѣетъ, улыбается и хмурится.

Но, милостивые государи, если, по наиболѣе распространенному въ читающей публикѣ мнѣнію, журналъ вашъ представляетъ такое знакомое лицо, то не всѣ всетаки это мнѣніе раздѣляютъ. Мнѣ попался недавно одинъ изъ номеровъ «Недѣли» конца прошлаго года, въ которомъ была приведена выдержка изъ статьи нѣкотораго публициста, напечатанной въ одномъ мелкомъ изданіи. (Самого этого изданія я никогда не вижу, да и вы, вѣроятно, тоже). Означенный публицистъ отнюдь не держится распространеннаго объ вашемъ журналѣ мнѣнія. Онъ утверждаетъ именно, что еще недавно «Отечественныя Записки» «цѣловали мужицкій сапогъ» (или лапоть, не помню), а теперь цѣлуютъ «папскую туфлю съ Литейной», чѣмъ и доказываются шаткость вашихъ убѣжденій. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что приведенное мнѣніе лишено всякаго смысла. Когда и зачѣмъ цѣловали вы такую нечистоплотную и совершенно недостойную погѣлуя

вещь, какъ мужицкій лапоть или сапогъ? Папская туфля—другое дѣло: католики ее цѣлуютъ. Но, не будучи католиками, зачѣмъ совершаете вы эту, по существу унижительную, церемонію? Какая такая папская туфля «съ Литейной»? та-ли самая, которая въ Римѣ находится, или другая какая? И не дѣлаютъ-ли эту папскую туфлю съ Литейной тамъ же, гдѣ, по изслѣдованію титулярнаго совѣтника Поприщина, дѣлаютъ луну («и прескверно дѣлаютъ»), то-есть въ Гамбургѣ? Можно исписать цѣлую страничку такими вопросами и всетаки не добратъся до смысла въ обвиненіи почтеннаго публициста. Но все для васъ уяснится, если вы примете во вниманіе, что мужицкій сапогъ и папская туфля съ Литейной—это только метафора, остроумная, тонкая, ядовитая, глубокомысленная метафора. А именно подъ мужицкимъ сапогомъ надо разумѣть «народъ», а подъ папской туфлей съ Литейной—«интеллигенцію»...

Боже мой, какъ это надоѣло! Ниже я, впрочемъ, съ вашего позволенія, можетъ быть, коснусь (а можетъ быть, и не коснусь) этого обвиненія. Теперь же я привелъ сужденіе почтеннаго публициста съ двойкою цѣлью. Во-первыхъ, мнѣ хотѣлось привести вѣское доказательство, что луну дѣйствительно дѣлаютъ въ Гамбургѣ и дѣйствительно прескверно. Во-вторыхъ, предметъ моего сегодняшняго письма таковъ, что излишне, можетъ быть, будетъ нѣкоторое предварительное объясненіе насчетъ того, какъ слѣдуетъ понимать опредѣленность фizioноміи журнала и отсутствіе въ немъ внутреннихъ противорѣчій.

Представьте себѣ журналъ, посвященный развитію и распространенію идеи трансформизма, то-есть измѣнчивости органическихъ видовъ. Идея эта пользуется нынѣ, какъ извѣстно, такимъ значеніемъ и вліяніемъ ея чувствуется въ такихъ разнообразныхъ и, повидимому, удаленныхъ другъ отъ друга областяхъ знанія, что нашъ гипотетическій журналъ можетъ помѣщать у себя статьи и по біологіи, и по соціологіи, и по теоріи нравственности, и по теоріи познания, и по исторіи культуры, и по психологіи. Онъ можетъ, пожалуй, ввести на свои страницы беллетристику, поэзію, художественную критику, оставаясь вполнѣ вѣрнымъ своей основной идѣ. Спрашивается, останется-ли онъ ей также вѣренъ, если помѣститъ рядомъ статьи въ какой бы то ни было формѣ за и противъ дарвинизма? Можетъ быть, да, а можетъ быть, нѣтъ. Можно быть убѣжденнѣйшимъ адептомъ теоріи трансформизма и въ тоже время рѣшительно отрицать многіе изъ важнѣйшихъ принциповъ теоріи Дарвина; а слѣдовательно, въ журналѣ на-

шекъ могутъ находить себѣ мѣсто самые ярые противники дарвинизма на ряду съ его защитниками, если только тѣ и другіе сходятся на общей почвѣ трансформизма. Только тогда журналъ можетъ быть справедливо уличаемъ въ шаткости убѣжденія и неопредѣленности физіономіи, если вдругъ струситъ какихъ-нибудь логическихъ выводовъ изъ своей основной мысли, или почему-нибудь откажется приложить ихъ къ тому или къ другому факту, къ той или другой отрасли знанія, къ коимъ они вполне приложимы.

Возьмемъ другой примѣръ. Въ Англіи происходитъ теперь довольно сильное движеніе въ пользу такъ называемой націонализаціи земли. Журналъ, имѣющій задачей пропаганду этой идеи, можетъ, ни мало не противорѣча себѣ, печатать статьи за и противъ тѣхъ или другихъ юридическихъ, экономическихъ, политическихъ мотивовъ предлагаемой реформы, за и противъ тѣхъ или другихъ практическихъ способовъ ея осуществленія. Самая даже горячая полемика по этимъ второстепеннымъ вопросамъ, печатаясь въ одномъ и томъ же журналѣ, не запятнаетъ его страницъ противорѣчіемъ, пока полемизирующие спорять не о самомъ принципѣ націонализаціи, а лишь предъявляютъ различныя соображенія объ его справедливости или выгодности, или о практическихъ путяхъ къ его водворенію. Одна статья можетъ, напримѣръ, ссылаться на историческое право, а другая — относиться къ нему съ полнымъ пренебреженіемъ и въ теоріи экономической справедливости искать основанія для принципа націонализаціи; одна предлагать извѣстную систему налоговъ, другая — прямой выкупъ земли государствомъ и т. д. Понятное дѣло, что съ теченіемъ времени вопросъ можетъ перейти въ другую стадію, а именно, достаточно назрѣвъ для пракческаго осуществленія, можетъ потребовать, чтобы журналъ держался уже одного какого-нибудь способа проведенія его въ жизнь, если, конечно, другіе пути ему противорѣчатъ.

Все это я къ тому, милостивые государи, что мнѣ хотѣлось бы поговорить о нѣкоторыхъ вашихъ сотрудникахъ. Я знаю, что это не принято и можетъ подать поводъ къ заготовленію луны по гамбургски. Хотя съ другой стороны, въ нашей журналистикѣ нѣрѣдко случалось, что какъ только какой-нибудь сотрудникъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, оставилъ журналъ или газету, въ которой работалъ даже много лѣтъ, такъ вслѣдъ ему пускается иногда прямо обильная брань, или же самъ онъ начинаетъ предаваться жестокому «критику» по адресу своихъ вчерашнихъ сотрудниковъ. Я

думаю, что *est modus in rebus*. Я думаю, что журналъ можетъ говорить о своихъ сотрудникахъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ, не рискуя прослыть лживымъ панегиристомъ, но и не впадая въ противоположную крайность, съ сохраненіемъ полной свободы и безпристрастія и вмѣстѣ того уваженія къ этимъ сотрудникамъ, котораго они естественно заслуживаютъ съ точки зрѣнія журнала. Быть можетъ, я, въ качествѣ чужака посторонняго, нахожусь въ этомъ отношеніи въ особенно удобномъ положеніи и нижеслѣдующимъ не только не внесу на страницы «Отечественныхъ Записокъ» никакого внутренняго противорѣчія, а даже поспособствую уясненію точки зрѣнія редакціи.

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ печатаются въ «Отечественныхъ Запискахъ» интересныя и наводящія на размышленіе статьи г. В. В. Во всякой другой литературѣ, болѣе живой, менѣе придавленной, лицемѣрной и мелочной, статьи эти, конечно, обращали бы на себя гораздо больше вниманія, чѣмъ какое выпало у насъ на долю г. В. В. Печатались онѣ и во времена фантома «народной политики», когда, казалось бы, самыя эти слова обязывали попристальнѣе всмотрѣться въ попытку серьезнаго и оригинальнаго освѣщенія экономической стороны народной политики. Печатались и потомъ, когда еще усерднѣе закаламбурили все на ту же тему народной политики, съ особеннымъ подчеркиваніемъ національной стороны вопроса, и когда, слѣдовательно, еще любопытнѣе было бы остановиться на развѣртываемой г-мъ В. В. перспективѣ оригинальнаго, пожалуй, самобытнаго пути развитія русской жизни. Но нѣсколько бѣглыхъ рецензій и двѣ-три критическія статьи посерьезнѣе, вотъ и все, чего дождался г. В. В. и то уже тогда, когда статьи его были собраны воедино в изданы отдѣльной книгой («Судьбы капитализма въ Россіи». Спб. 1882).

Пожайлуста, не подумайте, что я намѣревался, какъ говорится, попомянуть этотъ пробѣлъ критики. Пробѣловъ этихъ, по разнымъ обстоятельствамъ, а главнымъ образомъ, конечно, по искусственной, насильственной разобщенности литературы и жизни, накопилось столько, что пора бы и бросить эту формулу «пополненія пробѣловъ»: по нынѣшнимъ временамъ всѣ дыры зашить было бы безумною мечтой и дакъ бы только Богъ хоть въ какомъ нѣ на есть видѣ сохранить остатки прикрытія наготы человѣческой. Я не располагаю фактическимъ матеріаломъ, нужнымъ для провѣрки и сличенія цифровыхъ данныхъ г. В. В., да еслибы таковой матеріалъ у меня и былъ подъ руками, я, всетаки, признаться ска-

зять, предоставилъ бы его кому-нибудь другому. Мнѣ хочется только сказать нѣсколько словъ объ нѣкоторыхъ общихъ положеніяхъ г. В. В. и думаю, что это можно сдѣлать совершенно свободно на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ». Журналъ вашъ нѣсколько уже лѣтъ печатаетъ статьи г. В. В. и затѣмъ, конечно, справедливо поступаетъ, предоставляя ему мѣсто для полемической защиты его долгой работы. Но редакция никогда не брала на себя ответственности за всѣ мысли г. В. В. въ ихъ полномъ объемѣ, тѣмъ болѣе, что мысли эти излагались не въ однихъ «Отечественныхъ Запискахъ», а и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ и, наконецъ, въ небольшомъ, но характерномъ предисловіи къ книгѣ «Судьбы капитала въ Россіи».

Оригинальность позиціи, занятой г. В. В. въ вопросѣ первѣйшей важности, много разъ подвергавшемся обсужденію съ разныхъ сторонъ, состоитъ въ слѣдующемъ.

Существуетъ мнѣніе, что для Россіи неизбѣженъ и желателенъ тотъ путь экономическаго развитія, которымъ шла западная Европа. Путь же этотъ состоитъ въ разложеніи средневѣковыхъ формъ организаціи труда, въ отлученіи непосредственныхъ производителей отъ орудій производства и въ сосредоточеніи ихъ, въ видѣ голой рабочей силы, въ большихъ промышленныхъ учрежденіяхъ подъ руководствомъ капитала. Мнѣніе это опирается на историческій примѣръ Европы, на доктрины распатанной, но всетаки ходячей, такъ-называемой, либеральной политической экономіи и, что всего важнѣе, на многіе политически-сильные интересы, то-есть на такіе, которые прямо или косвенно играютъ важную роль въ ходѣ нашихъ дѣлъ.

Существуетъ другое мнѣніе, по которому Европа намъ во всѣхъ смыслахъ не указъ, ибо въ нѣкоторыхъ, изстари сохранившихся у насъ учрежденіяхъ (община, артель), равно какъ и въ глубинѣ самобытнаго русскаго духа, имѣются прочныя гарантіи отъ извѣ европейскихъ экономическихъ порядковъ. Мнѣніе это, въ своемъ чистомъ видѣ, не имѣетъ ровно никакого практическаго значенія. Пережевываніемъ его занимаются славянофильскіе и славянофильствующие люди, оставаясь въ туманѣ ни къ чему не обязывающихъ общихъ мѣстъ, да чувствительныхъ словъ, то грозныхъ, то умильных, то хвастливыхъ. Но когда такимъ способомъ паробразныя частицы улечиваются въ безконечное пространство, то остается осадокъ, весьма пригодный для украшенія предыдущаго мнѣнія. Такъ какъ покровительству подлежитъ все отечественное, самобытное (конечно, не предусмотрѣнное о наказаніяхъ), то подле-

жать ему и отечественные капиталисты. И съ этого момента начинается самообдѣленіе самобытности. Не трудно, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, что, расчищая дорогу отечественному самобытному капиталу, мы, путемъ казенныхъ субсидій, искусственнаго спроса, охранительныхъ пошлинъ, расчищенія рынковъ, водворяемъ у себя какъ разъ тотъ самый европейскій экономическій порядокъ, отъ котораго будто бы гарантированы самобытныя черты русскаго духа.

Существуетъ третье мнѣніе, по которому Европа намъ непремѣнно указъ, въ смыслѣ историческаго примѣра, положительнаго или отрицательнаго. По этому мнѣнію, мы можемъ и должны черпать изъ богатой сокровищницы европейской цивилизаціи все пригодное и вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгать ошибокъ, сдѣланныхъ старой Европой въ своемъ блестящемъ историческомъ шествіи. Между прочимъ, мы можемъ и должны стараться избѣжать того отлученія производителей отъ силъ природы и орудій производства, которое совершилось въ Европѣ, что называется, зря, безъ участія направляющаго разума, а единственно роковою силою сдѣленія событій. Для этого мы должны встать на почву народной политики не въ каламбурномъ, а въ дѣйствительномъ смыслѣ слова, то-есть пробнымъ камнемъ мѣропріятій, плановъ, словомъ, всей внутренней и вѣшной политики, сдѣлать интересы непосредственныхъ производителей, представителей труда. Разныя заслоняющія этотъ предметъ вещи, какъ то: народная гордость, національныя богатства, русское добро, самобытный духъ и пр. должны быть убраны на задній планъ. Иначе Россія, подъ тѣмъ или другимъ соусомъ, либеральнымъ или самобытнымъ, продѣлаетъ на себѣ экономическую исторію Европы, причемъ другія, дѣйствительно, благодѣтельные стороны европейской цивилизаціи останутся, можетъ быть, подъ спудомъ, благодаря нѣкоторымъ особенностямъ нашего общественнаго строя.

Это послѣднее мнѣніе, раздѣляемое, сколько я понимаю, «Отечественными Записками», тоже не имѣетъ практическаго, дѣловаго значенія и осуждено пока играть роль гласа, вопіющаго въ пустынь. Политически сильныя элементы его не раздѣляютъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ оно слишкомъ опредѣленно и не гибко, чтобы заняться недостойною игрою въ каламбуры самобытнаго духа и народной гордости.

Изъ всѣхъ этихъ трехъ направленій г. В. В. натурально стоитъ ближе всего къ послѣднему. Онъ даже совсѣмъ въ него входитъ, съ тѣмъ единственнымъ, но, повидимому, чрезвычайно важнымъ отличіемъ, которое опредѣляется его убѣжденіемъ въ невозмож-

ности для Россіи капиталистическаго строя на европейскій манеръ. По мнѣнію г. В. В., всѣ надежды и опасенія на этотъ счетъ одинаково тщетны. Ни бояться намъ капитализма не приходится, ни надѣяться на его торжество, ибо самая возможность его господства на Руси есть химера. Напрасно мы, въ близорукостъ увлеченіи, примѣромъ Запада, со страшными жертвованіями, пытаемся водворить у себя крупную промышленность, организованную на европейскій ладъ: ничего изъ этого не выходитъ и выйти не можетъ. Но столь же напрасны и опасенія того факта, что капитализмъ заполонитъ нашу родину: капитализмъ нашъ фатально вялъ, неповоротливъ, не имѣетъ корней и напоминаетъ своими проявленіями анекдотъ о томъ мужикѣ, который, получивъ власть, рассчитывалъ украсть сто цѣлковыхъ и убѣжать. Это убѣжденіе свое г. В. В. черпаетъ отнюдь не въ какомъ-нибудь самобытномъ духѣ или русскою добрѣ—и вотъ почему славянофильскіе и славянофильствующие люди не обомлвились, кажется, ни единымъ словомъ ни о статьяхъ, ни о книгѣ г. В. В., хотя его-то, конечно, нельзя уличать въ прикосновенности къ подражанію Западу. Такъ, не въ самобытностяхъ или гордостяхъ и тому подобныхъ глупостяхъ почерпаетъ г. В. В. увѣренность въ невозможности у насъ капиталистическаго строя, а въ анализѣ условій нашей экономической жизни.

Посмотримъ, однако, нѣсколько ближе, что, собственно, по мнѣнію г. В. В., невозможно и въ какой мѣрѣ невозможно.

Если имѣть въ виду не колоссальное развитіе европейской промышленности, не грандіозную картину богатствъ Запада, а острую рабочаго вопроса, массы пролетаріевъ, эмиграцію, періодическія бури, крахи, то взглядъ г. В. В. можетъ показаться съ перваго раза чрезвычайно оптимистическимъ. Отрицавъ возможность капиталистическаго строя на Руси, онъ тѣмъ самымъ какъ бы удаляетъ изъ нашего будущаго и всѣ тѣньевыя стороны процесса. На самомъ дѣлѣ, это, однако, вовсе не такъ, и даже очень поверхностный читатель не можетъ обличать нашего автора въ излишнемъ оптимизмѣ, хотя бы въ виду одной слѣдующей его фразы (изъ предисловія къ «Судьбамъ капитализма въ Россіи»): «Отрицавъ возможность господства въ Россіи капитализма, какъ формы производства, я ничего не предвѣщаю относительно его будущаго, какъ формы и степени эксплуатаціи народныхъ силъ». Болѣе внимательный читатель знаетъ, что во всей работѣ г. В. В. эта оговорка постоянно имѣется въ виду и, понятное дѣло, процессъ обезземеленія подчеркивается при этомъ съ особенною выразительностью. Дру-

гими словами, капитализмъ, по мнѣнію г. В. В., не можетъ у насъ достигнуть тѣхъ законченныхъ формъ и той напряженности производства, которыхъ онъ достигъ въ Европѣ, но процедуру отлученія производителей отъ силъ природы и орудій производства онъ совершать можетъ и теперь уже съ успѣхомъ совершаетъ. Мало того, даже при искреннемъ и продуманномъ желаніи остановить этотъ процессъ, уже теперь нужны для этого большія усилія и весьма рѣшительныя мѣры. Слѣдовательно, въ ближайшемъ, да и не въ особенно близкомъ будущемъ, г. В. В. не предвидитъ никакой Аркадіи отъ того, что капитализмъ не разростется на европейскій манеръ. Очень характерны въ этомъ отношеніи слѣдующія слова г. В. В. по поводу разныхъ соображеній о развитіи у насъ механическаго производства, машиностроенія. Онъ предвидитъ переходъ этой отрасли производства въ руки артельной организаціи. Но «раньше», чѣмъ артельная организація охватитъ механическую отрасль промышленности, послѣдняя, вѣроятно, перейдетъ въ казенное завѣдываніе. Но еще раньше «правительство побѣется еще нѣкоторое время, пробуя различныя мѣропріятія въ пользу капитализма, и затратить немалое количество рублей ради уплоченія этой формы промышленной организаціи». Что же касается казеннаго завѣдыванія, то самъ г. В. В. предается по этому случаю такимъ размышленіямъ:

«Но не утопія-ли все это? скажетъ читатель. Исправится-ли дѣло съ переходомъ въ руки казны; сдѣлаются-ли его руководителями люди талантливые, способные организовать производство по всѣмъ правиламъ техники; будетъ-ли администрація заводовъ заботиться о благосостояніи рабочаго и не станетъ-ли она, напротивъ того, урѣзывать всякій его кусокъ, съ цѣлью наполненія собственнаго кармана? такимъ образомъ, процессъ накопленія капитала не перемѣнитъ-ли только внѣшнюю оболочку, и капиталистъ казнокрадъ не займетъ-ли мѣсто современнаго дѣльца? Да, читатель! Если бы завтра исполнилось то, что мы проектируемъ, то именно по твоему бы и вышло. Хищные инстинкты такъ сильны въ современномъ обществѣ, что въ той или иной формѣ, а ближайшее будущее принадлежитъ имъ. Но это-то хищническое направленіе общества и послужитъ препятствіемъ скорому выполненію нашего проекта; ибо указанная переорганизація промышленности поведетъ къ уничтоженію обычныхъ пріемовъ, которыми до сихъ поръ хищничество питалось, а тамъ еще жди, когда и какъ выработаются новыя орудія хищенія и попадутъ-ли они въ твои руки! Современные

руководители хищниковъ, повторяемъ, воспрпятствуютъ перемѣнѣ, ближайшимъ результатомъ которой было бы измѣненіе формы хищенія». (Судьбы капитализма, стр. 67 и слѣд.).

Какъ видите, розоваго взгляда на ближайшее будущее тутъ нѣтъ, и не Аркадія намъ предстоитъ завтра, и послѣ завтра, и послѣ послѣ завтра: невозможность капиталистическаго строя Аркадіи еще не гарантируетъ даже въ спеціальной области чисто-экономическихъ отношеній.

Пойдемъ дальше.

Г. В. В. привелъ много свидѣтельствъ vitality нашего капитализма и его фатальной склонности жить не за свой счетъ, а при помощи казенныхъ субсидій, гарантій, охранительныхъ пошлинъ, искусственныхъ заказовъ, напоминающихъ знаменитыя національныя мастерскія 1848 года, только въ пользу капиталистовъ, и т. п. Но доказалъ-ли онъ, что капиталистическое производство у насъ рѣшительно невозможно? Нѣтъ, не доказалъ, да и не хотѣлъ доказывать и нельзя этого доказать. Съ особеннымъ выразительностью говоритъ объ этомъ г. В. В. въ своей послѣдней, полемической статьѣ («Излишекъ снабженія рынка товарами», «Отечественныя Записки», май). Парируя доводы гг. Е. П. и Исаева, г. В. В. пишетъ, между прочимъ: «Капиталистическое производство очень быстро (по-русски, разумеется) развивается въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производства». И далѣе: «Весьма вѣроятно, что Россія, какъ и другія страны, имѣетъ нѣкоторые естественныя преимущества, благодаря которымъ она можетъ явиться поставщикомъ на внѣшніе рынки извѣстнаго рода товаровъ; очень можетъ быть, что этимъ воспользуется капиталъ и захватитъ въ свои руки соответствующія отрасли производства, т. е. національное раздѣленіе труда, дѣйствительно, поможетъ нашему капитализму укрѣпиться въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производства; но, вѣдь, у насъ идетъ рѣчь не объ этомъ; мы говоримъ не о случайномъ участіи капитала въ промышленной организаціи страны, а о вѣроятности построенія всего производства Россіи на капиталистическомъ принципѣ».

Вотъ, значитъ, въ чемъ дѣло, У насъ, значитъ, возможно въ обширныхъ размѣрахъ и уже практикуется: во-первыхъ, отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства, каковое отлученіе есть неизбѣжный спутникъ и даже фундаментъ капиталистическаго строя; возможно то, что сейчасъ казалось невозможнымъ — законченныя формы капитализма; только онъ безсильны охватить все производство страны. Этого онъ не могутъ.

Ну, а въ Европѣ могутъ? До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, тоже не могли. По свидѣтельству самого г. В. В. въ упомянутой полемической статьѣ, «типическая капиталистическая организація охватила лишь незначительную часть всего международнаго производства». А въ книгѣ «Судьбы капитализма» читаемъ: «Если хотите, только одна Англія можетъ быть названа страной чистаго капитализма; въ Америкѣ въ рукахъ крупнаго капитала находится фабричная промышленность, земля же въ большинствѣ случаевъ обрабатывается самими ея владѣльцами. Во Франціи мелкое земледѣліе не только преобладающе существуетъ (наемные сельскіе рабочіе составляютъ здѣсь всего 14% земледѣльческаго класса), но и стѣсняетъ крупныя хозяйства, фермеры жалуются на недостатокъ рабочихъ, не смотря на періодическій наплывъ ихъ изъ Бельгіи, Испаніи, Швейцаріи и на увеличившееся употребленіе машинъ... напомнимъ, какъ удивились нѣмецкіе ученые, когда статистическими изслѣдованіями было обнаружено, что крупная промышленность въ Пруссіи вовсе не такъ развита, а мелкая не въ такомъ упадкѣ, какъ это привыкли обыкновенно считать, основываясь на положеніяхъ буржуазной политической экономіи» (стр. 185—187).

Итакъ, подобно всему тому направленію, къ которому примыкаетъ г. В. В., онъ считаетъ ложною экономическую политику, направленную къ усиленію у насъ капитализма, и полагаетъ необходимымъ построить благосостояніе страны на прямыхъ заботахъ о непосредственныхъ производителяхъ. Въ пользу этихъ положеній или выводовъ г. В. В. привелъ не мало фактовъ и аргументовъ. Но для истиннаго пониманія его оригинальнаго тезиса о невозможности у насъ капиталистическаго строя, въ противоположность Европѣ, гдѣ онъ имѣетъ свои *raison d'être*; для правильнаго пониманія этого тезиса надо имѣть въ виду, что капиталистическій строй въ Европѣ не такъ ужъ господствуетъ, какъ обыкновенно думаютъ, а у насъ не такъ ужъ отсутствуетъ, чтобы даже для отдаленнаго будущаго можно было противопоставлять наши экономическіе порядки европейскимъ. Безъ сомнѣнія, нашъ капитализмъ находится еще въ зачаточномъ состояніи и въ данный историческій моментъ мы можемъ съ сравнительно большимъ удобствомъ выбирать характеръ своей экономической политики. Но положеніе о невозможности, химеричности нашего капитализма надо понимать съ тѣми ограниченіями, которыя я сейчасъ заимствовалъ у самого г. В. В.: эта невозможность далеко не абсолютная, и, можетъ быть, даже не совсѣмъ правильно называть ее невозможностью.

Но здѣсь мы подходимъ къ чрезвычайно любопытному пункту работы г. В. В.

Въ предисловіи къ «Судьбамъ капитализма» г. В. В. говоритъ, между прочимъ, о томъ направленіи, «въ которому принадлежатъ какъ публицисты буржуазія на западно-европейскій манеръ, такъ и социалисты школы Маркса». Это направленіе считаетъ капиталистическій строй для Россіи неизбежнымъ. «Предполагается, что самостоятельные производители—ремесленники не въ состояніи произвольно организовать свое производство въ мануфактуру и фабрику, принявъ для этого, насколько возможно, всѣ техническія усовершенствованія; что выполнение задачи этой организаціи беретъ на себя капиталъ, и подъ его жестокимъ управленіемъ рабочіе терпятъ чрезвычайный индивидуализмъ, дисциплинируются, приобретаютъ свойства, дѣлающія возможной общественную форму труда со всѣми ея послѣдствіями (фраза эта съ буквальною точностію повторяется и въ текстѣ книги, стр. 30: «предполагается» и т. д.). Причѣмъ первые (то есть буржуазные экономисты) утверждаютъ, что на этой ступени развитія промышленный строй останется вѣчно: вторые же (то есть марксисты) вѣрятъ, что когда капиталъ организуетъ всѣхъ или главную массу рабочихъ, миссія его окончится: воспитанные подъ его вліяніемъ для крупнаго производства, рабочіе поведутъ послѣднее безъ его посредства. Но это уже дѣло отдаленнаго будущаго, предметъ заботы нашихъ внуковъ и правнуковъ; намъ остается примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма и постараться только смягчить черезъ-чуръ рѣзкія его проявленія».

Позволю себѣ усомниться, чтобы марксисты такъ рѣшительно предлагали «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма». Мнѣ случилось разъ слышать мнѣніе одного изъ самыхъ замѣчательныхъ и послѣдовательныхъ русскихъ сторонниковъ Маркса, что «пока мужикъ не выварится въ фабричномъ котлѣ, изъ него никакого проку не будетъ». Но я думаю всетаки, что это—отдѣльное мнѣніе, хотя бы и еще кѣмъ-нибудь раздѣляемо, и притомъ наталкивающееся на многія логическія неудобства. Марксисты, какъ и прочіе, знаютъ, что вывариваніе въ фабричномъ котлѣ ведетъ за собой не только гипотетическія благотворительное «обобществленіе» труда, а и многія другія, завѣдомо неблагоприятныя послѣдствія; тѣмъ болѣе неблагоприятныя, что вліяніе ихъ отражается на цѣлыхъ поколѣніяхъ. Таковы болѣзни, развратъ, вырожденіе. Правда, что и напѣ невываренный въ фабричномъ котлѣ мужикъ, на другой манеръ, конечно, но всетаки тоже бо-

лѣеть, развращается, вырождается; но изъ этого еще не слѣдуетъ, что только и свѣтъ, что въ окопѣ. Правда, небылицеподобныя послѣдствія фабричнаго котла до известной степени парализуются фабричнымъ законодательствомъ, но въ самой Англіи, гдѣ законодательство это наиболѣе развито, котелъ востаніи остается котломъ. Правда, наконецъ, что марксисты должны себя чувствовать въ практическомъ отношеніи удобнѣе въ Европѣ, гдѣ капитализмъ есть готовый уже крупный общественный фактъ, чѣмъ въ Россіи, но изъ этого не слѣдуетъ, что въ послѣдней они должны «примириться» съ возникающимъ экономическимъ порядкомъ. Нагляднымъ свидѣтельствомъ ошибочности этого утвержденія г. В. В. можетъ служить слѣдующее обстоятельство. Въ 1880 г., въ журналѣ «Слово», было напечатано замѣчательное изслѣдованіе г. Николая—она (я не помню заглавія, а г. В. В. его не приводитъ). Посвящая ему послѣднюю главу своей книги, г. В. В. замѣчаетъ, что авторъ «приступилъ къ вопросу, очевидно, съ предвзвѣтой идеей, вѣру въ непогрѣшимость общепринятой (?) теоріи: и самъ Марксъ, заинтересуясь онъ судьбами русскаго капитализма, не могъ бы избрать лучшаго метода изслѣдованія и врядъ-ли провелъ бы его болѣе послѣдовательно, чѣмъ это сдѣлалъ авторъ». Прекрасно, какъ же относится г. —онъ къ нашему вопросу? предлагается-ли онъ «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма»? Отнюдь нѣтъ. Вотъ, наприимѣръ, какую выдержку изъ статьи г. —она приводитъ самъ г. В. В.:

«Капитализмъ, который породилъ такое трудное положеніе дѣлъ, который разрушилъ всѣ вѣковые народныя устои, хозяйственные, правовые, нравственные, не смотря на все это, пользуется репутаціей зиждителя основъ, тогда какъ направленіе, стремящееся къ тому, чтобы не допустить до гибели, а дать возможность развитія основныя мысли манифеста 19 февраля, направленіе это, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ, относилось къ числу разрушительныхъ. Можно надѣяться, что настоящій кризисъ откроетъ глаза обществу и покажетъ тѣхъ и другихъ въ настоящемъ свѣтѣ... Такъ какъ накопленію избытковъ продуктовъ труда въ рукахъ производителей и обращенію ихъ на развитіе средствъ производства препятствовала общественно-хозяйственная дѣятельность послѣднихъ 15—20 лѣтъ, дѣятельность, приведшая къ наступающему кризису, то, во избѣжаніе повторенія его, а главнымъ образомъ для опосредствованія общественно-хозяйственному развитію производителей, слѣдовательно, и всей страны, необходимо сойти съ того пути, который стремится

къ развитію общины и направить всѣ силы на развитіе успѣшности труда производителей *при свободномъ владѣніи ими орудіями труда*, въ чемъ Положеніе совершенно справедливо видитъ залогъ домашняго благополучія и блага общественнаго».

Надѣюсь, милостивые государи, что тираду эту нельзя назвать приглашеніемъ «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма». А между тѣмъ, по словамъ г. В. В., какъ вы сейчасъ видѣли, «самъ Марксъ, заинтересуясь онъ судьбами русскаго капитализма, не могъ бы избрать лучшаго метода изслѣдованія и врядъ-ли провелъ бы его болѣе послѣдовательно, чѣмъ это сдѣлалъ г. — онъ».

Если, однако, г. В. В. относится, такимъ образомъ, не совсѣмъ правильно къ практическому положенію школы Маркса, то существуетъ одинъ философско-историческій пунктъ, на которомъ онъ является крайнимъ марксистомъ.

Я уже приводилъ дважды буквально повторяемую фразу г. В. В. о «капиталѣ, подъ желѣзнымъ управленіемъ котораго рабочіе теряютъ чрезмѣрный индивидуализмъ, дисциплинируются, приобрѣтаютъ свойства, дѣлающія возможной общественную форму труда со всѣми благами ея послѣдствіями». Такое воззрѣніе на капиталъ г. В. В. усвоиваетъ и школѣ Маркса, и буржуазнымъ экономистамъ, предполагая лишь ту разницу, что первая видитъ въ этомъ обобществленіи труда при помощи капитала только переходный историческій моментъ, а буржуазные экономисты усматриваютъ здѣсь конечную форму экономическихъ отношеній, предѣлъ, его же не преидеши. На самомъ дѣлѣ, однако, буржуазная или, такъ называемая, либеральная политическая экономія рѣшительно не причесть въ формулѣ обобществленія труда. Никогда не желала она «утраты чрезмѣрнаго индивидуализма», а, напротивъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ она родилась, и до нашихъ дней пропагандировала именно необходимость и благотворность индивидуализма. Она могла бы сослаться, а при случаѣ и ссылается на то, что ростъ капитализма разложилъ стѣснявшіе индивидуальный полетъ—цехъ, общину, средневѣковое государство. Что касается школы Маркса, то воззрѣніе, по которому историческое значеніе капитала состоитъ въ воспитаніи рабочихъ для общественной формы труда, воззрѣніе, гегелианское происхождение котораго отражается и на сильныхъ, и на слабыхъ его сторонахъ, я обсуждать не буду. Я попрошу васъ только посмотреть, вмѣстѣ со мной, какъ относятся къ нему г. В. В.

Съ полною опредѣленностью отношеніе

это высказывается въ упомянутой полемической статьѣ. Г. В. В. говоритъ здѣсь, что въ своей книгѣ, т. е. во всей, значить, своей работѣ, онъ разсматриваетъ капитализмъ, «какъ дѣятеля, историческая роль котораго заключается въ превращеніи единичнаго труда въ общественной». Въ другомъ мѣстѣ говорится, что «прямая задача капитализма состоитъ въ «воспитаніи населенія для общественной формы труда». На этомъ основаніи, признавъ, что капиталистическое производство «очень быстро развивается въ нѣкоторыхъ отрасляхъ», г. В. В. прибавляетъ: «но это развитіе всего меньше касается организаціи труда; оно построено не столько на привлеченіи къ производству новыхъ рабочихъ, на распространеніи воспитательнаго вліянія крупной организаціи производства (*главнѣйшая общественно-историческая задача капитализма*) на новыя группы рабочихъ, а главнымъ образомъ, на развитіи техники, на возвышеніи производительности рабочихъ, уже занятыхъ капиталомъ».

Выходитъ, что еслибы русскій капитализмъ исполнялъ свою «историческую роль», свою «прямую задачу», иначе говоря, еслибы онъ вваливалъ въ фабричный котелъ все больше и больше народу, то г. В. В., пожалуй, и ничего бы противъ него не имѣлъ. Но нашъ капитализмъ не «распространяетъ воспитательнаго вліянія крупной организаціи производства», изъ чего и явствуетъ его ненужность и слабость. Откуда, однако, эта увѣренность, что фабричный котелъ имѣетъ дѣйствительно благотворное воспитательное вліяніе? Г. В. В. обладаетъ этою увѣренностью, обладаетъ до такой степени, что не считаетъ даже нужнымъ какъ-нибудь мотивировать ее, обосновать на глазахъ читателей. Между тѣмъ, дѣло тутъ вовсе не столь ясно и несомнѣнно, какъ таблица умноженія или какая-нибудь геометрическая аксіома. Въ сущности, «общественная форма труда», при господствѣ капитализма, сводится къ тому, что вѣскольکو сотъ или тысячь рабочихъ точатъ, вертятъ, накладываютъ, подкладываютъ, тянутъ, бьютъ и совершаютъ еще множество другихъ операцій въ одномъ помещеніи. Общій же характеръ этого режима прекрасно выражается поговоркой: «каждый за себя, а ужъ Богъ за всѣхъ». При чемъ тутъ «общественная форма труда»? Правда, мы видимъ иногда на Западѣ такую солидарность между рабочими, какую мудренно встрѣтитъ у насъ, но это объясняется отнюдь не непосредственно условіями труда въ фабричномъ котлѣ, а развитіемъ просвѣщенія и политической жизни. Не распространяясь на эту тему, я сошлюсь

на самого г. В. В. Приведа на стр. 117—124 своей книги несколько черт развитія въ Европѣ мелкой промышленности, рядомъ съ крупной, а иногда даже въ ущербъ и подрывъ послѣдней, г. В. В. пишетъ: «Организуя трудъ, капиталъ стремится къ одной цѣли: достигнуть наибольшаго производства съ наименьшими издержками. При организации же общественной формы труда въ интересахъ народа, рядомъ съ принципами хозяйственной экономіи, будутъ поставлены и другіе, какъ-то: доставленіе наибольшаго досуга работающему, предупрежденіе оглуляющаго дѣйствія однообразныхъ манипуляцій, вреднаго вліянія на организмъ скученности людей и производства, устраненія отъ послѣдняго дѣтей, можетъ быть, и женщинъ, и проч. Весьма вѣроятно, что удовлетвореніе всѣмъ этимъ требованіямъ поведетъ къ необходимости создать новую, отличную отъ капиталистической, промышленную единицу и ихъ систему, сходную, на примѣръ, съ той, какая практикуется въ швейцарскомъ часовомъ производствѣ. А въ такомъ случаѣ и рабочій вопросъ на Западѣ усложняется еще больше: становится недостаточно одного лишь замѣщенія капиталиста группою рабочихъ въ организаціи, совершенно уже для нихъ подготовленной капиталомъ. Капиталъ, правда, организовалъ трудъ, но въ форму, неприглядную для рабочаго, и послѣднему придется ее перестраивать».

Спрашивается, какъ связать этотъ скептицизмъ съ тою увѣренностью въ «исторической задачѣ» капитала, съ точки зрѣнія которой г. В. В., по его собственнымъ словамъ, смотритъ на капиталъ во всей своей работѣ, и которая столь сильна въ немъ, что онъ не считаетъ даже нужнымъ представлять на этотъ счетъ какіе-либо мотивы и доказательства? Я не знаю, какъ связать, но думаю, что эпизодически прорывающійся скептицизмъ г. В. В. совершенно законенъ и что если капитализмъ и имѣетъ какую-нибудь общественно-историческую задачу или миссію, такъ развѣ только отрицательную. Допуская же, вмѣстѣ съ г. В. В., что миссія эта состоитъ именно въ воспитаніи рабочихъ для общественнаго труда, надо будетъ, кажется, признать, что капитализмъ въ Европѣ не исполняетъ своей «прямой», своей «главнѣйшей общественно-исторической задачи». А если онъ не исполняетъ ее тамъ, то что же удивительнаго, особенно утѣшительнаго или особенно огорчительнаго, наконецъ, просто оригинальнаго въ томъ, что онъ не исполняетъ ея и у насъ?

Если вы потрудитесь суммировать всѣ эти блѣды замѣчанія, основанныя преимущественно на собственныхъ показаніяхъ г. В. В., то согласитесь, я думаю, что уста-

навливаемая г. В. В. качественная разница между русскимъ и европейскимъ экономическимъ строемъ не такъ велика, какъ можетъ показаться. Во-первыхъ, и у насъ, какъ въ Европѣ, происходитъ отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства. Во-вторыхъ, и у насъ, какъ въ Европѣ, возможны, въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, отрасляхъ производства, законченные формы капитализма. Въ-третьихъ, и въ Европѣ, какъ у насъ, не все производство построено на капиталистическомъ принципѣ. Въ-четвертыхъ, и въ Европѣ, какъ у насъ, на капиталистическое воспитаніе рабочихъ для общественной формы труда является по малой мѣрѣ проблематичнымъ. При этомъ не слѣдуетъ, разумѣется, чтобы мы должны были желать водворенія у насъ европейскихъ экономическихъ порядковъ, то-есть расцвѣта того, что у насъ находится пока въ зачаткѣ. Отнюдь нѣтъ. Уже потому этого не слѣдуетъ, что сама Европа давнымъ-давно подумываетъ о неладности своихъ экономическихъ отношеній. Такъ давно, что мы, по случаю своей самобытности, успѣли даже забыть, что истинныя основанія критики этихъ отношеній совсѣмъ не мы выдумали, а заимствовали у самихъ европейцевъ же. Нынѣ тамъ эта критика такъ усилилась, что заявляется, хотя бы и въ микроскопическихъ размѣрахъ и съ задними цѣлями борьбы политическихъ партій, въ такихъ сферахъ, каковы министерство Бисмарка въ Германіи и Ферри во Франціи. Изъ не возможности у насъ европейскихъ порядковъ слѣдуетъ, напротивъ, что съ водвореніемъ ихъ надо бороться.

Это собственно и дѣлаетъ, по мѣрѣ силъ и возможности, г. В. В., печатая свои статьи и издавая свои книжки. Онъ хорошее дѣло дѣлаетъ, разумѣется, вовсе не стираемое тѣми недоразумѣніями, которыя отмѣчены выше, а равно и тѣми недоразумѣніемъ, которое я отмѣчу сейчасъ.

Къ кому, полагаете вы, обращается г. В. В. съ своими совѣтами, ободреніями, указаніями? къ правительству, къ людямъ, коюсвенно власть имѣющимъ, къ какой-нибудь опредѣленной общественной группѣ? Люди, власть имѣющие, не обязаны у насъ предъявлять обществу свою программу, и г. В. В., какъ можно думать на основаніи 5 и 6 страницъ предисловія къ «Судьбамъ капитализма», находитъ это отрицательное обстоятельство удобнымъ и соотвѣтствующимъ нашему положенію. Но если намъ и неизвѣстны программы людей, власть имущихъ, въ подробностяхъ, то настолько-то мы все-таки ихъ знаемъ, чтобы съ увѣренностью сказать, что «обобществленіе» труда

при помощи капитала отнюдь въ нихъ не входитъ. Нѣкоторые положенія и аргументы г. В. В. всѣмъ понятны, доступны, всѣмъ, такъ сказать, на потребу. Когда онъ говоритъ, напимѣръ, и доказываетъ фактами и теоретическими соображеніями, что казенныя субсидіи и гарантіи крупнымъ промышленнымъ предпріятіямъ, лишь временно и искусственно поддерживая предпріятіе, въ то же время, въ числѣ другихъ причинъ, вырываютъ почву у промышленности, способствуя опустошенію народнаго кармана, когда онъ говоритъ это, то всякій, имѣющій власть или не имѣющій ея, можетъ съ нимъ соглашаться или не соглашаться, но, во всякомъ случаѣ, тутъ возможенъ разговоръ, умственное общеніе. Но когда онъ выдвигаетъ свою «главнѣйшую», общественно-историческую задачу» капитализма, то въ огромномъ большинствѣ случаевъ не произойдетъ никакого разговора, если только не считать разговоромъ такіа объясненія:

Одинъ собесѣдникъ скажетъ: съ чего вы взяли, что я желаю какого-то воспитанія рабочихъ въ общественномъ смыслѣ? Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до вашего обобществленія труда, я объ немъ просто не думаю, и если русскій капитализмъ окажется не въ силахъ уничтожить «чрезмѣрный индивидуализмъ», такъ тѣмъ лучше, я нахожу, что у насъ, въ Россіи, индивидуализмъ слишкомъ мало развитъ, благодаря тѣмъ отсталымъ общинамъ и артелямъ, которыя вы такъ превозносите, а равно и нѣкоторымъ другимъ учрежденіямъ, о которыхъ вы умалчиваете. Мнѣ нужно производство, эксплуатация силъ природы; средство для этого есть капиталъ, и я ему помогаю.

Такъ скажетъ сторонникъ буржуазной или либеральной политической экономіи. А другой собесѣдникъ скажетъ: обобществленіе труда есть великое и необходимое дѣло, но я не вижу, чтобы оно достигалось путемъ капиталистическаго производства и, по моему, вы совершенно напрасно смотрите въ своей книгѣ на капитализмъ съ этой точки зрѣнія. Затѣмъ останется, можетъ быть, горсть людей, которые заинтересуются соображеніями г. В. В. насчетъ возможности для капитализма исполнять въ Россіи свою «прямую», свою «главнѣйшую», общественно-историческую задачу»...

На этомъ я долженъ кончить свои замѣчанія о книгѣ г. В. В.

VI *).

Странная погода стоитъ на дворѣ, милостивые государи, и странное время мы пе-

реживаемъ. Странное и сумбурное. Все, что совершается въ это странное время, имѣетъ свойство, при малѣйшемъ прикосновеніи, свертываться, подобно ежу, въ клубокъ, выпускать изъ себя торчащія во всѣ стороны иглы и располагать ихъ, повидимому, безо всякаго порядка и системы; а въ сущности, система тутъ есть и состоитъ она въ томъ, что къ ежу ни съ которой стороны подступиться нельзя: зеркало своей ежовой души или, вульгарно выражаясь, морду уткнулъ въ животъ, лапы поджалъ, да еще пофыркиваетъ: на-ка, молъ, сунься! Такой именно обликъ принимаютъ всѣ вопросы, возникающіе въ наше время (на нашей землѣ, конечно). Что дѣло тутъ именно во времени, то-есть въ общемъ характерѣ переживаемаго нами момента, а не въ самыхъ вопросахъ, это несомнѣнно, ибо между послѣдними есть такіе, которымъ, говоря круглымъ счетомъ, сто лѣтъ. Объ нихъ сейчасъ, а теперь о вопросахъ новыхъ, которые растутъ нынѣ, можно сказать, какъ грибы, возникая даже совсѣмъ неожиданно и съ совершенно исключительною виртуозностью.

Позвольте предложить вамъ краткій очеркъ исторіи развитія одного изъ такихъ новыхъ вопросовъ; очеркъ отчасти фактический, какъ сейчасъ увидите, а отчасти дополненный моей фантазіей, не удаляющейся, однако, отъ фактовъ на слишкомъ большое расстояние.

Пріѣхалъ къ вамъ въ Петербургъ англичанинъ Кингъ, скороходъ, и даетъ представленія своего таланта и искусства въ Крестовскомъ саду. Въ газетахъ, въ которыхъ отдѣлъ «Театръ и зрѣлища» занимается нынѣ, по случаю всеобщаго веселья, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, появляются, разумѣется, отчеты о представленіяхъ мистера Кинга: «большой успѣхъ»... «публики собралось до трехъ тысячъ»... «бѣжить 15 верстъ въ 51 минуту» и т. д. Хорошо. Но вотъ 9-го іюля является въ «Новомъ Времени» статья: «Доморощенный скороходъ». Дѣло въ томъ, что наканунѣ, 8-го іюля, въ Крестовскомъ саду «крестьянинъ С. А. Русинъ привалъ публику въ изумленіе». Онъ вздумалъ состязаться съ заморскимъ скороходомъ и оказалось, что въ 49 минутъ англичанинъ пробѣжалъ около 15 верстъ, а русскій (и фамилія-то у г. Русина какъ бы преобразовательная въ патріотическомъ смыслѣ)—11 1/2 верстъ. «Такое пораженіе весьма почетно», справедливо замѣчаетъ газета, тѣмъ болѣе, что русскій бѣжалъ въ чемъ пришлось, а англичанинъ въ особомъ приспособленномъ къ бѣгу костюмѣ. Ну, разумѣется, въ публикѣ волненіе, изумленіе, восторгъ. Какъ? кто?

* 1883, августъ.

почему? Оказывается, что «новая звѣзда скороходства, Сергій Аввакумовичъ Русинъ, крестьянинъ Могилевской губерніи, Съвининскаго уѣзда, Черногоственской волости, села Соржицы, воспитывался въ трехклассномъ городскомъ училищѣ» и т. д., и т. д., и теперь нуждается въ средствахъ. «Публика и артисты Крестовскаго сада, узнавъ о такомъ печальномъ положеніи импровизированнаго скорохода, въ короткое время собрали по подпискѣ нѣсколько десятковъ рублей въ пользу г. Русина. Одинъ изъ публики, О. А. Гармсенъ, предложилъ ему на время столъ и квартиру». Затѣмъ пошли новыя состязанія гг. Кинга и Русина, въ которыхъ, однако, повидимому, одолеваетъ англичанинъ. Въ Крестовскомъ саду объявился новый скороходъ, г. Юліусъ Кони, который, какъ гласитъ заманчивое объявленіе, «исполнить быстрый состязательный бѣгъ съ лошадыю (рысью)». Тѣмъ временемъ г. А. Агѣевскій издаетъ брошюру: «Скороходство, какъ отрасль гимнастики». Привѣтствуя ее, «Новое Время» пишетъ 15-го іюля: «Скороходство въ настоящее время возбуждаетъ интересъ, а потому брошюра г. Агѣевского является какъ нельзя болѣе кстати». Дѣйствительно, какъ нельзя болѣе кстати, и вы видите, какъ быстро, изъ самой жизни вырастаютъ матеріалы для совершенно новаго и неожиданнаго вопроса о самобытномъ русскомъ скороходствѣ. Уже пишется литература вопроса, уже яркосторятъ «новыя звѣзды скороходства»... А то вотъ есть еще «судаковъ вопросъ», какъ выражается одинъ корреспондентъ съ низовьевъ Волги. Вопросъ о самобытномъ русскомъ скороходствѣ и судаковъ вопросъ—здѣсь все ново, свѣжо, жизненно, ясно, свѣтло. Судакъ полезенъ и нуженъ, скороходъ, вѣроятно, тоже полезенъ и нуженъ. Судака будутъ солить, вялить, варить, жарить; скороходъ будетъ... я не знаю, что именно будетъ дѣлать скороходъ, но, конечно, это вполнѣ разъяснится при дальнейшей, болѣе глубокой разработкѣ вопроса о самобытномъ русскомъ скороходствѣ. Весьма возможно, что скороходъ будетъ ѣсть судака.

Таковы факты, милостивые государи, подлинныя факты изъ области современныхъ нашихъ умственныхъ интересовъ и современной русской жизни вообще. Теперь немножко фантазіи.

«Недѣля» напишетъ обширную статью подъ заглавіемъ «Новый фазисъ въ вопросѣ о самобытности». Начинаться статья будетъ такъ: «Подражательный элементъ» и т. д. А оканчиваться такъ: «Новая звѣзда скороходства, Сергій Аввакумовичъ Русинъ, вышедшій изъ народа, и мы не знаемъ, нужны-

ли еще какія-нибудь доказательства той тождественности національнаго и народнаго вопроса въ Россіи, которая, въ противоположность западной Европѣ, составляетъ такую выдающуюся черту нашего социальнаго строя и которую съ такимъ слѣпымъ упорствомъ отрицаютъ наши западники всѣхъ оттѣнковъ. Что касается судаковаго вопроса, то онъ долженъ быть разрѣшенъ въ томъ же самобытномъ направленіи, что мы много разъ доказывали и еще много разъ доказывать будемъ. Нашъ царевкокшайскій корреспондентъ справедливо говоритъ, что мы неуклонно несемъ знамя самобытности народности, а недавно было получено въ редакціи письмо изъ Пирятина, въ которомъ столь же справедливо намъ пишутъ, что мы одни и никого, кромѣ насъ, нѣтъ». — И дѣйствительно, въ непродолжительномъ времени въ «Недѣлѣ» появится еще болѣе обширная статья подъ заглавіемъ: «Самобытный судакъ. Основы социологін». И благородные читатели скажутъ: да «Недѣля» одна и никого, кромѣ нея, нѣтъ.

«Новости» напечатаетъ передовую статью о великомъ значеніи состязанія или конкуренціи вообще, причѣмъ будетъ объяснено самымъ вразумительнымъ образомъ, что если Кингъ пробѣжалъ 15 верстъ, а Русинъ 11½, то это значитъ, что Кингъ бѣгаетъ скорѣе. Кромѣ того, въ газетѣ будутъ напечатаны статьи гг. Л. Полонскаго, Боборыкина и Чуйко, въ которыхъ тотъ же предметъ будетъ разработанъ г. Полонскимъ въ примѣненіи къ финансовой гениальности Е. И. Ламанскаго, г. Боборыкинымъ въ примѣненіи къ цвѣту панталонъ Эмиля Зола, какъ лѣтнихъ, такъ равно и зимнихъ, а г. Чуйко въ примѣненіи къ ерундѣ вообще.

Тогда въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» появится краткая (на первый разъ) замѣтка: «По случаю состязанія мистера Кинга и г. Русина въ Крестовскомъ саду, а также брошюры г. Агѣевского, въ нѣкоторыхъ петербургскихъ газетахъ печатаются статьи, едва ли согласимыя съ учрежденіями, составляющими самую основу русскаго государственнаго строя. Мы не отрицаемъ утилитарной и эстетической стороны скороходства, не отрицаемъ и значенія судаковаго вопроса, правильное разрѣшеніе котораго возможно, однако, отнюдь не при торжествѣ европейничающихъ либеральныхъ финансистовъ, болтающихъ о паденіи нашего кредитнаго рубля. Мы только утверждаемъ, что при бессловномъ характерѣ русскаго государственнаго строя, крестьянское происхожденіе «новой звѣзды скороходства» есть простая случайность. Подчеркивать ее съ такимъ нескрываемымъ и наглымъ торжествомъ, значить сѣять смуту и вооружать одну часть

населенія противъ другой. Быть можетъ, нимъ мудрецомъ. За новѣйшее уже время это входить въ планы господъ петербургскихъ либераловъ? Быть можетъ, когда они затрогивали вопросъ о русскомъ скороходствѣ, передъ ихъ умственными очами носился государственный строй республиканской Франціи? Въ случаѣ чего, мы-де прикроемся панталонами Эмиля Золя, «какъ лѣтними, такъ равно и зимними». Если такъ, то мы желали бы знать, какъ смотреть на это дѣло администраціи».

Краткая замѣтка эта сыграетъ роль меча Бренна, и вопросы, какъ о самобытномъ русскомъ скороходствѣ, такъ и судаковый, окажутся исчерпанными. Только «Новое Время» пуститъ имъ въ догонку разухабистую и вполне откровенную статью въ томъ смыслѣ, что ему совершенно наплевать и на скорохода, и на судака...

А публика стоитъ въ недоумѣніи. Какъ? кто? что? почему? Какимъ образомъ? Главное, какимъ образомъ, *quo modo*, а еще главнѣе *quibus auxiliis*—съ чьей помощью? Вотъ, милостивые государи, вопросы, несравненно болѣе важные, нежели судаковый, на которые, однако, современный русскій человѣкъ едва-ли каждую минуту готовъ дать отвѣты. Осмѣливаюсь утверждать, что большинство не имѣетъ даже ни одной подобной счастливой минуты и рѣшительно не знаетъ, кто ему помощникъ и кому оно само можетъ или должно помогать или уже помогаетъ; кто ему врагъ и кто другъ, кто родной братъ и кто—нашему слесарю двоюродный кузнецъ. Не думайте, пожалуйста, что въ этой сиротливой безпомощности виноваты блескъ и новизна вопросовъ судаковаго и о самобытномъ русскомъ скороходствѣ; блескъ и новизна, до такой степени всѣхъ ослѣпившіе, что всѣ начинаютъ не слушая другъ друга, безтолково махать руками и болтать всякій вадоръ, какой только на умъ забредетъ. Нѣтъ, совсѣмъ не въ этомъ дѣло. Оставимъ судака и скорохода въ покоѣ и возьмемъ что-нибудь другое.

Возьмемъ, напримѣръ, дебаты гг. Л. Полонскаго и А. Головачова въ «Новостяхъ» о либерализмѣ и государственномъ социализмѣ. Ни одинъ изъ дебатировавшихъ ничего новаго не сказалъ, да едва-ли и могъ сказать, потому что самый вопросъ такъ старъ, что даже какъ бы обмыслъ и посѣдѣлъ. Если хотите, уже передъ древнимъ мудрецомъ Платономъ стоялъ вопросъ о предѣлахъ государственнаго вмѣшательства въ экономическія и иныя отношенія страны. Положимъ, что древній мудрецъ, въ-первыхъ, рѣшалъ вопросъ ужъ слишкомъ круто, а во-вторыхъ, не могъ предвидѣть тѣхъ осложнений, которые внесутъ въ дѣло вѣка исторія. Ну, и Богъ съ нимъ, съ древ-

нимъ мудрецомъ. За новѣйшее уже время вопросъ, занимающій гг. Л. Полонскаго и А. Головачова, интересовалъ столь многихъ мудрыхъ и совсѣмъ не мудрыхъ людей, теоретиковъ и практиковъ всѣхъ сортовъ и отгѣнковъ, что не только въ европейской, а и въ русской литературѣ имѣется уже цѣлый огромный арсеналъ аргументовъ по этому вопросу, *pro* и *contra*. Значитъ, тутъ легко обойтись безъ всякой новизны и оригинальности: черпай изъ готоваго источника, только варьируя почеркнутое и приспособляя его къ условіямъ злобы дня. Но тутъ-то вопросъ и свертывается на манеръ ежа въ клубокъ и поднимаетъ во всѣ стороны иглы и фыркаетъ: на-ка, сунься!

Въ самомъ дѣлѣ, въ абстрактъ дѣло рѣшается весьма просто. Существуетъ могущественная сила, называемая государствомъ; характеръ и результаты дѣятельности этой силы, какъ и всякой другой, могутъ быть хороши и дурны; желательнѣе, чтобы они были хороши. До сихъ поръ спорить не о чемъ, но отсюда начинаются разногласія. Есть мнѣніе, что характеръ и результаты дѣятельности государства хороши только тогда, когда, въ виду отсутствія равновѣсія силъ въ обществѣ, въ виду существованія въ немъ силъ большихъ и малыхъ, вооруженныхъ особенно выгодными условіями и невооруженныхъ, государство, въ качествѣ высшей силы, регулируетъ эти отношенія, идетъ на помощь къ силамъ малымъ. Есть другое мнѣніе, утверждающее, что государство должно только охранять результаты свободной игры силъ въ странѣ, не давая никакого предпочтенія той или другой изъ нихъ и оставаясь простымъ зрителемъ ихъ соревнованія. Вотъ и всѣ основанія споровъ о государственномъ вмѣшательствѣ или невмѣшательствѣ. И если споры все-таки продолжаются по сей день, такъ отнюдь не потому, чтобы вопросъ представлялъ какія-нибудь непреодолимые теоретическія трудности, а потому, что въ дѣло естественно замѣшиваются практика жизни и своекорыстные мотивы. Въ до-революціонное время европейскій буржуа требовалъ себѣ покровительства и защиты отъ грабителя барона и отъ своего брата конкурента; требовалъ заставъ, таможенъ, привилегій, регламентаціи производства и обмѣна. А укрѣпившись всѣмъ этимъ въ достаточной степени, произвелъ революцію, уничтожилъ заставы, таможи, привилегіи и объявилъ себя либераломъ; однако, на другой же день запретилъ рабочіе союзы и ассоціаціи, то-есть пустилъ въ ходъ государственное вмѣшательство, противникомъ котораго себя объявилъ. До извѣстнаго момента развитія своего промышленнаго и

торгового могущества, англійскій буржуа былъ защитникомъ покровительственной торговой политики и, слѣдовательно, сторонникомъ государственнаго вмѣшательства, а потому объявился отчаяннымъ фритредеромъ. Это не мѣшаетъ, однако, ни ему, ни англійскому лендъ-лорду, въ случаѣ чего, требовать закона противъ рабочихъ стачекъ (предоставляя себѣ право стачки въ полномъ размѣрѣ) и государственнаго вмѣшательства для приостановки эмиграціи, если она грозитъ оставить ихъ безъ достаточнаго числа рабочихъ и фермеровъ. На практикѣ дѣло не въ доктринахъ, а въ тенденціяхъ. Поэтому, если ученый можетъ въ своей кабинетной работѣ всегда одинаково и, такъ сказать, монотонно относиться къ обѣимъ спорнымъ доктринамъ, то публицистъ, имѣющій дѣло съ самою жизнью во всей сложной запутанности ея силъ и интересовъ, находится въ нѣсколько иномъ положеніи. Г. Полонскій совершенно по достоинству цѣнить бисмарковскій «государственный социализмъ», которымъ у насъ восторгаются одни потому, что уткнувшись носомъ въ самобытнаго судака, ничего не понимаютъ, а другіе потому, что слишкомъ хорошо понимаютъ. Государственный социализмъ Бисмарка есть не болѣе, какъ ловкій ходъ смѣлаго игрока, ловкій и смѣлый «выпадъ» набившаго руку фехтовальщика. Что же касается г. Полонскаго, то совершенно, кажется, ясно, что центръ тяжести его волненій лежитъ отнюдь не въ какой-нибудь теоретической доктринѣ, а въ «капиталистическомъ производствѣ», о которомъ онъ говоритъ даже съ нѣкоторой меланхоліей во взорѣ. И еслибы рѣчь шла не о Бисмаркѣ, а прямо-таки объ этомъ самомъ капиталистическомъ производствѣ въ Россіи, то, конечно, г. Полонскій не сталъ бы столь энергично отталкивать государственное вмѣшательство въ видѣ субсидій, гарантій, ссудъ, вообще всякаго рода вспомоствованій, а, можетъ быть, и покровительственнаго тарифа. А вотъ «Новое Время», часто очень сочувственно толкующее о государственномъ социализмѣ, пишетъ, напримѣръ, 13-го іюля: «Надобно надѣяться, что правительство, всегда заботящееся о развитіи горнаго дѣла въ Россіи, поддержитъ предпріятіе г. Пастухова мѣрами, какія оно употребляло вообще для возникавшихъ вновь горныхъ заводовъ, предоставляя имъ разные заказы для желѣзныхъ дорогъ, военныхъ надобностей, и тому подобныя льготы». А 23-го іюля «Новое Время» радуется «поддержкѣ механическихъ и литейныхъ заводовъ», по случаю слуховъ объ особомъ агентствѣ, которое будетъ вѣдать получение и распредѣленіе между заводами крупныхъ заказовъ;

при этомъ предполагаются, разумѣется, и правительственныя ссуды заводчикамъ. А еще котораго-то числа «Новое Время» пріѣтствуетъ ссуды землевладѣльцамъ изъ отдѣленій государственнаго банка подъ соло-векселя и находить только, что сроки ссудамъ слишкомъ кратки. Все это—а я беру чисто наудачу, что придетъ на память—все это не имѣетъ, разумѣется, ничего общаго ни съ государственнымъ, ни съ какимъ инымъ социализмомъ. Но и съ чистой доктриной либеральной экономіи это, вѣдь, тоже вовсе не мирится, ибо все это опека, государственное вмѣшательство. Сторонники этихъ мѣръ могутъ, если и не съ совершенно чистою совѣстью, то все-таки съ сохраненіемъ нѣкоторой благопристойности вида, громить либерально-экономическія доктрины и доказывать, что такіе-то заводчики и землевладѣльцы, въ качествѣ слабыхъ общественныхъ силъ, нуждаются въ государственномъ вмѣшательствѣ въ ихъ пользу. И, знаете, когда видишь кругомъ себя столько и такъ всесторонне направленного вмѣшательства, становится какъ-то неловко воевать въ области доктринъ и кричать: необходимо вмѣшательство! долой старыя формулы: *laissez faire, laissez passer*! Какъ-то поневолѣ закрадывается въ душу щемящее сомнѣніе: хорошо, я вѣренъ доктринѣ, я это заявляю по всякому подходящему и неподходящему поводу, но кому, собственно, я этимъ помогаю при данныхъ условіяхъ времени и мѣста?

Я лично, милостивые государи, вполне раздѣляю много разъ выраженный на страницахъ вашего журнала мнѣніе о ветхости и негодности доктринъ либеральной экономіи. Я понимаю, что не мало такихъ случаевъ, когда и теперь приходится подчеркивать эту обветшавшую и негодность. Вотъ, напримѣръ, когда г. Полонскій съ величественнымъ апломбомъ утверждаетъ, что наука тутъ-то и сидитъ, то ему можно и даже должно сказать: вы (вы, да вотъ еще г. Чичеринъ), должно быть, проспали нѣсколько лѣтъ научнаго движенія, а проснувшись, не успѣли еще осмотрѣться, замѣтить, что многое изъ того, что было, поросло быльемъ. Пожалуйте, вотъ могильный памятникъ Жана-Батиста Сэ; значительный былъ человекъ покойникъ, но онъ уже покойникъ, и вы заблуждаетесь, если думаете, что можете съ нимъ сегодня позавтракать. Вотъ другой памятникъ Фредерика Бастиа, и чуть-ли на немъ не вырѣзаны тѣ самыя гордыя слова, которыя покойникъ выбралъ эпиграфомъ къ своимъ *Harmonies Économiques*: *hic est digitus Dei*—здесь перстъ Божій. Вообще вы, вмѣстѣ съ г. Чичеринимъ, по кладбищу фланируете, почтительно раскла-

нивается передъ несуществующими людьми и пожмаете несуществующія руки, а того, что дѣйствительно живетъ, что во время вашего сна народилось, выросло, окрѣпло, того вы не замѣчаете. Фантастическая прогулка по царству тѣней—вотъ что такое ваше, якобы, научное умоположеніе.

Примѣрно въ такомъ родѣ, болѣе или мѣнѣе пространно, болѣе или менѣе доказательно, съ веселымъ смѣхомъ или съ грустью, это ужъ какъ кому Богъ на душу положитъ, можно и должно напоминать при случаѣ о смерти и похоронахъ либеральной экономіи. Такъ приходится, потому что какъ же, въ самомъ дѣлѣ, просвѣщенные люди по кладбищу гуляютъ, съ тѣнями бесѣдуютъ и, не будучи Донъ-Жуанами, серьезно приглашаютъ статую командора на ужинъ. Ни съ чѣмъ несообразно! И въ чисто теоритической области, понятно, всякій по мѣрѣ силъ долженъ вразумить фантастическаго фланера. Это какъ бы даже просто упражненіе въ благотворительности. Но совсѣмъ не такъ просто въ дѣлѣ, такъ называемой, злобы дня. Тутъ съ назойливою прямолинейностью доктринера очень легко занять позицію той сороки Якова, которая затвердила одно про всякаго, а это была вовсе не умная, а главное, очень ужъ ненаходчивая сорока. Тутъ, повторяю, дѣло не столько въ доктринахъ, сколько въ тенденціяхъ. И когда жизнь идетъ полнымъ ходомъ, въ открытую, когда вы не ощущаете живете, а знаете планы и намѣренія вашихъ сосѣдей, знаете, чему или кому вы послужите тѣмъ или другимъ вашимъ дѣломъ, словомъ, помышленіемъ, тогда, конечно, нѣтъ опасности пасть въ сороки. И не Богъ знаетъ какую Аркадію для этого-то, собственно, нужно. Возьмите, напримѣръ, современную Германію. Кажется ужъ не Аркадія, благодаря желѣзной рукѣ желѣзнаго канцлера, а и то: Бисмаркъ выставилъ, въ видахъ парламентарнаго фортели, идею государственнаго социализма; либералы нѣмецкіе знаютъ, что дѣло затѣяно затѣмъ, чтобы ихъ прижать; рабочіе, которые по-дальновиднѣе, и ихъ вожаки тоже это прекрасно знаютъ и ни мало не обольщаются; рабочіе, менѣе требовательные, опять-таки знаютъ, что изъ продолженія распри они могутъ нѣкоторый грошъ вынудить, а и грошъ деньги. Конечно, и здѣсь есть темные люди и темныя положенія, но все-таки, по крайней мѣрѣ, тѣ, кто беретъ на себя публичное обсужденіе текущихъ дѣлъ, знаютъ, чему они служатъ, призывая вниманіе или отклоняя его. Но, вѣдь, положеніе вещей бываетъ далеко не всегда такое ясное, и твердить постоянно о внимательствѣ только потому, что такая моя теоретическая доктрина, публицисту,

мнѣ кажется, не полагается. Бываетъ день, бываетъ ночь, бываетъ солнце свѣтитъ, а бываетъ и такъ, что изъ-за тумана за два шага ни зги не видно. Вообще, разные бываютъ обстоятельства, и что касается меня, по крайней мѣрѣ, то вопросъ о внимательствѣ и не внимательствѣ, теоретически простой и ясный, какъ таблица умноженія, на практикѣ представляется мнѣ въ настоящее время именно въ видѣ фыркающаго ежа съ выставленными во всѣ стороны иглами: я боюсь объ него уколоться. Позвольте предложить вамъ такой экспериментъ. Ну, вотъ вы такіе же рѣшительные противники либеральной буржуазной экономіи, какъ и я. Сакраментальныя формулы этой истлѣвшей доктрины извѣстны: *laissez faire, laissez passer*. Попробуйте перевести ихъ на русскій языкъ и тѣмъ самымъ совлечь съ нихъ условный, техническій, символическій характеръ. Выйдетъ: разрѣшите ходить, пустите дѣлать. И мы съ вами, конечно, въ одинъ голосъ скажемъ: да, да! разрѣшите ходить, пустите дѣлать! А изъ исторіи, кромѣ того, вы знаете, что тамъ, гдѣ не разрѣшали ходить и не пускали дѣлать, иногда съ необыкновеннымъ удобствомъ зарождалась та самая буржуазія, которая потомъ говорила: *laissez faire, laissez passer*.

Такъ вотъ я и боюсь...

Да, что ужъ говорить объ такихъ крупныхъ вещахъ. Возьмите мелочь, въ родѣ, напримѣръ, исторіи съ шапкой г. Чичерина. Вы не знаете этой исторіи? Прелюбопытная. По словамъ «Современныхъ Извѣстій», дѣло происходило такъ. У московскаго головы, г. Чичерина, зимой въ помѣщеніи думы пропала старая бобровая шапка. По этому поводу голова уволилъ отъ должности экзекутора управы, маіора Прохорова. Тогда г. Прохоровъ обратился въ думу съ просьбой о единовременномъ пособіи, и дума, относясь одобрительно къ г. Прохорову, постановила выдать ему по случаю увольненія 600 рублей. «Современныя Извѣстія» справедливо заключаютъ: «Выходитъ, что за утрату головою шапки г. Прохоровъ потерялъ мѣсто, а городъ заплатилъ 600 руб. Не будь исторіи о шапкѣ, экзекуторъ остался бы при мѣстѣ, а городъ при 600 рубляхъ». Неизвѣстно, значить, что заплатилъ за свою шапку г. Чичеринъ, но первопрестольная столица наша заплатила за нее 600 р. О, дорога ты, шапка городского головы! Вы люди опытные и помните, сколько интереснаго и поучительнаго можно было бы изложить по этому поводу, какъ въ серьезномъ, такъ и въ юмористическомъ тонѣ. Можно бы поговорить о самодурствѣ нашихъ «излюбленныхъ» людей, занимающихъ общественныя должности по выборамъ. Можно бы припомнить исторію выборовъ г. Чичерина

въ московскіе городскіе головы, какъ ее и припоминаютъ теперь (но не по поводу шапки) «Московскія Вѣдомости». Онъ припоминаютъ, именно, что избраніе было «дѣломъ нѣсколькихъ друзей» г. Чичерина. «Всѣ отношенія г. Чичерина къ Москвѣ ограничивались тѣмъ, что онъ когда-то учился въ московскомъ университетѣ и потомъ, впродолженіи пяти или шести лѣтъ, былъ въ немъ преподавателемъ (а не профессоромъ?). Имя его было извѣстно только въ университетахъ и литературныхъ кружкахъ. Массѣ московскихъ избирателей онъ былъ извѣстенъ не болѣе, чѣмъ всякій кандидатъ на подобную должность въ Парижѣ или въ Берлинѣ. Оставивъ профессуру (а не преподаваніе?), г. Чичеринъ и Москву оставилъ и не только никогда не участвовалъ въ ея городскихъ дѣлахъ, но впродолженіи двѣнадцати или пятнадцати лѣтъ почти не жилъ въ ней и не имѣлъ въ ней никакой собственности. Чтобы явиться кандидатомъ на городскія выборы, ему приходилось купить ad hoc домъ въ Москвѣ». И вотъ, такимъ-то оригинальнымъ способомъ выбранный городской голова цѣнить свою старую бобровую шапку въ 600 р., каковыя и уплачиваются тѣми самыми московскими избирателями и неизбирателями, которые, при выборахъ, объ немъ слыхомъ не слышали! Согласитесь, что это пикантно и заслуживаетъ быть воспѣтымъ, если не въ героической поэмѣ, то въ баснѣ, характерная черта которой, по опредѣленію старыхъ учебниковъ словесности, состоитъ въ неожиданности вывода. Но, милостивые государи, вы знаете, что есть басни, которыя можно бы «и болѣе пояснить», а есть и такія, которыя болѣе пояснить нельзя; что, по случаю того щекотливаго положенія, въ которомъ находится нынѣ г. Чичеринъ, его завѣдомо бобровая шапка тоже едва-ли не изъ ежоваго мѣха сдѣлана и уже топорщитъ иголки и фыркаетъ: на-ка, сунься. Можетъ быть, вы находите даже, что, заговоривъ въ настоящее время о шапкѣ г. Чичерина, я уже укололся объ эти иголки, коснулся предмета, котораго изъ деликатности касаться не слѣдовало бы? Нѣтъ, милостивые государи, не укололся! Однако единственно потому, что самъ г. Чичеринъ много разъ хватался голыми руками за ежей, не только не чувствуя при этомъ боли или стыда, но еще гордился своею отвагой. Не говоря о прошломъ, въ новѣйшихъ своихъ якобы научныхъ трудахъ (статьи въ «Сборникѣ государственныхъ знаній» и книги «Собственность и государство») г. Чичеринъ съ почти невѣроятнымъ, но характернымъ для незнанія и непониманія, легкомысліемъ третируетъ великія идеи и великихъ людей. «Для него Наполеонъ въ родѣ бородав-

ки». Какой-нибудь Родбертусъ, напримѣръ, котораго не особенно щедрый на лестные эпитеты Лассаль называлъ «великимъ», блескъ и глубина мысли и знанія котораго становятся нынѣ, къ счастью, уже популярными (въ наукѣ они давно опѣнены), является въ обработкѣ г. Чичерина мальчишкой, достойнымъ хорошей трѣпки за вихры. Да одинъ-ли Родбертусъ! Цѣлыя жизненные и научныя теченія, мировыя явленія, со скрежетомъ выношенные исторіей и со стономъ ея рожденныя, все, что есть въ наукѣ живого, свѣжаго и честнаго, все это г. Чичеринъ обдастъ потокомъ грубой брани, которая, однако, отнюдь не свидѣтельствуетъ, что онъ знаетъ и понимаетъ бранимое. Говорю все, что есть въ наукѣ живого, свѣжаго и честнаго, ибо въ ней есть и много мертваго, гнилого и безчестнаго, что и собирается г. Чичеринымъ, какъ какіе-нибудь перлы и адаманты. Но въ наивности своей онъ серьезно думаетъ, что это подлинныя перлы и адаманты, что онъ разрушилъ цѣлый невѣдомый ему міръ; и слышатся ему жалобные голоса: o weh, weh! du hast ihn zerstört! и сидитъ онъ, какъ Марій на развалинахъ Карфагена, съ спѣсивымъ видомъ человѣка, бывшаго пять или шесть лѣтъ преподавателемъ московскаго университета, избраннаго въ городскіе головы стараніями нѣсколькихъ друзей и имѣющаго шапку въ 600 рублей... Я не воспую г. Чичерина ни въ героической поэмѣ, ни въ баснѣ даже, ибо стихомъ не владѣю, но напомнимъ прелестное стихотвореніе графа А. Толстого:

Ходитъ спѣсь, надуваучись,
Съ боку на бокъ переваливаясь,
Ростомъ-то Спѣсь аршинъ съ четвертью,
Шапка-то на немъ на цѣлу сажень...

Еслибы не это обстоятельство, еслибы не ходила Спѣсь надуваучись и не имѣла саженой шапки при аршинномъ ростѣ, то, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, я считалъ бы правильнымъ совсѣмъ не упоминать о шапкѣ г. Чичерина...

А всетаки на душѣ какъ-то неспокойно.. Нѣтъ, Богъ съ нами, съ этими злобами дня и явленіями минуты! Совсѣмъ объ нихъ исколешься, истерзаешься. Вамъ нельзя, конечно, отъ нихъ совсѣмъ отойти, вы ввязались за гужъ, вы въ родѣ какъ часовые, которые должны стоять на своемъ посту, пока не придетъ смѣна, или не будетъ упраздненъ самый постъ. А я человѣкъ вольный, посто-ройный, могу говорить объ чемъ хочу. Все время прилаживался бесѣдовать о азныхъ злобахъ дня и текущихъ практическихъ дѣлахъ и теперь ясно вижу, что не могу: все, знаете-ли, въ пальцахъ такое ощущеніе, будто за ежа хватался—и больно, и обидно. Нѣтъ, «я въ пустыню удаляюсь отъ пре-

красныхъ здѣшнихъ мѣстъ... Не совсѣмъ, впрочемъ, такъ, потому что не вижу и не знаю въ окрестности прекрасныхъ мѣстъ, а въ пустынь уже и безъ того нахожусь. Однако, и вы не подалеку отъ нея проживаете. Людей около васъ много, а общества нѣтъ, ибо вы понимаете, что скопище людей и общество, это двѣ большія разницы, какъ говорилъ одинъ нѣмецъ. Общество значитъ общеніе, взаимность, взаимная помощь, а я уже говорилъ, что современники-соотечественники наши въ огромномъ большинствѣ случаевъ не знаютъ какъ помогать, кому помогать, кто имъ самимъ и въ чемъ помогаетъ. И если вамъ нужны наглядныя доказательства этого моего горькаго тезиса, такъ вотъ смотрите. Въ Крестовскомъ тысячная толпа собралась глазѣть на скорохода и полюбуется, какъ быстро и дружно развивается въ этой толпѣ интересъ къ «новой звѣздѣ скороходства» и организуется сильная помощь, какъ только обнаруживается затруднительное положеніе звѣзды: узнать кто? какъ? почему? артисты и публика устраиваютъ складчину, являются даровыя квартиры и столы. Чего бы еще жалеть? Какая отзывчивость! Какая теплота чувствъ и какая легкость распространенія этой мягкой, ласкающей температуры! О, да, конечно, это очень трогательно, но было бы еще трогательнѣе, еслибы какъ разъ около этого времени не случилась въ томъ же городѣ С.-Петербургѣ исторія того мальчика, кажется, Сергѣева по фамиліи, котораго арестовали за нищенство или воровство; мировой судья оправдалъ его безусловно и даже подчеркнул свое оправданіе, но такъ какъ всетаки ему нечего было ѣсть, то его въ скорости опять арестовали, отправили на родину въ Шлиссельбургъ; а такъ какъ и тамъ ѣсть все же было нечего, то онъ вновь явился въ Петербургъ, его опять арестовали и сказка про бѣлаго бычка возымѣла надлежащее теченіе. Что это такое? Существуютъ разныя благотворительныя общества; существуютъ спеціальныя для помощи преступнымъ и непроступнымъ малолѣтнимъ; существуютъ, наконецъ, просто добрые люди, которые могутъ же тронуться, напримѣръ, затруднительнымъ положеніемъ скорохода. Я, разумеется, ничего не имѣю противъ помощи, оказанной Сергѣю Аввакумовичу Русину, но если уже выбирать, такъ, конечно, Сергѣевъ нуждался въ ней гораздо настоятельнѣе. Одинъ пришелъ въ Крестовскій садъ погулять, въ качествѣ зрителя, у другого нѣтъ куска хлѣба; одинъ уже самымъ своимъ скороходствомъ свидѣтельствуетъ объ исключительной крѣпости своего организма, другой — какой-то жалкій недоростокъ. А между тѣмъ, тамъ проявляется всяческое

сочувствіе, а здѣсь только послѣ долгихъ мытарствъ, сидѣній въ кутузкѣ, путешествій изъ Петербурга въ Шлиссельбургъ и обратно, находится, наконецъ, добрая душа, которая какъ-то устраиваетъ мальчика. Неужели же все дѣло въ томъ, что одинъ скоро ходитъ, а другой не скорѣе прочихъ обыкновенныхъ смертныхъ? Конечно, нѣтъ. Дѣло въ беспорядочности общественнаго вниманія, въ случайности проявленія элементарнѣйшихъ изъ чувствъ, которыми живетъ и движется общество; дѣло, прямо сказать, въ отсутствіи общества. Когда массѣ людей, для проявленія добрыхъ чувствъ, нужно непремѣнно какое-нибудь непосредственное впечатлѣніе, да еще увесилительнаго свойства, въ родѣ «быстраго состязательнаго бѣга съ лошадыю (рысью)»; когда при этомъ впечатлѣніе это еще должно усиливаться тѣмъ процессомъ подражанія или увлеченія, который имѣетъ мѣсто въ толпѣ очевидцевъ, такъ это именно только толпа, а не общество. Такая толпа можетъ при случаѣ съ одинаковою стремительностью двигаться и на доброе и на злое дѣло, волноваться нестоющими пустяками и оставлять безъ всякаго вниманія дѣйствительныя, глубокія страданія. И я думаю, что въ одновременности исторіи преступнаго мальчика и новой звѣзды скороходства, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», отразилось общее положеніе вещей и отношеній въ нашемъ отечествѣ въ настоящую минуту. Куда бы вы ни посмотрѣли, на какой бы слой общества, на какую бы общественную функцію вы ни обратили вниманіе, вездѣ вы увидите одно и то же: люди не знаютъ ни того, кому и чему они могутъ или должны помогать или уже помогаютъ, какъ своими дѣйствіями, такъ и своимъ бездѣйствіемъ, ни того, кто имъ самимъ помогаетъ или можетъ быть помощникомъ. Отраженіе этой безпомощности и неумѣнія оказать помощь и незнанія, куда она должна быть направлена, вы найдете и въ литературѣ, и въ сферѣ административной дѣятельности, и въ частной жизни всѣхъ слоевъ общества отъ верхняго края до нижняго. Подумайте немножко, и вы согласитесь, можетъ быть, что сюда подходитъ и тотъ собачій инстинктъ, о которомъ я имѣлъ случай писать вамъ недавно: дикое, безстыдное стремленіе бить лежащихъ. Сюда же подойдутъ и разныя требованія оказать помощь несчастнымъ господамъ фабрикантамъ; и другія разныя льготы и кредиты въ этомъ родѣ. Сюда же относится и умиленное зрѣлище, представляемое обществомъ, которое—извините за выраженіе, но оно гоголевское—ковыряя въ носу, смотреть на происходящія передъ этимъ самымъ носомъ бѣды и страданія.

Понятное дѣло, что при такомъ положеніи вещей необходимо должны всплывать наверхъ противообщественныя чувства, противообщественныя идеи, противообщественныя типы, которыми я и займусь, съ вашего позволенія, въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ. Потому что, вы понимаете, мое удаленіе въ пустыню надо разумѣть фигурально. Я только удаляюсь отъ тѣхъ острыхъ, колющихъ злобъ дня, практическихъ вопросовъ и конкретныхъ явленій минуты, съ которыми не умѣю справиться: рукамъ больно...

Какъ послѣднюю дань довольно, впрочемъ, натуральному стремленію говорить о практическихъ вопросахъ въ ихъ эфемерной одеждѣ сегодняшняго дня, я позволю себѣ нѣсколько словъ о «дворянской эрѣ»... Не безпокойтесь, я не трону этой матеріи во всей ея обширности. Да и какъ ее тронешь, когда она уже при самомъ зарожденіи своемъ свернулась въ ежевый клубокъ. Въ обращеніи вдругъ оказываются такіа, повидимому, опредѣленные и многозначительныя формулы, какъ «дворянская эра», «дворянскій принципъ», а между тѣмъ, вполнѣ неизвѣстно, что собственно онѣ выражаютъ и даже откуда взялись. «Русь» высказываетъ предположеніе, что явленіе это «навѣяно на наши такъ называемыя высшія общественныя въ Петербургѣ сферы никѣмъ другимъ, какъ польскими графами и остзейскими баронами, съѣхавшимися на зиму въ нашу «сѣверную Паллдиру»: это ихъ интриги и козни». Петербургскія газеты полагаютъ, напротивъ того, что «дворянская эра» зародилась въ умахъ «Московскихъ Вѣдомостей». Но «Московскія Вѣдомости» энергически протестуютъ противъ этой инсинуаціи и называютъ ее «неслыханнымъ безстыдствомъ». «Русь» полагаетъ, что все это «вѣяніе», будучи чуждаго русскому духу происхожденія, не имѣетъ никакихъ шансовъ на успѣхъ. Газета не отрицаетъ присутствія «вождедѣній» въ нѣкоторой части русскаго дворянства, но, говоритъ она: «эти вождедѣнія у насъ не грозны; повождедѣютъ-повождедѣютъ наши крупныя совѣтеники, да и начнутъ продавать свои родовыя имущества евреямъ-подрядчикамъ, или же своею дворянскою гордостью поступаться чиновничьей карьерѣ». Лучшая же часть дворянства останется вѣрна своему историческому призванію, которое, по словамъ «Руси», состоитъ въ «свободномъ благотворномъ воздѣйствіи на внутренній земскій строй, въ союзѣ со всѣми лучшими земскими людьми». Что же касается «Московскихъ Вѣдомостей», то онѣ даже и не предвидятъ или не видятъ никакихъ «вождедѣній», по крайней мѣрѣ, не говорятъ о нихъ. Онѣ говорятъ только объ историче-

скихъ заслугахъ дворянства и объ его исторической миссіи, какъ сословія служилого, незамкнутого и не нуждающагося нынѣ, съ паденіемъ крѣпостного права, въ привелегіяхъ. Остальныя газеты писали по этому поводу то и другое, но меня удивляетъ, что ни одна изъ газетъ, размышляя о проблематической дворянской эрѣ, о заслугахъ, миссіи, привелегіяхъ дворянства, не поминула одного интереснаго пункта, на которомъ дворянство по истинѣ нуждается не въ привелегіяхъ, а въ простомъ уравниеніи правъ съ прочими сословіями. Я разумѣю право узаконенія или усновленія незаконныхъ дѣтей. Актъ этотъ обставленъ для дворянъ чрезвычайными затрудненіями. Существуетъ даже законъ, рѣшительно воспреещающій всякія ходатайства дворянъ въ этомъ направленіи. Конечно, люди сильные находятъ возможность обходить законъ и вымѣстъ съ тѣмъ удовлетворять естественной потребности отцовскаго чувства. Но для огромнаго большинства дворянъ такое удовлетвореніе совершенно недоступно, между тѣмъ, какъ прочія сословія получаютъ его сравнительно очень легко. Такое ограниченіе правъ дворянства имѣло нѣкогда условный смыслъ, въ виду разнообразныхъ преимуществъ дворянскаго сословія, которыя, выдѣляя его въ особую корпорацію, должны были передаваться лишь законнымъ его представителямъ. Нынѣ, благодаря Богу, дворянинъ не имѣетъ, наравнѣ со всѣми другими сословіями, права владѣть себѣ подобными; термины «податныя» и «неподатныя» сословія должны въ самомъ близкомъ будущемъ исчезнуть изъ нашего юридическаго лексикона; дворянинъ отбываетъ воинскую повинность такъ же, какъ и всякій другой сынъ отечества; доступъ къ образованію открытъ другимъ сословіямъ въ такой же мѣрѣ, какъ и дворянину; въ новыхъ общественныхъ функціяхъ, вызванныхъ къ жизни реформами прошлаго царствованія, въ гласномъ судѣ, въ земскомъ и городскомъ самоуправленіи, дворянинъ не имѣетъ никакихъ преимуществъ передъ купцомъ, мѣщаниномъ, крестьяниномъ; если и сохранилась отъ стараго порядка аномалія въ видѣ обязательства для земскихъ собраній имѣть своимъ предсѣдателемъ непременно предводителя дворянства, такъ это, во-первыхъ, аномалія, которая долго прожить не можетъ, а во-вторыхъ, касается она лишь дворянъ-землевладѣльцевъ и остальнымъ дворянамъ отъ этой прерогативы ни тепло, ни холодно. И, однако, рядомъ съ этимъ раствореніемъ дворянства въ массу русскихъ людей, съ этимъ законнымъ и необходимымъ, но всетаки умаленіемъ правъ и преимуществъ дворянства, держится почему-то жестокая фикція, не

позволяющая отцу - дворянину сдѣлать по отношенію къ своимъ незаконнымъ дѣтямъ то, что можетъ сдѣлать отецъ-купецъ, отецъ-мѣщанинъ, отецъ-крестьянинъ. Фикція эта, имѣвшая нѣкогда цѣлью возвышеніе значенія дворянства, какъ сословія, содержаніе его на нѣкоторой высотѣ надъ прочими сословіями, нынѣ потеряла всякую почву. Она только лишаетъ дворянъ возможности называть своихъ дѣтей своими, не предоставляя взамѣнъ этого ущерба никакихъ особенныхъ правъ и преимуществъ. И, можетъ быть, господа дворяне поступили бы благоразумнѣе и человѣчнѣе, еслибы, оставивъ всякія безсмысленныя «вождедвія», обратили вниманіе на тотъ пунктъ, въ которомъ они нуждаются въ простомъ уравненіи въ правахъ съ прочими сословіями.

VII *).

Литературной критики нѣтъ!.. Нѣтъ литературной критики!.. Со временъ Бѣлинскаго русская беллетристика осталась безъ критическаго руководительства... Критика умерла съ Добролюбовымъ... Послѣдній выдающійся русскій критикъ былъ Писаревъ...

Вотъ сѣтованія, постоянно встрѣчающіяся въ разныхъ «литературныхъ обзорѣніяхъ» и «критическихъ очеркахъ». Обратите, пожалуйста, вниманіе на то, что именно авторы критическихъ обзорѣній, люди, такъ сказать, специально приставленные къ этому самому дѣлу, жалуются на отсутствіе критики, относя моментъ ея исчезновенія болѣе или менѣе далеко, смотря по образу мыслей обзорѣвателя: одинъ не хочетъ знать Добролюбова и останавливается на Бѣлинскомъ, другой стоитъ за Добролюбова, третій вспоминаетъ о Писаревѣ; попадаютъ и такіе чудаки, которые считаютъ послѣднимъ критикомъ Аполлона Григорьева. Во всякомъ случаѣ, сами себя эти разные обзорѣватели и авторы критическихъ очерковъ въ счетъ не ставятъ. И, разумѣется, очень умно и добросовѣстно поступаютъ, потому что какіе же они, въ самомъ дѣлѣ, критики? Еслибы они ими, дѣйствительно, были, такъ незачѣмъ бы имъ было жаловаться на тѣ или другіе недостатки современной критики, а тѣмъ паче на отсутствіе ея, а просто взять да и явить міру образцы истинной критики. Бѣлинскій—беру имя, не подлежащее нынѣ никакимъ сомнѣніямъ—былъ, вѣдь, въ свое время одинъ и не тратилъ, однако, много времени на печали объ томъ, что онъ одинъ, а прямо и просто дѣлалъ свое дѣло. Ну, и нынѣ былъ бы одинъ, напримѣръ, г. Чуйко—беру перваго попавшагося изъ толпы обзорѣвателей,

потому что, вѣдь, всѣ они приблизительно одинаковаго роста.

Если, однако, даже сами критики говорятъ, что критики нѣтъ, такъ значитъ ея дѣйствительно нѣтъ. Почему нѣтъ? Этого я не знаю. Можетъ быть, просто потому, что такая ужъ неурожайная полоса настала, неурожай на людей, способныхъ всесторонне оцѣнить и выяснить беллетристическое произведеніе. Мудренаго ничего нѣтъ. Неурожай всякіе бываютъ. Возьмите хоть того же Бѣлинскаго и сообразите, что онъ у насъ былъ одинъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ. А можетъ быть критическіе таланты и родятся въ изобиліи, да теченіе судьбы отвлекаетъ ихъ къ другимъ дѣламъ. Можетъ быть, наконецъ, критики нѣтъ потому, что нѣтъ на нее спроса со стороны самой беллетристики. Передъ Бѣлинскимъ были—легко сказать!—Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ; передъ Добролюбовымъ — Тургеневъ, Островскій, Достоевскій. А надъ чѣмъ развѣрнуть свои, можетъ быть, необычайно мощныя крылья г. Чуйкѣ или кому другому изъ обзорѣвателей и авторовъ критическихъ очерковъ? Согласитесь, что гг. Авсѣнки, да Маркевичи, Боборыкины, да Лѣтневы едва-ли способны дать критической мысли достаточное возбужденіе. Говорить объ нихъ, конечно, можно, пожалуй, даже должно. Но кожу критическаго анализа тутъ не надъ чѣмъ отточиться, и очень простиительно, если гнѣвный зѣвокъ перебиваетъ работу несчастнаго обзорѣвателя и рука его еле водить перомъ по бумагѣ, или если онъ отвлекается отъ прямого своего дѣла въ разныя стороны. Жестокіе люди эти господа обзорѣватели, но надо тоже и ихъ судить по человѣчеству...

Это я, впрочемъ, можетъ быть, изъ эгоизма, милостивые государи, прошу васъ судить обзорѣвателей по человѣчеству. Дѣло въ томъ, что я самъ хочу записаться въ этотъ цехъ и, прося у васъ гостепріимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не помышлялъ о роли критика, и если случалось иногда писать о томъ или другомъ явленіи въ области беллетристики, такъ только мимоходомъ и въ виду разныхъ стороннихъ соображеній. Теперь я желалъ бы заняться этимъ дѣломъ нѣсколько пристальнѣе, не выходя, однако, изъ скромной роли обзорѣвателя. Я не буду вамъ надоедать жалобами на отсутствіе литературной критики или на тѣ или другія ея оплошности и недостатки, но не общаю и критики въ широкомъ значеніи этого слова. Я буду просто обращать ваше вниманіе на любопытныя явленія въ области литературнаго творчества и, по мѣрѣ силъ и способностей, комментировать ихъ. Вотъ и все.

*) 1883 г., сентябрь.

Къ сожалѣнiю, мнѣ приходится начинать свою дѣлательскую отпѣлку скорбнаго факта: Тургеневъ умеръ...

Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться въ газетахъ извѣстiя о тяжкихъ страданiяхъ маститаго художника. Но, никого не поразивъ, вѣсть о смерти Тургенева всѣхъ огорчила, и едва-ли найдется хоть одинъ образованный, «интеллигентный» русскiй человекъ, который, при полученiи скорбной вѣсти, не помянулъ бы покойника добрымъ за полученныя отъ него художественныя наслажденiя и толчки работъ мысли. Тургеневъ умеръ не внезапно—извѣстiя о его смерти ждали чуть не со дня на день. Онъ умеръ въ такомъ возрастѣ, въ которомъ европейскiе писатели и вообще дѣятели еще ухитряются быть молодыми духомъ и тѣломъ, но до котораго рѣдко доживаютъ крупныя русскiя люди, почему-то гораздо скорѣе изнашивающiеся. Тургеневъ далъ русской литературѣ все, что могъ дать, и какова бы ни была художественная красота его послѣднихъ произведенiй, но никто уже не ждалъ отъ него чего-нибудь приблизительно равнаго по значенiю его старымъ вещамъ. Такимъ образомъ, все, кажется, сложилось такъ, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей сглаженные, не рѣзкие и не колющiе контуры. И все-таки больно... Слишкомъ многимъ обязано русское общество этому человеку, чтобы съ простою объективностью отнестись къ его смерти, какія бы смягчающiя обстоятельства ни предъявляли въ свое оправданiе судьба и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только въ прошломъ. Онъ былъ нуженъ и въ настоящемъ, въ нашемъ скудномъ настоящемъ.

Тяжело и мрачно было на русской землѣ въ ту пору, когда Тургеневъ начиналъ свою литературную дѣятельность. Это были незабвенныя сороковыя годы. Мы, только по преданiю знающiе это время, имѣемъ, однако, печальную возможность судить о немъ съ полною, такъ сказать, наглядностью. Какъ иногда вся жизнь умирающаго сосредоточивается въ его глазахъ, такъ все, что только заслуживаетъ названiя человѣческой жизни, сосредоточивалось тогда въ количественно-ничтожной горсти людей мысли. И въ числѣ ихъ былъ Тургеневъ. Въ разныя стороны разбрелась потомъ эта горсточка и нѣкоторые изъ ея представителей, доживъ до того времени, когда опять стало тяжело на русской землѣ, играли и играютъ далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточкѣ. Кто усталъ, кто озлобился и даже разсвирѣпѣлъ, кто ударился въ мистицизмъ и юродство, кто просто не понялъ истиннаго смысла событiй чрезвычайной исторической

важности, совершавшихся на Руси съ сороковыхъ годовъ. И Тургеневу случалось впадать въ ошибки, порождать недоразумѣния и самому дѣлаться ихъ жертвою, какъ онъ самъ съ горечью печатно рассказывалъ, вспоминая литературно-политическiй эпизодъ съ «Отцами и дѣтьми». Но это были именно недоразумѣния, и Тургеневъ самъ говорить о томъ удивленiи и стращенiи, съ которыми онъ, по приѣздѣ, послѣ «Отцовъ и дѣтей», изъ-за границы, встрѣчалъ любезности разныхъ иракобѣсовъ. Недоразумѣния порождались личными слабостями покойника, которыя могутъ быть тому или другому болѣе или менѣе досадны и неприятны, но не должны и просто даже не могутъ заслонить собою его громадныя заслуги. Тургеневъ никогда не былъ Савломъ. Его никогда не было въ рядахъ разншерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей свѣта, этой когорты палачей, погрызающихъ плетью, шутовъ, позванивающихъ бубенчиками дурацкаго колпака, и юродивыхъ, самодовольно, на показъ бречащихъ веригами. Онъ всегда оставался вѣренъ нѣсколькимъ неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ идеаламъ свободы и просвѣщенiя, съ которыми выступалъ въ литературное поприще. Многохотѣю сказать, этой неопредѣленности и вѣстѣ свѣтозарности идеаловъ Тургенева вполне соответствовали нѣкоторыя особенности его несравненнаго таланта. Это былъ талантъ (независимо, конечно, отъ другихъ его свойствъ), такъ сказать, музыкальный, а музыка, какъ извѣстно, вызываетъ неопредѣленные, но хорошия, прiятныя, свѣтлыя волненiя. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться въ мелкихъ вещахъ, гдѣ она не заслонялась для читателя возбужденiями умственного и нравственного характера. Любопытно, что въ передачѣ музыкальных ощущенiй Тургеневъ рѣшительно не имѣетъ соперниковъ: состязанiе «пѣвцовъ» въ «Запискахъ охотника», игра Лемма въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», игра волшебной скрипки въ «Пѣсни торжествующей любви»—въ своемъ родѣ шедевры. Дѣло тутъ не въ слогахъ, не въ «стилѣ», по крайней мѣрѣ, не въ немъ одномъ, а въ специальной чертѣ самого характера творчества, а эта специальная черта находилась, въ свою очередь, въ тѣсной связи со всѣмъ душевнымъ обликомъ художника, неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ.

Не принимая активнаго участiя въ борьбѣ со свинцовымъ мракомъ, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого опредѣленнаго мѣста въ литературѣ въ этомъ отношенiи, Тургеневъ служилъ идеаламъ свободы и просвѣщенiя самымъ, такъ сказать, фактомъ своего существованiя, на-

личностью своего первостепеннаго таланта и своей не русской только, а европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатіи этой красоты и гордости русской литературы, и изъ змѣнныхъ и жабныхъ норъ не разъ раздавались за это зловѣщія шипѣнія по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойникъ былъ «западникъ» (онъ самъ себя такъ называлъ), но это не мѣшало ему быть гордостью русской литературы. И вотъ почему Тургеневъ былъ дорогъ, хотя бы даже ничего болѣе не писалъ. Вотъ почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вмѣсто того онъ, по-странному русскому выраженію, самъ приказалъ намъ долго жить...

Будемъ жить...

Вы не ждете отъ меня, конечно, какой-нибудь оцѣнки или переоцѣнки Тургенева, или даже просто какого-нибудь итога въ этомъ смыслѣ. Но вы позволите мнѣ нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній.

Въ числѣ проектовъ памятника Пушкину былъ одинъ, если не ошибаюсь, Антокольскаго, такого рода: Пушкинъ сидитъ въ задумчивой позѣ на скалѣ, а къ нему снизу вереницей поднимаются созданные имъ образы: Онегинъ, Татьяна, Мазепа и т. д. Мысль нѣсколько вычурная и для скульптуры не совсѣмъ подходящая. Но когда не статуя лѣпится, а просто думаешь объ умершемъ писателѣ, въ родѣ Тургенева, жизнь котораго такъ бѣдна внѣшними событіями и вся наполнена созданіемъ художественныхъ образовъ, то поневолѣ рисуется именно такая картина: почившій художникъ и его созданія, больше ничего кругомъ нѣтъ; художникъ дѣлаетъ смотръ своимъ твореніямъ. Можетъ быть, нѣчто подобное этому смотру происходило и въ дѣйствительности, когда умирающій, зная, что смерть ужъ тутъ возлѣ кровати, въ минуты отдыха отъ болей, исповѣдывался самъ себѣ, самъ себѣ давалъ отчетъ въ своей дѣятельности. Во всякомъ случаѣ, передъ нами-то, при воспоминаніи о Тургеневѣ, естественно поднимается вереница всѣхъ этихъ Хорей и Калинычей, Чертопановыхъ, Недопюскиныхъ, «бурмистровъ», «пѣвцовъ», Лаврецыхъ, Рудиныхъ, Инсаровыхъ, Базаровыхъ и т. д. И мы столь же естественно ищемъ въ нихъ отраженія духа, ихъ создаващаго.

Оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ «Записки охотника», эти маленькія, тонко выписанныя акварельныя картинки, имѣющія свое специальное значеніе. Надо, однако, замѣтить, что это специальное значеніе протеста противъ крѣпостнаго права было впоследствии преувеличено. Многія изъ этихъ акварельныхъ картинокъ (и отнюдь не слабѣйшія: «Пѣвцы», «Чертопановъ и Недопюскины»,

«Лебедянь», «Свиданіе» и проч.) вовсе не имѣютъ такого спеціальнаго характера. Какъ бы то ни было, но отъ «Записокъ охотника» въ общемъ (а ихъ и надо цѣнить въ общемъ, какъ цѣльную картинную галерею) дѣйствительно вѣетъ протестомъ не то, чтобы именно противъ крѣпостнаго права, а противъ всей болотности тогдашняго склада помѣщичьей жизни; протестомъ, смягченнымъ кровными связями автора съ этимъ бытомъ и акварельною манерою писанія. (Въ этомъ послѣднемъ отношеніи любопытно сравнить «Записки охотника» съ грубыми красками и топорной работой, но за то и болѣею выпуклостью «Антон-горемыки» г. Григоровича). Обратите, пожалуйста, вниманіе на приемы, которыми выразилась эта отзывчивость Тургенева къ болямъ тогдашняго времени: въ «Запискахъ охотника» нѣтъ ни одного «новаго человѣка»—ни бурно, хотя и безпредметно протестующаго Рудина, ни засосаннаго болотомъ, но надрывающагося отъ внутренней боли «Лишняго человѣка», ни одного, словомъ, изъ представителей новаго, по тогдашнему, наслоенія чувствъ и мыслей. Я потому обращаю на это ваше вниманіе, что впоследствии за Тургеневымъ утвердилось репутація какого-то спеціалиста по части «уловленія момента», и именно не просто чуткаго художника, а изобразителя «новыхъ людей».

Едва-ли существуетъ ходячее мнѣніе о томъ или другомъ крупномъ писателѣ, которое было бы такъ распространено и вѣдѣно съ тѣмъ такъ невѣрно. Тургеневъ былъ и больше этого, и меньше, какъ посмотреть на дѣло. Онъ былъ не только русскій, а и европейскій, всемірный писатель, какимъ никогда не будетъ, напримѣръ, Гоголь. Со всѣмъ своимъ громаднымъ талантомъ Гоголь никогда не будетъ такъ близокъ и родствененъ, такъ понятенъ Европѣ, потому что его типы чисто русскіе, тогда какъ тургеневскіе типы—общечеловѣческіе, пожалуй, абстрактно психологическіе. Конечно, люди вездѣ люди, одни и тѣ же страсти ихъ волнуютъ, одни и тѣ же радости и горя ихъ посѣщаютъ. Но когда Гоголь рисовалъ свои образы, онъ ихъ, такъ сказать, вырываетъ съ корнемъ изъ русской жизни и такъ ихъ и предъявлялъ читателю. Тургеневъ давалъ своимъ образамъ только обстановку русскую и потому для француза, итальца, англичанина представлялъ двойной интересъ: тонко разработанный, знакомый, общечеловѣческій типъ на фонѣ чужой, своеобразной обстановки. Обстановку эту Тургеневъ постоянно обновлялъ, дѣйствительно, часто заимствуя ее изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента» новыхъ наслоеній. Отсюда, конечно, и идетъ стран-

ная репутация «ловца момента» и соответственные ожидания и требования, которыми никому, кроме Тургенева, не предъявлялись; ни даже, напримѣръ, Достоевскому въ ту послѣднюю пору, когда нѣкоторые en toutes lettres называли его «пророкомъ божіимъ» и провозвѣстникомъ «новаго слова». Весьма естественно, если русское общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждетъ, чтобы умный и талантливый человѣкъ и притомъ старинный любимецъ какъ-нибудь откликнулся на эти тревоги, подавъ свой авторитетный голосъ. Поклонники Достоевскаго и находили такое удовлетвореніе хоть бы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ которыхъ, однако, «новыхъ людей» нѣтъ, а именно они-то и требовались всегда отъ Тургенева. Не знаю, что именно нашли поклонники Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», но знаю, что художникъ можетъ откликнуться на тревоги минуты (которая, увы! можетъ иногда растянуться въ цѣлые годы), пальцемъ не касаясь «новыхъ людей». Порукой въ томъ самъ Тургеневъ въ «Запискахъ охотника», не говоря о множествѣ другихъ примѣровъ. Одно дѣло скорбѣть скорбями родины, тревожиться ея тревогами, пронизывать, пропитывать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсѣмъ другое дѣло изображать «новыхъ людей», то-есть типичныхъ представителей новыхъ наслоений. Первое достижимо безъ второго, второе возможно безъ перваго. Конечно, возможно и сочетаніе этихъ двухъ отбѣнковъ творчества, но создавать изъ «новыхъ людей» специальность для художника и притомъ требовать, чтобы онъ въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ изображалъ все «новыхъ» и опять «новыхъ» — это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургеневъ, вопреки распространенному мнѣнію, никогда не удовлетворялъ этому требованію, хоть, можетъ быть, въ глубинѣ души и хотѣлъ бы ему удовлетворить.

Чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить, напримѣръ, «Лишняго человѣка» и героя «Нови» — Нежданова. Если вы не будете смѣшивать рамку съ самою картиною, костюмъ съ характеромъ лица, въ него одѣтаго, обстановку, въ которой дѣйствуетъ извѣстный типъ, съ самымъ этимъ типомъ (а такое смѣшеніе — послѣднее дѣло), то безъ труда увидите, что «Лишний человѣкъ» и Неждановъ одно и то же лицо, одинъ и тотъ же и притомъ общечеловѣческій, абстрактис психологическій типъ. Самое свое задушевное они выражаютъ даже почти одними и тѣми же словами. А между тѣмъ, появленіе «Лишняго человѣка» отдѣляется отъ появленія

Нежданова тремя десятками лѣтъ и являются они въ совершенно различныхъ обстановкахъ. Эта разница въ обстановкѣ и даетъ поводъ думать или, по крайней мѣрѣ, говорить, что какъ «Лишний человѣкъ» былъ новымъ человѣкомъ для своего времени, такъ и Неждановъ новый человѣкъ для своего. Между тѣмъ, это одинъ и тотъ же типъ слабого, раздвоеннаго «гамлетика, самоубѣда», какъ его называлъ самъ Тургеневъ; типъ общечеловѣческій, блестяще развитой въ европейской литературѣ. Вставьте «Лишняго человѣка» въ обстановку русской революціи, и получится Неждановъ; придайте ему глубины и высоты и вдвиньте въ обстановку средневѣковаго искренняго ученаго — получится Фаустъ; сохраняя ту глубину и высоту, поставьте передъ нимъ практическую задачу кровной мести — выйдетъ Гамлетъ. Вы не припишете мнѣ, конечно, нелѣпой мысли, что всѣ эти «вставки», «поставьте» очень легко выполнить. Напротивъ, очень трудно. Надо быть чрезвычайно большимъ художникомъ, чтобы съ такимъ блескомъ, какъ это сдѣлалъ Тургеневъ, написать нѣсколько новыхъ варіанцій на тему, эксплуатируемую гигантами творчества.

Тургеневъ былъ совершенно изъ ряду вонъ выходящій мастеръ въ дѣлѣ индивидуализаціи образовъ. Мало того, что его фигуры стоятъ передъ нами, какъ живыя, со всѣми мельчайшими особенностями своихъ личныхъ фizioномій. Это мы получаемъ отъ каждаго крупнаго художника. Но Тургеневъ устраивалъ иногда настоящіе состязанія между своими дѣйствующими лицами, ставя ихъ въ одно и то же положеніе по отношенію къ какому-нибудь частному предмету, какъ бы загоняя ихъ въ одно и то же положеніе и всетаки сохраняя ихъ индивидуальность до мельчайшей черты. Такъ поступилъ онъ, напримѣръ, въ «Первой любви», точно очертивъ около княжны кругъ изъ пяти или шести мужчинъ, изъ которыхъ каждый любить по своему и къ каждому изъ которыхъ и княжна имѣетъ особенный отбѣнокъ отношеній. Такой же tour de force устроилъ онъ въ «Наканунѣ», размѣстивъ вокругъ Елены Берсенева, Шубина, Инсарова и Курнатовскаго. Художникъ меньшаго дарованія и даже, пожалуй, не меньшаго, а не тургеневскаго, съ его тонкостью и кружевной отдѣлкой письма, едва-ли вышелъ бы побѣдителемъ изъ этой трудности, да, можетъ быть, и не рѣшился бы на нее покуситься. Если поэтъ, гусаръ, докторъ и польскій графъ изъ окружающихъ княжну въ «Первой любви» нѣсколько отзываются ходячими шаблонами поэта, гусара и т. д., то Берсенева, Шубина, Инсарова, Курна-

товскій уже несомнѣнно портреты рѣдкаго мастерства: портреты, то-есть явѣно вполне индивидуализированное.

Тѣмъ не менѣе, если оставить въ сторонѣ многочисленныя второстепенныя дѣйствующія лица рассказовъ, повѣстей и романовъ Тургенева и сосредоточиться на ихъ «герояхъ», центральныхъ фигурахъ, то увидите, что собственно только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно имъ разрабатывались. Въ его отношеніяхъ къ этимъ типамъ, въ разницѣ этихъ отношеній сказываются всѣ особенности художественной натуры Тургенева и весь его душевный обликъ.

Въ известной статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» Тургеневъ, очевидно, гораздо болѣе симпатизируетъ пламенному, хотя и смѣшному ламанчскому герою, чѣмъ сумрачному датскому принцу. Однако, обобщать эту симпатію и антипатію можно только съ большою осторожностью. Было бы, напримеръ, большою ошибкою сказать, что вообще дѣятельный, рѣшительный, смѣло берущій на себя отвѣтственность типъ (каковъ Донъ-Кихотъ) дороже и ближе Тургеневу, чѣмъ типъ колеблющійся, рефлектирующій, не смѣющій сдѣлать то, что, по совѣсти, обязанъ сдѣлать (каковъ Гамлетъ). Совсѣмъ не эти стороны того и другого были важны для Тургенева, не ихъ онъ имѣлъ въ виду, когда проводилъ свою параллель между Гамлетомъ и Донъ-Кихотомъ. Страданія Гамлета и его хромоногая рефлексія были, напротивъ, очень близки и дороги Тургеневу, но мрачность скептицизма и холодъ эгоизма убійцы Офеліи, Полонія и Лаэрта отталкивали добродушнаго поэта, вскормленнаго неопредѣленными, но свѣтлыми идеалами. Въ Донъ-Кихотѣ же его прельщала отнюдь не цѣльная твердость характера и готовность дѣйствовать на свой страхъ, а поэтический порывъ, стремленіе куда-то къ свѣту и беззаветная любовь къ людямъ. Если же (что было бы, конечно, крайне односторонне) разумѣть подъ Донъ-Кихотомъ дѣятельную, рѣшительную натуру, а подъ Гамлетомъ созерцательную, колеблющуюся, то отношенія Тургенева къ обоимъ этимъ типамъ будутъ какъ разъ обратное тому, которое мы видимъ въ его параллели.

Тургеневъ былъ меньше всего родственъ рѣшительнымъ, берущимъ на себя отвѣтственность натурамъ, но онѣ занимали его, онъ рисовалъ ихъ, поневолѣ отражая въ рисунокъ свою имъ чуждость. Конечно, онъ былъ слишкомъ уменъ и чутокъ къ художественной правдѣ, чтобы дѣлать изъ этихъ антипатичныхъ ему фигуръ сплошныхъ злодѣевъ, изверговъ рода человѣческаго или

дураковъ, точно такъ же, какъ и любимцевъ своихъ онъ не обращалъ въ рыцарей безъ пята и порока. Напротивъ, онъ ставилъ иногда ихъ въ унижайшія положенія, а чужимъ, неприятнымъ людямъ предоставлялъ даже истинный героизмъ. Но интимныя отношенія автора къ своимъ созданіямъ всетаки чувствуются, и не просто чувствуются, а могутъ быть указаны и анализированы.

Когда капризно-поэтический, ребячески милый Шубинъ дѣлаетъ статуэтку стоящаго на заднихъ ногахъ и готоваго бодаться барана, удивительно вмѣстѣ съ тѣмъ похожаго на Инсарова, то въ этомъ выразилось, конечно, въ преувеличенномъ, карикатурномъ видѣ, собственное отношеніе Тургенева къ герою «Наканунѣ». Несмотря на свою силу, даваемую опредѣленностью жизненной задачи и вѣрою въ нее, Инсаровъ узокъ, сухъ, жестокъ, даже тушъ, и сама Елена находитъ въ немъ много общаго съ чиновникомъ Курнатовскимъ. Замѣьте, что въ качествѣ дѣятельнаго участника освобожденія болгаръ, Инсаровъ вовсе не необходимо долженъ быть такимъ, какимъ онъ вышелъ изъ-подъ пера Тургенева. Онъ могъ бы быть и пламеннымъ, экспансивнымъ энтузіастомъ, съ глубокимъ поэтическимъ чутьемъ, съ широкими политическими планами, краснорѣчивымъ ораторомъ, какъ колоколъ будящимъ своихъ поработченныхъ единоплеменниковъ и т. п. Но Тургеневъ пожелалъ лишить болгарскаго агитатора всѣхъ яркихъ красокъ, не далъ ему ни одного цвѣтка жизни изъ своего богатаго поэтическаго букета. Нельзя, разумѣется, приставать къ художнику съ запросами, почему онъ сдѣлалъ своего героя такимъ, а не такимъ. Но если мы видимъ, что у нашего художника рѣшительные люди, смѣющіе брать на себя отвѣтственность, *всегда* таковы, то это указываетъ на известную складку въ самомъ художникѣ. А среди духовныхъ дѣтищъ Тургенева Инсаровъ далеко не одинокъ въ своей прозвѣсоческой сухости непреклоннаго, не гнущагося человѣка. Таковъ и Базаровъ. Антипатія Тургенева къ этому своему созданію слишкомъ очевидна, чтобы стоило ее доказывать теперь, когда острый полемическій моментъ оцѣнки «Отцовъ и дѣтей» прошелъ. Но оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ всякія догадки о личныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ покойнаго. Посмотримъ на Базарова просто, какъ онъ есть самъ. Это во-первыхъ, человѣкъ, идущій на проломъ, безъ малѣйшихъ сомнѣній и колебаній, смѣло, даже дерзко берущій на себя отвѣтственность за презрѣніе ко многому, по мнѣнію окружающихъ, святому и неприкосновенному, и за все свое «отри-

чаніе»; онъ не боится ни смерти, ни жизни, ни дуэли, которая теоретически въ его глазахъ смѣшна, ни приступа къ неприступной Одинцовой. Это одна сторона фигуры Базарова. Другая состоитъ въ томъ, что онъ опять-таки жестокъ, сухъ, черствъ, узокъ, хотя и уменъ. Узокъ онъ до того, что, напримѣръ, для него не существуетъ *наука*, а есть только *науки*, то-есть спеціальности; сухъ до того, что лишентъ самаго малѣйшей искры поэтического чувства. Словомъ, опять ни одной яркой краски, ни одного жизненнаго цвѣтка въ этой сильной, но скудной, пустынной натурѣ. Не про него эти жизненные цвѣтки. Онъ не только не тяготится ихъ отсутствіемъ, а, можетъ быть, даже когда-нибудь въ прошедшемъ насильственно вырываетъ ихъ изъ своей души, чтобы не развлекаться по сторонамъ, чтобы свободно и рѣшительно идти своей дорогой. А ужъ тѣмъ паче презираетъ онъ тѣ цвѣтки, которые ему случайно, по дорогѣ, въ другихъ попадаются: онъ ихъ топчетъ съ презрѣніемъ и насмѣшкой. Базаровъ въ этомъ отношеніи вольный или невольный аскетъ. Вольный, если онъ намѣренно, систематически стеръ съ себя всякія яркія краски, невольный — если уже онъ такой уродился...

Милостивые государи, вы позволите мнѣ не распространяться о томъ, что именно на этомъ пунктѣ выросли тѣ недоразумѣнія по поводу «Отцовъ и дѣтей», о которыхъ потомъ съ такою горечью вспоминалъ Тургеневъ и которыхъ онъ своими разъясненіями ни мало не разъяснилъ. Онъ говорилъ, напримѣръ, что онъ почти раздѣляетъ убѣжденія Базарова, за исключеніемъ его взглядовъ на искусство. Но, чтобы не далеко ходить, ссылаюсь для образчика на вышеупомянутое мнѣніе Базарова, что *наука* это вздоръ, а есть только *науки*. Ужъ, конечно, широкому, синтетическому уму Тургенева этотъ взглядъ не могъ быть симпатиченъ. Но, повторяю, я не хочу объ этомъ распространяться. Я предлагаю вамъ стать на совсѣмъ другую точку зрѣнія. Дѣло въ томъ, что совершенно независимо отъ обстановки, заимствованной изъ момента борьбы поколѣній, Базаровъ есть психологическій типъ, родственный и Инсарову, и нѣкоторымъ другимъ персонажамъ Тургенева въ томъ смыслѣ, что все это люди не колеблющіеся, идущіе на проломъ, берущіе на себя отвѣтственность. Рисуя этотъ сортъ людей, Тургеневъ направлялъ ихъ дѣятельность къ очень разнообразнымъ цѣлямъ: то заставлялъ освобождать угнетенныхъ соотечественниковъ отъ иноземнаго ига, какъ Инсарова въ «Наканунѣ», то предоставлялъ имъ сферу теоретическаго отрицанія, какъ Ба-

зарову въ «Отцахъ и дѣтяхъ», то пускалъ въ волны русской революціи, какъ Маркелова, Остроумова и прочую «безымянную Русь» въ «Нови», то замыкалъ въ сферу любовной фабулы, какъ Лучинова въ «Трехъ портретахъ», и Лучкова въ «Бреттерѣ», то надѣвалъ на нихъ мундиръ чиновника, какъ на Курнатовскаго въ «Наканунѣ» и еще кое на какихъ, менѣе достопримѣчательныхъ. Какъ общественному дѣятелю или просто какъ человеку извѣстнаго образа мыслей, эти различные жизненные цѣли, эти разнообразныя направленія дѣятельности рѣшительныхъ героевъ могли быть симпатичны или антипатичны Тургеневу. Но ему чуждъ и не любъ былъ самый типъ, сама душевная механика этихъ людей, какія бы цѣли они не преслѣдовали. Замѣчательный въ самомъ дѣлѣ фактъ. Казалось бы, для художника, какъ художника, должно быть очень соблазнительно расцвѣтить возможно ярко человѣка, не колеблющагося, твердаго умомъ, чувствомъ и волей. Хотя бы уже потому соблазнительно, что этотъ пріемъ предоставляетъ писателю рядъ совершенно особыхъ художественныхъ эффектовъ. Кто говорить! на этомъ пути легко уклониться отъ реальной правды жизни и впасть въ фальшивую идеализацію, что обыкновенно и случается съ мелкими художниками, но Тургеневъ былъ художественная звѣзда первой величины; а между тѣмъ во всей богатой коллекціи его образовъ вы не найдете ни одного, который, при стойкости и рѣшительности, обладалъ бы извѣстною долей другихъ, цвѣтныхъ достоинствъ. Все это сѣро, сухо, не колоритно, какъ Инсаровъ и Базаровъ; подчасъ просто даже глупо, какъ «безымянная Русь», подчасъ грубо и злобно, какъ Лучковъ, или самое большое, красиво злобно, какъ Лучиновъ.

Вы, можетъ быть, удивитесь, что грубаго бреттера Лучкова и безсердечнаго наглеца Лучинова я ставлю рядомъ съ Инсаровымъ, Базаровымъ, Остроумовымъ, Маркеловымъ, Курнатовскимъ. Но, минута размышленія — и вы согласитесь, что это одинъ и тотъ же абстрактно-психологическій типъ, вдвинутый въ различныя обстановки. Лучковъ убиваетъ неповиннаго пріятеля, а Лучиновъ еще болѣе невиннаго и притомъ совершенно жалкаго человѣка, не моргнувши глазомъ. Цѣли, для которыхъ приносятся эти кровавыя жертвы, будучи чисто личнаго характера, и принципы, во имя которыхъ происходятъ жертвоприношенія, мелки, дрянны, низменны. Затѣмъ, между Лучковымъ и Лучиновымъ нѣтъ, повидимому, ничего общаго, хотя они оба дуэлисты: одинъ тупъ и грубъ, какъ бревно, другой — блестящій «кавалеръ». Но характерная черта психологическаго

типа состоятъ не въ этихъ случайныхъ подробностяхъ, опредѣляемыхъ условіями рожденія, воспитанія, вліяній среды, и не въ цѣляхъ дѣятельности, столь же измѣнивыхъ, а въ готовности перешагнуть черезъ какое бы то ни было препятствіе; въ такой вѣрѣ въ свою правоту, которая не допускаетъ даже и тѣни сомнѣній и колебаній. Забудьте теперь эти дрянныя цѣли чистыми и низменные принципы возвышенными, и вы можете получить нѣчто въ родѣ Инсарова. Что человекъ при этомъ остается тотъ же въ своей душевной механикѣ, хотя измѣняется въ направленіи своей дѣятельности, это видно, напримѣръ, изъ известной сцены ратоборства Инсарова съ пьянымъ нѣмцемъ. Этотъ пьяный нѣмецъ вѣдь не турокъ, котораго надо выгнать изъ Болгаріи, и цѣли, и принципы дѣятельности Инсарова тутъ не причесть. Однако, искаженное лицо Инсарова и холодная рѣшительность, съ которою онъ ввергаетъ нѣмца въ воду, свидѣлствуютъ, что онъ смѣло взялъ бы на себя отвѣтственность за увѣче и даже смерть этого пьянаго нѣмца. По мнѣнію столь компетентнаго цѣнителя, какъ героиня «Наканунъ», Елена, въ Курнатовскомъ и Инсаровѣ есть нѣчто общее. А вы помните, какъ взволновала Елену холодная рѣшительность, съ которою Курнатовскій настаивалъ на необходимости «раздавить» какую-то группу людей, со включеніемъ и невинныхъ ея членовъ (если не ошибаюсь, разговоръ шелъ о взяточникахъ; вообще, извините—я пишу на память, не имѣя подъ рукою сочиненій Тургенева). Базаровъ, обреченный на прожизнаніе въ теоретическихъ сферахъ, производитъ тамъ операцію, совершенно параллельную: онъ всегда готовъ, безъ колебаній и сомнѣній, «раздавить» установившуюся идею, предразсудокъ, поэтический порывъ, не щадя при этомъ людей. О «безымянной Руси» и говорить нечего.

Тургеневу случалось вводить въ портреты этого сорта людей очень некрасивыя черты, но, повторяю, онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ большой художникъ, чтобы дѣлать изъ нихъ всегда и непремѣнно сплошныхъ глупцовъ или негодяевъ, какъ это дѣлаютъ мелкоотравчатые живописатели съ своими духовными пасынками. Но это были всетаки пасынки Тургенева и онъ каралъ ихъ, какъ только можетъ карать умный и талантливый художникъ: въ большей или меньшей степени надѣлялъ сухостью, черствостью ума или чувства, лишалъ поэтического ореола. Васъ отнюдь не должна смущать въ этомъ отношеніи якобы поэтическая фигура Инсарова: на него лишь падаетъ отблескъ грандіозной задачи освобожденія Болгаріи; самъ

же по себѣ онъ такъ же тусклъ, какъ тѣ свинцовыя пули, которыми онъ хотѣлъ бы осыпать турокъ.

Вообще, скудость, сухость, обдѣленность дарами природы точно представлялись Тургеневу необходимыми спутниками или даже условіями непреклонной личной силы. И это станетъ еще явственнѣе, если мы обратимъ вниманіе на его разработку противоположнаго типа—мягкаго, колеблющагося, сомнѣвающегося, несмѣющаго, не управляющаго событіями, а управляемаго ими. Тургеневъ очень много занимался этимъ типомъ и создалъ цѣлую коллекцію его ~~персонажей~~ ^{персонажей}. Въ первую пору своей литературной дѣятельности, онъ изображалъ этихъ слабыхъ, раздвоенныхъ людей вѣдь всякой дѣятельности, только мучительно копающимися въ своей душѣ (Гамлетъ Щигиревскаго уѣзда, Липинъ человекъ). Въ первый разъ показалъ онъ ихъ въ дѣйствіи въ «Рудинѣ», едва-ли не лучшемъ своемъ и, во всякомъ случаѣ, необыкновенно прекрасномъ произведеніи. Въ Рудинѣ есть много непривлекательныхъ мелкихъ чертъ (охотно живетъ на чужой счетъ, беретъ деньги взаймы безъ отдачи), но всѣ онѣ тонутъ въ общей слабости—безхарактерности, которая ставитъ Рудина въ цѣлый рядъ неловкихъ и даже позорныхъ положеній. Слово и дѣло для него совсѣмъ разныя вещи, онъ неспособенъ на какой бы то ни было твердый, рѣшительный, опредѣленный шагъ и совершенно посрамляется не только Натальей, а и людьми гораздо меньшаго калибра. И несмотря на все это, Рудинъ истинно блестящій образъ. Одно время, съ легкой руки нѣкоторыхъ критиковъ, у насъ принято было презрительно относиться къ «болтовнѣ» Рудина: дескать, дѣла не дѣлаетъ, а только болтаетъ. Разсуждающіе такимъ образомъ упускаютъ изъ виду, что въ тѣ печальныя времена, когда жилъ Рудинъ, не было особеннаго богатства въ выборѣ «дѣла» для человека его образа мыслей. Забываютъ они также, что слово само по себѣ можетъ быть дѣломъ, и какъ ни велико разстояніе между словомъ и дѣломъ для самого Рудина, но по отношенію къ другимъ его мощное слово могло быть и дѣйствительно было дѣломъ. Недаромъ, наслушавшись его краснорѣчія, Наталья ощутила въ себѣ силы, оказавшіяся не по плечу самому Рудину; недаромъ, передъ юнымъ Васистовымъ разверзались отъ этого краснорѣчія какіе-то неопредѣленные, но свѣтлые и широкіе горизонты. Конечно, еслибы этотъ роскошный даръ природы въ другія руки, напримѣръ, Инсарову или Базарову, такъ они не такія дѣла обдѣляли бы. Но нашъ художникъ позаботился, какъ гласитъ нѣмецкое изрѣченіе, чтобы деревья не

доросли до неба. Сильнымъ людямъ онъ не далъ талантовъ и вообще блеску, а слабому далъ и таланты, и поэтический ореолъ. Смерть Рудина, усугубляя эффектность его фигуры, искупаетъ и разныя его слабости. И не только смерть, а уже скорбный рассказъ старому другу объ томъ, по какимъ онъ дорогамъ мыкался, и какія бываютъ дороги грязныя. Много мягкости душевной и теплоты внесъ сюда нашъ знаменитый романистъ, и именно по такимъ страницамъ надо цѣнить глубокую гуманность его натуры.

Замѣчательно, однако, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полнотѣ только при обрисовкѣ слабыхъ характеровъ, не влекущихъ, а влекомыхъ, не управляющихъ, а управляемыхъ. Такихъ Тургеневъ умѣлъ обливаетъ мягкимъ, ласкающимъ свѣтомъ, даже не прибѣгая къ роскоши даровъ природы. Вотъ, напримѣръ, герой «Вешнихъ водъ», Санинъ. Это самый обыкновенный молодой чековѣкъ, только молодостью и блистающій. На немъ нѣтъ, правда, ни мрачныхъ тѣней, ни свинцовой тусклости, но не числятся за нимъ и какія-нибудь положительные личныя достоинства; ни глубокихъ думъ, ни особенныхъ дарованій. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда не кончаютъ, все ждутъ, чтобы кончилось, замѣчаетъ Тургеневъ, рассказывая романическую исторію Санина. — Но Санинъ ничего и не начинаетъ, и не продолжаетъ, у него все какъ-то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его переходитъ даже въ гнусность, въ которой, какъ ему самому кажется, его уличаетъ даже собака Тарталья, и онъ съ тоской вспоминаетъ о той позорной роли, которую, оставивъ Джемму, игралъ при господѣ Полозовой. Но и событія въ концѣ концовъ такъ располагаются, и такимъ рыцаремъ ведетъ себя по временамъ Санинъ, и такъ много свѣту и тепла пустилъ во всю эту обыкновенную исторію мастеръ художникъ, что Санинъ отнюдь не противенъ, а просто вамъ его жалко...

Я слишкомъ долго не кончилъ бы, еслибы захотѣлъ перебрать всѣ созданные Тургеневымъ образы слабыхъ людей, и потому вы позволите мнѣ остановиться только на одномъ еще, на Неждановѣ. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда называлъ бы этого юношу своимъ младшимъ братомъ, примѣряющимъ костюмъ революціонера, Шубинъ называлъ бы его «грызуномъ, гамлетикомъ, самоѣдомъ», Паклинъ называетъ его «россійскимъ гамлетомъ». Гамлетикъ-Неждановъ не только раздвоенъ, а разтроенъ между любовью къ Маріаннѣ, стремленіемъ въ художественныя сферы и избранною имъ революціонною дѣятельностью. Сочувствіе

какъ-нибудь все это въ одно цѣлое онъ не можетъ и все это у него не настоящее, потому что ничему не умѣетъ онъ отдаться вполне, безъ мучительно скептического копанія въ своей душѣ. Ему естественно кончить самоубійствомъ, потому что порядочному человѣку надо или сбросить это бремя или перестать жить. Только совершенная дрянь можетъ безъ конца носиться съ этой душевной сумятицей и, пожалуй, даже кокетничать ею, что обыкновенно и дѣлаютъ «гамлетизированные поросята», изъ которыхъ, по законамъ естества, съ теченіемъ времени вырастаютъ свиньи. Но Гамлетикъ-Неждановъ больше, чѣмъ порядочный человѣкъ. Онъ чистъ въ порывахъ своей натуры, и искрененъ въ своемъ скептицизмѣ. Притомъ же, за исключеніемъ Маріанны, объ которой сейчасъ, Неждановъ выше всѣхъ видимыхъ окружающихъ. Говорю «видимыхъ», потому что есть и невидимые, и въ этомъ состоитъ особенный интересъ всей концепціи «Нови». Тургеневу, по какимъ-то особымъ внутреннимъ требованіямъ его творчества, *нужно* было поставить въ центръ романа именно Нежданова съ его надломленностью и расположить всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ въ тѣни, такъ, чтобы на него падало какъ можно больше свѣта. Достигается это двумя способами. Около Нежданова группируется кучка людей, сильныхъ волею и цѣльныхъ вѣрою, но зато необыкновенно скудныхъ въ умственномъ отношеніи, узкихъ, тусклыхъ, просто даже глухихъ. На этомъ сѣромъ фонѣ Неждановъ выдѣляется яркимъ, красивымъ пятномъ. Затѣмъ вдали помѣщается Соколинъ, рекомендуемый чѣмъ-то покрупнѣе всѣхъ этихъ Марколовыхъ, Остроумовыхъ, Машуриныхъ, но на столько вдали, что онъ оказывается какъ бы въ туманѣ и никакимъ образомъ не можетъ заслонить собою Нежданова. Еще дальше, уже внѣ рамокъ картины, помѣщается какой-то Василій Николаевичъ, вожакъ, заправляющій всей «безымянной Русью». Онъ даже не показывается въ романѣ, объ немъ только говорятъ. Можетъ быть, онъ и очень большая величина, можетъ быть, даже соединяетъ личную непреклонность и небоязнь ответственности съ выдающимися дарованіями и поэтическимъ блескомъ, но, ревнивый къ своему любимому Нежданову, художникъ не допускаетъ ихъ до состязанія въ симпатіяхъ и заинтересованности читателя. Онъ не хочетъ рисковать поэтическимъ ореоломъ Нежданова. На немъ, на этой колеблющейся, не смѣющейся, не умѣющей опредѣлиться фигурѣ хочетъ онъ сосредоточить участіе и интересъ читателя.

Есть, однако, одно лицо, передъ кото-

рымъ Тургеневъ охотно пригибаетъ Нежданова. Это—Маріанна. Мужчина, пасующій передъ женщиной, оказывающійся ниже ея, одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ Тургенева. Онъ его эксплуатировалъ въ «Асѣ», въ «Рудинѣ», въ «Дымѣ», въ «Вешнихъ водахъ», въ «Затишьѣ», въ «Концѣ Чертопханова». И если, напримѣръ, въ упомянутомъ художественномъ *tour de force*, въ «Первой любви», буйная княжна Зинаида совершенно преклоняется передъ однимъ изъ пяти или шести мужчинъ, претендующихъ на ея благосклонность (передъ отцомъ лица, отъ имени котораго ведется рассказъ), переклоняется до униженія, до поцѣлуя рубца отъ удара его хлыста, то остальная коллекція вся у ея ногъ. Да и этотъ одинъ, стоящій выше ея, почти не показывается читателю. Остается совершенно неизвѣстнымъ, какими чарами околдовалъ онъ буйную княжну. Художникъ какъ бы признаетъ свое безсиліе изобразить такое рѣдкостное явленіе. Въ «Нови» Соломинъ, выражая одну изъ самыхъ душевныхъ мыслей автора, говоритъ, что «*все* русскія женщины дѣлнѣе и выше насъ, мужчинъ». *Все* это, конечно, ужъ черезъ край, сильно сказано, но почти справедливо относительно женскихъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ. Онъ ихъ рисовалъ съ необыкновенною любовью и, такъ сказать, рыцарскою деликатностью. Даже такая грубо чувственная и хищная натура, какъ *м-ше* Полозова въ «Вешнихъ водахъ», оказывается во-первыхъ, сильною, а во-вторыхъ, во многихъ отношеніяхъ симпатичною. Даже такая послѣдняя дрянъ, какъ *м-ше* Лаврецкая въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» одобряется красотой, умомъ, талантами и не получаетъ отъ автора ни одного грубаго, хотя и вполне заслуженнаго ею пинка. Объ остальныхъ или, по крайней мѣрѣ, о большинствѣ остальныхъ и говорить нечего, это чистѣйшія, идеальныя созданія. Пропустите только у себя въ памяти героиню «Фауста», Асю, Машу въ «Затишьѣ», Лизу въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», Наталью въ «Рудинѣ», Елену въ «Наканунѣ», Джемму въ «Вешнихъ водахъ», Таню въ «Дымѣ», Одинцову и Катю въ «Отцахъ и дѣтяхъ», Маріанну въ «Нови»...

Если, однако, репутація Тургенева, какъ ловца моментовъ русскаго общественнаго развитія, несправедлива вообще, то еще менѣе справедлива она относительно русскіхъ женщинъ. Я уже не говорю объ томъ, что итальянка Джемма могла бы быть замѣнена русскою или собой замѣнить русскую безъ малѣйшей перемѣны во внутренней, душевной жизни. Но относительно женщинъ, Тургеневъ не прибѣгалъ даже къ замѣстоуваніямъ «новыхъ» обстановокъ изъ

текущей русской дѣйствительности (исключеніе составляютъ Кукшина въ «Отцахъ и дѣтяхъ», Маріанна и Машуркина въ «Нови»). Припомните, сколько различныхъ «моментовъ» пережила русская женщина съ тѣхъ поръ, какъ звѣзда тургенева сразу ярко загорѣлась на горизонтѣ русской литературы. Въ сороковыхъ годахъ, подъ вліяніемъ Жоржъ Зандъ, у насъ были такъ называемыя «эмансипированныя» женщины. Явленіе это было, правда, не особенно распространенное и въ обществѣ довольно безобразное, какъ оно и естественно при милліонахъ не эмансипированныхъ крестьянъ. Но въ отдѣльных случаяхъ оно могло быть чистымъ, искреннимъ и вполне заслуживающимъ поэтическаго воспроизведенія. И если мужчины могли задумываться о гнусности крѣпостнаго права, и горѣть отъ стыда за него, то почему не могли того же дѣлать женщины, особливо если всѣ русскія женщины выше и дѣльнѣе насъ, мужчинъ? Но объ этомъ мы ровно ничего не узнаемъ отъ Тургенева. Можетъ быть, однако, это вовсе не «моментъ», то-есть недостаточно широкое общественное явленіе, чтобы стоило крупному художнику его отмѣчать? Очень можетъ быть. Но вотъ въ шестидесятыхъ годахъ въ средѣ русскихъ женщинъ происходитъ довольно, кажется, широкое и довольно опредѣленное движеніе, беллетристически изображенное много разъ, но все болѣе или менѣе слабыми, неумѣлыми руками или даже прямо грязными. Казалось бы, Тургеневу, съ его широкими симпатіями, съ его чуткостью ко всему, что шевелится въ женскомъ сердцѣ, представлялась тутъ богатѣйшая жатва. А между тѣмъ на все это женское движеніе онъ откликнулся однимъ образомъ, да и этотъ образъ — Евдокія Кукшина. Не будемъ говорить хороша или дурна Кукшина, можетъ-ли она быть признана олицетвореніемъ общаго явленія или это частное уродство, но, во всякомъ случаѣ, одна ласточка, весны не дѣлаетъ. Единственностью этой ласточки свидѣтельствуетъ, что Тургеневъ занималъ тогда совсѣмъ не специальное движеніе русскихъ женщинъ, не «женскій трудъ», или «женскій вопросъ», или высшее образованіе женщинъ. Онъ понималъ, конечно, все это и, такъ или иначе, принималъ близко къ сердцу, но именно *близко* къ сердцу, а не настолько, чтобы, переваривъ въ своемъ сердцѣ и умѣ, переработать творческимъ процессомъ и предъявить въ видѣ поэтическихъ образовъ. Его другое занимало—мотивъ психологическій и общечеловѣческій, если хотите, общеженскій. Его занимало тогда, какъ и прежде, и потомъ, моментъ возникновенія сердечнаго романа двѣнадцати; моментъ, имъ до высшей степени

«благороженный совершенно особеннымъ, чисто тургеневскимъ способомъ».

Тургеневъ часто называютъ «истиннымъ реалистомъ», основателемъ или главою реальной школы въ беллетристику и т. п. Всѣ эти реализмы, идеализмы и прочіе измы ужасно захватаны и сплошь и рядомъ люди, о нихъ препирающіеся, разумѣютъ подъ ними совсѣмъ разныя вещи. Я не думаю, чтобы поэзія Тургенева исчерпывалась словомъ реализмъ. Если разумѣть подъ реализмомъ стремленіе изображать правду жизни, какъ она есть, такъ, конечно, Тургеневъ былъ реалистъ. Но дѣло въ томъ, что жизнь пестра, низкое въ ней чередуется съ возвышеннымъ, грязное съ чистымъ. Художникъ можетъ, оставаясь вполнѣ вѣренъ правдѣ жизни, выбирать для художественной эксплуатации однѣ низкія и грязныя ея полосы, но точно также и однѣ возвышенныя и чистыя. Въ послѣднемъ случаѣ его назовутъ, пожалуй, идеалистомъ и, пожалуй, будутъ правы. Что касается женщинъ, Тургеневъ былъ именно такимъ идеалистомъ: онъ выбиралъ свои темы изъ идеальныхъ полосъ реальной жизни. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что есть женщины, способныя своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящій адъ для своихъ близкихъ, что есть женщины и въ разныхъ другихъ смыслахъ вполнѣ дрянныя, но ихъ нѣтъ въ галлерей женскихъ типовъ Тургенева. Онъ этихъ сторонъ реальной правды жизни не трогалъ или почти не трогалъ. Дѣвушка полюбила — вотъ любимѣйшая и постоянная тема Тургенева. Спокойнѣе вѣка эксплуатируется эта тема безчисленнымъ множествомъ поэтовъ, романистовъ, драматурговъ. Но Тургеневъ съ своей разработкой ея стоитъ совершенно особо. Любовь не только не кладетъ на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, какъ это часто случается въ романахъ и въ жизни, но какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей новыя, далекія и свѣтлыя перспективы. Любимый человекъ для нея не просто будущій мужъ или любовникъ, съ которымъ ее ждетъ упоеніе личнаго счастья; нѣтъ, за нимъ стоитъ что-то большое и свѣтлое (она хорошенько не знаетъ что), призывающее къ дѣятельности, къ жертвѣ; ей такъ сладко мечтать объ этой жертвѣ, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, такъ хотѣлось бы на весь міръ прозвенѣть какими-то новыми, до сихъ поръ не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенѣть, а тамъ, пожалуй, пусть струны и оборвутся отъ полноты напряженія. И оттого-то такъ безвыходно-горько разочарованіе, напримѣръ, Маша въ «Затишѣ» или Наталья въ «Рудинѣ». Въ разработку этихъ

переливовъ приподнятого строя женской души, расширенной и очеловѣченной любовью, Тургеневъ кладъ все свое рѣдкое мастерство. Онъ самъ былъ, можно сказать, влюбленъ въ эти свои чудныя созданія.

Замѣчательно, однако, что необходимымъ условіемъ этой влюбленности была именно неопредѣленная свѣтозарность или свѣтозарная неопредѣленность идеаловъ женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудомъ любви, она находится въ состояніи страстного тяготѣнія къ чему-то великому и свѣтлому, но неопредѣленному, далекому, туманному. Какъ только этотъ туманъ разсѣивается, какъ только женщина выбираетъ опредѣленный путь, такъ она или перестаетъ совсѣмъ интересоваться нашего художника, или даже становится для него непріятною. Вотъ почему онъ «уловилъ моментъ» движенія среди русскихъ женщинъ только однимъ образомъ Евдокіи Кукшиной. Можетъ быть, рисуя эту безобразницу, онъ и не погрѣшилъ противъ правды жизни, можетъ быть, такія безобразницы и бывали, но, во всякомъ случаѣ, здѣсь Тургеневъ, даже просто какъ художникъ, далеко не тотъ, что въ изображеніи женщинъ, не тронутыхъ опредѣленнымъ общественнымъ движеніемъ. Тамъ онъ выбиралъ исключительно свѣтлыя и возвышенныя полосы реальной правды жизни, здѣсь, напротивъ, исключительно темныя и низменныя. Тоже самое видите вы и въ «Нови» (мимоходомъ сказать, одномъ изъ самыхъ слабыхъ произведеній Тургенева), гдѣ онъ, послѣ долгаго перерыва, опять далъ героямъ обстановку «новую», заимствованную изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента», въ которомъ, какъ извѣстно, женщины играли очень видную роль. На этотъ разъ Тургеневъ далъ два женскихъ типа, Маріанну и Машурину. Но Маріанна, это — блистающій яркими красками благоуханный цвѣтокъ, раскрывшійся подъ влияніемъ весенняго тепла и свѣта. Это та же, по-тургеневски полюбившая дѣвушка, со всѣми обычными, смутно-возвышенными, неопредѣленно-свѣтлыми атрибутами. Правда, она пытается сдѣлать совершенно опредѣленный шагъ по опредѣленному пути «прощенія», но, благодушно комически освѣтивъ этотъ шагъ, Тургеневъ бережно сводитъ Маріанну съ опредѣленнаго пути и удаляетъ ее куда-то въ туманъ вмѣстѣ съ блѣднымъ Соломиннымъ. Совсѣмъ иное дѣло Машурина. Эта ужъ закоснѣла въ своей опредѣленности, ее не волнуютъ никакія сомнѣнія и колебанія, ничто не можетъ своротить съ намѣченнаго пути; она готова принять на себя отвѣтственность за самыя рѣшительныя дѣйствія. Но за то же она и

лишена всякаго поэтического ореола. Несмотря на всѣ свои добродѣтели, которыя авторъ подчеркиваетъ даже съ излишнею торопливостію, Машурина тускла, даже просто глупа и вдобавокъ безобразна...

Думали-ли, вы когда-нибудь объ томъ, что во всей портретной галлерей рыцарски деликатнаго относительно женщинъ Тургенева только и есть двѣ безобразныя женщины: Кукшина да Машурина? Мелочь это, конечно, но очень характерная...

Вы скажете, пожалуй, что я трогаю больныя мѣста, которыхъ по отношенію къ такому покойнику, какъ Тургеневъ, не слѣдуетъ трогать; тѣ больныя мѣста, которыя при его жизни возбуждали болѣе или менѣе острую полемику и вызывали упреки художнику въ дурныхъ намѣреніяхъ. Нѣтъ, милостивые государи, я могъ бы говорить объ ошибкахъ и слабостяхъ Тургенева, но прежде всего не допускаю мысли объ его злонамѣренности. Я, напротивъ, предлагаю вамъ стать на такую точку зрѣнія, которая объясняетъ всю литературную дѣятельность покойнаго самымъ характеромъ его творчества и всѣмъ его душевнымъ складомъ. Этому складу была художественно враждебна и чужда всякая рѣзкая опредѣленность въ образѣ мыслей, всякая безповоротная рѣшительность въ образѣ дѣйствія. Я подчеркиваю: *художественно* враждебна. Это не значитъ, что тотъ образъ мыслей или дѣйствій были ему враждебны, какъ мыслителю или дѣятелю; это могло быть, могло и не быть. Но въ оригинальномъ процессѣ его творчества, тайны котораго не разгаданы пока ни психологіей, ни физиологіей, рѣзкая опредѣленность и неуклонная личная сила ассоциировались всегда и непрерывно съ безцвѣтностью, съ болѣею или меньшею скудостью природы. Онъ *не могъ* творить иначе, и его такъ же мало можно судить за это, какъ больного дальтонизмомъ за то, что онъ не умѣетъ различать красный и зеленый цвѣта. Отъ него можно было только требовать, чтобы, сознавъ особенный характеръ своего творчества, онъ не брался за задачи, при выполненіи которыхъ упомянутая ассоціація можетъ привести къ тяжелымъ и непріятнымъ общественнымъ послѣдствіямъ. Все равно, какъ отъ больного дальтонизмомъ можно требовать, чтобы онъ не служилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ смѣшеніе зеленого и красного сигналовъ ведетъ къ гибели многихъ жизней...

Столь же фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебательность, неопредѣленность были художественно симпатичны Тургеневу. Здѣсь, впрочемъ, игралъ важную роль и другой житейскій мотивъ. Всѣ, лично знавшіе Тургенева, хоронятъ теперь

не только одно изъ лучшихъ украшеній русской литературы, а и чрезвычайно добраго человѣка. Это личное качество отражалось и въ его литературной дѣятельности. Онъ не мучилъ своихъ мучениковъ-гамлетиковъ и другихъ слабыхъ, надломленныхъ людей сверхъ той мѣры, которая опредѣлялась требованіями правды изображенія и желаніемъ привлечь къ нимъ участіе читателя. Надо также замѣтить, что хотя онъ и поэтизировалъ слабость и неопредѣленность, но никогда не воздвигалъ на пьедесталъ, не заставлялъ читателя предъ ними преклоняться. Напротивъ, устами Шубина онъ сказалъ, что «чуткой душѣ», Еленѣ, естественно было уйти на чужую сторону съ тусклымъ и не поэтическимъ болгаринкомъ, потому что, дескать, что же она могла найти въ нашихъ «гамлетикахъ, самоѣдахъ, грызунахъ!» И если онъ заставляетъ насъ восхищаться неопредѣленностью, то только тогда, когда она, какъ въ его полюбившихъ дѣвушкахъ, выражается въ страстномъ порывѣ къ дѣятельности. Внѣ этого онъ только художественно властно требуетъ у читателя снисхожденія и жалости къ своимъ дѣтищамъ—слабымъ, колеблющимся людямъ. Но и то при условіи ихъ чистоты. Его любимцы, тѣ, къ поэтизированію которыхъ его неудержимо влекъ оригинальный характеръ творчества, борятся сами съ собой, мучатся, изнемогаютъ, падаютъ въ этой борьбѣ, сомнѣваются, колеблются, но никогда не борятся съ тѣми свѣтлыми идеалами, которые самъ Тургеневъ пронесъ неприкосновенными отъ юности до могилы. Напротивъ, они, даже истерзавшись сомнѣніями, иногда и умираютъ за эти идеалы или изъ за нихъ, какъ умеръ Рудинъ, какъ умеръ, пожалуй, и Неждановъ...

Милостивые государи, позвольте мнѣ кончить слѣдующимъ замѣчаніемъ. Все это довольно длинное посланіе я написалъ, ни разу не заглянувъ въ сочиненія Тургенева, которыхъ, какъ я уже упоминалъ, у меня нѣтъ подъ руками. Я могъ бесѣдовать съ вами о многочисленныхъ герояхъ и героиняхъ Тургенева, какъ объ хорошихъ, общихъ знакомыхъ, очень близкихъ людяхъ, которыхъ мы видѣли на прошлой недѣлѣ или вчера и опять увидимъ завтра или на будущей недѣлѣ. И еслибы нужно было свидѣтельство изобразительной силы Тургенева, такъ оно состоитъ просто въ томъ, что каждый образованный русскій человѣкъ, на минуту сосредоточившись, можетъ вызвать всю вереницу его героевъ и героинь, и они пройдутъ, какъ живые, какъ въ томъ проектѣ памятника Пушкину...

Въ эту минуту, впрочемъ, мнѣ нѣсколько, иначе, не такъ, какъ въ началѣ письма, представляется этотъ фантастическій смотръ..

облагороженный совершенно особеннымъ; чисто тургеневскимъ способомъ.

Тургеневъ часто называютъ «истиннымъ реалистомъ», основателемъ или главою реальной школы въ беллетристикѣ и т. п. Всѣ эти реализмы, идеализмы и прочіе измы ужасно захватаны и сплошь и рядомъ люди, о нихъ препирающіеся, разумѣютъ подъ ними совсѣмъ разныя вещи. Я не думаю, чтобы поэзія Тургенева исчерпывалась словомъ реализмъ. Если разумѣть подъ реализмомъ стремленіе изображать правду жизни, какъ она есть, такъ, конечно, Тургеневъ былъ реалистъ. Но дѣло въ томъ, что жизнь пестра, низкое въ ней чередуется съ возвышеннымъ, грязное съ чистымъ. Художникъ можетъ, оставаясь вполне вѣренъ правдѣ жизни, выбирать для художественной эксплоатаціи однѣ низкія и грязныя ея полосы, но точно также и однѣ возвышенныя и чистыя. Въ послѣднемъ случаѣ его назовутъ, пожалуй, идеалистомъ и, пожалуй, будутъ правы. Что касается женщинъ, Тургеневъ былъ именно такимъ идеалистомъ: онъ выбиралъ свои темы изъ идеальныхъ полосъ реальной жизни. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что есть женщины, способныя своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящій адъ для своихъ близкихъ, что есть женщины и въ разныхъ другихъ смыслахъ вполне дрянныя, но ихъ нѣтъ въ галлерей женскихъ типовъ Тургенева. Онъ этихъ сторонъ реальной правды жизни не трогалъ или почти не трогалъ. Дѣвушка полюбила — вотъ любимѣйшая и постоянная тема Тургенева. Спокойнѣе всѣхъ эксплуатируется эта тема безчисленнымъ множествомъ поэтовъ, романистовъ, драматурговъ. Но Тургеневъ съ своей разработкой ея стоитъ совершенно особо. Любовь не только не кладетъ на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, какъ это часто случается въ романахъ и въ жизни, но какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей новыя, далекія и свѣтлыя перспективы. Любимый человекъ для нея не просто будущій мужъ или любовникъ, съ которымъ ее ждетъ упоеніе личнаго счастья; нѣтъ, за нимъ стоитъ что-то большое и свѣтлое (она хорошенько не знаетъ что), призывающее къ дѣятельности, къ жертвѣ; ей такъ сладко мечтать объ этой жертвѣ, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, такъ хотѣлось бы на весь міръ прозвенѣть какими-то новыми, до сихъ поръ не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенѣть, а тамъ, пожалуй, пусть струны и оборвутся отъ полноты напряженія. И оттого-то такъ безвыходно-горько разочарованіе, напримѣръ, Маши въ «Затишѣ» или Натальи въ «Рудинѣ». Въ разработку этихъ

переливовъ приподнятого строя женской души, расширенной и очеловѣченной любовью, Тургеневъ клалъ все свое рѣдкое мастерство. Онъ самъ былъ, можно сказать, влюбленъ въ эти свои чудныя созданія. Замѣчательно, однако, что необходимымъ условіемъ этой влюбленности была именно неопредѣленная свѣтозарность или свѣтозарная неопредѣленность идеаловъ женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудомъ любви, она находится въ состояніи страстнаго тяготѣнія къ чему-то великому и свѣтлому, но неопредѣленному, далекому, туманному. Какъ только этотъ туманъ разсѣвается, какъ только женщина выбираетъ опредѣленный путь, такъ она или перестаетъ совсѣмъ интересоваться нашего художника, или даже становится для него неприятною. Вотъ почему онъ «уловилъ моментъ» движенія среди русскихъ женщинъ только однимъ образомъ Евдокии Кукшиной. Можетъ быть, рисуя эту безобразницу, онъ и не погрѣшилъ противъ правды жизни, можетъ быть, такіа безобразницы и бывали, но, во всякомъ случаѣ, здѣсь! Тургеневъ, даже просто какъ художникъ, далеко не тотъ, что въ изображеніи женщинъ, не тронутыхъ опредѣленнымъ общественнымъ движеніемъ. Тамъ онъ выбиралъ исключительно свѣтлыя и возвышенныя полосы реальной правды жизни, здѣсь, напротивъ, исключительно темныя и низменныя. Тоже самое видите вы и въ «Нови» (мимоходомъ сказать, одною изъ самыхъ слабыхъ произведеній Тургенева), гдѣ онъ, послѣ долгаго перерыва, опять далъ героямъ обстановку «новую», заимствованную изъ текущей русской дѣятельности, изъ «момента», въ которомъ, какъ извѣстно, женщины играли очень видную роль. На этотъ разъ Тургеневъ далъ два женскихъ типа, Маріанну и Машурину. Но Маріанна, это — блистающій яркими красками благоуханный цвѣтокъ, раскрывшійся подъ вліяніемъ весенняго тепла и свѣта. Это та же, по-тургеневски полюбившая дѣвушка, со всѣми обычными, смутно-возвышенными, неопредѣленно-свѣтлыми атрибутами. Правда, она пытается сдѣлать совершенно опредѣленный шагъ по опредѣленному пути «опрошенія», но, благодушно комически освѣтивъ этотъ шагъ, Тургеневъ бережно сводитъ Маріанну съ опредѣленнаго пути и удаляетъ ее куда-то въ туманъ вмѣстѣ съ блѣднымъ Соломиннымъ. Совсѣмъ иное дѣло Машурина. Эта ужъ заколебавшаяся въ своей опредѣленности, ее не волнуютъ никакія сомнѣнія и колебанія, ничто не можетъ своротить съ намѣченнаго пути; она готова принять на себя отвѣтственность за самыя рѣшительныя дѣйствія. Но за то же она и

лишена всякаго поэтического ореола. Несмотря на всѣ свои добродѣтели, которые авторъ подчеркиваетъ даже съ излишнею торопливостью, Машурина тускла, даже просто глупа и вдобавокъ безобразна...

Думали-ли, вы когда-нибудь объ томъ, что во всей портретной галлерей рыцарски деликатнаго относительно женщинъ Тургенева только и есть двѣ безобразныя женщины: Кукшина да Машурина? Мелочь это, конечно, но очень характерная...

Вы скажете, пожалуй, что я трогаю больныя мѣста, которыхъ по отношению къ такому покойнику, какъ Тургеневъ, не слѣдуетъ трогать; тѣ больныя мѣста, которые при его жизни возбуждали болѣе или менее острую полемику и вызывали упреки художнику въ дурныхъ наклоненіяхъ. Нѣтъ, милостивые государи, я могъ бы говорить объ ошибкахъ и слабостяхъ Тургенева, но прежде всего не допускаю мысли объ его злонамѣренности. Я, напротивъ, предлагаю вамъ стать на такую точку зрѣнія, которая объясняетъ всю литературную дѣятельность покойнаго самымъ характеромъ его творчества и всѣмъ его душевнымъ складомъ. Этому складу была художественно враждебна и чужда всякая рѣзкая опредѣленность въ образѣ мыслей, всякая безповоротная рѣшительность въ образѣ дѣйствія. Я подчеркиваю: *художественно* враждебна. Это не значитъ, что тотъ образъ мыслей или дѣйствій были ему враждебны, какъ мысли-телю или дѣятелю; это могло быть, могло и не быть. Но въ оригинальномъ процессѣ его творчества, тайны котораго не разгаданы пока ни психологіей, ни физиологіей, рѣзкая опредѣленность и неуклонная личная сила ассоциировались всегда и непремѣнно съ безцвѣтностью, съ болѣею или меньшею скудостью природы. Онъ не могъ творить иначе, и его такъ же мало можно судить за это, какъ больного дальтонизмомъ за то, что онъ не умѣетъ различать красный и зеленый цвѣта. Отъ него можно было только требовать, чтобы, сознавъ особенный характеръ своего творчества, онъ не брался за задачи, при выполнении которыхъ упомянутая ассоціація можетъ привести къ тяжелымъ и непріятнымъ общественнымъ послѣдствіямъ. Все равно, какъ отъ больного дальтонизмомъ можно требовать, чтобы онъ не служилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ смѣшеніе зеленого и красного сигналовъ ведетъ къ гибели многихъ жизней...

Столь же фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебательность, неопредѣленность были художественно симпатичны Тургеневу. Здѣсь, впрочемъ, игралъ важную роль и другой житейскій мотивъ. Всѣ, лично знавшіе Тургенева, хоронятъ теперь

не только одно изъ лучшихъ украшеній русской литературы, а и чрезвычайно добраго человека. Это личное качество отражалось и въ его литературной дѣятельности. Онъ не мучилъ своихъ мучениковъ-гамлетиковъ и другихъ слабыхъ, надломленныхъ людей сверхъ той мѣры, которая опредѣлялась требованиями правды изображенія и желаніемъ привлечь къ нимъ участіе читателя. Надо также замѣтить, что хотя онъ и поэтизировалъ слабость и неопредѣленность, но никогда не воздвигалъ на пьедесталъ, не заставлялъ читателя предъ ними преклоняться. Напротивъ, устами Шубина онъ сказалъ, что «чуткой душѣ», Еленѣ, естественно было уйти на чужую сторону съ тусклымъ и не поэтическимъ болгаринкомъ, потому что, дескать, что же она могла найти въ нашихъ «гамлетикахъ, самоѣдахъ, грызунахъ!» И если онъ заставляетъ насъ восхищаться неопредѣленностью, то только тогда, когда она, какъ въ его полюбившихъ дѣвушкахъ, выражается въ страстномъ порывѣ къ дѣятельности. Въ этого онъ только художественно властно требуетъ у читателя снисхожденія и жалости къ своимъ дѣтищамъ—слабымъ, колеблющимся людямъ. Но и то при условіяхъ чистоты. Его любимцы, тѣ, къ поэтизированію которыхъ его неудержимо влекъ оригинальный характеръ творчества, борются сами съ собой, мучатся, изнемогаютъ, падаютъ въ этой борьбѣ, сомнѣваются, колеблются, но никогда не борются съ тѣми свѣтлыми идеалами, которые самъ Тургеневъ пронесъ неприкосновенными отъ юности до могилы. Напротивъ, они, даже истерзавшись сомнѣніями, иногда и умираютъ за эти идеалы или изъ за нихъ, какъ умеръ Рудинъ, какъ умеръ, пожалуй, и Неждановъ...

Милостивые государи, позвольте мнѣ кончить слѣдующимъ замѣчаніемъ. Все это довольно длинное посланіе я написалъ, ни разу не заглянувъ въ сочиненія Тургенева, которыхъ, какъ я уже упоминалъ, у меня нѣтъ подъ руками. Я могъ бесѣдовать съ вами о многочисленныхъ герояхъ и героиняхъ Тургенева, какъ объ хорошихъ общихъ знакомыхъ, очень близкихъ людяхъ, которыхъ мы видѣли на прошлой недѣлѣ или вчера и опять увидимъ завтра или на будущей недѣлѣ. И еслибы нужно было свидѣтельство изобразительной силы Тургенева, такъ оно состоитъ просто въ томъ, что каждый образованный русскій человекъ, на минуту сосредоточившись, можетъ вызвать всю вереницу его героевъ и героинь, и они пройдутъ, какъ живые, какъ въ томъ проектѣ памятника Пушкину...

Въ эту минуту, впрочемъ, мнѣ нѣсколько, иначе, не такъ, какъ въ началѣ письма, представляется этотъ фантастическій смотръ.

дѣлаемый повтомъ своимъ созданіямъ. Не онъ имъ дѣлаетъ смотръ, а они пришли поклониться его праху. Вотъ группа полюбившихъ дѣвушекъ съ рыданіями цѣлуетъ мертвыя руки, изобразившія ихъ такими возвышенными чертами. Къ нимъ пристроилась и Машурина. Она не цѣлуетъ рукъ, но она пришла сюда: покойникъ призналъ за ней и честность, и готовность жертвовать собой, а что до поэтического ореола, а тѣмъ болѣе красоты, такъ, вѣдь, она меньше всего об этомъ думаетъ. Гамлетикъ Неждановъ, осознанный Санинъ и другіе съ стыдливой грустью смотрятъ на трупъ того, кто призвалъ на ихъ несчастныя головы столько участія и жалости. Шубинъ, косясь на суроваго и туслаго Инсарова, съ нервно подергивающимися отъ приступа слезъ губами, дрожащими руками готовитъ матеріалъ для маски, которую онъ сейчасъ будетъ снимать съ покойника. Въ сторонѣ стоитъ Базаровъ, съ презрительно-жесткой миной поглядывающій на всѣхъ. Для него безразлично, какого объ немъ мнѣнія былъ покойникъ, любилъ онъ его или нѣтъ; онъ сдѣлалъ свое дѣло, стараясь до послѣдней возможности поддерживать жизнь въ этомъ тѣлѣ. И сановные люди «Дыма» и «Нови» пришли: имъ пояснили, что нельзя не придти, что того требуетъ приличіе, что хоронятъ общепризнанную русскую и даже европейскую славу. Ихъ шокируетъ, что тутъ же вертится какой-то Паклинъ, что какой-то Остродумовъ наслѣдилъ на полу тяжелыми, грязными сапогами, что какой-то Веретневъ съ очевидными признаками перепоя протискался къ самому гробу, но нельзя... И Рудинъ говоритъ немножко туманную, но пламенную рѣчь, отъ музыки которой въ юныхъ сердцахъ Натали и Басистова загорается огонь любви къ правдѣ и свѣту...

VIII *).

Какой-то маленькій французскій «натуралистъ» и «экспериментаторъ» школы Эмиля Зола посвятилъ—разсказываютъ въ газетахъ—томъ своихъ твореній Тургеневу съ восклицаніемъ: *salve, frater!* Спрашивается, какой онъ Тургеневу братъ? Не въ томъ дѣло, что натуралистикъ маленький, а Тургеневъ большой. Бываютъ старшіе братья и младшіе, высокорослые и малорослые, и если это бываетъ въ кровномъ братствѣ, то тѣмъ паче въ братствѣ духовномъ. Не всѣмъ, служащимъ одной и той же идеѣ или исповѣдующимъ одну и ту же вѣру, быть непременно крупными талантами. Каждый дѣлаетъ, что можетъ, для дѣла, которое счи-

таетъ своимъ. Значить, вопросъ только въ томъ, какое это такое общее дѣло у большого Тургенева и маленькаго «экспериментатора», имени котораго я не помню, съ чѣмъ, впрочемъ, не скорблю, да и вы, вѣроятно, не скорбите. Дѣло это есть, говорятъ, правдивое изображеніе жизни, какъ она есть, безъ фальшивыхъ, искусственныхъ освѣщеній и подкрашиваній.

О французскихъ экспериментаторахъ и натуралистахъ въ нашемъ журналѣ неоднократно заходила разговоръ. Поэтому я не думаю бесѣдовать о нихъ вплотную, тѣмъ болѣе, что и г. Воборыкина опасаясь: онъ такъ грозно обрушился на всю русскую литературу за недостаточное уваженіе къ Эмилю Зола... Надо, однако, замѣтить, что этотъ прискорбный недостатокъ уваженія свойственъ не только русской литературѣ. Въ самой Франціи неуваженіе къ «золаистамъ» становится настолько сильно, что облекается даже въ художественныя, беллетристическія формы. На нихъ-то и позвольте обратить ваше вниманіе.

Въ «Русской Мысли» (№№ V—VIII) напечатанъ переводъ очень милой и остроумной повѣсти или «экспериментальнаго романа», какъ называетъ ее самъ авторъ, Маркъ Монье. Повѣсть озаглавлена «Сбитый съ толку».

Нѣкто донъ Руфъ Скапонъ, неаполитанецъ по происхожденію, человѣкъ уже не молодой, женатый, пріѣзжая отъ нечего дѣлать въ Парижъ, встрѣтилъ въ вагонѣ нѣсколько молодыхъ людей. Это были все литераторы: одни изъ нихъ никогда и ничему не учились, другіе провалились на экзаменахъ и не доучились; въ Парижъ они ѣхали миръ переучить по новому, заработать горы денегъ и сдѣлаться знаменитыми. Они болтали между собою разные смѣхотворные пустяки, перемѣшивая ихъ соображеніями насчетъ атавизма». Донъ Руфъ присталъ къ этой веселой компаніи и, по пріѣздѣ въ Парижъ, сталъ вмѣстѣ съ ними искать «человѣка», сначала въ Монпарнасѣ, а потомъ въ Батиньолѣ (въ этихъ мѣстахъ жилъ Эмиль Зола). Ихъ не приняли, сказавши, что «онъ работаетъ». Наконецъ, по третьему разу, они были приняты. «Съ перваго пожатія руки донъ Руфъ почувствовалъ, что все конечно, что захвачена вся его жизнь».

Собственно говоря, ничего неизмѣнилось въ образѣ жизни и даже въ образѣ мыслей донъ Руфа. Правда, онъ затѣялъ писать романъ въ натуралистическомъ вкусѣ, но остался при одномъ намѣреніи, и все его внутреннее преображеніе послѣ батиньольскаго знакомства состояло въ томъ, что онъ сталъ, какъ саврасъ безъ узды, носиться по безбечному полю якобы научныхъ фразъ въ

*) 1883, октябрь.

такое родъ: «Нѣтъ ни добродѣтели, ни порока, а одна наслѣдственность темпераментовъ»; «сущность дѣла состоитъ въ томъ, что нѣтъ ни добра, ни зла, ни хорошаго, ни дурного, существуетъ только правда, что правдиво, то и законно, то и должно совершиться»; «экспериментаторъ—слѣдственный судья; мы отыскиваемъ законы причинной связи социальныхъ явленій, мы трудимся надъ рѣшеніемъ великой задачи, имѣющей цѣлью побѣду надъ природой, созданіе могущества удесатереннаго человѣка! почти Клода Бернара»; «республика будетъ натуралистическою или ея совсѣмъ не будетъ!» И т. д., и т. д. Неустанно выбалтывая эти фразы, донъ Руфъ попрежнему шатается по кофейнямъ и вообще попрежнему бездѣлничаетъ. Только теперь онъ называетъ это занятіе «собираніемъ человѣческихъ документовъ» и производствомъ «экспериментовъ».

Первымъ дѣломъ донъ Руфа по возвращеніи изъ Парижа было принятіе за перевоспитаніе жены. Онъ замѣтилъ въ ней, простой неаполитанкѣ, дочери прачки, какіе-то странные признаки, которые возволновали его и внушили ему опасенія. Онъ обратился за указаніями въ Батиньолю и получилъ отъ туда слѣдующее письмо:

«Берегитесь, лжи чтобы не было. Покажите ей жизнь, какова она въ дѣйствительности. Прочь идеалы, прочъ разнѣживающее чтеніе. («Хорошо, что она не умѣетъ читать», подумалъ донъ Руфъ). Все это развиваетъ... іезуетскія увертки, компромиссы и порывы сердца. Вальтеръ Скоттъ былъ виновникомъ паденія большаго числа дѣвушекъ и замужнихъ женщинъ, чѣмъ Бальзакъ. Женщина, отдавшаяся любовнику, несомнѣнно читалась идеальныхъ романовъ. Такое чтеніе сбиваетъ съ толку умственно и развращаетъ нравственно. Наоборотъ, возьмите натуралистическій романъ, и вы непременно извлечете изъ него дѣйствительную, реальную пользу. Опасная мечтательность непозволительна въ настоящее время. Порокъ и зло должны быть показаны во всей наготѣ, во всемъ ихъ ужасѣ, со всею мучительностью и грязью ихъ послѣдствій. Необходимо показать, что такое любовь и какъ логически добродѣтель и счастье, въ смыслѣ голой истины, въ правдивомъ равновѣсіи человѣка съ окружающею его природой, сводятся неизмѣнно къ тому, что...» Далѣе слѣдовали такіа фразы, которыя донъ Руфъ могъ прочесть вслухъ только въ кофейной».

Донъ Руфъ не замедлилъ послѣдовать батиньолюскому совѣту. Такъ какъ жена его Маріанина, была безграмотна, то онъ сталъ ей читать французскіе натуралистическіе романы, переводя ихъ à livre ouvert на не-

аполитанское простонародное нарѣчіе. Сначала Маріанинѣ это показалось скучнымъ, она даже заснула во время чтенія. Тогда донъ-Руфъ просто сталъ рассказывать содержаніе одного романа, именно повѣствованнаго о томъ, какъ одна тридцатилѣтняя женщина влюбилась въ сына своего мужа (очевидно *La sœur Эмиля Золя*). Маріанина возмущалась какъ основною фавбулою романа, такъ и тѣмъ, что въ романѣ дѣйствуютъ исключительно «мошенники и мерзавцы» мужескаго пола и «мерзкія твари» женскаго. Она спросила: «да что же это за страна такая, гдѣ живутъ однѣ свиньи»? Донъ-Руфъ пояснилъ, что это страна, какъ и прочія, что романъ хорошъ, и хорошъ именно тѣмъ, что рисуетъ жизнь, какъ она есть рѣшительно во всѣхъ странахъ. Но какъ гласитъ французская поговорка *à force de forger on devient forgeron*, Маріанина постепенно вошла во вкусъ натуралистическихъ романовъ, ее стали занимать эти раздражающіе образы грязи и разврата, рекомендуемые какъ несомнѣнные «документы» и истинная суть жизни. Стало ей приходить на умъ, что вотъ она красивая двадцати-четырёхлѣтняя женщина, имѣя сорокалѣтняго и довольно-таки скучнаго мужа, къ этимъ «документамъ» до сихъ поръ не причастна... А тутъ подвернулось такое обстоятельство. Мимо ихъ дома часто проѣзжали разные люди на ослѣхъ, въ сопровожденіи погонщиковъ. Между погонщиками былъ одинъ красавецъ-мальчикъ, на котораго Маріанинѣ пріятно было смотрѣть. На ослѣ этого погонщика ѣздилъ обыкновенно франтоватый молодой человѣкъ, принявшій ея взгляды на свой счетъ и потому отпускавшій ей любезные поклонны, поцѣлуи ручкой и т. п. Однажды донъ-Руфъ случайно увидалъ эти знаки любви или любезности и, такъ какъ онъ вовсе не хотѣлъ, чтобы «эксперименты» продолжались на его счетъ, то онъ избилъ франтоватаго молодого человѣка палкой, а жену жестоко разругалъ. Маріанина отвѣтила: «Вы съума сошли!.. Да еслибъ и было что, такъ я все-таки лучше другихъ. Этотъ *doncicillo* (франтъ) вамъ не сынъ». Обладая множествомъ «человѣческихъ документовъ», донъ-Руфъ не сообразилъ, однако, что не франтоватый молодой человѣкъ былъ опасенъ для его семейнаго счастья, а красавецъ-погонщикъ. Мало того, онъ сталъ брать этого красавца Франчискья для своихъ собственныхъ побѣдокъ. И того мало, онъ своими разсказами о Франчискьелѣ возбудилъ въ Маріанинѣ еще большій интересъ къ нему. Дѣлъ въ томъ, что отецъ Франчискья былъ шпиономъ при Бурбонахъ, а дядя служилъ въ піемонтской полиціи, и мальчикъ рѣшился не брать въ ротъ ни одного куска хлѣба,

оплаченного измѣной и шпионствомъ. («Посуди сама, не противоестественно-ли это?» — поучаетъ донъ-Руфъ Маріанину). Живя впроголодь, Франчискьель находилъ иногда въ землѣ древнія вещи и продавалъ ихъ антикваріямъ. Разъ онъ нашелъ такимъ образомъ античную греческую вазу, за которую нѣкій банкиръ предложилъ ему тысячу франковъ. «Это слишкомъ много», отвѣтилъ Франчискьель. «Это — честная душа!» — перебила на этомъ отвѣтъ Маріанина рассказъ донъ-Руфа. «Дурацкая башка! возразилъ донъ-Руфъ. — Неужели ты не понимаешь, что такіа чувства противны природѣ и логикѣ? Что бы стало съ натурализмомъ, еслибы онъ вздумалъ питаться такими нездоровыми явлениями? И замѣть, что банкиръ — понимаешь, банкиръ! — такой же безумецъ, какъ ты, нашелъ этотъ отвѣтъ восхитительнымъ. Онъ велѣлъ мальчику сѣсть на козлы, привезъ въ свой домъ и приказалъ озадаченному кассиру выдать двѣ тысячи франковъ золотомъ. Добродѣтель награждена, за то дѣйствительность поправа, реализмъ исчезъ, торжествуетъ мораль дѣтскихъ книжонокъ. Такія явленія неправдивы, слѣдовательно, они не должны происходить».

Философствуя такимъ образомъ, донъ-Руфъ не подозрѣвалъ, что въ скучающій и имъ же самимъ раздраженный умъ Маріанины онъ вводитъ совсѣмъ не подходящий къ его планамъ элементъ особеннаго интереса къ Франчискьелю. Маріанина, пользуясь каждымъ отсутствіемъ мужа (а онъ уходилъ въ свою кофейную каждый день), стала выбѣгать въ городъ и заигрывать съ Франчискьелемъ. Тотъ рассказалъ донъ-Руфу, что вотъ, молъ, пристаесть какая-то бабенка. Донъ-Руфъ не преминулъ нагородить съ три короба всякихъ «правдивыхъ равновѣсій». «Клодь Бернаровъ», «экспериментовъ» и «документовъ», суть которыхъ исчерпывалась въ данномъ случаѣ такъ называемою одинадцатою заповѣдью: не зѣвай! Къ счастью, Маріанина просто не нравилась Франчискьелю. Неизвѣстно, впрочемъ, къ счастью-ли это было, потому что Маріанина кончила, во всякомъ случаѣ, скверно: раздраженная, въ добавокъ ко всему предыдущему, уклончивосью Франчискьеля, она, съ окончательнo растроеными нервами, пустилась во вся такая, заболѣла и умерла. Во время ея скандальныхъ похороненій, между дономъ-Руфомъ и докторомъ Шарфомъ, добродушно суровымъ скептикомъ, происходилъ такой діалогъ:

— Милѣйшій мой, сказалъ докторъ донъ-Руфу: — ваша жена больна, и больна она по вашей винѣ; ей бы слѣдовало стирать бѣлье и ѣсть бобы, а она питается однимъ сахаромъ и ничего не дѣлаетъ. Отъ этого происходитъ нервность, которую я не разъ дѣлалъ, потомъ ушибъ и приливъ крови къ мозгу. Съ такими преце-

дентами и при нѣкоторомъ легкомысліи, женщина сама не сознаетъ вполнѣ ясно, что дѣлаетъ. Читаетъ она романы?

— Она не умѣетъ читать.

— А это что за дрянъ валяется у васъ въ комнатѣ?

— Это гениальныя произведенія.

— Не изъ такихъ-ли, о, которыхъ такъ много говорили въ прошломъ году? Я не былъ въ состояніи осилить болѣе пяти страницъ. Ужъ вы не читаете-ли ей вслухъ?

— Но вѣдь это... гениальное...

— Читаете, несчастный! Теперь все объясняется. Она больна, очень больна, и это только раздражаетъ и усиливаетъ болѣзнь. Лжетъ она?

— На каждомъ словѣ.

— Притворяется?

— Какъ ханжа.

— И воруетъ... Я уже замѣчалъ, какъ она то краснѣетъ, то блѣднѣетъ, ей схватываетъ горло, она задыхается, у нея измѣнилась походка... О, эти книги! Начиная съ романа Лансело, погубившаго Женевьеву, и кончая этимъ, сгубившимъ вашу жену... Это ужасно!

Докторъ Шарфъ схватилъ книгу и швырнулъ ее въ окно. Это было не благоразумно: ее поднял нищій и продалъ иѣмцу; иѣмецъ перевелъ ее на свой языкъ, чтобы показать соотечественникамъ, каково французское общество; переводъ былъ пріобрѣтенъ умнымъ человекомъ, жившимъ тогда въ Варпинѣ и желавшимъ опозорить Францію, отпечатанъ въ тридцати тысячахъ экземпляровъ и распространенъ по Германіи.

Я не стану рассказывать дальнѣйшія похождения донъ-Руфа. Замѣчу только, что, за исключеніемъ трагическаго момента болѣзни и смерти Маріанины, въ романѣ все обстоитъ благополучно; хотя донъ Руфъ еще не разъ попадаетъ въ жестокіе просаки съ своими экспериментами и документами, но все это разрѣшается рядомъ комическихъ эпизодовъ.

Романъ написанъ безъ всякихъ художественныхъ претензій и есть только памфлетъ въ беллетристической формѣ, памфлетъ и остроумный, и просто умный. Какъ всякій подобный памфлетъ, онъ ничего не доказываетъ, но дѣлаетъ, пожалуй, больше, чѣмъ могутъ иногда сдѣлать самыя убѣдительныя доказательства. Онъ иллюстрируетъ извѣстное положеніе, наглядно уясняетъ его живою образностью. Не трудно, конечно, доказать, что экспериментъ золаистовъ суть чистый вздоръ. Но логическая аргументація представляетъ по отношенію къ очень и очень многимъ умамъ машину слишкомъ сложную и тяжеловѣсную. Огромному большинству читающей публики удачно поставленные и расположенные образы говорятъ гораздо выразительнѣе. И приведя эту иллюстрацію, я возвращаюсь къ своему вопросу: что общаго между Тургеневымъ и тѣмъ маленькимъ натуралистомъ, который съ нѣскольکو наглою любезностью сказалъ ему во все услышаніе: *salve frater!* Остановимся на женщинахъ. Я обращалъ въ прошломъ писемъ ваше вниманіе на ту настоящивость, съ которую Тургеневъ рисовалъ женщину въ хорошіе, чи-

стые моменты ея жизни, доводя эту чистоту до особенной возвышенности и благородства. Припомните же теперь *Нану*, героиню «*La curée*» (не помню, какъ ее зовутъ), героиню «*Pot-bouille*». Я беру не маленькаго какого-нибудь натуралиста, а самаго Золя, человека съ большимъ талантомъ и притомъ дающаго тонъ маленькимъ. И вы видите, что человекъ этотъ, опять-таки съ чрезвычайною настойчивостью, выбираетъ для своихъ женщинъ моменты жизни, какъ разъ противоположные тургеневскимъ — моменты самаго грязнаго паденія, чисто животной низости, по возможности не простого, а какъ бы возведеннаго въ квадратъ, извращеннаго разврата. Нана и Елена!.. грязное и глупое двуногое животное и дѣвушка, переполненная чистѣйшими человѣчѣйшими стремленіями... Это одинокіе образы, а если угодно сравнить картины, то припомните, напримѣръ, знаменитое «такъ вѣдь же меня!» Елены и потомъ аналогичную сцену въ *Pot-bouille*, гдѣ глупая бабенка безсмысленно и поскотски отдается неострашимому Октаву на столѣ, между тарелкой редиски и книгой...

Но у натуралистовъ есть на этотъ счетъ возраженіе или оправданіе, не совсѣмъ лишенное значенія. Пусть Нана грязное и глупое двуногое животное, пусть упомянутая сцена разыгрывается поскотски, но вѣдь и такія Наны, и такія сцены бываютъ въ жизни. А если бываютъ въ жизни, то должны имѣть мѣсто и въ ея правдивомъ отраженіи, въ искусствѣ. Дѣйствительно, если, какъ мы признали въ прошлый разъ, Тургеневъ (относительно женщинъ) выбиралъ для художественной эксплуатаціи преимущественно идеальныя, чистыя и возвышенныя полосы реальной жизни, то полосы грязныя и низменныя въ такой же мѣрѣ заслуживаютъ вниманія искусства. Ограничиваясь чистымъ и высокимъ, искусство, даже при полной правдивости изображенія, было бы не отраженіемъ жизни, а какими-то фантастическимъ кондитерскимъ магазиномъ, гдѣ хранится много сладкихъ вещей, но нѣтъ очень многого, необходимаго для жизни. Мало того. Бываютъ историческія минуты, до такой степени насыщенные мракомъ и злобой, грязью и глупостью, свирѣпою алчностью и ненасытною свирѣпостью, что искусство, просто во имя правды жизни (я уже не говорю о нравственномъ долгѣ), обязано эксплуатировать этотъ мракъ и эту грязь. Еще Гоголь объяснялъ, почему онъ поставилъ и долженъ былъ поставить въ центрѣ своей «поэмы» не «добродѣтельнаго человека», а Павла Ивановича Чичикова. Спора нѣтъ, въ самыя страшныя, въ самыя позорныя историческія минуты высокія умственные и нравственные качества не совсѣмъ уходятъ по ту сторону дѣй-

ствительности, въ безпредѣльную область мечты и идеала. Они есть всегда и, какъ свѣтъ во тьмѣ, свѣтятся, разгоняя ее, смотря по обстоятельствамъ, то слабымъ, едва замѣтнымъ трепетнымъ мерцаніемъ, то цѣлымъ заревомъ. Но если они не въ центрѣ дѣйствительности находятся, то правдиваго повѣствователя нельзя обязывать дѣлать центральной фигурой повѣствованія настоящаго героя, съ великими мыслями въ головѣ, съ глубокими чувствами въ сердцѣ, съ пламеннымъ стремленіемъ къ добру и правдѣ, и съ соотвѣтственными поступками. О, да! въ противность здравому смыслу, свѣтильники слишкомъ часто стоятъ не на столѣ, а подъ столомъ, а на столѣ самодовольно расправляютъ ноги свинья, которую безсмысленная или неосторожная исторія посадила за столъ. Не надо было сажать свинью за столъ—это такъ; надо стараться отогнать ее отъ стола—это опять вѣрно. Но если ужъ она положила ноги на столъ, то искусству не только нельзя запретить, а, напротивъ, можно требовать, чтобы оно уловило этотъ моментъ во всей его постыдности. Такъ же на этой-ли общей почвѣ правды можетъ быть утверждено и провозглашено братство Тургенева и всякаго, большаго и малаго, «натуралиста»? Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что у насъ былъ въ ходу одно время (давно ужъ) очень близкій терминъ—«натуральная школа», къ которой и Тургеневъ причислялся. И въ самомъ дѣлѣ, одинъ рисуетъ Елену, чистую дѣвушку, возвышенную по натурѣ, да еще духовно приподнятую сложнымъ процессомъ любви; другой рисуетъ Нану, существо, животностью своею пританутое къ низу, въ омутъ грязи. И оба правы, потому что и Елена художественно обобщенный фактъ, и Нана художественно обобщенный фактъ.

Нѣтъ, правъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ. Въ своихъ главныхъ и общихъ чертахъ процессъ творчества у всѣхъ художниковъ, конечно, одинъ и тотъ же, и въ этомъ смыслѣ они, пожалуй, всѣ братья; но это въ такой же мѣрѣ важно и интересно, какъ то, что всѣ люди родственники по Адаму. Степень родственности, объ которой стоитъ въ настоящемъ случаѣ говорить, опредѣляется тѣмъ личнымъ, что вносятъ художники въ свою работу, сходствомъ или разницею ихъ личныхъ отношеній къ изображаемому предмету. Съ этой точки зрѣнія Тургеневъ и Золя, разумѣется, не братья. Тургеневъ любитъ Елену, любитъ ее и насъ заставляетъ любоваться. Если бы Золя былъ братъ Тургеневу, то, рисуя совершенную противоположность Елены—Нану, онъ ее презиралъ бы, чувствовалъ бы къ ней отвращеніе, вообще, питалъ бы какое-нибудь отрицательное чувство, ну, хоть жалость къ челоѣкообразному,

всетаки, существу, обезчеловѣченному какими-то темными общественными или природными силами. Ничего подобного, однако, нѣтъ, и не случайно нѣтъ, потому что Зола не только практикуетъ безучастное, не любящее и не ненавидящее творчество, а и теоретизируетъ его. Онъ говоритъ: мы—анатомы, мы—химики, и твердитъ фразы дон-Руфа: нѣтъ ни хорошаго, ни дурного, а есть только правда, читай Клода Бернара! Замѣчательно, однако, что въ то время, какъ господъ Руфы Скапоны и Эмили Зола такъ страстно взываютъ къ наукѣ, и именно къ естествознанію, истинные ученые, и притомъ именно естествоиспытатели, говорятъ объ искусствѣ совсѣмъ другое. Вотъ, напримѣръ, что вычиталъ докторъ Шарфъ у того самаго Клода Бернара, которому Руфы и Зола не даютъ покою и въ могилѣ. «Романъ есть художественное произведение, а въ художественномъ произведеніи надъ всѣмъ преобладаетъ индивидуальность автора...» Это говоритъ Клодъ Бернаръ. Художникъ осуществляетъ въ своемъ произведеніи идею или чувство, лично ему принадлежащія. Донъ-Руфъ изумленъ. «Это сказалъ Клодъ Бернаръ?» спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.—«Слово въ слово, отвѣчаетъ докторъ:—тутъ все дѣло въ самобытномъ творествѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ констатированіемъ естественныхъ явленій, въ которыхъ нашъ умъ не долженъ ничего создавать».

Осуждая нравственный элементъ на ссылку въ мѣста, весьма отдаленныя отъ сферы искусства, «натуралисты» находятся во власти очень простаго недоразумѣнія. Нравственный элементъ присущъ всякому творческому процессу, но у нихъ онъ находится, если можно такъ выразиться, на точкѣ замерзанія, на нулѣ. Не потому безучастно творчество Зола, что онъ какой-то странный «анатомъ» или владѣетъ какими-то «документами», а просто потому, что онъ индифферентистъ. Какъ только добро и зло почему-нибудь затрогиваютъ «натуралиста», задерживаютъ его лично, такъ онъ забываетъ всѣ свои «документы» и перестаетъ писать «протоколы». Отсюда и происходятъ комическіе эпизоды въ жизни дон-Руфа и самаго Зола...

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ комическомъ, позвольте нѣсколько словъ о трагическомъ. Мнѣ вспоминается страшный историческій образъ—Ивана Грознаго, и именно въ той блестящей и глубоко вѣрной характеристикѣ, которую сдѣлалъ когда-то Константинъ Аксаковъ. Грозный, по этой характеристикѣ, былъ художественная натура, лишенная нравственнаго чувства. Онъ любилъ красоту, картинность во всемъ—въ добрѣ и злѣ, не различая добра и зла.

Передъ нимъ постоянно носилась разнообразная картина: то царь среди соима избранныхъ представителей народа, то онъ же среди духовенства, то группа облеченныхъ въ черныя одежды, посту и молитвѣ преданныхъ монаховъ, то страшныя казни, картинныя именно своимъ ужасомъ. Будь Грозный простымъ смертнымъ и обладай онъ, кромѣ художественной природы, талантомъ, онъ заносилъ бы всѣ эти картины перомъ на бумагу или красками на холстъ. Но Грозный былъ всемогущъ и потому могъ производить—и дѣйствительно производилъ—настоящіе «эксперименты», а не тѣ якобы эксперименты, о которыхъ, исключительно по недомыслию, толкуютъ натуралисты. Не на бумагѣ, а въ дѣйствительной жизни ставилъ онъ людей въ тѣ положенія, которыя требовались разгуломъ его художественной фантазіи, то юмористически сажая на тронъ вся Русь татарина Симеона Бекбулатовича, то созывая земскій соборъ, то выжигая и вырѣзая Новгородъ и окрашивая Волховъ двойнымъ эффектомъ зарева и крови, то облачаясь самъ и облачая своихъ опричниковъ въ монашескія одежды, то картинно опираясь на костьль, проткнувшій ногу Васильи Шибанова. Изъ замѣчаній Константина Аксакова я помню одно, поразительное по своей простотѣ и истинности. Онъ говоритъ, что художественная натура, лишенная нравственнаго основанія, мѣшаетъ челоуѣку отнестись къ какому бы то ни было своему чувству правдиво: онъ любитъ красоту того или другого дѣла, а не самымъ дѣломъ. Дѣйствительно, подобные люди непремѣнно должны быть двойными, искусственными и совершенно неспособными къ искренности. Совершенно величайшія гадости и отвлеченно понимая, что это гадости, они могутъ увлекаться и любоваться ихъ картинностью, если только есть возможность имъ придать таковую. Не совсѣмъ, однако, правильно говорить, что такіе люди совершенно лишены нравственнаго чувства. Оно въ нихъ есть, но именно находится на точкѣ замерзанія. Они даже очень способны волноваться различіемъ между добромъ и зломъ, когда это различіе затрогиваетъ ихъ личные интересы. Тотъ же Грозный умѣлъ, при случаѣ, прочувствованно, дѣльно и развѣ ужъ только очень пространно и многословно говорить о добродѣтели и порокахъ.

Въ жизни Ивана Грозные, разумѣемые въ этомъ смыслѣ, то-есть нравственно скудные художественныя природы, попадаются довольно часто. Если онъ не бросаются въ глаза, такъ только потому, что, будучи лишены всемогущества своего грознаго прототипа, онъ очень ограниченны въ сферѣ «экспериментовъ». Эти люди бываютъ иногда

очень слезливы, но слезамъ ихъ вѣрить не слѣдуетъ, потому что плачутъ они не потому, чтобы ихъ разстрогало нѣчто, достойное слезъ, а потому, что въ данномъ случаѣ, по какимъ-нибудь причинамъ, проливающий слезы человѣкъ представляется имъ красивымъ; и они не задумаются совершить любую гнусность, если это нужно для того, чтобы потомъ картинно заплакать. Въ самой гнусности усматривая картинность, они, совершивъ ее, могутъ вообще предаться даже самымъ крайнимъ формамъ самоуниженія, но подъ условіемъ, чтобы и это выходило красиво; понятно, что въ дѣйствительности не всегда выходитъ красиво, а напротивъ, часто просто пошло и безобразно, но это уже дѣло эстетическаго такта или эстетической безтактности. Могутъ эти люди, наоборотъ, драпироваться въ холодную величавость, равно препирающую добро и зло, смѣхъ и слезы. Но и этому вѣрить не слѣдуетъ, потому что и это драпированіе тоже только для картинности продѣлывается. Правда, они очень плохо чувствуютъ различіе между добромъ и зломъ, потому что оно скрадывается для нихъ въ нравственно безразличной картинности. Но, собственно, этотъ индифферентизмъ обязывалъ бы ихъ только стоять среди презираемой ими житейской суетолоки въ видѣ нѣкоторыхъ монументовъ «невѣдомому Богу», какъ мраморъ холодныхъ, какъ статуя неподвижныхъ. Если же они рисуются своимъ безучастіемъ, пропагандируютъ его, подыскиваютъ ему разныя пышныя названія или возвышенныя пьедесталы, то все это исключительно ради картинности.

Затѣмъ эти нравственно скудные художественныя натуры могутъ быть даровиты или бездарны, смѣшны или ужасны, мерзки или добродушны, но отличительная ихъ черта есть наивность. Наивность сказывается и во многихъ поступкахъ и словахъ Ивана Грознаго (напримѣръ, въ его увѣщаніяхъ Курбскому), но тамъ она маскируется совокупностью всего, что закрѣпило за нимъ прозвище Грознаго. Въ экземплярахъ маленькихъ, у которыхъ руки коротки производятъ въ дѣйствительной жизни столько и такихъ «экспериментовъ», сколько и какихъ требуетъ ихъ художественная фантазія, эта наивность, разумѣется, выдается ярче. Они, напримѣръ, съ величайшею трудностью усматриваютъ свои ошибки, какъ бы наглядны онѣ ни были, и совершивъ какую-нибудь глупость или гнусность, самымъ наивнымъ образомъ ждутъ себя, если не награды, то, по крайней мѣрѣ, особаго, исключительнаго снисхожденія. Это понятно: совершая глупость или гнусность, они были красивы или, по крайней мѣрѣ, казались самимъ собой

такowymi, а красоту, картинность есть для нихъ высшая судебная инстанція. Если, однако, жизнь ихъ самихъ какъ-нибудь больно уколеть, то они съ такою же наивностью хватаются не только за различіе добра и зла, а даже за самыя узкія, обыденныя формулы добродѣтели и порока. Они доходятъ при этомъ почти буквально до пониманія вещей того буншмана, который, на вопросъ путешественника о добрѣ и злѣ, съ полною увѣренностью отвѣтилъ: «добро—украсть чужую жену, зло—это когда у меня мою жену украдутъ». Точно также они, напримѣръ, бывають часто очень мстительны, доходя въ этомъ направленіи до послѣднихъ степеней жестокости или глупости, но совершенно не понимаютъ близнеца мести—благодарности. Все это именно отъ того происходитъ, что при расположеніи мыслить не мыслями, а образами, и постоянно создавать картины, въ центрѣ которыхъ помѣщается ихъ «я», ихъ нравственное чувство находится на точкѣ замерзанія: оно возмущается только тогда, когда ихъ самихъ что-нибудь толкнетъ въ бокъ.

Таковъ и комически добродушный донъ-Руфъ. Ему показываютъ въ больницѣ трупъ только что умершей молодой дѣвушки. «Донъ-Руфъ вскрикнулъ отъ восторга.—Поразительно! Stupendo! Слитыя язвы, безформенная масса, ворохъ гноя и крови, куча разлагающагося тѣла, брошенная на тополевою доску, выкрашенную черной краской. Одинъ глазъ лопнулъ и вытекъ отъ внутренняго жара. А какой запахъ! Каково освѣщеніе! Францискель, смотри и нюхай!» Спрашивается, чему тутъ радоваться? на что любоваться? Но дѣло въ томъ, что донъ-Руфъ совсѣмъ лишенъ чувства дѣйствительности. Передъ нимъ встаетъ картина, не дѣйствительный, а нарисованный трупъ, ну, а картина, художественное произведеніе, изобразжающее трупъ, конечно, можетъ быть прекрасно. Такъ вотъ на эту-то картину и любитъ донъ-Руфъ; на нее, да еще на себя, стоящаго у картины съ задачами «анатома» и «протоколиста», съ познаніями обладателя «документовъ». Онъ рисуется передъ присутствующими своей готовностью нюхать трупный запахъ съ «научными» цѣлями. Затѣмъ онъ начинаетъ бойко и увѣренно излагать, кто была покойница. Передъ нами жертва алкоголизма. Эта женщина, еще молодая женщина, родилась отъ мерзкихъ родителей, роковымъ образомъ склонныхъ къ delirium tremens. Она выросла въ грязи и порокѣ, почти ребенкомъ отдалась первому встрѣчному». И т. д., и т. д. Присутствующіе едва успѣваютъ вставить въ этотъ потокъ словъ свои замѣчанія. Докторъ сообщаетъ, что дѣвушка умерла просто отъ оспы, а

священникъ прибавляетъ, что, умирая, она вспоминала отца, котораго едва знала, потому что жила у монахинь, куда отецъ рѣдко заглядывалъ. При этихъ словахъ донъ-Руфъ мгновенно преобразуется: у него есть дочь, какъ разъ въ такомъ положеніи—у монахинь, куда онъ рѣдко заглядываетъ. Его поражаетъ мысль, что покойница, лица которой разсмотрѣть нельзя, есть можетъ быть его небрежно любимая, но всетаки любимая Ромена. Не дописавши протокола и не дочитавши лекціи о документахъ, онъ опрометью бросается изъ больницы къ монахинямъ. Тутъ ужъ ему не до экспериментовъ, потому что больно задѣта его дѣйствительная жизнь.

То же самое и въ вышеприведенной исторіи съ Маріанниной. Когда Францискъ сообщаетъ ему, что вотъ, дескать, пристаётъ какая-то бабенка, донъ-Руфъ, не подозревая, что эта бабенка есть его жена, толкаетъ молодого человѣка на веселый грѣхъ и съ подробностью рисуетъ ему и себя, какъ у нихъ съ бабенкой все это произойдетъ. Тутъ онъ экспериментаторъ, анатомъ, протоколистъ. Тутъ онъ не знаетъ различія между хорошимъ и дурнымъ, потому что имѣетъ дѣло не съ дѣйствительною жизнью, а съ ея живописнымъ или, вообще, художественнымъ отраженіемъ. Дѣйствительная жизнь начинается для него только тогда, когда «экспериментъ» приходится продѣлывать на своей собственной шкурѣ. И какъ только онъ заподозриваетъ свою жену, такъ бросаетъ анатомію и хватается за палку, не безстрастныя протоколы пишетъ, а ругается. Все это выходитъ необыкновенно наивно, потому что донъ-Руфъ не замѣчаетъ своихъ противорѣчій и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ городить вздоръ о документахъ.

Понятно, что въ томъ романѣ, который донъ-Руфъ собирается написать, будетъ, вѣроятно, много картинности, но вовсе ужъ не такъ много правды...

Можетъ показаться, что донъ-Руфъ съ своей наивною, съ своими промахами, своими напыщенно комическими монологами есть каррикатура. Можетъ быть и каррикатура, но совершенно законная. Это, собственно, простое сгущеніе красокъ, вполне оправдываемое цѣлями и формами памфлета. Что касается монологовъ донъ-Руфа, то все это подлинныя слова Эмиля Золя и, значитъ, съ этой стороны монологи не представляютъ клеветы на «натуралистовъ». А забавная наивность противорѣчій донъ-Руфа вполне свойственна и Золя. Приведу одинъ только примѣръ. Во всѣхъ своихъ романахъ Золя изображаетъ разложеніе брачныхъ узъ въ современной Франціи. Дѣлаетъ онъ это съ полнымъ спокойствіемъ «анатома» или «эк-

периментатора», для котораго нѣтъ на свѣтѣ ничего хорошаго или дурного, а есть только одна правда, ни добра, ни зла, а только наслѣдственность темперамента. Это холодное спокойствіе не покидаетъ его и въ томъ изъ «парижскихъ писемъ», которое специально посвящено браку въ современной Франціи. Но вотъ возникаетъ вопросъ о брачныхъ узлахъ въ средѣ литераторовъ. Такъ какъ онъ самъ литераторъ и, значитъ, брачный вопросъ переходитъ для него въ этотъ случай изъ области картиннаго отраженія дѣйствительности въ дѣйствительность настоящую, то онъ, совершенно уподобляясь донъ-Руфу, тотчасъ забрасываетъ свою безстрастную анатомію и хватается за мораль. По поводу одной повѣсти Гонкуровъ (не помню какой), по поводу прелестныхъ очерковъ Додэ «Жены артистовъ», въ биографическомъ очеркѣ Додэ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ онъ не безъ горячности утверждаетъ, что литераторы *должны* жениться, и что въ ихъ семейной жизни все обстоитъ благополучно. Вездѣ, видите-ли, во всѣхъ слояхъ современнаго французскаго общества, отъ верхняго края до нижняго, происходитъ разложеніе брака, и «натуралисты» при этомъ ни разу не прибѣгаютъ къ словамъ «должно», «надо» и т. п. Просто такъ оно есть, и натуралисты только пишутъ протоколы. Но относительно литераторовъ дѣло стоитъ совсѣмъ не такъ: и фактъ, неизвѣстно почему, не таковъ, и отношеніе къ нему иное. Чисто донъ-Руфъ!

Пора, однако, кончить о «натуралистахъ», на которыхъ я и безъ того задержался гораздо дольше, чѣмъ предполагалъ. Ясно, кажется, что Тургеневъ имъ не братъ, не говоря о прочемъ, и на той почвѣ правды, которою натуралисты такъ хвалятся и которая есть для нихъ не полный жизни идеалъ, а мертвый идолъ, картинно поставленный и обвѣшанный рызными побрякушками. Въ сущности бѣдная Маріаннина совершенно права, задавая свой вопросъ: «что же это за страна, гдѣ живутъ одни свиньи»? Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что страна, изображаемая натуралистами, есть страна до такой степени свинская, что тамъ даже разучились называть свинство свинствомъ, а называютъ его «правдой». Притомъ же свинство это необыкновенно одностороннее: въ той фантастической странѣ люди занимаются исключительно любострастіемъ, тщательно изыскивая и практикуя особенно грязныя, извращенныя его формы.

Читая Тургенева, вы ни въ какомъ случаѣ къ такимъ неосновательнымъ обобщеніямъ не придете. Вы, напротивъ, съ полною ясностью и даже съ нѣкоторою болью сердечною увидите, что, на примѣръ, та же Елена есть своего рода рѣдкость, хотя типъ

этотъ Тургеневъ и не разъ эксплуатировалъ. Великая тайна крупныхъ художниковъ въ томъ именно и состоитъ, что они умѣютъ придавать своимъ образамъ ту степень общности, которая соответствуетъ правдѣ жизни. И самому Тургеневу это далеко не всегда удавалось. Въ этомъ отношеніи Кукушина, напримѣръ, трактована совсѣмъ неправильно. Любопытно замѣтить, что дальнѣйшая судьба тѣхъ хорошихъ полюбившихъ дѣвушекъ, которыхъ Тургеневъ рисовалъ съ такою любовью, скрывается обыкновенно въ туманѣ: или смерть, какъ-то очень быстро, подопѣетъ, или обстоятельства загонятъ женщину въ Америку (Джемма), на Уралъ (Маріанна), и мы остаемся въ большей или меньшей неизвѣстности относительно ихъ житія замужемъ: каково имъ живется, и каковы онѣ сами въ замужнемъ видѣ. Вообще, собственно семейной жизни Тургеневъ почти не касался. То-ли онъ ея не интересовался, то-ли боялся, что въ этой сферѣ ореолъ Еленъ, Маріантъ, Джемъ, Маша должны поблѣкнуть, и ему жаль было развѣнчивать тѣхъ, кого онъ такъ любовно вѣнчалъ.

Но надо выразиться еще болѣе «вообще»: всѣ наши крупные художники какъ бы избѣгаютъ касаться семейной жизни въ ея обыденной формѣ. Исключеніе составляетъ одинъ графъ Л. Толстой, давшій въ концѣ «Войны и мира», характерную картину семейной жизни Безуховыхъ и *сумасшедшій* написать такую повѣсть, какъ «Семейное счастье». Подчеркиваю слово *сумасшедшій*, потому что нужно много мастерства, чтобы написать такую прекрасную и притомъ, сравнительно, большую вещь на такую блѣдную тему, какъ, никакими почти событіями не отмѣченное, житіе—бытіе двухъ самыхъ обыкновенныхъ супруговъ. За этими исключеніями наши художники не пренебрегаютъ, разумѣется, стародавними эффектами вторженія въ семейную жизнь любви со стороны или любви на сторону, и дѣлаютъ это и съ большимъ мастерствомъ, и съ болѣею чистоплотностью, чѣмъ набившіе себѣ на «адультеръ» руку французскіе натуралисты. Но, помимо этихъ специально романтическихъ эффектовъ, семейная жизнь точно не существуетъ. Такое пренебреженіе достойно всякаго сожалѣнія. Мы очень хорошо знаемъ, что въ семейной жизни происходитъ много любопытнаго и что любопытное это, располагаясь на пространствѣ отъ высока комическаго до глубоко трагическаго, отнюдь не исчерпывается эффектами супружеской невѣрности. Иной разъ и изъ художественнаго произведенія слышится скорбный вздохъ какого-нибудь Платона Михайловича: «Те-

перь ужъ я не тотъ». Иной разъ проскользнетъ и женскій вздохъ въ томъ же родѣ. Съ другой стороны, намъ говорятъ, что семья есть тихое жизненное пристанище вообще, а для женщины даже исключительное. Понятно, какъ много свѣту могли бы внести сюда наши крупные художники, еслибы они не обходили въ своихъ произведеніяхъ семейную жизнь съ такимъ страннымъ, систематическимъ упорствомъ.

Но иногда устами младенцевъ говорить сама истина и малымъ удается сдѣлать то, чего не хотятъ или не могутъ дѣлать большіе. Приведу фактъ, наглядно объ этомъ свидѣтельствующій.

Въ приложеніи къ «Русскому Вѣстнику» давно уже печатаются «писма на родину» г-жи Радда-бай подъ заглавіемъ «Изъ пещеръ и дебрей Индостана». Г-жа Радда-бай русская, неоднократно побывавшая въ Индіи, и рассказы ея чрезвычайно интересны. Къ сожалѣнію, они нѣсколько напоминаютъ похожденія барона Мюнхгаузена; не хвастовствомъ мюнхгаузенскимъ, а своею чудесностью: тамъ есть индусъ, убивающій тигра взглядомъ, неизвѣстно откуда проносятся въ воздухѣ таинственные слова, человекъ хочетъ нарисовать, напримѣръ, такую-то картину и вполне увѣренъ, что нарисовалъ именно ее, но оказывается, что магическимъ образомъ онъ нарисовалъ совсѣмъ не то. Словомъ, тамъ чудеса, тамъ дѣлшій бродитъ. Есть, однако, и хвастовства малость. Такъ, г-жа Радда-бай совершенно посягаетъ на европейскую науку, и отъ Тиндаля, напримѣръ, не говоря уже о Максѣ Мюллерѣ, послѣ ея головоукола только мокренько остается. Такъ вотъ въ посяганіе именно Максу Мюллеру г-жа Радда-бай говоритъ, между прочимъ: «Думаю, мнѣ, что несравненно выше всѣхъ ученыхъ языковѣдовъ міра сего, съ точки зрѣнія простого здраваго смысла, одна русская родотвенница моя, дама умная, образованная и весьма наблюдательная, хотя по санскритски и неученая, которая прислала недавно мнѣ слѣдующее замѣчаніе въ письмѣ: «Ты, мать моя, пишешь она:—заступайся за браманское *Тримурти* и фантазируй надъ сокровеннымъ смысломъ и началомъ онаго, сколько тебѣ угодно; а что твое *Тримурти* въ русскомъ переводѣ выходитъ просто *три морды*, такъ это уже несомнѣнно». И она совершенно права, такъ какъ слово «мурти» по-санскритски значить *лицо* и *идолъ*; а Тримурти въ буквальномъ переводѣ *три лица*, тройной образъ Брами, Вишну и Шивы» («Русскій Вѣстникъ», іюль).

Вотъ. Я не знаю чѣмъ именно тутъ посягаютъ Максъ Мюллеръ, при помощи

«русской рождественницы», и действительно ли посрамленъ (боюсь, что нѣтъ), но дѣло не въ этомъ. Ученые люди, а отъ нихъ и неученые давно знали, что Тримурти значить три лица, тронца, и никто на этотъ счетъ ни малѣйшихъ сомнѣній не имѣлъ, но такъ вульгаризировать эту истину съ помощью трехъ мордъ, сдѣлать ее такою наглядною никто до сихъ поръ не рѣшался. А «русская рождественница» рѣшилась. И благо ей.

Благо также г-жѣ Алексѣевой, автору повѣсти «Дошутилась» («Русская Мысль», июль и августъ). Я не хочу, однако, внушить вамъ мысль о какомъ-нибудь сходствѣ между г-жей Радда-бай и г-жей Алексѣевой. Г-жа Радда-бай просто балтаетъ пустяки по поводу вещей высокой важности. Г-жа Алексѣева, напротивъ, собрала массу житейскихъ пустяковъ и сложила изъ нихъ высокой важности картину, ту именно картину семейной жизни, которую такъ тщательно обходятъ большіе художники. Если нѣтъ большого, возьмемъ малое.

Г-жа Алексѣева писательница молодая или, по крайней мѣрѣ, начинающая (мнѣ до сихъ поръ ни разу не встрѣчалась ея фамилія), а повѣсть «Дошутилась» построена и написана такъ, что не даетъ возможности съ опредѣленностью судить о дарованіи автора. Беру повѣсть просто, какъ матеріалъ, добытый изъ житейскаго моря и извѣстнымъ образомъ сгруппированный. Что матеріалъ почерпнутъ действительно изъ житейскаго моря, а не изъ области чистой фантазіи, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Жили были супруги Казачкины, Василій Николаевичъ и Марья Алексѣевна. Люди такъ называемаго средняго круга, того самаго, который обыкновенно фигурируетъ въ нашихъ романахъ, если не считать московскихъ попытокъ проникнуть въ аристократическіе салоны, съ одной стороны, и народныхъ разсказовъ, съ другой. Онъ—городской голова, она—жена городского головы. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Онъ—человѣкъ серьезный, она—женщина легкомысленная. «Онъ и романовъ никогда не читаетъ, и не любить, когда она что-нибудь чувствительное играетъ, въ родѣ «La prière d'une vierge». Ему все Бетховена подавай, да серьезные статьи, въ родѣ «Наука и женщина». Онъ и ее хотѣлъ приучить читать серьезные вещи—Дрепера, Дарвина, Бокля, Милля; но она отдалась. Очень ей нужно знать, какъ тамъ другіе смотрятъ на все! У нея свой взглядъ. Авторъ книги «Наука и женщина»—женщина и городить такую чушь, что кухня, мытье, машины (пшвейная, надо думать) скоро затрутся скелетами, черепами,

трупами, научными изслѣдованіями, разными должностями... Вздоръ! Это значить и любить надо перестать, потому что любовь присуща, главнымъ образомъ, женщинѣ, неразрывна съ нею. Это ея жизнь, душа, все... Пусть кто хочетъ наряжается въ панталоны и идетъ рѣзать людей, копаться въ ихъ кишкахъ (ее повело), а она всегда останется вѣрна себѣ. Вася это называетъ отсталостью... Пусть. Еще успѣть и начитаться, и впередъ уйти, а пока для нея одно нужно: любовь и ласка».

Изъ этого молчаливаго монолога Марья Алексѣевна вы можете уже видѣть, что на розѣ супружества господъ Казачкиныхъ сидятъ нѣкоторые маленькіе шипы. Но такъ какъ супруги Казачкины любятъ другъ друга искренно и страстно, то все идетъ хорошо въ концѣ-концовъ. По крайней мѣрѣ, такъ кажется Марьѣ Алексѣевнѣ, когда она, нѣжась утромъ на кровати, оглядываетъ свою уютную комнату. Тутъ ей все мило, дорого, близко, и чуть-ли не потому именно дорого, что все напоминаетъ о разныхъ вспышкахъ у домашнего очага. «На кушеткѣ, напримѣръ, онъ просилъ у нея извинѣнья прощенія, когда ссорою довелъ ее до «первой» истерики; у письменнаго стола, заваленнаго бездѣлушками, произошла ссора, а потомъ примиренье, по поводу того, что онъ лишній часъ заигрался въ стуколку въ клубѣ, заставивъ ее прождать до двѣнадцати, когда она привыкла ровно въ одиннадцать сама отворять ему дверь. У пальца она хныкала, нервничала, просясь въ Москву купить новую шляпу и посмотрѣть новую драму своего знакомаго. Да мало-ли?» Действительно, всего этого не мало было, есть и будетъ въ жизни Марья Алексѣевны до самаго конца дней ея. Она прекрасная хозяйка, все у нея въ порядкѣ, она смотритъ не только за кухней, но и за конюшнею, но у нея всетаки остается ужасно много свободнаго времени и, главное, ужасно много неизрасходованнаго чувства. Дѣтей у нея нѣтъ, а Вася рѣшительно не способенъ вмѣстятъ всю огромность ея чувства, всю силу ея любви. Онъ холодеть, занять какими-то дѣлами, какою-то прозою жизни, и хоть Марья Алексѣевна не сомнѣвается, что онъ ее глубоко любитъ, но формы-то этой любви такія холодныя, подчасъ даже суровыя. Она не того хочетъ. Прочитавъ однажды «Аббата Мура» Эмиля Золя, она задумалась: «Аббатъ Мура... Альбина—какъ они наслаждались!.. И она бы согласилась... Мингъ—и умереть... среди цвѣтовъ. Вотъ она—поэтическая смерть... Ахъ, какъ скучно имѣть такого мужа!.. Что если-бы у нея былъ мужъ чеченецъ? Поцѣловалъ бы и потомъ въ грудь... кинжаломъ!»

Ну, а куда же какому-то городскому головѣ до чеченца! Вотъ, напримѣръ, лунная ночь лѣтомъ. Бабенка (позвольте ужъ такъ, краткости ради, называть Марью Алексѣвну Казачкину) гуляетъ въ саду и поджидаетъ мужа. Онъ является. «Она вихремъ понеслась къ нему, деспотично обвила его рукой свою шею, сама обняла за талию и прижалась головой къ его плечу, поглядывая на свои ножки въ лиловыхъ башмачкахъ съ бѣленькими пуговками. Она хотѣла, чтобы онъ ихъ замѣтилъ. Но мужъ не замѣтилъ и говорилъ объ огородѣ, коровѣ, сѣнѣ, дровахъ. Она не слушала и улыбалась чему-то въ себѣ.

— Пойдемъ—шепнула она, увлекая его.

— Куда?

— Туда.

Она указала на темную бесѣдку.

— Да нѣтъ же. Опять глупости?..—сгримасничалъ онъ.

— Опять кривляться?—крикнула она.

— Да, вѣдь, прискучить одно и тоже. Все одна пѣсня.

— Какая еще пѣсня?

— Какая? «А изъ рощи, рощи...»

— «Пѣснь любви несется... пѣсня нѣги, пѣсня страсти»,—затянула она, откинувъ голову, и ущипнула его.

— Ахъ, да будетъ же! Я уйду! Ну попробовали бы тебя пичкать однимъ сладкимъ, такъ навѣрное бы горькаго захотѣла. Какъ ты этого не возмемъ въ толкъ?»

За подобныя провинности бабенка съ своей точки зрѣнія весьма справедливо называла мужа «колодой непонятливой», «чурбаномъ, а не человѣкомъ» и т. д. Не всегда, впрочемъ, мужъ былъ такъ глухъ, недогадливъ и безчувственъ, и тогда бабенка награждала его единственною, имѣвшеюся въ ея распоряженіи наградой—страстною лаской, и одвигала въ спальнѣ кровати, а въ противномъ случаѣ раздвигала. Естественно, что бабенка ревновала своего Васю и искала поводовъ для ревности, потому что самый процессъ возникновенія и угасанія этого чувства давалъ пищу ея жаднѣ сильныхъ ощущеній. Относительно женщины городская голова былъ безупреченъ, и бабенкѣ лишь очень рѣдко удавалось хвататься за подозрѣнія въ этомъ направленіи. Но онъ занимался своими дѣлами, ходилъ въ думу, ходилъ по вечерамъ въ клубъ, игралъ въ карты, любилъ собаку, любилъ цвѣты. Все это отвлекало его вниманіе отъ ея лиловыхъ башмачковъ и отъ всей ея хорошенъкой особы, и потому все это давало ей поводъ изо дня въ день пилить и пилить и опять пилить. Но и этого было мало. Надо было чѣмъ-нибудь поуготать мужа. Прежде всего она попыталась возбудить въ

немъ ревность: кокетничала на балахъ и въ театрахъ, заигрывала на глазахъ мужа съ мужчинами. Все это она продѣлывала не взаправду, а «шутя», чтобы подразнить и взбѣсить мужа. Это ей, наконецъ, и удалось. Она довела своего спокойнаго Васю до мысли и почти до попытки самоубійства, до бѣшенства и почти до драки, наконецъ, до горячки. Она очень себя за это прокланала, но когда Вася выздоровѣлъ, началась прежняя исторія. Пугнула она разъ Васю тѣмъ, что притворилась самоубійцей, будто она отравилась. Хотѣла такъ же и во второй разъ, но на этомъ и покончила свою безпутную жизнь: схватила револьверъ, не ожидая, что онъ заряженъ и застрѣлилась ужъ дѣйствительно. Городской голова сошелъ съ ума. Авторъ съ своей стороны кладетъ такое резюме: «Первая страстная, впечатлительная фантазерка, жаждущая жизни, стала невольною самоубійцей. Не помышляя о смерти, она думала лишь возобновить интересную, разжигающую сцену прошлаго. Но, конечно, не думала объ томъ, что револьверъ, разряженный наканунѣ, можетъ быть опять заряженъ, что этою новою шуткой она разобьетъ жизнь мужа, какъ разбила свою хорошенъкую, безпокойную голову, свое мягкое, воспріимчивое, любящее, но больное, изуродованное ложнымъ направленіемъ, сердце».

Надо замѣтить, что конецъ повѣсти не только мелодраматиченъ, а еще и сдѣланъ, кромѣ того, очень плохо, чему способствуютъ и наивность приведенныхъ словъ автора. Но это не мѣшаетъ повѣсти г-жи Алексѣвой быть въ подробностяхъ очень правдивой и наводить на нѣкоторые не безъинтересныя житейскія размышленія.

Достойно, прежде всего, вниманія, что Марья Алексѣвна съ одной стороны питаетъ полное презрѣніе къ Миллю, Дарвину, Боку, «Наука и женщины» и т. п., а съ другой стороны ее вовсе не тянетъ къ адюльтеру. Эта постановка дѣлаетъ большую честь такту автора. О вредоносномъ, разлагающемъ вліяніи научныхъ занятій на женщинъ, о тѣхъ соблазнительныхъ, но пагубныхъ перспективахъ, которыя имъ эти занятия отерываются, мы много слышали. Адюльтеръ, какъ обыкновеннѣйшій романческій эффектъ, намъ тоже довольно хорошо знакомъ. И вотъ передъ нами женщина, рѣшительно ничѣмъ не отгоняемая отъ семейнаго очага. Правда, она любитъ танцовать, веселиться, даже кокетничать, но у нея это просто невинныя развлеченія, отъ которыхъ она готова отказаться ради мужа и которымъ иногда даже ради него предается. Она заботливая хозяйка. Она, съ ея собственной точки зрѣнія, обставлена такъ, что дру-

гия ей только завидовать могут; мужъ у нея умный, добрый, всѣми уважаемый, даже красивый, и, наконецъ, денегъ у него столько, что онъ можетъ въ совершенно удовлетворительной степени украшать и ея особу и ея обиталище. Почему же это такъ вышло, что она «дошутилась»? Это, впрочемъ, мало интересно, потому что убила ее глупая случайность. Но уже вовсе не случайно устраивала она настоящій адъ изъ жизни своего страстно любимого мужа. Устраивается этотъ адъ нашимъ авторомъ опять-таки очень своеобразно и правдиво. Мы не видимъ какого-нибудь внезапнаго нравственнаго катаклизма, рѣзкаго и крупнаго переворота, въ родѣ измѣны, эффектнаго преступленія и т. п. Нѣтъ, какъ ничтожный земляной червь, своею неустанностью и многочисленностью, производить важныя измѣненія на земной поверхности, какъ микроскопическая филоксеры, именно, благодаря своей микроскопичности, опустошаетъ огромную площадь французскихъ виноградниковъ и въ концѣ концовъ даетъ себя знать даже въ оборотахъ всемірной торговли, такъ и Марья Алексѣевна Казачкина убиваетъ человѣка неустанностью своихъ маленькихъ вздоровъ. Конечно, многое тутъ подлежитъ, можетъ быть, специальному вѣдѣнію медицины, но и для не медицинскихъ соображеній остается все-таки довольно широкое поле.

Марья Алексѣевна живетъ исключительно спиннымъ мозгомъ, а головной мозгъ у нея чуть-что не атрофированъ. Вся ея жизнь состоитъ изъ безконечнаго ряда рефлексовъ. Сообразивши на досугъ свою вздорность, она идетъ, напрямикъ, къ мужу съ твердымъ намѣреніемъ сказать: я глупа, я виновата. Но какъ только она сдѣлала тѣ нѣскольکو шаговъ, которые ее отдѣляютъ отъ мужа, такъ выскакиваетъ изъ ея спиннаго мозга управляющій ею бессознательный бѣсъ, и она кричитъ: *ты глупъ, ты виноватъ!* Эта побѣдоносная борьба бессознательнаго бѣса съ слабыми остатками здраваго смысла изображена г-жей Алексѣевой съ большою тщательностью: на каждомъ шагу ея героиня хочетъ поступить по разуму, а поступаетъ наоборотъ. Документы, значить, на лицо. Остается только дознаться, что это за бессознательный бѣсъ, и почему его внушенія направлены всегда въ одну и ту же сторону — доставить страстно любимому мужу непріятность, помучить его, напугать и т. п.

Но прежде надо отмѣтить еще одно обстоятельство. Марья Алексѣевна воспитывалась въ институтѣ, гдѣ обучаютъ, между прочимъ, и хорошимъ манерамъ; можетъ быть, даже «прочему» то не обучаютъ, но уже хорошимъ манерамъ навѣрное. Вра-

щастся она въ томъ кругу общества, который, можетъ быть, не безупреченъ относительно внутренней порядочности, но въшнюю благопристойность соблюдаетъ все-таки. А между тѣмъ, она въ разговорѣ съ мужемъ прибѣгаетъ къ такимъ грубымъ выраженіямъ, какъ «проклятый», «уйду къ любовнику» и т. п. Эта черта составляетъ тоже особенность повѣсти г-жи Алексѣевой, потому что обыкновенно романисты не разрѣшаютъ своимъ благовоспитаннымъ героинямъ такъ по кухарски выражаться и тѣмъ лишаютъ критику случая задуматься надъ вопросомъ: отчего же это, однако, въ самомъ дѣлѣ, такъ выходитъ, что вполне, что называется, приличная дама не стѣсняется при мужѣ ни въ мысляхъ своихъ, ни въ выборѣ ихъ выраженій? именно при мужѣ, потому что въ обществѣ эта дама не посмѣетъ такъ распустить свои мысли и свой языкъ? Потому, конечно, что мужа она не стыдится. А не стыдится по той же причинѣ, по которой благородная и благовоспитанная римлянка не стыдилась раздѣваться при рабѣ, сохраняя чувство женскаго стыда относительно всѣхъ другихъ мужчинъ: рабъ не человѣкъ, а вещь, передъ которымъ, конечно, стыдиться нельзя. Такъ и наша бабенка съ мужемъ. Это ея рабъ, ея собственность, и она можетъ разгуливать передъ нимъ нравственно оголенная, не опасаясь ни того, что онъ, соблазненный ея примѣромъ, тоже раздѣнется, ни того, что онъ плюнетъ и уйдетъ. Рабъ Вася не посмѣетъ сдѣлать ни того, ни другого, онъ связанъ не только юридическими узами брачнаго союза, но и своею глубокою, безпредѣльною любовью.

Однако, это рабъ какой-то особенный, какъ будто и на господина похожій. Бабенка понимаетъ, или чувствуетъ (потому что, собственно говоря, она ничего не понимаетъ), что онъ во всѣхъ отношеніяхъ выше ея, что даже по части чувствъ она больше къ темнымъ бесѣдамъ склонна, тогда какъ въ немъ живетъ дѣйствительно глубокое и серьезное чувство. Чуетъ она также, что у него есть какой-то особенный міръ идей и работы, совершенно ей дужой и въ который она вовсе не желаетъ вступать, но который даетъ ему какое-то преимущество передъ ней и его жизни какую-то полноту, ей недоступную. Еслибы она жила не однимъ спиннымъ мозгомъ, она поняла бы въ чемъ дѣло и либо примирилась бы съ своимъ положеніемъ, либо постаралась бы изъ него выйти. Но она ничего не понимаетъ. Ея мысль пуста, какъ вылитая бутылка, ея чувство плоско, какъ поднось, на которомъ бутылка. Она знаетъ только, что любитъ своего Васю и не сознаетъ, что подъ этою любовью или рядомъ съ нею настоящимъ

хозяйномъ ея души живеть бѣсъ вражды и злобы. Она ощущаетъ присутствіе бѣса, и изумляется ему и его силѣ. «Что я говорю?» «зачѣмъ я это дѣлаю?» — эти вопросы бабенка задаетъ себѣ въ минуты нелѣпыхъ вспышекъ и пиленій, и всетаки говорить, дѣлаетъ, пиляетъ. Она, поистинѣ, бѣсноватая, то-есть дѣйствительно одержима несознаннымъ чувствомъ вражды, злобы, зависти къ мужу, именно за то, что онъ обладаетъ недоступнымъ ей сокровищемъ: у него есть дѣятельность, требующая присутствія мысли и дающая исходъ чувству, а у нея нѣтъ. Странная физическая любовь нисколько не мѣшаетъ этому безсознательному бѣсу, а, напротивъ, разжигаетъ его рвеніе, усложняя его работу...

Безсознательный бѣсъ мститъ мужичинѣ за женщину, за ея противорѣчивое и двусмысленное положеніе существа, окружающаго какимъ-то почетомъ, даже настоящаго рабовладѣльца, но въ то же время систематически, въ цѣломъ ряду поколѣній, осужденнаго жить исключительно спиннымъ мозгомъ. Мстить, какъ только можетъ мстить бѣсъ, рожденный въ пустой головѣ и плодоскодонномъ сердцѣ, безконечнымъ рядомъ мелкихъ, безсмысленныхъ укуловъ и терзаній, въ концѣ концовъ, однако, отравляющихъ жизнь съ такою же неуклонностью, съ какою филоксеры отравляютъ французскіе виноградники. Такимъ образомъ, въ небольшой повѣсти небольшой г-жи Алексѣевой отразилась большая, сложная, вѣковая исторія, до извѣстной степени объясняющая и, пожалуй, даже оправдывающая бѣса. Но бѣда не только въ томъ, что бѣсъ народился и живетъ, и губить людей. Бѣда въ томъ еще, что бѣсъ неисправимо глупъ и низокъ и направляетъ свою месть совсѣмъ не на виновныхъ: собственно, Васенька ничѣмъ не виноватъ передъ Маничкой. Онъ получилъ ее готовую, и каковы бы ни были роли и ответственности мужичинъ и женщинъ въ длинномъ историческомъ процессѣ, но въ частномъ эпизодѣ Васеньки и Манички истиннымъ страдальцемъ является онъ, а не она; страдальцемъ и рабомъ. Еслибы у него была дочь, онъ, конечно, постарался бы, чтобы къ ней не перешелъ по наследству бѣсъ спинного мозга ея матери. Въ качествѣ общественнаго дѣятеля, онъ также можетъ вліять на искорененіе бѣса въ будущемъ. Но всѣмъ этимъ не разрѣшается его личная задача, личное затруднительное и унижительное положеніе. И кто бы рѣшился бросить въ него камень, еслибы онъ, полужарѣзанный тупымъ ножомъ бѣса, въ одинъ прекрасный день сбросилъ съ себя ярмо рабства? А для этого у него есть только два способа: или, въ отвѣтъ на нрав-

ственную оголенность бабенки, раздѣться самому, или плюнуть и уйти...

Извините, на этомъ я кончу. Чувствую, что и по поводу донъ-Руфа, и по поводу бабенки я затронулъ матеріи слишкомъ обширныя; затронулъ и не исчерпалъ. Но вы видите, что я вхожу въ роль «обозрѣвателя» — я «обозрѣлъ» беллетристику «Русской Мысли» за нѣсколько мѣсяцевъ, остановивъ ваше вниманіе на томъ, что напелъ достойнымъ таковаго. Продолжая «обозрѣвать», я надѣюсь натолкнуться если не непременно опять на бабенку, то на женщину, потому что, вы понимаете, бабенка есть женщина, но женщина вовсе не непременно есть бабенка. И не будетъ, я полагаю, съ моей стороны утопій утверждать, что въ недалекомъ будущемъ разновидность бабенки вымретъ совершенно.

IX *).

Наша *république des lettres* устроена странно вообще, а съ точки зрѣнія движенія народонаселенія въ особенности: намъ такъ часто приходится хоронить и такъ рѣдко крестить. Старые таланты кончаютъ свое земное странствованіе, новые являются на бѣлый свѣтъ туго, спотыкаются, не доразвиваются, и право, иной разъ думается, что даже матери рожаютъ нынѣ талантливыхъ людей съ болѣе сильными болями, чѣмъ то требуется законами природы. Все на свѣтѣ имѣетъ свои причины. Есть онѣ и у этого печальнаго положенія русской беллетристики, но я ихъ искать теперь не буду. Я только отмѣчаю фактъ, давно уже отмѣченный, всѣмъ видимый, и затѣмъ дѣлаю изъ него практическій выводъ. Мнѣ кажется именно, что наша беллетристическая скудость обязываетъ критику относиться даже къ скромнымъ дарованіямъ гораздо бережнѣе, чѣмъ она это дѣлала до сихъ поръ. Я не то хочу сказать, чтобы критика должна была вѣжничать съ этими второстепенными и третьестепенными талантами, и, тѣмъ паче, льстить имъ, на томъ основаніи, что на безрыбьи и ракъ рыба. Нѣтъ, такое отношеніе было бы гораздо хуже простого умолчанія, и не этимъ путемъ устраняется безрыбье. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы надо было небрежно относиться, напирѣвъ, къ г. Эртелю — я объ немъ собираюсь говорить — только потому, что онъ не Тургеневъ и Достоевскій. Тургеневъ и Достоевскій сами по себѣ, а г. Эртель самъ по себѣ. Всѣмъ найдется мѣсто, лишь бы только и читатели, и сами писатели знали, кто какое мѣсто занимаетъ, и кому какое мѣсто

*) 1883, Ноябрь.

приличествуетъ. «Таланты отъ Бога», какъ извѣстно, но въ ихъ судьбѣ есть нѣчто и «отъ рукъ человѣческихъ». Упорный трудъ надъ собой вовсе не такъ чуждъ таланту, какъ обыкновенно думаютъ, а одинъ изъ колоосовъ таланта сказалъ даже, что геній есть терпѣніе. Если въ этомъ мнѣніи есть преувеличеніе, если необходимы вѣчные труженики, которые, однако, никогда мастерами не будутъ, если существуютъ, наоборотъ, счастливые лѣтніи, которымъ многое дается совсѣмъ даромъ, то все-таки несомнѣнно то общее правило, что талантъ требуетъ ухода и контроля. Безъ нихъ онъ легко можетъ или удариться въ сторону, ему совершенно не свойственную, или не доразвиться, не дать того, что онъ можетъ дать, или, напротивъ того, изнемогать въ потугахъ обнять необъятное, рѣшать задачи, для него непосильныя. Но понятно, что контролировать себя безъ всякой посторонней помощи можетъ только талантъ, такъ или иначе уже окрѣпшій, опредѣлившій для себя размѣръ своихъ силъ и характеръ имѣющихся у него въ распоряженіи красокъ. А между тѣмъ тутъ-то и только тутъ критика обыкновенно и начинаетъ заниматься имъ самымъ усерднымъ образомъ, комментируя каждое его произведеніе, ломая копья за и противъ каждого созданнаго имъ образа. Это, конечно, очень натурально, потому что произведенія такого писателя, достигшаго предѣла доступнаго ему самосознанія, получаютъ особенный интересъ и особенную цѣну, какъ художественныя отраженія извѣстныхъ теченій жизни, и даже просто какъ хрестоматическіе факты, если можно такъ выразиться. Какъ бы, однако, ни было полезно, а для самой критики, кромѣ этого, и пріятно заниматься анализомъ продуктовъ сформировавшагося и первостепеннаго таланта, это не снимаетъ съ нея обязанностей по отношенію къ второстепеннымъ и третьестепеннымъ явленіямъ въ области беллетристики. Во-первыхъ, ихъ относительная слабость не мѣшаетъ имъ захватывать темы, представляющія глубокой жизненный интересъ. Во-вторыхъ, авторы этихъ произведеній, натурально, нуждаются въ голосѣ критики, который долженъ помочь имъ взвѣсить свои силы, чтобы они не сбивались съ пути, не останавливались съ излишнею робостью передъ задачами посильными и не брались за задачи непосильныя. И это будетъ вовсе не личною услугою тому или другому беллетристу, потому что писатель, сознавшій свои сильныя и слабыя стороны, представляетъ всегда чистый выигрышъ для литературы и общества. Дѣло, разумѣется, не въ поученіяхъ какихъ-нибудь, а въ томъ, чтобы писатель слышалъ свободныя

и участливыя—жесткія или мягкія по формѣ, это все равно—сужденія о своихъ работахъ. Безъ всякаго сомнѣнія, есть не мало писателей, надъ которыми смѣло можно поставить крестъ и которые не имѣютъ ни малѣйшаго права претендовать на участливое вниманіе къ себѣ. Г. Эртель, конечно, не изъ ихъ числа...

Г. Эртель очень плодovitъ. Передо мной лежатъ два тома его «Записокъ степняка», въ которые вошли цѣлыхъ двадцать рассказовъ или очерковъ, написанныхъ въ сравнительно короткое время, а одновременно съ ихъ отдѣльнымъ изданіемъ появилась въ «Вѣстникѣ Европы» его большая повѣсть «Волхонская барышня» (№№ 6—8). Г. Эртель человѣкъ несомнѣнно талантливый. Г. Эртель интересуется въ своихъ произведеніяхъ такими вещами, которыя дѣйствительно заслуживаютъ интереса, его занимаютъ по истинѣ «больныя мѣста» и по истинѣ «проклятые вопросы». Наконецъ, въ его очеркахъ и въ его повѣсти разбросаны даже съ нѣкоторымъ излишествомъ слѣды разнообразной начитанности. Словомъ, г. Эртель, повидимому, работаетъ въ полномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. А между тѣмъ какая странность: «Записки степняка» печатались отдѣльными очерками въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Дѣлѣ», если не ошибаюсь, въ «Русской Мысли»—въ журналахъ распространенныхъ, но я не помню, чтобы критика ими тогда занималась. Теперь же, единовременное появленіе «Волхонской барышни» и «Записокъ степняка» въ отдѣльномъ изданіи вызвало цѣлый рядъ рецензій, весьма неблагоприятныхъ для нашего молодого автора. Г. Эртель, кажется, рѣшительно никому не угодилъ. Да утѣшится онъ мыслью Дидро, что книга, которая никому не понравилась можетъ быть гораздо лучше той, которая понравилась всѣмъ. Не угодилъ г. Эртель и вашему журналу, какъ видно изъ коротенькой рецензіи, напечатанной въ сентябрьской книжкѣ, и какъ будетъ видно изъ нижеслѣдующаго. Но мнѣ кажется, что въ отзывѣхъ о г. Эртелѣ, которые мнѣ удалось видѣть въ журналахъ и газетахъ, нѣтъ того, чего онъ вправѣ ожидать въ виду своего несомнѣннаго, хотя и не крупнаго таланта, и своей старательности, а именно—участливаго вниманія. Поступить съ Эртелемъ круто очень не трудно, но я не вижу въ этомъ ни надобности, ни оправдливости. Затѣмъ вы, надѣюсь, не выпьете, если въ настоящемъ пиюмѣ встрѣтите что-нибудь такое, что было уже высказано въ другихъ журналахъ или газетахъ. Всѣхъ отзывы съ «Запискахъ степняка» и «Волхонской барышни» я не читалъ, но знаю, что нѣкоторыя черты творчества г.

Эртеля такъ очевиденъ, что относительно ихъ не можетъ быть разногласія.

Начнемъ съ «Записокъ степняка».

Есть двѣ формы разсказа: описательная и повѣствовательная. Образчикомъ первой формы можетъ служить, на примѣръ, «Рудинъ» или «Отцы и дѣти» (благо теперь Тургеневъ у всѣхъ на языкѣ); образкомъ второй—«Записки охотника» или «Первая любовь». Разница тутъ такая же, какъ между исторіей и мемуарами. Въ описательной формѣ авторское я не выступаетъ наружу, разсказъ разворачивается самъ собой, и читатель приглашается слѣдить одновременно за всѣми дѣйствующими лицами, во всѣхъ подробностяхъ ихъ чувствъ, мыслей и дѣйствій. Въ повѣствовательной формѣ разсказъ ведется отъ имени автора или другого опредѣленнаго лица, очевидца разсказываемыхъ событій: и понятно, что, вообще говоря, эта форма гораздо легче для художника, именно потому, что онъ тутъ играетъ роль очевидца и, слѣдовательно, не обязывается передавать читателю то, чего человѣкъ очами видѣть не можетъ; онъ только предъявляетъ свои личныя наблюденія, впечатлѣнія и ощущенія. Однако, эта повѣствовательная форма можетъ стать и неизмѣримо труднѣе, если лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, само по себѣ, представляетъ какой-нибудь интересъ съ точки зрѣнія художника. Въ «Запискахъ охотника», на примѣръ, я разсказчика само по себѣ ни мало не интересно, а интересны Хорь, Каминичъ, Чертопановъ, Недоплюсникъ, и т. д. Въ «Первой любви» художественная задача уже гораздо сложнѣе: читатель заинтересованъ не только образами и судьбой княжны Зинаиды и ея поклонниковъ, но и особенными ощущеніями самого разсказчика. Здѣсь очевидецъ, мальчикъ, испытывающій «первую любовь» и сталкивающійся на этой дорогѣ съ своимъ отцомъ, самъ по себѣ составляетъ художественную задачу. Въ леонтовскомъ «Герое нашего времени», въ высоко-талантливой повѣсти Крестовскаго-псевдонима «Первая борьба», въ «Благополучномъ россиянинѣ» покойнаго Кушечскаго, эта двойственность художественной задачи становится еще очевиднѣе и самая задача еще труднѣе: на созданіе разсказчика Печорина потрачено больше художественной силы, чѣмъ на созданіе княжны Мери или Грушницкаго, и для читателя, и для критики Печоринъ гораздо интереснѣе послѣднихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ усложняется и задача критики.

Для сужденія о княжнѣ Зинаидѣ и ея поклонникахъ въ «Первой любви», о княжнѣ Мери и Грушницкомъ, драгунскомъ капитанѣ, Вѣрѣ, докторѣ Вернерѣ въ «Герое нашего времени» мы имѣемъ матеріалъ завѣ-

домо односторонній. Эти образы стоятъ передъ нами, освѣщенные подъ угломъ зрѣнія влюбленнаго мальчика и такой особенной натуры, какъ Печоринъ. Поэтому надо прежде всего выяснитъ это особенное, необычное я разсказчика и сдѣлать въ остальномъ соотвѣтственные поправки.

«Записки степняка» написаны въ повѣствовательной формѣ. Спрашивается, что же это за степнякъ такой? Представляетъ-ли его я какую-нибудь художественную претензію, независимую отъ самыхъ разсказовъ, или же «записки» представляютъ въ настоящемъ случаѣ пустую форму, безхитростный приемъ, въ родѣ «Записокъ охотника» Тургенева?

Судя по предисловію, озаглавленному «Мое знакомство съ Батуринымъ», нѣкоторая художественная претензія въ «степняка» дѣйствительно вложена. Позвольте мнѣ привести изъ этого предисловія довольно большую выдержку.

«Батуринъ былъ близкій мнѣ человѣкъ... Передъ смертію онъ писалъ мнѣ и просилъ меня издать его записки. И странное дѣло, человѣкъ въ высшей степени скромный, онъ просилъ при отдѣльномъ изданіи помѣстить его біографію. Вотъ ужъ задача-то неблагодарная... «Я, говоритъ, хочу, чтобы видѣли, почему отъ добрыхъ восклицаній во вкусѣ Левитова я перешелъ къ песимизму «Идилліи» и «Адіо» и почему, вообще, я разметалъ свои силы и дошелъ до Ментоны. Все это вы помните». Странная и, повторяю, неблагодарная задача. Вѣщныя факты изъ жизни Батурина таковы: происходилъ изъ дворянъ; ценза не имѣлъ; хозяйничалъ плохо (мужики его ужасно надували); курса въ университетѣ не кончилъ; женатъ не былъ... любилъ деревню и до конца дней своихъ бредилъ степью... Вообще, нужно сказать, человѣкъ онъ былъ глубоко почвенный и къ землѣ своей пришилъ былъ крѣпко. Это съ одной стороны. Но съ другой, эта земля мучила и терзала его неуспію. Онъ всегда съ завистью говорилъ о 40-хъ и 60-хъ годахъ. — «Счастливые люди жили въ тѣ годы!»—часто восклицалъ онъ, обыкновенно вздыхая при этомъ. — Чѣмъ же они счастливы-то, Николай Васильевичъ?—спрошу, бывало, я. — «А тѣмъ счастливы, скажете, вѣра въ нихъ была, цѣльность была, врага они ясно видѣли, идеалы свои опущивали руками... А теперь что! мы теперь точно мужикъ: стащили съ него барина, онъ и не знаетъ, кто его за горло душить. Ясность, отношеній исчезла, суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра...» И напрасно я пояснялъ ему идеалы, ясные, какъ кристалъ: онъ съ тихою печалью улыбался. — «Да, они ясны, говорилъ онъ. — Но это ясность теоріи,

ясность вычислений арифметических. Они ясны до той поры, пока жизнь не затуманить и не загрязнить их. Вот погодите, посмотритесь, может быть. Все захватить своими нечистыми руками эта проклятая, эта изолгавшаяся жизнь, и, вь концѣ концовъ, получатся пятна, не болѣе... И онъ въ унынии поникалъ головой. Иногда же злился, обзывалъ меня Маниловымъ и уподоблялъ идеалы тульскимъ самоварамъ, что до тѣхъ поръ и блеетъ, пока новы, а чуть попадутъ въ руки кухарки, и конецъ ихъ блистанію. Вообще, онъ легко поддавался жолчи. Но временами на него находила бодрость, и тогда страстное нетерпѣніе загоралось въ немъ. Онъ ѣздилъ по сосѣдямъ, знакомился съ новыми людьми, говорилъ, проповѣдовалъ, строилъ проекты различныхъ мѣропріятій... А спустя немного, снова сидѣлъ кислый и больной. И такъ во всю жизнь. Мнѣ кажется, особенно угнетала его пустота, какъ бы искусственно воздвигнутая вокругъ него: куда бы онъ ни сунулся, вездѣ встрѣчались заборы и преграды. Я говорю о цензѣ. Но, конечно, и не одно это угнетало; необходимо еще упомянуть о нервахъ, не дававшихъ ему покоя».

Затѣмъ половину всей «біографіи» степняка Батурина занимаетъ любовный эпизодъ, рассказанный его собственными словами. Дѣло было и очень просто, и очень странно. Первое (и послѣднее) свиданіе степняка съ избранницей его сердца происходило въ июльскую лунную ночь. Свиданіе шло сначала какъ и всѣ прочія свиданія, но вдругъ за кустомъ раздался шорохъ и потомъ разговоръ. «Мы замерли. Но я не выпускалъ изъ объятій милую дѣвушку и по возможности старался казаться твердымъ». За кустомъ, оказалось, присѣли отдохнуть и покалякать два конокрада, возвращавшіеся съ промысла. Калякали они несообразно долго для людей, только что укравшихъ лошадей и потому должествующихъ помышлять о скорѣйшемъ бѣгствѣ. А влюбленные все это время стояли обнявшись. Но вотъ конокрады ушли. Дѣвушка заговорила въ томъ смыслѣ, что она очень боялась, а на вопросъ степняка, чего же она боялась, отвѣтила такъ: «Услышать... папа узнаетъ... Скандалъ... Мало-ли чего!» «Ну вотъ-то и конецъ моему роману, саркастически усмѣхался, добавляя Батурина.—Руки мои внезапно, какъ плети, скользнули по ея гибкому стану и въ безсиліи опустились. Во рту появилась какая-то сухая и непріятная горечь. А тутъ, какъ на грѣхъ, мѣсячный лучъ коварно легъ на ея губы и выраженіе страсти немилосердно растянуло ихъ. И что же мнѣ показалось—бываетъ же глупъ человекъ—мнѣ показалось: какая-то огромная

птица бьется на моей груди... И, страшно сказать, все существо мое переполнилось непобѣдимымъ отвращеніемъ».

Наконецъ, еще одна черта: умирая, степнякъ «обвелъ окружающихъ тоскливымъ взглядомъ и спросилъ упорно: «Да когда же мы переведемся на Руси?» Что онъ этимъ хотѣлъ сказать, не знаю, прибавляетъ г. Эртель.

Соображая всѣ эти біографическія черты, надо будетъ, кажется, сказать, что г. Эртель довольно плохо исполнилъ завѣщаніе своего пріятеля. Изъ составленной имъ біографіи рѣшительно не видать того, что хотѣлъ уснить современникамъ степняка, не видать именно, «почему отъ добрыхъ восклицаній онъ перешелъ къ пессимизму». Видно, что человеку не везло въ жизни, но въ неудачахъ его нѣтъ ничего такого, что выдѣляло бы его изъ сотенъ и тысячъ другихъ неудачниковъ и хоть сколько-нибудь опредѣляло его индивидуальность. Предсмертнымъ вопросомъ степняка, должествующимъ выражать нѣчто характерное и глубокое, вы даже просто поражены, какъ совершенною неожиданностью. Рѣчь шла о «суматохѣ, путаницѣ, абракадабрѣ», господствующихъ въ нашемъ отечествѣ, о «проклятой, изолгавшейся жизни», и естественно было бы ожидать, что степнякъ, болѣвшій, по словамъ г. Эртеля, этими болями, скажетъ передъ смертью: «да когда же переведется эта путаница на Руси?» А онъ вдругъ: когда же мы переведемся! Это нѣсколько напоминаетъ анекдотъ о томъ смѣшномъ человѣкѣ, который, рассказывая про свое восхожденіе на Казбекъ говорилъ: такъ Казбекъ (онъ показывалъ на аршинъ отъ полу), а такъ я (онъ поднималъ руку сколько могъ выше головы). Какіе это такіе мы? Очевидно, мы имѣемъ дѣло, по замыслу автора, съ какимъ-то достопримѣчательнымъ типомъ, но не менѣе очевидно, что всякій читатель вправе подумать: «что онъ (г. Эртель) хотѣлъ этимъ сказать, не знаю»... Давайте, впрочемъ, пересмотримъ показанія г. Эртеля и самого степняка.

Степнякъ имѣлъ чрезвычайно неровный характеръ и безпричинно, по крайней мѣрѣ, безъ такой причины, которую можно было бы уловить и указать, переходилъ отъ унылаго настроенія къ возбужденному и обратно; но въ общемъ состояніе его духа измѣнялось всетаки въ одномъ опредѣленномъ направленіи, отъ добрыхъ восклицаній къ пессимизму. Г. Эртель объясняетъ это тѣмъ, что у него не было ценза, а были разстроенные нервы (собственно только эти два пункта и ясны). Степнякъ, съ своей стороны, прибавляетъ свое любовное разочарованіе. Надо, однако, признаться, что от-

отсутствіе ценза и присутствіе разстроенныхъ нервовъ еще не ахти какая достопримѣчательность, такъ что довольно даже мудрено построить на такихъ двухъ устояхъ типъ пессимиста. Очевидно, значеніе этихъ двухъ источниковъ огорченій степняка преувеличено г. Эртелемъ. Но и самъ степнякъ склоненъ преувеличивать свои бѣды. Въ самомъ дѣлѣ, онъ воспоминаетъ о своемъ любовномъ эпизодѣ съ такимъ «сарказмомъ», съ такою мрачностью, которые приличествуютъ развѣ какому-нибудь баловню судьбы, никогда настоящаго горя не видавшему и потому принимающему за горе сущіе пустяки. Дѣвица испугалась «папа» и «скандала»... Помилуйте, да объ чемъ же тутъ разговаривать? а тѣмъ паче объ чемъ «саркастически» вспоминать? Такая дѣвица не только не та гага авіа, не та фантастическая «огромная птица», какою она представлялась степняку, а явленіе, столь же обыкновенное, какъ и человѣкъ, не имѣющій ценза. Понятно, что въ ту минуту степняку могло быть больно, но совершенно ни съ чѣмъ несообразно такъ пространно и саркастически размазывать этотъ пустяковый эпизодъ по простествіи многихъ лѣтъ. Степняку, напротивъ, слѣдовало бы радоваться, что дѣло разъяснилось на первомъ же свиданіи, что онъ не успѣлъ потратить на дѣвицу много силъ и не повелъ ее къ алтарю, въ чемъ, очевидно, имѣлъ бы потомъ всѣ резоны жестоко каяться.

Если мы выйдемъ изъ предѣловъ біографіи степняка, составленной г. Эртелемъ, и перейдемъ къ самымъ «запискамъ», то увидимъ прежде всего, что никакого перехода «отъ добрыхъ восклицаній къ песимизму» тутъ нѣтъ. Въ первомъ же очеркѣ («Подъ шумъ вьюги») и на первыхъ же его строкахъ мы встрѣчаемся съ необыкновенно мрачнымъ настроеніемъ: «Тоска одолевала меня... Пошли бродить думы, воспоминанія... все горькія, невеселыя, подстать къ погодѣ... Напрасно я разыскивалъ въ этихъ думахъ, въ этихъ воспоминаніяхъ яркаго, свѣтлаго луча, напрасно напрягалъ память, вызывая его, этотъ лучъ, эту ободряющую полосу свѣта... Все была сплошная, одуряющая тьма... Рядъ фактовъ, одинъ другого безотрадѣе» и т. д. Наоборотъ, въ послѣднемъ очеркѣ «Аддіо!», рекомендуемомъ самимъ степнякомъ, какъ нѣчто особенно пессимистическое, мѣстами вкраплены такіа «добрыя восклицанія» и въ такомъ количествѣ, что даже удивительно. Затѣмъ, во всѣхъ «запискахъ» фигура степняка оказывается выдержанною и съ біографіей согласною въ томъ отношеніи, что онъ, во первыхъ, постоянно, безъ всякаго видимаго резона, переходитъ отъ унынія къ возбуж-

денію и, во-вторыхъ, нестерпимо назойливо носится съ своими личными ощущеніями, представляя ихъ и тогда, когда они нисколько не любопытны, и тамъ, гдѣ они совсѣмъ къ дѣлу не идутъ. Въ этомъ отношеніи особенно характеренъ очеркъ «Аддіо», гдѣ авторъ, по крайней мѣрѣ, разъ пятнадцать мѣняетъ свое настроеніе (а въ очеркѣ и двухъ печатныхъ листовъ нѣтъ) рѣшительно ни съ того, ни съ сего, но всякій разъ назойливо предлагая читателю проникаться этими калейдоскопическими измѣненіями. Вотъ, напримѣръ, на страницѣ 272 читаемъ: «И неодолима печаль охратила меня. Я чувствовалъ, какъ сердце мое расширилось въ какой-то тяжелой и мучительной истомѣ, и тоскливая фальшь закрывалась въ душу». Это на 272 страницѣ, а на 273-й: «И когда я сошелъ съ кургана, печаль покинула меня. Я забылъ боли и скорби, которыми жилъ доселѣ». А на 274-й опять: «И солнечный лучъ, игравшій на бѣлой стѣнѣ, снова показался мнѣ лучемъ умирающимъ, и неодолима печаль обняла мою душу». Но это только до слѣдующей, 275-й страницы, потому что тутъ «дыханіе мое радостно стѣснилось; мнѣ показалось даже, что небо внезапно просвѣтлѣло и посвѣтлѣли комнаты, переполненные сумракомъ»... Фу ты, Господи, какой неосновательный человѣкъ! или не столько неосновательный, сколько неустанно прислушивающійся къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Всякому случается болѣе или менѣе мѣнять настроеніе духа—то будто взгрустнется а то повеселѣе станетъ. Но никому, кромѣ надоедливаго степняка, не придетъ въ голову поддѣлывать эти едва уловимые отбѣски, раздувать ихъ въ нѣчто достопримѣчательное и доводить объ каждомъ изъ нихъ до свѣдѣнія публики. Только такой, по истинѣ, несносный человѣкъ можетъ такъ приставать къ читателю: солнце сіяло уже, когда я всталъ; всталъ я съ лѣвой ноги, но потомъ переступилъ на правую, а солнце вселило свои живительныя, ласкающіе лучи; потомъ я постоялъ немножко на обѣихъ ногахъ сразу... Помилосердуйте, господинъ степнякъ! вѣдь до всего этого рѣшительно никому нѣтъ дѣла... Но очеркъ «Аддіо», по крайней мѣрѣ, такъ ужъ и отведенъ, прямо, откровенно, подъ личныя ощущенія автора. А вотъ не угодно-ли прослушать, напри- мѣръ, рассказъ про «Офицершу». Офицерша эта—сельская учительница. Нѣкоторые на меки на нее читатель получаетъ уже въ первомъ томѣ «Записокъ степняка», именно въ рассказѣ «Отъ одного парня», и намеки эти такого рода, что читатель непремѣнно долженъ заинтересоваться личностью офицерши. И вотъ, наконецъ, во второмъ томѣ

интересъ этотъ получаетъ удовлетвореніе. Приѣзжаетъ къ автору мужикъ изъ того самаго села, гдѣ учителствуетъ офицерша, и проситъ приѣхать къ нимъ, потому что съ офицершей что-то неладное сдѣлалось: не то больна, не то «замудрила». Авторъ обѣщаетъ приѣхать. «Но, говоритъ онъ, прежде, чѣмъ разсказать о поѣздкѣ моей въ Березовку, нужно, я думаю, сообщить вамъ о томъ, какъ состоялось мое знакомство съ офицершей. *Слушайте же.* Былъ мартъ. Солнце стояло высоко и сильно пригрѣвало. На поляхъ показались проталины» и т. д. Вы пропускаете нѣсколько строкъ и видите, гдѣ же про офицершу-то? Авторъ начинаетъ новый абзацъ: «Странное это время, читатели! все обновляется, все готовится къ жизни, а между тѣмъ, какая-то тихая печаль не престанно и томительно преслѣдуетъ васъ» и т. д. Вы опять пропускаете полстраницы, потому что заинтересованы офицершей, а о «печали» господина степняка и безъ того много наслышаны. Авторъ начинаетъ и еще абзацъ: «Такъ вотъ, когда солнце свѣтило ужъ особенно ярко и тепло, и особенно грустно мнѣ было на моемъ хуторѣ, вокругъ котораго звенѣли многочисленныя ручейки, и гибкія ракиты колебались тихо и размыренно, я проѣхалъ въ березовскую школу». Слава Богу! наконецъ — то. Разсказать про свой первый визитъ къ офицершѣ, авторъ переходитъ ко второй своей поѣздкѣ въ Березовку, по приглашенію мужика, привезшаго извѣстіе, что съ офицершей неладно. Начинаетъ онъ такъ: «День былъ тихій и ясный. Золотистое солнце переполняло сверканіемъ прозрачный воздухъ» и т. д. А продолжаетъ такъ: «Славное время этотъ похотій сентябрь! Дышется такъ вольно и такъ умиротворяются нервы глубокой тишиной безжизненнаго поля». Но пока господинъ степнякъ умиротворяетъ свои нервы и размышляетъ о печалахъ марта и прелестяхъ сентября, офицерша-то отравилась... Это не мѣшаетъ, впрочемъ, господину степняку, сидя въ концѣ разсказа на могилѣ офицерши, отмѣчать впечатлѣнія, полученныя имъ отъ окружающаго пейзажа. «День былъ сырой и пасмурный. Безконечныя вереницы свинцовыхъ тучъ низко ползли надъ пустынными полями» и т. д.

Мнѣ кажется, что со степнякомъ можно покончить. Мнѣ кажется ясно, что художественная претензія, вложенная г. Эртелемъ въ эту фигуру, такъ претензіей и осталась. Такому несносному человѣку, постоянно заятому предъявленіемъ своихъ личныхъ ощущений, хотя кругомъ совершаются дѣла чрезвычайной важности, можно было бы посвятить одинъ очеркъ, и притомъ юмористическій, но отнюдь не слѣдовало держать его

маленькое, хотя и поднимающееся на носки и постоянно на глазахъ читателя, да еще покушаться при этомъ на читательское сочувствіе. Еслибы въ «Запискахъ степняка» ничего, кромѣ степняка, не было, такъ я, разумѣется, не сталъ бы утруждать ими ваше вниманіе. Но около степняка, дѣйствительно, совершаются дѣла чрезвычайной важности, и онъ сообщаетъ объ этихъ дѣлахъ кое-что очень любопытное. Въ виду этого, въ виду дѣйствительно серьезныхъ задачъ г. Эртеля, я и думаю, что критика должна отнестись къ его таланту съ гораздо болѣе участливымъ вниманіемъ, чѣмъ она это дѣлала до сихъ поръ. Повторяю, участливое вниманіе вовсе не требуетъ комплиментовъ или лести.

Вотъ уже много лѣтъ идутъ у насъ въ журналистикѣ усиленные толки о народѣ. Казалось бы, разговоры столь обильные должны оправдать пословицу: *du choc des opinions jaillit la vérité*—заблужденія должны бы отпасть, а истина восторжествовать. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ. Что бы вы ни считали истиной съ одной стороны и заблужденіемъ съ другой, но наличность пререканій и противорѣчій свидѣлствуетъ, что до истины, можетъ быть, никто не добрался, а заблужденія то навѣрно есть. Я думаю, что для этой безплодности столь многословныхъ и продолжительныхъ разговоровъ есть очень простое объясненіе въ ихъ многословности и продолжительности. Слова, слова и слова, обреченныя оставаться словами, безъ прямого отраженія жизни, не только не уясняютъ какихъ-нибудь недоразумѣній, а, напротивъ, накапливаясь въ чрезмерномъ количествѣ, порождаютъ беспорядочную толкотню понятій и вышущую путаницу; путаница эта усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что такіа обреченныя слова обыкновенно не настоящія слова, а полуслова и намеки. Какъ бы то ни было, но многолѣтнія разсужденія нашей журналистики о народѣ привели только къ тому, что нѣкоторые изъ ея представителей несутъ совершенный вадоръ съ невѣроятнымъ апломбомъ. Прекраснымъ образчикомъ такого вадора съ апломбомъ могла бы служить вышедшая въ прошломъ году книжка г. Юзова «Основы народничества». Но трактовать объ ней было бы скучно и долго, а меня ждетъ г. Эртель. У меня есть подъ руками болѣе удобный (по краткости) образчикъ вадора съ апломбомъ. Вотъ что писала недавно газета «Недѣля» о вашемъ журналѣ:

«Въ возрѣвѣніяхъ журнала есть одинъ коренной недостатокъ, который особенно претитъ въ органѣ, призванномъ довольно мѣтко «мужиковствующимъ». Этотъ недостатокъ—игнорированіе народной мысли и народныхъ

желаній. Дѣйствительно, «Отечественныя Записки» только «мужиковствуютъ», т. е. очень старательно изучаютъ мужика; но онѣ пытаются ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ «научныхъ» взглядовъ на нужды мужика. При этомъ онѣ совершенно забываютъ, что у мужика есть свой умъ и свое сердце и что ему, быть можетъ, захочется жить не такъ, какъ велитъ наука «Отечественныхъ Записокъ». Не то, чтобы онѣ оспаривали право мужика жить по своей волѣ и по своему разуму; нѣтъ, онѣ просто игнорируютъ существованіе мужицкой мысли и воли, какъ бы ясно онѣ не высказывались. Такъ же поступаютъ онѣ и въ еврейскомъ вопросѣ.

«Новое время», изъ котораго я заимствую эту выписку (самой статьи «Недѣли» я не читалъ), рекомендуетъ ее съ своей стороны такъ: «Недѣля» отмѣчаетъ фальшивое отношеніе «Отечественныхъ Записокъ» къ народу». Между тѣмъ, всматриваясь въ приведенныя строки съ полнымъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ, вы должны придти къ тому заключенію, что «Недѣля» до того заблуждалась, что не умѣетъ отличить бѣлое отъ чернаго. Возможны разныя точки зрѣнія на текущіе общественные вопросы. Ихъ можно обсуждать съ точки зрѣнія государственнаго могущества, порядка и благочинія, національнаго богатства, національной славы и т. д. и, между прочимъ, и съ точки зрѣнія интересовъ народа. Для человѣка, стоящаго на этой послѣдней точкѣ зрѣнія, инкриминація «Недѣли» есть наилучшая похвала. Если вы «очень старательно изучаете мужика» и затѣмъ «пытаетесь ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ «научныхъ» (эти сатирическія лапки, обнимающія «науку», прелестны!) взглядовъ на нужды мужика», то вы дѣлаете самое настоящее дѣло. Мало того, иначе и нельзя относиться хоть бы къ тому же еврейскому вопросу; иначе и «Недѣля» не можетъ ставить и рѣшать его. Я не читалъ статей «Недѣли» по еврейскому вопросу, но совершенно увѣренъ, что почтенная газета не рекомендуетъ бить жидовъ, а между тѣмъ, «умъ и сердце» мужика побуждаютъ его при извѣстныхъ условіяхъ жидовъ бить. Также и въ прочихъ разныхъ вопросахъ. «Умъ мужика» твердо стоитъ на томъ, что земля на трехъ китахъ держится, но если бы «Недѣля» требовала введенія этого принципа въ систему народнаго просвѣщенія, презирая «научные» на этотъ счетъ взгляды, то, оставаясь въ согласіи съ умомъ мужика, она дѣйствовала бы отнюдь не въ его интересахъ. Само собою разумѣется, что взгляды на интересы и нужды народа могутъ быть очень разнообразны, а, слѣдовательно,

между ними есть вѣрные и невѣрные. Таковыми они могутъ быть теоретически и практически, то-есть сами по себѣ или въ примѣненіи къ данной комбинаціи обстоятельствъ, въ которой тяготѣніе самаго народа, конечно, играетъ очень важную роль. Но, въ концѣ концовъ, формула правильнаго отношенія къ текущимъ общественнымъ вопросамъ есть именно та самая, которая «Недѣля» «претитъ».

Простите за эту краткую экскурсію въ область полемики, по нынѣшнему времени чрезвычайно неблагоприятную и скучную. Я привелъ диссертацию «Недѣли» только какъ образчикъ тѣхъ пустяковыхъ словозверженій, которыхъ не предотвратили всѣ наши многослѣзные разсужденія о народѣ. Практически эти словозверженія не имѣютъ ровно никакого значенія, потому что, когда дѣло дойдетъ до практики, «Недѣля», подобно всѣмъ прочимъ смертнымъ, выставитъ, какъ и теперь, вѣроятно, выставитъ при случаѣ, свой собственный взглядъ; будетъ-ли онъ «научный» или ненаучный, вѣрный или невѣрный—это другой вопросъ.

Можно и должно измѣнить свой взглядъ, если будетъ доказана его неправильность, но постыдно отрекаться отъ него потому, что другіе—кто бы они ни были—думаютъ иначе. Если, однако, эти другіе близко заинтересованы въ дѣлѣ, о которомъ вы составили свое мнѣніе, если ихъ судьба лежитъ въ самомъ фундаментѣ вашего строя мысли, то понятно, что ихъ «умъ и сердце» должны быть «старательно изучены». Это и дѣлается въ извѣстной части литературы. Въ одномъ изъ разсказовъ г. Эртеля одна бабенка негодуетъ, что мужикъ заполонилъ литературу. Это отчасти справедливо и имѣетъ, конечно, свои причины. Одна изъ нихъ чисто отрицательная, а именно: есть въ русской жизни другія явленія высокой важности, которыми, однако, литература заниматься не можетъ, въ силу внѣшнихъ условій. Затѣмъ, значеніе мужика въ нашемъ отечествѣ такъ велико, что, «заполняя» имъ себя, литература до извѣстной степени только отражаетъ отношеніе и пропорціи самой жизни. Наконецъ, мужикъ со всѣмъ, что около него совершается, представляетъ нынѣ и просто въ высшей степени любопытный предметъ наблюденія и изслѣдованія. Съ реформой 1861 г. «порвалась цѣпь великая, порвалась—раскачалась, однимъ концомъ по барину, другимъ — по мужику»; начался новый историческій періодъ. Въ такіе моменты жизнь никогда не развивается сразу гладко и ровно. Всегда она болѣе или менѣе долго какъ будто потопчется на мѣстѣ, дѣлая шагъ впередъ, два назадъ, опять впередъ, въ одну, въ

другую сторону, одолевается сомнѣніями, колебаніями, тревогами, иногда слишкомъ острыми, надеждами, иногда слишкомъ розовыми; и уже потомъ, долго спустя, беретъ верхъ то или другое опредѣленное направление, по которому жизнь и течетъ по инерціи, неуклонно, пока опять не наступитъ моментъ перелома. Понятно, что моменты перелома, при всей своей неопредѣленности и тревожности, при всей той боли, которую они иногда доставляютъ участнику жизни, представляютъ особенный, исключительно высокій интересъ для художниковъ. (Не для однихъ художниковъ, разумѣется, но я теперь только ихъ имѣю въ виду). Жизнь еще не успокоилась въ одномъ, опредѣленномъ руслѣ; одинъ какой-нибудь токъ еще не поглотилъ остальныхъ; слѣды старины, то совсѣмъ расколотые новымъ клиномъ исторіи, то сохранившіеся полностью, удачныя и неудачныя пробы новизны, цѣлая коллекція типовъ, вызванныхъ борьбою издающаго стараго съ нарождающимся новымъ, самыя тревоги, сомнѣнія, надежды современниковъ—все это въ цѣломъ представляетъ настоящій кладъ для художника. Если же онъ настоящій художникъ, а не простой фотографическій аппаратъ, не свидѣтель, а участникъ жизни, то онъ и самъ захватывается этими тревогами и надеждами, которые заставляютъ его съ особенною чуткостью всматриваться въ явления жизни и дорожить каждой черточкой ихъ. Такимъ образомъ, та небольшая группа нашихъ беллетристовъ, которая наполняетъ журналистику «мужикомъ», помимо всего прочаго, оправдывается и чисто художественными соображеніями: ее тянетъ къ мужику вѣрный художественный инстинктъ. Къ этой группѣ принадлежитъ и г. Эртель.

Задача, какъ и манера г. Эртеля, довольно полно выражается въ очеркѣ «Отъ одного корня», на которомъ мы и остановимся немного. Въ очеркѣ нѣтъ никакихъ событій. Это просто портреты двухъ мужиковъ. Василий Миرونъчъ, мужикъ богатый, степенный, умный, обстоятельный, даже «справедливый», но, вмѣстѣ съ тѣмъ, плутоватый и твердо помнящій, что своя рубашка всего ближе къ тѣлу. Отъ крестьянства онъ не отбивается только потому, что «конечно, уже мое дѣло не молодое, сохи не бросаешь, стѣнматѣтства съ ей... а что самое подходящее дѣло по нынѣшнимъ временамъ—торговое дѣло». О грамотности онъ разсуждаетъ такъ: «Граматы я не обученъ... я памятливъ, Бога гнѣвить нечего, только все таки сподручнѣй бы... Особливо съ маслосбойкой, дѣло мелкое: кому фунтъ, кому полтора... Какъ тутъ запомнить! А въ эфтой мелочи, въ фунтахъ-то, самый барышъ

и есть... Ахъ опять разсчитать... Возьмемъ хоть свинью, безъ разсчета съ ней никакъ невозможно... За много-ли куплена, сколько проѣла, почему пудъ легла, какъ тутъ безъ граматы-то сведешь?... Вотъ теперь сынишку въ выучку отдаю»...

Мужикъ Трофимъ, односелецъ Василія Миرونъча, разсуждаетъ иначе: «Возьмемъ теперь хоть грамату... Коли ежели съ со-вѣстью, ну, такъ! окромя спасенія ничего... Ну, а съ другой стороны—самое распро-пащее дѣло... Ты такъ разсуди—писарь! Что онъ можетъ? Онъ те и въ острогѣ сгноить и въ Сибирь сгонить... По нынѣшнимъ временамъ мужику безъ граматы никакъ невозможно... Ну, только и душу загубить ужъ такъ-то легко, такъ-то легко, а-ахъ!.. Вотъ, не въ осужденіе сказать, Василій Миرونъчъ свое сынишку обучаетъ... Куда онъ его прочтетъ? Прямо, значить, міръ распоручивать, кулачить... ишь, грамотному-то оно способіе на міръ-то плевать!» Трофимъ вообще мужикъ особенный. Онъ хранитель «дѣдовскихъ» преданій. «Въ давнія времена березовцы, благодаря особымъ, исключительнымъ экономическимъ условіямъ, выработали въ себѣ, пожалуй, что изъ ряду вонъ выходящія общинныя инстинкты, «дружноту», стойкость, сочувствіе къ своему брату—мірскому человеку. Лѣтъ за десять передъ освобожденіемъ отъ крѣпостной зависимости, условія, благоприятствующія развитію этихъ общинныхъ, мірскихъ инстинктовъ, круто измѣнились. Міръ пошелъ въ разбродъ, началъ разлагаться. Березовцевъ сосѣди ужъ перестали звать «дружными» «мірскими» людьми». Нѣкоторыя событія, совершавшіяся во время самаго освобожденія, вызвали-было эту «дружноту» опять на свѣтъ Божій, но не на долго». Такъ вотъ Трофимъ-то и есть почитатель и хранитель преданій былой «дружноты». Въ качествѣ такового, онъ занималъ нѣсколько двойственное положеніе. Съ одной стороны, его дѣйствительно уважали, какъ уважали и носимыя имъ преданія, но преданія эти вмѣстѣ съ тѣмъ представлялись чѣмъ-то «по нынѣшнимъ временамъ» невозможнымъ, а потому практически Трофимъ значеніемъ не пользовался, а Василій Миرونъчъ даже называлъ его «блаженнымъ». Въ заключеніе, г. Эртель размышляетъ: «Вѣдь вотъ отъ одного корня, изъ одной стороны, изъ одной среды, изъ одной деревни даже, при одинаковыхъ условіяхъ росли, одинаковыя напасти испытывали... И вышло какое-то недоразумѣніе. Съ одной стороны: «главное дѣло—свинья», съ другой — «міръ»... За кѣмъ побѣда, за кого будущее?»

Этимъ послѣднимъ вопросомъ исчерпывается вся задача «Записокъ степняка».

Деревенская жизнь представляется г. Эртелю ареною борьбы стараго съ новымъ, причѣмъ старое пользуется очевидными его симпатіями. Тамъ ему рисуется «въ чело-вѣцѣхъ благоволеніе», миръ и «міръ», а новая струя шумно несетъ сюда разлагающія, себялюбивыя начала: развратъ, трагичную цивилизацію, нищету, всяческія бѣды, всяческое обнищаніе мужика въ экономическомъ и нравственномъ смыслѣ. Именно въ этомъ, въ самыхъ «Запискахъ степняка», а не въ его биографіи, какъ думаетъ г. Эртель, заключается объясненіе его пессимизма, разрывающагося въ очеркѣ «Аддіо» такой тирадой:

«О, безпощадный духъ времени, духъ — Сфинксъ, пожирающій мудрецовъ! Зачѣмъ же ты съ такою непрестанною жестокостью куешь новыхъ враговъ всякимъ основамъ и устоямъ, и, безжалостно устраняя наивные идеалы старины, необозримую пустоту воздвигаешь имъ на смѣну? Теперь съ мучительною ясностью вижу я, какъ подъ бременемъ непрерывныхъ испытаній, непосланныхъ тобою, изнемогла моя бѣдная родина и въ истомѣ безсилія омертвѣла. Безнаказанно терзаетъ ее грозная семья болѣзней, предводительствуемыхъ голодомъ, и могущественный кабакъ изъ конца въ конецъ раскинулъ свои сѣти. Сама природа какъ бы превратилась и посылаетъ бѣды. Красный цѣтучъ распространяетъ крылья свои и отъ Бѣлаго моря до Нѣмана озаляетъ небо злобѣщими заревомъ... И ко всему этому безъ конца свирѣпствуетъ подлосты! О, какая безшабашная, какая безпримѣрная подлосты!.. Стыдъ устраненъ. Понятія о чести сотворены (?) излишними. Культъ брюха провозглашенъ господствующимъ и ему вѣдь совершаются отвратительныя жертвы. Повальный грабежъ и холопство, возведенное въ доблесть, рука объ руку съ печатью, изборожденною прелестями гражданственныхъ сообщений, развиваются на свободѣ, подобно ядовитымъ гадамъ, и, подъ сѣнью всеобщей неурядицы, нагнѣютъ до размѣровъ грандіозныхъ... Я вижу, какъ на тучной почвѣ всякихъ недоразумѣній смутно и съ поспѣшностью слагаются типы съ клювомъ хищной птицы, съ прожорливымъ желудкомъ удава, съ цѣпкими, жадно распростертыми руками. Иные изъ нихъ дики и первобытны, и по своей исконности соответствуютъ идеаламъ «Домостроя»; иные же нацѣпили европейскія одежды и во всеоружіи познаній европейскихъ вышли и стали на большую дорогу, по которой, кряхтя и изнемогая, хмельной и младенствующій плетется народъ русскій».

Многое въ этой страстной лирикѣ, къ сожалѣнію, оправдывается дѣйствительно-

стью и подтверждается, какъ другими наблюдателями народной жизни, такъ и голыми фактами газетныхъ сообщеній. Только тупые доктринеры отрицаютъ все это, съ яснымъ лбомъ утверждая, что «самобытный судакъ» свободно плаваетъ въ російскихъ водахъ и находится въ полномъ здоровьи. Что же касается г. Эртеля, то онъ хорошо понимаетъ нѣкоторыя стороны плаванія самобытнаго судака и, конечно, иначе, какъ съ благодарностью, нельзя относиться къ нему за то, что онъ останавливаетъ вниманіе своихъ читателей на дѣйствительно важныхъ вопросахъ народной жизни. Но, во-первыхъ, онъ хорошо понимаетъ ~~нѣко-торые~~ стороны, а, во-вторыхъ... Во-вторыхъ, я сказалъ бы, что онъ слишкомъ хорошо ихъ понимаетъ, еслибы не боялся ввести вашихъ читателей въ соблазнъ этимъ парадоксальнымъ выраженіемъ. Дѣло въ томъ, что картины жизни проходили передъ г. Эртелемъ «подъ густою сѣткой принциповъ», какъ выражается самъ онъ, характеризуя героя повѣсти «Валхонская барышня», Илью Петровича Тутолмина. Принципы сами по себѣ, конечно, не только не вредятъ художественному творчеству, а, напротивъ, оказываютъ существенную помощь. Но принципы, съ другой стороны, не должны также представлять изъ себя токарный станокъ, на которомъ художникъ механически вытачиваетъ свои образы и картины. А г. Эртель именно къ такому токарному творчеству склоненъ. Иллюстрируя вышеприведенную свою лирику, онъ даетъ цѣлую коллекцію фигуръ, долженствующихъ быть типами, и которыя, однако, геометрически правильны, слишкомъ инструментованы, если можно такъ выразиться, чтобы быть чѣмъ-нибудь, кромѣ тщательно выточенныхъ деревянныхъ фигуръ. Напримѣръ, г. Эртелю нужно нарисовать хищника, «нацѣпившаго европейскія одежды и, во всеоружіи познаній европейскихъ, вышедшаго» на грабежъ. Задача чрезвычайно благодарная. И вотъ г. Эртель вытачиваетъ на своемъ станкѣ «иностранца Липатку». Липатка этотъ, или иначе Липатъ Прасколычъ Чумаковъ, сынъ купца-землеуладѣльца, совершенно необразованнаго и вообще настоящаго мужика по всему своему обиходу. Братъ Липатки, совсѣмъ еще молодой парень, что называется русская широкая натура, гоняется за дѣвками, ѣздитъ на бѣшеннѣйшей тройкѣ и проч. Но самъ Липатка не таковъ. Онъ сѣзидилъ за-границу и вернулся оттуда «иностранцемъ». Суть-то вся въ томъ, что онъ вывезъ оттуда теорію, за которую, впрочемъ, въ Европѣ ѣздитъ не стоило, потому что ее и дома можно найти. Культура необходима для

Россия... водворена эта культура может быть лишь тогда, когда современный крестьянскій строй упразднится... нужно въ эту массу всяческаго невѣжества и стародавнѣйшей рутины вбить желѣзный клинъ, который массу эту могъ бы расколоть сверху до низу... этотъ клинъ—фабричное производство». Таковы главнѣйшіе пункты Липаткиной теоріи. Теорія эта происхождения дѣйствительно иностраннаго (какъ и всѣ прежнія наши теоріи, не исключая и славянофильской), но г. Эртелю захотѣлось подчеркнуть это «иностранство» всѣми средствами своего токарнаго станка. Вслѣдствіе этого Липатка и одѣвается, какъ иностранецъ, и ѣсть, и пить, и говорить, какъ иностранецъ. Одѣвается онъ, напримѣръ, не просто въ европейскій, общепринятый костюмъ, какой носить всѣ такъ называемые культурные русскіе люди. Нѣтъ, это было бы недостаточно иностранно. Правда, дома Липатка ходитъ именно такъ, только развѣ уже черезчуръ щеголевато для практическаго человѣка: батистовая рубашка, лаковые полусапожки, «англійскіе» духи. Но, отправляясь взглянуть, какъ работаетъ молотилка, онъ надѣваетъ уже спеціальныя, утрированно иностранныя костюмы «нѣмецкаго машиниста». Угощаетъ Липатка гостей завтракомъ, такъ и тутъ «стеклянные копаки надъ блюдами, пикантныя приправы, острые маринады и затѣливыя консервы съ англійскими ярлыками придавали столу иностранное обличье». Доброе лицо Липатки «носило заграничный отпечатокъ» и притомъ опять-таки не просто заграничный, а какъ бы эссенцію всего заграничнаго, потому что въ лицѣ этомъ соединились англійское высокомеріе, французская бородка и нѣмецкій стеклянный взглядъ. Благодаря такой необыкновенно старательной работѣ автора и выходитъ, въ концѣ концовъ, аккуратно выточенная деревянная фигурка съ ярлыкомъ, на которомъ четко написано: «иностранецъ Липатка». А потому и всѣ добрыя намѣренія автора представить намъ Липатку какою-то грозною силою разлетаются прахомъ. Эта неудача особенно ярко выступаетъ въ заключительномъ эпизодѣ очерка «Иностранецъ Липатка и помѣщикъ Гудѣкинъ».

Помѣщикъ Гудѣкинъ, человѣкъ придурковатый (тоже аккуратно выточенный), въ восторгѣ отъ Липатки, и именно отъ этого «иностранства», долженствующаго внести въ наше отечество спокойствіе, довольство, порядокъ, красоту. Онъ хочетъ строить въ товариществѣ Липатки фабрику. Вмѣстѣ съ авторомъ Гудѣкинъ проводить у Липатки день, восхищаясь его заграничными рѣчами, и наконецъ, отправляются они спать. Но ночью подслушиваютъ длинную бесѣду Ли-

патки съ пьянымъ отцомъ, длинную и оскорбительную, потому что отецъ и сынъ Чумаковы разсуждаютъ, между прочимъ, объ томъ, какъ хорошенько объгорить дурака «Гудѣку». Ну, и спрашивается, что же это за грозная сила этотъ иностранецъ Липатка, если даже, дѣйствительно, дурака Гудѣкина не сумѣлъ объгорить и не могъ найти для такой интимной бесѣды комнаты подалше? Впрочемъ, тутъ, конечно, не точный Липатка виноватъ, а самъ токаръ. Надо замѣтить, что у г. Эртеля подслушиваніе играетъ болѣе или менѣе важную роль въ очень многихъ очеркахъ. Уже въ биографіи степняка этотъ послѣдній, вмѣстѣ съ избранницей своего сердца, подслушиваютъ бесѣду двухъ конокрадовъ. Въ «Липагахъ» авторъ подслушиваетъ интимный разговоръ Любы съ Карамышевымъ, а потомъ ея же бесѣду съ Лебедкинымъ. Въ «Визгуновской экономіи» онъ подслушиваетъ тоже очень интимный разговоръ Пармена съ Ульяной. И т. д., и т. д. Вотъ и съ кознями Липатки онъ рѣшилъ покончить тѣмъ же простымъ способомъ. Оно, конечно, бываетъ, что людямъ удается иногда подслушивать чрезвычайно любопытныя для нихъ вещи, но съ г. Эртелемъ это ужъ что-то слишкомъ часто случается, и учащность эта не мало способствуетъ непріятной искусственности его образовъ и картинъ.

Любопытно, что фигуры и сцены, брошенные вскользь, выходятъ у нашего автора гораздо живненнѣе и правдивѣе тѣхъ, надъ которыми онъ старательно работаетъ. Напримѣръ, въ очеркѣ «Аддіо» онъ совершенно поглощенъ личными ощущеніями степняка и потому остальнымъ ему некогда пристально заниматься. И тутъ найдутся прекрасныя картинки изъ дѣтскихъ воспоминаній степняка и очень удачный образъ отставнаго солдата жандарма, который, распострая въ пьяномъ видѣ слухи о передѣлѣ, въ то же время грозно спрашиваетъ: «А съ какой съ такой стати вы, господинъ, съ нами, мужиками, водку пьете?.. Потому мы примѣчаемъ, ежели бунтъ... Мы имѣемъ предписаніе». Или: «Теперича какимъ же такимъ манеромъ вы, господинъ, оспариваете насупротивъ газетъ и насупротивъ указа, наприимѣръ», а указъ-то этотъ насчетъ «прирѣзки»...

Еслибы повтому г. Эртель поменьше обтачивалъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, поменьше подслушивалъ, да поменьше терзалъ читателя описаніями природы и пейзажами, столь сильно вліяющими на настроеніе духа степняка, словомъ, еслибы онъ не былъ такъ искусственъ, то можно думать, что его очерки были бы даже очень и очень недурны.

Но спрашивается, какъ же г. Эртель смотритъ на возможность выхода изъ такого сумбура, который производитъ въ деревнѣ неулегшаяся борьба стараго съ новымъ? Самолично онъ никакого выхода не знаетъ, потому что отъѣздъ степняка въ Европу («Аддіо») есть именно только отъѣздъ, а не выходъ. Что же касается самой деревни или, пожалуй, всего нашего отечества, то тутъ г. Эртель останавливается въ вопросительномъ положеніи, какъ мы уже видѣли. Съ одной стороны: «главное дѣло—свинья», съ другой—«мѣръ». За кѣмъ побѣда, за кого будущее? Г. Эртель видитъ торжество свиньи, боится, что она и еще пуще будетъ торжествовать, но все-таки остается при своемъ вопросительномъ знамѣ. Мнѣ кажется, что дѣло и проще, и вмѣстѣ сложнее, чѣмъ оно представляется автору...

Позвольте вернуться къ Василию Мироничу, который настаиваетъ на «свиньѣ», и къ Трофиму, который возлюбилъ «мѣръ». Хотя авторъ обнаружилъ на этотъ разъ достаточно такта, чтобы не сдѣлать изъ Василия Миронича злодѣя, но всѣ симпатіи его на сторонѣ Трофима, этого хранителя «дѣдовскихъ» преданій. Авторъ, очевидно, желалъ бы, чтобы восторжествовалъ онъ, а не Василий Мироничъ. Между тѣмъ, въ числѣ излюбленныхъ мыслей Трофима находится, напримѣръ, такая: крестьяне, это «хрестьяне», христiane, и получили они это свое названіе отъ имени Христа, и какъ Христосъ претерпѣлъ, такъ и «хрестьяне» должны терпѣть, чего вовсе не полагается купцамъ, помѣщикамъ, чиновникамъ, ибо они не христiane. Есть трогательность въ этомъ наивномъ опредѣленіи и пониманіи, но наивность эта такъ очевидна, что, конечно, ей нельзя предсказать въ будущемъ торжества; нельзя, да и нежелательно вовсе, съ чѣмъ, я думаю, и г. Эртель согласится. Слѣдовательно, въ той «сторонѣ», которую свято охраняетъ Трофимъ, даже тамъ, гдѣ она трогательна и самоотвержена, отнюдь не все заслуживаетъ сочувствія или содѣйствія. Дѣло, значитъ, сложнее, чѣмъ дилемма—«свинья» или «мѣръ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ суммировать всю изображенную г. Эртелемъ неурядицу и найти если не практическій путь исхода изъ нея, то, по крайней мѣрѣ, теоретическую формулу ея причинъ совсѣмъ уже не такъ трудно. Ее нашла несчастная, недалекая офицерша, окончившая, какъ выше упомянуто, дни своимъ самоубійствомъ. Въ своей предсмертной исповѣди она пишетъ: «Стало мнѣ замѣтно по деревнямъ, что большое есть желаніе у мужичковъ ребятъ учить. И такое даже желаніе, что готовы на всякія жертвы. И я это замѣчала и была очень рада. Я такъ думала: прискутила имъ темнота. И

думала, что хорошо это. И какъ стала учить сама, одѣлалась совсѣмъ довольная. Но только вмѣсто того я несчастная. И на несчастье-то мое натолкнуло меня вотъ что. Приносить мнѣ Василь-Мироничевъ сынишка листокъ и говоритъ:—Ну-ка прочти!—и улыбается. А онъ уже твердо пишетъ.—Что это?—«Батѣ росписку написалъ; Егоровъ Оома ржи взаимны взялъ, такъ насчетъ ржи». Прочла я... И что же вы думаете? И неустойка тамъ, и штрафъ, и проценты... Ужасъ что такое!» Оказывается, что у сынишки Василия Миронича есть еще книга, въ которой онъ аккуратно и съ знаніемъ дѣла ведетъ счетъ приходамъ и расходамъ насчетъ свиней, муки и прочаго. Офицерша пришла въ раздумье. «И стало мнѣ замѣтно, продолжаетъ она:—что ежели грамотный, онъ не иначе, какъ промышляетъ или находить должность. И вотъ еще что: кто понятливѣе, тотъ самый и есть опасный человѣкъ. А почему это такъ выходитъ, я не замѣчала. Только я вотъ что думала: «ну, если я обучу и вмѣсто того разведу кулаковъ. И если кулаки будутъ знать ариметику и всякіе расчеты, то неужели это будетъ лучше?» Эта печальная мысль до того заѣла офицершу, что она, несчастная и въ личной жизни, наконецъ, не выдержала и отравилась.

Ядовитый вопросъ, подкосившій бѣдную офицершу, не новъ и не специально только къ мужичьей сферѣ приложимъ. Давно извѣстно, что знаніе, какъ и всякое оружіе, можетъ служить добру и злу, смотря по тому, въ чьихъ оно рукахъ находится и какое употребленіе изъ него дѣлается. Офицерша для себя лично могла бы найти утѣшеніе въ томъ, что ей приходится учить и такихъ ребятъ, отцы которыхъ не занимаются операціями Василия Миронича и которые, слѣдовательно, могутъ воспользоваться «арифметикой и всякими расчетами» только съ оборонительными цѣлями противъ того же, можетъ быть, Василия Миронича. Притомъ же она могла бы вѣдъ не только «арифметикѣ и всякимъ расчетамъ» учить, а также и нравственное вліяніе имѣть. Такъ что въ концѣ концовъ отравиться она, пожалуй, слишкомъ поторопилась, но въ ея скорбномъ выводѣ есть во всякомъ случаѣ доля правды, и ея еще больше въ слѣдующихъ словахъ офицерши: «И какъ же мнѣ не учить, когда вмѣсто того такіе у нихъ помыслы, и ежели грамотному человеку одинъ выходитъ просторъ—грабить».

Дорогого стоитъ это слово немудрой офицерши, и еслибы г. Эртель вслушался въ него съ такимъ же предупредительнымъ вниманіемъ, съ какимъ онъ ловитъ каждое душевное движеніе своего степняка, то онъ,

может быть, не отправил бы его въ Ментону, потерзавъ предварительно безысходными сомнѣніями и припадками отчаянія. О, разумѣется, мало утѣшительнаго въ томъ, что грабежу и только ему предоставленъ просторъ. Но бываютъ такіа удачныя слова, которыя, вкратцѣ выражая длинный рядъ скорбныхъ и возмутительныхъ фактовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ ихъ общую ближайшую причину и тѣмъ самымъ способны зажечь огонекъ утѣшенія въ мрачно настроенномъ сердцѣ. Таково именно офицершино слово. Вслушавшись въ ея формулу бѣды, степнякъ могъ бы размыслить такъ: если *съ этомъ дѣло*, такъ бѣда-то вѣдь можетъ быть только наносная, можетъ быть живъ Богъ, жива душа народа моего, и нѣтъ такого историческаго закона, который фатально обрекалъ бы насъ быть съдѣнными всеядною свиньей. Не то чтобы, значить, въ корень изомгалась наша жизнь и до дна, насквозь испоганились души человѣческія; не одни плевелы растутъ на нивѣ, и бѣда только въ томъ, что условія минуты предоставляютъ просторъ грабежу и не даютъ простора добру и свѣту. Семья я въ Ментону-то не поѣду, а попробую, по мѣрѣ моихъ силъ, поспособствовать измѣненію условій минуты. Дѣло трудное, конечно, а я человѣкъ слабый, и можетъ быть, мнѣ очень тяжело придется, да вѣдь есть изъ-за чего и биться, а я до сихъ поръ только и дѣлалъ, что вздыхалъ, брюзжалъ, да развѣ еще наблюдалъ; да и наблюдалъ-то не очень внимательно, потому что больше къ шуму въ собственныхъ ушахъ прислушивался...

Я бы охотно и съ признательностью кончилъ офицершиними словами, но мнѣ предстоитъ еще бесѣдовать о «Волхонской барышнѣ». Я буду, впрочемъ, кратокъ. Во-первыхъ, потому, что иначе письмо мое непомѣрно разрослось бы, а во-вторыхъ, потому, что «Волхонская барышня» длиннаго разговора и не стоитъ.

Герой, Илья Петровичъ Тутюминъ, по профессіи писатель, по образу мыслей демократъ, очень напоминаетъ степняка: та же нерезонная измѣнчивость настроенія духа, то же пониманіе жизни въ видѣ дилеммы «свинья или мѣръ», причемъ всѣ симпатіи Тутюмина лежатъ позади, въ старинѣ. Пріѣзжая въ деревню, въ гости къ управляющему имѣніемъ богатаго помѣщика Волхонскаго, Тутюминъ яростно протестуетъ противъ всякихъ новшествъ. Онъ, радикалъ по убѣжденіямъ, оказывается крайнимъ консерваторомъ по обстоятельствамъ времени и мѣста. Почитатель народнаго творчества, онъ возмущенъ тѣми новыми и совершенно бессмысленными пѣснями, которыя распро- страняетъ въ народѣ трактирная цивилизація.

Всего ожидающій отъ экономической самостоятельности мужика, онъ злится на своего пріятеля управляющаго, который заводитъ паровые плуги и молотилки, и радуется, когда мужики осмѣиваютъ эти могучіе рычаги «капиталистическаго производства». Положеніе, разумѣется, въ высшей степени любопытное, и большой художникъ, взявшись за эту тему, могъ бы совершенно овладѣть интересомъ читателя. Но у г. Эртеля ничего не вышло, хотя онъ постарался придать своей повѣсти внѣшнюю занимательность и любовной интригой, и множествомъ и разнообразіемъ дѣйствующихъ лицъ: тутъ и мужики есть, и утонченнѣйшіе, изнеможеннѣйшіе аристократы, и сановники, чего хочешь, того просишь. О какихъ-нибудь живыхъ типахъ тутъ не можетъ быть и разговора; отдѣльные искорки жизни совершенно тонутъ въ той непомѣрной искусственности, съ которою г. Эртель обрабатываетъ свою тему въ общемъ и въ подробностяхъ. Благодаря этому, даже самые трагическіе моменты «Волхонской барышни» способны вызвать смѣхъ, а юморъ автора наводитъ на грустные мысли, по крайней мѣрѣ, объ немъ, авторѣ. Я приведу только два-три образчика.

Своими рѣчами Тутюминъ зажигаетъ въ «Волхонской барышнѣ», Варѣ, нѣкоторый огонь. Сперва Варя думаетъ, что это любовный жаръ, но потомъ убѣждается, что она вовсе не любитъ Тутюмина и объявляетъ ему это. Тутюминъ глубоко огорченъ. Варя утѣшаетъ его. Она говоритъ, что не любитъ его, не можетъ быть его женой, но не знаетъ человѣка лучше его и была бы счастлива, если бы онъ ей указалъ дѣло, «за которое она могла бы умереть». Тутюминъ мрачно возражаетъ:

«— Мое дѣло жизни требуетъ, а не смерти. Самой что ни на есть прозаической жизни... Безъ барабановъ... Глупо дѣлала и прежде, что барабанила. Христосъ безъ барабановъ побѣдилъ мѣръ...

«— Но онъ умеръ на крестѣ, живо произнесла Варя.

«— Не слѣдовало».

Признаюсь, я не могъ удержаться отъ хохота, дойдя до этой краткой и рѣшительной критики, хотя Варя, не замѣчая всего комизма этого «не слѣдовало», продолжаетъ разговоръ въ возвышенномъ тонѣ...

Къ вѣдшей бѣдѣ повѣсти, г. Эртель вздумалъ ввести въ нее аристократическихъ дѣйствующихъ лицъ, а объ аристократахъ онъ, повидимому, такого мнѣнія, что если ихъ нарядить въ бархатныя жакеты, заставить не совсѣмъ у мѣста говорить французскія слова, въ родѣ «mon ami», «après nous le déluge» и «façon de parler», да еще вложить въ ихъ уста разговоры объ искус-

ствѣ (непремѣнно объ искусствѣ), такъ это и будутъ настоящіе аристократы. Я не хочу смѣяться надъ г. Эртелемъ и не стану приводить смѣшныхъ вещей, произтекающихъ изъ такого представленія объ аристократахъ. Но, чтобы отгнать искусственность писательской манеры г. Эртеля, позволю себѣ познакомить васъ съ музыкальнымъ произведеніемъ родственника Волконскихъ, графа Облѣнничева.

Этотъ графъ Облѣнничевъ, человѣкъ еще молодой, аристократъ несомнѣнный. Бархатныя жакетки онъ носитъ даже «невиданнаго покроя», аристократическія слова, въ родѣ *mon ami*, употребляетъ весьма часто, говоритъ объ искусствѣ постоянно и въ добавокъ такъ извѣженъ, такъ извѣженъ, что даже ни на что не похожъ. Любилъ онъ когда-то нѣкую Женни и потому создалъ музыкальную пьесу, подъ названіемъ «Жизни Женни». Онъ ее самъ играетъ своей кузинѣ Варѣ. Начало пьесы должно изображать слѣдующее: «Ни одной тревожной думы на душѣ. Небо синее. Въ сердцѣ горитъ любовь. Соловиная пѣсня навѣваетъ радужныя грѣзы». Потомъ «соловей замолкъ». Музыка переноситъ насъ на Волгу. «День жаркій и душный. Раскаленный воздухъ неподвиженъ» и т. д. Слышится звуки «Дубинушки», потомъ «разбойничьей пѣсни». Затѣмъ марсельеза. Послѣ марсельезы «надрывающій напѣвъ русской свадебной пѣсни» и «тріо изъ «Жизни за царя». Потомъ «торопливый темпъ опереточнаго вальсика нахально закрутился въ воздухъ. Иногда грозный гулъ, подобный отдаленному волненію безчисленной толпы, пытался бороться съ этимъ темпомъ, пытался потопить пошленики его звуки въ своемъ внушительномъ рокотѣ... Но вальсикъ вырывался, какъ изступленный, дерзко и нагло заглушалъ этотъ рокотъ своею подленькой игривостью, и мало-по-малу рокотъ утихалъ, дробился, поспѣвалъ съ неулажимою готовностью за расторопными звуками вальсика»...

Можетъ быть все это выходило и очень хорошо, и трогательно въ исполненіи графа Облѣнничева, но, знакомясь съ содержаніемъ «Жизни Женни», вы невольно вспоминаете, что нѣчто въ этомъ родѣ вы уже гдѣ-то читали. Именно что-то о музыкальной пьесѣ, въ которой величавые и грозные звуки марсельезы безуспѣшно борются съ какими-то подленькими, но нахальными звуками... Ба! да это у Достоевскаго въ «Бѣсахъ», талантливый мерзавецъ Лямшинъ играетъ въ салонѣ Лембкѣ пьесу собственного сочиненія, подъ названіемъ «Франко-прусская война». Такъ, тамъ. Пьеса начинается грозными, вызывающими звуками марсельезы, къ которымъ присоединяются потомъ под-

ленькіе (и слова-то именно эти у Достоевскаго) звуки вальса «*Mein lieber Augustchen*», постепенно заглушая и конфузя марсельезу... Но обратите вниманіе, какая разница. Достоевскому, настоящему мастеру, хотя и склонному къ вычурности, для изображенія цѣлой франко-прусской войны оказалось достаточнымъ двухъ мотивовъ—марсельезы и *Augustchen*, и если вы перечтете «Бѣсовъ», то увидите, какое впечатлѣніе производила эта эпизодическая вещица. Г.-же Эртель, для изображенія «Жизни Женни», потрясаетъ небо и землю, зоветъ соловьевъ, ѣдетъ на Волгу, ухватываетъ нѣчто изъ «Жизни за Царя»—и все-таки изъ этого ничего не выходитъ.

Я искренно желаю г. Эртелю быть проще, гораздо проще...

X *).

На поминкахъ Достоевскаго въ Славянскомъ Благотворительномъ Обществѣ А. Н. Майковъ говоритъ между прочимъ: «Очень часто случается, что, желая говорить о знаменитомъ покойникѣ, говорящіе болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его... Мы, бывшіе близкіе (къ Достоевскому) люди, получили особенное значеніе, мы вдругъ очутились въ совсѣмъ особенномъ положеніи. Къ намъ предъявляются уже совсѣмъ новые для насъ вопросы. Отъ насъ хотятъ услышать интимныя подробности о покойномъ. Отъ насъ ждутъ множества отвѣтовъ на множество вопросовъ, которые даже едва ли кто формулировать можетъ... Близкіе люди, что они скажутъ, застигнутые врасплохъ? Спросите Анну Григорьевну о Федорѣ Михайловичѣ—она скажетъ: «Ахъ, какой это былъ мужъ! Какъ онъ меня любилъ, какъ я его любила!» Друзья что скажутъ? Ихъ отвѣты будутъ детальныя, отрывочныя, анекдотическія, пожалуй, а никакъ ужъ не отвѣчающіе на предъявленные вопросы. Словомъ, отвѣты не интересны... О великихъ людяхъ, о великихъ писателяхъ мнѣ не особенно интересно знать, въ какомъ домѣ они жили, какое платье носили... Для меня всегда важнѣе внутренній міръ писателя и особенно русскаго писателя, его идеалы нравственныя, философскіе, политическіе, его пониманіе Россіи, ея значенія въ мірѣ, ея исторіи; мнѣ интереснѣе этотъ, такъ сказать, идеальный очеркъ писателя, его душевный и умственный портретъ. Но дадутъ ли вамъ его близкіе люди? И къ нимъ-ли надобно обратиться, чтобы его составить и нарисовать? Нѣтъ, всякій лучше можетъ это сдѣлать самъ и обратиться не къ друзьямъ,

*) 1884, января.

а къ самому лицу, о которомъ хочешь узнать. А это лицо не умерло. Писатель, мыслитель, художникъ живетъ въ своихъ произведеніяхъ. Читайте ихъ, вдумывайтесь въ нихъ, разгадывайте смыслъ выведенныхъ ими образовъ, прочтите въ нихъ недосказанное, и вы войдете въ самые тайники души писателя, узнаете его, можете быть, лучше, чѣмъ его близкіе, узнаете изъ нихъ болѣе, чѣмъ изъ всей его обстановки, трудолюбиво составленной біографіи, болѣе даже, чѣмъ изъ посмертной переписки, ибо въ письмахъ человекъ пишетъ иногда подъ вліяніемъ минуты, иногда шутки, и шутка принимается за серьезное».

Эти скептическія слова нашего маститаго поэта я не самъ слышалъ. Я вычиталъ ихъ въ недавно вышедшемъ первомъ томѣ сочиненій Достоевскаго, состоящемъ, главнымъ образомъ, изъ біографіи покойнаго, составленной «бывшими близкими людьми», О. О. Миллеромъ и Н. Н. Страховымъ, и переписки, то-есть именно изъ того, что А. Н. Майковъ считаетъ ненужнымъ, бесполезнымъ, неудовлетворительнымъ. Но правъ-ли г. Майковъ въ своемъ скептицизмѣ? Дѣйствительно ли воспоминанія близкихъ людей такъ никуда не годятся? Я думаю, что это скептицизмъ неосновательный.

Біографы, составители воспоминаній, издатели писемъ и проч. дѣйствительно люди крайне опасные, потому что могутъ, по неразумію или преднамѣренно, пересаливать въ одномъ отношеніи, недосаливать въ другомъ, ярко освѣщать черты неважныя или восторженныя и затупевывать черты характерныя. Справедливо и то замѣчаніе г. Майкова, что біографы часто «болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его». Есть особая порода людей, страдающихъ, если можно такъ выразиться, хроническимъ біографическимъ зудомъ. Это своего рода вороны, высматривающіе трупъ какой-нибудь знаменитости, дабы на немъ предаться нѣкоторой біографической оргіи и исклевать его до такой степени, что потомъ его и узнать нельзя. Читающая публика наслушалась недавно этихъ господъ вдоволь, по случаю смерти Тургенева. Для подобныхъ людей на первомъ планѣ стоятъ они сами, а вовсе не знаменитый покойникъ, къ которому имъ желательно пристегнуться въ качествѣ «близкихъ», пользовавшихся его расположеніемъ, лично слыжавшихъ отъ него ту или другую біографическую подробность и проч. Понятно, что эти господа, одолаваемые біографическимъ зудомъ, легко упускаютъ изъ виду не только предѣлы важнаго и не важнаго, но даже границы простого приличія, простого здраваго смысла. Одинъ изъ нихъ рассказалъ о Тургеневѣ, напри-

мѣръ, такой анекдотъ: Ъхалъ Иванъ Сергѣевичъ въ лодкѣ съ дѣвицей, которая была къ нему очень расположена, и къ которой самъ онъ былъ очень расположенъ; чуть-ли она не невѣстой его была; но на бѣду съ нимъ случилось въ лодкѣ одно маленькое, но конфузное «несчастіе» во вкусѣ Польде-Кока; въ результатѣ женихъ и невѣста, выйдя на берегъ, съ молчаливымъ конфузомъ разошлись въ разныя стороны и больше не видались. Анекдотъ этотъ не только былъ рассказанъ единожды, но перешелъ на страницы другихъ изданій и комментировался въ томъ смыслѣ, что, не случись «несчастія» въ лодкѣ, судьба Тургенева, а, можетъ быть и характеръ его творчества приняли бы совсѣмъ другое направленіе. Понятно, сколько правъ г. Майковъ по отношенію къ подобнымъ «близкимъ». Вы спрашиваете у нихъ интимныхъ подробностей духа, картинъ его печалей и радостей, а вамъ отвѣчаютъ: видите-ли, ѣхалъ онъ разъ въ лодкѣ и вдругъ, можете себя представить, «несчастіе»...

И все-таки я не раздѣляю нетерпимости г. Майкова по отношенію къ близкимъ людямъ, пишущимъ біографіи и воспоминанія о знаменитыхъ покойникахъ. Я не рѣшусь даже сказать, чтобы біографы, лишеныя разума, были совсѣмъ ненужны. Они могутъ, среди кучи разнаго никому ненужнаго хлама, случайно и безхитростно сообщить и что-нибудь въ самомъ дѣлѣ важное, хотя должно все-таки сказать, что количество такихъ біографовъ далеко превышаетъ потребность въ нихъ. А затѣмъ не такъ же ужъ непремѣнно плохо устраиваются знаменитые люди, что между близкими къ нимъ нѣтъ ни одного путнаго человека. Близкій человекъ можетъ, какъ и всякій другой, серьезно вдумываться въ духовный портретъ покойника, углубляться въ его творенія и находить тамъ отвѣты на важнѣйшіе изъ вопросовъ, какіе только могутъ быть предъявлены относительно общественнаго дѣятеля. А въ близости своей къ нему, въ своемъ знакомствѣ съ интимными сторонами его жизни онъ можетъ при этомъ почерпнуть сильное орудіе изсѣдованія, недоступное для другихъ. Я думаю, что это до такой степени элементарно, что не подлежитъ подробному доказательству.

Съ другой стороны, однако, воспоминанія близкихъ людей представляютъ часто опасности, г. Майковымъ совсѣмъ не предвидѣнныя. Когда субъектъ, страдающій біографическимъ зудомъ, торопится сообщить, что онъ лично отъ Тургенева слышалъ о «несчастіи» въ лодкѣ или даже самъ тутъ присутствовалъ, такъ что клятвенно можетъ за-вѣрить, что несчастіе дѣйствительно было, такъ это еще не большая бѣда. Субъектъ

заблуждается, полагая, что онъ сообщалъ значительную біографическую черту, но совершенная ея пустяшность слишкомъ очевидна, чтобы ввести стоящихъ вниманія людей въ обманъ. Субъектъ довелъ до свѣдѣнія читающей публики, что онъ былъ настолько близокъ къ покойному, что тотъ удостоивалъ его своими разсказами о конфузныхъ «несчастіяхъ»; субъектъ удовлетворенъ—и Господь съ нимъ! Онъ «высказалъ болѣе себя, чѣмъ изобразилъ его», но отъ этого никому ни тепло, ни холодно. Но представьте себѣ теперь, что этотъ самый субъектъ желаетъ «высказать себя» не только какъ собесѣдника о несчастіяхъ въ Поль-де-Коковскомъ жанрѣ, а какъ дѣятель. Тутъ уже опасности значительно усложняются, потому что репутація покойника и, нѣкоторымъ образомъ, вся судьба его становится въ зависимость не только отъ степени ума и такта біографа, но, кромѣ того, и отъ достоинства того дѣла, которому біографъ служитъ. Если дѣло это чисто и возвышенно, а біографъ обладаетъ достаточнымъ тактомъ, то личность знаменитаго покойника предстанетъ передъ нами въ новомъ, свѣтлѣйшемъ ореолѣ. Если же, напротивъ, дѣло это маленькое, невидное, смутное или просто нехорошее, а біографъ вдобавокъ принадлежитъ къ тѣмъ изъ «близкихъ», отъ которыхъ г. Майковъ справедливо не ждетъ ничего путнаго, то, натурально, онъ только стащитъ покойника съ пьедестала. Можетъ быть, конечно, такъ и должно быть; можетъ быть, знаменитый покойникъ былъ помѣщенъ на пьедесталъ неправильно и, сообщая свои воспоминанія, публикуя переписку и проч., біографъ, самъ того не сознавая, даетъ матеріалы для поправки слишкомъ лестнаго суда людей, не знавшихъ дѣла. Конечно, все это можетъ быть. Но бѣда въ томъ, что при предположенныхъ нами условіяхъ, работа біографа будетъ неизбежно отличаться смутностью и всякаго рода пробѣлами и недомолвками. Въ качествѣ человѣка безтактнаго, онъ сообщитъ много лишняго, мелкаго, пустяковаго и просмотритъ много важнаго, а въ качествѣ служителя маленькаго, сумбурнаго или нехорошаго дѣла, признаваемаго имъ, однако, за большее, ясное и хорошее, броситъ на всю дѣятельность покойнаго неправильное освѣщеніе.

Возможны, разумѣется, и разные другіе типы біографій и воспоминаній; но этихъ нехитрыхъ предварительныхъ соображеній съ насъ будетъ достаточно, я думаю, чтобы обратиться къ біографіи Достоевскаго.

Позвольте сначала передать вамъ общее впечатлѣніе, которое оставила эта обширная книга лично во мнѣ, хотя, какъ я имѣю осно-

ваніе думать, и какъ вы сами, вѣроятно, согласитесь, отнюдь не во мнѣ одномъ. Біографія открывается слѣдующими громкими словами г. Миллера: «Публика съ нетерпѣніемъ ждетъ жизнеописанія такъ недавно еще схороненнаго «властиителя нашихъ думъ» (употребляя выраженіе излюбленнаго Достоевскимъ поета)». Я, разумѣется, не обратилъ никакого вниманія на эти превысреннія слова, которыя такъ часто говорились о Достоевскомъ. Но когда я внимательно и съ величайшимъ интересомъ прочелъ всю книгу до послѣдней страницы (на которой, мимоходомъ сказать, совершенно неизвѣстно для чего, напечатано стихотвореніе Дурова «Изъ апостола Іоанна») и потомъ опять вернулся къ началу, то высреннія слова меня поразили,—поразили, какъ рѣзкій контрастъ со всѣмъ содержаніемъ книги. «Властитель нашихъ думъ», — это вѣдь непременно что-то мощное, и кто признавалъ власть Достоевскаго, тотъ, конечно, ждалъ, что біографія раскроетъ ему великую тайну этой власти или, по крайней мѣрѣ, дастъ полную картину властительнаго духа, покажетъ его во весь могучій ростъ. На самомъ же дѣлѣ, Достоевскій, какъ онъ выступаетъ изъ рамокъ біографіи, составленной гг. Миллеромъ и Страховымъ, можетъ возбуждать только чувство жалости. Дѣло не въ несчастіяхъ его дѣйствительно несчастно сложившейся жизни; не въ томъ, что онъ испыталъ и ужасы каторги, и униженіе творчества изъ-за куска хлѣба. Мы знаемъ примѣры мучениковъ, которыхъ мы не смѣемъ даже жалѣть: столь они возвышенны въ своемъ мученичествѣ. Достоевскій же, и помимо своей внѣшней исторіи, возбуждаетъ жалость, какъ характеръ, какъ умъ, какъ личность. Я совершенно увѣренъ, что къ такому результату придетъ всякій, даже самый горячій поклонникъ Достоевскаго, если онъ внимательно прочтетъ біографію и если, разумѣется, онъ настолько искренній человѣкъ, чтобы не лгать передъ самимъ собой ради какихъ-нибудь побочныхъ, политиканскихъ цѣлей.

Составители біографіи имѣли, повидимому, намѣреніе безхитро собрать и опубликовать рѣшительно все, относящееся къ Достоевскому. Г. Миллеръ даже очень ворчитъ на тѣхъ, «кто считаетъ письма Достоевскаго или же свои воспоминанія о немъ своею частною собственностью». *La propriété c'est le vol!* напоминаетъ почтенный біографъ. Надо, однако, признаться, что и въ томъ, что составителямъ удалось добыть отъ собственниковъ, и въ томъ, что они великодушно пожертвовали изъ своей личной собственности на пользу общую, не мало лишняго. Я уже не говорю о томъ, что они,

въ противность увѣщаніямъ г. Майкова, сообщаютъ адреса всѣхъ квартиръ, на которыхъ когда-либо жилъ покойникъ. Не говорю и о той торопливости, съ которою г. Миллеръ ежеминутно выставляетъ самого себя для пополнения чужихъ, не важныхъ сообщений своими собственными, не важными въ превосходной степени. Вотъ, напримѣръ, братъ Достоевскаго сообщаетъ, что была у нихъ кормилица и рассказывала сказки и «нѣкоторыя сказки казались для насъ очень страшными». Г. Миллеръ къ этому извѣстію прибавляетъ отъ себя въ примѣчаніи: «Такъ какъ онѣ рассказывались въ темнотѣ, то этимъ, можетъ быть, и объясняется то, что О. М. въ дѣтствѣ боялся темноты (какъ самъ рассказывалъ)». Такихъ наивныхъ пустиковъ разсыпано въ книгѣ многое множество. Но вотъ цѣлый отдѣлъ біографическихъ матеріаловъ, который смѣло можно считать совершенно ненужнымъ. Была у Достоевскаго записная книжка, куда онъ заносилъ отрывочныя замѣчанія, отдѣльныя мысли, даже слова, вообще отбѣтки того, что во время изданія «Дневника писателя» приходило ему мелькомъ на умъ и подлежало развитію въ «Дневникѣ». Эту записную книжку господъ составители напечатали. Получается, напримѣръ, слѣдующее: «Я вѣдь толкую о томъ, что, если возможно, бросить совсѣмъ текущее, а невозможно—сократить его до самаго крайняго минимума, до послѣдней нищеты, *прибдниться, стѣтъ у Европы на дорожкѣ, прося почти милостиньку, а межъ тѣмъ работать у себя на задахъ, поливать корни, ходить за ними, нѣжить, холить, все для корней, и помнить: Россія, положимъ, въ Европѣ, а главное въ Азіи. Въ Азію! въ Азію!*» Подчеркнуты мною слова содержать въ себѣ какую-то мысль, очевидно очень занимавшую Достоевскаго, потому что черезъ нѣсколько строкъ читаемъ: «Мужикъ, пьянство, безсудность: пропадай все, буду и я кулакомъ. Правды нѣтъ. Востокъ, Азія, желѣзныя дороги, живемъ для Европы. Экономія. 4 вѣсто 40, *прибдниться, стѣтъ на дорожкѣ*. Петръ Великій сдѣлалъ бы». А на слѣдующей страницѣ опять: «Намъ нужно *прибдниться, стѣтъ на дорожкѣ!* а межъ тѣмъ про себя внутри совидаться». Можетъ быть въ этихъ таинственныхъ словахъ заключается какая-нибудь очень цѣнная мысль, но въ такомъ видѣ, какъ она есть, она имѣетъ рѣшительно такое же значеніе, какъ «проба пера, проба пера, проба пера изъ гусиного крыла». Потому что, вѣдь, и въ самомъ дѣлѣ это не больше, какъ проба пера и печатать ее, очевидно, не представлялось никакой надобности.

Нельзя, однако, сказать, чтобы записная

книжка Достоевскаго, ничего не уясняла. Но то, что она уясняетъ, способно возбуждать, именно, только жалость къ высоко-танталливному покойникъ. Она уясняетъ поразительную неподготовленность Достоевскаго къ той роли учителя и «вѣстителя думъ», которая ему такъ усердно доселѣ навязывается, и которую онъ, къ несчастію, и самъ очень хотѣлъ играть. На поляхъ записной книжки значатся разныя рубрики: «финансы», «конституція», «землевлѣдніе», опять «финансы», «экономическія реформы» и проч. Подъ рубрикой «землевлѣдніе» читаемъ слѣдующую удивительную мысль: «главная причина, почему помѣщики не могутъ сойтись съ народомъ и достать рабочихъ—это потому, что они не русскіе, а оторванные отъ почвы европейцы». Встрѣчаются въ записной книжкѣ и вѣрныя и ясныя мысли, но поразительно тотъ наивно дѣловой видъ, съ которымъ «вѣститель думъ» записываетъ подъ рубрикой «вѣчныя экономическія реформы» такое, напримѣръ, открытіе: «Облегчить народъ, напримѣръ, уничтоженіемъ налога на соль. Гдѣ взять денегъ? Для этого непременно и неотложно обложить налогомъ высшіе богатые классы и тѣмъ опять тягости съ бѣднаго класса». Записывая эту мысль (а то вѣдь забудешь, пожалуй), Достоевскій, можетъ быть, былъ серьезно увѣренъ, что онъ выдумалъ такую новую штуку, до которой ни одинъ европеецъ не додумался. Или вотъ, подъ совсѣмъ неподходящей рубрикой «о финансахъ»: «Говорятъ, наше общество не консервативно. Правда, самый историческій ходъ вещей (съ Петра) сдѣлалъ его не консервативнымъ. А главное: оно не видитъ, что сохранять... Все у него отнято, до самой законной инициативы. Всѣ права русскаго человѣка—отрицательныя. Дайте ему кое что положительное, и вы увидите, что онъ будетъ тоже консервативенъ. Вѣдь было бы что охранять. *Не консервативенъ онъ потому, что нечего охранять* (курсивъ Достоевскаго). Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, это вѣдь не одна только фраза у насъ, а, къ несчастію, самое дѣло». Въ словахъ этихъ очень ясно и наглядно выражена очень вѣрная мысль, но каково же было шатаіе вѣстителя думъ, если, имѣя эту мысль и въ головѣ, и въ записной книжкѣ, онъ неустанно твердилъ, что надо «искать себя въ себѣ», а всякія тамъ реформы и «права»—чисто внѣшній вздоръ! Скажутъ, можетъ быть, что нечего иронизировать насчетъ «вѣстителя думъ», всякій, дескать, знаетъ, что не познаніями своими «властвовалъ» Достоевскій, а чѣмъ-то другимъ. Я-то очень хорошо это знаю, но не вѣдь тогда и навязывать Достоевскому роль представителя политической про-

граммы, незачѣмъ ему и самому было беспокоить себя такими вещами, какъ «финансы», «экономическія реформы», «конституція», «политика» и проч. Достоверно, во всякомъ случаѣ, что записная книжка Достоевскаго, наполовину ничего не говорить уму и сердцу читателя, кромѣ, развѣ, «пробы пера», а наполовину рисуешь покойника совсѣмъ не со стороны его «властительности». Человѣкъ, на склонѣ дной овоихъ не выработавшій себѣ сколько-нибудь твердыхъ и серьезныхъ политическихъ убѣждений и, однако, разсуждающій на политическія темы — вотъ кто авторъ этой записной книжки. Можетъ быть, это и хорошо съ какой-нибудь неизвѣстной мнѣ точки зрѣнія, но мощнаго духа въ записной книжкѣ все-таки нѣтъ. Пойдемъ искать его въ другихъ отдѣлахъ біографіи.

Въ жизни писателя наиболѣе можетъ быть любопытенъ тотъ моментъ, когда въ немъ впервые проявляется жажда литературной дѣятельности и формируются его литературные вкусы. Въ Достоевскомъ они проснулись рано. Его первый романъ «Бѣдные люди», повидимому, задуманъ и начатъ еще въ инженерномъ училищѣ. Мы имѣемъ цѣлый рядъ относящихся къ этому времени писемъ его къ брату Михаилу, съ которыми онъ всегда былъ съ самыхъ дружныхъ отношеній. Семнадцатилѣтній юноша, между прочимъ, пишетъ: «Не знаю, стихнутъ-ли когда мои грустные идеи? Одно только состояніе и дано въ удѣлъ человѣку: атмосфера души его состоитъ изъ сліянія неба съ землею; какое же противозаконное дѣла человѣкъ; законъ духовной природы нарушенъ. Мнѣ кажется, что міръ нашъ — чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслью. Мнѣ кажется, міръ принялъ значеніе отрицательное и изъ высочай, изящной духовности вышла сатира. Попадись въ эту картину лицо, не раздѣляющее ни эффекта, ни мысли съ цѣлымъ, словомъ, совсѣмъ постороннее лицо, что же выйдетъ? Картина испорчена и существовать не можетъ!» И дальше, въ томъ же письмѣ: «У меня есть прожектъ сдѣлаться сумасшедшимъ. Пусть люди бѣсятся, пусть глѣбятъ, пусть дѣлаютъ умнымъ. Если ты читалъ всего Гофмана, то, навѣрно, помнишь характеръ Альбани. Какъ онъ тебѣ нравится? Ужасно видѣть человѣка, у котораго во власти непостижимое, человѣка, который не знаетъ, что дѣлать ему, играетъ игрушкой, которая, есть Богъ! Часто-ли ты пишешь къ Куманинымъ?» и т. д. Эта придуманная, а не продуманная и не прочувственная, фальшивая, сумасбродная тирада не одиноко стоитъ въ письмахъ Достоевскаго къ брату. А вотъ образчикъ его литературно-критическихъ

сужденій изъ другого, уже позднѣйшаго письма: «Гомеръ (баснословный человѣкъ, можетъ быть, какъ Христосъ, воплощенный Богъ и къ намъ посланный) можетъ быть параллельно только Христу, а не Гете. Вникни въ него, братъ, пойми Иліаду, прочти ее хорошенько (ты вѣдь не читалъ ея, признайся). Вѣдь въ Иліадѣ Гомеръ далъ всему древнему міру организацію и духовной, и земной жизни, совершенно въ такой же силѣ, какъ Христосъ новому. Теперь поймешь-ли меня? Victor Hugo какъ лирикъ, чисто съ ангельскимъ характеромъ, съ христіанскимъ, младенческимъ направленіемъ поэзіи, и никто не сравнится съ нимъ въ этомъ, ни Шиллеръ (сколько ни христіанскій поэтъ Шиллеръ), ни лирикъ Шекспиръ, ни Байронъ, ни Пушкинъ. Я читалъ его сонеты на французскомъ. Только Гомеръ съ такою же непоколебимою увѣренностью въ признаніи, съ младенческимъ вѣрованіемъ въ Бога поэзіи, которому служить онъ, похожъ въ направленіи источника поэзіи на Victor'a Hugo, но только въ направленіи, а не въ мысли, которая дана ему природою, и которую онъ выражалъ, а я и не говорю про это. Державинъ, кажется, можетъ стоять выше ихъ обоихъ въ лирикѣ».

Я отнюдь не забываю, что весь этотъ наборъ громкихъ словъ пишетъ юноша 17—18-ти лѣтъ, въ каковомъ возрастѣ въ доброе старое время было почти обязательно разглазывать на разные романтическія темы, прикидываться разочарованнымъ жизнью и проникающимъ въ самую глубокую глубь вещей. Теперь эта мода уже устарѣла, но тогда Достоевскій былъ подобенъ множеству другихъ юношей, тоже безъ всякаго реверанса и пониманія толковавшихъ о какомъ-то «стенаніи опѣвѣлаго міра», о томъ, что «ни грустный романъ, ни укоръ не сжимаютъ моей груди» и прочее, тому подобное. Любопытно, однако, что біографы, придаютъ какое-то значеніе всему этому напускному сумбуру. Вышеприведенныя размышленія о «чистилищѣ духовъ небесныхъ» и о томъ, что Державинъ, «кажется, выше Гомера и Victor'a Hugo», читатель получаетъ въ двухъ экземплярахъ: сначала ихъ приводитъ г. Миллеръ, а потомъ напечатаны и самыя письма цѣликомъ.

Но вотъ лѣтъ съ 22-хъ (съ 1843 года) въ письмахъ къ брату начинается звучать совершенно опредѣленная нота, не имѣющая ничего общаго со «стенаніями опѣвѣлаго міра». Достоевскій предлагаетъ брату вмѣстѣ съ нимъ и съ нѣкимъ Поттономъ перевести и издать романъ Евгенія Сю «Матильда». Надо замѣтить, что «Матильда» эта имѣла предварительную исторію. Часть ея уже была переведена и издана какимъ-

то Серчевскимъ. Потомъ «нѣкто Черноглазовъ купилъ за 700 руб. асс. у Серчевскаго право продолжать переводъ «Матильды» и уже переведенную первую часть». Но, удостоверяетъ Достоевскій, «Черноглазовъ—un homme qui ne pense à rien, ne mѣтеть ни денегъ, ни смысла. Переводъ же у него есть. Мы объявимъ о переводѣ, когда половина будетъ напечатана, и Черноглазовъ погибъ». При этомъ Достоевскій дѣлаетъ подробный расчетъ барышей. Сообщаетъ онъ также, что сидитъ за переводомъ романа Балзака: «самое крайнее мнѣ дадутъ за него 350 р. асс.» Дѣло «Матильды» почему-то лопнуло, но Достоевскій вслѣдъ затѣмъ предлагаетъ брату перевести и издать «Донъ-Карлоса» Шиллера, опять очень тщательно соображая барыши изданія. Потомъ онъ подбиваетъ издать нѣсколько пьесъ Шиллера, прибавляя: «малѣйшій успѣхъ и барышъ удивительный». Въ томъ же письмѣ находимъ первыя свѣдѣнія о «Бѣдныхъ людяхъ». Свѣдѣнія, впрочемъ, довольно скудны: «Я кончаю романъ въ объемѣ Eugénie Grandet. Романъ довольно оригинальный... Я чрезвычайно доволенъ романомъ моимъ. Не нарадуюсь. Съ него-то я деньги навѣрное получу». Ни о какихъ «стенаніяхъ» и тому подобныхъ ужасахъ нѣтъ уже и помину. Нѣтъ даже сообщеній о духовной сторонѣ дѣла, о томъ, какъ писались «Бѣдные люди», «Голядкинъ» и другія произведенія этого времени, и что хотѣлъ ими сказать авторъ. Молодому, начинающему писателю, казалось бы, естественно было носиться съ тѣми идеями и чувствами, которыя онъ хочетъ воплотить въ образахъ. Въ письмахъ къ другу-брату можно бы было даже ожидать нѣкотораго пересола, нѣкоторой надобности въ этомъ отношеніи. Но ничего подобнаго нѣтъ. Мы слышимъ только одно: «Мнѣ въ «Отечеств. Записки» всегда доступъ; я всегда съ деньгами; а вдобавокъ пусть выйдетъ мой романъ, положимъ, въ августовскомъ номерѣ или въ сентябрѣ, и въ октябрѣ перепечатаваю его на свой счетъ, уже въ твердой увѣренности, что романъ раскупятъ тѣ, которые покупаютъ романы. Къ тому же объявленія мнѣ не будутъ стоить ни гроша».—«Мой Голядкинъ пойдетъ въ 1,500 р. асс.»—«Самый малый доходъ можетъ дать на одну мою часть 100—150 руб. въ мѣсяцъ». Это назойливо-неприятная нота осложняется только однимъ еще элементомъ—восторгамъ передъ самимъ собой и передъ своими успѣхами.

«Ну, братъ, никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такой апогеи, какъ теперь. Всюду почтеніе неимоверное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездной народа самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить своимъ

посѣщеніемъ, а графъ С. рветъ на себя волосы. Панаевъ объявилъ ему, что есть такой талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ... Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоев. то-то сказалъ, Достоев. то-то хочетъ дѣлать...»

«Некрасовъ затѣялъ «Зубоскалъ»—прекрасный юмористическій альманахъ, къ которому объявленіе написалъ я. Объявленіе надѣлало шуму, ибо это первое явленіе такой легкости и такого юмору въ подобнаго рода вещахъ... За него взяли и 20 рублей серебромъ. На дняхъ, не имѣя денегъ, зашелъ я къ Некрасову. Сидя у него, у меня пришла идея романа въ 9-ти письмахъ. Прийдя домой, я написалъ этотъ романъ въ одну ночь; величина его $\frac{1}{4}$ печатнаго листа. Утромъ отнесъ къ Некрасову и получилъ за него 125 р. асс., то-есть мой листъ въ «Зубоскаль» принятъ въ 250 р. асс.»

«У меня бездна идей; и нельзя мнѣ разсказать что-нибудь изъ нихъ хоть Тургеневу, напримѣръ, чтобы назавтра почти во всѣхъ углахъ Петербурга не знали, что Достоевскій пишетъ вотъ то-то и то-то. Ну, братъ, еслибы я сталъ исчислять тебѣ всѣ успѣхи мои, то бумаги не нашлось бы столько. Я думаю, что у меня будутъ деньги».

«Явилась цѣлая тьма новыхъ писателей. Иные мнѣ соперники. Изъ нихъ особенно замѣчательны Герценъ и Гончаровъ. 1-й печатался, второй начинающій и не печатавшійся нигдѣ. Ихъ ужасно хвалятъ. Первенство остается за мной покажѣтъ и надѣюсь, что навсегда».

«Буду пользоваться обстоятельствами и пушу повѣсть на драку, кто больше? Стащу-то я денегъ ужъ навѣрное порядочно».

«Года черезъ два приступлю къ полному изданію и тѣмъ чрезвычайно выиграю, ибо возьму деньги два раза и сдѣлаю себѣ извѣстность».

Довольно, я думаю. Скучно и тяжело выписывать эти наивногрубые восторги и расчеты, конечно, очень мало способствующіе удержанію Достоевскаго на пьедесталѣ «власти напихъ думъ». Не забудьте, что это пишетъ еще совѣтъ молодой человѣкъ, которому надлежитъ, казалось бы, кипѣть идеальными порывами; тѣмъ болѣе, что этотъ еще молодой человѣкъ есть уже авторъ «Бѣдныхъ людей». Поневоѣ приходится въ голову вопросъ, съ которымъ восторженный Бѣлинскій обратился къ Достоевскому по поводу «Бѣдныхъ людей»: «Да вы понимаете-ли сами, что вы это такое написали?» Но господа биографы даже не догадываются, что тащутъ «властителя» съ пьедестала и спокойно печатаютъ по два раза (сначала въ статьѣ г. Миллера, а потомъ въ самыхъ

письмахъ) почти всё вышеприведенныя выходы и еще много другихъ, не пытаюсь ихъ объяснить. Они признаютъ, впрочемъ, фактъ огромнаго самолюбія Достоевскаго, но находятъ, что оно имѣетъ свое оправданіе въ его огромныхъ силахъ. Кто говоритъ! Художественныя силы Достоевскаго были, конечно, очень большія, далеко выходящія изъ ряда, но есть разные способы проявленія и выраженія самолюбія, есть и разные способы утилизаціи большихъ силъ. И, повторяю, все вышеприведенное отнюдь не рисуетъ Достоевскаго съ возвышенной стороны, потому что жажда карьеры, повидимому, была въ немъ самодовольствующею; литературная карьера не представлялась ему ступенью къ болѣе широкой дѣятельности. Ничего подобнаго нѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ письмахъ къ брату (а другихъ писемъ за это время въ біографическомъ сборникѣ не имѣется). Можно, пожалуй, сказать, что успѣхъ просто вскружилъ голову молодому человѣку. Отчасти это вѣрно, но дѣло въ томъ, что Бѣлинскій (а за нимъ и другіе), восторгнувшись сверхъ всякой мѣры «Бѣдными людьми», называлъ послѣдующія произведенія Достоевскаго «нервической чепухой» и говорилъ, что «каждое его новое произведеніе—новое паденіе». Достоевскій и самъ, какъ видно изъ писемъ, понималъ, что послѣ внезапнаго подъема съ «Бѣдными людьми», репутація его пошла на убыль. Но это не мѣшало ему оставаться при непомерно высокомъ мнѣніи о себѣ и высчитывать рубли серебряные и рубли ассигнаціями. Что касается до этого непрямо корыстолюбиваго, постояннаго перевода своихъ произведеній на рубли, то ему есть, повидимому, объясненіе въ давно всѣмъ извѣстной бѣдности Достоевскаго, когда онъ бѣдствовалъ до послѣдней крайности. Но тотъ періодъ, о которомъ у насъ до сихъ поръ шла рѣчь, былъ въ матеріальномъ отношеніи вовсе недуренъ. Будучи одиночникомъ человѣкомъ, онъ получалъ 4,000 въ годъ отъ опекуна, да, сверхъ того, жалованье, а по выходѣ въ отставку—не малый по тогдашнему времени литературный гонораръ. Правда, онъ велъ очень безпорядочную жизнь, но все-таки, значитъ, не бѣдностью были выработаны эти грубые расчеты, навѣно чередующіеся съ восторгами передъ самимъ собой.

Таковъ былъ Достоевскій въ молодые годы, въ пору торжества и радужныхъ надеждъ. Какъ же отразились или осложнились эти его качества въ болѣе зрѣломъ возрастѣ и въ годину печали? Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ ни одного его письма съ каторги, и, вообще, весь этотъ періодъ освѣщенъ только отраженнымъ свѣтомъ тѣхъ Wahrheit und Dichtung, которыя даются «Записками изъ

мертваго дома», да позднѣйшими воспоминаніями Достоевскаго, не всегда, какъ увидимъ, заслуживающими довѣрія. Но съ возвращенія изъ каторги, съ 1854 года, имѣется уже цѣлый рядъ писемъ къ братьямъ, къ барону Врангелю, къ А. Н. Майкову. Въ одномъ изъ писемъ къ барону Врангелю (изъ Семипалатинска), между прочимъ, читаемъ: «Надѣюсь написать романъ получше «Бѣдныхъ людей». Вѣдь если позволятъ печатать (а я не вѣрю, слышите: не вѣрю, чтобы этого нельзя было выхлопотать), вѣдь это гуль пойдетъ, книга раскупится, доставитъ мнѣ деньги, значеніе, обратитъ на меня вниманіе правительства, да и возвращеніе придетъ скорѣй». Тутъ же Достоевскій проситъ барона Врангеля передать его письмо генералу Тотлебену (нынѣ графу), съ которымъ онъ былъ когда-то знакомъ: «Отправьтесь къ нему лично и отдайте ему письмо мое наединѣ. Вы по лицу его тотчасъ увидите, какъ онъ его принимаетъ. Если дурно, то и дѣлать нечего... Если же вы по лицу его увидите, что онъ займется мною и выкажетъ много участія и доброты,—тогда будьте съ нимъ совершенно откровенны; прямо, отъ сердца войдите въ дѣло; расскажите ему обо мнѣ и скажите ему, что его слово теперь много значитъ, что онъ могъ бы попросить за меня у Монарха, поручиться (какъ знающій меня) за то, что я буду впередъ хорошимъ гражданиномъ, и вѣрно ему не откажутъ... Нельзя-ли будетъ пустить въ ходъ стихотвореніе? Я читалъ въ газетахъ, что на обѣдѣ Майковъ говорилъ ему стихи... Ангелъ мой! не оставляйте меня, не доводите меня до отчаянія!... Ради Христа, поговорите съ братомъ о денежныхъ дѣлахъ моихъ. Уговорите его помочь мнѣ въ послѣдній разъ. Поймите, въ какомъ я положеніи. Не оставляйте меня. Вѣдь такіа обстоятельства, какъ мои, только разъ въ жизни и бываютъ. Когда же и выручать друзей, какъ не въ такое время».

Обстоятельства Достоевскаго были въ это время, дѣйствительно очень критическія: онъ хлопоталъ о дальнѣйшемъ облегченіи своей участи и собирался жениться. Такая комбинація, дѣйствительно, «только разъ въ жизни» съ нимъ и была. Но, увы! не разъ и не десять разъ приходилось ему еще просить того или другаго «ангела» или «единственнаго» выручить его «въ послѣдній разъ». Я не буду дѣлать выписокъ. Письма Достоевскаго переполнены подобными просьбами, выраженными часто въ такихъ формахъ, что вчужѣ обидно становится за писателя, составляющаго одну изъ гордостей русской литературы. Это обидное чувство, впрочемъ, очень сложно. Иногда Достоевскій попадалъ въ тяжелыя условія по причинамъ, которыя

времени прошло съ выхода Достоевскаго въ отставку), замѣчая: «память нѣсколько измѣнила Федору Михайловичу». Но затѣмъ Достоевскій пишетъ: «Въ началѣ зимы я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не писавши». Это уже крупная неправда. Имѣются достовѣрные свидѣтельства, основанныя, отчасти, на словахъ самаго же Достоевскаго, что «Бѣдныхъ людей» онъ писалъ не «вдругъ», а очень долго, нѣсколько разъ передѣлывалъ ихъ и началъ еще въ нижне-перномъ училищѣ. Г. Миллеръ спрашиваетъ: «Неужели память могла въ такой степени измѣнить Ф. М.? Или можетъ быть онъ уничтожилъ то, что было написано въ училищѣ и принялся съизнова писать «Бѣдныхъ людей», уже по выходѣ въ отставку?» Но и это соображеніе къ дѣлу не идетъ, потому что въ «Дневникѣ писателя» Достоевскій утверждаетъ, будто онъ вдругъ началъ «Бѣдныхъ людей», *до тѣхъ поръ ничего не писавши*. А писалъ онъ въ училищѣ, кромѣ романа, еще драмы, о чемъ самъ тогда же сообщалъ письменно брату. Ясно, что онъ многое просто перзабылъ. Но у людей, съ богатымъ воображеніемъ, автора «Преступленія и наказанія», слабость памяти едва-ли можетъ выразиться только отрицательнымъ результатомъ, забвеніемъ; воображеніе, естественно, должно было пополнять пробѣлы памяти. И, дѣйствительно, Достоевскій часто не только забываетъ то, что было, но и утверждаетъ то, чего не было. Такъ онъ продиктовалъ, между прочимъ, для своей заграничной автобіографіи, что, смѣлая присужденное ему по дѣлу Петрашевскаго наказаніе, императоръ Николай «пожалѣлъ въ Достоевскомъ (автобіографія написана въ третьемъ лицѣ) его молодость и талантъ». Не говоря о томъ, что Дурову, присужденному къ одинаковому съ Достоевскимъ наказанію, было сдѣлано совершенно такое же смягченіе, объ участіи императора Николая къ таланту Достоевскаго не имѣется рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Весьма возможно, что императоръ пожалѣлъ молодость Достоевскаго, какъ и многихъ другихъ участниковъ въ дѣлѣ Петрашевскаго (между ними онъ былъ, впрочемъ, далеко не младшій, ему было 27 лѣтъ), но чтобы ему былъ даже просто извѣстенъ талантъ Достоевскаго, объ этомъ не знаетъ никто, кромѣ самаго Достоевскаго. Ясно, что это незаконный плодъ слабой памяти и сильнаго воображенія. Или, напримѣръ, такой эпизодъ, свидѣтельствующій кстати о довѣрчивости біографовъ. Однажды, полемизируя съ Достоевскимъ, г. Градовскій упоминалъ къ чему-то, что Россія служила по-

литикѣ Меттерниха и что это не хорошо. Достоевскій съ чрезвычайною горячностью возразилъ въ «Дневникѣ», что его учить нечего, что онъ въ свое время сильнѣе и лучше г. Градовскаго осуждалъ меттерниховщину, за что дорого заплатился. Сорвались-ли эти слова у него въ жару полѣмики въ какомъ-нибудь общемъ смыслѣ или ему тутъ же и вообразилось, что онъ въ самомъ дѣлѣ заплатился за Меттерниха, но только съ тѣхъ поръ онъ на этомъ и утвердился. А съ его словъ уже и г. Миллеръ утверждаетъ, что однимъ изъ обвинительныхъ пунктовъ противъ Достоевскаго по дѣлу Петрашевскаго были разсужденія о томъ, что Россія служить политикѣ Меттерниха. Г. Миллеръ не только утверждаетъ это, но и дѣлаетъ выводъ, что разсужденія эти «находились въ несомнѣнной связи съ славянофильскими задатками Достоевскаго». Почему это *несомнѣнно*, то-есть почему только славянофилъ можетъ не одобрить служеніе политикѣ Меттерниха, этого г. Миллеръ, конечно, не знаетъ. Любопытно, однако, что г. Миллеръ пользуется этимъ случаемъ, чтобы подтрунить надъ г. Градовскимъ. Еще любопытнѣе то, что г. Миллеръ самъ говоритъ, что сдѣлственное дѣло ничего не говоритъ объ этомъ воображаемомъ преступленіи Достоевскаго. Но этого мало. Ни въ приговорѣ, очень подробно исчисляющемъ вины Достоевскаго, ни въ чьихъ бы то ни было воспоминаніяхъ ни однимъ словомъ не упоминаются сужденія о политикѣ Меттерниха, да и самъ Достоевскій до вышепсказаннаго полемическаго эпизода никогда объ этомъ не говорилъ. А г. Миллеръ принимаетъ эти слова въ серьезъ...

Обратимся къ отношенію Достоевскаго къ Бѣлинскому и къ его участію въ дѣлѣ Петрашевскаго, къ моментамъ его духовной жизни, безспорно высокой важности, и посмотримъ, что даетъ намъ въ этомъ отношеніи біографія.

Въ одномъ изъ писемъ къ г. Страхову изъ за границы (1871 года) Достоевскій пишетъ: «Бѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цѣните) имѣнно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда». Въ слѣдующемъ письмѣ, отвѣчая на возраженіе г. Страхова, Достоевскій выражается еще круче. «Если бы Бѣлинскій, Грановскій и вся эта (свопочъ, должно быть! la propriété c'est le vol, говорить г. Миллеръ, и я не хочу, чтобы эта «свопочъ» Достоевскаго была украдена у русскаго читателя) поглядѣли теперь, то сказали бы: «Нѣтъ, мы не о томъ мечтали, нѣтъ, это уклоненіе, подождемъ еще, явится свѣтъ, и вопарится прогрессъ, и человѣче-

ство перестроится на здоровыхъ началахъ и будетъ счастливо! Они никогда бы не согласились, что разъ ступивъ на эту дорогу, никуда больше не придешь, какъ къ коммуѣ и къ Феликсу III. Они до того были тупы, что и *теперь* бы, уже послѣ событія, не согласились бы и продолжали мечтать. Я обругалъ Бѣлинскаго болѣе, какъ явленіе русской жизни, нежели какъ лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе — въ неизбежности этого явленія. И, увѣряю васъ, что Бѣлинскій помирился бы теперь на такой мысли: «А вѣдь это оттого не удалось коммуѣ, что она все-таки, прежде всего, была французская, т. е. сохраняла въ себѣ заразу національности. А потому надо приискать такой народъ, въ которомъ нѣтъ ни капли національности, и который способенъ бить, какъ я, по щекамъ свою мать (Россію)». И съ пѣной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россію, отрицая великія явленія ея (Пушкина) — чтобъ окончательно сдѣлать Россію *вакантною* націею, способною стать во главѣ общечеловѣческаго дѣла. Іезуитизмъ и ложь нашихъ передовыхъ двигателей онъ принялъ бы со счастіемъ. Вы никогда его не знали, а я зналъ и видѣлъ, и теперь осмыслилъ вполне. Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ христіанство, и, между тѣмъ, никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей всего міра сопоставить со Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздражительности, подлости, а главное, самолюбія. Онъ не сказалъ себѣ никогда: что же мы поставимъ вмѣсто него? Неужели себя, тогда какъ мы такъ гадки? Нѣтъ, онъ никогда не задумался надъ тѣмъ, что онъ самъ гадокъ; онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость. — Вы говорите, онъ былъ талантливъ? Совсѣмъ нѣтъ».

Какая бы доля правды или лжи ни заключалась въ показанія Достоевскаго, но вы видите, что самъ онъ относится къ Бѣлинскому съ такою злобною ненавистью, съ такою наглядною пѣною у рта, какую даже рѣдко встрѣтить можно. Такъ было въ 1871 году. Но подвигаясь по матеріаламъ біографіи отъ этого года назадъ, въ глубь временъ, мы встрѣтимъ все болѣе и болѣе лестные отзывы о Бѣлинскомъ. Въ 1862 году, въ объявленіи о подпискѣ на «Время», Достоевскій писалъ между прочимъ: «Еслибъ Бѣлинскій прожилъ еще годъ, онъ бы сдѣлался славянофиломъ, т. е. попалъ бы изъ огня да въ полымя; ему ничего не оставалось болѣе; да сверхъ того онъ не боялся,

въ развитіи своей мысли, никакого полымя. Слишкомъ ужъ много любилъ человѣкъ! Многие изъ теперешнихъ стоятъ на той же точкѣ, на которой остановился Бѣлинскій, хотя и увѣряютъ себя, что ушли дальше».

Ну, а раньше мы уже не встрѣчаемъ иныхъ отзывовъ о Бѣлинскомъ, какъ «благородный человѣкъ» и т. п. Несомнѣнно одно изъ двухъ: или Бѣлинскій совсѣмъ не имѣлъ съ Достоевскимъ тѣхъ разговоровъ, какіе послѣдній ставилъ ему потомъ въ счетъ, или Достоевскій принималъ эти разговоры совсѣмъ не такъ, какъ представлялись они ему въ 1871 году и позже, въ «Дневникѣ писателя». Но мы имѣемъ самыя опредѣленныя указанія, собственныя удостовѣренія Достоевскаго, что когда-то, какіе-то рѣзкіе перевороты въ его взглядахъ на различные вещи были. Такъ, по свѣдѣтельству г. Страхова, лѣтомъ 1862 г. онъ «поѣхалъ въ Парижъ, а потомъ въ Лондонъ, гдѣ видѣлся съ Герценомъ, какъ самъ о томъ упоминаетъ въ «Дневникѣ» «Гражданина». Къ Герцену онъ тогда относился очень мягко, и его «Зимнія замѣтки» отзываются нѣсколько вліяніемъ этого писателя». Между тѣмъ, въ 1868 г., будучи въ Швейцаріи и узнавъ, что за нимъ почему-то слѣдятъ и въ чемъ-то подозрѣваютъ, онъ пишетъ г. Страхову: «каково же вынести человѣку чистому, патриоту, предавшемуся до *измѣны своимъ прежнимъ убѣжденіямъ*, обожающему Государя, — каково вынести подозрѣніе въ какихъ-нибудь сношеніяхъ съ какими-нибудь поличниками или съ «Колоколомъ»... Руки отваливаются невольно служить имъ. Кого они не просмотрѣли у насъ изъ виновныхъ, а Достоевскаго подозрѣваютъ!» Мысль эта до того тревожила Достоевскаго, что, поговоривъ о разныхъ разностяхъ, онъ вновь возвращается къ ней въ постскриптумѣ: «Не обратится-ли мнѣ къ какому-нибудь *лицу*, не попроситъ-ли о томъ, чтобъ меня не подозрѣвали въ измѣнѣ отечеству и въ сношеніяхъ съ поличниками и не перехватывали моихъ писемъ? Это отвратительно! Но вѣдь они должны же знать, что нигилисты, либералы-современники еще съ третьяго года въ меня грязью кидаютъ за то, что я разорвалъ съ ними, ненавижу поличниковъ и люблю отечество...»

Дѣло ясное, кажется, что Достоевскій пережилъ не одинъ переломъ въ своей жизни. Дѣло настолько ясно, что біографы сами его поневолѣ отмѣчаютъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, имъ хочется доказать, что Достоевскій чуть не въ утробѣ матери былъ не то чтобы славянофиломъ, не то чтобы западникомъ, а тою серединою на половинѣ, которую, кажется, самъ онъ называлъ «почвенникомъ», и которая нынѣ представляется въ литера-

туръ г. Миллеромъ и Страховымъ. Вслѣдствіе этого, процессъ духовнаго развитія Достоевскаго остается рѣшительно безъ всякаго объясненія. Вмѣсто того, чтобы признать очевидные факты во всей ихъ полнотѣ и рѣзкости (ну, хоть выразительный фактъ участія въ дѣлѣ Петрашевскаго) и добросовѣстно изслѣдовать ихъ со всѣхъ сторонъ, они тянутъ свою собственную ленту «почвенности», не замѣчая, что тутъ уже они до забвенія всякихъ границъ «богіе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его». Г. Миллеръ очень толчется надъ ролью Достоевскаго въ кружкѣ Бѣлинскаго и потому въ дѣлѣ Петрашевскаго, но именно только толчется и, вопреки правилу «толчитесь и отверзаете», ничего не отверзается ни ему самому, ни читателямъ. Оно и понятно. Вы видите, что даже въ сужденіяхъ о Меттернихѣ онъ видитъ «славянофильскіе задатки» и очень ему хочется доказать, что задатки эти Достоевскій внесъ въ кружокъ петрашевцевъ, какъ свое, оригинальное, приращенное, изъ материнской утробы вынесенное. Но тутъ же ему приходится сознаться, что среди петрашевцевъ не было ни славянофиловъ, ни западниковъ, не было даже зачатковъ такого раздѣленія. Затѣмъ, еще до дѣла Петрашевскаго, г. Миллеру встрѣчаются очень веселыя, разбитыя насмѣшки Достоевскаго надъ славянофилами. Г. Миллеръ ни мало этимъ не смущенъ: это, говоритъ, ничего, это такъ, мимоходомъ, мимолетное вліяніе Бѣлинскаго; но, говоритъ, и Достоевскій въ свою очередь вліялъ на Бѣлинскаго. Последнее, конечно, очень сомнительно, ибо Бѣлинскій былъ уже зрѣлымъ человекомъ, когда Достоевскій мальчишески радовался, что его приглашаютъ въ гости князь Одоевскій и желаетъ съ нимъ познакомиться графъ С. (Солмогубъ, очевидно). Да и въ обстоятельной біографіи Бѣлинскаго, составленной г. Пыпинымъ, никакихъ слѣдовъ вліянія Достоевскаго не имѣется. Но, допуская даже извѣстное вліяніе романиста на критика, надо же это дѣло разобрать, а не такъ, какъ у г. Миллера: быкъ реветъ, медвѣдь реветъ, а кто кого деретъ, самъ чертъ же разберетъ...

Можно съ утвердительною сказать, что интереснѣйшіе и важнѣйшіе моменты жизни Достоевскаго, попавшіе, къ сожалѣнію, на обработку г. Миллеру, совершенно пропали. По всѣмъ видимостямъ, ни въ кружкѣ Бѣлинскаго, ни въ дѣлѣ Петрашевскаго Достоевскій не игралъ опредѣленной, выдающейся роли, но его собственная душевная жизнь за это важное время остается вполне неизвѣстною.

Г. Страховъ ведетъ свое дѣло благообраз-

нѣе, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи, что мы отъ него ничто узнаемъ по части исторіи духовнаго развитія Достоевскаго. Узнаемъ мы прежде всего, что выступая въ 1861 году на журнальное поприще въ качествѣ негласнаго редактора «Времени» (официальнымъ редакторомъ былъ его братъ), Достоевскій не имѣлъ еще вполне опредѣленныхъ политическихъ и философскихъ убѣжденій. Приведа написанное Достоевскимъ объявленіе о журналѣ «Время», г. Страховъ, какъ одну изъ отличительныхъ его чертъ, отмѣчаетъ «неопредѣленность тѣхъ началъ, принциповъ, на которые онъ ссылается». Это очень справедливо, но едва ли справедливо мнѣніе г. Страхова, что «такъ и слѣдовало этому быть при исходной точкѣ и умственномъ настроеніи Достоевскаго». Конечно, разъ умственное настроеніе человека страдаетъ неопредѣленностью, такъ неопредѣленность эта должна обнаружиться; но позволительно думать, что писатель, выступающій на журнальное поприще съ громко провозглашаемымъ новымъ направленіемъ, долженъ имѣть объ немъ полное и ясное понятіе. Г. Страховъ имѣетъ, впрочемъ, на этотъ счетъ оригинальный взглядъ. Такъ ему очень нравятся излюбленные выраженія Достоевскаго: «оторвались отъ своей почвы», «искать своей почвы». И нравятся вотъ почему: «Выраженіе это, очень образное и живое, имѣло ту выгоду, что было въ тоже время очень обще, не указывало прямо опредѣленнаго принципа». Что хорошаго въ неясности или неопредѣленности мысли человека, выступающаго поучать другихъ — это дѣло темное которое, впрочемъ, намъ можетъ быть еще раскрыто. Г. Страховъ рассказываетъ, что въ редакціи «Времени» «происходили безконечныя споры и дѣлались попытки ежедневно перестроивать или исправлять свое міросозерцаніе чуть не съ самыхъ основъ». Самъ Достоевскій, кромѣ неясности мысли, страдалъ еще слабостью знаній. Такъ ему случалось иногда открывать давно открытую Америку, и когда ему это указывали, онъ, по словамъ г. Страхова, «откровенно признавался: «я этого не зналъ». Біографъ сообщаетъ еще слѣдующую любопытную черту: «Федоръ Михайловичъ любилъ эти (отвлеченныя) вопросы: о сущности вещей и о предѣлахъ знанія, и помню, какъ его забавляло, когда я подводилъ его разсужденія подъ различныя взгляды философовъ, извѣстные намъ изъ исторіи философіи. Оказывалось, что новое придумать трудно, и онъ шутя утѣшался тѣмъ, что совпадаетъ въ своихъ мысляхъ съ тѣмъ или другимъ великимъ мыслителемъ». Гораздо позже, уже въ то время, когда Достоевскій былъ

соредакторомъ кн. Мещерскаго по «Гражданину», онъ требовалъ, чтобы г. Страховъ больше писалъ, и когда тотъ возразилъ ему, что «у него мало мыслей для того, чтобы такъ много писать», Достоевскій отвѣтилъ: «какъ мало мыслей? да половина моихъ взглядовъ—ваши взгляды!»

Все это, разумѣется, пересыпано похвалами высокимъ качествамъ ума и сердца Достоевскаго, но не кажется-ли вамъ все-таки, что г. Страховъ самымъ рѣшительнымъ образомъ тащить «власителя нашихъ думъ» съ пьедестала? Вѣроятно, многимъ фигура Достоевскаго представлялась грандіознѣе, значительнѣе, чѣмъ этотъ воспоминаемый г. Страховымъ человекъ, выступающій проповѣдникомъ неясной мысли, открывающій давно открытыя Америки и на половину заимствующій свои взгляды у г. Страхова. Неясно понималъ, мало зналъ, но подъ конецъ кое-чему у г. Страхова научился—вотъ результатъ. И замѣйте, что это единственный осязательный выводъ, какой вы можете сдѣлать изъ біографіи. (Я не говорю, разумѣется, о высокомъ талантѣ Достоевскаго, о которомъ всѣ мы и безъ біографіи знаемъ). Вы получаете, такимъ образомъ, довольно точное понятіе о Достоевскомъ, какимъ онъ былъ «при исходной точкѣ», хотя ему уже шелъ тогда пятый десятокъ лѣтъ. Но что же дальше? Въ тѣ времена къ Достоевскому относились, какъ къ писателю съ крупнымъ, хотя и не равнымъ художественнымъ дарованіемъ, что вполне совмѣстимо съ указанными г. Страховымъ проблемами по части мыслей. Но вѣдь потомъ изъ Достоевскаго, говорятъ, выработался «духовный вождь русскаго народа». Не будемъ спорить, былъ онъ такимъ вождемъ или нѣтъ (оно даже какъ-то и смѣшно объ этомъ спорить); пусть такъ, но покажите же намъ, какъ это вышло, какъ вождь выработался. На этотъ счетъ біографіи намъ не дасть ничего, но за то путаетъ много. Вотъ образчикъ.

Въ 1867 году Достоевскій уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ четыре слишкомъ года. За это время онъ испыталъ много горькаго и тяжелаго; нужду самую крайнюю, болѣзни, работу на почтовыхъ, смерть перваго ребенка. Но, по свидѣтельству г. Страхова—да оно и изъ писемъ видно—новая семейная жизнь (онъ женился вторично передъ самымъ отъѣздомъ) дала ему много счастья. «Нѣтъ сомнѣнія, говорить г. Страховъ, что именно за границей, при этой обстановкѣ и этихъ долгихъ и спокойныхъ размышленіяхъ, въ немъ совершилось особенное раскрытіе того христіанскаго духа, который всегда жилъ въ немъ. Въ его письмахъ подъ конецъ вдругъ раздались звуки этой струны;

она стала звучать въ немъ такъ сильно, что онъ не могъ оставлять эти звуки для себя одного, какъ это дѣлалъ прежде. Объ этой существенной переменѣ, однако же, письма не даютъ полнаго понятія. Но она очень ясно обнаружилась для всѣхъ знакомыхъ, когда Ѳедоръ Михайловичъ вернулся изъ за-границы. Онъ сталъ безпрестанно сводить разговоръ на религіозныя темы. Мало того—онъ переимѣнился въ обращеніи, получившемъ большую мягкость и впадавшемъ иногда въ полную кротость. Даже черты лица его носили слѣдъ этого настроенія, и на губахъ появлялась нѣжная улыбка. Помню маленькую сцену въ славянскомъ комитетѣ. Мы входили вмѣстѣ и съ нами поздоровался И. И. Петровъ. «Кто это?» спросилъ меня Ѳедоръ Михайловичъ, или не знавшій его, или забывшій, какъ онъ безпрестанно забывалъ людей, съ которыми даже часто встрѣчался. Я сказалъ ему и прибавилъ: «какой чудесный, чудеснѣйшій человекъ!» Глаза Ѳедора Михайловича ласково заблѣстѣли, онъ съ большою любовью поглядѣлъ на другихъ присутствовавшихъ и потихоньку сказалъ мнѣ: «да всѣ люди—существа прекрасныя!» Искренность и теплота такъ и свѣтились въ немъ при этихъ словахъ. Лучшія христіанскія чувства, очевидно, жили въ немъ, тѣ чувства, которыя все чаще и яснѣе выражались и въ его сочиненіяхъ. Такимъ онъ вернулся изъ за-границы».

Я не буду говорить о томъ, насколько «лучшія христіанскія чувства» выражались въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Достоевскаго, напримѣръ, въ «Бѣсахъ», ну, хоть, по отношенію къ Тургеневу, котораго онъ съ такою злобою изображалъ въ лицѣ «знаменитаго литератора Кармазинова». Я, вообще, не хочу касаться сочиненій Достоевскаго и довольствуюсь біографическимъ матеріаломъ. Обращаясь къ нему, къ самымъ письмамъ изъ за границы, я нахожу тамъ, между прочимъ, вышеприведенную злобную ругань по адресу Бѣлинскаго, Грановскаго и прочей «сволочи». Письмо это относится къ самому послѣднему времени заграничнаго житія, когда, по словамъ г. Страхова, письма стали особенно проникаться «христіанскимъ духомъ». Но какой же это такой христіанскій духъ, разрѣшающій ругаться «погаными», «сволочью» и проч. и трепетать отъ злобы на людей, мирно покоившихся на кладбищѣ? И какъ связать эти энергическія выраженія съ трогательнымъ изрѣченіемъ: «да всѣ люди—существа прекрасныя»? Я думаю, связать можно только такъ: всѣ люди прекрасны... кромѣ сволочи. Это, конечно, очень назидательно, но, во всякомъ случаѣ, тутъ христіанскій духъ чѣмъ-то осложненъ. Чѣмъ—

г. Страховъ не говоритъ, а даже замалчиваетъ это осложненіе. Далѣе биографъ отмѣчаетъ только одну перегибну, да и то, собственно говоря, не перегибну, а «особенное раскрытіе того христіанскаго духа, который *всегда живет со нами*». Между тѣмъ въ письмахъ, какъ вы видите, Достоевскій прямо говоритъ объ «измѣнѣ своихъ убѣжденій». Очевидно, дѣло идетъ не о христіанскихъ убѣжденіяхъ, при которыхъ, говоритъ г. Страховъ, Достоевскій всегда былъ и остался, а о какихъ-то другихъ. О какихъ—биографъ опять молчитъ.

Зачѣмъ эта недостойная игра съ покойникомъ? Зачѣмъ эти умолчанія и увертки въ родѣ того, что если подѣ либерализмомъ разумѣть консерватизмъ, такъ Достоевскій былъ либералъ, и т. п.? Дѣло очень просто: биографъ занятъ «болѣе высказываніемъ себя, чѣмъ изображеніемъ его».

При основаніи «Времени» Достоевскимъ руководила очень вѣрная мысль, досадѣ, однако, многимъ не пониженная (въ томъ числѣ и г. Страховымъ), а именно, что славянофилы и западники, какъ партіи, изжили свой вѣкъ, что наши умственные силы должны группироваться не по этимъ устарѣлымъ рубрикамъ, выставить нѣмъ знамена. Но такъ какъ мысль Достоевскаго была не ясна, то никакого опредѣленнаго, положительнаго знамени онъ не могъ выставить. Онъ выставилъ только «почву». Какъ тогда относился г. Страховъ къ этой мысли—неизвѣстно, но теперь онъ находитъ неопредѣленность этой «почвы» «выгодною», потому что «подъ нее подходит и славянофильство». Вотъ онъ и тянетъ въ эту сторону покойника. Сказать прямо, что Достоевскій былъ славянофиломъ въ моментъ изданія «Времени» — нѣтъ никакой возможности. «Время» слишкомъ торжественно отрицало славянофильство и, вообще, такъ много въ этомъ отношеніи грѣшило, что вызвало слѣдующую грозную отповѣдь г. Аксакова въ видѣ письма къ г. Страхову:

«... Вы напрасно ссылаетесь на *направленіе* „Времени“. Хотя оно постоянно кричало о томъ, что у него есть направленіе, но никто на это направленіе не обращалъ вниманія. Оно имѣло значеніе какъ хорошаго балетристическаго журнала, болѣе чистый и честный, чѣмъ другіе, но претензій его были всѣмъ смѣшны. Тамъ могли быть помыслимы и помыслились и хорошія статьи... но все это не давало „Времени“ никакого вѣста, никакой силы. Ему не доставало высшихъ нравственныхъ основъ, честности нѣжнаго порядка. Оно имѣло безстыдство напечатать въ программѣ, что первое въ русской литературѣ провозгласило и открыло существованіе русской народности! Нѣтъ такого врага славянофиловъ, который бы не возмущился этимъ. Потому—это наивное объявленіе, что славянофильство—моментъ отжившій, а пути къ жизни, новое слово теперь у „Времени“! Славянофилы

могутъ всѣ умереть до одного, но направленіе, данное имъ, не умереть, и я разумно направленіе во всей его строгости и неуступчивости, не приложенное ко вкусу петербургской канцеляришечной публички. Вотъ это волюнтарство за публичкой, это желаніе служить и мямлѣ и мамлѣ, это трактованіе славянофильства съ „Времени“ и съ презрѣніемъ въ первой программѣ „Времени“, это уронило журналъ въ общій нѣтъ публички, а славянофилы, какъ вы знаете, нѣтъ, ни единичныя словеса даже не задѣли „Времени“, потому что убѣжденія ихъ не носили личнаго самодубія. Напр., „Время“ о людскихъ Кохановской объявляетъ, какъ о людскихъ, промученныхъ нашей критикой, забывая, что „Русская Бесѣда“ въ статьяхъ моего брата и Гиллрова первая опредѣлила ея значеніе въ литературѣ! Въ Петербургѣ не можетъ издаваться журналъ съ народническимъ направленіемъ, ибо первое условіе для освобожденія въ себѣ живаго чувства народности—возможность Петербургъ всѣмъ сердцемъ своимъ и всѣмъ комиссариатомъ своимъ. Да и, вообще, нельзя креститься въ христіанскую вѣру (а славянофильство есть ничто иное, какъ истинная христіанская проповѣдь), не отступившись, не отщепенясь, не отрекшись отъ сатаны».

Но кромѣ этихъ, такъ сказать, личныхъ грѣховъ противъ славянофильства, «Время» и либеральничало, и Некрасова, и Щедрина у себя печатало, и уваженіе къ европейской наукѣ и цивилизаціи высказывало. Все это г. Страховъ, нѣмъ умудренный опытомъ, охотно бы вычеркнулъ. Но, такъ какъ вычеркнуть нельзя, и что написано перомъ, того не вырубить топоромъ, то онъ прибѣгаетъ къ разнымъ окольнымъ путямъ: кое-что замолчить, кое-что перетолкуетъ по удобной формулѣ «если подѣ бѣлымъ разумѣть зеленое», кое-что свалить на «безсознательность». Бѣда еще въ томъ, что г. Страховъ и до сихъ поръ самъ-то не чистый славянофилъ, а все тотъ же «почвеникъ», то-есть носитель принципа, выгоднаго своему неопредѣленности. Попробуйте сказать подѣ рядъ: Кирѣевскіе, Аксаковы, Юрій Самаринъ, Страховъ... На имени г. Страхова непремѣнно записетесь. И это вполне естественно, потому что г. Страхову, и въ самомъ дѣлѣ, не мѣсто въ этомъ ряду, какъ бы кто къ славянофиламъ ни относился. Разныя есть тому причины, но такъ какъ я не специально г. Страховымъ интересуюсь, то приведу только одну. Почтенный биографъ не упускаетъ случая сказать какую-нибудь любезность, какъ лично г. Каткову, такъ и направленію «Московскихъ Вѣдомостей». Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, наприкѣръ, что «Московскія Вѣдомости», со времени польскаго возстанія, «заявили то патріотическое и руководительное направленіе, которое такъ блистательно развиваютъ до сихъ поръ». Я понимаю, что отношеніе «Московскихъ Вѣдомостей» къ польскому возстанію могло быть раздѣляемо славянофилами, но чтобы они вообще могли радоваться руководитель-

ному направленію г. Каткова—въ этомъ я очень сомнѣваюсь. Высказывая это сомнѣніе, я обнаруживаю, думается мнѣ, гораздо большее знакомство съ духомъ славянофильской доктрины и гораздо большее къ ней уваженіе, чѣмъ г. Страховъ, разсыпавшійся передъ славянофилами въ лстивыхъ выраженіяхъ. Ну, а «почва» до такой степени въ самомъ дѣлѣ «выгодна», что подъ нее, пожалуй, и теорія «Московскихъ Вѣдомостей» подойдутъ...

Результатъ біографіи: не смотря на всѣ выпиренія похвалы, многія слабости и непріятныя стороны Достоевскаго обнаружены, но въ общемъ получается только соответственное впечатлѣніе, а не настоящее знакомство съ личностью знаменитаго покойника, потому что біографы слишкомъ многое замолчали, смазали, утопили въ выгодной для нихъ, но отнюдь не для читателя неопредѣленности.

ХІ *).

Г. Стасовъ есть издревле крестный отецъ разныхъ художественныхъ новинокъ. Онъ же и имена имъ даетъ, и обыкновеннѣйшія изъ этихъ именъ суть: «чуждый», «небывалый», «поразительный» и проч. Нельзя, однако, сказать, чтобы всѣ эти даваемые г. Стасовымъ клички приходились по шерсти. Оно и естественно, потому что иначе русское искусство обладало бы такимъ количествомъ небывалыхъ и поразительныхъ чудесъ, что мы совсѣмъ разучились бы поражаться и самыя понятія о чудѣ и небываломъ пришлось бы вычеркнуть изъ нашего обихода.

Поразительнымъ, небывалымъ, чудеснымъ находить г. Стасовъ и изданный недавно фотографомъ Шапиро альбомъ «Иллюстраціи къ Запискамъ сумасшедшаго» Гоголя. (Статья г. Стасова приложена къ альбому). Альбомъ этотъ состоитъ изъ тридцати карточекъ, изъ которыхъ одна представляетъ портретъ г. Андреева-Бурлака, а остальные—разныя позы гоголевскаго «Сумасшедшаго», какъ его этотъ актеръ изображаетъ на сценѣ.

Въ альбомѣ надо очень строго различать двѣ части, а именно долю г. Шапиро и долю г. Андреева-Бурлака. Общая мысль издателя очень удачна, хотя, надо сказать, мотивирована она въ его предисловіи нѣсколько странно. «Мнѣ казалось, говоритъ г. Шапиро:—что еслибы фотографически передать геніальнаго актера въ наиболѣе характерныя моменты роли, положимъ, хоть «Гамлета», то получились бы приближающіяся къ совершенству иллюстраціи великаго со-

зданія Шекспира». Это правда, хоть и не полная. Актеръ такого громаднаго дарованія, какъ Сальвини, въ роли Макбета и особенно Отелло, могъ бы, дѣйствительно, превосходно иллюстрировать Шекспира, но тотъ же Сальвини въ роли Гамлета совсѣмъ для этого не годился бы, не смотря на все свое мастерство, просто потому, что онъ слишкомъ старъ для Гамлета. Въ Отелло и Макбетѣ недостатокъ этотъ совершенно исчезаетъ въ гримировкѣ, которая по самому свойству облика Гамлета очень мало въ этомъ послѣднемъ случаѣ помогаетъ. Въ театрѣ, благодаря всей обстановкѣ, сценическая иллюзія до извѣстной степени заставляла забывать этотъ недостатокъ, но въ фотографіи, безцвѣтной, безмолвной, неподвижной и въ тоже время передающей каждый изъяснъ, налагаемый возрастомъ, Сальвини не могъ бы служить моделью для иллюстраціи Гамлета. Это частности, конечно, и г. Шапиро, вообще говоря, всетаки правъ относительно *геніальнаго* актера. Но геніальные актеры не особенно часто попадаются, что, повидимому, г. Шапиро совсѣмъ упустилъ изъ виду. Онъ говоритъ: «Иллюстраціи великихъ произведеній дѣло не легкое: для надлежащаго воссозданія образовъ, созданныхъ писателемъ, отъ художника требуется, кромѣ высокаго дарованія, еще глубочайшее проникновеніе въ духъ писателя. Въ художникахъ не часто встрѣчается совпаденіе этихъ двухъ качествъ—таланта и основательнаго изученія произведеній писателя. Вотъ отчего, быть можетъ, многіе изъ извѣстныхъ иллюстраторовъ поражаютъ въ своихъ рисункахъ болѣе произволомъ собственной фантазіи, чѣмъ истиннымъ пониманіемъ иллюстрированныхъ ими писателей». Это такъ, положимъ, но все это еще въ гораздо большей степени относится къ актерамъ. Г. Шапиро, я полагаю, не замедлитъ въ этомъ убѣдиться, когда приступитъ къ изданію «Горы отъ ума» и «Ревизора» (онъ общается это) по тому же способу, по какому издалъ «Записки сумасшедшаго». При всемъ моемъ уваженіи къ русской драматической труппѣ, я не думаю, чтобы среди нея были актеры, способные иллюстрировать «Гору отъ ума» и «Ревизора» лучше, менѣе «произвольно» и съ большимъ «проникновеніемъ», чѣмъ это могутъ сдѣлать наши художники. Затѣмъ остается еще прибавить, что фотографіи г. Шапиро превосходны, и на этомъ можно покончить съ издательской стороной дѣла.

Обратимся къ г. Андрееву-Бурлаку. Г. Стасовъ, по обыкновенію, «пораженный талантливостью и правдивостью г. Андреева-Бурлака» и «великими совершенствами» его въ роли Поприщина (простое совер-

* 1884, февраль.

шенство для г. Стасова слишком скромно), отличается одно очень любопытное обстоятельство. Самъ Гоголь никогда не думалъ о постановкѣ «Записокъ сумасшедшаго» на сцену, хотя, какъ извѣстно изъ исторіи «Ревизора», очень интересовался сценой и понималъ дѣло. Затѣмъ, сколько у насъ было до сихъ поръ драматическихъ художниковъ, обладавшихъ великими талантами, глубоко любившими и передававшими Гоголя, и все-таки они никогда не думали взять на сцену тоже и Поприщина. Щепкинъ, Садовскій, Мартыновъ, Васильевъ—какой они дали изумительный рядъ гоголевскихъ личностей». Въ особенности занимаетъ г. Стасова Мартыновъ, которому, при всемъ его проникновеніи духомъ Гоголя «не пришло въ голову взять и эти поразительныя сцены, которымъ нѣтъ нигдѣ равныхъ во всемъ европейскомъ театрѣ». Въ самомъ дѣлѣ, это любопытно. Ни самому Гоголю, ни его другу Щепкину, ни Мартынову, ни, наконецъ, даже г. Стасову, нигдѣ такъ смѣло утверждающему, что во всемъ европейскомъ театрѣ нѣтъ ничего равнаго «Запискамъ сумасшедшаго» г. Андреева-Бурлака, никому не приходило въ голову поставить «Записки» на сцену, а г. Андреевъ-Бурлакъ догадался. Г. Стасовъ во всемъ этомъ только и видитъ догадливость г. Бурлака и недогадливость Гоголя, Щепкина, Садовскаго, Мартынова, Васильева, а я думаю, что вопросъ выходить нѣсколько сложнее. Не спорю насчетъ догадливости г. Андреева-Бурлака. Это значило бы судить Манлія въ виду Капитолія: г. Бурлакъ имѣетъ успѣхъ, значитъ, догадался. Но меня смущаетъ и скептически настроиваетъ недогадливость цѣлаго ряда другихъ, несомнѣнно компетентѣйшихъ лицъ. Не оттого ли компетентные люди не ставили «Записокъ» на сцену, что ихъ нельзя или, по крайней мѣрѣ, не слѣдуетъ ставить? Можетъ быть, г. Андреевъ-Бурлакъ только догадливъ, а Гоголь, Щепкинъ, Садовскій, Мартыновъ обладали эстетическимъ чутьемъ? Мнѣ кажется вполне законнымъ поставить этотъ вопросъ, даже не мелькнувшій передъ умственнымъ взоромъ г. Стасова.

Г. Стасовъ называетъ «Записки сумасшедшаго» гениальнымъ произведеніемъ. На это можно возразить гоголевскимъ же изреченіемъ. Александръ Македонскій былъ, конечно, великій герой, но затѣмъ же стулья ломать? Гоголь былъ великій писатель, но затѣмъ же безъ смысла расточать выспренніе эпитеты?

Титулярный совѣтникъ Поприщинъ страдаетъ маніей величія. Кто читалъ хотя бы самыя общія и элементарныя сочиненія по психіатріи, тотъ знаетъ, что перипетіи этой болѣзни изображены въ «Запискахъ сума-

шедшаго» совершенно произвольно и отнюдь не соответственно дѣйствительному ея ходу. Гоголь не имѣлъ ни тѣхъ вѣдѣйшихъ знаній, которыя нужны для точнаго воспроизведенія душевнаго разстройства, ни того внутренняго опыта, который позволялъ, напримѣръ, разстроенному духу Достоевскаго рисовать разстроенный духъ иногда съ изумительнымъ мастерствомъ. Да и едва-ли Гоголь имѣлъ въ виду что-нибудь подобное. Во всякомъ случаѣ, въ памяти потомства и въ исторіи литературы «Записки сумасшедшаго» остаются отнюдь не въ качествѣ психіатрическаго этюда. Блестки несравненнаго юмора, разсыпанныя вдоль и поперекъ «Записокъ», увѣковѣчили Поприщина въ качествѣ типа маленькаго человѣка, возникшаго о себѣ послѣ цѣлаго ряда годовъ сѣренькой, жалкой канцелярской жизни и завравшагося до мартабры. Самый этотъ мартабрь знаменитый никѣмъ не принимается au sérieux, какъ подлинная черта разстроеннаго духа. Всякій понимаетъ, что это только остроуміе и литературный приемъ, и слѣдуетъ, можетъ быть, даже пожалѣть, что Гоголь избралъ для исторіи Поприщина именно эту рискованную форму. Заставить человѣка говорить или писать вадоръ, еще не значитъ нарисовать сумасшедшаго, но остроумное слово и въ этихъ произвольныхъ рамкахъ остается остроумнымъ, а изъ подъ произвольно нагроможденныхъ подробностей якобы сумасшествія, все-таки выглядываетъ извѣстный житейскій типъ.

Теперь посмотрите, что изъ этого выходитъ у г. Андреева-Бурлака. Я не видалъ его на сценѣ. Видѣлъ разъ въ далекомъ захолустьѣ проѣзжую группу бездарныхъ актеровъ, изъ которыхъ одинъ, въ подражаніе московской знаменитости, тоже читалъ «Записки сумасшедшаго» «въ костюмѣ». Это было отвратительно, конечно, благодаря бездарности актера. Г. Бурлакъ, говорятъ, человѣкъ талантливый, но судить объ его исполненіи я могу только по изданному альбому г. Шапиро.

Раскрывая альбомъ на любой страницѣ, вы видите человѣка въ бѣлѣхъ и больничномъ халатѣ и колпакѣ; онъ стоитъ и сидитъ въ разныхъ позахъ, но все или на больничной кровати или возлѣ нея, а надъ кроватью виситъ дощечка съ надписью: «Андреевъ-Бурлакъ. Mania grandiosa». Что это значитъ? Почему Андреевъ-Бурлакъ, объ которомъ Гоголь никогда не помышлялъ, а не Поприщинъ, Гоголемъ созданный? Мнѣ кажется, одной этой надписи на дощечкѣ больничной кровати достаточно, чтобы видѣть, какъ произвольно обращается г. Бурлакъ съ Гоголемъ и какъ онъ не только не «проникся духомъ», но вовсе и не намѣренъ

проникаться: пусть тамъ у Гоголя Поприщинъ, а г. Бурлакъ самъ по себѣ! И дѣйствительно, эта надпись есть только девизъ, только символъ всего лицедейства г. Бурлака. У Гоголя «Записки сумасшедшаго» представляютъ дневникъ, въ которомъ извѣстный житейскій типъ неправильно утопленъ въ произвольно нагроможденныхъ подробностяхъ сумасшествія. Въ исполненіи г. Бурлака неправильность эта еще усугубляется, а типъ совершенно исчезаетъ, отчего несообразности «Записокъ», выступая еще рѣзче, лишаются уже всякаго оправданія. У Гоголя Поприщинъ дѣйствительно идетъ въ департаментъ и тамъ подписываетъ на бумагѣ: «Фердинандъ VIII». А по г. Бурлаку, приковавшему Поприщина къ больничной кровати на все время дѣйствія, ничего этого въ дѣйствительности не было, потому что нельзя же идти въ департаментъ изъ больницы и въ халатѣ и въ колпакѣ добратся до своего обычнаго мѣста, получить бумагу для подписи и проч. Свалить весь этотъ эпизодъ на галлюцинацію нельзя, ибо это значило бы росписаться въ совершенномъ непониманіи существа и хода болѣзни. Иллюстраторъ художникъ поступилъ бы, конечно, не такъ. Онъ нарисовалъ бы подлинную сцену въ департаментѣ, и несчастный Поприщинъ въ вицъ-мундирѣ и со всѣми типическими, годами наложенными на него чертами мелкаго чиновника, но уже больной маніей величія, предсталъ бы настоящимъ гоголевскою фигурою среди толпы изумленныхъ, испуганныхъ, насмѣхающихся товарищей. Мы увидѣли бы тогда типъ человѣка подневольнаго, ничтожнаго, погрязшаго, вытерпѣвшаго много униженій и ими, можетъ быть, именно, ввергнутаго въ это сумасбродство величія. А г. Бурлакъ даетъ намъ просто «сумасшедшаго» въ томъ совершенно неопредѣленномъ смыслѣ, какой связываетъ съ этимъ словомъ большинство публики, и при этомъ даже, такъ сказать, въ мундирѣ сумасшествія, въ больничномъ халатѣ и колпакѣ. Такимъ образомъ, все жизненное, серьезное, правдивое, что есть у Гоголя, г. Бурлакъ смазываетъ, а все произвольное и фальшивое подчеркиваетъ и усугубляетъ.

Г. Бурлакъ изображаетъ «Записки сумасшедшаго», безъ сомнѣнія, съ значительными купюрами, потому что все подъ рядъ рѣшительно не поддается сценическому изображенію, а мнѣ было бы очень любопытно знать, что именно онъ выпускаетъ. Насколько можно судить по альбому, пропуски эти опять же очень мало говорятъ въ пользу «проникновенія» г. Бурлака. Помните-ли вы тотъ моментъ, когда Поприщинъ прямо изъ департамента приходитъ въ директорскую квартиру, пробирается въ уборную и

видитъ тамъ «ее» передъ зеркаломъ? Для иллюстратора-художника это моментъ въ высшей степени благодарный. Замухрышка Поприщинъ, котораго «она» никогда не замѣчала, и который могъ только съ своей жесткой подушкой дѣлаться безумными мечтами объ «ней», сохраняя опять-таки весь выработанный долгимъ сидѣніемъ въ канцеляріи обликъ, входитъ въ уборную съ тайною въ душѣ. Онъ входитъ, можетъ быть, гордый и величественный, можетъ быть, по старѣй памяти и привычкѣ, приниженный, но едва сдерживающій хитрую улыбку, можетъ быть, страшно взволнованный и готовый получить награду за все свое ничтожное, жалкое, унижительное прошлое; можетъ быть, наконецъ, всѣ эти душевные движенія быстро смѣняются другъ друга на его морщинистомъ, геморроидальнаго цвѣта лицѣ. Намъ говорятъ, что въ томъ-то и состоитъ преимущество актерско-фотографической иллюстраціи, что она можетъ дать цѣлый рядъ позъ и выраженій, принимаемыхъ дѣйствующимъ лицомъ драмы въ характерный для него моментъ. Что же мы получаемъ отъ г. Андреева-Бурлака, «великое совершенство» котораго рѣшено и подписано г. Стасовымъ? Человѣкъ въ халатѣ и колпакѣ стоитъ возлѣ больничной кровати съ разставленными руками и бессмысленной улыбкой на лицѣ. Почему это Поприщинъ, а не Ивановъ, Сидоровъ, Петровъ? Да это и не Поприщинъ вовсе, а г. Андреевъ-Бурлакъ, какъ значитъ на дощечкѣ, г. Андреевъ-Бурлакъ, нарядившійся «сумасшедшимъ». Изамѣтьте, что этою единственною позою исчерпывается весь эпизодъ въ уборной. Затѣмъ слѣдуетъ семь карточекъ, изображающихъ Поприщина во время его вадорныхъ разсужденій объ томъ, что женщина влюблена въ чорта, что честолюбіе есть маленькій пузырькъ подъ языкомъ и т. д. Весь этотъ вадоръ навѣянъ свиданіемъ въ будуарѣ, но это, во всякомъ случаѣ, просто вадоръ, насколько не характерный ни для Поприщина, ни для его болѣзни. Однако, для этой ненужной чепухи г. Бурлакъ позируетъ семь разъ, а для момента свиданія—одинъ. Опять, значитъ, фальшивую психіатрію Гоголя г. Андреевъ-Бурлакъ подчеркиваетъ и усугубляетъ, а истинное, цѣнное зерно «Записокъ» смазываетъ.

Какъ же все это такъ странно, такъ, можно сказать, совсѣмъ навыворотъ вышло? Я думаю вотъ какъ. Началось, вѣроятно, съ публичнаго чтенія. Г. Андреевъ-Бурлакъ, надо думать, хорошій, то-есть выразительный чтецъ и вмѣстѣ, съ тѣмъ, плохо понимаетъ Гоголя. Ему случилось, вѣроятно, производить впечатлѣніе публичнымъ чтеніемъ «Записокъ сумасшедшаго», вызывать громкій

смѣхъ подчеркиваніемъ юмористическихъ блесковъ, и слезы, или, по крайней мѣрѣ, соответственное настроеніе такимъ же подчеркиваніемъ лирическихъ и трагическихъ мѣстъ. Замѣтивъ, что ему удастся играть на нервахъ зрителей или слушателей, г. Андреевъ-Бурлакъ соблазнился мыслью усилить эту игру. Это совершенно натурально. Образъ несчастнаго Поприщина, цѣною разсудка купившаго себѣ фантастическое счастье, этого гоголевскаго образа г. Андреевъ-Бурлакъ не возсоздалъ передъ слушателями, потому что и самъ не понималъ и не чувствовалъ его. Но безподобный гоголевскій юморъ и раздражительные вопли сумасшедшаго, которому льютъ на голову холодную воду, были въ распоряженіи чтеца. Онъ и пускалъ ихъ въ ходъ, теребя нервы слушателей, но не доводя этого нервнаго тока до «порога сознанія». Подобная трепка нервовъ натурально должна идти все crescendo, потому что въ противномъ случаѣ нервы, какъ говорится, притупятся. Но какъ же усиливать игру? Всею громче кричать: «Матушка, спаси своего бѣднаго сына!» и всего смѣшливѣе и смѣшнѣе: «а знаете-ли, что у алжирскаго деа подъ самымъ носомъ шишка?» А потомъ? Очевидно—«нарядиться» сумасшедшимъ. Этотъ «костюмъ» подсказывается прямо заглавіемъ «Записокъ сумасшедшаго» и косвенно—непониманіемъ ихъ содержанія. Но этого мало. Я обращался къ специалистамъ по психіатріи, видѣвшимъ альбомъ г. Шапиро и исполненіе г. Андреева-Бурлака на сценѣ, съ просьбою сообщить мнѣ свое мнѣніе. Оказывается, что съ психіатрической точки зрѣнія исполненіе ниже всякой критики. «Г. Бурлакъ, пишетъ мнѣ въ заключеніе мой корреспондентъ:—актеръ, не имѣющій никакого понятія о томъ, какъ выражаются различныя ощущенія душевно-больными». Можетъ быть, и даже вѣроятно, это должно быть до известной степени отнесено насчетъ фальшивой и произвольной психіатріи самого Гоголя, но, къ сожалѣнію, я уже не имѣю времени наводить дальнѣйшія справки. Мимоходомъ сказать, было бы очень любопытно и поучительно выслушать мнѣнія психіатровъ о тѣхъ явленіяхъ русской литературы, которыя подлежатъ вѣдѣнію ихъ специальности.

Итого: живой типъ Поприщина уже у самого Гоголя обремененъ ненужной и произвольной психіатріей; иллюстраторъ, г. Андреевъ-Бурлакъ, не только не исправилъ этого недостатка, но еще усилилъ его, ибо въ его исполненіи происходитъ тоже самое, что во снѣ Фараона: тощія коровы поѣдаютъ тучныхъ; таковъ, повидимому, неизбежный результатъ сценическаго изображенія «Записокъ сумасшедшаго», почему ни самъ

Гоголь, ни, дѣйствительно, изъ ряда вонъ выходящіе актеры никогда объ этомъ и не помышляли. Приковавъ Поприщина къ кровати душевно-больного на все время дѣйствія, г. Андреевъ-Бурлакъ не показалъ типа Поприщина, но и сумасшедшаго изобразилъ отнюдь не правдиво. А между тѣмъ, г. Бурлакъ, какъ говорятъ и пишутъ въ газетахъ, имѣлъ огромный успѣхъ, вызывая настоящія слезы, потрясая...

Представьте себѣ, что почтенный профессоръ г. Орестъ Миллеръ, давно уже посягающій на лавры публичнаго чтеца по профессіи, оставаясь при теперешней своей плохой, хотя и подчеркивающей манерѣ чтенія стиховъ, явится въ одинъ прекрасный день на эстраду, загримированный, скажемъ, Пушкинымъ: надѣнетъ курчавый парикъ, наклеитъ извѣстныя характерныя бакенбарды и проч. Это будетъ художественное новшество, вполнѣ бессмысленное и для эстетическаго чувства оскорбительное, но я не поручусь, что г. Стасовъ не найдетъ въ немъ «великаго совершенства», и что публика не растрогается, если только г. Миллеръ сумѣетъ быть не окончательно комичнымъ въ пушкинскомъ парикѣ, что, конечно, мудрено. Растрогается публика не оттого, разумѣется, что ей съ ясностью предстанетъ образъ поэта (ибо передъ ней будетъ все-таки только ряженый г. Миллеръ), напротивъ, произойдетъ такое щекотаніе нервовъ, которое окажется самодовлѣющимъ, ни во что высшее не разрѣшающимся.

Представьте себѣ еще акробата, совершающаго лишенныя всякаго смысла, но головокружныя упражненія. Онъ летаетъ вверхъ, летаетъ внизъ, виситъ на зубахъ, падаетъ съ пятисаженной высоты на сѣтку и проч. Все это совершенно безосмысленно, но нервы зрителей тѣмъ не менѣе найдутся въ величайшемъ напряженіи; публика съ замيرانіемъ сердца слѣдитъ за шутками акробата, и акробатъ имѣетъ успѣхъ.

Въ такомъ же родѣ, я думаю, и успѣхъ г. Андреева-Бурлака. Онъ пилитъ нервы зрителей и слушателей дикими воплями, раддираніемъ на себѣ рубашки, всѣмъ своимъ видомъ сумасшедшаго въ балахонѣ; пилитъ настолько удачно, что «самъ плачетъ и мы всѣ рыдаемъ», но все это возбужденіе нервами и ограничивается, не слагаясь въ мозгу въ типическій образъ Поприщина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не давая и правдиваго понятія о душевной болѣзни. Зрители уходятъ изъ театральнаго зала съ безпредметно и безцѣльно потрясенными нервами, и если вынесли что-нибудь иное, такъ два фальшивыя представленія: о Поприщинѣ и о душевно-больномъ человѣкѣ. Передъ ними жестикуютъ, кричатъ, плакаютъ, смѣялся

не гоголевскій типъ и не психіатрическій субъектъ, а просто рязанный г. Андреевъ-Бурлакъ, какъ справедливо значится на дощечкѣ больничной кровати. Меня очень мало интересуетъ самъ по себѣ г. Андреевъ-Бурлакъ (только за Гоголя немножко обидно), но представленія его показались мнѣ поучительными, какъ наглядный образчикъ той произвольной и ненужной психіатріи, которая и въ литературѣ часто затопляетъ собою болѣе или менѣе цѣнный подлинный житейскій матеріалъ.

Мнѣ хочется поговорить о двухъ молодыхъ талантливыхъ беллетристахъ, недавно выпустившихъ сборники своихъ произведеній— «М. Альбовъ. Повѣсти», «К. Баранцевичъ. Подъ гнетомъ. Повѣсти и рассказы». Во извѣжаніе недоразумѣній, скажу прежде всего, что вышеприведенныя разсужденія объ успѣхѣ г. Андреева-Бурлака уже потому не могутъ имѣть отношенія къ гг. Альбову и Баранцевичу, что оба они отнюдь не пользуются тѣмъ успѣхомъ, какой приличествуетъ ихъ талантиности и нравственному содержанію ихъ писаній, и какой, я надѣюсь, ждетъ ихъ въ будущемъ. Но оба они заражены тою психіатрической фальшью, которую г. Бурлакъ, благодаря своему актерству, довелъ до той степени грубой наглядности, для какой спартапцы употребляли ягнатовъ. Заражены далеко не въ одинаковой степени, но поэтому-то ихъ особенно интересно поставить рядомъ.

Гг. Альбовъ и Баранцевичъ не весело смотрятъ на окружающую ихъ жизнь. Оно и натурально: хорошаго мало, съ какой точки зрѣнія ни взглянуть на все, что кругомъ дѣлается. Но именно потому, что точки зрѣнія эти многочисленны и разнообразны, для уясненія писательскихъ фізіономій гг. Альбова и Баранцевича было бы очень важно опредѣлить, какія стороны жизни ихъ мрачно настраиваютъ, «гнетутъ» ихъ. Не ихъ лично, разумеется, потому что, поскольку ихъ мрачный взглядъ проистекаетъ изъ какихъ-нибудь личныхъ причинъ, это дѣло біографа, а не критика. Надо замѣтить, что оба названные писателя, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ своихъ произведеніяхъ, которыя вошли въ сборники (а другихъ я не знаю или не помню), являются отнюдь не представителями какого-нибудь опредѣленнаго общественнаго теченія; они заняты исключительно изображеніемъ личной жизни, личныхъ помысловъ и чувствъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Можетъ, поэтому, показаться, что нечего ихъ и разспрашивать, нечего доискиваться, почему *общій* колоритъ окружающей жизни представляется имъ такимъ мрачнымъ и тяжелымъ. Но это не такъ. Художникъ, влекомый своимъ талантомъ къ изображенію

чисто личныхъ страданій и горестей, можетъ не сходить съ этой почвы, но критикъ или, вообще, посторонній наблюдатель можетъ подвести его изображеніямъ итогъ и найти въ нихъ то общее и общественное, что безсознательно живетъ въ душѣ самого художника. По одной какой-нибудь повѣсти, изображающей невзгоды, скажемъ, Сидора Сидорыча, не всегда, конечно, можно судить объ томъ, какой типъ людей или людскихъ отношеній занимаетъ художника, а, слѣдовательно, и объ томъ, какія стороны жизни «гнетутъ» его, но гг. Альбовъ и Баранцевичъ издали по цѣлому сборнику своихъ произведеній. Въ цѣломъ эти сборники непременно должны заключать въ себѣ отвѣтъ на вопросъ, почему авторы такъ мрачно смотрятъ на жизнь. Потому что, вы понимаете, если Сидоръ Сидорычъ испытываетъ даже страшнѣйшія мученія, то можно скорбѣть лично за него, искать для него способовъ избавленія, плакать, сочувствовать, все, что хотите, но нѣтъ резона смотрѣть омраченнымъ взглядомъ на окружающую жизнь въ цѣломъ. Этотъ взглядъ требуетъ особаго оправданія и непременно имѣть его. Можетъ быть, оправданіе это, на судъ посторонняго человѣка, окажется неудовлетворительнымъ, но оно должно существовать, какъ фактъ, сознательно или безсознательно руководящій художникомъ.

Г. Альбовъ ссылается гдѣ-то на Достоевскаго въ томъ смыслѣ, что находилъ же, дескать, Достоевскій своеобразное наслажденіе въ мученіяхъ зубной боли. Но и безъ этой прямой ссылки всякій признаетъ въ г. Альбовѣ ученика Достоевскаго по манерѣ и приемамъ, а отчасти и по сюжетамъ его писаній. Изъ его «Дня итога» такъ и сквозятъ по очереди: то «Двойникъ», то «Записки изъ подполья», то «Преступленіе и наказаніе». Фигура героя, его отношенія къ людямъ, наконецъ, цѣлыя сцены навѣяны Достоевскимъ, а во многихъ мѣстахъ чуть не прямо заимствованы.

Содержаніе этого «психіатрическаго этюда», какъ называетъ свой разсказъ самъ авторъ, состоитъ въ томъ, что нѣкоторый человѣкъ, Петръ Петровичъ Глазковъ, утопился. Это и есть его «день итога». Ночью, скажемъ, съ понедѣльника на вторникъ, разсказъ открывается, а во вторникъ ночью Петръ Петровичъ бросается въ Неву. И, однако, этотъ «день» растянулся у нашего автора ровно на семь печатныхъ листовъ. Достигается это тѣмъ, во-первыхъ, что немногочисленные событія собственно «дня итога» переиждены съ воспоминаніями и разсказами заднимъ числомъ, отчего происходитъ такая путаница, что временами вы должны перевернуть нѣсколько страницъ

назадъ, дабы справиться: это когда же происходитъ? въ день итога или за годъ до него? Путаница усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что Петъ Петровичъ Глазковъ постоянно галлюцинируетъ или, по крайней мѣрѣ, бредитъ, и нужно иногда значительное напряженіе, чтобы помнить, что такая-то, напряміръ, встрѣча происходитъ въ дѣйствительности и не есть галлюцинація, а такая-то есть лишь созданіе больныхъ чувствъ. Все это, въ преувеличенномъ видѣ, недостатки Достоевскаго, который тоже (и тою же цѣною) любилъ растягивать нѣсколько дней въ цѣлые романы. Затѣмъ огромное мѣсто въ «Днѣ итога» занимаетъ подробнѣйшее описаніе душевной жизни героя—и здѣсь влияние Достоевскаго становится до такой степени сильно, что какъ-то даже неловко за автора.

«Психіатрическій этюдъ» начинается такимъ обращеніемъ: «Ну, такъ какъ же, господинъ Глазковъ? Вы все таки никакъ не согласны? Да ждете же вы, противъ самаго себя ждете! Вы, вотъ, все хотите тѣмъ ни на есть мнѣ глаза отвести... Полноте, что вы-съ! Вѣдь вы же, все равно, согласитесь, тѣмъ кончится, *должно* тѣмъ кончиться—не знаю я, что-ли, вастъ? Ну, вотъ, вздохнули теперь... Полно ломаться-то, братъ, мы съ тобою вѣдь старые пріятели! Ужъ ссорится-то намъ не приходится. Ну, согласенъ, что-ли? Я жду». Изъ дальнѣйшаго оказывается, что это разговариваетъ не какое-нибудь реальное лицо, а объективированный внутренний голосъ самаго Глазкова; нѣчто въ родѣ знаменитаго «демона» Сократа. Съ тою, однако, важною разницею, что демонъ греческаго мудреца былъ божественнаго происхожденія и всегда желалъ добра Сократу, тогда какъ демонъ Глазкова злъ, насмѣшливъ, постоянно пугаетъ и терзаетъ героя и толкаетъ его на самоубійство. Это состояніе раздвоеннаго *я* Достоевскій, по необузданной жестокости своего таланта, довелъ въ «Двойникѣ» до полной реальности демона, до воплощенія его въ настоящаго, второго господина Голыдына. Г. Альбовъ, по счастью, такъ далеко не пошелъ, но влияніе «Двойника» все-таки несомнѣнно.

Между прочимъ, демонъ Глазкова шепчетъ ему: «Собственно, ты аномалія, несоединимое сочетаніе стремленій орла съ суммою силъ божьей коровки; такъ это есть и пере-мѣнить ты не можешь». Правъ-ли демонъ въ этой своей характеристикѣ, или онъ, толкая Глазкова въ Неву, говорить это для пущей язвительной доказательности, объ этомъ читатель судить не можетъ, потому что въ самомъ разсказѣ рѣшительно не видать орлиныхъ стремленій. Видно только,

что Глазковъ человѣкъ, во-первыхъ, больной, а во-вторыхъ, злой до совершенно безцѣльной жестокости. За годъ до «дня итога», съ Глазковымъ случилось несчастіе, довольно, впрочемъ, обыкновенное: дѣвушка, которую онъ любилъ, и которая, какъ ему, совершенно, впрочемъ, неосновательно, казалась, тоже его любила, вышла замужъ какъ разъ въ то время, когда онъ собирался предложить ей руку и сердце. Это глубоко ранило нашего героя. «До *того* у него еще были разныя цѣли, стремленія, минутами вѣра въ себя; послѣ *того* онъ махнулъ рукой на все. Катастрофа показала ему, что онъ раньше все время карабкался на стѣну, и вотъ онъ опустилъ руки, присѣлъ... Точно изнутри его вынули какой-то жизненный нервъ... Онъ тогда сладостно-злбно началъ порывать всѣ старыя связи, при встрѣчахъ съ знакомыми пересталъ даже кланяться. То было какое-то смутное метаніе въ пустынь». Но пришла весна, а рядомъ съ Глазковымъ занимала комнату швея, Катя Ершова. Разъ вечеромъ сидѣли они вѣстовъ и вдругъ, какъ-то совсѣмъ нечаянно, случилась такая, что Глазковъ на другой день вопіялъ: «Что я надѣлалъ! Боже, Боже, что я надѣлалъ?!» Нечаянно возникшія отношенія тянулись недолго. Разъ Глазковъ явился въ комнату къ Катѣ. «Завтра я переѣзжаю!» мрачно и какъ-то злбно отрѣзалъ онъ ей, что называется, съ бацу. И переѣхалъ, а переѣхавши, разсуждалъ такъ:

«Истерзалъ и надулъ, ударилъ воровскииъ, подлилъ образокъ! И отлично! чѣмъ поддѣй, тѣмъ лучше! Она теперь, можетъ, мучится... Превосходно! Пусть это покажетъ ей, съ кѣмъ она дѣло имѣла... Это будетъ глѣзартствомъ. Вы вотъ пламенѣли, обожали, въ идеалъ производили, пожалуй, всякія тамъ безкорыстныя чувства на алтарь любви приносили, а вотъ теперь понюхайте, чѣмъ кумиръ-то вашъ пахнетъ... Хорошо? Такъ-то, Катенька! Можетъ, сами потомъ еще мнѣ спасибо скажете, когда поймете, что все въ Вавилонѣ нашемъ превратно. А то интрижка съ студентомъ—экая дичь! Можетъ, вѣдь, счастье вамъ предстоить!.. Вдругъ этакъ обогтусъ какой-нибудь наклоннется съ деньгами. Прелестное дѣло! Скажете, небось, не возьмете? Не беспокойтесь, возьмете! Лучше, чѣмъ за работою-то такъ убиваться... Возьмете! На то Вавилонъ!»

Катя приходитъ навѣстить Глазкова на новой квартирѣ. Онъ обходится съ ней крайне грубо, объясняя свое поведеніе такъ: «Жестокость нужна! Развѣ хирургъ обращаетъ вниманіе на боль, когда рѣжетъ? Компромиссы, уступки—все это слабость». Однако, встрѣтивъ потомъ Катю на улицѣ, Глазковъ размякаетъ, но вслѣдъ затѣмъ опять обожается и раздражается громовою рѣчью:

«Онъ вскочилъ съ подоконника и стоялъ посреди комнаты, трясаясь все больше и больше,

поднимаемый какимъ-то упоеніемъ злобы. Катя, присѣвшая было на диванъ, тоже стояла теперь противъ него, вся помертвѣвъ, безъ кровинки на лицѣ.

«—Да, и я скажу, я скажу, наконецъ! Благо вы опять прилетѣли, нѣжная голубица, къ своему голубку. Квартира поближе! Ха! Удобнѣй цѣловаться и миловаться. Еще бы! О, чортъ! Что до того, что я отъ васъ тогда съ квартиры сбѣжалъ? Пустое! А когда, не смотря на то, вы всетаки ко мнѣ придрали, оттуда, съ Песковъ, и я васъ прогналъ отъ себя... Это тоже вѣдь вздоръ! Экая важность! Бѣснуется чудной человекъ, самъ не зная съ чего. А правда-то, правда всетаки надо мной вы имѣете! Вѣрно, вѣдь, Катенька? Такъ вѣдь я и самъ это знаю! Вѣдь самъ же я своими руками нахѣлъ петлю на себя въ ту несчастную ночь... будь она проклята! И, что всего хуже въ этой подлой игрѣ, я вѣдь и дѣйствительно по рукамъ и ногамъ въ вашей власти. Хоть бы поведѣть-то какой вы мнѣ дали васъ оскорбить... еслибъ я хоть единое рѣзкое слово отъ васъ услышалъ... а то и этого нѣтъ, вѣдь даже и этого нѣтъ! Отъ васъ только покорность и преданность рабская, и любовь безкорыстная, и всякая штука... вѣдь вотъ въ чемъ вся подлость, въ чемъ ваша-то сила!.. Она-то и рѣжетъ хуже ножа, жиламъ вытягиваетъ. Пойми же, пойми же ты, наконецъ, что мнѣ не въ терпѣнь!.. Я скоро съ ума сойду! Нѣтъ мучительнѣйшей пытки. Сносить твои нѣжности и не имѣть даже духу сказать тебѣ прямо въ глаза, что я тебя ненавижу! ненавижу! ненавижу!»

Это было наканунѣ «дня итога», а въ самый этотъ роковой день Глазковъ просилъ у Кати прощеніе. Онъ говорилъ: «Оскорбить, оплевать тебя какъ можно больнѣе, жесточе—вотъ что у меня было въ виду, и къ этому я даже готовился, цѣлыхъ два дня готовился и думалъ объ этомъ, наслаждался впередъ». Объясненіе же такому дикому поведенію Глазковъ даетъ слѣдующее: «Я знаю, ты душу готова положить за меня, ненужно этого, совсѣмъ ненужно! Не могу я принять ни чьей жертвы; она мнѣ насмѣшкой, оскорбленіемъ кажется, потому что я самъ себя ненавижу! Пойми же ты мое положеніе: сознавать себя за ничтожество, презирать на каждомъ шагѣ—и принимать поклоненія... О, Господи! Это сверхъ силъ! У меня вѣдь всетаки честность-то, по крайней мѣрѣ, осталась, совѣсти-то хоть капелька есть!»

Итакъ, вотъ мотивы злобой жестокости Глазкова: во-первыхъ, мотивъ, такъ сказать, хирургическій — кончить сразу отношенія, которыя иначе все равно кончились бы, но послѣ лишнихъ мученій; во-вторыхъ, мотивъ чисто личнаго свойства — Глазковъ такъ глубоко сознаетъ свое ничтожество, что его до озлобленія оскорбляетъ поклоненіе, преданность, вѣра въ него. Но съ Глазковымъ былъ вотъ еще какой случай въ тотъ же роковой день итога. Встрѣтилъ онъ въ Румянцевскомъ скверѣ, повидимому, мѣщаночку, оскорбленную любовникомъ и потому съ горя выпившую. Разговоръ начался съ того, что женщина попросила у нашего героя за-

щиты отъ приставаній какого-то уличнаго донъ-Жуана, а потомъ, будучи навеселѣ, стала въ запутанныхъ словахъ излагать свое горе, упомянувъ мимоходомъ, что такъ полна имъ, этимъ горемъ, что вотъ сегодня «даже ничего и не ѣла». Глазковъ, съ своей стороны, судилъ такъ, что передъ нимъ «беззащитное, въ полномъ, трагическомъ смыслѣ, беззащитное существо, одно среди холоднаго беззащитнаго города». И вдругъ—

«внутри Глазкова шевельнулось желаніе сдѣлать что-то такое, совсѣмъ неожиданное; желаніе пока еще смутное, но настойчивое дикое, сумасшедшее желаніе, которое охватило его предвѣщеніемъ особеннаго, жгучаго наслажденія. Онъ даже началъ дрожать...»

— Господи, какъ это хорошо, что я встрѣтила васъ! Вѣдь это, должно быть, судьба... Какъ это странно: совсѣмъ васъ не знаю, а между тѣмъ, точно сижу я съ самымъ лучшимъ знакомымъ... Вы, кажется, такой отличный и добрый... ей-Богу! Кто бы другой съ такимъ участіемъ...

Глазковъ вдругъ захохоталъ.

— Ну, еще бы! Знаете что? Вы вотъ, говорите, не ѣли... въ карманѣ, значитъ, тово... Что если я вамъ предложу... (Онъ приостановился и пристально, жадно слѣдилъ за выраженіемъ ея лица). Пойдемте въ номеръ со мной! У меня въ карманѣ, кажется, пятишница есть... А? для перваго дебюта отлично! Надо же когда-нибудь вамъ начинать...

Онъ смотрѣлъ и ждалъ что будетъ. Сперва она широко открыла глаза, вѣроятно, не сразу появивъ, потомъ вдругъ отшатнулась... И, странное дѣло, въ эту минуту, этимъ оцѣпенѣвшимъ взглядомъ и всѣмъ выраженіемъ лица она ему ужасно напомнила Катю Ершову въ тотъ памятный вечеръ, когда онъ сразилъ ее неожиданной выходкой.

Въ этомъ эпизодѣ хирургическій мотивъ не могъ имѣть мѣста, потому что не было никакой надобности въ операціи: произошла только случайная уличная встрѣча. Что касается мотива личнаго, то еслибы онъ даже подлежалъ оправданію по существу, то вѣдь незнакомка никакого поклоненія и преданности г. Глазкову не обнаружила. Правда, она назвала его «отличнымъ и добрымъ», но уже раньше этихъ будто бы ужасно оскорбительныхъ словъ Глазковъ почувствовалъ «дикое, сумасшедшее желаніе, которое охватило его предвѣщеніемъ особеннаго, жгучаго наслажденія». Вотъ въ этомъ то жестокое наслажденіе мучительства, самоудовлѣщеніемъ и въ себѣ самомъ единственный мотивъ заключающемся, все дѣло. Глазковъ есть точная копія съ героя «Записокъ изъ подполья» Достоевскаго, который (Достоевскій) такъ твердо зналъ, что «человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ». Вы помните, что герой «Записокъ изъ подполья» точно также безъ всякаго посторонняго резона, а единственно для «жгучаго наслажденія» оскорбляетъ женщину предложеніемъ денегъ! Подражаніе идетъ и дальше, въ са-

мой фабулѣ. Такъ, Глазковъ попадаетъ, подобно герою «Записокъ изъ подполья», на прощальную пирушку къ отъѣзжающему бывшему товарищу, съ которымъ, равно какъ и со всѣмъ его кругомъ, давно не имѣетъ ничего общаго. Глазковъ говоритъ тамъ рѣчь на замысловатую тему о «блаженствѣ поклониться себѣ», опять-таки совершенно во вкусъ Достоевскаго. А резоны, которыми демонъ Глазкова убѣждаетъ его въ необходимости для него самоубійства, если и не буквально повторяютъ собою теорію самоубійства Кириллова въ «Бѣсахъ», то очень напоминаютъ ее своею вычурностью.

Въ подтвержденіе всего этого, я уже не стану больше дѣлать выписки изъ «Дня итога». Посмотримъ лучше, въ чемъ состоитъ разнища между учителемъ и ученикомъ. Разница прежде всего, конечно, та, которая всегда заставляетъ предпочитать «оригиналы спискамъ». Объ этомъ не стоило бы даже, можетъ быть, упоминать, если бы не одно маленькое осложненіе. Дѣло въ томъ, что, не смотря на преимущества, даваемые оригиналу его талантомъ, сравнительная блѣдность описки имѣетъ ту выгоду, что не съ такою уже чрезмѣрностью терзаетъ нервы читателей и не такой ужъ рогъ изобилія униженій выливается на героевъ. А затѣмъ любопытно слѣдующее обстоятельство:

Въ записной книжкѣ Достоевскаго, напечатанной въ недавно вышедшемъ томѣ его сочиненій, между прочимъ, читаемъ: «Меня зовутъ психологомъ; не правда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, то-есть изображаю всѣ глубины души человѣческой». Здѣсь, очевидно, описка или опечатка, вмѣсто «меня зовутъ психологомъ» надо, конечно, читать: «меня зовутъ психіатромъ», во-первыхъ, потому что Достоевскаго «зовутъ» именно такъ, а во-вторыхъ, и по общему смыслу этого самооправданія. Ту же мысль выражаетъ Достоевскій въ одномъ изъ писемъ къ г. Страхову по поводу романа «Идіотъ»: «У меня оной особенный взглядъ на дѣятельность въ искусствѣ; и то, что большинство называетъ почти фантастическимъ и исключительнымъ, то для меня иногда составляетъ самую сущность дѣйствительнаго. Обыденность явленій и казенный взглядъ на нихъ, по моему, не есть еще реализмъ, а даже напротивъ. Въ каждомъ номерѣ газетъ вы встрѣчаете отчетъ о самыхъ дѣйствительныхъ фактахъ и о самыхъ мудреныхъ. Для писателей нашихъ они фантастичны, да они и не занимаютъ ими; а между тѣмъ, они дѣйствительность, потому что они *блжны*. Кто же будетъ ихъ замѣчать, ихъ разъяснять и описывать? они поминутны и ежедневны, а не *исключительны*». Многое можно бы было сказать объ этихъ разсужденіяхъ Достоевскаго, но я не

хочу уклоняться въ сторону и только подчеркиваю то обстоятельство, что разсужденія эти излагаются по поводу «Идіота», центральную фигуру котораго составляетъ эпилептикъ. Такимъ образомъ, рисуя эпилептиковъ, маніаковъ, врожденныхъ, галлюцинантовъ, субъектовъ съ раздвоеннымъ сознаніемъ и проч., Достоевскій былъ твердо увѣренъ, что это совсѣмъ не психіатрическій матеріалъ и не что-нибудь исключительное, а просто «глубина души человѣческой» въ самой обыденной дѣйствительности. Господитъ же Альбовъ рѣшительно надписываетъ на своемъ разсказѣ: «Психіатрическій этюдъ». Это показываешь, что г. Альбовъ, усвоивъ себѣ приемы, манеры, даже тины Достоевскаго, не заразился имъ, однако, до самаго корня. Это, къ счастью, только подражаніе, нѣчто наизносное, отчего г. Альбовъ можетъ отдѣлаться. И чѣмъ скорѣе онъ отдѣлается, тѣмъ, разумѣется, лучше.

Жанръ Достоевскаго совсѣмъ особенный, исключительный, лично ему принадлежащій. Что бы онъ ни толковалъ о «глубинахъ души человѣческой», но эпилептикъ есть субъектъ патологическій, и, къ счастью, пока исключительный. Будучи самъ эпилептикомъ, Достоевскій могъ, конечно, какъ никто, изобразить чувства эпилептического князя — «Идіотъ» — но именно поэтому г. Альбовъ, лишенный такого печальнаго преимущества, можетъ быть въ этомъ отношеніи только слабой, неточной копіей съ яркаго и правдиваго оригинала. Понятное дѣло, что тщательное изученіе той или другой болѣзни можетъ замѣнить соотвѣтственный тяжелый внутренній опытъ. Но, по всѣмъ видимостямъ, г. Альбовъ такимъ тщательнымъ изученіемъ не занимался, а довольствовался случайными наблюденіями и руководствовался тою общою, но совершенно неправильною мыслью, что разстроенному духу приличествуетъ разнообразная чепуха и фантастичность.

Г. Альбову, равно какъ и нѣкоторымъ другимъ нашимъ молодымъ беллетристамъ, слѣдуетъ помнить слова Грингера: «Поэтическія и моралистическія представленія не только безполезны и теоретически ошибочны, но положительно вредны въ практическомъ отношеніи. Они дали людямъ, не знающимъ дѣла, такія представленія о душевныхъ болѣзняхъ, которыя не имѣютъ даже и отдаленнаго сходства съ дѣйствительностью, и когда представленія эти не соотвѣтствуютъ ей, у такого человѣка является сомнѣніе, дѣйствительно-ли это душевная болѣзнь. Какъ наивно удивляются многіе посѣтители дома умалишенныхъ, представлявшіе себѣ его жителей совсѣмъ иначе!» Слѣдуетъ также помнить, что если Достоевскій мастерски передавъ, наприимѣръ, эпилеп-

лептические припадки «идиота», то это еще не значитъ, чтобы онъ «изображалъ всё глубины души человѣческой». Напротивъ, въ его психологii, роющейся въ разныхъ злобныхъ наслажденiяхъ и другихъ подобныхъ вычурностяхъ, пропасть произвольнаго и фальшиваго. Прямо доказать этого нельзя, потому что, какъ въ самомъ дѣлѣ докажешь, что такой — то фактъ не могъ вызвать такого — то душевнаго движенiя и т. п.? Но Достоевскiй былъ не только беллетристъ, а и публицистъ, онъ не только изображалъ, а и предъявлялъ нравственно-политическiя сужденiя, въ которыхъ, пожалуй, и можно найти доказательствa фальшивости и произвольности его психологii. Дѣйствительно, мы имѣемъ такое драгоценное по своей поучительности для молодыхъ писателей доказательство. Известно, что съ самаго начала своего «Дневника писателя» (тогда еще печатавшагося въ «Гражданинѣ»), Достоевскiй очень не одобрялъ на слабость нашихъ присяжныхъ къ оправдательнымъ вердиктамъ. «Прямо скажу, писалъ онъ:—строгимъ наказанiемъ, острогомъ и каторгой вы, можете быть, половину спасли бы изъ нихъ (преступниковъ). Облегчили бы ихъ, а не отяготили. Самоочищенiе страданiемъ легче, говорю вамъ, легче, чѣмъ та участь, которую вы дѣлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданiемъ ихъ на судѣ. Вы только осеяете въ его душу цинизмъ, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны. Вы вливаете въ его душу безвѣрiе въ правду народную, въ правду Божию». Достоевскiй—одинъ изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ сердцевѣдовъ, а потому ему кто-нибудь, пожалуй, и повѣрилъ; съ горечью, съ болью, но повѣрилъ. Но если этотъ повѣрившiй дожилъ до 1876 года, такъ онъ имѣлъ удовольствiе прочитать въ «Дневникѣ» же слѣдующiя, блистающiя мягкостью строки: «Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится-ли душа, не развратится-ли, не озлобится-ли на вѣки? Кто когда поправила каторга? И, главное—все это при совершенно неразъясненномъ и не опровергнутомъ сомнѣнiи о болѣзненномъ аффектѣ тогдашняго беременнаго ея состоянiя. Опять повторяю, какъ два мѣсяца назадъ: лучше ужъ ошибаться въ милосердiи, чѣмъ въ казни. *Оправдайте несчастную, и авось не погибнетъ юная душа*, у которой, можетъ быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ же, *настрное*, все погибнетъ, ибо развратится душа».

Итакъ, съ одной стороны, каторга *никогда* не поправила, и душа въ ней на-

стрное погибнетъ, а съ другой стороны, каторга *спасительна*. Достоевскiй могъ бы написать на эти двѣ противоположныя темы два прекрасныхъ романа, въ которыхъ послѣдующее съ вѣроподобiемъ вытекало бы изъ предыдущаго, что и зачлось бы ему за глубокий психологическiй анализъ, тѣмъ болѣе, что онъ при томъ, конечно, мучительно игралъ бы на нервахъ читателей. Но изъ этого нервнаго раздраженiя не произошло бы, однако, правдиваго представленiя о влiянii каторги...

Г. Альбовъ тоже играетъ на нервахъ читателей; слабѣе, разумеется, чѣмъ Достоевскiй, но съ такою же тщательностью и съ такою же ненужностью, ибо изъ его «Дня итога», растянувшагося на семь печатныхъ листовъ, все-таки не вышло настоящаго психiатрическаго этюда, да и фигура Глазкова, просто какъ житейскаго типа, остается вполне невыясненною. Не можемъ мы, значитъ, отвѣтить и на поставленный нами себѣ вопросъ, какiя стороны жизни наводятъ мрачный колоритъ на писанiя г. Альбова?

Послѣ утомительнаго «Дня итога» читатель повстинѣ отдыхаетъ на «Воспитанiи Лельки». Это первая часть повѣсти, носящей вычурное и ничѣмъ не оправданное общее заглавiе «О людяхъ, взыскующихъ града». «Воспитанiе Лельки» представляетъ рядъ жанровыхъ картинокъ, свободныхъ отъ всякой психiатрии и свидѣтельствующихъ о большой наблюдательности и талантливости автора. За то вторая часть «Взыскующихъ града», озаглавленная «Сутки на лонѣ природы», хотя и не содержитъ въ себѣ прямо психiатрии, но переполнена такъ называемымъ психическимъ анализомъ; есть тутъ, кромѣ того и бредъ, и галлюцинацiи, и длиннѣйшiя, мучительныя воспоминанiя героини, вслѣдствiе чего эти *сутки* и доводятся благополучно до размѣра *восьми смикомъ* печатныхъ листовъ. Наконецъ, третья и послѣдняя повѣсть въ сборникѣ называется «Конецъ Невѣдомой улицы». Это опять живая, талантливо написанная жанровая картинка, подъ конецъ испорченная, однако, непомерною психологiей, бредомъ и галлюцинацiями, впрочемъ, не болѣе, а только пьяныхъ людей.

Симпатичную струйку въ повѣстяхъ г. Альбова, составляетъ интересъ къ дѣтской жизни (все «Воспитанiе Лельки», начало «Конца Невѣдомой улицы»), такъ мало, вообще говоря, занимающей нашихъ беллетристовъ. Но гораздо сильнѣе пробивается эта симпатичная струйка у г. Баранцевича. Два его разсказа (и притомъ едва-ли не лучшiе)—«На волю Божию» и «Одинъ» такъ и называются «Изъ жизни заброшен-

ныхъ дѣтей», но кромѣ того дѣти являются дѣйствующими лицами и въ другихъ разсказахъ. Г. Баранцевичу удалось даже создать очень трогательную фигурку ребенка-няньки, въ разныхъ варіаціяхъ повторяющуюся въ разсказахъ: «Ключа», «Одни», отчасти «На волю Божью». Это я, впрочемъ, только мимоходомъ. Меня занимаетъ другая сторона повѣстей и разсказовъ г. Баранцевича.

Г. Баранцевичъ гораздо умѣреннѣе г. Альбова насчетъ психологіи, а психіатріи у него, пожалуй, и совсѣмъ нѣтъ; хотя и онъ любитъ рисовать бредъ и галлюцинаціи, но бредить и галлюцинировать у него не душевно больные, а просто голодные, холодные, умирающіе, лихорадочные. Оттого его легче понять, то-есть легче понять, что именно застилаетъ для него жизнь кажимъ-то мрачнымъ и тяжелымъ туманомъ.

Выше было сказано, что какъ г. Альбовъ, такъ и г. Баранцевичъ вращаются въ сферѣ личной жизни и не предъявляютъ какой-нибудь общественной тенденціи. Можетъ показаться, однако, что какъ разъ первая повѣсть г. Баранцевича, самая большая (и самая неудачная), отзывается, напротивъ, интересомъ къ вопросу чисто-общественнаго характера. Повѣсть называется «Чужакъ». Молодой «баринъ» Радунцевъ женился на крестьянкѣ. Это было дѣломъ настоящей, искренней любви, зародившейся еще въ дѣтствѣ—Радунцевъ и Таня росли вмѣстѣ. Если не самъ Радунцевъ, однако, то его пылкіе молодые товарищи склонны были видѣть въ его бракѣ не простое соединеніе любящихъ сердецъ. На свадебной пирушкѣ раздавались пламенные рѣчи о «практическомъ сліянніи съ народомъ», объ «арѣ обновленія ветхаго интеллигентнаго человѣка» и т. п. Но тутъ же высказываются и острые терни будущаго. Родители невѣсты не пришли на свадьбу, «не хотѣли помѣшать барину», а сама невѣста обидѣлась одною изъ непонятныхъ для нея пламенныхъ рѣчей и назвала оратора «насмѣшникомъ». Дѣло было въ Петербургѣ. Для новобрачныхъ пошли тяжелые дни взаимныхъ недоразумѣній и непониманій. Наконецъ, Таня убѣжала къ себѣ въ деревню погостить. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ поѣхалъ туда и Радунцевъ и тотчасъ же узналъ, что Таня слѣдила за молодымъ парнемъ. Терзанія ревности и проч. Отецъ Тани, другіе деревенскіе люди, даже сама Таня предлагаютъ ему «поучить» ее, то-есть побить, да тѣмъ и покончить, но Радунцевъ не можетъ бить, не можетъ и простить, вслѣдствіе чего и убѣгается. Въ этой-то послѣдней чертѣ, въ томъ, что онъ не такъ грубъ, чтобы бить, но и не такъ мя-

гокъ, чтобы простить и забыть, въ этой чертѣ заключается, повидимому, убѣдительнѣйшее доказательство, что онъ «чужакъ» и не имѣетъ ничего общаго съ деревенскимъ миромъ.

Можетъ показаться, что этою повѣстью г. Баранцевичъ пожелалъ сказать свое слово въ разговорѣ о «слиянніи съ народомъ», не такъ давно у насъ многихъ очень занимавшемъ. На самомъ дѣлѣ, однако, это совсѣмъ не такъ. Рядомъ съ романомъ Радунцева и Тани идутъ и другіе. Радунцевъ былъ когда-то учителемъ нѣкоей Вѣрочки Рамазаевой, которая его любитъ, что, впрочемъ, Радунцевъ узналъ ужъ очень поздно. Одинъ изъ пламенныхъ ораторовъ свадебной пирушки, Рѣзцовъ, снимаетъ у матери этой Вѣрочки мельницу; ему, какъ онъ самъ говоритъ, «ветхаго человѣка сбросить удалось», онъ совсѣмъ освоился въ мужицкой жизни. Но на бѣду онъ полюбилъ Вѣрочку Рамазаеву, изъ каковой бѣды выпутался, впрочемъ, благополучно: «прозрѣлъ во-время, а прозрѣвши, увидѣлъ, что барышня есть, дѣйствительно, *барышня*, и всѣ ея порыванія были просто «онѣ избытокъ!» Эта, такъ сказать, любовная кадрили намекаетъ, что еслибы пары расположились иначе, такъ не было бы, можетъ быть, и драмы, ибо Рѣзцовъ не «чужакъ» въ деревнѣ, а слѣдовательно, и вся исторія «слиянія» получила бы совсѣмъ иное освѣщеніе. Очевидно, центръ тяжести повѣсти лежитъ не въ «слиянніи», а въ томъ сиротствѣ и одиночествѣ, на которыя обречены люди, негнѣпо сталкиваемые и расталкиваемые злой судьбой. Это и есть преобладающій мотивъ повѣстей и разсказовъ г. Баранцевича, такъ что даже неопредѣленное заглавіе всего сборника «Подъ гнетомъ» можно бы дополнить: «Подъ гнетомъ одиночества».

Непосредственно за «Чужакомъ» слѣдуетъ очеркъ «Власьева». Умеръ талантливый композиторъ, и его старая кормилица Власьева рассказываетъ:

«Вѣкъ свой одинъ-одинешенекъ такъ и прожилъ, хотя и много было народу около. Барыня-то, Богъ прости, не любила, знать, сердечнаго. Все только гости да гулянья, да балы, да обѣды. Разныя новыя новости, да выдумки, да наряды, и все-то изъ его кармана. Измучили его, въ конецъ измучили, а онъ, голубчикъ, такой слабенькій былъ, худенькій... Въ послѣднее-то время болѣзнь стала, скучный такой сдѣлался, какъ-жись, свѣтъ ему не милъ... Правъ-то у нихъ разный былъ. Онъ-то, желанный, все больше къ дому склонность имѣлъ, а она фить-фить, по гостямъ и поѣхала... А тутъ еще разныя слухи нехорошіе пошли, заскучалъ

мой родненькій пуще того»... И т. д. Спрашивается, развѣ этотъ несчастный композиторъ не такой же «чужакъ», какъ и Радунцевъ? Около него много людей, и люди эти апплодируютъ ему, поздравляютъ его, превозносятъ, но во всей этой толпѣ ему не къ кому прислониться въ тяжелыя минуты. Самъ одинъ несетъ онъ бремя жизни и можетъ быть когда-то нести его съ силою и даже съ презрительною гордостью замыкался въ свое одиночество. Но, наконецъ, изнемогъ. Вѣда не только въ томъ, что онъ одинокъ душой, а и въ томъ еще, что при всемъ его одиночествѣ, его связываютъ съ людьми какія-то крѣпкія, цѣпкія, но пустопорожнія узы, самою пустопорожнѣею своею плодящія скорбныя недоразумѣнія. Узы эти настолько сильны, чтобы причинять страданіе за страданіемъ, и совершенно безсильны относительно той поддержки, въ которой заключается весь смыслъ какого бы то ни было союза, и ради которой еще Аристотель называлъ человѣка «общественнымъ животнымъ». Положимъ, что если «правъ-то у нихъ разный былъ», какъ рассказываетъ Власьева, то несчастный композиторъ могъ искать опоры въ своей артистической дѣятельности. Оно, конечно, такъ и было до извѣстной степени, но, какъ человѣкъ чуткій, онъ долженъ былъ понимать, что это собственно только удаленіе изъ жизни въ міръ музыкальных гимновъ къ божеству красоты; что всѣ эти апплодирующіе, «ликующіе, праздно болтающіе» совсѣмъ ему чужды, и будутъ вести на его похоронахъ именно тѣ пошлые и холодные разговоры, которые они и дѣйствительно вели...

Въ очеркѣ «Шестнадцатый номеръ» умираетъ раненый солдатикъ-новобранецъ. Весь очеркъ состоитъ изъ воспоминаній и бреда умирающаго. Кончается бредъ такъ: «Крестъ безпремѣнно сынишкѣ... чтобы носилъ да помнилъ отца... Убили, ахъ, убили меня... За что убили? За что Онашку убили?.. У насъ своя земля, у насъ своя земля... Зачѣмъ рожь шумить? Рожь-то зачѣмъ шумить? Кто собирать станетъ?.. Отецъ старъ, одному не управиться... не управиться». И т. д. Вы опять видите одинокаго умирающаго, отъ чего-то оторваннаго и исключеннаго въ союзъ, который, не принеся ничего, кромѣ страданій, въ моментъ смерти представляется ему какимъ-то колоссальнымъ недоразумѣніемъ: «За что убили? у нихъ своя земля, у насъ своя земля. И кто будетъ рожь убирать?»

Я не буду, разумеется, слѣдить за содержаніемъ всѣхъ очерковъ и рассказовъ г. Баранцевича. Вы сами найдете положительно въ каждомъ изъ нихъ все ту же тоску сирот-

ливаго одиночества и коллекцію недоразумѣній, возникающихъ изъ тѣхъ узъ, которыя горя и страданій отпускаютъ сколько угодно, а опоры не даютъ. Г. Баранцевичъ иногда пересаливаетъ (напримѣръ, «Мятежъ»), иногда плохо справляется съ своимъ матеріаломъ (напримѣръ, «Чужакъ»), слишкомъ злоупотребляетъ бредомъ и галлюцинаціями, но иногда въ своемъ жизнеописаніи одинокихъ людей поднимается до, дѣйствительно, художественныхъ картинъ и образовъ (напримѣръ, «На волю Божью»). Во всякомъ случаѣ всегда и вездѣ онъ занятъ однимъ и тѣмъ же.

Мнѣ кажется, что если читатель, познакомившись съ г. Баранцевичемъ, обратится къ столь родственному ему по духу г. Альбому, то и у него найдетъ подъ грудой психіатрическаго балласта ту же живую струю; такъ, что, напримѣръ, даже озлобленность героя «Дня итога» получить очень простое, житейское объясненіе, не нуждающееся ни въ раздвоенномъ сознаніи, ни въ галлюцинаціяхъ, ни въ прочихъ психіатрическихъ украшеніяхъ. Для обоихъ писателей, очевидно, одна и та же сторона жизни мрачною тѣнью ложится на все, къ чему они прикасаются перомъ: одиночество, при наличности какихъ-то тяжелыхъ, ненужныхъ узъ. Благодарная тема, и не я буду предлагать молодымъ беллетристамъ сойти съ избраннаго ими пути. Это, дѣйствительно, одно изъ самыхъ больныхъ мѣстъ нашей современной жизни. Не добро быти человѣку единому, это давно сказано, но еще хуже быти человѣку единому, когда онъ въ то же время связанъ. Это впрочемъ, матерія сложная и длинная, а мѣста у меня остается мало, да и не знаю, впрочемъ, скоро-ли мнѣ придется къ ней возвратиться. Замѣчу лишь слѣдующее. Г. Баранцевичъ рассказъ цѣлую серію эпизодовъ изъ жизни одинокихъ людей и все это выходитъ какъ будто случайно, а у г. Альбова даже до душевной болѣзни исключительно. Но когда случайностей такъ много, то онѣ, должно быть, не случайности; должно быть, во всемъ строѣ нынѣшней жизни есть что-то такое, какое-то общее теченіе, опредѣляющее всѣ эти случайности. А если такъ, то тѣмъ паче слѣдуетъ бросить возню съ психіатріей, которая вѣдь все равно не настоящая.

XII *).

Въ недавно вышедшемъ сочиненіи профессора Карѣва «Основные вопросы философіи исторіи» выражается, между прочимъ, почтительное удивленіе передъ извѣстной триадой Гегеля, которая, по замѣчанію

автора, оправдывается рѣшительно во всѣхъ областяхъ мысли и жизни. Всякая, дескать, исторія состоитъ въ послѣдовательной смѣнѣ тезиса, антитезиса и синтезиса: положенія, отрицанія и наконецъ, примиренія того противорѣчія, которое заключается въ двухъ первыхъ членахъ триады: примиреніе это достигается отрицаніемъ отрицанія и, слѣдовательно, возвращеніемъ къ исходному пункту, дополненію пріобрѣтеніями, сдѣланными на второй, средней ступени развитія. Г. Карѣвъ не первый дѣлаетъ замѣчаніе насчетъ всеобъемлемости гегелевской формулы. Не говоря о самихъ гегельянцахъ, люди, не имѣющие ничего общаго съ ученіемъ знаменитаго прусскаго философа, не рѣдко съ удивленіемъ останавливаются передъ формулою, выработанною въ сферахъ чистаго духа, идѣже нѣтъ болѣзни, ни печаль, ни воздыханіе, но нѣтъ и радостей, и, однако, страннымъ образомъ охватывающою исторію всѣхъ болѣзней, печалей и воздыханій, равно какъ и всѣхъ радостей.

Я думаю, какъ и вы, конечно, что и въ сферахъ чистаго духа, какъ въ прочихъ житейскихъ дѣлахъ, имѣла мѣсто известная комбинація опытовъ и наблюденій, легшая въ основаніе обобщенія, давшая возможность угадать всеобъемлющій законъ; если онъ въ самомъ дѣлѣ существуетъ, или породившая ошибку, если законъ, не оправдывается дѣйствительностью. Я отнюдь не помышляю заниматься раскрытіемъ и разъясненіемъ секрета формулы трехчленнаго диалектическаго развитія. Мнѣ хочется только обратить ваше вниманіе на тѣ ни мало не таинственныя, чисто житейскія обстоятельство, въ силу которыхъ умъ человѣческій склоненъ располагать нѣкоторые свои опыты и наблюденія именно въ порядкѣ тройственнаго смѣны положенія, отрицанія и примиренія. И вы не взыщете, если не ради самой гегелевской триады поведу я этотъ разговоръ, а тоже въ виду кое-какихъ житейскихъ дѣлъ и дѣлишекъ.

Что касается исторіи въ тѣсномъ смыслѣ слова, то-есть исторіи человѣческихъ отношеній, то любопытно, что въ этой области, по трехчленному дѣленію, проходили люди, даже совсѣмъ незнакомые съ философіей Гегеля. Таковы, напримѣръ, Огюсть Контъ, сгруппировавшій исторію человечества въ три періода: теологическій, метафизическій и позитивный. Таковъ Луи Бланъ, для котораго исторія представляетъ послѣдовательную смѣну трехъ принциповъ: авторитета, индивидуализма и братства. Интересно далѣе, что какъ для Конта, такъ и для Луи Блана послѣдняя ступень развитія есть, дѣйствительно, какъ бы возвращеніе въ извѣстномъ смыслѣ къ первой ступени. Это ясно

изъ прямого сопоставленія принциповъ теологическаго и авторитета съ одной стороны и позитивнаго и братства—съ другой, а еще болѣе изъ личнаго отношенія обоихъ мыслителей къ этимъ принципамъ: Контъ теологическій фазисъ насравненно симпатичнѣе, чѣмъ метафизическій, а Луи Бланъ съ гораздо большею ненавистью относится къ періоду индивидуализма, чѣмъ къ ступени авторитета.

Оно и понятно. Въ то время, когда писалъ и дѣйствовалъ Луи-Бланъ, то, что онъ называлъ принципомъ авторитета, было совершенно распатано, или, по крайней мѣрѣ, казалось распатаннымъ. Это было нѣчто исторически законченное, сданное въ архивъ и, слѣдовательно, безопасное. Индивидуализмъ, напротивъ, гордо несъ свою вѣнчанную лаврами недавнихъ побѣдъ голову. Это была настоящая сила настоящей минуты, и натурально, что, даже при одинаковой степени враждебности къ принципамъ авторитета и индивидуализма, практика жизни должна была подсказывать представителю принципа братства несравненно большую напряженность отрицанія по адресу индивидуализма. Но и независимо отъ дѣйствительной или только кажущейся слабости остатковъ прошедшаго, зачатки будущаго естественно склонны вступать въ практическій союзъ съ ними въ виду общаго врага—настоящаго. Это, можетъ быть, наиболѣе яркое и наипаче второрящееся оправданіе поговорки: «крайности сходятся». Крайности дѣйствительно сходятся, чтобы тяготѣть на одинаково имъ мѣшающую середину. Прошедшее, настоящее и будущее, отживающее, существующее въ болѣе или менѣе полномъ видѣ и зарождающееся—эта троица лежитъ въ основаніи всякой системы партій, политическихъ, литературныхъ, экономическихъ, философскихъ. Партіи могутъ дробиться на отѣнки, разнообразно осложненія текущей минуты; отѣнки эти могутъ вступать между собою въ разнообразныя комбинаціи, заключать законныя и незаконныя союзы, дѣлать другъ другу теоретическія и практическія уступки; но въ основаніи всей этой иногда очень запутанной системы всетаки лежатъ три момента: прошедшее, настоящее и будущее. И въ этомъ столь же мало таинственнаго, какъ и въ томъ, напримѣръ, что французскій глаголъ, имѣющій и l'imparfait, и le plus-que-parfait, и le passé défini, и le passé indéfini, и le futur absolu, и le futur antérieur, въ сущности, однако, знаетъ только три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Въ виду этого историкъ, если онъ жертвуетъ второстепенными мелкими явленіями для установленія схемы историческаго прогресса въ общихъ, крупныхъ чертахъ, склоненъ

непрѣмѣнно къ трюичной формулѣ, причѣмъ онъ замѣтитъ и взаимное тяготѣніе прошедшаго и будущаго. А если онъ и самъ практическій дѣятель въ какой бы то ни было отрасли, то и на немъ, по всей вѣроятности, такъ или иначе отразится это тяготѣніе.

Но этого мало. Дѣло не только въ механикѣ борьбы партій, при которой наличный, торжествующій въ данный моментъ порядокъ вещей подвергается ударамъ справа и слева, что уже само по себѣ до известной степени сближаетъ правыхъ и лѣвыхъ. Если искать въ исторіи мысли человѣка, наиболѣе страстно и убѣжденно звавшаго людей, во имя будущаго, назадъ, къ исходному пункту исторіи, къ «тезису», то, конечно, это будетъ Руссо. Весь сонмъ яростѣйшихъ ретроградовъ всѣхъ временъ и народовъ не сказалъ больше его противъ цивилизаціи, которая является въ данномъ случаѣ «анти-тезисомъ». И, однако, Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повлиялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовался воображенію Руссо золотой вѣкъ человѣчества, современный его колыханіи; фантастичность гораздо, впрочемъ, меньшую, чѣмъ обыкновенно думаютъ, такъ что правильнѣе было бы даже говорить не о фантастичности, а объ односторонности. Конечно, не все было добро вѣло, когда человѣкъ невѣжественный, нищій и грубый, боролся съ дикими звѣрями за существованіе въ лѣсахъ и пещерахъ. Но не въ этомъ и дѣло. Злое слово Вольтера: «Читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четверенькахъ» — это злое слово оправдательно только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь страстную живопись отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, и именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не *степень* развитія цивилизаціи, а лишь ея *типъ*; и наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ только ея типъ, ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низкой степени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ, слѣдовательно, по Руссо, отнюдь не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь часть ихъ бѣгала на четверенькахъ, а въ сочетаніи первобытнаго типа съ высокою степенью развитія. Это и будетъ искомый «синтезисъ».

Не то-ли же самое думаетъ сухой, строго

логическій гегельянецъ Марксъ, когда говорить: «Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а, слѣдовательно, и капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ же самимъ и необходимостью собственнаго процесса. Это — отрицаніе отрицанія. Оно снова восстанавливаетъ индивидуальную собственность, но на основаніи приобрѣтенной капиталистической эры, то-есть на основаніи коопераціи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками».

Приглядываясь, однако, ближе къ дѣлу, не трудно усмотрѣть, что всѣ подобныя схемы, повидимому, такъ блистательно поддерживающія законъ трехчленнаго диалектическаго развитія, страдаютъ произвольностью. Говоря гегелевскою терминологіей, для Руссо «тезисомъ» была жизнь дикаря, и «антитезисъ» начался съ того момента, когда, по его живописному выраженію, человѣкъ обгородилъ клочекъ земли и сказалъ: «это мое». Для Луи Блана или Маркса «тезисъ» стоитъ гораздо позже — въ среднихъ вѣкахъ, съ разваломъ которыхъ начинается періодъ отрицанія. Но и въ средніе вѣка Марксова «индивидуальная частная собственность, основывающаяся на собственномъ трудѣ», отнюдь не была преобладающимъ факторомъ, а Луи Блану приходится открывать проявленіе принципа «братства» въ самомъ разгарѣ полномасштабнаго принципа «авторитета». Очевидно, всѣ эти схемы представляютъ не картину дѣйствительности или даже только ея пропорціи, а только удовлетворяютъ склонности человѣческаго ума мыслить всякій предметъ въ состояніяхъ прошедшаго, настоящаго и будущаго; причѣмъ умъ этотъ естественно стремится сочетать для будущаго все, что есть хорошаго въ прошедшемъ и настоящемъ.

Теперь позвольте мнѣ сдѣлать выписку изъ одной лондонской корреспонденціи «Новаго Времени»; собственно не изъ самой корреспонденціи, а изъ цитируемой въ ней статьи газеты «Standard». Статья написана богатымъ фабрикантомъ. Онъ жалуется, что, не смотря на то, что его «совѣтъ мучитъ сознаниемъ несправедливости и глупости настоящаго состоянія общества», онъ, подобно многимъ другимъ, не въ состояніи выйти изъ своего фальшиваго положенія и осужденъ только на паллиативныя мѣры для борьбы со зломъ, вызываемымъ несправедливою системою, которую онъ принужденъ поддерживать. «Мнѣ, говорить онъ, —

только крошечныя звенья въ огромной цѣпи ужасной организаціи—соперничающей торговли—и только полное расклепаніе этой цѣпи можетъ дѣйствительно освободить насъ. Именно это-то сознание безпомощности нашихъ индивидуальныхъ усилій и вооружаетъ насъ противъ собственнаго нашего класса и заставляетъ насъ принимать дѣятельное участіе въ агитаціи, которая, если будетъ успѣшна, лишитъ насъ нашего положенія капиталистовъ. Пожертвовать этимъ положеніемъ, я думаю, не покажется намъ тяжелымъ, потому что, если мы вѣрно оцѣниваемъ то благо, которое состояніе общественнаго порядка должно принести свѣту, мы получимъ взаимныя дары, которыхъ нельзя достать за деньги. Видѣть конецъ нищеты и роскоши, найти досугъ, удовольствіе и утонченность общими среди тѣхъ, которые выполняютъ грубую работу міра; видѣть чистое, здоровое искусство, развивающееся неволью изъ этого счастья; видѣть наши милые острова освобожденными отъ скaredнаго обезображенія слѣдовъ унижающей борьбы за существованіе и за богатство—стоитъ-ли что-нибудь, что можно приобрести за деньги, удовольствія участвовать въ подобной жизни и чувствовать, что каждый изъ насъ участвуетъ въ поддержаніи этого порядка? Мнѣ кажется, что въ настоящее время богатые люди пытаются купить жизнь въ родѣ этой, стремясь окружить себя, при помощи огромныхъ расходовъ, признакомъ порядка и довольства, и въ результатѣ получаютъ за всѣ эти деньги только одинъ міражъ». Авторъ увѣренъ, что «перемѣна произойдетъ и что наилучшая гарантія противъ насильственнаго переворота заключается въ пробужденіи совѣсти богатыхъ и состоятельныхъ и въ ихъ готовности отречься отъ своихъ классовыхъ притязаній въ пользу того социальнаго порядка, который несомнѣнно нарождается».

Это одинъ изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ голосовъ, выработанныхъ отчасти непосредственно самымъ теченіемъ европейской жизни, а отчасти ея отраженіемъ—тою школою писателей, которая развилась изъ критики Руссо. Было время, когда личность европейскаго человѣка, выпущенная изъ оковъ «авторитета», какъ сказалъ бы Луи Вланъ, или «теологическаго фазиса», какъ предпочелъ бы выразиться Огюст Контъ, ринулась на свой собственный страхъ въ метафизику въ области мысли, въ голый либерализмъ въ области политики, въ свободную конкуренцію въ области экономіи. Прошедшее казалось развѣ только недобитымъ, будущее едва выглядывало въ парадоксальныхъ протестахъ Руссо, да въ кокакихъ судорожныхъ движеніяхъ, истинный

смыслъ которыхъ не съ разу обнаружился. Но прошли года, и ликующее настоящее стало омрачаться. Снизу все сильнѣе и сильнѣе начали раздаваться требованія тѣхъ, кого это настоящее обдѣлило благами цивилизаціи, добытыми вѣковыми усиліями всего человѣчества. Но и на верху, тѣ, кто, по видимому, пользуется всѣми цвѣтами и плодами цивилизаціи, не нашли успокоенія въ предоставленной имъ вольной волѣ. Дѣло въ томъ, что эта вольная воля оказалась довольно двусмысленною, ибо, какъ видите, даже богатый англійскій фабрикантъ признаетъ себя въ концѣ концовъ крошечнымъ звеномъ «огромной цѣпи ужасной организаціи», изъ которой онъ рѣшительно не можетъ выбиться. Вообще результаты якобы вольной воли оказались печальны. Яснѣе и проще всего сказались они въ области мысли. Мысль, сбросившая съ себя всякіе авторитеты, величественно поднялась въ надвѣздныя сферы чистаго духа и тамъ изъ самой себя и только изъ себя начала строить зданіе метафизики. Одна метафизическая система создавалась за другою, одна за другою валялась, пока, наконецъ, процессъ не завершился нирваной, философией отчаянія, самоубійства и мироубійства. Къ счастью, рядомъ съ этимъ процессомъ шло и идетъ развитіе науки, то-есть работа мысли, признающей, что она не можетъ положиться лишь на себя, что свобода отъ опыта и наблюденія есть отнюдь не дѣйствительная свобода, а простая невозможность. Разочарованіе проникло и въ другія стороны системы, замѣнившей собою старый порядокъ. Экономическіе кризисы, политическія революціи, личная неудовлетворительность, чувство страха, «больная совѣсть»—все это подтачивало и доселѣ подтачиваетъ систему. А тѣмъ временемъ старое успѣло оправиться, прошедшее, казавшееся развѣ только недобитымъ, воскресло во всеоружіи. Но такъ какъ система все-таки крѣпка и ловко впицается даже въ поры возрожденнаго стараго порядка, то послѣдній прибѣгаетъ къ лице-мѣрному заигрыванію съ будущимъ. Такъ, Наполеонъ III-й кокетничалъ съ рабочимъ вопросомъ, такъ кокетничаетъ и ученикъ его, превзошедшій своего учителя, для чего уже и слово избрѣчено: «государственный социализмъ».

Кстати. Проектамъ Бисмарка очень по-счастливилось въ нашей газетной печати именно подъ титуломъ государственнаго социализма, тогда какъ имъ гораздо болѣе приличествуетъ наименованіе военно-бюрократическаго заигрыванія съ социализмомъ. Газеты то и дѣло сочувственно помаваютъ главами въ сторону этихъ мѣропріятій, въ то же время весьма холодно, а подчасъ и

презрительно трактуя англійскія дѣла, гдѣ нѣчто, болѣе достойное названіе государственнаго социализма, не только проповѣдуется частными людьми, но до известной степени вводится и въ жизнь министерствомъ Гладстона. Достоверно во всякомъ случаѣ, что поведеніе Гладстона въ аграрныхъ ирландскихъ дѣлахъ, очень скромное съ отвлеченной точки зрѣнія и съ точки зрѣнія самихъ ирландцевъ, уже потому несравненно достопримѣчательнѣе мѣропріятій Бисмарка, что именно въ Англіи совершается эта брешь въ системѣ свободной частной земельной собственности. И Гладстонъ стоитъ въ этомъ отношеніи совсѣмъ не одиноко, онъ даже прямо вынужденъ къ такому образу дѣйствія повелительными требованіями самой жизни и общественнаго мнѣнія. Любопытно, что газета «Недѣля», тоже помавающая главою по адресу Бисмарка, недавно оттрепала за вихры, какъ «мальчишку и щенка», американскаго экономиста Генри Джорджа, читающаго въ Англіи лекціи на тему государственнаго социализма. Возвращаясь въ № 6 къ этого рода явленіямъ англійской жизни, газета, между прочимъ, пишетъ: «Англія, повиديوу, намѣрена отказаться отъ роли пассивной зрительницы рабочаго движенія и принять самостоятельное участіе въ организаціи труда на новыхъ началахъ. Основалось «демократическое общество», во главѣ котораго стали выдающійся политико-экономъ Гайндманъ и поэтъ Уильямъ Моррисъ; теперь они уже издають ежемѣсячный журналъ «To-Day» («Сегодня») и еженедѣльную газету «Justice», въ которыхъ энергично проводятъ свои теоріи общественнаго переустройства—теоріи довольно фантастическія. Идеалъ челоѣчества они видятъ въ полномъ уничтоженіи всякихъ національных и религіозныхъ различій, въ замѣнѣ частной собственности—государственною, въ работѣ каждаго отдѣльнаго члена великой всемірной семьи на пользу всего челоѣчества».

Спрашивается, почему этотъ «идеалъ»—идеалъ, замѣтите, ибо Гайндманъ и Моррисъ не думаютъ, чтобы завтра же такъ все и вышло по шучьему велѣнію—почему онъ «фантастиченъ»? Всякій изъ насъ знаетъ, что, по христіанскому ученію, нѣтъ влннъ ни іудей; всякій христіанинъ, равно какъ и всякій другой вѣрующій, надѣется на религіозное объединеніе челоѣчества. Слѣдовательно, эта часть программы общества не должна бы, кажется, представляться намъ такъ ужъ очень фантастическою. А что «каждый членъ великой всемірной семьи» долженъ работать «на пользу всего челоѣчества», объ этомъ едва-ли не въ

прописяхъ даже излагается, въ старыхъ, забытыхъ нынѣ прописяхъ, но всетаки прописяхъ. Откуда же эта утрированная трезвенность «Недѣли»? Почему въ старой, чопорной, сухой, прославленной своимъ черствымъ эгоизмомъ Англіи даже «выдающагося политико-эконому» не кажется фантастическимъ то, что бракуется у насъ въ этомъ смыслѣ даже г. Гайдебуровымъ? Мы, вѣдь, молоды, а кромѣ того, говорятъ, еще и «всечеловѣки»—отчего же это такъ выходитъ? Тутъ не въ г. Гайдебуровѣ дѣло и, вообще, не въ «Недѣлѣ», объ которой столько же давно, сколько и справедливо сказано: «мели, Емеля, твоя недѣля». Эту утрированную трезвенность, при распинаніи за свое «всечеловѣчество», вы можете нынѣ на каждомъ шагѣ встрѣтить, она въ воздухѣ носится, заражая его ядомъ плоскости, тупости и лицемерія. Что же мы дѣлали за все то время, когда Европа совершала свой отчасти радостный и блистающій, отчасти мученическій историческій путь, который выше очерченъ въ слишкомъ бѣглыхъ и немногихъ словахъ?

А! Это любопытная исторія. И у насъ былъ свой старый порядокъ, и свой періодъ возвращенія, когда съ паденіемъ крѣпостнаго права русскіе люди не то, чтобы совсѣмъ на вольной волѣ очутились, но всетаки стали дышать рѣзко измѣнившимся воздухомъ. Это былъ тоже «антитезисъ». Но тутъ произошло нѣчто удивительное и, можетъ быть, безпримѣрное въ исторіи. Мы настоящимъ образомъ не жили этимъ антитезисомъ. Новый воздухъ, казалось бы, столь живительный для сдавленныхъ легкихъ, былъ отравленъ скептицизмомъ. Мы были богаты чужимъ, европейскимъ опытомъ, мы знали, что та система, которая смѣнила въ Европѣ старый порядокъ, уже подточена поступательнымъ ходомъ исторіи и работою европейской мысли, доставлявшей намъ свои послѣдніе продукты. Споры нѣтъ, ликовавія были, да и какъ же не ликовать, когда дышать легче стало, но ликовавіе было непродолжительное, потому что изъ-за настоящаго выглядывало будущее, тотъ «синтезисъ», къ которому Европа пришла собственнымъ опытомъ, а не чужимъ, какъ мы. Вообще, прошедшее, настоящее и будущее сплелось въ такой запутанный и сложный клубокъ, который рѣшительно не могъ быть предусмотрѣтъ никакой формулой трехчленнаго диалектическаго развитія.

Богатство чужого опыта, имѣя свои выгодныя и невыгодныя стороны, привело къ послѣдствіямъ, въ высшей степени любопытнымъ. Во-первыхъ, люди неискренніе или преслѣдовавшіе кастовые интересы имѣли

передъ собой цѣлый арсеналъ аргументовъ и положеній, выработанныхъ Европою въ *разные* періоды своей исторіи. Тамъ эти аргументы и положенія приросли каждый къ своему опредѣленному мѣсту. Намъ же, не участвовавшимъ въ ихъ выработкѣ, ничего не стоило отодрать ихъ съ корня и перенести въ совсѣмъ не подходящее помѣщеніе. Поэтому-то у насъ и могло быть такое любопытное явленіе, что *крепостники* требовали для мужика «свободы отъ земли» во имя *либеральной* политической экономіи. Позже, во времена «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» редакціи Корша, *либералы* ратовали противъ *свободной торговли*. Всѣ эти противорѣчія объясняются очень просто, если имѣть въ виду, что мы только что начинали жить за свой собственный счетъ и никакого личнаго общества не имѣли, но зато въ нашемъ распоряженіи былъ весь европейскій опытъ. Землевладѣлецъ, урѣзаный реформой, былъ въ родѣ новорожденнаго младенца по неумѣлости, неготовости, безпомощности. Но онъ зналъ, что въ Европѣ землевладѣльцы устраиваются иногда недурно и безъ крѣпостного труда, если на лицо есть достаточное количество безземельныхъ земледѣльцевъ, способныхъ обратиться въ фермеровъ и батраковъ. Зналъ онъ также, что Европа выработала цѣлую научную или якобы научную доктрину, доказывающую, между прочимъ, отсталость общиннаго землевладѣнія и необходимость свободнаго обращенія земли и труда, какъ и всякаго другого товара на рынокѣ. А какая это доктрина, либеральная или не либеральная, совпадающая съ другими его возжелѣніями или не совпадающая, не все ли это равно ему, новорожденному младенцу? Съ другой стороны, средняго, просвѣщеннаго торгово-промышленнаго класса, настоящаго и законнаго носителя либерализма въ Европѣ, у насъ не было, а идеи либеральныя были доставлены къ намъ оттуда полностью. Предстояло создать просвѣщенный торгово-промышленный классъ, а изъ европейскаго опять-таки опыта либералы наши знали, что это довольно удобно достигается «покровительствомъ отечественной промышленности»; отсюда борьба либераловъ съ свободной торговлей, борьба, тѣмъ болѣе для нихъ легкая, что вѣдь они не сами выработали свои либеральныя идеи....

Гораздо, однако, любопытнѣе явленія, происходившія въ сферахъ, удаленныхъ отъ какихъ бы то ни было классовыхъ интересовъ, въ казовомъ концѣ нашей интеллигенціи, въ сферахъ идеала и безкорыстной мысли. Если сознательные или бевсознательные представители и заступники различныхъ обособленныхъ интересовъ съ легкимъ

сердцемъ брали изъ либеральнаго ученія то, что имъ было нужно, отвергали все ненужное, хотя и логически связанное съ [нужнымъ], то въ сферахъ идеала либерализмъ не то что потерпѣлъ полное фіаско, а прямо такъ и явился въ нашу жизнь съ печатью фіаско, понесеннаго имъ въ Европѣ. Разумѣется, когда позволено было курить на улицахъ, такъ никто не отказывалъ себѣ въ этомъ невинномъ удовольствіи, символически выражавшемъ наступленіе періода возрожденія; когда мысль и слово получили нѣкоторую относительную свободу, всякій желалъ этою свободою воспользоваться. Но мы встрѣтили свою маленькую свободу отнюдь не съ такою чистою и цѣльною радостію, съ какою когда-то Европа встрѣтила свою большую свободу. И не только потому, что свобода наша была маленькая. Нѣтъ, тутъ замѣшалось все то же фатальное вліяніе чужого опыта. Европейецъ сбрасывалъ съ себя ветхаго человѣка смѣло, бодро, даже дерзко, «не предвидя отъ сего никакихъ послѣдствій», то-есть никакихъ дурныхъ послѣдствій. А когда намъ пришлось сбрасывать съ себя ветхаго человѣка, эти послѣдствія обнаружились уже въ полномъ размѣрѣ и мы знали это; а потому налагали на себя въ атмосферѣ своей маленькой свободы тяжелыя эпитеты.

Возьмемъ примѣръ, удобный по своей безобидности. Когда европейская мысль сбросила съ себя оковы «авторитета», она не знала никакого удержу и не хотѣла знать ничего, кромѣ личнаго самоудовлетворенія; все понять, все узнать, все сущее и должствующее существовать изъ себя и для себя построить; всякія ограниченія мысль отвергала. Но мы знали, чѣмъ кончались этотъ дерзкій полетъ мысли и потому—явленіе въ высшей степени замѣчательное—при старомъ порядкѣ у насъ были гегельянцы, шеллингянцы и проч., но всѣ они исчезли въ періодъ возрожденія; если мы и увлеклись въ это время «метафизикой», то только въ формѣ матеріализма, который, по самой сущности своей, сдерживаетъ пареніе свободного духа ограниченіями «физики». Но этого мало. Самовольное и самодовлѣющее пареніе свободного духа представилось намъ не только со стороны своей ненаучности, а и со стороны почти преступности. Никогда въ Европѣ не было такихъ пламенныхъ и въ то же время систематическихъ протестовъ противъ «мысли для мысли», «науки для науки», «искусства для искусства», какъ у насъ. Нашей маленькой свободой мы не хотѣли и не могли воспользоваться для себя, для самоуслажденія: мы сдѣлали изъ своей науки, изъ своей философіи и искусства обязанность. Да такіа-ли мы еще на себя эпи-

темѣи налагали. Вспомните, мы своихъ героевъ прямо на гвозди, въ буквальномъ смыслѣ, клали! Та «больная совѣсть», которая мучить вышецитированнаго англійскаго фабриканта, знакома намъ уже слишкомъ двадцать лѣтъ. Но познакомились мы съ ней не совсѣмъ такъ и даже совсѣмъ не такъ, какъ этотъ англичанинъ.

Такой крупный и рѣзкій фактъ, какъ паденіе крѣпостного права, составлявшаго основу всей нашей жизни, уже самъ по себѣ долженъ былъ, такъ сказать, взболтать общественную совѣсть и породить, если не прочное, то во всякомъ случаѣ страстное желаніе передѣлать всю жизнь заново, пересмотрѣть весь ходячій нравственный кодексъ. Стыдъ за свое прошлое, самоуниженіе и самооплеваніе за него—были при этихъ условіяхъ очень естественны. Выработать что-нибудь новое изъ себя было бы и вообще трудно въ виду многовѣковой исторіи Европы, которая уже всякіе виды видала, а тѣмъ болѣе это было трудно въ такую спѣшную, тревожную минуту. По ходу дѣла надо бы намъ было взять изъ Европы либерализмъ—у насъ вѣдь происходила «эмансипація»: освобожденіе крестьянъ, освобожденіе мысли и слова и проч. Но, къ счастью или къ несчастью, мы знали, что для Европы этотъ «антитезисъ» есть уже пройденная ступень, по крайней мѣрѣ, теоретически, и что это засвидѣтельствовано тяжелымъ мученическимъ опытомъ. Понятно, что, вкусивъ плода познанія добра и зла, хотя бы только мыслію и съ чужого дерева, мы не могли дышать воздухомъ этого «антитезиса» съ цѣльнымъ увлеченіемъ, «безъ размышленій,

безъ борьбы, безъ думы роковой». Понятно далѣе, что роковая дума должна была состоять, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы обойти пройденную Европой ступень, такъ какъ она оказалась неокончательною и неудовлетворительною. Отсюда нашъ идеализмъ и жадное заглядываніе въ будущее, наше стремленіе найти въ самомъ фундаментѣ русской жизни, въ народѣ, точки опоры для сокращенія скорбнаго историческаго пути. Но отсюда же—увы!—и непрочность нашего идеализма, всегдашняя его готовность размыться на утробную трезвенность или погрязнуть въ путаницѣ двусмысленностей и схоластическихъ тупостей. Вышеупомянутый англійскій фабрикантъ, можно сказать, упился свободой и другими дарами цивилизаціи, онъ знаетъ цѣну ихъ и, можетъ быть, уже отецъ и дѣдъ, и прадѣдъ его купались въ этомъ морѣ. Поэтому, ему трудно отрѣшиться отъ всего этого и увидѣть обратную сторону медали. Но разъ онъ ее увидалъ, разъ потянуло его къ иной, лучшей жизни, онъ, можетъ быть, и не найдетъ для себя лично практическаго исхода, но ужъ не сойдетъ съ теоретическаго пути и не утратитъ вѣры. Намъ, напротивъ, очень легко отрицать дары цивилизаціи, потому что мы вѣдь ее только понюхали, а тѣмъ паче нѣтъ у насъ на этотъ счетъ никакихъ традицій. Но за то мы не выстрадали и скорбной стороны европейской цивилизаціи, мы эту сторону изъ чужого, а не изъ своего опыта знаемъ. Это—даровое наслѣдство, не нами нажитое. А извѣстно, что глупому сыну не въ помощь наслѣдство. Къ счастью, не всѣ сыновья глупы...



Оглавленіе пятаго тома.

	Стр.
Жестокій талантъ (1882 г.)	1
Г. И. Успенскій (1888 г.)	77
Щедринъ (1889—1890 г.).	
I. Отношеніе къ литературѣ	137
II. Вѣра въ будущее	152
III. Отношеніе къ народу	166
IV. Честь и совѣсть	179
V. Благонамѣренныя рѣчи	193
VI. Еще о благонамѣренныхъ рѣчахъ	206
VII. Умѣренность и аккуратность	220
VIII. Союзы	234
IX. Женскій вопросъ	249
X. Художникъ	264
XI. Памяти Щедрина	278
XII. Матеріалы для литературнаго портрета	287
Герой безвременья	303
Н. В. Шелгуновъ	349
Записки современника (1881—1882 г.).	
I. Независящія обстоятельства	391
II. О Писемскомъ и Достоевскомъ	410
III. Нѣчто о лицемѣрахъ	436
IV. О парнографіи	445
V. Мѣдные лбы и варенныя души	460
VI. Послушаемъ умныхъ людей	478
VII. Продолженіе	493
VIII. Три мизантропа	513
IX. Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей	529
X. Журнальное обозрѣніе	550
XI. Торжество г. Ціона, чреда образованности и проч.	566
XII. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ	584
XIII. Все французъ гадитъ	604
XIV. Смерть Дарвина	623
XV. О доносахъ, съ присовокупленіемъ собственнаго опыта доноса	636
XVI. Забытая азбука	654
XVII. Гамлетизированные поросята	678
Письма посторонняго въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ» (1883— 1884 г.)	703

ALB 1470

STANFORD LIBRARIES
HOOVER INSTITUTION

To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below

JUN

1996



PG 2947

MS A3

1896

v.5